

**серия**



**черная знать**

**Собрание сочинений в десяти томах**



**2018**

## ДОРОГОЙ РАУЛЬ!

Даже ещё не будучи знаком с тобой, я с огромным удовольствием переводил твои романы, повести, рассказы, монографию академика Сергея Алиханова о твоём творчестве — так взволновали меня эти произведения.

Склоняю свою седую голову перед твоим талантом, знанием жизни страны, знанием тайн коридоров высшей власти. Отдаю дань твоим юридическим познаниям — ты единственный из писателей, на моей памяти, кто профессионально написал предисловие к книге одного из бывших Генеральных прокуроров России.

Ты один из немногих писателей нашей страны, кто удостоился издания «Избранного» в самом престижном издательстве «Художественная литература» — это высокое признание твоего таланта прозаика и романиста.

Тетралогия «Чёрная знать» — свидетельство твоего гражданского мужества, за неё ты заплатил здоровьем, инвалидностью, эмиграцией. В твоих книгах чувствуется истинный татарский характер, бойцовский дух.

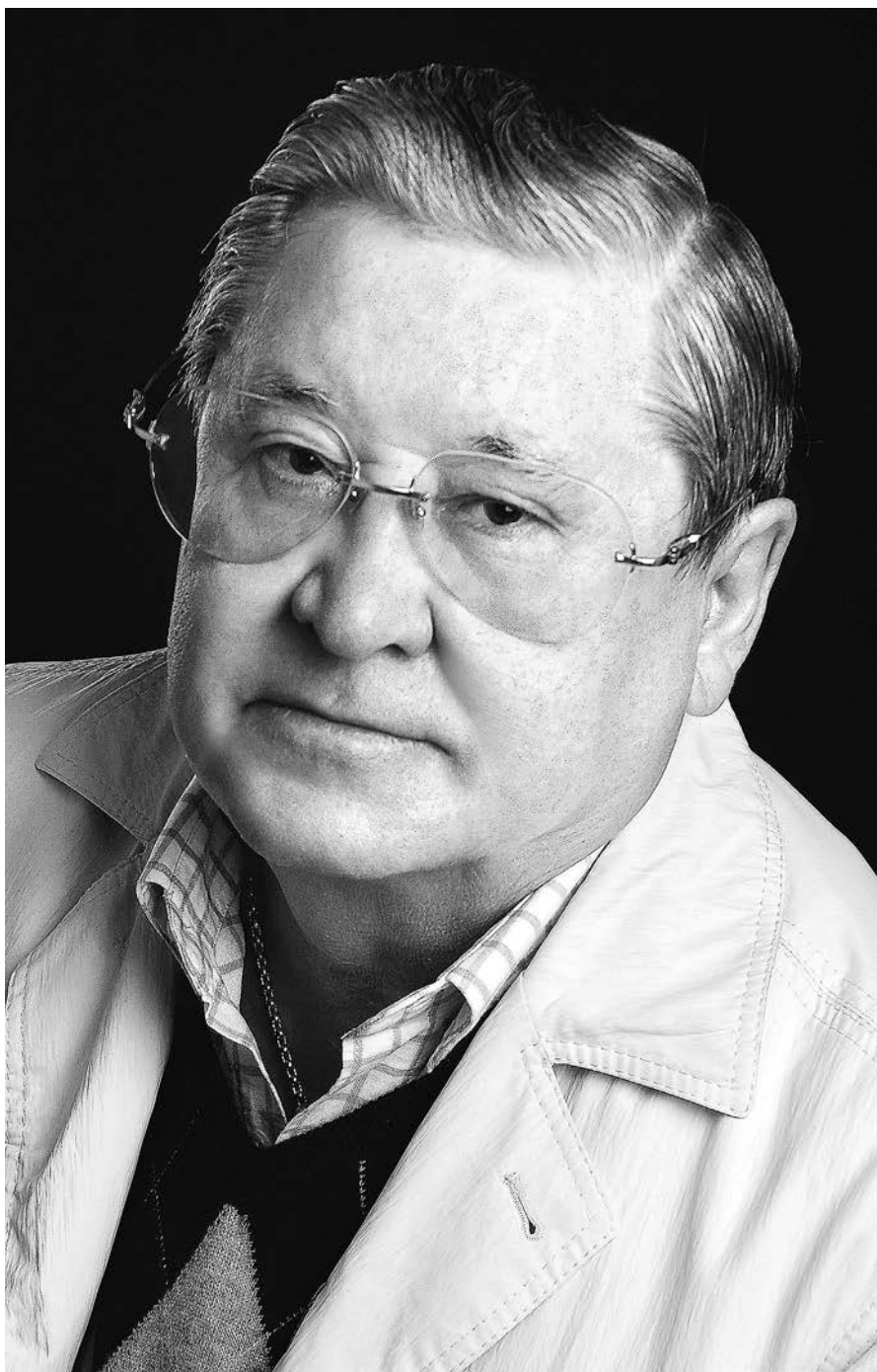
Восхищаюсь твоим литературным мастерством построения многоплановых сюжетов, способностью кардинально менять тематику каждого большого и малого произведения. Твою прозу отличает незаемный стиль, свой неповторимый слог, своя ритмика, редкая музыкальность фразы.

Читая твои книги, заново открываешь время, в котором живёшь — столь широк, многогранен, неохватен твой талант, твой взгляд на мир. Я поражаюсь твоим оценкам этого времени, событий, людей — в них ярко отражена позиция писателя, не обходящего острые углы, для которого не существует неперикасаемых личностей и тем.

Здоровья, успехов, новых романов!

Сердечно обнимаю.

Марс Шабаев, лауреат премии Г. Тукая.





# Рауль Мир-Найдаров

Том второй

## Пешие прогулки

роман



УДК  
ББК  
Р

**Р Мир-Хайдаров Р.М.**

Литературно-художественное издание  
Собрание сочинений в десяти томах  
Том второй  
Пешие прогулки  
Серия «Черная знать» — 896с.  
Казань «Идель-Пресс»

Первый роман тетралогии «Черная знать», «Пешие прогулки», вышел одновременно в Москве и Ташкенте — беспрецедентный случай в советской литературе.

Ташкентский тираж составлял 250 тысяч экземпляров. До этого роман был напечатан в журнале «Звезда Востока» тиражом 275 тысяч. В течение года, до выхода второго романа «Двойник китайского императора», «Пешие прогулки» издавались ещё трижды, преодолев тираж в два миллиона экземпляров. В том же году Рауль Мир-Хайдаров стал лауреатом премии МВД СССР. Тогда же за роман-бестселлер на автора было совершено тяжелое покушение. Он чудом остался жив, став инвалидом второй группы на всю жизнь. Выйдя из больницы, писатель вынужден был покинуть Ташкент, где прожил 30 лет, и уехать в Москву.

После издания «Пеших прогулок» каждый год у него выходил очередной роман, первые четыре книги составили знаменитую серию «Черная знать», чуть позже появится и пятый роман «За все — наличными», тематически примыкающий к «Черной знати». Все пять романов на сегодня переиздавались 73 раза тиражом более 7 миллионов. Романы продолжают издаваться и переводиться, по ним написаны пьесы, радиопостановки, сценарии, защищены десятки диссертаций.

Американская пресса в своё время назвала Мир-Хайдарова «исследователем мафии», а газета «Филадельфия инкуайер» прислала в Ташкент корреспондента Стива Голдстейна, который сделал интервью с писателем на целый газетный подвал. Эта публикация привлекла к автору внимание многих европейских газет, которым он позже давал интервью как специалист по русской мафии.

Экономисты считали его специалистом по теневой экономике, а спецслужбы — крупнейшим аналитиком, заглянувшим на десятилетия вперёд.

Бывший и.о. Генерального прокурора России, бывший прокурор Узбекистана Олег Гайданов в своей книге «На должности Керенского, в кабинете Сталина» сказал о Рауле Мир-Хайдарове: «... Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного в работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и... криминального мира, чем автор тетралогии «Черная знать».

ISBN

© Мир-Хайдаров Р.М., 2018  
© Шарафутдинов Р.М., 2018



## Творческая биография

**МИР-ХАЙДАРОВ РАУЛЬ МИРСАИДОВИЧ** — писатель, заслуженный деятель искусств (1999 г.), лауреат премии МВД СССР (1989 г.), родился 17 ноября 1941 года в поселке Мартук, Актюбинской области, в семье оренбургских татар. По образованию — инженер-строитель. 20 лет проработал в строительстве, и работа позволила ему изъездить страну вдоль и поперек. В молодые годы увлекался боксом, имел первый спортивный разряд. В партии никогда не состоял, большим начальником не был. В возрасте тридцати лет на спор с известным кинорежиссером написал рассказ «Полустанок Самсона», опубликованный в московском альманахе «Родники» и записанный на Всесоюзном радио. В 1975 году был участником VI Всесоюзного съезда молодых писателей, в одном семинаре с драматургом Ниной Садур.

В сорок лет оставляет строительство и становится профессиональным писателем. Он издал более сорока книг в главных издательствах СССР: «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Художественная литература».

Широкую известность писателю принесла серия «Черная знать», в которую входят тетралогия романов: «Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», «Мать пиковая», «Судить буду я» и тематически примыкающий к ним роман «За всё — наличными». Книги из серии «Черная знать» имели по десять, пятнадцать, двадцать изданий каждая. Это остросюжетные политические романы с детективной



интригой, написанные на огромном фактическом материале. В них впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые показана коррупция в самых верхних эшелонах власти, включая кремлевскую. Показано сращивание криминала со всеми ветвями государственной власти. Первый роман тетралогии — «Пешие прогулки» — вышел в 1988 году в «Молодой гвардии» с предисловием известного критика и редактора журнала «Континент» Игоря Виноградова. Роман на сегодняшний день выпущен 24 изданиями (из них 4 раза по 250 тысяч экземпляров) и продолжает издаваться. После выхода романа на автора было совершено покушение, и он чудом остался жив, проведя 28 дней в реанимации и долгие месяцы в больницах. Ныне писатель — инвалид второй группы.

Американская газета «Филадельфия инкуайер» прислала специального корреспондента Стива Голдстайна в связи с покушением на писателя и посвятила этому событию целую полосу под заголовком: «Исследователь мафии». Позже известный романист выступал во многих европейских газетах по проблемам преступности, давал интервью. Это о Р. Мир-Хайдарове сказал в своей книге «На должности Керенского в кабинете Сталина» бывший и.о. Генерального Прокурора России О.И. Гайданов: «Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного о работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и... криминального мира, чем автор тетралогии «Черная знать».

После покушения и выхода новых романов жизнь в Ташкенте стала для него невозможной: постоянные угрозы и шантаж, угнали машину, рассыпали набор романа «Судить буду я», запретили постановку пьесы режиссера В. Гвоздкова, написанной драматургом В. Баграмовым по роману «Пешие прогулки». И Мир-Хайдаров иммигрирует в Россию. Уже в Москве дописывается последняя книга тетралогии «Судить буду я», написан пронзительно грустный ретро-роман о жизни, о любви — «Ранняя печаль». В 1997 г. вышел роман о российской мафии, о жизни «новых русских», о крупных аферах в России — «За все — наличными», автобиографическая повесть «Мартук — пристань души моей» и мемуары «Вот и всё... я пишу вам с вокзала».





*В молодые годы известный романист страстно увлекался футболом, дружил со знаменитыми футболистами своего времени: Михаилом Месхи, Славой Метревели, Гурамом Цховребовым, Геннадием Красницким, Станиславом Стадником, Берадором Абдураимовым. Театрал, меломан, любил и знал балет, дружил с народным артистом СССР Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Поклонник джаза — был знаком со многими джазменами из оркестров Орбеляна, Цфасмана, Лунгстрема, Эдди Рознера, Кролла, Вайнштейна, Гаджиева, Гобискерри. Специально брал отпуск зимой, чтобы побывать в московских театрах, общался с Олегом Далем, Валентином Никулиным. Смотрел все знаменитые спектакли театра «Современник» конца 60-х — начала 70-х.*

*Ныне остались увлечение коллекционированием живописи и, конечно, писательский труд, любовь к которым оказалась сильнее и футбола, и джаза, и театра. Он — обладатель одной из самых больших частных коллекций современной живописи в России.*

*60-летний и 70-летний юбилеи были отмечены на государственном уровне на родине писателя, в Казахстане, в Казани, в Москве. В дни 60-летия в областном историко-краеведческом музее Актюбинска был открыт зал, посвященный знаменитому земляку, в нем выставлены 60 картин, подаренных им городу из его частной коллекции. Одна из улиц его родного Мартука названа именем Рауля Мир-Хайдарова (1996 г.). Там же, в Мартуке, открыт литературный музей писателя, и действуют два школьных музея. Р. Мир-Хайдаров — Почетный гражданин Казахстана, член редколлегии международного журнала «Аманат», представлен в энциклопедиях Казахстана, Узбекистана, Татарстана и Википедии. Щедро цитируется в «Толковом словаре ненормативной лексики» издательства «Астрель» 2003 г., автор Д.И. Квисилевич. В книге «Стиляги» имя Рауля Мир-Хайдарова часто упоминается наряду со многими известными людьми, бывшими в юности, как и он, стильягами.*





## Библиографическая справка

### Романы:

- «Пешие прогулки» — роман (25 изданий)*  
*«Двойник китайского императора» — роман (18 изданий)*  
*«Масль пиковая» — роман (17 изданий)*  
*«Судить буду я» — роман (14 изданий)*  
*«Ранняя печаль» — роман (10 изданий)*  
*«За всё — наличными» — роман (12 изданий)*  
*«Вот и всё... я пишу вам с вокзала» — мемуары (3 издания)*

### Сборники романов, повестей и рассказов:

- «Полустанок Самсона» — рассказы*  
*«Оренбургский платок» — рассказы*  
*«Такая долгая зима» — рассказы*  
*«Путь в три версты» — рассказы*  
*«Знакомство по брачному объявлению» — повести*  
*«Жар-птица» — рассказы*  
*«Интервью для столичной газеты» — повести и рассказы*  
*«Не забывайте нас» — повести и рассказы*  
*«Дамба» — повести и рассказы*  
*«Чти отца своего» — повести и рассказы*  
*«Из Касабланки морем» — повести и рассказы*  
*«Седовласый с розой в петлице» — романы и повести*  
*«Налево пойдешь — коня потеряешь» — романы и повести*  
*«Масль пиковая» — роман и повести*  
*«Горький напиток счастья» — повести и рассказы*  
*«Судить буду я» — роман и повесть*



### Собрания сочинений:

*Изд-во «Художественная литература» — однотомник*

*Изд-во «Голос» — собрание сочинений в 4-х томах*

*Изд-во «Грампус Эйт» — собрание сочинений в 3-х томах*

*Изд-во «Южная Пальмира» — собрание сочинений в 4-х томах*

*Изд-во «Идель-Пресс» — собрание сочинений в 5-ти томах*

*Изд-во «KAZAN-KAZANЬ» — собрание сочинений в 6-ти томах*

*Изд-во «Идель-Пресс» — собрание сочинений в 10-ти томах*

*Тетралогия «Черная знать», в которую вошли «Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», «Мать пиковая», «Судить буду я», изданы тиражом более 5 миллионов. Два романа: «За все наличными» и «Ранняя печаль» изданы 18 раз тиражом более 2 миллионов экземпляров. Сборники романов, повестей и рассказов, переизданные многократно, вышли тиражом более 3 миллионов экземпляров.*

*Романы «Ранняя печаль», «За всё — наличными» и «Мать пиковая» записаны на аудиокассетах на 87 часов звучания. Книги переводились на многие иностранные языки и языки народов СССР. Почти вся проза имела журнальные публикации и записана на Всесоюзном радио, а также широко представлена в Интернете. В 2009 г. на российском телевидении в цикле «Имена» снят фильм о Рауле Мир-Хайдарове.*

*Общий тираж книг превышает 10 миллионов экземпляров.*

*e-mail: [mrraul61@hotmail.com](mailto:mrraul61@hotmail.com)*

*сайт: [www.mraul.ru](http://www.mraul.ru)*









## Пешие прогулки

роман

«Лас-Вегас»

**В** середине сентября неожиданно пошли дожди, столь редкие в этих жарких краях, и пыльный городок, выцветший за долгое азиатское лето от немилосердного солнца, преобразился: исчезли с окон выгоревшие до хрупкой желтизны газеты, распахнулись ставни, старившие и без того неказистые здания, вымытая ночными ливнями листва деревьев обрела подобающий осени цвет.

Обозначились истинные цвета железных крыш коттеджей и особняков, утопавших в пыльных, млеющих от жары садах, — зеленые, темно-красные, голубые; иные, покрытые белой жесью, заиграли зеркальным блеском, а ведь еще неделю назад все были на одно лицо под бархатистым слоем мелкой серой пыли. Пыль преследовала горожан повсюду, забираясь даже в наглухо закрытые комнаты, где с весны не отворяли окон. Конечно, будь полегче с водой, в долгие летние вечера не составило бы труда выбрать минутку и обдать из шланга палисадник под окнами, но воды в нынешнем году явно недоставало: давали ее лишь в определенные часы, о чем заблаговременно оповещали горожан по радио. Засушливым выдалось лето, резко обмелела Сырдарья — главная полица этих мест.

После дождей обрели цвет разбитые мостовые и тротуары, омылись бордюры из светлого местного камня — за лето прибило к ним всяких бумажек, окурков, опавших листьев и, опять же, пыли, оседающей лишь к ночи. Лишь темнота и



скорее подразумеваемая вечерняя свежесть, которую, кроме старожил, вряд ли кто ощущал, как бы гасили запах пыли, заставляли забыть о ней до утра.

А тут, как после генеральной уборки в хорошем доме, отмылись подоконники, карнизы, фасады, заблестели стекла, и теперь по вечерам городок, словно обновленный, светился огнями, гремел музыкой.

Поселок обрел статус города лет двадцать назад, но таковым по существу не стал, и теперь вряд ли когда-нибудь станет, потому что рудник, благодаря которому поспешили назвать городом захолустный райцентр, быстро оказался выработанным, хотя геологи раструбили на всю страну о якобы уникальном заложении, неисчерпаемых запасах, о промышленных разработках на сотни лет самой качественной и дешевой руды в мире. Поселок, заметно расстроившийся, но так и не ставший настоящим городом, имел почти все, что положено городу. За десять лет, пока работал рудник, успели построить кинотеатры, Дворец горняков, рестораны, музыкальную школу, помпезное здание рудоуправления, стадион, две гостиницы. Не обделили себя и местные власти: здание городского суда и прокуратуры, которое в городке называли Домом правосудия, было под стать столичному. Из местного белого камня отстроили и горком партии, и горисполком, на их фасады мрамора тоже не пожалели. Не успели достроить только драмтеатр и больницу — финансирование прекратилось сразу, как только на руднике начались сбои с планом. И стояли наполовину поднятые корпуса как напоминание о былой финансовой мощи городка и его некогда стремительном росте, а окрестный люд, выждав, по его мнению, приличное время, начал потихоньку тащить со стройки все, что только можно. Успели за эти годы отстроить два микрорайона из пятиэтажек, как и всюду по бедности фантазии нареченные Черемушками — первыми и вторыми, и несколько улиц с уютными коттеджами и особняками для технической интеллигенции и руководства комбината.

Когда рудник закрыли, специалисты и часть рабочих уехали на новые разработки, а часть осталась в городке, какая, сказать трудно, скорее всего из местных, тех, что за десять лет успели стать шахтерами или работали на многих вспомогательных участках комбината и на стройках. Как бы там ни было, ни одна



квартира в Черемушках не пустовала. Пока работал рудник и бурно расстраивался городок, воды всегда хватало вдоволь — комбинат содержал мощные насосные станции и решал любые, подчас сложные проблемы снабжения города водой. И в эти десять лет городок не только рос, но и щедро озеленялся, — отцы города денег не жалели, с управления благоустройства спрашивали строго, и улицы утопали в зелени.

Рудоуправление свернуло свои дела и откочевало в неизвестном направлении, оставив новоявленному городу множество проблем, день ото дня нарастающих, словно снежный ком. Наверное, и в области, и в республике долго не могли опомниться от шока после закрытия прибыльного рудника, и от всех запросов города отбивались, как от назойливой мухи, потому проблемы и множились год от года. Вернуть городу прежний статус поселка никто не решался, — такого прецедента, пожалуй, не было в стране. Шаг назад, даже разумный, не поощряется, да и местное начальство вряд ли одобрило бы подобную идею, кто же станет рубить сук, на котором сидит.

В городе имелся маломощный авторемонтный заводик, комбинат прохладительных напитков, куда входил пивзавод, станция технического обслуживания «Жигулей», фабрики постельного белья и керамической посуды, шелкомотальные цеха, которые даже с натяжкой трудно было назвать фабрикой, хотя именно так они официально именовались, но все это были предприятия мелкие, с незначительным штатом, устаревшим оборудованием, по преимуществу полукустарные. Раньше, до изменения статуса поселка, они числились артелями и вели свою родословную из далеких тридцатых годов, когда звались еще товариществами. Все эти слабосильные предприятия, как и по-городскому разветвленная сеть бытового обслуживания, общественного питания, конечно, не могли обеспечить работой всех жителей полупоселка-полугорода, на две трети состоящего из частных усадеб, где кое-кто до сих пор держал корову, свиней или пяток овец и жил или за счет сада, или за счет огорода, а чаще за счет того и другого. В давние времена, когда поселок зарождался, делили байскую землю щедро, и подворья оказались и по пятнадцать, и по двадцать соток, словно люди тогда еще предчувствовали, что кормиться придется все-таки с земли.





В первый год после ликвидации рудника городок жил словно в оцепенении: что же будет дальше, ведь жизнь свою люди прочно увязывали с шахтами. Те, кто не представлял себе будущего без рудника, в основном горняки из пятиэтажек, покинули поселок без особого сожаления, а оставшиеся стали приравниваться к новым обстоятельствам, и, надо сказать, небезуспешно. Уже через два года, похоже, тут стали забывать и о руднике, и о высоких шахтерских заработках, городок зажил новой, не похожей на прошлое жизнью. Резко вздохнули дома, и город-поселок, лишенный работы, стал вновь бурно расстраиваться — правда, теперь уже его частный сектор. Один за другим поднимались добротные кирпичные дома с просторными открытыми верандами, столь популярными в жарком краю. Появился даже целый район, сразу прозванный почему-то Шанхаем, наверное, оттого, что строились там преимущественно корейцы, неожиданно полюбившие новоявленный город, на что у них имелись свои причины. Местные власти, поначалу ломавшие голову, как трудоустроить потерявших работу жителей, вскоре успокоились: жизнь как-то сама все утрясла.

Город неожиданно охватила бурная предпринимательская деятельность: спешно возводились теплицы, оранжереи, парники, лимонарии, домашние инкубаторы, размаху которых могли позавидовать иные государственные предприятия. Появились и пчеловоды. Конечно, и раньше кое у кого в поселке имелась пасека или теплица, но то было так, хобби, дилетантство; теперь же строились основательно, так сказать, на индустриальной основе, благо опыт имелся. Часть горожан специализировалась на цветоводстве: одни занимались тюльпанами и гвоздиками, другие предпочитали зимние каллы и весенние бульдонежи, третьи выводили розы каких-то немислимых сортов, четвертые — хризантемы и гортензии. Были среди них занимавшиеся только выведением семян и луковиц для продажи. У каждого дела стихийно объявлялись лидеры, авторитеты, при них складывался совет, инициативная группа, решавшая все вопросы — от конкуренции до объемов производства, они же регулировали цены — оптовые и розничные. Одни занимались цветоводством круглый год, другие выращивали цветы лишь к определенным датам — к Восьмому марта, Новому году...



А уж какие только ранние овощи не поспевали в парниках и теплицах! И опять же люди старались специализироваться на чем-нибудь одном или чередовали производство овощей с фруктами и зеленью. В конце февраля у самых умелых уже поспевали помидоры, а огурцы не переводились всю зиму. Ранняя редиска, капуста, обычная и цветная, сладкий болгарский перец и острый мексиканский, которые до мая продают не на вес, а поштучно, радовали глаз покупателя. А зелень! Первый тонкий лучок, по-местному лук-барашек, укроп, кинза, кресс-салат, называемый армянами кутен, а грузинами цицмати, молодой чеснок, первая морковь, что продается в пучках рядом с зеленью, щавель, мята, трава тархун, даже летом стоящая не менее пятидесяти копеек за пучок, — все росло в просторных дворах-усадебках и приносило немалый доход хозяевам.

А как тут лелеяли рассаду, какой селекцией занимались, чтобы снять урожай пораньше да побольше, отдавая работе не только дни и ночи, но и свое жилье до весны, до теплых дней. Этому энтузиазму и знаниям могли бы позавидовать специалисты из академии сельскохозяйственных наук. Здесь не только знали всё о гидропонике, но и широко использовали ее, особенно семьи, занимавшиеся выращиванием рассады. Заключали договоры с овощными совхозами и продавали в сезон до ста тысяч штук той или иной рассады, а иная стоила по двадцать копеек, — и все это на законных основаниях.

Одни, начав с цветов или ранних помидоров, накопив достаточную сумму, строили лимонарии, потому что в Ташкенте селекционер-самоучка вывел сорт лимона, вызревающий в Средней Азии и по вкусу и размерам намного превосходящий иные известные сорта. И не только вывел, а вырастил целые промышленные плантации, и для желающих приобрести саженцы и консультацию это не составляло труда, было бы желание. А уж вырасти десяток лимонных деревьев, и они себя оправдают. Можно и на базар не возить — потребкооперация охотно закупала лимоны, благо продукт не скоропортящийся. Лимонарий казался горожанам беспроигрышной лотереей, самым надежным вложением труда и средств.

Пожалуй, трудно даже перечислить их все — какими только промыслами не занимались жители небольшого городка, на неопределенное время предоставленные сами себе, пока



городские власти готовили проекты, предложения, просьбы в вышестоящие инстанции, выпрашивая для города какое-нибудь крупное предприятие или завод, чтобы занять население. Но такие предложения, даже самые благие, быстро не осуществляются: нужно попасть в планы пятилетки, необходимы экономические обоснования и расчеты, технические проекты, решения Госплана — в общем, годы и годы.

А пока кто-то умудрялся в погребе и старых темных хлевах выращивать шампиньоны и без особых помех сдавать их в местные рестораны при гостиницах. Другие без затей, без парников, теплиц и гидропоники просто сажали капусту, огурцы, помидоры, и что не удавалось продать, солили и всю зиму торговали соленьями. Капуста, стоившая в сезон десять копеек, зимой, квашенная с морковкой, тянула уже на два рубля. Солили капусту с морковкой и яблоками — летом их тоже некуда было девать, — солили и по-гурийски, с красной свеклой, целыми кочанами, солили вперемешку с арбузами — наверное, вряд ли упустили какой-то рецепт, известный в народе.

Если овощами, фруктами, зеленью увлекались многие, то были в поселке и люди, занимавшиеся промыслом редким: держали нутрий, песцов, кроликов. А раз появился мех, объявились и скорняки, и шапочники, и вся округа щеголяла в прилизанных нутриевых шапках, мужских и женских, сразу вдруг ставших модными. А одна семья разводила даже породистых собак — от комнатных болонок до сторожевых овчарок, пользующихся особой любовью и спросом во всех окрестных кишлаках. Так у них очередь на потомство была расписана на год вперед, и, чтобы заполучить щенка, следовало заранее оставлять аванс. Наезжали к ним не только из соседних городов, но даже из соседних республик — так далеко разнесся слух о необычном заводчике.

Город, утративший былую экономическую значимость, конечно, сняли с щедрого государственного довольствия, коим по праву пользуются люди такой тяжелой профессии, как шахтеры. Но жители, приспособившись к новым обстоятельствам, вряд ли ощущали себя в чем-нибудь ущемленными, хотя, памятуя о том, что большинство из них не занято «общественно полезным» трудом, время от времени, особенно перед выборами, давали наказы своим депутатам: дескать, городу



нужен завод или фабрика. Правда, вряд ли избиратели верили в скорое решение проблемы, и потому не сидели сложа руки, а занимали их чем могли.

## 2

Была в городе улица, не самая главная, не самая шумная и оживленная, но на ней всегда по вечерам, а иногда и далеко за полночь из конца в конец слышалась музыка. Так случилось, что на этой улице оказались все три городских ресторана, и можно было, прошагав ее всю, переходить от мелодии к мелодии, словно участвуя в музыкальной эстафете. Улица эта ничем не отличалась от остальных в центре городка, если не считать того, что на ней располагалось управление благоустройства, и только на ней да еще на площади, где находились главные административные здания города, единственная поливомоечная машина горкомхоза дважды в день щедро обдавала водой не только мостовую и тротуары, но и деревья, цветы и клумбы у обеих гостиниц. Наверное, улица эта была самой уютной, но местный люд предпочитал шумную, в огнях, главную улицу имени Ленина, где располагались почти все магазины городка и два однозальных кинотеатра, названные отчего-то на кавказский лад «Арагат» и «Арагви», — здесь по вечерам всегда было многолюдно. Кино в городке любили и ходили по старинке смотреть новые фильмы целыми семьями: с бабушками и дедушками, с внуками, что непременно засыпали во время сеанса на коленях. У многих за долгие годы здесь имелись чуть ли не свои фамильные ряды, свои места, и приезжему попасть на хороший фильм, да еще на последний сеанс, было не так-то просто.

В большинстве народ в городке был, так сказать, «при деле»: кто трудился на своем подворье, кто работал на мало-мощных местных предприятиях, и праздный люд можно было видеть только у кинотеатров перед началом сеансов. Даже подростки не болтались по улицам — им-то более всего находилось дел в усадьбах.

Но жил в городе человек, который ежевечерне совершал прогулки по той самой неглавной улице имени маршала Будённого, где редко умолкала музыка. Он любил эту улицу,



ее малолюдые, пустые тротуары, вдоль которых еще шли в рост серебристые тополя, стройные чинары, молодые дубки. Особое очарование улице придавали высокие кусты аккуратно подстриженной живой изгороди, тянувшиеся на целые кварталы вдоль гостиниц.

Запах роз он улавливал еще в переулке, спускаясь вниз от «Арагви». Обилие зелени, цветов, щедрый ежедневный полив создавали на улице как бы свой микроклимат, и, как он понимал, этот воздух был необходим его организму. Он и улицу эту отыскал сам. Чтобы попасть сюда, он проделывал немалый путь, и всегда пешком, хотя мог приехать автобусом.

Жил он в пятиэтажке и был одним из немногих, не имевших, как здесь говорили, ни кола ни двора, что в местном понимании имело широчайший спектр толкований, означавших, впрочем, одно — неудачник. Появился он тут год назад, когда нравы и порядки в городе не только сложились, а достигли полного расцвета. В той, прежней его жизни не было ежевечерних прогулок, к которым он бы привык, пристрастился, и сейчас продолжал свои моционны уже по привычке. Просто после очередного сердечного приступа врачи настоятельно рекомендовали — нужно ходить пешком, желательно постоянно.

Амирхану Даутовичу Азларханову, совершавшему каждодневные пешие прогулки, было под пятьдесят. Выправкой и особой статью он не отличался и не выглядел моложе своих лет — наоборот, ему можно было дать и больше. Ребятня во дворе называла его дедушкой, и он не обижался, как обижаются иные молодящиеся бабушки и дедушки, только иногда грустил, но не оттого, что жизнь прошла, пронеслась, поскольку дедушка, как ни хорохорься, есть дедушка, а потому, что он, к сожалению, дедушкой в полном смысле этого слова не был. Не дал ему бог ни внуков, ни детей, хоть мечтали они с женой о ребенке.

Высокий, крепкий в кости, он сейчас заметно сутулился, плечи его время от времени безвольно никли, словно смиряясь с непосильной ношей, и он, чувствуя это, вдруг спохватывался, распрямлял спину, вскидывал голову, и тверже, четче становился его шаг.

Внимательному наблюдателю все эти преобразования непременно бросились бы в глаза, и наверняка этому любопытному



пришло бы на ум, что в молодые годы незнакомец обладал завидным здоровьем и был хорош собой. Сейчас на его лице выделялись усталые погасшие глаза, они-то более всего старили человека, что, в общем, случается не часто — как правило, природа дольше всего оставляет нам неизменными голос да взгляд. Он был сибиряк, а это понятие не случайно связывают со здоровьем, крепостью характера, цельностью натуры; более того, был он не просто сибиряком, а потомственным, и помнил свой род до седьмого колена, хоть со стороны матери, хоть со стороны отца, происходившего из старинного рода сибирских татар.

Немолодой человек, каждый вечер не спеша прогуливавшийся мимо трех городских ресторанов по немногочленной улице Буденного, невольно обращал на себя внимание. Нет, не своим костюмом — пожалуй, он был вообще чужд пристрастиям моды — и тем не менее выпадал из толпы, как сказала однажды о нем бухгалтерша с завода, где он работал. И не то чтобы он был человеком старого воспитания, старомодной учтивости, но его ровное, без подобострастия, но и без гордыни поведение, желание как-то обособиться, не выделиться, а именно обособиться, умение держаться даже с сослуживцами на определенной дистанции, которую он определял сам, ограждали его от людей некоей стеной, хрупкой и прозрачной, но осязаемой, создавали вокруг него пустое пространство, род убежища, которым он явно дорожил.

Конечно, в небольшом городке его знали, и при встрече, будь то на прогулке или по пути на работу, он сдержанно раскланивался со знакомыми, старомодным жестом, вышедшим из обихода, приподнимал шляпу. И тогда можно было увидеть тронутые сединой, но еще по-молодому густые, с живым блеском волосы, чуть вьющиеся, коротко подстриженные, с четким пробором; при этом он сразу становился похож на знаменитого киноактера. Правда, сам он вряд ли об этом догадывался, потому что в кино ходил редко.

И еще одно обращало на себя внимание в поведении этого человека. Никто и никогда не видел его мечущимся, спешащим, суевливым, с явной озабоченностью на лице, как у новых его земляков, по горло занятых подворьем или предпринимательской деятельностью.



Возвращаясь с обеда на службу, он часто по пути заглядывал в книжный магазин, по нашим временам довольно-таки богатый — книгами в городке интересовались мало. Входя, он непременно здоровался с продавщицами как со старыми знакомыми, и те, еще только завидев его в окне, спешно ставили на полку две-три отложенные книги из модных новинок. Но книги он покупал не часто, и редко именно те, которыми хотели его порадовать молодые продавщицы, чем всегда вызывал удивление — уж они-то полагали, что знают, какая книга чего стоит.

Поначалу его даже принимали за нового секретаря горкома, вроде бы так вот демократично, по-простому знакомящегося с местной жизнью, и город полнился слухами. Народ ведь любит байки, когда якобы тот или иной большой чин, подобно старинному падишаху, явно или тайно обходит свои владения, чтобы увидеть все самому, послушать, о чем народ говорит. Заходит, к примеру, в магазин и просит взвесить полкило дефицитной колбасы, а его принимают там за шутника. Или упорно пытается проехать каким-нибудь автобусным маршрутом от конечной до конечной, чтобы наутро вызвать директора автотреста на ковер... Молва есть молва, и везде она одинакова, поскольку проблемы те же... Он, конечно, чувствовал в те дни необычное внимание к себе, ловил изучающие взгляды, но мысль, что его могут принять за кого-то другого, тем более «хозяина» города, ему и в голову не приходила. И вряд ли он когда-нибудь узнал бы о подобном курьезе, если б не рассказали ему об этом на работе. Он весело посмеялся вместе со всеми, но в душе посчитал этот знак добрым предзнаменованием судьбы.

Конечно, самообман горожан скоро рассеялся, и кто уж очень любопытствовал, тот узнал, что незнакомец работает на местном консервном заводике на неприметной должности. Но, как ни странно, новость ни у кого не вызвала ни насмешек, ни иронии, наоборот, что бы там ни говорили о нем люди, но в одном сошлись любители посудачить: приезжий, прогуливающийся каждый вечер пешком, был некогда, несомненно, большим человеком. Народ любит «опальных князей», и незнакомец, немногословный и замкнутый, вызывал скорее симпатию, чем безразличие.

И потому, когда Азларханов появлялся на базаре, покупая в одних торговых рядах лепешку, в других зелень, в третьих



фрукты, и всегда понемногу, ибо не лишал себя удовольствия часто ходить на рынок, какому-нибудь новичку на вопрос — кто это? — обычно, поднимая взгляд к небу, отвечали: большой человек. При этом, разумеется, не вдавались в подробности, Впрочем, этого и не требовалось: восточному человеку достаточно этих двух слов.

И на базаре, и в тех местах, где он обедал, его принимали как своего, как соседа, порою он даже чувствовал себя неловко.

Обедать ходил он в чайхану при автостанции, где частники жарили шашлык, подавали лагман, приготовленный где-нибудь в усадьбе поблизости, торговали тут и самсой, и нарынком, и хасыпом — район возле автовокзала весьма успешно конкурировал с общепитом. Заходя в чайхану, он непременно раскланивался с чайханщиком, человеком своих лет, и всегда у чайханщика находились для него стул и место, даже если и тесно было в помещении. С чайханщиком они иногда обменивались ничего не значащими словами о погоде, здоровье, пока тот заваривал для него чай и ополаскивал крутым кипятком пиалу без единой щербинки. А когда он усаживался, рядом сразу появлялся какой-нибудь мальчишка из тех, что помогают в чайхане или крутятся возле своих домашних, торгующих на улице.

Его обед, по местным городским понятиям, был более чем скромным — пол-лагмана и палочка шашлыка или полшурпы и одна горячая самса, или пара палочек шашлыка из свежей печени, или штуки три манты с курдючным салом и мелко нарезанной бараниной и горячая лепешка. Мальчишки никогда не заставляли себя ждать: и лепешка оказывалась румяная, шашлык хорошо прожаренным, шурпа обжигаящая, а сдачу ему приносили до монетки, хотя тут любили округлять суммы. Поднявшись, он сдержанно благодарил чайханщика, и если проходил мимо торговых рядов, то и тех, у кого мальчишки покупали еду, причем он безошибочно угадывал, у кого брали шашлык, у кого самсу — и сдержанная благодарность эта особо ценилась бесцеремонным торговым людом. Привыкшие к тому, что кругом лебезили, заискивали, продавцы уважали ту дистанцию, что установил с ними этот одинокий немногословный человек. И, отодвигая в очереди какого-нибудь важного и денежного клиента, они тем самым как бы намекали на





некую причастность к нему, случайно попавшему в их город человеку, которого, по слухам, должны были вот-вот куда-то отозвать, затребовать, и, конечно, вызов предполагался по самому крупному счету.

## 3

Однако шло время, бежали недели, месяцы, никто и никуда Азларханова не отзывал, а он продолжал совершать свои каждодневные пешие прогулки, только изредка пропадая из города на несколько дней по делам консервного заводика: ездил то в область, то в столицу республики отстаивать интересы своей «фирмы», которой все чаще и чаще предъявляли штрафные санкции за качество продукции. Возвращался он из центра всегда расстроенный, потому что в оба конца — и от производителя, и от потребителя — вез неутешительные вести; но, памятуя о здоровье, а чаще все-таки по инерции, сложившейся привычке, выбирался по вечерам из дома. Проходя по улице Буденного, мимо трех городских ресторанов, каждый из которых назывался еще претенциознее, чем местные кинотеатры, а именно: «Лидо», «Консуэло» и «Шахерезада», он невольно отмечал: вот уж где жизнь всегда бьет ключом. И пусть рядом пересеивают после весенних ливней или заморозков хлопок, пусть люди в кишлаках плохо питаются, особенно туго бывало с мясом, пусть тысячи и тысячи студентов и школьников трудятся вдали от дома на сельхозработах, пусть где-то наводнение, землетрясение, голод, ураганы, пожары, месячники, субботники, воскресники, засухи, перевороты, локальные и региональные войны — тут всегда царил праздник сытой жизни, и кому-нибудь в городе, наверное, казалось куда престижнее быть завсегдаем «Лидо», чем, скажем, почетным членом Европейского географического общества.

Что время бежит стремительно, это, пожалуй, ощущает каждый, но если вдруг выпадаешь из жизни, в которой еще живешь, — такое примечает не всякий, и то не сразу, а постепенно, сначала в мелочах. Гуляя как-то по излюбленной улице, он словно впервые услышал, что нынче в ресторанах исполняют другую музыку, поют новые песни. Теперь он прислушивался к музыке внимательнее, полагая, что ошибся, что



вот-вот, через день-другой, зазвучит что-нибудь знакомое, донесется из распахнутых настежь окон, в стеклах которых полыхали отсветом яркие люстры, знакомая песня. Но проходила неделя, вторая, и хотя репертуар трех ресторанных оркестров был довольно-таки обширным, он не услышал ни одной старой, привычной мелодии и отчего-то расстроился. «Я как инопланетянин», — впервые сказал он себе тогда.

Музыкой он особенно не увлекался, но в молодости отдал ей должное, ходил на танцы и студенческие вечера. Тогда, в годы его юности, они не были перекормлены музыкой, как теперешние молодые, и оттого многое сохранилось в памяти. Так вот, из того музыкального багажа он не слышал сейчас ни одной мелодии, ни одной песни — и это усиливало ощущение выключенности из жизни.

Тем более неожиданным для него было, когда во время обычной вечерней прогулки, занятый своими мыслями, он однажды услышал из окна «Шахерезады» мелодию, которая вроде бы показалась ему знакомой. Поначалу он решил, что ошибся; это была современная музыка с рваным ритмом и неистовыми ударными. Оркестр смолк, и он постоял еще немного под окнами, надеясь, что, возможно, кто-нибудь попросит повторить вещь — дело обычное. Случалось, что какой-нибудь шлягер звучал во всех трех ресторанах одновременно и по три, четыре раза подряд. Хотя он не бывал до сих пор ни в одном из местных заведений, но догадывался, что оркестры играли, как правило, на заказ, потому музыку на этой улице можно было услышать и далеко за полночь.

Но на этот раз не повезло, музыканты заиграли что-то другое.

Однако, когда он подходил к «Лидо», словно угадав его желание, эта музыка зазвучала вновь, и он невольно улыбнулся: ну, конечно, новомодная штучка, раз играют в каждом ресторане — и, уже теряя интерес, двинулся дальше. Но странно, чем дальше он уходил, тем явственнее слышал эту музыку. «Что за чертовщина, неужто с годами у меня обострился слух?» Он действительно предугадывал, что сейчас вот начнет саксофон или партия перейдет к трубам, а потом вступят ударные.

И наконец он вспомнил!



Ну, конечно, Элвис Пресли, «Рок круглые сутки»! Далекие студенческие времена! Неожиданно для самого себя он вдруг решил заглянуть в «Лидо».

Когда он появился в зале, вечерняя жизнь ресторана уже набирала силу, вино и музыка делали свое дело. Громкие, возбужденные разговоры, преувеличенно раскатистый смех, радостные лица кругом, короче — подобие праздника. Хотя окна были распахнуты настежь и под высокими потолками вращались лопасти вентиляторов, все же сигаретный дым густо стлался над столами, но это, наверное, заметно было только тому, кто входил с улицы.

Сквозь голубой дым он разглядел, что зал полон — ни одного свободного столика, — и уже собирался уйти, не особенно надеясь на удачу, как неожиданно из-за колонны появился метрдотель, словно кто-то показал ему на входную дверь, и, вежливо поздоровавшись с гостем, пригласил его пройти.

В глубине просторного зала, в стороне от прохода, рядом с мраморной колонной притаился сервированный двухместный столик с табличкой «Занято», туда и привел его хозяин заведения. Хотя столик вроде и находился в тени колонны, обзор оказался широким, практически он видел весь зал, и особенно хорошо небольшую эстраду и площадку перед нею, где уже танцевали. Официант не заставил себя ждать и не отходил от стола, пока он не просмотрел меню.

Наличие шампиньонов и перепелок не удивило посетителя, поскольку предпринимательская деятельность местных жителей не была для него тайной. Правда, сам он ни разу в жизни не пробовал этих деликатесов, поэтому сейчас, пользуясь случаем, заказал то и другое и попросил принести еще чайник зеленого чая. После ухода терпеливого официанта, не выказавшего неудовольствия по поводу чайника чая в вечернее время, гость оглядел зал. Впрочем, оглядеть как раз не удалось, внимание его сразу привлекла компания неподалеку от него. Большой, богато накрытый банкетный стол занимали четверо хорошо одетых мужчин, все от тридцати пяти до сорока лет; они о чем-то шумно спорили, оживленно жестикулировали. Судя по обилию закусок на столе и батарее бутылок, они ждали еще кого-то. Что-то в этой компании



насторожило бывшего прокурора, хотя кругом, куда ни глянь, гуляли широко, шампанское, как говорится, лилось рекой.

За банкетным столом перехватили его заинтересованный взгляд, хотя гость, конечно, не был так прост, чтобы откровенно изучать соседей. Отводить глаза ему показалось недостойным, в конце концов, он же не подсматривал. И тут произошло неожиданное: под его взглядом все четверо вдруг встали и учтиво раскланялись. Он ответил легким кивком, не поднимаясь с места. Кто они такие, что за вежливость? Может, ошиблись? Но мысль об ошибке он отвел сразу: четверо обознаться одновременно не могут. Пригодился прежний опыт: тренированная память услужливо, словно снимок из фотоателье, выложила перед ним групповой портрет компании за соседним столом, хотя он больше в ту сторону не смотрел. Кто же эти хорошо одетые, уверенные в себе люди? Преуспевающие хозяйственники, высокопоставленные руководители? Было в их повадке что-то от власть имущих — работников аппарата бывший прокурор знал хорошо.

Скорее всего, это бывшие коллеги, он мог встречаться с ними в прошлой жизни, на пленумах и совещаниях в столице республики. Вот только из какой они области — непонятно, городок располагался на границе двух областей, и из обоих центров, при нынешних скоростях и автострадах, сюда рукой подать. Потому и переполнены каждый день местные рестораны: наезжают издалека люди небедные, особенно те, кому по долгу службы подобные заведения следует обходить за версту. А тут вроде ничейная территория образовалась. Не случайно приезжие «хозяева жизни» окрестили городок «Лас-Вегасом».

Догадка эта не порадовала бывшего прокурора, он подумал, что среди тех, кого эти четверо ожидают за столом, вполне могут оказаться люди, которых он действительно знал, с кем дружески общался прежде. И миновать с ними встречи и разговора будет невозможно. Но ни с кем из своей прошлой жизни он видеться не желал; хочешь не хочешь, пришлось бы отвечать на какие-то вопросы, рассказывать о нынешнем своем положении, выслушивать слова сочувствия и возмущения несправедливостью. Поэтому он не стал задерживаться в зале, быстро расправился с ужином и покинул «Лидо». В другой ситуации с удовольствием попросил бы принести еще чайник



зеленого чая, хотя настоящий китайский чай тоже остался там, в прежней жизни.

Дома он принял свое обычное сердечное, хотел заодно принять и таблетку снотворного, но передумал — в эту ночь вряд ли удастся уснуть, даже со снотворным. И не ошибся. Если бы не усталость, разбитость и заметные сбои «мотора», он, наверное, оделся и вышел бы снова погулять по ночному городу, как делал иногда, когда мучила бессонница, которую он обрел почти одновременно с первым инфарктом; теперь уже и не помнит, что чему предшествовало. Бессоннице он не придавал особого значения, больше того, считал, что это удел людей думающих, склонных к самоанализу, а у него в жизни — так уж получилось — сейчас как раз была пора раздумий, подведения итогов. В иные бессонные ночи приходили такие мысли, идеи, что он откровенно жалел, что не знал подобных бессонниц в молодые годы.

Сегодня мысли упорно возвращались к «Лидо», к той мелодии из давно прошедшей жизни, которая заставила его свернуть с обычного маршрута.

Тогда, четверть века назад, на танцплощадках страны «знайки» уже лихо отплясывали полузапретные рок-н-ролл и буги-вуги, и, кроме Пресли, восхищались и другим кумиром, джазовым певцом Джонни Холидеем. Но из того времени студенческих музыкальных увлечений, кстати, весьма непродолжительного, он запомнил именно этот «Рок круглые сутки». И на то была особая причина, достаточно веская, чтобы и сейчас, через столько лет, вспомнить все вновь и почувствовать в душе разлад, хотя теперь и без того хватало печалей.

Он давно не вспоминал свою молодость, может, оттого, что повода не представлялось. Да и была она скорее трудная, чем радостная или интересная. Как ни странно, в студенческие годы он не знал особых привязанностей, не изведал и большой любви, словно жизнь запланировала для него другой отрезок времени, когда у него появятся разом увлечения, пойдут удачи и придет к нему настоящая любовь. Так, в общем, оно и произошло. Он думал: одни раскрываются рано, и на всю жизнь их душевным багажом остаются ощущения юности, у других наоборот: все к ним приходит позже. И первые удивляются такой метаморфозе вторых, не всегда умея правильно



оценить духовные взлеты, профессиональные и иные успехи, принимая все за случай, за удачу, не видя подготовительной работы души...

Вспоминая давно прошедшие дни, он сделал для себя еще одно открытие: чем дальше они уходят, тем яснее и четче их видишь, и теперь многое, над чем когда-то бился, мучился, запоздало легко открывается, но все эти открытия только добавляют печали — ведь всего-то порою нужно было войти в другую дверь. И открытие не бог весть какое, прописные истины, скажет иной, обо всем этом писано и переписано, он даже повторял иногда слова поэта — «помню только детство, остальное не мое». Но даже в самых умных книгах это был чужой опыт. А вот когда чужой опыт, один к одному, подтверждается личным, это совсем другое дело, тогда любое открытие поднимается в твоих глазах, обретая особенную ценность. Хорошо, если время подтверждает твою правоту, и пусть запоздало, но доставляет тебе удовлетворение, а если наоборот, время безжалостно высветит твои ошибки, заблуждения, и ладно, коль за свои промахи ты заплатил сам, — обидно, но справедливо. А если за них расплачивались другие? Что может быть тягостнее, чем признавать за собой такое, тем более, если ты всегда был убежден, что живешь и жил только по справедливости, боролся и отстаивал только ее?

## 4

В его студенческие годы стройотрядов еще не было, в каникулы они отправлялись на казахстанскую целину. Отовсюду, со всех концов Союза, съезжались летом студенты в необъятные и необжитые казахские степи. Строили в колхозах и совхозах, многие из которых были пока лишь обозначены на фанерном щите в открытом поле, и жилье, и больницы, школы, крытые тока, дороги, бурили артезианские скважины, трудились на кирпичных заводах...

После первого курса работали они на севере Акмолинской области, краю суровом, со злыми холодными зимами, жестокими ветрами, утихавшими ненадолго только по ранней весне, а летом с невероятной жарой и сухью. За все лето не проливалось ни одного дождичка, от немилосердного солнца выгорало, кажется, все живое вокруг. Неоглядные пространства, —



можно ехать по степи полдня, и вряд ли встретишь человеческое жильё. Вот тогда они по-настоящему ощутили, как необъятна наша страна.

Однажды Амирхан с шофером ездили на новом газике в райцентр за продуктами. Задержавшись на базе, обратно тронулись поздно вечером. Ночь выдалась темная, протяни руку — не увидишь, в июле-августе в казахстанских степях такие не редкость. Что за дороги в целинной степи, известно: проселочные, колея едва накатана, немудрено, что они заблудились. Проплутав довольно долго, решили остановиться и подождать рассвета, но фары неожиданно высветили невдалеке нечто похожее на человеческое жильё. Шофер, обрадованный, прибавил газу.

Страшным оказалось то место... Тесно, впритык друг к другу, уходили вдаль выкопанные в несколько рядов землянки, знакомые им лишь по военным кинофильмам. Под лучами фар осыпавшиеся входы в подземное жильё напоминали норы; на сохранившихся кое-где покосившихся дверях виднелись порядковые номера, одни, похоже, выжженные, другие написанные масляной краской, от времени уже выцветшей и частью облупившейся. О том, что здесь некогда царил «порядок», говорили не только номера, но и то, что землянки выстроились строго в линию и между рядами тянулось пять-шесть просторных «улиц», да и расстояние между землянками выдерживалось одинаковое. В центре — вроде площадь или плац, в свое время его, видно, так вытоптали, что даже сейчас, спустя годы, здесь не пробилась трава. У края этой площади-плаца, пугая пустыми глазницами окон, стоял приземистый, мрачный дощатый барак, построенный явно наспех, неумело: крыша посередине осела, провалилась, словно ему сломали хребет. Вдали, насколько выхватывал свет фар, виднелись опавшие кое-где проволочные ограждения. Вдруг, потревоженные шумом мотора и ярким лучом, из ближней землянки выскочили шакалы, целая стая, и, подвывая, исчезли в темноте. Страшным, гиблым показалось это место молодым людям, и Амирхан, впервые видевший подобное, спросил у шофера, что все это значит.

— Говорят, здесь держали врагов народа. Ну, тех, с тридцать седьмого года... Тут неподалеку должен быть карьер и кирпичный заводик, они выжигали особый жаропрочный



кирпич. Там же на карьере и кладбище. Большое, люди говорят, — хмуро ответил шофер и невольно тяжело вздохнул.

Видно, и он попал сюда впервые, хотя работал на целине уже второй год и изъездил немало дорог по степи.

В душной ночи зияющие провалы входов в землянки показались обоим незасыпанными могилами, откуда несет запахом тлена. В немом ужасе, не говоря ни слова, рванули на газике в сторону и, как ни странно, часа через два выбрались на знакомую дорогу.

С шофером о том ночном видении Амирхан не заговорил ни разу... Хотя дважды в неделю они по-прежнему отправлялись на базу за продуктами, но в сумерки уже никогда не выезжали из райцентра, оставались ночевать в доме для приезжих. Не говорили они об этом и ни с кем из ребят, но у него долго стояли перед глазами эти норы для людей среди ровной и голой степи. Иногда казалось, что ему все привиделось или приснилось, но он знал, что это, к сожалению, не так.

Потом он не мог понять, почему вначале никак не соотнес судьбу своих родителей с этим лагерем политзаключенных. Казалось, при чем здесь бескрайняя дикая степь, эти норы — и его родители? Но чем чаще он задумывался, тем все больше допускал мысль, что на кладбище в глиняном карьере могли быть похоронены его мать или отец, ибо уже знал, что существовали отдельные лагеря для мужчин и женщин. И вот так сложилась судьба, что провидение, быть может, привело его к затерянным следам родителей. Однако этими мыслями он опять же ни с кем не делился, хотя в студенческой группе у него были друзья, с которыми он работал на грузовом дворе. Годами живший в ребенке страх, что его родители — враги народа, не исчез бесследно, даже когда Амирхан узнал, что мать и отец реабилитированы, что произошла трагическая ошибка, сделавшая его сиротой.

Этот непроходящий страх, чувство ущербности подтачивали его изнутри, мешали стать самим собой, а у многих, наверное, страх так и остался пожизненным комплексом. И часто, в какие-то крутые минуты жизни и в детском доме, и на флоте, и даже в университете — на злополучном собрании, где он оказался неправедным судьей над своим однокашником Гиреем, например, — он как бы ожидал этого подлого вопроса:





«А кто ваши-то родители? Враги народа? Реабилитированы? Может, реабилитированы заодно со всеми, а может, опять же по ошибке?»

Услышь он такой гнусный вопрос, вряд ли с твердым убеждением дал бы достойную отповедь любопытному, если б такой нашелся. В те времена об этом — ни о правых, ни о виноватых — распространяться было не принято, вот и не говорили. Да и сами вернувшиеся из лагерей без повода и всякому о своих мытарствах не рассказывали, словно старались поскорее забыть о них. Оттого и он, Амирхан Азларханов, в ту ночь ни словом не обмолвился шоферу, что, может, в таких лагерях погибли и его родители. Но та ночь не прошла для него бесследно, он почувствовал неодолимое желание побывать в бывшем лагере снова, пройти по этим «улицам», постоять на плацу, заглянуть в землянку, заглянуть в коридор разваливающегося трухлявого барака — сделать хоть несколько шагов по возможному следу родителей. И однажды, возвращаясь из райцентра, купил на базаре охапку простеньких астр. Шоферу он объявил, что намерен вечером съездить на свидание в соседний совхоз к девушке, и попросил у него на ночь машину — явление по целинным меркам того времени вполне нормальное.

Как только они вернулись, одевшись как на свидание, он уехал в степь, не решившись расспросить шофера о дороге даже как-нибудь обиняком. Но он все же нашел это место, и еще засветло, когда степные сумерки только-только начали сгущаться. Нашел он разваливающийся кирпичный заводик и огромный карьер, где в одной из боковых выработок располагалось кладбище — осевшие под осенними дождями холмики без каких-либо опознавательных знаков. На каждый холмик, сколько хватило, он положил по астре и пожалел, что не взял цветов побольше, хотя купил у цветочницы целое ведро.

Прошагал не спеша все шесть «улиц», зашел в самую большую и мрачную землянку, прошел в оба конца барака, постоял на плацу. Уходя, он хотел найти хоть какую-то вещицу: пуговицу, кружку, ложку, огарок свечи, но, так ничего и не найдя, отломил от колючего ограждения кусочек ржавой проволоки, хранящийся у него в бумажнике до сих пор. Тронулся в обратный путь уже в темноте, но, не сделав и двух километров,



вернулся. Подъехав к бараку, плеснул на полусгнившие доски с двух сторон бензином и чиркнул спичкой. Огонь, по мусульманским поверьям, очищает воздух от злых духов, и потому на кладбищах-мазарах иногда жгут костры; но, кроме того, он хотел уничтожить хоть то гнусное, что ему под силу. И долго в степи, пока машина выбиралась на дорогу, полыхал костер.

Между этими главными событиями его первого года университетской жизни — собранием и пожаром в акмолинской степи — прошло всего два месяца, и то, и другое всколыхнуло, обожгло душу Амирхана. Глядя на охваченный пламенем барак в ночной степи, он еще не осознавал, что навсегда избавился от комплекса ущербности; но чуть позже он поймет, что сжег его на том вытоптанном плацу, и уже больше никогда не будет испытывать страха перед анкетами и графой «родители». Он отмечал, что его откровенность в этом вопросе еще долгие годы будет смущать и настораживать людей, но уже не собьет его с позиции и, наоборот, словно рентгеном просветит человека, вздрогнувшего от такой записи в анкете или в биографии. Здесь, в казахстанских степях, где Амирхан с товарищами строил овечьи кошары для совхоза «Жаножол» — «Новый путь», два этих события, казалось бы, разных, не имеющих друг к другу никакого отношения, дали толчок к размышлениям о времени, о судьбе своих родителей, о себе, о своем месте в этом непрестом во все времена человеческом мире.

Вспоминая суд над Гиреем, своим однофамильцем, — а про себя он иначе то собрание и не называл, и в комитете комсомола в разговорах мелькало слово «суд», и в деканате оно проскальзывало не раз, — он думал теперь: а что, если и в отношении его родителей все было predetermined заранее, приговор вынесли без суда и следствия, без права на защиту? И кто же были те судьи? Убеленные сединами и умудренные жизнью люди, отягощенные званиями и академическим образованием, для которых закон свят? Люди, которым были понятны заботы и тревоги интеллигенции, собиравшейся в доме его родителей? А что, если судьба отца и матери решалась вчерашним уполномоченным по приемке кожсырья или по сверхплановому севу, за успехи и рвение переброшенным на службу Фемиде?

Отчего же такого не могло быть, тем более в годы, когда действительно не хватало образованных людей, — вполне



могло. Ведь даже спустя двадцать лет пытался же он сам вместе с другими членами комитета комсомола судить товарища по курсу за пристрастие к музыкальной моде. Это он-то, имевший одни штаны и на каждый день, и на выход и не имевший о моде даже смутного представления. Но бог с ней, с модой, там хоть что-то можно сказать: не по-принятому короткое или длинное, узкое или широкое, и тем более, если что-нибудь слишком яркое, тут уж точно индивидуализмом попахивает, желанием выделиться. Но ведь пытался же и музыку судить, к которой действительно не знал, как подъехать, оценить: разве «буржуазная», «вредная», «растлевающая», «разлагающая», «бездуховная» — это музыкальные термины? А у них в докладе на комсомольском собрании других слов и определений не было. И какая музыка по-настоящему облагораживает человека, делает его гармоничной личностью, вообще — в каких отношениях состоит музыка с жизнью — знал ли он это? Конечно, как бы они, первокурсники, ни осуждали тогда на собрании модные зарубежные ритмы, запретив от имени комсомола звучать подобной музыке в стенах университета отныне и навсегда, музыка все равно жила, неподвластная диктату и администрированию. Сейчас он, обремененный опытом, ни за что не взялся бы определить судьбу музыкального произведения. Оказалось вот, что мелодии тех лет не забыты и в наши дни, спустя три десятилетия, — а ведь в искусстве выживает только настоящее, — так он думал теперь. Тогда же, в день собрания, осуждая товарища за «пропаганду не нашей музыки» — за принесенную на студенческий вечер пластинку с записью рок-н-ролла (а комсомольское обсуждение могло повлечь за собой исключение из института), он ни разу даже себе не признался, что не вправе выносить вердикт, что не знает досконально предмета, коему должен быть судьей.

В те дни на целине он сделал для себя открытие, не бог вещь какое, но долженствующее, по его понятию, повлиять отныне на его жизнь: научись говорить «нет». Человек начинается с того, что может честно сказать «нет». Ведь и впрямь желание везде и всюду угодить, быть добреньким заставляет людей браться за дела, решать вопросы, к которым они не готовы. Умея вовремя твердо сказать «нет», человек будет в ладах с собственной совестью, а не это ли главное в жизни? Вряд



ли кто станет опровергать истину, что большинство бед исходит от людишек, на чьем лице несмываемой краской написано — «чего изволите?» И чем выше забрались такие люди, тем масштабнее беды человека, народа, страны...

Снова и снова он возвращался в памяти к тому, что сказал Гирей в конце собрания, где молодые ораторы запальчиво убеждали себя и зал, что «такому не место в наших рядах». «Я внимательно слушал ваши выступления. И, знаете, тоже сделал для себя вывод, что не смогу учиться с вами дальше. Уходя, хочу сказать, что сегодняшнее комсомольское собрание скорее походило на суд с заранее вынесенным приговором, а это во сто крат преступнее всяких рок-н-роллов. В любом другом вузе это не имело бы такого значения... Но в нашем... Вы же будущие юристы. И вы судили меня только потому, что я — другой, непохожий. Лучше или хуже — вопрос второстепенный. А ведь вам всю жизнь придется судить или защищать других, на вас никак не похожих. Что же выходит — непохожий, значит, чужой, виноватый, ату его?! Только сейчас, побывав в роли обвиняемого — правда, непонятно в чем, — я понял, что дело, которому мы все хотели посвятить свою жизнь, слишком серьезно. Понял, что нравственно не готов быть судьей другим, а без этого преступно служить правосудию. Это главная причина, почему я решил бросить юридический факультет».

А весь-то сыр-бор разгорелся из-за того, что Гирей принес на первомайский вечер в институт пластинку с записью Элвиса Пресли, того самого «Рока круглые сутки», который свободно звучал сегодня на улице Буденного, дав толчок воспоминаниям прокурора.

Там, в акмолинской степи, вспоминая клятву, данную самому себе еще на флоте, на эсминце, где служил срочную до института, — непременно стать юристом и посвятить жизнь борьбе за справедливость, — он понял, что одного желания, даже самого страстного, искреннего, ой как мало. И только тогда он по-настоящему осознал, почему некоторые преподаватели выделяли Гирея, ценили в нем эрудицию, кругозор, интеллект. А ведь еще совсем недавно Амирхану казалось: чтобы стать хорошим юристом, путь один — учиться на пятерки, у кого красный диплом, тот и лучший юрист. Тогда, в акмолинской степи, не отменяя и не принижая значения диплома с отличием,



он понял, что должен воспитать в себе личность, душевный потенциал которой, подкрепленный знанием закона, даст ему моральное право быть судьей другим.

... Прокурор, вернувшийся с прогулки раньше обычного, правильно рассчитал, что в эту ночь ему действительно не заснуть. Уже затихли улицы, угомонились все собаки в микрорайоне, и ночная свежесть, прибавив вездесущую пыль, пала на город. Во всем жилом массиве ни в одном окне не горел свет, только в квартире у него попеременно светилось то одно окно, то другое, словно там искали что-то важное и никак не могли найти.

Азларханов ходил из кухни в комнату, которая служила ему и спальней, и кабинетом, присаживался на постель, но желания прилечь не было. Он подходил к одному, к другому окну, вглядывался в безлюдный ночной двор, замечая даже при слабом лунном свете его неустроенность, запущенность, неубранную помойку и свалку, возле которых копошились кошки и собаки. Глядя на это запустение, можно было подумать, что в домах вокруг обитали временные жильцы, и даже не жильцы, а транзитные пассажиры, готовые вот-вот похватать чемоданы и сняться с места, хотя это было совсем не так — никто никуда сниматься не собирался, и прокурор знал это. Отчего такое равнодушие кругом? Ведь даже если квартира казенная, то все равно это твой дом, где проходят твои дни, растут твои дети. И, может быть, другого дома у тебя не будет, дом твой здесь — на втором или третьем этаже, и это твой двор, который иначе, чем поганым, не назовешь. Так оглянись, если уж не в радости, так в гневе на дом свой, так ли полагается жить человеку в собственном доме, на своей земле в одной-разъединственной жизни, отпущенной судьбой? Об этом он размышлял не раз, но нынче мысль, скользнув поверхностно, не задержалась на сегодняшнем, думалось о другом. Впервые за долгое время он мысленно вернулся в далекие студенческие годы, в первые годы своей стремительной карьеры, шаг за шагом вспоминая давние дни, и многое оживало в памяти — в красках, с шумами, запахами.

Да, в крошечной холостяцкой квартирке на третьем этаже, где всю ночь горел свет, действительно происходило важное для хозяина дома событие...



## Лариса



канчивая третий курс, Амирхан одолел «Римское частное право» и труды Ликурга о государственном устройстве — в подлиннике, специально для этого выучив латынь. «Римское право» изобиловало цитатами, изречениями философов и поэтов, так что, увлекаясь интересной мыслью, он открыл для себя античную литературу, древних мыслителей и историков — одна ниточка тянула за собой другую. Книжного бума не было еще и в помине, в университетской читалке он без всякой очереди получил три тома «Опытов» Монтеня, а Плутарха, Цицерона, Фрейда, Шопенгауэра приобрел в букинистических магазинах для своей будущей личной библиотеки. Жизнь в детдоме и служба на флоте приучили его к строгому распорядку, но даже в расписанных наперед по часам неделях ему теперь не хватало времени на многое.

Основное время, конечно, «съедала» учеба, о том, чтобы повышать свой культурный уровень (как тогда выражались) за счет занятий, не могло быть и речи: первоначально поставленная цель — окончить университет с отличием — не отменялась даже тогда, когда он ввел и другую, личную систему самообразования. Столь напряженная программа (да к тому ж еще и приходилось подрабатывать на грузовом дворе), конечно, лишала его отдыха, достаточного общения со сверстниками, не давала полноты ощущения студенческой жизни, университетской среды. Он сам понимал это, но расплыться все же не стал; временно лишая себя приятных сторон жизни — общения с друзьями, спорта, частых в те годы студенческих пирушек, даже свиданий, он не поступился главным — учебой и своей программой культурного самообразования. Кто знает, не потому ли он был неожиданно для себя щедро вознагражден: единственный из выпускников курса он получил целевое направление в московскую аспирантуру. Это сейчас легко, без особого трепета произносятся слова «столица», «Москва» ... А в те годы от этих высоких слов дух захватывало, голова кружилась. Москва! Три года в Москве! Как он радовался, и как ему завидовали, как его поздравляли! Пожалуй, теперь этого не понять нынешним студентам — у них какие-то иные радости, как и совсем другие критерии жизни.



Три года в Москве пролетели для него одним счастливым днем, они и в воспоминаниях мелькали как что-то нереальное, фантастическое, словно не с ним, не в его жизни это все происходило. Да и как же иначе! Отдельная комната в только что сданном доме аспирантов, с новенькой мебелью и даже холодильником, показалась ему верхом роскоши, а аспирантская стипендия после студенческой — целым состоянием. А Москва! Он готов был до полуночи бродить по улицам и, пожалуй, за три года исходил ее почти всю пешком. У него была карта города, по которой он прокладывал себе маршруты, а уж в особо примечательных местах побывал на первом же году жизни в столице. Вот где пригодилось его умение распоряжаться своим временем! Учеба его не очень затрудняла; в те годы, как-то поверив в себя, он начал печатать в специальных юридических журналах статьи, и гонорары казались ему непомерно завышенными.

Тогда не так было трудно попасть в любой театр, на выставку, в музеи, было бы желание, — сложнее, правда, на вечера поэзии, необычайно популярные тогда в Москве, но он умудрялся не однажды побывать и в Политехническом музее, где чаще всего проводились такие встречи, и даже в Доме литераторов на улице Герцена. Когда Амирхан познакомился с Ларисой, учившейся на факультете искусствоведения в театральном, он даже одну зиму частенько заглядывал в модное кафе «Синяя птица», неподалеку от площади Маяковского, где день играл саксофонист Клейбанд, а день — гитарист Громин со своими небольшими оркестрами; в кафе приходили послушать игру именно этих виртуозов.

А еще Лариса, заядлая любительница коньков, приохотила его к катку. Какое это было чудо, волшебство — залитый светом и музыкой сверкающий лед, медленно падающие снежинки, смех и улыбки, улыбки кругом. Неужели этот высокий молодой человек в белой щегольской шапочке, лихо режущий лед на поворотах катка на Чистых прудах, в кого он хочет взглядеться сквозь время, — он, вчерашний детдомовец, бывший аспирант Института государства и права Амирхан Азларханов?..

... Прокурор вглядывается в залитый лунным светом грязный двор, но видит давние зимние вечера на Чистых прудах, юношу в белой шапочке, медленно кружащего в танце изящную



девушку в лиловом костюме, отороченном белым пушистым мехом, которую иные принимают за балерину, и это ей льстит, она так грациозна на льду, так легка, что кажется, тут уж не коньки, а пуанты. Он пытается увидеть лицо юноши, заглянуть ему в глаза, понять, ощутить, насколько он был тогда счастлив, но это ему не удастся. Кружится и кружится пара, лицо зеленоглазой девушки в лиловом, румяной от мороза, он хорошо видит — и смеющимся, и улыбающимся, и грустным, но юноша так и не поворачивается лицом к светящемуся окну на третьем этаже, словно между ними ничего не может быть общего, и расстроенный прокурор отходит от распахнутых настежь ставен и направляется на кухню, чтобы поставить на газ чайник. Чай теперь для него лучшее средство в ночных раздумьях и воспоминаниях. И вдруг, когда, казалось, мысли его отвлеклись от Москвы, он припомнил, как однажды они с Ларисой были в старом Доме кино на улице Воровского.

В Доме кино он оказался впервые. Билеты достала Лариса, — были у нее какие-то влиятельные родственники, связанные с миром искусства, и оттого им иногда удавалось бывать и на премьерах.

Тогда в Доме кино проходил не то просмотр нового фильма, не то какая-то предфестивальная программа — картина оказалась французской; название он запомнил, а вот режиссера помнил — Трюффо, из авангардистов французского кино. Фильм оставил двойственное впечатление. И смятение вызвало даже не содержание картины, а заложенная в ней неожиданная мысль; он и сейчас отчетливо помнит все, до последнего кадра.

... На Северный вокзал Парижа приезжает, опаздывая к отправлению экспресса, герой фильма. Рискую жизнью, он успевает-таки, порастеряв вещи, вскочить в последний вагон трогającegoся состава. По ходу фильма становится ясно, что опоздать герой никак не мог, — это была бы не только его личная катастрофа, но и катастрофа многих вольно или невольно связанных с ним людей, и без этого вообще не могло быть фильма. Реалистический, жесткий фильм, со страстями, с назревающей к финалу трагедией. Зал, замерев от волнения, следил за судьбой не только главного героя, но и других персонажей, с которыми уже сжился за час экранного времени. И вдруг, в момент кульминации, когда должна бы наступить





развязка, вновь возникали первые кадры фильма, и вокзал, и герой, молодой, каким он был в начале фильма, пытающийся догнать уже знакомый зрителям поезд. Но на этот раз герой не догоняет состав и остается на перроне с чемоданами в руках. И началась совершенно иная история, с новыми персонажами, правда, изредка появлялись и те, которых зритель уже знал, и к которым успел привыкнуть, из-за которых волновался, — но в новом фильме они, увы, мало значат в судьбе главного героя. И дело не в том, что, успев на поезд, он оказался более счастливым, удачливым, а, опоздав, потерял себя, потерпел жизненный крах, — нет, такого сравнения режиссер не собирался делать. Вторая часть, вторая версия жизни героя оказалась не менее сложной и интересной, чем первая, она и волновала не меньше, чем первая. Но волею судьбы из-за минутного опоздания это была уже другая жизнь, другая судьба, а всего-то, казалось, герой вошел не в ту дверь. Вот тогда-то он впервые подумал: ведь и в его судьбе не было бы ни Москвы, ни Ларисы, ни юрфака университета, ни аспирантуры, уйди он при демобилизации со всеми в торговый флот, в рыбаки или в китобои, как сманивали их богатыми посулами вербовщики.

Как бы сложилась тогда его жизнь? В ту пору он, счастливый, видевший впереди только успех, продвижение, служение делу, к которому тянулись душа и сердце, не пожалел ни о рыбацких сейнерах в холодной Атлантике, ни о раздольной моряцкой жизни, и Ларисе, конечно, о такой неожиданной проекции фильма на свою жизнь не рассказывал, но фильм долго не шел у него из головы. И сейчас, видя мысленно за окном не пыльный двор, а зимний каток на Чистых прудах, он вновь вспомнил ту давнюю французскую картину: ведь и еще раз мог свершиться крутой перелом в его жизни, останься он в Москве. А такое легко могло случиться — не заупрямься он, не настаивай на том, что дело его жизни — конкретная работа с людьми, а не бумаги, теории, преподавание.

А как упрашивала Лариса остаться в Москве, говорила, что ей еще два года доучиваться в аспирантуре, как она не хотела разлуки, и родители намекали на простор своей пятикомнатной квартиры, доставшейся от деда, профессора МГУ, говорили, что вряд ли когда еще представится ему такая благоприятная возможность остаться в столице. Да и в аспирантуре он



значился на хорошем счету, оканчивая, стал членом партбюро, и заикнись, что женится на москвичке и желает поработать над докторской диссертацией, ему пошли бы навстречу, подыскали интересную работу. Согласись он тогда, послушай Ларису, сейчас, наверное, жил бы на Чистых прудах, рядом с новым зданием театра «Современник», давно уже был бы доктором юридических наук, а то, глядишь, и членом-корреспондентом, потому что еще тогда его идеи вызывали одобрение у научных руководителей, людей с именем, по чьим учебникам он учился в университете.

## 2

Заваривая чай, он неожиданно представил себе, как сложилась бы его жизнь, останься он тогда после аспирантуры в Москве. То видел себя седовласым профессором на кафедре, то членом Верховного суда или Прокуратуры СССР. Вдруг с пронзительной ясностью вспомнил старинный желто-белый особняк с колоннами в ложноклассическом стиле, где жила Лариса, и кабинет ее деда, профессора права в еще дореволюционном университете. Какие там были книги! И эти книги все годы учебы ему великодушно разрешали забирать с собой. Ее родители шутили, что не зря сохраняли библиотеку, чувствовали, что будут у них, если не в роду, так в родне юристы. Помнил он и их дачу в Голицыне, на берегу речки, совсем недалеко от бывшего имения князей Голицыных, где сейчас открыт музей... Какие там пейзажи! Поленовские!

Солидная, степенная жизнь, многочисленная родня, которая обожала Ларису и в общем-то одобряла ее выбор. Бывал он на больших семейных праздниках, свадьбах, поминках, где собирались все ответвления рода и где Амирхана и в шутку и всерьез представляли, как жениха Ларисы, а будущий тесть иногда называл его «наш сибирский хан» и уверял, что у них в роду тоже некогда были татарские ханы и их фамилия Тургановы — от степняков.

То вдруг он видел прекрасно изданные книги, те, что мечтал написать, когда еще учился в аспирантуре, но так и не написал — закрутила, завертела новая жизнь, не то чтобы писать, на чтение порой не хватало времени. Но неожиданно его пронзила такая боль, что он даже вздрогнул. Никогда прежде



не задумывался об этом, не связывал воедино: останься он в Москве, наверное, совсем иначе сложилась бы жизнь, судьба Ларисы...

Лариса написала диссертацию о декоративно-прикладном искусстве республик Средней Азии, специализировалась по керамике, исколесила южные республики, побывав почти во всех кишлаках, где народные умельцы работали с глиной. В свои редкие отпуска он сопровождал ее в поездках и, честно говоря, никогда не жалел об этом. У неё были вкус, чутье, она находила забытые школы, направления, систематизировала их. Благодаря ее стараниям и энергии в Москве издали два красочных альбома, рассказывающих о прикладном искусстве южных республик, она же организовала международные выставки среднеазиатской керамики в Цюрихе, Стокгольме и Турине, не говоря уже о выставках в Москве, Ленинграде, Таллинне, Тбилиси. У нее быстро появилось имя в кругах искусствоведов, на нее ссылались, ее цитировали, зарубежные журналы заказывали ей статьи, приглашали на всевозможные международные семинары, коллоквиумы и гостем, но чаще членом жюри.

В счастливые годы, когда у нее выходили альбомы, книги, удачно проходили выставки, она на радостях говорила мужу:

— Я так признательна тебе, твоему упрямству, что ты не остался в Москве и меня утацил, без тебя я не нашла бы себя в искусстве, не сделала себе имени.

А ведь керамикой она увлеклась случайно, купив на базаре за трешку ляган, — так поразили ее простота и изящество обыкновенного большого глиняного блюда, которые изготавливают тысячами в любом среднеазиатском районе. Она смогла увидеть в обыкновенном предмете домашнего обихода необыкновенную художественную выразительность, самостоятельность в нехитрой росписи, индивидуальной даже для маленького кишлака, ведь мастерство и рецепты передавались из поколения в поколение, из века в век. Глина во все времена была самым любимым материалом бедного человека, и он по-своему улучшал и украшал ее. В нашем унифицированном мире, где переплелись, обогащая и размывая друг друга, множество национальных школ, художественных течений, керамика, которую открыла для себя Лариса, каким-то непостижимым образом убереглась от стороннего художественного влияния.



В личной коллекции у них имелись керамические предметы, которые передавались из рук в руки уже в пятом или шестом поколении, но манерой исполнения, красками и другими внешними признаками и даже размерами они вряд ли отличались от работ нынешних сельских гончаров. «Вероятно, народ сохранил до наших дней классические образцы керамики», — писала она в своей кандидатской диссертации.

О том же она писала и в альбомах, где щедро была представлена керамика, которую отыскала она в степных и горных кишлаках, цветущих оазисах Ферганской долины, в самых, казалось бы, забытых и глухих уголках. На организуемых выставках всегда присутствовала подробная карта Средней Азии с указанием мест, где обнаружено то или иное изделие, и специалисты, пользовавшиеся не только каталогами выставки, но и картой, поражались огромной работе, которую проделала Лариса всего за десять лет. С ее легкой руки обыкновенный ляган для кухни, без малейшего изменения в технологии изготовления, расцветки, размерах, стал декоративным предметом — для этого на днище перед обжигом делались две дырочки, чтобы можно было укрепить его на стене. Таким образом обыкновенный хозяйственный ляган получил вторую жизнь, декоративное его предназначение дало взлет фантазии местных умельцев, и, пожалуй, тогда всерьез заговорили о моде на восточную керамику из республик Средней Азии, а художественные салоны стали получать заказы на нее даже из-за рубежа. И в этом, конечно, определенная заслуга принадлежала Ларисе — ее энергия, подвижничество способствовали неожиданному взлету древнего и почти забытого ремесла.

В крае, куда он приехал с женой после аспирантуры, люди более всего ценили семейный очаг, домашний уют, родство, детей. Нельзя сказать, чтобы молодые были уж совсем равнодушны к своей домашней жизни, скорее наоборот: Лариса, впервые вырвавшаяся из-под опеки матери, бабушек, дорожила ролью хозяйки, самостоятельностью, хотя поначалу оказалась беспомощной в делах хозяйственных, особенно на кухне. Но никто не делал из этого трагедии — главное, у них была любимая работа, и каждый мечтал достигнуть в ней успеха.

Поначалу она работала в краеведческом музее искусствоведом, а года через три, когда в музее появились созданные ею



стенды и статьи ее стали периодически появляться в республиканских газетах, Лариса неожиданно получила предложение занять должность от столичного музея искусств. Эта должность давала ей возможность самостоятельно прокладывать маршруты своих изысканий, и время от времени она стала выставлять свои новые находки уже в музеях Ташкента.

Азларханов продвигался по службе куда стремительнее жены и через три года уже возглавлял областную прокуратуру. В свои тридцать шесть лет он был едва ли не самым молодым областным прокурором, и когда приехал в первый раз в Москву на представление Генеральному прокурору страны, тот даже удивился его молодости.

Сейчас, среди ночи, вспоминая свою семейную жизнь, Азларханов ходил от окна к окну и подолгу вглядывался в залитый лунным светом пыльный двор, но теперь он видел не каток на Чистых прудах, а коттедж, в который они переехали из малогабаритной квартирки, и где они прожили с Ларисой почти десять лет.

Коттедж к тому времени был основательно обжит, года три в нем жил управляющий крупным областным строительным трестом. Наверное, для себя его и возводил, настолько умело, добротнo, со вкусом оказался он спроектированным и построенным, — а дом в жарком краю поставить, да чтобы радовал, не так-то просто. Управляющий получил неожиданное повышение и переехал с семьей в Ташкент, а они переселились в дом с садом. Переселились в самый пик саратана, когда ртутный столбик термометра зашкаливал каждый день за сорок. И вдруг такой подарок — коттедж с садом!

Дом не был отделан деревом, не имел паркетных полов, он вообще был без излишеств, в те годы мода на роскошь еще не захлестнула должностных лиц, но все в нем оказалось сработано прочно, основательно, а главное — удобно. Нравилась им большая открытая деревянная веранда, где по вечерам гулял слабый ветерок, и они любили пить там чай, ужинать на воздухе. Сад казался им огромным, хотя восемь соток для современного горожанина и в самом деле немало. Более чем наполовину двор был умело затенен виноградником, и оттого в любое время дня можно было найти здесь прохладный уголок, а по осени, когда созревал виноград, двор, особенно



в вечернем освещении, приобретал прямо-таки сказочный вид: над центральной дорожкой, ведущей к зеленой калитке, висели темно-фиолетовые, до черноты, крупные гроздья «Чораса», «Победы» — иная гроздь и в полтора, и в два килограмма. А то вспыхнувшая лампочка на дальней аллее в глубине сада высвечивала тяжелые кисти красноватого «Тайфи», напоминающие детские воздушные шары. Вдоль веранды, только протяни из-за стола руку, тянулась царица лоз — золотистый виноград «Дамские пальчики», или, как его называют местные, — «Хусайни». Они сразу полюбили свой новый дом, и даже днем, в обеденный перерыв, спешили к себе.

Город по тем годам был невелик, это потом, лет через десять, он начнет стремительно расти, и их коттедж окажется чуть ли не в центре. Благодаря новому дому года полтора-два они бывали вместе так подолгу, как никогда больше в их совместной жизни.

Позже жена уйдет из краеведческого музея, и закружит ее по дальним дорогам ее единственная страсть — керамика. А пока, счастливые, они спешили днем домой, благо музей располагался в соседней махалле, а у прокурора имелась служебная машина. Наверное, можно было понять, почему они жертвовали полноценным обедом где-нибудь в чайхане: дома их ждали маленький бассейн и летний душ в саду, а в сорокаградусную жару это немалая роскошь.

Однажды, в конце лета, в воскресенье, он накрывал на веранде стол перед обедом, а Лариса, уже в который раз бултыхаясь в бассейне, окликнула его:

— А знаешь, дорогой, мне пришла в голову потрясающая идея: сделать у нас в саду музей керамики под открытым небом. Все равно же весной уберем эти грядки с овощами и зеленью. Для ухода за ними у нас с тобой нет ни опыта, ни времени, тем более такой баснословно дешевый базар под боком.

То лето, наверное, было и пиком их любви, и он, больше вслушиваясь в милый голос жены, чем в смысл того, что она говорила, не задумываясь ни на секунду, ответил:

— Поступай, как знаешь. Я полагаюсь на твой вкус.

Предложение жены о музее под открытым небом в саду он не то чтобы не принял всерьез, а просто не предполагал, что она могла затеять.



## 3

Больше они о задуманном домашнем музее не говорили. Наступила долгая теплая осень, созрели и были убраны с грядок овощи, зелень, выкопали и картошку в дальнем углу, у забора. С ночными заморозками потихоньку осыпались розы, но по-прежнему запах их в полдень долетал до открытой веранды. В бассейне уже не купались, однако заполняли его каждый день, Лариса говорила, что когда смотришь на водную гладь, успокаиваешься душой, — и по утрам в бассейне плавали опавшие листья и лепестки роз.

Как-то он уехал по делам на три дня в Ташкент, а когда вернулся, не узнал собственный двор: он казался теперь просторным и... чужим. Не осталось и намека на былой своеобразный восточный уют, даже живая изгородь была ровно подстрижена.

Лариса с улыбкой спешила навстречу, — она звонила в аэропорт и знала с точностью до минуты, когда муж будет дома.

— Ты только не волнуйся и не думай, что я все испортила. Я ведь за лето изучила парковую архитектуру всей Европы: и немцев, и французов, и англичан, нашла и старые российские книги — мне друзья из Москвы помогли, — и до японской добралась, думаю, она нам больше подходит из-за наших восьми соток...

Покормив мужа с дороги, она повела его посмотреть перемены. Двор теперь весь был покрыт привозным дерном и превратился в зеленую лужайку. На фоне изумрудной зелени деревья, что росли ранее среди грядок картофеля и томатов, выглядели иначе — стройнее, элегантнее — что и говорить, в этих английских лужайках что-то было. Лариса с воодушевлением рассказывала, какие деревья доставят на следующей неделе, какие кусты роз и куда надо пересадить. Он слушал ее внимательно, ему нравилась затея жены и то, что она так увлеклась. Слишком уж часто в последнее время она поговаривала о Москве, а тут дел на годы и годы, можно было не сомневаться, он знал свою жену. Улыбнувшись, он только спросил:

— Ты успеешь устроить свой музей в саду, пока меня не снимут с работы?

Она подошла к мужу и, счастливая, положила руки ему на плечи; понимая, что он одобрил ее затею, улыбаясь, ответила:



— Плохо же ты знаешь свою жену. С «Зеленстроем» я рассчиталась по смете и через кассу и даже на всякий случай квитанцию храню. А то, что слишком уж хорошая лужайка получилась, да живую изгородь аккуратно подстригли, так они ведь старались не для областного прокурора, не воображай, нужен ты им! Я объяснила, что задумала музей на воздухе, и всем это понравилось, мне даже обещали кое-что подарить из керамики. Учти, я ведь тоже старалась для рабочих, сама готовила, и моими кулинарными способностями остались довольны, так что, дорогой муж, все взаимно. Единственное, в чем я виновата, — гарнитур для спальни, что мы с тобой приглядели, купим теперь года через два, не раньше...

Он обнял и расцеловал жену, согласный с ней во всем, что она делала.

— Но это еще не все. — Она, смеясь, вырвалась из его сильных рук. — Тебе, как областному прокурору, придется использовать свои связи и влияние, чтобы добыть мне одну-единственную голубую елочку, она просто необходима в ландшафте, что я задумала, озеленители мне такого подарка не обещали...

## 4

Вдруг он вспомнил, что у него ведь есть возможность увидеть и голубую елочку — он все-таки достал ее для жены, и аккуратные газоны своего бывшего дома. Из той прежней счастливой жизни он взял с собой в этот город, кроме самого необходимого, альбомы, книги, проспекты, что успела издать жена. Впрочем, и забирать-то особо нечего было, жили они, по местным понятиям, чересчур скромно, и главным их достоянием, наверное, был тот самый музей, или, точнее, коллекция керамики, которую собрала Лариса. Со временем, не довольствуясь экспозицией в саду, она заняла под керамику две самые большие комнаты в доме — все равно они пустовали, и появилось у них еще два «зала» малой керамики, восемнадцатого и девятнадцатого веков. Альбомов, с ее текстами, комментариями, было всего два, хотя имелись еще семь альбомов, где она написала раздел или главу, они были изданы за рубежом, и некоторыми она очень гордилась. Наверное, это и было признанием ее труда искусствоведа, исследователя, ученого. Но





он, отдавая должное полиграфии, вкусу, изыску, с которыми подавалась в зарубежных изданиях керамика со всего света, все же больше любил альбомы, изданные на родине, в Москве.

В одном из них и были снимки музея под открытым небом и двух комнат его бывшего дома — того самого, где они прожили десять счастливых лет.

Прокурор раскрыл альбом наугад: на ярко-зеленой лужайке, рядом с пушистой голубой елью, на низкой дубовой подставке лежал глиняный сосуд для воды — хум; раньше такой имелся в любом дворе, ведь не только водопровод, но и колодец в этих краях был редкостью. Сосуд из красноватой глины литров на пятьдесят-шестьдесят потерял от времени первоначальный цвет, но на фотографии смотрелся хорошо, выцветшие краски свидетельствовали о возрасте. В нескольких местах сосуд был умело залатан, медные скобы успели покрыться зеленоватым налетом.

Фотографии для этого альбома готовились лет через пять после того, как Лариса задумала и начала осуществлять свой план музея в саду. За это время экспозиция менялась десятки раз. Когда она привозила из дальних поездок какую-нибудь интересную вещь, все в саду начинало двигаться, перемещаться, но, надо признать, от каждой перестановки, замены экспонатов общий вид, панорама улучшались несомненно.

За пять лет подросла и голубая ель, которую они наряжали к несказанному удовольствию окрестной детворы на Новый год, укрепились карликовые деревья. Лариса отыскивала их у садоводов-любителей по всей Средней Азии заодно с поисками керамики, и по весне во дворе розово цвело деревце фейхоа, наполняя воздух тонким ароматом. Исчез розарий, но отдельные кусты роз: алой, багряно-красной, белой, желтой, росли в соседстве с редкими карликовыми деревьями. Перестроили они и свой крошечный бассейн: отодвинули в глубь сада, эмалированную ванну сменили на бетонную, выложенную голубым кафелем, но все это делалось не только для собственного удовольствия — рядом с водой керамика смотрелась совсем иначе.

Когда Лариса всерьез заявила о себе и ее керамикой заинтересовались музеи, галереи, Амирхану удалось побывать с женой на двух из трех ее зарубежных выставок — в Цюрихе и Стокгольме. Конечно, он ездил туда по туристической путевке,



но главное, он был рядом, мог помочь, поддержать, был свидетелем ее успеха, видел жену необыкновенно счастливой, и позже не раз благодарил судьбу за то, что она предоставила ему такую возможность.

Наверное, он ценил альбомы, изданные в Москве, еще и потому, что хоть и приезжала съемочная группа с осветителями, с десятком чемоданов всякой аппаратуры, лучшие снимки все-таки были сделаны самой Ларисой. Когда она стала бывать за границей, обзавелась и японской, и западногерманской камерами, и все деньги в поездках тратила на фотобумагу и реактивы. Снимков она делала много, фотографировала и на рассвете, и на закате, и в ослепляющий полдень, и никогда не снимала дома без него, — помогая, муж понимал ее без слов. Оттого ему была дорога каждая фотография в альбоме, ведь он помнил их от замысла до воплощения.

Были в их домашней коллекции и красовались в этих альбомах такие вещи, что дарили ему лично, зная, что жена, да и сам прокурор увлечены столь странным, на местный взгляд, делом, как собирание глиняных поделок. Понятно бы — старинное серебро, хрусталь, бронза, ковры ручной работы, все то, что имеет, так сказать, материальную ценность, а тут — черепки... Дарили часто, от сердца, объясняя этот жест своим долгом помочь популяризации национального прикладного искусства. Если отказывался принять — обижались: на что, мол, человеку один-единственный кумган, даже если он сохранился от дедов, когда рядом живет собиратель, у которого к этому кумгану уже есть пара, да и чаша похожая найдется.

«Даров не принимай», — прочитал он некогда на латыни, и эту истину усвоил крепко, особенно имея в виду свое служебное положение, но, увлеченный азартом коллекционера, не отнес ее на счет простой дешевой керамики, а зря. Хотя девиз этот он не забывал и не раз заворачивал доброхотов, пытавшихся преподнести ему огромные напольные китайские вазы, двухведерные медные кувшины или сосуды для воды. Может, и тут встречались люди, дарившие от души, но он спокойно объяснял, что все это уже, так сказать, из другой оперы, и китайский фарфор, даже ручной работы, его абсолютно не интересует. Китайский фарфор пытались дарить не один год, чего только не приносили, — особенно восхищали



метрового диаметра тарелки, очень похожие на восточные ляганы. Прокурор поражался количеству фарфора в здешних краях, хотя знал, что некогда тут проходили древние караванные пути из Китая в Европу.

Много спустя после тех счастливых дней в коттедже на улице Лахути, когда он уже не был областным прокурором, а работал там же, в следственном отделе, на небольшой должности, попадались ему дела так называемых «коллекционеров». А ведь он точно помнил, поскольку его жена проработала три года искусствоведом в местном музее, что еще недавно даже понятия такого — «частная коллекция» — в этих краях не знали, не говоря уже о самих коллекциях. А тут, в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, враз расплодились владельцы частных коллекций, и вряд ли тому примером послужила подвижническая деятельность его жены, хотя областная печать не раз писала о собрании керамики в их саду. Коллекции эти были, конечно, иные, они представляли художественную ценность, и зачастую немалую, порой приходилось обращаться к признанным экспертам, но главным мерилom подобных коллекций считалась их материальная стоимость, и «собираателями» чаще всего руководило желание вкладывать добытые несправедливым путем деньги в антиквариат, который, по их твердому убеждению, будет дорожать день ото дня.

Коллекционировали монеты, портсигары, браслеты, галстучные зажимы, булавки, брелоки — разумеется, только золотые; правда, один из «знатоков» презрел золото и успел собрать шестнадцать платиновых шкатулок и табакерок; попался и рекордсмен по серебряным работам, из его «коллекции» московские эксперты отобрали для музея четыре не известные ранее работы Фаберже. Поразила прокурора еще одна разновидность «собираателей», едва ли известная даже искусствоведам: у них в области, наравне с золотом, «коллекционировали» жемчуг, но эти, не в пример любителям антиквариата, знали о жемчуге действительно много, порой поболее искусствоведов. Прокурор благодаря своей работе видел жемчуг из стран Ближнего Востока, из Африки и Австралии, с Филиппин и новейший японский с океанских ферм, — у мусульман жемчуг прежде ценился выше золота и бриллиантов. Владей он сколько-нибудь пером, обязательно



написал бы роман о путях жемчуга, который стекался в эти края со всего света, наверное, получился бы настоящий бестселлер. Вот с такими «коллекционерами» приходилось ему иметь дело, и те, зная об увлечении бывшего областного прокурора, иногда говорили ему, — мол, вы должны понять меня как коллекционер коллекционера, хотя мало кто из них мог сказать что-то вразумительное о художественной ценности своего собрания.

## 5

... Рассвет, стремительно набравший силу, сделал излишним электрическое освещение. «Как быстро пролетела ночь! — отметил бывший прокурор. — Пора сворачивать выставку». Убирая альбомы, он не удержался — заглянул еще в один, изданный в Швейцарии. Последняя экспозиция, за полгода до смерти Ларисы. Она, наверное, и была наиболее ценной, в тот раз женаставляла в Цюрихе только керамику начала века. Совершенно случайно она отыскала в архивах Ферганской долины документы, свидетельствовавшие о том, что в русском поселении Горчакове в 1898 году по приказу генерала Скобелева были открыты две керамические мастерские, где работали местные умельцы. Мастерские просуществовали шестнадцать лет, вплоть до начала первой мировой войны. Лариса затратила долгие месяцы, пытаясь отыскать среди долгожителей хотя бы одного человека, работавшего там, но безуспешно. Однако керамики из этих мастерских сохранилось достаточно, — изделия надолго пережили своих безымянных творцов. Кроме серийной продукции — ляганов, чайников, пиал, наверное, предназначавшихся для солдат, расквартированных в долине, изготавливались в мастерской и особые партии дорогой посуды — видимо, для дома губернатора, для офицерского собрания и даже для наместника, великого князя Михаила Алексеевича. Вот эта керамика, сделанная на заказ, представляла интерес, особенно та, что имела формы и пропорции, традиционные для Востока, отличаясь при том неожиданной росписью и цветовой гаммой.

Но прокурор открыл альбом, изданный в Швейцарии, не для того, чтобы увидеть восточную керамику, к которой приложили руку первые русские поселенцы в Туркестане.



Именно в этом альбоме были запечатлены два экспоната, которые принесли бывшему прокурору большие неприятности. Сняты они были в доме на Лахути. Низкий стол покрывала большая хорошо выделанная волчья шкура. Плотный мех гиссарского волка вряд ли напоминал бы о грозном хищнике, если б не старинное кремневое ружье рядом. Кто бы мог представить тогда, что волчья шкура да кремневое ружье для фона — символы грядущих бед!

Прокурор хорошо помнил то воскресное утро в середине апреля. В саду у них уже буйно цвела сирень, и газоны, еще ни разу не стриженные с осени, скорее походили на лесные лужайки. Кое-где в углах двора еще цвели подснежники и одинокие тюльпаны, а в тени деревьев — голубые крокусы. Зима выдалась снежная, холодная, долгая и продержалась до середины февраля — редкость для здешних мест. И оттого приход весны в том году воспринимался острее обычного. Пьянил воздух, пьянили запахи согревающейся земли, тонкий аромат молодой зелени и цветов. В тот день, впервые весной, они решили позавтракать на открытой веранде. Он выносил стулья из дома, когда у зеленой калитки раздался звонок. Лариса хлопотала у плиты, и он пошел навстречу раннему гостю.

У калитки стоял хорошо одетый человек в велюровой шляпе, а чуть поодаль — светлая служебная «Волга» с областным номером. Шофер, выйдя из кабины, протирал и без того сверкающий капот, наверное, хозяин был большой аккуратист. Незнакомец поздоровался, назвав прокурора по имени-отчеству, а на приглашение войти отказался, объяснил, что очень спешит. Сказал, что коллеги из районной прокуратуры передали с ним хозяину дома два керамических сосуда, и он с удовольствием выполняет их поручение, тем более что наслышан о деятельности его жены и желает ей всяческих успехов. Добавил еще несколько слов о том, как важно пропагандировать искусство древнего края в стране, и тем более за рубежом. Держался гость с достоинством, говорил вполне искренне, без подобострастия, нередкого в этих краях. Не успел он закончить последнюю фразу, как шофер, оказавшийся тут как тут, подал хозяину машины, предварительно сняв оберточную бумагу, один из сосудов, а тот, оглядев подарок



еще раз, как бы убеждаясь, что довез в целости и сохранности, вручил его прокурору.

Слушая приезжего из района, так и не назвавшего себя, Азларханов подумал сначала, что это очередной китайский фарфор, но ошибся. Сосуд оказался действительно керамическим, удивительной сохранности, и если бы он не знал состояния нынешней керамики в крае, решил бы, что это работа последних десяти-пятнадцати лет. Только увидев его вблизи, понял, что изделие старое, очень старое. Прокурор, взяв хум в руки и машинально отметив, что он тяжеловат для традиционной керамики, не благодарил, но и не возражал, хотя шевельнулось в нем какое-то сомнение: слишком хорош был сосуд, чтобы принять его в подарок. И тут у калитки появилась Лариса. Увидев сосуд, она потеряла дар речи, даже забыла поздороваться с гостями; однако сразу же опомнилась и пригласила их в дом. Ее восхищение и радость были столь явны и неподдельны, что приезжий тут же отметил весело:

— Вот и хорошо, кажется, мы угодили хозяйке.

В это время шофер принес второй хум и передал в руки ошарашенной Ларисе. Так и стояли они у калитки, муж и жена, держа в руках по сосуду.

Такой радостной он видел жену не часто, и мысль о том, чтобы не принять, завернуть подарок обратно, как заворачивал он китайский фарфор, появилась и тут же пропала. Они настойчиво и вполне искренне пригласили гостей в дом, но те, поблагодарив, сразу уехали.

В тот день о завтраке не могло быть и речи, полетели и все обширные планы на воскресенье. Сосуды вносили и выносили из дома, под лупой не раз и не два осматривали каждый квадратный сантиметр поверхности — в общем, до самого вечера Лариса не выпускала их из рук. Даже Амирхан, уже привыкший к находкам и открытиям жены, на этот раз был взволнован, таких изделий ни в местном музее, ни в ее личном собрании до сих пор не было. Если бы не традиционная для этих мест форма, не роспись, известная как намаганская и классифицированная давно, еще до Ларисы, он подумал бы, что керамика привезена издалека.

Тяжесть сосудов Лариса объяснила мужу сразу — глины здесь ровно столько, сколько необходимо для придания



формы и обжига, остальное — тонко выверенные пропорции минеральных наполнителей, горные породы, дающие такой стойкий цвет, не подвластный времени, и главное свойство — прочность. Лариса была убеждена, что за долгий век хумы эти не раз роняли; другой сосуд, имея такие зазубрины, наверняка уже давно раскололся бы. А тяжесть оттого, что внутри сосуд был облит толстым слоем особой эмали, в состав которой входило серебро; та треть или четверть неизвестных компонентов эмали и составляла тайну старых мастеров. Несомненно, что сосуды предназначались для воды, для долгих караванных переходов, когда в дороге ценилась каждая капля влаги. Она объяснила, что такая техника известна в Европе давно, особенно в Германии и Голландии, и что предметы, изготовленные подобным образом, ценились высоко и не были доступны бедному люду. Конечно, ясно, что старые сосуды не могли принадлежать простому человеку, а были специально изготовлены для кого-то или заказаны самим владельцем, человеком богатым и власть имущим, что в прежнее время и сейчас означает одно и то же. Не исключено, что глину для этих сосудов замешивали на молоке верблюдиц и крови животных с использованием желтков; это не было особой тайной для тех, кто изучал местную керамику, тайной оставались пропорции смесей.

Сосуды можно было бы назвать кувшинами, если бы они имели ручку; рассчитаны они были на долгую дорогу и оттого имели в стенках по три прорези для ремней. Прорези ни на миллиметр не нарушали пропорций хума, и увидеть их можно было только вблизи, глядя сбоку.

Сосуды попали к ним без ремней, но Лариса года два переписывалась со своими коллегами из разных республик, и однажды из Горного Алтая ей прислали два ремня, каждый чуть подлиннее метра. Возрастом сосуды и ремни вряд ли уступали друг другу, если и была разница, то несущественная. Кожаная опояска оживила сосуды, придала им законченный вид. На темно-серой, с желтыми подпалинами шкуре волка два сосуда цвета спелого абрикоса смотрелись удивительно хорошо. Особенно красивы были горловины, взятые в серебряный оклад, тщательно притертая серебряная пробка-крышка венчалась мусульманским символом — полумесяцем...



Сейчас бывший прокурор смотрел на фотографию, не испытывая ни любви, ни ненависти к этим предметам, хотя знал теперь о сосудах то, чего не успела узнать Лариса.

## Прокурор

За год жизни в «Лас-Вегасе» прокурор, казалось, узнал об этом городке все, — слухи стекались в чайханы, где он бывал ежедневно, и Азларханов невольно оказался осведомлен обо всем происходящем вокруг. Иногда кто-нибудь намеренно подкидывал ему информацию. И трудно было понять, с какой целью это делается, скорее всего, тут полагали, что большой человек и в опале остается власть имущим, и стоит ему захотеть... У восточных людей свой взгляд на любое событие, и надо долго прожить здесь, чтобы понять логику иных поступков и слов. Нет, прокурора не забавляла игра в бывшего большого человека, и он не подыгрывал в таких случаях, хотя возможность постоянно предоставлялась. Достоинство, с которым он держался повсюду, и в чайхане тоже, бесстрашие, когда чайхана гудела, переваривая очередную новость, еще более укрепляли веру в тайную власть бывшего прокурора.

Месяц назад в чайхане один пенсионер доверительно сообщил ему, что город их облюбовали картежники, и съезжаются они, мол, отовсюду, и даже из других республик и из Москвы. «Игра на выезде, собрались мастера высшей лиги», — пошутил словоохотливый пенсионер.

Оказалось, его племянник работает в гостинице электриком и часто ладит картежникам особо яркое освещение над столом. Называя суммы выигранных и проигранных денег, пенсионер от волнения заикался, чего в обычной его речи не замечалось. Но Азларханов никак не среагировал на удивительную новость, ибо не понаслышке знал и о выигранных и проигранных суммах, и о масштабах игры. В бытность областным прокурором приходилось сталкиваться — за крупными хищениями, убийствами, грабежами, если копнуть глубже, нередко стояли карты, крупный проигрыш.

Две недели назад, прогуливаясь вечером, он видел возле гостиницы Сурена Мирзояна — Сурика, за ловкость рук





прозванного Факиром, и москвича, легендарного картёжника Аркадия Городецкого, по кличке Аргентинец. Какие дела могли привести Факира с Аргентинцем в этот дремотный городок, кроме карт? Да никакие. Хотя он не сомневался: легенда у них на случай проверки имелась безукоризненная. Наверное, если бы пенсионер узнал, что как-то за одну ночь Факир выиграл сумму, в сто раз превышающую ту, от которой он начал заикаться, то, бедный, наверняка потерял бы дар речи вообще. Правда, после той давней ночи председатель райпотребсоюза и один крупный хозяйственник покончили с собой, отчего все выплыло наружу, а остальные шесть человек, проигравшие казенные деньги, сели в тюрьму. В те времена прокурор и познакомился с Факиром. Ни рубля не удалось вернуть тогда обратно: Мирзоян не отрицал, что выиграл чемодан денег, но сообщил, без особого сожаления, что проиграл их через три дня, и описал подробно приметы удачливого игрока, которого якобы видел впервые.

Значит, теперь картежники облюбовали «Лас-Вегас»?

Почему бы и нет? Гостиницы, не осаждаемые толпами командировочных, рестораны, куда приезжают из двух соседних областей «хозяева жизни» пошиковать, пустить пыль в глаза, посорить деньгами вдали от любопытных глаз, — их нетрудно подбить на игру. «Стоящих» людей, которых можно крупно выпотрошить, порой готовят на игру месяцами, к иному «денежному мешку» годами ищут подход, чтобы «хлопнуть» в одну-единственную ночь, — только бы сел за карточный стол. В том, что все три ресторана служили поставщиками клиентуры для картежников, обосновавшихся в гостинице, он не сомневался.

Но сногшибательные новости, вызывавшие оживленное обсуждение в чайханах, и вообще тайная жизнь необычного города, о которой прокурор знал, а иногда догадывался благодаря опыту прошлой жизни, не трогали все же в его душе каких-то главных струн. Нет, он не был равнодушен к тому, что видел, в нем все-таки не удалось убить главное — чувство гражданина, даже в минуты отчаяния он не говорил: это не мое дело, меня не касается. Просто после двух инфарктов он берег не себя, а время, отпущенное ему; из последнего инфаркта он выкарабкался чудом, благодаря прежнему сибирскому здоровью.



Да и что он мог сделать в нынешнем своем положении? Писать? Кому? По опыту своей беды знал, что редко какое письмо, адресованное в верха, может одолеть границы области или республики. Какая-то тайная рука, неподвластная закону, перекрывала дорогу кричащим о боли и несправедливости конвертам. И немудрено, если повсюду насаждались люди, у которых за версту на физиономии читалось: «Чего изволите?», если приказы первого лица даже на уровне захолустного района выполнялись беспрекословно, какими бы вопиюще незаконными они ни казались. А если и просачивалось что наверх, то оттуда же и возвращалось к тому, на кого жаловались, с издевательской пометкой: «Разберитесь!» И разбирались, перетряхивая историю жизни автора письма с ясельного возраста до наших дней, а если она оказывалась чистой, как родниковая вода, то принимались за родню до седьмого колена и, конечно, в жизни, зарегламентированной до предела инструкциями, постановлениями, указами, принятыми во времена царя Гороха, — где в каждом пункте: нельзя... нельзя... — отыскивалось желаемое. А если еще учесть, что сейчас многие вещи реже покупаются, а чаще достаются, то редкий автор жалобы выглядел невинным, непорочным рядом с тем, на кого посмел жаловаться. А жалобы людей с «подмоченной» репутацией не имеют даже силы анонимки (не оттого ли так в ходу анонимки?) и закрываются куда быстрее, чем анонимные.

Наслышан Азларханов, например, был о таком курьезе: коллеги в области, до его назначения прокурором, не принимали жалоб на ресторанный сервис. Еще и выговаривали обчитанному — не ходи, мол, по ресторанам, не сори деньгами! А иному строптивому прозрачно намекали: вот выясним, откуда у вас такая страсть к ресторанам, у начальства на работе для объективности письменно спросим, с женой потолкуем — вызовем по повестке, в удобное для нас время, — тут уж у всякого обчитанного жажду справедливости отбивали на долгое время.

С высоты житейского и профессионального опыта он понимал, что одними лишь частными мерами, энергией да энтузиазмом низовых исполнителей нарастающих, как снежный ком, преступлений не изжить. Ну, приложит он усилия, добьется, чтобы выслали Факира с Аргентинцем из города, — так, оставшиеся конкуренты катал только обрадуются, а само зло разве



перестанет существовать? Тогда, шесть лет назад, Мирзоян, ерничая, сказал ему:

— Какой же из меня преступник, товарищ прокурор? Я что — крад, вымогал? Обыграл рабочего, колхозника или советского интеллигента, оставил до получки семью без денег? Говорите, что обобрал уважаемых людей? Это для вас они уважаемые, в горкоме и райкоме, а для меня — воры, да крупные воры, иначе откуда у них сотни тысяч? И если бы не я, и мне подобные, вряд ли выявилась бы их настоящая сущность, так «уважаемые» и продолжали бы набивать свои мешки деньгами. Вот и выходит, что я даже приношу обществу пользу — вывожу ворье на чистую воду. За это не сажать надо, а спасибо сказать. Но куда там, от вас дожدهшься...

Прокурор, конечно, ни в коем разе не разделял взглядов каталы, хотя своеобразная логика в его словах была. Оглядываясь на свою жизнь, он сознавал сейчас, как мало успел. Порою он сравнивал прежнюю свою работу с работой дворника, расчищающего двор в большой снегопад. Очистил, пробил дорогу к калитке, к людям, оглянулся дух перевести, а сзади опять намело, да поболее прежнего. Он видел и знал, как ловко научились в республике обходить закон. Заведет прокурор дело, передаст материалы в суд, вроде выполнил свой долг до конца, а результата нет. На суд оказывают давление и партийные, и советские органы, народный контроль, партконтроль, — глядишь, от прокурорских требований пшик остался: этого нельзя трогать, этот брат, тот сват, этот депутат, тот Герой. Выкрутился один, по ком тюрьма явно плачет, второй, а третий, имеющий прикрытие и тылы, и вовсе перестал обращать внимание на прокуратуру, посчитав, что власть имущим закон не писан.

Когда прокурор был моложе, энергичнее, когда беда еще не приключилась с ним самим, дав почувствовать, кто и в чьих интересах распоряжается в стране от имени закона, — ему думалось: вот тут подтяну, тут уберу, еще одно усилие — и пойдут дела на лад. Сегодня прошла уверенность, оптимизм по поводу светлого завтрашнего дня правосудия вызывали печальную улыбку.

Признавал он и более жестокое крушение своих жизненных надежд.



Много лет назад, на борту эсминца в Тихом океане, он дал себе клятву, что посвятит жизнь правосудию, чтобы не было вокруг ни одного униженного и оскорбленного, чтобы каждый нашел защиту и покровительство у закона. Так думал он и позже, повторяя клятву в акмолинской степи, среди сотен безымянных могил. Теперь он понимал: его поколению, детям тех сгинувших без следа в жерле ГУЛАГов, не удалось вернуть правосудию безоговорочную чистоту и непогрешимость.

Он был кандидатом юридических наук, занимал немаловажную должность — и не раз выступал на совещаниях с докладами, приводившими в замешательство не только коллег, но и членов Верховного суда и Прокуратуры республики. Имел репутацию теоретика, хотя свой воз областного прокурора, практика, тянул куда исправнее многих других. Не раз и не два садился он за докторскую диссертацию, контуры которой определились еще в аспирантуре, но текучка так и не дала довести задуманное до конца. А предлагал он решения по тем временам смелые, именно они и вызывали споры.

Юриспруденция не медицина, где бывали случаи, когда иную вакцину врач сначала проверял на себе, чтобы обезопасить здоровье человечества. Но раз так распорядилась судьба, что он полной мерой испытал на себе силу беззакония, для него, как для юриста, невозможно было не сделать вывода, не осмыслить случившееся с ним лично. Происшедшее лишь подтверждало его прежнюю позицию, его точку зрения по поводу сложившейся в республике и в стране ситуации с органами правопорядка — назрела необходимость перемен. И теперь главным делом его жизни стало завершить работу, исследующую деятельность правовых органов. Потому-то он и берег время, и не хотел размениваться по мелочам. Врачи ведь ясно предупредили: третьего инфаркта сердце не выдержит, то, что остался жив после второго, — и так подарок судьбы. Да и то надолго ли?

Каждый год он инспектировал подотчетные ему в области правовые органы, — делал это без предупреждения, внезапно. Бывало, инспекция проводилась в несколько этапов, потому что в соседних районах руководители уже были заранее оповещены о его поездке. Но к концу года — шесть ли, семь ли раз ему приходилось начинать инспекцию — в каждой из пятнадцати толстых амбарных книг, заведенных по числу районов,



появлялась подробная запись — и многое бы отдали руководители, чтоб заглянуть в эту книгу. Лет пять спустя, как он их завел, прокурор узнал, что за книгами охотились: взламывали машину, рылись в номерах, где он останавливался в поездках.

Уделял он внимание и обстановке в исправительно-трудовых колониях области, организации труда в местах лишения свободы, степени его воспитательной эффективности. По его мнению, тут требовался ряд неотложных мер, усиление материально-технической базы труда в колониях, заинтересованность осужденных.

Как и некоторые другие юристы, он предлагал вывести следственный аппарат из прокуратуры, рекомендовал увеличить число народных заседателей в суде, расширить их права. Настаивал на усилении роли адвоката в судебном процессе, на том, чтобы к лицам, взятым под стражу, допускать адвоката с момента предъявления обвинения.

Именно такого рода идеи в его выступлениях приводили в замешательство коллег по службе, членов Верховного суда и Прокуратуры республики.

Однако, кроме общих, характерных для всей страны, были в республике и свои, специфические проблемы, и мимо них тоже никак нельзя было пройти.

Революция отменила сословия, но осталась живуча, затаилась иная зараза, набиравшая год от года силу — принадлежность к тем или иным родам. И опять негласно стало выплывать на свет определение: белая и черная кость. И надо было уже заводить специалистов по генеалогии в каждом районе, чтобы разобраться, какими кадрами комплектуется та или иная отрасль: в высшем образовании люди из одного рода, выходцы из одной местности, в торговле — другие, в здравоохранении — третьи, и так куда ни глянь, особенно в ключевых и денежных отраслях. Забралась эта зараза и выше. Как рассказывал Азларханову его товарищ, прокурор соседней области, у них все восемь членов бюро обкома — выходцы из одного рода, пятеро к тому же состоят в близком родстве, и куда бы он ни писал, все остается по-прежнему, потому что представители рода сидят и наверху, в республике.

Нынешние обязанности юрисконсульта на консервном заводе едва ли отнимали у него больше часа в день, в остальное



время он писал, печатал на машинке, делал выписки, запросы, заказывал нужные книги. Это и впрямь была работа ученого. Давно известно, что многое в жизни сделано не теми, кому это положено по должности, а теми, у кого душа болела за дело. Душа у прокурора болела, это уж точно...

С работой этой, никому не известной пока, никто его, естественно, не торопил, не подгонял; не связывал он с завершением ее и каких-то перспектив, перемен в своей судьбе, не мечтал ни о славе, ни о признании заслуг; труд этот успокаивал душу, и день ото дня крепла в нем уверенность, что таков его человеческий и гражданский долг. Наверное, он был похож на тех чудаков, что в одиночку в глухих горах строят мост через ущелье, или изо дня в день, из года в год наводят переправу через бурную реку, или растят на пустыре сад, заведомо зная, что никогда не будут наслаждаться его плодами. Не нужны им ни слава, ни признание, им важно, чтобы остался на земле сад, мост, переправа, колодец в пустыне. И как тот, возводящий мост или роющий колодец, он не сомневался в необходимости своей работы и, как всякий мастер, — а дилетанты вряд ли взваливают на себя подобную ношу, — верил в ее необходимость. Ну, в его случае пусть не каждая строка станет законом или постановлением, но эта работа может послужить толчком для некоторых важных решений.

Нервничал и торопился он лишь в те дни, когда заметно поднималось давление, болело сердце, съедала тоска: не успею, не успею... На всякий случай в служебном столе и дома лежали письма, куда все это отправить, если вдруг с ним что...

Выполненная часть работы, уже перепечатанная и вычитанная, хранилась в отдельных папках в сейфе на службе; в каждой папке имелось и сопроводительное письмо. Многие, с кем он оканчивал аспирантуру в Москве, стали крупными юристами, занимали высокие посты, и он верил, что его бумаги попадут в надежные руки.

А тут и новая тема стала занимать ум: разве он не должен как-то обобщить опыт последнего года жизни в этом необычном со всех точек зрения городе? Будь Азларханов лет на двадцать моложе, он, конечно, не задумываясь, назвал бы деяния своих новых земляков незаконными. Но, подойдя к пятидесятилетнему



рубежу, позабыв о спецбуфете и спецпайке, он теперь не был столь категоричным. Однажды, совсем не в русле «законно или незаконно», у него вырвалось: «Как много удобств в этом городе!» И в самом деле: нужен небольшой ремонт в доме — нет проблем, чайхана, где собираются малярных дел мастера, за углом. Корзину цветов ко дню рождения жены? Оставьте на базаре адрес цветочницам, — к определенному часу у вас дома раздастся звонок. Перекрасить машину, устранить вмятину — это у Варданяна, на выезде из города. Хорошо сделает? Обижает — золотая голова, золотые руки, и берет по-людски.

У вас свадьба, день рождения, голова кругом идет, никогда не принимали гостей больше пяти пар? Ничего страшного, в обед возле автостанции найдите Махмуда-ака. Плов на сто человек, триста палочек шашлыка, двести горячих самсы, сотню горячих лепешек — все будет обеспечено по высшему разряду. Живете в коммунальном доме, в квартире не развернуться? Нет проблем. Сделают навесы, собьют временные столы у вас же во дворе.

Зная не понаслышке о состоянии общепита, он сам охотнее ходил в чайхану при автостанции, чем в заводскую столовую. Ну ладно, в этом городе так случилось, неожиданно, незапланированно, и жизнь сама отрегулировала существование жителей. И стало очевидным, что индивидуальная деятельность не помеха государству, а подспорье, вон как расцвел город, вместо того, чтобы захиреть после закрытия рудника.

Известно, что не всякая деятельность во благо. И не оттого ли, что многие понимают незаконность своего промысла, так переполнены по вечерам рестораны: гуляй, однова, брат, живем! Узаконь, разреши, помоги людям на первых порах, пусть поверит народ, что это всерьез и надолго, и вряд ли кто из местных станет заглядывать так часто в «Лидо». С годами он понял, что хоть запретить легче легкого, да сила закона совсем не в запрете, на интересе должен держаться закон.

Конечно, никому он о своей работе не говорил, в помощи ничьей не нуждался, да кто и чем мог ему помочь? Скорее, следовало оберегать свой труд от любопытных, узнай кто-нибудь, чем он занимается, подняли бы на смех: тоже законодатель выискался! А уж поверить в то, что даже не закон, а какая-то строка его могла родиться в обшарпанном кабинете



юрисконсульта консервного завода — вряд ли нашелся бы хоть один такой человек. Здесь властвовала иная психология: законы вынашиваются и рождаются где-то там, наверху, в огромных роскошных кабинетах, где уходящие в высоту стены обшиты темным мореным дубом.

И в тот вечер, когда прокурор единственный раз зашел поужинать в «Лидо», встретиться он случайно с кем-нибудь из бывших коллег, окажись с ними за одним столом, конечно, не обмолвился бы ни словом о главном сейчас деле своей жизни. Ну, этого разговора он, положим, избежал бы. Но разговора о том, как он, один из самых известных прокуроров республики, покатился вниз, избежать вряд ли удалось бы.

Да, от разговора о собственной жизни, о судьбе, ему вряд ли удалось бы уйти.

## 2

Хотя прокурор не хотел возвращаться памятью к тем страшным дням пятилетней давности, сегодня, как никогда за эти годы, он вдруг ясно вспомнил тот ранний междугородный телефонный звонок. Звонили ему домой, на Лахути. Взволнованный мужской голос, назвавший его по имени-отчеству, сказал:

— Беда, большая беда, товарищ прокурор. Убили Ларису Павловну, срочно приезжайте... — и тут же положил или уронил трубку.

Он не успел спросить: как — убили?! Где?! Но минут через пять, когда он лихорадочно собирался, телефон уже звонил непрерывно.

Вызвав машину, Азларханов сделал единственный звонок; работал у них в областной милиции толковый парень, капитан Джураев, сыскник от бога. Но жена Джураева ответила, что тот уже час назад вылетел на вертолете на место происшествия; значит, милиция уже была поднята на ноги. После первого звонка еще оставалась какая-то смутная надежда, что произошла ошибка или, если что и случилось с Ларисой, то, по крайней мере, жива, но после второго и третьего звонка он понял, что надеяться не на что — в таких случаях даже районные судмедэксперты точны в диагнозе.

Через три часа он был на месте — в самом дальнем районе области, хотя точно знал, что Лариса с коллегами работала





неподалеку, но уже в другой республике, где ее тоже хорошо знали. Там местные археологи вскрыли крупное захоронение шестнадцатого века, и её пригласили как специалиста, — обнаружилось много хорошо сохранившейся домашней утвари из керамики.

У морга районной больницы, куда привезли Ларису, после того как обнаружил мальчик, случайно наткнувшийся на тело во дворе заброшенной усадьбы, прокурора поджидало все руководство района. Азларханов вошел в морг один и оставался там так долго, что капитан Джураев на всякий случай осторожно заглянул в приоткрытую дверь. Прокурор стоял в изголовье жены и окаменело глядел то ли на нее, то ли в пространство, все еще не веря в случившееся. Густой кровоподтек на левом виске и явно испуганное выражение лица говорили ему и без подсказки медиков, что смерть наступила почти мгновенно. «Я не уеду отсюда, пока не найду негодяев сам», — молча поклялся он жене и вышел к ожидавшимся его людям.

— В нашем районе двадцать лет не было убийства, — удрученно сказал глава поселка.

Район, не имевший каких-либо серьезных промышленных предприятий и избежавший наплыва людей из других мест, и впрямь числился в благополучных, но до статистики ли было ему сегодня?

— Я думаю, что к вечеру выйду на след, — уверенно сказал капитан Джураев, когда они остались одни в комнате милиции, которую выделили специально для прокурора, и протянул ему цветную фотографию, сделанную «Полароидом».

На веранде сельской чайханы, на айване, покрытом грубым домотканым дастарханом, где лежала кисть винограда и стояла тарелка с парвардой, постным сахаром, сидели четверо стариков, перед каждым чайник и пиала. Живописные старцы, в глазах удивление. Отчего — он догадывался: Лариса вынимала из «Полароида» готовый снимок и дарила каждому из них, как тут не удивиться. «Полароид» помогал Ларисе устанавливать контакты с людьми на базаре, в чайхане или в частном доме.

— Я успел побеседовать с каждым из них, они выражают вам соболезнование, говорят — очень милая женщина, так много знает о нашем крае. Она выпила с ними чайник чая и все спрашивала о Каримджане-ака, которому уже почти сто лет,



а он до сих пор делает из глины игрушки. Ее интересовало, не работал ли он в молодые годы в русских мастерских на станции Горчаково, потому что старики уверяли, мол, родом тот из Маргилана. Вот и весь разговор. Она пробыла с ними почти час и, расспросив дорогу к дому Каримджана-ака, отправилась к нему.

— Как она попала сюда? — спросил прокурор, всматриваясь в снимок, словно пытаясь увидеть там, за ним, свою жену.

— Они вчера возвращались домой с раскопок в Таджикистане на «рафике» краеведческого музея. По пути подвезли какую-то женщину, которая и рассказала о старике, что живет тут в районе и делает потешные игрушки из глины, этим всю жизнь и кормится. Лариса Павловна и загорелась, сошла, машину задерживать не стала, — коллеги спешили домой, сказала, что зайдет в районную прокуратуру и попросит, чтобы как-нибудь ее отправили. До Каримджана-ака она не дошла, но двор, где ее нашли в глухом переулке, по пути к нему. — Джураев тяжело передохнул. — Ясна мне и причина. При ней осталась сумка, а в ней триста восемьдесят рублей, судя по документам, взятые в подотчет в бухгалтерии, на случай, если придется что-нибудь приобретать для музея. Скорее всего, кто-то польстился на необычный фотоаппарат, пытался вырвать, а она оказала сопротивление, и тот, или те, со страху или по злобе ударили ее чем-то тяжелым и тупым по виску.

Прокурор невольно передернул плечами, словно воочию видел эту картину и слышал душераздирающий крик жены о помощи. Крик в глухом безлюдном переулке.

— У нее должен был быть с собой еще один фотоаппарат, более дорогой, западногерманский «Кодак», — обронил Азларханов. — Она всегда брала с собой две камеры.

Джураев покачал головой...

— Этого я не знал. И никто мне о втором аппарате не говорил. «Кодака» при ней не оказалось, не было его и в сумке, где лежали деньги. Это меняет дело. Она сошла с «рафика» на автостанции, где в тот час было многолюдно. Человек, понимающий толк в аппаратуре, склонный к преступлению, увидев ценную вещь у хрупкой женщины, к тому же одинокой, мог пойти за ней следом. Но знающий цену «Кодака», скорее всего, не из местных. С «Полароидом» проще: его явная необычность



могла привлечь и местного, это сужало, по-моему, круг поиска. Но если человек, которого мы ищем, пошел вслед за ней с автостанции, сейчас он вполне может гулять по Москве или Ростову, в любой точке нашей страны...— Тут Джураев осекся: — Амирхан-ака, клянусь вам, я добуду негодяя хоть из-под земли, такие преступления не должны прощаться...— и с покрасневшими глазами выскочил из комнаты.

Прокурор просидел в комнате час, другой, — телефон молчал, новостей не было. Он держал в руках фотографию и вглядывался в добродушные лица стариков, беседовавших с Ларисой всего шестнадцать часов назад, всего шестнадцать... И при этой мысли он как бы наперед почувствовал всю предстоящую горечь жизни, одиночество, пустоту, ибо знал, что до конца дней своих будет теперь прибавлять к этим шестнадцати сначала часы, затем дни, месяцы, годы... Ему вдруг так захотелось увидеть стариков, последних, с кем говорила его жена, увидеть без всякой цели, без намека на допрос, ибо ничего нового они ему сказать не могли — все, что нужно, уже выпросил дотошный Джураев.

Он выглянул в коридор, — у двери дежурил милиционер, так, наверное, распорядилось местное начальство, на всякий случай. Передал милиционеру фотографию, чтобы вернули ее хозяину, — он не хотел отнимать подарок жены; попросил собрать стариков в чайхане через полчаса.

Машина вернулась минут через десять, старики, оказывается, в чайхане с утра и готовы встретиться с ним. Но аксакалы были явно чем-то напуганы, и разговора не получилось, хотя он понимал, что вряд ли их напугал Джураев — не та школа, не тот стиль. Настораживало его и то, что они прятали свой испуг. Одно прояснилось: был у Ларисы и второй фотоаппарат, и они точно описали его. Значит, версия с человеком с автостанции могла быть верная.

Когда прокурор шел к машине, на высокой скорости подскочил милицейский мотоцикл. Сержант, не слезая с сиденья, выпалил:

— Поймали, товарищ прокурор. Поймали...

Прокурор прыгнул в кабину, и машина рванула с места.

В милиции толпился народ в штатском и в форме. Когда в узком коридоре появился Амирхан Даутович, толпа расступилась,



растекаясь вдоль обшарпанных стен, и он шел как сквозь строй, но вряд ли кого видел, взгляд его тянулся к полковнику, стоявшему у распахнутой настежь двери в середине длинного безоконного прохода. Полковник широким жестом хозяина пригласил его в кабинет и торопливо, боясь, что его опередит кто-то из местных должностных лиц, мигом заполнивших помещение, выпалил:

— Признался, подлец, признался. Все бумаги подписал.

Посреди комнаты на стуле сидел неопрятного вида мужчина средних лет, по виду бродяга. Шум, гам, толчея в коридоре и в кабинете его словно не касались, отрешенный взгляд анашиста говорил о покорности судьбе, лишь бы его оставили в покое. Прокурор, лишь мельком глянув на задержанного, сказал собравшимся:

— Оставьте меня с ним наедине.

Люди нехотя освободили помещение.

Через полчаса Азларханов попросил зайти в кабинет начальника милиции. Полковник, не отходивший от двери все это время, переступил порог, заметно волнуясь.

— Послушайте, Иргашев, разве я когда-нибудь давал повод, потакал раскрытию преступлений любой ценой? Может, это практиковалось там, откуда вас перевели, но вы работаете у нас в районе давно, пора бы и уяснить. Я не могу вас благодарить за рвение, даже если в данном случае оно касается меня лично. Признание, которое вы выбили у этого несчастного, ничего не стоит. Что же до ваших методов — заглядывайте иногда в Уголовный кодекс, советую, иначе мы с вами не сработаемся. — Потом, после долгой паузы, от которой полковника прошиб пот, продолжил: — А этого человека определите на принудительное лечение и не числите его фамилию в резерве, чтобы «закрыть» еще какое-нибудь очередное преступление, память у меня крепкая, не советую вам испытывать ее.

Полковнику хорошо была знакома статья, которую имел в виду прокурор, когда говорил об Уголовном кодексе: именно из-за должностных злоупотреблений он с поста начальника областной милиции слетел сначала до поста руководителя городской службы, затем районной в городе, пока не докатился до сельской местности, что, впрочем, никак не отразилось на его погонах — может, оттого, что ему до сих пор так открыто, в лицо, никто не говорил о служебном несоответствии.



Едва за полковником закрылась дверь, в коридоре дружно прошагали к выходу сопровождающие его чиновники, захлопали во дворе дверцы машин, и площадь перед зданием быстро опустела.

В зарешеченное окно прокурор видел, как по двору тащился задержанный, он испуганно оглядывался, все еще не веря в свое освобождение, ждал: вот сейчас из какого-нибудь окна раздастся грозный окрик и наручники снова сомкнутся на его трясущихся руках, как бывало прежде, когда ему уже приходилось отвечать за чужие дела. И только дойдя до калитки и оглянувшись в последний раз, он неожиданно побежал, хотя жалкую дерготною больного человека вряд ли можно было назвать бегом. «В каждом человеке, даже таком, где до распада личности остался всего лишь шажок, живуч инстинкт самосохранения», — почему-то подумал прокурор и впервые почувствовал, как острая боль кольнула в сердце.

### 3

Наступил вечер, милиция опустела, исчез даже старшина, стоявший весь день у двери временного кабинета прокурора, тишина легла в длинном и мрачном коридоре бывшего барака. Только у входной двери, в комнате дежурного, то и дело раздавались звонки, но телефон перед Азлархановым молчал. Дежурный по райотделу время от времени заносил в кабинет чайник чая, но заговорить не решался, не спрашивал его ни о чем и прокурор. Обхватив голову руками, он сидел, упершись локтями в залитый чернилами грязный стол, и, казалось, дремал, но это было не так: он вздрагивал от каждой трели звонка в конце коридора, от каждой проехавшей мимо милиции машины. Он ждал вестей от капитана, но от того не было сообщений с самого утра.

Скоро опустились легкие дымные сумерки, и во дворе милиции появился садовник со шлангом. Быстро и ловко он обдал мощной струей воды свободную от машин площадь, запылившиеся за долгий день розарии и даже нижние ветви мощных дубов, наверное, посаженных первыми жильцами этого мрачного, уходящего окнами в землю старого барака.

Прокурор не видел, как управлялся во дворе садовник, хотя все происходило у него под окном, но неожиданную свежесть



из распахнутой настежь форточки он почувствовал. Наверное, он еще и потому особенно остро ощутил спасительную свежесть, что уже часа два-три чувствовал, как ему отчего-то не хватает воздуха, хотя прежде никогда не жаловался на здоровье, легко переносил жару и духоту.

У розария уже зажглись фонари, в ярком освещении жирно поблескивал свежeweмытый асфальт, над лужицами поднималась легкая пелена пара.

«Дождь, что ли, прошел?» — очнулся Азларханов, но тут же отмел эту мысль, дождь летом в южных краях большая редкость. Он поднялся из-за стола — при этом занули затекшие ноги — подошел к форточке и, расстегнув ворот рубашки, жадно вдохнул свежий воздух. Потом подумал, что ему ведь ничто не мешает выйти из душного кабинета во двор, телефон он услышит — лишь бы позвонили.

Первая горячая волна от вымытого асфальта и освеженной земли прошла, и все вокруг уже не источало накопленный за день жар, как час назад, а дышало прохладой; в палисаднике, под окнами, и чуть дальше, у розариев, остро пахло землей и зеленью, как после дождя. «Волшебная сила воды!» — машинально отметил прокурор. Он стоял во дворе, напротив ярко освещенного зева распахнутых настежь дверей затихшей к ночи милиции, и вглядывался в темноту — не вынырнет ли вдруг из-за высоких кустов колючей живой изгороди ловкая и бесшумная фигура лучшего розысчника области Джураева, не раздастся ли шум подъезжающей машины, не засветятся ли фары вдалеке.

Дежурный районной милиции, заступивший в ночь, видел через окно, как областной прокурор вышагивал вдоль розария. Ему нравилось, как тот по-мужски держался в горе, но ему еще больше понравилось, как тот отчитал сегодня начальника милиции, как поступил с бродягой. Милиционер был молод, заочно учился на юридическом факультете университета и, конечно, как многие юристы, мечтал стать прокурором. Потому и вглядывался он пристально в молчаливого прокурора, о котором был достаточно наслышан и от коллег по службе, и от товарищей по университету. Дежурный жалел, что должен всю ночь просидеть за столом, он знал, что сегодня все силы милиции, вплоть до работников вневедомственной охраны,



брошены на розыск убийцы, и не сомневался, что сейчас, в эти минуты, несмотря на позднее время, идет напряженный поиск, и не только у них в районе или области.

Заступив на дежурство, он прочитал в журнале две телефонограммы, переданные капитаном Джураевым в Министерство внутренних дел республики и во всесоюзный уголовный розыск. Первая была зарегистрирована еще до приезда областного прокурора на место происшествия:

«Прошу обратить внимание на всех подозрительных лиц, имеющих при себе фотоаппарат «Полароид», делающий моментальные цветные фотографии».

И вторая:

«Разыскиваемый с «Полароидом» может иметь также и другой фотоаппарат — последней модели «Кодак».

«Жаль, нет пока никаких вестей, — подумал дежурный. — Как хорошо бы сейчас выйти и сказать: не волнуйтесь, товарищ прокурор, нащупали кое-что ребята, надо только ждать». Но не мог он сказать этого и, снова заварив свежий чай, взял стул и вышел к прокурору.

Ни от чая, ни от стула прокурор не отказался и, поблагодарив кивком головы, продолжал вышагивать вдоль забора. Но когда дежурный направился к себе, прокурор все же спросил:

— Нет ли вестей от капитана Джураева?

Милиционер сожалеющее вздохнул:

— Пока нет, товарищ прокурор... — Затем, помедлив секунду — говорить или не говорить, — все же стал докладывать: — Час назад звонил лейтенант Мусаев, он из местных — его отрядили в помощь капитану Джураеву. Так вот, он с обидой сказал, что Джураев оставил его в дураках и без машины. А дело было так... Зашли они пообедать к Мусаеву домой. Джураев попросил вдруг гражданскую одежду, переоделся очень простецки, под кишлачного парня. После обеда они выехали на личной машине Мусаева, — был у них кое-какой совместный план, — но неожиданно Джураев попросил подъехать к автостанции. Пропадал он там минут двадцать, затем вернулся в машину и приказал лейтенанту, чтобы тот занял удобную позицию в чайхане при автостанции, и, если появится человек, приметы которого он довольно подробно описал, велел задержать того любой ценой. А сам он, мол, на машине



поедет к вам, поставит обо всем в известность и тотчас же вернется на подмогу. Наказав не покидать пост ни при каких обстоятельствах, Джураев уехал. Наш Мусаев добросовестно просидел в чайхане семь часов, до самого закрытия, и понял, что капитан почему-то решил от него избавиться и что тому нужны были лишь «жигули» с местным номером. Вот и все, товарищ прокурор. А Джураев сюда не заезжал, как обещал нашему Мусаеву...

Но прокурор уже не слушал его. Что еще за трюки с переодеванием, угоном машины? Все это никак не походило на Джураева, он как раз из всех розыскников, — а там подобрались неплохие ребята, — меньше всего увлекался внешними эффектами, хотя результаты его работы поражали выдавших виды спецов. Отказаться от помощи местного человека? Казалось, не было в этом никакой логики. Да, не было логики, если бы это был не Джураев! «Значит, ему как раз местный чем-то мешал, — подытожил прокурор. — Ждать! Ждать!» — приказал он себе и продолжал вышагивать вдоль высоких кустов живой изгороди.

Неожиданно к зданию из темноты вырулила машина, на звук ее из дежурки кинулся милиционер. Волнения оказались напрасными: приехал районный прокурор и пригласил коллегу на ужин, но тот, перекинувшись с ним двумя-тремя словами, отказался.

Ночь прочно вступала в свои права: погасли в соседней махалле огни, угомонились поселковые псы и последние магнитофоны, все реже и реже шум какой-нибудь случайной машины нарушал тишину поселка. Заметно посвежело, и Амирхан Даутович вернулся в свой временный кабинет. «Теперь уже до утра не будет вестей», — решил он, поглядев на упорно молчавший телефон, и надолго задумался, провалился памятью в какой-то давний счастливый день с Ларисой. Потому, верно, не услышал нарастающего шума двигателя. И только когда свет фар влетевших во двор «жигулей» полыхнул по стеклам, Азларханов, ослепленный на миг, услышал визг тормозов и одновременно, еще из машины, голос капитана, который сегодня прокурор узнал бы из тысячи.

— Закрой ворота на замок, сейчас налетят родственнички! — громко приказал он дежурному. — И не открывай никому с





полчаса. Слышишь, никому — даже полковнику Иргашеву. Скажешь, ключ забрал Джураев, пусть лезут через забор, если кому удастся. — И, уже обращаясь к кому-то еще, велел: — А вы вытряхивайтесь из машины и живо в тот кабинет, где горит окно. Там вас ждут, и очень давно.

Не успел прокурор очнуться от воспоминаний, вернуться в настоящее, как Джураев энергично втолкнул в комнату двух парней. Каждый жест, движение капитана говорили, что он почему-то очень спешит.

— Посмотри за ними, и пусть не разговаривают! — бросил Джураев появившемуся в дверях дежурному и жестом пригласил прокурора в соседний кабинет.

Амирхан Даутович включил в комнате свет и, видя, как устал, издергался розыскник, предложил ему сесть. Но тот жестом отказался от предложения, плотнее прикрыл дверь.

— Нет, товарищ прокурор, садитесь вы, вам предстоят нелегкие часы. Я свое дело сделал, и, пожалуйста, выслушайте меня, не перебивая, у нас очень мало времени. Сейчас примчатся десятки машин, налетят родственники, друзья и начальство, несмотря на полночь, и вряд ли тогда они дадут мне возможность остаться с вами наедине.

Он чуть ли не силой усадил прокурора в драное кресло, протянул ему фотографию.

— «Полароид»?! — вырвалось у прокурора изумленно.

— Тише! — предупредил его капитан. — Да, «Полароид».

С примятой фотографии прокурору улыбались два парня, стоявшие в обнимку. Один был рослый, перекормленный, барственно-надменный. Другой, не достававший ему до плеча, — типичный дистрофик, с таким подобострастным лицом, что казалось, он вот-вот сорвется с фотографии и бросится исполнять любое желание своего господина. И мысль о какой-то дружбе, взаимной привязанности между ними как-то не возникала, сколько ни вглядывайся в их счастливые лица.

— Запомнили? — почему-то настойчиво переспросил капитан.

Прокурор кивнул головой; именно эти парни сейчас находились в соседней комнате. Капитан взял фотографию и, на глазах прокурора изорвав на мелкие кусочки, положил их к себе в карман.



— Будем считать, что фотографии у нас нет. Я дал слово, что снимок нигде фигурировать не будет, иначе этой семье здесь не жить, но это вы сами скоро поймете. Главное, что убийцы у нас в руках, и сейчас, пока не понаехали их защитники, надо в присутствии дежурного успеть провести первый допрос. У меня такое впечатление, что местная милиция вышла на них гораздо раньше меня и они о чем-то уже столковались. В доме Бекходжаева, того, мордатого, мелькнуло несколько важных лиц, мне кажется, я даже слышал голоса полковника Иргашева и районного прокурора Исмаилова, но я на этом не настаиваю. Несмотря на поздний час, находился там и второй парень со снимка. Его я собирался взять первым и допросить одного, но дома его не оказалось, мать с гордостью объяснила, что два часа назад приехал на мотоцикле его друг Анвар, сын очень больших людей, и пригласил в гости, мол, они сегодня черного барана зарезали.

— Кто такие Бекходжаевы? — быстро спросил прокурор.

— Суюн Бекходжаев — председатель хлопководческого колхоза-миллионера, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета республики. У него еще шесть братьев и две сестры, которых он вырастил и поставил на ноги, и всех братьев и сестер его вы хорошо знаете, они в области на больших должностях. Но и это не все: они из самого знатного и влиятельного рода в здешних краях, и много людей поднялось благодаря финансовой помощи Суюна Бекходжаева.

— А вы, капитан, из рода ходжа? — неожиданно спросил прокурор.

Джураев улыбнулся:

— Разве похож? Когда-то я любил девушку, оказавшуюся из очень знатного рода. Нам не разрешили обручиться ее родители и братья, они с дружками много раз избивали меня до полусмерти. Мужчина из знатного рода может себе позволить жениться на простолюдинке, а вот женщине никогда не разрешат выйти замуж за неровню. И вот тогда я на собственной судьбе... — Джураев вдруг оборвал себя на полуслове. — Нам пора, уже едут.

В тишине слышалось, как вдали надсадно ревели моторы: машины — оба это знали — спешили сюда.

Они вернулись в смежную комнату. Не успел капитан приготовить бумаги для допроса, как у высокой милицейской



ограды появились первые машины, лучи фар скрестились на единственном окне, где горел свет. Увидев замок на воротах, приехавшие загомонили, закричали, стали нажимать на клаксоны, зазвучала брань. Перекрывая шум, послышалось уверенное и возмущенное:

— Что, если убили жену прокурора, можно допускать произвол, хватать наших детей среди ночи?

— Знакомьтесь, это сам Суюн Бекходжаев, — объяснил капитан, обращаясь к прокурору.

Шум, гвалт, автомобильные гудки подняли на ноги махаллю, залаяли собаки, зажглись во дворах огни, кто-то уже молотком сбивал замок. А вот и зычный бас полковника Иргашева:

— Немедленно откройте ворота! Приказываю открыть ворота!

Но дежурный неподвижно стоял в дверях, смотрел на бледного парня, дававшего показания.

— Студент юридического факультета? — поразился прокурор.

— Да, отец сказал: прокурором буду, — промямлил трясущимися губами Бекходжаев-младший.

Капитан пытался остановить прокурора, чтобы успеть задать свой главный вопрос, но тот не слышал его: поднявшись над столом, вдруг закричал:

— Ты — будущий юрист?! — Затем, словно спохватившись, сел и сказал капитану: — Продолжайте.

Но не успел Джураев задать новый вопрос, Азларханов встал из-за стола и подошел к окну. Прямо напротив, у ворот, бесновалась родня и дружки Бекходжаевых; увидев прокурора в окне, толпа зашумела пуще прежнего. Прокурор повернулся и, оказавшись между капитаном и допрашиваемыми, стал медленно надвигаться на дружков, те испуганно заскрипели стульями.

Джураев почувствовал неладное; зная, что прокурору нельзя допускать ни малейшей ошибки, он метнулся к нему. Когда тот поднял руку, то ли замахиваясь, то ли желая схватить за грудки закричавшего от страха Анвара Бекходжаева, капитан уже был рядом, готовый предупредить любое опасное движение прокурора. Но Амирхан Даутович с поднятой рукой вдруг стал медленно валиться на него.



Капитан подхватил Азларханова, не давая упасть, и крикнул дежурному:

— Срочно «скорую»! — И добавил вдогонку: — Спецсвязь с Ташкентом на этот телефон! — А сам, сунув под голову прокурора чужой чапан, осторожно уложил его на полу.

Вместе со «скорой» из районной больницы, находившейся неподалеку, во двор милиции ворвалась и толпа, но дежурный по приказу Джураева пустил в здание только должностных лиц, которых в такой поздний час оказалось неожиданно много. Тут же раздался звонок из Ташкента по спецсвязи.

— Это капитан Джураев, — докладывал розыскник. — Убийц я задержал, подробности через час-полтора в Ташкенте. А сейчас немедленно свяжитесь с санитарной авиацией и вышлите к нам в район самолет, десять минут назад у областного прокурора случился тяжелый инфаркт.

— Зачем самолет, можно к нам в районную больницу, можно в областную, — недовольно заметил полковник Иргашев, как только капитан положил трубку. Держался он теперь куда увереннее, чем днем.

Джураев внимательно оглядел полковника, словно чувствовал, что впереди им еще предстоит долгая борьба, и, чеканя слова, ответил:

— Ни у вас, ни в области я прокурора не оставлю, передам с рук на руки врачам в Ташкенте.

## **Бекходжаевы**

Все эти годы прокурор ощущал посмертную вину перед женой, ведь он даже похоронить ее не мог — в последний путь провожали ее друзья, коллеги по музею, его товарищи по прокуратуре, но главная тяжесть пала на капитана Джураева: он доставил Азларханова на санитарном самолете в кардиологический центр республики, а убитую — в осиротевший дом на Лахути. Он же сфотографировал для Амирхана Даутовича похороны, — так в последний раз сослужили службу отыскавшиеся «Полароид» и «Кодак».

Приехал прокурор на могилу жены поздней осенью, в дождливый слякотный день, прямо из аэропорта, когда через два



с половиной месяца его выписали из клиники в Ташкенте. Выписали с весьма суровыми предписаниями. Была у него на руках и путевка в кардиологический санаторий в Ялте. Лечение следовало еще продолжать и продолжать, ни о какой работе не могло быть и речи, хотя он по-прежнему занимал пост областного прокурора. Как ни пытались врачи охранять его от волнений, прокурор, как только пришел в себя, конечно, узнал, как развивались дальнейшие события. Узнал он кое-что новое и от Джураева, когда капитан привез ему в больницу фотографии с похорон жены.

Полковник Иргашев обвинил Джураева в превышении своих полномочий, ведении розыска недозволёнными методами, и капитана отстранили от расследования.

Дело для суда затруднений не представляло. Преступник, которому до совершеннолетия не хватало двух месяцев, в содеянном полностью сознался. Сказал, что это он «задумал и осуществил разбойное нападение на искусствоведа Турганову». Нет, убивать ее он не собирался, все получилось непреднамеренно. Когда он сорвал фотоаппараты и побежал, потерпевшая кинулась за ним, а он, отбиваясь тяжелым мотоциклетным шлемом, случайно попал ей в висок. Его товарищ Анвар Бекходжаев, владелец мотоцикла «Ява», на котором они догнали женщину и, совершив разбойное нападение, потом уехали, от этой затеи его отговаривал, но желание завладеть диковинным фотоаппаратом было настолько велико, что он, Худайкулов, пригрозил приятелю ножом, и Бекходжаев был вынужден подчиниться.

На вопрос судьи, почему он в момент задержания оказался в доме Бекходжаевых, обвиняемый объяснил: мол, он знал, что ведутся поиски убийцы, и боялся, что товарищ может его выдать, потому пошел к нему домой и еще раз пригрозил убить, если тот кому-нибудь проговорится. Он представил суду и нож, которым якобы угрожал другу. Суд, учитывая непреднамеренность содеянного — что подтвердил и свидетель, студент юридического факультета Бекходжаев, — а также то обстоятельство, что обвиняемый не достиг совершеннолетия и искренне раскаивается в преступлении, учитывая и его семейное положение — на его содержании находится тяжелобольная мать, — приговорил убийцу к десяти годам. Следствие и суд



провели оперативно, в кратчайшие сроки. Правда восторжествовала, преступник найден и осужден, едва не пострадавший от руки негодяя студент Бекходжаев приступил к занятиям на третьем курсе университета, неожиданно обретя опыт свидетеля в суде, который может пригодиться ему в дальнейшей практике будущего юриста.

Человеку безучастному, постороннему, конечно, могло бы показаться, что справедливость и в самом деле восторжествовала, зло наказано быстро, оперативно, чем обычно суд похвалиться не может. Заседание суда было открытым, хотя открытость эта, если разобраться, тоже имела свою историю. Суд по разным причинам трижды откладывали, и коллегам Ларисы Павловны, приехавшим на заседание, приходилось всякий раз возвращаться назад в город рейсовым автобусом, и с каждым разом их становилось все меньше и меньше — путь все-таки не близкий, да и рабочий день как-никак. А затем вдруг процесс состоялся, но на день раньше объявленного срока, и тому тоже нашлась вроде объективная причина — пожелай кто-нибудь выразить недовольство, не придерешься. И зал был полон, — однако людей, действительно равнодушных к судьбе Ларисы Павловны и находящегося в критическом состоянии прокурора, здесь почти не было. Зато наехали люди из области — родные дяди и тети свидетеля Анвара Бекходжаева, все до одного, а также прибывшие с ними на белых и черных «Волгах» сочувствовавшие беде, в которую попал несмышленный студент, сын уважаемых родителей. Было бы, конечно, несправедливо утверждать, что в зале все поголовно переживали за студента, боялись, как бы он из свидетелей не перекочевал на скамью подсудимых. Нет, местный люд хорошо знал, кто на что способен, и без помощи суда, но им хотелось увидеть, как выпутается на этот раз из истории всеильный Суюн Бекходжаев. Он уже не один год, подвыпив, орал на колхозников: «Закон — это я!» — и показывал жирным пальцем на Звезду Героя и депутатский значок. И вот представился редкий случай проверить, не переоценивает ли свои возможности их председатель. Хотя мало кто сомневался в силе Бекходжаевых, но иным казалось — а вдруг? Суд все-таки, и убили не какую-то темную кишлачную бабу, за которую и заступиться толком некому, а жену областного прокурора, говорят, ученую, известную даже за границей.



А вышло так, как и судачили люди по углам, правда, шепотом и с оглядкой, не дай бог дойдет до Героя-депутата...

Присутствовал на суде и капитан Джураев. Его, конечно, никто специально о заседании не предупреждал, не извещал, более того — его отстранили от дела, недвусмысленно посоветовав подальше держаться от этого случая. Правда, официально все же поблагодарили и поощрили за скорую поимку преступников. Но его, опытного розысника, трудно было сбить с толку: сценарий, который разыграют на суде, он уже знал наперед.

На суд он явился, не привлекая внимания, спрятав под просторным плащом небольшой японский магнитофон. Трех кассет хватило, чтобы записать катившееся без сучка и задоринки судебное заседание.

И все это время Джураев не спускал глаз с нужного ему человека. Этого человека капитан «вычислил» еще в день убийства и обязательно встретился бы с ним в ту же ночь, если бы не приключилась беда с прокурором.

После суда капитан не сразу вернулся в город. До вечера он пропадал на базаре, слонялся из чайханы в чайхану; везде судачили о сегодняшнем суде. Последние часы, пока не стемнело, он провел в чайхане при автостанции, куда когда-то спровадил порядком струсившего лейтенанта Мусаева. Жуткий портрет гипотетического убийцы он тогда нарисовал лейтенанту; впрочем, ничего не сочинял — в прошлом году взял именно такого на одной квартире. А что ему оставалось делать? Он быстро понял, что старики со снимка Ларисы Павловны видели кого-то у чайханы, но боялись назвать, а это могло означать только одно — человек этот местный. Из области ему сообщили, что в райцентре постоянно не проживает ни один уголовник, ни один рецидивист, вернувшийся из мест заключения, а только бывшие растратчики да казнокрады. Значит, боялись они не местного человека с преступным прошлым, а того, с кем связываться было нежелательно. Так выстроил свою версию Джураев в день поимки преступников и понял, что лейтенант Мусаев, которого в округе знает любая собака, ему не помощник, и даже наоборот — в его присутствии вряд ли кого расположишь к откровенности.

Он тогда сразу обратил внимание и на дом на взгорке, наискосок от того двора, где нашли убитую, — с его веранды



хорошо просматривались и улица, и весь двор за дувалом. Но к дому этому он вернулся позже, уже вечером. Время бежало, а у Джураева не было никакой ниточки, за которую можно было бы зацепиться, и капитан решил еще раз начать все с начала — со встречи с мальчиком, нашедшим Турганову. Ему казалось, а точнее, хотелось, чтобы именно мальчик забрал второй фотоаппарат, «Кодак», если он находился у нее в сумке.

Через несколько минут разговора капитану стало яснее ясного, что мальчик никакого фотоаппарата не видел, хотя, конечно, он его так в лоб не спрашивал. Чтобы как-то оправдать свое вторичное появление в доме, капитан попросил поподробнее рассказать, как тот нашел убитую женщину. Может, в такой вот интуиции и таился его талант сыщика. В который раз мальчик говорил: играли уже в поздних сумерках в футбол, тут, прямо на улице, мяч залетел во двор, и старшие ребята, как обычно, послали его за мячом...

Джураев на всякий случай дотошно расспрашивал: какие мальчики, после чьего удара мяч улетел за дувал... И тут-то мальчишка вспомнил, что мяч поначалу влетел во двор напротив, к Суннату-ака, тот как раз копался у себя в огороде. Обычно он сразу возвращал мяч ребятам, перекинув рукой через дувал, а тут запузрырил его ногой во двор через дорогу и добавил еще: «Ищите теперь во дворе бабушки Раушан, пока окончательно не стемнело». И как только нашли убитую, тут же набежали взрослые, и кто-то сказал, что нужно позвонить в милицию. Телефон на этой улице был только у Сунната-ака, но он, оказавшийся во дворе со всеми, заявил, что телефон не работает, и попросил ребят на велосипедах доехать до милиции. Вроде несущественная деталь, но восточному человеку она говорит о многом: здесь поостерегутся сообщить неприятную весть, даже если к ней и непричастны, или, как говорят на языке юристов, имеют стопроцентное алиби. Мог, мог видеть со своего двора случайно Суннат-ака то, что совершилось в этот день на пустынной улице, может, хоть самый конец, может, крики слышал, оттого и направил ребят во двор, чтобы наткнулись на убитую. Но Сунната-ака в тот час дома не оказалось, а чуть позже Джураев уже вышел на фотографию, сделанную «Полароидом», и точно знал, кто убил жену прокурора. В суде Джураев не спускал глаз с Сунната-ака — вроде





подтверждалась и вторая его версия. Вот к нему-то и направился капитан, как только стемнело...

Суннат-ака оказался человеком вовсе не робким, как предполагал вначале капитан, встретил он его без всякого замешательства и суеты, хотя ночной гость, предъявляющий милицейское удостоверение, заставит растеряться любого, тем более человека сельского. Он провел капитана на открытую веранду, откуда действительно хорошо проглядывались улица и двор напротив, и усадил за стол, над которым свисала яркая, без абажура, лампочка. Потом, тут же извинившись за оплошность, сказал:

— Наверное, здесь вам будет гораздо удобнее, — и показал на низкий айван в саду.

«Пожалуй, так будет удобнее нам обоим», — согласился про себя Джураев, потому что с улицы освещенная веранда дома на взгорке тоже хорошо просматривалась.

Суннат-ака, захватив со стола чайник и две пиалы, подсел на айван, с вызовом и нескрываемой усмешкой заявил:

— Я слушаю вас, человек закона.

Но капитан от него лучшего приема и не ждал, опасался, что и во двор в такое время могут не пустить, поэтому сделал вид, что не заметил иронии, и начал издалека:

— Суннат-ака, я не стану вас спрашивать, почему вы навели ребят на двор, где нашли убитую, почему не позвонили в милицию, хотя телефон у вас работал — это я знаю точно, потому что звонил к вам и разговаривал с вашей женой. Понимаю, вам не хотелось иметь дело с милицией. Не знал я одного, когда и как вы узнали или увидели, что во дворе напротив находится убитая женщина. Может, это случилось за час перед тем, как ребята начали играть в футбол, а может, несколько раньше, а может, даже в тот же час, когда ее убили, с вашей веранды улица и усадьба Раушан-апы как на ладони — в этом я убедился сейчас еще раз. Так вот, до сегодняшнего дня я не мог ответить на вопрос, что же вы знаете об этой истории: какую-то малость или все.

— И почему же вы прозрели именно сегодня? — опять же с вызовом, но без всякого замешательства спросил хозяин дома. Он протянул руку и налил чаю ночному гостю.

Джураев кивком головы поблагодарил его, отпил глоток.



— Сегодня я был в суде и все время наблюдал за вами. Происходящее в зале меня не интересовало, я знал ход заседания наперед, к тому же я все записал на магнитофон.

— И чем же я вас заинтересовал?

— Очень любопытна была ваша реакция на некоторые показания, например, вот на это, — и капитан, достав портативный магнитофон, включил то место, где судья задавал вопросы свидетелю.

— Какое имеет значение, как я реагировал в суде, когда все уже ясно. Убийца ведь пойман и осужден? — не то спросил, не то подытожил, закругляя разговор, Суннат-ака, но былой неприязни в его голосе уже не было.

— Ну, положим, то, как вы реагировали, может и не иметь значения, но то, что вы знаете, имеет. Ваша реакция меня убедила, что не Азат Худайкулов затеял разбойное нападение, и не он, пусть даже по неосторожности, убил жену прокурора.

Суннат-ака зло рассмеялся:

— Да, нечего сказать, проникательные люди стоят у нас на страже закона и порядка! Вы что же, считаете, я тут один сомневался? Вы что, всерьез думаете, что Азат мог угрожать, заставлять и даже поднять нож на сына Суюна Бекходжаева? Да он глаз на него не смеет поднять в самом сильном гневе, он у него в холуях чуть ли не с пеленок. Умные люди рассудили здраво: зачем отвечать вдвоем, когда лучше одному, к тому же несовершеннолетнему. Конечно, наобещали Азату, что не оставят в беде. А тому почему не поверить, если видит, что все идет, как и разыграли у него на глазах. Значит, и его вытащат потом, года через два-три, как только история утихнет. Понятно, не задаром выручал дружка — Бекходжаевы люди не скупые, тем более, когда им это позарез надо.

— А мне казалось, Суннат-ака, вам, человеку верующему, уважаемому сельчанами, дорога правда, истина, справедливость... — тихо обронил капитан.

Суннат-ака сперва вроде растерялся от этих слов, но затем встал, давая, видимо, понять, что считает разговор оконченным, и, не скрывая неприязни к непрошеному гостю, сказал:

— Почему это вам, образованным да власть имущим людям, всегда нужно на борьбу за справедливость выставлять наперед себя нас, простых людей? Не по совести это...



Джураев слушал, не возражая, не прерывая. А Сунната-ака словно прорвало:

— Как вы сами считаете, поняли бы меня сегодня на суде, если б я вдруг встал и выложил все то, что вы так ладно придумали? Мой дед, мой отец жили под ними, и я живу под Суюном Бекходжаевым, и дети мои, как я убедился сегодня, будут жить под Анваром Бекходжаевым. А пока, как мне их прокормить, — а у меня их шестеро, — зависит только от председателя. И я должен встать на дороге их сыночка Анвара? Да вы понимаете, чего вы хотите? Ладно, пусть я, по-вашему, человек слабый, безвольный, трус, как вам будет угодно, но я уверяю вас, здесь не найдется ни одного человека, который поступил бы так, как вы добиваетесь. И не вините строго нас — ни меня, ни других односельчан — не мы в этом виноваты. Наведите между собой, наверху, порядок, покажите нам другой, действительно народный суд, тогда, может, и мы поднимемся с колен, скажем свое слово правды. Я все сказал, больше мне добавить нечего... Так что уходите.

Капитан нехотя поднялся и, не попрощавшись, двинулся к выходу. Не успела захлопнуться за ним тяжелая дверь в высоком дувале, как тотчас погас во дворе свет, и растерянный гость остался в кромешной тьме. Он долго стоял, прислонившись к дувалу, так был подавлен. Когда-то он думал, что покорность народа — благо. Сейчас, выйдя со двора Сунната-ака, он понял, что это беда.

## 2

Вот о чем вовсе не хотелось бы рассказывать прокурору в тот вечер в «Лидо», если бы он оказался за столом с бывшими коллегами. Но любой разговор вряд ли не коснулся бы убийства Ларисы Павловны, которую все они наверняка знали. А следующий вопрос, естественно, был бы к нему: как он оказался здесь, в «Лас-Вегасе»? Уж кому-кому, а его коллегам было известно неофициальное название городка. И вновь пришлось бы возвращаться к тому сырому, слякотному вечеру поздней осени пять лет назад, когда он, возвратившись после инфаркта из ташкентской больницы, утопая в грязи, покидал унылое, донельзя запущенное городское кладбище...

С самого утра, не прекращаясь ни на минуту, моросил дождь. Подъехав к воротам, прокурор оставил машину внизу



у дороги, а на кладбищенские холмы поднялся пешком. Шофер напомнил ему про зонт, но он подумал — есть в этом что-то оскорбляющее память Ларисы. Он даже шляпу оставил в машине, — ему казался нелепым этот жест: подойдя к могиле, снять шляпу, а затем вновь ее надеть. Ведь так здороваются с живыми.

Затяжные осенние дожди размыли холмик, тяжелая желтая глина просела, следовало бы подсыпать. На фанерном щите в изголовье можно было разобрать только даты рождения и смерти, написанные фломастером, остальное слизали дожди, — годы, отпущенные судьбой его жене. Там же, на завалившемся вправо щите, висели еще два жестяных венка с истлевшими черными лентами — наверное, от прокуратуры и музея. «До чего убого, казенно, — тоска сжала сердце прокурора. — И при жизни мало что успеваем дать человеку, а такие кладбища — насмешка над памятью». И тут он на миг представил, как мотался, искал, кланчил, заказывая гроб, Эркин Джураев, как, может быть, потом сколачивали его из досок какого-нибудь отслужившего забора или сарая... Он так ясно увидел эту картину, как хоронили Ларису, что неожиданно заплакал, в первый раз с того проклятого утра, когда ему сообщили, что её больше нет...

Среди всей этой убогости, грязи, заброшенности любые слова казались неуместными, и он, так ничего и не сказав жене на их горьком свидании, молча побрел к выходу. Погруженный в свои мысли, он не замечал ни дождя, ни того, что уже сильно промок.

Недалеко от выхода с кладбища он вдруг поскользнулся на мокрой глине, нелепо взмахнул руками и упал. Встал — и упал снова. Но во второй раз уже не смог подняться, почувствовал, как сердце знакомо подкатилось к горлу, и с неожиданным облегчением обреченно подумал: «Ну, вот и все, конец! Прости, милая, что не защитил, не уберег... не покарал твоего убийцу. Прости за пошлость железных венков, за фанерный щит без имени... Прости, что в последние твои часы на земле не был рядом с тобой и в твоей могиле нет горсти моей земли...»

На миг он представил холодные ветреные ночи на этих холмах, как гремят у изголовья, тревожа ее покой, ржавые венки, и от бессилия что-либо изменить заплакал снова. Потом,



как ему показалось, что-то закричало в нем: «Нет!!» — и он из последних сил пополз к выходу. Он молил у судьбы месяца, только месяца, чтобы не осталась на земле безымянной могила его любимой жены. Это последнее желание — выжить сейчас во что бы то ни стало, наверное, и спасло его.

Моросил дождь, сгущались сумерки, по разбитой машинами и повозками грязной дороге пустынного кладбища полз человек — ему необходимо было выжить.

Шофер, задремавший в тепле машины, очнулся, — кладбище на горе потонуло во тьме, ни единого огонька, и тишина кругом, только шелест дождевых струй убаюкивал монотонно. Он понял, что с прокурором что-то случилось. Привычным жестом потрогал в кармане куртки тяжелый пистолет и бегом кинулся к кладбищу. У самого выхода наткнулся на Азларханова, быстро нащупал еле пробивающийся пульс, не медля, поднял прокурора и потащил его к машине...

И снова реанимационная палата, затем кардиологическое отделение областной больницы, где его лечили и от тяжелой пневмонии, — еще два месяца между жизнью и смертью. Через месяц, когда врач разрешил навещать больного, Азларханов попросил, чтобы к нему заглянул начальник городского отдела ОБХСС. За все годы своей работы прокурор ни разу не обращался к тому ни с какой просьбой, хотя прекрасно знал, какими безграничными возможностями обладал этот щедушный человек по прозвищу Гобсек, занимавший свой пост лет двадцать. Начальник отдела появился в палате прокурора в тот же день, и не без опаски: может, решил, что какая-нибудь со знанием дела написанная анонимка поступила. Но после первых же слов больного облегченно вздохнул: просьба прокурора выглядела пустяком, и он был рад, что представился случай оказать услугу самому неподкупному Азларханову.

На другой день в палату провели двух молодых людей, по внешности братьев; это, как оказалось, и были известные в городе мастера, братья Григоряны. Держались оба с достоинством, больному выказали подобающее уважение; с первого взгляда поняли, что прокурору действительно худо, и потому слушали стоя, не перебивая.

— Наверное, вам уже объяснили, зачем я попросил вас прийти?



Братья молча одновременно кивнули.

— У меня нет никаких предложений, никаких пожеланий. Я очень надеюсь на ваш вкус, ваше мастерство, ваш талант. Одно могу сказать вам, как мужчинам: я очень любил ее...— И он протянул им фотографии жены.

— Мы хорошо ее знали, и она нас знала, мы ведь скульпторы, да вот как сложилась жизнь...— Потом, видимо, старший, после паузы продолжил: — Мы уже были утром на месте. Несмотря на убожество кладбища, место для могилы выбрано неплохое, выигрышное для такого памятника, который мы с братом уже представляем... Положитесь на нас, не переживайте, все сделаем как надо, и с вашего позволения заберем эти фотографии...— Братья, переглянувшись, направились к двери.

— Одну минуту, — остановил их слабым жестом Азларханов. — Сколько это будет стоить?

Братья назвали сумму, не маленькую, но гораздо меньше, чем стоила такая работа. Прокурор улыбнулся и протянул приготовленный заранее конверт.

— Вот возьмите, расчет сразу... Знаете мое положение, сегодня жив... Здесь ровно в три раза больше, чем вы сказали...

Братья хотели было вскрыть запечатанный конверт, но он снова остановил их:

— Не надо. Мы не дети, — всякий труд, тем более такого рода, должен хорошо оплачиваться. Особенно если хочешь получить что-то достойное. Ну, а человеку, что отыскал вас по моей просьбе, можете назвать другую сумму, вашу, я не буду в претензии...

Братья понимающе улыбнулись и тихо вышли из палаты.

Прокурор закрыл глаза. Успел все же... Хорошо, что успел.

### 3

В доме на Лахути прокурор появился только спустя пять месяцев после того утреннего звонка в конце августа, когда ему сообщили о смерти Ларисы. Шла вторая половина января, сыпал мелкий снежок, на проезжей части дороги быстро превращавшийся в грязное месиво, но сад во дворе был красив. Увидев голубую ель, он с грустью отметил, что впервые она стоит на Новый год не наряженной.



Прокурор оглядел не укрытый на зиму виноградник: кое-где еще висели грозди не опавшего, не убранного по осени винограда, особенно живучим оказался сорт «Тайфи», — красные, слегка пожухлые кисти еще дожидались пропавших хозяев. Слабые карликовые деревья впервые встречали зиму не утепленными, и Азларханов подумал, что если и выживет сад — только волею случая; впрочем, это он относил и к себе. Лужайки заросли сорной травой, кусты живой изгороди не стрижены. Сколько труда уходит, чтобы что-то сделать, создать, и как мало нужно, чтобы все пошло прахом...

Он медленно прошел по дорожкам сада, засыпанного пожухлой осенней листвой, пытаясь воскресить какое-нибудь давнее, счастливое воспоминание, но это ему не удалось. Сорвав крупную кисть «Тайфи», вошел в дом, ставший теперь словно чужим...

Через три недели он улетел в Крым, — после двух инфарктов подряд прокурор нуждался в санаторном лечении и постоянном надзоре опытных врачей.

Крым пошел ему на пользу, — здесь он воспрянул духом и уже не чувствовал себя обреченным, как в тот день, когда впервые появился у себя во дворе после пятидесятидневного вынужденного отсутствия. В середине февраля, когда он приехал в Ялту, следов зимы уже было не сыскать — все шло в цвет, дурманяще пахло весной, морем. С гор, с виноградников «Массандры» легкий ветерок приносил в город запах пробудившейся к жизни земли. Наверное, эта неодолимая тяга всей окружающей природы к росту, к жизни, цветению сказалась и на настроении прокурора. Он подолгу гулял в одиночестве по набережной, вглядывался на причалах в названия кораблей. Но все они, как видно, были спущены на воду недавно, пять-десять лет назад, а ему хотелось встретить хоть один корабль-ветеран, на который он мог завербоваться когда-то в юности. Странно, казалось бы, море и корабли должны были вызывать в нем ностальгию — как-никак четыре года отдано Тихому океану, — но из той прошлой жизни помнилось лишь одно: там, на флоте, он дал себе клятву непременно стать юристом и посвятить свою жизнь правосудию. Когда-то, много лет назад, он вглядывался с палубы эсминца в почти невидимый за туманом берег и с волнением думал о том, как сложится дальше его судьба.



Теперь он тоже подолгу стоял на разогретом солнцем берегу, вглядываясь в уходящую за горизонт морскую ширь, и тот же вопрос мучил его десятилетия спустя.

После короткой беснежной зимы вновь ожили кафе, вынесли на набережную легкие пластиковые столы. Прокурор даже облюбовал одно такое — «Восток» и заглядывал туда сразу после обеда. Народу было немного, и вскоре ему уже привычно ставили на стол бутылку минеральной воды и стакан красной крымской «Алушты», что предписали курортные врачи после тяжелой пневмонии. Он сидел тут, греясь на солнышке, не спеша выпивал свой стакан вина, разбавляя его минеральной водой, чем вызывал удивление малочисленных посетителей. Изредка перебрасывался с соседом фразой-другой, но предпочитал одиночество. Что-то стариковское было в этих долгих часах раздумий на открытой веранде «Востока», напротив главного причала порта, и человеку, знавшему прокурора раньше, бросилось бы в глаза, как резко постарел он за эти последние полгода, каким рассеянным стал его взгляд.

Но взгляд его, заблудившийся в морских просторах, скорее всего, видел вовсе не силуэты уходящих к Босфору кораблей. Может быть, он блуждал мысленно по тем кладбищенским холмам, где сейчас братья Григоряны трудились над памятником его жене. Нет, ни о районном суде, ни о «свидетеле» Анваре Бекходжаеве прокурор не забывал, но он старательно гнал от себя эти мысли, понимая, как еще физически слаб для борьбы. С трудом выкарабкавшись из двух подряд инфарктов, он боялся не третьего, — он должен был укрепить сердце, чтобы оттянуть третий, хотя бы ровно настолько, сколько ему потребуется времени для схватки с кланом Бекходжаевых. Он помнил, как милостива оказалась к нему судьба там, на залитом дождем осеннем кладбище, и верил, что она предоставит ему еще один шанс, других желаний и просьб к Всевышнему у него не было.

В марте, когда до окончания курса лечения оставалось дней десять, прокурор неожиданно получил письмо от капитана Джураева. Что и говорить, грустное и тревожное письмо. Капитан писал о том, что полковник Иргашев пошел на повышение, возглавляет теперь областную милицию и стал его, Джураева, непосредственным начальником. Одновременно поднялся и районный прокурор Исмаилов, державший на контроле





дело об убийстве, — он тоже занял немалый пост в городской прокуратуре. Хотя капитан никак не комментировал свое сообщение, прокурор понимал: клан Бекходжаевых щедро оплачивал выданные полгода назад векселя. Остался на месте лишь судья, двадцать лет бессленно сидевший в районе, — был он преклонного возраста и вряд ли хотел искушать и без того благополучную судьбу, служебная карьера, конечно, уже не интересовала его. Но и тут, наверное, были свои варианты, в результате которых выигрывали дети и внуки покладистого судьи.

Но Азларханова больше огорчило другое известие, видимо, ради него и было послано письмо. Капитан писал, что новый начальник задался целью не только выжить его из милиции, но подвести при случае под статью, а уж с опытом Иргашева, мол, проделать такое ничего не стоит. И капитан просил прокурора посодействовать его переводу в другую область или в Ташкент.

Азларханов понимал, что полковник Иргашев догадывался: Джураев знает гораздо больше, чем стало известно суду, и оттого спешил дискредитировать капитана, пользуясь отсутствием прокурора. Если уж капитан Джураев открытым текстом просил о помощи, значит, положение действительно серьезное. В тот же день он заказал телефонный разговор с Ташкентом, и через неделю вопрос о переводе опального капитана в столицу был решен.

Письмо отчаяния, полученное от капитана Джураева, послужило как бы сигналом, он понял: есть ли, нет ли здоровья, выдержит ли сердце еще одно испытание или разорвется окончательно, пора действовать...

Из Ялты в коттедж на Лахути он вернулся в конце марта. Уезжая, оставлял запущенный дом, заснеженный сад — и тревожился, перезимуют ли деревья; но в середине зимы что-то предпринимать казалось поздно, да и не было у него на это ни сил, ни здоровья, ни желания. Каково же было его удивление, когда он распахнул калитку своего дома. Сад выжил! Покрылись листвой все до одного карликовые деревца, любовно собранные Ларисой; зацвел розовым миндаль; в дальнем углу двора, под старым платаном, словно дожидаясь его, одиноко тянулся к свету тюльпан; у кустов персидской сирени отцвели последние крокусы. Давно не стриженные кусты живой изгороди, омытые весенними дождями, дружно пошли в рост



и поднялись выше виноградника, тоже вроде перезимовавшего без потерь, — густая зелень его уже отбрасывала на дорожках тень. Выжил сад, порадовал хозяина, поддержал, словно пример показывая...

## 4

В прокуратуру, после полугодового отсутствия, Амирхан Даутович пришел без предупреждения, никого заранее не оповещая, хотя о том, что он вернулся из санатория, многие, видимо, знали. Прокурора неприятно поразило, что его служебный кабинет, который он считал опечатанным, занимал человек, временно заменявший его. Прежний кабинет заместителя, копия азлархановского, находился тут же, через приемную, — никаких видимых причин для переселения не было.

Амирхан Даутович обживал свой кабинет почти десять лет, иногда сутками не выходил из него, даже ночевал тут не раз. За эти годы тут накопилось немало личных предметов, и сейчас ему было неприятно, что его книги брали в руки незнакомые люди, пользовались в душевой его полотенцами. Никому он, понятно, высказывать претензий не стал, хотя и не скрывал своего неудовольствия. И на просьбу своего заместителя позволить досидеть хотя бы до конца дня ответил отказом. Когда обескураженный заместитель перебрался к себе, Азларханов распахнул окна и попросил вызвать уборщицу. С ней он проговорил гораздо дольше, чем с коллегами; заодно попросил тщательнейшим образом убрать и проветрить помещение, а также сменить всю посуду. Оглядев внимательно сейф, вмурованный в стену, который он накануне того злополучного дня в спешке не опечатал, прокурор отправился в обком, чтобы доложить, что приступает к своим обязанностям, и больше уже в тот день на службе не появлялся.

По дороге в обком он думал о сейфе — там лежали его знаменитые амбарные книги, на каждый район в отдельности. В том, что они на месте, он не сомневался, но вот касались ли их чужие руки, как касались все эти месяцы его чайников, пиал, полотенце, утверждать однозначно он не мог, потому что знал по крайней мере трех человек в городе, кому по силам был и более серьезный шифр сейфа, а если бы кто и поостерегся привлекать местного человека, мастеров подобных



дел немало имелось в исправительно-трудовых лагерях — их в области было несколько, — и полковник Иргашев, конечно, мог доставить оттуда любого.

И в обкоме, и в прокуратуре Азларханов выслушал немало соболезнований по поводу безвременной смерти жены, — со многими с того злополучного дня в конце августа прошлого года он виделся впервые. Соболезновали искренне: Ларису Павловну уважали, знали о его нежном отношении к жене, да и сама жизнь прокурора после гибели жены — из больницы в больницу, из инфаркта в инфаркт, из реанимации в реанимацию — не могла не вызывать сочувствия. Даже внешний вид прокурора, поседевшего, постаревшего на много лет, поникшего от болезней, напоминал о трагедии. Никто из тех, с кем он общался в эти дни, ни разу не обмолвился ни о суде, ни об обстоятельствах смерти Ларисы, и прокурор уяснил для себя, что скорый и решительный суд успокоил общественное мнение. О чем и говорить, если преступник пойман, в содеянном сознался и получил суровое наказание?

В эти же дни на одном из служебных совещаний Амирхан Даутович встретился с полковником Иргашевым и с Исмаиловым, бывшим прокурором того района, где произошло убийство, ныне работающим в городской прокуратуре. Оба они подошли к нему, справились о состоянии здоровья, сказали, что свой долг они выполнили и очень сожалеют, что трагедия случилась на их территории. Прокурор сдержанно поблагодарил, но расспрашивать ни о суде, ни о следствии не стал. Дело лежало у него в столе, и он знал, что осужденный находится в исправительно-трудовой колонии у них же в республике, в соседней области, где некогда работал полковник Иргашев.

Азларханов уже не раз просматривал документы, собранные по делу о гибели жены. Конечно, явно зацепиться здесь было не за что — все чин чинком, протокол к протоколу; только уж очень заинтересованного и дотошного человека могла насторожить такая гладкость следствия и суда, легкость и скоротечность процесса, ведь все-таки убийство, а не хулиганство какое-то... Он понимал: не случись с ним беды в ночь задержания, в чем бы ни признался убийца, наутро провели бы тщательнейший следственный эксперимент, затем по свежим следам велели бы обоим по минутам расписать время до и после убийства, и ряд



ли трусоватый Бекходжаев-младший долго продержался бы в отведенной ему роли свидетеля. Сгодились бы тут и показания матери обвиняемого, рассказавшей капитану Джураеву, что за сыном к вечеру, затемно, специально приезжал пригласить в гости Анвар Бекходжаев на своей красавице «Яве», а не сам Азат отправился, глядя на ночь, во двор Бекходжаевых, чтобы пригрозить убийством своему дружку. Да, не отстрани тогда прокуратура от дела капитана Джураева, не возмись вести его сам полковник Иргашев, неизвестно, каков бы был результат суда. Вряд ли отвертелся бы Анвар Бекходжаев от справедливого возмездия, даже если б капитан Джураев и не смог обеспечить явку на процесс человека, отдавшего ему снимок, сделанный «Полароидом», и Сунната-ака, наотрез отказавшегося засвидетельствовать то, что видел во дворе через улицу.

Не свали его инфаркт в ту ночь, одного признания обвиняемого оказалось бы недостаточно, — пришлось бы в суде доказывать его вину, а не согласиться с тем, что разыграли ушлые дяди в угоду всесильному клану. Но все это — если бы да кабы... Не стоило сбрасывать со счетов и клан Бекходжаевых, уж они-то наверняка воспользовались неожиданно представившимся временем на тот случай, если Азларханов попытается вновь поднять дело, как только оправится от инфаркта. Но главная сложность ситуации заключалась в другом: что бы он ни предпринял, любой его шаг давал противоположной стороне повод обвинить его в предвзятости, субъективности, чувстве личной мести, злоупотреблении служебным положением, а это означало одно: его, как и капитана Джураева, не подпустили бы к делу.

Азларханову оставался лишь один выход, и он им воспользовался: отправил частное письмо прокурору республики, где, не вдаваясь в подробности, просил в порядке надзора поднять дело об убийстве своей жены. Прошла неделя, вторая, заканчивалась третья, но ни письменного ответа из прокуратуры республики, ни телефонного звонка, на что он рассчитывал, не было. Зато произошел у него неожиданный разговор в административном отделе обкома партии, куда он зашел по каким-то текущим делам. Он уже уходил, когда заведующий отделом, заметно волнуясь, попросил его задержаться еще на несколько минут. Начал он издалека...



— Амирхан Даутович, вам ли не знать, как вас здесь ценят и уважают. Мы понимаем, что благодаря вам правопорядок в нашей области на ступень выше, чем в целом по республике, в этом, конечно, ваша заслуга. Знаем, и как высок ваш авторитет среди коллег. Поэтому мы все очень переживали за ваше здоровье после трагической гибели Ларисы Павловны. Вы даже не можете представить, какой общественный резонанс вызвал этот прискорбный случай, — у меня в отделе ни на минуту не умолкал телефон. Люди требовали найти и наказать негодяя, ведь вашу жену в наших краях знали многие, гордились ее успехами. Я думаю, мы приложили все усилия, чтобы найти и покарать убийцу, и успокоили общественность, которая вряд ли простила бы органам правопорядка промедление и проволочку в таком шумном деле. Какие только слухи не ходили по городу, и мне десятки раз приходилось объяснять людям, что вы живы и вот-вот появитесь на работе. Вот в такой нервной обстановке пришлось работать в ваше отсутствие. — И тут, несколько замявшись, он перешел к тому, ради чего и затеял этот разговор: — И вот теперь, когда мы видим вас в добром здравии и радуемся вашему возвращению в строй, надеюсь, что ваша душа хоть немного успокоилась, вдруг узнаем, что вы бы хотели вновь вернуться к делу об убийстве жены. Конечно, поймите меня правильно, вы вольны этого требовать, но это может худшим образом отразиться на вашем здоровье, на вашей работе, не говоря уже о том, что вновь всколыхнется общественное мнение, начнутся нежелательные пересуды, слухи. Неизвестно, чего вы добьетесь, а шума будет много, это уж точно... Я думаю, что вашу просьбу о пересмотре дела вряд ли поймут и поддержат. Но это, так сказать, мое личное мнение, и, пожалуйста, не сочтите этот товарищеский разговор за вмешательство в вашу личную жизнь и тем более в вашу служебную компетенцию.

Прокурор слушал молча, не перебивая, — сразу понял, что за-вотделом говорит по чьему-то поручению, это чувствовалось, — он тяготился возложенной на него миссией. Может, он говорил вполне искренне, и логика в его рассуждениях была, но этот человек ведь не знал и доли того, что было известно об этом деле Азларханову. Может, он даже допускал мысль, что Анвар Бекходжаев, проходивший по делу свидетелем, и достоин



какого-то наказания, но как человек, привыкший мерить общими категориями, а не частными, нисходящими до каждой отдельной судьбы, считал, что ради этого не стоит вновь будоражить общественность и признавать за судебным процессом и решением какие-то ошибки. Прокурор понял: запущен пробный шар, разговор этот затеян как предупреждение, как зондаж его настроения и духа. Уразумел он и то, что письмо его не вышло за пределы области, и зря он дожидался звонка прокурора республики. Ни о письме, ни о том, кто же стоит за этим разговором, он спрашивать заведующего отделом не стал. Поблагодарив за заботу о своем здоровье, за память о Ларисе Павловне, ничего не ответив по существу, откланялся. Но и заведующий не был так прост, и вряд ли ему доверили бы столь деликатную миссию, если бы он не обладал проницательностью: он тоже понял, что прокурор от задуманного не отступится.

Разговор в обкоме прокурор принял к сведению, уяснив, что писать снова в столицу не следует: через месяц там предстоит крупное совещание — вот тогда-то он выберет момент и попросит аудиенции у Прокурора республики. К этой встрече он должен был подготовиться и, может быть, пойти на нее вместе с капитаном Джураевым.

Следует четче определить круг прямых родственников Суюна Бекходжаева, занимавших в области большие посты. Это даст повод, чтобы дело на расследование забрали в столицу. О том, какое тут может оказываться давление, такой список говорил бы красноречивее любых слов. Двух сестер главы клана, под фамилиями мужей, он установил сам, но из братьев на номенклатурных должностях обкома пребывали только двое Бекходжаевых. Пришлось ему обратиться к людям, которым он доверял, и тут же «отыскались» остальные четыре брата депутата, но уже под другими фамилиями. Поразительный факт для человека, не знающего тонкостей Востока: здесь единокровные братья и сестры могут носить разные фамилии — скажем, отца или деда. Может случиться, да и случается зачастую, что, жалуюсь на какого-нибудь чинушу, бюрократа, мздоимца, человек обращается к его родному брату или сестре, только фамилия чинуши повторяет фамилию отца, а у брата фамилия образована от имени того же отца. Кроме братьев и



сестер председателя колхоза, три его старших сына, родные братья «свидетеля», тоже занимали высокие посты в области и районе. Внушительный список составил прокурор — этот клан и без помощи извне мог одолеть любую преграду и свалить кого угодно. А ведь была еще ближняя и дальняя родня, да и просто преданные люди, обязанные чем-нибудь всемогущему клану.

Утвердившись в мысли, что через месяц он непременно попадет на прием к Прокурору республики, Азларханов успокоился и без суеты стал готовиться к встрече. Принятое решение сказалось и на его настроении, он обретал душевное равновесие.

На дворе стояла весна, и он, как прежде, хоть и несколько запоздало, подолгу копошился в саду. В одно из воскресений с приглашенным в помощь садовником тщательно подстриг кусты живой изгороди, и двор сразу сделался просторнее, принял прежние привычные очертания. Целую неделю после работы он выгребал с лужаек, изо всех углов двора остатки прошлогодней листвы, и казавшиеся безвозвратно запущенными английские лужайки удалось привести в приличный вид. Работы в саду и в осиротевшем доме оказалось так много, что ему не хватало ни суббот, ни воскресений, ни долгих весенних вечеров, но занятия эти не тяготили его, наоборот, наполнили жизнь каким-то смыслом. Обрезая погибшие за зиму лозы виноградника, ладя новые опоры для молодых побегов, хозяин двора нет-нет да и возвращался мыслями к предстоящей встрече в Ташкенте, к последнему своему шансу добиться справедливости.

Конечно, в своих планах он просчитывал, как в шахматах, различные варианты, размышлял о том, что могут предпринять против него Бекходжаевы. Ему было яснее ясного, что они постараются обязательно, любым способом дискредитировать его — это верный, многократно подтвержденный жизнью путь против тех, кто добивается правды. Но, как бы строго он ни подходил к себе, «пятен» не находил, — сколько помнил себя, всегда старался жить честно, достойно. Прокурору казалось, что здесь клану и их советчикам придется туго.

Неожиданно пришла мысль: хорошо, что осужденный находится в заключении далеко, не под рукой клана и полковника Иргашева. Ведь случись с ним какая беда, например, несчастный случай, — все бы в планах прокурора рухнуло; тогда бы его действия уж точно показали бы только личной мстью.



И он на всякий случай пометил в бумагах, что на приеме у прокурора надо попросить, чтобы осужденного на время следования взяли на особый режим охраны. Пойдя на компромисс с совестью, задавленный обстоятельствами, парень теперь уже собственной рукой стягивал петлю на своей шее — могли Бекходжаевы разыграть и такую карту.

## 5

Недели через две после памятного разговора в административном отделе обкома, рано поутру, в кабинете прокурора раздался звонок по особому телефону — звонил первый секретарь обкома. После выхода на работу Азларханов виделся с ним несколько раз, а однажды они провели вместе четыре часа, так много накопилось важных дел за время его болезни.

Встречались они и накануне, поэтому для прокурора звонок явился неожиданностью. Удивил его и сухой, сдержанный тон первого секретаря, который просил непременно зайти в обком в первой половине дня. О чем предстоит разговор, какие бумаги следует захватить, ничего не сказал, как бывало прежде. Удивило и время — «в первой половине дня» вместо привычного «сейчас же» или «во столько-то». Он словно предоставлял прокурору возможность подготовиться к разговору или, наоборот, изрядно поволноваться.

Долгая работа в должности областного прокурора научила Азларханова многому, прежде всего выдержке, хладнокровию, — впрочем, едва ли слабонервный долго продержится на такой работе, — и он не комплексовал от того, мило или не мило говорит с ним секретарь обкома, у того тоже работа: что ни день — сюрпризы, на каждого улыбок и хорошего настроения не напасешься. Но какое-то чувство подсказывало, что дело все-таки касается его лично.

Перед самым обедом прокурор вошел в приемную. Секретарша, по-видимому, была предупреждена о его визите. Кивнула на обитую добротной кожей дверь: «Ждет, уже спрашивал дважды».

Едва прокурор вошел в кабинет, секретарь обкома поднялся из-за стола и направился ему навстречу, так он поступал всегда, когда был в настроении. На Востоке вопросов сразу, в лоб не задают — таковы давние традиции: вначале, пусть мимоходом,





но справятся о здоровье, о семье, а уж потом — разговор о деле. И хотя они виделись только вчера, секретарь обкома все равно спросил прокурора о здоровье, самочувствии, о том, не нужно ли чем помочь. Потом вызвал секретаршу и попросил чаю, она, словно предугадав желание хозяина кабинета, тут же внесла чайник с пиалами. Азларханов понял, что разговор предстоит долгий и, скорее всего, малоприятный.

Секретарь обкома, поблагодарив расторопную секретаршу, разлил крепкий ароматный чай, но усаживаться не стал. Взяв пиалу, подошел к окну. Окна кабинета выходили на внутренний двор, в настоящий сад, тщательно спланированный и любовно ухоженный. Сейчас в обкоме был перерыв, и в летней столовой и чайхане обедали сотрудники. Из окна третьего этажа старинного особняка, выстроенного некогда для русского генерала-наместника, было хорошо видно, чем потчуют сегодня повара. Впрочем, запахи плова, жарящегося шашлыка, тандыр-кебаба, горячих лепешек, ангреноского угля из кипящего трехведерного самовара — подарка делегации из Тулы, долетали и до распахнутого окна. Но сегодня аппетитные запахи не привлекали, а прежде они не раз обедали вместе там внизу, в саду.

Сейчас Первый молча стоял у окна, словно выглядывая кого-то или не решаясь начать разговор, который, видимо, тяготил его — такой нерешительности прокурор за ним раньше не замечал. Затем он подошел к своему огромному столу, взял бумагу, лежавшую на видном месте, отдельно, и вернулся за другой стол, где стоял чайник. Жестом пригласил гостя сесть и протянул ему письмо, ради которого, наверное, и пригласил прокурора.

На фирменном бланке — дорогая вощенная финская бумага — сразу бросалось в глаза крупно набранное название учреждения на трех языках: арабском, английском, русском. Прокурор недоуменно прочел: «Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана» и на миг усомнился, не перепутал ли свои бумаги на необъятном столе хозяин кабинета, но Первый, перехватив его удивленный взгляд, сказал с сожалением:

— Не ошибся, не ошибся, читай дальше. Думаешь, только к тебе стекаются жалобы и анонимки на всех и вся. Пришла вот



и на тебя, в первый раз за десять лет, да так некстати, словно кто-то задумал добить тебя после того, что ты перенес...

Письмо было направлено по двум адресам: в ЦК компартии республики и копия — первому секретарю обкома. «Круто начинают», — подумал прокурор без особого волнения, но письмо его заинтриговало.

«Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана обращается к Вам за помощью. В частной коллекции керамики Азларханова А.Д. вот уже несколько лет находятся предметы, изъятые из Балан-мечети селения Сардоба, представляющие особую религиозную ценность для мусульман этих мест. В 1867 году торговый человек, уроженец Сардобы, Якубходжи, на чьи средства и построена Балан-мечеть, совершил тяжелый караванный хадж в святую для мусульман Мекку. По возвращении он прожил недолго, умирая, все свое немалое состояние завещал мечети. Среди многих предметов, доставшихся сельской мечети, особую ценность для верующих представляли два дорогих сосуда, инкрустированных серебром, внутри сосуда были обработаны особой серебряной эмалью — для хранения воды в долгой дороге. Сосуды, по завещанию Якубходжи хранившиеся до недавних пор в Балан-мечети, изготовил известный гончар двора эмира бухарского — Талимарджан-кулал. Сосуды эти, представляющие, безусловно, и эстетическую ценность, совершили долгий путь с Якубходжой в Мекку и вернулись в Сардобу и стали предметами, освященными в святых местах. После смерти ходжи они приобрели в глазах верующих мусульман еще большую ценность.

В подтверждение прилагаем к письму цветной снимок предметов из Балан-мечети. Фотография из художественного альбома, изданного в 1978 году в Локарно, Швейцария, под снимком подпись на английском языке: керамика из частного собрания Л.П. Тургановой (жена областного прокурора).

Просим восстановить справедливость и вернуть святые реликвии мусульман в Сардобу.

С уважением...»

Далее следовала хорошо известная в крае подпись.

Удар был нанесен тонко, ловко, вовремя — он понял это, как только прочитал первые строки жалобы. В ком не вызовет



возмущения и протеста подобное кощунство по отношению к вере. Такого варварского поступка, как изъятие из мечети святых реликвий, не одобрили бы даже атеисты. А чей справедливый гнев призван в союзники? Духовного управления, ЦК партии, обкома... Да, слаб оказался он в стратегии против клана Бекходжаевых — о таком шаге он и подумать не мог. Выискивал какие-то «пятна» в своей жизни, а, оказывается, здесь не просто «пятна», тут и злодеем предстать недолго, если кому-то уж очень надо. Конечно, он ни на секунду не поверил, что Бекходжаевы подобрали ключи к Духовному управлению, а тем более — к секретарю обкома, они просто использовали известный прокурору прием: умелую подтасовку фактов — в данном случае ход просто изощреннейший, иезуитский. Да, они сделали ход, на который ответить было совсем не просто, оттого он сидел молча, ничего не отвечая озадаченному первому секретарю обкома.

Нарушил затянувшееся тягостное молчание сам хозяин кабинета:

— Не пойму, кому и зачем все это понадобилось? Кому-то необходимо свалить тебя? Понадобился кому-то твой пост? Но я пока этого не замечал, и если это так, узнаю. Тут, конечно, не эти черепки важны, что-то другое, но я никак не возьму в толк, что именно? Мы тут решали с заведующим административным отделом... Да ты и сам понимаешь: без разбирательства не обойтись, письмо на контроле в ЦК партии, и ответ туда мы обязаны представить. Случай с вашей семьей вызвал огромный общественный резонанс, ты лежал в больнице и не можешь вообразить, что тут творилось. Мы очень благодарны начальнику милиции полковнику Иргашеву и тамошнему прокурору Исмаилову: они оперативно провели расследование и суд, сурово наказали убийцу, тем самым успокоив народ. И когда пришло предложение поощрить их за оперативность, я не возражал, теперь они оба работают в области. Им я и поручил расследовать эту историю с Балан-мечетью.

Затем, после небольшой паузы, отхлебнув глоток чая, он спросил, разглядывая цветной снимок, приложенный к письму:

— А сосуды эти — пропади они пропадом — где: у тебя дома или в нашем краеведческом музее?

— Дома, — ответил Азларханов подавленно.



— Вот и хорошо, очень хорошо. Я беспокоился, что они пропали, а это уже был бы скандал. Пожалуйста, пусть твой шофер немедленно привезет их сюда, ко мне. А я попрошу, чтобы пригласили имама Балан-мечети, и верну ему их лично. Главное, появится возможность дать лаконичный ответ в Духовное управление и в ЦК партии: реликвии возвращены мечети, — может, тем и отделаемся. — И, считая, что разговор окончен, секретарь обкома поднялся.

Прокурор ничего объяснять не стал. Он понял, что ему предстоит это делать не один раз, и устно, и письменно, — клан неожиданно получил еще один козырь. Комиссия во главе с полковником Иргашевым и прокурором Исмаиловым, конечно, постарается раздуть историю с сосудами из Балан-мечети, уж кому-кому, а им проигрывать единоборство с прокурором было нельзя.

Подавленный новостью, Азларханов медленно спустился вниз и долго сидел в машине, раздумывая: потом, вспомнив просьбу секретаря обкома, велел ехать на Лахути. И тут он благодарно оценил прозорливость Первого: еще не зная всей ситуации, тот почувствовал, что за сосудами из мечети что-то кроется и пропажа их может неблагоприятно отразиться на его судьбе. Впервые он с ужасом подумал: а ведь, действительно, пропади, не дай бог, эти чертовы плоски, какую бы только напраслину не возвели на Ларису, вплоть до того, что она не привезла их обратно из Швейцарии. Они были главным экспонатом ее последней выставки и вызвали там пристальный интерес у антикваров. Сейчас, осознав все это, прокурор усомнился и в правильности своего ответа секретарю обкома, в комнаты, где располагалась коллекция, он не заходил ни разу после своего возвращения домой. Но то, что она привезла свои любимые экспонаты обратно из Швейцарии, он помнил точно.

Не без волнения переступил он порог комнаты, где Лариса собрала керамику девятнадцатого века. Сосуды Якубходжи стояли на обычном, отведенном им с первого дня месте, фоном служила деревянная панель из трех старых резных створок дверей. Прокурор и сейчас нехотая отметил, что сосуды смотрелись прекрасно и без ухищрений фотографа, без огромной шуры гиссарского волка и кремневого ружья. Он вспомнил,



как любовался, не скрывая восхищения, этой фотографией секретарь обкома.

Снимая тяжелые хумы с полки, хозяин дома горько усмехнулся: теперь ему нужно думать вовсе не о том, как смотрятся эти сосуды или какое они произвели впечатление на секретаря обкома, а что следует ему предпринять в связи с жалобой, ведь он ясно представлял, кто стоял за всем этим. Но как бы ни гнал он от себя эти мысли, перед глазами отчетливо стояла страница из альбома, изданного в Локарно. И вдруг сам собой выплыл логичный вопрос: «Откуда у них эта страница, где они взяли альбом, изданный в Швейцарии?» Ведь альбом выпускался специально к выставке, небольшим тиражом, и даже Ларисе удалось добыть всего три экземпляра. Один они подарили по возвращении в Москву дальним родственникам, рьяным поклонникам ее увлечений, а два других находились у них дома. И вряд ли даже при большом желании можно было так скоро отыскать столь редкое издание. Оставив сосуды, он прошел в кабинет, который делил с женой и где у них была библиотека. Книги по искусству, репродукции занимали отдельную полку, и альбом, изданный в Локарно, сразу бросался в глаза — он стоял не торцом в ряду, а был развернут обложкой.

Прокурор снял альбом с полки и торопливо перелистал страницы, снимок керамики из Балан-мечети был на месте, цел. Он поставил альбом обратно на полку и начал искать второй экземпляр. Посмотрел на стеллажах, в ящиках стола... И вдруг вспомнил, что брал альбом в прошлом году на службу, когда рассказывал сослуживцам о поездке в Швейцарию. Вспомнил, что видел его недавно среди бумаг в сейфе, когда интересовался, целы ли его амбарные книги по каждому району, что вел он в течение последних десяти лет.

Отправив машину с сосудами Якубходжи в обком, Амирхан Даутович пешком вернулся к себе в прокуратуру. Он думал, может, прогулка по весеннему городу наведет его на мысль об ответном ходе, который ему следовало предпринять без промедления. Но мысли приходили какие-то вялые, разрозненные...

В приемной его никто не дожидался, не нужно было никуда срочно звонить, и он открыл сейф. Альбом лежал в глубине, на второй полке, и яркий его корешок заметно выделялся среди



тяжелых, уже потрепанных амбарных книг. Прокурор достал альбом, почему-то машинально пересчитал амбарные книги и, закрыв сейф, вернулся за стол.

Открыл альбом наугад — получилось как раз там, где была керамика из Балан-мечети, но от страницы остался лишь корешок — обрезали весьма аккуратно. «Значит, предчувствие не обмануло меня. — Прокурор захлопнул альбом. — Так вот какой, выражаясь шахматным языком, оказалась домашняя заготовка Бекходжаевых. Что ж, зря они времени не теряли, пока я кочевал из больницы в больницу, прямо-таки гроссмейстерский ход придумали. А сколько у них таких ходов про запас приготовлено или уже сделано?»

Азларханов размышлял, что же ему теперь предпринять. Конечно, он мог наперед рассчитать кое-какие их ходы, да что толку, Бекходжаевы не сидели полгода сложа руки и каждую его попытку готовы встретить во всеоружии. Он снова вернулся к сейфу и достал книгу по району, где находилась Балан-мечеть. Прочитав пять-шесть записей по Сардобскому району, не стал листать дальше, положил ее обратно в сейф. Даже этих беглых, наугад взятых записей, с фактами, а главное, с его предположениями, вполне хватало, чтобы клан, спекулируя этими сведениями, заполучил из района любую удобную для него версию исчезновения сосудов из Балан-мечети. И можно было не сомневаться, что комиссия во главе с полковником Иргашевым и прокурором Исмаиловым представит секретарю обкома «подтверждение», где он будет выглядеть отнюдь не лестно, и, может, даже подведут его действия под Уголовный кодекс — в том, что Бекходжаевы не будут придерживаться никаких правил приличия, прокурор не сомневался.

Оценивая положение, он просидел, не выходя из кабинета, до позднего вечера, но ответа, равного ходу противника, так и не придумал. Все сходилось на том, что необходима встреча с Прокурором республики, где он должен был выложить теперь все как есть: и о Ларисе, и о могущественном клане, и о сосудах из Балан-мечети, и об исчезнувшей из сейфа странице альбома, и о своих амбарных книгах, за которыми уже давно охотятся, и о полковнике Иргашеве, и о прокуроре Исмаилове, неожиданно получивших повышение, и о заключенном Азате Худайкулове, которого следовало перевести куда-нибудь подальше и взять



под особый надзор. И встреча эта выглядела бы куда убедительнее, если бы на ней присутствовал и капитан Джураев.

Конечно, рассчитывая только на встречу с Прокурором республики, он, по сути, расписывался в собственном бессилии, но какие бы он ни строил планы, понимал, что противник имел огромный выигрыш во времени и готов ответить на любой его ход.

Поздно вечером того же дня на Лахути раздался неожиданный междугородный телефонный звонок. Звонил из Ташкента Прокурор республики. Расспрашивая о здоровье, жите-бытье, он так же, как и секретарь обкома, долго не переходил к главному, ради чего побеспокоил в столь поздний час. И прокурор, как и утром в обкоме, почувствовал это.

— Ты, конечно, догадался, что неспроста я звоню тебе среди ночи, да еще домой. Но с работы мой звонок тебе могли бы и не понять, такая уж у меня должность. Впрочем, тебе ли об этом говорить, — усмехнулись на другом конце провода. — Но я знаю тебя уже больше десяти лет и по-человечески, думаю, просто обязан поставить тебя в известность. Тут в последние три недели пошли потоком на тебя анонимки. Первые откладывал в стол, а вот последние не могу придержать даже я, потому что адресованы они в ЦК и к нам. Чушь вроде бы, а реагировать мы обязаны. Одна пришла из Ялты, оттуда один отдыхающий санатория, где ты лечился, сообщает, что ты предлагал за семьдесят пять тысяч интересную коллекцию керамики XVIII и XIX веков, которая неоднократно выставлялась за рубежом и указана в известных в Европе каталогах по искусству. Якобы в поисках клиентов ты ежедневно ходил в модное и дорогое кафе «Восток», где просиживал долгие часы. Тут даже написано, что официанты нашли тебе клиента за шестьдесят тысяч, но ты не согласился, и есть намек, что анонимка — в отместку за твою жадность и неуступчивость в цене.

Другая анонимка более подробна и написана с большим знанием твоей жизни, наверняка консультировали люди, близко знавшие вашу семью. Там тоже ваша коллекция оценивается, но гораздо выше, цитирую: «По самым скромным подсчетам, коллекция, собранная в доме прокурора, стоит от ста до ста двадцати тысяч...»



Еще пишут, опять же цитирую: «скромная жизнь прокурора области лишь ширма, главная цель его — обогатиться за счет уникальной коллекции». Обращают внимание, что ты ни разу в своей жизни не пользовался бесплатной обкомовской путевкой в отпуске, а проводил эти дни в экспедициях с женой, чтобы, используя служебное положение, ускорять поиски необходимых для коллекции предметов. Пишут, что твоя жена специально издала альбом музея под открытым небом в вашем саду на Лахути, чтобы разрекламировать свое частное собрание и позже выгоднее его реализовать. Пишут, что и в зарубежных альбомах, особенно последних, она старалась подать керамику только из своего собрания, и что, мол, вывозила свои личные экспонаты за рубеж, чтобы прицениться, сколько же это будет стоить. И что главной ее целью в будущем было показать свое частное собрание за границей полностью, и при удобном случае остаться там, разбогатев на продаже известной коллекции.

В общем, чушь несусветная. Там еще много всяких небылиц, вроде той, что вы с женой собирались остаться в Швейцарии на последней выставке, да что-то вам помешало, или Швейцария вас не устраивала, тем более у Ларисы Павловны через год намечалась выставка в Америке, в Нью-Йоркском Центре современного искусства.

Короче, восемь страниц убористого текста на машинке... Ты же знаешь, у нас жалобы и анонимки на судей и прокуроров одни — взятки, потому и раздумывали, как это обвинение классифицировать, как подступиться. Тут нам рекомендовали сверху создать комиссию, включили и экспертов по искусству, чтобы оценить ваше собрание, — в общем, ждите ее на днях. Трудные тебе предстоят дни, но я от души желаю выпутаться из этой нелепой истории...

И разговор неожиданно прервался, Азларханов не успел даже слова в ответ сказать. Впрочем, о чем было тут говорить? О том, что никогда не только не предлагал никому коллекцию жены за семьдесят пять тысяч, но даже и не подозревал, что она может стоить таких денег? Или спросить, в здравом ли уме люди, берущие на контроль подобные анонимки, — до денег ли, пусть даже и семидесяти пяти тысяч, человеку, только что потерявшему любимую жену и чудом оправившемуся от двух подряд тяжелейших инфарктов, человеку, месяц не покидавшему реанимационной палаты?





В эту ночь он не сомкнул глаз. Нет, не потому, что испугался коварных анонимок, или лихорадочно прикидывал ответы на вопросы во всех инстанциях, или мысленно готовился к встрече с комиссией, которая должна была вот-вот нагрянуть. После неожиданных разговоров в один день с секретарем обкома и Прокурором республики, особенно после ночного звонка из Ташкента, понял, что он уже не контролирует положение, уютное суденышко его жизни сорвало с причала и понесло в открытый штормящий океан. В эту бессонную ночь он меньше всего оценивал серьезную опасность, нависшую над его репутацией честного человека. Как прокурор, охраняющий права граждан, он думал о том, что закон несовершенен: одной умело написанной анонимки достаточно, чтобы закопошились вокруг тебя комиссии, проверяющие, уполномоченные, и откуда только сразу и люди, и средства на подобные мероприятия находятся. И даже кристально честный человек обязан в таких случаях выворачивать карманы, оставаться в нижнем белье, показывать свою спальню, кухню, кладовки, дабы уверились, что он живет по средствам.

И даже если комиссия подтвердит твою кристальную честность, не велика ли плата за доставленное анонимщику удовольствие? Как же дальше смотреть в глаза друг другу, и тому, кто проверял, и тому, кто велел проверять, и тому, кого проверяли? Делать вид, что ничего не произошло? Если находятся люди, так легко раздевающиеся перед другими, кто гарантирует, что они в ином случае не будут раздевать догола следующих, причем ссылаясь на собственный пример и подавая его уже как образец поведения.

Не давала ему покоя и другая мысль: два человека, наделенных высокими полномочиями, — и первый секретарь обкома, и прокурор республики — проявили человеческое участие в его судьбе. Выскажи он при случае им какую-то обиду на несправедливость, они едва ли теперь поймут его, потому что, даже выказывая ему сочувствие, они как бы совершали героический поступок, ибо преступали некую запрещающую линию, прочерченную анонимкой. Значит, на открытую помощь этих людей, хорошо знавших и даже ценивших его, он рассчитывать больше не мог, и тому подтверждение — полутайный ночной звонок; но, как говорится, и на том спасибо.





## 6

А дальше события развивались куда стремительнее, чем он предполагал. Комиссия, возглавляемая полковником Иргашевым и прокурором Исмаиловым, управилась с делами в Сардобском районе за один день и к вечеру представила в обком материалы об изъятии сосудов Якубходжи из Балан-мечети. Любопытные документы... Выходило, что прокурор трижды посещал Балан-мечеть, и даже были точно указаны даты, которые совпадали с теми днями, когда Амирхан Даутович действительно проверял район. И все три раза он якобы требовал от имама мечети подарить ему сосуды Якубходжи, побывавшие в Мекке, на что имам всегда отвечал отказом. Была якобы однажды в мечети и жена прокурора. Она, мол, тоже восхищалась керамикой Талимарджана-кулала, гончара эмира бухарского, и очень хотела приобрести кувшины для своей коллекции. Она даже оставила собственноручно написанную записку имаму. На страничке из блокнота было написано ее стремительным почерком:

«Очень понравились ваши кувшины, думаю, они украсили бы любую выставочную коллекцию. Музей готов приобрести их по разумной цене. Жаль, не застала вас, заеду еще раз на этой неделе.

С уважением, А.П. Турганова».

Такие записки она не раз оставляла в домах, если не застала в тот час хозяев интересовавших ее предметов.

А изъяс сосудов прокурор якобы собственноручно, при следующих обстоятельствах. Понимая, что имам мечети добровольно никогда не отдаст святые реликвии мусульман в частную коллекцию, он вроде наказал работнику районной прокуратуры Шамирзаеву следить за работой Балан-мечети и при первой же мало-мальски противоправной деятельности тут же поставить его в известность. И такой повод скоро представился. При ремонте мечети завезли два кубометра пиломатериалов и машину кирпича, первоначально предназначенных для строительства школы в соседнем кишлаке. И Шамирзаев, согласно распоряжению областного прокурора, завел уголовное дело на имама мечети, купившего ворованный материал.

Вывод был таков: путем угроз, шантажа старого больного человека прокурору удалось заполучить желанные хумы для



своей коллекции. За ними он якобы явился лично в сопровождении Шамирзаева. И дата «изъятия» тоже документально подтверждалась: он действительно в тот день приезжал в Сардобу и был в прокуратуре, где провел короткое совещание.

Ознакомившись с заключением комиссии в административном отделе обкома, прокурор лишь спросил у заведующего:

— Нельзя ли вызвать в обком Шамирзаева из Сардобы?

На что заотделом грустно закатил глаза и развел руками:

— Умер, умер, к вашему и нашему сожалению, Шамирзаев, еще в позапрошлом году. А имам скончался год назад.

— Что ж, логично, — усмехнулся Азларханов.

Не заставила себя ждать и высокая комиссия из Ташкента, о которой предупредил коллегу ночным звонком Прокурор республики. Прибыли они пятером: два незнакомых искусствоведа-эксперта, работник из прокуратуры республики — из новеньких, важный чиновник, представлявший народный контроль на республиканском уровне, и представитель из парткомиссии при ЦК.

Комиссию, да еще столь солидного состава, не ждали ни в обкоме, ни в прокуратуре, не ожидал такого внимания к себе и Азларханов.

В обкоме, понятное дело, были рады, что заключение своей областной комиссии по жалобе насчет раритетов из мечети у них уже имелось. И приезжие, еще не увидев частного собрания Тургановой, были тут же ознакомлены с выводами комиссии полковника Иргашева. О прибытии комиссии в обком прокурору сообщили на работу и просили через полчаса быть дома, чтобы показать проверяющим коллекцию.

Прокурор не стал вызывать машину, а отправился домой пешком, полчаса ему вполне хватало, чтобы не заставляя себя ждать.

Было начало апреля, и весна день ото дня набирала силу. Подойдя к дому, он на секунду залюбовался подстриженной живой изгородью, сочная зелень радовала глаз. Оставив калитку распахнутой, прошел во двор. За эти дни, после возвращения из Ялты, он с помощью нанятого садовника привел двор в порядок. Возвращаясь с работы, прокурор до полуночи проводил время в освещенном саду, подбеливал, обрезал, окучивал, и сегодня, после обильных мартовских дождей, двор, кусты роз,



сирени выглядели так, словно нарочно были подготовлены для осмотра. И он невольно залюбовался творением рук Ларисы — все здесь до мелочей было продумано ею и напоминало о ней.

Задумавшись, прокурор и не слышал, как комиссия появилась у него за спиной.

— Впечатляюще! — изрек представитель народного контроля, и в голосе его не слышалось усмешки, скорее наоборот.

Оба эксперта-искусствоведа разбежались по двору, их восторженные возгласы раздавались то у одного экспоната, то у другого. Азларханову пришлось давать объяснения, чаще всего о том, в каких каталогах и где были представлены те или иные предметы. Все, что он говорил, эксперты тщательно вносили в затрепанные толстые тетради; запись вел и представитель из народного контроля, следовавший за прокурором по пятам, — он словно боялся, что хозяин может о чем-то сговориться с экспертами. Два других члена комиссии, по всей вероятности заядлые садоводы, проявили неподдельный интерес к карликовым деревьям, редким кустарникам и цветам, к английским лужайкам, и если задавали вопросы, то они касались только сада.

Пробыв в саду более часа и осмотрев все экспонаты «музея под открытым небом», перешли в дом. Две самые большие комнаты коттеджа, отданные под коллекцию, Азларханов уже успел привести в порядок, после того как вернул сосуды Балан-мечети секретарю обкома. Здесь гости пробыли гораздо меньше, чем во дворе, и тут он тоже отвечал только на вопросы искусствоведов-экспертов и важного чиновника из народного контроля, у которого их оказалось всего три. Указывая на ту или иную вещь, он спрашивал: «А это за сколько приобретено?», «Где приобретено?», «У кого приобретено?» Вот на эти вопросы отвечать хозяину было затруднительно, особенно на первый — за сколько приобретено? — потому что он точно знал, что редко какое изделие покупалось за деньги. Большинство предметов было принесено незнакомыми людьми, подарено друзьями, соседями, коллегами по работе. Он и говорил об этом, но по глазам видел, что его ответ не вызывал веры у представителя из народного контроля, который, наверное, и был председателем комиссии, слишком уж надменно и официально держался.



В комнатах, несмотря на теплый весенний день, было прохладно, тянуло из углов сыростью, видимо, и керамика хранила еще зимний холод нежилых помещений, и комиссия выразила желание посмотреть альбомы, каталоги выставок, во дворе, на весеннем солнышке. На открытой летней веранде уже стоял стол, и хозяин вынес туда все то, что попросили проверяющие. Разобрав альбомы, члены комиссии стали внимательно разглядывать их, время от времени делая какие-то выписки в свои записные книжки и тетради. По тому, как увлеченно рассматривали издания искусствоведы-эксперты, он понял, что большинство из них они видели впервые. Особенно быстро и шумно листал альбомы и каталоги тот, которого прокурор негласно признал председателем комиссии. То и дело раздавался не столько восторженный, сколько полузавистливый возглас: — Во дает, в Испании издалась...

Или:

— Смотри, смотри, вот тот хум, что под дубом лежит, напечатан в швейцарском альбоме!

Разглядывая композицию с сосудами из Балан-мечети, он произнес, не скрывая удивления:

— Это ж надо, какого огромного волка охотник подстрелил из такого древнего ружья!.. — и долго сокрушенно качал головой.

Альбомы и каталоги рассматривали дольше, чем всю коллекцию керамики. Они, наверное, задержались бы у него во дворе еще с часик, но неожиданно подъехали две машины, и человек, прибывший за ними, объяснил хозяину дома, что обед для гостей в загородной резиденции обкома уже готов. Пригласили на обед и прокурора, не очень настойчиво, правда, но он отказался. С тем комиссия и отбыла. О ее выводах он узнал только через неделю на бюро обкома партии, собранном по его персональному делу.

Если быть точнее, с заключением комиссии его ознакомили перед началом бюро, которое было перенесено по каким-то причинам на более позднее время. Он с трудом прочитал до конца путаное, неконкретное заключение, все, что выдвигалось и вменялось ему в вину. Не смогли эксперты-искусствоведы и правильно оценить коллекцию керамики, но тумана напустили немало. Дважды в заключении ссылались на лондонский аукцион



«Сотби», где в последние годы участились продажи частных собраний керамики из разных стран. Приводили в пример коллекцию господина Кемалю из Анкары, которая была продана за восемьдесят четыре тысячи фунтов стерлингов; фигурировала здесь и коллекция генерала Чарлза Грея, которую тот, еще в начале века, вывез из Египта, — ее на аукционе «Сотби» оценили в сто тысяч. Не преминули эксперты указать, что в рецензиях о выставках Тургановой западные журналисты не раз писали о стоимости экспонатов, — а газетчики оценивали коллекцию щедро, зная, что она не продается. Оттого предполагаемая цена, называемая восторженными журналистами, была куда выше, чем назначил аукцион «Сотби» за коллекции из Анкары и Порт-Саида. И эта, гипнотизирующая любого простого человека, живущего на зарплату, цифра витала в стенах обкома задолго до начала бюро, она определила его тон и настроение. Наверное, слух опережает скорость света, обрастая деталями или, наоборот, теряя их, и уже скоро не говорили, что коллекция керамики оценивается экспертами примерно в сто пятьдесят тысяч, а уверяли, что областной прокурор собрал сто пятьдесят тысяч, или просто называли эту потрясающую цифру, увязывая всяк на свой лад с его фамилией такие большие деньги. Но все эти слухи распространялись и ширились уже после бюро, на котором и решилась судьба областного прокурора.

Конечно, и до бюро обкома его члены знали и о заключении комиссии полковника Иргашева, и о выводах проверяющих из Ташкента. Комиссия из Ташкента не преминула отметить, что иметь в домашнем саду «музей под открытым небом» — вызывающая нескромность, и партийная, и должностная.

Однако, обшарив чуть ли не все углы коттеджа, комиссия даже мельком не упомянула о спартанской скромности жилья прокурора, где не было ни одной вещи, которые принято называть предметами роскоши.

Членом бюро обкома оказался и один из младших братьев Суюна Бекходжаева, из тех, что носили другую фамилию. Он не стал выступать первым, но, видя, что собравшиеся не вполне разделяют выводы двух комиссий, все же не утерпел, взял слово.

— Я бы хотел, чтобы меня поняли правильно. Мне совсем не просто говорить слова правды человеку, перенесшему такое большое горе — потерю жены, и едва оправившемуся



после двух тяжелых инфарктов, но долг коммуниста обязывает к этому. Я тоже, можно сказать, косвенно соприкоснулся с бедой товарища Азларханова, убийца-маньяк, так быстро пойманный и сурово наказанный органами правосудия, угрожал жизни моего родственника, студента, будущего коллеги нашего прокурора. Поверьте, если он не пострадал физически, то психологическую травму он получил на всю жизнь, я знаю это точно. Так что мне, больше чем кому-либо, понятна беда товарища Азларханова. Беда неожиданно высветила и другое, и я убежден, даже не случись беды, рано или поздно ситуация с частной коллекцией выплыла бы наружу. И тут мы подходим к сути дела. Я хочу сказать о корысти, какие личины она может принимать. Если раньше на бюро мы обсуждали людей, наживших несправедным путем дома, машины, дачи, ковры, хрусталь, то сегодня мы сталкиваемся с более изощренной формой стяжательства. Меня поразила оценка уважаемых и авторитетных экспертов из столицы — сто пятьдесят тысяч! В такую астрономическую цифру оценивается собранная семьей прокурора редкая керамика нашего края. На такую сумму у нас не тянул еще ни один хапуга.

Азларханов видел, как члены бюро неодобрительно закивали головами, и непонятно было, то ли это неодобрение относится к говорившему, то ли к нему, прокурору. А брат Суюна Бекходжаева между тем продолжал:

— Я не знаю всех методов, посредством которых собрана коллекция, и не хочу знать, копать в грязи, но, например, изъятие святых для мусульман реликвий Балан-мечети не разделяю даже я, убежденный атеист. Этот факт дискредитирует товарища Азларханова и как коммуниста, и как должностное лицо. Это большой политический вопрос, и, я думаю, бюро обкома даст принципиальную оценку такому поступку.

Но вернусь к корысти. Она шла под руку с неумным тщеславием жены товарища Азларханова, и в лучах этой славы, как я знаю, любил покрасоваться и сам областной прокурор. Партийной нескромностью я считаю и то, что он дважды сопровождал жену в ее зарубежных поездках. Сегодня, когда была названа астрономическая стоимость коллекции, сумма, я понял, наконец, объяснил для себя действительно неумную энергию искусствоведа Тургановой. Убежден, ею двигали





тщеславие и корысть, что отчасти и привело эту женщину к гибели...

Прокурор, до этого хладнокровно выслушивавший всех выступающих, неожиданно поднялся с места.

— Прекратите свои подлые измышления, товарищ Бекходжаев, и не касайтесь грязными руками имени моей жены, иначе я... — и он, как тогда, в день задержания преступников, вышел из-за стола и, не помня себя, угрожающе двинулся на Бекходжаева.

Такое на бюро обкома случилось впервые, и дядя Анвара Бекходжаева взвизгнул от страха точно так же, как некогда племянник. Амирхана Даутовича под руки вывели из кабинета секретаря обкома, где проходило бюро, и заседание закончилось уже без него.

Бюро обкома началось во второй половине дня; когда Азларханов покинул приемную, рабочий день в старинном особняке давно закончился, и он брел по пустым, гулким коридорам, спускался по устланной коврами лестнице, не встретив ни одного человека. Между вторым и третьим этажами у прокурора снова прихватило сердце, и он, присев прямо на ступеньке лестницы, принял нитроглицерин. Нашел в себе силы подняться только потому, что чувствовал — заседание бюро вот-вот закончится, а он не хотел, чтобы его видели в таком жалком состоянии — ни друзья, ни враги. Осторожно, держась за широкие, отполированные временем перила мраморной лестницы, он спустился вниз.

Уже сгущались весенние сумерки, и в воздухе заметно поспежело, — прокурор даже поежился, но, наверное, знобило его не от холода. Он не спеша пересек нарядную площадь перед обкомом и направился к стоянке служебного транспорта. Несмотря на поздний час, машин на стоянке оказалось много. Обычно, когда Амирхан Даутович еще переходил площадь, его машина уже выруливала навстречу, но на этот раз «Волга» не спешила к нему, и он решил, что шофер заговорился с коллегами. Подойдя ближе, Азларханов не увидел своей машины и стоял некоторое время в растерянности, заметив, однако, как из других машин наблюдают за ним. Он уже хотел повернуть назад, как из «Волги», крайней в ряду, вышел пожилой шофер и направился в его сторону. Прокурор узнал Усмана-ака,



несколько лет назад тот возил его. Усман-ака подошел к нему, поздоровался и, жестом пригласив к своей машине, не скрывая смущения, сказал:

— Ваш-то... бежал, как крыса с тонущего корабля. Пронюхал, видно, что вы уже не областной прокурор и у вас крупные неприятности, и уехал, как только ушли на бюро... Такая нынче молодежь пошла практичная, а, небось, у вас характеристику в институт подписывал, заочник... — и Усман-ака от злости сплюнул.

Прокурор, поблагодарив старого шофера, от его услуг отказался и отправился домой пешком — пройтись ему не мешало.

Была суббота, последняя суббота апреля, и на улицах большого города вечерняя жизнь вступала в свои права: люди шли в кино, в парки, просто гуляли. Многие раскланивались с ним, обращившись ему вслед: после смерти Ларисы Павловны вряд ли в городе был человек, не наслышанный об их семье. Не знали они только о сегодняшнем бюро обкома, о выводах которого он догадывался еще до заседания. Особых иллюзий он не строил: после ночного звонка прокурора республики понял, что обложили его основательно, после таких обвинений едва ли кого оставили бы на столь ответственном посту.

О своем несдержанном поступке на бюро обкома прокурор не жалел, знал: не останови он Бекходжаева, тот продолжал бы поливать грязью Ларису, а подобных заготовок у них на этот счет, наверное, имелось немало, — безошибочно высчитали, как дорога для него память жены. Не жаль ему было и должности, которую наверняка потерял надолго, если не навсегда, — обидно было сознавать, что проиграл борьбу, считай, без боя. Растоптали как мальчишку, и пикнуть не позволили. Эта мысль и не давала покоя ни по дороге домой, ни дома.

«Если Бекходжаевы думают, что, дискредитировав меня как прокурора, лишили должности, власти и теперь я им не опасен, — рассуждал он, — так зря они успокоились. Может, мне без чинов и легче будет отстоять свою честь, и то, что они считают концом, будет только началом».

Он долго расхаживал по пустому, неуютному дому, не зажигая света, затем вышел в сад. Весенние сумерки быстро перешли в ночь, и бурно разросшийся по весне сад пугал темнотой. Прокурор стоял на открытой веранде, не желая возвращаться



в дом и не включая фонари в саду, мысль о том, что он сдался без боя, точила сердце.

И вдруг он представил себе, как Бекходжаев, по паспорту Садыков, вернулся после бюро обкома домой, где его наверняка дожидались остальные родственники, включая и самого Суюна Бекходжаева, и сейчас они за столом празднуют победу, упиваясь своей властью, вседозволенностью; ведь не шутка — отстояли убийцу и заодно стерли в порошок областного прокурора. Это ли не показатель мощи их клана.

Прокурор так ясно увидел это торжество самодовольных людей, что, не задумываясь, решил испортить им преждевременный праздник.

Он вошел в кабинет и поднял трубку прямого телефона, такой же аппарат с двузначным номером — он знал — стоял и на квартире члена бюро обкома Садыкова. Звонить по городскому телефону он не стал, зная, что трубку поднимут домашние, и вряд ли задуманный разговор в этом случае состоится, а к обкомовскому Садыков подойдет сам. Так оно и вышло: ответил хозяин, в голосе которого сквозило довольство, ликование. Прокурор понял, что поднял Садыкова из-за стола, тот что-то торопливо дожевывал, но к телефону поспешил, наверное, ждал поздравлений по поводу своей бескомпромиссной речи на бюро.

— Это Азларханов, — представился прокурор и услышал, как на другом конце провода человек от неожиданности икнул и тяжело засопел, куда и веселость, с какой он поднял трубку, девалась.

— Товарищ Бекходжаев... — Он упорно называл Садыкова Бекходжаевым, и тот ни на бюро, ни сейчас не возразил. — Мне кажется, вы рано празднуете победу. Если я сегодня и потерял должность, это не означает, что смирился с решением суда. Я хорошо знаю, кто убил мою жену, и есть люди, которые помогут мне доказать это. Если я не найду правды здесь, в республике, я дойду до Генерального прокурора страны. И раненый зверь куда опаснее здорового, примите это к сведению. Меня поставить на колени не так просто, бороться буду до последнего дыхания... — Прокурор чувствовал, с каким напряженным вниманием слушают его на другом конце провода, и, возможно, увидев, как изменился в лице хозяин



дома, к нему уже поспешили его братья и сестры или старшие сыновья Суюна Бекходжаева.

Видимо, он в своем предположении не ошибся, Садыков вдруг нервно сказал:

— Подождите две минуты, не кладите трубку...— Прикрыв микрофон, он, вероятно, совещался с набравшими родственниками. Через несколько минут он ответил: — Я буду у вас через два часа, нам необходимо переговорить с глазу на глаз.

Прокурор посмотрел на часы, и в этот момент городские куранты отбили десять; значит, ровно в полночь в коттедж на Лахути должен прибыть Акрам Садыков, родной дядя убийцы его жены.

Хозяин дома прошел на кухню и поставил на газовую плиту чайник, за весь день он не выпил и пиалушки чая, такой суматошной выдалась суббота.

«Полгода им не хватило, еще и два часа выторговали, — подумал зло прокурор о Бекходжаевых. В том, что у них побавился аппетит за столом, он был уверен. — Для чего им понадобились эти два часа?» — думал он, но, сколько ни перебирал варианты, к единственному выводу не пришел.

Однако в том, что им действительно необходимы эти два часа, прокурор не сомневался, — все их поступки до сих пор оказывались точно выверены, просчитаны, и чувствовалось, что мозговой трест клана работает четко и оперативно.

«Один придет Акрам Садыков или вместе с братом, а может, заявится вся мужская половина рода?» — продолжал размышлять прокурор. И опять ни в чем уверенности не было, все ходы этого семейства для него оказались непредсказуемы, не стоило и голову ломать. Один ли приедет визитер, или заявится с кем-то, Азларханов был готов к разговору и действию, чаша терпения переполнилась. Конечно, не мешало бы, чтобы сейчас в его квартире оказался капитан Джураев, единственный свидетель, на чью помощь мог рассчитывать теперь прокурор. Но это невозможно... Если бы он знал, что в эти самые минуты в доме Акрама Садыкова, словно читая его мысли, тоже говорили о капитане Джураеве, зная, что этот упрямец, не убоавшийся арестовать сына всесильного Суюна Бекходжаева, — единственная надежда прокурора.

Так в бесплодных размышлениях и пролетели два часа...



## 7

Едва городские куранты начали отбивать полночь, по сонной Лахути тихо прошуршала шинами черная «Волга» с выключенными огнями и остановилась у ворот дома прокурора. Хлопнула дверца машины, и по слабо освещенной дорожке сада к дому двинулся человек. Один..

На бетонных плитах дорожки, ведущей от калитки к веранде, четко отдавались уверенные шаги. Ритм шагов, упругая поступь сразу подсказали прокурору, что это не Акрам Садыков и уж тем более не Суюн Бекходжаев — братья были в теле, каждый за сто килограммов, и при ходьбе от ожирения шумно дышали.

Хозяин дома поднялся навстречу полуночному визитеру. В ярко освещенной прихожей стоял подтянутый молодой мужчина, лет тридцати пяти — тридцати семи, хорошо одетый, можно даже сказать элегантно, в правой руке он держал новенький кожаный дипломат с цифровым кодом. Встреть прокурор ночного гостя на улице среди празднично одетой вечерней толпы, принял бы его если не за иностранца, так за москвича, настолько он не вписывался в улицы их провинциального областного города.

— Добрый вечер, — сказал незнакомец и нервным жестом поправил свой безукоризненный пробор — на его крепком запястье сверкнули золотом не то «Картье», не то «Ролекс», дорогие и редкие швейцарские часы, особо престижные, прокурор это знал.

Хозяин дома ничего не ответил и тоже жестом пригласил пройти в дом. Незнакомец сделал шаг и задержался в дверях, пропуская вперед прокурора. «Осторожный», — машинально отметил Амирхан Даутович.

В кабинете, не дожидаясь приглашения, незнакомец занял кресло, ближе к входной двери, тем самым оставляя прокурору место у письменного стола.

Люстра свисала как раз над креслом, где расположился ночной гость, и прокурор хорошо видел его. Гость чувствовал это, но не отодвигал кресло, — оттуда просматривался и коридор. Внешне гость был спокоен, сдержан, не суетлив, но Азларханов чувствовал в нем собранность, готовность к любой неожиданности.



— Считайте, что я Акрам Садыков или Суюн Бекходжаев, все равно, как вам будет удобнее, — у меня самые широкие полномочия от Семьи, — заговорил пришелец, усаживаясь поудобнее в кресле, и попросил разрешения закурить. — Разговор нам, товарищ прокурор, наверняка предстоит долгий, — добавил он, но тут же, погасив зажигалку, неожиданно попросил: — Ради бога, простите мне мое любопытство, но прежде чем мы начнем разговор, я хотел бы одним глазом взглянуть на вашу коллекцию — много наслышан. Вряд ли у меня будет еще возможность появиться в гостях у областного прокурора, да и вообще в Средней Азии. Признаюсь, я не люблю Восток, здесь люди непредсказуемо коварны, и не все поступки объяснимы даже изощренному европейскому уму. — Гость поднялся...

Прокурор расценил его просьбу как возможность проверить соседнюю комнату: нет ли там какой-нибудь приготовленной для него опасности, засады. И чтобы гость успокоился, — а прокурору побольше хотелось выведать у него, и, похоже, можно было рассчитывать на удачу, потому что человек явно принадлежал к породе упивающихся собственным красноречием, — пригласил его в зал.

Керамика, видимо, нисколько не интересовала гостя — в комнатах он задержался не более двух-трех минут. Вернулся он в кабинет более спокойный и сказал разочарованно:

— И эти черепки оценили в сто пятьдесят тысяч?! Впрочем, хорошо, что остановились на этой сумме, потому что на лондонском аукционе в последние годы продано несколько известных коллекций керамики, и гораздо дороже, чем коллекции из Анкары и Порт-Саида. Эти собрания, доложу вам, также сравнивались с коллекцией вашей жены, особенно с той, что выставлялась в последний раз в Цюрихе, и некоторые искусствоведы отдавали предпочтение вашей. Что и говорить, хорошо поработали люди в Москве, горы газет перелопатили, копии со статей в зарубежных журналах и газетах снимали, они-то и подали идею исходить из оценки лондонских аукционов. Все статьи, где указывалась достаточно высокая предполагаемая цена коллекции или отдельного экспоната, были высококачественно отсняты на японской копировальной машине и тут же, рядом, давался перевод на русский язык. Эти документы, а их набралось немало, прилагались к каждой анонимной жалобе



на вас. Так что бедным экспертам ничего не оставалось, как следовать по заранее указанному пути и воспринимать коллекцию глазами восторженных западных журналистов, иначе бы их заподозрили в симпатиях к вам, в необъективности и некомпетентности. Хотя я убежден: надумай любой наш музей приобрести у вас эти черепки, вряд ли предложил бы более тысячи рублей. Но тысяча нас не устраивала. Какой от тысячи резонанс, что она для общественного мнения? Нуль! Вот сто пятьдесят тысяч — это масштаб! Сто пятьдесят — это хапуга, за сто пятьдесят можно любого обвинить во всех смертных грехах...

Прокурор внимательно слушал ночного пришельца: тот явно хотел дать понять, что он в курсе всех его неприятностей, и даже больше — он выдавал себя за одного из стратегов, организующих эти неприятности.

Он пытался вспомнить, где он видел это жесткое, волевое лицо, характерный прищур пугающих холодом глаз, высокий лоб с едва заметными залысинами — то ли в картотеке особо опасных преступников, то ли встречал фотографию в документах, когда просматривал личные дела, инспектируя колонии на территории области? И вдруг, то ли желая сбить с гостя спесь, то ли проверяя, все ли он знает, прокурор спросил:

— Не вы ли вскрыли у меня в прокуратуре сейф?

Для незваного гостя вопрос не оказался неожиданным, он сделал презрительную гримасу:

— Не мой профиль, шеф. Берите выше, я работаю головой, а не отмычкой. — И опять он поправил свою безукоризненную прическу. — А что касается вашего сейфа, то конечно, открыл его человек, отбывающий тут срок, но он о нашем деле, то есть о вашем, ни гу-гу. Ему сказали, что хозяин кабинета потерял ключи и его надо выручить. В сейфе нас интересовали ваши амбарные книги по каждому району. В обмен на информацию из этих книг было необходимо получить содействие должностных лиц против вас. И, как видите, план вполне удался. Суд в районе, где случилось преступление, прошел без сучка и задоринки, и в Сардобском районе, где расположена Балан-мечеть, тоже оказали всяческую поддержку. А за то, что повредили альбом, вы уж извините, у нас другого выхода не было. В вашей дыре нет копировальной машины, передающей цвет, а



Духовное управление могла тронуть, вызвать праведный гнев только подлинная фотография.

— Почему вы мне все это рассказываете? Не бойтесь, что каждое ваше слово в определенной ситуации я могу повернуть против вас? Организованная преступность у нас карается сурово.

Незнакомец зло рассмеялся в ответ:

— Не боюсь, товарищ прокурор, не боюсь. За это и деньги получаю. «Организованная преступность»... Как вы боитесь произнести это определение, как вообще боитесь что-либо сообщать народу о преступлениях и преступниках, все тешите себя иллюзией: этого у нас нет, этого быть не может. Скажу вам, раз выпала мне такая честь — пообщаться с самим прокурором, попавшим в беду: преступность в основном и есть организованная, и так организована, что вам и представить трудно, иначе бы вы успешнее боролись с ней. Вы же умный человек, разве вас не пугает такая компания: Суюн Бекходжаев, Герой Труда, депутат Верховного Совета, председатель колхоза, Акрам Садыков, член бюро обкома, крупное должностное лицо, тоже депутат, Иргашев, начальник областной милиции, прокурор Исмаилов, и я, профессиональный преступник, будем называть вещи своими именами.

— Хорошо, хоть так представились, — сухо заметил Азларханов.

— А мне скрывать нечего, — заявил гость. — Вот вы прокурор, из тех, что не идут на сделку с совестью, уж мы-то знаем кто есть кто. Наверное, о том, что вы достойный человек, знают и люди на высоких постах, — почему же они оставили вас одного против нас, почему на бюро не приехал прокурор республики, чтобы защищать вас? Честно говоря, мы не были уверены, что удастся растоптать прокурора области сомнительными подметными анонимками и демагогическими выступлениями, но Садыков оказался прав, он, конечно, лучше знает вашу среду — у нас, в преступном мире, так легко оболгать человека не удалось бы. Воистину — тут, у вас, сместились все понятия о нравах.

— Ну, какие у нас нравы, позвольте разобраться нам самим, обойдемся без благородной помощи преступного мира, — парировал прокурор. — Не все так мрачно, как вам видится,





молодой человек. А союз ваш — не надолго, не так уж много в наших рядах Иргашевых, Бекходжаевых, иначе бы вы сейчас не отбывали срок, — прервал он философствующего преступника и заметил, что ночной посетитель нервно среагировал на его последнюю фразу. Значит, угадал...

— Много ли, мало, а вам они испортили жизнь, сломали карьеру. Ваша песня спета, прокурор, вы проиграли. А, впрочем, давайте не будем препираться, мы люди полярных взглядов, проговорили уже с полчаса, а к делу и не приступали...

Но Азларханов, глядя на удобно устроившегося в кресле человека, думал о своем — о закрытых совещаниях в прокуратуре республики, где его коллеги не раз пытались поднять вопрос о сращивании организованной преступности с органами правопорядка у них в крае и в стране, и как такие разговоры круто пресекались, а то и поднимались на смех, хотя примеры приводились далеко не смешные. Глядя на уверенно державшегося ночного визитера, он сейчас не поручился бы, что «гастролер» прибыл откуда-то из Ростова или Грозного, Москвы или Тбилиси. Он вполне мог быть выпущен полковником Иргашевым на время операции из мест заключения на территории области.

Если бы он мог, если бы он только мог задержать этого незваного гостя! Но он понимал, что сделать ему это не удастся. Во-первых, того наверняка подстраховывали, — возможно, сообщник стоял в тени летней веранды и в мгновение ока оказался бы в комнате; во-вторых, преступник был вооружен. Амирхан Даутович сразу, еще в прихожей, отметил едва заметную ременную ляжку пистолета под мышкой, — тонкий модный пиджак гостя не очень годился для такого снаряжения. А главное, — что он мог сделать после двух инфарктов и тяжелой пневмонии с человеком безусловно сильным, да и жестоким. Глупо было бы погибнуть от пули, от приема каратэ или кун-фу, которыми, несомненно, владел этот человек, — не исключено, что ощущение этой власти силы над другими и подтолкнуло его к преступлению. Обиднее всего, что убийство такое, случись оно, вряд ли когда-нибудь и раскроется: преступник к утру вернулся бы к месту заключения, и какая светлая голова догадалась бы искать убийцу за тюремной решеткой?



Гость достал новую сигарету из длинной золотистой пачки, щелкнул дорогой зажигалкой.

— Бьюсь об заклад, вы никогда не догадаетесь, зачем я к вам пришел...

Прокурор не перебивал, давая возможность ему вновь разговариваться.

— Скажу коротко: передать вам этот французский дипломат, кстати, модную ныне вещь, и заручиться вашим честным словом. И ничего больше. Но прежде чем расшифровать свое скромное поручение, я должен передать вам от всей огромной Семьи Бекходжаевых искреннее соболезнование по поводу гибели вашей жены.

Видя удивление на лице хозяина дома, гость повторил:

— Да-да, самые искренние соболезнования. Не станете же вы утверждать, что вашу жену убили... специально... Это тот самый случай, который принято называть трагическим. В данном случае и для вас, и для них трагичнее не придумаешь. Но от судьбы не уйти ни вам, ни им. Мне понятна и ваша утрата, понятна и позиция Суюна Бекходжаева. Он рассуждает так: понесет ли их сын наказание или нет, вашу жену уже не вернуть, и стоит ли губить еще одну судьбу? Цинично, но для такого цинизма есть причины. Суюн Бекходжаев имеет в этих краях определенную власть, и многие люди на высоких постах обязаны своим восхождением ему. В конце концов, Семья не отрицает своей вины и готова нести ответственность, скажем, материальную, готова на определенную компенсацию. Против вас лично у них нет никаких предубеждений, и, не затевай вы столь решительно пересмотр дела, до сих пор оставались бы на своем посту. Так что должности вы лишились благодаря собственным усилиям, — таковы жесткие условия игры: или вы их, или они вас, другого не дано. В случае вашего успеха понесли бы суровое наказание и полковник Иргашев, и прокурор Исмаилов, как видите, игра зашла слишком далеко и назад хода нет. Впрочем, извините за откровенность, мало кто думал, что вы выкарабкаетесь из двух инфарктов. Но опять же, повторяю, ни у кого не было мысли лишать вас должности, и в подтверждение — вот эта компенсация.

Незнакомец поднял на колени стоявший на полу вишневого цвета кожаный дипломат, быстро набрал шифр. Раздался



легкий щелчок, и крышка стала сама медленно подниматься. Как только дипломат открылся, гость развернул его к хозяину кабинета.

— Здесь ровно сто тысяч. Это компенсация за организованную Семей потерю должности и вытекающие из этого последствия: лишение служебной машины, бесплатных путевок, буфета и т. д. Учли и предстоящую разницу в зарплате, и потерю коттеджа с великолепным садом, который наверняка у вас отнимут, вот до чего может довести упрямство...

Незнакомец неожиданно захлопнул дипломат, ловким жестом опустил на пол, подтолкнул легонько ногой к креслу прокурора.

Прокурор молча, правда, не так ловко, как ночной гость, отпихнул носком ботинка дипломат обратно.

— Не устраивает сто тысяч? Мало? Впрочем, я бы тоже за потерю такой должности потребовал «лимон».

Прокурор прекрасно знал, что на жаргоне «лимон» означает миллион и что у них в крае есть подпольные миллионеры.

— У меня повышенная кислотность, и лимон мне противопоказан. Не нужно мне и ста тысяч, да еще в таком роскошном дипломате. Должность свою, на ваш манер, я никогда не оценивал в деньгах, так что напрасно думаете, что я лью слезы, потеряв место областного прокурора. Хотя, честно говоря, очень жалею, что потерял его в такой момент, когда у меня на многое открылись глаза, сегодня я работал бы уже по-другому. Моя личная трагедия высветила жизнь совсем по-иному. И поймите наконец вы со своими компаньонами, что не все потери в жизни компенсируются, не за все в жизни можно расплатиться деньгами...

Незнакомец вдруг хищно улыбнулся и похлопал в ладоши:

— Bravo, прокурор, bravo!

— Перестаньте паясничать! — оборвал прокурор.

— Я не паясничаю. Я сейчас выиграл пари в двадцать тысяч, — почему бы не поаплодировать себе? Поясню. Идея с дипломатом не моя, я сразу сказал — деньги он не возьмет, не тот человек. С ним, то есть с вами, по-другому надо говорить, вплоть до крайней меры, извините за откровенность. А братья смеются, говорят — кто же от ста тысяч откажется? Тогда я предложил каждому из них пари, в счет своего будущего



гонорара за особые услуги... Так что на вашей порядочности я заработал двадцать тысяч...

— Тяжелый у вас хлеб, — прервал прокурор посланника Бекходжаевых, — и я честно хочу предупредить: если наши пути пересекутся, а они пересекутся рано или поздно, я приложу максимум усилий, чтобы вы никогда больше не жили среди нормальных людей, вы крайне опасный человек, настолько опасный, что у нас даже статьи для таких нет.

Незнакомец поправил галстук и, улыбаясь, ответил:

— Я на вашу милость никогда и не рассчитывал и отдаю себе отчет, что мы с вами враги, настоящие враги — и стоим по разные стороны баррикады, как у вас говорится. Но ваша убежденность, вера мне нравятся, как это ни парадоксально, особенно, наверное, на ваш взгляд... Знаете, критерии человеческих отношений ныне настолько размыты, что настоящих врагов не осталось, может, только вы и я, товарищ прокурор, теперь, правда, уже бывший, поэтому давайте будем уважать друг друга. И, заканчивая нашу беседу, я хочу заручиться вашим честным словом, что вы отныне не будете настаивать на пересмотре дела по убийству вашей жены.

— Это тоже ваша идея? — спросил язвительно прокурор.

— Да, моя, и она намного благоразумнее, чем те, на которых настаивают другие, назовем их «радикалами».

— И каковы же планы ваших «радикалов»?

— А вот этого я вам сказать не могу, чужие секреты. Но уверяю вас, жестокие планы, они пугают даже меня. Будьте благоразумны, прокурор, и примите мои условия. Вам сегодня не выиграть схватку, слишком неравные силы: и моральные, и материальные, время на стороне Бекходжаевых. К тому же каждый ваш ход Семья может рассчитать наперед, или, точнее, рассчитала еще полгода назад и, как видите, до сих пор ни разу не ошиблась. Она имела фору в полгода и, поверьте, не сидела сложа руки. Их действия для вас непредсказуемы, как непредсказуемы и силы, что они могут ввести по ходу дела в игру. Ваши тетради оказывают им бесценную помощь, слишком уж большому количеству уважаемых ныне людей выгодно лишить вас поста и дискредитировать.

— Да, в этом вы преуспели, — согласился прокурор.

— Вот именно. Да и на что вы можете рассчитывать? У вас есть один-единственный шанс, или, точнее, единственный



человек, на чью помощь и свидетельство вы можете рассчитывать. Тут вы нас немного опередили, успели перевести его в Ташкент, а жаль, у полковника Иргашева в отношении Джураева был интересный план, не успели реализовать, иначе не было бы сейчас у вас и этого шанса. Не скрою, Семья проделала огромную работу и установила того, кто помог Джураеву так быстро задержать убийцу. Установили и человека, с кем встречался капитан после суда. На них можете не рассчитывать, их и запугали, и задобрили одновременно, припомнили им их собственные грешки, не получившие огласки в свое время. Если они до суда отказывались вам помочь, то теперь тем более. С Джураевым несколько посложнее, его не запугаешь и не купишь. Вам, наверное, лучше меня известно, что однажды он задержал человека в бегах, у которого денег с собой было гораздо больше, чем в этом дипломате. Задержанный просил в обмен на эти деньги отпустить его, но Джураев отказался.

Прокурор помнил этот случай, но не из-за денег, а потому, что Джураев задержал особо опасного рецидивиста, на чьей совести было три убийства.

— Так вот... Джураев... А что, собственно, Джураев? Работа сыщика — опасная работа, и в ней всякое может случиться, вы это хорошо знаете, прокурор. Больше всего милиция теряет людей в уголовном розыске. Известны радиопозывные и рабочая частота его радиации в машине. Ну, например, капитан, поздно вечером возвращаясь домой, проезжает мимо одного особняка, где частенько собираются люди, чьи фотографии он бережно хранит в нагрудном кармане, и вряд ли, учитывая его храбрость и благородство, он избежит искушения встретиться с ними. Он не станет осторожничать, ведь там будут люди, за которыми он давно охотится, люди в розыске. Но всегда есть возможность предупредить и тех, кто в особняке.

— И пусть выживет более удачливый? — уточнил Азларханов.

— Нет, — покачал головой гость. — Капитан не выживет, потому что в суматохе, если надо будет, его пристрелит тот, кто будет страховать эту трогательную встречу. А поскольку там без выстрелов не обойдется, он погибнет честно, на боевом посту, и смерть его ни у кого не вызовет подозрений.

Я логично рассуждаю, прокурор? У этого плана есть несколько страховочных вариантов: такому отчаянному человеку, как



Джураев, несложно организовать встречу с пулей или ножом в темном переулке или подьезде. И последнее. Предугадываю, вы скажете: есть Азат Худайкулов, и, может, в нем заговорит совесть, и он расскажет начистоту, как все было? Не расскажет. Потому что на снисхождение суда ему рассчитывать не придется, а правда для прокурора его не волнует, его волнует его жизнь, когда он выйдет на свободу, а она целиком зависит от Бекходжаевых, как и жизнь его больной матери.

К тому же он не капитан Джураев и тревоги у Семьи не вызывает. Если надо будет, чтобы он замолчал навсегда, для полной гарантии, то он замолчит, будьте уверены. Он как раз работает на строительстве высотного дома, в третью смену, и ходит как сонная муха, того и гляди — сам улетит в монтажный проем.

Наверное, беседа затягивалась дольше рассчитанного, потому что гость нервно глянул на свои часы.

— Теперь, надеюсь, и вы понимаете, в обмен на что я прошу вашего честного слова.

Прокурор сидел, понутив голову, он поверил сразу в этот иезуитский план клана — они хотели получить его молчание в обмен на две жизни, а в том, что они, спасая свои шкуры, не остановятся ни перед чем, он не сомневался. Как ни парадоксально, оставалось только радоваться, что «радикалы» в группировке не одержали верх, и эти люди оставались живы до сих пор.

У прокурора перед глазами встала семья Джураевых, его двое маленьких детей. Вспомнился и сам Эркин, надежный и верный товарищ. Нет, какие бы цели ни преследовал, он не мог сейчас собственной рукой подписать ему смертный приговор, как не мог рисковать и жизнью Азата Худайкулова, которому только недавно исполнилось восемнадцать лет.

Мысль прокурора работала лихорадочно, искала хоть какой-то просвет в тупике, но выходило, что загнали его основательно, не шевельнуться.

«Давать честное слово этому подонку — значит стать перед ними на колени, признать их правоту...» — в отчаянии рассуждал прокурор, не замечая, что гость уже нервничает и торопится.

И вдруг посланник Бекходжаевых, словно прочитав его мысли, сказал:



— Кажется, я допустил какую-то бестактность, требуя от вас честного слова, извините, я не буду настаивать на такой форме решения вопроса. Сделаем так. Я оставлю вас одного, взвесьте мои предложения и свои шансы. Ровно через полчаса, если вы приняли наши условия, включите в зале свет. Если нет, бог вам в помощь, дальше события будут контролироваться «радикалами».

— Вы числите себя в «либералах»? — еще нашел силы для иронии прокурор.

— Представьте себе, да. И ваше счастье, что с вами говорят не они. — И гость, подхватив дипломат, быстро выскользнул из кабинета.

Когда он проходил бетонной дорожкой вдоль летней веранды, хозяин дома ясно уловил шаги еще двух человек.

Прокурор еще долго сидел, понутив голову, не находя в себе сил встать и что-то предпринять, потом он неожиданно вскочил и бросился к телефону. Поднял трубку одного, второго — телефоны не работали.

И впервые за долгую ночь чувство страха охватило его. Ведь у них могли быть варианты куда короче и надежнее...

Он прокручивал в памяти долгий разговор с ночным гостем, и порою казалось, что это сцены из детектива, причем детектива зарубежного; настолько все было нереально для нашей жизни, что, поведай он кому-нибудь об этом разговоре, вряд ли его рассказ приняли бы всерьез. Но в том-то и ужас, что все было всерьез, прокурор знал это. И знание это не облегчало душу, он понимал: в том, что страшные люди, подобные ночному гостю, полковнику Иргашеву, прокурору Исмаилову и Бекходжаевым, здравствуют и считают себя хозяевами положения, есть и его прямая вина.

Но долго рассуждать ему о своей вине не пришлось: раздался слабый звук автомобильной сирены — с улицы напоминали, что время, отпущенное ему, истекло.

Прокурор тяжело поднялся, шатаясь, прошел в зал и на секунду включил огни.

В ответ клаксоны двух машин сыграли радостный марш и, разрывая ночную тишину, «гости» резко рванули по сонной Лахути.



## Айсберг

С этой ночи, накануне Первомая, жизнь прокурора круто изменилась. Он лишился должности и получил суровое взыскание по партийной линии. Но подкосила его не тяжесть и несправедливость наказания, а откровенность и наглая уверенность ночного посланника Бекходжаевых — открытие для себя неконтролируемого участка жизни. Выходило, что все эти годы он жил в каком-то изолированном и надуманном мире, а в жизни меж тем процветали слои, пласты ее, которые были неведомы ему даже как человеку, не то что прокурору. А ведь он-то считал, что прочно стоит на земле и смотрит на жизнь глазами реалиста; выходит, действительность оказалась куда многозначнее и мрачнее, чем он себе представлял. Спроси его кто до гибели Ларисы, знает ли он жизнь своей области, контролирует ли ее, он, наверное, обиделся бы. Теперь он понимал: его знания были неполными, а точнее — бумажными, телефонными, газетными, победные рапорты застили ему саму жизнь. И даже останься он на своем прежнем посту, все равно почувствовал бы свою надломленность — переход из веры в неверие никогда не проходит бесследно для людей честных.

Его оставили работать в прокуратуре на должности, с которой он некогда начинал в этом здании. Осенью он попал в больницу с нервным расстройством и пробыл там более двух месяцев.

— Вы потеряли какие-то жизненно важные для себя ориентиры...— говорил ему лечащий врач.

И хотя пожилой врач считал, что нервное расстройство связано только с его личной трагедией и неожиданными последствиями после нее, диагноз он поставил точно. Но прокурор, соглашаясь с доктором и признавая его диагноз, все же до конца откровенным с ним не был.

А расстройство началось из-за того, что в стенах прокуратуры ему стал повсюду чудиться подвох: казалось, здесь идет двойная жизнь. Тайный пласт по-прежнему оставался скрытым от него, а открытый не внушал доверия. Он уже не мог, как прежде, с верой выслушивать на заседаниях своих коллег; за каждым выступлением пытался найти подтекст, понять, что





стоит за их словами: корысть, скрытый расчет или все же интересы справедливости, закона. Раньше он не обращал внимания, когда шушукались по углам, — мало ли у людей личных забот. Не придавал он значения и тому, кто наведывается в прокуратуру и с кем общается. Теперь же ему казалось, что вся работа бывшего в его подчинении аппарата состоит из каких-то тайных встреч, шушуканий не только по углам, но и за закрытыми дверьми.

Еще год назад он вряд ли интересовался, с кем дружат его коллеги, подчиненные. Теперь же он замечал, что многие из них на дружеской ноге с завмагами, директорами, и люди эти, которым, по расхожему мнению, следовало бы за версту обходить здание прокуратуры, не таясь заезжали сюда на собственных машинах за своими приятелями, уверенно держались в коридорах. Раньше ему как-то не бросалось в глаза, что даже у самых молодых сотрудников прокуратуры есть собственные «жигули» или «москвичи». И хотя он получал в три раза больше, чем владельцы личных машин, они с Ларисой едва сводили концы с концами. Правда, немалую толику средств тратили они на коллекцию, на альбомы и книги. Но все равно о «жигулях» и не помышляли, хотя машина Ларисе в ее разъездной работе была просто необходима.

А приглашения на свадьбы и иные частые торжества? Почему так настойчиво зазывались работники прокуратуры и к кому? И этих связей никто не таил, даже с гордостью рассказывали наутро, что были у того-то или того-то, и какие роскошные столы были накрыты на пятьсот человек, и какие щедрые подарки им там преподнесли, якобы по национальному обычаю. А ведь хлебосольный хозяин, так восхищавший коллег, был всего лишь заведующим складом с зарплатой в сто двадцать рублей.

Когда он попытался завести разговор о профессиональной этике работника правосудия, его подняли на смех:

— Ах, вот как вы заговорили, сменив кабинет? Что же вы раньше молчали, когда сидели этажом выше?..

Как бы ни противилась его душа тому, чтобы подозревать своих коллег, но ведь кто-то же помогал Иргашеву вскрывать сейф, рыться в его бумагах. Кто-то помогал отыскать в давно прошедших днях даты, когда он посещал Сардобский район. Возможно, кто-то из ближайших коллег консультировал как



юрист несправедное дело Бекходжаевых, помог ускорить суд, свести концы с концами. Оттого его нервы были натянуты до предела. И в одном из нелюбимых разговоров с коллегами он сорвался, в результате чего и очутился в психоневрологической больнице.

Корпуса больницы, бывшей когда-то военным госпиталем, возводились давно, одновременно со зданием, где ныне располагался обком партии, здание окружал ухоженный парк, предусмотрительно разбитый не то архитекторами, не то первым медицинским персоналом. Окна палаты выходили на дубовую аллею, где могучие деревья уже роняли желуди, с сухим треском падавшие на асфальт садовых дорожек. Лежал он в одноместной палате, светлой, с высоким потолком и большим окном. Палата нравилась ему, она действовала на него успокаивающе. Старые мастера строили не только добротнo и на века, но и наверняка знали какие-то особые секреты, чтобы храм получился как храм, театр как театр, а госпиталь как госпиталь.

— Мне кажется, даже стены здесь дышат милосердием, — сказал он главному врачу больницы. Наверное, он знал, что говорил, потому что в последний год имел достаточно дел с больницами.

Главврач Зоя Алексеевна Ковалева, бывавшая в свое время у них в доме, по-женски участливо отнеслась к нему. Он был окружен заботой и вниманием — отсюда и одноместная палата, которая ныне по рангу вроде и не была ему положена. Больница отличалась строгим режимом, но у него уже через две недели наладился свой распорядок. Осень в тот год выдалась без дождей, теплой, и он подолгу гулял в парке; старые дубы, мирно ронявшие желуди, действовали на него умиротворяюще. Тем летом как раз вышло новое трехтомное издание «Опытов» Монтеня в серии «Литературные памятники», и прокурор подолгу просиживал наедине с книгой где-нибудь в беседке — укромных уголков в парке было много, и он не переставал удивляться, отыскивая их почти на каждой прогулке.

Наверное, в больнице прокурор задержался бы не более трех-четырёх недель, если бы главный врач случайно не узнала, что уже готово решение отобрать у Амирхана Даутовича коттедж на Лахути. Еще одна неожиданная крутая перемена в



жизни могла непредсказуемо повлиять на психику ее больного, и Ковалева постаралась продержатъ его в стенах больницы подольше. Зная, что вопрос с коттеджем решен окончательно, она исподволь готовила его к мысли, что ему нужна маленькая, уютная квартира, наподобие его палаты, где он будет чувствовать себя увереннее. Настойчиво внушаемая врачом мысль сделала свое дело — прокурор вполне искренне стал соглашаться, что ему действительно нужно отказаться от дома на Лахути, слишком многое напоминало там ему о Ларисе.

Жалея пациента, щадя его здоровье и психику, а главное — самолюбие, главврач уговорила Азларханова написать заявление о том, что он добровольно отказывается от коттеджа, и пообещала, пока он лечится, через горисполком подыскать ему необходимое жилье; она уже знала, где определили прокурору однокомнатную квартиру.

Когда он написал заявление-отказ от коттеджа на Лахути, сам по себе встал вопрос: как же быть с коллекцией керамики? Прокурор вполне резонно заметил, что отныне собрание жены для него существует только в альбомах и каталогах, с которыми он не намерен расставаться, а саму коллекцию готов безвозмездно передать местному краеведческому музею.

Но вот с передачей коллекции музею вышла заминка... Попросили не указывать в дарственной, которая заверяется юридически у нотариуса, стоимость коллекции в сто пятьдесят тысяч, иначе музею придется брать на баланс такую огромную сумму.

Прокурор же заупрямился: ссылаясь на недавнее заключение экспертов, настаивал на указании именно такой стоимости. Дело на время застопорилось. Тогда директор музея предложил компромиссное решение: определить стоимость коллекции местным экспертам-искусствоведам. Вскоре в больницу принесли новое заключение, где коллекция оценивалась в одну тысячу четырнадцать рублей шестьдесят две копейки.

Прокурор долго смотрел на заключение, не в силах вымолвить ни слова... Может быть, ему виделось бюро обкома, загипнотизированное суммой в сто пятьдесят тысяч, а может, припомнился страшный ночной гость, угадавший нынешнюю цену с поразительной точностью, хотя и был экспертом совсем иного рода. Затем, взглянув на главврача, стоявшую рядом



с директором музея, прокурор поставил свою размашистую подпись, означавшую, что он согласен с такой оценкой.

Как только музей вывез коллекцию в свои запасники, Зоя Алексеевна объявила пациенту, что вопрос с обменом жилплощади решен и необходимо срочно переезжать. Сказала, что хлопоты по переезду решили взять на себя его коллеги, хотя все обстояло совсем иначе. Иргашев доставил на Лахути милицейский взвод, и молодые ребята за два часа перевезли весь нехитрый скарб прокурора на квартиру в новом микрорайоне, причем милиционеров крайне удивила бедность хозяина особняка на Лахути; этот же взвод помогал весной переезжать полковнику Иргашеву в областной центр, и там уж пришлось потрудиться!

Чтобы не вызвать у больного подозрений в отношении квартирного обмена, Зоя Алексеевна продержала его в стенах клиники еще две недели. И эти две недели упорно добивалась для него путевки в неврологический санаторий куда-нибудь подальше. Подальше, в центральные, не получилось — он уже не числился номенклатурным работником; нашлась путевка в местный санаторий Оби-Гарм, в горах Таджикистана. В том, что прокурору необходимо срочно сменить обстановку, она была уверена как врач. Гулявшие в городе слухи, что у прокурора отобрали коттедж и коллекцию, могли вызвать новый рецидив болезни, и путевка оказалась как нельзя кстати. Переночевав на новой квартире всего одну ночь, прокурор уехал продолжать лечение в санатории...

## 2

Так сложилась жизнь, что Азларханов никогда не бывал раньше ни в горах, ни на море, а тут в один год судьба забросила по весне в Ялту, а поздней осенью в горы Таджикистана. Ни организовать, ни отменить ни ту, ни другую поездку он не мог — так распорядилась жизнь: весь последний год он жил в тисках обстоятельств. «Год потерь, — однажды горестно констатировал он. — Потерял жену, потерял дом. Потерял сад. Потерял работу, потерял честное имя... Потерял коллекцию, музей под открытым небом... Потерял здоровье...»

Но жизнь питает человека надеждой, верой... Осень в горах в тот год выдалась на удивление долгой, теплой. Лес на



крутых склонах Гиссарского хребта еще не обронил листву и стоял, полая багряными всплесками кленов. Сады на горных склонах, виноградники одарили обильным урожаем, оттуда доносило запах спелых яблок, груш, айвы, хурмы. По вечерам в горах заметно свежело, и оттого с наступлением темноты за территорией санатория жгли костры на пионерский манер. Прокурор любил, закутавшись в чапан, просиживать у огня часы перед отбоем. У костра обычно не вели шумных разговоров, не веселились, и это вполне устраивало его.

Днем он подолгу гулял в окрестностях санатория, иногда пропускал обед, но никогда не жалел об этом, сожалел лишь о том, что так запоздало в жизни общается с природой. Иногда приходила в голову отчаянная мысль бросить город, прокуратуру, найти в горах посильное дело где-нибудь в заповеднике или лесничестве и так дожить оставшиеся дни.

Но потери, случившиеся в последний год, были столь велики, что он не мог не думать о них, как бы ни гнал от себя эти мысли. И оттого однажды на прогулке он принял решение все же подробно написать о том, что случилось с ним и его семьей, Прокурору республики. У подножья горы у него уже было облюбовано место, где он подолгу просиживал с книгой, время и ветры так обработали горную породу, что получился как бы настоящий письменный стол с креслом. Целую неделю он провел за этим каменным столом, сотворенным природой, и исписал своим аккуратным почерком толстую общую тетрадь; подробно обо всем, что произошло с ним за последний год, и что он обо всем этом думает. Не забыл написать и о том, что нашумевшую коллекцию жены недавно оценили в тысячу рублей и что он ее безвозмездно передал в местный краеведческий музей. Написал и о дипломате со ста тысячами, и о ночном госте, и его друзьях — полковнике Иргашеве, прокуроре Исмаилове, депутатах Бекходжаевых. Просил обезопасить жизнь капитана Джураева и заключенного Азата Худайкулова.

Отправив в Ташкент тетрадь ценной бандеролью, он несколько воспрянул духом, повеселел. Тогда, накануне Первомая, уступив жестким условиям клана Бекходжаевых, он посчитал свое решение капитуляцией. И этот поступок тоже жег ему душу, не давал покоя. Но вот спустя чуть более полугода он нашел в себе силы, чтобы снова начать борьбу.



Отчаянная исповедь прокурора благополучно дошла из соседней республики до Ташкента и попала в канцелярию прокурора республики. Более того, оказалась в руках человека, хорошо знавшего и уважавшего Азларханова, и тот, начав ее читать, не смог уже остановиться до самого конца. Прочитав послание, он тут же позвонил в областную прокуратуру. Трубку поднял человек, некогда помогавший полковнику Иргашеву вскрывать сейф Амирхана Даутовича.

— Я получил очень странное и страшное до неправдоподобия письмо от прокурора, как бы мне с ним связаться?

Но отвечавший не растерялся:

— Странное? Да каким же должно быть письмо из психушки...

На другом конце провода возникла тягостная пауза.

— Как из психушки?

— Да так, к сожалению, из настоящей психушки. Держали тут его чуть ли не три месяца в отдельной палате для тяжелобольных, а теперь отравили подальше, в горы.

И остальная часть телефонного разговора была о превратностях жизни, о печальной судьбе некогда известного в крае человека...

Начальник канцелярии Прокуратуры республики после разговора долго сидел в растерянности и недоумении. «Какая странная и страшная судьба и как непредсказуемы обстоятельства — за год сломали и разметали жизнь человека, у которого, казалось, такие блестящие перспективы», — думал коллега прокурора. Затем профессиональная привычка и осторожность взяли верх, он понимал, что самое лучшее не только доверять, но и проверять. Тут же связался с неврологическим диспансером. К сожалению, сообщение человека из областной прокуратуры, что Амирхан Даутович после больницы продолжает лечение в горах, подтвердилось. Он долго раздумывал, как поступить с тетрадью, положил на время в нижний ящик стола, месяца через два вспомнил, хотел официально сдать в архив, но ее на месте не оказалось.

А в областном городе человек полковника Иргашева, говоривший с начальником канцелярии, довольно потирал руки, что так ловко ввернул про неврологическую больницу и душевное расстройство прокурора. Затем, возбужденный удачей, он



выскочил в коридор и с печалью в голосе поведал первому же встречному сотруднику, что, мол, сейчас звонили из Ташкента и намекнули: почему, мол, держите душевнобольных в прокуратуре. И пошла гулять по прокуратуре новая волна слухов...

## 3

Вернулся Азларханов из Оби-Гарма домой, на новую квартиру, накануне Нового года. Уже второй Новый год встречал он без Ларисы: уходящий провел в реанимационной палате областной больницы, а этот предстояло встретить на необжитой квартире. Выходило, что у него два события сразу — новоселье и Новый год, но не было праздника в душе. Вспомнил, как прежде с Ларисой наряжал в эти дни голубую ель в своем саду на радость окрестной детворе.

«Как там новые, незнакомые хозяева на Лахути, догадаются ли нарядить ель?» — мелькнула на секунду и пропала мысль — заботы обступали его со всех сторон. Ведь он даже не разложил вещи толком, с тех пор как перевезли их с Лахути. На новой квартире пока не было у него привычного и столь необходимого в быту телефона, может, кто-нибудь справился бы о его здоровье, поздравил, пожелал ему более удачного года. Не был он знаком и с соседями, не удалось ему даже включить телевизор — в областях нужна мощная наружная антенна, а у него не было даже комнатной, все осталось на Лахути, в прежней жизни. Единственным утешением оказалось для него, что к полуночи он более или менее удачно расположил свои вещи и квартира обрела жилой вид. Когда местные куранты отбивали начало 1980 года, он сидел на кухне, за скромно накрытым столом, и надеялся, что наступающий год будет для него удачнее и счастливее, чем два последних.

Но не стали более милосердными ни наступающий, ни следующие за ним годы... К тому времени, как он вернулся из Оби-Гарма, слух о том, что якобы Ташкент настаивает на его увольнении из областной прокуратуры, давно витал в ее стенах. Сделали даже попытку заполучить в неврологической больнице бумагу о том, что Амирхану Даутовичу работа в органах правопорядка противопоказана. Но Зоя Алексеевна выдержала давление и на подлог не пошла, объяснив ретивому начальнику отдела кадров, что подобное нервное расстройство



может произойти с каждым, даже не испытавшим того, что довелось вынести прокурору.

В прокуратуре он проработал до лета, — пришлось уйти, слишком уж нервная обстановка складывалась вокруг него. Способствовало и то обстоятельство, что он был прежде прокурором требовательным, и теперь всяк пытался при случае припомнить ему давние обиды. Может, это случилось еще и потому, что травля его как бы поощрялась новым руководством, во всяком случае, глаза на это закрывали.

Азларханов устроился на завод. Работа юрисконсульта на небольшом заводе не была обременительна, но через год у него начались неприятности: к тому времени он разобрался в технологии производства, сбыте, себестоимости и плановых затратах на продукцию.

Производство было настолько несложным, бесхитростным — ассортимент изделий не менялся десятки лет, — что только абсолютно равнодушный человек не мог вникнуть в суть дела. А вникнув, он даже несколько растерялся: на новой работе от него требовали одного — отстаивать только интересы предприятия, а они, по глубокому убеждению прокурора, противоречили интересам государства и потребителя, а если уж быть до конца откровенным, зачастую наносили только вред. Это-то и попытался объяснить он своему новому руководству, доказывая необходимость перестройки дела во благо и предприятия, и государства, и потребителя. Но его не захотели ни выслушать серьезно, ни понять, более того, когда за юристом закрывалась дверь, крутили пальцем у виска: ненормальный, мол, сам себя без премии хочет оставить. После очередного крупного скандала, когда Азларханов отказался подписывать акт на списание, ему пришлось уволиться.

Новую работу он искал долго... Мучился, переживал и оттого частенько наведывался в больницу к Зое Алексеевне. Она же, благодаря своим связям, помогла ему найти работу на кирпичном заводе в пригороде. Эта работа оказалась для него еще более тягостной, чем прежняя, к тем же проблемам и разногласиям с администрацией завода, что существовали и прежде, добавились новые...

Больше половины рабочих были из досрочно освобожденных заключенных, давших согласие оставшийся срок отработать в





горячих цехах кирпичного завода — так называемые вольно-поселенцы. И тут как юрист он видел явные промахи закона. Чтобы выйти из заключения на вольное поселение, осужденные соглашались на все, но согласие не подкреплялось ни желанием, ни умением работать в горячих и опасных цехах. Странное это было социалистическое предприятие, и он откровенно жалел и рабочих, и администрацию, и самого себя, ему нередко приходилось подменять то мастера, то технолога, учетчика или кладовщика — текучка была невероятной, больше увольнялось, чем принималось, недостающий персонал пополнялся досрочно освобожденными... Не проходило недели без каких-либо происшествий или несчастных случаев. Работа осложнялась ещё и тем, что уже на другой день после его появления все знали, что он бывший областной прокурор; это, мягко говоря, не вызывало симпатий у издерганных, озлобленных людей.

И Зоя Алексеевна с новой энергией принялась искать ему работу, но повсюду встречала то вежливый, то холодный отказ, хотя знала, что опытные юристы нужны были всюду.

— Стена, заговор какой-то против человека, — говорила она в отчаянии.

Однажды он вернулся с работы поздно вечером — вышла из строя обжиговая печь, и вся администрация принимала участие в ремонте. Рабочих не интересовал ни заработок, ни производительность, ни качество, им лишь бы день прошел, им среднее все равно выведут, и пусть за все голова у начальства болит, им даже лучше, если завод не работал. Задержался он и на остановке, более часа прождал автобус, хотя висел график движения и объявленный интервал не превышал десяти минут. Поведай ему кто в его бытность прокурором, что автобусы ходят с часовым перерывом, что есть предприятия, подобные кирпичному заводу, он бы наверняка сказал: сгущают краски, обобщают частные, нетипичные случаи.

И к той горестной вине, что признал он за собой в апрельскую ночь, после ухода ночного посланника Бекходжаевых, он без жалости к себе прибавлял и горе-завод, и автобус, который люди дожидаются часами. Ведь все это должно было находиться под контролем прокуратуры; это он, прокурор, должен был отстаивать интересы граждан, вынужденных пользоваться



подобными маршрутами и работать на таких дышащих на ладан предприятиях.

Наверное, на кирпичном заводе у него впервые и зародилась мысль продолжить теоретическую работу в области права, но уже не для докторской, как рассчитывал когда-то. Нет, не волновала его теперь ни докторская, ни какая другая ученая степень; но как человек, как гражданин он не имел права не обобщить опыт последних трех лет жизни.

В почтовом ящике вместе с газетой лежало письмо. Писем он ни от кого не ждал, потому удивился. Обратного адреса на конверте не было...

На миг ему подумалось — может, Бекходжаевы еще чем-нибудь решили порадовать, но он ошибся. Письмо оказалось от доброжелателя, от анонимного доброжелателя. Это обрадовало и огорчило его одновременно. Если даже добро люди пытаются делать тайно, это еще раз говорило о неблагополучии нравственной атмосферы вокруг. В письме лежала вырезка из газеты и краткая записка, отпечатанная на машинке. Он сразу узнал пишущую машинку из прокуратуры — сам часто печатал на ней и видел сейчас четкий дефект, свойственный только ее шрифту: у буквы «ф» не хватало одного кругляша. В записке говорилось, что отправитель письма знает о трудном положении прокурора; ему вряд ли найти в области подходящую работу, недоброжелатели широко распространили слух о его нервном заболевании — оттого-то ему везде и отказывают.

Доброжелатель предлагал обратить внимание на объявление в газете, вырезку из которой прилагал. Более того, автор письма сообщал, что он туда уже рекомендован и там его ждут. Объявление в газете гласило: «Консервному заводу срочно требуется опытный юрисконсульт. Оплата по штатному расписанию. Предоставляется жилплощадь в ведомственном доме».

Он долго мял в руках письмо и понимал, как оно оказалось кстати: после двух инфарктов и тяжелой пневмонии работать в горячих цехах среди пыли и озлобленных людей у него уже не было сил. Иногда среди дня ему казалось, что он сейчас упадет или на узкоколейку, или на вагонетки с горячими кирпичами и уже больше никогда не поднимется. Пробегая трижды на дню по территории склада готовой продукции, он каждый раз думал: вот сейчас этот криво-косо уложенный



штабель кирпича рухнет на него, и это будет конец. Но, как ни странно, не испытывал страха, хотя знал, что такие происшествия не редкость, и все списывалось — несчастный случай на производстве. Да и попробуй отыскать виновника, когда над территорией склада целый день не опадает пыльный туман, а от лязга и скрежета старых вагонеток не слышно ничего уже в двух шагах, и народ тут тертый, найдет время и место поудачнее, чтобы свалить на голову что-нибудь потяжелее, если задумает.

Да и был ли смысл, ради чего стоило держаться за такую работу? Тому, что он попал сюда, могли радоваться только Бекходжаевы.

Утром из заводоуправления Азларханов позвонил в соседнюю область. По тону разговора сразу уловил, что о нем кто-то ходатайствовал и там его действительно ждали. Не возникло проблем и с переездом: машина с консервного завода через день доставит сюда на областную базу свою продукцию и может перевезти вещи прокурора хоть в один прием, хоть в два, как будет удобно ему самому, пусть только назовет день. На том и порешили.

Амирхан Даутович поспешил подать заявление, и уже через день получил расчет, в понедельник он ждал машину с консервного завода.

В воскресенье, упаковав книги и сложив свои нехитрые пожитки, он поехал на кладбище попрощаться с Ларисой.

Ему нравился памятник из темно-зеленого с красными прожилками гранита, сделанный братьями Григорьянами. Как и обещали, постарались они от души. Памятник меньше всего напоминал кладбищенское надгробие, он вполне мог быть представлен на любой художественной выставке — чувствовалась твердая рука и вкус настоящих скульпторов. Хороша была и отлитая по их эскизам бронзовая ограда. На кладбищенской земле деревья растут быстро, и сейчас вокруг могилы тополя и дубы заметно поднялись, а кусты роз так щедро разрослись, что скрывали соседние ограды.

Прокурор бывал здесь часто, почти каждое воскресенье, потому могила была ухожена. Сегодня он пробыл здесь дольше обычного и спустился с кладбищенского холма, когда начало смеркаться.



Возвращаясь, он решил заглянуть на Лахути, попрощаться с домом, где они вырастили сад, прожили столько лет с Ларисой и где были так счастливы. Все это время, послушный совету Зои Алексеевны, он избегал не только разговоров, даже мыслей о своем бывшем доме.

Кто живет или жил там в эти трудные для него времена?

Свернув на Лахути, он не увидел привычной высокой стены живой изгороди. И это так ошеломило прокурора, что он невольно замедлил шаг. Кусты ограды, так радовавшие их, были безжалостно выкорчеваны, а двор со всех сторон окружала мощная бетонная ограда из плит перекрытия, поставленных вертикально: прямо-таки железобетонная крепость возникла перед прокурором.

«Видно, большой начальник живет, раз целую пятиэтажку оставил без панелей перекрытия», — подумал он, подходя к дому.

Бывший хозяин долго ходил вокруг коттеджа, ему хотелось заглянуть во двор, но это оказалось непросто. Прежней зеленой калитки, обычно не запертой, теперь не было, ее заменили мощные железные глухие ворота, выкрашенные в зловещий черный цвет. Все крепко, надежно, на века, нигде ни щелочки — ни в заборе, ни в воротах.

У соседнего дома в переулке стояла пустая железная бочка, и Азларханов, оглянувшись по сторонам — не видит ли кто, — подкатил ее к бетонной ограде. Освещение во дворе, видно, не убрали, и сейчас кое-где на дорожках уже горели огни. Двор свой он не узнал: от того задуманного Ларисой двора не осталось и следа. Да и зачем он был нужен новому, наверное, с крепкой хваткой, хозяину? Не осталось ни одного карликового деревца, с такими трудами собранных отовсюду и так долго приживавшихся. Не было и бассейна, выложенного голубым кафелем, исчезли и английские лужайки. Спилили могучий дуб в углу двора, в тени которого по весне расцветали крокусы, ни одного редкого, экзотического дерева, которыми так гордилась жена. Сказать, что двор пришел в упадок, зачах, он не мог; здесь царил новый порядок: грядки, грядки, грядки — и ни одного бесполезного цветка.

Дом сиял огнями, из распахнутых настежь окон слышалась музыка.



«Наверное, смотрят телевизор... — Прокурор напоследок окинул взглядом безлюдный двор. — Надо будет спросить, кто же это оградился от мира таким железобетонным забором».

Но в этот момент щелкнул выключатель на открытой веранде, и в свете огней он увидел знакомую фигуру в полосатой пижамной паре. Прокурор поначалу подумал, что обознался, но тучный человек властно крикнул кому-то в доме, чтобы выносили самовар, и последние сомнения развеялись. Да, он не ошибся, — в его доме жил и здравствовал полковник Иргашев...

## 4

... Да, тяжелый и долгий разговор мог бы состояться, повстречайся он в тот вечер в «Лидо» со своими бывшими коллегами.

Вряд ли прокурор собирался кому-нибудь жаловаться на свою судьбу, а ведь рассказ о себе, о Ларисе иначе и выглядеть не мог и ничего, кроме жалости и сострадания, не вызвал бы. Поверженные, побежденные редко вызывают другие чувства, такова уж человеческая психология — он знал это, поэтому и не хотел встречаться ни с кем из бывших знакомых. Прав оказался ночной гость, когда сказал, что нынче время Бекходжаевых и все его попытки добиться справедливости заранее обречены на провал. На справедливость он мог рассчитывать только при изменении общей обстановки в стране, когда само время больше не сможет терпеть Бекходжаевых и насаждаемых ими порядков и нравов.

Совершая каждодневные вечерние прогулки по улице Буденного, он больше не заходил ни в один из ресторанов — не хотел ни с кем встречаться, даже случайно.

Неожиданная ревизия собственной жизни как бы укрепила его дух, утвердила еще раз в мысли, что работа его над юридическим исследованием необходима, нужна людям.

И он понимал, что должен спешить, спешить из-за здоровья — все чаще и чаще сердце давало о себе знать. Была еще одна причина, почему он торопился. Чувствовал он — особенно после того, как оставил пост областного прокурора и жил жизнью большинства людей, разделяя с ними тревоги и заботы, — что в стране на первый план неожиданно выдвинулись люди, подобные Бекходжаевым. Правда, в газетах и по телевидению еще



продолжали восхищаться «бегом на месте» под бурные аплодисменты, и Бекходжаевы еще крепко сидели в своих креслах, но недовольство все растущей социальной несправедливостью уже витало в воздухе, и он не мог этого не замечать. Да и как не заметишь день и ночь переполненные рестораны городка, пьяные оргии, картежную игру по-крупному и все растущую вольность нравов — словно пир во время чумы.

И если при всем желании Азларханов не мог укоротить сроки царствования Бекходжаевых, то к новому, грядущему времени хотел прийти не с пустыми руками — он понимал, что придется перестраивать многое.

Прошла неделя, вторая, и он, поглощенный работой, постепенно забыл о музыке давних юношеских времен, заставившей его в воспоминаниях заново прожить жизнь, забыл и о посещении ресторанчика «Лидо», где незнакомцы так учтиво раскланялись с ним, — хотя ежевечерние прогулки по улице Буденного продолжались.

Но пришел день, и его размеренная жизнь нарушилась...

Как-то вечером, когда прокурор вернулся с прогулки, у двери раздался звонок. Время было позднее, гостей он не ждал, — в этом городе почти ни с кем не общался, — поэтому ночной звонок удивил. Все же дверь он открыл. В полутьме на лестничной площадке стояли двое, он сразу их узнал — из тех, что раскланялись с ним недавно, за соседним столиком в «Лидо».

— Добрый вечер, Амирхан Даутович, — приветствовал один из них хозяина дома, другой — просто кивнул головой. — Проезжали мимо, видим, свет горит, решили зайти проведать, не возражаете?

Теперь, лицом к лицу увидев этих мужчин — каждому едва ли было за сорок, — он убедился еще раз, что он их не знает. Нельзя сказать, чтобы бывший прокурор обрадовался ночным визитерам, но и не испугался. Терять ему в этой жизни больше было нечего, все дорогое уже потеряно или отнято. Поэтому он шире распахнул хлипкую дверь своей квартиры и пригласил неожиданных гостей в дом.

Те прошли в комнату, представились. Повыше ростом, голубоглазый, уверенный, назвался Артуром Александровичем Шубариным, а другой — чернявый, вертлявый — Икрамом Махмудовичем Файзиевым. Прокурор предложил сесть, но



гости усаживаться не спешили. Оглядев более чем скромную обстановку в комнате, Артур Александрович с нотками сочувствия в голосе спросил:

— Что ж так бедно живете, прокурор?.. — Видимо, вопрос был приглашением к разговору, но Азларханов промолчал. — Не жалеете, что отказались от компенсации в сто тысяч?

Наверное, гость ожидал, что хозяин дома удивится неожиданному вопросу, но прокурора уже ничего не удивляло после того, что произошло с ним, поэтому он ответил бесстрастно:

— Нет, не жалею... — Усмехнувшись, в свою очередь спросил: — И много вы знаете таких подробностей из моей жизни?

Гость оживился, довольный тем, что сумел заинтересовать хозяина.

— Думаю, что много. Пожалуй, ничью биографию я не изучал так досконально — ни в школе, ни в институте, как вашу...

— За что же мне выпала такая высокая честь? — поинтересовался Азларханов, еще раз предложив гостям располагаться — разговор начинал вызывать у него интерес. Визитеры заняли один кресло, другой — стул. Нить разговора взял в руки Шубарин.

— Не спешите, все узнаете в свое время. Одно могу сказать, прокурор, — не возражаете, если я буду вас так называть? — изучал я вашу биографию по личной инициативе и, не скрою... с симпатией. Смею надеяться, что мы с вами будем друзьями, по крайней мере, нам этого очень хочется.

Прокурор не понимал, куда клонит гость, но то, что его сразу попытались расположить к себе, настораживало. Ему уже ясно стало, что никакие это не бывшие его коллеги и не работники партийного или советского аппарата, за кого он ошибочно принял их тогда в «Лидо». Но кто они на самом деле, он и предположить не мог.

Шубарин, видимо, желая быстрее перейти к делу, выложил еще один козырь:

— Мы даже знаем, кто убил вашу жену... Известно нам и то, что Анвар Бекходжаев с прошлого года работает прокурором в районе, где некогда совершил преступление. Ну, а чтобы вы не сомневались, что мы знаем о вас не понаслышке, мой друг зачитает сведения, что нам удалось собрать о вашей персоне. Пожалуйста, Икрам.



Чернявый подвижный Файзиев, все время зыркавший глазами по сторонам, явно отрепетированным демонстративным жестом открыл кожаную папку и достал бумаги.

— Итак... Азларханов Амирхан Даутович, родился в 1933 году, в Сибири. Воспитывался в детском доме; родители, юристы, были репрессированы в 1937 году. Служил четыре года в военно-морском флоте на Тихом океане. Закончил в родном городе университет с отличием и аспирантуру в Москве. Был женат. Жена — Лариса Павловна Турганова, искусствовед, собрала частную коллекцию восточной керамики, которая неоднократно выставлялась за рубежом...

Прокурор жестом остановил чернявого — читать тому еще предстояло много, и он не сомневался, что знают о нем все или почти все.

— Зачем вам это? — спросил он устало. — Вряд ли я нынче представляю для кого-то интерес, даже шантажировать меня нет смысла...

Шубарин нетерпеливо перебил хозяина:

— Мы не шантажисты. И, пожалуй, вы правы, что едва ли для кого-то представляете нынче интерес. Время такое, интерес, внимание только к тем, кто на коне, то есть в кресле. Однако хотелось бы, чтобы вы не принимали нас и за филантропов, у нас совсем другие цели, но они не могут принести вам худого, наоборот, изменят вашу жизнь в лучшую сторону. А то, что нам пришлось так тщательно изучить вашу биографию, этого требовали обстоятельства, вы потом это поймете и, надеюсь, не будете в претензии. Слишком многое мы собираемся вам вверить, потому и не хотели бы подвергать себя неоправданному риску.

— Нельзя ли яснее? — перебил незваного гостя прокурор.

— Нет, яснее пока нельзя. Только в общих чертах, яснее и подробнее — когда получим ваше принципиальное согласие на сотрудничество.

— Что же вам от меня нужно?

— Не гоните лошадей, прокурор, дело серьезное. Я представляю местную промышленность, и нам позарез нужен юрисконсульт, если уж вы так настаиваете на краткости.

— Юрисконсульт? — удивился бывший прокурор. — Да нашего брата сейчас развелось хоть пруд пруди, разве это проблема?





— Не скажите. Проблема, да еще какая, — гость тяжело вздохнул, удивляясь непонятливости бывшего прокурора, и пояснил: — Нам ведь не всякий юрист подойдет, нужен человек с большим опытом — юридическим и жизненным. Больше того — изощренный в законах, знающий и понимающий их противоречия. И притом не робкий, привыкший к коридорам власти, знающий дорогу в Москву, — и туда простираются наши интересы. Лучше всего немолодой, внушающий доверие и уважение, образованный и эрудированный. В общем, нужен человек с умом и характером. Вот почему мы собирали столь подробное досье на вас, прокурор... Признаюсь, доля риска, и немалая, свяжись мы с вами, имеется. Но в случае удачи, если мы найдем пути к сотрудничеству, — выигрыш для нас несомненен: ваш юридический опыт, ваши связи принесли бы нам неоценимую пользу.

— И что же все-таки толкнуло вас на риск? — спросил прокурор, все еще не понимая, чего хотят от него ночные гости.

Видимо, гость ожидал этого вопроса, поэтому ответил не задумываясь:

— Логика, уважаемый прокурор, логика... и обстоятельства вашей жизни. — Гость выразительно повел взглядом вокруг.

— Не понимаю вашей логики, нельзя ли конкретнее.

— Что ж, можно и подробнее, если уж так настаиваете. Я даже рад: вы, кажется, не утратили прокурорской хватки. А логика такая, хотя и придется кое в чем повториться. Нам кажется, государство никогда не ценило и теперь уже вряд ли когда оценит вашу верность идее или долгу, затрудняюсь, как это точнее назвать. Не оценили в свое время ваших родителей, скажем так. Они сгнули без следа, сами вы росли сиротой. Вашу жену убили, вас лишили дома, работы, честного имени, здоровья... Убийца и его покровители не только на свободе, но и процветают на тепленьких постах. Так что у вас должны уже сложиться свои взгляды на отношения личности с государством. В то же время то, что вы не взяли сто тысяч у Бекходжаевых, вызывает уважение...

Прокурор, выслушав эту откровенно циничную тираду, опешил, мелькнула даже мысль показать гостям на дверь. Но какое-то внутреннее чувство удержало его от этого поступка. Кто знает, может, жизнь предоставляет ему редкий, последний



шанс послужить правосудию, и хоть запоздало, но искупить, пусть частично, свою вину перед обществом? Вину эту он, как прокурор, с себя не снимал. А выгнать непрошенных гостей он всегда успеет, не в этом геройство.

Ему кстати или некстати припомнился один толковый хозяйственник, поднявший разваленное предприятие, не вылезавшее из долгов лет десять. Привлекался он за то, что без документации, без государственных строительных организаций возвел ремонтную базу и утепленные гаражи для своего автохозяйства. Нарушение с точки зрения закона было налицо, хотя корыстных целей он не преследовал. Так этот хозяйственник сказал ему однажды с горечью:

— У нас никогда не судили за несделанное, судят постоянно за сделанное.

Так и в данном случае: легче всего и, видимо, безопаснее было бы, пылая праведным гневом, указать пришельцам на дверь, и это был бы искренний поступок; но разумнее вышло сдержаться, ждать, слушать, вникнуть в суть — ведь он даже не знал еще подоплеку дела, в котором ему отводилась роль, и немалая, судя по откровению ночного визитера. А что касается логики гостя, которую тот считал неотразимой, единственно верно рассчитанной, бьющей в десятку, в сердце, так был ли смысл ее оспаривать — все равно каждый из них останется при своем мнении, в таком возрасте им обоим поздно менять убеждения. Разве понял бы ночной гость, что для него Бекходжаевы, Иргашевы никак не олицетворяли ни советскую власть, ни партию, ни государство, как не олицетворяли эти понятия и те, что сгубили его родителей. Беда его родителей была одной из составляющих общей беды, и сейчас, на новом витке истории, случившееся с ним также нельзя было считать только личной трагедией, это тоже было одно из проявлений общей беды — и только так он понимал события, происходящие вокруг. Было ясно — его втягивали в какое-то крупномасштабное предприятие, и дело это, скорее всего, напоминало айсберг: верхняя, надводная, часть имела легальный статус, а основная, подводная, была темна, как океанские глубины, и она-то требовала определенного юридического прикрытия.

Не исключено, что этот Шубарин является представителем новой волны советских миллионеров, ворочавших «теневой»



экономикой, о существовании которой пронизательные люди не только догадывались, но и ощущали ее присутствие повсюду. И идти добровольно в объятия такого синдиката, где царят жестокие законы, было небезопасно. Уж об этом он знал. Но пришла и другая мысль: «С юности я поклялся посвятить жизнь борьбе за справедливость и оказался вдруг не нужен закону и правопорядку. Так, может, ценой такого риска я послужу в последний раз тому, чему и собирался отдать жизнь?»

Эта неожиданная мысль как-то сразу сняла начинавшее подниматься раздражение. Внутренне он был готов рискнуть, поэтому стал слушать ночного гостя внимательнее, боясь пропустить хоть слово. Да, похоже, жизнь звала еще раз послужить правосудию, и отступать, по его понятиям, не следовало.

Он даже задал Шубарину вопрос, в котором как бы крылось не то его согласие, не то сомнение:

— Вот вы сказали — поездки в Москву... коридоры власти. Вы считаете, что такие нагрузки мне по силам? Я перенес два инфаркта и тяжелейшую пневмонию, которая до сих пор дает о себе знать. Не переоцениваете ли вы мои способности?

Гость вдруг так искренне и весело рассмеялся, словно сбросил с себя какую-то тяжесть.

— Как вы нас до сих пор еще не выставили за дверь, если считаете, что пришли два нахала и пытаются все свои заботы спихнуть на вас? Не волнуйтесь, мы прекрасно осведомлены о вашем здоровье и, уверяю вас, будем всячески оберегать его. Что касается вашей работы, она будет носить официальный характер, и вам никогда и нигде ничего отстаивать ценой здоровья не придется. Все, что внешне будет напоминать защиту интересов разных сторон, скажем, бурные прения, вас не должно волновать. Куда бы вы ни пришли, все или почти все будет предreshено заранее, и это уже не ваши заботы. Ваша работа будет заключаться совсем в другом. Не знаю, понравится ли сравнение, но вы будете, скажем так, послом по особо важным поручениям и юридическим советником. Но сегодня, я думаю, о подробностях работы мы говорить не будем, важно ваше принципиальное согласие. А что касается поездок в Москву или другие города, они, конечно, будут. Но опять же, вряд ли у вас возникнут там какие-то проблемы... Не придется даже нести свой чемодан, вас всюду будут сопровождать наши люди.



Однако я полагаю, на сегодня деловых разговоров хватит, и нам следовало бы обмыть наш союз, не так ли?

Прокурор впервые за вечер растерялся.

— У меня только чай, да и то азербайджанский, второго сорта.

Но тут в разговор вступил чернявый — наверное, остальное было по его части:

— Не волнуйтесь, прокурор, мы предусмотрели и это. Знали о вашем спартанском быте и ваших возможностях...— Он распахнул окно, выходящее во двор, и подал какой-то знак.

Прошло несколько минут, и раздался осторожный звонок. В прихожей появился официант, тот самый, из «Лидо», где единственный раз ужинал прокурор. В руках он держал две тяжелые корзины, накрытые не то скатертью, не то салфетками. Ловкий Икрам тут же перехватил у него одну из корзин. Официант сдержанно поздоровался с хозяином и прошел в комнату — видимо, такое выездное обслуживание было ему не в диковинку. Вдвоем с Икрамом они ловко выдвинули стол на середину комнаты, и официант, достав из корзины туго накрахмаленную скатерть, быстро уставил ее тарелками, бокалами и прочим, привезенным из ресторана. Затем, попросив у хозяина дома разрешения воспользоваться газовой плитой, подхватил корзины и скрылся на кухне. Прокурор чуть ли не больше, чем своим неожиданным гостям, подивился расторопности молчаливого официанта и ночной скатерти-самобранке.

Через несколько минут из кухни поплыли аппетитные запахи. Пока на сковороде что-то шкворчало, подогревалось, официант бесшумно ставил на стол закуски, зелень, «Боржоми», который Азларханов в последний раз пил лет пять назад в обкомовском буфете.

Шубарин, не обращавший внимания на суету официанта у стола, долго стоял у фотографии Ларисы Павловны, висевшей на стене.

— Красивая была женщина. Талантливая. У меня есть её альбомы.

Наблюдая за ночным гостем, прокурор почувствовал: Артур Александрович ждал от него вопросов; он не стал торопить события, и тут его выручил официант, внесший на большом лягане жареных перепелок с грибами; внимание всех переключилось



на роскошное блюдо, украшенное зеленью и помидорами. Официант, поставив ляган посередине, поправил кое-что на столе, словно художник, добавляющий штрихи на готовой картине, затем вопросительно глянул на Шубарина. Тот, видимо, мысленно еще продолжавший разговор с прокурором, машинально ответил:

— Спасибо, Адик. Можешь идти, Ашот отвезет тебя домой.

Официант попрощался, пожелав приятного застолья, и тут же удалился. Такого вышколенного официанта прокурор видел впервые.

— Ну что ж, прошу за стол, — пригласил Артур Александрович, едва за расторопным Адиком захлопнулась дверь. Чувствовалось, что в любых ситуациях он привык быть хозяином положения.

Икрам разлил предусмотрительно открытый официантом коньяк, несмотря на возражения прокурора, налил и ему.

— За взаимопонимание и успех, — таков был первый тост ночного гостя, и хозяин дома пригубил рюмку вместе со всеми; гости не настаивали на том, чтобы он выпил. Правда, прокурор с большим удовольствием выпил бокал темного чешского пива «Дипломат», похвалил.

Чернявый среагировал сразу:

— Нет проблем, завезу как-нибудь пару коробок «Хольстена», в жаркий день нет напитка лучше.

Сидели долго, но ни о работе, ни о каких-то проблемах больше не говорили; хотя Икрам дважды пытался получить консультацию по каким-то конкретным делам, Артур Александрович мягко, но настойчиво уводил разговор в сторону.

Бывал Шубарин, оказывается, и за границей, в том числе в Японии, и они обменялись с прокурором своими впечатлениями о тамошней жизни и порядках.

Расстались далеко за полночь, уговорившись встретиться на другой день за обедом в «Лидо».

После ухода гостей прокурор еще долго размышлял о необычном визите, о своей жизни, в которой с завтрашнего дня, похоже, начинается новый этап. Вновь и вновь он возвращался памятью к сказанному Артуром Александровичем и к редким репликам Икрама.

Что крылось, например, за фразой: «Мы отдаем себе отчет в том, что идем на большой риск, посвящая вас в свои дела»?



Одно было ясно: дело, в которое он вступит завтра, или, точнее, уже вступил с этой полуночи, — крупномасштабное, солидное, оттого они и шли на риск. И прокурор понимал, что какое-то время, пока он не выдержит изощренной проверки или чем-то особенным не привяжут его к делу, за ним будет глаз да глаз, ведь он, как юрисконсульт, будет знать гораздо больше, чем кто-либо. Ясно, что хозяин не из тех, кто любит посвящать лишних людей в свои дела, а вот с юристом, хочешь не хочешь, придется консультироваться. Но какую бы опасность, риск он ни предвидел, ни предчувствовал, ему хватило мужества не отказаться — обстоятельства сложились так, что жизнь еще раз решила устроить ему проверку — и как юристу, и как гражданину.

Шубарин ничего не сказал ему о требованиях на будущей работе, но прокурор знал: они вряд ли будут отличаться от тех, что предъявляются на теперешнем заводе, да и повсюду, где ему пришлось работать юрисконсультом.

Парадокс заключался в том, что и дельцы подпольных трестов, и директора официальных предприятий требовали одного — соблюдать интересы своей фирмы, даже если они шли вразрез с государственными и народными, хотя, если быть объективным, подпольная экономика учитывает интересы потребителя и никогда не работает ради пресловутого плана — на склад-свалку.

Дойдя в своих рассуждениях до такой горькой истины, прокурор успокоился и отправился спать — назавтра ему тоже предстоял нелегкий день...

## 5

В назначенное время прокурор появился в ресторане «Лидо». У входа его встретил вчерашний официант и проводил к тому самому столику, за которым он уже однажды ужинал. Шубарин появился неожиданно, откуда-то из-за спины, наверное, он вошел в другую дверь, что вела прямо из ресторанного зала в гостиницу. Выглядел собранным, подтянутым, наверное, он был из тех, кто никогда не дает себе расслабиться. Зал уже почти заполнился, и прокурор видел, как многие тянутся взглядом к их столу, желая поздороваться или хотя бы попасть на глаза его сотрапезнику, но тот словно ничего не замечал вокруг, все внимание его было отдано собеседнику за столом.



— Ну как, не переменяли вчерашнее решение? А то — вольному воля, я предпочитаю в делах добровольные начала, — сказал он, разливая «Боржоми» в бокалы, — он по своей привычке сразу захватывал инициативу.

— Нет, не передумал, — раздумчиво ответил Азларханов. — Старость не за горами, и, как вы правильно заметили, я оказался к ней не готов. Однако я задам вам встречный, возможно, несколько меркантильный вопрос — будет ли у меня возможность скопить на маленький уютный домик в Крыму, скажем, в Ялте? Это то самое место, что рекомендуют мне врачи.

— Не только на маленький, но и на самый что ни есть роскошный, какими владеют в Крыму некоторые отставные генералы, — заверил Шубарин. — Я тоже люблю Крым, Ялту и рад помочь вам, чтобы было куда пойти в гости по старой дружбе. А может быть, я и сам куплю что-нибудь по соседству, — наверное, наступит день, когда и мне наскучат дела. Все зависит от вас, повторюсь еще раз: ваш опыт, знания, прежние связи нам необходимы позарез. Но давайте спокойно пообедаем, а разговор наш о делах перенесем наверх, ко мне в номер.

Когда они поднялись из-за стола, прокурор осторожно подсказал:

— Обратите, пожалуйста, внимание на того молодого человека в красной рубашке, что сидит недалеко через проход. Мне кажется, он слишком тщательно выбирал место, чтобы лучше просматривался наш столик, и все время не сводит с вас глаз.

Артур Александрович, не поворачивая головы в ту сторону, куда кивком указал прокурор, улыбнувшись, ответил:

— Я не ошибся в вас, прокурор! Есть еще порох в пороховницах, не утратили хватки. Вы правы, он не сводит с меня глаз и место выбрал с умом, но он так и должен поступать, потому что это мой телохранитель.

Видя, что своим сообщением явно огорошил сдержанного, владеющего собой Азларханова, будущий шеф рассмеялся:

— Да, да, телохранитель, не удивляйтесь. У вас тоже будет свой, впрочем, он уже есть, подыскали подходящего человека, прибудет недели через две-три. Ну, а с Ашотом, я надеюсь, вы подружитесь, надежный парень, не подведет.

Поднялись на третий этаж, номер располагался в конце коридора. Еще когда входили, прокурор обратил внимание на



тяжелую дубовую дверь и два финских замка особой секретности — такие замки были врезаны некогда у него в кабинете областной прокуратуры.

Двухкомнатный «люкс», на первый взгляд, ничем особо не отличался: маленькая спальня, в которой едва умещался спальный гарнитур, и небольшой зал, наверное, служивший хозяину кабинетом и приемной. Бесшумно работал кондиционер, и оттого в комнатах стояла приятная прохлада. Чувствовалось, что здесь живут давно, уют больше походил на домашний, чем на гостиничный.

Оглядевшись, прокурор увидел в углу большой японский телевизор «Шарп», а рядом, на специальной подставке, плоскую серебристую деку, похожую на магнитофон, но понял, что это видеоприставка.

Хозяин номера, поймав взгляд прокурора, подтвердил:

— Да, домашнее кино. Интересные есть фильмы, «Крестный отец» Копполы, например. Жаль, времени не хватает смотреть, впрочем, у вас со временем будет лучше. Так что при желании можете смотреть здесь или систему поднимут к вам в номер.

Прокурор вопросительно глянул на хозяина «люкса».

— Да, да, к вам в номер, я не оговорился, просто забежал немного вперед, к слову пришлось. Мы решили, что ваше жилье не подходит ни вам, ни нам. Прежде всего, оно не подходит вам — далековато для ваших каждодневных пеших прогулок, да и потом, что это за квартира, не по вашим заслугам. Поскольку однокомнатные здесь дефицит, как и в любом другом городе, мы подыскали вам обмен на двухкомнатную, недалеко от гостиницы, в соседнем квартале. Я был там и уверен — она вам должна понравиться. Не скажу, чтобы квартира особо нуждалась в ремонте, но решили все же обновить ее, тем более в этом городе есть настоящие мастера. Через два часа мы закончим с вами кое-какие дела, а затем вы с Икрамом поедете и посмотрите новое жилье. Там вас будут ждать — на месте все и обговорите. Месяца два вы будете мне нужны ежедневно: накопилось много дел, по которым хочу получить у вас консультацию или обсудить, как законнее поступить. Вашу квартиру в Черемушках надо срочно освободить, а на новой будет пока идти ремонт. Поэтому





на четвертом этаже, надо мной, вам зарезервирован точно такой же номер, и вы сегодня или завтра должны переехать в гостиницу.

Слушая четкие распоряжения нового шефа, прокурор невольно усмехнулся. Шубарин тут же среагировал, вопросительно подняв бровь:

— Я что-нибудь не так говорю?

— Ремонт, «люкс» на четвертом этаже... Вы слишком оптимистичны насчет моих финансовых возможностей, Артур Александрович.

Тут уж рассмеялся хозяин «люкса»:

— С вами не соскучишься, прокурор. Знаем ваши возможности, знаем. Мы ведь не прежнее ваше руководство: приглашая человека, ожидая от него отдачи, думаем прежде всего о нем. Какова забота, такова и работа — это наш девиз. Потому и идут к нам охотно, хотя и элемент риска не скрываем...

Он выдвинул незапертый ящик письменного стола и, не глядя, достал пачку денег в банковской упаковке.

— Вот, получите. Это вам на первое время. Не хватит, обращайтесь, не смущаясь. Повторюсь, я не филантроп, и, как всякий деловой человек, умею считать деньги, но ваша работа будет оплачиваться высоко, так что вы вправе брать вперед любые суммы. Помните из классики: в старой России могли выдать жалованье за годы вперед — у нас приблизительно такая же отжившая система, но не для всех, конечно, далеко не для всех...

Прокурор взял протянутую ему пачку пятидесятирублевok и небрежно сунул в карман. Видимо, обтрепавшийся рукав его пиджака напомнил хозяину номера что-то, и он добавил:

— И последнее, прежде чем перейти к делу. После встречи со строителями поедете с Файзиевым на торговую базу соседней области. Звонили перед обедом, — у них крупное поступление. Вам следует капитально обновить свой гардероб, что называется, «от и до». Сами понимаете, нужна солидность, респектабельность... По одежке встречают, по уму провожают — это придумал не я.

Возможно, Шубарин вспомнил бы еще о чем-нибудь неожиданном, прежде чем перейти к делу, но тут раздался междугородный телефонный звонок. Хозяин номера долго выслушивал



кого-то на другом конце провода, изредка вставляя непонятные прокурору реплики; чувствовалось, что разговор не доставляет ему удовольствия. В конце концов, не дослушав до конца, он сказал:

— Сегодня буду, ждите, — и бросил трубку.

Артур Александрович заходил по комнате, заглянул зачем-то на минутку в спальню; вернулся в зал по-прежнему спокойным, уравновешенным, он умел владеть собой.

— Не люблю, когда срываются планы. Сегодня я собирался ввести вас в курс дела, но не хочется впопыхах. Отложим на послезавтра. Я должен срочно, сейчас же, выехать в Ташкент. А вы решайте пока свои личные дела, устраивайтесь. — Он взял со стола ключ и протянул его прокурору. — Это от номера надо мной, посмотрите и оформляйтесь. — Он помолчал. — И вот что я вам скажу на прощанье... Я специально не затронул этой темы вчера, считал, что ваше согласие работать с нами должно быть добровольным. — Он посмотрел гостю прямо в глаза. — Я думаю, у вас есть еще одна причина сотрудничать с нами и, насколько я знаю вас, более важная, чем деньги, но вы о ней еще не подозреваете. Так вот, я думаю, теперь у вас появится возможность свести кое с кем счеты... Доберемся и до Бекходжаевых, дайте только срок. А пока — всего хорошего.

Когда Азларханов вышел из номера, у окна в коридоре курил тот самый молодой человек в красной рубашке. Увидев прокурора, он соскочил с подоконника, отбросив сигарету, улыбнулся как старому знакомому, но прокурор, словно не замечая его, прошел к лестнице, ведущей на четвертый этаж.

Вернулся он с Файзиевым из соседней области поздно вечером, затемно. День выдался напряженный, и от каждодневной прогулки пришлось отказаться. Так устал, что и покупки разглядывать не стал, свалил коробки, свертки, пакеты в прихожей, все равно завтра придется перевозить в гостиницу.

Отказался он и от ужина в ресторане, куда зазывал его Икрам, хотелось побыть одному, обдумать еще раз неожиданные перемены в своей жизни. В том, что новые хозяева всерьез рассчитывают на его помощь и кое-какие прошлые связи, он не сомневался, отсюда такая щедрость, намерение быстрее благоустроить его быт, желание спешно расположить к себе и своему делу.



Из каких побуждений Артур Александрович уверял его, что появится возможность свести кое с кем счеты? Чтобы заинтересовать в сотрудничестве? А может, его дела где-то перекрестнулись с кланом Бекходжаевых и ему нужен еще более заинтересованный в мести, чем он сам, сообщник, и по каким-то соображениям именно он подходит более всего на эту роль?

Странно, казалось, только войдет в дом, рухнет на неразобранную постель и от усталости и напряжения тут же заснет мертвым сном. Но сон не шел, какая-то тревога зрела в душе; прокурор встал и заварил чай. Хороший чай — осталась пачка от ночного визита. За чаем ему всегда думалось лучше. Нет, он не копался в прошлом, мысли его нацелились на будущее. Из минувшего сейчас вспоминалась только встреча с посланником Бекходжаевых, и то потому, что тогда ночью он признался себе, что недооценивал преступный мир, плохо знал его возможности, или, точнее, современный уровень его. Сегодня же, готовясь к сотрудничеству и борьбе с тайным синдикатом, он признался себе и в другом — что знает жизнь куда абстрактнее, чем его новые хозяева: не знал ее толком, когда был областным прокурором, не узнал как следует и в последние четыре года. Почему он пришел к такому выводу? Да потому, что давно уже поступали сигналы о набирающих силу артельщиках, цеховиках, хозяевах теневой экономики, об их влиянии в округе, но он отмахивался от этих проблем, не считая их серьезными, как отмахивались наверху, когда заходил разговор об организованной преступности, наркомании, проституции, сращивании криминала с законом.

За демагогическими фразами — «у нас этого не может быть» или «у нас нет социальных причин для подобного рода преступлений» — проглядел реальную жизнь и сейчас безжалостно признавался себе в этом.

Да и как не признаться, если, едва столкнувшись, даже еще не войдя в курс дела, он уже почувствовал, каким огромным влиянием обладает тот же Артур Александрович

Азларханов только заикнулся о номере на четвертом этаже, как дежурная расплылась в улыбке, и минуты не держала у окошка, лишь глянула в паспорт.

Позвонил в ЖЭК по поводу обмена квартиры, там тоже оказались предельно внимательны, все решалось заочно и быстро.



А на торговой базе сам директор водил их из склада в склад, показывая дефицит из самых потаенных углов. И все потому, что упоминалась, как волшебный «сезам», фамилия Артура Александровича — Шубарин. Мог ли он считать себя знающим жизнь, если не разглядел вовремя раковые опухоли на теле общества, чьи права, покой, здоровье он обязан был защищать по долгу службы?

И теперь прокурор понимал, что его долг — помочь удалить эти опухоли, разорвать связи клана Бекходжаевых и осветить тайную жизнь подпольной экономики и тех, кто стоит за нею, потворствует, прикрывает.

Нет, конечно, не только возможность свести счеты с Бекходжаевыми толкала прокурора в синдикат Шубарина: он чувствовал за ним еще более разветвленный и могучий клан, чем тот родоплеменной бекходжаевский, так сказать, местного значения, с которым он столкнулся — и потерпел поражение. Рука Шубарина, подсказывали ему опыт и интуиция, доставала куда как дальше и выше.

Осознавал Амирхан Даутович и опасность своей затеи. Если уж Бекходжаевы ни перед чем не останавливались, то этот теневик тем более. Прокурор на миг представил лицо Ашота, бывшего чемпиона страны по самбо; этот думать не станет, если поступит приказ... В памяти всплыло предупреждение конвоя для особо опасных преступников: «Шаг в сторону считаю за попытку бегства и стреляю без предупреждения...»

Да, на предупреждение теперь он рассчитывать не мог — не та игра и не с теми...

«С волками жить — по-волчьи выть», — вспомнилась вдруг пословица, и кстати, — наверное, это и было ответом на мучившие его вопросы: так и следовало поступать, чтобы войти в доверие и стать незаменимым человеком для синдиката.

Это решение приободрило и словно освободило от сомнений прокурора. Он распаковал несколько свертков и коробок, и через десять минут в щербатом зеркале гардероба отражался высокий, элегантно одетый мужчина в светло-серой тройке, серебристой рубашке с голубым галстуком, в модных итальянских ботинках. «Да, пожалуй, этот тип, что в зеркале, уже ближе к теневикам, могут принять за своего», — с усмешкой подумал Азларханов и пошел спать.



На другой день, впервые за все время пребывания в «Лас-Вегасе», он завтракал не в чайхане. Утром он прошел обычным своим вечерним маршрутом и был у «Лидо» к восьми часам — он уже знал распорядок своих новоявленных шефов. И действительно, когда вошел в зал, Файзиев был уже там. Линию поведения прокурор уже выстроил для себя окончательно и потому уверенно, не дожидаясь приглашения Адика, сразу направился к столу.

— Доброе утро, — приветствовал Азларханов растерявшегося Икрама, — тот явно не ожидал встретить его здесь поутру, да еще так неожиданно преобразившегося.

— С утра такой парад! Решили нанести визит в горком, горисполком? — поинтересовался он на всякий случай.

— Нет, никаких официальных визитов. Шеф не разрешил никакой самодеятельности, — усаживаясь, ответил прокурор.

— Да, он этого не любит, — подтвердил Икрам, располагаясь напротив.

За завтраком неожиданно пришла мысль и как вести себя с Файзиевым. За два дня общения, из разговоров, коротких реплик, прокурор понял, что, хотя Файзиев вроде и является вторым лицом в деле, но вся власть, принятие важных решений остается за Шубариным, и не исключено, что не во все планы посвящал он своего помощника. Значит, ему следовало прибавиться к одному берегу, откуда могла исходить вся информация, и не бояться, даже если кому-то покажется, что он оттирает зама и претендует на особое положение. Такое поведение в подобном кругу вполне объяснимо и логично: кто владеет большей информацией и причастен к стратегии дела, тот и весит больше. Чем алчнее, бесцеремоннее он будет выглядеть, тем естественнее покажется его поведение, — нравы дельцов он знал хорошо.

Поэтому под конец завтрака, давая понять, что над ним властен лишь один Шубарин, Азларханов сказал:

— Пожалуйста, распорядитесь, чтобы телевизор и видеоманитофон перенесли с третьего этажа ко мне в номер. Шеф рекомендовал мне посмотреть несколько фильмов. Боюсь, когда он вернется, мне будет не до кино. А я пока схожу к себе на новую квартиру и встречу со строителями. Я решил все же отделать прихожую деревом, а не пенопластом, так, кажется, будет уютнее. — И, считая разговор оконченным, встал.



Файзиев, еще не привыкший даже к внешнему преобразению прокурора и явно не знавший, как истолковать такое неожиданное поведение, ответил:

— Делайте как хотите. Квартира ваша, лишь бы она вас радовала. А насчет видика я сейчас же дам команду. Верно вы сказали: когда вернется хозяин, вам не до кино будет, слишком много накопилось дел.

Из ресторана прокурор выходил в хорошем настроении: он чувствовал, что одержал первую маленькую победу, радовался, что выбранная линия поведения оказалась верной. В просторном холле «Лидо», обставленном на старый нэпманский манер фикусами и оранжерейными пальмами в кадках, отражавшимися в зеркальных стенах, он увидел картежного шулера Аргентинца. Аркадий Городецкий, дожидавшийся кого-то, окинул прокурора цепким взглядом, но сразу не признал. Только когда тот уже дошел до выхода, резко развернулся и бросился к стеклянной двери зала: наверное, хотел предупредить Икрама на всякий случай.

В новой квартире уже вовсю кипела работа; в одной из комнат поверх деревянных полов настилали паркет, в ванной и кухне хозяйничали слесари — меняли сантехнику.

Вчера, получив от нового шефа нераспечатанную пачку пятидесятирублевых, прокурор равнодушно подумал: «Зачем мне такая сумма, куда я буду девать деньги?» Но после похода на торговую базу у него осталось даже меньше половины. Один кожаный бельгийский плащ, который ему навязал завбазой, стоил ровно тысячу рублей. Но сейчас он не жалел о вчерашних тратах, показавшихся вначале бессмысленными: в окончательно выбранной стратегии подобным тратам отводилась не последняя роль. Соря деньгами, тратя их направо и налево, он скорее сократит дистанцию недоверия. Да и плащ, надо отдать должное, хорош и сидит на нем отлично, словно сшит на заказ.

Эта самая стратегия натолкнула его еще на одну неожиданную мысль, и он пешком, не спеша отправился в мебельный магазин.

Магазин принадлежал областной потребкооперации и, как все построенное в последние годы, поражал размахом. Наверное, следовало бы кое-кому заинтересоваться волшебством сельских кооператоров, как это им удалось в столь



короткий срок настроить столько ресторанов и кафе, одно богаче другого, или вот таких магазинов. Или попросить их поделиться ценным опытом с органами здравоохранения и просвещения, чьи здания, даже вновь отстроенные, никак не могут сравниться по качеству с предприятиями торговли и общепита.

Богатым оказался магазин и внутри. Откровенно говоря, Азларханов заходил в мебельный магазин последний раз много лет назад, когда, получил коттедж на Лахути. Лариса тогда за-тащила его посмотреть немецкий спальный гарнитур, очень уж он нравился ей, но купить его так и не удалось. Затеялся музей под открытым небом, и все свободные деньги, что откладывала жена на мебель, как-то растаяли. Позже купили две отдельные кровати, и вопрос о спальном гарнитуре отпал сам собой.

Глядя на деревянное изобилие, прокурор невольно подумал: «Да-а, выходит, теперь не только песни другие, но и мебель другая...»

Площадь магазина позволяла, и товар подавали, что называется, лицом: жилые комнаты, спальные гарнитуры, кухонные наборы, зеркала, ковры — все представало перед покупателем в продуманном интерьере, дизайнеры поработали на славу. Но больше, чем сама мебель и работа художников-оформителей, его поразила цена. Тот не купленный спальный гарнитур, ставший для них с Ларисой семейным преданием, стоил всего семьсот рублей — он хорошо запомнил цену. Теперь на эти деньги он мог бы приобрести только письменный стол настоящего дерева, да и то не всякий, или пару кресел, и тоже с оговоркой, потому что были здесь кресла и по пятьсот, и по шестьсот рублей.

Ныне спальные гарнитуры стоили от двух до шестнадцати тысяч, кухонные от шестисот рублей до двух тысяч, а жилых комнат меньше пяти тысяч не было ни одной. «Это на кого же рассчитаны такие цены? — озабоченно думал прокурор. — Не все же состоят на службе у Шубарина и могут высокое жалованье получить за годы вперед».

Что и говорить, и сами гарнитуры, и выбор поражали воображение, хотя он заметил, что приглянувшаяся мебель вся оказалась импортной. Расхаживая по огромному залу, прокурор размышлял о странной своей задаче — истратить как можно больше денег. Но, даже замыслив ошеломить Шубарина своим



неожиданным жизненным энтузиазмом, он не предполагал, что могут предстоять такие расходы. Нет, он вовсе не собирался приобретать ни резную венгерскую спальню «Чаба» за четырнадцать тысяч, ни жилую комнату «Сибилла» за двенадцать или шведский кухонный гарнитур «Викинг» за пять тысяч, но даже надумай он кое-что купить по самым средним ценам, это обошлось бы не менее чем в десять тысяч. Сделав кое-какие заметки в записной книжке, прокурор покинул ошеломивший его магазин.

На другой день, после обеда, когда он смотрел у себя в номере «Репетицию оркестра» Феллини, раздался неожиданный стук в дверь.

Прокурор взял пульт, нажал на клавишу «пауза» и нехотя пошел к двери. На пороге стоял Шубарин.

— Извините, что помешал, — сказал гость, увидев на экране застывший кадр.

— Нет, что вы, проходите, пожалуйста. Вы знаете, в том и состоит прелесть домашнего кино, что его можно прервать и возобновить в любое время...

— А вы осваиваетесь в новой жизни куда быстрее, чем я предполагал, — улыбнулся Шубарин. — Строители говорят, подгоняете их, сообщили, что и к мебели проявляете интерес?

Прокурор отметил, что шеф невольно проговорился: значит, как он и предполагал, фиксировался каждый его шаг. Наверняка Файзиев сообщил уже о крутой перемене в настроении и привычках прокурора, и, как бы подтверждая наблюдения Икрама, он решил развить успех: достал записную книжку и, вырвав страничку, заполненную в мебельном магазине, протянул ее гостю. Там значилось:

1. Жилая комната «Лувр» (Югославия) — 5400 рублей.
2. Спальный гарнитур «Рижанс» (Румыния) — 2900.
3. Кухня «Комфорт» (Югославия) — 1700.

Итого — 10 тысяч рублей.

Шубарин прочел это вслух и усмехнулся.

— Неплохой аппетит для начала, неплохой, — сказал он, продолжая улыбаться.

— Поэтому я готов сегодня же приступить к своим обязанностям, — пошутил прокурор. — Такие деньги придется долго обрабатывать.





— Сегодня не получится, конец недели, я не стал брать из сейфа документы. К тому же часа через два я с Икрамом уезжаю на свадьбу, к директору торговой базы в соседней области, где вы были недавно. Он выдает дочь замуж за сына одного влиятельного человека в крае.

— Вы такой любитель восточных свадеб или вам необходимо там быть, вы ведь только с дороги? — невольно посочувствовал прокурор.

— Да, вы попали в точку: я не поклонник свадеб — ни восточных, ни европейских, и вообще многолюдных торжеств. С большей пользой провел бы вечер у себя в номере, и Адик накрыл бы нам стол не хуже свадебного. Но я должен быть там непременно. Прожив так долго в Средней Азии, вы, я думаю, знаете не хуже меня: на подобных мероприятиях и решаются зачастую дела и судьбы. Правда, дел у меня на сей раз немного — я всего лишь должен потушить небольшой огонь, пока он не привел к пожару, потому и вынужден ехать, хотя, как вы правильно заметили, я чертовски устал в Ташкенте. Так что я желаю вам приятного времяпрепровождения с Феллини.

Шубарин направился к выходу, но у самой двери остановился, словно вспомнив о чем-то:

— Вы, кажется, сказали, что готовы немедленно приступить к работе?

— Да, я так сказал и готов отложить «Репетицию оркестра» до более благоприятного времени, — подтвердил прокурор.

Шубарин с минуту о чем-то раздумывал, потом махнул рукой, точно принял неожиданное решение:

— Начнем лучше репетицию нашего оркестра. Даю вам два часа на сборы. Икрам доложил, что вы купили какой-то сногшибательный костюм, так что жду вас у себя при полном параде. На свадьбу едем втроем. — И, видя недоумение на лице прокурора, повторил: — Да, да, на свадьбу. Работать... Помните пословицу: «Весенний день год кормит»? Не знаю, как поэтично перевести эту мудрость на наш деловой язык, но ситуация приблизительно такая... Так что я вас жду — ровно через два часа.

Прокурору ничего не оставалось делать, как начать собираться — надо было не подкачать, произвести впечатление.

— Ну вот, вид вполне преуспевающего человека, — одобрил Артур Александрович, когда в назначенное время Азларханов



спустился на третий этаж. — Только держаться посоветовал бы несколько увереннее, вальяжнее, — так, словно ничего страшного в вашей жизни не произошло и ничто не сломило вас, вы снова на коне. Даже хорошо, если кто-то подумает, что это мы возле вас, а не вы возле нас. Понимаете?

— В такое мне самому трудно поверить, не то что внушить другим. Впрочем, я постараюсь, — пообещал прокурор, не понимая, что там еще задумал новоявленный великий комбинатор.

Но Шубарин больше ничего не добавил, и они спустились вниз, где у машины их уже ожидали.

Когда вырвались из города на шоссе, Ашот хотел включить магнитофон, но шеф, сидевший рядом, остановил его. И тут прокурор увидел рядом с магнитофоном телефонную трубку и удивленно спросил:

— У вас в машине телефон?

— Да, совсем недавно удалось купить японскую автономную установку на десять номеров. Действует в радиусе ста километров. Когда у вас в доме закончится ремонт и уйдут посторонние люди, поставят аппарат и там, он свяжет вас в любое время со мной в машине или в моем номере; но учтите, о такой связи знают немногие.

Ехали больше молча, редкие реплики, обрывочные фразы были малопонятны прокурору, и он сам ни о чем постороннем не расспрашивал, чтобы разговор не ушел далеко от дел; все надеялся, что шеф вот-вот прояснит, какая же ему отведена роль на свадьбе.

Но Шубарин, видимо, только сейчас всерьез обдумывал свою затею взять на свадьбу прокурора, а может быть, даже и жалел о своем поспешном решении. По его лицу ни о чем нельзя было догадаться.

В бытность свою областным прокурором Азларханов редко ходил на свадьбы и подобные мероприятия, столь частые в этом краю, в последние годы его даже приглашать перестали, зная, что у него на этот счет свои взгляды. И потому только сейчас, в машине, ему пришло в голову, что на свадьбе у директора торговой базы будет, конечно же, весь цвет местного общества, а может, надо брать и повыше, потому что, как сказал Шубарин, его друг выдает дочь за сына влиятельного человека в крае. «Так кому же хочет меня представить Шубарин на этой



знатной свадьбе? Или удивить кого, что я вновь поднялся, и если не при власти, то при деньгах, что для этих людей означает одно и то же?» Такие вот мысли вертелись в голове прокурора, и он даже обрадовался, что едут молча и есть возможность просчитать кое-какие варианты. В том, что нащупал что-то реальное, он не сомневался.

А может, Шубарин хочет припугнуть Бекходжаевых? Глядите, мол, с кем я вошел в союз, видите, оправился от невзгод скинутый вами прокурор и готов к борьбе, сам пришел к вам в логово напомнить о себе.

И, словно подтверждая его мысли, Шубарин, не оборачиваясь, спросил:

— Вы знакомы с Хаитовым, тамошним областным прокурором?

— Да, был знаком.

— Отношения у вас были нормальные, признает он вас теперь?

— Думаю, что да. В свое время я помог ему кое в чем. Он даже несколько раз приезжал ко мне советоваться в трудные для себя дни.

— Ну что ж, это обнадеживает, значит, не зря я оторвал вас сегодня от Феллини, — Шубарин удовлетворенно откинулся на сиденье.

«Хаитов, Хаитов... Адыл Шарипович...» — прокурор пытался припомнить, но ничего скандального с этой фамилией увязать не мог. На него, как и на других, постоянно оказывали давление сверху, но, судя по делам, по которым он консультировал когда-то Хаитова, тот не из тех, что готовы плясать под любую дудку. Впрочем, когда это было — последний раз они виделись лет семь назад, а семь лет — это немалый срок. Кто бы мог еще пять лет назад предсказать Азларханову такую судьбу? Семь лет, когда правят бал люди, подобные Бекходжаевым, могли поколебать убеждения многих.

«Адыл Шарипович, Адыл Шарипович...» — мысленно повторял он, словно это имя должно было натолкнуть его на что-то важное. Почему Шубарин спросил, признает ли тот его теперь? Какие у него планы, чего он хочет от Хаитова?

Но подобных вопросов можно было задавать себе десятки, и вряд ли хоть одна отгадка оказалась бы верной — диапазон



интересов его нового хозяина, похоже, был столь широк, что гадания казались излишней тратой сил. И Азларханов признал, что пока это для него чужая игра, а он стоит у кромки поля, готовый вступить в нее, ведь назад хода уже не было.

Вдали показались пригороды областного центра, и прокурор подумал, что вступать ему в игру придется уже через полчаса; поэтому он откинулся на сиденье, закрыл глаза и попытался сосредоточиться, снять напряжение. Но последние полчаса ему так и не удалось побыть наедине со своими мыслями. Шубарин опять же, не поворачивая головы, стал наставлять своего юрисконсульта:

— А теперь слушайте меня внимательно. Нас в этих краях хорошо знают, по крайней мере в последние годы, и ваше появление в компании с нами не останется незамеченным. Впрочем, не меньший интерес вы бы вызвали, даже появившись один. Ваша задача такова: показать, что вы крепко стоите на ногах, дать понять своим старым знакомым, что вы при деле, что преуспеваете и готовы вернуть себе положение в обществе. Если будут спрашивать, где вы работаете, — отвечайте, в управлении местной промышленности, не вдаваясь в подробности. Если Хаитов не будет избегать встречи с вами, при первой удобной возможности представьте меня ему, я давно ищу с ним личных контактов, лучшего шанса, чем сегодня, кажется, у меня не будет. Ну, остальное по ходу свадьбы, я подскажу, с кем из ваших прежних знакомых следует поддерживать отношения. Вот и все ваши заботы, гуляйте, приглядывайтесь к жизни по-новому, и в новом качестве — ее хозяина. Не исключено, что и ваши враги будут здесь; в этом случае я представлю вас двум-трем людям, которых вы, возможно, и знаете, но лучше, если я все-таки заново рекомендую вас. Эти лица находятся в серьезной конфронтации с Бекходжаевыми, не могут поделить кое-какие сферы влияния, нашла коса на камень. И ваши контакты не останутся незамеченными, за это я ручаюсь.

Потом, после некоторого раздумья, словно взвесив известное только ему, он добавил:

— Мне кажется, у нас самих будет возможность поквитаться с Бекходжаевыми. Хотя я думаю, вы не настолько тщеславны... Вряд ли вам нужно, чтобы все вокруг шумели — мол, это вы нанесли Бекходжаевым смертельный удар. Отдадим



победу другим, для меня всегда был важен лишь результат. — И, оборвав разговор на этой туманной фразе, он с азартом охотника воскликнул: — Приехали!

Машина свернула в зеленый проулок среди частных домов, утопающих в садах. Далеко, насколько хватало взгляда, вдоль садов уже теснились машины, — судя по номерам, были здесь гости из разных областей. Ашот уверенно подрулил к самому дому, хотя уже квартала за два не оставалось свободного места для стоянки. У железных ворот, даже на улице, в тени деревьев, по местному обычаю, тянулись накрытые столы. Возле этих столов и встречал приезжающих Джафаров — хозяин внушительного особняка. Увидев «Волгу» Шубарина, директор базы оставил гостей, с которыми разговаривал, на кого-то из родственников и поспешил к машине.

Шубарин обнялся с отцом невесты, вручил пухлый конверт от имени компании и представил прокурора, прежде что-то шепнув хозяину на ухо.

Джафаров, видимо, понявший Шубарина с полуслова, взял Азларханова под руку и сам повел во двор, где уже собралось много народу. Компаньоны шли рядом, словно сопровождали очень важного человека.

Когда-то прокурору казалось, что у него на Лахути огромный двор, но этот, куда он вошел, оказался раз в пять больше; он словно был задуман для грандиозных приемов, где одновременно могут разместиться за столами шестьсот-семьсот человек.

Редкий нынешний городской сквер мог тягаться с двором Джафарова, а об ухоженности и говорить не приходилось, вряд ли один садовник мог управляться в такой усадьбе. Наверное, хозяин продумывал планировку своего двора куда тщательнее, чем некогда Лариса, замысливая свой музей под открытым небом.

В самом центре двора красовался большой фонтан — судя по мрамору, его обновили к свадьбе. От фонтана разбегались дорожки, посыпанные влажноватым красным песком, по ним и прогуливались многочисленные гости. В глубине двора, у глухого дувала, затянутого ползучим вьюном, располагалась летняя кухня; прямо напротив, под кроной могучей орешины, сразу на двух вертелах жарили целыми тушами баранов, плотный аромат жареного мяса забивал другие запахи в огромном саду.



В разных местах были натянуты цветные тенты, под ними приготовлены уже накрытые столы. Хозяин дома показал приехавшим отведенные им места и вновь поспешил к воротам, — гости подваливали дружно. По двору сновали какие-то молодые люди в наушниках, видимо, в последний раз проверяли усилители и микрофоны, чтобы отовсюду можно было услышать и быть услышанным. Молоденькие девушки в кокетливых нарядных шальварах обносили гостей минеральной водой и пепси-колой. Понятно было, что в этом доме не впервой принимать такое количество гостей. На возвышении, устланном большим красным ковром, рядом с фонтаном, музыканты настраивали инструменты. Предчувствие праздника и веселья витало в дымном воздухе, будоражило гостей, отовсюду слышался смех, радостные возгласы давно не видевшихся знакомых.

Хотя прокурор и не суетился, и не озирался по сторонам, тем не менее, замечал все происходящее вокруг; вот когда пригодился опыт его прошлой жизни. Видел он и реакцию гостей, когда Джафаров ввел его во двор; похоже, мало кого лично встречал и обхаживал этот человек. Чувствовалось, что многие знают и Шубарина, и Файзиева, но не понимают, с чего это уделяется столько внимания бывшему прокурору соседней области. Слышал он и волной прошелестевший шепоток: «Азларханов... Азларханов... Азларханов...»

Узнали и теперь гадают: как, каким образом поднялся, как попал сюда, к избранным? Это были наблюдения только первых минут, пока они оставались втроем. Но тут же к ним стали подходить, — правда, поначалу больше знакомые и друзья Шубарина и Файзиева, и те обязательно представляли всем прокурора. Однако вскоре начали обращаться и к нему самому. Некоторых он припоминал с трудом, но попадались и очень знакомые лица — большинство из соседней области, где он некогда был прокурором. «Значит, могут оказаться здесь и Бекходжаевы», — решил он, правда, пока никого из представителей семейства он не видел.

Замечал он и реакцию Артура Александровича: тот, кажется, проверял правильность своей идеи и, видимо, пока не жалел, что захватил его на эту свадьбу и что вообще привлек к делу; но до разгадки замыслов Шубарина ему, конечно, было далеко, особых иллюзий на этот счет он не строил.



Не забывал прокурор и свою главную задачу — войти в контакт с Хаитовым. От первого успеха могло зависеть многое, прежде всего доверие шефа, ведь пока все, что выстроил умозрительно Шубарин, — теория, а ему важен результат. И результат надо было получить сегодня, — они оба проходили проверку на успех.

И вдруг мелькнула простая мысль (на секунду он поставил себя на место Хаитова): приехал бы он сам в иные времена на свадьбу, на эту роскошную виллу, утопающую в цветах? Ведь не обязательно быть прокурором, чтобы догадаться об источнике такого благополучия. И он ответил себе: если Хаитов остался прежним — тем, который приезжал к нему консультироваться, чтобы отстоять законность, — конечно, он сюда никогда не пожалует. На первый взгляд убедительно. Однако же шеф рассчитывал встретить тут Хаитова, а уж Шубарин ничего наобум не делал, не стал бы он тащиться сюда, за сто двадцать километров, чтобы отведать свадебный плов да взглянуть на полуголых танцовщиц. Значит, были у него основания встретить здесь Хаитова.

Долго ломать над этим голову Азларханову не пришлось. Гостей пригласили за стол, и в самый последний момент, когда они, огибая фонтан, направлялись к ярко-красному тенту, на свои места, к Шубарину подошел человек и что-то тихо шепнул.

Шеф негромко сообщил, адресуясь к прокурору:

— Ну вот, прибыл и наш долгожданный гость, — и замедлил шаг.

Теперь Хаитов никак не мог миновать их, не увидеть, разве только демонстративно отвернуться. Шубарин, видно, сразу хотел прояснить для себя ситуацию.

Если бы прокурор специально не поджидал Хаитова, то вряд ли признал бы его — за семь лет, что не виделись, тот раздобыл, прибавилось седины, а ведь он был моложе Азларханова. Он появился во дворе в сопровождении хозяина дома и в окружении друзей, с которыми приехал на свадьбу.

Но он узнал прокурора, хотя Амирхан Даутович изменился сильно с тех времен, когда они часто общались. Цепок прокурорский взгляд, цепок, он безошибочно выхватил из толпы старого коллегу, хотя тот и не лез ему на глаза; Хаитова окликали со всех сторон, приглашая за свои столы.



— Кого я вижу! — воскликнул он и, оставив Джафарова, поспешил к прокурору, обнял его. — Амирхан Даутович, какими судьбами?! А впрочем, какая разница, расскажете потом. Я рад вас видеть живым, здоровым, — и, сделав шаг назад, с улыбкой оглядел его и добавил: — И преуспевающим. Шикарно смотрите. Я сразу заметил вас, думаю, кого это занесло в наше захолустье, взгляделся — вы! Джафаров меня предупредил, мол, у меня для вас сюрприз, ваш старый друг пожаловал ко мне на свадьбу, но не объяснил кто. — И, уже обращаясь к хозяину, сказал: — Спасибо, порадовал мою душу. Ты не ошибся, он действительно мой старый друг и много для меня сделал. Давай усаживай нас где-нибудь рядом, мы очень давно не виделись... — И, забыв про свою свиту, обняв коллегу, направился под красный тент.

Артур Александрович отошел несколько в сторону и наблюдал за встречей как бы сбоку, но он все видел и все слышал, однако ему были важны не слова, а скорее интонации. И за столом он не лез на глаза Хаитову, хотя сидел рядом с ним, чтобы в любую минуту поддержать разговор.

Только они уселись за стол, с возвышения у фонтана грянула музыка — свадьба началась. Но два областных прокурора, один из них бывший, увлеченные разговором, не следили за событиями вокруг, да их и не отвлекали, Шубарин зорко наблюдал за этим. Икрам, занявший место напротив, следил за бокалами, подавал закуски, подкладывал зелень. Азларханов, сославшись на нездоровье, только пригубливал рюмку с коньяком, а коллега его не пропускал ни одного тоста и пил с какой-то непонятной жадностью, словно что-то изнутри сжигало его.

Пригласили на красный ковер к микрофону и Адыла Шариповича — поздравить молодых. Он сказал тост, не преминув добавить, что сегодня счастлив вдвойне, потому что на этой свадьбе встретил своего давнего друга Азларханова Амирхана Даутовича, и очень рад видеть его здоровым и счастливым, среди своих друзей. Если первую, традиционную половину тоста слушали вполуха, то сообщение, которым Хаитов закончил, вряд ли кто пропустил мимо, не приняв к сведению, оно вызвало новое оживление среди гостей.

Вскоре застолье поутихло: приехала на свадьбу самая известная и высокооплачиваемая в республике танцовщица; наверняка





ей сегодня предстояло выступать еще на одной свадьбе, а то и на двух, и оттого она торопила свой выход. Специально для нее расстелили огромный ковер, чей-то подарок новобрачным, о чем объявили по микрофону. Что такое танцовщица на восточной свадьбе, в полной мере могут понять и оценить только люди, живущие в Средней Азии; поэтому застолье на время увяло, многие поспешили к отведенной для танцев площадке, и прежде всего мужчины.

Шубарин не успел предупредить Икрама, чтобы тот надолго не отлучался — мог понадобиться, а того уже и след простыл. Файзиев, как оказалось, был большой поклонник свадеб, просто фанатик, на манер театрала или футбольного болельщика, не пропускал ни одной в округе, и особенно обожал он пляски известных танцовщиц.

Трезвый и обычно практичный человек, Файзиев сделался рабом одной идеи, чуть ли не маньяком: он возмечтал, чтобы у него на будущей свадьбе сына присутствовало не менее тысячи гостей, и, конечно, уважаемых из уважаемых; потому он и боялся пропустить хоть одну знатную свадьбу, полагая, что ему ответят тем же вниманием и вернут конверт не тоньше, чем вручил он, а одаривал он всегда щедро.

Наверное, Икрам был еще и тщеславен; он любил, чтобы его имя упоминалось рядом с именами известнейших танцовщиц и певцов, а потому не давал остывать этим слухам от свадьбы к свадьбе.

На восточных свадьбах и танцовщицы, и певцы, приглашенные за вознаграждение хозяином дома, получают за свое исполнение подношения еще и от гостей. Если на кавказской свадьбе эти деньги идут потом новобрачным, то тут деньги гостей достаются исполнителю. И неудивительно, что популярные в народе певцы и танцовщицы — люди весьма состоятельные; на свадьбах не остается незамеченным не только мастерство исполнителей, но равно и щедроты тех, кто раз за разом поощряет артистов крупной купюрой. Редко на какой свадьбе в округе находились люди, выдерживавшие этот денежный «марафон» в соперничестве с Файзиевым, и потому, рассказывая о той или иной шумной свадьбе, где упоминались имена известных певцов и танцовщиц, непременно называли и его имя.



Шубарин не одобрял привычек своего помощника и поначалу даже пытался как-то бороться с этим, но потом махнул рукой. Сомнительная реклама его зама порою приносила неожиданные положительные результаты.

Икрам искренне считал, что он на свой лад совершает вложение капитала, и не раз объяснял шефу, что тот не понимает Востока. На что Шубарин как-то ответил ему по-европейски рассудительно:

— Если я доживу до того времени, когда ты в один день соберешь, как рассчитываешь, все то, что ты вложил, считай, десять тысяч с меня...

## 6

Обоих прокуроров, настоящего и бывшего, так же как и Артура Александровича, танцовщица, даже такая известная, как Санобар, приехавшая на свадьбу на собственном «мерседесе», ничуть не волновала, — у них были другие интересы и проблемы. Оставшись за столом одни, они решили прогуляться по просторному двору. Чувствовалось, что Адыл Шарипович здесь впервые, а вот Шубарин заглядывал сюда, и не раз: он уверял прокурора, что не знает кулинара более изысканного, чем хозяин этого роскошного особняка и сада.

Выйдя из-за стола, они не спеша направились вглубь двора, где через территорию Джафарова протекал широкий полноводный арык, отчего в саду был особый микроклимат. Хаитов взял коллегу под руку, и они шли ухоженной аллеей, разговаривая вполголоса. Артур Александрович пристроился чуть сзади, и только очень внимательный человек мог бы заметить, что он в разговоре не участвует.

Выходя из-за стола, он успел шепнуть Азларханову:

— Выводите разговор на меня, пока он не опьянел. Странно, что он сегодня так много пьет.

Возможно, прокурор еще долго искал бы момент, чтобы перевести разговор в нужное для Шубарина русло, если бы Хаитов не спросил вдруг напрямик:

— Так кто же вам протянул руку помощи, мой друг? Я ведь слышал, что у вас совсем плохи дела?

Прокурор приостановился и, считая, что вряд ли представится момент удобнее, объяснил:



— Да вот он, Артур Александрович, и протянул...

Шубарин, услышав последнюю фразу, шагнул поближе, надеясь, что сейчас произойдет то, на что он рассчитывал. Но Хаитов не остановился, даже прибавил шагу и, в упор не замечая Шубарина, переспросил:

— Этот гангстер? Акула? Впрочем, я вас понимаю: у вас не было другого выхода и других предложений. А вот кто поймет когда-нибудь меня да и всех остальных, тоже не избежавших его сетей? Тех, кто попал в капканы ему подобных или ваших недругов Бекходжаевых — много их нынче развелось у нас в крае, да и по стране тоже... Значит, говорите, Шубарин вам помог? — переспросил он, и они поняли, что Хаитов вовсе не так пьян, как кажется.

— Да, он. Кстати, познакомьтесь, Адыл Шарипович. Наши дороги с ним теперь сошлись...

Артур Александрович подошел с достоинством, протянул руку, словно и не слышал последних слов Хаитова. И негромко, веско сказал:

— Я думаю, ваш старый друг на нас не в претензии, я уверен, что в местной промышленности у него большие перспективы. Может быть, мы с вами еще увидим его министром нашей отрасли. Впрочем, если надумаете уйти в отставку, знайте, что и для вас у нас всегда найдётся интересная работа.

— Ловко покупает, стервец! — мрачно рассмеялся Хаитов. — Всех купил, все у него пляшут, как Санобар, только пошибче — он ведь любит темп. Спрут, настоящий спрут, далеко щупальца запустил. Я ведь знаю, чего он хочет, — просить за Ахрарова. Пока просить, а если откажу, будет угрожать и принимать меры. Так ведь, Шубарин? Небось и материала на меня собрал предостаточно? — Прокурор ронял слова размеренно, не сбиваясь с шага, и даже как-то бесстрастно, но Азларханов чувствовал его внутреннее напряжение.

— Не совсем так, — возразил Шубарин. — Вы человек эмоциональный и сгущаете краски. Гангстер... Акула... Спрут... Несерьезно все это. А просить я действительно хотел за Ахрарова, и если вы уделите мне завтра полчаса, то получите информацию из первых рук, и уверен — у вас будет иное мнение и обо мне, и о моих коллегах, в числе которых пребывает и уважаемый нами Амирхан Даутович.



Хаитов показал на скамейку под орешинной и сказал вяло:  
— Давайте присядем, я сегодня устал. А что касается аудиенции, приезжайте завтра к концу дня, ваши покровители и опекуны, а точнее, прихлебатели, обложили меня со всех сторон, считайте, что вы меня дожали.

Но посидеть спокойно у орешины им не удалось: Хаитова разыскал дежурный по прокуратуре и сказал, что он должен немедленно связаться по телефону с Ташкентом. Хаитов приобнял на прощание коллегу, напомнил Шубарину о завтрашней встрече и быстро удалился.

Артур Александрович, откинувшись на покрытую яркой курпачой спинку скамьи, после ухода Хаитова о чем-то размышлял и на время забыл о существовании прокурора. Очнувшись, он заметил, что и Азларханов глубоко задумался, и мысли его, наверное, были нерадостными: как-то постарел и увял сразу прокурор, куда и стать, с какой он так замечательно держался до сих пор, подевалась.

А думы бывшего прокурора были действительно невеселыми: он чувствовал себя подсадной уткой, к которой приваживали дичь, муторно было на душе. Шубарин, словно читая его мысли, вдруг сказал бодро, как человек, снявший с себя груз давних неразрешимых проблем:

— Что за печаль, прокурор? Выше голову, это только начало, и, ради бога, не думайте, что вы провоцируете своего друга на сомнительное дело. Свой путь он выбрал давно, еще года три назад, потому и такой театральный монолог перед вами. Вечная проблема: выбор между долгом, совестью и такой малостью, как деньги, комфорт, блага жизни. На обратном пути, в машине, напомните, я расскажу, чего я от него хочу. А теперь, когда мы свою миссию выполнили, и я считаю — выполнили отлично, может, и погуляем на свадьбе от души? — и он поднялся со скамьи.

Возбужденные гости все еще теснились возле площадки, где танцевала Санобар. Гремела музыка, ухали не в такт карнаи, взвизгивали от восторга подвыпившие мужчины, раз или два прокурор расслышал смех Файзиева.

Наверное, Санобар танцевала прекрасно, вокруг буквально стонали от восторга, и она не успевала в танце выхватывать из тянувшихся к ней рук деньги. Конечно, она не заставляла



долго тянуться тех, у кого в руках была сиреневая или зеленая купюра, возле таких она проделывала какие-то особые па, от которых взвизгивала в экстазе публика. Пройдя круг, она сбрасывала к ногам музыкантов мятые бумажки, и вся эта четко контролируемая Санобар бухгалтерия никак не мешала ее танцу — стремительному, азартному, успевала она и одарить улыбкой кого надо, и возле кого-то особо покачать бедрами.

Разглядели они и Икрама, он был так возбужден, словно сам участвовал в танце. За эти минуты Санобар дважды одарила его улыбкой и исполнила возле него свое коронное па. В руках Икрам держал банковскую упаковку пятидесятирублевых, заметно отощавшую. От внимательного взгляда шефа не ускользнули мрачные лица других танцовщиц, которым предстояло выступать позже, и недовольные лица певцов, которых Шубарин знал лично, потому что все они были приятелями его зама. Наверное, Санобар нарушала конвенцию — танцевала сверх лимита времени, вычищая кошельки до дна.

Артур Александрович попытался подать какой-то знак Икраму, но тот, словно замороженный, не мог оторвать взгляда от извивающейся Санобар.

— Файзиев сегодня для нас потерянный человек, — констатировал Шубарин с улыбкой и вдруг неожиданно предложил: — Поедемте-ка, дорогой прокурор, домой. Эти развлечения не про нас, да и дело свое, ради которого мы приехали, уже сделали.

Азларханов чуть замешкался с ответом: он все еще надеялся, а вдруг подъедут Бекходжаевы, потому что люди продолжали прибывать, рядами стояли накрытые столы, дожидаясь запоздалых и дальних гостей, — знал он, что восточные свадьбы длятся до утра.

Но Шубарин уже в который раз за этот вечер будто прочитал его мысли:

— Я вижу, вам не терпится схлестнуться хотя бы взглядом с Суюном Бекходжаевым или с его братом Акрамом Садыковым. Но, увы, должен вас огорчить: вы не увидите сегодня с ними.

И в подтверждение своих слов он достал из кармана пиджака аккуратно сложенный листок из записной книжки и протянул прокурору.

— «Бекходжаевых не будет», — прочитал прокурор торопливо написанную тонким фломастером строку.



— Да, да, это совершенно точно, — подтвердил Шубарин.

— Что ж, я не возражаю против вашего предложения. А как же ваш зам?

— Файзиев загулял, и завтра его кто-нибудь доставит в город, у него много приятелей, сочтут за честь. А теперь поспешим, пока танцует Санобар; может, удастся уйти по-английски, не привлекая внимания...

Он повернулся, ища взглядом водителя. Но Ашот подошел откуда-то сзади, словно слышал их разговор.

— Я здесь, шеф, — сказал он тихо.

Тот ничуть не удивился и так же тихо ответил своему телохранителю:

— Отведи машину незаметно на соседнюю улицу и дождись нас, мы с прокурором решили уехать.

Пока Шубарин разговаривал с Ашотом, прокурор подумал: даже хорошо, что так сложилось, и они уезжают пораньше со свадьбы, может, в дороге, в отсутствие Файзиева, довольный вечером и знакомством с Хаитовым, шеф кое-что прояснит ему наконец из того сплошного тумана намеков и недомолвок, которыми он уже был сыт по горло. В дороге представлялась возможность задать вопросы как бы из любопытства, праздного интереса — он видел, что слишком уж разные люди спешили на свадьбе выразить свое уважение Шубарину и Файзиеву.

## Японец

Со свадьбы они ускользнули незамеченными, хотя это давалось нелегко; Ашоту пришлось еще дожидаться хозяина на соседней улице. И прокурор отметил ловкость Шубарина, умение моментально раствориться и исчезнуть в толпе. Эта игра, когда удалось незаметно покинуть многолюдное празднество, позабавила их более всего за вечер, и в машину они садились в веселом настроении.

— С вами можно идти в разведку, — сказал довольный Шубарин.

Но прокурор не поддержал эту тему, зная, что она выльется в ничего не значащий разговор, а то и в обсуждение какого-нибудь полицейского фильма, что десятками лежали в видеотеке



шефа. Поэтому он задал вопрос, как будто волновавший его или вызвавший в нем ревность, хотя всего лишь желал втянуть Шубарина в нужный для него разговор:

— На что вам в деле понадобился еще один юрист, и именно прокурор?

Артур Александрович не понял вопроса и переспросил:

— Не уловил, о каком юристе, каком прокуроре вы говорите?

По минутной растерянности Азларханов понял, что Шубарин не хитрит и не лукавит, поэтому напомнил:

— Вы сказали Хаитову, если он надумает в отставку, то и для него найдется интересная работа. Разве я один не справлюсь с юридической стороной дела?

— Ах, вот вы о чем! Право, я уже забыл о своем предложении Хаитову. — Артур Александрович улыбнулся. — Странное сочетание образованности, житейской мудрости, прокурорской хватки и почти детской инфантильности живет в вас одновременно, вы уж извините за откровенность. Нет, Хаитов мне вовсе не нужен как юрист — в юридических делах лучше полагаться на одного человека, и вам вполне по силам справиться с объемом предстоящей работы.

— Тогда зачем же вам понадобился Хаитов? — наседал прокурор, показывая личную заинтересованность.

Шубарин ослабил узел галстука, словно готовился к долгому разговору.

— Мне нравится ваше стремление быть хозяином в своей сфере, в этом мы с вами схожи: я люблю держать под контролем все сам. Даже если Файзиев и считает себя в синдикате вторым человеком, а это далеко не так, он не в курсе всех дел, тем более касающихся перспективы. Он нужен мне, так сказать, для связи с местной общественностью. О, тут меня охотно убрали бы с пути, да чувствуют, что свои кадры еще не доросли до нужного уровня, так что для меня это вынужденный альянс, как и для них. Хаитов мне нужен не как юрист, я не уверен в его квалификации, и мне не нужны люди с полужнанием. Как в наших краях получают образование, я знаю по себе: закончил два курса политехнического в Ташкенте, а затем поступил на первый курс Бауманского в Москве. Так что у меня есть примеры для сравнения... К сожалению,



полуинженеры, полуврачи, полужурналисты, полуспециалисты, которым преподавали опять же полупрофессора, полудоценты, только бы свои, местные — из-за ложно понятой национальной гордости, рано или поздно могут завести край в такой тупик... — Он покачал головой. — А что касается Хаитова, то мне нужен не он сам, мне необходимы его связи, а они у него огромные, он давно уже тут в прокурорах. Вот мы часто говорим о западных политиках, ушедших в отставку, которых тут же берут к себе крупные компании. Так было почти со всеми мало-мальски известными американскими политиками, вспомните хоть Макнамару, Хейга, Киссинджера. И у нас некоторым образом происходит то же самое... Правда, масштабы не те и возможности иные, но суть одна. Ручаюсь за это, опираясь на свой опыт: я подобрал немало «бывших», и они оправдали мои надежды и вложенные в них средства. Правда, многие не выдержали испытания временем, ни у себя на прежней работе, ни на службе у меня «лоббистами». Их почему-то постоянно заносит; то ли прежняя должность и безмерная власть в своей сфере их портит, — и у меня, оправившись, оперившись, они пытаются что-то мне диктовать. Но хозяйственные дела решаются не диктатом и амбицией, а экономическими расчетами, быстрой и четкой стратегией, поэтому я без сожаления расстаюсь с такими. Говорю об этом не для того, чтобы предостеречь вас на будущее, вы человек иной, моим «бывшим» не чета: вы лишены мелкого тщеславия, а это важно.

Когда я говорил Хаитову о ваших перспективах, я не шутил. Подумайте на досуге об этом, у нас действительно нет преград, чтобы получить здесь любой высокий пост, нужно только время. Хозяйствовать, управлять «теневой» экономикой, как выражаются некоторые юристы, это прежде всего тонко чувствовать политику, кадровый вопрос. Пока существует партийная номенклатура должностных лиц, «бывшие» долго еще будут в цене. Опыт показывает, что на должностях постоянно тасуются одни и те же люди, оттого я иногда делаю ставку на «бывших». Восточный народ — осторожный, на всякий случай поостережется отказать вчерашнему хозяину, завтра «бывший» вновь может оказаться на коне, то есть в кресле, и тогда я выигрываю вдвойне. «Бывшие» тут долго не теряют влияния и связей. Вот почему я хотел бы перетянуть к себе Хаитова, он





избавил бы меня от множества неприятных для меня визитов к чиновникам разного ранга в партийном и советском аппарате. Для него просто открывается любая труднодоступная для меня дверь. Опыт наших классовых врагов я не только изучаю, но и беру на вооружение. Все в мире повторяется, только с запозданием и в более уродливой форме. Наверное, вас в студенческие годы стращали кока-колой и жвачкой, атрибутами буржуазной жизни, а теперь мы сами построили такие заводы по их лицензиям. И совсем не шутки ради я содержу телохранителя, который влетает мне в копеечку... — шеф весело похлопал по плечу Ашота, не отрывающего глаз от ночной дороги.

Чувствуя, что Шубарин сегодня расположен к разговору, прокурор решил не упускать подходящего момента.

— Вы обещали рассказать на обратном пути о Хаитове...

Шубарин прикрыл окошечко в боковом стекле, видно, опасался сквозняка.

— О Хаитове? О нем я пока ничего сказать не могу, хотя и располагаю не менее подробным досье, чем на вас. Лучше расскажу, почему я добивался у него аудиенции, которую он наконец-то назначил на завтра. Впрочем, история эта в двух словах, но значение ее вы поймете, как только войдете в курс дела. Маленький ликбез, с вашего разрешения?

Прокурор согласно кивнул головой и откинулся на сиденье.

— Для теневой экономики, — остановимся на этом термине, поскольку определение «подпольная» не отражает нашей сути — мы организация официальная, действуем в рамках существующих законов, но для нас реализация готовой продукции гораздо важнее, чем само её производство. Как это ни парадоксально звучит для человека, знакомого с экономикой страны, ведь куда ни глянь — у нас дефицит! Меня реализация волнует больше, чем производство товаров. Имея постоянно возрастающий капитал, я могу влиять на производство. Но тут возникает вопрос о рынках сбыта. Обозначим сразу сферу нашего влияния — она только в пределах республики. Выход за ее границы чреват непредсказуемыми последствиями. Нет, вовсе не оттого, что там, в других республиках, тверже закон или блюдут интересы государства строже. Просто там мы чужие, и на нас можно показать действительную силу закона, поскольку там у нас нет покровителей. Не совсем просто и в



своей республике: в каждой области свой хозяин, запретить, чинить препятствия всегда найдется повод, поэтому я и держу «лоббистов», наводящих мосты. В области, где прокурором Хаитов, мы ничего не производим, только продаем изготовленное. Признаюсь, это наиболее существенный наш рынок, потому что половина туристических маршрутов в республике проходит через эту область. Каждый день сотни новых потенциальных покупателей с карманами, полными денег.. Но за этот рынок приходится бороться. Откровенно говоря, мы сами и создали этот рынок, не без наших усилий был заключен договор с экскурсионными бюро областей России, и каждую пятницу по трехдневным путевкам сюда прибывают сотни туристов из Кемерово, Донецка, Тюмени, Хабаровска — краев с традиционно высоким заработком. В расчете на них мы шьем дубленки и продаем их, что называется, с пылу, с жару, ориентируя производство именно на конец недели, и наши лавки при гостиницах работают до глубокой ночи, до последнего покупателя, — где вы еще видели такую торговлю? Там же в киоске лежит книга заказов: те, кто ничего не подобрал или кому не досталась вещь нужного размера, могут оставить аванс, а в следующую пятницу выкупить.

У вас будет возможность ознакомиться с нашим овчино-шубным хозяйством, оно прекрасно отлажено — от сбора шкур у населения до реализации готовых изделий. Дубленки я привел в пример только потому, что это самое дорогое и рентабельное производство, хотя ассортимент нашей продукции составляет сотни наименований, и все, безусловно, прибыльно и даже сверхприбыльно. И на таком вот, по существу, нами же созданном рынке время от времени возникают препятствия. В области трудно с занятостью населения, и Хаитов хочет, чтобы я часть своих предприятий перевел сюда. Но мне не резон, а почему, я объясню позже, или вы потом поймете сами. Реализацией продукции в области занимается Ахраров, человек энергичный, коммерсант от бога, — так прокурор опечатал у него пять киосков и не разрешает продавать с лотков на улицах, а это преимущественный вид нашей торговли — прямо с колес. Для нас каждый день простоя влетает в копеечку. Мы работаем не на склад и производим дефицит, поэтому оплата труда только с учетом проданной покупателю продукции.



Да и оборудование у нас индивидуальное, штучное, дорогое, оно окупается только при условии полной загрузки. Действия Хаитова для меня — нож к горлу, мы должны прийти к какому-то обоюдному согласию. Наверное, нас терпят еще и потому, что мы делаем большие отчисления с реализации в местный бюджет, и так просто потерять дармовые деньги властям не хочется, не говоря уже о том, что нас «доит» всякий, кому позволяет должность. Но нам выгоднее заплатить, чем сбиваться с ритма. Имеет свою дань с Ахрарова, и уже давно, и ваш бывший коллега Хаитов, но теперь... выкручиванием рук он хотел бы навязать нам еще и свою политику в производстве.

Прокурора так заинтересовал рассказ Шубарина, что у него невольно вырвался вопрос:

— А почему бы вам и вправду не открыть здесь свои предприятия или хотя бы филиалы, цеха, если тут так легко с рабочей силой и местные власти заинтересованы в этом?

— Ну вот, и вы туда же! Дорога дальняя, пройдем и этот раздел экономики, он наиболее существенный в нашем деле. Почему я не использую предлагаемые вашим другом трудовые ресурсы? Отвечаю — мне нужны не всякие трудовые ресурсы. Вот вам простой пример... В какой-то местности шумят, мол, у нас не заняты в производстве женщины, девяносто процентов их сидит дома, и следует использовать такой мощный потенциал. А толком ведь не изучают, сколько женщин, каков их возрастной состав, семейное положение, чем бы они хотели заниматься, к чему склонны, готовы ли к ритму современного производства, увязывается ли он с укладом их жизни...

Разведут газетную демагогию насчет раскрепощения восточной женщины и строят в глубинке, скажем, ковровую фабрику — женское, по сути, как и везде в мире, предприятие. Поначалу все женщины в округе дружно идут туда устраиваться, потому что, еще не ведая, чем будут конкретно заниматься, уже знают и о больничных листках по уходу за детьми, и о декретных отпусках, и о послеродовом отпуске в полтора года, и о доплате на детей, и о прочих преимуществах работающей женщины, — ведь в сознание уже как-то внедрилось, что зарплата не зарабатывается, а выдается в любом случае всем, кто числится на предприятии. А потом начинается хаос... Что прикажете делать директору, если у него каждый день не выходит в цех треть



работниц — у каждой тут трое-четверо детей, а то и больше, и все они продолжают еще рожать, а дети частенько болеют. Вот и получается, что все двести семьдесят рабочих дней в году вполне могут оказаться состоящими из больничных листов. А если к больничным обычным постоянно прибавляются больничные по декрету, то иных работниц можно видеть на рабочем месте раз пять в году, и так из года в год. А какая из нее работница, если она в год работает в среднем по два-три дня в месяц?

Современное предприятие требует навыков, высокой профессиональной выучки, четкой технологической дисциплины. К тому же такую работницу ни за что нельзя уволить — вот и лихорадит фабрику, кстати сказать, оборудованную новейшей импортной техникой. В конце концов рядом срочно строят общежития и привозят по оргнабору, суля всякие блага, из разных краев молодых девушек. О какой рентабельности, какой себестоимости продукции может быть разговор на таких горе-предприятиях, даже если выполнят девушки по полторы нормы в день? Построив такой завод, государство заведомо обрекает себя на убытки; правда, в данном случае, может быть, спасают несуразно высокие цены на ковры.

Надеюсь, вам теперь понятно, какую бы я получил тут «рабочую силу»? У меня не бюро добрых услуг, не собес и не филантропическая организация. По идее, наши предприятия — прообраз будущих хозрасчетных, самокупаемых, самофинансируемых организаций, у которых есть возможность добиваться неограниченных прибылей, исключаящих потолок заработка; но зато над ними постоянно висит угроза банкротства без всяких выходных пособий. Чтобы этого не случилось, нужно постоянно изучать спрос, рынок, следить за насыщением его, обновлять и улучшать ассортимент, а то и вовсе срочно перестраиваться на выпуск нового изделия, снижать себестоимость за счет максимальной загруженности оборудования и использования меньшего числа работающих за счет их высокой, я бы сказал — высочайшей квалификации. О качестве я уже не говорю — на том и держимся. И такие кадры подбираю я сам. Мои люди чувствуют ответственность за дело. Мы находим их по рекомендациям, если надо, учим, но учим тех, на кого надеемся, тех, кто хочет работать и зарабатывать. При ином



подборе кадров, подходе к труду, я бы вылетел в трубу, поэтому меня не устраивает навязываемое Хаитовым предложение.

— И все-таки, мне кажется, ваше нежелание открыть в области свои предприятия связано не только с вопросами кадров, не так ли?

Шубарин от души рассмеялся и вновь потрепал по плечу молчаливого шофера.

— Сколько больших людей, Ашот, перебывало в этой машине, и ни один из них не соображал так быстро, как наш новый юрист. Быть вам когда-нибудь министром местной промышленности, если так будете хватать проблемы на лету.

Да, вы правы, вопрос о кадрах — всего лишь часть проблемы, хотя тоже существенная. И я скажу вам откровенно: как бы ни были ценны наши кадры, все же главным для нас является высокопроизводительное оборудование и сырье. За ту зарплату, что платим, мы всегда найдём людей, готовых научиться и работать по пятнадцать часов в сутки, и резерв рабочей силы мы, как ни парадоксально, находим в инженерной среде, в среде людей с образованием, недовольных своим материальным положением. Этот высокообразованный контингент, уже помятый жизнью, быстро овладевает любыми трудовыми навыками, ибо ясно видит, что работает на конечный результат. У нас нет проблем с трудовой дисциплиной, нерадивостью, невыгодно у нас болеть, тем более простаивать. Никому не приходится напоминать об экономии сырья, энергии, ибо опять же от этого зависит заработок. Поощряется всякое новшество, экономия, идеи. Но даже среди таких работников у нас есть своя элита, незаменимые люди. Вот, например, когда организовали овчинно-шубное производство, пригласили скорняка из Белоруссии. Без его знаний, энергии, организаторских способностей, наконец, нам никогда бы не поставить на поток такое выгодное дело, хотя его заработок привел бы в ужас любого фининспектора. Раз уж заговорили о мастерах, похвалюсь — у нас на учете почти все умельцы края и даже за пределами его: модельщики, лекальщики, технологи, художники, наладчики станков и оборудования, конструкторы, изобретатели... Располагая финансовыми возможностями, нам легко перестраиваться, налаживать то или иное производство, ведь в нашем деле главный выигрыш — время. Как говорится, дорого яичко ко Христову дню!



Вернусь к главному, к оборудованию... Оно у нас не серийное, а переделанное из стандартного умельцами, или сконструированное и построенное в нескольких экземплярах изобретателями и рационализаторами на местных заводах, а чаще всего в небольших конструкторско-технологических бюро. Есть у нас и импортное оборудование, добываем, вымениваем правдами и неправдами. Среди нас, руководителей, большинство с техническим образованием, и сам я, как уже говорил, закончил Бауманское, поэтому мы в курсе всех дел на машиностроительных заводах, знаем их возможности. Следим, конечно, и гораздо оперативнее, чем отраслевые министерства, за новинками за рубежом, технологией, оснасткой, за всем тем, что повышает производительность и улучшает качество. У многих станков, машин, оборудования, не удивляйтесь, есть личные хозяева, и я вынужден платить их владельцам немалые суммы за эксплуатацию, а куда денешься, это как раз редчайшие станки.

Год назад, например, нашел меня один человек из Одессы. Работал он некогда судовым механиком на сухогрузе, толковейший инженер, трудяга, каких поискать. Так он, когда стояли в чужих портах на ремонте, не шмотками, не джинсами и аппаратурой интересовался, а к технике присматривался. Не знаю уж как, каким образом — это не мое дело (говорит, за два двигателя и мощный насос выменял) — привез он два итальянских станка-полуавтомата, довольно-таки громоздких, штампующих из пластмассы «хрустальные» подвески для люстр на медной фурнитуре. Оба станка выпускают по три разные модификации — значит, шесть типов. Чудо-люстры, не успеваем завозить на продажу, моментально разбирают. Цена приемлемая — от тридцати до пятидесяти рублей, и выглядят вполне прилично за такую сумму. Пытались мы сами создать подобную установку, сделали, работает, но качество далеко не то. Так у нас с этим бывшим судовым механиком договор: по две тысячи рублей за амортизацию каждой установки в месяц в течение двух лет, а после полуавтоматы переходят в нашу собственность; и, конечно, зарплата у него с выработки. Сам он с семьей работает на них в три смены, и никак не насытит рынок. За два года семья заработает столько, сколько иной за всю жизнь не получит, но он днюет и ночует у своих станков, холит и лелеет их, разве только не целует своих кормильцев.



Должен вам сказать, не только мы ищем толковых умельцев, изобретателей, талантливых инженеров, но и они нас, знают: их детище тут же воплотят в металле, и дадут путевку в жизнь без проволочек, и с оплатой не поспеются.

Когда нужное оборудование не удастся купить по безналичному расчету или получить по фондам, в ход идут деньги, большие деньги, мало кто устоит перед такими суммами. Деньги эти принадлежат пайщикам; может, со временем, и вы станете пайщиком, или, как у нас говорят, войдете в долю. Половина оборудования принадлежит пайщикам, и первейшая задача — вначале вернуть вклад пайщикам, это свято; потом пайщикам идет процент с доходов. Сложная на первый взгляд бухгалтерия, но это только на первый взгляд. Счетные работники у нас тоже самые толковые, к тому же у каждого пайщика в кармане своя многофункциональная счетная машинка «Кассио» с памятью, она никогда не ошибается. Так могу ли я такое оборудование разместить где попало, как предлагает Хаитов? К тому же этот вопрос решаю не я один, а вместе с влиятельными пайщиками, хозяевами оборудования, а пайщиком может быть и прокурор, и начальник ОБХСС, и крупный партийный работник, и даже директор завода или министр, добывший по нашей указке и за наши деньги уникальное оборудование.

Услышав о влиятельных пайщиках, прокурор вспомнил слова Хаитова: «всех купил, всех втянул в свои дела, все они у него крутятся пошибче, чем Санобар...». Припомнились ему и другие слова прокурора: «считайте, что дожали меня ваши друзья-приятели, а точнее, прихлебатели...»

«Все правильно рассчитано: вложив деньги, кто же не будет способствовать своему процветанию, — думал Азларханов. — Прямо-таки синдикат тайный...»

Он еще раз внимательно оглядел своего шефа, спокойного, уравновешенного, уверенного в себе. Надо отдать должное, перед ним сидел далеко не заурядный человек, талантливый и очень опасный. Вероятно, в иных ситуациях он был влиятельнее министра финансов и председателя Госбанка республики, потому что, исходя из сложившейся ситуации, молниеносно оперировал огромными живыми деньгами; к тому же, как всякий хозяйственный руководитель, пользовался поддержкой



казны, имел счета, кредиты, ссуды... Здесь Азларханову как правоведа было над чем подумать.

Конечно, прокурор понимал: чтобы разобраться в «хозяйстве» Шубарина, ему нужно будет еще много потрудиться: необходимо срочно пополнить свои знания по экономике, хозяйствованию, банковскому делу; но и тогда трудно сказать, удастся ли разгадать все финансовые махинации, слишком уж изощрен был в делах Шубарин, надо отдать ему должное.

Чтобы продолжить разговор, Азларханов спросил:

— Почему зародилась и процветает теневая экономика?

— Вполне логичный для прокурора вопрос, — непринужденно пошутил шеф. — Но я не закончил свою мысль об оборудовании, иначе вам не понять ответа на ваш новый вопрос, здесь все взаимосвязано...

— Что ж, я вас внимательно слушаю...

— Основные производственные мощности, наиболее рентабельные, находятся у нас в Бухаре. Там я начинал, там оперился, получил кое-какую поддержку, а главное, нашел через «лоббистов» подходы к первому человеку в области, к хозяину. С ним я теперь накоротке, пребываю в числе тех редких людей, которые могут прийти к нему в любое время, а ведь он далеко не демократ. В свою очередь, он один из приближенных, можно даже сказать любимчиков, первого лица в республике. Его вы знаете лучше меня, наверняка встречались не раз, будучи областным прокурором, думаю, властную руку этого человека ощущали повсюду, и не однажды. Вот почему я думаю: почему бы вам при случае не стать министром местной промышленности — у нас есть прямой выход на Первого, а в республике кадровый вопрос решает только он, повсюду сидят только его люди.

Однажды я пришел к Первому в области и сказал, что мне позарез нужны пятьдесят тысяч, обещал через год вернуть с удвоением — деньги нужны были, чтобы срочно заполучить фонды в Москве на дефицитное сырье. Деньги он мне дал, там же, в кабинете, вынул из личного сейфа пять аккуратных банковских упаковок — он любит крупные купюры и крупные суммы, и вообще масштабный человек. Не стал даже расспрашивать, на что мне они. Я, конечно, вернул их день в день, как и обещал, с удвоением, десять таких же пачек. Но на этот раз





он, как бы шутя, спросил, нет ли возможности пустить их еще в оборот. А я оговорился, что только в случае его поддержки кое в чем, хотя в тот момент планов у меня никаких конкретных не было; да заодно и удвоил срок оборота капитала, поскольку понимал, что он опять имеет в виду только двойной рост. Так неожиданно я получил, что называется, карт-бланш и уж тут развернулся вовсю. Имея в доле такого пайщика, я мог вовлекать в дело самых осторожных людей, мог без страха приобретать дефицитное и высокопроизводительное оборудование, работать с перспективой, с долгосрочной программой. Так я открыл в сорока местах цехи по пошиву шуб из искусственного меха — мужских, женских и детских. Кроили в одном месте наши лучшие закройщики, опять же в три смены, непрерывно, и даже успевали следить за модой и менять ассортимент, хотя товар и так отрывали с руками — рынок у нас поистине ненасытный. Вышел я напрямую и на поставщиков, и за наличные, за треть цены, вагонами получал сырье, опять же отправляемое только в Бухару.

Вот почему в Бухаре и самой области я насыщал предприятия оборудованием, у меня не было причин опасаться кого-то, я там застрахован от всего, только дерзай. Но, как видите, центр тяжести нашей деятельности все же переместился сюда, в «Лас-Вегас», где мы с вами познакомились. Но открытие «Лас-Вегаса», я думаю, самая большая удача, выпавшая мне.

— Так, так, — заинтересованно оживился Азларханов. — Что же в нем примечательного?

— А вот что... Однажды, когда рудник еще был в силе и действовала мощная производственная база, обслуживавшая строительство и эксплуатацию шахт, меня привели сюда дела. Я пытался открыть цех резинотехнического литья: всякие кольца, прокладки, сальники, модная пляжная обувь — опять же дефицит из дефицита, и хотел, чтобы мне помогли здесь с пресс-формами, поточной линией; хороший проект и технические условия были у меня на руках. Побродив по предприятиям день-другой, поговорив кое с кем из руководства, я, наверное, раньше, чем кто-либо, понял, что дни рудокомбината сочтены: не позже чем через год его закроют, и останутся мощнейшая, современная производственная база и производственные площади, на создание которых обычно уходят годы и реки денег.



И я тут же смекнул, какой я окажусь палочкой-выручалочкой для местных властей, если предложу открыть на этих площадях наши цеха по выпуску товаров народного потребления, с отчислением в бюджет города от реализации наших изделий. Конечно, о подлинных масштабах производства я не собирался никого ставить в известность, зато хотел оговорить долгие сроки становления, набора темпа.

Когда случилось то, что я и предвидел, я оказался первым на пепелище, и у меня с моими влиятельными пайщиками была уже определена четкая программа, которую не без нажима со стороны приняли городские власти.

Никогда прежде я не работал так масштабно, с такой энергией... На фоне растерянности, беспомощности городских властей я действовал по-пиратски, так, как мне хотелось, получая к тому же всяческую поддержку местной администрации.

— А еще обиделись, когда Хаитов назвал вас гангстером... — попенял прокурор.

Шубарин усмехнулся, приняв это за остроумную шутку, и продолжал:

— Для местных властей, ориентированных на добывающую промышленность, мое дело оказалось темным лесом, а я их, естественно, просвещать не собирался. Еще не имея никаких прав, мы провели тщательную ревизию того, что хотели заполучить. И хотя по распоряжению горного ведомства многое подлежало демонтажу и вывозу, мне удалось оставить абсолютно все, на что мы нацелились. А при существующей неразберихе, безответственности большая часть оборудования до сих пор не взята нами на баланс и висит где-то в воздухе — фантастика!

Хотите верьте, хотите нет, но до сих пор мы не заплатили ни копейки ни за электроэнергию, ни за воду, ни за газ, хотя пользуемся термическими печами, а цеха наши работают с напряжением, коэффициент сменности оборудования у нас, наверное, самый высокий в стране, спасибо горному ведомству за его бездумную щедрость.

Наверное, даже вы, не экономист, понимаете, какая у нас низкая себестоимость изделий, если учесть, что и сырье, кроме фондов, мы покупаем чаще за наличные — когда за полцены, когда за четверть, а когда, пользуясь полной бесхозяйственностью, и за бесценок.



1881.

GALLISS  
70d X. O.



Артур Александрович на секунду сделал паузу, оглянулся, наверное, желая увидеть, какое впечатление производит его рассказ на собеседника.

Прокурор был весь внимание. «Интересно, — думал он, — удачно сделанное дело и похмельная расслабленность подвигли Шубарина на такую лекцию, или он и впрямь ничего не боится — такая у него поддержка в республике? Меня, во всяком случае, он не боится — точно...»

— Однажды, лет десять назад, я прочитал в «Известиях» статью о некоем авторемонтном заводе в Армении, которого фактически не было в природе — по указанному адресу находился пустырь. Хотя предприятие значилось в республике в числе передовых, рентабельных и неоднократно награждалось, поощрялось, были о нем и статьи в прессе. Всю его бухгалтерию, отчетность вел один-единственный человек, на мой взгляд, финансовый гений, а создали это предприятие несколько аферистов, хорошо изучивших наш неповоротливый хозяйственный механизм, идеально функционирующий только на бумаге.

Тогда еще, не обладая ни нынешней властью, ни капиталом, ни возможностями и связями, я сделал для себя вывод, что предприятие, которое я когда-нибудь создам, должно быть реальным, процветающим, легальным, передовым во всех отношениях, но... построено по принципу айсберга, подводная часть которого в три раза превышает надводную, предназначенную для витрины и отчетности. А для этого нужны бухгалтеры, экономисты не хуже того, из Армении; со временем я отыскал таких людей, не говоря уже о том, что я и сам одолел экономику и планирование. Руководитель, не разбирающийся в экономике в совершенстве, — нонсенс, абсурд, такое в теневой экономике невозможно, здесь выживают только асы своего дела, киты, имеющие, кроме головы, капиталы и надежную страховку.

Любое выражение: «двойная бухгалтерия», «тройная» — не отражает нашей финансовой сути, она должна определяться понятиями высшей математики — пятимерное, что ли, измерение, если такое в природе существует. Наши предприятия в отрасли самые рентабельные, механизированные, у нас высочайшая выработка, самая низкая себестоимость, самая лучшая фондоотдача, стопроцентная реализация продукции, лучшие



условия труда, не говоря уже об оплате. Мы рекордсмены по всем показателям, даже самым надуманным, если хотите — образец социалистического предприятия, как ни кощунственно это для вас звучит. Нас невозможно сравнить с какой-нибудь отраслью в округе, да и в целом по республике — мы идем впереди по всем статьям. Мы награждены какими хочешь знаменами: союзными, республиканскими, областными, городскими, отраслевыми, знаменами ВЦСПС, Совета Министров, ЦК комсомола, переходящими и вручаемыми навечно, у нас есть специальный зал наших наград — и это впечатляет. Не удержусь от похвалы себе: я имею орден Трудового Красного Знамени и являюсь депутатом горсовета в «Лас-Вегасе».

Прокурор вдруг случайно поймал в зеркальце над лобовым стеклом лицо Ашота и какое-то время наблюдал за ним. Он уловил, что Ашоту неприятны похвальбы подвыпившего шефа, возможно, такое откровение хозяина для него было новостью. Но, как бы там ни было, прокурор почувствовал, что в каких бы отношениях он ни находился с его шефом, симпатией и доверием у Ашота он сам не пользуется. Для парня, наверняка знакомого с Уголовным кодексом не понаслышке, бывший или настоящий прокурор в любом случае оставался «ментом». И там, за решеткой, его учили никогда, ни при каких обстоятельствах не доверять им. У Ашота этот принцип сработал, может, не от широты ума, а инстинктивно, но сработал, хотя он не выказывал внешних признаков недружелюбия, даже наоборот; но вот случайно пойманный взгляд, выражение лица сказали прокурору о многом, и он отметил для себя, что Ашота следует остерегаться.

Прокурор бросил взгляд за окно и, несмотря на темень азиатской ночи, по огням тянувшихся вдоль дороги кишлаков понял, что они уже недалеко от города — и пожалел об этом. Сегодня он хотел, чтобы дорога не кончалась, согласен был и на ремонт в пути, хоть на прокол шины, как случилось не раз, когда раньше спешил куда-нибудь; но «Волга» шла ходко, минут через сорок они наверняка будут у себя в гостинице. Значит, у него оставалось еще время задать несколько вопросов разоткровенничавшемуся дельцу, и он этим воспользовался.

— А как реагирует на такую постановку дела основная масса ваших рабочих и средний персонал? И попутно еще один



вопрос: насколько уязвима созданная вами модель айсберга — или это целиком зависит от покровительства власть имущих пайщиков и одариваемых чиновников?

Артур Александрович на минуту задумался, а Ашот впервые за вечер подал голос:

— Вот такие они, прокуроры, все им вынь да положь — расскажи обо всем сразу...— и, довольный собой, натужно рассмеялся.

Рассмеялся и Шубарин. И прокурор мог бы принять сказанное за шутку, если бы опять боковым зрением не зацепил в зеркале холодный взгляд темных навывкате глаз.

— Жесткие вопросы, да, но если бы я вступал в дело, наверняка задавал бы их в такой же четкой и ясной форме. — Хозяин похлопал Ашота по плечу, то ли одобряя шутку, то ли предупреждая, мол, не лезь не в свое дело.

Прокурор лишний раз отметил про себя неоднозначность поступков и жестов Шубарина.

Артур Александрович тем временем продолжал:

— Насчет рабочих... Вы, я думаю, зря преувеличиваете их социальную активность. Для них важны заработок, хорошие условия труда и справедливое отношение. Эти основополагающие, на мой взгляд, факторы мы стараемся обеспечить максимально, и, отладив это триединство, я меньше всего думаю о социальной стороне вопроса и всяческой словесной демагогии, в которой мы скоро утонем. Я твердо знаю одно — без внимания к человеку и хорошей оплаты его труда рассчитывать на успех бесполезно. К тому же, я говорил, мы не берем людей с улицы — в этом краю, где избыток рабочей силы, можно позволить себе выбор. А потом, что они могут знать? Им я подобных лекций не читаю, а структура создана таким образом, что вряд ли и инженеру ясна картина целиком. Все раздроблено и, уж поверьте, не для утайки, а для эффективности: кроят, положим, в нескольких местах, шьют в десятках других мест, реализуют в сотнях населенных пунктов.

Да и куда им, рабочим, пойти, если что-то у нас не устраивает? Где выбор? На такой кирпичный завод, где работали вы? Где ни заработка, ни порядка? Я пожинаю плоды не своих усилий: людей приучили помалкивать, не высовываться, мол, есть начальство — оно за вас и думает. И мы своих рабочих



пока устраиваем, но, если возникнет какое-то недовольство, мы тут же его устраним, думаю, что разумный компромисс всегда возможен.

Каждый год одна, а то и две группы наших рабочих ездят по путевкам, как представители самой передовой организации в области, за границу, в социалистические страны. И страны эти я подбираю с учетом специфики труда — к своим коллегам, значит, с возможностью позаимствовать опыт.

Скормяки наши ездили в Югославию, обувщики — в Чехословакию, занятые пошивом одежды и трикотажники — в Венгрию и Польшу, и везде, по предварительному согласованию, у людей была возможность побывать на интересующих нас предприятиях. Не было случая, чтобы они не привезли десятки предложений, которые мы тут же, без проволочек, использовали в производстве. Бывает, что, сложившись, они покупают там какую-нибудь новейшую швейную машинку, о существовании которой мы и не догадывались, а она, оказывается, в десять раз ускоряет и улучшает процесс. А то накупят целые чемоданы особо прочных ниток, которых у нас днем с огнем не сыскать, или десятки коробок иголок «зингеровских» и кучу запчастей; привозят коробками какие-нибудь заклепки, пистоны, кнопки, все, что может пойти в дело и улучшить нашу продукцию. Мы, конечно, компенсируем затраты не скупясь, поощряем подобное отношение к делу, нас это радует. Некоторые рабочие вместо отдыха и развлечений, бывает, не один день пропадают в цехах, чтобы научиться необычному для себя раскрою или иному технологическому процессу. И все это потому, что мы платим за конечный результат всего коллектива, и им не все равно — реализуется их продукция или нет, нам об этом им напоминать не надо, это всегда отражается на зарплате. И я пытаюсь свои отношения с людьми строить на интересе, а не диктате.

Конфликты, конечно же, бывают и с рабочими, но не на такой основе, как вы предполагаете. Чаще разногласия случаются в верхах, в отношениях с пайщиками, но и тут мы всегда готовы пойти на разумный компромисс. Тех, кто хочет выйти из игры, мы не держим, возвращаем пай, тем более что желающих войти в долю хоть пруд пруди, да и не всякого мы берем, просто денежный вклад нас теперь мало интересует.



Но если конфликт становится неконтролируемым, может нанести ущерб делу, тут уж на все приходится идти. В крайнем случае обращаюсь к Ашоту и его друзьям, — бесстрастно заключил Шубарин.

— И помогает? — поинтересовался бывший прокурор.

— Мы ведь не уговорами занимаемся, — зло засмеялся Ашот.

— Но это вынужденная, крайняя мера, как я сказал, — поторопился вступить в разговор шеф, наверное, чтобы Ашот не сболтнул чего лишнего. — А что касается второго вопроса — об уязвимости айсберга и насколько я завишу от покровителей-пайщиков... Я бы ответил так: что-то добыть, что-то организовать, произвести, продать, даже с большой выгодой, это, на мой взгляд, талант мелкого махинатора, цель которого — заработать, ну, скажем, сто тысяч, двести, на большее при таких жизненных устремлениях не потянешь. Давно, когда я уже создал четкую модель своего айсберга, прочитал как-то интересную статью о японском судостроении, это одна из древнейших и одна из наиболее современных отраслей человеческой деятельности. Здесь ныне сфокусировались все достижения науки и техники.

Японцы строят в принципе непотопляемые суда. Раньше достаточно было пробоины, и корабль шел ко дну. Теперь же редко какой удар может оказаться для корабля роковым, страдает только его часть, остальные отсеки, неповрежденные, держат судно на плаву. Больше того, из соседних отсеков можно успешно устранить аварию, если не возникла паника. Еще не ведая о специфике судостроения, я создал примерно такую же модель непотопляемого айсберга. Полный расклад знают, кроме меня, двое: главный бухгалтер и главный экономист, можно сказать, мы вместе денно и нощно стоим на вахте. Но вряд ли кто принимает их за членов мозгового треста, да и мне нет резона выпячивать их роль. Даже пайщики уверены, что все сосредоточено в моих руках, хотя некоторые думают, что ответственность со мной разделяет Икрам Махмудович.

За людей, составляющих мозговой трест, я не тревожусь и доверяю им как самому себе. Нет, не потому, что запугал их или они чем-то намертво повязаны... Просто они люди умные и знают, что айсберг непотопляем. При любой неудаче, провале





страдает только какой-то участок, в конце концов, ответственность за это всегда можно принять, у кого не бывает упущений. Притом существуют разработанные нами, как на случай пожара, варианты отступления из огня — без паники. И как на японском корабле, в момент удара автоматически подключаются соседние отсеки и начинают тушить пожар, дабы не пропало и свое добро. Именно моя модель дает мне уверенность и силу, а не покровители-пайщики. Хотя их помощь нельзя недооценивать. Раньше, в пору становления, мне нужны были деньги, теперь особой надобности в них нет, колесо закрутилось, да и сырье дают под залог. Ныне нам нужны вкладчики на должностях: одни — добывающие дефицитное сырье и оборудование, другие — гарантирующие свободную, без помех, реализацию, третьи — выступающие в роли «пожарных». Вкусив выгоду, они теперь сами ищут контактов со мной. Да вы сами видели, что творилось на свадьбе. Каждый торопился засвидетельствовать свое почтение, попасться на глаза.

Артур Александрович сделал паузу и, обернувшись, посмотрел на прокурора, словно приглашая его задать очередной вопрос. Азларханов не замедлил воспользоваться этой возможностью, хотя вдали уже поблескивали огни пригородных кишлаков. Важно было удержать Шубарина в состоянии приятного возбуждения, расположенности к разговору; конечно, он понимал, что ему еще предстоит оценить эти откровения, степень их искренности, правдивости, соответствия фактам, и все же момент упускать было нельзя.

— И, тем не менее, вы развернулись не только оттого, что взяли в долг пятьдесят тысяч у влиятельного человека, получили его покровительство? Наверное, были и объективные причины для вашего быстрого роста? Я понял так, что вы не только удваивали капитал, но и удваивали, утраивали мощности производства?

Артур Александрович, явно пребывавший в хорошем расположении духа, рассмеялся:

— Если б я не знал доподлинно всю вашу биографию, подумал бы, что вы состоите в доле у себя в области у артельщиков, как называют нас в народе. У меня такое впечатление, что вы знаете ответы на все ваши вопросы. Но я шучу, ведь догадываться одно, а получить подтверждение своим мыслям,



прогнозам у человека компетентного — совершенно другое. Не так ли?

— Вполне резонно, — согласился прокурор. — Почерпнув информацию из нашей беседы, меньше буду отвлекать вас потом, когда займусь бумагами. В принципе я уже понял, что от меня требуется. — И он откинулся на спинку сиденья, предоставляя слово Шубарину.

— Да, вы правы, наличие денег и воли мало что решает в нашем деле, должны созреть объективные экономические предпосылки. Конечно, взяв на очередное удвоение капитал первого человека в области, я получил, так сказать, режим наибольшего благоприятствования в торговле. Но все это покровительство по отношению ко мне и к моему делу не стоило бы и гроша ломаного, если б рынок оказался насыщен товарами. Я и сам не однажды мучился этим вопросом, да и сейчас порой задумываюсь. Как могло так случиться, что наш рынок планомерно, из года в год все меньше и меньше насыщался товарами?

А знаете, Икрам, не мудрствуя лукаво, объясняет это так: мол, есть люди поумнее нас с тобой, которые несут в Госплан, Госснаб, Внешторг, Минторг деньги чемоданами или сумками и говорят: это не закупать, это не производить, этим не торговать, — вот и создается дефицит, напряженка, а этот вакуум, мол, заполняем мы с тобой.

Я отвечаю ему: в том-то и загвоздка, что никто никуда ничего не несет, никто на них не давит, не стоит у них за спиной Ашот с друзьями, а они тем не менее с каждым годом наращивают в стране дефицит. Тогда Икрам тут же предлагает вторую версию, он вообще скор на решения, имейте в виду.

Он говорит: если за это еще и ничего не берут, значит, наверху сидят или дураки, или враги. Видите, какую он выстраивает логику. Я, конечно, не разделяю ни первой его версии, ни второй, но и логики, здравого смысла в таком планировании и производстве не вижу.

Вот вам первая причина нашего подъема — наличие дефицита на широкий круг товаров. Вторая причина, которую я бы отметил, на мой взгляд, даже важнее первой. Это стоимость изделия, нет, не того, что производим мы, а того товара, что имеется в государственной торговле.



Сапоги меньше ста рублей уже не стоят — это, заметьте, из искусственной кожи. Дубленка импортная тянет уже тысячу, а наши, семипалатинские, казанские, на которые еще больший спрос — по шестьсот рублей. Босоножки — два шнурочка и ремешочек — пятьдесят рублей... и так все, на что ни глянь. Мужские рубашки дошли уже до двадцати рублей, а шапка из искусственного меха сравнялась по ценам шестидесятого года с ондатровой, копейка в копейку, головой ручаюсь. Шуба из искусственного меха тянет на три средние зарплаты, а мужской кожаный пиджак из лайки, а проще, из козлинки — мы шьем их тоже — так на все пять.

Поэтому ценообразование для нас не проблема, есть ориентиры. Мы, конечно, не прыгаем выше государственных, но и не отстаем, что называется, дышим в затылок. Честно говоря, радуемся каждому повышению, а наверху вроде кто-то специально прислушивается к нашему желанию и радуется нас все чаще и чаще, у нас даже есть люди, следящие за розничными ценами в торговле. Если откровенно, то именно цены и натолкнули меня на создание своего айсберга. Глядя на ту или иную вещь, я сразу определял ее стоимость и приходил в трепет при мысли о той прибыли, которую мог заполучить, организуй я ее производство. Я даже знал приблизительно, во сколько обойдется ее выпуск. Не посчитайте за бахвальство, просто это моя стихия, у меня такой дар, талант. Никакому капиталисту такие прибыли и не снятся, но опять же такую ситуацию в экономике и ценообразовании создал не я, я только пожинаю плоды.

Да, главной побудительной причиной, толкнувшей меня на деловую активность, на желание постоянно расширять, множить производство, послужила государственная стоимость товаров ширпотреба и тенденция постоянного роста цен, это как на духу.

Не будь таких манящих перспектив, сулящих необычные прибыли, я бы, наверное, так и остался где-нибудь на производстве, ну, имел бы, конечно, свои две-три тысячи в месяц, потому что человек с деловой хваткой в сфере материального производства, куда ни глянь, может найти бесхозные деньги, только пошевели мозгами.

Ну, посудите сами, был бы смысл налаживать обувное дело, если б сапоги стоили шестьдесят — шестьдесят пять рублей, а



босоножки двадцать пять — тридцать — да такое и в голову никому не придет, как говорится, овчинка выделки не стоит.

Кстати, об овчинке, она у нас дороже ясоновского золотого руна. Мы даем кассобу-мяснику за баранью шкуру пять рублей — это вдвое больше, чем платит государство. Так он и сдает ее нам в таком состоянии, в каком она нам нужна. И мы каждого из них научили, как обрабатывать ее, как хранить, снабдили и химикатами первичной обработки свежей шкуры. На дубленку в среднем уходит от восьми до десяти шкур, ну как тут удержисься от соблазна наладить производство, если мы продаем их почти по пятьсот рублей.

«Лектор» сделал паузу, — переводил дух после длинного монолога. Прокурор молчал, ожидая продолжения.

— На всякий случай, я хочу предварить один ваш вопрос, который вы, быть может, по своей тактичности и не зададите, но он витает в воздухе, и уж лучше я вам отвечу на него. Это, мне кажется, более всего необходимо перед тем, как вы приступите к делам.

Сегодня вы уже слышали обо мне: гангстер, акула, спрут. Вам, много лет отдавшему правопорядку, наверное, кажется: вот они, которые тянут нашу экономику назад, грабят народ, покупают должностных лиц, способствуют организованной преступности. Нелегко отмахнуться от справедливых, на первый взгляд, обвинений, но в том-то и дело, что мы не причина, мы — следствие, мы возникли здесь по-настоящему лет семь-восемь назад, когда созрели все предпосылки для нашей деятельности; о некоторых мы уже говорили, к некоторым еще вернемся. Если мы зло, то мы родились из зла и питаемся злом вокруг нас. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны...

Наносим ли мы вред народному хозяйству? Это как посмотреть. Когда я только начинал, меня часто мучили угрызения совести: иногда я перехватывал фонды того или иного предприятия. Я ведь знал, что фабрики эти будут лихорадить, у них будет срываться план. Но я знал и то, что в беде их не оставят, а уж рабочие тем более не останутся без зарплаты, неважно, работали они там или нет. Я не знаю случая, чтобы на каком-то заводе или стройке, в научно-исследовательском институте, фактически не работавшем по тем или иным причинам,



не выплатили зарплату. Без зарплаты могли остаться лишь мои рабочие, это уж точно, нам не из чего покрывать убытки, дотаций и субсидий нам никто не дает.

Но, когда я, став депутатом, работал в планово-бюджетной комиссии и получил доступ к информации, я ужаснулся тому, что при дефиците на многие товары ими забиты все какие только есть склады в области, и хранение их обходится в миллионы рублей. Каждый год я участвую в комиссиях, которые подписывают к списанию и уничтожению десятки тысяч пар обуви, одежды, всего и не перечесать, тысячи наименований всякого добра идет в костер. И теперь мои сожаления уже о другом: жаль, не могу использовать чужие фонды в еще больших размерах — все равно у них многое пойдет либо в огонь, либо на свалку. Когда распределяют местное сырье, нам выделяют в первую очередь, и не только потому, что я влияю на распределение, а потому что знают: заберу я — и оно будет пущено в дело, и моментально в казну поступят деньги... У вас наверняка возник вопрос: можем ли мы быть альтернативой официальной экономике?

— Да, да, я как раз хотел об этом спросить, — оживился прокурор.

— Отвечу без колебаний — нет и еще раз нет. Буду откровенен, наша продукция все же рассчитана на тех, кто слаще морковки не едал. Ни я сам, ни другие пайщики артельную продукцию не покупают. Хотя, должен оговориться, дубленку я ношу только нашей фирмы и не поменяю ее ни на канадскую, ни на французскую. Но таких дубленок у нас шьют мало, в среднем одну на семьдесят-восемьдесят, и распределяю их я сам — это мой личный фонд. Кроме того, каждый сентябрь наш заведующий скорняжным цехом Яков Наумович Гольдберг командирован в Москву — снимать мерки с должностных лиц и их домочадцев, этим людям мы обязаны фондами, дефицитным сырьем, первоочередными поставками. А отвозит готовое Файзиев или я сам. Да, кстати, зима не за горами, нужно, чтобы сняли мерку и с вас, в январе мы с вами обязательно должны быть в Москве.

Дубленки пока единственная стоящая вещь из того, что мы производим, да и то лучшее не стоит на потоке, а шьется специально в мизерных количествах, для избранных.



Мы держимся только на фоне товаров госторговли, которые не отличаются ни качеством, ни моделями, то есть опять же по пословице: на безрыбье и рак рыба. Главный наш потребитель — самая неискушенная часть покупателей, которых, к нашему удивлению, оказалось много. Их привлекает в первую очередь внешний вид товара — мы ведь зачастую имитируем какое-нибудь импортное изделие, пытаемся, несмотря на авторское право фирмы, копировать его один к одному. И такое жалкое подобие платья «от Кардена» или сапог «Саламандра» идет нарасхват.

Мои друзья шутили, когда я собирался в туристическую поездку во Францию и Германию, — мол, они позвонят в «Адидас» или самому Кардену, и меня там четвертуют за то, что я нещадно эксплуатирую название этих фирм на своих пошлых изделиях. Как ни крути, а «Адидасу» я обязан половиной своих прибылей — на что только мы не шлепаем этот волшебный трилистник.

Ну ладно, я понимаю, когда покупают настоящее изделие «Адидас» — добротное, нарядное, модное; я же ставлю только знак, словесное обозначение — и метут все подряд — магия, гипноз, волшебство, иначе назвать не могу. Вот бы нашей промышленности найти свой такой волшебный трилистник...

Конечно, мы могли бы хвалиться, что все же одеваем и обуваем людей, найти оправдание своему существованию, если бы теневая экономика не оплачивалась простыми людьми, не лежала бременем у них на плечах, но от этого факта никуда не уйдешь — мы вычищаем и без того скудные кошельки. Это мой личный и, думаю, безжалостный, социальный анализ.

Я уверен, как только в официальной экономике начнутся радикальные перемены, мы исчезнем тут же, так же незаметно, как и появились. А пока в такой благоприятно сложившейся обстановке как же нам не появиться и не процветать? Если один прокурор у нас в пайщиках сидит, другой, наподобие Хаитова, не знает, то ли дать нам пинка под зад, то ли продолжать потихоньку щипать Ахрарова, третий, простите за откровенность, вроде вас, то ли жил словно в другом мире, не ведая, что творится вокруг, либо руки у вас были связаны. Я не знаю в округе ни одного руководителя — хозяйственного или партийного, к которому мы бы искали ходы и не нашли. Ни один не попытался пресечь наши дела или хотя бы послать



нас куда-нибудь подальше. Я ведь и Ашота не создал, а взял уже готовым. Так что и тут, как ни крути, я не сеял, а пожинал плоды общей обстановки, сложившейся в крае. Ничто не произрастает на пустом месте, из зла рождается зло, и теперь, чтобы защитить себя, свои интересы, я вынужден прибегать к помощи телохранителя и даже юриста... Вот, пожалуй, из этого триединства: дефицита, стоимости и сложившейся обстановки вседозволенности, на мой взгляд, возникла и процветает теневая экономика.

— Как на академической лекции, уложились секунда в секунду, — подытожил прокурор, потому что они въезжали во двор гостиницы.

— Я нужен буду вам? — прервал свое долгое молчание Ашот, обращаясь к хозяину.

— Пожалуй, нет, понадобится — позвоню. Встретимся утром, как обычно.

## 2

Стояла уже глубокая ночь, погасли огни шумного «Лидо», в редком окне четырехэтажной гостиницы горел свет. Ночной швейцар, видимо, привыкший к поздним возвращениям высоких гостей, не задавая вопросов и не выказывая недовольства, распахнул хорошо смазанную дверь.

— Может, вы хотите перекусить, мы ведь так и не дождались свадебного плова? — спросил Шубарин. — Я думаю, в холодильнике у меня найдется что-нибудь, Адик следит.

Сидение за свадебным столом, долгая дорога туда и обратно утомили прокурора — он давно уже не жил в таком активном ритме, несколько раз за вечер пришлось принимать сердечное, но откровения Шубарина вызывали неподдельный интерес, ему хотелось задать еще два-три вопроса. Он понимал, что вряд ли скоро выпадет такой удобный случай, да и где гарантии, что тот будет так словоохотлив, как сегодня. Следовало не упускать момент...

— Есть я не хочу, а вот чаю выпил бы с удовольствием, да поздно, и заботливый Адик уже, наверное, спит.

— Ну, это не проблема, мы сейчас мигом организуем. — И как только они поднялись на третий этаж, он сказал дежурной, тут же вскочившей с дивана:



— Галочка, если не затруднит, приготовь, пожалуйста, нам самоварчик, — и, не дожидаясь ответа, широким жестом пригласил прокурора к себе.

Не менее расторопный, чем Адик, хозяин ловко накрыл на стол — в холодильнике у него действительно нашлось, чем перекусить.

Прокурор, расположившись в кресле, вытянул затекшие ноги и попытался вернуться к прежнему разговору, начатому в машине:

— Н-да-а, сегодня я многое узнал впервые, надо честно признаться. Такая лекция! Не мешало бы вам дать на время кафедру в Академии народного хозяйства.

— Думаю, меня не устроит почасовая оплата, — легко отшутился Шубарин, уходя от продолжения разговора.

Раздался стук в дверь — дежурная по этажу принесла кипящий самовар, и хозяин принялся заваривать чай, предложив на выбор индийский, цейлонский или китайский. За чаем, чувствуя, что разговор может уйти в сторону, прокурор попытался еще раз вернуться к интересовавшей его теме:

— Экономические предпосылки, способствовавшие появлению вашего дела, вы разложили мне как на ладони. Но интересно и другое: что вас побудило заняться предпринимательством, какие личные мотивы? Страсть к деньгам?

Шубарин с любопытством выслушал вопрос, мимолетная печаль проглянула в его всегда внимательных глазах, но он тут же взял себя в руки. Начал он издали, расплывчато:

— Не берусь утверждать категорически, но со стороны кажется, что у нас легче реализовать себя людям творческих профессий — тут открыты все пути, твори, дерзай. И если есть талант, как бы ни было трудно ему пробиться, все равно заметят, результат всегда говорит за себя. А что прикажете делать тому, кто наделен иным талантом — склонен к коммерции, предпринимательству? Не побоимся сопоставить несопоставимые, на взгляд обывателя, понятия... Ведь коммерция, предпринимательство не только в ранг таланта не возведены, но в сознании общества значатся занятием, недостойным порядочного человека. Оттого мы ни произвести, ни продать как следует не можем, треть жизни держим человека в бесконечных очередах.





И ведь людей, наделенных коммерческим, предпринимательским, изобретательским талантом, гораздо меньше, чем одаренных творчески. Одних писателей, говорят, официально состоящих в творческом союзе, десять тысяч, а еще тысяч сто, наверное, дожидаются очереди для вступления, а ведь это только часть творческих сил, то есть талантов, признанных официально. А художники, композиторы, артисты, певцы, музыканты, режиссеры, журналисты? Их ведь тоже у нас тьмы и тьмы, известных и обласканных.

А стране нужен один толковый министр сельского хозяйства, всего один путевый министр строительства, министр энергетики, машиностроения, путей сообщения — нужны всего-то сто талантливых предпринимателей, и мы заживем совсем по-другому. Хороших писателей чтим, художников, композиторов — чувствуем, даже футболистов знаем поименно и в лицо, но кого из технократов, что дают нам свет и тепло, мы знаем, кого помним? Пожалуй, лишь первых наркомов, а остальным, почти всем, вслед одни упреки, если не проклятия, мол, все до ручки довели.

Прокурор почувствовал по волнению собеседника, что он задел какую-то чувствительную струну; обычно сдержанный, хладнокровный, Шубарин загорячился:

— Ну, в моем случае, наверное, все более или менее ясно, теперь генетику, слава богу, никто не отвергает. Будем считать, что во мне выиграла дурная кровь. Кто мало-мальски знаком с историей этого края, тот знает, что Шубарины владели тут многим — ремонтными мастерскими, масложиркомбинатом в Андижане, доходными домами. Дед и его брат были инженерами-путейцами, учились в Петербурге. Инженером, и незаурядным, был и мой отец, он, как и я, закончил Бауманское. Да вот наглядный пример... В начале шестидесятых годов, когда вошли в быт шариковые ручки, мой отец за три дня сконструировал и за неделю изготовил полуавтомат, из которого непрерывным потоком, все двадцать четыре часа в сутки, вылетали в три стороны три детали готовой ручки, а стоила она, как помню, по тем временам семьдесят копеек, и многие годы была в дефиците. Отец шутил, что создал аппарат, печатающий деньги — так оно на самом деле и оказалось.

Отец был инженер до мозга костей, и это проявлялось даже в мелочах. Чтобы избавить нас от подсчетов, он,



рассчитав, заказал на местной картонной фабрике коробки, в которые помещалось ровно сто шариковых ручек. И задача всей нашей семьи свелась к одному — успевать укладывать их в эти коробки. В гараже у нас стояли рядом три таких полуавтомата, и, если мне не изменяет память, каждый из них штамповал в день тысячу штук, такова была их производительность. Не было проблем и с сырьем: в те годы в наших краях построили не один комбинат бытовой химии, и пластмассу — брак с этих предприятий — шоферы время от времени за бутылку водки вместо свалки завозили к нам во двор. Тогда, в шестидесятые, еще существовали официально артели, промкомбинаты, входящие в систему местной промышленности, поэтому с реализацией тоже не знали хлопот. С каждой ручки отец, кажется, имел сорок копеек дохода, выходит, только станки, стоявшие в нашем гараже, приносили ему в день больше тысячи рублей.

Отец быстро сообразил, что напал на золотую жилу, и, уже привлекая людей со стороны, изготовил еще штук тридцать таких полуавтоматов и развез их по областям республики. Не знаю, какую уж там он имел долю, но помню, что каждую последнюю неделю месяца в сопровождении двух парней, как Ашот, отец объезжал на «Волге» свои владения. Он никогда не продавал свои изобретения, а сдавал их в аренду или вступал в долю. Однажды он показал мне установку, за которую предлагали десять тысяч, казалось бы, огромные деньги, но он ее не продал, а сдал в аренду. Установка служила пять лет и принесла ему за это время сто тысяч — так он преподавал мне наглядный урок коммерции, поэтому я тоже не расстаюсь со своими изобретениями.

Мы построили в Бухаре, в старинной узбекской махалле, где некоторые старики, сидящие в красном углу чайханы, еще знали и помнили моего деда и его брата, большой каменный дом. Почему в узбекской махалле? Потому что между нами не было языкового барьера, в нашей семье все без исключения знали местный язык, эта традиция пошла от деда, и еще потому, что жизнь в махалле особая: тут не вмешиваются в жизнь соседа, но и не дадут его в обиду. Да и вокруг нас жили люди с достатком, родовитые, и мы особо не выделялись. К тому же отец никогда не скупился: щедро финансировал махаллинский



комитет, давал крупные суммы на общественные нужды и мероприятия, поэтому мы не чувствовали своей инородности, хотя и были единственной русской семьей в квартале.

Но о доме я хотел сказать только потому, что отец построил там такую мастерскую, с такими станками и сварочным оборудованием, что я не перестаю удивляться ей до сих пор. Практически, не выходя со двора, отец мог изготовить сам то, что конструировал. Можно считать, что я вырос в этой мастерской, и нет станка там, которым я бы не владел в совершенстве. Так что, как видите, у меня были все предпосылки, чтобы стать инженером... и коммерсантом...

— Выходит, он и передал вам свое дело по наследству? — уточнил прокурор.

— Да нет. Не совсем так. Отец никогда не втягивал меня в свои дела и старался, чтобы я держался подальше от них, — он хотел видеть меня настоящим инженером. Оттого я и переменил институт — о Бауманском он говорил всегда в самых возвышенных тонах, считал, что оно ничуть не уступает таким известным в мире техническим вузам, как, скажем, Массачусетский технологический.

Я точно не знаю, каким образом, но Шубарины вышли из революции без особых потерь. Конечно, все, что подлежало национализации, отобрали, но существенную часть капитала удалось сохранить — впрочем, не нам одним. Это я отвечаю на ваш вопрос относительно тяги к деньгам.

В традициях нашей семьи — основательность жизненного уклада, исключая мотовство, показуху. Мы могли позволить себе многое, но не настолько, чтобы вызывать зависть и раздражение окружающих, привлекать к себе нездоровое внимание. Того, что заработал отец, было вполне достаточно, чтобы мы с братом прожили долгую и безбедную жизнь, конечно же, правильно распоряжаясь капиталом.

Брат мой живет в Москве, его привлекла наука, ныне он заметный ученый-физик. В его судьбе родительские деньги сыграли немалую, если не главную роль — благодаря им он мог спокойно заниматься любимым делом, не отчаиваясь при неудачах, без которых немислимы настоящие исследования, и в конце концов сделал открытие, над которым бился почти двадцать лет. Я думаю, он живет счастливой жизнью.



У меня все сложилось иначе. После института я вернулся в родные края, вроде неплохо начал, стал продвигаться по службе. Но очень скоро я почувствовал потолок своего роста — большего мне не позволяли. Это как раз пришлось на годы, когда должности отдавались по родственным, национальным признакам, по принадлежности к роду, правящему в городе или области. А я был наивно уверен, что должность главного инженера завода, на котором я работал главным технологом, отойдет ко мне, как только прежний уйдет на пенсию. Причем я имел на эту должность все права, так считали и многие на заводе. Но не тут-то было... Главным инженером стал зять очередного секретаря райкома, заочно доучивавшийся в местном институте. Отца, к сожалению, к этому времени уже не было в живых, он наверняка помог бы мне пробиться, потому что прекрасно знал закулисную возню вокруг должностей, знал тех людей, которые делили места. Он видел, с каким энтузиазмом я работал, знал о моих планах реконструкции этого завода. Но что не получилось, то не получилось...

Оставшись, как говорится, у разбитого корыта, я потерял интерес к работе... А ведь совсем недавно, скажу без утайки, мечтал стать даже директором крупного завода, а может, со временем и возглавить отрасль, чтобы сравняться со своим братом, у которого к тем годам было уже имя в науке — отец, слава богу, дожил до этого часа...

Рассказывая, хозяин не забывал ухаживать за гостем — подливал чай, подкладывал закуски, печенье. Но прокурор, кажется, и забыл, что напросился на чай, так заинтересовал его рассказ Шубарина.

— ... Конечно, в нашем тогда еще небольшом городе событие это не осталось незамеченным, отца, как вы понимаете, знали, он там многим дал подняться. Тогда уже вовсю, правда, не в таких масштабах, работали всякие артели, и почти в каждой у отца имелся пай. Он предусмотрительно познакомил меня с делами, зная, что дни его сочтены, и я каждый месяц исправно получал свою долю прибыли, каждая из которых намного превышала оклад главного инженера, за место которого я бился. Но потеря этой должности, а главное — перспектив роста выбила меня из колеи, и для всех это было очевидно.



С уходом из жизни отца, казалось, что-то умерло и в деловой жизни нашего города — мне об этом не раз с сожалением говорили. Однажды пришли старые компаньоны отца с какой-то безумно дерзкой авантюрой и попросили меня как инженера обсчитать свои предложения, короче, пришли с тем, с чем раньше приходили к отцу.

Месяц я бился не только с расчетами, но и с самим проектом — от него только идея и осталась. Воплотить без меня результат в металле они не могли, хотя и пытались, и опять пришли ко мне на поклон. Я, как и отец, отказался от предложенных денег, а потребовал половину доли за эксплуатацию моего детища; скрепя сердце они согласились, уж слишком выгодной оказалась штука. За три месяца я выполнил заказ — и расстался с заводом без особого сожаления. Устроился механиком с окладом девяносто рублей на одну из фабрик местной промышленности. От вынужденного безделья, на одном чистом энтузиазме, я принялся за модернизацию тех маленьких цехов и предприятий, где у отца был пай. Меня охотно подпускали к делам, ведь я занимался только тем, что ускоряло выход и улучшало качество изделия, такой подход устраивал всех. Мой инженерный зуд не давал мне покоя. Работа увлекала, тем более что результат был налицо.

Меня заметили в управлении местной промышленности, предложили возглавить реконструкцию обувной фабрики, выпускающей ичиги, кавуши, женские и мужские туфли, традиционные для Востока. После реконструкции резко обновился ассортимент: вместе с национальной обувью мы стали выпускать обувь на платформе — помните, была такая тяжеловесная мода? — стали ориентироваться на молодежные изделия, — в общем, дела на фабрике круто пошли в гору.

В ходе реконструкции, когда я дневал и ночевал на фабрике — а она находилась в райцентре, в шестидесяти километрах от Бухары, — я понял, что нашел свое место в жизни, здесь я мог развернуться куда масштабнее, чем на заводе, где так и не стал главным инженером.

Тут уж разыграло мое инженерное тщеславие, как ни смешно звучит это слово в наших занятиях. Не поверите, но, чтобы двигалось порученное мне государственное дело, я вложил немало своих средств, зато выиграл самое бесценное — время,



тем самым приблизив результат — выход готовой продукции. Видел я и другое: как без особого риска смогу изъять, вернуть с прибылью вложенные в реконструкцию деньги, лишь только производственная машина наберет заданный ей ход.

Наверное, в немалой степени успеху способствовало и то, что я хорошо знал не только явную, но и тайную жизнь бесчисленных предприятий местной промышленности, меня сложно было провести, я был осведомлен об истинных возможностях каждого станка, каждого цеха и, владея почти везде определенным паем, скоро прибрал все к своим рукам. Никто не ожидал от меня такой прыти, ведь мне еще не было и тридцати. Однако тогда я меньше всего думал о деньгах, я создавал свою отрасль, или, как говорит Файзиев, — свою империю. Меня пьянила моя творческая свобода, возможность самостоятельно принимать решения и... рисковать, ведь я не однажды ставил на карту почти все, что имел. А это — неизведанное чувство для руководителя обыкновенного предприятия. Худшее, что может с ним случиться, — снимут с работы, а вот прогореть, потерять свои деньги, на которые можно было бы безбедно прожить десятки лет, этого он никогда не узнает. Только ныряя в такие бездны риска, становишься настоящим хозяином, понимаешь всю цену ответственности, но уж и выигрыш тут иной — двойной, тройной...

Прокурор, почувствовав, что Шубарин вновь, как и в машине, увлекся, сел на любимого конька, уточнил:

— Значит, вы, как и ваш дед, через полвека стали миллионером? Наверное, стояла и такая цель?

Артур Александрович, доливая воды в электрический самоварчик, неопределенно пожал плечами.

— Да нет, ни дед мой, ни его брат не были миллионерами. В ту пору деньги имели очень большую цену. У нас сохранились кое-какие бумаги, я их изучил... Хотя владели дед с братом многим и многое от них осталось на земле и служит людям до сих пор. Тот же масложирокомбинат в Андижане, доходные дома, которые ныне, как архитектурные памятники старины, взяты государством под охрану, а на базе ремонтных мастерских в Ташкенте выросли заводы.

Не скрою, у меня есть миллионы, может, даже их три-четыре. Немудрено, если я кое-кому делаю за три года из



пятидесяти тысяч двести, правда, такой прирост только у него одного, ему положено по рангу... Но скажите, какой толк от этих миллионов? — вдруг спросил он, в свою очередь, прокурора.

Азларханова удивила неожиданная горечь в тоне Шубарина. До сих пор он казался ему человеком сугубо деловым, лишенным каких-либо сантиментов. А вот поди ж ты... хозяин, кажется, уловил это во взгляде, в выражении лица гостя.

— Да-да, не удивляйтесь... Я веду скромный образ жизни: не курю, пью крайне редко и умеренно, не чревоугодник, не играю в карты. Хотя меня окружают разные люди, чьи нравственные принципы я не всегда разделяю. У Икрама Махмудовича, например, две жены, и все его страсти влетают ему в копеечку. Из-за риска, своеобразия нашей работы я вынужден порой терпеть возле себя людей, которых в иной ситуации и на пороге своего дома не пустил бы. У меня нет ни явных, ни тайных страстей, правда, я собираю картины, и есть кое-что поистине удивительное. — Он неожиданно оживился, словно прикоснулся к чему-то дорогому, заветному. — Есть две картины Сальваторе Розе, наверное, они попали сюда во время войны, с беженцами, а может, еще раньше, до революции. Правда, большинство картин — неизвестных мастеров, хотя есть пять полотен Николая Ге, ведь его дочь закончила в Ташкенте гимназию. Я бы с удовольствием пригласил экспертов, наверное, многое бы прояснилось, так ведь нельзя, все держится в тайне, взаперти, как у вора. Я даже не могу совершить жест благотворительности и перечислить крупную сумму, скажем, детдому; не могу ничего и завещать после себя открыто, а анонимно не хочется, душа не лежит, мне ничего легко не доставалось. А вы говорите: страсть к накопительству. Ничего я не коплю! Я работаю, а деньги множатся сами собой, и уйти от дела нет сил: я запустил машину, а она не отпускает меня, заколдованный круг — не вырваться.

Я знаю, изменись что в стране, я пойду под вышку, под расстрел, знакома мне такая статья: «Хищения в особо крупных размерах».

Не хочу хвалиться, но я не боюсь ответственности, потому что воспринимаю возмездие как плату за реализацию своих творческих возможностей, за это часто расплачивались жизнью, такова судьба многих незаурядных людей.



Странно, но в этих словах прокурор не уловил ни наигрыша, ни позерства. Кажется, Шубарин был с ним предельно откровенен.

— Обидно только вот за что: ведь ничего в жизни я не разрушил, не развалил, не загубил, не довел до ручки — я только создавал и множил, создавал добро в прямом смысле.

А ведь куда ни глянь — тьма иных примеров. Можно поименно назвать всех, кто загубил тот или иной колхоз, совхоз, завод, фабрику, комбинат, институт, газету, отрасль, наконец, загубил землю, убивает озера и реки, сводит леса, выпускает телевизоры, от которых горят дома и гостиницы, — так им все как с гуся вода. Никого из них не постигла суровая кара, — в голосе хозяина прорвалась нота горечи.

— Вы можете мне не верить, дело ваше, но скажу честно: истинную радость я получил не от денег, а реализуя свой талант инженера и предпринимателя, и этим я обязан теневой экономике. — Он помолчал, точно раздумывал о чем-то, и все же решился — скорее всего, ему надо было выговориться перед кем-то, а бывший прокурор представлялся идеальным слушателем. — Я был бы неискренен, если бы не сказал об удовлетворении еще одного, не самого достойного для человека чувства... Как бы это понятнее объяснить?.. Я щедро кормлю свое чувство презрения, держа в зависимости от моих подачек многих здешних партийных бонз. Если Икрам любит, когда перед ним выламываются танцовщицы, выпрашивая у него купюру покрупнее, то я получаю удовольствие от «танцев» продажных руководителей, стремящихся выцыганить у меня то же самое, что и полуголые танцовщицы. Это — моя месть за то, что не дали мне возможности состояться как инженеру в легальном, что ли, мире. Ведь в большинстве своем это как раз те люди, что заправляют кадрами и экономикой. Ни одному из них, кроме Первого, конечно — тот мужик крутой, настоящий хан, — я не дал взятки или пая, не унижая.

Например, мне доставляет удовольствие приглашать за мздой одновременно человека, ведающего правом порядком, контролем, и какого-нибудь крупного чиновника. Оба догадываются, за чем пришел каждый из них, но ведут такие высокопарные беседы — скажем, о предстоящем идеологическом пленуме... Бывает, у одного в это время конверт уже в кармане, а купюры





как раз «попались» мелочью, вроде десяток или четвертных. И вот сидит он с оттопыренным, распухшим карманом и, не моргнув глазом, рассуждает о партийной честности, морали, нравственности. Если когда-нибудь мне предъявят обвинение в организации теневой экономики в крае, я, пожалуй, буду настаивать, чтоб признали мое авторство в создании такого постоянно действующего «театра марионеток», моего особо любимого детища, где я был и остался полновластным и бессменным режиссером, почище Станиславского. В этом театре я видел такой моральный стриптиз, что определение «циничный» здесь звучит просто ласково. Если что и должно караться сурово, так это подобное идеологическое перерожденчество. И в руках таких политических хамелеонов судьба не только экономики края, но и людей...

— Да вы просто Мейерхольд экономики, — постарался попасть в тон прокурор, но Шубарин шуточки не поддержал, он был весь во власти одолевавших его мыслей; не исключено, что он выплескивал их в первый раз.

Гость еще раз отметил, что Шубарин не только не боится, но и не стесняется его — это говорило о многом, и прокурор поежился. Явно не такой был человек Артур Александрович, чтобы дать уйти каким-то сведениям о себе куда бы то ни было.

Не мог не отметить бывший прокурор, что страсть, захлестнувшая сегодня хозяина номера, несколько иначе высветила сдержанного, уравновешенного, всегда владеющего собой Шубарина. Он успел увидеть жесткое, волевое лицо бескомпромиссного человека с холодным рассудком и вполне определенным взглядом на жизнь, внушающего, однако, другим, что якобы компромисс — главный принцип его действий, а сам он — неудавшийся главный инженер, всего лишь. Прокурору вдруг вспомнился ночной посланник Бекходжаевых: что-то в них было общее. Прокурор не хотел сейчас отвлекаться от разговора, чтобы додумать мысль, доискаться, в чем же это сходство, но одно напрашивалось само собой: Шубарин был такой же, если не более страшный человек, как и тот ночной гость.

Неожиданно прорвавшаяся в речи Шубарина страсть могла, пожалуй, вылиться и в еще большую откровенность; хотя гость очень устал и болело сердце, но он не хотел заканчивать беседу.



— Так все же, какой из талантов вы считаете важнейшим в своем деле: талант инженера или предпринимателя?

Увлечшись разговором, они забыли про кипящий самовар. Извинившись, хозяин стал вновь заваривать чай, словно выгадывал несколько минут для ответа...

— Как это ни парадоксально, но теперь, когда предприятия набрали темп и мощь, когда нет недостатка в средствах, менее всего наше благополучие зависит от инженерного таланта и предпринимательской хватки.

Собеседник удивленно приподнял бровь, на что Шубарин откровенно усмехнулся.

— Да, да, не удивляйтесь... На сегодня самый главный талант состоит в том, чтобы защитить, уберечь достигнутое, обеспечить безопасное производство, а главное — реализацию.

— От кого же? — уточнил бывший прокурор, глядя, как струйка пара поднимается над чашкой.

И опять хозяин номера не удержался от усмешки, но было в ней уже что-то жесткое и злое.

— Прежде всего от многих «актеров» моего уникального театра, а еще больше от тех, кому там не досталось роли, — театр-то у меня все-таки камерный и народным по составу вряд ли когда станет.

— Скорее всего — никогда, — не сдержался гость и тут же пожалел об этом.

Шубарин едко прищурился, испытующее глянув на прокурора.

— Вы полагаете?.. Ну, пусть даже так... Но вы не можете себе представить, как разбух сейчас бюрократический аппарат: я вынужден кормить всех — от пожарного инспектора до санитарного врача, хотя и не производжу продуктов питания. А ведь им есть куда приложить свои усилия и кроме моих предприятий, ну, скажем, открыть в городе хоть одну по-настоящему приличную столовую, где можно, не боясь отравиться, пообедать, или, простите, хоть один общественный туалет, не унижающий человеческого достоинства гражданина великой страны. Впрочем, я, кажется, слишком многого хочу... В общем, помочь мне не может никто, а вот помешать, запретить — сотни людей и организаций, и за всем этим стоит одно — дай! Но если корову доить десять раз в день, даже



самая породистая и двужилбая может вскоре протянуть ноги, не так ли?

Не менее тревожной для меня становится и проблема все нарастающего роста преступности и наркомании. Наверное, вы, как прокурор, не могли не почувствовать, что с ростом числа миллионеров в нашем крае — хлопковых, золотодобывающих, каракулевых, тех, кто контролирует производство и сбыт наркотиков, миллионеров из органов, из хозяйственной и партийной элиты, из теневой экономики и прочих и прочих нуворишей — сюда потянулись преступники со всей страны, и приезжают они с серьезными намерениями. И моя задача оберегать не только себя, но и людей, работающих со мною, обеспечить им и их семьям покой.

И если, прежде чем выстроить свой айсберг, я когда-то изучил право и экономику, то в последние годы ради своего существования я вынужден был изучать и преступность. И смею думать, что располагаю гораздо большей информацией — а в данном регионе и силой, — чем прокурор нашей республики и даже министр внутренних дел. Например, в прошлом году люди Ашота обезвредили банду из Ростова, прибывшую по мою душу или по душу моих компаньонов. Я встречался с ними, когда мои ребята задержали их, — мрачные типы, кроме силы, они ничего не понимают. Не проходит и месяца, чтобы не появлялись все новые люди, пытающиеся шантажировать меня, моих сотрудников или членов их семей, с этим мы тоже боремся, и, могу вас заверить, весьма эффективно.

— Выходит, вы дон Корлеоне, Крестный отец? — спросил прокурор, постаравшись скрыть усмешку.

— Выходит, что так. Вы быстро освоились с моей видеотекой, — улыбнулся Артур Александрович. — Теперь я уж и сам не понимаю, какой талант в жизни действительно более важен, хотя меня и не радует, что прокурор Хаитов побаивается меня, ведь он далеко не трус. Я бы не хотел такой зловещей популярности.

Разговор делался все более напряженным, и гость подумал, что пора бы остановиться: дальнейшее любопытство могло привести к непредсказуемому результату. И так он получил массу информации, которую еще необходимо переварить.



— Я замучил вас сегодня вопросами, вы уж извините. Не хотел бы больше злоупотреблять вашим гостеприимством и откровенностью... Завтра у вас — впрочем, уже сегодня — напряженный день. Да и мне выходить на работу, потому разрешите поблагодарить за столь насыщенный и приятный вечер и откланяться...

Хозяин тайного синдиката бросил взгляд на часы и удивился:

— Да, скоро светать начнет, — сказал он со странным сожалением — ему, кажется, не хотелось расставаться с гостем, словно он спешил выговориться, исповедаться.

«Что бы это могло значить? — мелькнула у прокурора мысль. — Минутная слабость? Расчет? Искреннее желание заполучить в деле надежного союзника, для которого деньги не играют особой роли в жизни? Или он, как и я, чует грядущий ветер перемен в общественной жизни и хочет сам подпалить свой «театр» со всех сторон? Хлопнуть напоследок дверью?» Об этом еще предстояло поразмыслить.

— Это вы извините меня, ради бога, что заговорил вас. Я ведь знаю, что вы живете в определенном режиме, а я сегодня лишил вас не только прогулки, но и сна. Неделю назад, в первое наше знакомство, я заверял вас, что мы будем всячески оберегать ваше здоровье, а сам, выходит, не держу слова. Хотя я рад, что так вышло. Кажется, я никогда в жизни не был столь многословен. Как говорят женщины: наболело...

— Ну что вы, мне было очень интересно... — не кривя душой, заверил Азларханов.

Шубарин опять глянул на часы:

— Сейчас уже почти утро. Вы отдохайте, затем, как обычно, обед у Адика, а после обеда я представлю вас на работе, к этому времени подготовят ваш кабинет, я распорядился там кое-что изменить...

### 3

Прокурор проспал почти до обеда, и крепкий сон восстановил его силы. Принимая душ, он подумал, что, пожалуй, придется привыкать и к ночной жизни, коли уж взялся выяснить истинные размеры айсберга и выявить по возможности всех актеров уникального театра Шубарина.



Зная пунктуальность шефа, прокурор спустился вниз точно в назначенное время. Шубарин уже сидел за столом и подливал помятому после бессонной ночи Икраму боржоми в тяжелый хрустальный бокал — чувствовалось, что Файзиев появился лишь минутою раньше. Перекинувшись с шефом двумя-тремя фразами, зам от обеда отказался и ушел отдыхать.

Глядя на Шубарина, никто бы не предположил, что у него за плечами бессонная ночь, а до обеда он уже провел в трех местах планерки, посетил два ремонтных завода и нанес визит в горисполком.

Ритуал обеда, похоже, тоже был выработан давно и носил деловой характер; суеты не было: все чинно, размеренно, но в этой размеренности чувствовался ритм. На обед они затратили ровно столько времени, сколько и в первый раз. Прокурор обратил на это внимание — отныне он должен был свыкаться с ритмом жизни своего нового начальства.

Когда они поднялись из-за стола, прокурор обратил внимание, что Ашот тоже в зале, и обедал он за тем же столом, где и в прошлый раз. Видно, Артур Александрович все, что мог, доводил до автоматизма, подвергая любую мелочь тщательному учету и анализу, ничто в его поступках не было случайным, и это следовало учитывать, если задумал разобраться в конструкции его системы...

— Давайте прогуляемся до службы пешком, вам ведь вчера не удалось погулять, — предложил Шубарин и подал знак Ашоту, уже дожидавшемуся их в машине. «Волга», медленно вырулив на дорогу, тут же уехала. — Это совсем недалеко, да и после обеда пройтись не мешает.

Идти пришлось действительно недолго и не совсем туда, куда предполагал прокурор.

Они подошли к внушительному зданию бывшего рудоуправления.

Поднявшись по мраморной лестнице, прокурор увидел респектабельную, золотом на граните вывеску: «Управление местной промышленности».

— Да, теперь это наше здание, — подтвердил не без гордости Шубарин, заметив удивление на лице своего юриста.

Поднялись на второй этаж, в просторную приемную, где слева и справа располагались кабинеты бывших руководителей



рудоуправления. На массивной дубовой двери столяр прилаживал ярко начищенную бронзовую табличку: «Азларханов А.Д.». На противоположной двери значилось: «Шубарин А.А.». Туда и пригласил хозяин своего нового юриста.

«Помещение явно не по рангу. И тут наш «хозяин» пожирает то, что не сеял», — успел подумать прокурор, переступив порог роскошного кабинета.

Но у шефа, видимо, день был расписан по минутам — он не дал возможности ни толком разглядеть кабинет, ни порассуждать о нем, тут же распорядился по селектору:

— Татьяна Сергеевна, будьте добры, пригласите тех, кому я назначил на четырнадцать двадцать. — Обернувшись к прокурору, пояснил: — Сейчас я представляю вас нашим главным специалистам, они помогут вам войти в курс дела. Есть несколько неотложных исков по штрафным санкциям к поставщикам, есть материалы, которые, на мой взгляд, стоит передать в Госарбитраж; но таких дел мало, и у вас будет время спокойно ознакомиться и со структурой, и с отчетной документацией. Если что будет не ясно, эти товарищи помогут разобраться.

Распахнулась высокая дверь, вошли двое. Первым шеф представил Александра Николаевича Кима, а вторым — Христоса Яновича Георгади. У каждого в руках было по три-четыре увесистые папки.

И главный бухгалтер, и главный экономист управления оказались людьми преклонного возраста, чего прокурор никак не ожидал. Не исключено, что старый кореец застал еще времена нэпа, по крайней мере, имел о них не книжное представление, в этом можно было не сомневаться.

Георгади, судя по выговору, принадлежал к тем грекам, что приехали к нам в страну в конце сороковых. Этот тоже, видимо, знал рыночную экономику отнюдь не по учебникам, да и «Капитал» Маркса, наверное, трактовал несколько иначе, чем предполагал автор.

И прокурор лишний раз убедился, что айсберг Шубарина, безусловно, создан с умом и потопить его будет непросто. В таком составе мозговой трест, конечно, представлял силу, нешуточную силу, таких голыми руками не возьмешь.

Вся церемония знакомства прокурора с высшим советом управления заняла не больше десяти минут. Оставив папки с



документами для ознакомления новому юристу, старики удалились, пообещав ему всяческое содействие в работе.

— У вас, я вижу, интернациональный коллектив, — не преминул заметить Азларханов, надеясь, что хозяин кабинета несколько шире представит своих главных специалистов.

Но Шубарин, видимо, в рабочее время редко пускался в пространные разговоры, ответил коротко:

— Видите ли, у меня несколько иной принцип подбора кадров, чем в обкоме. Я не раздаю должности ни по номенклатуре, ни по связям, тем более для меня не важен пятый пункт в анкете, то есть национальная принадлежность, — я подбираю людей по деловым качествам, иных критериев у меня нет. И пусть моему бухгалтеру уже восемьдесят, я не променяю его и на двух сорокалетних и мирюсь с тем, что он работает два-три часа, да и то не каждый день.

Наверное, заметив, что юрист удивлен краткостью процедуры представления, счел нужным добавить:

— Не удивляйтесь, что они ничего у вас не спрашивали. Они прекрасно знакомы с вашим досье, я не один решал, приглашать вас на эту должность или нет. Они знают, чем вы будете заниматься, и чего мы от вас хотим. А теперь я покажу ваш кабинет, и приступайте... с богом...

Шубарин поднялся из-за стола, чтобы помочь прокурору перенести оставленные для него папки.

Столяра в приемной уже не было. Послеобеденное солнце било в окно, надраенная табличка с его именем сияла отражением. Привинчено было основательно, на четыре медных шурупа. «Надолго ли? — мелькнула у прокурора тревожная мысль. — С Шубариным шутки плохи».

А тот широко распахнул дверь:

— Добро пожаловать, — и пропустил юриста первым.

Кабинет по размерам, по убранству походил на тот, из которого они только что вышли, но там чувствовался стиль самого хозяина — он был строг, официален, а этот как бы еще не имел лица.

Прокурор положил папки на двухтумбовый стол, крытый зеленым сукном, и огляделся. И сразу же на боковой стене, как прежде у себя в прокуратуре, увидел привычный рекламный плакат выставки Ларисы. Он невольно шагнул к стене и



долго молча вглядывался в лукавое лицо старика на ишачке, возвращающегося с базара с голубым ляганом. Неожиданное волнение охватило бывшего прокурора; не оборачиваясь, он глухо сказал:

— Спасибо, я тронут вашим вниманием. — Затем, возвратившись к столу, спросил: — Если не секрет, кто занимал этот кабинет до меня?

Шубарин, поправляя белые сборчатые занавески, очень красивые высокое окно, ответил:

— Никакого секрета здесь нет. Раньше тут сидел Икрам. — Заметив удивление юриста, пояснил: — Нет, это не должно вас волновать. Он даже рад, что так вышло. Мне кажется, он всегда тяготился соседством со мной. Ему хотелось иметь свою приемную, собственную секретаршу. Человек он шумный, общительный, у него всегда много народа, у меня же несколько иной стиль, и порою он чувствует мое недовольство. Иногда, я догадываюсь, он не хотел, чтобы я видел и знал, кто к нему приходит. Татьяна Сергеевна всегда на работе, даже если меня не бывает неделями, и он просто мечтал уйти из-под такого контроля. Хотя я, разумеется, знаю обо всех его делах, которые он проворачивает за моей спиной.

— Например, если, конечно, это не какая-то тайна? — поинтересовался прокурор.

— Пожалуйста ... Например, он завел свой частный таксопарк: купил десять «жигулей», и молодые люди денно и ночью лавчат на него. С властями у него проблем нет, его старший брат — начальник областного ГАИ.

— Интересно, что же он с этого, кроме хлопот, имеет?

— Да вы знаете, немало. Ежедневно каждый должен выплачивать ему по пятьдесят рублей, почти государственный тариф. Это из расчета трехсот рабочих дней в году. Работал, не работал — это ваше личное дело, и так в течение трех лет, после чего машина переходит в собственность таксиста. Все проблемы, связанные с ремонтом, эксплуатацией, резиной, бензином, его не касаются, он вмешивается только в случаях скандала или аварии. Машина окупается и приносит доход в пять тысяч рублей уже на первом году, а дальше в течение двух лет ему лично идет чистая прибыль: с десяти авто — пятьсот рублей в день.





— Ну и хват! — невольно вырвалось у прокурора.

— Ну, я бы так не сказал, — ответил шеф. — Просто он происходит из рода, что правит в области, наподобие Бекходжаевых, с которыми вы имели счастье столкнуться. И мне навязали его уже на готовое. Конечно, он по-своему деловит, энергичен и годится для реализации чужой идеи, но все-таки нас кормят сами идеи, а за реализацией у нас дело не стоит. Так что он не в претензии, что перебрался на третий этаж и будет жить, как ему кажется, независимой от меня жизнью — в этом здании места всем хватит.

Обживайте кабинет, если нужно что-то изменить, добавить или убавить, захвоз в вашем распоряжении. Чувствуйте себя в нашем управлении как дома. Ну, а сейчас не буду вас отвлекать от дела. Если не забыли, мне предстоит долгая дорога, чтобы вновь встретиться сегодня с прокурором Хаитовым; честно говоря, жалею, что вас не будет рядом в машине, мы бы нашли, о чем поговорить. — И Шубарин направился к двери. Уже взявшись за массивную ручку, он вдруг замешкался, вновь вернулся к столу. — Как бы много мы ни говорили вчера с вами, да и сегодня тоже, я все-таки не сказал вам главного. А главное, ради чего я привлек вас к работе, заключается вот в чем... — Он помедлил, раздумывая.

— Я вас внимательно слушаю, только разрешите, я сяду... — Азларханов выдвинул из-за стола массивный стул.

— Пожалуйста, — спохватился Шубарин. — Прошу вас... Видите ли, дело вот в чем... Наше управление росло и развивалось стремительно, и многие свои действия мы не подкрепляли нормативными актами, приказами, отчасти от незнания, спешки, случалось, и из-за низкой правовой культуры организаций и ведомств, которым мы подчинены. Я не живу одним днем, и сегодня отсутствие каких-то документов не беда, все легко уладить — тем более, в моем распоряжении могучий клан Файзиевых. Но нужно смотреть дальше, вглубь, когда обстановка вокруг может измениться. И я не хочу в той изменившейся обстановке отвечать за все один. Вы улавливаете мою мысль?

Прокурор согласно кивнул.

— Я думаю, это справедливо, если каждый будет отвечать за себя. Я хотел бы, чтобы такие юридические документы были составлены не только касательно нашей внутренней жизни —



их будет, конечно, более всего, но чтобы, пусть и запоздало, появились юридические документы относительно планирующих и контролирующих нас организаций, всех, кто стоит над нами. И чем больше будет таких документов и организаций, с нами связанных, тем лучше. Если вы подготовите такие документы, где — конечно, юридически тонко — будут отражены наши интересы и ответственность каждого, без особого труда и проволочек тут же проведу их в жизнь.

Шубарин испытующе смотрел на прокурора, осознал ли тот, чего от него хотят, и уловил понимание в его внимательных глазах.

— Я хочу отвечать только за себя, — жестко заключил шеф. — И не желаю, чтобы мои прегрешения перед законом тянули на самую суровую меру наказания. Вот для чего, если откровенно, мне понадобились ваши знания, опыт и авторитет. — Сказав это, он решительно направился к двери...

Прокурор успел отметить, что этот пространный монолог не был монологом испугавшегося человека, — скорее, знающего, чего он хочет, далеко наперед рассчитывающего свои ходы.

Оставшись один, Азларханов еще раз оглядел свой новый кабинет, заглянул в пустой сейф, обратив внимание на сложную систему запоров, подошел к окну. Окна выходили на площадь; внизу, у подъезда, машины Ашота уже не было.

Прокурор перебрал восемь папок, лежавших на столе, как бы раздумывая, с которой начать. Он прекрасно понимал, что уже в ближайшую неделю необходимо выдать какой-нибудь документ, и эта бумага должна была поднять его авторитет и в глазах Шубарина, и в глазах двух главных финансистов управления, которые, кажется, несколько скептически отнеслись к приглашению юриста в свои ряды. Но последний спич Шубарина прояснял его роль до конца. Уж, конечно, им, своим компаньонам, он не разъяснял основную задачу юриста в деле, как обрисовал ее пять минут назад. Откровенничая во многом, он даже при верноподданном Ашоте не сказал, что главная цель юриста — отвести ответственность от него самого и по возможности распределить ее на большее количество людей, особо не боясь перегрузить того же Файзиева.

Он еще раз подумал о дальновидности Шубарина: два старичка, помогавшие ему создать «айсберг» и до сих пор



являющиеся его главными экономическими советниками, вряд ли могли быть привлечены к ответственности, и, в случае чего, весь удар пришлось бы принять ему, а он, естественно, этого не хотел.

Взяв наугад первую папку, прокурор приступил к изучению документов. Уже через час ему понадобилось кое-что выписать — вопрос следовало прояснить у главного бухгалтера. Работа продвигалась, и скоро на столе лежали отдельные листы с вопросами и к Христу Яновичу, и к Файзиеву, и к самому Шубарину. Время от времени его отвлекали телефонные звонки — судя по молодым женским голосам, звонили Икраму, и отнюдь не по делу. К концу дня звонки так участились, что прокурор был вынужден отключить телефон.

Лишь однажды отвлекла его Татьяна Сергеевна, она принесла ему чай, весьма кстати. Уходя с работы, она поинтересовалась, долго ли он еще задержится, и оставила ключ от приемной, наказав забрать его с собой и ни в коем случае не оставлять внизу на вахте.

Увлечшись, прокурор не заметил, как за окнами стемнело; он успел просмотреть лишь три папки из восьми, — впрочем, к каждой из них ему еще предстояло не раз возвращаться. Ему хотелось как можно скорее разобраться с делами, вникнуть в суть, потому что не был уверен, что ему долго удастся играть свою роль и водить за нос Шубарина. Оттого решил одолеть еще одну папку, а затем пешком вернуться в гостиницу. Шеф к этому времени наверняка уже будет у себя в номере, и можно будет вопросы, адресованные ему, задать уже сегодня. Четвертая папка оказалась весьма любопытной, прокурор уже начал понимать структуру снабжения и списания материалов — и незаметно для себя он потянулся к следующей, самой толстой, не отдавая себе отчета в том, что часы в углу пробили полночь.

Неожиданно на лестнице послышался какой-то шум, топот шагов стремительно поднимавшихся людей, раздались возбужденные голоса в приемной, и тут же распахнулась дверь. Первым в кабинет ворвался Ашот, за ним Икрам и бледный от волнения Шубарин.

— Да вот он, жив-здоров, работает, как и положено деловому человеку! — возбужденно выпалил Ашот.



На радостях он, кажется, готов был обнять прокурора — наверное, свою долю взбучки он уже получил по дороге.

Все взгляды потянулись к шефу. Артур Александрович подошел к столу и, устало опустившись в кресло, услужливо придвинутое Ашотом, сказал ничего не понимающему прокурору:

— Извините, ради бога, действительно нелепо получилось. Приезжаю, поднимаюсь к вам, хочу поделиться радостью и поблагодарить вас — с Хаитовым уладили дела в лучшем виде, а вас нет дома. Спрашиваю у дежурной — говорит, не приходил. Иду к Адикю — говорит, не ужинал. Звоню — никто не отвечает... Ну, я подумал, не случилось ли с вами чего, объявил тревогу. Гляньте на часы, уже полночь. Все в машину — и сюда. Вахтер спит, говорит, не знаю никакого юриста, все давно ушли, впрочем, он вас точно не знает.

Тут уж рассмеялся прокурор...

— Не ожидал такой заботы, честно говоря.

— А почему телефон не отвечал? — спросил Ашот, подошел к аппарату, потряс его.

— Да замучили поклонницы Икрама, мешали работать, звонили каждые пять минут, вот и вынужден был отключить.

— Все хорошо, что хорошо кончается, — подытожил шеф. — Но я не люблю зависеть от случая, это мой принцип. Завтра же с утра решите вопрос с телефоном, а то будут мучить человека еще год. — Он обернулся к своему шоферу: — А ты, Ашот, немедленно реши вопрос с Коста: или пусть приезжает завтра, или подбери другого человека — мы не можем так работать, сегодняшний случай пусть для всех будет уроком. Я не могу в нашем деле рисковать ни одним человеком. Тем более тем, который еще не сделал главного дела своей жизни.

Часа через два, когда прокурор входил к себе в номер после позднего ужина в компании своих новых сослуживцев, он размышлял: «А была ли опасность извне? Или Шубарин больше испугался того, что я исчез с документами, уже владея достаточной информацией, чтобы начать раскручивать клубок?» Испугался он, точно, — прокурор ясно видел волнение на обычно бесстрастном лице теневика. Как и неподдельную радость, когда юрист оказался на месте.

Трудно было прокурору понять, что же все-таки крылось за этим, какую роль он играл в чужой игре, почему его так



оберегали? Чтобы он успел сделать «главное дело своей жизни», как выразился шеф... Намек на Бекходжаевых, на месть? А какое им дело до его личной боли? С чего бы вдруг, почему такая трогательная забота и внимание? Но какие бы вопросы он ни задавал себе, Азларханов понимал, что сегодня ему еще не ответить ни на один из них, придется терпеливо ждать. Правда, один вывод он мог сделать безотлагательно: теперь за ним будет глаз да глаз, Шубарин прекрасно знал, во что может ему обойтись отступничество нового юрисконсульта. После ночного инцидента мог появиться еще один нюанс в отношениях с шефом: скорее всего, вряд ли возможны в дальнейшем столь откровенные беседы, как в последние дни. Но тут дело за самим прокурором: он должен как можно быстрее подготовить ряд документов, доказывающих, что Шубарин не ошибся в своей тайной стратегии: только это может поднять цену юрисконсульта в глазах настороженных пайщиков, ослабить их внимание. С этой мыслью он и отправился спать...

## 4

Наутро, отказавшись от машины, прокурор пешком отправился в управление. Сегодня он решил отменить знакомство с бумагами, а сделать что-нибудь реальное, поэтому сразу попросил в бухгалтерии документы, связанные со штрафными санкциями к поставщикам и делам, что следовало передать в арбитраж, — и то, и другое ему было хорошо знакомо по трем последним своим службам в должности юрисконсульта. Он снова так увлекся работой, что проворонил время обеденного перерыва, — оторвал его от дел телефонный звонок, первый за весь день. Звонил Шубарин:

— Амирхан Даутович, у нас, как и на всех предприятиях, действует трудовое законодательство, охрана труда, и обеденный перерыв никто не отменял. Опять же оценка деятельности у нас не по выработке часов, а по результату, так что бросайте бумаги и выходите — сейчас за вами подъедет машина. Мы тоже спускаемся к Адику. Обед — дело святое...

Когда Азларханов вошел в зал, сослуживцы уже сидели за столом. Рядом с Шубариным расположился довольно молодой мужчина, франтовато одетый, в крупных дымчатых очках, красивших его жесткое, с волевым подбородком лицо.



— Знакомьтесь, это наш долгожданный гость, — представил соседа шеф.

Прокурор протянул через стол руку и назвался. Гость привстал и отрекомендовался несколько странно:

— Меня зовут Коста.

Амирхану Даутовичу на миг показалось, что ему знаком голос этого человека, да и внешность как будто тоже, но крупные очки скрывали пол-лица, а главное — глаза. Однако прокурор не произнес, как ему показалось, ожидаемых за столом слов: а мы с вами где-то встречались, — торопиться ему было некуда.

Но тут не выдержал хладнокровный шеф, явно режиссер этого маленького спектакля, спросил удивленно:

— Неужели вы не признали Коста?

Гость неторопливым жестом снял и положил на стол очки, и прокурор сразу узнал ночного посланника Бекходжаевых. Довольный тем, что несколько подпортил компании ожидаемый эффект, Азларханов спокойно пояснил:

— Но мы действительно не знакомы с... Коста...

Тут гость непринужденно рассмеялся:

— Да, так и есть, забыл тогда представиться.

И теперь уже засмеялись все за столом, включая и прокурора.

И запоздало, через четыре года, прокурор только теперь вспомнил фамилию Коста — Джигоев; он был родом с Северного Кавказа, уголовник со стажем, вор в законе, обвинявшийся в убийстве. Он точно в то время отбывал наказание у него в области, и его документы прокурор держал в руках во время инспекции, но теперь это дела не меняло.

— Насколько я знаю, он тогда спас вам жизнь и теперь обязан оберегать ее. Он будет для вас тем же, что для меня Ашот. Я надеюсь, вы подружитесь — Коста о вас прекрасного мнения. Правда, мне кажется, он до сих пор не пережил вашего отказа от дипломата, — шеф был явно в хорошем настроении.

— В таком случае он не выиграл бы двадцати тысяч. Надеюсь, Бекходжаевы расплатились с вами? — как можно небрежнее отозвался прокурор, почувствовав, что опять проходит какое-то пока непонятное ему испытание.

— Попробовали бы не рассчитывать, со мной такие номера не проходят, — ответил не зло Коста, но было ясно, что с ним такие шутки действительно не пройдут.



После обеда прокурор вернулся с Шубариным в управление, а Файзиев остался с Коста в гостинице, — необходимо было переселить жильца из соседнего номера, чтобы Джиоев жил через стенку с прокурором, на этом настаивал телохранитель.

В приемной шефа ждали несколько посетителей, и прокурор сразу прошел к себе, хотя собирался подать на подпись бумаги для арбитража. Часа через два Шубарин, освободившись, сам зашел к юристу.

— Во вчерашней суете я не смог вас толком поблагодарить за Хаитова — вы для него явились последним аргументом, которого у нас не доставало. Отныне он не будет чинить нам препятствий, даже наоборот: разрешил торговать на площади перед центральным универмагом. Не секрет, что я обещал солидный гонорар тому, кто выведет меня на Хаитова. Никто не сумел устроить мне встречу напрямую, кроме вас. Вот ваш заслуженный гонорар... — и он выложил на стол перед прокурором банковскую упаковку сторублевки.

— Как первому и без свидетелей? — пошутил юрист и, взяв деньги, небрежно бросил их в пустой ящик письменного стола.

— Обижаете, мы же с вами друзья, я за вас вчера действительно перенервничал, разве вы это не почувствовали?

— Спасибо. Меня тронул вчера ваш жест, да и сегодня тоже: это та сумма, которую я хотел просить у вас на мебель. Спасибо и за Коста. Но не дорого ли он вам станет — специалисты такого класса, видимо, обходятся в немалые деньги? — прокурор надеялся как-нибудь перевести разговор в нужное русло.

Но шеф не стал вдаваться в подробности:

— Да, работа таких людей оплачивается высоко, но не дороже, чем ваша жизнь. Это временная мера, я думаю, через полгода он вам не понадобится, а пока я не вправе рисковать: у нас с вами столько дел, вы даже не представляете. — И, считая, что разговор окончен, Шубарин поднялся.

Прибытие Коста несколько осложнило жизнь прокурора, — нет, не оттого, что была ограничена его свобода или Джиоев следовал за ним по пятам; внешне все шло как обычно, но чувствовал себя бывший прокурор скованно. Следовало определить по отношению к своему охраннику какую-то тактику, линию поведения. Конечно, о том, чтобы совершать с ним



вместе пешие прогулки по вечерам, не могло быть и речи, как не желал бы прокурор и есть с ним за одним столом, хотя, надо отдать должное такту телохранителя, на такое фамильярное отношение он и не напрашивался. Но тут был и пример: шеф не слишком церемонился с Ашотом, о том, чтобы Шубарин подпускал охрану к своему столу, не могло быть и речи — каждый знал свое место.

Даже чтобы изредка обмениваться рукопожатием с Коста, Азларханову нужно было переступить в себе через многое, — он-то знал, что это за человек. Но и перегибать палку не следовало: Коста не Ашот, хотя и тот, судя по реакции на разговоры в машине, нисколько не доверял бывшему прокурору; а этот быстро раскусит игру — и по таким мелочам, что только ахнешь, тем более что дел у охранника других нет, и он мог держать прокурора под микроскопом.

Поначалу Азларханов просто-напросто вгрызся в работу: целыми днями сидел, обложившись горами бумаг; он хотел быстрее выдать какой-то результат, а заодно размагничивал Коста, стараясь не особенно общаться с ним якобы из-за своей чрезвычайной занятости. Надо отдать должное, держался тот хорошо, работал профессионально, и вряд ли кто мог разгадать истинный смысл его занятий. Учтивый, общительный, щедрый, через две недели он повсюду — в управлении, гостинице, ресторане — имел друзей и знакомых. Он мастерски умел разыгрывать этакого беспечного доброго малого, сохраняя в то же время предельную собранность. Прокурор, знавший приемы слежки, догляда, попытался дважды, крайне осторожно, проверить, надежно ли он блокирован, и был поражен его мертвой хваткой. Да, с Коста шутить не стоило.

Конечно, прокурор чувствовал и контроль хозяев, но то был догляд, так сказать, администраторов, да и практиковался он эпизодически, у них обоих забот невпроворот, огромная машина, все набиравшая ход, требовала внимания гораздо больше, чем новый юрисконсульт с особыми полномочиями. И контроль этот Азларханов предугадывал, психология дельцов была понятна ему.

Другое дело Коста, человек, с иной меркой подходящий к жизни, и с иным опытом ее. Конечно, перед ним поставлена задача не только оберегать юриста от внешних посягательств,





но и смотреть за ним в оба, ведь день ото дня он все больше обогащался информацией, к которой имели доступ всего три-четыре человека. Кроме этих явных причин плотного надзора, наверняка были и другие, которых прокурор до сих пор не мог понять, хотя проработал уже больше месяца.

Бдительность шефа он уже заметно притушил несколькими удачными предложениями. Первое, которое Шубарин провел через Госснаб республики, Совет Министров и Министерство местной промышленности, давало управлению возможность самостоятельно выходить к поставщикам за пределами республики с правом выкупать у них нереализованную или сверхплановую продукцию. Этот документ придавал законность многим разбойничьим актам Шубарина. Ему всегда нужно было доказательство, что он получал оттуда-то официально, положим, тысячу метров ткани, хотя на самом деле он мог получить и десять, и сто тысяч метров неучтенной продукции у таких же ловкачей, как он сам. Эта бумага снимала в будущем обвинение в сговоре, подкупе поставщика, в противозаконных операциях в крупном масштабе. Хотя без сговора, без толкачей, и по фондам получить непросто. Это знает каждый, кто хоть немного знаком с материальным снабжением. Шубарину сырье отовсюду отправляли в первую очередь и самое лучшее, а уж потом, что осталось, выбирали те, кто имел фонды.

По мере того, как прокурор готовил все новые документы, получавшие одобрение Шубарина, прокурор вдруг почувствовал, что ревностное отношение к нему Файзиева неожиданно сменилось интересом, который тот, как ни странно, не афишировал при шефе.

Эту внезапную перемену отношения к себе Азларханов анализировал долго, недели две, и кажется, понял, что клан Файзиевых не прочь при случае скинуть Артура Александровича, слишком уж тот властен, не подпускает к финансовым секретам. Наверное, клан считал, что машина, запущенная Шубариным, теперь уже может функционировать и без него. И, по их подсчетам, юрист вполне подходил на место Шубарина.

Открытие не обрадовало прокурора — меньше всего ему хотелось оказаться между жерновами; его волновала только своя игра, и карты день ото дня шли к нему козырные: он уже составил наполовину список людей в области и в республике на



самых высоких постах, состоявших на содержании у Шубарина, и доказать это не составляло труда. Сложнее оказалось выйти на людей из Москвы, но и тут следовало ждать и работать. Однако и не учитывать новый расклад, принимать безоговорочно сторону Шубарина, как решил он прежде, значило обрекать себя на дополнительный риск: из опыта противостояния с Бекходжаевыми он догадывался и о возможностях клана Файзиевых. Оставалось одно: осторожничать, потихоньку блефовать и, собрав достаточную информацию, при первой же возможности исчезнуть.

Ремонт в квартире заканчивался, наводили последний глянец, оставалось лишь отлакировать новые паркетные полы — и можно переезжать; у него уже не раз интересовались, когда же новоселье? Прокурор прекрасно понимал, что вряд ли ему удастся прожить в этой квартире хотя бы несколько месяцев, но начатую игру следовало продолжать, всем своим поведением показывать, что вьет гнездо всерьез и надолго.

Пачка денег, что вручил ему Шубарин за посредничество в сделке с Хаитовым, так и покоилась в ящике стола, он даже не удосужился переложить ее в сейф. Странно: он даже не считал эти деньги деньгами, они не вызывали никаких желаний. То же самое и с квартирой, за ходом ремонта которой он якобы ревностно следил... И деньги, и квартира, так неожиданно свалившиеся на него, казались ненастоящими, обманом, миражом... Только свое положение в «системе» он воспринимал всерьез.

Пачка в столе и навела на мысль хотя бы на полмесяца нейтрализовать Коста, внушить ему, что хозяин пустил корни в «Лас-Вегасе» глубоко.

— Коста, я хотел бы обратиться к вам с личной просьбой. Во-первых, я доверяю вашему вкусу, о котором все вокруг говорят, а во-вторых, у меня совершенно нет времени. Документы, которые я готовлю, во сто крат важнее моих личных дел. И мне хотелось бы скорее оправдать заботу и внимание, что проявляют ко мне мои и ваши благодетели. Я уже не говорю о том, что, не дожидаясь результата, меня щедро авансировали, а я человек старой школы, не могу жить в кредит, оттого и корплю над бумагами день и ночь. А просьба у меня такая... Через неделю-две закончится ремонт квартиры на Красина, где вам тоже, кажется, сняли комнату. В общем, необходимо



обставить квартиру мебелью. — Прокурор достал нераспечатанную пачку банкнот. — Вот вам деньги. Здесь есть хороший магазин, с выбором импортных гарнитуров. Пожалуйста, вымеряйте квартиру и подберите мебель на ваш вкус в спальню, зал и на кухню. Заодно присмотрите что-нибудь из посуды, — и он протянул Коста пачку.

Коста машинально, по привычке надломил пачку, проверяя, не подложили ли ему «куклу», затем, вспомнив, с кем имеет дело, рассмеялся...

Засмеялся и прокурор, оба поняли жест однозначно. Предложение оказалось для Коста столь неожиданным, что он, кажется, растерялся, хотя и пытался скрыть это.

В первое мгновение Джиоев, похоже, подумал, что прокурор дает ему возможность смыться с этими деньгами и не мешать ему в чем-то, но тут же отбросил эту мысль, понимал: прокурор знает, что для него, Коста, одна банковская упаковка денег, даже сторублевок, ничего не значит, и он не станет даже мараться.

После ухода своего опекуна Азларханов как-то сразу сник, навалилась усталость, и, если бы в кабинете стоял диван, наверное, прилег бы, пропала охота к бумагам... Хотя он начал вновь регулярно совершать пешие прогулки и ел куда лучше прежнего, чувствовал себя неважно: сердце то и дело напоминало о себе, спасали сверхдефицитные заморские таблетки, которые добывал ему Шубарин, да обычный нитроглицерин постоянно держал в кармане. Прежде чем совершить решающий шаг, следовало окончательно стать в компании своим, но он не чувствовал пока к себе полного доверия ни со стороны старого бухгалтера Кима, ни его давнего друга Христоса Георгади: они постоянно, очень ловко, чего-то недоговаривали ему, а без этого задуманное им дело заходило в тупик, он должен был найти ключи к конструкции шубаринского «айсберга».

Оба старичка, несмотря на преклонный возраст, любили заглянуть в «Лидо», каждый из них еще не прочь был пропустить рюмку-другую хорошего коньячку, да и на кухне в такие дни готовили для них какие-то особые блюда и тонкие закуски. В такие вечера и прокурор вынужден был появляться в «Лидо», строить из себя человека, довольного жизнью и своим новым положением. Гуляли широко, к ним за стол, сменяясь, подсаживались разные люди, и ему приходилось терпеть фамиллярное



отношение незнакомых типов и даже молодых приятелей и приятельниц Икрама Махмудовича, лезущих в подпитии с объятиями. Но более всего его раздражал ресторанный дым — он едва не задышался в табачных клубах, хотя ради поставленной цели терпел и это.

После ухода Коста прокурор вспомнил: опять не предупредил шефа, что через неделю годовщина смерти Ларисы, пять лет; он собирался поехать на могилу — надо было решить вопрос с машиной и сопровождением. Разговор этот ему не хотелось откладывать, могли возникнуть и неотложные дела, требующие его присутствия. В последнее время ни одно мероприятие не проводилось без согласования или консультации с ним, в отсутствие Шубарина люди часто обращались к нему с неотложными делами, и он никогда не уходил от решения, а по одобрительному отношению хозяина понимал, что пока попадал все время в точку.

Шубарин подписывал бумаги для бухгалтерии, но, увидев в дверях Амирхана Даутовича, отложил их в сторону. Чувствовалось, что в последнее время он убедил оппонентов в необходимости участия в «синдикате» опытного юриста, и дела подтверждали его стратегию. Шубарин пошутил однажды наедине с прокурором, что если он и дальше так будет огражден за счет умело использованных юридических тонкостей, то вскоре, пожалуй, не ему, а он будет предъявлять счет властям и требовать для себя особого положения в обществе и признания заслуг.

Прокурор напомнил шефу о годовщине, сказал и о поездке. Шубарин как-то очень странно выслушал простейшую просьбу, словно прокурор подслушал его тайную мысль или даже оказался в курсе неких его сиюминутных планов, но, как всегда, очень быстро овладел собой. Юрист уже знал, что в разговоре с Артуром Александровичем следовало ловить его первоначальную реакцию, через мгновение тот опять становился «нечитаемым».

Шубарин вышел из-за стола, что делал в сильном волнении или когда распекал кого-то, прошелся по кабинету.

— Ну и задали вы мне задачу. Я обязан вас предупредить и, если хотите, даже приказать: вам не следует появляться в том городе еще с полгода, однако сегодня я не могу объяснить вам, почему. Поверьте, это в ваших интересах. А что касается



даты, я не забыл, и на этот счет уже дана команда. Мы, ваши новые друзья, коллеги по службе, помянем вашу жену вместе с вами. Впрочем, почему вам нежелательно там появляться, я объясню недели через две, а может, даже раньше. Что касается могилы вашей жены, она в порядке. Григоряны, сделавшие такой прекрасный памятник, — дальние родственники нашего Ашота. За могилой хорошо смотрят, и в печальную годовщину она не останется без цветов, пусть ваша душа будет спокойна...

Вернулся к себе в кабинет прокурор крайне озадаченный, — о работе не могло быть и речи, да и нездоровилось что-то. Что крылось за этим предостережением? Каким орудием он был в руках у Шубарина? Что тот еще затеял и почему нежелательно или даже опасно появляться ему в соседнем областном городе, где он долго пробыл прокурором?

Опять у него вопросов оказалось больше, чем ответов.

Он не сомневался, что Шубарин действительно был на прошлой неделе на могиле его жены и, как человек деятельный, наверняка с кем-то договорился о присмотре, оставил деньги. Не сомневался он и в том, что и цветы появятся на могиле в годовщину, как обещано, и самые роскошные, а не жалкие жестяные венки от общественности, что увидел он, когда появился в первый раз на кладбище. Почему-то казалось, что умри он сейчас — неожиданно, скоропостижно, от сердечного приступа, — похоронят его Шубарин с Файзиевым с подобающим вниманием и наверняка положат рядом с женой. Не исключено, что братья Григоряны сделают еще один, возможно, даже общий для них с Ларисой, памятник, и для этого найдутся и деньги, и время, которого всегда так не хватает этим деловым людям. И поминки справят как положено, и добрые слова какие-нибудь скажут, и на могилу хоть однажды, но заглянут...

## Игра с выбыванием

Неделя прошла нервная, напряженная, что сказалось на его самочувствии. Дважды среди ночи пришлось вызывать «скорую» — вот где по-настоящему он оценил опеку Коста. В первый раз, когда почувствовал себя плохо, прокурор потянулся к стене и слабо ударил по ней кулаком, так у них было



условлено, на всякий случай. Коста появился тут же — как сказали врачи, весьма кстати, вызвал «скорую» и просидел, не отходя от прокурора, до утра, пока не стало лучше. Но к концу недели все как-то образовалось, прокурор чувствовал себя прилично и вышел на работу; об одном жалел — что не может поехать на могилу жены. С Шубариным они больше на эту тему не говорили, и прокурор не допытывался, отчего же нельзя туда ехать; понимал — придет срок, и он узнает.

В пятницу, когда они обедали вдвоем в «Лидо» — это был день смерти Ларисы, — Артур Александрович протянул ему через стол цветную фотографию, сделанную «Полароидом».

— Вот, привезли полчаса назад. Снято сегодня, в девять утра.

На фотографии могила утопала в цветах, не видно было даже кованой ограды, только памятник. На переднем плане — несколько роскошных венков из белых и красных роз. На самом большом, в центре, из одних белых роз, на широкой муаровой ленте значилось: «От управления местной промышленности». На другом можно было прочесть только краткое «От мужа».

Прокурор смотрел на фотографию и чувствовал, как слезы невольно подступают к глазам, а комок в горле мешает говорить.

— Спасибо, — наконец сказал он. — Я очень тронут вашим вниманием, мне даже неловко, что вы проявляете столько заботы обо мне.

— Не стоит благодарности. Я делаю лишь то возможное, что обязан сделать как человек, а теперь уже и как ваш товарищ — ведь моя жизнь, мое благополучие отчасти в ваших руках, мы повязаны одним делом, одними целями. — Шубарин подбадривающе похлопал прокурора по руке. — Впрочем, не будем опережать события. Вечером мы соберемся здесь в закрытом банкетном зале. От вашего имени я пригласил узкий круг близких вам людей. Так что после обеда вы поднимайтесь к себе, отдохните, а в восемь я зайду за вами, и мы спустимся к гостям; надеюсь, сегодня никто не будет опаздывать. — И они распрощались до вечера.

Вернувшись к себе, прокурор вспомнил тот давний августовский день, когда он сидел в здании районной милиции и ждал сообщений от капитана Джураева. Прошло всего шестнадцать



часов, как не стало Ларисы, и он с горечью подумал тогда, что к этим шестнадцати он теперь всю жизнь будет прибавлять часы, дни, недели, годы, а теперь вот набежало пятилетие.

Пять лет! Разве мог он предположить, что потеря жены, сама по себе трагедия всей жизни, обернется еще и такими крутыми зигзагами в его личной судьбе. Странно, в свои пятьдесят он после смерти жены реальной своей жизнью воспринимал только эти последние пять лет, остальное виделось как сквозь туман, и он с трудом соотносил себя с теми давними счастливыми днями.

А теперь новый этап жизни, снова навязанный ему, мог продлиться несколько месяцев, от силы полгода, на большее он не рассчитывал; слишком неравны силы, чтобы долго противостоять изощренному Шубарину и его компаньонам. А что дальше? Что ожидает его, когда он сделает последний шаг в задуманном деле, как решил в первый же вечер, в тот давний и недавний вечер, когда пришли вербовать его в полутайный синдикат? Чтобы раскрутить то, с чем он собирался прийти к властям, нужны годы и годы, он-то знал стиль и темпы работы прокуратуры — надеяться, что жизнь подарит ему такой срок, не приходилось. Даже здесь, под неослабным вниманием всесильного Артура Александровича, несмотря на полный комфорт и возможность в любую минуту связаться с профессором в столице, заполучить консультацию, а если надо, и самого профессора (не говоря уже о том, что доступны были лекарства, какие только есть в природе), и то на неделе пришлось дважды вызывать «скорую».

Но о том, что будет после, думать не хотелось... Путь свой он выбрал давно, тридцать лет назад, еще там, на шаткой палубе эсминца, и сейчас, на краю жизни, следовало последние дни свои прожить достойно и до конца исполнить долг.

Ровно без пяти минут восемь раздался стук в дверь, на пороге стоял Шубарин. Прокурор не сомневался, что тот уже провел инспекцию в банкетном зале, отдал последние распоряжения, прежде чем подняться за ним. В той торжественности, с какой отмечали день памяти его жены, Азларханов усмотрел непонятную для себя значительность события в глазах синдиката — похоже, это мероприятие Артур Александрович затеял с какой-то нужной ему целью. Может, ему хотелось собрать



людей, редко встречающихся за одним столом? А может, кому-то лишний раз нужно было продемонстрировать единство и, так сказать, благородство стиля своего консорциума? Впрочем, не стоило ломать голову, Шубарин, как всегда, был труднопредсказуем, и все следовало принимать как есть...

Прокурор никогда прежде не заглядывал в банкетный зал, хотя в последние недели почти ежедневно бывал в «Лидо». У двери ресторана их встретил Адик, одетый сегодня несколько торжественнее, чем обычно, он и провел их в зал. Как только они вошли в ярко освещенную комнату, собравшиеся, не сговариваясь, поднялись из-за стола, словно отдавая дань торжественности и скорбности момента. Прокурора удивил состав собравшихся за столом: кроме Кима и Георгади, оказались тут и Адыл Шарипович, братья Григоряны. Сидели за столом и Ашот рядом с Коста, и еще несколько неизвестных прокурору людей — одни мужчины.

Проходя на указанное Адиком место, Амирхан Даутович увидел на стене большую цветную фотографию жены, наверное, переснятую из первого альбома, — она улыбалась на фоне медресе в Куня-Ургенче, — снимок этот очень нравился самой Ларисе. Угол фотографии перехватывала черная муаровая лента с датами рождения и смерти. О скорбном дне напоминало и множество роз, все только белые; высокие хрустальные вазы под цветами, наверняка доставленные на время из магазина, тоже были перетянуты черными лентами, завязанными в кокетливые банты.

Шубарин, деловито поправлявший цветы в напольных вазах у входа, сел на свое место последним; во главе стола, слева от него, оказался прокурор, справа Икрам. За время общения с шефом прокурор привык к хорошо сервированным столам, но этот удивлял роскошью, чувствовалось, что Файзиев перетряс не одну спецбазу; ножи-вилки-бокалы вряд ли были казенные: опять же, наверное, зам постарался, то ли из дома привез, а может, и с какой-нибудь обкомовской дачи или резиденции позаимствовал на время. Прокурор как-то слышал за обедом, что Георгади, как человек европейского воспитания, предпочитает столовое серебро и тяжелый голубой хрусталь — может, добро из его запасников? И все это организовано в память Ларисы? Зачем ей было бы все это?..





Сидели как на больших приемах — свободно, громадный стол позволял, и от этого создавалось ощущение официальности, строгости — впрочем, как давно заметил прокурор, некая чопорность была в духе Шубарина, а он и правил бал. Имел Артур Александрович слабость, может, опять же наследственную, или, скорее, русскую: любил застолья, любил угощать, принимать гостей, хотя бражником не был.

Адику сегодня помогали еще два официанта, и по какому-то неуловимому знаку шефа они быстро разлили водку и коньяк, вероятно, знали, кто чему отдает предпочтение.

Шубарин встал и попросил минутой молчания почтить память той, ради которой они сегодня здесь собрались. Потом стал говорить о Ларисе Павловне, наверное, адресуясь прежде всего к тем нескольким мужчинам за столом, что были не знакомы прокурору. Говорил долго — он действительно знал о ней немало... Упомянул события, подзабытые и самим прокурором. Память незаметно унесла прокурора в минувшие счастливые дни, и он перестал слушать хозяина стола. Он не отрывал глаз от портрета жены, висевшего прямо над головой Коста... Мелькнула мысль, что ведь это первые многолюдные поминки Ларисы — все прошлые годы он поминал ее один, и годы выпадали один безрадостнее другого, единственным утешением ему служило то, что успел, не оставил ее могилу безымянной.

Прокурор благодарным взглядом потянулся к Григорьянам, поставившим памятник Ларисе, — братья внимательно слушали эмоциональную речь. И когда все подняли рюмки, Азларханов тоже выпил коньяку. Потом слово взял прокурор Хаитов — он говорил о трагической судьбе Ларисы, которую хорошо знал, говорил о нелегкой доле, выпавшей его другу, о том, с каким мужским достоинством нес он свой крест. Слушая эти речи, прокурор вдруг ощутил, какой волшебной магией обладает целенаправленное, страстное слово... Скажи сейчас Шубарин, что нужно тут же встать и пойти врукопашную на Бекходжаевых, вряд ли кто уклонился бы, не говоря уже о том, чтобы усомниться душой в необходимости такого шага. Какой дух братства, единства, жертвенности витал над столом! И создал эту атмосферу Шубарин. Собираясь на поминки, прокурор никак не предполагал, что увидит такое сострадание своему горю, услышит столько искренних слов сочувствия, взволнованные



заверения в том, что он всегда может положиться на них, сидящих за столом, в борьбе со своими недругами, сгубившими его жену. Не рассчитывал он и выпить более одной-двух рюмок армянского коньяка «Ахтамар», но как можно было отказаться, если обращались к тебе с такими трогательными словами и заверениями?

Взволнованные речи не мешали бесшумным официантам без усталости сновать взад-вперед, меняя холодные закуски на горячие, одни деликатесы на другие, выставлять все новые и новые батареи охлажденного боржомы. Принесли и первое горячее — плов из перепелок, который, как объявил Файзиев, он приготовил по такому случаю сам. Постепенно в банкетном зале становилось все более шумно, к плову появились за столом новые лица. Шубарин, державший все под контролем, глазами отдавал распоряжения все понимающему Адиду, не забывал ухаживать за соседом, замечая, что тот время от времени как будто выпадает из компании, проваливаясь памятью в прошлое. Подкладывал прокурору закуски, потчевал, как хлебосольный хозяин: попробуйте — это миноги, или вот этот особый салат из молодого папоротника, его регулярно присылают бухгалтеру с Камчатки, или шампиньоны, приготовленные по давнему греческому рецепту, хранящемуся в семье Георгади.

На улице давно стемнело, и в распахнутые настежь окна банкетного зала врвался свежий ветерок. Наступало время его каждодневной прогулки, но уйти из-за стола было неудобно, хотя прокурору как никогда хотелось сейчас побыть одному. И вдруг, в который уже раз, словно читая его мысли, Артур Александрович, наклонившись, тихо предложил:

— Не хотите ли выйти на свежий воздух? Здесь уже накопили не меньше, чем в зале.

Не дожидаясь ответа, Шубарин встал, и Азларханов последовал за ним.

— Давайте пройдемся вашим маршрутом, — сказал шеф, — подышим. Может, нагуляем аппетит — еще предстоит отведать какие-то особенные манты и самсу, начиненную рублеными ребрышками из баранины. Привезли из кишлака какого-то чародея по этой части, вы ведь знаете, Файзиев у нас гурман, и вкус у него отменный. Ему бы еще такой вкус в делах проявлять, цены бы не было.



Прокурор понимал, нужно как-то поблагодарить и за цветы на могиле Ларисы, и за вечер памяти, так прекрасно организованный, и за добрые слова о ней, но что-то сдерживало, мешало ему говорить.

Шубарин сам прервал затянувшееся молчание.

— Я знаю, что на поминки не принято делать подарки, сюрпризы, но все же не удержусь от возможности сообщить одну приятную для вас новость именно в этот горестный день. Я буду рад, если известие утешит вас и отчасти вернет утерянный душевный покой.

Прокурор почувствовал, что сейчас Шубарин скажет что-то важное, и не ошибся.

— Сегодня, в день памяти Ларисы Павловны, хоронили убийцу вашей жены, прокурора Анвара Бекходжаева...

— Вы не ошиблись? — спросил тревожно прокурор.

— Разве я до сих пор давал вам повод сомневаться в своих словах? — в свою очередь спросил Шубарин. — Его убили вчера вечером, и я даже знаю — кто.

— И кто же? — Голос прокурора дрогнул, хотя он и попытался скрыть свое волнение и охвативший его неожиданно страх.

— Вот этот молодой человек, — и шеф протянул снимок побледневшему Азларханову.

На черно-белой фотографии крупным планом был заснят сам прокурор, а рядом с ним прилепился невзрачного вида молодой человек с короткой стрижкой. Сколько он ни вглядывался в снимок, сделанный в зале «Лидо», — человек с раскосыми глазами на тонком бледном лице с крупным ртом, портившим симметрию лица, был ему не знаком. Он не мог припомнить его, а фотография была настоящая, не монтаж, скорее всего, незнакомец присел рядом с ним на секунду по сценарию и по приказу Шубарина в один из вечеров, когда прокурор спускался выпить свой чайничек чая.

— И кто же это? — спросил уже спокойнее прокурор.

— Не узнали? Странно. Это же ваш старый знакомый, отбывающий срок за убийство вашей жены, а, точнее, за своего дружка, Анвара Бекходжаева...

Прокурор еще раз внимательно посмотрел на фотографию.

— Возмужал, не узнать... Хищный какой-то, я запомнил его почти мальчишкой...



— Пять лет все-таки прошло, выжил, заматерел, настоящий волк, он еще дел наворотит. Я ведь уже говорил вам: зло рождает только зло... — прокомментировал Шубарин.

Слушая шефа, прокурор вдруг вздрогнул от неожиданной догадки: он понял ход Шубарина — для того и фотография на всякий случай. Вот оно, дело, которым тот решил повязать его на всю жизнь. Теперь Шубарин не сомневается, что прокурор у него на привязи, и крепко — даже мысли вильнуть в сторону не может возникнуть — вместе до гробовой доски. Старый, как мир, прием уголовников — привязать кровью, мокрым делом, то есть убийством. И если что, Азат Худайкулов, приведись ему отвечать за содеянное, скажет, что нанял его прокурор, чтобы отомстить за свою жену.

— За что же он своего дружка так?.. Ведь росли вместе, говорят, он у того в адъютантах ходил чуть не с пеленок?

— Было, да бывшем поросло. Разошлись далеко детские дорожки, в разные стороны, оттого и месть крутая. Не сдержали Бекходжаевы свое слово... На первых порах помогали, посылки регулярно присылали, навещались, матери его больной оказывали всяческое содействие. А потом подустали, видно — мало кто выдерживает испытание временем — в обузу стали Худайкуловы. Мать умерла, а перед смертью написала горестное письмо сыну и обвинила в своих бедах Бекходжаевых. Каково в тюрьме получить такое письмо от матери, зная, что ты отбываешь срок за них? И стал он жить одной мыслью, одной-единственной надеждой: отомстить своему вероломному другу — других желаний, насколько мне известно, у него в жизни нет. И подогревали его, конечно, дружки по тюрьме, тем более узнав, что вероломный товарищ к тому же стал прокурором, злым, невежественным, свирепствующим, задушил поборами всех вокруг. Ведь в тюрьму, как ни парадоксально, сведения доходят быстро и в большом объеме, и о реальной жизни там знают получше, чем в райкоме. Так что он жил, моля Аллаха, чтобы не убили его врага другие, потому что год назад узнал, что есть люди, и весьма серьезные, которые уже приговорили к смерти прокурора Бекходжаева. А в той среде, где это было сказано и в которой Азат теперь не последний человек, словами на ветер не бросаются, это не профсоюзное собрание, отвечать приходится, — репутация в уголовной среде дороже жизни.



— Одно дело желать, другое выполнить. Ему удалось бежать из колонии?

— Не совсем так. Когда я узнал вашу историю, а затем историю этого несчастного молодого человека, пострадавшего, как и вы, я понял, что ваши интересы совпадают. А для себя я посчитал весьма благородным поступком, если смогу помочь восстановить, хоть и запоздало, справедливость. Я попросил доставить Азата в «Лас-Вегас» на несколько часов, тогда и засняли его в ресторане. Я хотел поговорить с ним, понять, насколько серьезны его намерения, что он за человек, можно ли положиться на него. В тюрьме он прошел большую школу, рассуждал вполне здраво, а намерения его были серьезные, дальше некуда. Я обещал ему помочь, обговорив кое-какие условия, — он принял их.

— Вы помогли ему бежать? — нетерпеливо спросил прокурор.

— Нет, зачем же, побега я ему не обещал.

— Как же тогда удалось ему совершить свою месть?

— Ну, это несложно. Если ваш знакомый полковник Иргашев мог воспользоваться услугами Коста, так почему я не мог взять Азата из колонии всего на несколько часов. Люди Ашота, хорошо изучив привычки Бекходжаева, разработали план, и Азату преподнесли все на блюдечке с голубой каемочкой, вся операция заняла пять минут.

— Значит, раскрыть это преступление будет непросто и есть гарантии безопасности? — уточнил Азларханов на всякий случай.

— Трудный вопрос, особенно насчет гарантий. Я не знаю, как раскрываются у нас преступления, но то, что осужденный через три часа вернулся на место, в тюрьму, это точно. А при его нынешнем опыте жизни брать на себя еще одно убийство, теперь, правда, свое, — безумие, тем более он знает, что, когда выйдет, получит помощь не от Бекходжаевых, а от меня. А о том, что я слов на ветер не бросаю, он знает, убедился в моих возможностях. Гарантии скорее в другом; помните, я говорил: нам неважно, кто нанесет удар врагу, мы не тщеславны, нам важен результат. Я упоминал, что Анвара Бекходжаева уже давно приговорили, и он об этом знал, знали и в прокуратуре. Впрочем, многие хотели бы посчитаться с ним, и не



только уголовники и дельцы, ему и за его донжуанство давно обещали оторвать голову — вы же знаете, в районах на этот счет строго, а он и тут плевал на понятия чести и морали своего народа. Так что поле деятельности у следователей и без нас широкое; если надо будет, подбросим и другие варианты, там есть кому держать под контролем ход расследования. Свести счета и дурак сумеет, а вот жить и радоваться назло врагам не каждому удастся. В конце концов, Азат у нас в руках еще лет пять...— закончил, как всегда, неопределенно Шубарин.

Они ушли далеко, занятые разговором, почти до старой махалли Допидуз, и, когда возвращались обратно, наткнулись на спешившего навстречу Коста.

— Я от общества, вас ждут к столу. Ким с Георгади хотели бы уехать домой, — сказал Коста, обращаясь к шефу.

— Скажи, мы будем через пять минут, — ответил Шубарин, и Коста в мгновение ока растворился в темноте.

Когда они снова вошли в банкетный зал, прокурор заметил, что поминки превратились в очередную гулянку — прибавилось, и заметно, новых лиц; но стоило появиться Артуру Александровичу, как шум, гам, смех моментально стихли, и все чинно заняли места за столом. Внесли ляганы с обещанными особенными мантами — обложенные зеленью, посыпанные красным корейским перцем, смотрелись они аппетитно, и все взгляды дружно потянулись к тамаде. Но вдруг поднялся один из тех незнакомых мужчин, что находились в компании с самого начала. Все за столом, как понял прокурор, делалось только с ведома Шубарина, значит, настал черед и для этого человека. Говорил он тоже долго и не менее искусно, чем другие, и хотя он старался придерживаться темы, то есть поминок незнакомой ему Ларисы Павловны, он то и дело ловко съезжал на другое, ради чего, наверное, и был приглашен сюда. Он говорил о том, что удостоился большой чести разделить горе, выпавшее на долю большого друга его давних друзей, и он готов служить верой и правдой таким людям, для которых горе ближнего воспринимается, как свое.

Говоря, он все поглядывал на Шубарина, как тот воспринимает сказанное. Делал он это, на свой взгляд, ловко, осторожно, но ему мешало выпитое, и прокурор ясно понимал, что сегодня шеф вербовал в свою вотчину еще одного влиятельного



человека, поражая его богатством стола, а главное, щедрым вниманием к своему ближнему.

Слушая после прогулки говоривших, Азларханов пытался определить, кому еще известна новость, которую сообщил ему Шубарин, но установить это было непросто. Конечно, Файзиев знал, потому что слишком внимательно глянул на прокурора, когда они вернулись, и, поднимая рюмку, кивнул с намеком, словно поздравляя его.

Наверное, застолье продолжалось бы до глубокой ночи, потому что на столе и выпить, и закусить было более чем предостаточно, но засобирались домой Ким и Георгади, и шеф вместе с Ашотом поехали развезти стариков по домам. Это и послужило сигналом к завершению, и не догулявшие стали переходить в большой зал, где оркестр наяривал жизнерадостные ритмы.

Вскоре за столом остались только прокурор и Икрам, да чуть поодаль Коста с аппетитом доедал самсу. Наверное, заму хотелось что-то сказать юристконсульту, и он сделал знак Коста. Тот быстро оставил банкетный зал, вместе с ним ушли и официанты. Прокурор, вроде не заметив жеста Икрама Махмудовича, пересел поближе к Файзиеву и налил коньяку ему и себе — он хотел сам завести нужный разговор, у него созрел кое-какой план.

— Давайте выпьем за здоровье моего самого ценного друга, всесильного Артура Александровича. Отныне я ему обязан по гроб жизни и буду служить верой и правдой до последнего дыхания.

Файзиев как-то странно посмотрел на него:

— За него выпью с удовольствием, — и опрокинул рюмку коньяка залпом, как пьют водку. — А вот с тем, чтобы считать себя обязанным ему до гробовой доски... По-моему, вы в этом несколько переусердствовали.

— Да вы же не знаете, — сказал с притворным возмущением прокурор. — Он... он отомстил за смерть Ларисы и снял с моей души такой камень... Мне теперь от жизни ничего не надо, справедливость восторжествовала, зло наказано.

— Почему же не знаю? — усмехнулся Файзиев. — Знаю. Вы зря недооцениваете меня, в этом деле, я считаю, есть и моя заслуга: к тюрьме нашел подходы именно я.



— Спасибо и вам... — благодарно закивал прокурор.

— Дело не во мне, — нетерпеливо отмахнулся зам. — Устроил это Шубарин вовсе не ради вас и уж тем более не ради торжества справедливости, как он обычно любит представлять свои затеи, — он далеко не Робин Гуд, каким хотел бы выглядеть.

— Тогда ничего не понимаю... — Азларханов изобразил на лице недоумение. — Зачем же ему тогда так рисковать? Убийство прокурора все-таки...

— Вот с этого вопроса и надо было начинать, — назидательно объявил Икрам. Наверное, он решил, что именно сейчас ему представляется шанс перетянуть юриста на свою сторону. — Дело в том, что пять лет назад, когда вы еще были прокурором, он уже имел интересы в вашей области. Сначала, правда, незначительные. Но вы ведь изучили его хватку, аппетиты, ему только палец покажи, он всю руку отхватит. Знаете, как его в Москве называют? Японец! Потому что ему удастся наладить даже то производство, что всегда прогорает и считается нерентабельным. Он действительно толковый инженер, а как финансист и предприниматель — просто гений. Сколько раз мы выручали прогоревших коллег, выкупая у них оборудование и сырье, разумеется, за бесценок, и налаживали дело так, что вокруг только диву давались. Уметь поставить на поток — главное наше дело.

Файзиев опрокинул рюмку коньяка, словно у него пересохло в горле.

— Тогда он полагал, что обоснуется в вашей области навсегда, там будет у него резиденция. Много он своих денег вложил туда, и дела у него пошли не хуже, чем здесь, и покровители у него были там, — кто бы вы думали? Разумеется, Бекходжаевы ... Наверное, помогая ему развернуться, они и не предполагали, какой золотиносной курочкой окажется дело Шубарина — деньги потекли рекой. Но Бекходжаевы не учли одного: Шубарин согласен делиться и кормить многих, но хозяином дела и денег он считает только себя. Короче, нашла коса на камень. Тогда он еще не имел власти над преступным миром, как сейчас, иначе он бы живо поставил их на место. Бекходжаевы через нового прокурора области, давнего своего друга, обложили Шубарина со всех сторон, и он вынужден





был оставить налаженное дело, личное оборудование, станки и ретироваться из области, даже не выбрав паи. Я знаю людей, которые видели, как лютовал тогда Японец. Нет, не о потерянных деньгах жалел — он не мог простить предательства, коварства, не смог снести позора и унижения — он поклялся тогда, что Бекходжаевы заплатят ему за это только кровью. Вот и подкараулил свой час, да так расправился, что комар носа не подточит. Я уверен, что пройдет какое-то время, и он пошлет к Бекходжаевым их старого знакомого Коста и предъявит ультиматум, чтобы вернули ему то, что он вложил, да еще и прибыль за все годы, — я знаю, такие расчеты старики Ким и Георгади давно уже подготовили. А если не вернут — а сумма перевалила за миллион, — будет убит следующий Бекходжаев, и так до тех пор, пока не добьется своего, он безжалостный человек...

— Страшный человек! — невольно вырвалось у прокурора.

— Настоящий мафиози, — согласился Файзиев. — Не зря боится его прокурор Хаитов. И знаете, любимый фильм у него «Крестный отец», он его каждый месяц смотрит. Мне кажется, он и у них, в Италии или Америке, все быстро к рукам прибрал бы. А теперь и вас в это дело впутал... — Он вдруг осекся, поняв, что сказал лишнее, и громко позвал Адика, попросив чайник чая.

Разговор сразу как-то разладился, и прокурор понял: Икрам почувствовал, что упустил шанс перетянуть его в свой лагерь, хотя нынче вроде, как никогда, был близок к этому.

Вот-вот мог вернуться Шубарин, но Азларханов сегодня уже не желал ни с кем общаться, слишком серьезный оборот принимали события. Не хотелось ему и оставлять Файзиева без надежд, кто знает, к кому придется вдруг обращаться за помощью, чтобы уцелеть, поэтому он сказал:

— Я признателен вам — вы на многое открыли мне глаза. Но я вынужден все перепроверить и взвесить свое положение, разумеется, не затрагивая ваших интересов, — вы ведь сами сказали, что шеф безжалостный человек. Я думаю, мы с вами еще продолжим сегодняшний разговор и проясним свои отношения на будущее...

И, оставив зама переваривать сказанное, прокурор поднялся из-за стола и направился в конец зала, где висел портрет жены.



Осторожно сняв застекленную фотографию, он вышел с нею в узкий коридор, что вел прямо в гостиницу.

— Пауки! — вырвалось у него вслух, едва он закрыл дверь своего номера.

Он понимал: не обладай Шубарин властью и не имей за плечами опыт поражения, семейство Файзиевых и дня не церемонилось бы с ним, и так же, как Бекходжаевы, попытались бы все прибрать к рукам; но теперь Японец был учен и всегда начеку, оттого и не во всем доверял своему заму.

А может, убийство Анвара Бекходжаева заодно и предупреждение семейке Файзиевых? Не мог не догадаться столь проницательный человек, как Шубарин, на что нацелилось окружение Икрама Махмудовича. Опять возникали вопросы и вопросы, и главный: почему вдруг осекся Файзиев, сказав: «Вот и вас втянул в дело...»? Что крылось за этим? Во что еще втягивает его Японец?

Прокурор догадывался и о том, в какую зависимость попал к нему теперь сам Файзиев: стоило ему только намекнуть Шубарину о разговоре в пустом банкетном зале, и жизнь того не стоила бы и ломаного гроша.

Вдруг его взгляд упал на фотографию жены, и мысли о главарях тайного синдиката, наемных убийцах и мерзавцах прокурорах улетучились сами собой — сегодня день Ларисы, и кощунственно думать о другом, даже если это самые неотложные дела. Он снял со стены блеклую репродукцию и повесил на ее место фотографию, убрав траурную ленту.

«Благословила бы меня Лариса на то, что я задумал, будь жива, зная, какому риску я себя подвергаю?» И, вспомнив давние дни и споры с ней о законе и праве — она точно так же интересовалась его работой, как он ее керамикой, — ответил себе утвердительно. Лариса понимала, чему посвятил жизнь ее муж, и слово «долг» было для нее не пустым звуком, потому что выросла она в среде русской интеллигенции. И опять мысли его закружились вокруг понятий «честь», «достоинство», «долг», и, размышляя об этом, он неожиданно наткнулся на парадоксальное открытие: хоть он обладал большой властью — и не один год, ему ни разу не пришлось принимать такое ответственное решение или совершать поступок, равный тому, который предстоял ему теперь. И вдруг, только сегодня, сейчас,



в день годовщины смерти жены, он понял, что внутренне никогда не слагал с себя полномочий прокурора — от этой мысли стало как-то спокойнее на душе, исчез страх, сидевший в нем, как гвоздь, весь вечер.

## 2

Прошло две недели... Прокурор ни разу не виделся с Шубариным после поминок Ларисы, — в ту же ночь шефа поднял поздний звонок из Москвы, и он срочно улетел в столицу. Две эти недели Азларханов провел с большой пользой для себя, понимая, что времени у него в обрез: много занимался делами, подготовил несколько документов, которые наверняка обрадуют Шубарина, а главное, он понял из бумаг некоторые принципы непотопляемого «айсберга». Хитрый трюк финансовых мошенников преклонного возраста Кима и Георгади и их главаря Японца состоял в том, что они организовали немало предприятий на стыке двух областей или двух районов, с одним и тем же штатом: по одну сторону границы существовало реальное, по другую фиктивное производство, как тот армянский авторемзавод, о котором рассказывал шеф, — это давало большие возможности манипулировать финансами и сырьем, вроде как обходясь без мертвых душ и без откровенного подлога. Вычислил прокурор и несколько банков, откуда слишком щедро снабжали их чековыми книжками на крупные суммы, которые без труда обналичивались; через эти банки они наверняка получали деньги, «заработанные» и по другим каналам.

Прежде чем отдать Коста пачку сторублевок, прокурор отметил в записной книжке банковский штамп и, выйдя по документам на этот же банк, утвердился в своей мысли, что именно там приберегали для «синдиката» крупные купюры. И пачки денег — сторублевыми купюрами из этого же банка — наверняка хранятся в тайниках у первого секретаря Бухарского обкома партии, главного покровителя и друга Шубарина: вряд ли тот доверял такие суммы сберкассе.

... Вернулся из Москвы Шубарин днем и первым делом заглянул в кабинет юрисконсульта.

— Рад вас видеть в добром здравии, — едва переступив порог, сказал он, радушно улыбаясь. — Надеюсь, вы не подумали, что в такой сложный момент я бросил вас? Я наказал Коста до



моего возвращения особо тщательно охранять вас и через день звонил ему, не замечает ли он чего-нибудь подозрительного вокруг вас. Слава богу, никаких происшествий. Но теперь я рядом с вами, и душа моя спокойна, я не люблю удаляться от своих дел, даже если имею хороших помощников. Но дела есть дела, и есть люди, которым я не могу отказать в помощи, если они попали в беду. Вот почему пришлось срочно отправиться в Москву: решил и свои, и чужие проблемы. Как служебные успехи?

Юрист молча пододвинул к нему красную папку с оттиском: «На подпись».

Шубарин быстро пробежал глазами все четыре документа и тут же дал им оценку, правда, пытаясь придать сказанному шуточный тон:

— Каждый из этих циркуляров вы могли продавать мне поштучно, и сколько бы я ни заплатил, думаю, что не прогадал бы. — Вспомнив что-то, добавил: — А у меня для вас тоже припасены подарки, — и открыл кейс, вроде того, что прокурор некогда видел в руках у Коста. — Это швейцарские часы «Патек Филипп», надеюсь, они вам понравятся — солиднее не бывает, золотые, с платиновым циферблатом и стрелками. Многофункциональная счетная машинка «Кассио» — она необходима вам в работе. И еще — маленький диктофон «Шарп» — можете наговаривать текст для машинистки у себя в кабинете, я вижу, она раздражает вас своей медлительностью.

Прокурор раскрыл коробку с часами, они и в самом деле сказались великолепными — массивные, с сапфировым стеклом.

— Ну, теперь мне будет завидовать сам Коста, — пошутил юрисконсульт. Но Шубарин покачал головой:

— Нет, не должен, ему я тоже привез прекрасные часы в подарок — «Юлисс Нардан». Коста и для меня, и для вас очень нужный человек, он долгое время был у Бекходжаевых доверенным лицом, и мы нанесем им с его помощью еще один сокрушительный удар.

Узнав о приезде хозяина, с третьего этажа спустился Икрам. Увидев в руках у юриста коробку с часами, он совсем не солидно, по-мальчишески обиженно спросил:

— А мне?

Шубарин в ответ рассмеялся — он, видимо, был в хорошем настроении — и, приобняв Файзиева, сказал:



— А тебе подарок посерьезнее: я решил твой вопрос с белым «мерседесом», посылай человека, пусть пригоняют. Машина Санобар, которой ты завидуешь, просто колымага по сравнению с этой моделью: обивка из мягкой красной кожи, белые, из ламы, чехлы, кондиционер, бар... двести сорок лошадиных сил!

Файзиев взвизгнул от радости и пустился плясать посреди кабинета, и в этот момент вошли Ким и Георгади, неразлучные, словно сиамские близнецы, старики.

Подарки открыто лежали на столе, юрист не пытался их убрать, и не ясно было, доволен он ими или нет. Стало шумно, и шеф, незаметно озорно подмигнув юристу, увел незваных гостей в свой кабинет.

Прокурор и после ухода Шубарина долго не убирал со стола дорогие презенты из Москвы — нет, он не любовался ими, хотя они не вызывали в нем и неприязни, он просто был равнодушен к ним; все эти страсти с модными тряпками и престижными вещами прошли как-то мимо него и Ларисы. Он думал о том, сколько есть путей и способов подкупа: деньгами, должностью, женщиной, машиной, модной одеждой, редкой книгой, дачей, антиквариатом, драгоценностями, спортивным снаряжением... Наверное, существует целая наука, которой в совершенстве владел Артур Александрович, он-то знал, как к кому подступиться: старому и молодому, мужчине и женщине, богатому и бедному, жадному и моту, трезвеннику и пьянице, лодырю и трудяге...

Да, внимательный, тонкий человек Шубарин.

Прокурор вспомнил две прошедшие недели. Догляд за ним Коста в это время действительно был особо тщательным, хотя тот ни о какой опасности не говорил, не предупреждал и даже не намекал, видимо, чтобы не беспокоить. Но несколько раз, выходя в гостиничный коридор, он встречал там Коста, неизменно собранного, улыбчивого, учтвого. Значит, существовала какая-то опасность, которой остерегался Шубарин? От кого она должна была исходить? От Бекходжаевых? А может, его изолировали от человека, который хотел передать ему особо важную информацию? Тогда кто же он? Не прокурор ли Адыл Хаитов? С ним ведь они так толком и не поговорили, и на поминках Ларисы им не дали возможности и минуты побыть вместе. Прокручивая в памяти вечер в банкетном зале, он почувствовал,



что, кажется, Хаитов действительно порывался что-то сказать ему, а может, даже и что-то передать. О чем бы поведал ему старый знакомый, дольше других сопротивлявшийся системе Шубарина? Надо как-нибудь связаться или встретиться с ним, решил прокурор. Может, Хаитов так же, как и он, вступил в контакт с Шубариным с единственной целью — нанести в конце концов ему удар? Этот вариант следовало продумать и проанализировать особо тщательно, он чувствовал страх прокурора перед Шубариным. Да, такой союзник, обладающий официальной властью, ему не помешал бы, но пока приходилось рассчитывать только на свои силы.

В конце рабочего дня Шубарин зашел к юристу еще раз.

— Поужинаем вместе по случаю моего приезда и обмоем «Патек Филипп», чтобы носились? — предложил он и, по привычке не дожидаясь ответа, продолжал: — Я привез кое-что из Москвы: ваше любимое баночное пиво «Хейнекен» и к нему краба свежемороженого килограммов на пять. Икрам уже отправился в «Лидо» распорядиться насчет ужина. И старики наши на краба придут... Посидим, я люблю видеть своих людей рядом, и лучше всего — за накрытым столом. Это объединяет, дает чувство семьи. — Внимательнее всмотревшись в осунувшееся лицо юриста, сказал неожиданно: — Что-то вы неважно выглядите, прокурор, вас гнетет наш самосуд? Но другого способа мести я, к сожалению, не знаю. У вас, мне кажется, психологический шок — это бывает, бывало и со мной вначале, надо привыкать — большое дело требует крепких нервов. А, впрочем, может, вам стоит развеяться, сменить обстановку на две-три недели, попутно и хорошим врачам показаться? Кстати, через неделю Гольдберг, наш заведующий цехом овчинно-шубных изделий, едет в Москву, — как обычно, снимать мерки с нужных людей для дубленок. Не составить ли вам ему компанию? Он заодно и представит вас своим клиентам, многим мы уже не первую дубленку шьем. Побудете в Москве, вы ведь там учились, тряхнете стариной. Вам забронируют прекрасный номер в гостинице «Советская», будет закреплена частная машина. Правда, Яков Наумович ездит только поездами, самолеты не переносит, но двухместное купе в вагоне «СВ» вам обеспечат. Настоящее путешествие, три дня у вагонного окна! Ну как? Соблазнил?



— А что, прекрасная идея, — оживился юрист. И впрямь разрядка и отдых ему сейчас не помешали бы. Надо многое обдумать, но без посторонних всевидящих глаз. — Признаться, я напуган каким-то предчувствием беды, плохо сплю, и, если бы не присутствие Коста рядом, наверное, издергался бы совсем. Конечно, если Гольдберг не возражает, я с удовольствием составлю ему компанию, я уже давно не был в Москве...

— А почему он должен возражать? Надеюсь, вы приятно проведете время в дороге и в столице. Кстати, Яков Наумович в свое время закончил философский факультет МГУ, образованнейший человек, я с удовольствием бываю у него дома. Убежден, у него одна из лучших частных библиотек в Ташкенте, такие раритеты имеются... Ну, вот и отлично, что договорились. В дорогу вам все подготовят, только одна просьба... — Шубарин заговорщически понизил голос: — Никому, даже Икраму Махмудовичу, о поездке ни слова. Я объявлю о командировке вечером накануне отъезда. И еще личная просьба, чуть не забыл, если вас не затруднит. — Он вынул из верхнего кармашка пиджака чью-то визитную карточку. — Пожалуйста, запишите: Кравцов Николай Федорович, рабочий телефон... Вы учились с ним в аспирантуре в одной группе. Неплохо бы возобновить контакты, а через него и с другими товарищами по курсу. Англичане говорят: школьный галстук объединяет крепче родственных связей. Устройте ужин в хорошем ресторане, денег не жалейте... Пока никаких конкретных задач — возобновите контакты, а там видно будет.

После ухода шефа, осмысливая неожиданное предложение, прокурор отметил обдуманность действий Шубарина, слишком он поспешил навязать ему телефон Кравцова, это-то и выдало его с головой. Наконец-то он разгадал наперед ход Шубарина, это обрадовало прокурора куда больше, чем подарки из Москвы.

Вечером за ужином в «Лидо» он, улучив момент, спросил у Шубарина, а как же быть с новосельем, которое намечалось через неделю. Артур Александрович, показав на стол, ответил с улыбкой: вот вернетесь из Москвы, навезете вкусной еды, как я сегодня, тогда и справим новоселье. На том и порешили. Шубарин, глянув на календарь в записной книжке, объявил всем дату новоселья на Красина, пришлась она на последнюю субботу октября.



## 3

Две недели с небольшим, что они пробыли в Москве, выпали дождливые, слякотные. С Яковом Наумовичем, как и предсказывал Шубарин, он сдружился еще в дороге — три дня по нынешним меркам все же срок немалый. В двухместном купе фирменного поезда «Узбекистан» они вели долгие, неспешные беседы обо всем, но ни разу не касались ни дел, что оставили дома, ни тех, что ждали их в Москве. Прокурор не форсировал события, а Гольдберг наверняка не хотел выглядеть болтливым, подозревая, что его вагонный попутчик важный для Японца человек в деле, хотя уже прошел и неясный слух среди артельщиков, что вроде не Шубарин с Файзиевым настоящие хозяева, а Азларханов стоит за всем, и называлась астрономическая сумма пая, которым якобы он владеет. Гольдберг знал Шубарина много лет и в такой расклад, конечно, не верил, но как человек осторожный, повидавший на своем веку немало, иногда думал: чем черт не шутит, и потому сам о делах не заговаривал. Они подолгу молча стояли на закате дня в коридоре у окна, вглядываясь в скупой пейзаж казахских степей. Прокурор одолевал этот путь впервые; а Гольдбергу дорога была известна до мелочей: он знал, где и что выносят к поездам, и оттого деловая поездка напоминала путешествие, с прогулками на перронах степных городов, наполовину состоявших из вросших в землю мазанок, с непривычными для уха названиями: Шубаркубук, Челкар, Чиили, Кзыл-Орда, Арысь...

Яков Наумович помнил столицу пятидесятых годов, когда учился в МГУ, помнил первый Всемирный фестиваль молодежи пятьдесят седьмого года, первый Московский кинофестиваль, приезд Симоны Синьоре и Ива Монтана, Жерара Филипа, впрочем, тогда многое было впервые. Москва, воспоминания о ней, наверное, более всего сблизили этих двух немолодых людей...

Иногда за неспешным ужином в купе прокурору хотелось спросить Якова Наумовича, почему он с таким образованием, со знанием двух иностранных языков оказался далеко от Москвы в овчинно-шубном цехе, но каждый раз понимал, что не следует этого делать. Скорее всего, он услышал бы историю не более веселую, чем свою. Но как бы ни был приятен в





общении Гольдберг, прокурор не забывал о своих целях: ему неожиданно выпал шанс выявить в Москве круг должностных лиц, сотрудничающих легально и нелегально с Шубариным, и всех этих людей, или большинство из них, хорошо знал Яков Наумович. Если бы, не вызывая у него подозрений, удалось заполучить информацию об этих людях! Оттого, когда им в гостинице «Советская» дали два отдельных номера, он предложил Гольдбергу взять двойной «люкс», мотивируя тем, что в последнее время из-за сердца боится оставаться один. Предложение Гольдберг понял, как приказ, и они поселились вместе; впрочем, трехкомнатный номер, в который он попал впервые, понравился ему куда больше, чем однокомнатный «люкс», что занимал он всякий раз, бывая в Москве.

Имелся у прокурора и кое-какой план, который он продумал в дороге, под мерный стук колес. Во время ужина в ресторане гостиницы на месте бывшего «Яра», где некогда сживал еще дед Шубарина, он сказал небрежно:

— Я очень давно не был в Москве и не хотел бы тратить время на знакомство со всеми, с кого вы должны снять мерку. Пожалуйста, подготовьте список, на ваш взгляд, самых влиятельных людей, кому я должен нанести визит, сопровождая вас, а остальным временем я распоряжусь по своему усмотрению, тем более что мне дали и конкретное задание.

— Как пожелаете, — ответил Гольдберг. — Хозяин — барин, я вам не указ. Думаю, таких людей будет не больше десяти, остальные, так сказать, среднее звено, но и без них шагу не сделаешь.

После ужина они поднялись в номер. Азларханов, словно забыв о своей просьбе, пошел принять перед сном душ, а Яков Наумович включил телевизор. Но когда прокурор, выйдя из ванной, хотел составить Гольдбергу компанию перед телевизором, оказалось, тот сидел за столом и листал толстую замусоленную тетрадь в коленкоровом переплете. Увидев юриста, оживленно воскликнул:

— Один момент! Куда-то затерялся в моих записях один важный чин, пятьдесят восьмого размера. Отыщу — и список будет готов.

— Судя по вашей тетради, клиенты наши уже не одной дублировкой разжились у вас, — поддел Амирхан Даутович скорняка.



— Да, всяко бывает, есть и постоянные клиенты, — ответил Яков Наумович, не поднимая головы от стола. — Вот, к сожалению, двое уже умерли, хорошие были люди, большие начальники! Иных перевели на новую службу, повысили, номенклатура, сами понимаете, и они уже не представляют для нас интереса, а большинству — вы правы — шьем не в первый раз. А, вот, нашел наконец! — вырвалось у него обрадованное. — В прошлый раз ушло на него двенадцать овчин, неужели поправился еще? — И Яков Наумович передал юристу набросанный список.

Прокурор пробежал взглядом листок в клетку, надеясь, что, оставшись один, внимательнее вчитается в него.

— Наверное, за неделю управимся?

— Раньше не удавалось, — охотно ответил Гольдберг. — Это не простое дело... Снять мерку мне и десяти минут хватает, да вот чтоб в иной кабинет зайти, не один день ездить приходится — то совещание, то заседание, то неожиданно в Совмин вызвали, то в ЦК... А другого мы должны в ресторан пригласить на ужин, мерку здесь в номере снимать будем. К третьему домой поедем, подарки и гостинцы повезем. Так что не забивайте себе голову сроками, давайте сегодня отдохнем, а завтра я с утра составлю расписание визитов.

Поездку можно было считать удачной, даже слишком. Сосед по номеру начинал день с телефонных звонков, и толстая тетрадь, где у него были записаны адреса и телефоны клиентов, почти все дни лежала на письменном столе и убиралась с глаз лишь в те вечера, когда приходили к ним гости, — мерку с них снимали после обильного ужина в ресторане. Разных людей повидал прокурор на таких мальчишниках, как называл Яков Наумович подобные мероприятия. У некоторых гостей на руке он видел точно такие же часы, какие привез ему Шубарин, и невольно хотелось спросить: не Артура ли Александровича подарок? Но мог и ошибиться: наверное, тут, в Москве, не один Шубарин раздавал щедрые подарки, сидели эти люди на самом дефиците из дефицита, заправляли материальными ресурсами страны, от одного росчерка их пера зависела судьба целых регионов и отраслей. И тут вроде Шубарин не пахал, не сеял, а пожинал плоды опять же не им ухоженного поля.

Много ели, много пили и много говорили важные гости, привыкшие к ресторану в гостинице «Советская», который меж



собой упорно величали «Яром», — они чувствовали себя тут уверенно, как Икрам Махмудович в «Лидо». После каждого такого застолья, оставаясь один, прокурор вносил кое-какие сведения в записную книжку, куда уже перекочевали адреса и телефоны из замусоленной тетради скорняка, обладавшего каллиграфическим почерком.

Удалось побывать ему и в нескольких кабинетах высокого, даже по московским понятиям, начальства, где Яков Наумович снимал мерки. Если бы прокурор набрался терпения, то мог бы нанести визит всем, чьи фамилии значились в списке, составленном в день прибытия в Москву, но личное знакомство на будущее с людьми без будущего, а в этом он не сомневался, не интересовало его. И потому, когда прием не мог состояться в оговоренное время, он, не дожидаясь, оставлял терпеливого Якова Наумовича мучиться в приемной, а сам уходил гулять по дождливой Москве. Главное, он знал, где сидит очередной хапуга, взлетевший так высоко.

Удачей посчитал он и то, что Кравцов, на контакте с которым настаивал Шубарин (наверняка, главная причина его командировки в Москву), находился в отпуске. Хотя, узнав уже тут, на месте, что его давний товарищ по аспирантуре стал прокурором одного из районов Москвы, он отметил для себя, что при случае просто обязан спросить, какие у Кравцова в этот период находились в производстве уголовные дела, — они наверняка переплетались с интересами если не самого Шубарина, так его московских коллег, и, если копнуть глубже, обнаружатся новые источники сырья, оборудования, новый круг высоких покровителей.

В сутолоке дел, неотвязных раздумий о действиях, которые ему следует предпринять, он совсем забыл о новоселье, назначенном на последнюю субботу октября. Выручил его Гольдберг... Однажды вечером, когда оставалось снять мерку с двух самых неуловимых клиентов, Яков Наумович заявился в номер, как обычно, нагруженный коробками, пакетами, свертками. Каждый, с кого снимали мерку в гостинице, не уходил с пустыми руками — такова давняя традиция, объяснял скорняк. Кому-то выдавали набор коньяка или дорогого виски, кому банку икры килограмма на полтора, хорошей колбасы и другие



деликатесы. Укладывая содержимое пакетов в холодильник, Гольдберг поинтересовался:

— А когда же мы продукты для вашего новоселья будем закупать? Времени осталось всего ничего.

Но Азларханов не растерялся — такая забывчивость могла оказаться чревата последствиями:

— Извините, я думал, что вы сами распорядитесь на этот счет, как только закончите свои дела. Я готов хоть завтра поехать с вами, заодно и подскажете, что следует взять. Если честно, я слабо разбираюсь в деликатесах.

— А разбираться и не надо. Артур Александрович дал мне список, что нужно взять, а если появится что-то стоящее, не учтенное шефом, так на складе и без нашего напоминания упакуют — они знают вкус Шубарина.

Возвращаясь опять же поездом «Узбекистан», прокурор мысленно благодарил Гольдберга за его нелюбовь к самолетам — дорога давала возможность осмыслить положение и принять окончательное решение. Тянуть дольше не имело смысла: теперь, включая московские связи, он знал достаточно, чтобы попытаться отбуксировать «айсберг» куда следует. Ему нужно было два-три спокойных дня, чтобы привести бумаги в порядок, изъять из старых годовых отчетов управления несколько странных ведомостей на зарплату, где фигурировали любопытные фамилии, и — отбыть в Ташкент, а может, даже в Москву, это тоже следовало просчитать. То, что в Москву его отпустили без сопровождения Коста, говорило о доверии Шубарина, хотя он допускал мысль, что могли наблюдать за ним и в столице; «хвоста», правда, он не замечал ни в ресторане, ни гуляя по улицам, — впрочем, он и повода для тревоги не давал. Что ему хотелось узнать о московских связях, он узнавал, не выходя из номера в «Советской», благодаря Гольдбергу. Определился теперь и срок исполнения своего плана — он должен был исчезнуть до новоселья, скорее всего, в канун его, а может, даже в субботу, в назначенный для гостей день.

Разрабатывая свой последний план, он осознавал, как не хватает ему помощника, даже просто человека, которому бы он доверял, может, тот отвез бы его в Ташкент или сразу в аэропорт, заранее позаботился о билете, чтобы прибыть прямо к самолету. Но сколько ни перебирал в памяти знакомых,



довериться никому не мог — слишком многим он рисковал. Да и опекали его уж очень старательно.

И опять выручила дорога... Под мерный стук колес он вспомнил: Коста как-то обмолвился, что Джураев уже стал подполковником и возглавляет угрозыск одного из районных отделений Ташкента. Упомянул Коста Джураева потому, что тот, оказывается, лично взял в прошлом году его сокамерника по последней отсидке, взял на какой-то тайной «хате». «Заколдованный ваш друг, — мрачно пошутил тогда Коста, — ни пуля его не берет, ни нож. Сколько на него покушений было, другой давно бы уже оставил такую рискованную работу, а этот только злее и хитрее становится».

Может, следовало при первой возможности связаться с капитаном Джураевым и вызвать его с машиной в «Лас-Вегас», в какое-нибудь укромное место. У Джураева вряд ли сумеют отбить его, даже если и попытаются. Он и поймет сразу, с первых слов, и наверняка подстрахуется как следует, зная, что бывший прокурор зря паниковать и обращаться за помощью не станет, не одно совместное дело у них за плечами. «Что ж, это тоже вариант, и пусть останется на всякий случай в резерве, — решил Азларханов. — Если не удастся исчезнуть тихо, чтобы выиграть время».

Прибыли они в Ташкент утром, встречал их на перроне Ашот. Когда они вышли на привокзальную площадь и подошли к стоянке для частных машин, увидели белый «мерседес», возле которого толпился любопытный народ.

— Как же Икрам доверил тебе, лихачу, такую красавицу? — спросил скорняк, когда они отъехали.

— А он и не доверял, — мрачно ответил Ашот. — Файзиев сам приехал вас встречать — шеф велел, а я его сопровождаю на всякий случай. Зашел он в Госплан с какой-то бумажкой, думал, на минуточку, а вышло на час, я и поехал за вами на вокзал, время поджимало; заберем его — и домой. А машина — класс, картежники дают за нее Икраму уже мешок денег, да разве деньги ему нужны, он и так не знает, куда их девать. Артур Александрович обещал и мне достать, как только я денюжку поднакоплю.

У Госплана уже дожидался их Икрам Махмудович, он и сменил Ашота за рулем. Только вырвались за город, стрелка



спидометра пошла гулять за цифрами 120—140. Яков Наумович связвил не без тревоги:

— Я думал, у нас один Ашот лихач, оказывается, и вы грешны этим?

Файзиев, улыбаясь, не без доли хвастовства ответил:

— На такой машине грех плестись вслед «жигулям», к тому же, я спешу к столу. Шеф, если не запомнили в Москве, не любит, когда опаздывают.

Ашот, подлаживаясь под голос Файзиева, добавил:

— Обед — дело святое...

И все засмеялись, зная, что Икрам пропустит что угодно, только не застолье.

К «Лидо» подъехали вовремя, Шубарин с Коста стояли у подъезда, словно предчувствовали, что «мерседес» Икрама вот-вот вынырнет из-за угла.

Пока возвратившиеся из столицы обменивались с Артуром Александровичем приветствиями, расспросами о здоровье, самочувствии, о впечатлениях от Москвы, Коста с Ашотом быстро подняли чемоданы, сумки, коробки наверх и отогнали машину во двор ресторана.

Сели за стол как обычно — с последними звуками городских курантов, отбивших два часа пополудни.

Шубарин расспрашивал о поездке больше Гольдберга, наверное, желая провести разговор с юристом наедине.

Выпили бутылку шампанского, чего обычно среди дня Шубарин никогда себе не позволял. Он сам попросил ее у Адика, неожиданно сказав:

— Я рад видеть всех вместе за столом. Знаете, такие суматошные недели выпали, вы даже не поверите — ни разу за это время и не погуляли. Хотя поводов хватало... На прошлой неделе получили по итогам третьего квартала два переходящих Красных знамени — одно областное, другое республиканское. Ну, а ваш приезд мы, конечно, не должны оставить без внимания, не едиными делами жив человек. Давайте вечером соберемся в банкетном зале и отметим два события сразу: и награждение нашего управления, и возвращение наших товарищей из Москвы. Успеют на кухне часам к восьми организовать все как следует?

Файзиев, что-то лениво дожевывая, заверил:



- Куда они денутся? Это я беру на себя.  
— Ну, вот и хорошо, договорились, значит.  
— И, обернувшись к Гольдбергу, спросил: — Надеюсь, и наши москвичи чего-нибудь вкусенького к столу не забудут?  
— Конечно, конечно, — поспешил заверить Яков Наумович.  
— Мы много чего привезли, хватит и на новоселье, и на сегодняшний вечер, я ведь тоже помню о традиции: после Москвы — застолье.

## 4

После обеда Артур Александрович уехал с Гольдбергом в цех, у них были срочные дела, а прокурор остался в гостинице. Уходя, Шубарин сказал, что о поездке они поговорят как-нибудь на днях, в более спокойной обстановке. Азларханов поднялся к себе, номер оказался тщательно убраным, проветренным, на столе стояли свежие цветы и фрукты. Расхаживая по комнате, он машинально дернул дверцу холодильника, и сразу понял, что Адик был предупрежден о его приезде. Да, Шубарину во внимании к ближнему трудно было отказать.

Он еще долго стоял у большого окна, выходящего на площадь, хотелось пойти сейчас же в управление и приняться за дела, как решил в дороге, но рвения проявлять не следовало, энтузиазм мог и насторожить кое-кого... Потом он задумался о предстоящем банкете. Ему необходимо было, чтобы старички Ким и Георгади оказались на вечере. Надо было задать каждому из них несколько вопросов в неофициальной обстановке, на работе к ним с такими вопросами трудно было подступиться; а главное, после обильного застолья они дня два не выходили на работу. Ему и нужны были эти два дня — в бухгалтерии и в плановом отделе уже привыкли, что юрисконсульт то и дело требует разные документы.

Вечер предстоял нелегкий, да еще после дороги, и прокурор решил отдохнуть, но какое-то внутреннее напряжение не позволяло расслабиться. Предчувствие развязки не давало покоя, он заметил, что пошаливает не только сердце, но и нервы, это ощущение оказалось для него внове, он всегда считал, что владеет собой. Это открытие он посчитал своевременным, обидно было бы в самом конце срезаться на каком-нибудь пустячке,



а о том, что здесь никому не доверяют до конца и промахов не прощают, он знал.

«Будет ли сегодня на званом ужине Адыл Хаитов?» — мелькнула вдруг неожиданная мысль. Необходимо быть готовым и к такому варианту и попытаться дать понять тому, что он тоже хочет с ним встречи. И будут ли его сегодня так же тщательно стеречь, как в прошлый раз, когда их ни на минуту не оставляли наедине? И вдруг его осенило, что он должен сделать. Прокурор подошел к столу и написал короткую записку: «Мне кажется, вы хотели мне что-то сказать?» Он уже знал, и как передаст ее: единственный, с кем он дружески обнимался при встрече, — это Хаитов, остальное дело техники. Записка никак его не компрометировала. В любом случае он нашелся бы, что ответить, зато в случае удачи становилось ясно, что они единомышленники. Решение это ободрило прокурора: получить помощь Хаитова на последней стадии его деятельности в синдикате было бы очень кстати.

В раздумье прошли послеобеденные часы, отдохнуть, как хотелось, так и не удалось. В назначенное время раздался стук в дверь. Прокурор, сунув записку в кармашек пиджака, поспешил открыть. На пороге стоял Коста, судя по парадному костюму, он и сегодня получил приглашение на банкет.

В зале на этот раз оказалось многолюднее, чем на поминках, да и выглядел он как-то официальнее; может быть, этому способствовали два больших красных стяга в углах и множество цветов, опять в высоких хрустальных вазах. Наверное, это все же реквизит управления для торжественных случаев, решил прокурор. Он попытался разглядеть в толпе гостей Хаитова, но быстро понял, что его нет. Зато среди приглашенных увидел работников обкома профсоюза, людей из горкома и горисполкома. Артур Александрович опять сочетал личные и производственные интересы, устраивал под легальным предлогом богатую пирушку для чиновников среднего ранга, без которых, как упоминал Гольдберг, дел не провернешь.

Обычной оказалась сегодня и сервировка стола, не было давешнего великолепия, голубого хрусталя и серебряных приборов — то ли времени не хватило, то ли Шубарин посчитал, что на этот раз сойдет и так, хотя любитель столового серебра Георгади и его неперемный друг Ким занимали свои





привычные места в зале. Зато куда плотнее оказался заставлен стол спиртным и закусками, видимо, Артур Александрович хорошо знал аппетиты среднего «лас-вегасского» аппаратчика. Что и говорить, Шубарин на застолье не экономил; щедро выставили и московские деликатесы, в этом, видимо, и состояла приманка для таких далеко не голодных людей.

Артур Александрович, как обычно, занимал свое председательское место за столом. На этот раз, словно отрешиваясь от происходящего, сразу предоставил слово человеку из профсоюзов, и эстафета скучных тостов стала переходить от одного чиновника к другому. Слушая поднаторевших в публичных выступлениях краснобаев дубовых трибун, прокурор впервые ужаснулся косности, казенности их языка. Хотя в то же время он замечал восторг иных за столом, в глазах читалось: «Во дает, мне бы так, начальником бы стал!» И тут он неожиданно понял: это был особый кодовый язык провинциального начальства, номенклатурных работников, — только овладев им, можно было на что-то претендовать. От такого открытия стало несколько веселее, и Азларханов уже с интересом выслушивал очередную бессмысленно-напыщенную речь, состоявшую сплошь из казенных клише, дежурных фраз, — чтобы такое наговорить, действительно надо было обладать специфическим талантом.

Прокурор не удержался и заговорщически шепнул шефу:

— Вы что-то изменили своему театру одного зрителя, решили попробовать своих актеров на массовом? Тут камерным театром и не пахнет.

Шубарин понял его сразу, выступления состояли сплошь из дифирамбов мудрому руководителю местной промышленности и его верному помощнику; правда, нашлись дальновидные льстецы, провозгласившие здравицы и в честь юрисконсульта, кто-то вспомнил и про главбуха с экономистом.

Так они и сидели, перебрасываясь репликами и потешаясь над выступающими. Артур Александрович весело заключил:

— Пусть говорят... Им так нравится держать речь за хорошо накрытым столом, чувствовать себя причастными к успеху большого коллектива, которому они якобы указывают путь в тумане, кормчие этакие. В конце вечера по традиции Икрам раздаст каждому по конверту, а тому, кто хвалит его больше



других, наверняка добавит еще из своих. Впрочем, повода для огорчений не вижу, через полчаса, может, через час, когда пропустят еще по три-четыре рюмки водки особого разлива, что привезли вы из Москвы, спесь, чиновничье высокомерие слетит с них, и они снизойдут до нас и заговорят нормальным человеческим языком, если он у них еще не атрофировался.

И впрямь, через час чиновничий пыл и красноречие угасли, водка и вино сделали свое дело, да и тосты перешли к другим людям. На этот раз слово предоставили даже Коста и Ашоту, скромным труженикам управления, как отрекомендовали их.

Дальше время побежало быстрее, веселее, полетели над столом шутки, смех и опять же, как в прошлый раз, стали заглядывать из большого зала друзья и приятели завсегдатаев «Лидо».

Чинности, строгости в этот раз не было — за столом с самого начала сидели кучно, разные люди невпопад, а теперь в разгуле тем более все смешалось. Прокурор уже успел задать свои вопросы и Киму, и Георгади, понял, что Хаитов сегодня не появится, и хотел, сославшись на усталость с дороги, попрощаться с Шубариным и незаметно уйти, как вдруг подошел Адик и сказал шепотом шефу, что его требует к телефону Бухара, сам Первый. Шубарин удивился и, не скрывая волнения, попросил Азларханова:

— Пожалуйста, не уходите. Наверняка что-то стряслось, может, ваша помощь понадобится, не тот человек Первый, чтобы по пустякам разыскивать меня в гостиницах.

В зал Шубарин уже не вернулся, а минут через десять юриста вызвал из-за стола Адик и попросил, чтобы он поднялся на третий этаж.

Шубарин нервно расхаживал по своему просторному номеру — и без слов было ясно: случилось что-то из ряда вон выходящее. Но, увидев юрисконсульта, он сразу взял себя в руки, видимо, сработал в нем рефлекс — никогда и никому не показывать слабости.

— Что-то стряслось? — осведомился прокурор.

— Да, звонил сам, и действительно ЧП. В Хорезме час назад умер первый секретарь ЦК...

— Не может быть! Я только в половине восьмого смотрел по телевизору программу новостей, ни о чем таком не сообщали! — невольно вырвалось у бывшего прокурора.



— Никакой информации не будет еще три дня! — жестко перебил Шубарин. — Вы отдаете себе отчет, кто умер? Кандидат в члены Политбюро, хозяин одной из мощнейших республик. Тут ко многому нужно подготовиться, и не только к похоронам, главное — к внеочередному пленуму, где будет решаться вопрос о преемнике. Моего бухарца наверняка предупредили одним из первых — все-таки ходил в любимчиках, он теперь лихорадочно считает варианты и заручается поддержкой верных людей, чтобы заполучить этот пост.

— Первого секретаря ЦК? — удивился Азларханов, не веря своим ушам.

— А почему бы и нет? Много лет управляет крепкой областью... Да он и не скрывал своих честолюбивых замыслов стать когда-нибудь хозяином республики. И почему ему не воспользоваться неожиданно выпавшим шансом? Поэтому через три часа я должен быть в Бухаре, там в аэропорту уже дожидается наготове самолет. Без меня он не полетит в Хорезм. В этот ответственный час, как он сказал, самые верные и надежные люди должны быть рядом с ним. У меня к вам просьба... Пока я обзвоню кое-кого в Ташкенте, пожалуйста, поезжайте в управление, откройте сейф в моем кабинете, там лежит кейс, набейте его деньгами и приезжайте сюда. Вот вам ключи, Ашот уже внизу в машине.

Прокурор, не спеша, пытаясь осмыслить ситуацию, спустился вниз. Машина с работающим мотором стояла у подъезда, и как только он сел, рванула с места, видимо, Ашот уже был в курсе происходящего. Они быстро поднялись на второй этаж в управление, шофер остался в приемной, а прокурор направился в кабинет; до самого последнего момента он предполагал какой-то подвох в затее с сейфом и деньгами. Но все оказалось так, как сказал Шубарин. В сейфе лежал пустой дипломат, а в глубине на верхней полке высились аккуратные стопки денег в банковской упаковке, одни сторублевые купюры. Прокурор раскрыл дипломат и тщательно, как детские блоки конструктора, стал укладывать твердые пачки денег. Кейс по размерам был словно рассчитан на сторублевки, и он укладывал не считая, сколько влезет. Видимо, Шубарин, как некогда его отец, рассчитавший размеры коробки для сотни пластмассовых шариковых ручек, знал без подсчета,



сколько банковских упаковок помещается в его щегольском чемоданчике.

Закрыв кейс, прокурор вышел в слабо освещенную приемную, и они молча спустились вниз. Вся поездка заняла минут десять, не больше.

Когда они с Ашотом поднялись в номер, хозяин складывал в чемодан стопку рубашек, он даже не глянул на дипломат, который юрист продолжал по рассеянности держать в руках.

— Спасибо, — сказал Шубарин на ходу. — Бросьте его на диван, не обрывайте себе руки, вам вредно поднимать тяжести. — Он защелкнул замок чемодана. — Ну вот, я и готов. Может так случиться, что я позвоню вам, если понадобятся деньги. Ключ от сейфа пусть останется у вас. За деньгами могут приехать только Коста или Ашот. А теперь давайте прощаться, и пожелайте нам удачи, в случае успеха пост министра будет у нас уже в будущем году. Коста и Ашота я забираю с собой, не исключено, что и для них найдется работа, может, придется сдерживать ретивых конкурентов нашего дорогого бухарца. — И Артур Александрович, попрощавшись, вышел из номера.

Прокурор спустился вниз проводить их до машины, и как только «Волга» рванулась с места, он не спеша вернулся в банкетный зал, как они и уговорились с Шубариным. Сообщение следовало хранить втайне даже от Икрама.

Часа через два, распрощавшись со всеми гостями, которые намеревались вместе с Икрамом поехать еще куда-то продолжать вечеринку, прокурор наконец-то поднялся к себе в номер. Он долго стоял у большого окна, не включая света. Внизу, у ресторана, в белый «мерседес» набивалась разгулявшаяся компания — пьяный смех, вскрики, обрывки разговоров доносились до четвертого этажа, но он всего этого не видел и не слышал, его мысли были о другом.

«У бухарца сегодня свой шанс, у меня свой!» Но вдруг, повторив эту мысль вслух, усмехнулся иронии судьбы: бухарец метил на место первого секретаря ЦК, а он, имея документы на руках, вряд ли мог гарантировать ему жизнь даже в кутузке — по всем статьям тот тянул на исключительную меру.

Но сегодня думать больше ни о чем не хотелось, время раздумий и сомнений кончилось, и Азларханов пошел спать. Наверное, оттого, что он не мучился больше неопределенностью,



спал крепким глубоким сном и проснулся чуть позже обычного, но с ясной головой и легкостью в теле. Ощущал какую-то собранность и приподнятость и, принимая душ, даже насвистывал давно забытую мелодию, чего с ним давно не случалось.

Завтракал один — Икрам Махмудович, наверное, как всегда после загулов, объявится к обеду. Отсутствие Файзиева тоже обрадовало, иначе пришлось бы на ходу что-нибудь сочинять по поводу срочного отъезда Шубарина; он еще не решил, стоит ли сообщать заму о подлинных причинах, сорвавших Японца из-за стола.

На службу он немного опоздал, зашел по пути в универмаг и купил дипломат, конечно, не такой роскошный, как у Шубарина, но он вполне его устроил. Как и предполагал, ни Ким, ни Георгади не вышли на работу, и прокурор, едва войдя в кабинет, затребовал к себе старые подшивки бухгалтерских отчетов. Он уже знал, где, в каких папках хранятся интересные его ведомости, и, отыскав, не стал тратить времени на переписку, а аккуратно вырезал их и сложил в дипломат, где уже находились его юридические исследования, к которым он не притрагивался с того дня, как познакомился с артельщиками.

Дипломат быстро заполнялся разными бумагами, выписками, приказами, которые он загодя отметил в делах, а сейчас, возвращаясь к ним по второму кругу, просто изымал их. Отыскивая какую-то бумажку, бывший прокурор наткнулся в столе на диктофон, который толком ни разу не использовал, хотя оценил его достоинства сразу. И вдруг он представил себя исповедующимся перед незнакомым человеком; картина эта не совсем понравилась ему, и он решил сделать это сейчас, наедине с собой, настроение у него было самым что ни на есть исповедальным. Он зарядил новую кассету и стал потихоньку, не спеша наговаривать события своей жизни с того давнего августовского дня, пять лет назад, когда убили его жену. Девяносто минут пролетели незаметно, он не успел даже добраться до бюро обкома, где Бекходжаевы лишили его должности прокурора. К двум часам он успел записать еще одну кассету, и в ней не дошел до знакомства с Шубариным, хотя рассказывал о событиях, уже происходивших в «Лас-Вегасе».

Время от времени он останавливал диктофон и подолгу сидел в раздумье, потому что всплывала неотвязная мысль — куда



бежать? В Москву или в Ташкент? Но однозначного ответа пока не находил. На обед он пешком отправился в «Лидо». Икрам уже был за столом, он наверняка надеялся встретить тут Шубарина, но, увидев юриста, пришедшего одного и с заметным опозданием, мрачно спросил:

— Куда вчера исчез с банкета Японец со своими голово-резами?

Прокурор внимательно посмотрел на Файзиева, бывшего с похмелья не в духе, и подумал, что есть резон открыть ему тайну, потому что в таком случае он избавлялся от его общества по меньшей мере до конца дня, а больше времени ему и не требовалось.

— Это, позвольте спросить, где вас носит с утра? У меня есть для вас экстренное сообщение.

— В чем дело? Какая новость? — туго соображая, спросил Файзиев.

— Новость чрезвычайная, только возьмите себя в руки. Вчера в Хорезме в инспекционной поездке умер первый секретарь ЦК республики...

— Как умер? — Файзиев вскочил с места.

— Сядьте. Во-первых, не кричите, новость пока не для всех. А умер просто, как все люди, бессмертных не бывает, говорят — инфаркт.

— Теперь ясно, куда смылся Шубарин! — зло процедил Файзиев. — Побежал под знамена Бухары, труба в дорогу позвала! Наверное, честолюбивый коротышка-бухарец хочет попытать свой шанс, и Шубарин со своей мафией ему понадобился! — Он вытер взмокший от волнения лоб. — А наши дураки ничего не ведают, я ведь с ними с утра похмелялся. Скоты, только бы жрать! Спасибо, Амирхан Даутович, за откровенность, я ведь понимаю, что Японец наказал вам держать это втайне от меня. А сейчас я должен поторопиться, мы и так упустили часов пятнадцать, но ничего, мы ближе к Ташкенту, чем бухарец. — Файзиев моментально протрезвел от своих слов и, поднявшись, объявил: — Если наша возьмет, мы никогда не забудем вашей услуги.

«Какой сейчас переполох в республике! Зашевелились семейки Бекходжаевых, Файзиевых, разных бухарцев», — подумал прокурор, но мысль эту развивать не хотелось. Спокойно



пообедав, по дороге в управление зашел в универмаг и купил на всякий случай еще две кассеты. До конца дня он записал и эти две, в них уложилось уже все, до последнего сообщения о смерти секретаря ЦК.

Кончился рабочий день, распрощалась, уходя, секретарша, а прокурор не спешил возвращаться в гостиницу; к вечеру у него созрел еще один план, но он не мог реализовать его, пока рядом находилась Татьяна Сергеевна, верная помощница Шубарина. Как только стихли шаги на всех этажах, прокурор запер дверь приемной и направился в кабинет Артура Александровича. Вчера, набивая деньгами дипломат, он заметил там и кое-какие бумаги; может, в них хранились тайны, недоступные ему? В первой же папке он обнаружил расписки на крупные суммы денег — может, фамилии этих незнакомых людей и окажутся недостающим звеном в его будущем расследовании? Не менее любопытные данные содержали и другие папки, но он особенно вчитываться не стал, решил, что у него еще будет время внимательно ознакомиться с ними. Аккуратно выбрал из папок представляющие интерес бумаги и сложил в свой дипломат. Закрывая сейф, вспомнил о деньгах и решил на всякий случай навести на ложный след: пусть подумают, что это из корысти юрист совершил примитивное ограбление. В несколько приемов он перенес деньги Шубарина к себе в сейф и, внимательно оглядев кабинет, спустился вниз, твердо зная, что сюда больше уже никогда не вернется.

Вечером, поужинав один в ресторане, чему Адик очень удивился, он вышел на последнюю прогулку в «Лас-Вегасе». В раздумье прошел до Шанхая, куда добирался крайне редко, но окончательного решения, где обратиться к властям, так и не принял; в любом варианте оказывалось много «за» и «против». Вернувшись в гостиницу, когда музыканты уже покидали ресторан, он и у себя в номере еще долго взвешивал свои шансы. Собираться в дорогу, даже если он и надумал ехать в Москву, не надо было, любая лишняя вещь в руках наверняка привлекла бы внимание и осложнила отъезд, рисковать не следовало. Утро вечера мудренее — вспомнил бывший прокурор поговорку; так тому и быть, окончательное решение примет утром.

Спал он крепко, но среди ночи его поднял междугородный телефонный звонок. Прокурор долго не мог проснуться,



ему казалось, что звонок он слышит во сне. Звонил Шубарин. Говорил он как всегда спокойно, не торопясь, расспросил прежде о самочувствии, успел пошутить насчет богатырского сна, спросил, как Файзиев, и только под конец выложил суть, да и то, если бы кто подслушивал, вряд ли что понял бы. Он сказал, что Коста приедет завтра после обеда прямо на работу. На вопрос, когда вернется из командировки сам, ответил неопределенно, мол, обстановка требует его присутствия здесь. На том и распрощались.

«Деньги, значит, понадобились», — подумал бесстрастно Азларханов. Как ни странно, ни звонок, ни сообщение Шубарина не взволновали его, и он быстро заснул снова.

Проснулся он чуть раньше обычного, принял душ, сделал зарядку, чем себя обычно не обременял, но что бы он ни делал, свербила одна-единственная мысль — куда?

Но утро все-таки подсказало выход, он сказал себе: ты еще доберись до Ташкента, там решишь. До открытия ресторана оставалось с полчаса, но он не стал терять времени на завтрак и, подхватив дипломат, спустился вниз. Минут десять он стоял у подъезда, словно дожидаясь машины, а потом не спеша, переулками, направился в сторону автостанции. Похоже, за ним никто не шел.

В «Лас-Вегасе» делали остановку все проходящие на Ташкент междугородные автобусы, это тоже была заслуга Шубарина — он никак не мог упустить такой поток покупателей. Здесь следовало быть осторожным и по возможности не привлекать к себе внимания, его-то теперь многие хорошо знали. Поэтому, подойдя к автовокзалу, уже оживленному, несмотря на раннее утро, он сразу наметил план. Проходящие машины останавливались на площади где придется, ни о каком порядке не могло быть и речи, и он понял, что ему лучше всего следует дождаться автобуса, который станет рядом с газетным киоском. Там всегда толпилась небольшая очередь, киоск торговал всякой мелочью: сигаретами, мылом, пластиковыми пакетами, книгами. Нужно было подойти к киоску в самый последний момент, когда отходящий автобус даст предупредительный сигнал. Такая удача выпала ему минут через пятнадцать, и он чуть ли не на ходу вскочил в отправляющийся «Икарус».





Автобус шел издалека, из Карши, и прокурор, пробираясь по проходу к свободному месту в конце салона, не увидел ни одного знакомого лица — это его успокоило. Экспресс вышел из Карши на рассвете, и большинство пассажиров спали или дремали, сонное настроение передалось и ему, и через полчаса задремал и он. Наверное, оттого, что его преследовала неотвязная мысль — куда? — ему и приснилась Москва, но не Москва его молодости, а столица, которую он покинул всего несколько дней назад. Снился богатый зал бывшего «Яра», цыгане, а за столом, рядом с Гольдбергом, дед Шубарина в купеческой тройке, с золотой цепью поперек живота, он что-то грозно выговаривал Артуру Александровичу в праздничном белом костюме, за спиной которого стояли, держа руки в карманах, Коста и Ашот. За столом через проход он вдруг увидел Николая Федоровича Кравцова и рядом с ним еще несколько ребят, с которыми заканчивал аспирантуру в Москве. Удивительным в этом сумбурном сне оказалось то, что он ясно представил лица своих давних товарищей, особенно четко он видел Колю Кравцова, болельщика «Спартака», а ведь все это время, получив его телефон от Шубарина, он никак не мог припомнить его внешность. Перед московским прокурором на столе лежали бумаги и кассеты, что сложил он вчера в дипломат, и Кравцов твердо говорил: «Все ясно, всех выведем на чистую воду, включая бухарца...»

В этот момент Азларханов очнулся, автобус тряхнуло. Глянул на часы: и задремал-то всего на пятнадцать минут. Сонливость как рукой сняло. Значит, в Москву надо ехать, слишком уж большие возможности тут у Артура Александровича и его покровителей, тем более, если коротышка-бухарец добьется своего. «В Москву, только в Москву!» — решил прокурор. И до самого города вглядывался в унылый придорожный пейзаж, голые хлопковые поля и тысячи людей на них, собирающих ощипки.

При въезде в Ташкент, на Куйлюке, сошло несколько корейцев, в самый последний момент последовал за ними и прокурор. Он остановил первую попавшуюся частную машину и, протягивая десятку, сказал: «В аэропорт опаздываю». Купюра сработала безотказно.

Выстояв в очереди в билетную кассу с полчаса, прокурор подал в окошко паспорт и попросил:

— Пожалуйста, билет в Москву, на ближайший рейс.



Кассирша удивленно посмотрела на него и ответила:

— Гражданин, в Москву даже на завтра нет билетов, — и, считая, что разговор окончен, сказала: — Следующий...

От неожиданного сообщения прокурор растерялся. Но, отойдя от окошка кассы, вспомнил еще один ход, который нынче, увы, знает стар и млад. Увидев у свободной стойки для регистрации двоих в форме «Аэрофлота», решил попытать удачи.

Поставив дипломат на стойку, сказал без обиняков:

— Молодые люди, помогите улететь в Москву ближайшим рейсом, вот вам за содействие, — и положил перед ними сто-рублевую купюру.

Общение с Шубариным приносило свои плоды. Служащие переглянулись и, понимая, что из-за дипломата денег никто не видит, быстро убрали бумажку. Тот, что моложе, сказал:

— Давай, дядя, паспорт и деньги и подходи через полчаса, фирма гарантирует.

Действительно, через полчаса билет был готов. Отдавая его, нагловатый молодой человек сказал:

— Пожалуйста, подходите в любое время дня и ночи, мы рады будем вас обслужить и отправим непременно, даже если и придется кого-то снять с рейса.

Прокурор благодарить не стал, хотя немало удивился необычной гарантии сервиса в аэропорту. Заполучив билет, он глянул на часы: до регистрации оставалось еще пять часов. «Многовато», — подумал он и, понимая, что аэропорт не самое безопасное для него место, решил поехать в город, — время перевалило за полдень и не мешало пообедать.

До ресторана «Ташкент» в центре города он добрался быстро, на площади перед гостиницей купил газеты и направился в обеденный зал. Просидев с полчаса, без всякого внимания к себе со стороны официантов, он отметил, что услужливый и все понимающий Адик остался для него навсегда в прошлом, следовало привыкать вновь к нормальной жизни. Но опять выручил Шубарин, или, точнее — его подарок: в глаза кому-то из obsługi бросились его часы, золотой «Патек Филипп», особый знак или мета состоятельных людей, и уже через минуту возле него засуетились сразу два официанта. Этот пустячный эпизод поднял настроение прокурора, снял напряжение, и он уже не



сопротивлялся атаке молодых прохиндеев, быстро заставлявших стол закусками, фруктами, зеленью. Принесли и немного коньяку, заговорщически шепнув при этом: «Французский, «Камю», только для вас».

Заканчивая обед, он глянул на часы и машинально отметил: Коста, наверное, уже в «Лас-Вегасе». Мысль на Коста почему-то не задержалась, он спокойно допил зеленый чай с лимоном, расплатился. И только оказавшись на площади перед оперным театром, где собирался посидеть у фонтана с газетами, опять вспомнил о нем и вдруг ужаснулся своему просчету. Какой аэропорт! Какая Москва! Уже час как Коста, не найдя его в «Лас-Вегасе», связался с Шубариным, и они давно подняли всех своих в Ташкенте и прежде всего перекрыли аэропорт. Те же услужливые ребята в форме за те же деньги уже небось доложили дружкам Ашота, купил ли человек по фамилии Азларханов билет в Москву, и там поджидают его сейчас незнакомые люди. Нет, в аэропорт хода не было, он опоздал...

«Спокойно, спокойно! — уговаривал себя Азларханов. — Безвыходных ситуаций не бывает. — И понял, что у него остался один шанс, который он держал про запас, на всякий случай, — это связаться с капитаном Джураевым. Но этот шанс сейчас, похоже, единственный.

Он направился к ближайшему автомату и, набрав телефон МВД, который еще помнил, узнал, как найти Джураева. Через минуту он уже звонил в районное отделение милиции, где Джураев возглавлял угрозыск. Трубку подняла секретарша, она ответила, что подполковник Джураев проводит совещание. Узнав, когда закончится, он попросил передать, что прокурор Азларханов через час ждет Джураева у республиканской прокуратуры по чрезвычайно важному делу.

Юрисконсульт вернулся на скамейку у фонтана, потому что прокуратура, где он назначил свидание подполковнику Джураеву, находилась недалеко, — если идти пешком, то с полчаса, не больше. Не читалось и не сиделось, и, поднявшись, он не спеша направился к парку Горького, отсюда до прокуратуры оставалось уж всего ничего. В парке он выстоял небольшую очередь и выпил квасу, от волнения мучила жажда.

Время приближалось к назначенному сроку, и Азларханов поспешил на улицу Гоголя.



В прокуратуре он был в последний раз пять лет назад. «Какие там нынче перемены?» — размышлял он. Вспоминал людей, на чью помощь он мог рассчитывать. Задумавшись, он незаметно подошел почти к самой прокуратуре, оставалось метров тридцать-сорок, когда, подняв голову, он неожиданно увидел невдалеке, на другой стороне улицы, Джигоева. Можно сказать, они одновременно заметили друг друга, — наверное, Коста проглядел его, потому что ждал с другой стороны, к тому же прокурор шел в тени деревьев.

Коста на всякий случай держался от прокуратуры на расстоянии, Азларханов оказался ближе, и, мгновенно оценив ситуацию, телохранитель рванулся первым. Прокурор, парализованный неожиданностью, замер на какую-то долю секунды, но рывок Коста вывел его из шока, и он тоже бросился к спасительному зданию.

Хотя ему оставалось пробежать гораздо меньше, чем Коста, он со страхом ощутил, что не успеет, что сердце уже подкапало к горлу.

Казалось, Коста вот-вот схватит его за рукав, когда беглец распахнул знакомую стеклянную дверь и, ворвавшись в просторный холл, кинулся вверх по лестнице.

— Не уйдешь! — прохрипел сзади Коста.

Прокурор, оглянувшись на миг, споткнулся, упал на лестнице и выронил дипломат. Тот загромыхал по мраморным ступенькам, а вслед за дипломатом к ногам преследователя скатился и он сам. Падая, он краем глаза увидел, что старый милиционер на вахте от страха никак не мог расстегнуть кобуру. Коста, в руках которого уже был пистолет, подхватил дипломат и, выругавшись, пнул прокурора. Уловив движение за спиной, он резко обернулся и прошипел охраннику:

— Не шути, папаша, пристрелю!

И старый служивый, дрожа от страха, бросил пистолет, который успел все-таки достать.

И в этот момент сверхусилием воли прокурор поднялся на ноги и вцепился в руку, державшую пистолет.

Коста ударил его тяжелым дипломатом по голове раз, другой, кровь с разбитого лица брызнула на обоих. Но прокурор не разжимал пальцев, и тогда Коста со страшной силой ударил его головой в лицо. Но и теряя сознание, прокурор все



же не отпустил Коста, и тот, хрипя от злобы, выстрелил раз, другой — в упор.

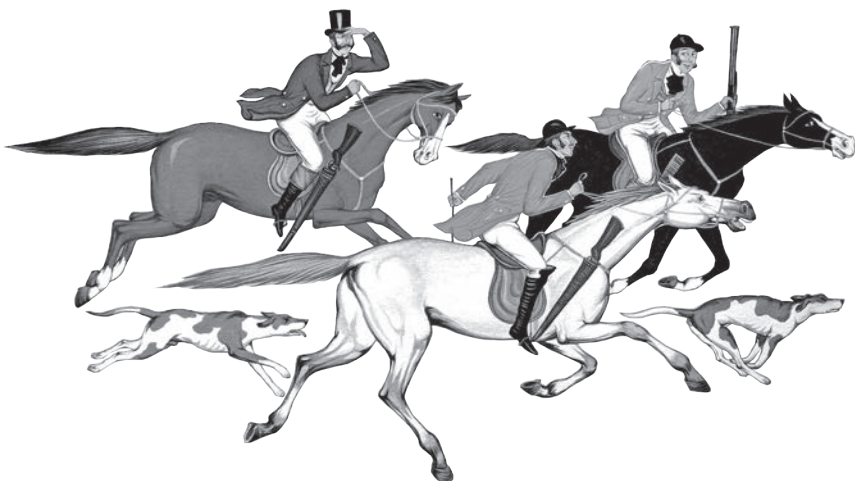
Неожиданно какая-то сила вырвала нападавшего из рук прокурора. Слышно было, как хрустнула кость, и Коста закричал страшным голосом, отброшенный в сторону, он ударился головой об стену, свалился к ногам охранника-милиционера, шарившего по полу и не видящего свой пистолет.

Падающего прокурора подхватил на руки Джураев, ворвавшийся спустя секунды после Коста в вестибюль — издали он видел погоню возле прокуратуры.

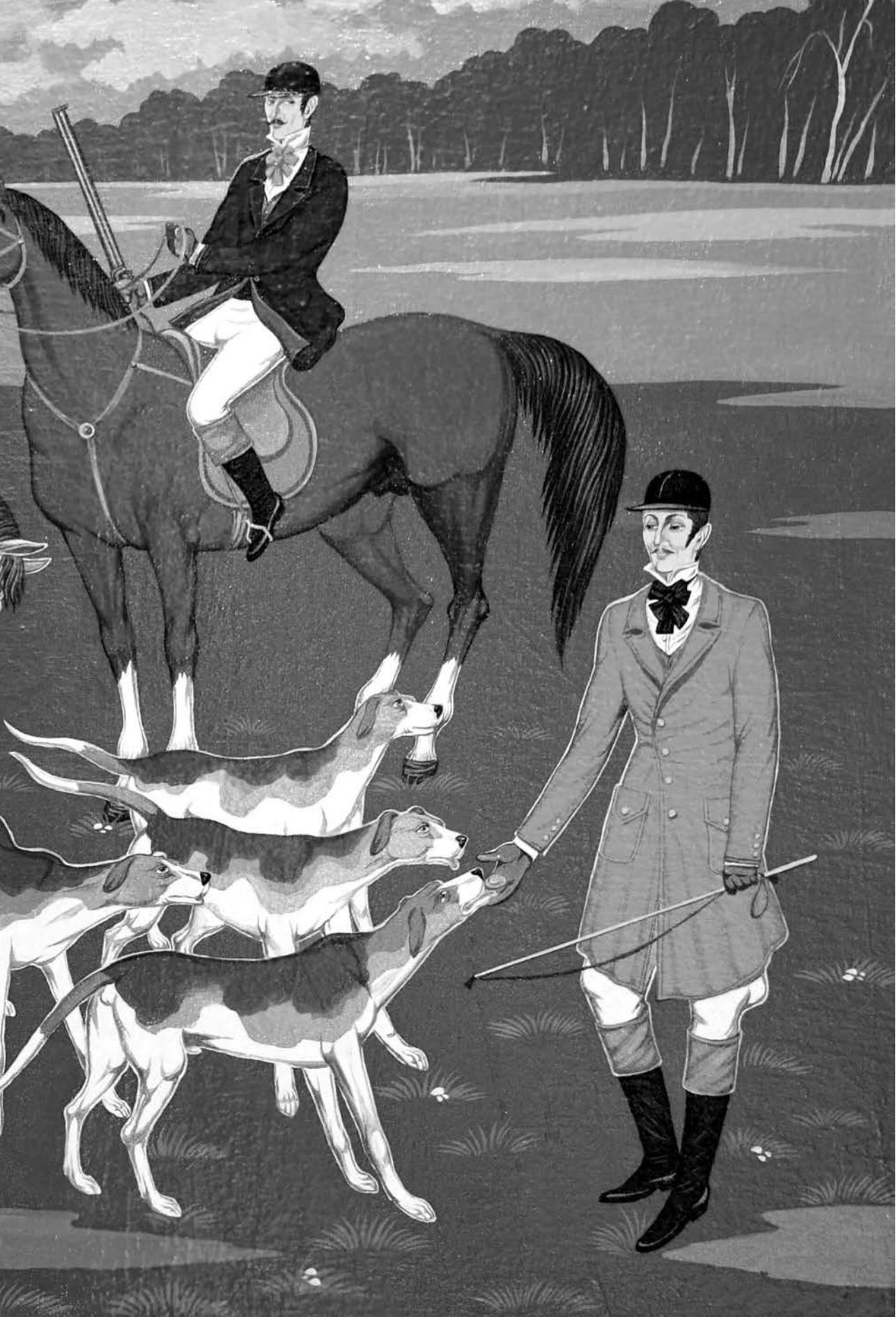
Он держал окровавленную голову прокурора на коленях и, не замечая сбежавшихся запоздало людей, повторял:

— Прости, прокурор, не успел... прости...

*Ташкент, п. Голицыно, п. Коктебель,  
июнь 1987 года*













## Двойник китайского императора

Роман

### ЧАСТЬ I

*Закир-рваный. Рэкет, Форштадт, Осман-турок. Семейный жемчуг из Стамбула. Прелестная Нора. Жуликоватые поводыри. Аукцион в Страсбурге. Джаз-оркестр Марка Раушенбаха. «Скорцени» во флотском мундире.*

**С**лава богу, кончилась жара! Как по волшебству, ветерок появился. Я сегодня, пожалуй, тут на айване и спать буду, — сказал, обращаясь в темноту сада, крупный, в годах, импозантный мужчина.

— Можно подумать, жара вас замучила, — тихо засмеялась за спиной в темноте женщина. — В кабинете два кондиционера, дома тоже в каждой комнате, не успеваю выключать, холод — хоть шубу надевай. А теперь и в машине у вас японский кондиционер. Этот лизоблюд Халтаев похвалялся — мол, ни у кого пока нет такой новинки. Забыла, как фирма называется...

— «Хитачи», — подсказал Махмудов, но разговора не подержал, только отметил про себя, что прежняя его жена, Зухра, никогда не позволила бы себе так разговаривать с мужем, и тем более называть соседа, начальника милиции, лизоблюдом.

Он легко поднялся и пересел на другую сторону большого айвана, чтобы лучше видеть суетившуюся возле самовара Миассар: любил наблюдать за нею со стороны. Ловкая, стройная, никто не давал ей тридцати пяти, так молодо она выглядела.



Тучный по сравнению с женой, он, однако, отличался поразительной энергией, легкостью движений, стремительностью походки и изяществом жеста. В его манерах, повадках ощущалось нечто артистическое, оттого кое-кто за глаза называл его Дирижером. Однако круг людей, позволявших себе такое обращение, был узок, прозвище не прижилось, в миру его величали просто и ясно — Хозяин.

Давно, почти тридцать лет назад, его, молодого инженера, неожиданно взяли на партийную работу. Он помнил, как расстроился от свалившегося вдруг предложения, тем более что в таких случаях согласия особенно не спрашивают. Честно говоря, он хотел работать по специальности, мечтал стать известным мостостроителем, — в районе он и возводил третий в своей жизни мост.

Работа в райкоме пугала неопределенностью, ему казалось, что там особые люди, наделенные высоким призванием свыше, по-иному мыслящие. Он искренне полагал, что ни в коем разе не подходит им в компанию, и считал: его дело — строить мосты.

Накануне выхода на новую службу он тщательно чистил и гладил свой единственный костюм. Стол в тесной комнатенке коммуналки находился как раз напротив щербатого зеркала, оставшегося от прежних хозяев, и он то и дело натыкался взглядом на свое растерянное отражение.

«И с таким-то жалким лицом во власть?» — пришла неожиданная мысль, и он вдруг понял молодым умом, чем отличается его новая работа от прежней.

В мостостроении не имело значения, как ты выглядишь, как держишься, какие у тебя манеры, каким тоном отдаешь распоряжения, важно другое — профессиональная компетентность, знания, даже инженерная дерзость — без них моста не построишь.

Нет, он и тогда не считал, что внешний вид, осанка, манеры — основа его новой работы, в ней, как и во всякой другой, наверное, полно своих премудростей, даже таинств, ведь связана она с живыми людьми. Но цепкий природный ум ухватил в этой цепи, может быть, самое важное звено, он это чувствовал, хотя и не понимал до конца. Весь оставшийся день, отложив костюм в сторону, новоиспеченный парторботник провел



у зеркала и уяснил, что ему следует выработать свое «лицо», манеру, походку. Утром, когда впервые распахнул парадные двери райкома, он уже не был растерян, как накануне, вошел твердым, уверенным шагом, с гордо поднятой головой, в жестах чувствовалась правота, сила, убежденность. Со стороны казалось, такому молодцу любые дела по плечу, он весь излучал энергию и стремление свернуть горы..

Хозяин вглядывается в слабо освещенный сад, где у самовара возится Миассар. Длинные языки пламени вырываются из трубы, и огонь по-особенному высвечивает лицо жены, делает ее выше, стройнее, хан-атласное платье, отражая блики огня, переливается немислимыми тонами и красками.

Волшебство, да и только! Ночь, тишина, большой ухоженный сад и красивая женщина в сверкающем от сполохов огня платье. Самовар вот-вот закипит, но ему так хочется, чтобы этот миг ожидания продлился.

Задумавшись, он отводит глаза и слышит, как упала на землю самоварная труба.

— Не обожглась? — невольно вырывается у мужа участливо, и он смущается своей минутной слабости.

Мужчина не должен открыто выказывать симпатию женщине, — так учили его, так и он воспитывал сыновей, давно живущих отдельно, своими семьями. И снова мысли возвращаются к текущим делам.

Два важных сообщения получил он в тот день. Срочная телеграмма из Внешторга уведомляла: аукцион в Страсбурге приглашает конезавод района на юбилейный смотр-распродажу чистопородных лошадей.

Другая — секретная депеша из Ташкента гласила, что на следующей неделе он должен прибыть на собеседование к секретарю ЦК по идеологии.

Аукцион в Страсбурге был лишь третьим в истории конезавода, но персональное приглашение французов он оценил: значит, заметили в Европе его ахалтекинцев и арабских скакунов. Догадался он и о причине вызова в столицу. Прошло уже больше трех месяцев, как вернулась с XIX Всесоюзной партконференции делегация, и все три месяца в республике на всех уровнях муссируется вопрос: кто эти делегаты, обвиненные прессой в коррупции?



Официальных ответов пока нет, но всеведущий сосед, полковник Халтаев, неделю назад поделился секретом: одного знаю точно — наш новый секретарь обкома, сменивший три года назад Анвара Абидовича Тилляходжаева, преследуется законом за то же самое, что и прежний, хотя масштабы, конечно, далеко не те.

И сегодня, получив депешу, секретарь райкома подумал, что ему, скорее всего, предложат возглавить партийную организацию области. Но догадка эта не обрадовала. Вот если бы подобное случилось лет семь назад, грустно усмехнулся он, пряча бумагу в сейф. Не хотелось сейчас, в ожидании самовара, размышлять о новом назначении, не волновала и предстоящая поездка в Страсбург. И вдруг, казалось бы, совсем некстати он вспомнил первую свою командировку в Западную Германию. Аукцион проводили в местечке Висбаден, в разгар курортного сезона, куда на минеральные воды съезжаются толстосумы со всего света. Вспомнил, впрочем, не знаменитый Висбаден, а самое примечательное в этой поездке — посадку в аэропорту Москвы.

Вылетал Махмудов в конце недели и, наверное, потому оказался в депутатской комнате один. Но через полчаса, пока он коротал время у телевизора, появилась группа бойких молодых ребят, быстро заставивших просторный холл большими, хорошо упакованными коробками, ящиками, тюками, связками дынь. В довершение всего они бережно внесли какие-то большие предметы, обернутые бумагой; судя по осторожности сопровождающих, там было что-то хрупкое, бьющееся. Затем доставили с десятков открытых коробок с дивными розами. Сладкий аромат цветов заполонил депутатскую.

Хозяин справился у дежурной, не делегация ли какая отбывает в столицу. Та, ухмыльнувшись, ответила не без иронии, мол, нет, не делегация, и назвала фамилию одного из членов правительства, добавив, что тот всегда отправляется в Белокаменную с таким багажом.

Подшло время посадки, но министр так и не появился, однако те же шустрые молодчики быстро загрузили его «багаж» в самолет. В самолете Пулат Муминович, занятый мыслями о предстоящем аукционе, забыл о члене правительства. Появился тот в самый последний момент, когда уже убирали трап. Как



только он занял свое кресло в первом ряду, лайнер вырлил на старт. Через полчаса министр храпел на весь салон, к неудовольствию окружающих, неприятно раздражал и тяжелый водочный перегар, исходивший от высокого сановного лица.

Едва шасси лайнера коснулись бетонного покрытия посадочной полосы в Домодедове, важный чин тут же проснулся и, когда самолет начал выруливать к зданию аэропорта, направился в пилотскую кабину. О чем он договорился с командиром корабля, стало ясно через несколько минут.

Махмудов сидел у окошка и видел, что подруливающий к зданию самолет встречала группа людей, человек десять-двенадцать. Некоторые лица показались ему знакомыми, и он тут же припомнил служащих из постоянного представительства республики в Москве, — останавливался он как-то там в гостинице. Чуть поодаль от встречающих он увидел с десяток правительственных «чаек» и даже один «мерседес» и каким-то чутьем угадал, что машины имеют отношение к ташкентскому рейсу.

«Не многовато ли машин для одного члена правительства?» — вскользь подумал Хозяин, но вскоре его сомнения разрешились неожиданным образом: лимузины действительно ждали самолет из Ташкента...

Первым с трапа сошел член правительства, и встречающие гурьбой кинулись к нему, но тот поздоровался с кем-то одним, другим показал рукой на грузовой отсек, откуда, видимо, уже подавали коробки, тюки, ящики и тут же у трапа их ставили отдельно, — размещением руководил сам хозяин багажа.

Вскоре появились и странные предметы, также бережно отставленные в сторону. И вдруг Махмудов заметил, что оберточная бумага с одной таинственной «посылки» сползла и обнажилась высокая напольная ваза. Но не фарфоровая ваза удивила его, а то, что на ней был изображен один из членов руководства страны, портреты которого в праздничные дни украшали улицы.

Хозяин багажа тут же обратил внимание на оплошность, и вазу быстренько запеленали. На каждой коробке, ящике, тюке и вазах белел квадрат, издали очень похожий на почтовый конверт.

Министр, видимо, не раз проделывавший подобную операцию, действовал уверенно и оперативно. Как только вынесли последние коробки с цветами, он сорвал с какого-то ящика



белый квадрат — под ним обозначилась фамилия адресата, и он выкрикнул ее. Черная «чайка» мгновенно подрулила к сотрудникам представительства, и те ловко загрузили багажник, а вазу аккуратно передали в салон. Один за другим срывались белые квадраты, выкрикивалась очередная фамилия, и машины тут же подъезжали к месту раздачи. Вся операция заняла минут семь-восемь, — процесс явно был давно отработанный. С последней «чайкой» отбыл и сам член правительства; в салон передали последнюю вазу, и, видимо, ему самому пришлось ехать с ней в обнимку до самого адресата.

Вся эта четко организованная раздача подарков внизу просматривалась еще в три-четыре окошка с той стороны салона, где сидел Махмудов, но вряд ли кто обратил на нее внимание, все с нетерпением ждали приглашения на выход.

Однако если он так и подумал, то явно ошибся — прилета этого рейса из Ташкента ждали не только персональные шоферы высоких московских чиновников. Если бы он хоть на секунду поднял взгляд на второй этаж, то заметил бы, что два человека в штатском аккуратно фотографировали каждую подъезжавшую к раздаче машину, и успевали щелкнуть в ту самую секунду, когда внизу срывали белый квадрат и на миг обозначалась фамилия высокопоставленного лица — адресата щедрых даров... Да, это было незабываемое зрелище, которое наводило на размышления...

Но мысли его упорно возвращаются к депеше из ЦК, и он радуется, что сроку у него — целая неделя. Ему давно уже хочется разобраться в своей жизни, особенно в последних ее годах, да все недосуг — дела, дела...

Миассар осторожно подносит кипящий самовар к айвану.

— Подожди, я помогу, — говорит муж и, быстро спустившись с невысокого айвана, под которым журчит полноводный арык, поднимает самовар к дастархану.

— Что-то я вас сегодня не узнаю, — озорно улыбается Миассар, по узбекскому обычаю обращаясь к мужу на «вы». — Перестройка, что ли, в наши края дошла? Если она так преобразует сильный пол, я за нее двумя руками голосую...

— Ласточка моя, оставь политику для мужчин. Лучше налей чаю, в горле пересохло, — отвечает хозяин дома, подлаживаясь под шутливый тон жены.



С первой женой у него так не получалось. Но у той были свои достоинства, особенно ценимые на Востоке. Зухра никогда не перечила, не возражала, вообще не вмешивалась в его дела. Он и с ней жил хорошо, в ладу. Но проклятая, коварная болезнь, подкравшись неожиданно, в месяц скрутила здоровую женщину, никакие врачи не помогли...

Пуллат берет из рук жены пиалу с ароматным чаем. Прекрасная хозяйка Миассар, все у нее сверкает, блестит, а уж чай заваривает — наверное, хваленые китайки и японки позавидовали бы! Как бы ни уставала, у них в доме заведено — последний, вечерний чай всегда из самовара. За чаем они продолжают перебрасываться шутивными репликами, Пуллату хочется сказать что-то ласковое, трогательное и без шуток, но он опять сдерживает себя. Жену надо любить, а не баловать, помнит он заветы старших.

И вдруг вспоминается ему, как он женился на Миассар — двенадцать лет назад, неожиданно, тогда он уже второй год вдовцом ходил. Сыновья, все трое, к тому времени учились в Ташкенте, но хлопот хватало — и по дому, и по саду; привыкший к комфорту, уюту, он остро чувствовал потерю жены. На Востоке жизнь одинокого мужчины не одобряется, здесь практически нет «не пристроенных» вдовцов, тем более мужчин относительно молодого возраста, и его частная жизнь оказалась под пристальным вниманием общественности, секретарь райкома все-таки. Тут на многое могут закрыть глаза, но за моралью, нравственностью, традициями следят строго...

Конечно, он чувствовал затаенный интерес женщин к себе, и даже совсем молодых, но все казалось не то, не лежала ни к кому душа. Однажды пригласили его на свадьбу. Приехал он туда с большим опозданием, когда привезли невесту, — красочный момент, подружки новобрачной, сменяя друг дружку, танцуют перед гостями. С приездом невесты и сопровождающих ее подруг в доме жениха царит переполох, и его не сразу заметили, да и гость, сознавая важность момента, не особенно старался попасться на глаза хозяевам. Пробившись к кругу, он азартно поддерживал старавшихся танцоров. Особенно изящно, с озорством танцевала одна из подружек невесты, одетая на городской манер, — она больше всех и сорвала аплодисментов.



— Удивительно красивая, грациозная девушка, и как тонко чувствует народную мелодию! — машинально обратился он к мужчине, стоявшему рядом.

— Что ж сватов не засылаете, раз понравилась? — ответил вдруг мужчина, то ли усмешливо, то ли серьезно, но вполне доброжелательно.

Махмудов так растерялся, что не сразу ответил, а тут его и хозяева приметили. Восточные свадьбы длятся до зари, и запоздавший высокий гость веселился от души до утра. Уходя, он уже знал, что девушку зовут Миассар, а человек, предложивший присылать сватов, приходится ей родным дядей по отцу.

Замуж выходят тут рано, в семнадцать-восемнадцать, и двадцать четыре года Миассар, по местным понятиям, считались едва ли не старушечьими для невесты. Конечно, и родители Миассар, и родня переживали, всех волновала судьба всеобщей любимицы, — годы бежали, а женихов не предвиделось, в районе каждый парень на виду, и, может быть, у дяди ее в отчаянье вырвалось насчет сватов.

Женитьба на Востоке дело тонкое, и Хозяин не кинулся очертя голову с предложением — а вдруг отказ, какой удар по авторитету! — но и прибегать к чужой помощи не стал. Побывал два-три раза в Доме культуры, где работала Миассар, и хотя ни о чем личном они не говорили, девушка поняла, что неспроста стал наведываться секретарь райкома и не очаг культуры главный объект его забот.

— Здорово выиграл наш Дом культуры, когда вы стали за мной ухаживать, — шутила потом не раз жена. Хотя по европейским понятиям эти редкие наезды вряд ли можно считать ухаживанием, но в ее памяти это осталось именно так.

Неизвестно, как долго длилось бы это своеобразное ухаживание, если бы Миассар однажды не пришлось позвонить секретарю райкома. Она готовила зал для партийной конференции, и потребовалось срочное вмешательство райкома. Дело уладили быстро, и когда девушка уже собиралась положить трубку, Махмудов вдруг, волнуясь, спросил:

— Миассар, вы пошли бы за меня замуж?

— Вы что, все вопросы решаете по телефону? — не удержалась Миассар.





Он на миг опешил, не ожидал, что она станет подтрунивать над ним, но быстро понял, что спасет его только шутка.

— Да, конечно. А вам не нравится кабинетный стиль ухода за вами? Говорят, сейчас доверяют судьбу компьютерам, брачным конторам, а я хотел обойтись лишь телефоном.

— Ах, вот как, значит, действуете в духе времени, шагаете в ногу с прогрессом, — засмеялась Миассар. — Если пришлете сватов как положено, я подумаю... Мне кажется, у вас есть шанс... — ответила она кокетливо: она ждала его предложения.

Вскоре они сыграли нешумную свадьбу, и поздравляли их родня да близкие знакомые, — вторые браки на Востоке не афишируют. И новая семья у него оказалась удачной, жили они с Миассар дружно; в душе он считал, что секрет его молодости, энергии — в молодой жене: ему всегда хотелось быть в ее глазах сильным, уверенным, легким на подъем человеком, а уж веселостью, самоиронией он заразился от Миассар, раньше он не воспринимал шутку, считая, что она нехстати должностному лицу.

Росли у них два сына, погодки, Хусан и Хасан, сейчас они отдыхали в «Артеке».

— Я очень рада, что у вас сегодня хорошее настроение... — Миассар подала мужу пиалу свежего чая. — Всю неделю приходили домой чернее тучи. Трудные времена для начальства настали, обид у народа накопилось много, вот и спешат выложить, боятся, не успеют высказаться, и от торопливости в крик срываются, а многие за долгие годы немоты, как я вижу, и по-человечески общаться разучились.

— Да, в эпоху... — он на миг запнулся.

— Гласности, гласности, — подсказывает Миассар мужу русское слово и тихо смеется. — Пора бы запомнить, четвертый год идет перестройка, а вдруг где-нибудь на трибуне позабудете, там никто не подскажет. Не простят...

— Не забуду, я с трибуны только по бумажке читаю, — отшучивается Махмудов.

Но шутка повисает в воздухе, ни Миассар ее не поддерживает, ни сам Пулат Муминович не развивает.

— Перестройка... гласность... — говорит он после затянувшейся паузы и задумчиво продолжает: — Я кто? Я низовой исполнитель, камешек в основании пирамиды, винтик тот самый,



и мне говорили только то, что считали нужным. Всяк сверчок знал свой шесток. — Он протягивает жене пустую пиалу. — Я-то вины с себя не снимаю, только надо учесть — ни одно мероприятие без указания сверху не проводилось; все, вплоть до мелочей, согласовывалось, делалось под нажимом оттуда же, хотя, как понимаю теперь, с меня это ответственности не снимает... Я что, по своей инициативе вывел скот в личных подворьях, вырубил виноградники, сады, запахал бахчи и огороды и насадил в палисадниках детских садов вместо цветов хлопок? Я, что ли, по своей воле держу сотни тысяч горожан до белых мух на пустых полях? Я травлю людей на хлопке бутифосом? От меня разве исходят тысячи «нельзя», «нельзя», «не положено», «не велено», «запретить»?!

— И от вас тоже, — тихо замечает Миассар, но он ее не слышит, он весь во власти своего горестного монолога, — накипело и прорвалось...

— А для народа я — власть, я крайний, с меня спрос, я ответчик... Впрочем, как теперь вижу, и сверху на меня пальцем показывают: вот, мол, от кого перегибы исходили.

— Что и говорить, рвением вас Аллах не обделил, — вставляет Миассар.

Но он опять пропускает ее колкость мимо ушей, главное для него выговориться, не скажешь же такое с трибуны.

— Да, мы не хотим быть винтиками, — тон жены становится серьезным, — но вы не вините себя сурово. Наш район не самый худший в области, и вы один-единственный остались из старой гвардии на должности после ареста Тилляходжаева, — значит, новое руководство доверяет вам.

Он долго не отвечает, потом улыбается и — сожалеюще:

— Извини, что втравил тебя в такой разговор, — не мужское дело плакаться жене. А за добрые слова спасибо. Виноват я, наверное, во многом, и хорошо, что не впутывал тебя в свои дела.

— И зря! — запальчиво перебивает жена. — Разве я не говорила, что не нравится мне ваша дружба с Анваром Тилляходжаевым, хоть он и секретарь обкома. Прах отца потревожил, подлец, десять пудов золота прятал в могиле. А в народе добрым мусульманином, чтущим Коран, хотел прослыть, без молитвы не садился и не вставал из-за стола, святоша, первый коммунист области...



Махмудов вдруг от души рассмеялся — такого долгого и искреннего его смеха Миассар давно не слышала. Смех мужа ее радует, но она не вполне понимает его причину и спрашивает с некоторой обидой:

— Разве я что-нибудь не так сказала?

— Нет, милая, так, все именно так, к сожалению. Просто я представил Тилляходжаева, если бы он мог слышать тебя, вот уж Коротышка взбесился бы — ты ведь не знала всех его амбиций.

— И знать не хочу! — Лицо Миассар вспыхнуло от гнева. — Для меня он пошляк и двуличный человек, оборотень. Я ведь вам не рассказывала, чтобы не расстраивать... Когда я возила нашу районную самодеятельность в Заркент, приглянулись ему две девушки из танцевального ансамбля. И он подослал своих лизоблюдов, наподобие вашего Халтаева, но я сразу поняла, откуда ветер дует, да они по своей глупости и не скрывали этого, думали, что честь оказывают бедным девушкам... Так я быстренько им окорот дала и пригрозила еще, что в Москву напишу про такие художества. В Ташкент писать бесполезно, там он у многих в дружках-приятелях ходит, хотя, наверное, при случае самому Рашидову ножку подставил бы, не задумываясь.

— Были у него такие планы, — подтверждает Махмудов и вдруг смеется опять. — А ведь он с первого раза невзлюбил тебя, говорил мне — на ком ты женился? А я отвечал: не гневайтесь, мол, что не рассыпается в любезностях, как положено восточной женщине, молодая еще, никогда не видела в доме такого большого человека...

— А я и не знала, что вы такой подхалим, — смеется Миассар. Она представила спесивого Коротышку в гневе рядом с рослым и спокойным мужем. — Он меня раскусил сразу, а я его, значит, мы оба оказались мудры и проницательны, так почему же вы пользовались только его советами? — Миассар, улыбаясь, заглядывает в глаза мужу.

— Может, подогреем самовар, а то петь перестал, — дипломатично предлагает Пулат.

Ему не хочется прерывать беседу, давно он с женой так душевно и откровенно не разговаривал, все дела, дела, гости, дети... Редко вот так вдвоем посидеть выпадает время. Наверное, Миассар тоже по душе сегодняшнее чаепитие, и она



легко соглашается. Он относит самовар на место и неумело пытается помочь жене.

— Помощник, — ласково укоряет жена, отстраняя его. — Давайте я сама...

Ночь, тишина, погасли огни за дальними и ближними дувалами, даже на шумном подворье соседа Халтаева все угомонились.

— Как хорошо, что никто нам сегодня не мешает, — счастливо говорит Миассар. — Только войдете в дом, то гонец, то нарочный откуда-нибудь, то дежурный из райкома примчится, то депешу какую срочную несут, только за стол — ваш дружок Халтаев тут как тут, словно прописанный за нашим дастарханом, точно через дувал подглядывает... Я уж ваш голос забывать стала. В первый раз за столько времени всласть поговорила.

— Ты права, Миассар, мы что-то пропустили в своей жизни. Извини, я не то чтобы недооценивал тебя, просто так все суматошно складывается, — домой словно в гостиницу переночевать прихожу, да и тут наедине побыть не дают, чуть ли не в постель лезут. Еще при Зухре дом в филиал райкома превратили, вечер, полночь — прут по старой памяти. Будто я не живой человек и не нужно мне отдохнуть, побыть с семьей, детьми. Я постараюсь что-то изменить, чтобы нам чаще выпадали такие вечера, как сегодня... — Махмудов чувствует, что он взволнован.

— Спасибо. Это было бы замечательно... вечера с детьми... всей семьей... — мечтательно, нараспев произносит Миассар.

— Вот видишь, — улыбается Пулат, к нему вновь возвращается хорошее настроение, — оказывается, в собственном доме можно узнать гораздо больше, чем на конференциях, пленумах и прочих говорильнях. Кстати, почему у нас в республике, при избытке непонятно чем занятых НИИ, нет института общественного мнения, наподобие американского института Гэллапа, чьими исследованиями регулярно пользуется наша пресса? Без такого учреждения трудно ориентироваться и принимать правильные решения. Чтобы вновь не шарахаться из крайности в крайность, такая организация просто необходима — и здесь, и в Москве. Я бы доверил тебе стать ее представителем по нашему району, мне кажется, у тебя это хорошо получится.



Миассар не отвечает, но щеки ее розовеют, она явно польщена.

Взгляд Махмудова неожиданно падает на стрелку часов, время позднее, впрочем, в этом доме не ложатся спать рано.

— Засиделись, засиделись сегодня, дорогая моя, а мне завтра в совхоз «Коммунизм» надо. Явится водитель ни свет ни заря, ты уж не вставай, мы с ним где-нибудь по дороге в чайхане перекусим. Знаю я одну у Красного моста, над водой подчинарами. Надо как-нибудь свозить тебя туда, не припомню краше места в районе.

Пулат делает попытку помочь жене, но Миассар ласково отстраняет его:

— Не надо, я сама. Идите погуляйте перед сном по улице, разомните ноги, подышите свежим ночным воздухом, а я постелю вам как хотели, тут, на айване.

Хозяин выходит за калитку. Ночная улица пустынна, в ярком лунном свете она просматривается из конца в конец. Тишина. Только слышно, как журчат арыки вдоль палисадников. Махалля отстроилась давно, лет пятнадцать назад, и все вокруг утопает в зелени. Престижный район, не всякому тут выделяли землю под застройку. По давней народной традиции каждый перед своим домом поливает дорогу из арыков, иногда и не один раз за вечер, оттого и дышится в округе легко. Мысли Махмудова все еще кружат в собственном дворе, он весь во власти разговора с женой.

— Ну и Миассар! — вырывается у него вслух восхищенно.

Он вспоминает, как лет семь назад они возвращались вдвоем, вот так же, поздней ночью, со свадьбы. Шли в приподнятом настроении, — повеселились, погуляли от души. Родив Хасана и Хусана, Миассар, на удивление многим, расцвела новой женской красотой. И красота эта не осталась незамеченной, вот и на свадьбе он видел, как любят его женой, когда она выходит танцевать в круг, девушки на выданье рядом с нею выглядели бледновато и скованно.

Возвращались они шутя и озуруя, словно молодые. Миассар даже несколько раз оборачивалась, не идет ли кто следом.

— Услышат вас, — скажут, какой, оказывается, несерьезный у нас секретарь райкома.

Тогда он и спросил, шутя:



— Почему ты за меня, вдовца, замуж вышла?

Он и в ответ ожидал услышать какую-нибудь шутку, вроде — а вы моложе молодых, сегодня на свадьбе всех переплясали. Но она, волнуясь, не то переспросила, не то повторила вопрос для себя:

— Почему я пошла за вас замуж? — И тут же, не задумываясь, как давно выношенное, ответила: — Потому что в народе вас называют Купыр-Пулат, Мост-Пулат. — И, боясь, вдруг он не поймет ее, торопливо заговорила: — Когда вы в первый раз заехали в Дом культуры, я сердцем почувствовала, что визит этот внезапный — ко мне лично. Тогда у меня не было далеко идущих планов, но все равно ваше внимание волновало, и, честно говоря, я ждала следующего вашего приезда. И вдруг предложение по телефону, которое так обрадовало и испугало меня. Какой бы я ни казалась смелой, современной, во мне жива рабская психология восточной женщины, которую, увы, я не вытравила и по сей день, и я понимала, что не вправе решать сама свою судьбу, тем более с таким человеком, как вы. Все решал семейный совет, родня. Что и говорить, одни были за, другие против, но в разгар спора приехал из кишлака мой дедушка Сагдулла, с чьим мнением считались.

— Значит, это он решил нашу судьбу? — уточнил Махмудов.

— И он в том числе, — подтвердила Миассар. — Признаться, в нашей семье почему-то не слышали вашего прозвища. Но тут дедушка начал рассказывать, какие два моста вы построили у них в кишлаке, как они прежде мучились из-за отсутствия переправы через Дельбер-сай, и о том, что мосты у них сносило чуть ли не каждый год в половодье, а те, что построили вы, стоят до сих пор и пережили не одну большую воду. Рассказывал он и о мостах, что построили вы рядом, оказывается, они всем селом ходили на хашар к соседям, мост навести, — дело непростое. Поведал и о самом большом и красивом мосте через Карасу, говорят, вашем любимом, в колхозе «Коммунизм», о том, как долго и трудно он строился и как вас за него чуть с работы не сняли.

Дедушка Сагдулла так азартно и интересно рассказывал про ваши дела, про вас, что, мне кажется, моя родня забыла, ради чего собралась. Под конец дед сказал: «Если тот самый Купыр-Пулат сватается к моей внучке, я не возражаю. А что



старше, не беда, у моего отца вторая жена тоже была молодая, но это не помешало им вырастить пятерых детей, в том числе и меня. Мосты строят надежные люди, не сомневайтесь в нем».

Это воспоминание по сей день радует его душу, и он произносит вслух:

— Купыр-Пулат...

«Если после меня что и останется на земле, так это мосты», — размышляет Махмудов. О мостах думать ему приятно, не предполагал, что мосты, акведуки, путепроводы, дренажи так и останутся главной страстью и любовью его жизни.

Когда взяли его в райком, он жалел, что попал не в отдел строительства, там он так или иначе соприкасался бы с делом своей жизни. Но вакансия оказалась лишь в отделе пропаганды, выбирать не приходилось. Помнится, работая инструктором, он тайком бегал на свой недостроенный мост и консультировал нового прораба до самой сдачи объекта. Тогда ему казалось, что это последний мост в его жизни.

Но, к счастью, все сложилось иначе. Однажды, когда он уже работал заведующим отделом пропаганды, довелось ему ехать в далекий кишлак в предгорьях. Какие там удивительно красивые места — прямо Швейцария! По дороге пришлось сделать изрядный крюк, шофер объяснил, что в половодье снесло мост. Этот мост не шел у него из головы, и когда провели собрание, он попросил показать ему место, где снесло переправу. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что мост тут стоять не будет, и тогда в нем снова проснулся зуд мостостроителя.

Хотя ждали его и в райкоме и дома, он остался в колхозе и три дня уговаривал председателя строить новый мост, сказал, что и место нашел ему оптимальное, и обещал проект сделать сам, бесплатно и без волокиты. Потом собрал сельский сход и увлек народ идеей. Так к осени возвели первый его мост. С тех пор по его проектам в самых дальних кишлаках стали появляться мосты, акведуки, оригинальные путепроводы.

А когда Махмудов стал секретарем райкома, в народе уже знали о его страсти. Перво-наперво он разогнал дорожное управление, и там появились люди, знающие свое дело. И на сегодня не было в его владениях кишлака, где люди страдали бы от отсутствия переправы, да и мосты строились с выдумкой,



с фантазией. Ну, а мост через Карасу, за который его чуть с работы не сняли, даже представили в журнале «Архитектура» и во многих специализированных изданиях, к нему из области, как к местной достопримечательности, привозили туристов, обвешанных фотоаппаратами.

«Завтра увижу Красный мост, — думает он и мысленно радуется встрече со своим детищем. — Надо же, Красный...» Название пришло случайно, теперь никто уж и не помнит, кто первый его так окрестил, ведь, закладывая в быки-опоры рваный красноватый камень, он и не предполагал, что народ назовет мост Красным. Туристы никогда сами не догадывались, почему окрестные жители так называют мост через Карасу, им чудился в этом более весомый, революционный смысл... Впрочем, мост, наверное, и символизировал новую жизнь в крае.

Пулат шагает вдоль сонных особняков с распахнутыми настежь зарешеченными окнами. Слабый ночной ветерок с предгорий шелестит листвой обильно политых садов, но среди зеленого шума особенно выделяется шелест высоких серебристых тополей, у них своя, не перепутаешь, мелодия.

Почти у каждого дома под деревьями у арыка скамейка. Встречаются удобные, со спинкой, выкрашенные под цвет глухого забора или высоких железных ворот, на некоторых лежат забытые хозяевами мягкие одеяла-курпачи. Одна скамья из тяжелой плахи лиственницы, рассчитанная на целую компанию, стоит так заманчиво близко к воде, что он усаживается на нее покурить. Но прежде чем достать сигареты, закатывает штанины и с удовольствием окунает ноги в торопливо бегущий арык. Прогретая за долгий и жаркий день вода успела остыть и приятно холодит ступни. Благодать!.. Так можно просидеть до утра. Ночная свежесть бодрит, прогоняет сон, и он вновь возвращается мыслями к разговору с женой. Пустые скамейки у соседних домов неожиданно навевают картины далекой студенческой юности.

Учился он в Москве, жил в Замоскворечье, где в пятидесятые годы еще во множестве стояли особнячки с садами, палисадниками и похожими на здешние скамеечками. Вспоминается ему и Оренбург, где три месяца пробыл на преддипломной практике, на строительстве своего первого моста — через Урал. Снимал





он там комнату в старинном купеческом районе — Аренда, где жили татары, и квартал у них тоже именовался — махалля, — на узбекский манер. Он даже вспомнил его название, выплывшее из прошлой жизни, — Захид-хазрат. По вечерам они ходили гулять в парк с милым названием «Тополя».

Он вслушивается в шелест высоких серебристых тополей, высаженных вдоль арыка, и шум деревьев напоминает ему парк в далеком Оренбурге, уходящий окраинами в великую казахскую степь.

Бегущая ночная вода притягивает сигаретный дым, который стелется над арыком, как бы пытаясь бежать взапуски; но силы неравны, и струя, как промокашка, вбирает табачный дым. Пустые скамейки наводят на любопытное сопоставление. Вряд ли в такую удивительную ночь пустуют такие же завалянки в Замоскворечье, если, конечно, они сохранились, или в Оренбурге, на Аренде, где он некогда жил, — сейчас они принадлежат влюбленным. Он знает, что и здесь почти за каждым глухим дувалом в доме есть юноша и девушка в возрасте Ромео и Джульетты, но скамейки будут пустовать даже по ранней весне, когда розово и дурманяще цветет миндаль, и стоят, словно в снегу, благоухая, яблоневые сады, потому что тут другие традиции, нравы, обычаи, и вряд ли здесь наткнешься на влюбленных, встречающих рассвет. Ему вспоминается Миассар, окрестившая его редкие наезды в Дом культуры свиданиями. «Опять райком виноват?» — улыбнулся Махмудов и поднялся, хотя уходить от арыка не хотелось.

«Странная ночь, сна ни в одном глазу, а ведь какой тяжелый выдался день, — думает он, медленно возвращаясь домой. — Далеко забрел, обошел чуть ли не всю махаллю. Раньше точно так же в Замоскворечье или в Оренбурге обходил квартал с трещоткой общественный сторож, вот и я сегодня вроде оберегаю ночной покой своих односельчан».

Он продолжает удивляться неожиданной бодрости, спать действительно не хочется, хотя накануне спал тяжело, мучил его один и тот же сон. Будто идет он по своему любимому Красному мосту, спешит с цветами, а на другом берегу дожидается его Миассар, машет рукой, торопит. Как только он одолевал половину пролета, мост под ним вдруг рушился, и он летел в желтые воды бурлящего Карасу. Все это он видел



как бы в замедленной съемке: и перекошенное от страха лицо, и откинутую руку, и отлетевший букет, и даже слышал свой испуганный крик, вмиг заполнивший ужасом глубокое и гулкое ущелье и отозвавшийся эхом в горах. Махмудов просыпался в холодном поту, ничего не понимая, пытался стряхнуть с себя мучившее наваждение, но тут же опять проваливался в тревожный сон, и снова, и снова спешил навстречу Миассар, ступая на рушившийся под ним мост. Лишь на рассвете удалось забыться без сновидений.

Подходя к дому, он сообразил, что, хотя и гулял часа два по ночной махалле, не встретил ни одного патрульного мотоцикла, ни просто милиционера, делающего обход. А ведь Халтаев уверял, что район после ареста Раимбаева тщательно охраняется милицией днем и ночью. Правда, неделю назад после обеда он видел двоих ребят в штатском, обходивших квартал... И мысли переключились на новую проблему.

Он знает, да и кто об этом не наслышан: в республике работают следственные группы из Москвы, трясут подпольных миллионеров, наживших состояния на хлопке, каракуле, анаше, финансовых и хозяйственных махинациях, на взятках и должностных преступлениях.

Тревожное время, многие большие люди спят беспокойно, не знают, с какой стороны подступит беда, откуда ее ждать. Как оказалось, организованная преступность гораздо раньше прокуратуры узнала о подпольных миллионерах в Средней Азии и Казахстане, и потянулись в жаркие края банды жестоких и хладнокровных убийц. Свои налеты они готовили долго и тщательно, — спешить было некуда, куш за одну операцию поражал воображение даже самих бандитов. Месяцами изучались повадки, привычки подпольного миллионера, распорядок дня его семьи, соседей, заводилось досье со множеством фотографий, сделанных скрытой камерой или фоторужьем; основательности подготовки, наверное, позавидовали бы и итальянские мафиози из знаменитых кинофильмов. Зачастую заявлялись к облюбованной жертве в милицейской форме, имея на руках поддельное постановление на обыск, держались без суеты, профессионально.

Сегодня обнаруживается, что многих владельцев тайно нажитых миллионов успели выпотрошить лихие налетчики, и что



удивительно — никто из ограбленных не обратился с жалобой на разбой к властям, хотя не всегда приходили к ним с постановлением, даже поддельным. Бандиты, хорошо изучившие не только быт, но и психологию подпольных миллионеров, были твердо уверены, что жаловаться те никуда не побегут.

Знал он о подобных делах и от Халтаева, державшего нос по ветру, но больше всего поразила его история с Раимбаевым, получившая широкую огласку.

Раимбаева, председателя колхоза, перевели к ним из соседнего района на должность в райисполкоме, — вероятно, готовился трамплин для очередного взлета. Энергичный, хваткий человек, депутат, не по годам обласкан и замечен, чувствовалось, что у него есть поддержка в верхах. И года не успел проработать Раимбаев в райисполкоме, как вызвали его работники следственной группы и потребовали вернуть несправедно нажитые деньги, и сумму указали, какую следует сдать. Долго отпирался Раимбаев, уверял, что нет у него денег, но после очных ставок с бухгалтером колхоза и директором хлопкозавода задрал рубашку и показал следователю живот, а там у него в двух местах ожоги, словно горячий утюг приложили. Оказывается, так оно и было, — сам рассказал обо всем.

Как-то поздно ночью раздался звонок у глухих ворот... Было время уборочной, начальство во время хлопковой страды иногда до утра заседает в штабах, и Раимбаев без опаски открыл калитку, думал, гости нагрянули. Человек он не робкого десятка, молодой, и сорока еще нет, да и во дворе имел двух сторожевых овчарок, но почему-то не удивился, что не залаяли они.

«Гости», человек семь в милицейской форме, в высоких чинах, один седой, вальяжный, в полковничьих погонах, поздоровались и сказали, что они к нему за помощью. Ничего не подозревающий Раимбаев, не обративший внимания на молчание своих волкодавов (они, как оказалось, уже были отравлены), пригласил ночных визитеров в дом. Как только вошли, седовласый предъявил постановление на обыск и велел капитану доставить понятых. Все делалось четко, основательно, без суеты, но вежливо, вроде как по закону. Лейтенант начал вести протокол допроса ошарашенного хозяина, а капитан, введя двоих «понятых», тихо примостившихся в стороне, стал



тщательно записывать изымаемое, время от времени справляясь у «полковника», как правильно записать ту или иную вещь. Все, что отыскивали в доме, — а нашли немало, потому что перевернули все верх дном, — пришедших, видимо, не устраивало. «Полковник», достав папку, зачитывал какие-то документы и требовал вернуть государству астрономическую сумму. Но Раимбаев, человек тертый, был уверен: как только его увезут, жена, сидевшая рядом с понятыми, свяжется с родней в области и все уладится, и не на таких бравых полковников находили управу. Судя по национальному составу, работники были местные, свои, областные или из Ташкента, главное — не из Москвы.

Налетчики, вероятно, рассчитывали, что хозяин дома испугается и отдаст все сразу, но часа через два, когда стало ясно, что с деньгами и золотом он добровольно не расстанется, они сбросили маски, — видимо, поджимало время. Они раздели догола жену, завязали ей рот, связали руки, ноги, бросили на ковер и, воткнув между ног большой электрический кипятильник для белья, пригрозили:

— Начнем с тебя. Не отдашь, подключим жену к сети.

Жена была беременна, на седьмом месяце, и от ужаса и позора потеряла сознание.

Сорвав с хозяина рубашку, молодчики завязали ему руки, ноги, кинули на диван и водрузили на живот электрический утюг. Тут-то до него дошло, что он имеет дело с обыкновенными бандитами и что с ними лучше не шутить. Отдал он им все, но никому о налете ни слова не сказал, месяц лежал дома, лечился от ожогов. Только когда через полгода забрали его московские следователи, страшная история и выплыла наружу. Тогда и распорядился Халтаев, чтобы их район тщательнее охраняла милиция.

Поравнявшись с усадьбой соседа, Пулат Муминович невольно остановился и обратил внимание, что дом начальника милиции напоминал неприступную крепость, не хватало на высоком дувале лишь колючей проволоки в три ряда под напряжением да сторожевой вышки с автоматчиками.

Вернувшись во двор, он еще долго бесцельно бродил по саду, хотел было войти в дом, взять кое-какие бумаги просмотреть, но побоялся потревожить сон жены. Зашел на летнюю



кухню и на газовой плите вскипятил чайник; заварив чай, перебрался на айван, где Миассар постелила ему, как и обещала.

— Что со мной происходит сегодня? Вечер воспоминаний устроил ни с того ни с сего, — усмехнулся он.

Вскоре чайник опустел, но вставать больше не хотелось. Мысли то и дело проваливались в прошлое, унося все дальше и дальше от сегодняшних дней...

Вспоминались ему детские дома, где он воспитывался с малых лет, — выпало на его долю их четыре. Отчетливо он помнил лишь последний, уже не детдом, а интернат, где закончил десятилетку. Мало кому из детдомовцев в те годы удавалось получить среднее образование, путь был один — после семилетки в ремеслуху или ФЗУ. Его же с детства отличала фанатичная тяга к знаниям, книгам, это влечение мог не заметить только равнодушный, но ему везло на хороших людей, потому и избежал ремеслухи, а ведь помогать таким детям, как он, в те времена было небезопасно.

Его отца арестовали в тридцать пятом, но совсем не за то, за что многих других, — он, наверное, действительно был врагом нового порядка, хотя теперь установить степень вины трудно. Отец служил главным сборщиком налогов у последнего эмира бухарского Саида Алимхана и с приходом в край Советской власти, конечно, потерял многие привилегии. Когда возникло басмаческое движение, он, если и не принимал участия в сабельных походах Джунаид-хана, все же тайно сотрудничал с ними и, говорят, передал какие-то спрятанные сокровища бегавшего эмира воинам ислама. Вот за это и расстреляли его. Голод, разруха, огромная миграция людей, семья распалась, растерялась. Слышал, что мать подалась в Кашгарию, смутно помнит, что у него были сестренка и братишка, совсем маленький, — ему самому тогда исполнилось пять лет.

С восьмого класса он учился в русской школе-интернате, хотя семилетку одолел на родном языке. Веселый, общительный, доброжелательный, с искрометным умом, он был любимцем интерната, лучшим его учеником, закончившим школу с отличием.

Класса с четвертого, уже во время войны, он понимал, что содержится в особом детском доме, хотя и не выстригали у них на макушке крест, как делали в иных подобных заведениях.



Незадолго до выпускного вечера в школе вызвала его к себе директор интерната Инкилоб Рахимовна, одна из первых большевичек Туркестана, — он встречает теперь ее имя уже в учебниках по истории края. Разговор оказался долгий.

— Пулат...— начала она, заметно волнуясь. — Ты уже взрослый, вступаешь в самостоятельную жизнь, и я верю и надеюсь, что из тебя получится хороший человек и хороший специалист. Тебе надо обязательно учиться, у тебя светлый ум, и ты еще принесешь пользу своему краю и своему народу. Но с твоей анкетой вряд ли сегодня примут в какой-нибудь институт. Поговорить о твоей дальнейшей судьбе я и пригласила тебя... Чтобы дать тебе возможность попасть в наш образцовый интернат, мои коллеги из детдома в Коканде, а я их знаю по совместной работе в партии, изменили тебе отчество. Махмудов такая же распространенная фамилия на Востоке, как Иванов в России. Они сознательно спутали твое личное дело с одногодком и однофамильцем, неожиданно умершим от гемофилии, болезни крови. Надеюсь, ты понимаешь, какой риск мы взяли на себя. Время трудное, повсюду мерещатся враги, и я не советую пытаться сразу поступать в институт. У тебя призывной возраст. Отслужи, а затем обязательно иди учиться, оправдай наш риск и наши надежды, и непременно езжай в Москву, подальше отсюда. Верю, пока отслужишь, отучишься, в стране что-то изменится, поймут наконец, что сын за отца не ответчик...

Так он и сделал, послушавшись доброго совета. Мелькнула в воспоминаниях и армия. Служил в Подмосковье, в Кунцево, теперь уже давно оказавшемся в черте столицы. В марте пятьдесят третьего года стоял в толпе на Красной площади, когда хоронили Сталина, плакал, как и многие. В армии сдружился с Саней Кондратовым, три года прожили они в казарме рядом, делили тяготы нелегкой солдатской жизни. Сашка и заразил его идеей строить мосты, вместе подали документы в инженерно-строительный, во время вступительных экзаменов Пулат даже жил у друга в Москве, на Арбате.

Ныне Кондратов известный мостостроитель, лауреат Государственной премии, построил много крупных мостов в стране, он часто встречал фамилию армейского друга в печати.

Студентом встретил XX съезд партии — тогда уже разбирался, что к чему, жизнь в Москве не проходит без следа. После



съезда у него даже появилась мысль пойти в деканат и заявить о путанице в своем личном деле, но Кондратов его удержал, советовал не спешить, мало ли как на это посмотрят. Учился Пулат хорошо, легко давались ему труднейшие технические дисциплины. «У вас прирожденный инженерный ум», — не раз говорили ему преподаватели. После окончания оставляли его на кафедре, мог бы через два-три года защитить кандидатскую диссертацию. К его дипломной работе о свайных основаниях проявили интерес ведущие проектные организации, но он без сожаления расстался с заманчивыми возможностями, — рвался на родину.

Восемь лет он не был дома, голос крови, что ли, в нем взграл, хотя в те годы в Москве училось много его земляков, и он с ними общался; там же он познакомился с Зухрой, студенткой первого медицинского института.

Как давно это было: Москва, похороны Сталина, казарма в Кунцево, в которой переночевал 1072 раза, — вел он, как и многие в армии, счет дням и ночам, — практика в Оренбурге, полузабытый парк «Тополя», где бывал каждый вечер с девушкой по имени Нора. Теперь он даже не помнит, как она выглядела, лишь редкое имя врзалось в память, а ведь провожал ее до Форштадта, рисковал, — по тем годам самая отчаянная шпана обитала там, а Нора — девушка видная. Замечал он на себе косые взгляды в парке, да как-то судьба миловала, обошлось, а может, Нора и уберегла от кастета или финки, ведь слышал, что имела она неограниченную власть над Закиром-рваным, отчаянным форштадтским парнем. Нравился он Норе... Без пяти минут инженер, в Москве учится, работает на большой стройке, не то что шпана форштадтская...

Старый дуб у дувала, оплетенного цветущей лоницерой и мелкими чайными розами, рядом с незаметной для постороннего взгляда калиткой, ведущей во двор Халтаева, отбрасывает на летнюю кухню густую мрачную тень, и идти в темноту зажигать газ ему не хочется, хотя чайник давно пуст. Хозяин чувствует ночную свежесть и тянется за пижамной курткой из плотного полосатого шелка, вышедшего, кажется, из моды повсюду, кроме Средней Азии, — здесь такая пара еще почитается за шик.

«Мне уже пятьдесят семь, жизнь считай, прожита, — с грустью размышляет секретарь райкома. — А ведь, кажется,



еще вчера Инкилоб Рахимовна напутствовала в большой мир... Оправдал ли я надежды людей, рисковавших из-за меня, поверивших в меня?»

Наверное, если бы этот вопрос он задал себе лет семь назад, ответил бы с гордостью, не задумываясь, утвердительно. Но за семь последних лет он с такой уверенностью не поручился бы за подобный ответ...

Инкилоб Рахимовна... Имя старой женщины, принявшей доброе участие в его судьбе, почему-то не идет из головы. Он пытается связать его со своими путаными мыслями, но логичного построения не получается. Его преследует этот образ... Ее, тогдашнюю, он уже не помнит, смутно видятся лишь начинающие сесть волосы, европейская прическа и вечная папироса в худых нервных пальцах. Да, директор специнтерната Даниярова курила, это в память врезалось четко. Но почему же ему кажется, что имя старой коммунистки имеет отношение к сегодняшнему разговору с Миассар, и оттого она не идет из головы.

«Инкилоб... Инкилоб...» — повторяет он мысленно, и вдруг обрадованно встрепенулся, нашел-таки ключ к разгадке. Да, имя ее означало — Революция! Революция Рахимовна, — новое время оставило и такой след в жарких краях, и тут были люди, принявшие революцию сердцем. И в устах Миассар не раз сегодня звучало — «инкилоб», вот как перекликнулось с нынешним временем имя старой большевички, определившей его судьбу.

Он уже давно был секретарем райкома и депутатом Верховного Совета, когда однажды увидел по телевизору передачу — открывали помпезный филиал музея Ленина в Ташкенте. Среди тех, у кого бойкие репортеры брали интервью, оказалась и Даниярова — белоголовая, согбенная, плохо одетая старушка, но он узнал ее сразу. Помнится, ветераны чувствовали себя неуютно среди мраморно-хрустального великолепия залов с высокими дубовыми дверями при дворцово-бронзовых тяжелых ручках; они осторожно, словно по льду, ступали по скользкому наборному паркету и выглядели лишними бедными родственниками на богатом балу. Впрочем, камера на них долго не задержалась, ветеранов на экране быстро вытеснили продолжатели их дела — солидные, вальжжные дяди и тети, словно во искупление своих грехов и отклонений от партийных норм отгрохавшие величественный храм вождю. Все в истории человечества повторяется:





раньше, отмаливая грехи, ставили соборы и мечети, теперь отдываются роскошными филиалами.

Увидев тогда на экране Даниярову, Махмудов чуть не вскрикнул: «Мама!» В интернате многие обращались к ней так, а для него, наверное, Инкилоб-апа и была матерью, в него больше, чем в кого-либо иного, вложила она свою веру и любовь, ради него рисковала жизнью. От волнения у него сжалось сердце и повлажнели глаза.

Тогда еще была жива Зухра, первая жена, он хотел позвать ее из соседней комнаты и рассказать о своем сиротстве, о старой большевичке Данияровой, ставшей для многих мамой, но что-то удержало его. Под впечатлением неожиданной встречи с Инкилоб-апой он решил, что завтра же свяжется с Ташкентом, узнает, где сейчас живет его старая учительница. Надо поехать, обязательно найти ее, привезти в свой дом, познакомиться с женой, детьми, уговорить, чтобы остаток дней она прожила у него. Он хотел обрадовать, хоть и запоздало, что оправдал ее надежды.

Но на другой день накатились дела, заботы, и он никуда не поехал, не позвонил, а через полгода в республиканских газетах наткнулся на извещение о ее смерти. Помнится, вечером тогда очень крепко выпил, — он не только поминал Инкилоб Рахимовну, а хотел вином залить горечь от сознания своего предательства. В тот день свой поступок он иначе не называл. И сегодня воспоминание болью отзывается в сердце.

— Предатель, — негромко произносит Махмудов и невольно оглядывается.

Ночная тень могучего дуба чуть сместилась влево, и лунный свет заливает вход в летнюю кухню, с айвана видна газовая плита, но не до чая ему сейчас. Ему стыдно, что невольно оглянулся, и потому он с горечью спрашивает себя: почему в нас нет внутренней свободы, почему мы живем с опаской? Оглядываемся даже в ночи, наедине с собой, боимся своих мыслей? Давно он так не рассуждал, наверное, в последний раз это было с Саней Кондратовым, когда заканчивал в Москве институт. Куда все подевалось? Ведь без свободного обсуждения мнений, столкновения, сравнения новых идей не народится. Опять его думы возвращаются к Миассар, она разбередила его душу, но от этих мыслей бросает то в жар, то в холод. Вспомнил



бы разве сегодня Инкилоб Рахимовну, если бы не разговор с женой? Вряд ли.

И вдруг, впервые за много лет, он ясно представляет свою учительницу. Она стоит у входа в столовую интерната, опершись о дверной косяк, и смотрит в зал. Пулат Муминович четко различает ее белую, тщательно выстиранную кофточку с небрежно завязанным бантом на груди, видит ее большие, по-восточному красивые, бархатные глаза, в них, кажется, навсегда поселилась печаль. Она смотрит куда-то вдаль, поверх голов обедающих мальчишек и девчонок, ее тонкие нервные пальцы то и дело отбрасывают с лица падающие волосы. О чем она думает, куда улетел ее грустный взгляд? Наверное, думает о том, какими вырастут эти мальчишки и девчонки с трудной судьбой, оправдают ли надежды, смогут ли построить то общество добра и справедливости, о котором мечтала она?

«Сегодня я намного старше той Инкилоб Рахимовны, напутствовавшей меня в жизнь, и я бы очень покривил душой, если бы утверждал, что оправдал ее надежды, — признается он себе. — Впрочем, наверное, она разочаровалась не во мне одном...» — он словно подыскивает оправдание себе, вспоминая открытие филиала музея Ленина в Ташкенте. Не радовали старых большевиков ни величественные залы, ни самодовольные «продолжатели» их дела, это бросилось в глаза даже неискушенному зрителю. Более того, словно пропасть пролегла между ними, они вроде не понимали друг друга, оттого и торжество дальше продолжалось без ветеранов.

*Двухподбородковые ленинцы,  
Я к вам и мёртвый не примкну,*

— как сказал в те годы молодой поэт Александр Файнберг, имея в виду новое поколение партийцев.

Он еще долго вглядывается в Даниярову, стоящую у двери столовой специнтерната, словно хочет привлечь ее внимание, чтобы заговорила с ним, но, увы... понимает, что упустил свое время, назад хода нет...

Как ни горько вспоминать давнее, он счастлив, что впервые за много лет ясно представил образ своей учительницы, — Инкилоб Рахимовна вела у них в школе историю.



Сегодня Махмудов беспощаден к себе, — словно корабль, вошедший в док, хочет содрать с обшивки сцементированный налет ракушек, водорослей, всяких прилипал и прочей глубинной дряни, невидимой над водой у белоснежного красавца.

И неожиданно опять всплывает имя Норы, о которой сегодня уже вспоминал под шум высоких серебристых тополей у арыка. И краской стыда заливает лицо, он рад, что никто этого не видит. Ему неловко не оттого, что он забыл прекрасное лицо девушки, а потому, что даже сегодня был неискренен с самим собой. Модистка Нора... Кажется, ныне в обиходе нет такого слова, теперь все модельеры, кутюрье... Да, теперь шьют мало, больше гоняются за импортным, фирменным. Приходится ему иногда обращаться к Салиму Хасановичу, председателю райпотребсоюза, — невестки из Ташкента донимают, достаньте, пожалуйста, то велюровое пальто, то дубленку, то твидовый костюм.

Нора... Кстати, по паспорту она значилась — Нурия, но сердилась, если он так ее называл. Однажды она пригласила Пулата домой, познакомить с родителями, — какой чудный бялиш, татарский пирог с рисом, с мясом, по такому случаю испекла, — вот тогда он и услышал, как мать называла ее — Нурия. Ему, восточному человеку, Нурия по слуху ближе, но ей нравилось зваться на европейский лад — Нора. Маленькая прихоть красивой девушки. Впрочем, это имя — Нора — ей очень подходило.

Работала она в самом модном салоне Оренбурга «Люкс», на Советской; он часто проходил мимо его стеклянных витрин, на которых местный художник, не особенно терзаясь поисками собственной манеры, крупно, броско, в стиле Тулуз-Лотрека изобразил загадочно-томных женщин под вуалетками. Особенно выделялись на плакатных рисунках ярко-красные чувственные губы и тщательно выписанные холеные руки, казалось, кроваво-красный лак капал с изящных длинных пальцев.

В ночной тиши он вдруг явственно слышит цокот ее каблучков, — Нора ходила на умопомрачительно высоких шпильках. Тогда это было модно, как и длинная, узкая юбка с пикантным разрезом то по бокам, то сзади, то спереди. Не идет, а пишет — говорили в ту пору о модницах, такой стиль действительно



диктовал особо элегантную, по-настоящему женственную походку, дававшуюся не всякой девушке, тут нужен был талант, как и в любом деле.

Он смотрит в ночной сад, но взгляд его затерялся в давнем прошлом, в ушах незабываемой мелодией звучит стук каблучков спешащей к нему на свидание Нору. Он никогда не путал их с другими. Он пытается вспомнить еще что-то приятное, связанное с нею, и вдруг грустно улыбается, из глубин памяти наплывает на него запах сирени.

Оренбург долго для него ассоциировался с этим запахом. В ту счастливую весну он каждый день дарил ей персидскую сирень и ландыши. Ландыши, наверное, тогда у многих девушек вдруг оказались любимыми цветами, повсюду звучала популярная песенка «Ландыши», которую позднее охаяла ретивая критика. Как же давно это было!

Он видит себя на углу Советской и Кирова, у театральной тумбы с афишами, он ждет как всегда запаздывающую Нору. Пытается вспомнить ее лицо, нет, даже не вспомнить, хочет заглянуть ей в лицо, но она почему-то, озоруя, закрывается букетом сирени, что он тогда подарил. Он слышит ее мягкий грудной голос, смех, это так волновало его... Но лица нет, — она не смотрит на него... От бессилия памяти он невольно опускает взгляд к ногам и ясно видит ее туфли-лодочки, остроносые, лаковые, видит высокие стройные ноги в ажурных черных чулках, — и тогда, тридцать лет назад, они тоже были в моде, как и сейчас. Видит узкую, серую, из тонкого китайского габардина длинную юбку с высокими шлицами по бокам, шлица с одной стороны заканчивается крупной пуговицей. Он поднимает взгляд выше и видит широкий лаковый ремень с огромной пиратской пряжкой из хромированного легкого металла. Точно такой же ремень он видел на прошлой неделе у своей невестки из Ташкента, большой модницы. Кстати сказать, именно благодаря ей он в курсе текущей моды. Он торопливо поднимает взгляд, восстанавливая в памяти Нору, и натывается на ярко-алую свободную шелковую кофточку с плечиками, кажется, такую носит Миассар. Он, отчетливо помнящий кофточку Нору вплоть до перламутровых пуговиц и темного муарового банта на груди, разницы в них не ощущает, разница лишь во времени — в тридцать лет.



Словно прыгун перед рекордной высотой, у которого в запасе осталась последняя попытка, он с волнением приноравливается поднять взгляд еще выше — а вдруг снова неудача? Нет, на месте ее лица не зияет провал, пустота, как любят нынче живописать авангардисты, он видит ее лицо, видит меняющимся, словно смазанным на бегу, но ему нужно задержать его хоть на минуту. Он хочет взглядеться в ее прекрасное лицо, увидеть небольшую, кокетливую, чуть выше верхней губы родинку, ее смеющиеся глаза, крупные, темные, с дымной поволокой. Особенно они хороши были, когда Нора смеялась, они как бы излучали свет, и он заражался смехом именно от этих радостных искр. А как она смеялась!

Он невольно делал шаг к ней в такие минуты, чувствовал ее чистое дыхание, она слегка запрокидывала голову, и он не мог глаз оторвать от ее нежного рта, прекрасных, полных жизни алых губ — она никогда не пользовалась косметикой. Порою, захлебываясь от смеха, она невольно по-детски проводила маленьким влажным языком по верхнему ряду удивительной белизны зубов, и этот неконтролируемый жест, делавший Нору беззащитным подростком, ребенком, так трогал, умилял Пулату, что у него захватывало дыханье и влажнели глаза. В такие минуты всякий раз невольно пронзала беспокойная мысль: неужели эта стройная, элегантная, поразительной красоты девушка, на которую оглядываются на улице, действительно выбрала его?

С опаской он отрывает взгляд от муарового банта на алой кофточке и видит высокую изящную шею с тонкой ниткой потерявшего от времени живой блеск натурального жемчуга. Он знает, что ожерелье переходило в их роду от бабок к внукам, и вот настал ее черед, чему Нора несказанно рада. Пулату ведомо, что раньше у мусульман жемчуг ценился выше бриллиантов, не зря Нора так дорожила им.

— Где фамильный жемчуг? — шутя спохватывалась она, делая испуганные глаза, и проверяла, на месте ли ожерелье.

Помнится, и он невольно втянулся в эту игру: целуя в последний раз у калитки, говорил на прощание:

— Проверим, на месте ли фамильный жемчуг...

Он колеблется еще мгновенье, все-таки боясь в который раз испытать разочарование, но усилием воли все же отрывает взгляд от жемчужного ожерелья, привезенного некогда



прадедом Норы из Константинополя, и — о чудо! — Нора открывается ему — вся, от макушки до носочков туфель.

Но нет ни привычной смешинки, лукавинки в ее глазах, ни улыбки, и он тут же вспоминает, когда видел девушку именно такой.

Он видит старинный перрон Оренбурга, еще не задушенный неуправляемым пассажиропотоком, даже слышит доносящийся из прилегающего к вокзалу железнодорожного парка духовой оркестр, играющий вальс. Ясно видит новенький вагон скорого поезда и себя на подножке. Она не отпускает его руки и делает несколько шагов вместе с медленно набирающим ход поездом. Вот тогда она молча смотрела на него такими же печальными глазами, хотя для грусти вроде не было причин. Он клятвенно обещал ей приехать на Новый год, а весной, когда получит диплом, увезти с собой по назначению.

Сердце девичье не обманешь, почувствовала если не беду, то тревогу за их судьбу, до последнего момента не разжала пальцев, считай, поезд силой вырвал его руку из ее горячей ладони. Печальные глаза Норы преследовали тогда Пулата до самой Москвы. «С чего это она так?» — думал он беспечно. Обманывать девушку и в мыслях не было, вполне искренне называл ее невестой.

— Нора, милая, прости... — шепчет невольно Махмудов.

Если бы сегодня он не признался в предательстве Инкилоб Рахимовне, не повинился перед собой, вряд ли бы вспомнил и Нору. Ведь у арыка хотел отделаться легким и красивым воспоминанием из прошлого, где больше романтики, чем реальности: парк «Тополя», джазовый оркестр Марика Раушенбаха, лихо игравший модный в ту пору «Вишневый сад», сплошное торжество медных труб и саксофонов, или томный «Караван» Эллингтона, когда солировал сам Раушенбах, кумир местных джазменов, первый денди в Оренбурге. Под занавес, когда уходило начальство, тишину парка сотрясали такие рок-н-роллы, — то надо было видеть, что творилось и на эстраде, и на танцплощадке. Если честно, ведь только это и промелькнуло в памяти на скамейке у арыка, даже лица Норы не припомнил, лица своей нареченной...

— Подло, что и говорить... — не очень-то решительно констатирует он, но и оспаривать обвинение, защищаться не хочется.



И даже Закира-рваного помянул так, между прочим, как нечто неодушевленное, несущественное, а ведь все было гораздо сложнее. Копнуть глубже в памяти, значит, еще раз признаться в предательстве, пусть, как и в случае с Данияровой, не в расчетливом, преднамеренном, но, как ни крути, — предательстве.

В жизни человека наступает день, когда приходится отвечать за предательство. И пусть карой будет только расплата покоем, душевным комфортом, и даже если это счет лишь к самому себе, нелегко этот суд.

Сегодня выдался судный день, а если точнее, судная ночь, и он это понимал и от ответственности увилить не собирался, назад ходы отрезаны, слишком долго отступал.

«Кругом виноват», — заключает Махмудов, оглядывая двор, где многое посажено, возвращено своими руками. Любит он, когда выпадает время, покопаться в саду, но свободного времени почти не бывает, а заслуга, что у него ухоженный, тенистый сад, неплохой виноградник и даже небольшой малинник за дощатой душевой, — все же не его, а садовника Хамракула-ака, появившегося в усадьбе лет пятнадцать назад. Однажды он попытался вспомнить, как, при каких обстоятельствах объявился во дворе тихий, услужливый, набожный дед, но так и не припомнил, да и спросить, уточнить не у кого было, Зухра в то время уже умерла. Мысли о садовнике ему неприятны, и, чтобы отвлечься, он берет чайник и направляется к летней кухне; ночная тень могучего дуба сдвинулась еще чуть левее, и возле газовой плиты светло, не нужно зажигать свет. Пока закипает чайник, хозяин прохаживается по дорожке, упирающейся в калитку Халтаева, ходит взад-вперед, словно собирается ворваться во двор начальника милиции и спросить у гориллоподобного соседа, кто же пристроил к нему садовником Хамракула-ака, уж тот наверняка знает это.

Он слышит за спиной свисток закипевшего чайника и возвращается в кухню. «Разберусь сегодня и с Халтаевым, и садовником», — успокаивает он невидимого оппонента — свою совесть — и направляется с чайником к айвану. За чаем думать как-то легче, да и после обильного плова жажда мучает.

Прошлое властной рукой держит думы, и перед ним вновь всплывает грустное лицо Норы, бледное, с вмиг запавшими глазами, сухими, жаркими губами, такое, словно в укор



сегодня оно предстало перед ним. А ведь он больше в жизни не встречал такой хохотушки и озорницы; лишь минуты расставания на вокзале, предчувствие беды, расставания стерло с ее лица краски и погасило глаза. Он помнит, когда по воскресеньям ходили вдвоем на Урал, на пляже он часто просил ее закрыть глаза — и любовался юной, пахнущей незнакомыми цветами, удивительно нежной кожей ее лица, словно подсвеченной изнутри неведомым светом. Он невольно касался рукой ее щеки, как бы желая стереть румяна, но вспоминал, что она же не пользуется косметикой.

Никогда не могла она долго лежать с закрытыми глазами, не хватало терпения, шутя оправдывалась — мне тоже хочется видеть тебя, запомнить, ведь ты скоро уедешь. Как ни старался, он не мог предугадать тот миг, когда она распахивала глаза, — всегда это происходило неожиданно, внезапно, хотя он вроде и был готов поймать ее первый взгляд, словно удивленный и вместе с тем радостный, ожидающий чуда, откровения от окружающего — поразительный взгляд чистых глаз юности, еще не знавших ни беды, ни обмана в жизни. Доверчивый взгляд вызывал в ответ прилив нежности, какой он в себе никогда не предполагал. Распахнутые глаза, освоившись с миром, лучились ясным светом, и миг преобразалось лицо, оно становилось еще прекраснее, одухотвореннее — такое лицо хотелось ему увидеть сегодня хоть на миг, но оно не давалось его памяти.

— Что заслужил...— грустно подытожил он.

Если уж откровенно, то, наверное, следовало вспомнить и Закира-рваного, рослого, крепкого парня с темными, по-цыгански волнистыми волосами. Закир отдал флоту четыре года на Тихом океане и с тельняшкой никогда не расставался — в те годы привязанности отличались крепостью. Странная приставка к имени читалась на лице, рваный шрам от ножа на левой щеке не портил его крупных, не лишенных приятности черт. Рваный — кличку он получил до флота, — уходя на службу, пользовался большим авторитетом на Форштадте, что предполагает — и во всем городе. Редкой смелости был парень, многие искали дружбы с ним. Правда, на флоте его окрестили иначе — «Скорцени», и не только за внешнюю схожесть и шрам, а прежде всего за отчаянную храбрость.





Среди морских десантников отличиться трудно, но он в мирное время вернулся домой с орденом, — спас во время учений жизнь командиру части.

Махмудов, человек не высокомерный, а скорее наблюдательный, после службы в армии, а тем более после пяти лет вольной студенческой жизни в Москве, отчетливо видел провинциализм Оренбурга, хотя и сюда докатился джаз, новые танцы и даже новая мода, резко преобразившая внешний вид молодых людей. Любопытную наблюдал он картину в «Тополях». Танцплощадка примерно поровну делилась на приверженцев новой моды, тут же окрещенных всюду по стране — стилистами, и молодых людей, одетых, так сказать, традиционно. Правда, это касалось прежде всего мужской половины, женщины более восприимчивы к новому, не любят заметно отставать друг от дружки, разницей у них не был столь очевиден, хотя внимательный взгляд и тут обнаружил бы водораздел.

Вот, например, стоит молодой человек в голубых, невероятно узких брюках-дудочках, в туфлях на тяжелой белой каучуковой подошве, в свободной клетчатой рубашке, а рядом парень в тщательно отутюженных клешах немыслимой ширины и непременно в белой рубашке-апаш, расстегнутой чуть ли не до пупа, под рубахой красуется тельняшка. Те и другие искренне считали нелепой одежду ребят противоположного лагеря и, кажется, тихо ненавидели друг друга.

Вот такое переломное время в молодежной среде застал Пулат в то лето на своей преддипломной практике в Оренбурге.

Нужно знать или хотя бы догадываться о местечковых нравах тех лет, где культ силы преобладал надо всем, чтобы понять: Нора при всей вольности своего характера не была свободна в выборе поклонников. Крутым характером следовало обладать, чтобы устоять перед угрозами форштадтской шпаны, кстати, слов на ветер не бросавшей. Красавица Нора с Форштадта, по их твердому убеждению, должна была принадлежать только парню с Форштадта, и именно Закируваному. Иной исход местные посчитали бы позором для себя, для Форштадта, чью марку берегли пуще своей жизни, даже если и были сами равнодушны к Норе. Дико по нынешним временам? Возможно, но тысячи семей сложились в те годы,



и не только в Оренбурге, по жестким местечковым нравам, и ничего — живут, много среди них и счастливых пар.

Если Нора, одна из лучших модисток популярного салона «Люкс», шагала в авангарде новой моды и самореализовывалась в ней, то Закир оказался явным антиподом ей. Парню, по крайней мере тогда, казалось, что он и под страхом смерти, под пистолетом, не наденет узкие штаны, тем более голубые, а уж о том, чтобы он в угоду моде расстался с тельняшкой, или, как говорили тогда — тельником, не могло быть и речи. Подобное перерождение он меньше, чем изменой флоту, не расценивал. Для него не имело значения, какие юбки, кофточки носила его возлюбленная, хотя, честно говоря, ему было приятно видеть ее нарядной, выделяющейся среди подружек. Ему льстило, когда дружки-приятели говорили: смотри, пришла твоя красавица Нора, и опять в шикарном платье! Он не только ничего не имел против ее увлечения, но даже клялся, что она будет у него всю жизнь ходить в «бархате и соболях», слышал он такую песню на Севере, где на годок остался после флота заработать на золотых приисках. Соболей он, правда, не дарил ей, а вот роскошную чернобурку привез. Отдал ему для будущей невесты таежный охотник, которого он защитил случайно от блатных в общежитии — иначе забили бы насмерть старателя и пушные трофеи, добытые за долгую сибирскую зиму, отобрали.

Познакомился Закир с Норой на балу во Дворце железнодорожников, училась она тогда в десятом классе, а он прибыл на короткую побывку после учений, на которых отличился; оставалось тогда служить ему еще год. Нельзя сказать, чтобы у них заладились отношения — ни писать не обещала, ни фотографии не дала, хотя и попросил. Но девичьим умом поняла, влюбился морячок. В нее влюблялись в ту пору каждый день, и она не удивилась, не обрадовалась. Живя на Форштадте, рано начав крутиться в «Тополях», она наслышалась о Закире-рваном с соседней улицы, о его похождениях, и знала Светланку Соколянскую, за которой он приударял до флота. Ей льстило, что такой авторитетный парень, как Закир-рванный, волнуется, говоря с ней, нравилось, что ей завидуют многие девчонки.

Десяти календарных дней отпуска оказалось вполне достаточно, чтобы уехал бравый моряк без памяти влюбленным в



стройную темноглазую школьницу, жившую на углу Чапаева и Оружейной, в старинном краснокирпичном доме, отстроенном тем самым прадедом, что некогда привез жемчужное ожерелье из Константинополя. Прадед и дед Норы торговали в крае чаем.

Фотографию Норы Закир все-таки увез с собой во Владивосток — не тот парень Ахметшин, чтобы не раздобыть карточку любимой. Не очень склонный к эпистолярному жанру, Закир несколько раз написал ей, но Нора ни на одно письмо не ответила.

— Приеду, разберусь, — мрачно говорил моряк товарищам по тесному кубрику, но фотографию над головой на стене не убирал.

Приехал Закир через два года, снова в канун новогодних праздников, и опять же на балу у железнодорожников подошел к ней, словно и не отсутствовал долгое время. Нора, как обычно, находилась в окружении друзей, поклонников, но моряк, не замечая их, увел ее танцевать. В тот новогодний вечер вокруг Норы образовалась пустота, куда-то вмиг подевались ухажеры. Нора вначале не поняла, что произошло, посчитала это за коварство соперниц, но одна подружка объяснила все очень просто.

— Закир вернулся, — сказала она ей, как несмысленно. — Разве непонятно? Ахметшин устроился в таксопарк, откуда его и призвали на службу. Командование Тихоокеанского флота прислало благодарственное письмо коллективу, воспитавшему доблестного краснофлотца, рассказало о подвиге, за который их земляк награжден боевым орденом. Встретили его как героя, чему он весьма поразился, вряд ли сам сказал бы о награде.

В те дни из гаража горкома передали в таксопарк на баланс черный ЗИМ, — наверное, получили новую машину или новую модель «Волги». ЗИМ отслужил горкомовскому начальству лет семь, но, поскольку находился в одних руках, для таксопарка вполне годился. Претендентов на машину оказалось хоть отбавляй, но тут Ахметшин как бы выручил руководство, снял проблему — за то, чтобы отдать машину орденоносцу-краснофлотцу, проголосовали и в парткоме, и в профкоме.

С Севера парень приехал при деньгах — попал в удачливую артель, там, если подфартит, за год можно огрести больше,



чем иногда за десять лет. Заработком он ни с кем не делился, хотя и рисковал головой, это сейчас, да и то робко, начинают говорить о рэкетирах, а рэкет существовал всегда, только не имел звучного иностранного определения, ставшего вдруг модным и у нас.

Ахметшину еще до армии, зеленому парнишке, врезалась в память одна сцена.

Как-то он оказался в парке задолго до танцев и от нечего делать решил заглянуть в бильярдную. В дверях он наткнулся на старших ребят с Форштадта. Со многими из них у Закира сложились натянутые отношения, потому что он, как молодой волк-первогодок, определял свое положение в форштадтской стае, а тут позиции просто так не сдавали. Но сегодня он не узнавал задиристых парней, они словно сопровождали высокого официального гостя и, как всякая свита, ловили каждое слово худого, бледного парня в тесноватом бостоновом костюме.

Закир не знал Османа-турка, но слышал, что тот со дня на день освободится из тюрьмы. Закир не хотел этой встречи, в будущем не рассчитывал ни с кем делить власть и влияние на Форштадте, такие честолюбивые замыслы зрели в его душе. Отступить, отойти куда-то в сторону не представлялось возможным, столкнулись лоб в лоб, и он оказался вынужден со всеми поздороваться за руку.

— Эх, выпить бы, отметить возвращение Османа, — сказал Федька-жердь, накануне в пух и прах проигравшийся в карты.

Братия сидела на мели, оттого и смолчала. У Закира имелись деньги, но он не собирался их поить, он уже не считал их для себя авторитетом, уж лучше он своих молодых корешей уважит. Не глянувшись ему и Осман-турок. «И этого задохлика с шальными глазами некогда боялся весь город?» — презрительно подумал он.

— Я угощаю, — сказал вдруг Осман небрежно, доставая из кармана пиджака пачку «Казбека», и худой рукой показал в сторону летнего буфета, водились некогда такие заведения во всех парках страны.

Закир отступил в сторону и хотел остаться в бильярдной, словно приглашение его не касалось, но Осман уловил его настроение и неожиданно произнес:

— А ты что, Рваный, не рад моему возвращению?



Вроде сказал обычные слова, ровным и даже ласковым голосом, но что-то похолодело внутри у Закира, — не зря, наверное, именем Турка блатные запугивали друг друга.

«Не лох, не лох, если сразу навел справки», — думал Закир, шагая рядом с Османом; значит, доложили о его амбициях, которых он, впрочем, и не скрывал.

В загородке летнего буфета на воздухе большинство столиков оказались заняты, толпился народ и у раздаточного окошка, подавали, кроме вина и водки, разливное бочковое пиво. Усадив шумную компанию за свободный столик, Осман сказал Закиру:

— Идем, поможешь мне, — и направился во двор, к заднему входу обшарпанного заведения.

Дверь оказалась распахнутой настежь, но на пороге стояли пустые ящики из-под вина. Осман небрежно отшвырнул их ногой в глубь подсобки. На шум, оставив клиентов, прибежал буфетчик, работавший в паре с женой.

— Салам алейкум, Шакир-абзы. Наверное, соскучились по мне? — спросил весело Осман и обнял потного лысеющего толстяка.

Закиру показалось, что они давние знакомые.

— Вернулся, значит, — ответил тот без особого восторга, и, не зная, куда от волнения девать руки, мял грязный фартук.

— Отмотался, — бодро уточнил гость. — И первым делом решили с друзьями к тебе, обмыть, так сказать, возвращение в родные края. Обслужи по-быстрому, мы хотим еще на танцы попасть, обрадовать и прекрасный пол...

— Что подать? — спросил потерянно буфетчик.

— Нас шестеро. Значит, три пузырья водки, закуски как следует, имеем аппетит, а позже дюжину свежего пива из новой бочки, разумеется, с раками.

Шакир-абзы, хорошо знавший Закира-рваного, — он тут не раз гулял с друзьями, — метнулся на кухню и быстро принес поднос с закусками: крупно нарезанную колбасу, сыр, жирную копченую соятину и малосольные огурцы и прямо из ящика достал три заказанные бутылки водки. Поднос с закусками он подал Закиру, а водку передал самому Осману. Закир чуть задержался, подумав, а вдруг Осману надо помочь рассчитаться, но тот вместо денег протянул буфетчику руку



в наколках и, процедив небрежно «рахмат», не спеша двинул из подсобки.

Зная Шакира-абзы, о жадности которого ходили легенды, Закир потерял дар речи, но во дворе все же спросил у Турка:

— А деньги?

— Какие деньги? — не менее удивленно переспросил Осман. — Ты хочешь сказать, я не взял у него сдачи?

Закир растерялся пуще прежнего, подумал, что ловкие пальцы Османа, некогда начинавшего карманным воришкой в трамваях, а позже ставшего одним из известных картежных шулеров, уже успели вложить незаметно в карман буфетчика белохвостую — так прежде называли на жаргоне сторублевку.

Наконец до Османа дошло! Подобной непонятливости в Закире он никак не предполагал, и аж заколотился в смехе, бутылки в руках звенели так, что казалось, вот-вот разобьются.

— Ну, насмешил ты меня, Рваный, век не забуду! — и, погасив смех, стал утирать кулаком слезившиеся глаза. Затем, поставив бутылки на поднос Закира, по-мужски неловко державшего его на вытянутых руках, добавил: — Запомни, не я ему, а он мне должен по гроб жизни.

— Он что, проигрался тебе в карты? — не унимался Ахметшин.

— Какой ты, оказывается, Рваный, дурак, а еще намерен задавить всех на Форштадте. Зачем тебе власть, если ты даже барыге Шакиру, заплывшему от жира, платишь за выпивку?

— А что ты можешь ему сделать, ты ведь не торговый инспектор? Не мент?

— Многое, — ответил уклончиво Осман. Потом, хищно оскалив порченые цингой зубы, пояснил: — Послать, например, тебя с монтировкой в подсобку — за две минуты перебить три ящика водки, ему их никто не спишет. Или садануть по витрине — стекла-то нынче дороги. Да мало ли что, соображай...

Вот когда дошло до Ахметшина, почему наглый буфетчик лебезил перед Османом, — видно, знал, чего от него можно ожидать. Дефицитное пиво к столу подал сам Шакир-абзы. А когда он, пятясь задом от стола, любезно приглашал заходить Османа в любое время, Турок вдруг, словно вспомнив разговор во дворе, взвизгнул нервно:

— А сдачу?



Буфетчик, наверняка предполагавший подобный исход, извиняясь за память, протянул вору две аккуратно сложенные сторублевки. И Закир понял, что на Форштадт вернулся настоящий хозяин.

В тот пьяный вечер неожиданно для себя он как бы протрезвел от романтики лихой жизни, осознал, куда она может завести.

Повезло ему и с призывом на флот.

Несколько лет спустя после этого вечера вся компания, гулявшая по случаю возвращения Османа-турка в «Тополях» у Шакира-абзы, попала на дерзком вооруженном ограблении ювелирного магазина в Актюбинске. Клима и Федьку-жердя в завязавшейся пальбе застрелили на крыше магазина, куда они успели прорваться, прикрываемые Османом, а остальные получили новые сроки.

Ахметшин не удивился, что возле артели золотодобытчиков крутились люди, подобные Осману, или, как их нынче величают, — рэкетеры.

На работу вербовали его с друзьями еще на флоте, за год до демобилизации. На золото, в тайгу, подписались они втроем — каким-то чутьем нашли друг друга. Один из них, Колька Шугаев, уже промышлял драгметаллом до службы. Третьим оказался Саркис Овивян из Карабаха, тому за годы службы так и не смогли подобрать парадную форму, все оказывалось и тесным, и коротким, хотя рядом служили отнюдь не лилипуты. «Вернусь домой, сошью форму на заказ в Одессе на память о флоте», — шутил он, и перед списанием на берег добился-таки у интендантов, чтобы выделили ему, как офицерам и генералам, материал для парадки на руки.

Удачливая артель оказалась немалой, пятьдесят два человека, и все безропотно платили дань пятерым бывшим уголовникам, работавшим рядом, бок о бок в родном коллективе. О том, что придется отчислять «дяде», и немало, стало ясно с первой полочки, — за деньгами пришел к ним в балок сам пахан, старый лагерный волк. Вряд ли он ожидал, что через пять минут выскочит в бешенстве, изрыгая проклятия и угрозы.

— А это нэ хочешь? — спросил Саркис, продемонстрировав блатарю выразительно согнутую в локте руку. — Да разве ты нэ понимаешь, что я всю жизнь буду блэвать от презрения к сэбе, если стану делиться с тобой заработком?



Закиру вспомнился жирный, трясущийся от страха буфетчик; нет, такому он уподобиться не мог, да с ним на Форштадте не стал бы разговаривать ни один шкет, если бы узнал, что Рваный платил кому-то налоги.

Шугаев держался спокойнее, праведным гневом не пылал.

— Здесь всегда так, закон тайги...— сказал он бесстрастно, философски, но уговаривать друзей смириться не стал, а после долгой паузы добавил: — Будем держать оборону, блатата бунта не прощает, — и, отодвинув доску обшивки балка над железной кроватью, достал короткий обрез. — Купил на всякий случай у Жорки с вездехода, говорит, в карты на постоялом дворе выиграл.

Шугаев — сибиряк, немногословный, но надежный парень: четыре года в морском десанте подтвердили это. Они не сомневались во флотском братстве, наверное, оттого и держались смело.

Наверное, если рассказать про их жизнь на золотом прииске писателю или режиссеру, захватывающая получилась бы книга или кинофильм. Целый год ни на один день не прекращалась борьба не на жизнь, а на смерть. Сгодились тут все: хладнокровие и выдержка Шугаева, знание привычек и нравов блатных и отчаянная храбрость Ахметшина, и чудовищная сила Овивяна, и, конечно, их вера друг в друга, — пытались уголовники и клин вбить между ними. Долго они крутились возле Шугаева, и от дани клялись освободить, если отойдет от иноверцев, и на сибирское происхождение напирали, но не удалось ослабить морской узел, крепким братством наградил их флот.

И из горящего балка ночью не раз выскакивали, и с обрезом охраняли сон друг друга, а однажды, прямо за обеденным столом, сцепились в страшной рукопашной. Чудом вырвали дружки злобного механика с драги из рук Овивяна, — не умер, живучий, как собака, оказался, но в счет больше не шел, отбандитился, осталось четверо против них троих. Артель открыто не приняла их сторону, но, обремененные большими семьями, сибирские мужики сочувствовали морячкам, они часто подавали сигнал тревоги или тайком предупреждали о готовящихся кознях блатных. Это у них друзья разжились вторым обрезом и старым двуствольным винчестером. Ребята, наверное, остались бы еще на год, тем более хорошая деньга шла, но близилась





амнистия, и они знали, что уголовники ждут подкрепления, готовы были взять любых мерзавцев в долю, чувствовали: уходит из-за моряков артель из-под контроля.

Вот с каким опытом жизни вернулся через пять лет Закир домой в Оренбург. За эти годы много воды утекло, изменился и Форштадт, поредела шпана, одни отсиживали долгие сроки в тех краях, где он добывал золото для страны, другие напоролись на нож в пьяной потасовке и успокоились навек, третьи угомонились, надорвав здоровье в тюрьмах и драках, а главное — потеряв влияние. Но что-то порочное, петушиное сидело в генах молодых форштадтцев, и много романтических легенд о давних похождениях ребят с родного Форштадта гуляло среди подраставших и находило в их сердцах жгучий отклик. Воровство, дерзкий грабеж, шантаж не привлекали молодых — изменилось время, а вот лихой кураж, отчаянное хулиганство по-прежнему почитались высоко. И за пять лет отсутствия в этой среде не потускнело имя Закира-рваного, широкого, открытого парня, новоявленного Робин Гуда с Форштадта.

Изнемогая от тяжелого труда на золотых приисках и в долгие бессонные ночи с винчестером в руках охраняя сон товарищей от уголовников, он меньше всего думал о своем авторитете в родном городе и в мыслях не видел себя, как Осман-турок, в окружении свиты и телохранителей. Нет, такая перспектива его не прельщала. И в Сибирь-то поехал потому, что думал о нормальной жизни, хотел скопить денег, чтобы купить или построить дом и зажечь своей семьей.

Нет, он не хотел, чтобы Нора носила ему передачи в тюрьму, ждала от него писем. Он помнит, как лет десять назад, — он еще учился в школе, — повесилась красавица Альфия с соседней улицы. Кто-то в очереди за шифоном зло крикнул, что она жена вора, и не место ей среди честных людей. По юности ее околдовал романтический образ Шамиля — по прозвищу Аркан, предшественника Османа-турка на Форштадте. Он казался ей таким всемогущим, а этот всемогущий не дождал даже до тридцати, да и треть отдал тюрьмам да лагерям. Нет, так бездарно сжечь свою жизнь Закир не собирался. Он мечтал иметь свой дом, жену, детей; женой он представлял только Нору, которая часто снилась ему.



Закир был признателен судьбе за то, что вовремя, пока не засосала тряпина блатной жизни, не наделал непоправимых дел, что увидел истинное лицо Османа в тот вечер в «Тополях», представив и свой возможный конец. А ведь Турок стоял на самой высшей ступени уголовного мира, вор в законе, коих в стране всегда было наперечет. Нет, Закир никогда не хотел жить за счет страха людей и пить, и угощать друзей считал допустимым только за свои кровные, в этом никто бы его не переубедил. Ворованное, хоть и у вора, не доставило бы ему радости, тут у него сомнений не было.

За два года Нора из школьницы превратилась в красивую, обаятельную девушку. В институт она не поступила, — как и Закир в юности, спешивший утвердиться среди шпаны, — торопилась реализовать себя, свои способности в моде. Непонятно, откуда в этом провинциальном захолустье сформировался у нее незаурядный вкус, чутье, интуиция. И руки оказались золотыми, да и усердием бог не обидел, что для модистки очень важно. Планов поскорее выскочить замуж не строила, хотя поклонники не давали ей прохода.

«Стоит мне только захотеть...» — беспечно говорила она, озорно щуря глаза, своим менее удачливым подружкам. И те знали, что это не пустые слова.

Правились Норе больше парни образованные, студенты, молодые инженеры и, конечно, ребята из окружения Раушенбаха, джазмены, — эти стилисты постоянно отирались в «Люксе»: что-то шили, подгоняли, укорачивали. О морячке, влюбившемся в нее на новогоднем балу, она забыла, хотя и получила от него несколько невнятных писем, пахнущих океаном, на которые и не подумала отвечать. Передавали дружки Закира ей и приветы от него, помнится, даже угрожали, говорили, поменьше крути хвостом, не пыли: вот вернется Рваный, он быстро твоим узкоштаным ухажерам даст окорот, но она по молодости ничего не принимала всерьез.

И вот Закир вернулся. То, что у парня серьезные намерения, Нора почувствовала сразу, ощутила и его влияние — куда-то вмиг подевались многочисленные ухажеры. Нет, вокруг нее не образовался вакуум, как на том новогоднем балу, когда Ахметшин заявился с Севера окончательно и подарил прекрасную черную бурку. Ее по-прежнему приглашали танцевать,



но что-то изменилось в отношении к ней — погасли глаза у парней, что ли, а ей нравилось, когда на нее смотрели жадно, не скрывая восхищения, говорили комплименты.

Однажды в перерыве между танцами она пожаловалась Раушенбаху, руководителю оркестра, на свое нелепое положение незамужней вдовы, на что смешливый, ироничный Марик ответил, не задумываясь:

— Нора, милая, что ты хочешь? На тебе же тавро: «Девушка Закира». Ты как любимая наложница шаха — за чрезмерное внимание к твоей особе вмиг сделают евнухом, с Закиром шутки плохи. Хотя к нам, музыкантам, он относится прекрасно, отчасти, наверное, из-за тебя. И потом, мы каждый вечер играем его любимое «Аргентинское танго», которое, как вижу, он танцует только с тобой. Честно скажу, вы неплохо смотрите. Так что смирись, девочка, если не хочешь неприятностей... — и Марик поспешил к эстраде, где его уже ждали.

У Норы к Закиру было двойственное отношение: ей нравилось, когда он, особенно в ненастную погоду, подъезжал к салону на черном семиместном ЗИМе. Нырря в теплое нутро лакированной машины, она ловила завистливые взгляды своих сотрудниц из ателье и даже просто проходящих мимо женщин. Нравилось ощущать на себе внимательный взгляд парня, — он всегда был готов прийти на выручку, поддержать, успокоить. Нравилась та независимость, с которой она могла держаться в молодежной среде, где во все времена самоутверждение давалось нелегко. Понимала, что многим обязана своему неожиданному положению — «девушка Закира». Она удивилась точному и хлесткому определению Раушенбаха — тавро Закира, потому что ощущала не только тавро на лбу, но и путы на ногах. Ее свободолюбивая душа противилась насилию, она пыталась вырваться из крепких сетей навязанного внимания, просто из чувства протеста, ведь ей исполнилось только девятнадцать!

Не нравилось ей, когда он лихо проносился мимо ее дома на трофейном мотоцикле БМВ, купленном на шальные северные деньги у отставного интенданта в чинах. Он позволял себе и в «Тополя» приезжать на вонючем драндулете (так называла она приобретение Закира) и даже предлагал ей прокатиться!

Ну, прекрасно сохранившийся БМВ еще куда ни шло, хотя она терпеть не могла ни мотоциклов, ни мотоциклистов...



Бесило ее другое: умудрялся Закир и с гитарой приходить в парк. Тогда он почти не появлялся на танцплощадке, играл где-нибудь на боковой аллее для собравшихся дружков. В такие вечера она просто ненавидела его, гитару, а компанию возле него иначе как шпаной не называла, хотя там собирались разные люди. Играл Закир хорошо, и голос у парня был приятный. Так отчего же такое неприятие, доходящее до ненависти? Время было такое, когда гитару иначе, как пошлым инструментом, атрибутом мещанства не называли. Играет на гитаре... Характеристика убивала наповал. Теперь-то это смешно слышать, но тогда...

С каким бы наслаждением Нора расколотила эту ненавистную гитару! Ей казалось, что он позорит ее перед всем светом, не меньше. Игра на гитаре, по ее тогдашним понятиям, причисляла Закира к парням из подворотни, отбрасывала к категории людей, с которыми даже общаться зазорно, не то чтобы любить такого. Если бы она могла предположить, что всего через пять-шесть лет этот инструмент ожидает такой невиданный взлет! Гитары просто сметут с эстрады всю медь оркестров. А тогда ей так хотелось, чтобы Ахметшин, как Раушенбах, солировал на саксофоне или играл, как Глеб Кастоян, на трубе, на худой конец, стучал на сверкающих перламутром ударных, как Талгат Ямбулатов. Говорила она ему об этом, предлагала переучиться, ведь Марик уверял, что у него отменный слух. Куда там, упрямый, как бык, он отвечал:

— Ты не понимаешь души гитары.

— Душа у гитары? У пошлого, мещанского инструмента? — зло смеялась она, понимая, что не в силах его переубедить.

А рваный шрам на щеке? В минуты плохого настроения она только его и видела.

А как он одевался? Позор, да и только, почти та же ситуация, что и с гитарой. Конечно, после ее уговоров, даже требований он изменил кое-что в своем гардеробе и теперь разительно отличался от закадычных форштадтских дружков, но до круга Раушенбаха, ее друзей, ему было далеко. Насчет тельняшки Закир и слушать не хотел, хотя, подходя к ней, застегивал теперь пуговицу рубашки повыше, а когда она уж особенно сердилась, демонстративно добирался до самой верхней и задушенным голосом спрашивал: «Довольна?»



В общем, воевали они между собой, как на золотых приисках, только без винчестера.

Нет, не таким видела Нора своего избранника в мечтах, не таким...

Но однажды все в тех же «Тополях» Раушенбах познакомил ее с двумя москвичами, прибывшими к ним на преддипломную практику. В те годы великая, усиливающаяся и посейчас с каждым днем миграция еще не началась, знаменитый оренбургский газ только предстояло найти, тогда даже съездить в отпуск куда-то считалось большим событием, и появление молодых людей из столицы не осталось без внимания. Теми москвичами оказались Пулат Махмудов со своим неразлучным другом Саней Кондратовым.

Саня, шустрый арбатский парень, в первый же вечер завязал знакомство с ребятами из оркестра, интерес их объединял один — музыка. Саня рассказал местным джазменам об оркестре Олега Лундстрема (о нем в ту пору ходили невероятные легенды и слухи) и Александра Цфасмана. О ленинградской школе джаза, где царствовал тогда Вайнштейн и уже пробовал силы джазовый аранжировщик Кальварский. В общем, Кондратов знал, о чем говорил, — в институте и у себя на Арбате он слыл знатоком и фанатиком джаза, имел неплохую фонотеку, которой пообещал поделиться с новыми друзьями. Получалось так, что с первого дня они неожиданно стали заметными парнями в «Тополях».

Скорее всего, приезд двух практикантов, будущих мостостроителей, никак не отразился бы на судьбе Норы, если бы Закир в те же дни не был занаряжен в подшефный колхоз на сенокос.

В парке Раушенбах познакомил их мимолетно, когда расходились по домам после танцев, они, пожалуй, и не разглядели друг друга как следует, но в очередное воскресенье Марик отмечал день рождения — двадцатипятилетие. «Крупный юбилей!» — как шутил кумир оренбургских поклонников джаза. По такому случаю, чтобы не отменять в парке танцы, пригласили в «Тополя» на вечер оркестр из пединститута. Многим хотелось попасть в компанию, где развлекалась «золотая молодежь» — были в этом кругу свои поэты, художники, певцы, актеры, не говоря уже о музыкантах, короче, молодая



интеллигенция, но пропуском сюда все же служила любовь к джазу. За столом на дне рождения будущие инженеры очутились рядом с Норой и ее подружкой. В конце вечера гостеприимный хозяин заметил, что москвичам приглянулись соседки, и, отозвав в сторону, рассказал о странном положении Норы и о Закире-рваном и советовал особенно не углублять отношений.

Может, поздновато предупредил учтивый Марик, а скорее все-таки судьба — успела пробежать за долгий вечер искра между молодыми. Да и как ей не пробежать, если девушки юны, очаровательны, по-провинциальному милы, восторженны. Профессия инженера тогда еще не склонялась сатириками и тещами и не вызывала ироническую улыбку у прекрасного пола, скорее наоборот. Фантастика? Почему же! Тогда в Оренбурге можно было рассчитывать на успех, если носил имя Миша, а чуть позже — Жора, ну, не успех, так фору перед другими парнями — уж точно. Такое вот удивительное время: гитара — пошлый мещанский инструмент, Машенька или Даша — провинциально, скучно, а Миша или Жора — просто мечта, инженер — не смешно, скорее благородно. Уже оркестры играли Дюка Эллингтона и Гленна Миллера, уже читали Бунина и Есенина, Хемингуэя и Ремарка, а в закутке летнего буфета, в двух шагах от эстрады, на которой зажигал сердца молодых Раушенбах, пил пиво хозяин Форштадта Осман-турок.

Ребята приняли к сведению сказанное Мариком. Кондратов знал, как жестоки провинциальные блатные, имелись примеры из мира замоскворецкой шпаны, и особенно с Ордынки, — был там среди них и свой Рваный, только звали его Шамиль. Но провожать подружек все же пошли, неудобно было отступить сразу, ведь веселились, танцевали всю ночь вместе, поняли бы девушки, отчего они вдруг вильнули в сторону, а кому хочется выглядеть трусами.

В тот вечер особенно в ударе был Саня, приударивший за подружкой Норы, Сталиной, — насчет нее Марик запретов не высказывал. Пулат подозревал, что его друг, склонный к лидерству повсюду, и тут, в компании, хотел очаровать всех, и не только Сталину, больше всего он хотел подавить своей эрудицией, знанием, столичным лоском, что ли, мужское



окружение Раушенбаха. К концу вечера он видел, что Саня достиг своего, ему с восторгом внимал не только прекрасный пол, а уж Сталина не отрывала от него восхищенных глаз, ловила каждое его слово.

Через день они вновь встретились с девушками в «Тополях», впрочем, подружки подошли сами, когда они в перерыве беседовали с оркестрантами. Видя, что Нора увлекает Пулата на объявленный дамский танец, Марик погрозил ей пальцем с эстрады, на что девушка шутя ответила:

— Мне что, теперь из-за твоего дружка пообщаться с интересными людьми нельзя?

Чувствовалось, что между Саней и Сталиной намечается бурный роман, она ни на минуту не выпускала его руки, и такое внимание красивой девушки льстило Кондратову.

С Норой было сложнее. Не только дух Закира-рваного, но и его имя витало между ними, все шутя, осторожненько, без особого нажима, но будто с лезвием бритвы, прохаживались по адресу Норы и Пулата.

— Не бойся, не дам в обиду, — подыгрывала Нора, слегка прижимаясь к Пулату.

— С именем такой красавицы на устах и умереть не жалко, — парировал Пулат и видел, как краснеют щеки девушки.

В тот вечер чуть не произошла стычка с друзьями Закира. В какой-то момент, когда девушки, заметив в толпе своих подруг, отлучились на несколько минут в другой конец громадной танцплощадки, группа парней отеснила студентов к ограде. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в разгар выяснения отношений не объявился Раушенбах.

Марик отвел кого надо в сторону и объяснил, что это его друзья, познакомились они с девушками у него на дне рождения, и, мол, о Закире они в курсе, предупреждены, здесь просто чисто приятельские, интеллигентные связи со столичными ребятами. Дружки знали, что через Нору Закир общается с джазменами, особенно с Раушенбахом, поэтому оставили практикантов в покое, но, уходя, все же пригрозили:

— Смотри, Марик, если что, перед Закиром сам ответ держать будешь, а за Нору он и брата родного не пощадит.

В тот вечер, возвращаясь к себе на Аренду, где они снимали комнату, Пулат сказал неожиданно:



— Знаешь, Саня, я очень понимаю Закира-рваного, чей дух постоянно витает возле нас. Я бы тоже сделал все, что в моих силах, чтобы Нора не досталась другому.

— Ты что, дружище, влюбился? — спросил удивленно Кондратов.

— Может быть, но с той минуты, как нас предупредили, я держу себя в узде. Не то чтобы испугался — у нас в народе есть поверье: чужое не приносит счастья. В наших краях, бывает, кому-то невесту определяют чуть ли не с детства, и грех вступать между ними. Никто не поймет. И тут похожая ситуация. Нора же сама говорила, что он давно ее любит, еще с флота, и замуж предлагает.

— Ну что за отсталые взгляды, прямо особый вид толстовства — отступить от любимой, если она предназначена другому. По мне, за любовь драться, бороться надо, что, впрочем, и делает неведомый нам Закир.

— Наверное, логика в твоих словах есть, но ведь что-то мы впитываем с молоком матери, получаем по генетическому коду, — продолжал гнуть свое Пулат.

— А если бы Нора оказалась свободной, как Сталина? — нетерпеливо спросил Саня.

— Тогда совсем другое дело. Я бы не только, как ты, закрутил роман, а обязательно женился бы. Божественной красоты девушка, у меня голова кружится, когда она смотрит на меня, ничего подобного я до сих пор не испытывал...

— Плохи твои дела, Пулат. Если уж равнодушный азиат, как окрестили тебя блондинки нашего института, так заговорил про прекрасный пол...

— Наверное, — серьезно ответил Пулат. — И я решил не искушать судьбу. Неделю посижу по вечерам над дипломом, а ты развлекайся со Сталиной, а там, глядишь, вернется Закир-рванный и все встанет на свои места. Если будут интересоваться, куда я подевался, придумаешь что-нибудь...

Так они и порешили.

Наверное, история на том бы и закончилась, и сегодня Пулат не мучился бы, принимая на душу еще один грех, если бы через три дня Кондратов не рассказал о неожиданном ночном разговоре Сталине. Никаких целей он не преследовал, просто занесло, как обычно, не туда, случилось с ним такое, хотя





он взял со Сталины слово, что сказанное останется между ними. Куда там, разве можно удержать в себе тайну, да еще такую, что кто-то готов жениться на твоей лучшей подруге! Пожалуй, любая посчитала бы такой поступок преступлением и терзалась до конца своих дней. Но подобных тонкостей девичьего ума Кондратов не предполагал. Женщина может устоять перед многими самыми невероятными соблазнами, но перед предложением выйти замуж... Тут их словно подменяют — куда девается их осмотрительность, осторожность, взвешенность? И даже вскользь сделанное предложение или намек будят в них дремавшую доньше фантазию — какие они планы начинают строить, какие замки возводить, какие реки поворачивать вспять! Если бы человеку, опрометчиво сделавшему предложение, удалось как-нибудь заглянуть в прожекты, которым он невольно дал жизнь, он в ужасе бежал бы далеко и долго. И впредь вместо предложения протягивал бы брачный контракт, в котором четко и ясно излагались бы перспективы на ближайшие десять лет.

Что-то подобное произошло и с Норой, и ее сердце, до сих пор не принадлежавшее никому, без раздумий было отдано Пулату, и только ему. Не только у ее возлюбленного холодело в груди, когда она мягко, с придыханием говорила: «Пулат!..» У нее самой туманилось в голове, когда она произносила его имя, шептала в день сотни раз: «Пулат!..»

А какой она представляла их совместную жизнь! Прежде всего радовалась, что наконец-то покинет постылый Оренбург, Форштадт с его шпаной. Видела себя то в Москве, то в Ташкенте, то во Владивостоке, — Кондратов вскользь упоминал о возможных местах распределения. Но чаще представляла себя в Москве. Саня как-то обмолвился, что Пулата могут оставить на кафедре. Москва представлялась ей сплошным Домом моделей, вот уж где она, наверное, могла развернуться со своими фантазиями, каким бы знатным дамам и известным актрисам шила! Москва была для нее не пустым звуком, не чем-то далеким и чужеродным — у них в доме иногда говорили о столице, потому что дед, занимавшийся чайным делом, имел некогда особняк на Ордынке, потерянный в революцию. Она воображала себя в театрах Москвы в вечерних платьях необычайной красоты, видела себя на залитой



огнями и сияющей рекламами улице Горького, которую Пулат с Саней называли небрежно — Бродвеем. Представляла свой будущий дом, где она принимает гостей, друзей Пулата и его сослуживцев, и среди них Сталину с Саней. Что и говорить, были у подружек и такие планы. Да, это была совсем другая жизнь, иные перспективы и вершины — можно ли было об этом не мечтать?

Мысли Норы то и дело уносились к Пулату, она строила самые невероятные предположения, отчего он перестал ходить на танцы. Кондратов и тут напустил тумана — и подружки придумывали одну версию сентиментальнее другой, и во всех вариантах, очень похожих на киношные истории, хочешь не хочешь, счастьем благородных влюбленных мешал злодей, косивший сено в подшефном колхозе. Ей казалось, что дружки Закира застращали Пулата насмерть, да еще тайком, даже Кондратов не ведал. А о том, что они могут запугать кого угодно, и не только студента из Москвы, Нора, живя на Форштадте, прекрасно знала. От подобной версии она переходила к фантазиям, как безумно влюбленный Пулат, страстно мечтавший, чтобы она стала его женой, не может одолеть страх перед шпаной. Однажды на работе она представила, будто он, избитый хулиганами, лежит у себя на Аренде и, конечно, в таком виде не смеет показаться ей на глаза. От этой мрачной картины она едва не расплакалась, проклиная себя, что вовремя не могла предвидеть такого исхода событий.

В тот день она ушла с работы пораньше и побежала на базар: как бы ни унижал ее визит, она решила обязательно проведать Пулата. Ведь она считала во всем виноватой себя и больше не хотела полагаться на случай, решила, что пришла пора действовать, защищать свою любовь. Дома сварила курицу, напекла с помощью бабушки беляшей, наложила в банки домашних солений и варений, даже после долгих раздумий достала из буфета бутылку вина и вечером вместо танцев отправилась на Аренду. Она настолько уверилась в своих предположениях, испытывала такое небывалое волнение, такую искреннюю и глубокую печаль, смешанную с жалостью и нежностью к своему загнанному в угол возлюбленному, что, когда увидела Пулата живым и здоровым, невольно заплакала и долго-долго не могла успокоиться.



Пуллат принялся успокаивать внезапную и желанную гостью, он гладил ее волнистые шелковые волосы, упавшие на тонкие плечи, пытался вытереть слезы. Обнимая содрогающееся от рыданий тело, пьянел от ее близости и чуть не плакал сам, растроганный ее заботой, от жалости к ней и к себе. Успокоившись, улыбаясь сквозь слезы, Нора рассказала, что пережила за сегодняшний день и каким она боялась его застать.

Пуллат, не избалованный девичьим вниманием и оказавшийся в такой ситуации впервые, и сам волновался не меньше Норы. Продолжая обнимать, шептал какие-то горячие слова, давно вызревшие в его душе, наверное, это и было признанием, которое так жаждала услышать Нора.

Поздно вечером вернувшийся с танцев Кондратов застал молодых людей мирно беседующими на веранде за хозяйским самоваром и по глазам сразу понял, что между ними произошло что-то важное. Так оно и было, они успели обменяться признаниями в любви, клятвами в верности и теперь не сомневались, что в жизни их ждет только счастье. Они и о Закире не думали, по крайней мере, в тот вечер, Нора сказала, что все берет на себя.

Закир должен был объявиться в городе со дня на день, поступили к Норе свежие сведения. Расставаясь, она попросила Пуллата не приходить в «Тополя», пока не уладит отношения с Закиром, ей не хотелось риска, от одних предчувствий извелась, изревелась. Нет, теперь, когда все, казалось, решено, дразнить Рваного не следовало, в гневе тот становился непредсказуем, видела она однажды, как он бушевал в парке.

Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — сказано о женщине, и нет для нее преград, нет страха ни перед чем, ни перед кем, если в сердце ее зажегся огонь любви. Не могла Нора и часа ждать Закира, не хотела томить свою душу, созревшую для любви, попросила друзей его, чтобы немедленно вернулся он в город, и на другой вечер Ахметшин объявился в «Тополях». Обрадованная, кинулась она ему навстречу и тут же увела с площадки. Три часа говорили они в парке и до утра у ее дома на Форштадте. Все было: слезы, мольбы, унижения, уговоры, угрозы, шепот и крик, и даже поцелуи.

«Если не судьба нам быть вместе, стань братом моим», — просила она, упав на колени, и, как брата, обещала любить его



всю жизнь. Перед таким напором, страстной мольбой, любовью, готовой на любые жертвы, так знакомой самому Закиру, вряд ли бы кто устоял — и под утро сломленный Ахметшин поклялся девушке быть братом и, как брат, обещал беречь ее.

Через день глубокой ночью на Аренде в окно веранды, где жили практиканты, громко постучали. Поздними гостями оказались Ахметшин и Раушенбах, чувствовалось, что они уже где-то долго и основательно беседовали. По виноватому лицу Марика видно было, что пришел он сюда отнюдь не добровольно. Гости, видимо, разгорячились не только от крутого разговора, и сейчас каждый из них держал в руках по две бутылки водки.

— Пришел познакомиться с человеком, влюбленным в мою сестру, — сказал Закир, войдя, и поставил на стол бутылки.

Марик за его спиной подавал какие-то знаки, смысл жестов и ужимок означал одно — не бойтесь.

Закир, словно чувствуя, что творится у него за спиной, вдруг сказал устало:

— Да, да, не бойтесь. Любовь, оказывается, кулаками не удержишь. Давайте стаканы и поговорим о любви. Марик уверял, что вы очень образованные и интеллигентные парни...

Какая неожиданная выпала ночь, не всякому дано и за долгую жизнь пережить такое! Мятущаяся душа Закира жаждала исповеди, вроде искала место и время — и отыскала его вдруг на веранде старого купеческого дома на Аренде.

Исповедь — шла ли речь о горящем в ночи балке на Севере, или об Османе-турке, предлагавшем, чтобы его преемником на Форштадте стал Закир, или о чернобурке, что подарил таежный охотник, зная, что невесту спасителя зовут Нора, или о тесном кубрике в океане, где над головой отчаянного матроса по кличке «Скорцени» висела фотография их общей знакомой, или о гитаре, которая вызывала раздражение той же девушки, — все было гимном большой безответной любви.

Никакой не дипломат, Рваный ни разу напрямую не обратился к Пулату, но все адресовалось ему, человек отрывал от сердца самое дорогое — любимую, вынужденный из-за клятвы называть ее сестрой.

Ночь пролетела мгновением, и бутылки оказались пусты, и никого водка не брала — сила слова, сила чувства оказались



сильнее вина. Только сентиментальный Марик в какие-то минуты, не таясь, вытирал повлажневшие глаза и, нервно вскакивая, поднимал стакан и провозглашал тост, многократно повторяемый в тот вечер:

— За любовь!

— ... За любовь... — устало повторяет Пулат Муминович, вглядываясь в темноту сада, словно пытаюсь увидеть там прошлое.

Раушенбах со стаканом в руке так ясно стоит перед глазами, словно это случилось вчера, а ведь прошло уже тридцать лет...

«Неужели генетически во мне заложено предательство?» — ужасается вдруг Махмудов, подумав об отце, ведь его расстреляли за предательство, за измену, как рассказывала Инкилоб Рахимовна.

Он перебирает в памяти все, что знает об отце, и быстро успокаивается: о генетике не может быть и речи, отца-то как раз расстреляли за веру, за убеждения, но другим идеям и идеалам, новой власти он не присягал на верность, чтобы считать свой поступок предательством, а Саиду Алимхану наверняка давал клятву на Коране.

Нет, конечно, Пулат не мог так легко найти оправдание своим поступкам, тем более сегодня.

«Предатель... — повторяет он горестно второй раз за вечер. — Живешь себе спокойно, спишь, вершишь судьбами людей, точнее, масс, потому что, выходит, людей и не видел... не видел...»

И вдруг откуда-то выплывает в сознании редко встречающееся ныне в обиходе слово — благородство, словно выдернул лист из Красной книги на букву «Б». Утекло, словно вода в решете, ушло в песок благородство из нашей жизни, и не спешат его отыскать, восстановить в правах, так удобнее всем, и гонимым, и гонителям, ибо, имея благородство в душе, нельзя быть ни тем, ни другим.

Не случайно, наверное, утерянное слово сверлит его мозг, иные слова обладают магией обретать зримые очертания, проявляться как на фотографии, воплощаться в конкретный образ. Всю свою сознательную жизнь Пулат Муминович, кажется,



провел среди достойных и уважаемых людей, при званиях, должностях и орденах, но сегодня ко многим их титулам и наградам он вряд ли бы добавил редко употребляемый эпитет — благородный, язык не поворачивался и душа смущалась. Если бы ему выпало право отметить кого-то высоким званием истинного благородства, то ими, без сомнения, оказались бы Инкилоб Рахимовна и ее товарищи в специнтернате, даже, по-своему, Закир-рваный, парень, выросший на ложной блатной романтике Форштадта. Для них понятия «клятва», «долг», «честь», «слово», «достоинство» означали только то, что означают, они принимали их без скидок и оговорок.

— Бла-го-род-ный, — произнес по слогам Пулат и отметил, что даже на слух слово звучит красиво, гордо — благородный! Это значит — благой род. И вдруг понял, что, предложи сегодня кто-нибудь обменять все его звания и награды на эту приставку к своему имени, не дающую ни льгот, ни особых прав и положения, он не стал бы раздумывать.

«Ну, положим, обменял бы звания, должность не пожалел, стал бы я от этого благороднее?» — возник новый вопрос, и рассуждать дальше не было смысла, вспомнилось ему библейское — единожды солгавший...

О каком благородстве может идти речь, если он предал свою первую любовь, Нору, — от этого не уйти, не отмахнуться... А какие письма писал ей из Москвы!

А как назвать его поступок по отношению к Закиру, ведь, если честно, он сломал и ему жизнь и, пусть косвенно, повинен в его гибели.

Да и за судьбу Норы он в ответе, если уж по-благородному.

Он уже работал инструктором в райкоме, еще не был женат, — Зухра оканчивала в Москве институт, — когда неожиданно получил приглашение на свадьбу Кондратова. Женился его лучший друг, с которым они прожили рядом восемь лет, делили пополам и радости, и горести; Кондратов сыграл в его судьбе немалую роль, благодаря ему он стал инженером. Саня женился на Сталине, — шутя начатый роман перерос в серьезный брак.

Пулат, конечно, сразу догадался, что встретит на свадьбе и Нору, — старый друг, казалось, давал ему еще один шанс поступить благородно, хотя Саня знал Зухру...



Нет, не воспользовался последним шансом и на свадьбу не поехал, отделался телеграммой, ссылаясь на занятость, нездоровье, — а попросту смалодушничал, струсил. По высоким требованиям суда совести выходит — предал и друга молодости. Да, именно так, потому что два года спустя он получил еще одну весточку от Кондратова, последнюю.

Впрочем, письмо адресовалось самому Сане, и написала его Сталина из Оренбурга, где она зимовала с маленьким сынишкой, а Кондратов строил на Ангаре свой третий мост, сделавший его знаменитым.

Хотя Пулат в письме не упоминался, больше всего оно касалось его.

Рассказывала Сталина своему мужу, что Осман-турок на свободе принялся за старое, вновь сколотил на Форштадте банду из молодых ребят и старых дружков. Однажды Осман разработал план ограбления банка в районе, и ему понадобилась машина. Лучше всего для операции подходило такси, и он обратился к Закиру. Ахметшин отказался, тогда Турок с дружками предложил, мол, давай свяжем тебя, а машину отберем, а после налета бросим в городе; и новый вариант Закир отверг, хотя пообещали ему за это десять тысяч.

Налет отложить не могли, наводчик из района дал знать, что деньги в банк поступили, и банда спешила, не хотела упускать куш. Не сговорившись с Закиром, Осман, уходя, зло бросил, что придется добывать машину силой.

Закиру и без пояснения было ясно, что они обязательно совершат угон такси и, возможно, кто-то из его товарищей поплатится жизнью. Догнав Османа, Закир сказал:

— Если сегодня ночью погибнет таксист, считай, что и ты не жилец на этом свете...

— Успокойся, Рваный, зачем нам мокрое дело? — ответил нервно Турок. — Иди, работай да ментам не настучи, слишком уж праведно жить хочешь... благородно...

— Живу как могу, а что сказал — попомни, я тоже слова на ветер не бросаю, — и, повернувшись, пошел к машине.

Не успел он сделать и двух шагов, как Осман по-кошачьи мягко прыгнул вслед и ударил ножом в спину, под лопатку, в самое сердце.

Через час случайно на Форштадте машина Закира с бандитами попала на глаза Норе, возвращавшейся из кино, и она,



почуввав неладное, побежала к участковому. По тревоге подняли всю милицию в области, знали, что может натворить Османтурок, и на рассвете на въезде в город взяли их с добычей.

Хоронил Закира весь Оренбург, оба городских таксопарка в полном составе с начищенными, надраенными машинами и включенными сиренами вышли проводить в последний путь своего товарища.

Сталина писала, как убивалась Нора на могиле Закира, у них уже налаживались отношения, и, похоже, дело шло к свадьбе.

Тяжелое, грустное письмо, но в конце ждало его еще одно тягостное сообщение.

Писала Сталина, что после смерти Закира Нора не находила себе покоя, говорила, что этот проклятый город украл у нее двух любимых и вряд ли она когда-нибудь теперь будет счастливой... К сороковинам, с разрешения матери Закира, Нора заказала гранитную плиту на могилу с надписью: «Прости, любимый... Нора». И в сороковинах принимала участие словно жена, а на другой день... пропала, не оставила ни письма, ни записки, и вот уже который месяц ее ищут...

Письмо Сталины Кондратов никак не комментировал, не было в нем ни «здравствуй», ни «прощай», послание само говорило за себя.

«От предательства всю жизнь идут круги...» — Пулат сегодня мог засвидетельствовать этот факт. Наверное, отправляя ему письмо своей жены, Кондратов ставил крест на их дружбе, хоронил ее. Больше они никогда не виделись и в переписке не состояли, хотя Пулат мог легко отыскать в Москве своего армейского и студенческого друга, — Кондратов был знаменит, имя его встречалось в прессе. Но что бы он сказал другу — что жизнь его сплошная цепь маленьких предательств?

«Нет, как ни исхитряйся, благородство — это не про нас», — горько признается себе Махмудов, и от этого признания становится зябко на душе.

Женившись на Зухре, он пошел на душевный компромисс, уверяя себя и окружающих, что любит ее. Кого обманывал — ведь в сердце жила Нора, к ней шли полные нежности письма. А разве любовь ставят на весы, и важно ли, с высшим образованием любимая или просто талантливая модистка? А если





быть еще откровеннее, не образование склонило чашу весов в пользу Зухры, в конце концов, Норе не было и двадцати — выучилась бы, если только это стало препятствием для любви... Перетянуло другое — тяжелая волосатая рука отца Зухры, крупного партийного работника. О нем, о его щедротах постоянно говорило землячество, к которому Пулат тянулся в Москве.

Зухра, зная о его привязанности в Оренбурге, пускала грозное оружие в ход тонко и осторожно, боялась перегнуть палку, тогда еще откровенно не покупали женихов, — и в конце концов добилась своего.

Отец Зухры и поспособствовал тому, чтобы жениха дочери взяли в райком — и вакансии в промышленном отделе дожидаться не стал, знал, пока он жив и в кресле, должен сделать зятя секретарем райкома. И своего добился, да к тому же зять оказался человеком толковым, грамотным и выгодно выделялся молодостью.

— Теперь ты человек номенклатуры, сидишь в обойме на всю жизнь, — поучал высокопоставленный тесть молодого инструктора райкома. — А вся твоя блажь с мостами, строительством — ерунда! Ну, станешь управляющим трестом, это высшее, чего может достичь практикующий строитель, а не функционер от строительства, и что? Вызовет тебя такой же мальчишка, как ты сегодня, инструктор райкома, и, даже не предложив сесть, хотя ты вдвое старше его, всыплет по первое число, а всыпать всегда найдется за что. Карабкайся вверх по партийной линии, вот у кого власть была, есть и будет. Инженер, хозяйственник, ученый, писатель, артист — все это шатко, зыбко, без надежды — ценны только кадры номенклатуры.

Тесть умер рано, как и Зухра, от рака, видимо, у них в роду это наследственное. А за конформизм отца в будущем расплатятся его сыновья. Если бы власть имущий отец Зухры не ушел из жизни скоропостижно, Пулат наверняка уже занимал бы кресло в столице республики и присутствовал на том самом открытии музея, чем, вероятно, еще больше огорчил бы старую большевичку. Ведь не стал бы он избегать встречи со своей учительницей истории Данияровой...

Мысли скачут от одного события к другому, от лица к лицу, смешалось время, пространство, люди: Москва, Кунцево,



институт, солдатские казармы, Красная площадь, Мавзолей, похороны Сталина, Закир-рваный за рулем черного ЗИМа, краснокирпичный двухэтажный дом бывшего чаоторговца на Форштадте, джаз в «Тополях», денди Раушенбах, веранда особняка на Аренде, Оренбург, где он проходил преддипломную практику, Нора, меломан Саня Кондратов и Сталина, землячество в Москве в конце пятидесятых, годы в Кокандском детдоме, Инкилоб Рахимовна и ее антипод Ахрор Иноятович Иноятов — отец Зухры, неожиданно вторгшийся в его судьбу, мост через Карасу, почему-то постоянно обрушивающийся во сне, гориллоподобный сосед — начальник милиции Халтаев, пытающийся контролировать даже ход его мыслей, — он и сегодня, среди ночи, время от времени ощущает его присутствие рядом; открытие филиала музея Ленина в Ташкенте, где печальный взгляд Данияровой по-иному высветил жизнь самого Пулата Муминовича; жемчужное ожерелье из Константинополя, секретарь обкома Тилляходжаев, невзлюбивший Миассар; видит он и Раимбаева, расстающегося с тайно нажитым миллионом, и почему-то в свите с фальшивым полковником — Халтаев в лейтенантских погонах; и в тесном бостоновом костюме Османтурок, которого давно нет в живых, — все сплелось, скрутилось в разношерстный тугой клубок, и этот пестрый клубок — его жизнь...

## ЧАСТЬ II

*Хлопковый Наполеон. Ахалтекинец для аксайского хана.*

*Золото эмира бухарского. Докторская ко дню рождения.*

*Молитва начальника ОБХСС.*

*Партбилет с доставкой на дом.*

*Человек, похожий на дуче.*

Мысли от давнего торжества в Ташкенте неожиданно, как и все в этот вечер, перескакивают на другое мероприятие, тоже проведенное с размахом, ну, конечно, не столичным, но на уровне района, не менее богатое и крикливое, чем в иных местах. Тогда дух соревнования просто захлестнул страну — кто роскошнее да громче что-нибудь отметит — девятибальной



волной катилась по державе эстафета празднеств и юбилеев: мол, «знай наших» или «и мы не лыком шиты», если не делом, так юбилеем прогремим.

Вспоминает Махмудов собственное пятидесятилетие, — это его юбилей так шумно отмечали в районе. Нет, он лично вроде ни к чему рук не прикладывал, не организовывал, но аппарат расстарался, даже переусердствовал, хотел угодить, — опять же, как и повсюду: какие стандарты на вершине, такие и у подножия. Юбилейной комиссией, конечно же, командовал Халтаев. В областной газете вышла огромная статья с большой, хорошо отретушированной фотографией, а уж районная вся — от передовицы до последнего абзаца — посвящалась ему, и красавец мост через Карасу занимал полстраницы. Неловко было читать о своих добродетельствах.

— Сахару многовато, — сказал он редактору по телефону, когда тот прорвался через секретаршу поприветствовать лично.

Но старый газетный волк, знавший, что почем, не растерялся:

— Зря обижаете, несправедливо, — не каждого в день пятидесятилетия орденом Ленина награждают.

«А ведь и впрямь, не всякому такая высокая награда выпадает», — подумал Махмудов после разговора, и мысль о том, что статьи сильно подкрашены в розовый цвет, улетучилась сама собой.

Вспоминается ему и пиршество после официальной части в Доме культуры — гости перекочевали сюда, во двор. Пришлось разобрать айван, на котором он сейчас сидит, и даже спилить два дерева, чему очень противилась жена, да разве удержишь Халтаева, он хозяйничал как в своем саду.

Миассар, не скрывая неприязни, сказала мужу в тот день:

— А кому ж и быть главным организатором, как не Халтаеву? У него чуть ли не каждый месяц подобное мероприятие. Кажется, он только день рождения своей последней «Волги» не справлял. Хочет прослыть добрым и хлебосольным хозяином. Да ведь люди не глупее его, знают, для чего он организует у себя эти пиры, — чтобы легально, не таясь, ссылаясь на народные обычаи, собирать подарки, по существу, взятки и дань. Чего только не несут и не везут! И он сам, лично, встречает гостей у ворот, чтобы знать, кто что принес.



Пулат тогда понял: Миассар опасается, чтобы народ не подумал так и о ее муже, и категорически наказал Халтаеву, чтоб ничего не несли. Халтаев, конечно, пустил слух, что нужно прийти с пустыми руками, но с открытым сердцем; однако же, зная привычки начальника милиции, многие расценили это как команду удвоить, утроить ценность подарка. Халтаев, не желая огорчать щепетильного хозяина, но ведая о нравах края, которые сам и насаждал, придумал хитроумный ход. Гости проходили к юбиляру через соседский двор, освободившись там от щекотливого бремени подарка, такой порядок вещей всем казался логичным, — зачем хозяину лишние хлопоты?

Нет, вспоминается ему юбилей, наверное, все-таки не из-за грандиозного пиршества, где жарились целыми тушами бараны, подавали плов из перепелок, шашлык из сомятины, дичь, отстрелянную в горах, форель, доставленную из соседнего прудового хозяйства... И не потому, что в домашнем концерте на все лады славили юбиляра популярные певцы и музыканты и даже две известные танцовщицы из Ташкента, как бы случайно оказавшиеся в районе... И не из-за того, что восхваляли в стихах и прозе, а скульптор из Заркента, специализирующийся исключительно на образах выдающихся людей области, торжественно преподнес ему гипсовый бюст под номером 137 и объявил во всеулышание: данное произведение со следующего месяца будет представлено на художественной выставке в столице республики для всенародного обозрения. Смущенно запнувшись — или умело выдержав паузу, — ваятель добавил, что вернисаж посещают и зарубежные гости. Последнее сообщение почему-то встретили громом аплодисментов. Непонятно, что имел в виду автор бюста в натуральную величину и что подумали обрадованные гости, может, решили, что, имея в районе подобную орденоносную натуру, можно удивить весь свет?

Нет, вспоминал Махмудов сегодня юбилей по иному случаю...

Утром в воскресенье, когда он пребывал в своем домашнем кабинете — разглядывал лежащий на ладони орден Ленина, сравнивая его с тем, что уже красовался на бюсте, но почему-то превышал в размерах подлинную награду раза в три и оттого казался фальшивым, — раздался робкий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, на пороге появился садовник Хамракул-ака



и, не проронив ни слова, упал на колени перед сидящим в кресле орденоносцем. Ошеломленный этой сценой хозяин дома вскочил, машинально отодвигая кресло и пытаясь выйти на свободное пространство комнаты, — старик как бы запер его в углу. Живописная, видно, была картина: сановитый, вальяжный Махмудов в новой шелковой пижамной паре с орденом Ленина в руке, прямо над ним, на книжном шкафу, его бюст в натуральную величину и рядом — коленапреклоненный старец в живописном тюрбане.

«Утро хана», — так, наверное, назвал бы композицию скульптор из Заркента, если бы обладал достаточной фантазией.

Хозяин все-таки вырвался из заточения, хотя старик хватал его за ноги. Освободившись, Пулат Муминович попытался поднять садовника с ковра, но это оказалось делом не простым.

— Умоляю выслушать... — просил Хамракул-ака, чувствуя, что юбиляр собирается выскочить за дверь или позвать кого-нибудь на помощь, — Халтаев как раз руководил в саду разборкой вчерашних праздничных сооружений.

— Только, если встанете и займете кресло, — сказал твердо Хозяин, оправившись от неожиданности.

Старик проворно поднялся с ковра и, боясь, что юбиляра могут вдруг отвлечь находящиеся во дворе люди или телефон, торопливо заговорил:

— Прошу... Спасите во имя Аллаха моего сына! Он на базе райпотребсоюза кладовщиком работает... Рахматулла зовут... Вы его видели, у него как раз самый большой склад, где начальство дефицитом отоваривается. Недостача крупная, но мы погасим долг, только бы закрыли дело...

— Это компетенция суда, прокуратуры, ОБХСС, милиции, я не могу вмешиваться в их дела. Разве вы слышали, Хамракул-ака, чтобы я когда-нибудь выгораживал растратчиков и преступников? — жестко ответил Хозяин и хотел пройти к двери, считая, что разговор окончен; но старик неожиданно ловко опередил его, загородив дорогу.

— Вы достойный человек, из благородного рода. Вы хозяин всего в округе, словно эмир, — как вы скажете, так и будет. Я ведь прожил большую жизнь, знаю: ваше слово — выше закона! А вот и от нашей семьи подарок по случаю праздника



в вашем доме, возьмите, это от души, если не вам, вашим детям сгодится... — И садовник достал неведомо откуда, протянул небольшой кожаный мешочек, стараясь вложить его в руку Хозяина.

Пулат Муминович резко отдернул руку, мешочек выпал из дрожащих пальцев старика, и на ковер высыпались царские золотые монеты.

— Откуда у вас это? — спросил побледневший секретарь райкома.

Хамракул-ака, ползая по ковру, торопливо собирал блестящие червонцы... Молчание затягивалось, и Махмудов уже хотел позвать Халтаева, посчитав происходящее провокацией, но садовник наконец глухо произнес:

— Это часть из того, что Саид Алимхан велел сохранить вашему отцу и мне до лучших времен, мы с ним служили одному делу. Ваш отец не Мумин, а Акбар-ходжа, благородный был человек, под страхом смерти не выдал меня. Я думал найти у его сына покровительство и защиту...

— Почему вы решили, что я сын Акбара-ходжи? — У Махмудова непроизвольно ёкнуло в груди.

— Вы — вылитый отец, как две капли воды похожи, и даже справа на щеке у вас такая же родинка, и голос, и походка отца. Потом я ведь узнал, где вы росли, учились, — все сошлось, и я не ошибаюсь. Если хотите, я подарю вам фотографию, где мы вместе с вашим отцом в летнем дворце Саида Алимхана, при дворе эмира был отличный фотограф, и жалованье он получал из моих рук...

Махмудов ничего не ответил, но отошел от двери и усталое опустился на диван у окна. Перед диваном стоял низкий журнальный столик, и садовник осторожно положил на него кожаный мешочек с золотыми монетами.

— Уберите, вы столько лет в моем доме и должны знать, взяток я не беру.

Старик сгреб мешочек с полированной столешницы и торопливо спрятал за пазуху. Пулат Муминович еще долго сидел молча, но старик не спешил уходить:

— Видит Аллах, я не хотел бередить вашу душу, простите, но вы сами вынудили... Брали бы, как все, — я бы смолчал. Отступать мне некуда... Сын — самый старший, у него пятеро



детей...

Старик говорит без нажима, жалостливо и слезливо, но Махмудову чудится за этим шантаж. Кто за всем этим стоит? Орден Ленина, который он по-прежнему сжимает в руке, словно жжет ему ладонь, мешает сосредоточиться. Мелькает тревожная мысль, что и дня не успел поносить награды. Но не зря он больше двадцати лет у власти, первый человек в районе, — надо взять себя в руки, негоже расслабляться перед человеком, у которого в руках твоя тайна, так некстати выплывшая именно сейчас.

— Я помогу вам не оттого, что вы якобы знали моего отца, а потому, что вы много лет проработали в нашем доме, — устало говорит он, не глядя на садовника, который снова — само смирение. — В память о Зухре помогу, она вас очень любила, но... при одном условии...

Хамракул-ака от волнения нетерпеливо выпалил:

— Согласен на любые условия...

Но хозяин кабинета уже обрел властность.

— Условия такие. Сын должен погасить долг, в течение месяца покинуть район, переехать в другую область... Документы о хищении будут у меня в сейфе, чтобы впредь он жил достойно и не запускал руку в государственный карман. Второй раз я спасать его не буду, даже если вы будете уверять, что вы мой родной дядя.

Старик, пятясь спиной к двери, как некогда было принято при дворе эмира, рассыпаясь в благодарностях, наконец покидает кабинет.

Пуллат Муминович на секунду подумал о превратностях жизни — радость и горе могут приходиться в один час. Надо же именно сегодня испортить ему праздник! Он уже давно забыл о своих документах, где действительно вместо «Муминович» должно быть «Акбарович»: не врал старик, так ему и объяснила Инкилоб Рахимовна, чтобы он знал имя отца; правда, новостью оказалось то, что отец был ходжа — особо уважаемый мусульманами человек, совершивший хадж — паломничество в Мекку.

Последний раз об этом он рассказывал Кондратову еще в институте, когда собирался в деканат, чтобы внести ясность в анкету, а тот благоразумно отговорил дружка. Нет, в последний раз он все-таки говорил не Сане, а будущему тестю, Ахрору



Иноятовичу. Спросил прямо, не повредит ли его высокому положению такой факт биографии зятя? На что отец Зухры только рассмеялся и объявил: он рад, что жених дочери сын достойных родителей, а на предложение обнародовать все-таки сей факт сказал, зачем, мол, ворошить старое — сын за отца давно не ответчик.

И вот теперь, когда он достиг высот, забыл старую детдомовскую историю и Инкилоб Рахимовну, сжился со своим новым отчеством, объявился свидетель, знавший отца и его деяния. Неожиданный факт биографии секретаря райкома, скрытый при приеме в партию, могли истолковать по-разному, конечно, есть у него враги и рядом, и в области, многие зарятся на район с отлаженным хозяйством, на готовенькое всегда желающих хватает.

Но в чем он, по сути, виноват? Он же чистосердечно рассказал отцу Зухры о своей биографии, ничего не утаил, и про Инкилоб Рахимовну поведал, а Ахрор Иноятович ведь не просто коммунист, а коммунист над всеми коммунистами области, секретарь обкома, участник нескольких съездов партии, депутат. Но только кто теперь поймет его, ведь давно нет в живых всесильного Иноятова. Еще скажут, что имел Ахрор Иноятович корыстную цель, скрывая факт биографии Махмудова, потому что выдавал невзрачную дочь за перспективного молодого специалиста, получившего образование в Москве. Сегодня он понимает, что нельзя партию отождествлять с тестем, но тогда казалось: признаться Иноятову — значит, признаться партии, думалось, тот вечен, незыблем. Конечно, садовник прекрасно знал, чей он зять, и оттого много лет молчал... Кто бы посмел бросить тень на мужа любимой дочери секретаря обкома?

Пулат Муминович не на шутку испугался, казалось, шла под откос вся жизнь, которую все-таки сделал сам, без Иноятова, и орден Ленина он считал заслуженным, честно заработанным. Последние двадцать лет каракуль из его района на пушных аукционах Европы шел нарасхват, особенно цвета «сур» и «антик», а ведь это его заслуга, — он поддержал самоучку-селекционера Эгамбердыева и взял каракулеводство под контроль и опеку, когда кругом только о хлопке пеклись. За валюту, за каракуль, за элитных каракулевых овцематок, что давало стране созданное им племенное хозяйство, считал, и представили его к высокой награде.





А теперь все оказалось под угрозой. Пойти в обком и задним числом попытаться внести ясность в свою биографию? Вроде логичный ход, но он знает, что это не совсем так: изменилось что-то в кадровой политике с приходом нового секретаря обкома в Заркенте. Направо и налево, словно в своем ханстве, раздает он посты и должности верным людям. Чувствуется, что присматривается к крепкому району Махмудова и не прочь при случае спихнуть его, да повода вроде нет, и авторитетом он пользуется у людей, донесли, что народ Купыр-Пулатом называет его. Нет, идти самому к Тилляходжаеву и объяснять давнюю историю ни в коем случае нельзя, можно и в тюрьму угодить, — столько лет держал садовником бывшего сослуживца отца, расстрелянного как врага народа... Да еще про золото придется рассказать... Пойди докажи, что не брал из тайника Хамракула-ака ни одной монеты. А думает он так потому, что есть примеры, когда оговаривали ни в чем не повинных людей, не угодивших новому секретарю обкома.

С этого дня, радостного и сумрачного одновременно, в душе Махмудова поселился страх, пришла неуверенность, он словно ощущал за собой постоянный догляд.

Кладовщик Рахматулла из райпотребсоюза, тихо погасив крупную растрату, продал дом и переехал с семьей в Наманган, а Хамракул-ака, живший по традиции с младшим сыном, по-прежнему работал у него в саду, но на глаза старался не попадаться, впрочем, это удавалось без особого труда, хозяин уходил рано, приходил затемно, но работу садовника ощущал.

Прошло полгода, история с Хамракулом-ака начала забываться, Махмудов стал носить орден и даже привык к нему, хотя смутное предчувствие беды не покидало его. Нервное состояние не могло не отразиться на поведении — он стал раздражителен, появилась мнительность к словам и поступкам окружающих, повсюду чудился подвох. Первой перемену в настроении мужа заметила Миассар, но ей он объяснил причину переутомлением — и, правда, который год без отпуска. Наверное, протянись история еще месяца два, он не выдержал, пошёл бы, если не в обком, то в ЦК, и объяснился, — считая себя человеком честным, он мучился от сложившейся ситуации. Понимал свое двойственное положение как руководителя и просто как человека. Наверное, следовало уехать из этих мест



или вообще отказаться от партийной работы по моральным причинам. Но что-то постоянно удерживало его от решительного поступка, парализовывало волю. Мучила и неопределенность судьбы садовника, если он пойдет в обком или ЦК, — ведь старик не только поведал его тайну, но и открылся сам, и следовало отдать набожного старика в руки правосудия за сокрытое золото. Но от одной мысли, что Хамракул-ака попадет в руки соседа Халтаева, Пулат Муминович приходил в ужас. Старик садовник назвал бы его предателем и проклял, — ведь не выдал его сорок лет назад Акбар-ходжа, а сын...

Настолько крепко сплелось тут личное и государственное, долг и милосердие, что он, откровенно говоря, растерялся. Но ситуация разрешилась неожиданным образом.

Осенью, накануне массовой уборки хлопка, Махмудова вызвали в область на пленум. Дело обычное, ежегодное, и Пулат Муминович никак не думал, что после этой поездки в Заркент у него начнется иной отсчет жизни. После заседания его разыскал помощник первого секретаря обкома и попросил не уезжать, а утром явиться на прием; о чем предстоит разговор, какие цифры следует подготовить, как обычно бывало в таких случаях, тот не сказал, неопределенно пожал плечами и удалился. Но и тут он не подумал, что разговор будет касаться его лично, — со дня на день он ждал торговую делегацию из Турции, собиравшуюся закупить крупную партию каракулевых овцематок. Вызов он связывал с купцами из Стамбула, знал слабость Первого, — любил тот приезды иностранных гостей, не избегал возможности пообщаться с прибывшими в Заркент в качестве туристов знаменитостями. А уж если встречать официально, как хозяин, бизнесменов из-за рубежа, когда фотография, где он на переднем плане показывал какое-нибудь передовое хозяйство, попадала в большую прессу, даже зарубежную, — тут уж тщеславный коротышка Тилляходжаев все дела области отодвигал в сторону.

Пулат Муминович даже обрадовался персональному вызову. Уже с год в сельхозотделе обкома лежала его подробная докладная, с выкладками, цифрами, расчетами, вырезками из газет, журналов, снимками: он намеревался вместо нерентабельного хлопкового хозяйства создать племенной конезавод, чтобы, как и с высокоэлитными каракулевыми овцами, выйти



с чистокровными скакунами на мировой рынок. Однажды в Москве Махмудов случайно попал на аукцион и удивился, как охотно покупали элитных коней и какие астрономические суммы за них платили. Рассчитывал он на «добро» в обкоме, потому что ни копейки не просил у государства, деньги в районе имелись, нашел он и специалистов, знающих толк в коневодстве, и на свой страх и риск уже завел небольшую конеферму с сотней лошадей, среди которых выделялся ахалтекинский скакун, жеребец Абрек, и арабских кровей, тонконогая, дымчатая в яблоках кобыла Цыганка. Начинать пришлось бы не на пустом месте.

Не сбрасывал он со счетов и тщеславия Первого — указал среди прочего, в каких странах и городах ежегодно проходят аукционы; красавец конь — не овца, с ним не грех попасть на обложку популярного журнала, сопровождая своих лошадей на торги.

Весь вечер секретарь райкома проверял домашние выкладки, доводы, расчеты, готовился к разговору о конезаводе, даже разузнал, что друг Тилляходжаева, директор известного на всю страну агрообъединения, дважды Герой Социалистического Труда Акмаль Арипов — большой любитель чистокровных скакунов и что у него в головном хозяйстве в Аксае в личной конюшне содержатся редкой красоты лошади, чьи родословные известны специалистам и лошаdnикам всего света.

В назначенное время Махмудов явился в обком, и помощник тотчас доложил о нем, но в кабинет он попал не скоро. О такой привычке первого секретаря Махмудов уже знал — слышал, что иных просителей держал у себя в предбаннике и по пять часов. Давал понять, что не жалуется приглашенного, хотя, промариновав в приемной, принимал любезно — вроде и знать не знал об утомительных часах ожидания назначенной самим же аудиенции. Видимо, в каком-нибудь историческом романе начитался о ханских церемониях, — те любили покуражиться над просителями и подчиненными.

Принял он Пулата Муминовича перед самым обедом. Встретил холодно, руки не подал и даже традиционного восточного расспроса о здоровье, житье-бытье, детях не последовало, хотя виделись они давно. Усадил Махмудова в отдалении — за стол штрафников, как называли между собой секретари



сельских районов это место, но Пулат Муминович успел заметить папку со своим личным делом на столе, — скорее всего, хозяин роскошного кабинета специально положил ее на виду. И Махмудов понял, что разговор пойдет не о турецкой делегации и не о конезаводе.

Мелькнула нехорошая мысль — вот он, час расплаты за нерешительность и беспринципность...

Он, конечно, знал о странностях и причудах Первого — такое быстро становится достоянием подчиненных. Знал он и о гигантомании Тилляходжаева: все его проекты, предложения поражали размахом, широтой, щедростью капиталовложений, — вроде и неплохо, если б они не отрывались от реальности, от нужд людей и могли когда-нибудь претвориться в жизнь.

Кто-то из молодых инструкторов обкома однажды сказал о своем новом партийном руководителе:

— Манилов, строящий прожектыв на диване и опирающийся все-таки на свои личные средства, — наивное и безобидное дитя, но Маниловы, получившие безраздельную власть и вовлекающие в свои бесплодные фантазии миллионы людей и государственные финансы, — монстры, новые чудовища парадоксального времени.

Убийственная характеристика дошла до ушей Первого, — братья по партии постарались, — и через полгода, в одной из служебных командировок, неосмотрительного человека арестовали — подложили взятку в номер, нашелся и лжесвидетель.

Предчувствие не обмануло молодого партийца, но он, наверное, все-таки имел в виду не свою собственную судьбу.

В кабинете прежнего секретаря обкома Махмудов бывал часто, многим своим начинаниям получил здесь «добро» и поддержку, но сейчас он не узнавал помещения.

Размах отразился и тут: апартаменты увеличили за счет двух соседних комнат, но все равно, наверное, не получилось, как хотел хозяин, — чтобы шли к нему по красной ковровой дорожке долго-долго, чувствуя дистанцию.

Поражал размерами и стол; к тому же он оказался невероятно низким: персональный дизайнер с мебельной фабрики учел наполеоновский рост Коротышки и его маршальские замашки. Не зря его называли Коротышка, хлопковый Наполеон и просто Наполеон. Оттого и примыкавший в форме буквы



«Т» длинный стол для совещаний тоже выглядел карликовым. Кабинет отремонтировали недавно, и Махмудов представил, каково будет просиживать за таким столом на уродливо низких стульях на долгих совещаниях-разносах, что любил устраивать Первый.

Говорили, что он патологически не выносил рослых людей (впрочем, это не относилось к прекрасному полу), и потому при нем круто пошли в гору малорослые руководители. Впрочем, мудрость Первого, наверное, как раз и заключалась в том, что он не сомневался: со временем за специально заказанными столами будут восседать только подобные ему люди.

Не оттого ли он усадил Купыр-Пулата в отдалении, чтобы не чувствовать его явного физического превосходства? Махмудов как-то читал книгу о делопроизводстве на Западе, как там комплектуются руководящие кадры в отраслях, и обратил внимание, что претенденту с явно выраженными физическими недостатками вряд ли доверят высокий пост, судьбу людей, коллектива, потому что собственный комплекс ущербности в какой-то момент может отразиться на отношениях с подчиненными, а значит, и на деле. Сейчас он видел классический пример, подтверждающий эту авторскую концепцию.

Странный у них вышел разговор, если длинный, путаный монолог Тилляходжаева можно было так назвать, — он даже рта не дал раскрыть приглашенному на ковер. Слушая человека, от которого зависела его судьба, Махмудов вдруг невольно вспомнил Муссолини, — видел в Москве студентом трофейный документальный фильм. Казалось, что могло быть общего между дуче и этим маленьким круглым человеком с пухлыми руками, сидевшим за полированным столом-аэродромом? И тут Махмудов понял: слушатели — будь то толпа или, как в данном случае, он сам, одиночка, — моментально поддавали под гипноз власти, силы, и эти гнетущие чары ничего, кроме страха и послушания, не внушали, а флюиды страха, излучаемые из тысяч душ, глаз, сердец, поразительным образом питали, множили силу «избранника народа».

Может, сравнение с дуче возникло у Махмудова оттого, что Первый сегодня был с тщательно выбритой головой. В хлопковую страду, по жаре, он мотался по глубинкам области, и эта чисто мусульманская манера не могла не броситься в глаза



людям; о том, что внешняя атрибутика играет огромную роль, действует на массы, он, конечно, прекрасно знал. Говорили, что в сельских районах на вечерние застолья с окрестными председателями он любил приглашать аксакалов, и, когда ужин заканчивался, первым, как бы по привычке, по внутреннему убеждению, совершал религиозный мусульманский жест «оминь», что невероятно подкупало, трогало до слез белобородых стариков, и росли, множились легенды о верности мусульманским традициям Первого, его набожности.

Хотя Пулат точно знал от близких людей, что религия чужда Первому, не имел он веры в душе. И вот теперь бритая голова перед очередной поездкой в глубинку вместе с «оминь» — это наверняка произведет впечатление на народ.

Испытывал ли Махмудов страх? Пожалуй, хотя внешне это вряд ли проявилось, он владел собой. То, что он ощущал, не имело четко определенного названия, но все-таки очень походило на страх, даже если он и не хотел признаться себе в этом. Многие ныне испытывали панический страх при персональном вызове в обком. Конечно, он не думал, что при его тесте Иноятове в этих стенах царили партийная демократия, единодушие, согласие и любовь и не случилось самоуправства, но тогда было ясно, что именно поощрялось, что порицалось, — и меньше было двусмысленности. И позже, при преемнике Иноятова, они ходили сюда с волнением на разность, но без животного страха за жизнь; страх пришел с этим маленьким, ловким и проворным человечком, — вот его действия, поступки, мысли всегда оказывались непредсказуемы и для многих кончались крахом, крушением судьбы. С его приходом все ощутили, что в области один хозяин, диктатор и что Ташкент и Москва ему не указ, и не оттого, что далеки от его вотчины, а по каким-то новым сложившимся обстоятельствам, не совсем понятным им, застрявшим на годы в глубинке.

Когда Махмудов пришел к подобной мысли, он невольно глянул на карту страны, висевшую у него в кабинете, и подумал, что такой огромной страной правят не выборные органы, не Совмин, не ЦК, не Госплан, а человек триста секретарей обкомов. Люди, имеющие реальную власть, знакомые между собой, автоматически являющиеся депутатами Верховного Совета страны, членами ЦК и в Москве, и у себя в республике,



а если внимательно подсчитать их представительство, еще и в десятках всяких законодательных органов. Занимают они ключевые посты пожизненно, как его тесть Иноятов, умерший, так сказать, на боевом посту, и его преемник, тоже скончавшийся в служебном кабинете по причине преклонного возраста. Такая власть никакому влиятельному масонскому ордену и не снилась, мощи клана секретарей обкомов в мире примеров не сыскать.

Рассказывали, однажды к Коротышке на прием пришел депутат Верховного Совета с каким-то требованием и, видя, что его не очень внимательно слушают, повторил несколько раз настойчиво: я — депутат!

В конце концов хозяину кабинета надоело слушать настывного посетителя, и он на глазах депутата порвал жалобу и издевательски объявил:

— Ты избранник народа, потому что я так хотел. А теперь иди, не мешай работать и считай — мандата у тебя больше нет. В следующем созыве депутатом станет другой бригадир, раз у тебя не хватает ума воспользоваться упавшим с неба счастьем.

Так оно и произошло, и никого это не удивило.

И все-таки что-то общее между дуче и хозяином кабинета было, хотя вряд ли Первый держал за образец апеннинского диктатора, находились примеры куда ближе; но он говорил, так же низко набычив тяжелую голову, заговаривался, переходил то на шепот, то на крик, то сверлил, испепеляя, взглядом собеседника, то надолго упирал взгляд в стол, бормотал что-то отвлеченное, не имеющее вроде отношения к делу, и вдруг оборачивающееся неожиданной гранью, чтобы придать предыдущей фразе или мысли зловещее звучание.

Нет, не прост был новый секретарь обкома, не прост, и в сумбуре его речи, если быть внимательным, сосредоточенным, не потерять от испуга и волнения контроль, можно было четко уловить странную последовательность мышления, паразитирующую на страхе сидящего перед ним человека.

Пожалуй, манера внешне бессвязной речи, предполагавшей множество толкований, оттенков, легко позволяющая отступить от сказанного прежде, развить, если надо, диаметрально противоположную идею или при случае позже



вовсе отказаться от сказанного, утверждая, что его не так поняли, сближала их в глазах Махмудова — Первого и дуче.

Как бы ни был Махмудову неприятен Наполеон, он не мог не отметить зловещего таланта Первого; с каждой минутой речи пропадало ощущение его заурядности, ущербности, позерства, хотя чувствовалась и игра, и режиссура; забывался и смешной стол-аэродром, и карликовые стулья, и не бросался уже в глаза наполеоновский рост. Видимо, Первый все это знал, чувствовал, и потому всегда говорил долго, уверенный, что он своим бесовством задавит любого гиганта, в чьих глазах уловит открытую усмешку по отношению к себе.

Одним из таких «усмехающихся» Тилляходжаев считал и зятя бывшего хозяина перестроенного кабинета, руководителя самого крепкого района в области. Хотя Инояттов никогда Коротышке ничего плохого не делал, даже наоборот — когда-то рекомендовал в партию, ему очень хотелось увидеть его зятя на кроваво-красном ковре жалким и растерянным, молящим о пощаде. Многие большие люди ползали тут на коленях, и ни одного он не спешил удержать от постыдного для мужчины поступка, более того, тайно нажимал ногой под столом на кнопку, и в кабинет без предупреждения входил помощник, а уж тот знал, что жалкая сцена должна стать достоянием общественности. Холуй понимал своего хозяина без слов.

Впрочем, окончательно уничтожить, растоптать Махмудова — такой цели он не ставил, слишком большим авторитетом тот пользовался у народа, да и хозяйство у него на загляденье. Не всякому верному человеку, целившемуся на его район, удалось бы так умело вести дело, а ведь, кроме слов, прожектов, нужны были иногда результаты, товар лицом... Нет, не резон было хозяину кабинета перекрывать до конца кислород гордецу Махмудову. Хотелось лишь воспользоваться счастливо выпавшим случаем и заставить того гнуться, лебезить, просить пощады, чтобы в конце концов пристегнуть его к свите верноподданных людей... И еще — чтобы всю жизнь чувствовал себя обязанным, помнил его великодушие. Материала, которым Тилляходжаев случайно разжился на Махмудова, если им распорядиться умно, вполне достаточно, чтобы поставить на судьбе Купыр-Пулата крест.





Если бы Коротышка не посвятил свою жизнь партийной карьере, из него, наверняка, мог получиться весьма оригинально мыслящий писатель, так сказать, восточный Кафка. Почти час он говорил с Махмудовым, ходил словесными кругами (из кресла почти никогда не вставал, знал, в чем его сила), поднимая и сбавляя тональность разговора, нагнетая страх и оставляя порою заметную щель, лазейку для жертвы. Несколько раз брал в руки личное дело, даже демонстративно листал его, делая там какие-то пометки толстым синим карандашом, на сталинский манер, но ни разу не сказал конкретно, в чем обвиняется секретарь райкома. Не сказал ни слова о его отце, расстрелянном как враг народа, ни о том, что Махмудов фактически живет по чужим документам и скрыл от партии свое социальное происхождение, хотя знал, кто он на самом деле, чей сын. Ни словом не помянул о золоте, о садовнике Хамракуле-ака, о бывшем тесте Махмудова Иноятове, подержавшем Коротышку в начале партийной карьеры.

Но трудно было эту сумбурную, эмоциональную речь назвать и бессмысленной, хотя он не ставил прямо в укор ни один поступок, ни один факт, и даже намеки, от которых холодела душа и становилось не по себе, казались абстрактными. Секретарь обкома давал понять, что держит под рентгеном всю прошлую жизнь «провинившегося», и пытался внушить мысль о своем всеисилии до такой степени, что, мол, в его возможностях, например, проанализировать до мелочей каждый прожитый день Махмудова, — бесовщина какая-то, устоять перед таким напором было нелегко.

Впрочем, изнемогал, сохранял из последних сил волю не только гость, — устал крутить, набрасывать сети с разными ячейками на собеседника и сам властолюбивый хозяин кабинета. А больше всего он устал держать ногу на звонке под столом, потому что сколько раз ему казалось, вот сейчас Махмудов должен сорваться с места и упасть на зловеще знаменитый красный ковер или хотя бы молить о пощаде.

Но всякий раз, когда Коротышка, казалось, уже праздновал победу, ибо никто прежде не выдерживал его подобных умело выстроенных психологических атак, невозмутимый Махмудов вскидывал на него взгляд, но продолжал хранить молчание.



«Крепкий орешек», — раздраженно подумал секретарь обкома и решил на всякий случай напугать основательно. Давая понять, что аудиенция окончена, на прощание сказал:

— Надеюсь, вы поняли свою вину перед партией, и я со всей свойственной мне принципиальностью считаю, что вам в ней не место. Но такой вопрос я один не решаю, правда, уверен, бюро обкома не только поддержит мое предложение, но и пойдет дальше — возбудит против вас уголовное дело. Чтобы впредь другим было неповадно пачкать чистоту рядов партии! В ней нет места протекционизму, в ней все равны, — ни родство, ни влиятельные связи, ни старые заслуги не спасут.

Когда гость, не попрощавшись, молча уходил из кабинета, у самой двери его еще раз достал голос человека, похожего на дуче:

— И будьте добры, не покидайте Заркент в ближайшие два дня, я не собираюсь откладывать ваш вопрос в долгий ящик.

Едва за Махмудовым закрылась дверь, хозяин кабинета нервно нажал ногой кнопку звонка — на пороге тут же появился ухмыляющийся помощник.

— Чего скалишься?.. — зло окрысился секретарь обкома. — Налей скорее выпить, совсем замучил, гад.

Помощник тенью скользнул за перегородку, где архитектор умело разместил комнату отдыха, там находился вместительный финский холодильник «Розенлев».

Анвар Абидович поднялся из-за стола и прошелся по просторному кабинету, обдумывая только что закончившийся «разговор».

— Словно вагон цемента разгрузил, — сказал он мрачно.

Сбросив туфли, секретарь пробежал по длинной ковровой дорожке до входной двери и обратно, потом бросился на красный ковер и долго энергично отжимался. Он гордился своей физической силой и, бывая в глубинке, охотно включался на праздниках в народную борьбу — кураш и редко проигрывал, не растерял ловкости и сноровки, отличавшие его смолоду. Отжавшись, он так и остался сидеть на ковре, только по-восточному удобно скрестил ноги. Помощник поставил перед ним медный поднос с бокалом коньяка и тонко нарезанным лимоном, он понимал хозяина без слов. Выпив коньяк залпом, как водку, Первый жадно закусил лимоном и сказал:



— Небось, и ты издергался, все ждал: вот вбегу по звонку, а иноятовский зять на ковре ползает, слюни распустив, детей просит пожалеть...

Помощник, верным чутьем угадав желание хозяина, налил бокал еще раз до краев, — хотя, ошибись, умоешься коньяком, да еще отmaterит, заорет злобно: «Спаиваешь?»

Анвар Абидович второй бокал пьет уже не торопясь, смакуя, в чем в чем, а в коньяке он понимает толк и всякую дрянь не принимает, помнит о здоровье.

Наверное, ему надоедает смотреть снизу вверх, и он жестом приглашает помощника присесть рядом, сам наливает тому немало.

«Значит, понесло шефа на философию», — думает помощник, и в глазах его появляется тоска.

— Слез Махмудова сегодня не удалось увидеть ни тебе, ни мне. Крепкий мужик, побольше бы таких, а то уже неинтересно работать — не успеешь прикрикнуть, тут же в штаны наложат, дышать в кабинете нечем...

Осмелев после выпитого, помощник вставляет свое:

— Зачем мучились, изводили себя? Оформим дело, и концы в воду, и судья подходящий есть, и прокурор на примете, только и ждет, как бы вам угодить, а материала у меня на всех припасено, на выбор. — И, довольный, громко смеется, обнажая полный рот крупных золотых зубов.

— Если бы я жил твоим умом, Юсуф, давно бы сам в тюрьме сидел, — говорит миролюбиво хозяин кабинета и поднимается.

Помощник торопливо подает туфли, и пока ловко завязывает хозяину шнурки, Анвар Абидович терпеливо объясняет ему:

— Если всех толковых пересажаем, кто же работать будет, область в передовые двигать? С теми, за кого ты хлопочешь, дорогой мой Юсуф, коммунизма не построишь, век в развитом социализме прозябать придется...

Помощник в такт словам кивает головой, то ли соглашаясь, то ли протестуя.

Вернувшись за стол, секретарь продолжает:

— А Махмудова не в тюрьму надо упечь, как ты предлагаешь, а к рукам умно прибрать. Хотя и трудное это дело, как я понял теперь — с характером человек. Тут ведь такая хитрая штука — нужно, чтобы он верой и правдой и нам служил, и государству.



С обрезанными крыльями он мне зачем сдался, потому и не резон мне отбирать у него район. Да и народ, как я думаю, за него горой стоит... Ты ведь знаешь, сам хан Акмаль не решается в открытую отнять у него какого-то жеребца, а за деньги тот не продает, подсылал уже аксайский хан подставных лиц. Большие деньги предлагал, а Махмудов ни в какую, говорит, не для утех держу чистопородного скакуна, а для племенного конезавода, и, мол, цена ахалтекинцу — сто тысяч долларов. Акмаль уже год бесится, говорит, я ему пятьдесят тысяч наличными предлагаю, а он о ста тысячах для государства печется!

Хозяин взглядом просит налить боржом и, выпив жадными глотками, продолжает:

— А я всякий раз подзуживаю Акмалю, говорю, а ты приходи к нему со своими нукерами, как обычно поступаешь, и забери коня бесплатно. Нет, отвечает Арипов, не унести моим нукерам, да и мне самому ноги из района Махмудова. Больно народ его уважает, Купыр-Пулатом называет, пойдет за ним в огонь и в воду. А ты, Юсуф, предлагаешь посадить такого орла, говоришь, нашел продажных судью и прокурора. Нет, народ дразнить не стоит, не те нынче времена...

Видя, что помощник приуныл, Тилляходжаев говорит примирительно:

— Не расстраивайся, Юсуф, еще посмотрим, чья возьмет. Я тут кое-что придумал, не отвертится Купыр-Пулат, будет у нас ходить в пристяжных. Бумагам, что ты добыл на него, цены нет, дорогой мой. — И, заканчивая беседу, добавляет: — Давай выпьем еще по одной, и поеду-ка я после обеда отдыхать в одно место...

Приятная мысль, видимо, пришла на ум неожиданно, и он хитро улыбается. Улыбается и помощник, он понимает хозяина с полуслова.

— Умаял меня твой Купыр-Пулат, — говорит секретарь и разливает на этот раз коньяк сам, чувствуется, поднялось настроение. Выпив, возвращается к прежнему разговору. — Если выйдет по-моему, подарю я махмудовского жеребца Арипову, вот уж обрадуется аксакайский хан.

— А если не получится? — вырывается у помощника, он чувствует — сейчас самый подходящий момент для коварных вопросов.



Вопрос не ставит хозяина кабинета в тупик. Закрывая сейф, он небрежно роняет:

— Вот тогда и сгодятся твои дружки, судьи и прокуроры...

И, довольные пониманием друг друга, они долго и громко смеются.

Помощник убирает поднос с остатками «Варцихи», бокалы и собирается уйти тайным ходом. Есть вход со двора, из сада, прямо в комнату отдыха, через него проводит он к хозяину людей, связь с которыми хозяин кабинета не хотел бы афишировать, ну, и женщин, конечно. Но шеф словно читает мысли своего помощника, которого держит при себе уже лет двадцать, с тех пор, как стал в глухом районе секретарем райкома.

— Действительно Нурматов уехал в Ташкент на совещание? — спрашивает он небрежно.

— Я все проверил, угадал ваше желание, — он сейчас в прокуратуре республики на совещании по вопросу о случаях коррупции и взяточничества в органах милиции.

— Он что, делится там опытом? — И оба прыскают со смеху.

— Даже если бы Нурматов был в Заркенте, разве он вам мешал когда-нибудь? — нагло улыбается помощник. — Стоит ли его принимать в расчет?

— Пошлый ты человек, Юсуф, — мягко журит хозяин. — Родственник он мне все-таки. И не забывай, кто я, — мораль, традиции блюсти следует.

Помощник, обходя красный ковер стороной, покидает кабинет, прикидывая, сказать ли ожидающим в приемной, что секретаря обкома после обеда не будет и лучше прийти завтра, но в последний момент передумывает и молча скрывается за тяжелой дубовой дверью с надраенной медной табличкой «Ю.С. Юнусов», его апартаменты расположены напротив шефа.

Анвар Абидович поднимает трубку прямого телефона. Хоть и не положено по чину начальнику областного ОБХСС Нурматову иметь двузначный номер, а он распорядился установить, — уравнил с членами бюро, двух зайцев убил сразу. Вроде возвысил свояка, поднял его авторитет — и для себя удобство: раньше Шарофат от безделья вечно на городском висела, не дозвонишься, а этот всегда свободен, пять аппаратов, вплоть до ванной, велел поставить — не любит он ждать. С другого конца провода тотчас слышится капризный женский голос:



— Забыл свою козочку, заркентский эмир..

Анвар Абидович говорит ласковые, нежные слова, у него и голос изменился сразу, но тут же неожиданно переходит на прозу жизни, спрашивает, есть ли в доме обед, и, получив отрицательный ответ, обещает быть через час. Положив трубку, он связывается по внутреннему телефону с обкомовским поваром и заказывает обед, знает, что через полчаса все будет аккуратно погружено в машину, выездное обслуживание шефа здесь не внове.

Помощник с утра принес кипу бумаг на подпись, а он не успел утвердить и половину — и в оставшиеся полчаса, пока внизу лихорадочно пакуют в корзины обед, хочет покончить хоть с этим делом. Тилляходжаев вяло пробегает глазами одну бумагу, вторую, но сосредоточиться не удается, а цену своей подписи он знает хорошо, и потому отодвигает красную папку в сторону, — слишком утомительным, нервным оказалось и для него единоборство с гордецом Махмудовым.

Он откидывает голову на высокую спинку кресла, закрывает глаза и мягко массирует надбровные дуги, такую гимнастику лица посоветовал ему один умный человек. Нарождающаяся головная боль быстро проходит, — то ли действительно массаж подействовал, то ли оттого, что предвкушает встречу с любимой женщиной..

— Шарофат... — произносит он вслух, нараспев, и лицо его расплывается в довольной улыбке. — Цветок мой прекрасный, самое дорогое мое сокровище, — шепчет он страстно и довольно громко, забывая, что находится на службе. Мысли о Шарофат, о предстоящем свидании уносят его из обкомовского кабинета..

Шарофат — младшая сестра его жены, она моложе Халимы на восемь лет. Женился Анвар Абидович, по восточным понятиям, поздно, почти в тридцать, — бился за место под солнцем, то есть за кресло. Самый видный жених в районе — говорили о нем, и выбор имел ханский: каждая семья мечтала породниться с Тилляходжаевыми. Коммунизм, социализм или еще какая форма государственности была или будет, не имеет значения — люди в округе знали и знают: Тилляходжаевы всегда Тилляходжаевы — белая кость, роднись с ними, не пропадешь. Оттого, несмотря на свой неказистый рост, он взял красавицу



из красавиц Халиму Касымову. Такая пери раз в сто лет в округе рождается, говорили аксакалы, занимающие красный угол в чайхане. Какие орлы увивались за ней в районе, да и в Ташкенте, где она училась!

Только два курса университета успела закончить Халима, больше просвещенный и облеченный властью муж не позволил, считая, что для жены и двух курсов много.

В кого пошли три дочери рядового бухгалтера Касымова из райсобеса — великая тайна природы, потому что и отец, и мать ни красотой, ни статью особо не отличались, а девочки у них как на подбор — глаз не отвести!

Старшая сестра Халимы — Дилором, когда училась в Ташкенте, вышла замуж за хорошего человека и жила теперь в столице, муж ее крупным ученым стал.

Дом Тилляходжаевых, куда привел молодую жену Анвар Абидович, конечно, разительно отличался от дома скромного собесовского бухгалтера — иной уровень, иные возможности. Родня тут — святое дело, отношением к ней и проверяется человек, в родне он черпает силу и поддержку; родня и есть тот основной клан, на который делает опору восточный человек. И неудивительно, что младшая сестренка Халимы, красивая и смышленная Шарофат, считай, дни и ночи пропадала у Тилляходжаевых и быстро стала любимицей в их доме. Родители Анвара Абидовича сокрушались, что у них нет в семье еще одного сына, уж очень прихлась по душе им Шарофат.

А когда пошли у Халимы один за одним дети, сестренка оказалась в доме просто бесценной. Позже, когда Шарофат сердилась, она не раз выговаривала Коротышке: ваши дети у меня на руках выросли. Впрочем, так оно и было.

В восьмом классе Шарофат догнала ростом и комплекцией старшую сестру, сказывалась акселерация в жарких краях. Не раз, приходя домой, он заставал Шарофат у зеркала в нарядах жены.

— Нравится? — говорила она, нисколько не смущаясь, и не менее изящно, чем манекенщицы, которых она видела только с экрана телевизора, демонстрировала перед ним платье или костюм.

Делала она это зачастую кокетливо и слишком смело для восточной девушки. Наряды действительно были ей к лицу,



и носила она их увереннее, элегантнее, чем жена. Анвар Абидович, не кривя душой, признавался: нравится, восхитительно! Больше, чем за игру, милые шалости Шарофат у зеркала он не принимал.

Однажды, — училась она тогда уже в девятом классе, — приехал он на обед домой. Халима находилась в роддоме. Шарофат вбежала в летнюю кухню в белом платье сестры, которое он привез в прошлом году из Греции. Пройдясь перед ним, словно на сцене, Шарофат игриво спросила:

— Ну как, буду я первой красавицей на школьном балу?

И тут он впервые увидел в ней взрослую девушку, очень похожую на свою жену, но уже отличавшуюся иной красотой, время и условия в доме наложили на нее свой отпечаток. — Есть в ней что-то европейское, особо изящное, отметил он тогда про себя, а вслух вполне искренне сказал:

— Конечно, Шарофат, ты сегодня как белая лебедь.

— Спасибо, Анвар-ака, — обрадовалась Шарофат, — мне очень хочется нравиться вам, — и, неожиданно подбежав, поцеловала его.

Коротышка на миг оторопел, потом шуточно погрозил ей пальцем. Уходя, она приостановилась в дверях и сказала возбужденно:

— Как повезло моей сестре, что вы взяли ее в жены!

Тилляходжаевы часто принимали гостей: и тут сноровка, аккуратность, такт, вкус Шарофат оказались кстати.

— Что бы мы без тебя делали, — не раз искренне говорил ей Анвар Абидович, видя, как она ловко сервирует стол, командует приглашенными в дом поварами, обслугой, а самое главное, что все беспрекословно подчинялись ей, словно хозяйке дома.

После ухода гостей он часто шутя замечал:

— Шарофат, опять Ахмад-ака спрашивал, когда сватов присылать?

— Рано ей замуж, пусть учится, — обычно вмешивалась Халима, зная, что действительно гости приглядываются к сестренке. А та, недовольно поводя плечом, шуточно отмахивалась:

— Да ну их... Тоже мне женихи...

Но однажды, когда они остались одни и разговор вновь зашел о сватах, Шарофат сменила шуточный тон на серьезный.





— Вот за вас я пошла бы замуж не задумываясь, а сын директора нефтебазы, да к тому же простолюдин, меня не устраивает, я хочу, чтобы отец моих детей был из знатного рода, как вы.

— Так я ведь женат, знал бы, подождал, — отшутился он.

— Ну и что, — невозмутимо ответила Шарофат. — Возьмите второй женой, ведь шариат не возбраняет многоженство!

Анвар Абидович, закругляя становившийся опасным разговор, ответил:

— Все-то ты знаешь, и про шариат, и про многоженство, а что я идеологический работник — забыла, меня на другой же день из партии исключат.

— Пусть исключат, вы и так богаты! Тогда и возьмете меня в жены, — упрямо закончила Шарофат, к тому времени уже десятиклассница.

Этот странный разговор запал ему в душу. Тогда он и не предполагал такого крутого взлета по службе, и мыслить не мог, какой неограниченной властью над людьми будет обладать в крае, потому и не держал ни в голове, ни в сердце ничего дурного в отношении сестренки жены, хотя и очень взволновали его слова своевольной девчонки. После этого разговора он стал покупать наряды не только жене, но и Шарофат, и каждый раз видеть ее радостные глаза ему доставляло огромное удовольствие.

Халима не раз говорила серьезно мужу:

— Не балуй сестру, она и так в вашем доме стала другой, мнит себя принцессой.

Но тот отшучивался:

— Она и есть принцесса! Пусть радуется, она же твоя сестра!

В тот год, когда Шарофат закончила школу, — а училась она хорошо, — получили в районе разнарядку, в Москве в Литературном институте резервировалось для них одно место за счет квоты республики. Место оказалось как нельзя кстати, Шарофат мечтала стать журналисткой, баловалась стихами, писала статейки о школьном комсомоле в районной газете, да и отправить ее подальше от греха не мешало.

Когда Анвар Абидович привез ей белые туфли на выпускной вечер, в порыве благодарности она так жарко припала к



его губам, как не целовала до сих пор его ни одна женщина, и тогда он понял, на краю какой пропасти находится.

Когда Шарофат уехала, он забыл о ней, хотя иногда ощущал, что ее не хватает в доме. Сентиментальностью он не страдал, да и времени свободного, чтобы тосковать, не было: работа, карьера, семья — чуть свет уходил, приходил затемно.

Но порою колесо судьбы делает неожиданный поворот, никто не знает, где найдет, где потеряет. Через два года на каком-то совещании в области Тилляходжаев попался на глаза самому Верховному, произвел впечатление своей хваткой, энергией, смелостью и тут же был направлен в Москву учиться в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Все решилось за неделю: в августе он готовился к очередной нелегкой хлопкоуборочной кампании, а в сентябре уже слушал лекции в столице. Перед отъездом хозяин республики лично напутствовал Анвара Абидовича в дорогу, сказал — учишься хорошо, ты нам нужен, и даже обнял и поцеловал его. И тогда Коротышка мысленно поклялся служить ему верой и правдой всю жизнь, идти за него в огонь и в воду, не щадя живота своего, хотя тот ни о чем подобном не просил и верности не требовал.

Так в Москве вновь переплелись его дороги с Шарофат. Перед отъездом в академию он не видел ее почти год, летом на каникулы она не приезжала, проходила практику в молодежном издательстве. Узнав по телефону, что зять прибывает в Москву на учебу, она умолила его достать ей светлую дубленку с капюшоном, они как раз входили тогда в моду. Дубленку он ей привез, купил еще какие-то тряпки, но на всякий случай Халиме об этом не сказал, теперь жена могла и заревновать.

В Москве Коротышка раньше никогда не бывал, и Шарофат, за два года уже освоившаяся здесь, оказалась совершенно незаменимой. Учеба в академии давала возможность посещать театры, концертные залы, вернисажи, просмотры в Доме кино — культурной программой будущих идеологических работников занимались всерьез и основательно. И тут Анвар Абидович предстал перед свояченицей настоящим волшебником — билеты на любой нашумевший спектакль, премьеру, концерт эстрадной звезды, кинофестиваль, творческую встречу с очередной знаменитостью — ничто не было проблемой. Шарофат влюбленными глазами смотрела на мужа сестры



и гордилась им, она предполагала, какой взлет ожидает его после окончания академии.

Новый год отмечали небольшой компанией в ресторане «Пекин», что рядом с общежитием и учебными корпусами академии. Анвар Абидович, оглядывая роскошный зал, празднично одетых людей и хмелея от размаха веселья, музыки, подумал о переменчивости судьбы: еще полгода назад он об этом и мечтать не мог, и, неожиданно склонившись, нежно поцеловал в щечку сидевшую рядом Шарофат. В темно-вишневом строгом вечернем платье, молодая, элегантная, она словно магнитом притягивала к себе взгляды мужчин; Анвар Абидович видел это и втайне радовался, что имеет власть над очаровательной девушкой. В новогоднюю ночь она и стала его любовницей.

Жизнь в Москве таила не только приятные стороны: вскоре он стал ощущать раздражение — катастрофически не хватало денег. Связь с Шарофат он не афишировал: на каждом курсе учились земляки, и слухи о его поведении быстро стали бы достоянием человека, которому он поклялся служить всю жизнь. А тот, закрывая глаза на многие человеческие слабости, блудливых не любил, и в таких случаях согласно пуританской морали жестко наказывал нашкодивших. Сам человек сдержанный, Верховный ценил в людях сдержанность. Так что Коротышка не зря опасался за свою репутацию, не говоря уже о семье: о разрыве с Халимой не могло быть и речи.

Общежитие Шарофат находилось на улице Добролюбова, у Останкинского молокозавода, на такси уходила почти вся зарплата, что сохранили ему на время учебы. К тому же пришлось снять хорошую комнату для свиданий, неподалеку от «Пекина», возле Тишинского рынка, и это стоило ему сто рублей в месяц. Одним словом, деньги... деньги... деньги...

Секретарем райкома до отъезда на учебу Тилляходжаев проработал всего три года и особенно близко к себе никого не подпускал, словно чувствовал, что когда-то круто поднимется. Может, сказывалась и его природная осторожность, — действовал только через доверенных лиц, родственников, людей из своего клана. И того, что имел, казалось, вполне достаточно, а получается — вон какая жизнь есть, на которую никаких денег не хватит, не то что скромного жалованья.



Москва потрясла его в основном этим открытием: он тут прозрел, понял, с каким размахом следует действовать, вочлать дела.

И когда однажды ему позвонил начальник общепита района, справился о житье-бытье, самочувствии, Анвар Абидович, особенно не жалуясь, но с дальним прицелом сказал: а вы бы с начальником милиции, своим другом, приехали, провели, как мне тут живется, погостили у меня, посмотрели на столицу. Эти дружки особенно старательно искали к нему подход, когда он был хозяином района, поэтому намек поняли правильно. Через неделю аспирант встречал на Казанском вокзале земляков, занимавших на двоих целое купе, — с таким багажом «Аэрофлот» не принимает. С тех пор жизнь в Москве наладилась, и Коротышка больше не раздражался, — гости подъезжали с четко выверенным интервалом, затаренные под завязку, но довольные, что о них не забыл такой человек.

Получил он неожиданно еще одну помощь, и весьма ощутимую, но не сумма его радовала, а ее источник. По сложившейся традиции аспиранты после каждого курса обучения, возвращаясь на каникулы домой, заходили в ЦК, и Первый их всегда принимал, расспрашивал о житье-бытье, о Москве, товарищах по учебе, о преподавателях. Явился с таким визитом-отчетом и Анвар Абидович, волновался страшно, а вдруг донесли о Шарофат и о частых гостях из района. Но волнуйся не волнуйся, а избежать встречи невозможно.

Принял Первый не откладывая, как только доложили, и Анвар Абидович посчитал это за добрый знак, но все равно испытывал страх и волнение, потели руки, дергалось веко. Волнение Коротышки хозяин кабинета принял как должное, наверное, отнес к величию собственной персоны и торжественности личной аудиенции. Расспрашивал обо всем подробно, дотошно, чувствовалось, что жизнь в академии он знал хорошо и ориентировался в ней не хуже своих аспирантов. Чем дольше длилась беседа, тем увереннее чувствовал себя гость: успокоился — не знает, не донесли, не провели... Конечно, он был не так прост, чтобы выставлять свою жизнь напоказ, но ведь и догляд мог существовать изощренный через земляков, об этом аспирант уже знал, но еще больше догадывался.



Заканчивая беседу, Первый по-отечески тепло поинтересовался:

— Денег хватает? Не бедствуете? У вас, я знаю, большая семья, четверо детей.

Аспирант слегка насторожился, но рапортовал без раздумий:

— Столовая в академии прекрасная, главное — недорогая. Хватает. Я привык жить скромно. — Он уже ведал, что «Отец», как называли его чаще всего в кругу партийных работников, любит слово «скромность», оно у него в числе часто употребляемых.

Ответ, видимо, устроил Верховного, он загадочно улыбнулся, потом поднялся из-за стола, прошелся по кабинету, остановился у окна и долго смотрел на раскинувшийся внизу, через дорогу, утопающий в зелени у реки стадион «Пахтакор». Гость тоже поднялся — из уважения к хозяину кабинета.

Вот в эти минуты Коротышка натерпелся страху, не высказать словами.

«Отец» о чем-то долго раздумывал, даже показалось, что он забыл о посетителе. Затем, вернувшись за стол, попросил секретаршу принести чай, пригласил жестом сесть и задушевно сказал:

— Дорогой Анварджан, я ведь направил вас в Москву не только для того, чтобы вы набрались знаний, защитили диссертацию, стали ученым мужем. Ученых мужей у нас хватает, даже перепроизводство, в кого ни ткни — кандидат наук или даже доктор, первое место в стране по числу ученых людей на душу населения держим. Я хочу, чтобы вы завели дружбу с теми, с кем учитесь, а не варились в котле землячества и не пропадали на кухне возле казанов с пловом, как делает уже не одно поколение наших аспирантов. Академия, на мой взгляд, — это Царскосельский лицей, Пажеский корпус, Преображенский полк, если помните историю. Только оттуда выходят секретари ЦК, секретари горкомов и обкомов, министры, депутаты, редакторы газет и руководители средств массовой информации, люди, которые совсем скоро будут править в своих республиках и регионах, и с ними вы должны установить прочные связи, навести мосты — вот ваша главная задача в столице, и на эту цель вам отведено целых три года. Только заручившись



дружбой сильных мира сего, вы по-настоящему послужите родине, ее процветанию. Уяснили?

Гость от волнения, от важности доверительного разговора потерял дар речи и только кивнул головой.

Хозяин кабинета сам разлил чай по пиалам и, нажав какую-то кнопку, сказал:

— Сабир, зайди, пожалуйста. У меня Анвар Тилляходжаев из Москвы.

Вошел представительный мужчина, окинувший гостя внимательным взглядом, и положил на стол перед Первым тоненький почтовый конверт. Как только человек, которого назвали Сабиром, покинул кабинет, «Отец» продолжил:

— Это вам, Анварджан, для наведения мостов. Отчета от вас требовать не буду, надеюсь, вы распорядитесь суммой разумно, и пусть с вашей легкой руки множатся повсюду наши друзья. Если возникнут проблемы, которые вам окажутся не по силам, звоните мне, и всегда можете рассчитывать на помощь, — я имею в виду, скажем, если кто-то из преподавателей или аспирантов захочет посмотреть Самарканд, Бухару, Хиву, Ташкент — приглашайте, встретим достойно. Вы меня поняли?

Анвар Абидович только и смог согласно кивнуть головой в ответ.

На прощание Первый неожиданно спросил:

— Вас не смущает, не затрудняет моя просьба?

— Я постараюсь оправдать ваше доверие, домолла, — ответил растроганно гость и хотел поцеловать ему руку, но хозяин не позволил, сам по-отечески обнял его за плечи и провел до двери.

Ошарашенный встречей, оказанным доверием, Коротышка забыл про конверт и только вечером, в поезде, по пути домой, вспомнил и вскрыл его — там лежала сберкнижка на предъявителя, на счету значилось пятьдесят тысяч рублей. Сумасшедшие деньги для простого человека! Но не для столицы...

Всю ночь в поезде он не мог уснуть — душа ликовала, сердце готово было выпрыгнуть из грудной клетки... Он не раз выходил в коридор вагона остыть, успокоиться, но не удавалось — хотелось прыгать, плясать, петь. Нет, не оттого, что неожиданно получил в распоряжение пятьдесят тысяч бесконтрольных денег — деньги его теперь уже не волновали.



Радовался тому, что стал доверенным человеком Первого, цену его симпатии он знал, не всякого тот миловал, приближал к себе, но уж своих в обиду не давал, даже виновных.

Еще вчера он смущался, ожидая встречи с Халимой, чувствовал себя виноватым, но после разговора с Первым словно отпустили ему грехи и выдали индульгенцию на все будущие, он возомнил себя на такой высоте, таким государственным человеком, что связь с Шарофат показалась ему недостойной терзаний его души. Выйдя из здания ЦК, он почувствовал, как воспарил над людьми: свои поступки он теперь мог ставить выше обычной человеческой морали, нравов, традиций и оттого уже не испытывал угрызений совести ни перед женой, ни перед Шарофат и ее родителями. Отныне он становился сам себе судьей.

В Москве он часто скучал по дому, по семье и много раз представлял встречу после разлуки — прежде он никогда так долго не отлучался от близких; но после аудиенции у «Отца» вмиг сместились все ценности, доселе святые для него: дом, семья, дети. Душа его ликовала не от встречи с родными, детьми, женой, родовой усадьбой, он все еще пребывал на пятом этаже белоснежного здания на берегу Анхора и ощущал на плече надежную руку Верховного. Чувство это было так сильно, будоражило его, что он не находил себе места в доме, не мог дожидаться вечера. Как только стемнело, он направился в мечеть. С муллой у него давно сложились добрые отношения; секретарь райкома хотя и не афишировал связи, но помогал мечети щедро. Он уяснил, что ислам проповедует в принципе то же, что и райком, — покорность, терпение, и обещания их почти совпадали: если ислам сулил рай в загробной жизни, то райком ориентировал народ на светлое будущее. Проще говоря, два духовных наставника понимали друг друга с полуслова.

Мулла удивился и позднему визиту, и той взволнованности, которую тотчас угадал в первом мусульманине района, как он иногда говорил своим верующим, поддерживая авторитет власти. Следуя восточным традициям, он хотел пригласить гостя в сад, где служки тотчас кинулись накрывать дастархан, но Коротышка перебил его:

— Домулла, душа горит, сначала я хочу поклясться на Коране в верности одному человеку, а уж потом сяду с вами



за ваш щедрый стол и со спокойным сердцем побеседую, как прежде.

Мулла дал знак, чтобы принесли Коран. Как только подали священную книгу, он спросил:

— Вас заставляют присягать на верность обстоятельства, или вы это делаете по внутреннему убеждению, по голосу вашей совести?

— По зову сердца, — ответил Тилляходжаев, волнуясь.

— Прекрасно, Аллах не любит насильственных клятв.

Аспирант, припав на колено, поклялся верой и правдой служить человеку, тепло чьей руки он еще ощущал на плече.

В тот день и произошло его невольное отчуждение от семьи: нет, он не снимал с себя обычно принятых обязательств — кормить, обувать, одевать, заботиться о ее благах; но мучиться виной, терзаться из-за каких-то поступков он считал ниже своего предназначения на земле.

... Наверное, он бы еще долго вспоминал и о молодой Шарофат, и о Москве, и о тех далеких годах, когда впервые стали называть его за глаза Наполеоном, но раздался телефонный звонок, и обкомовский шеф-повар доложил, что все упаковано в лучшем виде и размещено в машине. Звонок вырвал из приятных видений, и Анвар Абидович, моментально наполнявшийся раздражением и злобой, зачастую беспричинно, бросил трубку и даже не поблагодарил повара, хотя ценил в нем умение, а главное, доскональное знание его вкуса.

Положив трубку красного телефона, он поднял трубку белого и, услышав голос Шарофат, буркнул:

— Выезжаю...

Шарофат, привыкшая к неожиданным перепадам его настроения, необузданным, диким страстям, не удивилась тому, что всего полчаса назад он ворковал как влюбленный юноша, а сейчас говорил раздраженно.

В расшитом золотом ярком атласном халате с резвящимся драконом на спине Шарофат подошла к зеркалу и, поправляя тщательно уложенную прическу, заметила седой волосок, но убирать не стала, с грустью подумала — еще один. Оглядев себя внимательно, уже в который раз, чуть-чуть подрумянила щеки и слегка надушилась его любимыми духами «Черная





магия», — других он не признавал и дарил ей целыми упаковками, по двенадцать коробок сразу. Добавив последние штрихи к макияжу, поспешила к двери, знала, что больше всего на свете Тилляходжаев не любил ждать. Ни минуты! Прямо-таки взбалмошный и капризный ребенок — вынь да положь сию секунду — хочу, и все! Однажды, — она уже была замужем, — он учинил грандиозный скандал: очень хотел ее видеть, а ее не оказалось дома, ходила к подружке читать новые стихи. Вот тогда, в бешенстве, он поставил ей жесткие условия: отныне и навеки всегда быть дома, никуда не отлучаться, чтобы он мог найти ее при первом желании. Относительную свободу она получала в те дни, когда он отсутствовал — уезжал на совещания в столицу республики или в командировки по области.

Тогда же он и распорядился насчет прямого телефона. Для человека, не знавшего Наполеона близко, подобное требование показалось бы абсурдным, но Шарофат-то знала: для исполнения своих прихотей он не остановится ни перед чем. Год от года он становился все необузданнее. Помнится, однажды, во время пленума обкома партии, раздался вдруг звонок по прямому телефону. Шарофат решила, что звонок ошибочный, — по местному телевидению как раз транслировали передачу из актового зала обкома, и пять минут назад она видела любовника в президиуме. Нет, звонил он сам, говорил ласково, нежно, Шарофат даже насторожилась, не разыгрывает ли ее кто, и спросила:

— А как же пленум?

Он ответил, что сделал главное выступление, а сейчас часа полтора будут содоклады, затем прения — скукота, в общем, ему очень захотелось ее увидеть.

— Приезжай немедленно, машину я уже выслал, у потайного входа тебя будет ждать Юсуф.

Через десять минут она была у него в комнате отдыха, куда долетал шум аплодисментов с идеологического пленума. В тот день Шарофат никак не могла настроиться на серьезный лад, все повторяла: «Без тебя пройдет такое важное мероприятие», — на что он снисходительно отвечал: «Ну и что? Цезарь позволял себе и не такое. А я чем хуже него? Да и резолюция пленума уже неделю назад готова». К прениям он успел вернуться в зал и даже выступил страстно с заключительной речью о моральном облике коммуниста.



Нет, ждать он не любил...

Едва Шарофат вышла на открытую веранду коттеджа, как подъехала машина.

— Что чернее тучи? Кто огорчил эмира Заркента? — спросила ласково Шарофат, принимая в прихожей тонкий летний пиджак; к одежде он был равнодушен, хотя уверял, что вещицм заразился именно от нее.

— Всегда найдется какой-нибудь подлец, который если не с утра, то к обеду уж точно испортит настроение, — завелся сразу Коротышка. — Ты, конечно, слыхала про Махмудова, — в области самый известный район...

— Конечно, слыхала. Кто же у нас не знает Купыр-Пулата, уважаемый человек...

— И ты туда же... уважаемый... — едко передразнил Коротышка. — Так вот, твой Пулат-Купыр, или как его там прозывают, оказывается, сын врага народа, скрыл от партии свое социальное происхождение, столько лет прятался... Ну и люди пошли, так и норовят к партии примазаться...

Шарофат удивленно посмотрела на пышущего гневом любовника, затем, поняв, что тот не шутит, начала так смеяться, что выронила из рук пиджак.

Смеялась Шарофат красиво, кокетливо запрокинув голову, придерживая полы разъезжавшегося атласного китайского халата. Смех хозяйки дома сбил Коротышку с толку, и он, внезапно успокоившись, спросил мирно:

— Я сказал что-нибудь веселое, милая? — случались у него и такие переходы, не поймешь, то ли шутит, то ли всерьез.

Шарофат подошла к нему, обняла нежно:

— Если бы ты мог видеть и слышать себя со стороны, наверное, умер бы со смеху! Ты пылал таким праведным гневом, никакому Смоктуновскому такое не удалось бы...

— Да, я как коммунист искренне возмущен! Таким, как Махмудов, не место в наших рядах! — завелся Коротышка вновь.

Шарофат, сдерживая смех, пояснила:

— Анварджан, ну ладно, Пулат-Купыр — чужеродный элемент, сын классового врага, но ведь и ты не простого происхождения, об этом все знают. Тилляходжаевы — знатный род, белая кость, дворяне, так сказать, князья — да за эту родословную я и полюбила тебя девчонкой.



— И правда, как-то о себе не подумал, — на мгновение растерялся Коротышка, но тут же нашелся: — Но я ведь специально не скрывал от партии своего происхождения, и моего отца не расстреляли как врага народа, — слава Аллаху, умер в прошлом году в своей постели. И вообще — Тилляходжаевы есть Тилляходжаевы, нашла с кем сравнивать, не Махмудовы же должны править в Заркенте! — запетушился секретарь обкома.

— Успокойся, милый, успокойся! Ну что разволновался из-за таких пустяков? — Шарофат вновь обняла его и стала целовать, она знала, как его отвлечь, чувствовала свою власть над ним.

И в ту же секунду мысли о Махмудове отлетели куда-то в сторону, показались ему мелкими, несущественными, у него вырвался стон, очень похожий на звериный рык, и, забыв обо всем, он легко поднял Шарофат на руки и понес через просторный зал в спальню.

Напрасно Шарофат отбивалась, кричала в притворном ужасе об обеде, о корзинах, что стоят, остывая, на веранде, — Наполеон ничего не слышал...

Через полчаса он вспомнил об обеде и теперь уже сам сказал о корзинах на веранде. Шарофат легко спрыгнула с высокой кровати красного дерева, очень похожей на корабль, они и называли его шутя — наш корвет. Взбитые простыни, белые подушки, легкое стеганое одеяло из белого атласа издали и впрямь напоминали опавшие паруса старинного корвета.

Шарофат накинула на себя заранее заготовленный кружевной пеньюар и, чувствуя, что он любит ее, чуть задержалась у трельяжа, поправляя волосы, потом вернулась к кровати:

— Потерпи немножко, через десять минут я освобожу ванную, ты ведь знаешь, у нас, бедных, только одна ванная...

Коротышка понял ее скрытый намек: пора менять коттедж на более современный, комфортабельный, такой, в котором он жил сам. «Я имею две ванных комнаты — так у меня шестеро детей, и еще твои родители живут со мной», — чуть не взорвался он от несправедливости, но сдержался, потому что посмотрел ей вслед...

Шарофат по-прежнему выглядела прекрасно, — Москва пошла ей на пользу: знала, как сохранить себя, не передала,



частенько сидела на диете, порою даже голодала, говорила — я устраиваю разгрузочные дни. Занималась гимнастикой, а вот теперь увлеклась еще аэробикой. Отчего бы не заниматься собой, времени на это было предостаточно: «Я творческий работник, поэтесса, на вольных хлебах», — говорила она новым знакомым гордо. Лихо водила машину, смущая местное бесправное ГАИ. В Москве ей однажды пришлось сделать от него аборт, оперировали поспешно, на дому, и детей у нее не было. Но о давнем аборте никто не знал, и подружки даже жалели ее.

— Аллах ее покарал, — не раз в сердцах Халима бросала, догадывавшаяся о связи сестры с мужем.

Но с годами семья, быт, дети, давнее отчуждение мужа стусевали боль Халимы, она махнула на всё рукой и жила только детьми.

Наполеона тянуло к Шарофат, как ни к какой другой женщине, хотя навязывались ему в постоянные любовницы и молодые карьеристки из комсомола, облизполкома, профсоюзов, но он читал их мысли наперед. Чувствовал он и тягу к себе Шарофат, с ним она была счастлива, он доставлял ей наслаждение, его не обманешь. Он понимал, что в их страсти таилось что-то патологическое, обоюдно патологическое, как объяснил ему один приятель, известный врач-психиатр, которому он очень доверял. Наверное, это и впрямь была патология; однажды Шарофат рассказала, как еще сопливой школьницей, в неполных четырнадцать лет, когда ночевала у сестры в доме, прокрадывалась по ночам к порогу их спальни и как волновал ее каждый вздох, каждый шорох из-за двери.

Услышав, что шум воды в ванной стих, поднялся и Анвар Абидович. В просторной спальне у Шарофат и ее мужа, Хакима Нурматова, у каждого был свой личный гардероб. Шестистворчатый полированный шкаф Хакима занимал стену слева; по мусульманским обычаям, предписанным шариатом, именно с этой стороны должен спать муж. Вспомнил он из шариата еще одну любопытную заповедь: если простолюдин женится на женщине из рода ходжи, что бывает крайне редко, то каждую ночь он должен проползти под одеялом под ногами жены и только тогда имеет право лечь рядом с ней. Вот что значит принадлежность к роду ходжи!



Он распахнул створку знакомого шкафа, отыскивая какой-нибудь халат, и от удивления присвистнул:

— Охо, сколько за месяц нанесли! — Он давно уже не был у Шарофат — дела, дела, комиссии, командировки.

Выбрал халат, похожий на тот, в котором встретила его Шарофат, только золотые драконы паслись на черном атласе, особенно понравился ему тяжелый, витой шелковый пояс, — словно золотой цепью опоясывался.

Обилию халатов Тилляходжаев не удивился, да и в шкафу явно висели лучшие из лучших, а сколько их сложено где-нибудь в углу, сотни, — такая же ситуация у него самого дома. А куда деться? По народной традиции, везде, куда ни попадешь, норвят надеть чапан или халат, а уж начальника областного ОБХСС порою в день в три халата облачают.

Коротышка завязал пояс с кистями, оглядел себя внимательно, как и Шарофат, в зеркале и, довольный, засунул руки в карманы.. и тут же моментально вытащил их: в каждой руке у него поблескивала золотая монета, царский червонец. Он знал, что по нынешнему курсу цена монетки тысяча рублей.

— Хитер свояк! И он, значит, золото решил солить.. — И тут же неожиданно вспыл: — А что же он мне, своему родственнику и покровителю, носит грязные бумажки?! Приедет, разберусь..

Секунду он раздумывал, как поступить с монетами; оставить их в кармане — такое ему и в голову не пришло. И вдруг он сообразил: улыбнувшись, по дороге в ванную заглянул на кухню, где Шарофат уже начинала хлопотать насчет обеда.

Подошел к ней тихо, ласково погладил по спине, проворковал:

— Вот тебе, голубушка, от меня подарок, — и разжал перед ничем не понимающей Шарофат пухлую ладошку.

У Шарофат руки оказались в масле; Коротышка опустил монеты ей в карман и, насвистывая, довольный, что отделался за счет ее мужа, направился принять душ.

Мылся он долго и с наслаждением, и все время не шел у него из головы муж Шарофат, Хаким Нурматов.

«Как же он тайком от меня начал собирать золото? — размышлял Коротышка. — Почему посмел так своевольничать, не поставил в известность, не согласовал?»



Он припомнил, как поднял, возвысил безродного и нищего пса, ничтожного лейтенантика районной милиции, сделал своим родственником, доверенным лицом. Теперь мерзавец, заполучив полковничьи погоны, тайком от своего покровителя собирал золото, которое по праву должно принадлежать только ему. Не зря же его фамилия Тилляходжаев — происходит от могущественного слова «золото», да еще с приставкой «ходжа», что указывает на высочайшую родословную. Можно было без натяжки называть его «Золотым идолом», «Властелином золота», и, конечно, как мог такой человек позволить кому-то собирать золото на своей территории.

Учиться в Москве они с Шарофат закончили одновременно, но он настоял, чтобы она задержалась еще на два года в столице, оставляли ее на кафедре, и появилась возможность защитить кандидатскую диссертацию по творчеству поэтессы прошлого века — Надиры Бегим. «Так надо», — твердо сказал любовник, и Шарофат перечить не стала.

Вернувшись домой и вновь возглавив район, он не забывал о Шарофат, о том, что следует как-то определить ее судьбу и сохранить на нее права.

Однажды в застолье у начальника районной милиции, с которым он сдружился за время учебы в академии, пришла ему спасительная идея. Он поинтересовался у полковника, нет ли среди его подчиненных заметного жениха, с одним ярко выраженным качеством — жадностью. Полковник рассмеялся, решив, что шеф шутит, и ответил: чем-чем, а жадностью — главным достоинством всех его сотрудников, и старых, и молодых, Аллах не обидел. Посмеялись они тогда от души, но, поняв, что секретарь райкома вовсе не шутит, полковник тоже всерьез сказал — надо подумать. Через три дня он показал секретарю одного парня и дал исчерпывающую характеристику: этот за деньги мать родную продаст, а отца удавит. Парнем оказался Хаким Нурматов.

С месяц приглядывался к нему секретарь, пока понял, что парень неглупый, абсолютно беспринципен и действительно патологически жаден. Когда план окончательно созрел, он вызвал Нурматова к себе и без обиняков спросил: не хочешь ли ты со мной породниться? Безродный лейтенант опешил, он знал — у Анвара Абидовича незамужних сестер нет, все они давно в браке и имели детей, и о разводах он ничего не слышал;



в ближайшей родне секретаря даже ни одной хромоножки не было — на иную девушку из рода ходжи лейтенант рассчитывать не мог.

Видя его растерянность, хозяин кабинета пояснил, мол, в Москве у него учиться в аспирантуре свояченица, Шарофат Касимова, сестра его жены. На каникулах она вроде видела Хакима, он ей понравился, и потому на правах родственника секретарь решил поговорить с ним. Добавил еще, что представляется возможность и ему поехать в Москву на полугодовые курсы работников ОБХСС, и там он может встретиться с Шарофат.

Лейтенант был неглуп, он знал, как покрывают свои шалости большие люди, выдавая своих любовниц и блудливых дочерей замуж за покладистых подчиненных, обещая им свое покровительство. Здесь он сразу почувствовал нечто подобное.

Конечно, лейтенант знал Шарофат, учился с ней в школе, в параллельном классе, видел летом, какая она красивая и важная стала, пожив столько лет в Москве, прямо француженка, как сказал кто-то из его сослуживцев. Видя колебания лейтенанта, хозяин кабинета обронил как бы вскользь: будешь хорошо учиться — после окончания станешь начальником ОБХСС района. Нурматов на меньшее и не рассчитывал, — через неделю он уехал на курсы. Из Москвы он вернулся капитаном и с женой.

С тех пор Анвар Абидович и опекал мужа Шарофат, держал его рядом с собой; став секретарем обкома, доверил ему пост начальника ОБХСС области. Надо отдать должное, проблем с Нурматовым у него не возникало, тот знал свое место и понимал, за что ему выпала величайшая милость, догадывался, что любое его послушание будет стоить ему не только выгодной должности, без которой он себя уже не мыслил, но и жизни, — при желании на полковника можно было каждый день по три дела заводить.

Золото в карманах его халата не давало Коротышке покоя; он сам любил золото именно в монетах. Сколько же он смог уже накопить червонцев, и не означает ли сей факт, что родственник вышел из-под контроля?

«Ну, монеты-то я у него все до одной отберу. Золота в области не так много, чтобы я мог терпеть еще одного конкурента», — решил Коротышка и от этой мысли сразу повеселел.



Распаренный после горячего душа, благоухающий парфюмерией полковника, он появился в столовой:

— Ну и нагулял я аппетит! Милая, где моя большая ложка?

Шарофат, поджидавшая его за щедро накрытым столом, аж всплеснула руками:

— Ну, настоящий китайский мандарин, только тонких обвислых усов не хватает. Вон посмотри, на вазе изображен твой двойник...

В углу столовой стояла высокая напольная ваза-кувшин старинного фарфора, с нее улыбался китаец почти в полный рост Коротышки, с бритой головой и в таком же халате с золотыми драконами на черном атласе. Шарофат тонко разбиралась в антиквариате, не зря семь лет прожила в Москве.

Анвар Абидович с улыбкой рассматривал двойника, затем стал в обнимку с кувшином, словно позируя для фотографии, и хозяйке ничего не оставалось, как сбегать в соседнюю комнату за «Полароидом» и сделать моментальный цветной снимок. Сходство с моделью художника так поразило секретаря обкома, что он долго не выпускал фотографию из рук, любовался, спрашивал: «Как ты думаешь — это император?» И сам же подтвердил:

— Да, похоже, очень похоже! Но только мне не нравится — «мандарин», уж лучше китайский богдыхан, верно?

И оба весело рассмеялись, — так им хорошо было вместе.

— А где же выпивка? — спросил строго двойник китайского императора, оглядев стол.

— Ты разве не пойдешь на работу? — обрадовалась Шарофат.

— Нет, золотая, не пойду и вообще сегодня остаюсь у тебя на всю ночь. Имею право загулять, как и мои верноподданные?

У него начинался кураж, — Шарофат чувствовала это и поспешила к домашнему бару, подкатила к столу звенящую дорогими бутылками тележку с напитками. Анвар Абидович читал редко, если честно — только газеты, да и то, без чего нельзя было обойтись, занимая такой пост. Но когда-то, во время учебы в академии, он вычитал то ли в поваренной книге, то ли в романе из светской жизни, что к малосолевой семге хороша охлажденная водочка, к севрюге горячего копчения и вообще к рыбе — белое вино, к мясу и дичи — красное, а к





кофе — ликер и коньяк; этот нехитрый перечень он запомнил на всю жизнь и требовал на всех застольях соблюдать установленный порядок. Так что из-за стола, где он оказывался тамадой, редко кто выходил трезвым.

Сегодня в обкомовском буфете была семга, нежная, розовая, жирная — и обед начали с водочки. Выпив и неспешно закусив, он как бы между прочим — а вдруг потянется ниточка к золотым монетам, к которым пристрастился и ее муж, — спросил:

— Как Хаким, не обижает?

Никогда прежде он о муже не расспрашивал, не интересовался, словно тот и не существовал вовсе, и вдруг такая забота. Простой человеческий вопрос несколько смутил Шарофат, и она ответила вполне искренне:

— Нет, не обижает. Но мне кажется, ему следовало бы оставить нынешнюю работу — он плохо кончит.

— Не преувеличивай, он мне родственник все-таки, и пока я жив, ни один волос с его головы не упадет, — заверил Коротышка.

— Я не о том, — настойчиво перебила хозяйка, — его срочно следует показать хорошему психиатру, мне кажется, деньги уже свели его с ума.

— Как это? — заинтересовался любовник. Может, тут и отыщется ключик к вожделенному золоту?

Но Шарофат имела в виду другое: ее действительно не интересовали ни деньги, ни золото, стекавшиеся в дом, обилие того и другого, как и поведение мужа, вызывали в ней порой отвращение, оттого она искала уединения в надуманной, отвлеченной от жизни поэзии и неожиданном увлечении антиквариатом.

— Ты ведь знаешь, я не вмешиваюсь ни в твои дела, ни в его, так воспитали дома, так вымуштровал меня ты сам. Раньше я не замечала, как и с чем он уходит на работу, с чем возвращается. Мое дело женское: чтобы он выглядел аккуратно, был сыт и в доме уют, комфорт. Но вот года два назад я стала замечать, что почти каждый день он приходит домой то с портфелем, то с дипломатом, а уходит на службу с пустыми руками.

Такое не могло не броситься в глаза, хотя, повторяю, я не ставила целью шпионить за мужем, вмешиваться в его дела, это я на тот случай, чтобы ты не подумал обо мне плохо. Когда в доме скопилось портфелей и дипломатов сотни четыре, я



сказала шутя: «Хаким, не пора ли нам открыть галантерейный магазин?» Если бы ты видел, как обрадовался он моей идее! На другой день он вернулся вместе с завмагом с крытого базара, и они все вывезли, почистили, на радость мне, все углы в доме.

— Ну, так в чем же дело? — не понял Тилляходжаев.

— Но он продолжал каждый день приходиться с дипломатом или портфелем, один моднее другого, и, конечно, с новехонькими, — продолжала Шарофат. — Сначала я думала, может, специфика работы такая: важные документы каждый день к вечеру поступают, надо просмотреть. Потом засомневалась: не такое уж у нас богатое государство, чтобы новехонькими дипломатами разбрасываться. К тому же, если бы они принадлежали МВД, значит, были бы похожи один на другой.

Потом я решила, что это — подарки, ведь и портфели, и дипломаты до сих пор в дефиците, да и модны. Но зачем же начальнику ОБХСС тысяча дипломатов? Абсурд какой-то! Мое женское любопытство взяло верх, и я стала подглядывать, когда он по вечерам, поужинав, скрывался у себя в кабинете с очередным дипломатом и, запершись, проводил там долгие часы. Порою я, не дождавшись его, одна засыпала в нашей спальне или в кресле у телевизора.

— Ну, и что же ты выследила? — заинтересовался Коротышка.

— Что ты думаешь, оказывается, он приносил деньги... Когда меньше, когда больше, и целыми вечерами перебирал, сортировал, пересчитывал купюры. Приносил он всякие деньги: от замусоленных рублевки до новеньких хрустящих сотенных, эти ему были очень по душе, я видела. Если бы ты знал, с каким наслаждением он предавался своим ежедневным тайным делам! Он вел какие-то записи, что-то заносил в толстые журналы. На вопрос, чем он занимается по ночам, неизменно с улыбкой вежливо отвечал: «Служба, служба, дорогая, тайна. Ты же знаешь, твой муж государственный человек, полковник». Поначалу меня это сместило, я даже развлекалась, представляя, чему он предается в редкие свободные часы, ведь он тоже, как и ты, уходит на работу спозаранку, возвращается затемно, ни суббот, ни воскресений.

«Нашла тоже, с кем сравнивать», — даже обиделся Анвар Абидович, но смолчал.



— Мне казалось, что, появишься ты в те вечера, когда он приезжает с дипломатом, и займись мы любовью при открытых дверях, он бы этого и не заметил, — так он бывает поглощен деньгами.

Через год все углы дома, кладовки, антресоли, шкафы вновь оказались забиты портфелями и дипломатами, но тут уж выручил ты...

Анвар Абидович вспомнил, какой гениальный ход он придумал в прошлом году на похоронах отца. По мусульманским обычаям людям, пришедшим на похороны, дарят платок или дешевую тюбетейку, полотенце или рубашку. Он и тут решил проявить ханскую щедрость, вспомнил о чапанах и халатах, скопившихся у него дома и у свояка, начальника ОБХСС, и о портфелях и дипломатах, о которых он, конечно, знал, — не меньшее количество находилось у него самого и дома, и в шкафах просторного кабинета в обкоме, правда, до галантерейного магазина он не додумался. И на каждого пришедшего на похороны был надет чапан, и каждому вручался дипломат или портфель, но и тут делали подарки по рангу — кому парчовый халат и кожаный дипломат с цифровым кодом, а кому попроще. Таких роскошных подарков в этом краю не делал никто — даже эмир бухарский, как уверяли аксакалы, и молва о его щедрости, об уважении к памяти отца еще долго гуляла в народе.

Не исключено, что среди восьмисот шестидесяти человек, посетивших в скорбный день дом Тилляходжаевых, — а учет велся строго, — кто-то и получил обратно именно тот чапан, что сам некогда дарил секретарю обкома или его свояку, полковнику Нурматову, как и тот дипломат, в котором приносил взятку.

Надо отметить, что с похорон не только возвращаются с подарками, но и приходят туда с тугими конвертами; должностных лиц ни свадьба, ни похороны не оставляют внакладе, и день скорби превращается в официальный сбор дани и взятки — везут и несут не таясь, прикрываясь народными обычаями и традицией.

Анвар Абидович только принимал соболезнования и конверты и до подсчета, как свояк, не снизошел, не располагал на такие пустяки временем, но жена доложила, что собрали больше ста тысяч. Кто скажет, что ныне похороны разорительны?



— Я, конечно, не призналась, что открыла его тайну, только просила мужа почаще бывать со мной, читать, смотреть телевизор, но он упрямо твердил, нет уж, читай сама за нас двоих, а у меня дела. Но вот странно, уже скоро почти год, как он стал приходить без портфеля или дипломата, но по-прежнему по вечерам запирается в кабинете и вновь пересчитывает деньги, наверное, поменял те трешки и рубли, что собирал годами... Мне кажется, он свихнулся и переписывает в бухгалтерские книги номера своих любимых купюр...

Вот теперь-то для Наполеона все стало ясно, он понял, когда свояк, как и он, перешел на золото, отчего и перестал таскать домой дипломаты. Нет, не зря он задал в начале обеда свой невинный вопрос. А вслух сказал спокойно:

— Зря ты волнуешься, милая, работа у него действительно государственной важности, трудная, и тайн в ней много, даже от тебя, он давал подписку. А что по ночам считает деньги, — у него служба такая. Знаешь, сколько они изымают нетрудовых доходов у всяких хапуг и дельцов и вообще у людей нечистоплотных. Видимо, в управлении не успевает, потому и трудится дома, тут у вас все условия, никто его не отвлекает. А с дипломатами, портфелями выходит сущий беспорядок, безобразие, если не сказать жестче, я ему укажу. Инвентарь и имущество беречь следует, тут ты права, умница...

— Нет, я по глазам вижу, его надо показать психиатру, — упрямо гнула свое Шарофат.

Но эта тема Тилляходжаева уже не интересовала, все, что надо, он вызнал, и потому, чтобы свернуть разговор, он как бы согласился:

— Ну, если ты настаиваешь, покажем. Есть хорошие психиатры, и даже у нас в местной лечебнице...

Когда он произнес «у нас в местной лечебнице», у него в голове мелькнул зловещий план, и от радости секретарь чуть в ладоши не захлопал, но вовремя сдержался.

Хотелось Шарофат рассказать еще об одном случае, даже двух, наверняка требующих вмешательства психиатра, но она не решилась, боялась окончательно испортить настроение любовнику.

А история вышла занятная. Проснулась она однажды среди ночи и услышала, как муж бормотал перед сном молитву, —



опять засиделся почти до рассвета в кабинете, считал, как обычно, деньги. Странная то была молитва. Он всегда бубнил себе под нос, укладываясь среди ночи рядом с женой, и Шарофат никогда не обращала внимания, считая, что это обычные суры, знакомые каждому мусульманину с детства, а в этот раз прислушалась — то ли молитва оказалась занятной, то ли тон мужа ее насторожил.

— О Аллах великий, — исступленно шептал начальник ОБХСС в ночной тиши роскошной спальни, — пусть в крае, мне подвластном, множатся магазины, склады, базы, гостиницы, кемпинги, кафе, рестораны, рюмочные, пивные, забегаловки, базары, толкучки, станции технического обслуживания! Пусть с каждым днем будет больше спекулянтов, перекупщиков, фарцовщиков, валютчиков, наркоманов, зубных техников, воров, проституток, растратчиков, рэкетиров, людей жадных, нечестных, всяких шустрил, гастролеров, посредников, маклеров, взяточников! Пусть все они в корысти и жадности потеряют контроль над собой и станут моей добычей — пусть воруют и грабят... для меня!

Муж передохнул, набрал воздуха и продолжил:

— Пусть в моих владениях, о Великий, поселятся самые дорогие проститутки и откроются известные катраны, где играют на сотни тысяч, пусть центр торговли наркотиками и золотом переместится ко мне. Пусть раззявы туристы запрудят мой край, на радость щипачам и кооператорам. Пусть обвешивают, обкрадывают, обманывают, недодают сдачи, недомеривают, прячут товар, торгуют из-под прилавка и из-под полы. Пусть процветает усушка, утруска, недолив, пусть разбавляют пиво, вино, молоко, сметану, пусть мешают в колбасу что хотят, от бумаги до кирзовых сапог, я ее все равно не ем. Пусть ломают электронные весы, подпиливают гири, пусть торгуют левой продукцией, начиная от водки и до ковров и мебели. Пусть обман процветает в ювелирных магазинах, пусть вместо бриллиантов продают фальшивые стекляшки, пусть платина в изделиях наполовину состоит из серебра. Пусть строятся люди и ремонтируют квартиры, чтобы я в любой момент мог зайти и спросить — а этот гвоздь откуда, где справка, даже если он и сидит в стене с эмирских времен.

Пусть день ото дня набирает силу дефицит, пусть все станет дефицитом — от мыла до трусов! Пусть вечно сидят на



должностях и процветают товарищи, создающие дефицит, пусть здравствуют воры и хапуги, а также люди, выпускающие горе-товары, пусть растет импорт, особенно из капиталистических стран!.. И пусть все это будет на руку мне... мне... мне...

В следующий раз заклинание мужа Шарофат услышала через полгода, он повторил его слово в слово, не исказив ни одной строки, — поистине, оно стало его молитвой. Как тут обойтись без психиатра?

Разговор о Нурматове несколько приглушил веселое настроение за столом, и Шарофат, чувствуя вину за неожиданную откровенность, оказавшуюся вроде некстати, предложила цветистый тост за здоровье Анвара Абидовича; тут уж она вставила и полюбившегося ему богдыхана, и не преминула напомнить о его сходстве с китайским императором, улыбавшимся с вазы. Здесь хозяйка сознательно брала грех на душу, потому что китаец держал в руках книгу, и люди, рекомендовавшие приобрести вазу, большие специалисты по антикварному фарфору, объяснили, что это придворный поэт; император тоже присутствовал в сюжете картины, но его изображение сейчас глядело в угол; она, конечно, могла развернуть вазу и показать истинного императора, богдыхана, но тогда ни о каком двойнике не могло быть и речи. И, возможно, это еще больше подпортило бы настроение возлюбленного, — он вроде как уже сжился с образом и время от времени поглядывал в угол: сходство с придворным поэтом вряд ли бы внесло в его душу радость, а может, даже и оскорбило.

Но Шарофат, полагавшая, что за эти годы досконально изучила своего любовника, крепко ошибалась. Сегодня у него как раз было не худшее настроение, — Коротышка уже мысленно подытожил, не хуже, чем на компьютере, сколько же золотых монет успел скопить свояк за год, и по самым скромным подсчетам выходило немало. Как тут не радоваться неожиданно свалившемуся богатству?! А ход насчет психиатра, невольно подсказанный Шарофат, да ему цены нет! И все за один вечер, за одно свидание! Он настолько расчувствовался, что встал и поцеловал Шарофат. Нежный жест любовника она расценила по-своему и тоже растрогалась — в общем, оба были счастливы.

Но Шарофат обрадовала его еще одним персональным тостом: дело в том, что за время, пока они не виделись,



Наполеон «успел защитить» в Ташкенте докторскую диссертацию. До сих пор они были вроде на равных, оба кандидаты философских наук, и оба защищались в Москве. У Анвара Абидовича не было ни времени, ни особого интереса, чтобы вычитывать свою диссертацию, и он доверил это ответственное дело Шарофат.

Докторская не содержала никаких ценных открытий, но чувствовалась твердая рука профессионала; все же Шарофат внесла несколько замечаний по существу, и материал высветился по-иному, появилась какая-то самостоятельность суждений. Оттого она считала себя соавтором докторской диссертации своего любовника и очень гордилась этим. На торжествах по случаю защиты в доме Тилляходжаевых Шарофат не присутствовала, — накануне у нее произошел неприятный разговор с сестрой, — и вот теперь они как бы вновь обмывали защиту. Напоминание о том, что он, оказывается, еще и доктор наук, прибавило настроения секретарю обкома, и оба окончательно забыли о тягостном разговоре, связанном с полковником. В конце обеда, заканчивая застолье коньяком, с непременно кофе, к которому они оба пристрастились в Москве, Коротышка так расчувствовался, что искренне спросил:

— А хочешь, и тебе на день рождения закажу докторскую диссертацию? Абрам Ильич успеет, он голова...

Шарофат обрадовалась, однако благоразумие взяло верх.

— Нет, только не сейчас. Неудобно мне сразу вслед за вами, разговоры пойдут. Лучше подожду, года через два...

На том и порешили.

Пока она убирала со стола, он прохаживался по квартире; покрутился возле библиотеки, которую хозяйка дома собирала с большим азартом, и, понятно, с его помощью, но желания взять в руки книгу не возникало. Возле огромного стереофонического телевизора «Шарп» рядом с видеоманитофоном он увидел стопку кассет; судя по новым глянцевым коробкам, эту партию фильмов полковник конфисковал недавно, раньше у него кассет «Басф» не было. Вот фильмы секретаря интересовали, и он включил сразу и деку, и телевизор.

Дома из-за детей, — да и Халима возражала, — не удавалось посмотреть порнографические фильмы — они-то больше всего и привлекали Тилляходжаева; его постоянно занимала мысль:



откуда же столько аппетитных женщин для съемок находят на Западе? Фильмы они обычно смотрели с Шарофат, и азартный Коротышка время от времени взвизгивал от страсти и восторга, толкал в бок любовницу и кричал:

— Смотри, баба не кандидат наук, а что вытворяет — высший класс, учись! — и громко смеялся.

Подобная откровенная вульгарность сначала смущала Шарофат, но потом она перестала ее замечать. Опыненный все возрастающей властью в крае и республике, Наполеон день ото дня становился необузданнее, пошлее, он не прислушивался ни к чьему мнению, ничьим замечаниям, перестал обращать внимание и на ее советы. Был только один человек, которому он внимал с почтением, но с тем он встречался редко, и тот вряд ли догадывался об истинной сущности любимого секретаря обкома.

Перебрав пять-шесть кассет, он наткнулся на интересовавший его фильм, но смотреть в глубоком велюровом кресле, в котором иногда засыпала Шарофат, не дождавшись мужа, не стал, откатил телевизор в спальню, ближе к корвету, — они и прежде смотрели домашнее кино в постели.

Минут через десять на его страстные призывы появилась в спальне Шарофат, но фильм смотреть отказалась, потому что уже трижды видела его с мужем и дважды с подружкой. Сослалась на то, что хочет заняться ужином, побаловать своего богдыхана домашним лагманом и слоеной самсой с бараньими ребрышками. Наполеон поесть любил, и идея Шарофат пришлась ему по душе — гулять так гулять, но отпустил ее на кухню все же с сожалением.

Однако еще минут через десять он нажал на пульт дистанционного управления и выключил телевизор: смотреть секс-фильм, когда рядом нет красивой женщины, показалось ему неинтересным, не возникало азарта. К тому же опять откуда-то выплыла мысль о Купыр-Пулате, и отмахнуться от нее не удалось, хотя и попытался. Впрочем, мысль не совсем о нем — его больше волновал ахалтекинский жеребец Абрек, на которого позарился Акмаль Арипов. Конечно, аксайский хан мог выложить Махмудову и сто тысяч долларов, имел он и контрабандную валюту, а мог отсыпать и золотыми монетами по льготному курсу, только ведь этот праведник Махмудов думал





о деньгах, что поступают в казну, вряд ли зеленые доллары, как и николаевские червонцы, волновали его, иначе бы он сам прибрал к рукам остатки золотой казны Саида Алимхана, что до сей поры хранил садовник Хамракул.

Жеребец мог стать причиной разрыва с аксайским ханом, он уже не раз намекал ему, мол, давай употреби власть, на твоей же территории пасется Абрек, твой же вассал Купыр-Пулат.

А ссориться ему с Акмалем Ариповым не хотелось, и не потому, что оба в одной упряжке и оба доверенные люди Верховного, а оттого, что тот стремительно набирал силу и в чем-то пользовался большим влиянием, чем он, хотя Тилляходжаев секретарь обкома крупнейшей области, а тот лишь председатель агропромышленного объединения, а уж по финансовой мощи ему и сравниваться с ханом Акмалем смешно.

— Я — Крез, а ты — нищий! — сказал ему как-то аксайский хан.

Сказал по пьянке, шутя, но его слова запали в душу Наполеона, тогда он и стал усердно копить золото. И сегодня, заполучив случайно остатки казны эмира Саида Алимхана и мысленно прибавив золотишко, собранное свояком Нурматовым, он уже не считал себя нищим, хотя с аксайским Крезом ему еще тягаться было рановато.

Аксайского хана опасался не только Анвар Абидович, обеспокоен был его растущим влиянием и амбициями и сам «Отец», он-то и высказал мысль, что за Акмалем нужен глаз да глаз. Наверное, если бы аксайский орденосец находился на партийной работе, «Отец» держал бы его рядом, в Ташкенте, или отправил куда-нибудь послом в мусульманскую страну, — как поступал всякий раз, чувствуя конкуренцию или просто сильного человека рядом, — и контроль обеспечивался бы сам собой, а теперь менять что-то в жизни Арипова было поздно. Он создал свое ханство в республике, — расхожее выражение «государство в государстве» тут не подходило. И осуществлять за ним догляд оказалось делом непростым, он в полном смысле слова перекрыл все дороги, ведущие в Аксай и из Аксая, и денно и ночью на сторожевых вышках дежурили люди в милицейских фуражках, хотя им вполне могли подойти бы басмаческие тюрбаны. Потому и дружбу с ним потерять было нельзя, — единственная дорожка в Аксай могла



закрыться, и тогда думай, что он там замышляет, кого против тебя или против «Отца» настраивает. Как бы Акмаль ни был хитер и коварен, а пьяный за столом, спуская пары, кое о чем проговаривался. Только нужно было умело слушать и с умом поддерживать разговор.

Нет, ссориться секретарю с любителем чистопородных скакунов никак нельзя, и все дело упиралось в упрямца Махмудова: не мог же он сказать ему, как любому другому: «Отдай коня Акмалю и не кашляй!» Да, другому и говорить не пришлось бы, — только намекни, сам сведет Абрека в Аксай. Кто не знает в крае Арипова? За счастье сочтет, что удостоился чести посидеть за одним дастарханом. А ответ Купыр-Пулата он знал заранее — обязательно сошлется на конезавод, на государственные интересы, наверное, еще и пристыдит, скажет, почему потворствуете байской прихоти, не по-партийному это. Чего доброго, и на народ ссылаться станет, говорят, он всерьез верит, что народ всему хозяин. Возможно, поэтому его любят? Нет, здесь один способ: нужно сломить, запугать, заставить Махмудова служить заркентскому двору, тогда и вопрос с жеребцом решится сам собой.

«Надо уравнивать его жизнь и жизнь жеребца!» — мелькнула вдруг догадка, и от зловещей этой мысли Коротышка расхохотался, восхищаясь своим умом. Смех донесся до кухни, где Шарофат чистила лук для самсы, и она порадовалась хорошему настроению человека, желающего хоть внешне смахивать на китайского императора.

Да, смутные настали времена, — продолжал рассуждать секретарь обкома, — очумело начальство от шальных денег, вышло из-под контроля. Теперь, пожалуй, и сам Верховный не знает, сколько хлопка приписывают на самом деле, пойдй проверь, все ждут не дождутся осени, когда из государственной казны польется золотой дождь, успевай только хапать. Хотя год от года все больше ропщет народ, пишет в Москву о том, что до снега держат людей на пустых полях, о детях, забывших, что такое школа и детство, о желтухе, что косит и старых, и малых, о бутифосе, отравляющем все живое вокруг, о молодых женщинах, задержанных жизнью и не видящих впереди просвета и перспективы и для себя, и для своих детей и потому прибегающих к крайней мере протеста — самосожжению. Страшные



живые факелы пылают в кишлаках и в сезон свадеб, когда отдают замуж насильно, не испросив согласия девушки, но слава Аллаху: письма эти возвращаются в Ташкент, с пометкой: «Разберитесь», а тут и разбираются на местах, добавляют еще плетей строптивым и непокорным, чтобы и другим неповадно было жаловаться на счастливую жизнь в солнечном крае.

До чего дошли, возмущается Коротышка, вздумали жаловаться на его друга, аксайского хана, гонцов в Москву снаряжали, да не вышло ничего. Хотя сумели добиться комиссии ЦК из Ташкента, — куда уж выше? — да не знали они силы и власти Арипова, его миллионов. Для пущей объективности проверку жалоб наряду с людьми из ЦК возглавил и работник Президиума Верховного Совета республики, депутат Бузрук Бекходжаев, — он и вынес окончательное решение: ложь и клевета. Мол, лучшего хана, то бишь председателя, чем дважды Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета Акмаля Арипова, нет и не будет. Ликуй и радуйся, народ, что повезло вам с таким уважаемым на всю страну человеком. Недешево досталось такое заключение аксайскому хану. В поте лица пришлось поработать продажным следователям из прокуратуры республики, чтобы назвать белое черным, а черное белым.

«Ворон ворону глаз не выклюет», — сказал какой-то дехканин, узнав о заключении высокой правительственной комиссии. Конечно, эти слова тут же донесли хану Акмалю, и той же ночью он отрезал язык дехканину, чтобы не сравнивал уважаемых людей с птицей, питающейся падалью.

Нет, народ не очень тревожил Коротышку. Он убежден, что народ терпел и терпеть будет, а если взбунтуется, вон какая карательная сила в руках, говорят, на одного работающего два милиционера приходится, да к тому же и религия в руках, тут она денно и ночью проповедует покорность, послушание, терпение. Нет, кто ее придумал, не дурак был, для любой авторитарной власти любая религия — верный помощник. Гложет душу другое: разжирев на хлопковых миллионах, каждый начал тянуть одеяло в свою сторону, возомнил себя великим и мудрым. Взять того же Акмаля... Кто знал этого неуча, бывшего учетчика тракторной бригады, а поди ж ты, сегодня министры, секретари обкомов в ногах валяются...



А каратепинский секретарь обкома что о себе возомнил? В обход Ташкента открыл прямой авиарейс Каратепе — Москва и Каратепе — Ленинград, неужто о благе людей заботился? Да ничего подобного: решил показать Первому, что и он не лыком шит. За два года первоклассный аэропорт со взлетным полем для тяжелых самолетов отгрохал, мол, знай наших! «Нет, такое чванство ни к чему хорошему не приведет», — с грустью сказал ему на последней встрече «Отец». А он мудр, тертый политик, время чувствует. И Тилляходжаев полностью разделяет это мнение, и не только потому, что когда-то поклялся на Коране служить «Отцу» верой и правдой.

Дошло до слуха Верховного, что каратепинский партийный вожак возомнил себя столь сильной личностью, что однажды, выступая в большом рабочем коллективе, сказал: «Я получил от вас социалистические обязательства на будущий год, где вы, обращаясь в обком, называете меня «наш Ленин». Нескромно это, товарищи, не по-партийному, хотя я и горд такой оценкой моей работы трудовыми массами». Говорят, слова секретаря обкома потонули в громе аплодисментов, начало которым положили коммунисты. Умело запущенное в обиход, в сознание людей прозвище «наш Ленин» — это тоже в пику Первому, его не проведешь.

Нет, Наполеону раздоры между собратьями по партии ни к чему, ему выгодно единство, его задача — крепить власть «Отца», вождя, а для этого и союз с Акмалем Ариповым, которого они между собой называют басмачом, тоже пока годится. Если бы удалось сравнить аксайского хана с каратепинским секретарем обкома, размечтался Коротышка, вот бы порадовался «Отец». Но шансы тут минимальные, и мечта быстро гаснет. Конечно, предоставлялся верный шанс расправиться с Ариповым руками комиссии из Москвы, но непонятно, почему Бекходжаев спас любителя чистопородных скакунов от верной гибели, в пику Верховному или, наоборот, по его просьбе?

Может, наверху понимали, что, развенчав легенду о «волшебном хозяйственнике», о его «семи этажах рентабельности», тем самым подорвали бы миф о сказочной республике, витрине Востока, где все цветет и пахнет, где труженики каждый день едят жирный плов и весело танцуют андижанскую польку?



А может, пожалели заодно репутацию известных писателей и журналистов, не только из Ташкента, но и из Москвы, что воспевали ложные достижения деспота, не замечая произвола, рабовладельческого строя вокруг, хотя только пожелай увидеть, выйди из-за богато накрытого стола, шагни в первый переулочек безлюдного Аксяя...

Или просто дрогнул «Отец», постарел, испугался акмалевских нукеров, услугами которых и сам при случае пользовался?

Все это домыслы, а факты останутся теперь загадкой, тайной для него, не спросишь же об этом прямо у «Отца».

«Но будь моя воля, — усмехнулся Тилляходжаев, — я бы расправился с Ариповым руками Москвы. Такие люди нужны были шестьдесят лет назад в басмаческом движении, когда гуляли в крае, наводя ужас, Джунаид-хан и курбаши Куршермат, а теперь другое время, иные методы...»

А тут и новые перспективы вроде для некоторых открылись: зачастил в республику с инспекционными визитами зятек Леонида Ильича, генерал МВД. И в степной Каратепе, и в благородной Бухаре, и в святом Хорезме, и в других областях — везде встречали генерала по-хански. Да и как же не встречать, если в Ташкенте его принимали как главу иностранной державы, по высшему рангу, со всеми дипломатическими почестями: военным парадом, пионерами, толпами согнанных на улицы людей, и даже торжественное заседание ЦК посвятили приезду сиятельного зятя, — отчитались как бы перед ним, — стоя приветствовали появление его в зале и президиуме, ладони поотбивали в бурных аплодисментах. И каждый руководитель в областях норовил заручиться его дружбой в своих интересах на будущее и настоящее, в поисках самостоятельного выхода на Москву.

Коротышку в тот раз оттерли от важного гостя, проморгал он момент, хотя заезжал молодой генерал с женой и в Заркент, и принимал он их не хуже, чем в Каратепе, но откровенно на дружбу не навязывался, держался с достоинством, чем наверняка немало удивил гостя. Тилляходжаев считал генерала выскочкой, временщиком, сделавшим карьеру выгодной женитьбой, как его собственный свояк Нурматов, и понимал, что власть у того, пока жив тесть. У него и своих друзей в Москве хватало, тех, с кем он учился много лет назад в академии: советы



и помощь «Отца» оказались кстати, многие его однокашники круто пошли в гору, вот у них перспективы серьезные, основательные, они знают, кто у них в республике настоящий друг и на кого нужно ставить карту, только бы подвернулся случай. Нет, зять, пусть даже и генерал-полковник, первый заместитель министра, это слишком зыбко, несерьезно...

После каждой инспекции новоявленного генерала — в республике кадровые перемещения, своих людей ставил на ключевые посты, даже оттер на вторые роли министра внутренних дел, старого товарища Верховного.

«Может, в противовес им и выпестовал «Отец» хана Акмаля и потому не отдал его на растерзание Москве?» — мелькнула неожиданная догадка. «Отец» — человек дальновидный, мог предусмотреть и этот шанс, нужна узда и для МВД, слишком большая власть у них на местах.

Нет, он ни в коем случае не должен поддерживать смуту и раздор, тянуть одеяло на себя прежде времени, как пытаются делать иные каратепинцы, бухарцы, джизакцы и самые влиятельные — господа ташкентцы, ну, и конечно, Акмаль Арипов, который представляет не область и даже не род или клан, а самого себя. «Я — тимурид!» — гордо заявляет он всем, кто интересуется его родословной, отсюда, мол, у него тяга к власти, могуществу, богатству, и потому кровь его не страшит, а пьянит.

Надо всех вновь вернуть под знамена «Отца»; пусть, уходя, он и определит преемника, вроде как справедливо, и у каждого есть свой шанс. Но Тилляходжаев-то знал, что в этом случае возможности у него предпочтительнее, и не только потому, что более образован, родовит, доктор наук, учился в столице, имеет прочные связи и выходы на Москву, а прежде всего потому, что он ближе всех «Отцу» по духу, в этом Коротышка не сомневался.

Серьезные мысли гложут душу, он забывает и про секс-фильм, который не досмотрел, и про Шарофат, и про аппетитный ужин, что специально готовится для него, и даже про золото свояка, полковника Нурматова, в чьей роскошной постели так удобно расположился. И опять всплывает в памяти вроде как некстати Пулат-Купыр. Как с ним все-таки поступить, впервые всерьез задумывается секретарь. Неплохо бы



использовать его авторитет, уважение в народе в своих целях, например, предложить кандидатуру Махмудова «Отцу», тот, наверное, сумеет определить место человеку, не погрязшему в воровстве и бесчестии, порою нужны и такие люди.

И вспоминается ему долгий зимний вечер в Москве в здании представительства, где он провел приятные часы наедине с Верховным, когда уже заканчивал аспирантуру и рвался домой.

Сейчас он не помнит, по какому поводу Верховный высказал эту мысль, да это и несущественно, важно, что она теперь как нельзя кстати всплыла в памяти, считай, спасла Пулата Махмудова от тюрьмы.

«Русские, — говорил «Отец» своим бархатным, хорошо поставленным голосом, — вывели свою аристократию и интеллигенцию в революцию, оставшихся добились в гражданскую, а кто чудом уцелел от того и другого, сгноили в тюрьмах и лагерях или выгнали на чужбину, а двум поколениям их детей закрыли доступ к образованию. Мы должны учесть их опыт и бережно относиться к своей аристократии и интеллигенции».

Выходит, законопачь он в тюрьму Махмудова — нарушит наказ своего учителя, пойдет против его воли, а тот может и разгневаться, да если узнает еще, что отец Махмудова, человек благородных кровей, был расстрелян в тридцать пятом году, и распалась семья, род, а теперь, спустя полвека, история повторилась. Да, малооптимистичная получалась картина, за такое «Отец» не погладит по головке.

«Надо придумать что-то другое», — здраво рассудил он, и, значит, в ближайшие дни ничего страшного не грозило Пулату-Купыру. А там кто знает, настроение у Наполеона переменчивое...

Сегодня ему хочется думать только о приятном, хватит для него изнурительной борьбы с Махмудовым, весь день сломал, выбил из колеи...

И вдруг до него доносится из кухни песня, поет Шарофат, — у сестер Касымовых приятные голоса, об этом знают все в округе, — сегодня у нее хорошее настроение, и он доволен собой, что решил остаться на ночь, хотя дел — невпроворот. И, смягчаясь душой, решает, что не совсем справедлив к нынешнему дню, даже если и испортил ему кровь упрямый Купыр-Пулат.



«Вот если «Отец» сделает меня своим преемником, — пре-  
дается он вновь сладким мечтаниям, — перво-наперво перекрою  
всю карту, сокращу области, оставлю их всего четыре-пять...  
Ведь правил же краем один генерал-губернатор Кауфман с не-  
большой канцелярией и без современных средств связи, дорог,  
автотранспорта, авиации». А взять хотя бы Саида Алимхана,  
владыку Бухарского эмирата, остатки казны которого переко-  
чевали теперь к нему, — и тот правил с минимальным штатом.  
И толку будет больше, и меньше конкурентов, а уж пять-шесть  
верных людей, которые тоже поклянутся ему на Коране, он  
всегда найдет.

От канцелярии Саида Алимхана мысли невольно переключаются на остатки казны эмира. Коротышка с наслаждением вспоминает, как доставили ему верные люди и ханское золото, и его хранителя, некоего садовника Хамракула, служившего при дворе с юных лет. Сообщение о золоте эмира казалось столь неправдоподобным, что он распорядился немедленно разыскать Хамракула-ака, и того привезли через три часа из района Купыр-Пулата. В обкоме шло совещание, но Юсуф дал знать, что задание выполнено, и Тилляходжаев быстро свернул заседание. Сославшись на экстренные дела, выпроводил всех, и более того, велел помощнику отпустить секретаршу и запереть дверь, чего не делал даже тогда, когда принимал в комнате отдыха женщин.

Увидев золото, много золота, он тут же потерял интерес к старику и не стал задерживать того, хотя поначалу мыслил принять внимательно, с почтением. Он и слушал его вполуха, и ничего толком не запомнил, потом Юсуф пересказал ему подробно: что, где, когда, откуда. В тот момент Коротышка хотел как можно скорее остаться наедине с хурджином, в котором старик хранил остатки эмирской казны. Вначале, ослепленный блеском золотых монет, он намеревался щедро отблагодарить Хамракула-ака, дать ему две-три сотни денег, и даже в душевном порыве полез в карман за портмоне, но в последний момент передумал и велел Юсуфу накормить аксакала и лично доставить его домой, — этим он избавлялся от помощника на весь вечер.

Оставшись наконец один, осторожно высыпал содержимое хурджина на знаменитый ковер, — такая замечательная





получилась картина, что хозяин кабинета даже на какую-то минуту пожалел, что никто не видит лучшей на свете композиции — золото на красном ковре! Что там Рубенс, Гойя, Моне, Дали, Рафаэль, Тициан, «Мона Лиза», «Джоконда», «Девятый вал», «Утро в сосновом бору», реализм, кубизм, модернизм, импрессионизм. Вот он — настоящий импрессионизм, реализм, поп-арт, радуется не только глаз, но и душу, золото само есть высшее искусство!

Все шедевры мира вряд ли могли так всколыхнуть его душу, как содержимое грубого шерстяного хурджина, обшитого внутри заплесневелой кожей.

О, как пьянила голову эта картина, ноги сами просились в танец. И он пустился в сумасшедший пляс вокруг сверкающей на ковре груды золотых монет и ювелирных изделий. Никогда он так азартно не танцевал ни на одной свадьбе, как в тот вечер у себя в обкомовском кабинете. Выплясывал до изнеможения, а потом свалился рядом и сгреб все золото к груди. «Мое! Мое!» — хотелось кричать во весь голос, но не было сил — выдохся.

В тот вечер он долго не уходил с работы. Ничего не делал, просто лежал рядом с золотом, осыпал себя дождем из монет, перекладывал их с одного места на другое, строил из червонцев башни, даже выстелил золотую дорожку посреди ковра — удивительно приятное занятие, не хотелось складывать золото на ночь обратно в хурджин и прятать в сейф. Он сейчас прекрасно понимал свояка, полковника Нурматова, пересчитывающего по ночам деньги, — редкое удовольствие, можно сказать, хобби, мало кому в жизни выпадает счастье играть в такие игры.

Он так ясно видел тот вечер, даже слышал звон пересыпаемых из ладони в ладонь монет. О, звон золота! Теперь он знал, как он сладок! Он закрыл глаза, словно отгородясь от предметного мира, чтобы слышать только ласкающий сердце и слух звон, и не заметил, как задремал.

И снится ему, покоящемуся на мягких китайских подушках лебяжьего пуха, под сладкий звон золотых монет, странный сон... Будто идет бюро обкома и входит он к себе в кабинет из комнаты утех в халате из гардероба полковника Нурматова, расшитом золотыми динарами, подпоясанный шелковым пояском, а на груди у него сияют три ордена Ленина и Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, которую Шарофат



игриво называет «Гертруда», и депутатский значок, естественно, — он поважнее любых «Гертруд» и оттого называется «поплавок», ибо только он гарантирует непотопляемость на все случаи жизни. Такого фирмана нет ни у одного сенатора, ни у одного конгрессмена, ни в какой стране не отыскать, разве только покопаться в прошлом. Поистине, императорская пайцза!

«Здравствуйте, я ваш новый император», — говорит он, низко кланяясь собравшимся на бюро.

«Долой! — взрывается зал. — Не хотим богдыханов и мандаринов! Да здравствуют конституционные свободы!»

Анвар Абидович оглядывает роскошный халат начальника ОБХСС и понимает, что напутал с гардеробом. В паузе он успеваает выкрикнуть в возбужденный зал:

«Товарищи, не волнуйтесь, я сейчас», — и мигом скрывается в комнате отдыха.

Появляется он в парчовом халате, в белоснежной чалме, и на лбу у него горит алмаз «Владыка ночи» невиданных каратов.

«Я решил переименовать Заркентскую область в Заркентский эмират и прошу называть меня отныне — ваша светлость, ваше величество...»

Какой шум поднялся в кабинете, он не помнил таких волнений ни на одном бюро!

«Долой самодержавие! Долой принцев крови! Свобода! Демократия! Долой сухой закон!»

И Коротышку опять словно ветром сдуло из родного кабинета, но не успели остыть страсти, как он снова предстал перед товарищами по партии.

Зеленовато-красный мундир и белые панталоны оказались непривычны ему, да и высокие сапоги с ботфортами жали, но он, придерживая спадающую треуголку (привык, что ни говори, к тубетейке), твердым шагом прошел к родному столу и рявкнул:

«Начинаем бюро Заркентского обкома».

Какой свист, улюлюканье поднялись за столом-аэродромом — ни дать ни взять какой-нибудь парламент, где депутаты иногда сцепляются в рукопашной.

«Монархия? Нет! Долой карточную систему и талоны! Спиртное народу! На Корсику!» — кричал тишайший начальник областного собеса, и ему вторили все остальные.



Прихрамывая, держа под мышкой треуголку, под которой оказалась наманганская тубетейка, он вновь поплелся переодеваться. На этот раз выбирал костюм более тщательно. Китель, застегнутый под горло, галифе защитного цвета, мягкие, из козлинки, сапоги. Он еще застал такую униформу и чувствовал в ней себя уютно, надежно.

Вошел в зал задумчиво, заложив кисть правой руки за борт кителя между третьей и четвертой пуговицами сверху. Но что стали вытворять знакомые товарищи, хотя он не успел еще и слова сказать.

«Какие нынче времена! Выгляньте в окно! Нет возврата к галифе и защитным френчам! Да здоровствует Карден, Хуго Босс, Зайцев и Адидас!» — размахивал невесть откуда взявшимся красным знаменем, со знакомым серпом и молотом, грузный, с одышкой, заведующий отделом легкой промышленности.

«Ну ладно, — согласился Коротышка, — у меня осталась еще одна попытка». Видимо, у них на предыдущем бюро сложился какой-то заговор.

Он вновь вернулся к своему гардеробу в комнате отдыха и достал обыкновенную английскую тройку фирмы «Дормей», светло-серую с тонкой голубой полоской. На таком фоне особенно выигрышно смотрелся вишнево-красный, скромный депутатский значок.

И — о Аллах! — как все вдруг переменялось в просторном кабинете с красным ковром! Стало привычно знакомым, родным. Его появление встретили стоя, бурными аплодисментами, взволнованными криками. Но какое тепло исходило от этих здравиц! Каждое знакомое до слез лицо лучилось улыбкой, доброжелательностью, не верилось, что еще полчаса назад они неистово требовали: свободы печати, выборности органов, изменения правовой системы, каких-то конституционных свобод и гарантий — в общем, всякий бред..

«Начнем, товарищи», — жестко сказал он, занимая карликовый стул, и тут же проснулся..

На кухне продолжала петь Шарофат, рядом на полу лежал халат с драконами, но без золотых монет, и Анвар Абидович успокоился..



А в это время в гостиничном номере томился неведением Купыр-Пулат. Он и представить не мог, какой страшный, многоликий, беспринципный человек противостоял ему.

То, чем Наполеон хотел просто попугать, действительно встревожило Махмудова, обком он покидал в большом расстройстве и смятении, — хозяин области добился-таки желаемого результата.

С приходом Тилляходжаева в область пошла крутая смена кадров, и Махмудов порой не знал, кому позвонить, с кем посоветоваться. Несколько человек из прежней «команды», уцелевших на своих местах и хорошо знавших его, были настолько напуганы силой и влиянием секретаря обкома, что вряд ли в чем помогут, их более всего волновали сейчас собственные кресла. И нравы очень изменились в местной партийной среде, — он остерегался довериться кому-то: где гарантия, что через полчаса разговор не станет достоянием Тилляходжаева, слышал он и такое. Испугало не на шутку и предупреждение об уголовной ответственности. Что это значит? Как понимать? Уже ждет сфабрикованное дело и готовы присягнуть на чем угодно и в чем угодно преданные лжесвидетели? И такие факты были известны в области. Впрочем, когда в районе вмешиваешься во все хозяйственные и административные дела, нетрудно подыскать и «объективную» причину для возбуждения уголовного дела, ведь реальные условия и потребности сплошь да рядом не стыкуются с законами, а крючкотворы от Фемиды всегда готовы услужить власть имущему. Даже если, по счастью, и выпутаешься из ложных наветов, докажешь, что кристально чист, — окажется, что в партии уже не состоишь, потому что, не дожидаясь решения суда, даже до момента предъявления обвинения, тут же лишаешься партбилета. И долго придется ходить, чтобы восстановиться, а пятно — мол, привлекался к суду — останется на всю жизнь, и место твое уже занято тем, кому оно предназначалось.

Как всякий уважающий себя человек, Пулат ощущал, кроме бессилия, жгучий стыд за происходящее, понимал, что на бюро возникнет вопрос и об ордене Ленина, которым наградили его всего полгода назад. Вот орден ему возвращать ни за что не хотелось, — не поднялась бы рука отцепить с парадного костюма.



В гостинице на Купыр-Пулата накатил приступ глубочайшей депрессии, и он даже рассудил, что лучший выход из создавшегося положения — уйти из жизни; тогда все: грязь, бесчестие, ожидавшее его, его детей, семью, — отпадало само собой. Поддавшись этому настрою, он вполне серьезно осматривал номер, но ничего подходящего для осуществления подобного решения не находил. Не мог он выброситься из окна или прыгнуть под поезд, слишком был на виду в области, ему требовалась тихая, скромная смерть, которая не бросила бы ни на кого тени, особенно на тех, кто организует пышные похороны и назначает детям пенсии. Если бы он оказался в роковой час дома, трагедия могла бы произойти наверняка. У него было прекрасное автоматическое ружье «Зауэр», с которым иногда, по осени, он выезжал на охоту. Дома, в своей комнате он устроил бы все как следует, не дал бы промашки — случайный выстрел, несчастный случай. Но, к счастью, шок вскоре прошел...

Наверное, он быстро справился с депрессией, потому что вспомнил своих сыновей-дошколят, Хасана и Хусана, молодую жену Миассар, сыновей-студентов в Ташкенте, от брака с Зухрой, которым предстояло одному за другим защищать дипломы, — каково им будет без отца? Он помнил свое сиротство, интернаты, хотя до детдома в данном случае, наверное, не дошло бы, — Миассар сильная женщина. Но беспокойство за судьбу детей заставило взять себя в руки, и мысль о самоубийстве отошла на второй план.

Нельзя сказать, что покой, самообладание вернулись к нему окончательно, Пулат Муминович все еще находился в подавленном состоянии. В его возрасте, положении потерять власть равносильно катастрофе. Больше двадцати лет он был полновластным хозяином района, и вдруг стать рядовым гражданином, — это все равно что прозреть на старости от врожденной слепоты: узнавать заново людей, мир, потому что в голове у него уже сложился его устойчивый образ.

А чем он будет заниматься, добывать хлеб свой насущный, если исключат из партии? Ведь как инженер он давно дисквалифицировался. Пойдет куда-нибудь завхозом с окладом в сто рублей, или все-таки возьмут его инженером где-нибудь в строительстве с зарплатой в сто шестьдесят? Как на такие



жалкие деньги прокормить, обусть, одеть семью, дать детям образование? Лавина неожиданных вопросов обрушилась вдруг на него, — о таких проблемах жизни он раньше не задумывался, о существовании некоторых даже не предполагал. Одна безрадостная дума вытесняла другую, и не сулила просвета в будущем, если потеряешь должность, а главное — партбилет.

Что делать? Чем жить дальше? Как сохранить честь и достоинство? Он знает, наслышан о слабости Тилляходжаева, его надменности, наполеоновских амбициях... Если приползти на коленях, присягнуть на верность, покаяться, может, и помирует, известно Махмудову и о таких случаях.

Но не может он представить себя кающимся на кроваво-красном ковре, он запрещает себе даже думать об этом — лучше уж умереть! Как потом считать себя мужчиной, отцом, глядеть в глаза любимой Миассар?

Перебирая новые варианты своей жизни, из которых ни один не обещал радостных перспектив, он пытался убедить себя, что не так уж и страшно работать инженером или рядовым служащим. Живут же миллионы людей на скромные зарплаты, не ропщут и вроде счастливы; но праведные эти мысли не прибавляли радости. И вдруг он сообразил, что, задумавшись о будущем, совершенно упустил из виду последнюю угрозу Первого — возможно, бюро проголосует за то, чтобы отдать его под суд...

За что — он не докапывался; зная местные нравы, не сомневался, что повод всегда можно отыскать или придумать. Этот новый вариант будущего испугал своей мрачностью, и жизнь в качестве рядового инженера или прораба уже не казалась беспросветной.

Сколько ему могут дать — три, пять, десять лет? Знал, что мелочиться не станут: гигантомания Первого сказывалась и на приговорах строптивым. Но любой срок виделся крахом, нравственной смертью. В области, — правда, не у него в районе, — понастроены лагеря заключенных, и он ведал, какова там жизнь, условия, нравы, знал и о том, что бывшее начальство, особенно партийное, в тюрьмах выживает редко.

В подавленном состоянии, шарахаясь от одной неприятной мысли к другой, просидел он в номере до позднего вечера. Сгущались сумерки, и следовало зажечь люстру, но страх,



пропитавший душу, словно отнял у Махмудова силы, парализовал волю, и он, как прикованный, продолжал сидеть в кресле, — темнота в дальних углах просторной комнаты навевала тревогу. Весь день не было и крошки хлеба во рту, но голода он не ощущал, хотя, наверное, сейчас выпил бы; но спускаться в ресторан, встречаться с людьми, где многие его знали, не хотелось. Неизвестно, как долго просидел секретарь райкома в таком настроении и как бы дальше развивались события, если бы вдруг не раздался громкий стук в дверь. Очнувшись от тягостных дум, Пулат-Купыр решил, что это не к нему, в соседний «люкс», но настойчивый стук повторился.

«Неужели так быстро раскрутили дело и меня требуют на срочное бюро?» — подумал хозяин номера и поднялся. Включив свет, он на секунду задержался у зеркала, поправил галстук, прическу, ему не хотелось выглядеть жалким и подавленным перед гонцом...

У двери стоял Халтаев, сосед, начальник районной милиции, рослый, гориллоподобный человек. Несколько лет назад перевели его из соседней области к ним в район, раньше он занимал какую-то высокую должность, да крупно проштрафился, и его убрали подальше от глаз, от людских пересудов. Пока окончательно не угасли страсти по прежнему делу, сидел он в районе тихо, смирно, особенно не высывался, но с приходом Тилляходжаева расправил крылья, запетушился, нет-нет, да приходилось райкому вмешиваться в дела милиции. На сегодня у них сложились довольно натянутые отношения. Но сейчас, увидев соседа, Махмудов искренне обрадовался: ему хотелось с кем-нибудь поговорить, может, даже излить душу, — такое состояние, как сегодня у него, наверное, бывало в жизни раз или два, не каждый же день мы всерьез задумываемся о самоубийстве.

— У меня тоже в Заркенте оказались дела, — сказал Халтаев, предваряя вопрос хозяина. — За день не управился. Оформляюсь в гостиницу, и тут увидел внизу вашу фамилию. Думаю, дай-ка загляну к соседу, может, понадобится, тем более днем, в обкоме, слышал от помощника, что Первый вызывал вас на ковер.

— Да, было дело, — как можно беспечнее ответил Махмудов, приглашая гостя в номер.



— А может, мы пойдем поужинаем, мне не пришлось сегодня пообедать, — предложил начальник милиции, оглядывая пустой номер.

— Я бы с удовольствием поел и даже выпил, но, честно говоря, идти в ресторан нет настроения. Мне кажется, что если не весь Заркент, то жильцы нашей ведомственной гостиницы наверняка знают, что я побывал на знаменитом ковре, и мне не хотелось бы выслушивать слова соболезнования и сочувствия.

Халтаев испытующе посмотрел на своего секретаря райкома:

— Но не отчаивайтесь так, безвыходных положений не бывает. Просто вы не привыкли к разносам. Вы же у нас в области передовой, прогрессивный руководитель, даже орден Ленина имеете. А у Первого, я его давно знаю, манера такая — сразу любого лицом в грязь. К подобной обработке действительно трудно привыкнуть, тем более с вашим характером и положением... — И тут же, не закончив мысль, предложил: — А если душа просит выпить — выпьем, я с удовольствием составлю вам компанию. Поскучайте еще минут десять один, я спущусь вниз и распоряжусь насчет ужина.

Вернулся он скоро — в сопровождении двух официанток, кативших тележки; через несколько минут пришла и третья, весьма игриво поглядывавшая на хозяина номера, она принесла на подносе спиртное и минеральную воду. Втроем они быстро сервировали стол и удалились.

Махмудов обвел застолье рукой, усмешливо заметил:

— Такой роскошный стол накрывают по поводу удачи, или праздника, но никак не по случаю панихиды.

На эту реплику Халтаев отреагировал бодро:

— Отбросьте черные думы, еще не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Такую глыбу, как вы, своротить и Тилляходжаеву непросто, он же знает, каким вы авторитетом пользуетесь у народа.

— Уже своротил, — устало ответил Пулат и, перелив водку из рюмки в большой бокал для воды, долил его до краев. Халтаев, молча наблюдавший за ним, проделал то же самое.

— Ну, вам не обязательно поддерживать меня в этом, — мрачно пошутил секретарь райкома, на что начальник милиции вполне серьезно ответил:





— Я привык разделять горе и радость тех, с кем сижу за столом. На меня можете положиться, не тот человек Халтаев, чтобы бросить соседа в беде...

Вроде обычная застольная фраза, в иной ситуации, наверное, он пропустил бы ее мимо ушей, тем более зная о своем соседе не понаслышке, но сегодня она теплом согрела душу, и Халтаев уже не казался неприятным.

Махмудов не испытывал особой страсти к спиртным напиткам, тем более редко пил водку, — о чем, кстати, Халтаев знал, — но внутри сейчас все горело, и ему казалось, что алкоголь заглушит тоску, освободит от давящей петли страха.

Он наполнил бокалы еще раз, и снова до краев.

— Знаешь, Эргаш... — секретарь райкома откинулся в кресле, — видимо, водка, выпитая на голодный желудок, на расстроенную нервную систему, действовала мгновенно. — Наверное, кроме тебя, многие знают, что я попал в беду, не зря же помощника Тилляходжаева кличут «Телетайп грязных слухов». Но сегодня волею судьбы за столом со мной рядом оказался только ты. Спасибо. Если выкарабкаюсь, не забуду твоей верности.

— Обязательно выкарабкаетесь, — заверил начальник милиции, и они выпили без тоста, не чокаясь.

— Еще раз благодарю. Но вроде он вцепился в меня крепко — обещал отдать под суд, — не удержался от жалобы хозяин.

— Вас? Под суд? — чуть не поперхнулся боржомом Халтаев.

— Вот именно — меня. Так что помочь ты мне не в силах. А тот, кто может, кто ходит сегодня в фаворитах, — не стучит в мою дверь, как ты. Вероятно, думает: все, сочтены дни Махмудова.

Халтаев слушал внимательно; для могучего организма полковника два бокала водки только разминка, тем более насчет обеда он соврал — его угощали в чайхане жирным пловом.

Чувствуя, что через полчаса соседа развезет окончательно, начальник милиции сказал:

— Зря вы думаете, что я не могу вам помочь. Не знаю, в чем хотят вас обвинить, почему и как вы попали в капкан, но в свое время я оказал Тилляходжаеву такую услугу, что ему вовек со мной не расплатиться. Кстати, это доподлинные его слова, и я тот разговор предусмотрительно записал на



магнитофон. Так что не паникуйте раньше времени, — посмотрим, чей капкан надежнее...— И Халтаев рассмеялся, довольный собой...

— Не в капкане, наверное, дело, — покачал головой Купыр-Пуллат. — Скорее всего, мой район приглянулся кому-то из его дружков, и он решил его одарить, а может быть, шутя в карты проиграл, ведь, говорят, равнодушен он к игре.

— Возможно...— уклончиво ответил Халтаев. — Да, я слышал, есть люди, которые за ваше место готовы выложить сто тысяч. Мне даже намекали, кто именно уж очень настойчиво рвется в наш район.

— Сто тысяч...— растерянно повторил Махмудов. — За место первого секретаря райкома?

— Да, сто тысяч. За наш район не грех и двести потребовать, все хозяйства, как одно, прибыльны, гребни деньги лопатой. За год все вернуть можно, да еще с лихвой.

От этих слов секретарь быстро стал трезветь:

— И кто же, если не секрет, готов заплатить за мое место сто тысяч?

— Я же поклялся, что готов помочь вам в беде, поэтому какие секреты? Раимбаев из соседнего района. Он председатель хлопкового колхоза-миллионера. Видимо, надоело ему ходить в хозяйственниках, хочет продвинуться по партийной линии, — в Ташкент метит, с большими запросами мужик, и рука мохнатая наверху есть...

— А я живу, как на необитаемом острове, — с горечью вырвалось у Махмудова.

Халтаев взял в руки бутылку, стал наливать бокалы:

— Не расстраивайтесь, сосед. Я и мои друзья не оставим вас в беде. Если надо будет дать отступного за вас — вы заплатим не меньше Раимбаева. Последнего не пожалеем, но в обиду не дадим...

Хозяина номера эти слова растрогали чуть не до слез.

Они долго еще сидели за богато накрытым столом, клялись друг другу в вечной дружбе и любви. Снова приходила игривая официантка, приносила водку, но чары больше в ход не пускала, поняла, что здесь происходит что-то серьезное и мужчинам не до нее, — работала она тут давно и хорошо чувствовала ситуацию. Пулат Муминович не опьянел ни через полчаса, ни через



час, как рассчитывал Халтаев, наверное, разговор его отрезвил или обильная еда: индейка, казы, курдская брынза, зелень, холодная печень с курдюком и особенно чакка — особая кислая творожная масса — нейтрализовали водку, к тому же он обильно запивал ее боржоми.

Постепенно исчез опутавший душу страх, появился какой-то просвет, и жизнь вроде не казалась такой мрачной, как несколько часов назад. Чем дальше катилось застолье, тем больше он уверялся в возможностях Халтаева. Жалел лишь об одном, что за три года не удосужился узнать конкретнее, на чем же погорел в свое время полковник, какие люди стояли за ним и кому он помог сохранить кресла, уйдя в добровольную ссылку на периферию. Раньше этой «мышинной возне», как он выражался брезгливо, не придавал значения, а выходит — зря.

— Так что мне делать, Эргаш, ждать заседания бюро или уезжать домой? — спросил ближе к полуночи секретарь райкома.

— Какое бюро? Огонь надо гасить сразу. Если дело зайдет далеко, тогда и самому Тилляходжаеву трудно будет контролировать положение, я ведь не знаю, в чем он намерен вас обвинить. Впрочем, как я вижу, вам совершенно чужда закулисная возня, борьба за кресла и должности. Вы счастливчик, вам все досталось на блюдечке с голубой каемочкой, я ведь помню вашего тестя Иноятова. Теперь уж поздно вам учиться играть в такие игры, да и не нужно. Доверьтесь мне, я думаю, завтра отведем от вас беду. Предъявлю и я свои векселя, мне кажется, Первый давно ждет, когда обращусь к нему за помощью, не любит никому быть обязанным и хотел бы поскорее рассчитаться со мной, и забыть давний случай. Посмотрим, чья вина, чьи грехи перетянут, хотя готов побиться об заклад, мне он не откажет. Так что, дорогой, спите спокойно, и, как говорится по-русски, утро вечера мудренее. А сейчас я с вами распрощаюсь, пришлю дежурную, чтобы убрала и проветрила комнату, и отдыхайте, набирайтесь сил, завтра нам предстоит сложный день. И последнее, из номера ни шагу, отключите телефон, в обком не ходите, даже если и позовут, — как вы знаете, хозяин скор на расправу.

С тем неожиданно объявившийся полковник и распрощался.

Проснулся Махмудов, как обычно, рано, видимо, многолетняя привычка сказала. На удивление, голова не болела,



хотя он помнил, сколько вчера они выпили с полковником Халтаевым; но душевная тревога, кажется, гасила опьянение. После ухода начальника милиции он принял холодный душ и, разобрав постель, тут же забылся тяжелым сном, — так что осмыслить неожиданно открывшиеся варианты своего спасения не пришлось. Не ощущал он и того гнетущего, животного страха за себя, за судьбу семьи, детей, который изведаль вчера вечером до прихода соседа.

Завтрак принесли в номер, наверное, так распорядился полковник, державший себя в гостинице по-хозяйски, что для него оказалось неожиданным.

Халтаев... Он попытался восстановить детали многочасового застолья, задним числом уяснить сказанное начальником милиции, и порою ему казалось — все это мистика, пьяный бред: сто тысяч, Раимбаев, вексель за прошлые грехи нынешнего секретаря обкома...

Он долго и нервно мерил шагами просторный номер. Велико искушение выйти сейчас отсюда и кинуться защищать свою репутацию обычными путями и способами, без всяких закулисных интриг, в которых он действительно не мастак, как вчера подметил Халтаев. Вся мышьяная возня, слава богу, прошла мимо него, он не знал ее гнусных правил и знать не хотел. Когда другие интриговали, блефовали, подсиживали друг друга, воевали за посты, он работал, поэтому у него сейчас такой район, что за него какой-то Раимбаев готов выложить сто тысяч. Припомнил полковник ему вчера и Иноятова. Что из того, что Ахрор Иноятович поддержал его вначале, помог стать секретарем райкома? Так ведь работал он сам, ему есть чем отчитаться за двадцать лет, есть что показать, и орден Ленина не за красивые глаза дали!

Откуда пошла у нас эта беда, где ее корни? Любой мало-мальский чиновник на Востоке, да, впрочем, и по всей стране, но на Востоке особенно, мнит себя бог весть чем, стоит ему только занять начальствующее кресло. Откуда это чванство? Может, оттого, что издавна на Востоке чтился чин, должность, место? А может, от рабской покорности, зависимости младшего по возрасту от старшего? Скорее всего, и то, и другое вместе. А откуда казнокрадство, взяточничество, коррупция, почему это все повсеместно расцвело пышным цветом, доведя до нищеты



миллионы бесправных, безропотных тружеников? Наверное, не обошлось без доставшихся в наследство традиций, ведь при дворе эмиров, ханов служивый люд, или, как нынче говорят, — аппарат, не состоял на довольствии, из казны не выдавали им ни гроша. Их содержал народ, определенная махалля, район, — и там, в своей вотчине, они и обирали земляков как могли.

Вот почему возникли новые партбаи, сидящие на щедром государственном довольствии и к тому же, как при эмире, еще обдирающие свой же народ до нитки.

Но благородный яростный порыв быстро стихает, и Пулат Муминович, вспомнив наказ полковника, отсоединил телефон от внешнего мира; он чувствует, что его загнали в угол, понимает, что отчасти виноват и сам, но не видит выхода из этого положения — разве что единственный шанс в руках у полковника Халтаева.

Свободного времени хоть отбавляй, но как-то не хочется размышлять о полковнике: кто он, кто за ним, чего хочет, почему вдруг вспылал любовью к соседу и что попросит в награду за спасение? Секретарь не настолько наивен, чтобы принять участие Халтаева за благородный жест, знает, что чем-то обязательно придется расплатиться.

Но вновь всколыхнувшийся в душе страх гонит разумные мысли. Что-то внутри трепещет от крика: «Выжить! Во что бы то ни стало! Сохранить партбилет! Кресло! Власть!»

И с каждой минутой ему все больше и больше кажется, что не грех и чем-то поплатиться, дать отступного, как выразился полковник.

В сомнениях и борениях с собственной слабостью, нереализованных благородных порывах и страхах прошло немало времени... Он то и дело нервно посматривал на часы, но вестей от начальника милиции все не было, не спешил и гонец из обкома. Подошел час обеда, и истомившийся от неизвестности Махмудов хотел спуститься вниз, в ресторан, поесть и пропустить рюмку, — снова расшалились нервы, — как вдруг раздался стук в дверь.

Махмудов, забыв всякую солидность, чуть ли не бегом кинулся к двери. На пороге стоял щеголевато одетый парень, поигрывавший тяжелым брелоком с ключами от автомашины. Учтиво поздоровавшись, он сказал:



— Меня прислал Эргаш-ака, он ждет вас в чайхане махалли Сары-Таш. Пожалуйста, поспешим, плов будет готов с минуты на минуту.

Машина, пропетляв узкими пыльными улицами старого города, вынырнула к зеленому островку среди глинобитных дувалов, здесь и находилась чайхана, куда пригласили секретаря райкома. Молодой человек провел гостя по тенистой аллее, мимо хауза, где лениво шевелили плавниками сонные карпы, и направился в боковую комнату, умело спрятанную за густым виноградником от любопытных глаз. В комнате царил приятный полумрак. Войдя с улицы, с яркого солнца, Махмудов не сразу разглядел мужчин, просторно расположившихся вокруг накрытого дастархана. Шофер под руку подвел его к айвану и сказал:

— Эргаш-ака, вот ваш гость...

Мужчины суетливо поднялись и поспешили поздороваться с вошедшим, лишь Халтаев остался на месте. Он подозвал щеголя и негромко спросил:

— А как дела в банке, обменял?

— Велели приехать через час, — отрапортовал парень и, бесшумно выскользнув из комнаты, наглухо прикрыл дверь.

За столом хозяйничал полковник: он представил гостя собравшимся мужчинам, правда, никого из четверых не откомендовал подробно, просто назвал имя; о самом Купыр-Пулате сказал несколько трогательных слов и, заканчивая, добавил, что их общий долг — помочь благородному человеку, попавшему в беду. Все дружно, шумно поддержали начальника милиции.

Полковник лично разлил водку по пиалам и предложил тост:

— Давайте выпьем, дорогой сосед, за моих друзей, отныне они и ваши, за благородство их сердец, — по первому зову явились на помощь. Я знаю их давно, верные и надежные люди, проверенные делом. За настоящих мужчин!

Потом последовали еще тосты, и даже Пулат Муминович сказал что-то восторженное о полковнике, в тяжелую минуту оказавшемся рядом.

Конкретно о деле — чем помочь, какими методами, через кого — не говорили. Лишь однажды у одного из новых знакомых, Яздона-ака, пьяно вырвалось:

— Нет, я ничего не пожалею для того, чтобы Раимбаев не перекрыл дорогу другу и соседу нашего уважаемого Эргаша-ака,



которому мы, здесь сидящие, обязаны всем, что имеем. Деньги? Что деньги, как говорил Хайям — пыль, песок, деньги мы всегда найдем, пока головы на плечах. Важно друзей поддержать, не дать втоптать в грязь имя благородного человека...

Секретарь райкома, как и вчера, растрогался: он ожидал, что сейчас кто-нибудь разовьет тему шире и он узнает наконец что-то конкретное, но Халтаев вновь увел разговор в сторону.

Когда покончили с пловом и дружно налегли на зеленый китайский чай, вернулся парень, доставивший его в чайхану. Он молча, словно тень, появился у дастархана и подал сидевшему в самом центре Халтаеву полиэтиленовый мешочек. То ли подал неловко, то ли полковник принял неумело, а может, сделано это было нарочито — из мешочка высыпались тугие пачки сторублевок в новеньких банковских упаковках.

— Оказывается, сто тысяч в таких купюрах не так уж и много, всего десять тонких пачек... А мы вчетвером целый дипломат денег принесли, — рассмеялся Яздон-ака.

Халтаев метнул недовольный взгляд на Яздона-ака, и гость понял, что тот сболтнул лишнее. Полковник шуточки не поддерживал, объявил серьезно:

— Вот и мы сегодня явимся в гости не с пустыми руками, и пусть Коротышка докажет, что деньги от Раимбаева лучше, чем от меня, я намерен их внести за своего соседа. А что он любит крупные купюры, так я знаю его давнюю страсть, хотя, как слышал недавно, он уже отдает предпочтение золоту...— И, сложив деньги опять в пакет, полковник небрежно сунул их под подушку, на которой полулежал.

— Можно и на золото поменять, мне как раз на днях двести монет предложили, — упрямо гнул свое Яздон-ака, словно не замечавший недовольства Халтаева.

— Будем иметь в виду и этот вариант, — сказал примирительно полковник, видимо, он не хотел ссориться с Яздоном-ака.

После плова за чаем и беседой прокоротали еще часа полтора. Новые знакомые вспомнили и его тестя, Ахрора Иноятовича, — оказывается, он сыграл в судьбе каждого из них немаловажную роль, и теперь они, в свою очередь, хотели помочь его зятю, тем самым запоздало возвращая человеческий долг. От трогательных слов, историй двадцати-тридцатилетней



давности Махмудов, потерявший всякие ориентиры от навалившейся вдруг беды и последовавших за этим событий, умилился окончательно и почувствовал, что он в кругу искренних и сильных друзей. Поэтому, когда Халтаев, спешивший куда-то, неожиданно свернул застолье, Махмудову было жаль расставаться с Яздоном-ака и его товарищами. Они тоже вроде были рады быстро сложившемуся взаимопониманию с секретарем райкома, попавшим в немилость к всесильному Тилляходжаеву.

После приятного обеда на той же белой «Волге» Халтаев доставил соседа в гостиницу. Уезжая, наказал:

— До вечера располагайте временем по своему усмотрению, можете подключить телефон. Позднее, после местной информационной программы «Ахборот», возможно, поедем в гости.

— В гости? — переспросил, недоумевая, Пулат Муминович. Он хотел как можно быстрее внести ясность в свое положение, а не ходить на званые ужины.

— Да, в гости... — подтвердил полковник, улыбаясь. — К самому Тилляходжаеву домой. — И еще уточнил: — Не на прием, а в гости! — Наслаждаясь растерянностью секретаря райкома, добавил насмешливо: — Может, вы предпочитаете встретиться с ним на бюро или один на один на красном ковре?

Секретарь райкома покачал головой. Полковник с каждой минутой открывался Махмудову по-новому. Да, зря он недооценивал своего начальника милиции...

В гостинице его вновь охватили сомнения, хотя страх прошел, и он уже не боялся за партбилет, не думал и о том, что могут привлечь к уголовной ответственности, — в возможностях Халтаева он теперь не сомневался. Пытался он вспомнить и своих «новых друзей», поклявшихся ему в верности. Кто они такие, и зачем он им понадобился?

Особенно интересовал его напористый Яздон-ака, видимо, соперничавший в чем-то с полковником.

Пробегала и такая мысль: когда же он утратил реальное ощущение жизни, проморгал, не воспротивился как коммунист взлету Халтаевых, Раимбаевых, Яздона-ака и его хватких компаньонов, между прочим, шутя скинувшихся за обедом по двадцать пять тысяч, и почему, за какие заслуги перед государством, народом взлетел так высоко сам Тилляходжаев,





бравший взятки, по утверждению Халтаева, уже преимущественно золотом и торговавший должностями, словно недвижимым имуществом или подержанными машинами?

Но правильная мысль не стыкуется с его нынешними действиями и поступками; те, кого он обличал, и те, на кого сейчас реально рассчитывал, это одни и те же люди. Он чувствовал, что запутался окончательно, и старательно гнал думы, тревожившие совесть. Не стал докапываться дальше до истоков чужих падений и взлетов, поздно вечером решалась его судьба, и она оказалась для него дороже всего на свете, ценнее идей и принципов, которые он проповедовал всю сознательную жизнь. Неожиданно пришла на память пословица, которую он часто упоминал когда-то, работая в отделе пропаганды: «Своя рубашка ближе к телу», — как он клеймил ею всех налево и направо! Сейчас, дожидаясь в душном номере Халтаева, он признал, что личное для него на поверку оказалось тоже дороже общественного, а ведь от других требовал обратного, за это казнил и миловал, в этом и заключалась суть его работы — вытравливать личные инстинкты, если откровенно. Трудно сознаться себе в подобном, но он честно признал сей факт.

Почему — вопрос иной, хотя тут напрашивался однозначный ответ: впервые он по-настоящему глубоко глотнул страх, почувствовал угрозу своему благополучию, жизни, наконец. Неожиданно в его невеселых размышлениях промелькнул образ Инкилоб Рахимовны. Она так же печально глядела на него, как смотрела на открытии помпезного филиала музея Ленина на преемников своего дела, среди которых присутствовал и человек, к которому вечером он с Халтаевым поедет в гости. Проницательный взгляд старой большевички уже тогда заметил, что «последователи» нечисты на руку, лживы, циничны и фальшивы. Может быть, в душе она называла президиум того собрания — жуликоватыми поводырями. Как бы сейчас она назвала его, чью судьбу направила сама, рискуя собственной жизнью, кому передала эстафету идеалов, — перерожденцем, конформистом, просто трусом, жалким обывателем? Единственной отрадой служило то, что она не может считать его жуликом — подобным он себя не запятнал.

Шло время, и сохранялся еще шанс навсегда остаться в народе Купыр-Пулатом, что бы с ним ни случилось; но



желания предпринять иной шаг, чем рассчитал за него полковник Халтаев, так и не возникало.

Снова в сомнениях, страхах, надеждах, раскаяниях, колебаниях прошло послеобеденное время, и опять сумерки застали его в кресле. Оценивая свое положение за прошедшие сутки, отметил, что исчез только животный страх за жизнь, за судьбу детей, остальные сомнения не убавились; однако сегодня, накануне решающей встречи, он уже вяло сопротивлялся им и не искал контрударов. Можно сказать, внутренне уступил — отдался власти обстоятельств, куда кривая вывезет. Чтобы меньше думать, он встал и включил телевизор; какая-то другая, правильная жизнь, совсем не похожая на то, с чем он вплотную столкнулся в последние часы, ворвалась в номер; контраст был столь разителен, что Махмудов впервые за прошедшие два дня рассмеялся. Ирония судьбы: на экране как раз действовал подобный треугольник — энергичный, весь правильный и умный секретарь райкома, еще более умный, мудрый и справедливый, но крутой секретарь обкома и не ведающий сомнений и страха, кристально чистый бессребреник, полковник милиции, постоянно напоминающий своим подчиненным слова Дзержинского о чистых руках и горячем сердце.

Фильм досмотреть не удалось, а жаль, действовала там и компания, похожая на Яздона-ака и его товарищей, правда, тут они и секретарь райкома четко стояли по разные стороны баррикад; интересно, чем бы все это закончилось? Помешал телефонный звонок. Звонил Халтаев. В знакомом голосе произошли разительные перемены, — он едва ли не в приказном порядке велел через десять минут спуститься вниз, но полковник уже не удивлял секретаря райкома.

Приехали к Коротышке затемно, когда прошла не только местная информационная программа «Ахборот», но и закончилось «Время» из Москвы. Халтаев объяснил, что шеф задержался на работе. Встречал сам хозяин, — радушно, с улыбкой, вроде и не было у него с Махмудовым позавчера долгого и изнуряющего обоих разговора. В таких особняках, отстроенных для партийной элиты области еще при Иноятове, Пулат Муминович бывал часто и хорошо знал расположение апартаментов, в которых и заблудиться нетрудно.



Комната, в которую их первоначально провели, отличалась скромностью, можно даже сказать — аскетичностью. Видимо, Тилляходжаев любил поражать гостей, слишком уж заготовленной показалась фраза: «Коммунист должен жить скромно», хотя они с полковником ничем не выразили своего отношения к убранству комнаты. Напомнив для начала о скромности, Анвар Абидович извинился, сказав, что должен оставить их на время, помочь жене накрыть стол.

Едва закрылась дверь, Халтаев заговорщически улыбнулся, мол, знаем и твою скромность, и твой демократизм... Надо же, придумал — помочь жене на кухне... Потом жестом и мимикой показал, что их беседу наедине могут записывать на магнитофон и даже наблюдать за ними каким-то образом, что, впрочем, не явилось для секретаря райкома неожиданностью; все было вполне в духе хозяина особняка: даже прежде чем пригласить за стол, непременно выдерживал в прихожей, мол, знай свое место, понимай, к кому пришел...

Нет, они не сидели молча: полковник, дав понять насчет обстановки, стал оживленно рассказывать веселую байку, которую вроде прервал на пороге дома, причем делал это с таким артистизмом и юмором, что Махмудов в который раз за эти дни подивился разносторонним талантам своего мрачного соседа.

Не зря хвалился вчера Халтаев, будто готов побиться об заклад, что секретарь обкома пойдет на попятную, видимо, действительно крепко сидел тот у полковника на крючке.

Слушая Халтаева, Пулат Муминович вдруг улыбнулся: он вспомнил расположение комнат в доме, — эта никак не могла служить для приема настоящих гостей, видимо, предназначалась для просителей, для визитеров, подобных им, в общем, для камуфляжа — «коммунист должен жить скромно...».

Полковник, вчера и сегодня днем бывший в штатском, сейчас вырядился в парадный мундир, увешанный всякими значками и ромбиками о наличии высшего образования. Ромбиков было два, оба за заочное обучение. В кругу близких людей, под настроение, он весело рассказывал, как все годы, пока учился, преподаватели бегали за его водителем, чтобы тот в срок привез зачетку шефа. Шустрый шофер догадался на третьем году поставить условие: хотите вовремя — гоните и мне диплом. Дали, а куда деваться?..



Только здесь, в комнате, оглядывая ладно сидящий на полковнике мундир, он обратил внимание, что в руках у него нет вчерашнего пакета из банка, — то ли рассовал пачки сторублевок по многочисленным карманам, то ли передал их еще днем, то ли вообще блефовал с деньгами, набивал себе цену, — допускал Махмудов и такой вариант, но додумать на сей счет не дали, появился хозяин дома и широким жестом пригласил к столу.

Стол накрыли в зале, и убранством он разительно отличался от комнаты, из которой они только что вышли, здесь фраза о скромности показалась бы не просто неуместной — смешной. Может, ради этой красивой фразы хозяин и пропустил гостей через комнату скромности? Впрочем, поступки, как и речь хозяина, носили весьма замысловатый характер, все с подтекстом, понимай, как хочешь, постоянные тесты на сообразительность.

Большой, ручной работы обеденный стол из арабского гарнитура на двадцать персон был богато сервирован, — чувствовалась рука хорошо вышколенного официанта. Накрыли на троих, во главе стола сел хозяин дома, а слева и справа от него расположились гости; устроились просторно, как на важных официальных приемах. Пулат Муминович успел заметить, что ножки дубового стула хозяина заметно нарастили, и выходило, что он слегка возвышался над сотрапезниками. По тому, как щедро накрыли стол и не больше десяти минут томили их в ожидании, он понял, что Халтаев действительно что-то значил в судьбе Первого, вряд ли для кого другого, при его амбициях, он бы так расстарался.

Впрочем, своего отношения к полковнику он и не скрывал, хотя подробно о причинах своей симпатии к нему не распространялся, устроил так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы: и Халтаева вроде уважил, и Пулату Муминовичу дал понять, что почем. Опять та же тактика, что и позавчера, и хотя держался за столом как гостеприимный хозяин, и на этот раз сказал кое-что в лоб, без обиняков. Говорил он сегодня мягко, по-отечески, изменились даже обертоны речи, в нем умирал, оказывается, не только писатель, но и прекрасный актер. Вначале обратился к Махмудову, который внимал хозяину молча.



— Я редко меняю свои решения, — говорил Коротышка, как бы раздумывая, грея в руке низкий пузатый бокал-баккара с коньяком на доньшке, — и ваши дни как партийного работника, конечно, были сочтены. Но в дело вмешался случай, провидение, я имею в виду Эргаша-ака, — это судьба, удача, я затрудняюсь, как бы точнее назвать. В принципиальных вопросах я тверд. Спроси меня накануне, есть ли человек, могущий повлиять на вопрос о Махмудове, я бы рассмеялся, сказал бы — такого человека нет, ибо я поступаю по партийной совести. Но сегодня я беру свои самоуверенные слова обратно, есть такой человек, и этот человек — полковник Халтаев.

Хозяин полуобернулся к гостю, дружески кивнул ему, — тот не остался в долгу, приложив руку к груди в знак согласия.

— Вчера я говорил так не потому, что забыл своего соратника и друга, — продолжал Тилляходжаев, — а потому, что не подозревал, что он будет ходатайствовать за вас. А я знаю его как верного и испытанного ленинца и потому не могу отказать ему. Но вы должны запомнить, отказать не могу — ему, а не вам, в этом принципиальная разница. Вам еще предстоит заслужить доверие, хотя отныне, пригласив в свой дом, хотел бы считать вас другом, ибо Эргаш-ака просит, чтобы я протянул вам руку помощи.

Даже эти слова не ободрили Махмудова, он продолжал по-прежнему молча внимать хозяину.

— Но я бы оказался плохим партийным работником, если б руководствовался только эмоциями, личными привязанностями, — нам, коммунистам, такой подход претит. Положение с вами настолько серьезное, что придется все-таки держать ваше личное дело у себя в сейфе. А вам даю шанс искупить вину перед товарищами по партии активной работой, чтобы и впредь район был передовым в области. На днях я с турецкой делегацией наведаюсь к вам в район. Уж не ударьте лицом в грязь. В хозяйственных делах вы все-таки дока, чувствуется хорошее инженерное образование, а вот в вопросах идеологии, кадровой политики... — Коротышка демонстративно вздохнул. — Отныне до полного прощения, так сказать, реабилитации, я хотел бы, чтоб подобные вопросы вы решали с Эргашем-ака, у него верный глаз, хорошая идеологическая закалка, он не подведет. Надеюсь я и на жизненный и партийный опыт, на



такт полковника, чтобы он откровенно не подменял вас, не дискредитировал авторитет секретаря райкома в глазах людей... В общем, даю вам шанс сработаться...

Сидели за столом они еще долго, но только первый большой монолог хозяина дома оказался внятными, ясным, без обиняков, и Махмудов понял, что сохранил пост, уцелел, помилован, хотя и попал под контроль Халтаева. Все остальное время, — а говорил только хозяин дома, — опять шла невнятица, абстрактные построения, аллегории, непонятно к кому относящиеся, к полковнику или секретарю райкома с урезанными полномочиями.

Пулат Муминович видел, что начальник милиции, сияясь понять старого друга, от натуги даже взмок, то и дело вытирая платочком пот со лба. Чувствовалось, что Анвар Абидович ушел далеко не только в должности, — бывший соратник с двумя дипломами никак не поспевал за ходом его мыслей. Откровенно говоря, ничего не понимал и Махмудов. Хорошо, что ситуация с ним прояснилась с самого начала, ибо в «комнате скромности» липкий страх вновь заполнил его душу, доведя почти до обморочного состояния, и сейчас, когда сомнения рассеялись и все как будто стало на свои места, он ощущал такую душевную опустошенность, такую апатию, что уже плохо соображал. Единственное, чего он сейчас хотел больше всего, — остаться наконец одному, да еще, наверное, выспаться. Ему не хотелось сегодня даже анализировать, что же он на самом деле потерял, чем поступился, а что приобрел взамен. Дружбу с секретарем обкома? Равны ли, оправданны ли потери и обретения? Нет, думать об этом не было никакого желания. Слушать Первого приходилось из вежливости, хотя, наверное, следовало все мотать на ус, но он устал, обессилел, понимал туго, а здесь необходима была игра живого ума, соперничество мыслей.

Однако Махмудов все же уловил намек, что отныне хозяин дома с полковником в расчете и что цена, по которой он вернул долг, якобы чересчур дорогая, ибо ради старого друга он вынужден был поступиться партийными принципами, хотя за точность выводов Пулат Муминович не поручился бы, — такой густой вуалью были окутаны сентенции хозяина дома.

Застолье, больше похожее на вялую игру в футбол в одни ворота, мирно катилось к концу, как вдруг, впервые за вечер, неожиданно вошла жена — та самая, которую Анвар Абидович



лично принял в партию, а она узнала об этом, когда он принес ей домой партбилет, — очень красивая, милая женщина, — и, извинившись за вторжение в мужскую компанию, сказала, что хозяина просят к телефону из Москвы. По растерянному лицу супруги можно было догадаться, что звонили не простые люди. По тому, как сорвался Первый, чуть не смахнув со стола тарелки, Пулат Муминович понял: тот ждал звонка или, по крайней мере, знал, кто его вызывает, — не на всякий звонок, даже из Москвы, он бы кинулся сломя голову.

Вернулся хозяин в зал минут через десять, веселый, взволнованный, а точнее, просто ошалелый от радости, куда и солидность девалась! Довольно потирая руки, велел жене сесть за стол, чтобы обмыть столь важное событие.

Оказалось, звонила Галя, дочь Самого-Самого, — Тилляходжаев гордо задрал в потолок короткий пухлый палец. В прошлом году она с мужем, совершавшим инспекционную поездку по линии МВД, посетила Заркент, и он, конечно лично, показал им все достопримечательности — старые и новые, а прием организовал в летней резиденции бывшего эмира, для чего на время распорядился закрыть музей, чтобы высокие гости в полной мере смогли ощутить время и прошлый размах. И вот частный звонок по личному делу, — значит, не забыла, помнит ханский прием.

Галя со своими близкими друзьями из Союзгосцирка зимой собиралась в Париж, и ее личный модельер предлагал сшить каракулевое манто, скрывающее ее, мягко говоря, не субтильные пропорции, для чего требовался особый каракуль, редчайших цветов, золотисто-розовый с кремовым оттенком, ей даже подсказали название — антик. Видела она, оказывается, подобное манто на одной американской миллионерше и с тех пор, мол, потеряла покой.

— Я ее успокоил, — весело говорил хозяин дома, наполняя бокалы, — пообещал, что у нее будет манто лучше, чем у миллионерши. Тот каракуль американцы наверняка купили на пушном аукционе, а он, как ни крути, из Заркента, такой сорт большей частью поступает за границу от нас. Кстати, — быстро переключился он, — Эргаш-ака, не будем откладывать просьбу Галины Леонидовны в долгий ящик. Я знаю, вы из семьи известных чабанов и понимаете толк в каракуле.



Помнится, рассказывали в молодости, что ваш отец некогда отбирал голубой каракуль на папаху Сталину, для парадного мундира генералиссимуса.

— Да, было дело, — ответил растерянно полковник, он еще не понимал до конца, то ли его разыгрывают, то ли действительно звонила дочь Самого.

— Вот вам и карты в руки: пересмотрите во всех хозяйствах каракуль, приготовленный на экспорт и на аукцион в Ленинград, и отберите лучшее из лучшего, один к одному, завиток к завитку, чтобы советская женщина не краснела в Париже перед какими-то американскими миллионерами, а Пулат Муминович даст команду совхозам...

— Хозяин дома, даже не глянув в сторону секретаря райкома, вдохновенно продолжал: — В конце недели я приеду к вам вместе с турецкими бизнесменами, к этому сроку все и подготовьте. А в понедельник лечу на сессию Верховного Совета, сам и доставлю, узнаю заодно, понравилось ли.

С этой минуты, можно считать, застолье только и началось. Если вначале Махмудов думал, что, слава богу, вернется в гостиницу трезвым, то теперь надежды мгновенно улетучились. Хозяина словно подменили, — Пулат Муминович и не предполагал, что он такой заводной. Тилляходжаев поднимал тост за тостом, да за таких людей, что не выпить было просто рискованно, тем более ему, Махмудову, с порочной родословной. Прежде всего выпили за Сталина, носившего папаху из местного каракуля. Потом за мужа Галины Леонидовны, генерала МВД, особенно любившего республику. Выпили и за ее отца. Здравницу в честь него хозяин дома произнес особенно цветистую, жаль, не слышал сам адресат, но, возможно, Тилляходжаев считал этот спич репетицией? А вдруг, чем черт не шутит, придется и за одним столом посидеть, говорят, ничто человеческое генсеку не чуждо, особенно с друзьями, ведь пил же Тилляходжаев с его зятем и любимой дочерью на брудершафт.

Бокалы с шампанским за здоровье великих людей, с которыми, оказывается, хозяин дома был едва ли не накоротке, поднимались раз за разом, — Пулат Муминович потерял им счет. В перерывах между здравицами Тилляходжаев велеречиво рассказывал о своих друзьях-товарищах, называя их небрежно





по имени, а сообщал такие подробности их личной жизни, что у Махмудова закрадывалось подозрение: не провокация ли это, ведь речь шла о людях высочайших званий и должностей. Видимо, страшно было не одному ему: перестал неожиданно потеть и полковник, он окончательно потерял ориентиры и несколько раз смеялся невпопад, — пожалуй, и для Халтаева Коротышка сегодня открывался с неведомой стороны.

Хозяин дома пьянел на глазах, — коньяк, шампанское, да еще в невероятных дозах, делали свое дело, это и успокаивало гостей, прошла мысль о преднамеренной провокации. Среди ночи Тилляходжаеву вдруг захотелось танцевать, и он решил вызвать на дом ансамбль. Гости с трудом отговорили его, заверив, что японский стереокомплекс подойдет как нельзя лучше — он как раз, сияя хромом и никелем, стоял в углу. Включили кассетную деку «Кенвуд», и хозяин потащил всех в пляс, — оргия достигла апогея. Пьян был хозяин, пьяны гости, чуть трезвее выглядел Халтаев; жена, видимо, привыкшая к выходкам мужа, незаметно, еще до танцев, исчезла из-за стола, ее отсутствия Тилляходжаев даже не заметил. Во время национального танца «Лязги», который хозяин исполнял на удивление ловко, с вывертами, вскриками, он вдруг вспомнил еще про одного своего приятеля-покровителя и снова потащил всех к столу. Но последний тост сказать ему не удалось, фамилия всеильного товарища давалась тяжело и на трезвую голову, а заплетавшемуся пьяному языку она и вовсе оказалась не под силу. Коротышка упрямо пытался преодолеть труднопроизносимый звуковой ряд и вдруг как-то мягко осел, оставив бокал в сторону, и уютно упал грудью на белоснежную скатерть.

Тут же из боковой комнаты появился дюжий молодец и объявил:

— Все, отгулялись на сегодня, ребята. Ступайте по домам, да поменьше болтайте, недолго и языка лишиться. — Неизвестно откуда он неожиданно достал и протянул удивленным гостям коробку, где лежали две бутылки «Посольской» водки и закуска. — Я знаю, вы в гостинице живете, так вот, чтобы утром искать не пришлось. Шеф не любит, когда у его друзей голова болит. Традиция в доме такая...

На улице стояла уже кромешная тьма, но под фонарем их ожидала белая «Волга». Водитель, пристроив под голову



чапан, сладко спал, видимо, понимая, что гости могут загулять и до утра.

В машине Халтаев вдруг совершенно трезвым голосом сказал:

— Да, повезло нам с вами, дорогой сосед, крепко повезло...

Секретарь райкома подумал, что полковник имеет в виду удачное разрешение его проблемы и то, что он теперь в дружбе с самим Тилляходжаевым, поэтому легко согласился:

— Конечно, Эргаш-ака, повезло. Спасибо.

Халтаев вдруг нервно рассмеялся.

— Я не это имел в виду... Вам действительно повезло. Я и не знал, что мой старый друг так высоко взлетел, с такими людьми общается-знается... С кем дружбу водит, и кто ему так запросто домой звонит! Да если б я знал, разве сунулся бы со своими старыми счетами, пропади они пропадом? При нынешних связях он бы и меня, как и вас, в порошок стер, в тюрьме сгноил. Повезло, что и говорить — нарвались на хорошее настроение, не забыл, выходит, моей старой услуги, хотя мне теперь и напоминать о ней не стоило... Да уж ладно, Аллах велик, сегодня пронесло... Я ведь года три-четыре не видел его, а как вознесся человек, подумать страшно...

Пулат Муминович, делая вид, что задремал, не ответил, не поддержал разговора. Теперь многое стало ясно из туманных разглагольствований Коротышки: тот откровенно запугивал и ставил на место не только его, но и своего старого друга, видимо, когда-то спасшего его самого от крупной неприятности. И еще он понимал, что тайну, связывавшую этих двоих, не узнать никогда: полковник не рассказал бы об этом никому даже под страхом смерти, ведь цена тайны равнялась его жизни.

Вот как, оказывается, расшифровывалась одна двусмысленная притча с аллегориями, что рассказывал хозяин дома в начале вечера, только сейчас Махмудов получил ключи к отгадке. Что ж, придется в будущем держать ухо востро: не прост, ох как не прост секретарь обкома — по-восточному хитер и коварен.

У гостиницы договорились, что водитель заедет за ними утром попозже, часам к десяти, и они вместе возвратятся домой.

Халтаев напоследок достал из отъезжавшей «Волги» забытую соседом коробку и предложил:



— Давайте зайдем ко мне, выпьем по-человечески. Я окончательно протрезвел после звонка из Москвы, да и от всех речей натерпелся страху, — самое время пропустить по рюмочке «Посольской».

Но Махмудов отказался, сославшись на тяжелый день и, распрощавшись, поспешил к себе в номер — ему не терпелось остаться одному. Несмотря на позднее время, сразу направился в душ, он просто физически ощущал, что вывалился в какой-то липкой, зловонной жиже, и теперь ему не терпелось отмыться. Чувство гадливости не покидало даже после душа, и вдруг его начало мутить, он едва успел вбежать в туалет. Рвало его долго, но он знал, что это не от выпивки и не от переедания — тошнило от брезгливости, организм не принимал его падения, унижений, компромиссов, конформизма, душа жила все еще в иных измерениях.

Ослабевший, зеленый от судорог и спазмов, он добрался до телефона и позвонил ночному диспетчеру таксопарка. Назвавшись, попросил машину в район. Минут через двадцать подъехало такси, и он, не дожидаясь утра, отправился домой, ему не хотелось возвращаться в одной машине с полковником.

### ЧАСТЬ III

*Татарский банк. Полковник с особыми полномочиями.  
Провидец из Алма-Аты. Тайная власть Яздона-ака.  
Парчовый халат для министра рыбной промышленности.  
Убийца из Верховного суда. Шурик, Жираф,  
Святой, Карлик и другие.  
Реквием и аяты по Куньф-Пулату.*

Через год после памятной пьянки в доме секретаря обкома Пулат Муминович отдыхал у моря, в санатории «Форос», недалеко от Ялты. Прекрасная здравница закрытого типа, на берегу, в роскошном саду, рядом проходит граница, что весьма кстати для важных отдыхающих — посторонних тут нет, одна вышколенная обслуга, контингент однороден — партийная номенклатура. Работают в своей среде, живут среди себе подобных и отдыхают так же замкнуто, кастово.



Здесь он познакомился с одним высокопоставленным работником аппарата ЦК Компартии Казахстана: сдружились они при весьма любопытных обстоятельствах. Пулат Муминович на второй день отдыха, после ужина, одиноко стоял возле розария, раздумывая, куда бы пойти, то ли в кино, то ли в бильярдную, и тут к нему подошел этот самый человек и поздоровался на чистейшем узбекском языке. Махмудов искренне обрадовался, решив, что и здесь нашелся земляк, но тот, представившись, объяснил, что он родом из Чимкента, где бок о бок давно, столетиями подряд, живут казахи и узбеки.

Не успели они разговориться, как новый знакомый вдруг заявил, вроде бы некстати:

— Как велика сила дружбы народов, как она расцвела!

От неожиданности Махмудов чуть не выронил бутылку минеральной воды, что давали им на ночь. «Мне только пустой трескотни не доставало на отдыхе», — подумал он, теряя интерес к импозантному товарищу и сожалея о знакомстве.

Но тот, умело выдержав паузу, продолжил:

— Посмотрите, вон два якута, они не спеша отправились в бильярдную. Вот шумные армяне столпились вокруг рослого мужчины в светлом костюме, а грузины расположились в той дальней беседке, они облюбовали ее сразу, сейчас, наверное, кто-то принесет вино, и они будут петь грустные, протяжные песни. Дальше степенные латыши в галстуках чинно выхаживают по аллеям, их чуть меньше, чем армян и грузин, эстонцев приблизительно столько же, но пока они избегают тесных контактов и с латышами, и с литовцами, я наблюдаю за ними уже неделю. А вот украинцы, их так много, что они держатся несколькими компаниями. Расклад можно бы продолжить, но остановлюсь — вы и сами все видите. Остается — Восток, Средняя Азия, вот я и присоединился к вам, теперь и мы наглядно демонстрируем великую дружбу народов.

— Не боитесь? — спросил Махмудов на всякий случай, словно осаживая нового знакомого, страшась провокации.

— Нет, не боюсь. Область национальных отношений — моя профессия. Я доктор наук, крупный авторитет в республике, — улыбнулся тот.

— Любопытно, в своих трудах вы излагаете подобные же мысли?



— Упаси господь, идеология — одно, а жизнь — другое. Мы, ученые, вроде соревнуемся, кто дальше уведет ее от реальности.

— Ну, вы-то преуспели, доктор, все-таки...

— Не скажите, кто преуспел — уже академик, членкор... — и оба рассмеялись.

Злой, острый ум оказался у нового знакомого, жаль, что цинизм разъял его душу, подумал в первый же вечер Махмудов.

Нет, сегодня он вспомнил К. совсем не из-за возникших в стране осложнений национальных отношений. В том году даже сам К., наверное, не предполагал развития столь бурных событий в родной Алма-Ате. Мало кто, если честно, кроме армян и азербайджанцев, знал о существовании Карабаха; кто мог предвидеть обострение национальных проблем в республиках Прибалтики.

Пулат Муминович вспомнил К. по другому поводу. Работал тот в аппарате ЦК долго и собирался там просидеть до глубокой старости. Надежно, выгодно, удобно — даже лучше, чем в сберкассе, — так шутил сам К. За годы работы в аппарате, сменив несколько параллельных отделов, К., как никто другой, знал закулисную жизнь партийной элиты, высших эшелонов власти в республике. В том, что он умен, наблюдателен, ему нельзя было отказать. Темой он владел — по выражению самого К.

Конечно, постоянно общаясь, они не могли не обсуждать положение дел у себя в республиках, не говорить о своих лидерах, известных в стране, между которыми шло негласное соревнование во всем. Один из них остро переживал свое затянувшееся не по сроку кандидатство в члены Политбюро, — оба отдыхающих это хорошо знали.

Пулат Муминович, находящийся с прошлого года в щекотливом положении, и человек куда более осторожный, чем К., больше слушал, мотал на ус, отдавая инициативу разговора товарищу из Алма-Аты. Всякий раз, если вопрос заострялся, он раздумчиво говорил:

— Уважаемый К., что я могу знать из своего районного захолустья? Мое дело — привесы, надои, центнеры, посевная, уборочная, тепло, газ, жалобы низов. Большая политика идет мимо нас, она творится в столицах — людьми не нам чета...



Аппаратчик из Казахстана, конечно, догадывался, что коллега уходит от разговора, но у каждого в жизни свои резоны, а время тогда еще не располагало к откровениям. Впрочем, не исключено, что К. знал об Узбекистане гораздо больше, чем Махмудов, родом он был из Чимкента, а это всего в полутора часах езды от Ташкента.

Как бы там ни было, разговоры К. постоянно крутились вокруг острых и опасных тем, что не раз настораживало секретаря райкома с урезанными правами, но, видимо, что-то жгло того изнутри, и он не мог уже носить все это в себе. Да, рискованные они вели тогда беседы..

Однажды по какому-то поводу у Пулата Муминовича вырвалось:

— А у нас все дела, особенно кадровые, решает только Первый, секретарей ЦК меняет по своему усмотрению..

К. задумчиво произнес:

— Это же прекрасно — сам решает проблемы.

Махмудов вспыхнул:

— Не пойму, все это похоже на беспринципность! То вы за коллегиальность, за партийную демократию, то за ханское единовластие, что же тут хорошего?

К. не растерялся, видимо, он был готов к подобной реакции.

— Дело в том, мой дорогой курортный друг, что у нас республикой руководит не только Первый, а и его помощник, вот что ужасно. Секретарями ЦК, депутатами помывает, по существу, авантюрист, казахский Гришка Распутин. Беспринципный и алчный человек, он даже личную почту Первого из Москвы вскрывает. Какие тут могут быть государственные тайны..

— Как — помощник? — Махмудов едва не поперхнулся. Он не верил своим ушам; скажи это другой, он бы поднял того на смех. Но К. знал, что говорил, и не верить ему было нельзя.

— Да, да, помощник, самый простой! Для полной объективности надо добавить еще одного человека, имеющего на Первого тоже огромное влияние. Некий полковник, начальник особого патрульного дивизиона ГАИ, сопровождающий главу республики повсюду. Вот они вдвоем, опираясь на свои джузы, по существу, и правят Казахстаном.

В тот вечер в Форосе Махмудов долго анализировал услышанное от К.; тот даже не взял слова, что разговор останется



между ними, как заведено в подобных случаях. Но сомнения разрешились неожиданным образом: он вспомнил, что однажды в «Правде», осенью 1964 года, — он и сейчас ясно видел этот разворот, третью страницу, такое она произвела на него впечатление — читал большую уничтожающую статью о главе Казахстана, о методах его руководства, вовсе не изощренных: он просто во всех областях посадил родственников, друзей, людей из своего джуза — и они назывались в газете пофамильно, хотя длинный список включал лишь секретарей обкомов, горкомов и должности на правительственном уровне.

И вот, почти через двадцать лет узнав от К. о новом витке правления старого лидера соседней республики, он не удивился, — все сходилось, так оно и должно было закончиться...

Сейчас, глубокой ночью, во дворе своего дома Пулат Муминович вспомнил о Форосе, уже зная о декабрьских событиях в Алма-Ате, когда всплыло все и подтвердилось сказанное пять лет назад К. о Первом и о помощнике, и о полковнике, и даже такое, о чем вряд ли догадывался и сам К. На деле и соперничество с Верховным из Ташкента оказалось показным, на публику, — они вполне ладили между собой. Известно, что Первый из Казахстана отправил в Ташкент на воспитание своего племянника, совсем в традициях ханского Востока. И племянник получил пост одного из начальников общепита столицы. Непосвященный может усмехнуться — тоже, мол, пост. Однако не следует торопиться с выводами, — владыка знал, чем одаривал. Только один из подчиненных этого племянника, некий Насыр-ака, возглавлявший районный общепит в Старом городе, на свои личные деньги построил под Ташкентом свинокомплекс стоимостью полмиллиона рублей. С размахом был человек! Удвоил, утроил бы свой капитал, да времена изменились, — пришлось государству взять на баланс нигде не зарегистрированный объект.

И соревновались-то оба руководителя, кто больше государственных денег растратит, кто больше пыли пустит в глаза. Построил, например, Верховный в Ташкенте баню в восточном стиле, причудливой архитектуры, так Первый тут же отгрохал в Алма-Ате более современный и комфортабельный комплекс с банями, саунами, бассейнами, «Арасаном» назвал.



Надо отдать должное, ташкентский хан почти всегда опережал алма-атинского, но зато казахский строил роскошнее. Правда, по двум объектам Верховный перещеголял своего алма-атинского приятеля: такого сказочного Дворца дружбы народов и роскошного филиала музея В.И. Ленина не только в Алма-Ате, во всей стране, пожалуй, не сыскать. Попытался ташкентский хан затмить и славу горного спорткомплекса «Медео», бросил силы и мощь на Чимган, да не успел...

Но Пулат Муминович все-таки вспомнил Форос по другому случаю — потому что там еще раз решалась его судьба, его жизнь.

Нельзя утверждать, что после памятной ночи в доме секретаря обкома жизнь его круто изменилась, перемен никто не заметил, даже Миассар, разве что чаще стал навещаться в дом Халтаев, но это отнесли за счет соседства.

Его положение даже укрепилось, — секретарь обкома не раз в официальных выступлениях ставил его район в пример, называл его хозяйства «маяками» в области, а в застольях открыто провозглашал Махмудова другом, примерным коммунистом.

За год Наполеон пять раз посетил его район и всякий раз приходил домой в гости, при этом ни разу не заглянув к Халтаеву, хотя знал прекрасно, что тот живет через дувал; ему было ведомо, что в районах не только каждый шаг Первого оценивается, а даже жест.

«Я должен поддерживать ваш авторитет», — самодовольно говорил Коротышка секретарю райкома, похлопывая его по плечу.

Не ощущал Махмудов и назойливого опекуинства Халтаева; может, выжидал, присматривался полковник, а может, за его спиной, от его имени что и делал, — ведь слух, что теперь он в друзьях с секретарем райкома, тоже пронесся в округе. Серьезных стычек с соседом не было, но под нажимом полковника пришлось все же отдать общепит района Яздону-ака. Через полгода объявился еще один товарищ Яздона-ака, Салим Хасанович, из тех, что обедал тогда в чайхане махалли Сары-Таш, — ему пришлось уступить райпотребсоюз. Хотя вроде и не выпускал бразды правления секретарь райкома, но с каждым днем все больше и больше ощущал себя марионеткой в чужих руках. Это сознание мешало жить, чувствовать себя мужчиной,





человеком, иногда, в особо черные минуты, посещали даже мысли о самоубийстве...

Пятый визит Коротышки в район и послужил причиной очередной депрессии. Случилось это за месяц до отъезда в Форос.

Прибыл он в район неожиданно, без предупреждения, и не один, хотя обычно помощник ставил в известность о поездке своего шефа, давал указания насчет обеда, выпивки, советовал, кого пригласить за стол, а кого, наоборот, не допускать. Впрочем, секретарь обкома появился в тот недоброй памяти день даже без помощника; потом-то стало ясно, чем был вызван поспешный наезд гостей.

Прибыли они в «Волге» аксайского хана, тогда Пулат Муминович впервые и увидел того, хотя слышал о нем много, слишком много. Белую «Волгу» эскортировала юркая машина защитного цвета, на манер военных джипов, и держался джип чуть в отдалении, старался не лезть в глаза. И возле райкома пятеро человек из машины сопровождения стояли особняком, но не спускали глаз со своего хозяина. Все рослые, крепкие, как на подбор, мужчины, у одного на боку висела японская переговорная система, а если внимательно взглядеться, можно было заметить, что они вооружены, причем, две автоматические винтовки лежали на заднем сиденье автомобиля, и чувствовалось, что их не таили.

Нукеры — постоянная свита хана Акмаля, на этот раз необычно малочисленная.

У Пулата Муминовича, увидевшего несколько смущенного Наполеона и державшихся в тени платана людей Арипова, сложилось впечатление, что аксайский хан заскочил на минутку в Заркентский обком, вырвал хозяина из кресла и, не слушая его возражения, заставил ехать к нему в район.

Вот только зачем? Впрочем, догадка его оказалась абсолютно верной, так оно и было на самом деле.

— Ну, Пулат Муминович, с тебя причитается. Какого гостя к тебе привез, знакомься. — Коротышка пытался скрыть растерянность и оттого бодрился, желал выглядеть в глазах Арипова могущественным на территории своей области.

Плотный, коренастый человек, очень просто одетый, не пряча усмешки, явно относящейся к хозяину области, подал Махмудову руку и с достоинством сказал:



— Арипов Акмаль. Много слышал о вас и о вашем преуспевающем районе. Еду в Назарбек по делам, по пути решил заглянуть к вам, а мой старый друг, Анварджан, вызвался меня сопровождать. Уж не обессудьте, что без приглашения, без предупреждения нагрянули.

— Добро пожаловать! — Махмудов широко распахнул двери для незваных гостей, чувствуя, что визит ничего хорошего не сулит.

В кабинете, то ли по рассеянности, то ли намеренно, Коротышка занял кресло хозяина кабинета, и секретарь райкома приткнулся сбоку стола, рядом с телефоном. Маневр не остался незамеченным Ариповым, и он снова усмехнулся. Очень выразительная усмешка, она порою говорила больше слов; эта означала: ну что ты передо мной пыжишься, хозяина области корчишь, коротышка пузатый.

Восточные люди сразу не приступают к делам, и никакой спешке тут нет оправдания, традиции превыше всего, но Анвар Абидович и тут, желая взять разговор под контроль, не справился ни о здоровье, ни о детях, заговорил о племенном конезаводе, которому только полгода назад дал обкомовское «добро». Столь стремительное начало обескуражило даже Арипова, и он невольно переглянулся с хозяином кабинета, и опять усмешка скривила его губы, на этот раз она означала — ну что с него взять, хам есть хам, если он даже о здоровье друга не справился.

Представляя Махмудова, Коротышка отрекомендовал его хану Акмалю как одного из своих близких друзей.

— Акмаль-ака, — начал он с места в карьер, — интересуется твоим конезаводом. Мог бы помочь, подсказать что-то дельное, наверное, слышал, что у него в Аксае есть несколько сотен прекрасных лошадей, а полусотне из них, как говорят знатоки, цены нет. Повезло, что сосед решил взять над нами шефство...

«Чего это его вдруг на шефство потянуло?» — мелькнула у Махмудова тревожная мысль. На филантропа Арипов мало походил, из того, что он слышал о нем, следовало вообще избегать контактов с подобным человеком и радоваться, что находишься не в орбите его интересов. И нукеры, сопровождающие хозяина, на специалистов по коневодству не походили,



за версту чувствовалось — лихие люди, днем, не таясь, с винтовками разъезжают, хотя и в штатском.

— Ну, какой у нас конезавод? — поскромничал Махмудов. Мы же только начинаем — и десятой доли того, что в Аксае в табунах пасется, нет. Вот года через три, я думаю, нам будет чем похвалиться, надеемся выйти на мировой рынок. А за то, что решили нам помочь, спасибо. Я готов послать к вам своих специалистов и, прежде всего, взять на учет всех ваших элитных лошадей, ведь, сами знаете, в племенном деле селекция главное, — ответил он, давая понять, что на конезаводе гостям делать нечего.

Видя, что разговор принимает не тот оборот, хан Акмаль строго глянул на Коротышку и вновь презрительно усмехнулся — мол, к чему эти реверансы, шефство, чушь собачья, скажи честно, зачем приехали.

Напряжение, на миг возникшее в кабинете, разрядила секретарша, пригласив к чаю. Во внутреннем дворике райкома, в саду, накрыли стол. И за столом важный гость делал намеки секретарю обкома, что пора переходить в атаку, а не ходить словесными кругами вокруг да около. Непонятно почему, но тот не решался сказать открытым текстом о цели приезда аксайского хана. Только уже вставая из-за стола, оправдывая свое малодушие, обронил нехотя:

— И все-таки, дорогой друг, покажите нам, с чего начинаете, тайн от секретаря обкома у вас не должно быть.

На конезавод, расположенный в колхозе «Москва», прибыли через полчаса. Когда входили на территорию, Пулат Муминович заметил, что вслед за высокими гостями двинулись люди из джипа, до сих пор они держались в отдалении.

Неожиданных визитеров встретил директор Фархад Ибрагимов, известный в прошлом не только в стране, но и за рубежом, наездник. Увидев Арипова, он побледнел и укоризненно посмотрел на своего шефа, мол, что же ты меня не предупредил. Фархад поздоровался со всеми за руку, но Арипову руки не подал, вроде как не заметил. Пулат Муминович отметил, как от гнева пятнами покрылось лицо аксайского хана, но он сдержался, затаив обиду.

Махмудов знал, что пять лет назад хан Акмаль пригласил Фархада к себе на работу, но, пробыв две недели в Аксае,



несмотря ни на уговоры и щедрые посулы, ни на угрозы, он ушел, сказал: «Я холуем не могу служить и за полторы тысячи рублей», — такую щедрую ставку определил ему аксайский хан. Крепко они повздорили тогда в конюшне, где стояли любимые лошади хозяина. Хан Акмаль по привычке замахнулся плетью, как делал много раз на дню, хотел ударить строптивного Ибрагимова, да не вышло: тот перехватил плетку, сломал ее и бросил в денник к необъезженной лошади. Поздновато вбежали телохранители, успел испортить настроение хану бывший наездник, прокричал в лицо все, что о нем думает. Фархаду крепко тогда намяли бока, — с месяц валялся в больнице. И вот теперь им пришлось встретиться здесь...

«Не в больницу его надо было отправить, а в мою подземную тюрьму и приковать цепью к решетке», — зло подумал хан Акмаль, не ожидавший увидеть здесь своего бывшего конюшенного.

Процессия медленно двинулась вдоль денников. Молодняк шарахался, косил глазом, испуганно ржал — такого количества людей в конюшне еще не видели. Фархад особенно оберегал эту ферму, боялся любой инфекции, не любил, когда подкармливали доверчивых скакунов; здесь стояли лучшие лошади, его гордость и надежда.

Коротышка на конезавод приехал впервые и теперь вроде сожалел, что не может сам представить высокому гостю хозяйство, но по привычке шел впереди и отделялся восторженными словами:

— Смотри, Акмаль, какой красавец!

Или:

— Вот это жеребец, настоящий Буцефал!

Но хан Акмаль не слышал никого, забыл даже про Фархада, взгляд его тянулся вперед. Как только прошли в глубь конюшни, он чуть ли не бегом кинулся вдоль свежевыкрашенных денников.

— Вот он, Абрек! — закричал вдруг он радостно и, не дожидаясь торопившегося следом секретаря обкома, вошел в стойло к знаменитому жеребцу.

Фархад не ожидал от гостя такой прыти. И невольно крикнул:

— Выйдите немедленно из клетки! Абрек в карантине!!



Но хан Акмаль уже ничего не слышал, он гладил шею гnedого красавца и шептал, как одурманенный:

— Абрек, милый! Конь мой золотой, я нашел тебя...

И странно, строптивый Абрек, мало кого подпускавший к себе, склонил к нему изящную шею и терся нежной губой о лицо Арипова.

— Признал, признал меня сразу! — ошалело завопил Арипов.

Меж тем все собрались у денника и с удивлением глядели на эту сцену.

Фархад попытался войти в клеть, но Пулат Муминович, почувствовав недоброе, ухватил Ибрагимова за руку и удивился, как трясло от волнения бывшего жокея.

Прошло пять минут, десять, — хан Акмаль, словно забыв про людей, продолжал разговаривать с Абреком. Коротышка обратился к хану раз, другой, но тот его не слышал, а войти в стойло к Абреку секретарь обкома не решился, слышал, что Абрек неуправляемый жеребец, его боялись даже конюхи.

Пока все с удивлением наблюдали, как гордый Абрек ластится к незнакомому человеку, люди из джипа подошли вплотную к деннику, и Арипов, неожиданно повернувшись, властно приказал:

— Уздечку мне!

Кто-то из сопровождавших услужливо подал необыкновенной красоты уздечку, тяжелую от серебряных шишаков и ярко-красных полудрагоценных камней.

— Нравится? — спросил Арипов, все еще продолжая играть с Абреком, и конь как бы согласно кивнул головой и легко дал взнуздать себя.

Люди в проходе конюшни аж ахнули — Абрек не был так покорен с конюхами, выхаживавшими его с рождения. Удивительное понимание и власть над лошастью демонстрировал хан Акмаль, наверное, он ладил с ними лучше, чем с людьми.

Фархад заворуженно, как и все, наблюдал сцену в деннике и удивлялся поведению непокорного Абрека, — он-то знал знаменитого ахалтекинца совсем другим.

Но когда хозяин Аксая стал выводить лошадь под уздцы из стойла, Фархад словно скинул пелену наваждения и кинулся навстречу с криком:



— Не дам! Не смейте!

Раскинув руки, он прикрыл собой проход из денника, не давая хану Акмалю возможности выйти с конем. Все случилось так неожиданно, всех так размагнитила сцена игры с Абреком, что телохранители аксайского хана замешкались. Опомнились они только тогда, когда Арипов сам с силой толкнул Фархада в грудь и приказал:

— С дороги, собака!

Но тот и не думал выпускать незваного гостя с конем. Хан Акмаль увидел те же пылающие гневом глаза, что и пять лет назад, когда избивали в Аксае бывшего чемпиона.

— Чего стоите? Уберите этого сумасшедшего! — распорядился он, и нукеры втроем навалились на Фархада сзади.

Не успел Арипов сделать с Абреком и десяти шагов к выходу из конюшни, как Фархад, разбросав державших его людей, вырвался и, догнав, вцепился в уздечку.

— Нет, Абрека ты для своей прихоти не получишь! Конь принадлежит государству!

— Какому государству? — издевательски переспросил хан Акмаль.

И вдруг он в мгновение ока налился злобой. Лицо вновь пошло красными пятнами, видимо, вспомнил свое унижение, когда этот конюх, лошажник, полчаса назад не подал ему руки, и неожиданно для всех окружающих он ударил плетью, которую никогда не выпускал из рук, Фархада прямо по лицу. Страшной силы удар рассек бровь и задел левый глаз. Фархад невольно прикрыл глаза ладонью, а обезумевший от злобы аксайский хан продолжал стегать его плетью. Первым кинулся спасать директора конезавода Коротышка, он ближе всех находился к высокому гостю, но хан Акмаль резко оттолкнул его, мол, не вмешивайся не в свои дела. Секретарь обкома знал, что в гневе тот может забить человека до смерти, и вновь попытался остановить разошедшегося любителя чистопородных скакунов.

— Ах, и ты, оказывается, заодно с ним! — вдруг взъярился гость и стеганул плетью Коротышку, да так сильно, что пиджак на его плечах с треском лопнул.

Тут уже распоясавшегося хана сгреб в охапку Махмудов, подоспели и другие на помощь.



Страшная, жуткая до неправдоподобия сцена, но ни прибавить, ни убавить. Махмудову и сегодня неприятно вспоминать об этом...

Откровения К., из которых следовало, что даже такой большой человек, член Политбюро, Первый секретарь ЦК огромной республики, — марионетка в руках помощника-авантюриста и полковника из ГАИ, представляющих родовые кланы, сняли напряжение с души, мысль о самоубийстве как-то пропала сама собой.

«Что я хочу изменить, чего добиться, — рассуждал он в ту бессонную ночь под шум штормящего моря, — если люди надо мной, проповедуя одно, живут и думают совсем иначе?»

Конечно, он, как и всякий другой человек, живущий в республике и мало-мальски соприкасающийся с рычагами власти, был наслышан об Арипове. Но все казалось таким бредом, нелепицей, что не хотелось верить, да и мало походило на правду. Говорили, что однажды в Аксай не пустили нового секретаря обкома партии. Такие же парни из джиба спросили у шлагбаума, которыми была обставлена вся территория Арипова:

— Кто такой, зачем, с какой целью?

И хотя обкомовская машина с тремя гордыми нулями говорила сама за себя, секретарю обкома, как мальчишке, пришлось объяснять, кто он такой и по какому поводу едет в Аксай. Но ни доклад, ни предъявление документов не помогли.

— Отправляйся, дядя, домой и запомни: к нам ездят только по приглашению. А сегодня Акмаль-ака занят, велел не беспокоить.

Так и отбыл хозяин области, член ЦК, депутат Верховного Совета СССР, не солоно хлебавши.

Через несколько дней произошла еще одна стычка с владыкой Аксая, и секретарь обкома собрал экстренное бюро, пригласив строптивного директора скромного агропромышленного объединения поговорить как коммунист с коммунистом. Прождали члены бюро обкома час, другой — нет Акмаля Арипова; послали начальника областной милиции, генерала, и тот вернулся ни с чем, и генерал хану не указ. Тогда секретарь обкома написал собственноручную грозную записку и отправил нового гонца. Через час записка вернулась назад, на обратной стороне малограмотный орденноносец последними



матюками отmaterил партийного лидера области, обозвал щенком и дал срок угомониться, — мол, в противном случае он за его жизнь не ручается.

Мог ли поверить в подобные истории нормальный человек? Не верил и Пулат Муминович. Сейчас, когда наступило время возмездия за развал, за растление партии и народа, выясняется, что ничего не придумано, ни одной детали, все, к сожалению, так и было. Так, и еще куда страшнее..

Многое теперь выясняется, становится достоянием гласности, но даже доказанное, появившееся в прессе кажется диким, абсурдным, ирреальным.

Как старались перещеголять друг друга Тилляходжаев и Арипов, в какие только тяжкие не пускались!

Например, о хане Акмале только еще писалась повесть, а о Тилляходжаеве успел выйти роман и на узбекском, и на русском языках в республике, да еще и в двух журналах. И в Москве в одном уважаемом издательстве торопились угодить, спешили, да не успели на какой-то месяц, — арестовали героя, и тираж пошел под нож. Очерки в газетах, журналах, пожалуй, в счет не шли, разве только в крупных изданиях в Москве — за эти материалы платили щедро. Одной бойкой журналистке за дифирамбы аксайский хан подарил бриллиантовое кольцо. Хотя и щедрым казался Акмаль-ака борзописцам, бухгалтерию на всякий случай он вел четко: где куплено, что куплено, когда и кому подарено, за какие услуги, и счет из магазина подклеивался. Сохранился товарный чек и на кольцо с бриллиантом для персональной журналистки.

Зато фильм о себе Арипов снял раньше, чем заркентский секретарь обкома. Постарались узбекские кинематографисты на славу, чего стоит одна крутая сцена, когда в пургу прямо в пропасть несется отара, а аксайский хан, якобы спасая народное добро ценой своей жизни, стоит на краю обрыва и успевает ухватить одну обезумевшую овцу. Сцена впечатляла! Правда, документалисты не показали отару, специально загнанную в пропасть для выразительности кадра, — снимали четыре дубля. Акмаль-ака никак не мог эффектно ухватить бедное животное. Но, в конце концов, когда от отары остались рожки да ножки, нужный кадр получился, сам Феллини позавидовал бы!





Долго не мог успокоиться Анвар Абидович, узнав, что хан Акмаль запечатлел себя на экране, и срочно стал искать подходы к кинодеятелям в Ташкенте. Но не тут-то было — вежливо, но отказывали. Возможно, Акмаль-ака постарался, чтобы не рекламировали конкурентов. Но не зря Наполеон три года учился в Москве, помогли друзья — вывели на студию Министерства обороны.

Это тебе не местная ариповская самодеятельность, — похвалялся Тилляходжаев в кругу приятелей. И фильм заказал о себе более интеллектуальный, не стал загонять баранов в пропасть, хотя кто-то подал идею: в пику Арипову гнать в ущелье табун лошадей. Но кони — не овцы, могли и затоптать, потому и пришлось отказаться, хотя Анвар Абидович и очень сожалел. Сценарий написала Шарофат, и весь фильм был озвучен ее стихами, — дал заработать и своей пассивности.

Если узбекские кинематографисты, не уложившись в смету, получили щедрое финансирование от аксайского хана, то Анвар Абидович себе этого позволить не мог. Он просто-напросто снял 287 тысяч, отпущенных области на культуру для сельских жителей, и финансировал фильм о себе, дав ему скромное название — «Звезда Заркента». Хлопкоробы, у которых украли почти триста тысяч, не успели увидеть киношедевра Шарофат, — единственными его зрителями оказались следователи из Прокуратуры СССР, дотошно изучавшие биографию секретаря обкома.

Не отставал от «соревнующихся» лидеров местного масштаба и их покровитель, сам Верховный, но тут уж уровень и масштабы были иные, иными были и расходы...

Поднаторев на приписках хлопка, он не гнушался втирать очки на чем угодно. Нужно было к очередной дате рапортовать о пуске обогатительной фабрики в Ангрене, где запланирована линия по добыче золота, — он и рапортовал. Правда, карьеры для комбината только закладывались — не беда, привезли тайком из Маржанбулака два состава руды и отлили к юбилею килограммов десять золота.

Красивая пирамида высилась на столе президиума в день открытия, многие глаз не могли оторвать, бдели и люди из Гохрана.

После пышных речей вручили им опечатанный дипломат, загруженный кирпичами, а золото подарили «Отцу» на память. Из того золота Верховный заказал искуснейшему ювелиру по



особым чертежам две театральные сумочки. Специалисты оценили работу кудесника по сто тысяч каждую. Одну сумочку «Отец» подарил жене Леонида Ильича, а другую собственной супруге — дарить так дарить! Эксперты утверждают, что ни у Екатерины II, ни у королевы Англии подобного ридикюля не было — знай наших!

Слышал Пулат Муминович кое-что и пострашнее о художествах хана Акмаля и Наполеона и опять же не принимал всерьез, уж слишком смахивало это на байки о диком Западе или об итальянской мафии, правда, с местным колоритом.

Рассказывали, что некий Абрам Ильич, преподаватель одного из вузов республики, частенько попадал в вытрезвитель, — имел он слабость к спиртным напиткам. Человек тихий, интеллигентный, он исправно платил за милицейский сервис, не дебоширил. Иногда обходилось и без штрафа: звонили из высоких инстанций, и загулявшего доцента, на той же милицейской машине, с почетом доставляли домой. Но с годами у доцента стал портиться характер.

— Знаете, кто я такой?! Узнаете — ахнете! — начал он страшать своих старых знакомых — работников медвытрезвителя, знавших преподавателя как родного: и какое белье он носит, и какие носки предпочитает, и чем похмеляется по утрам.

Однажды пожилой майор, начальник этого спецучреждения, устав уговаривать расшумевшегося Абрама Ильича, махнул рукой, ну ладно, мол, расскажи нам, кто ты такой.

Абрам Ильич, поддерживая одной рукой спадавшие штаны, — ремень на всякий случай там отбирают, — ткнув в потолок указательным пальцем с массивным перстнем, гордо заявил:

— Я двадцать четыре раза доктор наук и сорок восемь раз кандидат!

Двадцатичетырехкратному доктору наук майор самолично налил рюмочку из личных запасов и уложил спать.

В следующий раз Абрам Ильич вновь стал объяснять, кто он, и снова майор терпеливо слушал распетушившегося клиента, — выговорившись, доцент мирно отправлялся спать.

Так случалось несколько раз подряд, но каждый раз доцент набавлял себе число докторских степеней. Однажды, не выдержав хвастовства, майор пренебрежительно махнул рукой и сказал:



— Меньше надо пить, уважаемый. Прошлый раз вы говорили, что двадцать шесть раз доктор наук, а сегодня уже двадцать восемь!

Как взорвался тут обычно спокойный доцент!

— Да, — сказал он, — за эти три месяца по моим докторским диссертациям защитились двое, оттого и двадцать восемь! — И в гневе назвал темы диссертаций и кто по ним защитился.

Диссертации у Абрама Ильича оказались самые разные, но в основном по обществоведению, превалировала тема дружбы народов, варьировалась она в семидесяти вариантах. Имелись и труды по литературоведению: положительный герой современной прозы, поэзии, драматургии, или тема труда в прозе, поэзии, драматургии, или — национальный характер в прозе, поэзии, драматургии.

Отдельную полку занимали докторские и кандидатские диссертации по произведениям «Отца», но эти труды он давал не всякому, стоили они дороже всего.

В огромной, довоенной постройке квартире доцента две комнаты до потолка были уставлены диссертациями на все случаи жизни, все строго по темам, одних каталогов насчитывалось двадцать четыре. Надежный, не знающий перебоя и простое научный конвейер! Если необходимая диссертация отсутствовала, он тут же связывался с коллегами по научному бизнесу в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Новосибирске, и научный труд через неделю приходил авиабандеролью, — фирма работала четко, оперативно.

Разглагольствования Абрама Ильича продолжались, и осторожный майор вынужден был предупредить людей, о чьих научных трудах ведутся любопытные дискуссии в вытрезвителе. Абраму Ильичу жестко посоветовали держать язык за зубами, и доцент не только замолчал, а и с год не попадал в гости к майору. Но потом случился какой-то сбой — и все повторилось снова; на этот раз доцент распинался перед друзьями-собутельниками в палате вытрезвителя насчет докторской, написанной за секретаря обкома; похвастался, что от него же поступил заказ на докторскую ко дню рождения для жены начальника ОБХСС области.

Через день после того, как к тому времени уже тридцатикратный доктор наук упомянул о диссертации Анвара Абидовича,



его сбил тяжело груженный самосвал. Машину с щебнем оставили на месте преступления. Махмудов знал подробности этой трагедии, потому что грузовик оказался угнанным из гаража автобазы его района. То, что машину угнали специально для убийства, у следователя не вызывало сомнения, настораживало другое — почему не нашли транспорт поближе или в самом Заркенте. Очень деятельное, личное участие в расследовании преступления принимал полковник Халтаев, но угонщика-убийцу так и не нашли. В конце концов, как водится, списали смерть на дорожно-транспортное происшествие и на то, что погибший, как обычно, был пьян, хотя вдова уверяла, что он уже три дня не брал в рот спиртного, страдая болями в желудке. Боли болями, но экспертиза установила наличие алкоголя в крови и желудке погибшего, — могли и влить бутылку водки, типичный прием, когда совершают преднамеренный наезд...

Махмудов знает, что сегодня ему уже не уснуть, не пытается он даже прилечь, решил встретить своего шофера Усмана бодрствуя. Мысли переключаются на завтрашние дела в колхозе «Коммунизм»: решили на горных склонах у Карасу, неподалеку от его любимого моста, разбить тридцать гектаров виноградника. Семья Ахмаджановых предложила отдать им эту землю в аренду на десять лет, а руководство хозяйства противится: заранее подсчитало, какие большие деньги заработают арендаторы, если дело пойдет у них на лад. А оно наверняка пойдет, потому что жив еще дед Ахмаджановых, Бозор-ака, крепкий восьмидесятилетний старик, он чудом сохранил у себя во дворе какой-то редкий урожайный сорт лозы, а отец и дед самого Бозора-ака испокон веку славились в крае богатыми виноградниками.

Пулат Муминович считал долгом поддержать многодетную семью арендаторов — и лозу возродить в районе, и людям дать почувствовать утраченное чувство хозяев земли. Но туго внедряется семейный подряд в районе, не верит народ после бесконечных шараханий, что затея всерьез и надолго.

Однако сегодня мысли секретаря райкома на семье Ахмаджановых не задерживаются.

... Коротышка хотя и не переводил в Заркент Халтаева, но услугами полковника пользовался регулярно, ему он доверял



больше, чем кому-либо из работников органов, ценил его даже выше, чем свояка, начальника ОБХСС Нурматова. Может, он специально не забирал Халтаева в центр, потому что район был под рукой, каких-нибудь пятьдесят километров от Заркента, и полковник, считай, через день бывал у своего патрона — в крае все знали, что рядовой полковник из района наделен особыми полномочиями.

Только Халтаеву доверял Наполеон обхаживать московских гостей, понимая, как по-глупому недальновидно упустил дружбу с влиятельным зятем самого Леонида Ильича. Теперь-то он строго следил за прибывающими из Москвы гостями. Даже принял по-царски министра рыбной промышленности, хотя, казалось бы, зачем ему, сухопутному владыке, хозяин морских просторов? А так, на всякий случай, сегодня тот рыбой командует, а завтра, глядишь, в народном или партийном контроле будет кресло занимать, тогда дружбу заводить будет поздно.

Принять одно, главное — дать крупную взятку, замаскировав ее под народный обычай, традиции. И тут полковник оказался непревзойденным мастером на все руки. Он придумал простой и безотказный ход, который вроде не ставил в неловкое положение и тех, кто давал, и тех, кто брал, тем более что оставлял лазейку для отказа в получении денег.

В золотошвейных мастерских Бухары полковник заказывал десятками роскошные парчовые и бархатные халаты, шитые золотом, непременно с глубокими карманами. В халат, по традиции, обряжали открыто, принародно — вроде отказаться неудобно, а в кармане лежала банковская упаковка купюр разного достоинства — давали по рангу. Союзному министру полагалась самая крупная, из сторублевых.

Несколько лет спустя, когда рыбный министр в Москве будет держать ответ за свои прегрешения, он признается во многих взятках, исключая подношения из Заркента; он был уверен, что ход полковника Халтаева гениален и недоказуем, но и люди, проводившие дознание, не были глупее начальника милиции. Очень удивился бывший министр, когда ему предложили вернуть в казну еще десять тысяч. Он клялся, что ни разу не надевал роскошный халат, повода, мол, не было, оттого и не проверял карманы. Вернувшись домой, министр позвонил следователю: оказывается, действительно вдруг обнаружилась



пачка сторублевок, и завтра он ее сдаст в банк и принесет квитанцию...

Давал Коротышка полковнику и более деликатные поручения, связанные с просьбой «Отца». Тому частенько нужно было проследить за своими противниками в Москве или на отдыхе; на курортах собирали в основном компромат. Обращался Верховный в таких случаях не только к нему, но и к хану Акмалю — у того было настоящее сыскное бюро, и компромат на людей, представляющих интерес, он копил и без просьбы «Отца».

К двойнику китайского императора Первый обращался обычно в тех случаях, когда не хотел, чтобы аксайский хан знал о его интересах. Да и если дело касалось Москвы, «Отец» больше доверял Анвару Абидовичу, знал, что у того есть друг Артур Шубарин, хозяин «теневой экономики» в крае, человек, для которого не было невыполнимых задач ни в республике, ни в столице нашей Родины.

Просьбы «Отца» секретарь обкома адресовал лично Шубарину, его люди по уровню были намного выше халтаевских, да и в Москве Японец, как называли в деловом мире Шубарина, имел много друзей, и просьбы Первого выполнялись особо тщательно, к отчету всегда прилагались снимки, магнитофонные записи.

Пусть и редко, но приходилось Коротышке в интересах дела стыковать Шубарина с Халтаевым, хотя догадывался, что они не любили друг друга, и полковник с удовольствием попотрошил бы Артура Александровича, да знал, что Шубарин ему не по зубам, тот и сам мог кого хочешь пустить по миру...

... Махмудов потрянул головой, пытаясь отогнать мрачные думы обо всех этих малосимпатичных ему людях. Но сделать это было непросто.

Сегодня его судный день, — вернее — ночь, — он проводит ревизию своей жизни, чувствует сердце, что пришло время держать ответ: как жил, как работал, чиста ли совесть?

Нынче то со скамьи подсудимых, то со страниц печати звучат робкие и запоздалые раскаяния, скорее похожие на оправдание, мол, я не знал, меня заставили. Конечно, заставляли, и еще как, — некоторых бедных председателей колхозов



в собственных кабинетах секретари райкомов держали в углу словно нашкодивших учеников: унижением, угрозами и побоями выколачивали согласие на приписки. Все так, против этого не поспоришь. Но и собственного самодурства, не санкционированного «Отцом», на которого нынче все ссылаются — а какой с мертвого спрос? — хватало с избытком.

Он вспомнил один из рассказов Миассар. Однажды она улетала прямым рейсом из Каратепе в Москву. Был полдень, жара на солнцепеке за пятьдесят. Самолет подали вовремя, провели посадку, а взлета все нет и нет, как нет и никакого объяснения, что стало традицией «Аэрофлота»: то полное молчание, то сплошной обман. Духота, невыносимая жара, люди обливаются потом, некоторые уже в предобморочном состоянии, другие сосут сердечные таблетки — в общем, ужас! И только через полтора часа в салоне появился мужчина лет сорока, с элегантным дипломатом, по внешности — явно житель большой столицы. Он не торопясь уселся на свое место в первом салоне — и самолет тут же пошел на взлет, взмыл в небо. И всем без объяснений «Аэрофлота» стало ясно, почему их томили столь долго, — важная птица, значит.

Сосед Миассар по полету, оказывается, знал запоздалого пассажира и, видя ее возмущение, обронил, что тот — научный руководитель сына-аспиранта каратепинского секретаря обкома. В Москве, пока дожидались багажа, Миассар не выдержала, подошла к молодому профессору и без обиняков спросила: «Вам не стыдно, что из-за вас мучились триста с лишним человек?»

Москвич извинился перед Миассар и, прежде чем объяснить свое опоздание, неожиданно поклялся, что больше никогда не приедет в Среднюю Азию. Оказывается, в день отъезда хозяин области пригласил научного руководителя своего сына домой, в гости. Стол накрыт, гость в доме, а секретарь обкома задержался на работе, не явился к назначенному часу. И все же за три часа до отлета сели за богатый дастархан, гость успел и выпить, и закусить, и в подходящий момент напомнил, что ему пора и честь знать, еще и пошутил, мол, «Аэрофлот» ждать не будет. Возможно, хозяйину дома не понравилась мысль о самостоятельности, суверенности «Аэрофлота», а может, еще какие резоны имелись, но он заявил — пока не отведаете плов



в моем доме, не отпущу, а самолет, хоть и не арба, все же подождет. И тут же позвонил начальнику аэропорта, наказав не отправлять московский рейс без его уважаемого гостя...

Другой случай самодурства тоже был связан с «Аэрофлотом», и свидетелем тому стал уже сам Пулат Муминович.

Однажды в обкоме проходило какое-то совещание хозяйственников, куда на всякий случай пригласили всех нужных и ненужных. Когда в алфавитном порядке зачитывали список руководителей предприятий, на месте не оказалось одного начальника небольшого строительного управления.

Надо было видеть, как взъярился Коротышка, мол, что такое, зазнался, и обком ему не указ, хотя ему объяснили, что хозяйственник вылетел в Ташкент на совещание к своему непосредственному руководству в трест. Узнав, что самолет давно поднялся в воздух, он, как и каратепинский хан, позвонил в аэропорт и приказал завернуть его рейс обратно, хотя уже подлетали к Ташкенту. Мало что завернул лайнер обратно, так выслал в аэропорт начальника областной милиции, чтобы тот лично доставил в обком ослушавшегося инженера. Правда, привели неудачливого авиапассажира на совещание без наручников, но, когда полковник милиции отрапортовал о выполнении задания, Тилляходжаев, указывая пальцем на бедного начальника управления, объявил притихшему залу:

— Так будет доставляться каждый, кто станет отлынивать от совещаний в обкоме. Из-под земли достану! — пригрозил он всем.

Тешились властью и вседозволенностью всласть, никто им эти дикости «сверху» не навязывал, сами старались, изощрялись, как могли и хотели...

Купыр-Пулата, всю жизнь проработавшего в глубинке и обремененного хозяйственными заботами, более всего поражал невероятный взлет хана Акмаля, его неограниченная власть в республике. Однажды в Ташкенте, в доме сына, ему довелось случайно увидеть фильм Коппола «Крестный отец». Фильм он посмотрел с любопытством, но следа в душе он не оставил, и секретарь райкома никак не думал, что когда-то вспомнит о нем. А вот пришлось же вспомнить... Когда и у нас опубликовали известный роман, он достал два номера журнала «Знамя» и прочитал уже внимательно. Прочитал, чтобы уяснить для себя





кое-что, — теперь он знал многое из деяний хана Акмаля и из прессы, и со слов следователей, немало поведал ему и Халтаев. Наверное, и Марио Пьюзо, и Коппола, создавая своего героя, опирались на факты, материалы судебной хроники, но даже безудержная фантазия, прославившая их на весь мир, меркла в сравнении с художествами аксайского хана Акмаля, построившего после шестидесяти лет Советской власти собственное ханство, ничем не отличавшееся от феодального.

Чего только стоит общеизвестный ныне факт, что аксайский хан из своего захолустного кишлака, о котором никто почти и слыхом не слыхивал, свалил Председателя Верховного суда республики — такое и дону Корлеоне, наверное, было не под силу. И поводом поначалу послужил тривиальный факт. У одного высокого должностного лица Председатель Верховного суда соблазнил жену, частный, казалось бы, случай. Но не тут-то было! Уязвленный рогоносец решил отомстить, и лучшей мезтью посчитал лишить коварного искусителя кресла. Ибо так сложилось в последнее десятилетие в стране, что достоинство мужчин оценивалось только по их должности. Без кресла они сразу как бы вяли, теряли ореол значимости. Кто знает Восток, Кавказ, тот поймет — страшнее мести и придумать нельзя — без чина человек тут не человек, живой труп. Людей без портфеля, даже если и смотрят в упор, не видят, а какая же женщина польстится на невидимку? Оскорбленный муж в негласной табели о рангах занимал положение куда выше, чем должностной донжуан, оттого и задумал такую страшную казнь. Но не тут-то было, — влиятельные силы оказались и за судьей. Нашла коса на камень! Испробовав все средства, истратив кучу денег и ни на шаг не продвинувшись к цели, видный чин вынужден был поехать на поклон в Аксай к Арипову, иного выхода он не видел..

Сценарий в жизни повторял один к одному литературный сюжет «Крестного отца». Хан Акмаль знал о неожиданном визите высокого гостя, догадывался и о причинах, заставивших того искать справедливости в Аксае, но, тем не менее, неделю томил искателя в коридорах резиденции, прежде чем удостоил своего внимания. Приняв, перво-наперво выговорил, что в лучшие свои дни тот не спешил нанести визит уважения, а когда, мол, приперло, пришел, приполз. Заставил и плакать,



и унижаться, и присягать на верность, как это любят делать на Востоке.

Ни справедливость, ни честь гостя хозяина не волновали, но в отношении Председателя Верховного суда у него давно созрели свои планы, — мечтал он посадить туда своего человека. А тут и случай подвернулся. Выходило, одним выстрелом убивал трех зайцев сразу: и пост существенный в республике прибирал к рукам, и вербовал в вассалы влиятельного человека, чьими руками и собирался скинуть судью, и в глазах окружения поднимал свой авторитет — выглядел ревнителем справедливости, добра, чести.

Досье на судью, как и на многих известных людей, которых он не успел прибрать к рукам, имелось. Грехов у вершителя людских судеб хватало и кроме донжуанства. Снабдив просителя наиболее компрометирующими материалами, хан Акмаль посоветовал неудачливому супругу устроить скандал в здании Верховного суда. Фарс разыграли как по нотам, хотя все выглядело вполне натурально. Судья, чувствуя, что ускользает кресло, без которого он себя не мыслил и без которого, он знал, потеряет к себе интерес не только женщин, бросился к «Отцу»: мол, помогите. А тот только развел руками, объяснив, что подобные инциденты, получившие широкую огласку, не в силах погасить даже он. В общем, спровадили-свалили судью общими усилиями. Накануне Арипов разговаривал с Верховным по правительственному телефону, что случалось почти каждый день, и подсказал, кто должен занять вакантное место, что и было претворено в жизнь.

Всем мало-мальски заметным деятелям в республике аксайский хан любил давать клички, некоторые из них становились широко известными. Секретаря по идеологии своей области он окрестил за долговязость — Жирафом, и человека за глаза иначе и не называли. Но кличка известного человека, как правило, повторялась и в табуне, своим любимым лошадям Арипов давал прижившиеся имена. Не обошел и самого «Отца» — назвал того Шуриком; имелся, разумеется, Шурик с повадками Первого и в конюшне. Своего многолетнего ставленника Бекходжаева, принявшего эстафету у Верховного, за благообразный облик нарек Фариштой — Святым, хотя тот со святостью ничего общего не имел. Другого своего ставленника —



Пиргашева, которого успел посадить министром внутренних дел республики, сместив самого грозного Яллаева, называл ласково — Карликом. Не делал он исключения и для себя, хотя даже и его настоящее имя вслух произносилось редко, чаще всего его уважительно величали — Хозяин. Однако цвел, когда называли его «наш Сталин», на манер каратепинского секретаря обкома, которому больше нравилось «наш Ленин». И уж самым невероятным оказалась его тяга и любовь к фамилии... Гречко, бывшего министра обороны страны. Любил, когда кто-нибудь к месту говорил — «вы как Гречко», но об этой тайне мало кто знал. Видимо, крепко чтит хан Акмаль силу и мечтал иметь армию под рукой, как всесоюзный маршал.

Чем только не тешились, причем стандарты что наверху, что внизу оказались одинаковые. Захотелось Верховному стать ровесником Октября, день в день, он им и стал, и вел отсчет времени своей жизни вровень с державой, и не меньше. Выходило, что в честь него и парады проводились, и салюты палили.

Кстати, любимая и часто употребляемая фраза Коротышки — «коммунист должен жить скромно» — принадлежала «Отцу», верный «ученик» просто-напросто ее украл, как крал все, что плохо лежало. Решил не отставать от «Отца» и его дружок, аксайский хан, утвердивший себе день рождения 1 Мая — во Всемирный праздник трудящихся; наверное, ему тоже в этот день казалось, что все демонстрации и гулянья — в его честь. Ублажил он и свою жену, обозначив ей день рождения 8 Марта, чтобы легальнее принимать подношения, а может быть, и обкладывать двойной данью, раз выпало человеку, по счастью, два праздника сразу.

Но любопытно не тщеславное примазывание своих ничтожных жизней к великим датам страны, а другое: до сих пор не удается найти подлинных документов о рождении ни «Отца», ни его приятеля из Аксяя.

В страсти Коротышки к сестре своей жены было нечто патологическое. Патологической страстью отличался и Арипов: его тянуло к животным, общение с лошадьми он частенько предпочитал общению с людьми. Где-то когда-то аксайский хан услышал, что тот, кто окружен лошадьми, проживет долго, оттого он постоянно множил свой табун, строил дворцы-конюшни, и кони у него содержались куда лучше, чем люди.



Имел он также и льва, и павлинов, и пруды с диковинными рыбами, держал и злобного пса Карахана, перекусавшего в округе не один десяток человек. Пес Карахан и иноходец Саман волновали его больше всего на свете. Притом все живое вокруг, включая и людей, он обожал стравливать. А еще бывший учетчик тракторной бригады любил бои: петушиные, перепелиные, собачьи. Устраивал редкие по нынешним временам развлечения: грызню между жеребцами. Любимый Карахан слыл известным бойцом, загрыз в схватках несколько десятков соперников. Хозяин настолько уверился в силе своего волкодава, что объявил приз в двадцать пять тысяч тому, чья собака одолеет Карахана. Нашелся человек, принявший вызов, и состоялось грандиозное шоу на переполненном стадионе, куда согнали народ радоваться мощи пса великого хозяина. Но Карахан потерпел поражение, и спас его от смерти только пистолетный выстрел. Обещанный приз хозяину, лишившемуся редкой бойцовой собаки, хан Акмаль так и не выдал, — не имел привычки расставаться с награбленным. В хорошем настроении он часто любил повторять: «Я жадный, я очень жадный человек!» — и при этом громко смеялся.

Маниакальная идея о жизни в сто — сто пятьдесят лет никогда не покидала его, оттого он долгие часы проводил во дворцах-конюшнях с мраморными колоннами, резными дверями по ганчу. Там же, в конюшнях, устраивал совещания, приемы, и повсюду под рукой у него были телефоны. Завернувшись в дорогой долгополый тулуп-пустон, на редких, ручной работы текинских коврах он проводил порою целые ночи вместе со своим любимцем Саманом и псом Караханом. С лошадьми он ладил, и даже с самыми дикими, своенравными, злыми; был только один случай, когда его укусил молодой жеребец донской породы. Хан Акмаль тут же вынул пистолет и пристрелил его. Оружием он пользовался часто и, будучи в настроении, долгие часы сам чистил его, никому не доверял.

Лошадей держал много, оттого что любил стравливать жеребцов. Такую прихоть мог позволить себе не всякий хан. Страшное до жути зрелище, когда, хрипя, бьются грудью, копытами озверевшие животные, словно львы, выгрызают друг у друга куски живого мяса. И кровь хлещет по молодым, сильным крупам, и ржание поверженных похоже на стон раненых.



Побежденного жеребца тут же режут, и к вечеру готовится традиционный бешбармак. Хан Акмаль вообще обожал конину, из самых лакомых кусков готовили ему специальную колбасу — казы.

В застолье, расправляясь с остатками бойцовского коня, он любил рассказывать о нем: какой породы, откуда доставлен, какие у него прежде были победы. Что-то каннибальское чудилось внимательному человеку в этих пиршествах, переходящих в оргию.

Признайся Пулат Муминович кому, что с конца семидесятых, кроме двух последних лет, когда арестовали и осудили Наполеона, он не всегда самостоятельно принимал решения, ему бы никто не поверил. Да-да, не поверил. Если судья в футболе захочет подыграть какой-то команде, это не означает, что жульничество увидит и поймет весь стадион или сразу догадается проигравшая команда. Тут способов много, уследить трудно — как карманника поймать за руку... Можно чего-то не заметить или, наоборот, разглядеть то, чего не было, в пылу игры трудно доказать, что не нарушил правила, да и правила толковать можно по-всякому...

Разве Тилляходжаев когда-нибудь требовал противоправных действий или, скажем, денег? Никогда. Кто, кроме него самого, секретаря райкома, докажет, что кругом, на всех ключевых, денежных постах в районе, сидят люди Халтаева — Тилляходжаева?

Люди Яздона-ака и дружки Халтаева оседлали не только доходные места, но и стали депутатами разного ранга, от районного до республиканского.

— Хорошая штука, — не раз пьяно объяснял за пловом начальник милиции, — депутатская неприкосновенность. — И всячески старался обезопасить своих людей депутатским мандатом.

«Чем больше общественных званий и наград, тем меньше шансов сесть», — этот мрачный афоризм тоже принадлежал полковнику, а любимой и часто употребляемой его фразой было короткое: «Посажу!» В его исполнении она имела десятки оттенков, от нее покатывались со смеху и от нее бледнели. Он так сжил с нею, что и расшалившейся внучке грозил по привычке: «Посажу!»



Со времени ареста Коротышки прошло два года. Махмудов не раз задумывался, почему из прежних секретарей райкомов он один уцелел на своем посту. Много думал, анализировал и пришел к бесспорному выводу: его район оказался единственным непотопляемым кораблем, потому что так замыслил Тилляходжаев, ему нельзя было отказать ни в уме, ни в предусмотрительности — нужен был свой маяк, и он его берег.

Сегодня Махмудову запоздало становилось ясно, что еще во времена своего крутого взлета Тилляходжаев думал о тылах, чувствовал, что годы вседозволенности когда-нибудь кончатся; вот тогда-то он и присмотрелся к его району, благополучному из благополучных, да и к нему самому, кого меньше всего можно было обвинить в алчности. Все правильно рассчитал: и район не стал отбирать ради своих прихлебателей или родственников, и на сто тысяч от Раимбаева не позарился, ибо знал — разворуют, растащат новые хозяева все хозяйство за год-два, а ему требовалась курочка, долго несущая золотые яйца. Секретарь обкома нуждался в яркой, богатой витрине, благополучном, без приписок, районе и человеке во главе его — широко мыслящем, образованном, самостоятельном, но в чем-то обязанном ему лично или, грубее — чтоб был у него на крючке. И удалось же! Если не ползал, как другие, по красному ковру, на поводке все равно оказался.

Самостоятельность? Да, он, пожалуй, больше других ею пользовался. Всех задушили хлопком, а ему позволили взамен убыточного хозяйства завести конезавод, ориентирующийся на элитных скакунов. Он вообще тихо-тихо почти вывел хлопок в районе, взяв на себя обязанность обеспечивать Заркент овощами и фруктами.

И Тилляходжаев разрешил, словно предчувствовал, что за хлопок, за приписки и полетят в будущем головы. Разве хоть с одной своей затеей, с которой пришел в обком, он нарвался на отказ? Не помнил такого случая. Может, оттого и выслушивали его внимательно, что приходил не с прожектами — тут хозяин области и сам был мастак, — а с расчетами. Инженерная подготовка мостостроителя приучила его постоянно иметь несколько вариантов проекта, проводить сравнительный анализ, и это очень нравилось секретарю обкома, он ставил его в пример другим. Что-что, а варианты Первый сравнивал быстро и безошибочно.



Кто бы его понял, если бы он вдруг надумал снять с работы председателя райпотребсоюза или главу общепита — никто. Хозяйства и того и другого — лучшие в области, не раз отмечались на республиканском уровне. Повара Яздона-ака дважды представляли узбекскую кухню в Москве, на ВДНХ в дни декады, а план, рентабельность, себестоимость, выработка у них — поистине на высоте, передовики из передовиков, все углы знаменами заставлены, да и жалоб ни из коллективов, ни на коллективы в райком не поступало. Кто же поймет? Да, не простые люди обложили его со всех сторон, ловкие, умные, голыми руками и без крепкой поддержки их не взять...

За эти годы он понял, что Яздон-ака и есть доверенный человек Коротышки, оттого он в тот день их знакомства в чайхане махалли Сары-Таш пикировался с Халтаевым, стараясь сразу поставить того на место, ибо знал, что деньги будет ковать все-таки он. Вот его хватке, энергии, коммерческому нюху, такту, умению властвовать, не бросаясь в глаза окружающим, следовало поучиться.

Года четыре назад, когда хлопковый Наполеон еще был на коне, Халтаев однажды за столом сказал завистливо:

— Яздон-ака? Он, конечно, миллионер, и сколько их у него, никто не знает — три, пять? Он на своих деньгах и дал подняться Коротышке. Все три года, пока Первый учился в академии, мы вдвоем с Яздоном-ака регулярно навещали его, и не с пустыми руками, конечно. Жизнь в Москве очень дорогая, а шеф — человек с замашками, и друзей, как мы поняли, он заводил на будущее. На тридцать персон и на пятьдесят накрывали мы столы в «Пекине» или напротив, через дорогу, в «Софии», — любил он эти два ресторана... Да, было время...

Яздон-ака в райком без повода не приходил и близости с Махмудовым не афишировал, дела решал через Халтаева, соблюдая негласно принятую субординацию.

«Люди, имеющие реальную власть, не должны ее выпячивать», — это кредо Яздона-ака Махмудов узнал поздно.

С его появлением в райцентре за полгода вырос шикарный ресторан, он украсил бы любой столичный город, и подрядчик тут же нашелся, и проект появился. Заведение с момента открытия сразу стало популярным, сюда приезжали кутить даже из ближайших городков, — видимо, так и задумывал



Яздон-ака. Что-что, а индустрию развлечений и человеческие слабости он изучил хорошо. Повсюду понастроили легкие, со вкусом оформленные шашлычные, чебуречные, лагманные, пирожковые, кондитерские, цеха восточных сладостей. Пекли самсу, манты, жарили тандыр-кебаб, коптили цыплят, благо в районе имелась птицеферма. На многолюдных перекрестках уже к полудню дымились огромные казаны плова и кипели трехведерные самовары.

Если кто думает, что торговля живет за счет недовеса, обмера, обмана, за счет того, что недодают сдачи, тот глубоко ошибается, это уже пройденный этап, младенчество. Нынче такие доходы не устраивают, да подобных мелких воришек Яздон-ака и на версту не подпустил бы к делу.

«Клиента надо любить и уважать, кормить красиво, вкусно — вот наша задача», — постоянно твердил он своим подчиненным и в идеале мечтал, чтобы каждая семья, рано или поздно, стала его постоянным потребителем. У него уже работало несколько точек, где принимали заказы на лепешки, самсу, нарын, хасып, и доставляли готовое, с пылу с жару, на дом на мотороллерах.

Какова реальная мощь общепита, вряд ли кто, кроме самого хозяина, знал, потому что две трети заведений принадлежало ему, он их построил и содержал на свои капиталы, в бумагах они не фигурировали. Это несложно, если контролирующие органы сидят у тебя на доволствии. Яздон-ака настойчиво требовал качества: если он куда-нибудь приходил обедать или ужинать, или брал домой что-нибудь из печеного или сладостей — это означало одно: контроль по всем параметрам. Он не любил и не допускал, чтобы его обманывали. От качества зависела реализация, от реализации — прибыли, впрочем, обмануть его было непросто, он знал с точностью до рубля, сколько стоит казан плова или лагмана или сколько выйдет шашлыков из туши барана, — действовал жесточайший хозрасчет, списаний на порчу, за нереализованные обеды он не принимал.

«Грех продукты скармливать скоту», — говорил он; впрочем, скоту ничего и не перепало, хотя у него имелись и откормочная база, и подсобные хозяйства. В подсобных хозяйствах тоже таилась крупная статья дохода. Каждое воскресенье Яздон-ака с помощниками скупал на базаре у частного молодняка. Выпасы откормочного хозяйства находились рядом





с колхозными стадами и отарами, а поскольку у государства подсчет скота по головам, то вместо годовалой телушки и щедушного барашка в загоне Яздона-ака оказывался огромный бык или жирная курдючная гиссарская овца килограммов на сто двадцать. Не за красивые глаза, конечно, происходил обмен, но Яздон-ака выигрывал, и крепко, бесперебойно снабжая свои точки свежим мясом. Хитроумно выстроенный и разрекламированный конвейер: подсобные хозяйства, откормочная база — все это магически действовало на многих, думали, что Яздон-ака нашел рецепт выполнения продовольственной программы. Огромные наличные суммы, что вкладывались в дело, удваивались ежемесячно, только так понимал рентабельность, самоокупаемость Яздон-ака, оттого старались хорошо оплачиваемые искусные повара, потому вдруг сразу полюбили люди в округе общественное питание.

Но тот, кто думал, что сфера интересов Яздона-ака — только общепит, грубо ошибался: он крепко держал руку на пульсе жизни района, начиная от нефтебазы и кончая междугородным автобусным движением.

Число маршрутов и автобусов на автопредприятии, где работал главным инженером сын Яздона-ака, Шавкат, увеличилось ровно в десять раз!

Председателем райпотребсоюза, как выяснилось позже, стал двоюродный брат Яздона-ака Салим, он тоже тогда присутствовал на встрече в махалле Сары-Таш, организованной Халтаевым. Салим Хасанович и сам, конечно, был не промах, но без Яздона-ака ему вряд ли удалось бы поднять обычный средний райпотребсоюз на такую высоту. Половина дефицитных товаров, получаемых областью за прямые поставки партнерам за рубеж меда, арахиса, лекарственных трав, кураги, кишмиша, кожи, каракуля, костей и прекрасного белого вина «Ок мусалас», теперь попадала на склады Салима Хасановича.

Если бы хозяйственники имели реальную власть на уровне партийных работников, то не происходила бы утечка умов из народного хозяйства в партийный аппарат и Тилляходжаев наверняка оказался бы выдающимся предпринимателем, деньги он мог «ковать», что называется, на пустом месте.

Однажды он попросил Пулата Муминовича срочно построить склады для гражданской обороны, сказал, что сверху



поступило экстренное задание. В целях обороны — значит, быстро, качественно и в срок, и такие помещения, оборудованные по последнему слову складской техники, возвели быстрее даже, чем Яздон-ака ресторан.

Через неделю после сдачи объектов Пулата Муминовича вызвали в обком по поводу ввода школ к новому учебному году. На совещании с грозным докладом выступил начальник пожарной службы города, среди прочего он заявил, что ставит обком в известность — с завтрашнего дня опломбирует помещения торговой базы области в Заркенте, как не обеспечивающие сохранность социалистической собственности. Сообщение свалилось как снег на голову, выдвигали всякие предложения, но ни одно не решало проблемы. Просили дать отсрочку на полгода, но пожарник твердо стоял на своем или говорил: только под личную ответственность первого секретаря обкома.

Тогда Коротышка и обратился с просьбой к Махмудову — передать временно торговой базе новые помещения гражданской обороны. Так самые современные богатые складские помещения были переданы тому, кого назвал Наполеон.

Но Махмудов и додуматься не мог, что это всего лишь ловкий ход, умело рассчитанный Яздоном-ака. Догадался он лишь тогда, когда стал получать секретные письма о предстоящих удорожаниях: хрустали, мебели, ковров, паласов, серебряных изделий, золота, кожи, парфюмерии, спиртных напитков, одежды, обуви, трикотажа. Что ни год, дорожало то одно, то другое, иные товары сразу вдвое, втрое за один заход, а через год вновь попадали под повышение. Председатель Госкомцен страны так старался, что рвение его не осталось незамеченным и он получил звезду Героя Социалистического Труда.

Пулат Муминович знал, что на повышении цен, как на валютной бирже, можно сказочно разбогатеть, если, конечно, заранее знать и побольше попридержать товаров.

А знал он потому, что в начале шестидесятых годов, когда ни о каких предкризисных явлениях, о грядущем постоянном повышении цен, инфляции не могло быть и речи, — ибо, судя по газетам, страна семимильными шагами спешила догнать и перегнать Америку, и партия торжественно провозгласила, что нынешнее поколение советских людей будет жить при



коммунизме, — произошло единственное, особо не замеченное населением, двойное увеличение стоимости коньяка.

Пулат Муминович, получив секретное письмо из области, вызвал тогда председателя райпотребсоюза и попросил опечатать склады с остатками коньяка.

Хозяин торговли района удивленно развел руками и сказал: — Помилуйте, какой коньяк? Мы его весь продали. Было у нас четыре вагона, отставали от плана, и весь выбросили в продажу. Жалко, себе пару ящиков на свадьбу не оставил, — сокрушался тот искренне, и тут же из кабинета вызвал главного бухгалтера.

Из бумаг явствовало, что как раз вчера перевели в банк огромную сумму за реализацию спиртных напитков. История на том и закончилась бы, если б ночью его не поднял звонок тестя, Ахрора Иноятовича. Он сказал, что располагает достоверными сведениями о том, что торговые дельцы каким-то образом пронюхали о предстоящем повышении цен, припрятали три десятка вагонов с коньяком на базе его райпотребсоюза, подальше от Заркента, и ждут не дождутся дня, чтобы сорвать огромный куш. Предупредил, что с утра к нему приедет комиссия с чрезвычайными полномочиями и чтобы он сам принял в ней участие. Факты подтвердились, и большая шайка торговых работников тогда оказалась на скамье подсудимых.

Конечно, по тем годам никто и помыслить не мог, чтобы железный Иноятов общался с торгашами, такое и врагам на ум бы не пришло. В чем бы высшие партийные власти ни обвиняли, но только не в воровстве и коррупции — это уже позже, при Леониде Ильиче, все расцвело махровым цветом.

А если уж хозяин области надумал нажить миллионы, тут ему и карты в руки, кто посмеет чинить препятствия. Обо всем этом он догадался задним числом, когда арестовали и самого Коротышку.

Только у начальника областного потребсоюза Ягофарова, шефа Салима Хасановича, взяли на дому одних денег и ценностей на пять миллионов рублей, не говоря о стоимости недвижимого имущества и собственного парка личных автомобилей. Если уж у подчиненных брали по пять миллионов, то у самого хлопкового Наполеона, в могиле его отца, откопали сто шестьдесят семь килограммов золота и ювелирных изделий,



представляющих огромную антикварную ценность; прав, значит, оказался Халтаев, когда уверял, что хозяин берет нынче только золотом.

Собрать за пять-шесть лет десять пудов золота непросто, этим надо заниматься день и ночь, а ведь находил еще время руководить областью, по площади равной Франции. Не дремал и свояк Коротышки, полковник Нурматов, — его взяли в области первым, с поличным, при получении ежедневной дани. За пять лет он успел наносить домой взятки в портфелях и дипломатах свыше двух миллионов.

Читая судебную хронику, Пулат Муминович понял, почему склады базы ювелирторга оказались у него в районе и почему здесь открыли самый большой в области ювелирный магазин «Гранат», директором которого стал Махкам Юлдашев, третий человек, обедавший тогда с ними и внесший недрогнувшей рукой двадцать пять тысяч, чтобы Халтаев откупил у Наполеона район, на который позарился Раимбаев. И только тогда, опять же запоздало, он уяснил, почему четвертый из компании Яздона-ака, Сибгат Хакимович Сафиуллин, занял вроде никчемную должность — директора районного банка, где через год почти полностью сменился коллектив. В районе его так и прозвали — татарский банк, и еще потешались: что же это татары на сторублевые зарплаты польстились? Оказывается, действительно, смеется тот, кто смеется последним. Сегодня Пулат Муминович с горечью понимал, что Яздон-ака не всегда доставал из тайников свои миллионы, чтобы выкупить перед очередным повышением золото, хрусталь, ковры, мебель, кожу, водку — имея в банке хитроумного Сафиуллина, они играючи колпачили государство, не вкладывая в свои аферы ни рубля.

Теперь, когда прошло время, никакая комиссия не установит хищений, — да что вы, их просто не было, все кругом сойдется до копейки, на все найдутся правильные документы. Мозговой трест клана: Яздон-ака и Сафиуллин следов не оставляли, работали чисто, так чисто, что Пулат Муминович под боком у них ходил в дураках. Как, наверное, они измывались над ним, смеялись над его простотой.

После ареста Наполеона Халтаев и его дружки несколько приуныли, но заметного страха не испытывали, знали, что у них все шито-крыто, за руку не схватишь, поздно. Халтаев



много раз по ночам, в форме, уезжал в Заркент, — видимо, помогал семье, родственникам Анвара Абидовича, а может, спасал уцелевшие от конфискации остатки; не так был прост Наполеон, чтобы отдать все сразу: ошеломил с ходу десятью пудами золота и отвел подозрение, а резервная доля, может, как раз у них в районе и хранится?

Из окружения Яздона-ака пропал лишь Сафиуллин. Через год после ряда крупных арестов в области он, не спеша, без суеты оформил пенсию и отбыл в неизвестном направлении. Полномочия свои он сдавал по строгим нормам перестроечного времени, и тем не менее к работе банка не предъявили ни одного замечания, а проверяла комиссия из области. Наоборот, отметили высокопрофессиональный уровень, не характерный для районных масштабов. Не исключено, что, состоя в одной корпорации с Халтаевым, Сафиуллин теперь проживал где-нибудь в пригороде крупной столицы в скромном, но со вкусом отстроенном особняке, только под другой фамилией, очень он был предусмотрительный, дальновидный человек. Пулат Муминович с ним больше никогда не встречался после того памятного обеда, когда он попал в двойной капкан Яздона-ака и Тилляходжаева, и смутно представлял его облик. Сибгат Хакимович даже семью свою не переселил в район из Заркента, каждое утро привозил его в банк зять на собственной «Волге», — ни одного опоздания за все время службы.

Три года как рухнула империя, созданная хлопковым Наполеоном, и, судя по всему, навсегда.

«Теперь-то кто тебя держит за горло, кто мешает жить, сообразуясь с совестью? — задает себе вопрос секретарь райкома. — Что ты сделал, чтобы восстановить доброе имя, почему не разгонишь Халтаевых, Юлдашевых, Юсуповых, обложивших тебя со всех сторон?»

Да что там разогнать, грустно признался он себе, испугался поехать в печально знаменитый Аксай, прогремевший на всю страну, когда арестовали хана Акмаля, любителя чистопородных лошадей.

Скакунов своих, кровных, выросших на глазах, как дети, не пошел выручать, опять опутал душу страх, боялся — спросят, а сколько он вам отвалил за государственных лошадей?



«Доколе будешь жить в страхе?» — спрашивал он себя и ответа не находил.

Вспомнил он и председателя каракулеводческого колхоза Сарвара-ака, человека преклонных лет, своего друга, умершего в прошлом году. Приехал однажды к нему в колхоз, а того на месте нет, говорят — болен, дома лежит. И он отправился навестить старого товарища...

Старик действительно оказался болен — избит, весь в синяках. Увидев секретаря райкома, аксакал заплакал, не от боли — от обиды; говорил, какой позор, унижение, избили на старости лет, как собаку, седин моих не пожалели.

Оказывается, Сарвар-ака, уставший от набегов людей Коротышки, изымавших каракуль, предназначенный для экспорта, припрятал большую партию дивных шкур, — стыдился аксакал поставлять на аукцион второсортный товар. Кто-то продал его — и старика жестоко избили, чтобы впредь неповадно было; видимо, они намеревались грабить народ вечно.

Хоть с этим разберись в память о своем друге, лучшем председателе, с кем создавали мощь района, ведь Сарвар-ака сказал, кто избивал, кто видел и кто донес на него так подло.

Чем больше Пулат Муминович задает себе вопросов, тем ниже клонится его седая голова. Не ищет сегодня он оправданий, ибо их нет, но всегда есть шанс остаться человеком. Для этого надо иметь волю, совесть, мужество, убеждения, принципы. Не утверждает он сегодня: человек слаб, бес попутал, не ищет удобных формулировок и отговорок.

«Помнишь, — говорит он себе мысленно, — однажды тебя даже рвало от общения с ними, а теперь? Если и не пустил в душу, не погряз в воровстве и взятках, все же делишь с ними дастархан, терпишь их рядом, твоя позиция «ничего не вижу, ничего не знаю» дала им возможность без зазрения совести грабить район, наживать миллионы».

А сколько страна потеряла валюты на каракуле, который направо и налево раздавали женам, дочерям, любовницам нужных людей и всяким дамам сомнительной репутации... А твоих элитных скакунов Наполеон дарил ведь не только Арипову, не один любитель скаковых лошадей оказался в стране, много их завелось — партийных боссов с графскими



замашками. С одного конезавода, с таким трудом созданного, считай, миллионы долларов украли.

И неожиданно ему вспомнился Закир-рваный из далекого Оренбурга. Ведь не польстился парень на то, что Осман-турок хотел сделать его своим преемником на Форштадте, потому что не желал есть и пить за счет жуликоватых буфетчиков и рестораторов. И на приисках ни Закир-рваный, ни его друзья-моряки не стали грабить мужиков-золотодобытчиков — а ведь брали их в долю рэкетирь, — потому что нормальному человеку незаработанный кусок хлеба поперек горла стоит.

Не страшнее же был Наполеон Османа-турка, а не устоял, испугался, хотя у обоих, надо признаться, суд короткий, на справедливость и милосердие рассчитывать не приходится. Нелепо наивничать, искать человеческое хоть в том, хоть в другом.

Махмудов смотрит на высокий дувал, красиво оплетенный мелкими чайными розами и цветущей лоницерой, взгляд скользит дальше, в глубь хорошо спланированного и ухоженного сада. Какая красота, оказывается, открывается глубокой ночью при яркой луне, высокое небо шлет покой на усталую землю, но нет покоя у него в душе. Смута и тоска точат его...

И он вдруг понимает, что если сейчас, сию минуту что-нибудь не предпримет, не решится разорвать эту липкую паутину, то так трусливо и гадко, ощущая себя предателем, проживет всю оставшуюся жизнь.

Словно какая-то сила срывает его с айвана, и он решительно направляется к хорошо освещенной калитке, ведущей во двор Халтаева. На просторной веранде горит вполнакала слабая лампочка, и Махмудов стучит в первое же окошко. Сон у полковника, видимо, чуток, — тотчас распаивается дальнейшее окно и показывается лохматая голова хозяина особняка. Он сразу узнает соседа и молча исчезает в темноте комнаты, а через несколько минут выходит уже одетый, причесанный, собранный.

— Что случилось? — спрашивает тревожно начальник милиции, вглядываясь в бледное лицо соседа.

Не станет же секретарь райкома зря поднимать из постели среди ночи.

Две недели назад Халтаев провернул одну операцию, дерзости которой и сам удивлялся. Пришли к нему родственники



Раимбаева и предложили сто тысяч, если он выкрадет того из тюрьмы и снабдит подложными паспортами семью. Не все, значит, вытрясли из подпольного миллионера бандиты и государство. Братья и сестры Раимбаева не сидели сложа руки, успели купить дом в глубинке соседнего Таджикистана. Многие продумали, учли, но вырвать Раимбаева из тюрьмы сами не могли, потому и заявили к полковнику. За паспорта полковник попросил отдельно — двадцать пять тысяч и деньги потребовал вперед, знал: получится — не получится, назад не вернет. Имел он крепкие связи в Верховном суде республики, туда и направился, захватив с собой пятьдесят тысяч.

Быстро вышел на нужного человека и предложил тому вставить фамилию Раимбаева в список помилованных по разным причинам людей. Такие гуманные постановления по ходатайству прокуратуры Верховный суд готовил ежемесячно, многих виноватых, но раскаявшихся вернули семьям.

Но так легко добиться помилования не удалось — бумага проходила через несколько рук; второй раз испытывать судьбу казалось рискованным. Тогда решили пойти на откровенный подлог и подкупили женщину, имевшую доступ к бланкам и печатям. Заполучив фальшивое постановление об освобождении, полковник с братом заключенного лично отправился вызывать бывшего миллионера из неволи.

Прибыли в исправительно-трудовую колонию в воскресенье поутру, когда меньше начальства. Поначалу все шло как по маслу, даже побежали в зону за Раимбаевым, но в последний момент случайно заявился какой-то молоденький лейтенант караульной службы и, ознакомившись с бумагой, решил съездить домой к начальству, получить визу. Как-никак, Раимбаева осудили на пятнадцать лет, а на таких помилования приходили редко.

Как только офицер отбыл с постановлением, рванули с места и Халтаев с подельником. Помощника полковник довез только до ближайшей остановки, а сам напрямик махнул в Ташкент, выжимая из «Волги» невозможное, — знал, что завтра же могут выйти на него. Приятель из Верховного суда оказался дома, полковник объяснил, что к чему, и вдвоем они поспешили к молодой женщине, снабдившей их бланками и печатями. Повод для визита имелся: обмыть удачную операцию





и вручить оставшуюся часть оговоренной суммы — пять тысяч. Чтобы усыпить бдительность соучастницы, банковскую упаковку пятидесятирублевых вручили сразу и поехали пировать за город. Там, на природе, после выпивки женщину и убили, а труп сожгли. Не оставили никаких следов; что и говорить, опыта полковнику не занимать, да и человек из Верховного суда раньше преподавал криминалистику будущим следователям.

«Может, по поводу Раимбаева и исчезнувшей молодой женщины из Верховного суда так рано появился?» — пробежала лихорадочная мысль у Халтаева.

Махмудов наконец-то освободился от страха и сомнений и поэтому заговорил спокойно, как обычно:

— Я думаю, полковник, вам известно: кто добровольно и искренне вернет несправедным путем нажитые деньги, будет избавлен от уголовного преследования.

— Значит, и до нас добираются, — глухо обронил тот и мысленно порадовался, что не с Раимбаевым связан ночной визит.

Секретарь райкома, занятый своими мыслями, пропустил слова Халтаева мимо ушей.

Начальник милиции, не в состоянии выносить долгое и тягостное молчание собеседника, вдруг спросил:

— Что, вас старые друзья из прокуратуры предупредили?

Наверное, следовало промолчать или ответить неопределенно, слукавить, но сегодня Пулат Муминович не хочет ни врать, ни юлить и поэтому отвечает прямо:

— Нет, никто не предупреждал. Мои друзья, к сожалению, не знают, что я живу двойной жизнью, иначе бы давно перестали подавать мне руку. Просто я сам решил, что жить так дальше нельзя. Я виноват, что потворствовал вам, я и даю шанс избавиться от позора и тюрьмы. Рано или поздно все равно правда выплывет наружу.

Халтаев вмиг преобразился, куда сонливость и страх подевались!

— Пулат-ака, возьмите себя в руки, — не губите ни себя, ни друзей. Мы ведь тоже, считайте, вас из петли вытащили. Не будь нас, наверное, валили бы сейчас где-нибудь лес в Коми АССР или еще какой тмутаракани. У вас расшатались нервы, давайте выпьем, посидим часа два-три до рассвета за бутылкой,



а утром поговорим, о чем угодно, и о покаянии тоже. Не так уж плохи наши дела, мы ведь не безмозглые люди, два года прошло, все следы замели. А если боитесь, что сам Тилляходжаев дронет, выкиньте из головы, — на интересе его язык завязан, не скажет больше того, что надо. Помните, он часто говорил: ваш район — заповедная зона! Нет, сюда он прокуратуру не наведет. Прокуратуре без нас дел хватает, мы что — мелкота. Они с верхним эшелонem разобраться никак не могут. Что там говорили на партконференции в Москве насчет четырех, а? Да и борьба идет в Ташкенте и Москве не на жизнь, а на смерть. Прокуратуре республиканской самой впору о помощи просить, у многих ретивых там жизнь на волоске висит, у других от бессилия и руки уже опустились, как ни крути, суды все-таки в наших руках. Я ведь знаю, что и сам прокурор республики, и его заместитель чудом остались живы, когда после отравления попали в больницу. Одного успели вирусным гепатитом наградить зараженными шприцами, хотя кололи и того, и другого. Главные уколы были впереди, да почувствовал неладное их товарищ, милицейский генерал, привез своих врачей, лекарства, шприцы, стерилизаторы, охрану поставил у палаты и переговоры как следует со всем персоналом больницы, вплоть до кухни. Тоже, видимо, смотрят фильмы про мафию, разгадали наш замысел. Так что не бойтесь, не до нас им сейчас.

— Я не этого боюсь, — устало возразил Махмудов. — Боюсь жене, детям, людям в глаза глядеть. Впрочем, я не обсуждать пришел к вам, что мне делать. Я решил твердо и вас предупредил, после обеда поеду в обком, покаюсь, будь что будет.

Чувствуя непреклонность секретаря райкома, Халтаев вдруг пошел на попятную.

— Я ведь тоже не железный человек, весь извелся, ночей не сплю, боюсь — то ли прокуратура подъедет, то ли бандиты нагрянут, у них со мной счеты особые. Не успели вы на веранду подняться, как я с пистолетом к окну. Но если уж вы решили покаяться, и я с вами в компанию, небось пронесет, помилуют, людей не убивал... Впрочем, я знаю одну тайну, за которую мне наверняка снисхождение выйдет...

Гость не проявил к сказанному ни интереса, ни страха, подумав, что опять его собираются шантажировать происхождением.



Полковник, вновь теряя самообладание, заторопился:

— Уже три года на Лубянке хан Акмаль не выдает тайны, где у него деньги спрятаны. А я знаю, случайно догадался, когда доставлял Цыганку из ваших племенных конюшен в Аксай. Лошадь сутки по прохладе гнали с одним доверенным Акмаля-ака, он по пьянке мне и проболтался...

— Да, пожалуй, за такое сообщение действительно многое могут простить, — несколько оживился ночной гость, он ведь знает, о какой астрономической сумме идет речь.

— У меня от вашего решения, Пулат-ака, сначала все похолодело внутри, а теперь огнем горит. Нешуточное дело вы затеяли, вот будет шум на всю республику, — давайте выпьем, нам сейчас не помешает. У меня в холодильнике как раз бутылка «Золотого кольца» есть, Салим Хасанович из личных запасов поделился.

— Наверное, вы правы, выпить нам не мешает, непростая мне ночь выпала, и день предстоит не легче... Мужчина должен быть верен слову и, хотя бы к старости понять, что выше чести ничего нет — даже свобода, даже жизнь...

— Да, да, верно, — поддакнул рассеянно Халтаев. — Так я пойду, вынесу бутылочку, а вы на огороде нарвите помидоров, огурцов, болгарского перца, лучку, райхона, быстренько салат ачик-чичук организуем, к водке лучшей закуски не бывает...

Полковник исчез в темном провале распахнутой настезь двери, а Махмудов направился на зады, в огород. Он знает причуды Халтаева, тот ест зелень, овощи, только сорванные с грядки; впрочем, за годы общения с ним и Махмудов привык к этому, — Миассар тоже направляется сразу на огород, когда сосед ужинает у них.

Хозяйство у полковника крепкое, ухоженное, помидорные грядки аккуратные, каждый кустик подвязан к колышку, как на селекционной станции, только без номерка. И сорт у него необычный, юсуповский, на полкило тянет каждый помидор, есть и рекордные — по килограмму и больше, но для ачик-чичука нужны помидоры помельче. Пулат-Купыр по-женски завернул полу шелковой пижамы, куда складывает, переходя от делянки к делянке, помидоры, огурцы, болгарский перец. Осталось надергать лишь лучок да непременно травы райхон, — без нее салат не салат.



В это время появляется хозяин огорода, в одной руке он держит бутылку водки, действительно «Золотое кольцо», а в другой глубокую миску для зелени и овощей. Гость перекладывает овощи в протянутую Халтаевым миску и спрашивает, где растет райхон.

Хозяин показывает на делянку у глухого дувала, где в тени деревьев и забора темнее, чем во дворе; вдвоем они идут к делянке с райхоном.

Райхон растет низко. Махмудов наклоняется над грядкой, чтобы нарвать молодые сочные побеги, и в этот момент мощная пятерня с какой-то вонючей тряпкой закрывает ему рот, нос, пол-лица и с силой опрокидывает его на спину. Он пытается вырваться, но железные руки полковника не оставляют ему никаких шансов, и от удушающего запаха, исходящего от тряпки, он медленно начинает терять сознание, но он еще видит склоненное над собой злобное лицо начальника милиции. Тот, брызгая слюной, шипит:

— Перестроиться захотел, жить по-новому решил? Не выйдет! Мы не остановимся ни перед чем. Назад хода нет. Обрадовался: ариповский миллиард отыскался — и знал бы, не сказал! Зря тебя, гниду, Тилляходжаев тогда в тюрьме не сгноил, и я, дурак, на свою голову идею подал... — Халтаев еще долго бормочет что-то в ярости, но Пулат-Купыр уже не слышит его.

Теряя сознание, он понимал, что уходит из жизни, и как ни странно, последним видением осталось не детство, не дом, не Миассар, не дети от первого и второго браков, а вспомнился Осман-турок, которого он никогда в глаза не видел, но ясно представлял по рассказам Закира-рваного.

Он увидел глухую осеннюю ночь, громаду ювелирного магазина в незнакомом городе, оцепление из нервничающих милиционеров...

Видит он в профиль и бледного Османа-турка, стоящего с пистолетом у зарешеченного окна.

— Вычищайте все до дна, — велит он своим подельщикам, сгрудившимся у развороченного сейфа. — Все равно кто-нибудь прорвется, я останусь и прикрою отход.

Банда уговаривает атамана уходить со всеми, а прикрыть соглашаются Федька-жердь и Фимка Беренштейн. Но двадцатисемилетний Осман неумолим:



— Уходите вы, молодые, а я свое пожил..

Они быстро обнимаются и уходят через крышу — и сразу же начинается пальба.

«Почему вдруг Осман-турок? — мелькает в угасающем сознании. Он пытается отыскать ответ на мучающий вопрос даже на краю жизни и находит: — Нет, Халтаев бы не остался, не прикрыл...»

Полковник ловким жестом достает из-за пояса длинное шило, некогда проходившее вещественным доказательством в деле об убийстве, и, расстегнув пижаму, прикладывает ухо к груди секретаря райкома, выискивая сердце... Затем точным движением всаживает шило под ребро. Ни вскрика, ни крови, и на волосатой груди, под соском, не отыскать следов специального орудия убийства.

Миассар проснулась раньше, чем обычно, спала беспокойно, сердце ныло, но под утро не слышала, как подъехала машина Усмана. Она не спеша умылась во дворе, причесалась и, только когда направилась к летней кухне, увидела на айване спящего мужа. Проспал, передумал ехать в «Коммунизм», решила Миассар и поднялась на айван будить его, обрадовалась, что успеют, ещё не торопясь, вдвоем позавтракать. Едва коснулась губами его щеки, поняла, что случилась беда, и дико закричала.

— Что произошло? — раздался из-за дувала голос Халтаева, но Миассар уже билась в истерике.

Полковник, голый по пояс, с полотенцем на шее, вбежал во двор первым. Крик разнесся, наверное, по всей махалле, и к Махмудовым сбежались даже соседи через дорогу.

Халтаев опять, как и три часа назад, приложил ухо к груди секретаря райкома и горестно произнес:

— Наверное, инфаркт. Не выдержал мотор..

Жестом хозяина он попросил кого-то из соседей вызвать «скорую», а женщинам увести Миассар. Голый по пояс, с полотенцем на шее, он еще долго отдавал распоряжения — кому звонить в обком, кому заняться могилой, кому организовать оркестр, все требовало спешки, у мусульман покойника обязаны похоронить до захода солнца.

Как только подъехала «скорая», Халтаев, которому наконец-то подали рубашку, сам бережно перенес хозяина дома в машину и



уехал в больницу с врачами, чтобы быстрее закончить формальности и получить свидетельство о смерти. Он уже успел встретиться и с судмедэкспертами, и с прокурором, договорился твердо, что не осквернят тело вскрытием и лишними осмотрами, а поехал на всякий случай, чтобы не прикасались к трупам любопытные.

Вынос тела назначили на пять часов, должна была подъехать делегация из области, ждали и взрослых сыновей из Ташкента. Несмотря на ограниченность времени, все делалось без спешки, суеты, даже торжественно. Скорбность момента чувствовал каждый входящий во двор, и немудрено — командовал всем твердой рукой полковник, облачившийся после обеда в летний парадный мундир. Каждые полчаса то исчезали, то появлялись в доме Яздонака и Салим Хасанович. С ними всякий раз входили во двор ловкие молчаливые люди, бравшие на себя хлопоты, выпавшие на долю Миассар.

Подъезжали машины за машинами, груженные всем необходимым — от столовой утвари до силовых установок для тех, кто будет держать речь перед выносом тела из дома. На задворках, возле осыпавшегося малинника, резали черных гиссарских баранов, кучкаров, и уже разводили огонь под огромными котлами, повара Яздонака собирались еще раз продемонстрировать свое мастерство.

За час до начала официальной траурной церемонии через калитку Халтаева в дом вошел местный мулла, Хамракул-ака, тот самый, что много лет работал садовником в усадьбе Махмудова. Его ждали в большой зале, где на специальной похоронной доске лежал обряженный секретарь райкома. Вокруг, на ковре, поджав ноги, как в мечети, сидело человек десять-двенадцать наиболее приближенных людей полковника. Войдя, мулла степенно поздоровался с каждым в отдельности и, получив от полковника знак, начал читать молитвы. Ритуал этот у христиан называется отпеванием. Хамракул-ака имел высокий, хорошо поставленный голос, набиравший от аята к аяту силу и мощь. И вдруг, когда отпевание, казалось, достигло кульминационного момента, случилось непредвиденное...

В коридоре послышались шум, возня, и на пороге, резко распахнув дверь, появилась заплаканная Миассар; не успела она сказать и нескольких слов, как на ней повисли какие-то тетки и стали выпихивать ее из залы.



— Прекратите этот балаган, прогоните муллу. Он был настоящим коммунист, не то что вы, двурушники. Слышите! — кричала Миассар, вырываясь и захлебываясь от слез. — Он был Купыр-Пулат... Купыр-Пулат...

Мулла на секунду сбился, но под взглядом полковника продолжил еще энергичнее.

— Уберите ее! Вы же видите, она от горя потеряла разум, — прошипел полковник сидевшему с краю детине, и тот, ловко поднявшись, вытолкал женщин из комнаты.

Не успел мужчина вернуться на место, как Халтаев отдал новый приказ:

— Пусть включат похоронную музыку, кажется, начал народ стекаться. Потом стань за дверью и не пускай сюда никого, пока мулла не закончит обряд. Я теперь ответчик за его душу на земле, и я похороню своего лучшего друга и соседа, как настоящего мусульманина.

Мужчина молча выскользнул из зала, и через две минуты над махаллей поплыл усиленный мощными динамиками реквием Верди, — и об этом позаботился начальник милиции. А в доме Хамракул-ака, склонившись над раскрытым Кораном, продолжал свое дело.

Еще через два часа, после панихиды, в доме, где было произнесено много всяких скорбных речей и приезжими, и местными руководителями, товарищами, соратниками по партии, тело Махмудова вынесли на той же доске и поместили на украшенную машину. Траурная процессия медленно двинулась к кладбищу. Впереди всех нес красную бархатную подушечку с орденами и медалями скоропостижно скончавшегося секретаря райкома полковник Халтаев. Время от времени он утирал мощной ладонью слезящиеся глаза, и всякому становилось ясно, в каком безутешном горе этот сильный и волевой человек.

Чуть поодаль, за руководителями из области, соблюдая субординацию, скорбно шла халтаевская рать. Из обрывков разговоров важных товарищей из Заркента они поняли, что лучшей замены Купыр-Пулату, чем полковник Халтаев, не найти.

*Ташкент, Малеевка,  
декабрь 1988*













## Горький напиток счастья

Ретро-повесть

*Ирине Варламовой посвящается*

*Что сделать мне тебе в угодку,  
Дай как-нибудь об этом весть.*

*В молчаньи твоего ухода  
Упрек невысказанный есть.*

*Б. Пастернак*

**Р**ушану почти пятьдесят. Немало. Помнится, у Фадеева в «Разгроме» вычитал когда-то фразу: «В бане мылся старик сорока с лишним лет»... «Сорока» — и старик... А тут — полтинник... Вроде рано еще подводить итоги, но слишком часто одолевает душу грусть, все чаще он простаивает долгие вечера у давно не мытого окна, и странные картины видятся ему в грязном дворе... Иногда ему кажется, что он одновременно пишет, читает и экранизирует какую-то книгу, роман без начала и конца. И вспоминается многое...

Но о старости, которая уже подступала вплотную, почему-то думать не хотелось, может, оттого, что до сих пор снятся молодые сны, а вернее, сны о молодости. Странно, но снятся возлюбленные прежними, юными, какими запомнил их на всю жизнь, да и сам не ощущаешь в снах груза своих лет, чаще тоже бываешь молодым, но непременно с опытом прожитой жизни, как мудрая черепаха Тортилла, и теперь-то тебе все



ясно и понятно. Какие же это удивительные и прекрасные сны! И как горьки возвращения в действительность из этих снов!

Ведь милых и очаровательных девушек, чей образ ты пронес через всю жизнь и с одной из которых ты только что во сне уговорился о новой встрече или о том, чтоб больше никогда не ссориться, их давно уже нет. А есть женщины, уставшие от жизни, одни уже на пенсии, а другие на пороге нее, и мало что в них напоминает о былой красоте, изяществе, легкости движений. Попробуй кого-нибудь из малознакомых людей убедить, какая она была прежде красавица, могут и на смех поднять: время безжалостно отбирает все: смех и улыбку, стройность фигуры и озорство взгляда, пышность волос и манящую, порой необъяснимую привлекательность.

Наверное, есть что-то справедливое в том, что, выходя замуж, девушки теряют свои исконные фамилии, тем самым как бы подчеркивая — нет больше ни Нововой, ни Давыдычевой, ни Резниковой, а есть некая Астафьева, Журавлева, Зотова. Эти новые фамилии твоих давних симпатий и привязанностей ничего тебе не говорят и ничего не значат, да и что требовать от незнакомых, чужих женщин!

Наверное, в нажитых сединах и морщинах тоже есть свои преимущества, по крайней мере, обретая их, меньше витаешь в облаках и объективнее рассматриваешь и прошлое, и настоящее, и будущее, — розовые очки к этому времени то ли разбиты основательно, то ли и вовсе затерялись. И дело не в том, что задним числом понимаешь, в какую дверь стоило входить, а куда и нет, а знаешь, почему вошел в другую, хотя многого не понять даже сейчас, особенно того, что касалось сердечных дел. Поступки женского, а особенно девичьего сердца неподвластны никакой логике, об этом написаны горы книг, на том стоит литература, да и сама жизнь, это было тайной до него и останется после него. Но все же даже через годы, десятилетия по-прежнему мучают какая-то фраза, жест любимой, которые не понял тогда и не можешь разгадать сейчас, это посложнее, чем шумерские письмена. Стороннему человеку, тем более молодому, заботы о том, что когда-то сказала или как посмотрела некая десятиклассница или студентка, показались бы смешными, нелепыми, но, как ни странно, для некоторых людей, казалось бы, уже проживших жизнь, это становится архиважным.



Окунаясь в прошлое, он вспоминает не только смерть родных и друзей, гибель волшебного вокзала в Актюбинске и исчезающие чайханы Ташкента, там осталось много тайн и невещественного характера. Сквозь годы он старается понять, что означал жест Светланки Резниковой, когда однажды весной он шел поздней ночью по Орджоникидзе, а из машины, на мгновение ослепившей его фарами на пустынной улице, вдруг высунулась девичья рука и помахала ему. Пока «Волга» Резниковых не скрылась в переулке напротив знаменитой «Железки» — Дворца железнодорожников, он видел адресованный только ему жест. Что он означал? Ведь «роман», так бурно начавшийся на новогоднем балу, оборвался у них еще в марте.

Или почему Ниночка Новова так настойчиво советовала ему посмотреть американский фильм «Рапсодия», и отчего она уехала в Ленинград сразу после выпускного бала, не предупредив его, хотя накануне отъезда они гуляли до утра и встречали рассвет у них в яблонево́м саду, на улице Красная, 3?

Но память мучают не только события, конкретные факты и связанные с ними вопросы, на которые в свое время не нашел ответа, загадкой проходят через всю жизнь вещи и вовсе необъяснимые.

Однажды на «Бродвее» он увидел рядом с Жориком Стаиным, своим неразлучным дружкой, удивительной красоты девушку. Но в память врезалась не изящная Сашенька Садчикова, а платье на ней, необычное и по покрою, и по цвету. Цвет платья очаровательной Садчиковой почему-то преследовал его всю жизнь, он хотел найти ему четкое определение. И вдруг сейчас, спустя почти тридцать лет, увидел по телевизору тибетского далай-ламу, находящегося в изгнании, его принимал другой диссидент, Вацлав Гавел, ставший президентом страны, в которой недавно находился вне закона. Увидел — и словно отлегло от души. Он понял: платье белокурой Сашеньки напоминало желто-оранжевый хитон буддийского далай-ламы. И это был вовсе не цвет апельсина, как казалось тогда многим. Так запоздало, с помощью далай-ламы, была отгадана еще одна загадка, долго мучившая его неопределенностью.

Казалось бы, что может связывать его со знаменитой Ниццей? Да, именно с Ниццей — фешенебельным городком на Лазурном берегу, впрочем, не с самим морским курортом,



а всего лишь с ласкающим слух названием... Ницца... Оно тоже долго преследовало его воображение, часто навевало беспричинную грусть. Наверное, Ницца поселилась в его сердце в тот не по-весеннему мрачный день в конце мая, когда они с Ниночкой Нововой случайно попали на какой-то концерт в «Железке». Не бог весть какая программа, да и концертная бригада явно наспех была сколочена для гастролей по провинциальным городам из людей, некогда подававших надежды, но так по-настоящему и не состоявшихся, спившихся, разочаровавшихся во всем, единственным источником жизни для которых служат ненавистные им подмостки захолустных селений. В том далеком мае Ниночка оканчивала школу, а он техникум, и от предчувствия скорой разлуки встречались каждодневно, как-то жадно, неистово, словно чувствовали, что разойдутся их пути-дороги навсегда, хотя, конечно, вслух они строили грандиозные планы, мечты захлестывали их воображение...

На концерт они опоздали и вошли в полупустой, гулкий зал старинного дворца, когда вяло катившаяся программа набрала темп и какой-то певец даже сорвал жидкие аплодисменты. Едва они заняли свои места, на эстраде появилась женщина, чья песня запала в душу надолго, на десятилетия, навевая несбыточные мечты о далекой Ницце. Высокая, уже чуть грузная певица в вечернем бархатном платье до пят вишневого цвета, с чересчур смелым для провинции декольте, выгодно оттенявшем стройную шею, по-женски мраморно-холеные плечи и грудь, затянутую в жесткий корсет, с трогательной веткой отцветающей персидской сирени в руках, прижившейся в их степных краях, объявила: «Цветок из Ниццы».

Солистка показалась Рушану пожилой, усталой, хотя она вряд ли преодолела сорокалетний рубеж, но в его восемнадцать лет виделось так, и он невольно почувствовал ее тоску, понял, почему женщина оказалась сейчас в полупустом зале заштатного городка. Песня, наверное, была чем-то близка ей, она давно поняла, что Ницца несбыточна для нее, и эта вселенская грусть, пронизывавшая и саму песню, и ее исполнительницу, и, возможно, давно витавшая в высоких стенах бывшего уездного собрания, овладела и Рушаном. Наверное, все воспринимали песню как лирическую, немного грустную, но для него она звучала иначе, словно забегая далеко вперед, в свою еще



не прожитую жизнь, он как бы заранее ощущал тоску, скорбь о несбывшихся надеждах и несостоявшейся любви. Странное ощущение для восемнадцатилетнего юноши, стоящего на пороге самостоятельной жизни, тем более рядом с хорошенькой, кокетливо-изящной Ниночкой Нововой. Видимо, песня вызвала сходные переживания у обоих, поскольку Ниночка как-то грустно глянула на Рушана и придвинулась ближе, найдя в темноте его руку, стала гладить ее, словно почувствовала внезапную тревогу.

После концерта у Рушана на улице невольно вырвалось: «Цветы из Ниццы»... Она, видимо, готовая к разговору о грустной любви на Лазурном берегу, ответила сразу: «Оставь... Цветы из Ниццы не про нас...»

Тогда он не придавал ее словам никакого значения, не пытался возражать, но сегодня с болью соглашается, что даже у истоков, у порога взрослой жизни, казавшейся бесконечной, они и мечтать не могли ни о Ницце, ни о Венеции, ни о Монте-Карло, ни об островах Фиджи и Мальорка, ни о Баальбеке, они изначально были запрограммированы на иную жизнь, на преодоление вечных преград по пути к сияющим вершинам коммунизма. Сегодня Рушан с запоздалой грустью понимает, что все они оказались не только за порогом цивилизации XX века, но и вовсе отрезанными от нормальной человеческой жизни, где уж тут Ницца...

Но Ницца, запавшая Рушану в душу в полупустом зале «Железки», долго будоражила его воображение. Годы спустя в Ялте среди бурной субтропической зелени он увидел броскую рекламу на огненно-красном щите: «Посетите «Ниццу»!» Троллейбус несся стремительно, и он не успел разглядеть чуть ниже еще одно слово — «ресторан», и три дня подряд, пока вновь не наткнулся на рекламное объявление, Ницца не шла у него из головы.

«Ницца» оказалась обыкновенной стекляшкой с бетонными полами и отличалась от подобных ей заведений тем, что числилась вечерним рестораном с программой варьете. Чтобы скрыть или скрасить бедность и убожество зала, стекло изнутри задрапировали тяжелой материей вишневого цвета, наверное, чтобы тем, кто проходил мимо «Ниццы», казалось: там протекает невероятно шикарная жизнь. От неприкрытой бедности зала



с пластиковыми столешницами обшарпанных столов и железными колченогими стульями спасали лишь полумрак и умелое, с огромной фантазией продуманное освещение самой эстрады, где выступало наспех сколоченное варьете и восседал небольшой оркестр — музыканты в соломенных шляпах-канотье. Тут шли в ход и елочная мишура, и часто менявшиеся рисованные задники сцены, и светящиеся, кружащиеся зеркальные шары, висевшие и над залом, и над сценой, они, видимо, означали причастность к какой-то веселой, роскошной жизни, бурлящей в сезон на известных морских курортах.

Рушан видел и бедность зала, и убожество варьете. Конечно, стекляшка с претенциозным названием «Ницца» не имела ничего общего с прекрасной Ниццей, которой он грезил долгие годы, и возвращался он оттуда в полночь по слабо освещенным улицам Ялты расстроенный, ему казалось, что его в очередной раз обманули. «Почему кругом пошлость, безвкусица, бедность, которую не в силах скрасить ни темнота, ни умелое освещение?» — думал Рушан, шагая по ночным улицам города, и световая реклама «Ялта — жемчужина курортов мира» воспринималась как насмешка, как издевательство.

Уносясь мыслями в отшумевшие годы, он все не решался как бы приблизиться к себе, хотя понимал, что все его воспоминания мало чего стоят без откровений, без собственной фотографии на фоне времени. Наверное, его жизнь по-иному осветят события, о которых он хотел бы рассказать. Хотя, рассказать — кому? И для чего? Но это билось в нем и не давало покоя...

И он вновь и вновь возвращался назад, во вторую половину пятидесятых годов, в заносимый песками из великих казахских степей провинциальный Актюбинск, чтобы еще не раз мысленно постоять под окнами дома на улице 1905 года, где жила девочка с голубыми бантами, которую он однажды встретил у «Железки» с нотной папкой в руке и, как зачарованный, пошел вслед за нею. Порою ему кажется, что он до сих пор шагает за этой девочкой...

Вспоминать о ней легко, она часто приходит в снах, которые он видит. С шумами, запахами давно ушедших лет, их окружают музыка и быт того времени. В снах он вновь видит парки и кинотеатры своей молодости, «Бродвей» в час пик, школьные





балы и танцы в «Железке», и повсюду их сопровождают давно забытые ритмы и мелодии — просто ретро-фильмы с собственным участием в главной роли. Когда ему тяжело, тоска одолевает беспричинно, он заклинает кого-то свыше, властного над нашими судьбами: «Пусть приснится моя молодость!» А молодость — это любовь.

Прекрасные сны-фильмы, где запоздало, через тридцать лет, удастся разглядеть то, что не удалось в свое время. Правда, ни один из них он не может досмотреть до конца, они, как в детективном сериале, обрываются на самом интересном месте, и продолжения, как ни желай, не бывает. Эти сны-фильмы — одноразовые и для единственного зрителя, и после них очень трудно вписаться в повседневную жизнь. Но ни за что на свете Рушан не отказался бы от них.

В своё время друзья, беззлобно посмеиваясь над его безответной любовью к девочке из соседней железнодорожной школы, успокаивая его, говорили: не грусти, первая любовь — как корь, переболеешь, встретишь другую и забудешь свою гордую пианистку с улицы 1905 года. Сегодня, считай, жизнь прожита, а он ее не забыл, впрочем, он и тогда чувствовал, что это всерьез и надолго.

Когда в прорабской возникают разговоры коллег о первых увлечениях их детей, которые никто из родителей не воспринимает всерьез, по лицу Рушана пробегает грустная улыбка. Он не вмешивается в такие диспуты — кому нужен его душевный опыт? Да и, глядя на него, заезженного жизнью одинокого прораба, разве можно предположить, что и его когда-то одолевали страсти, и он почувствовал на себе волшебный огонь обжигающей любви, и что воспоминания о ней — самое дорогое, что осталось ему, ими он и жив.

«Воспоминания — единственный рай, откуда нас невозможно изгнать», — вычитал он где-то и запомнил на всю жизнь.

И все-таки, чтобы разобраться в жизни, хоть что-то в ней понять, ее надо одолеть. Как — вопрос другой. На долгом пути, может, и откроются давно мучившие тайны. До последних дней, возвращаясь памятью к девочке с нотной папкой в руках, он испытывал неловкость от сознания, что кто-то, заглянувший в эту «книгу», мог спросить: а как же Светлана Резникова, Ниночка Новова? Рушан, привыкший отвечать за



свои поступки и никогда не прятаящийся за словеса и чужие спины, от этого незаданного вопроса сникал, может, оттого и не касался откровений о себе.

Наверное, человек более тонкий, чем прораб — художник, например, или писатель, артист, — легко бы разобрался в своих отношениях, тем более давних и ни к чему конкретному ныне не обязывающих, но для Рушана это явилось непреодолимой преградой. Он не хотел унижать в воспоминаниях ни себя, не своих возлюбленных, ни тех, к кому был привязан и кем дорожил. Слишком дороги они были ему, оттого он и затруднялся заполнить страницы книги, которую и читал, и писал одновременно, событиями о личной жизни, где каждой из них, казалось бы, нашлось достойное место.

И вдруг он нашел ход к пониманию себя, того давнего, и всех своих привязанностей.

В одной мемуарной книге совершенно случайно попались ему на глаза страницы о Жане Кокто. Они-то дали ключ к пониманию давнишних событий. Оказывается, после смерти Кокто биографы обнаружили четыре полных любви и нежности письма, написанных им перед отправкой на фронт. Послания эти сравнивают с образцами любовной лирики. Все письма адресованы четверем разным женщинам, но... написаны, словно под копирку. И, что еще более чем странно, ни одна из этих прекрасных дам, проживших долгую и счастливую жизнь, позже, узнав об этом, не только не отказалась от письма, а настаивала, что содержание адресованного ей признания отражает суть их истинных отношений с Кокто.

Конечно, он не француз Кокто, и прямой аналогии здесь вроде бы нет, но, только пытаясь понять известного драматурга и его поклонниц, рьяно отстаивавших свой приоритет на любовное послание, Рушан приблизился к разгадке давних событий собственной жизни.

Два коротких, но бурных «романа» со Светланкой Резниковой и Ниночкой Нововой, кстати, одноклассницами, входившими в одну недоступную спаянную компанию, хорошо известную в их городе, случились в последние полгода, когда Рушан учился на четвертом курсе и уже работал над дипломным проектом. Сегодня он понимает, что дважды пришелся им ко двору в каких-то их девичьих интригах, интересах, до конца



не разгаданных и сегодня. Одно ясно, они не расставляли ему специально ловушек, просто он подвернулся случайно и как нельзя лучше подходил для задуманной ими роли. Но в том-то и суть: обе они не ожидали, что затеянная легкомысленная интрижка заденет что-то и в их сердцах, обожжет надолго, как выяснится позже, — теперь-то Рушан знал это.

Наверное, подводя итоги прожитого, Рушан мог бы и не вспоминать об этих «романах», отнеся их к разряду легкомысленных увлечений. Тем более, что на взгляд человека постороннего, две «любви» в полгода могут показаться несерьезными, недостойными быть упомянутыми в разговоре о столь высоком чувстве.

Но сроки тут не при чем — он встречал позже примеры из серьезной классической литературы, когда дни, даже часы многое значили, определяли судьбу на всю жизнь или становились духовной опорой героев. Был и более веский аргумент — на всем стоит тавро: проверено временем.

К тому времени, когда в сорок пятой железнодорожной школе, где у Рушана неожиданно начался «роман» со Светланкой Резниковой, проводился новогодний бал, Дасаев уже три с половиной года был безответно влюблен в Томочку Давыдычеву. И в их провинциальном городке многие об этом знали. Там все на виду, невозможно уберечься от любопытных взглядов, а Рушан и не таился, да и любовь к такой заметной девушке не могла остаться незамеченной.

В ту пору школьники жили куда более насыщенной жизнью, чем нынешние, каждую субботу в той или иной школе проводились вечера, организованные с большой выдумкой, куда непременно приходили старшекласники из других районов. На такие программы приглашались одни и те же лица, среди них и Тамара, а уж где она — там и Рушан. Хозяева сразу выделяли среди гостей девушку и наперебой зазывали на танец, но как-то сам собой быстро возникал барьер между нею и новыми поклонниками: по залу неслышной волной прокатывалось: «девушка Рушана». Так бывало и в «Железке», и на летней танцплощадке, и в «ОДО». Тамара, конечно, знала об этом, наверное, ей иногда даже нравилось такое опекунство.

В семнадцать мы все бываем кем-то очарованы, зачастую безответно, и в молодом эгоизме вряд ли замечаем, кто в кого



влюблен, тем более, не помним через годы... Но отношения Рушана и Тамары, наверное, запали в память многим. Спустя лет десять, в один из своих наездов в Актюбинск он получил тому подтверждение.

Остановился Рушан в родном городе в гостинице «Казахстан» и часто гулял по улице Карла Либкнехта, давно утратившей название «Бродвей». По несколько раз он поднимался вверх от парка Пушкина к сорок пятой школе, стоящей на горе, напротив пожарки, и как воочию видел себя юным, азартным, раскланивавшимся с улыбкой направо и налево, — на «Бродвее» он был своим парнем. И вот однажды во время прогулки его остановила молодая женщина с двумя авоськами и, смущаясь, спросила:

— Извините, скажите, пожалуйста, как у вас сложились отношения с Тамарой? — Видя его удивление, она, растерявшись вконец, добавила: — Не знаю почему, но я часто вспоминаю вас. Никогда не забуду, как вы выискивали ее глазами на вечерах в нашей школе, мне казалось, ваш взгляд сжигал все на пути к ней. Поверьте, это не только моя фантазия, то же самое мне говорили подружки, многие за вас, Рушан, переживали.

— Спасибо, — ответил растроганный Дасаев. — Но, увы, она вышла замуж за другого и живет в Черновцах.

Пока женщина не скрылась за углом, он долго смотрел ей вслед, пытаясь припомнить ее на тех вечерах, которые отчетливо помнил, но, увы... Он заметил смущение незнакомки и от мятого, невзрачного платья и стоптанных туфель, и от тяжелых авосек с картошкой, и понял, как нелегко дался ей вопрос, у нее своих забот хватало, это бросалось в глаза сразу, и вот надо же...

Вообще, в тех местах, где он появлялся, знали, в кого он влюблен, и эта верность у многих вызывала симпатию. Впрочем, нужно оговориться, по тем временам это был не подвиг, а нечто само собой разумеющееся — верность окружающими ценилась. Но каково было тогда самому Рушану? Через полгода он оканчивал техникум, а что ожидает путейца? Полустанок, в лучшем случае — станция? Надеяться на то, что туда придет Тамара, было бесполезно, тут даже на переписку не было надежды. Она знала, что он есть, влюблен в нее, и, кажется, воспринимала это, как должное: иногда позволяла проводить



после школьных вечеров, танцевала с ним, порою даже говорила ему приятные слова, кокетничала, изредка объявлялась на его соревнованиях по боксу и очень темпераментно болела, но все это было не то... Он-то видел, как «встречались» с девушками его друзья — Валька Бучкин, Ленечка Спесивцев. Незнакомым девушкам, которые вдруг начинали интересоваться им, друзья говорили: оставь, его никто, кроме Давыдычевой, не интересуется, безнадежный однолюб. Вот такая у него была репутация в те юные годы.

Тот новогодний вечер для них был последним в Актюбинске. Летом он отбывал по направлению и понимал, что навсегда расстанется с беспечной студенческой жизнью, а впереди — нелегкие взрослые будни. Работа на транспорте требует человека целиком, он уже знал, что дорожный мастер не имеет права отлучиться с участка, не предупредив, где его могут найти, — такова специфика.

В тот праздничный вечер его одолевали грустные мысли, хотя после бала в школе он был приглашен Стаиным в одну интересную компанию. Жорик, с которым он пришел в сорок пятую, мотался по залу, пытаясь выяснить, кто же скрывается за «№14», завалившим его любовными посланиями, а Рушан, задумавшись, стоял у колонны, не решался пригласить на танец Тамару, почему-то державшуюся сегодня особенно капризно. Объявили «белый танец», и Рушана пригласила Светлана Резникова. Между собой ребята звали ее «Леди». Светланка, надменная, острая на язык девушка, из известной в городе семьи, нравилась многим и знала об этом. Рушан, давно не видевший ее, поздравил с наступающим Новым годом и спросил, зная про ее давний и прочный роман с парнем, учившимся в мединституте:

— А где же Славик?

Светланка, положив ему обе руки на плечи, — прежние танцы позволяли это, — сказала озорно и без всякого сожаления:

— А он бросил меня...

— Тебя, прекрасная Леди? В это трудно поверить, — подлаживаясь под ее шуточный тон, ответил Рушан.

— Да, вот такой он ветреник. И, как мне кажется, на сегодня мы — прекрасная пара. Ты не нужен Давыдычевой, я — Мещерякову, двое отверженных. Ну как, Рушан, закрутим любовь?



Она глядела на него с улыбкой и теснее сжимала пальцы рук у шеи. Близость ее, жар рук, аромат духов кружили ему голову. Видя, что Рушан не понимает, в шутку или всерьез она говорит, Светлана показала на вальсировавшую у елки пару: Славик увлеченно танцевал с давней соперницей Светланки — Верочкой Осадчей. Как только кончился танец, она взяла его под руку и, отведя к колонне, осталась рядом с ним. Глядя нежно, как не смотрела на него до сих пор ни одна девушка, она поправила Рушану бабочку и с обворожительной улыбкой, от которой он терялся, заявила:

— Хочешь — не хочешь, Дасаев, я беру тебя сегодня в плен. Уходя на вечер, я слышала по радио призыв: обиженные в любви — объединяйтесь!

Дасаев, не понимая, разыгрывают его или это всерьез, смутился еще больше. Выручил объявившийся рядом Стаин.. И тут Рушан почувствовал, что Светлана не шутит. Она, оказываясь, знавшая об их дальнейшей программе, вдруг объявила оторопевшему Стаину:

— Жорик, на Рушана не рассчитывай, он сегодня мой. Я решила его украсть. Могу я позволить себе в качестве новогоднего подарка обаятельного чемпиона по боксу?

Стаин удивленно глянул на Светланку, — он знал, что своенравная Резникова в настроении могла учудить и не такое, и ей все прощалось. «Она знает свое место в обществе», — как высокопарно говаривал о ней Жорик, когда-то он безуспешно пытался за ней ухаживать.

— Не боишься? Славик в гневе бывает крут, — видимо, дразня Резникову, обронил Стаин.

— Не боюсь. Рушан оберегал Давыдычеву и не от таких, как Мещеряков, — ответила Светлана и демонстративно прижалась к Дасаеву.

— Ну, тогда я пошел, у меня тоже сердечные проблемы. Желаю приятной встречи Нового года. — И, приобняв Рушана, добавил: — Помни, Татарка своих в обиду не дает... — Он имел в виду, что Славик живет на Курмыше, где обитала такая же оторва, как и на Татарке. И элегантный Стаин, по которому в тот вечер тосковал не один девичий взгляд, скрылся в толпе танцующих.

Новогодний бал становился все шумнее, напряженнее, сбивались последние компании, чтобы встретить полуночный бой



курантов у кого-нибудь дома. Конечно, неожиданно возникший «дуэт» Резникова — Дасаев не остался без внимания, но в тот вечер вряд ли кто принял их отношения всерьез, ведь казалось: Резникова просто дразнит Славика, а Рушан с удовольствием подыгрывает очаровательной Светланке.

За окнами падал снег, медленно вращалась щедро наряженная елка, в зале заметно поредело, время неумолимо приближалось к полуночи, и властная Светлана, весь вечер не отпуская Рушана ни на шаг, сказала:

— Идем, пора и нам отметить Новый год и начало нашего романа, — и потянула его бегом к лестнице, ведущей в раздевалку.

Рушан предполагал, что Светлана пригласит его в какую-то компанию, — ей, как и Стаину, везде были бы рады, — но она, как о давно решенном, вдруг объявила:

— Ну, теперь идем к нам, нас ждет накрытый стол. — И, видя удивление на лице Рушана, с улыбкой пояснила: — Да, да, накрытый стол. Я была уверена, что буду отмечать Новый год с тобой, ты моя сознательная и давно избранная жертва. Не жалеешь? — Наслаждаясь его смущением, добавила: — А чтобы тебя не мучили угрызения совести или сожаление, скажу: я точно знаю — в новогодних планах Давыдычевой тебе места нет. Она на днях мне звонила, и мы с ней целый час болтали. Правда, я ей не сказала о ссоре со Славиком, а что мне хотелось, выведала. Представляю, как она сейчас бесится, тебя ведь еще никто не уводил. Но жизнь — борьба, как нас учат в школе. Ты не осуждаешь меня, Рушан? — И, приблизившись к нему, вдруг охватила его голову прохладными руками и одарила жарким поцелуем...

Резниковы жили в десяти минутах ходьбы от школы, и они, свернув с Карла Либкнехта на Орджоникидзе, поспешили вниз к вокзалу, где напротив «Железки» высился заметный особняк за высоким глухим забором. Стояла поистине новогодняя ночь — с легким морозцем, мягко падавшим снегом, и Светлана всю дорогу озоровала, сталкивала его в сугробы, бросалась снежками, пыталась лепить снежную бабу. Целовались почти у каждого дерева, и Рушану всякий раз приходилось опускаться в снег ее завернутые в газету лаковые «шпильки». На катке во дворе «Железки» горела огнями наряженная елка, и стайки



подростков в ярких спортивных костюмах мирно катались вокруг нее на коньках, для этой картины явно не хватало музыки, но радостный смех, визг, возгласы ошалелых от предчувствия близящегося праздника молодых людей слышались издалека...

Ту давнюю прогулку в новогоднюю ночь он прокручивал потом в памяти сотни раз, припоминая все новые и новые подробности. Говорят, иногда прожитые годы проносятся перед человеком в считанные секунды, — может, и так, но Рушану со временем та пятнадцатиминутная дорога представляется прогулкой длиной в целую жизнь.

Он шел как в бреду, иногда невпопад отвечая Светланке, не до конца понимая, что все эти ласковые слова, жаркие поцелуи, вдруг обрушившиеся на него, адресованы ему... Он никогда не думал, что от этого так может кружиться голова, биться сердце. Порою ему казалось: не сон ли это — надменная Светлана, недоступная Леди, о которой вздыхали многие, рядом с ним?

Она открыла дверь своим ключом и пригласила в дом. В прихожей, заметив его растерянность, одобряюще сказала:

— Не бойся. Мы одни. Родители в гостях, вернутся завтра утром. Семейная традиция — встречать Новый год у деда. Проходи, — и она распахнула застекленную белую дверь в зал.

За спиной щелкнул выключатель, и перед ним вспыхнула тяжелая люстра под высоким потолком, прямо над наряженной елкой. Казалось, тысячи хрустальных солнц струили на нее с потолка осколки своих лучей — это волшебное ощущение, которое он почувствовал в первый миг, надолго врезалось ему в память.

Удивительно, как в считанные минуты Рушан разглядел весь зал, его убранство, с тяжелыми, на восточный манер, коврами на стенах, громоздкими напольными часами в корпусе из потемневшего красного дерева, чей неслышный ход определял, наверное, долгие годы ритм этого дома, с книжными шкафами, блиставшими золотыми корешками незнакомых ему редких книг, сервантом между окнами, где в хрустальных бокалах, фужерах отражались огни люстры, отсвет легких елочных игрушек и матово поблескивало тусклое серебро чайного сервиза. Чуть поодаль елки — стол, сервированный на белой крахмальной скатерти, заставленный салатами, закусками. Но Рушану прежде всего бросились в глаза две высокие вазы: одна с крупными





золотистыми мандаринами, другая с красным алма-атинским апортом, — с тех пор у Рушана Новый год ассоциируется с запахом яблок.

В те же минуты он ощутил уют, тепло и надежность этого дома и был рад, что не ошибся в представлениях о жизни Леди, чувствовалось, что она, как редкий экзотический цветок, росла в любви и заботе. В ту пору считалось хорошим тоном бывать в доме девушки, с которой встречаешься, — старые милые традиции их провинциального городка, и Рушан понимал, что настал и его час, ведь в особняк на улице 1905 года его никогда не приглашали, и это сыграло в ту ночь немаловажную роль. Все навалилось на него стремительно, неожиданно, поистине — новогодний сюрприз.

Не успел он осмотреться, обвыкнуться, как Светланка вдруг сказала с досадой:

— Простор зала и этот огромный стол гнетут меня. Ты не возражаешь, если мы переберемся в мою комнату?..

Рушан, еще до сих пор не осознавая, что с ними творится, в прострации лишь кивнул головой и привстал с кресла. Ее комната, довольно большая, выходящая окном во двор, оказалась напротив зала, и в приоткрытую дверь хорошо виднелась в темноте высокой комнаты светившаяся мерцавшими гирляндами наряженная елка. Между книжными шкафами, занимавшими стену напротив окна, располагался уютный уголок с двумя глубокими кожаными креслами и низким столиком, обтянутым зеленым сукном. К изголовью одного из старинных кресел склонился стеклянный абажур диковинного бронзового торшера. Рушан вмиг представил Светланку, забравшуюся с ногами в просторное кресло с книжкой в руках и даже укутанную тяжелым шотландским пледом, он как раз покрывал ее низкую деревянную кровать.

Но что-то инстинктивно насторожило Рушана: подняв тревожный взгляд от ложа Светланки с двумя туго взбитыми подушками, он сразу увидел на стене приколотую кнопками большую фотографию улыбающегося Мещерякова. Рушан так растерялся, что не мог отвести от нее взгляда, и Светланка, вошедшая в комнату со скатертью в руке, застала его в замешательстве.

— Это маман, ее происки. Где-то откопала любимого Славика. Видимо, решила новогодний сюрприз мне устроить, —



прокомментировала она и, тут же сдернув фотографию, разорвала ее на клочки. Потом, взяв Рушана за плечи, озорно, в своей лукавой манере, сказала: — Жаль, у тебя нет подходящего фотопортрета, а то я бы организовала ответный сюрприз..

Она умело разрядила грозовую атмосферу: Рушан ни на минуту не усомнился, что все так и есть, — Леди отличалась искренностью и прямой, и в этом было ее очарование. Они часто общались, хорошо знали друг друга, возможно, и сегодняшний выбор Светланки не был минутным капризом.

Высокие напольные часы известили глухим боем, что до Нового года осталось всего четверть часа, и Светланка попросила его помочь. Вдвоем они быстро перенесли закуски, фрукты с праздничного стола в зале в ее комнату, и без пяти двенадцать она зажгла на столе свечи в тяжелом, под стать торшеру, бронзовом шандале. Показав глазами на шампанское, волнуясь, сказала:

— Вот так я задумала неделю назад, и рада, что моя мечта сбылась. С Новым годом, Рушан!

Они сдвинули бокалы, и звон хрусталя слился с боем старинных часов в темном зале.

Та новогодняя ночь, как и дорога к дому Резниковых, спустя многие годы воспринимается, как огромная и важная часть его жизни, и в воспоминаниях ни разу ему не удалось пробыть со Светланкой целиком — от порога до порога, хотя он знает, что провел там шесть часов. И все равно, чтобы описать эту встречу, понадобится целый роман, и ни в какой телесериал не уложиться, ибо год за годом всплывают в памяти вдруг забытые слова, их оттенки, краски, жесты, взгляды, шумы, шорохи, запахи, мелодии. Хотя, заставь его однажды записать хронологию новогодней ночи в доме Резниковой, он бы не смог. Как же так, если пронес в сердце это волшебное свидание через всю жизнь — вроде не вяжется? Но это и есть тайна, магия чувств, не всякому она открывается, не открылась и ему, хотя Рушан почувствовал, вкусил дыхание любви. Кто-то, более жесткий, наверное, сказал бы: вкусил и отравился. Пусть и так. Или не так. Или совсем иначе.

Как-то давно в одной компании зашел разговор о любви, в котором Рушан не принимал участия, но когда возвращались домой, товарищ, видимо, еще не остывший от горячего спора, полюбопытствовал:



— А как выглядела твоя первая любовь?

Рушан, вмиг вспомнив девушку с улицы 1905 года, ответил без раздумий:

— Красивая. Очень красивая.

— Это не ответ, слишком обще, — рассмеялся приятель, — какие у нее были плечи, грудь, ноги?

Видя, что Рушан надолго замолк, приятель решил, что Дасаев обиделся. Но он не отвечал по иной причине. Он действительно не мог сказать, какие у нее ноги или грудь. Правда, он помнил ее глаза, большие, карие, с влажной поволокой; мог еще сказать о трогательной родинке на правой щеке, чуть выше уголка хорошо очерченного рта, чувственных губ. Он мог бы долго рассказывать, как она сердилась, каким задумчивым бывал у нее взгляд, как она хмурила брови, как загадочно улыбалась, но... грудь — этого он не мог вспомнить, как и тот вечер целиком в особняке напротив «Железки» — это тоже осталось одним из таинств любви.

Каждый человек ждет от Нового года удач, радости, исполнения давних желаний, тем более в молодые годы, в восемнадцать лет, на пороге взрослой жизни. И так случилось, что к единственному празднику, в котором есть привкус волшебства и с которым люди связывают надежды, они оба оказались, по выражению самой Светланки, отверженными. Да, да, отверженными в любви, хотя, по выражению Стаина, бытовавшему в их городе, они принадлежали к «выдающимся» в своем поколении ребятам — знакомства, дружбы и с Рушаном, и со Светланкой искали многие, опять же по Стаину, — «сочли бы за честь». Нет, не был случаен в тот день выбор Резниковой, и не нашлось бы парня, отказавшегося провести новогодний вечер с Леди, попасть в ее очаровательный плен.

Возможно, одного не учла девушка, что Дасаев, кумир болельщиков не только Татарки, безнадежно влюбленный в Давыдычеву, никогда не слышал таких волнующих слов, не ощущал на себе нежные взгляды, не смущался от ее по-девичьи ласковых и горячих рук, не задышался от сладких губ. А уж самому Дасаеву и на миг не могла прийти мысль, что слова, поцелуи, объятия, так долго вызревавшие в душе девушки, предназначались другому, да хранить их было невозможно, разрывалось от тоски и горечи одиночества девичье сердце



в праздник, суливший другим счастье и любовь. Вот тут он и подвернулся под руку — заметный, печальный, одинокий... Наверное, роман с ним уж наверняка сразу вызовет разговоры и ее перестанут жалеть. Может, все было и не совсем так, ведь здесь все просчитать невозможно — это не высшая математика, но такие мотивы неожиданно оказанного Рушану внимания не исключались.

Скорее всего, слова, жесты, улыбки Светланки можно было сравнить с криком в горах после долгого и обильного снегопада, или с ударом кочерги в лётку кипящего мартена, в обоих случаях рождалась лавина — снега или горячего, брызжущего огнем металла, удержать которую никому не удавалось, — подобное произошло и с Рушаном. Копившуюся годами в его душе страсть, нежность, любовь, не имевшую выхода, тоже прорвало в ту ночь, и Светлана, сама раненая, услышала то, что жаждала услышать ее изболевшаяся душа, проще, встретились два сердца, открытых для любви. Конечно, они были пьяны не от бутылки шампанского, которую, кажется, и не опорожнили до конца. Их пьянили нежность слов, искренность взглядов, жестов, чистота помыслов, неожиданно открывшееся родство душ.

Наверное, тому способствовала и музыка. В ту новогоднюю ночь в комнате, освещенной лишь жарко оплывавшими свечами, звучала разная музыка, но чаще минорная, она больше соответствовала настроению. Их любимый Элвис Пресли в тот вечер не понадобился. Запомнилась и главная мелодия той ночи, та давняя зима оказалась звездным часом рано ушедшего из жизни легендарного Батыра Закирова с его знаменитым «Арабским танго». Под щемящую грусть танго они танцевали в зале у светившейся огнями елки, и казалось, сама богиня любви Афродита осеяла их крестным знамением, и не было, наверное, в ту ночь влюбленных более счастливых, чем они.

Все способствовало тому, чтобы их отношения развивались стремительно, по нарастающей, и обстановка праздника окружала их долго, как по особому сценарию. Начинались школьные каникулы, а в них две недели подряд новогодние балы в «Железке», «ОДО», «Большевике» под джаз-оркестр братьев Лариных, вечера в каждой школе. Они жили в атмосфере праздника, музыки, веселья почти весь январь, потому что выпали три-четыре дня рождения, на которые их



пригласили вместе, дважды они были званы и на вечеринку к Стаину. Они виделись каждый день и проводили по многу часов вместе. Иногда среди дня раздавался звонок в общежитии, и Светланка говорила с волнением в голосе: приходи, я соскучилась. Отбросив дипломную работу, Рушан спешил в особняк за зеленым дощатым забором. Кстати, первый в жизни номер телефона, которым Рушан пользовался, — Резниковой, он помнит до сих пор: 3—32.

В ту пору многое для него оказалось впервые. В начале февраля, опять же впервые, в их город приехал на гастрол Государственный эстрадный оркестр Азербайджана под управлением Рауфа Гаджиева. Красочные афиши, фотографии оркестра, певцов, танцовщиков, известного в ту пору конференсье Льва Шимелова, самого композитора Гаджиева украшали людные места их не избалованного артистами города. Казалось, на концерт ни за что не попасть. Выручил Стаин, — достал для него билеты, да еще на первый ряд. А уж сам он ходил на все четыре программы, перезнакомился со всеми оркестрантами.

Сегодня, хочет Рушан того или нет, «роман» с Резниковой представляется ему сплошным праздником, так вышло, так случилось. И как же не праздник?! Они сидят в первом ряду концертного зала «ОДО», а перед ними на эстраде в четыре яруса полукругом высится едва ли не до самого потолка огромный оркестр. Мерцающие в темноте пюпитры, серебро труб, черные фраки и ослепительные парчовые жилеты оркестрантов, золотые зевы саксофонов, а на самой верхотуре блеск меди и перламутровых огненных боков множества барабанов ударника. Многочисленные занавеси, меняющиеся в каждом отделении, хорошо продуманные задники, появляющиеся с каждым новым исполнителем, настоящие театральные декорации в концертной программе, — то, к чему пришли звезды мировой эстрады много лет спустя.

Фантастика?! Да, пожалуй, при нынешнем упрощении всего и вся оркестр Рауфа Гаджиева и еще несколько коллективов, которые он узнал позже, например, оркестр Орбеяна из Армении, Гобискери из Тбилиси, Лундстрема из Москвы, Вайнштейна из Ленинграда, любой из джазов Кролла, вряд ли уступали в мастерстве столь облаканным артистам Поля Мориа.



«Что имеем — не храним, потерявши — плачем» — это о нас, о нашей стране, и не только о канувших в Лету перво-классных оркестрах.

Это было так давно, что еще не существовало знаменитого вокального квартета «Гайя», уже много лет назад распавшегося. А Теймур Мирзоев, Рауф Бабаев, Левка Елисаветский, Ариф Гаджиев просто пели вместе, и в ту пору, наверное, Лева даже не помышлял, что когда-то покинет воспевавшийся им в песнях любимый Баку. Кто теперь помнит лирический тенор Октая Агаева, ведущего певца и любимца оркестра?

Но Рушану не забыть, как Михаил Винницкий, подойдя к краю ramпы и чуть склонившись в зал, глядя прямо на Светланку, повторил рефрен грустной песни: «Придешь ли ты?», а она инстинктивно прижалась к Рушану, наверное, ее волновало, что ее, единственную, он выделил из партера...

Так катилась последняя студенческая зима Дасаева, и он был наконец-то счастлив. В марте у него начиналась двухнедельная преддипломная практика, и он еще с лета знал, что проведет ее дома, в Мартуке. Впрочем, в город Рушан должен был вернуться через неделю, — в составе сборной Казахской железной дороги по боксу он уезжал в Москву на первенство «Локомотива».

Уезжая, он договорился, что Светланка каждый день будет выносить к вечернему поезду письмо, — тогда в каждом пассажирском составе имелся почтовый вагон, и особо нетерпеливые пользовались им. Жаль, до наших дней не дожила подобная форма связи, вот бы выиграли влюбленные!

Помнится влажный март, капель, оседающие на глазах сугробы, и он, стерегущий на улице почтальоншу. Увидев ее ещё издали, он бежал навстречу, чтобы хоть на минутку раньше получить долгожданное письмо. Но... увы...

*Как рассказать минувшую весну,  
Забытую, далекую, иную,  
Твое лицо, прфильнувшее к окну,  
И жизнь свою, и молодость былую?*



*Как та весна, которой не вернуть...  
Коричневые, голые деревья.  
И полных вод особенная муть.  
И радость птиц, меняющих кочевья.*

*Весенний холод. Серость. Облака.  
И ком земли, из-под копыт летящий.  
И этот темный глаз коренника,  
Испуганный, и влажный, и косящий.*

*О, помню, помню!.. Рывкнул паровоз.  
Запахло мятой, копотью и дымом.  
Тем запахом, волнующим до слез,  
Единственным, родным, неповторимым.*

А он, как условились, исправно бегал к ночному поезду. Бросив письмо в щель сонного вагона, смотрел, как паровоз сыпал в морозную ночь, в темноту стылого неба, искры. Ночь, пустынный перрон, безлюдные улицы, светящиеся окна медленно отходящего скорого — о чем он только не думал в эти поздние часы!

Накануне возвращения в город, на сборы, он уже по привычке дожидался почтальоншу, и она, завидев его, издали махнула белым конвертиком — как он помчался навстречу! Долгожданный конверт вблизи оказался бланком телеграммы: «Локомотив» срочно требовал его под свои знамена, отъезд намечался на три дня раньше. Наверное, хорошо, что до отбытия в Москву в городе у него оказалось несколько часов — из разговора со Светланкой по телефону он узнал, что она все-таки собралась замуж за Мещерякова.

Так внезапно начавшийся роман столь же внезапно оборвался.

«Есть радость ясная в начале, обида темная — в конце...» — но это опять поэзия.

Сегодня Дасаеву хотелось бы запоздало принести многим людям извинения за нечаянно нанесенные обиды, попросить прощения и у тех ребят, с которыми встречался на ринге на том первенстве «Локомотива», где он стал чемпионом. За две недели во Дворце спорта железнодорожников он заработал злую кличку — Лютый, к его радости, так и оставшуюся в Москве. Не мог же



он тогда объяснить каждому, что у него душа болит, жаль, если у кого-то осталось впечатление, что он патологически жесток.

Вернулись они домой уже в апреле, когда в их краях царила весна и ожил «Бродвей». В ту пору телевидение еще не стало повсеместным, но в городе знали об успехе земляков на первенстве «Локомотива», тогда, как ни странно, был силен местный патриотизм. «Роман» с Резниковой, внезапно начавшийся и так же неожиданно для самого Рушана оборвавшийся, остался незамеченным, отодвинулся на второй план, никто ему не сочувствовал, не обсуждал произошедшее. Скорее всего, «роман» этот был воспринят, как каприз Резниковой, дальновидный предлог, чтобы вернуть Мещерякова. А может, потому так случилось, что отношения Светланки с будущим врачом все давно воспринимали всерьез, равно как и его отношения с Давыдычевой. В общем, всем казалось, что ничего не произошло, хотя его сердце, почувствовавшее дыхание любви, щемило от боли. Максималист, он ощущал себя еще и предателем по отношению к Тамаре, запутался вконец. И однажды по пути в общежитие, задумавшись, вновь оказался у окон дома на улице 1905 года.

Нигде в мире, наверное, не существовало такого отсчета времени: «пяtilетку — за три года», «год за два», и хотя первая фраза — из идеологического лексикона, вторая — из уголовного, для советского человека суть обеих ясна. Нечто подобное происходило в ту весну и со временем Рушана и его друзей: они жили такой насыщенной жизнью с каждодневными открытиями, что можно было иной день зачесть за месяц. Они открывали мир, себя, упивались новыми, дотоле не изведенными чувствами, и все в ту пору случалось впервые.

Тамара, учившаяся классом ниже, чем Светлана, неожиданно стала встречаться с одноклассником Резниковой, Наилем Сафиным. Наиль — тихий, болезненный, домашний мальчик, вдруг стал провожать Тамару из школы, о чем тут же не преминули доложить Рушану. Но теперь, после «романа» с Резниковой, он считал себя не вправе вмешиваться, как делал до сих пор, да и Наиля всерьез воспринимать было смешно, тут, наверное, как и в случае с Резниковой, была какая-то уловка.

События разворачивались с калейдоскопической быстротой. Рушан успел заметить одно: Светлана очень тактично избегала





компаний, где он мог появиться, да и он почему-то боялся такой встречи. Настроения особого гулять не было, и Рушан усиленно занимался дипломом и готовился к первенству города по боксу, финал которого, по традиции, много лет подряд приурочивался ко дню открытия парка. Не было соревнования, которое бы так жаждали выиграть боксеры, как это. Можно стать чемпионом республики, призером первенства СССР, выиграть Spartakiadu народов СССР, стать чемпионом любого знаменитого спортивного общества, будь то «Спартак» или «Динамо», но город признавал только своих чемпионов — вот кого знали, любили, почитали! Они становились кумирами на все долгое лето, а администрация парка вручала каждому победителю жетон, дававший право бесплатного входа на танцы на весь сезон. Для них оркестр мог повторить полюбившуюся мелодию, а строгие вахтеры дружелюбно улыбались, когда обладатель жетона, пропуская подружку вперед, говорил: «Эта девушка со мной...»

В ту весну случилось много всяких событий, радостных и грустных, нужных и ненужных. Однажды среди дня он вынужден был ввязаться в драку в центре города, и в этот момент прямо на них вышли Тамара с Наилем. Говорят, оцепенев от страха, она вымолвила Сафину: «И этот бандит еще пытался за мной ухаживать...» Он потом долго старался не попадаться ей на глаза.

А было это так. В конце апреля выпала Пасха, и благодаря новому батюшке, оказавшемуся не в пример своему предшественнику не только молодым и красивым, но и деятельным, приход в городе ожил, и впервые религиозный праздник отмечался заметно. В то воскресенье Рушан зашел в библиотеку в «Железке» и собирался подняться вверх по Орджоникидзе на «Бродвей», как вдруг подвернулись ему на улице братья Дроголовы, или, как их называли, «дроголята», отчаянные жиганы с «Москвы», где он жил в общежитии. Разумеется, они друг друга хорошо знали. «Дроголята» уже с утра «христосовались» с друзьями и знакомыми и пребывали в добром настроении. Узнав о намерении Рушана, и они решили прошвырнуться по «Бродвею» — праздник все-таки!

Близился Первомай, яркое солнце, зелень, кругом распахнуты настезь окна, цветут сирень, акация — поистине божий день.



Тут нужно оговориться, точнее, провести параллель между аристократией и уголовным миром. Да-да, прямую параллель: если аристократом можно быть только по крови, то и в уголовной среде, в высших ее сферах, та же ситуация, только мало кому известная, даже юристам, ибо их подготовка оторвана от жизни, как в никакой другой профессии. Редко даже свертотчаянному парню со стороны удается подняться в блатном мире до самых высот, здесь авторитетами становятся по рождению, по крови, остальных презрительно называют «парчук», и нет им абсолютного доверия, даже если у них несколько судимостей.

Двое старших «дроколят», не раз сидевшие, были широко известны в городе. И младшие «дроколята», выросшие под ореолом «знаменитых» братьев-жиганов, знали свое положение и пуце всего берегли «репутацию», говоря на жаргоне, не «бакланили» по пустякам.

Обсуждая вчерашний футбольный матч, где Стаин забил «Локомотиву» три безответных мяча, отчего Татарку лихорадило всю ночь, они поднимались вверх по Орджоникидзе, мимо тех деревьев, у которых в новогоднюю ночь Рушан целовался со Светланкой. Дасаев издали заметил, что навстречу им спускаются вниз к вокзалу четверо рослых парней постарше них. По шумному разговору, жестикуляции, громкому смеху ощущалось, что они уже «разговелись», отметили Пасху. Узкий тротуар не позволял разминуться, если не уступить друг другу, но ни с той, ни с другой стороны никто, кроме Рушана, и не подумал сделать такую попытку, больше того, кто-то зацепил плечом одного из Дроголовых, и тут в секунду произошла цепная реакция. Увидев сверкнувшие злым блеском глаза «дрогоценка», толкнувший презрительно выпалил:

— Что, козел, уставиля, не можешь старшему дорогу уступить?

Скажи тот, что угодно без слова «козел», наверняка обошлось бы без стычки, но такое блатные «кронпринцы» не могли оставить безнаказанно. Видимо, пытаясь замять назревавший скандал, Дроголов на всякий случай переспросил:

— Повтори, я не расслышал?

И обидчик, явно уже подогреваемый подвыпившими друзьями, повторил, педалируя на слове «козел».



Не только для другого брата Дроголова, но и для Рушана стало ясно, что оскорбительный ответ — сигнал боевой трубы, такого унижения, да еще прилюдного, «дроголята» снести не могли. И в ту же минуту, когда они, не сговариваясь, кинулись на обидчиков, появились на углу Тамара с Наилем. Драка с тротуара переместилась на дорогу, и тут здоровенные парни, имевшие численный перевес, уверенные, что вмиг прочтат зарвавшихся мальчишек, были позорно и жестоко биты. У одного из «дроголят» оказался легкий, незаметный плексигласовый кастет, и от его удара никто не мог устоять на ногах. Все произошло стремительно, в несколько минут, и собравшиеся на тротуарах, перекрестках зеваки вряд ли заметили тонкую полоску изошренного кастета, но Рушан понял, отчего такой страшной силы удар, от которого уже не поднимались.

Кто-то, явно им симпатизировавший, крикнул: «Атас! Милиция!» — и они исчезли в соседнем дворе. Все время драки Рушан видел испуганное лицо Тамары, а на него кидался парень крепкого сложения, и ему никак не удавалось отправить его в нокаут, хотя раз за разом сбивал того с ног. Дасаев избегал ближнего боя, где был силен, не хотел накануне праздника заработать синяк.

В тот день он высоко поднялся в глазах шпаны с «Москвы», ревностно относившейся к Рушану, который держался все-таки ближе к ребятам с Татарки, и не только из-за родства с Исмаил-беком и дружбы со Стаиным. Романтика блатной жизни его не привлекала, и близость с Исмаил-беком, и дружба «кронпринцев» Дроголовых для него не стоила и одной улыбки Давыдычевой. А он понимал, что теперь окончательно упал в ее глазах: о «бандите» доложили ему в тот же вечер.

Вот так, как на американских горках, или проще, по-русски: из огня да в полымя.

Иногда приходила шальная мысль, которой он, к счастью, ни с кем не поделился — пойти «разобраться» с Мещеряковым, припугнуть Сафина, чтобы забыл дорогу на улицу 1905 года. Но душа, открытая любви, взрослела, мужала, не желала никаких разборок и конфликтов, и в случае с Мещеряковым он понимал, что посягнул на «чужое», — «сталинские дети» все-таки еще помнили библейское: «не убий», «не укради», «на чужое не зарься», впитанное



от бабушек и дедушек, — не провозглашенный тогда еще Моральный кодекс жил в крови.

То же самое и с Наилем... Не будь «романа» с Резниковой, он, возможно, мог бы и припугнуть парня, хотя молодым умом уже начинал понимать, что насильно мил не будешь.

Вообще, той весной он чувствовал какой-то внутренний разлад во всем и даже иногда радовался, что через два с небольшим месяца покинет город, где не сбылись его сердечные мечты, и на новом месте попытается начать все с начала — так думалось в ту пору. Казалось, с глаз долой — из сердца вон, и он с головой окунулся в проекты, хотя учился он легко, и сроки дипломной работы, на его взгляд, были непомерно растянуты.

В ту весну Рушан заметил странность: если ему решительно не везло в любви, то неожиданно многое открылось в боксе, где он уже был без пяти минут мастером спорта. И причиной послужила та драка на улице на Пасху. Отвлекая на себя одного из противников, он успевал помогать младшему «дрогоценку», тому приходилось трудно. Рушан, сбивая с ног своего соперника, наносил и чужому короткий и резкий удар, отчего тот тоже валялся на колени, но упорно поднимался и лез вперед, ребята попались крепкие, но в состоянии опьянения они не были страшны. Хотя все происходило молниеносно, Рушан с холодной расчетливостью сдерживал свой удар, боялся выбить костяшки пальцев, раньше такое опасение ему бы в голову не пришло, азарт подавлял разум. Но и это не все: он легко держал в поле зрения обоих противников, и уж совсем немыслимо, но он почти все время видел испуганное лицо Тамары. Обладая и силой, и техникой, и характером, он вдруг почувствовал, что ему открылось главное в боксе: пришли уверенность, хладнокровие, расчет, а зрение сделалось объемным, как в голографии, он видел как бы насквозь и упреждал хитроумно задуманную атаку. Это он понял на первых же тренировках перед первенством города.

Неожиданная уверенность, пришедшая к нему в квадрате ринга, дала душе необходимое равновесие, он обрел спокойствие, так необходимое перед боями. А еще в то утро, во дворе «Железки» напротив дома Резниковых, он боялся повернуть голову в сторону глухого зеленого забора в переулке, так ныло от тоски сердце.



Его перевоплощение на ринге, новая, раскованная манера боя, в которой не сквозил бесшабашный азарт, бросались в глаза сразу, но связали это с опытом на первенстве «Локомотива»: в столице, мол, пообщался с мастерами, пришла пора зрелости. Рушан в объяснения не пускался. Только себе в эти дни грустно признался: жаль, что за четыре года я преуспел только на ринге. Да, только на ринге он чувствовал себя хозяином своей судьбы, мог диктовать свою волю, навязывать свою манеру, но это не слишком радовало Рушана, он не хотел связывать жизнь со спортом, хотя уже поступали заманчивые предложения.

Город с нетерпением ждал соревнований на призы парка, особенно в легком весе, там собралось наибольшее число отлично подготовленных претендентов, лихих парней в ту пору хватало, сборная СССР тогда на четверть состояла из казахстанцев, где бокс на долгие годы оказался спортом номер один.

Самому Рушану казалось, что он исчерпал себя в этом городе, где жизнь уже шла мимо него. Он снялся с военного учета, сдал книги и спортивный инвентарь, числившийся за ним. Оставались лишь два дела с его участием: защита диплома и первенство города по боксу, о котором только и было разговоров на «Бродвее».

Но судьбе было угодно, чтобы за два месяца случились события, наполнившие жизнь Рушана новым светом, и все дни со времени новогоднего бала с годами слились в один и стали той духовной основой, на которой формируется характер человека. Теперь, через десятки лет, когда на всем стоит несмываемое тавро «проверено временем», он понимает: то забытое, казавшееся случайным, временным, преходящим, оказывается, и было дарованным свыше озарением любви, тем, ради чего люди рождаются на свет — любить и быть любимым.

Благословенное время: оказывается, волшебная жар-птица была рядом, только поверни голову, протяни руку...

Бои на призы парка, начавшиеся за неделю до его открытия, дались Рушану нелегко. Особенно первый, из-за него, наверное, собралось невероятное количество зрителей, потому что волею слепого жребия в нем сошлись главные претенденты на чемпионский титул в легком весе: Дасаев — Кружилин, финальная пара, часто встречавшаяся в судейских протоколах тех лет. В конце первого раунда, когда до гонга оставалось несколько



секунд, Рушан увидел, как среди болельщиков, занимавших ближайшие места к рингу, появились Тамара с Наилем, он даже мысленно раскланялся с ней, и в этот момент сильнейший боковой удар справа чуть не отправил его в нокаут. Рушана спас гонг. Он мог бы поклясться, что видел в ту секунду, как его верные поклонники разом укоризненно оглянулись на Тамару, они поняли, что произошло. Но в оставшихся двух раундах таких оплошностей он себе больше не позволял.

Болельщикам понравилась его новая манера ведения боя, оказавшаяся неожиданной для Кружилина. Куда подевался постоянно рвущийся в атаку, напористый, жесткий Дасаев? Вместо него по рингу легко, по-кошачьи вкрадчиво, изящно передвигался боксер, скорее напоминавший фехтовальщика, его удары оказывались молниеносными и точными и возникали из ничего, уследить их, казалось, невозможно, а каждая атака противника словно читалась им, разгадывалась, упреждалась нырками, уклонами и мощными встречными. «Словно кошка с мышкой», как прокомментировал Стаин первую победу Рушана. Он стал в ту весну не только чемпионом, обладателем заветного жетона, но и получил приз как самый техничный боксер турнира. Говорят, что с него начался «красивый» бокс у них в городе, но то было последнее выступление его в Актюбинске.

После торжественной части, вручения грамот, жетонов, призов, произошла незаметная, вряд ли кому бросившаяся в глаза сцена, — от нее, наверное, и следует вести отсчет еще одной влюбленности Дасаева.

Когда он спустился с высокой летней эстрады, где были натянуты канаты ринга, его обступили болельщики, знакомые и незнакомые, но ближе всех оказались к нему ребята и девушки из железнодорожных школ, для которых он был своим вдвойне, потому как представлял родной для них «Локомотив», что еще раз подтверждало: тогда местный патриотизм не был пустым звуком. Нечто подобное можно наблюдать в последние десятилетия в Америке, но там бросается в глаза патриотизм в отношении страны: нет дома, где не имели бы государственного флага США. Этот патриотизм, наверное, начинается с такой вот любви к своим парням, выигравшим обыкновенное первенство города. Когда его обступили плотным кольцом, стоявшая ближе всех к нему Ниночка Новова, проведя вдруг



нежными пальцами по кровоподтеку под глазом, полученному в финале, с трогательным участием спросила:

— Не больно?

Рушан улыбнулся в ответ, и вдруг, не раздумывая, вручил ей приз — большую хрустальную вазу, в ту пору, видимо, из-за изобилия хрусталя, одаривали им, и только из знаменитого Гусь-Хрустального, — сказав при этом:

— А это мой личный приз самой очаровательной болельщице...

Кто-то предложил сфотографироваться вместе на память. И Ниночка, передав Стаину вазу, достала изящную пудреницу и припудрила налившийся синяк, и Рушану было очень приятно ее внимание.

Сфотографироваться рядом с чемпионом собралось так много друзей и знакомых, что фотограф стал рассаживать и расставлять их, а в центре оказались Рушан с Ниной. Пока шла суета, кого куда усадить или поставить, Светланка, находившаяся рядом с Мещеряковым, улучив момент, бросила Рушану веточку сирени. Вряд ли кто, кроме него, увидел этот жест.

В парке уже гремел джаз-оркестр. Первый танцевальный вечер сезона начался, и большинство болельщиков перешло из летнего театра эстрады, где проходил боксерский турнир, на танцевальную площадку.

Ниночка, обнимая огромную вазу, сказала вдруг Рушану:

— Твой подарок напоминает мне троянского коня. Надеюсь, он сделан без умысла? Я ведь пробилась к тебе, жаль, ты не видел, как я толкалась, чтобы хоть раз в жизни попасть на танцы по жетону для чемпионов, тем более в день открытия парка. Сегодня или никогда, такая я, Дасаев, тщеславная...

В ту пору они изощрялись в какой-то иносказательно-шутливой манере, с заметным налетом высокопарности, в которой всегда присутствовал подтекст. Особый стиль разговора их юности, позже он никогда не встречал подобного.

— Почему ты решила, что ваза помеха твоему желанию? Мы ее пристроим к музыкантам, на всеобщее обозрение... А на танцы, Ниночка, моя неожиданная болельщица, я приглашаю тебя с удовольствием...

Нина улыбнулась и опять в шутливой манере игриво добавила:



— Только при входе на танцы, где сегодня огромная очередь, которая наверняка расступится перед тобой, скажи, пожалуйста, контролеру погромче: «Эта девушка со мной...»

Все вокруг заулыбались. Неделю назад у них в городе прошел фильм Феллини «Ночи Кабирии», ставший навсегда знаменитым. Там была сцена, когда Джульетту Мазини у ресторана подбирает в свою роскошную машину с откинутым верхом некий известный актер, и она, захлебываясь от восторга, кричит товаркам: «Смотрите, смотрите, с кем я еду!» Запоминающийся момент, и Ниночка ловко переиначила удачную мизансцену, удвоив успех всеобщего любимца Дасаева.

После танцев большой компанией, продолжая обсуждать финальные бои, они возвращались на «Москву», в поселок железнодорожников, где на улице Красной жила и Ниночка Новова. Круг общих знакомых и у Ниночки, и у Рушана состоял в целом из одних и тех же людей, «выдающихся», по высокопарному выражению Стаина, кстати, имевшему прочное хождение в быту их провинциального города, и они, конечно, знали друг о друге все. Открытость вообще была характерной чертой того давнего времени.

Конечно, Ниночка знала, что Рушан безнадежно влюблен в Давыдычеву, слышала и о «романе» с Резниковой, с которой дружила с первого класса и была в давно сложившейся симпатичной девичьей компании.

И Рушан ведал о Ниночке немало: она, как и Стаин, грезила Ленинградом, хотела стать врачом. Знал, что она тоже безответно влюблена в Рената Кутуева, высокомерного мальчика из второй школы, увлеченного только джазом, а точнее, саксофоном. Поговаривали, что ему уже зарезервировано место в знаменитом оркестре Эдди Костаки. Кокетливо-изящная, насмешливая Новова, на которой задерживалось немало влюбленных юношеских взглядов, ни с кем до сих пор не встречалась, а на дворе стояла последняя школьная весна, и через месяц-другой она отбывала на берега Невы, как ей казалось, навсегда.

Наверное, вечер в день открытия парка так и остался бы эпизодом, связанным с хрустальной вазой и трогательным вниманием Нововой, если бы на следующий день в общежитии не раздался телефонный звонок Стаина. Жорик передал





приглашение Галочки Старченко из тринадцатой школы на день рождения и очень рекомендовал пойти, уверял, что соберутся там «интересные» люди. Планов на вечер, хотя и праздничный, первомайский, Рушан никаких не строил и согласился, ибо у Стаина был отменный нюх на подобные вечеринки, что и говорить, Жорик умел развлекаться: вокруг него и крутилась молодежная «светская» жизнь их городка.

Милые, трогательные дни рождения тоже глубоко врезались в память Рушана, столько радости они доставляли и имениннику, и его гостям. Сегодня, невольно сравнивая прошлое и настоящее, Рушан понимает, как много в ту пору было счастливых семей, ведь там, где нелады, гостей не созывают. Не была исключением и семья Старченко, где в любви и обожании росла еще одна прелестная девушка, по определению Стаина, из категории «выдающихся» — в это понятие вкладывался широчайший спектр качеств: от прекрасной учебы, высоких спортивных результатов до неординарной манеры одеваться, держаться, шутить, танцевать — короче, иметь свое лицо.

«Выдающиеся» служили как бы катализатором в своем поколении, благодаря им сближалась молодежь, наводились мосты между школами: второй, где учился высокомерный Ренат Кутуев, сорок четвертой, где учились Давыдычева и самый известный поэт их города — Валька Бучкин, и, конечно, сорок пятой, законодательницей юношеской моды и всех благих начинаний, где лидировал денди Стаин, и оканчивали ее Светланка Резникова, Ниночка Новова, а благодаря Старченко в ту весну прославилась и тринадцатая. Самому Рушану через годы кажется, что он окончил обе железнодорожные школы, и сорок четвертую, и сорок пятую, его симпатии, интересы тесно переплелись между ними.

Актюбинск той поры на три четверти состоял из собственных разностильных домов. Как шутил Стаин: «У нас город на английский манер, весь — из частных владений». В собственном доме за хлебозаводом жили и Старченко. На удивление, встречал их сам отец Галочки, оказавшийся рьяным болельщиком, он не пропускал ни одного матча «Спартака», за который играл Стаин. Переживал он вчера в парке и за Дасаева и очень обрадовался, когда узнал, что тот сегодня будет у дочери на дне рождения.



Когда они с Жориком появились в просторном зале, уставленном столами в форме буквы «П», гости уже рассаживались. Хотя их отовсюду зазывали, обращаясь по имени, многие ребята не были знакомы ни Стаину, ни Дасаеву, видимо, Галочка, пользуясь случаем, решила широко представить своих друзей и подруг из тринадцатой. И вдруг откуда-то сбоку раздался знакомый голос, обращенный к Рушану. Оглянувшись, он увидел Ниночку Новову, мило показывавшую ему на пустующее рядом место.

— А этот стул я берегла для тебя с той минуты, когда узнала, что ты зван к Галочке. Ты вчера об этом и словом не обмолвился, считай, сюрприз не только для Старченко...

Говоря шутливо, она так маняще глядела на Рушана, что ему невольно вспомнился новогодний бал, где Резникова сказала у колонны: «Ты мой пленник, мы сегодня двое отверженных...»

Много позже в Москве, в Театре эстрады, он был на премьере программы Аркадия Райкина «Светофор-2», и там его поразила одна мизансцена, не типичная для великого актера, и наверняка мало кто помнит о ней. На сцене в полумраке стоят, чередуясь, мужчина — женщина, мужчина — женщина, десять человек, но назвать их парами нельзя: хотя они все и влюблены друг в друга, но влюблены невпопад — об этом говорят их письма, телефонные звонки, полные любви, нежности, страсти, мольбы, жертвенности; казалось бы, переставь их местами, поменяй им телефоны, и все они будут счастливы, каждый из них открыт для любви, достоин ее, страдает. Но в том-то и трагедия, что нет возможности изменить ситуацию — и несчастливы все персонажи.

Тогда, в зале театра на Берсеневской набережной, ему вспомнился день рождения Галочки Старченко, и тут же выстроился тоже знакомый ряд: Наиль Сафин, влюбленный в Ниночку Новову, встречается с Тamarой Давыдычевой, а на Рушана, не добившегося благосклонности девочки с улицы 1905 года, затаенно глядит Ниночка. Казалось бы, поменяй судьба местами, и все сложится... Но в том-то и загвоздка, что Наиль не нужен Тамаре, как и он Нововой, в том-то и беда, что никого и ничего нельзя поменять местами. И в этом — еще одна тайна любви или жизни, не поддающаяся разгадке... Но все это ясно теперь, когда прошли годы и прожита жизнь.



А тогда... Какие замечательные тосты провозглашал вдохновенный Стаин, казалось, никого не обошел вниманием: ни именинницу, ни прекрасную половину гостей, ни вчерашнюю победу Дасаева, ни Ниночку, оказывается, проявляющую интерес к боксу, особенно к чемпиону, — все тепло, мило, иронично, высокопарно. Возможно, со стороны это выглядело манерно, но таков был стиль, им тогда хотелось какой-то другой жизни, подсмотренной в зарубежных кинофильмах, вычитанной в книжках, и они старались приобщиться к ней как могли — здесь в ход шло все: спорт, музыка, наряды и, конечно, речь.

Весело катилось застолье, все были приветливы, любезны, учтивы друг с другом. Стоял теплый майский вечер, и запах персидской сирени, цветущих яблонь сквозь распахнутые настежь окна, казалось, пьянил и без вина. Но вино, шампанское они пили, что скрывать. Наверное, в этот день за столом собрались только влюбленные, и любовь, ее жар витали над столом, в зале, в спальне Галочки, куда уже украдкой кто-то скрывался на минуту-другую сорвать давно обещанный поцелуй. Как горели глаза у юношей, как пылали щеки у девушек!

Сегодня, опять же запоздало, через годы, наука доказала, что есть ощущения, которые передаются всем. Состоянием каждого в тот давний майский вечер могла быть только любовь, она околдовывала, обнадеживала даже тех, кого еще не коснулись ее крылья. Звучали разные ритмы, от рок-н-ролла Элвиса Пресли до буги-вуги Джонни Холидея, которые почему-то незаметно сменились минорными мелодиями танго. И вновь, как на Новый год, на темной улице чаще других слышался грустный голос Батыра Закирова, его знаменитое «Арабское танго».

Как хорошо, что в зале давно выключили свет и танцевали так близко, что Ниночка в эти минуты не видела глаза Рушана, хотя ощущала его волнение... Ведь все было так недавно, а Батыр Закиров раз за разом напоминал ему об этом...

У Рушана так испортилось настроение, что в перерыве между танцами он предложил Стаину исчезнуть «по-английски», но Жорик не отходил от некой Зиночки, его очередного открытия того вечера: для нее, как для Наташи Ростовской, то был первый «выход в свет», — и вдруг такой успех, многие ребята с интересом посматривали на нее. Но Стаин, почувствовав



настроение друга, сказал: «Уйдем через час, когда кончится поэтическая часть». Он слышал, что Бучкин собирается сегодня читать новые стихи.

У молодежи уже давно сложилась традиция, что на вечеринках читали стихи, у них в компании имелись свои признанные поэты, и блистал среди них Валентин. Не возбранялось читать и чужое, но отдавалось предпочтение, конечно, лирике, и этого момента всегда с нетерпением ждали девушки, порой происходили такие скрытые объяснения в стихах... Удивительно благодатное время для поэзии, даже Стаин вряд ли мог тягаться в популярности с Бучкиным, — слово, рифма обладали тогда волшебной силой.

Валентин пришел в тот вечер к Старченко с Верочкой Фроловой, с которой у него шумно и нервно длился «роман», хотя вряд ли кто пытался вклиниться между ними. Бучкин называл Верочку своей Беатриче и не замечал восторженных девичьих взглядов, посылаемых ему отовсюду, ведь он писал такие стихи о любви...

В тот вечер Валентин выглядел грустным, но порадовать стихами не отказался, когда хозяйка вдруг выключила радиолу и объявила: «Час поэзии настал». Опять же по традиции он начал читать стихи первым, и сквозь полумрак зала его задумчивый взгляд все время тянулся к Верочке, притулившейся у голландской печи и почему-то зябко обхватившей руками плечи.

Удивительные стихи лились как музыка, а на лице Верочки, освещенном молодой луной, заглядывавшей в распахнутое окошко, не читалось ни любви, ни радости. Странной, нереальной казалась эта картина Дасаеву, хотелось закричать, спросить: «Вы же рядом, отчего печаль, почему такие грустные, до слез, стихи?» Это навсегда осталось для Рушана тайной. С Валентином они потом больше не виделись, не встречались в печати и его стихи, хотя он долгие годы искал в периодике его имя. В тот вечер Валентин как никогда был ему близок, понятен, может, из-за стихов, может, из-за грустного взгляда, тянувшегося к девушке, зябко обхватившей тонкие плечи.

«Мы все в эти годы любили, но мало любили нас...»

Ниночка, занявшая единственное кресло в зале, сидела у проема входной двери, и свет из коридора хорошо высвечивал ее лицо. Время от времени она нервным движением поправляла



прическу, словно отбрасывала тяжесть волос от высокой и длинной шеи с тонкой ниткой жемчуга на ней. Как только Валентин начал читать, она вся подалась вперед, и, казалось, ничто не в состоянии отвлечь ее внимание, вся ее фигура, осанка излучали нежность, изящество, незащищенность. «Лебедь», — пришло вдруг на ум Дасаеву.

Рушану доставляло удовольствие наблюдать за ней, но с каждым стихотворением все ниже и ниже опадали девичьи плечи, нервнее становились жесты, восторженный взгляд гас на глазах. В эти минуты Рушан понял популярность Бучкина, ощутил магическую силу слова, искусства. Ведь все, чем делился печальный поэт, было и ей знакомо, понятно — безответная любовь. Когда Валентин заканчивал, она сидела, вжавшись в кресло, и Рушан видел побелевшие от напряжения пальцы рук, впившиеся в узкие подлокотники кресла. Хотелось подойти, сказать ей что-нибудь приятное, ласковое, обнадежить, поцеловать в нежную шейку, шепнуть что-то волнующее, как это умел Стаин. Например: «Какая вы сегодня очаровательная, мадемуазель Новова», или «Поделитесь секретами красоты и обаяния, восхитительная Нина, вы несравненны всегда». Но Рушан сказать так не мог, да и не умел, у него у самого от печали Валентина влажнели глаза, где уж тут приободрить другого, хотя в эти минуты он ощущал невероятный прилив нежности к Нововой, готов был на все, лишь бы с ее прекрасного лица исчезла пелена грусти...

Жорик, пристроившийся у стены за спиной Зиночки, время от времени наклоняясь к ней, что-то говорил ей на ушко, но она, сидевшая от Ниночки на расстоянии протянутой руки, вряд ли слышала жаркий шепот Стаина. Во все глаза, впервые так близко, она смотрела на самого известного в городе поэта, и, судя по всему, он ей тоже нравился; сердце Стаин предусмотрительно пытался разрушить эти чары, но вряд ли спортсмен мог тягаться с поэтом.

Как только Валентин закончил и в зале возникло некоторое замешательство, хлопки, возгласы одобрения, Жорик выскользнул в коридор и стал подавать Рушану знаки, он помнил о том, что собирались потихоньку покинуть дом Старченко. Но тут произошло невероятное, этот шаг Рушан не может осмыслить всю жизнь, даже сегодня, когда «отцвели его хризантемы», это, наверное, тоже из разряда таинств любви.



Когда совсем недавно, в марте, он ежедневно поджидал почтальоншу и бегал к ночному поезду, чтобы опустить письмо Светланке, ему случайно попал в руки томик Лермонтова. Он, как и многие его сверстники в те годы, полюбил поэзию, полюбил на всю жизнь и, исходя из своего опыта, мог сказать сегодня с уверенностью: «Любите поэзию, поистине в ней убежище от многих невзгод. В поэзии, как в Коране, есть ответы на все вопросы жизни, только ищите своего поэта, свои стихи, они есть...» Разве не удивительно, что когда он узнал о решении Светланки выйти замуж за Мещерякова, ему тут же пришли на память из глубины сознания строчки:

*Такая долгая зима,  
Такая долгая разлука,  
До крыши занесены дома,  
Пойди найди в снегах друг друга.*

*Но легче зиму повернуть,  
Назад по временному кругу,  
Чем нам друг другу протянуть  
Просящую прощенья руку.*

*Нарушь обычай, прибери квартиру  
И даже память вымети в сугроб...*

В конце томика на первой же открытой странице оказался известный монолог Арбенина из «Маскарада»:

*Послушай, Нина, я смешон, конечно,  
Тем, что люблю тебя безмерно, бесконечно,  
Как только может человек любить...*

Эти строки как нельзя лучше отражали тогдашнее настроение Рушана, вот только имя «Светланка» не укладывалась в рифму, а так — словно по душевному заказу, точнее, будто это были его собственные строки. Эти стихи сами, без труда, легли в память, и он собирался прочитать их как-нибудь при встрече Резниковой, но все так неожиданно оборвалось, и казалось, эти строки никогда больше не пригодятся. И вот...



Пока девушки, препираясь, выталкивали друг дружку читать стихи вслед за Валентином, Рушан подал знак Стаину и двинулся к двери. И тут у самого порога обернулся... Нина словно почувствовала, что он уходит, и подняла на него свои затуманенные глаза, будто вопрошая: «И ты меня оставляешь одну?» Рушану даже показалось, что она протянула руку, словно хотела его удержать. И вдруг он театрально отступил назад и, обращаясь только к Нине, хорошо просматриваемой отовсюду в освещенном проеме двери, стал читать знаменитые лермонтовские строки: «Послушай, Нина...»

Он был в странном состоянии, как после тяжелого удара на ринге, когда автоматизм защитных движений спасает от нокаута, но строка за строкой придавали ему уверенности, возвращали в реальность. И снова, как на ринге, он видел своим неожиданно открывшимся объемным зрением все вокруг. Прежде всего Стаина, онемевшего, оцепеневшего, со смешно отвисшей челюстью, не понимавшего, что происходит, такого от молчальника Дасаева он не ожидал. Позже Жорик долго будет рассказывать эту сцену в лицах. Но мелькнувший на секунду Стаин его не волновал, он видел чудо преображения Нововой.

Она, замороженная, словно лебедь, оторвалась от спинки кресла и, готовясь взлететь, взмахнуть прекрасными крылами, потянулась к нему взглядом, теплеющим лицом. В эти минуты для нее не существовало никого в целом мире, только — он и она, хотя Нина, наверняка, чувствовала, что на них, затаив дыхание, смотрят все гости, понимая, что это кульминация дня, тот сюрприз, которого так ждут на каждом поэтическом часе. Снова, как в начале вечера, она легким, изящным жестом отбросила тяжелые темные волосы от матовой шеи. И этот свободный, полный достоинства жест говорил: «Вот я какая, какие мне читают стихи!» Сегодня, спустя годы, он не стал бы отпираться, что это прозвучало как объяснение в любви к прекрасной Нововой, но тогда...

В лермонтовский монолог он вложил всю боль исстрадавшегося сердца, не познавшего любви, это было как бы его последнее «прощай» компании, с которой вот-вот предстояло расстаться навсегда. Возможно, он хотел подчеркнуть, что они с Ниночкой одинаково несчастны, одиноки в этот чудный майский праздник в гостеприимном доме именинницы



Старченко. Но под чувства сложно подводить теории, анализировать их, он и сейчас не может объяснить, что с ним было, да и надо ли..

Слова, пришедшие внезапно, так же неожиданно иссякли, и Рушан стоял, не смея сделать шаг ни к двери, к ожидавшемуся Стаину, ни назад, чтобы протянуть Нине руку. Выручили ярко вспыхнувшая люстра под высоким потолком и неожиданные аплодисменты поднявшихся с мест гостей. Дальше читать стихи сегодня никто не решился бы. И вдруг, когда Ниночка, по-прежнему не замечая никого вокруг, поднялась ему навстречу, свет в зале снова погас, и тотчас зазвучало «Арабское танго». Она положила ему обе руки на плечи и, приблизив взволнованное лицо, тихо прошептала:

— Я так счастлива, спасибо тебе...

Со дня рождения Галочки Старченко и можно вести отсчет его новой влюбленности.

Май в их краях, без сомнения, самый дивный месяц. Весна в степные просторы приходит с запозданием, и только в мае природа набирает силу, во всей красе распускаются деревья, в каждом палисаднике цветут сирень, акация. Небольшой сад на улице Красной, словно окутанный дымом, белел шатрами цветущих яблонь. Позже, когда Рушан будет слышать известную песню «Яблони в цвету» рано ушедшего певца и композитора Евгения Мартынова, он всегда будет вспоминать тот давний май.

Это в конце мая Нина однажды сказала: «Мы с тобой как осужденные». И он понял: да, как заключенные, зная приговор, невольно считают дни, они тоже делали свои зарубки, ибо тоже знали даты своего отъезда, и даже точно, кому куда. К тому времени Рушан получил назначение в Кзыл-Орду, а Нину ждал Ленинград.

Оттого, словно наверстывая упущенное, они старались видеться каждый день. Встречались с какой-то взрослой страстью, упоением, не отказываясь ни от каких компаний. Они чувствовали себя по-свойски среди «дроколят» и рядом с дружками Исмаил-бека, на веранде летнего ресторана в парке и в компании Стаина. В ту весну они были словно наэлектризованы — возле них всегда собирались друзья, приятели, поклонники, болельщики, их захватывало бесшабашное веселье,





слышались шутки, смех. Наверное, в душе большинство из них ощущали, что навсегда прощаются с Актюбинском — городом их детства и юности.

Ниночка в веселье оказалась неудержимой, и вряд ли кто, кроме Стаина, уступал ей в фантазии, энергии. Какие импровизированные вечеринки возникали спонтанно после танцев где-нибудь в глухом скверике или у кого-нибудь в палисаднике, какие песни звучали под гитару!

Никто не узнавал тихую очаровательную Новову. Однажды она сказала небрежно контролеру танцплощадки: «Этот молодой человек со мной», — и сделала особое движение корпусом в стиле Дасаева, в точности повторив его коронный нырок, отчего весело заплодировали все стоявшие у входа.

В общем, они развлекались, пытаясь растянуть сутки, боясь расстаться до утра, а время сужалось, как шагреновая кожа.

За три дня до назначенного срока отъезда Ниночки в Ленинград Рушан находился в общежитии. Защита диплома позади, через неделю у него выпускной вечер, и он тоже отбудет из города, где сбылись и не сбылись его мечты.

В ту среду ему припомнился точно такой же жаркий июньский полдень, ровно четыре года назад, когда он на крыше ташкентского скорого добирался в город, чтобы сдать документы в техникум. Каким соблазнительным, таинственным виделся ему, поселковому мальчику, город, с невероятно долгой учебой — и вот все промелькнуло как один день, и снова очередной виток жизни, и опять все начинать с нуля. Что ждет его в неведомой Кзыл-Орде? Такие вот невеселые мысли одолевали его в тот час, но на лицо набегала улыбка, когда он время от времени невольно думал о предстоящей встрече с Ниной. В последние дни летняя ночь казалась им такой короткой, невероятно быстро начинало светать, и гудок алма-атинского экспресса долгим сигналом на входных стрелках обрывал свидание. Ниночка, тяжело вздыхая, говорила:

— Пора прощаться, милый. Как жалко, что в июне так поздно темнеет и так рано светает, но мы с тобой не властны над природой..

Вдруг его мысли о предстоящем свидании прервал случайно заглянувший в дверь парень из соседней комнаты. Увидев Рушана, он удивленно спросил:



— Ты что тут прохлаждаешься, не провожаешь свою Ниночку? Я сейчас с вокзала, видел ее на перроне с родителями, уезжает.

Одним рывком Рушан вскочил с кровати.

— Как уезжает? — тревожно спросил он, не вникнув еще в суть неожиданного известия.

— Обыкновенно. В восьмом, купейном вагоне. Поспеши, еще минут десять до отхода московского, я на велосипеде с вокзала...

Рушан, не дослушав последних слов, кинулся к распахнутому окну и в мгновение ока оказался на улице.

Он бежал, распугивая по дороге одиноких прохожих, не замечая зноя, не пытаясь скрыться в тени придорожных карагачей, по обезумевшему лицу парня читалось — случилась беда.

Добежав до путей, он увидел нечетный состав, катящийся к вокзалу. Рискуя расшибиться, он сумел на бегу запрыгнуть на подножку нефтеналивной цистерны с переходным тамбуром. Как он торопил товарняк! Сигнальные огни хвостового вагона пассажирского поезда он видел хорошо, экспресс еще стоял.

Нечетный, сбавив ход, стал сворачивать на боковые пути для грузовых составов, и Рушан, спрыгнув на межпутье, побежал снова, до перрона оставалось несколько десятков метров. Как хотелось ему успеть! Увидеть ее лицо, глаза и, если удастся, спросить — почему тайком? Почему так жестоко, не по-человечески?! Словно он чувствовал, что будет мучиться потом этими вопросами всю жизнь.

Рушан уже вбежал на перрон, когда хвостовой вагон качнулся, слегка подался вперед, но он сделал усилие, оставляя за спиной вагоны под номером двенадцать, одиннадцать, десять. Вокзал в этот час был запружен провожающими, и, лавируя между ними, Рушан терял скорость. Задыхаясь, он бежал рядом с катившимся девятым вагоном и уже видел, как Ниночка, высунувшись из приспущенного окна, махнула рукой. Кому? Он рванулся из последних сил, пытаясь попасться хотя бы на глаза ей, но девятый вагон уже обгонял его, затем десятый, одиннадцатый... И он устало остановился, не в силах оторвать взгляд от тоненькой девичьей руки, еще махавшей кому-то.

Родители Нины увидели его сразу и, возможно, обрадовались, что состав стремительно набирал скорость, они боялись,



что этот отчаянный парень вскочит в отходящий поезд. Но тогда подобная мысль не пришла ему в голову. Когда последний вагон скрылся за выходными стрелками, он обернулся и увидел, что стоит почти рядом с ее родителями. Не смея поднять заплаканное лицо, он медленно, по-стариковски сутулясь, поплелся прочь. Что он мог сказать им? Они и так все видели.

В тот вечер, впервые, он крепко выпил со Стаиным и с ребятами с Татарки. Возвращаясь из парка домой, в общежитие, повстречал Бучкина с Фроловой. Валентин уже знал о том, что случилось утром на вокзале. Верочка, жившая рядом со станцией, ходила на перрон за свежим хлебом, что подвозят к московскому скорому, и все видела. Валентин увел Рушана к себе, и они проговорили до глубокой ночи. Утром, когда они завтракали на кухне, Валентин вдруг сказал:

— Твоя история просится в стихи, послушай...

*Я познал поцелуев сласть,  
Мое счастье было в зените...*

Но Рушан протестующе замахал руками:

— Перестань, без тебя тошно...

Сегодня, спустя много лет, Дасаев жалеет, что остановил поэта. Какие строки шли дальше? Тайна, которой нет разгадки, а эти две строчки запомнились на всю жизнь: «Я познал поцелуев сласть...»

В оставшиеся дни до выпускного вечера, на котором должны были вручить дипломы, он почти не выходил в город, слонялся по пустевшим с каждым часом комнатам общежития. Словно вагоны в день отъезда Ниночки, мелькали, стремительно убывая, дни: пять, четыре, три.. Как он торопил их! Жизнь казалась невыносимой. Если разрыв с Резниковой он еще как-то мог объяснить, то бегство Нововой принял как рок, как наказание свыше за... предательство. Да, да, за предательство, ведь иногда поздно ночью, зная, что все равно не уснуть, он потихоньку пробирался на улицу 1905 года и подолгу стоял у темных окон сонного дома Тамары. Как молил он ее мысленно о прощении, как жалел, что она не догадывается о творившемся в его душе! Он ведь не знал, что в те дни в одной компании, где какие-то девушки, пытаюсь задеть ее,



упомянули о влюбчивости некогда верного ей Дасаева, она сказала, гордо вскинув голову:

— Если в этом городе он кого и любил, то только меня, и не заблуждайтесь на этот счет...

Попасться ей на глаза Рушан не решался, хотя наблюдал иногда за нею издали, и в одно из ночных бдений у ее темных окон пришла мысль — попрощаться с ней хотя бы письмом, ведь не шутка — четыре года, столько времени в этом городе их имена произносили рядом, даже если и не сложились у них отношения.

Неожиданное решение наполнило на время жизнь смыслом. Целыми днями он не вставал из-за стола, но три школьные тетрадки, исписанные его четким почерком, трудно было назвать письмом, скорее исповедью его исстрадавшейся, запутавшейся души, где он пытался сказать, что она значила и значит для него. Выходит, сегодняшняя попытка исповедаться на склоне жизни не первая...

Однажды, вернувшись с обеда, он застал в слезах соседа по комнате Юрия Калашникова по кличке Моряк.

— Кто обидел? — первое, что спросил Рушан у своего верного поклонника, которого в общежитии называли его адъютантом.

Моряк зашмыгал носом и показал на тетрадку глазами:

— Ты, оказывается, так любишь Томку... У меня от твоего письма просто сердце заболело, так жалко тебя... Никогда не думал, что так можно терзаться... Ты уж извини, что прочитал, — и, продолжая шмыгать носом, обнял обескураженного Дасаева.

Такого от далеко не сентиментального Моряка Рушан не ожидал.

— Давай выпьем за любовь, за Тамару. Я уже сбегал за бутылкой, — предложил вдруг Калашников.

За бутылкой вина Моряк и убедил Рушана, что нужно пойти попрощаться, и «письмо», конечно, отдать лично.

У него остался последний вечер в Актюбинске, отступить было некуда, завтра вечерним поездом он навсегда покидал город. После обеда, захватив тетради, он пошел на улицу 1905 года.

На звонок вышла сама Тамара и, что странно, не очень удивилась его визиту, улыбнулась, словно ждала, пригласила



в дом, но он не решился войти. Сказал, что вчера получил диплом и сегодня у него последний вечер, завтра он уезжает навсегда и просит ее сходить с ним хотя бы в кино. Протягивая тетради, добавил: «А это то, что мне всегда хотелось сказать тебе». Тамара благосклонно взяла тетради и спросила, во сколько он зайдет за нею.

Не веря в реальность разговора, Рушан назвал время, мысленно благодаря Моряка за совет. Ведь не прочитай тот его «письма», вряд ли он решился бы показаться на глаза девушке.

Возвращаясь в общежитие, встретил Наиля Сафина, направлявшегося туда же, откуда он только что ушел. Он поздоровался с ним кивком головы, но радости выказывать не стал. Бедный Наиль, наверняка был для Тамары тем же, чем и он для Резниковой или Нововой, оба они оказались глубоко обиженными, он понимал это еще тогда.

Задолго до назначенного времени он стоял в тени отцветших акаций напротив ее дома, до конца не веря, что сейчас распахнется калитка и выйдет Тамара. И вдруг он провалился памятью в то далекое лето, когда волею судьбы впервые встретил ее у «Железки» с нотной папкой в руках и, как зачарованный, пошел за ней следом и долго стоял на этом же самом месте в надежде увидеть ее силуэт за легкими тюлевыми занавесками в распахнутом окне. И вот сегодня — первое настоящее свидание; каким долгим, в четыре года, оказался путь к нему.

Она появилась минута в минуту, издали обворожительно улыбнулась и спросила так, словно они встречаются давным-давно:

— Ну, куда мы идем сегодня, Рушан?

У него были билеты в кинотеатр «Культфронт» рядом с парком, и он предложил пойти на английский фильм «Адские водители», а потом, если будет настроение, заглянуть на танцы. Все прошедшие с того летнего вечера годы Рушан мечтал когда-нибудь встретить повтор этого остросюжетного фильма, чтобы заново пережить ощущения той единственной встречи, когда он сидел рядом с Тамарой, держал в горячих ладонях ее руки, и она не пыталась убирать их, пальцы вели какой-то нежный, волнующий разговор, сплетаясь, узнавая, лаская друг друга. Он хорошо помнит и фильм, и как почти не отрывал



взгляда от ее прекрасного лица, еще не веря до конца, что эта гордая, недоступная красавица сидит рядом с ним.

Весь вечер и до кино, и после, когда они прогуливались по «Бродвею», ему тоже хотелось кричать, подобно Кабирии в фильме Феллини: «Смотрите, с кем я иду! Я иду с Давыдычевой! Тамара рядом со мной!»

Но в тот июньский вечер появление их вместе не осталось незамеченным. Только закончились выпускные вечера в школах, прошли экзамены у студентов, молодежь бурлила, предвкушая длинные летние каникулы, и они встретили многих своих друзей и знакомых, им приходилось раскланиваться направо и налево. И опять Рушана поразило: никто не удивился, что он появился на «Бродвее» с Давыдычевой. После кино, гуляя по парку, Рушан спросил, не хочет ли она на танцы. Но Тамара вдруг сказала неожиданно:

— И на танцы хочется пойти, но еще больше хочется побыть с тобой, ведь ты завтра уезжаешь, и об этом знают многие, знала и я. Нам не удастся и двумя словами перемолвиться, будут подходить прощаться с тобой. Я не хотела бы, чтобы наш единственный вечер прошел на печальной ноте, не хочу, чтобы постоянно напоминали о твоём отъезде. Давай уйдем из парка, свернем с шумного «Бродвея» на тихую улочку и погуляем, нам ведь есть, о чем поговорить?

Этот вечер, проведенный с Тамарой, Дасаев, как ни пытался, не мог воспроизвести хронологически, он тоже дробился на десятки частей, каждая в воспоминаниях выстраивалась в нечто трогательное и грустное и вряд ли вмещалась в одну ночь. Прогуляли они до рассвета, до гудка алма-атинского экспресса. Запоздалое свидание напомнило новогоднюю ночь, та же неожиданность, то же волнение, те же признания, объятия, жаркие поцелуи и даже слезы.

Прощаясь, они верили в свое счастье, надеялись, что все недоразумения, страдания — позади.

Много позже, когда увлечение поэзией естественно приведет его к живописи и он откроет для себя мир импрессионистов, Рушана поразят работы Клода Моне, его знаменитый Нотр-Дам в разное время суток, при меняющемся свете дня, причем взгляд всегда из одной точки. Вот тогда, наверное, он и определит свое отношение к трем очаровательным девушкам:



Резниковой, Нововой, Давыдычевой, ибо исходной точкой, как и у Клода Моне, здесь была любовь. Как прекрасен Нотр-Дам утром, в полдень, на закате солнца, при одинаковости композиций, ракурса, но каждая работа является неповторимым творением, так и его «романы» освещены одним светом — любовью. И он никогда не унизил ни одно из своих чувств, что было, то было, и даже короткая летняя ночь, проведенная с девушкой с улицы 1905 года, заронившей в его сердце любовь, осчастливившей его таким редким даром природы, осталась с ним на всю жизнь. И подтверждением тому мог служить один жестокий факт.

В молодые годы в минуты отчаяния, когда казалось, что любовь навсегда покинула его, ему однажды пришла мысль уйти из жизни. Но он не мог уйти, не попрощавшись с теми, кого любил. Он написал письмо, где благодарил их за те давние минуты радости, счастья, что они успели дать ему, и объяснил, что жизнь без них потеряла смысл. И кончалось послание одинаково, словно под копирку: «Прощай, я любил тебя...» У него не оказалось под рукой только нового адреса Давыдычевой, и пока он наводил справки, мысль о самоубийстве потеряла остроту. Выходит, он обязан жизнью той девочке с улицы 1905 года. Удивительно, а ведь тогда он еще не был знаком с любовными посланиями знаменитого Жана Кокто...

*А ты сегодня ходишь, каясь,  
И письма мужу отдаешь.  
В чем каясь? Есть ли в чем? Едва ли!  
Одни прогулки и мечты.*

Ну, это для тех, кто любит заглядывать в замочную скважину, и как лишнее подтверждение, что в поэзии есть ответы на все случаи жизни. Поэтому ему всегда хочется сказать всем и каждому: «Любите поэзию!»

Так случилось, что никого из тех, кто посещал знаменитые вечера в двух железнодорожных школах в конце пятидесятых годов, не осталось в Актюбинске. Жизнь всех разбросала по стране, у многих и корни оборвались навсегда. Наверное, чаще других бывал в родных краях Рушан. Не забывал заглянуть на улицу 1905 года и на улицу Красную, там давно живут чужие



люди, которые охотно впускали его в дом, где, конечно, уже ничто не напоминает о давних счастливых днях, разве что неохватные стволы тополей за окном и давно одичавшие кусты персидской сирени.

Иногда он говорил себе: все, в последний раз. Но любая прогулка в очередной приезд заканчивается у дома на улице 1905 года. Что это? Память сердца? Рушан знал, что она училась в Оренбурге, в пединституте, знал даже, где Тамара снимала комнату — на Советской, 100. И однажды он заехал в Оренбург и пришел в эту квартиру. Хозяйка легко припомнила очаровательную девушку, некогда квартировавшую у нее.

— А вас я не помню, — промолвила она огорченно. И когда он признался, что никогда прежде не бывал здесь, грустно подытожила: — И вы, значит, любили ее, Тамару...

Видимо, из-за одиночества или по какой другой причине она усадила его пить чай и за столом сказала:

— Знаете, она всегда переживала, сомневалась — любят или не любят ее. Хотя поклонники у нее были, и все ребята видные. Но она хотела какой-то непонятной любви, чтобы любили только ее и до гроба... Вы один пришли сюда через столько лет, а ведь она квартировала у меня пять лет, и никто не искал ее следов. Значит, вы любили ее сильнее всех...

Много лет спустя, на закате жизни, Рушану попадутся на глаза новые стихи горячо любимого им с юности ташкентского поэта Александра Файнберга. Они словно персонально адресованы его юношеским романам, даже имена девушек не пришлось ни менять, ни добавлять. Но к этому времени Дасаев знал, что хорошая поэзия всегда адресована миллионам, тем более стихи о любви. И лучше всех поэтов об этом сказал Сергей Есенин в поэме «Анна Снегина»:

*Мы все в эти годы любили,  
Но мало любили нас...*

Но Файнберг сумел поэтической строкой обобщить все душевные радости и муки, пережитые Рушаном в жизни.

*Благословенна первая любовь.  
Благословенны первые печали.*





Ровесницы,  
вы нас не замечали.  
Страдали мы,  
какая это боль!  
Теперь уж мы не плачем понапрасну.  
Иная широта и высота.  
Мы любим женщин,  
в осени прекрасных.  
Страдаем? Да.  
Но эта боль — не та.  
Другие кроны  
плещутся над нами.  
Кто дышит Крымом,  
кто долбит Ямал.  
Мы по годам уже не вспоминаем  
ни Свет, ни Нин, ни Валь и ни Тамар.  
Но все ж,  
когда я думаю о чуде,  
я вижу город,  
серые дома.  
Я вижу, как на белом парашюте  
на переулок падает зима.  
И во дворе,  
где с горок мчатся санки,  
я жду ее.  
Не чью-нибудь.  
Мою.  
И с неба снег  
слетает на ушанку.  
Она не любит.  
Я ее люблю.  
Далеких лет далекие обиды.  
Навек прощайте,  
детства облака.  
Ровесницы,  
мы вас вблизи любили.  
Любите нас теперь издалека.

Переделкино, май 1990







## Знакомство по брачному объявлению

Повесть

**Т**елеграмму принесли ему прямо на работу, хотя адрес указан был домашний. Содержание ее такой срочности вовсе не требовало, да и в том, что телеграмма читана и перечитана, сомневаться не приходилось: на почте их райцентра — Хлебодаровки — работали одни женщины. Акрам-абзы помнил их еще озорными девками, и они хорошо знали Акрама, который уходил на войну вместе с их женихами, а вернулся один.

Телеграммы в поселке уже лет двадцать разносила многолетняя Дарья Сташова, жившая во дворе почты в маленьком казенном флигельке. Любопытная, бойкая на язык, она не вручала ни одну телеграмму без комментариев, но сейчас отдала молча. Как ни точило ее любопытство, не сказала ни слова, вручила телеграмму, словно ноту протеста, если не от имени всего поселка, то от имени работников почты и телеграфа уж точно. Даже велела расписаться в получении, хотя раньше такой формальностью, предписываемой телеграфными правилами, никогда себя не утруждала.

«Дорогой Акрам Галиевич, — начиналась большая, рубля на три, телеграмма. — Беспокоит вас из Южно-Сахалинска Наталья Сергеевна Болдырева. Случайно попалось на глаза ваше объявление в газете. Мне кажется, мы подойдем друг другу. Отпуск дали неожиданно — лечу. Буду у вас в воскресенье, во второй половине дня. До встречи. Наташа».



Когда Акрам Галиевич увидел Сташову в окно кабинета, он почувствовал — к нему, хотя не ожидал так скоро получить весточку, а в иные дни даже сомневался, найдется ли хоть одна женщина, которую приманит такая глухомань, как степная Хлебодаровка, и заинтересует он сам — провинциальный нотариус на пороге пенсии.

Выходит, еще как заинтересовал, если от самого Сахалина рвутся к нему на самолете, дни считают. Гордость за себя на некоторое время заслонила мысль о Сташовой и ее реакции на телеграмму.

Когда Дарья ушла, Акрам Галиевич прошелся по тесному кабинету нотариальной конторы, в которой просидел без малого тридцать лет.

До выпускных экзаменов в школе, самого горячего времени у сельского нотариуса, еще целая неделя, поэтому посетителей в коридоре не было, — как-то сложилось, что хлебодаровский люд за справкой или какой другой бумажкой в сельсовет и к нотариусу привык ходить с утра. Вот и сегодня были у него две старушки — отписали свои дома: одна — внуку, другая — внучке. «Молоко на губах не обсохло, а уже владельцы недвижимости», — поморщился Сабиров, заполняя бумаги, но вслух, конечно, ничего не сказал: должность обязывала быть беспристрастным. И не такое ему приходилось оформлять на несовершеннолетних отпрысков.

Он опять развернул листочек телеграммы...

— Наталья Сергеевна... Наталья Сергеевна... — произнес он, вслушиваясь в это сочетание. Имя и отчество ему нравились. «Конечно, могла и письмо поподробнее для начала написать», — размышлял он, вертя в руках телеграмму и невольно перечитывая ее вновь и вновь. Но тут же находил и оправдание незнакомой Наталье: такие дальние края, письмо с самолета на самолет, с поезда на поезд раз пять, наверное, перекидывается и затеряться ему ничего не стоит.

А телеграмма, тем более срочная, куда надежнее, чем беззащитное письмо, которое в почтовом ящике может с неделю проваляться или пропадет по нерадивости чьей-то, мало ли о таких фактах в газетах пишут. И отпуск, как указано в телеграмме, предоставлен ей неожиданно...



Взвешивая все «за» и «против», и, в общем-то, не одобряя скоропалительность поступка незнакомой женщины, Акрам-абзы тем не менее находил оправдание решению Натальи Сергеевны приехать, увидеть все своими глазами. К тому же впереди у него почти целая неделя, и было время еще раз все обдумать как следует.

Все оставшееся время до окончания работы Акрама-абзы так и подмывало позвонить своему другу и соседу, главному бухгалтеру райпотребсоюза Жолдасу-ага, и поделиться с ним неожиданной новостью. Но, как ни крути, заводить такие разговоры самому неприлично, ведь не прошло и года, как схоронил он жену, Веру Федоровну, проработавшую в райпотребсоюзе под началом его друга Жолдаса, считай, всю свою жизнь. Верочку, как величал главбух его жену, Жолдас-ага любил, считал хорошей работницей и в те редкие годы, когда уходил в отпуск или болел, передавал свои полномочия только ей: шутка ли, каждая подпись бухгалтера — это движение денег или материальных ценностей.

Не отметив годовщины смерти и не воздав последних земных почестей близкому, как делал в Хлебодаровке всякий уважающий себя человек, и разговоры-то заводить о женитьбе или замужестве было грешно. И расскажи он сейчас главбуху, что к нему в воскресенье приезжает издалека некая Наталья Сергеевна Болдырева, вряд ли понял бы его даже сосед и лучший друг. «Могильный холмик еще не осел, а он жениться спешит, торопится», — словно бы услышал недовольные голоса знакомых и незнакомых людей Акрам Галиевич в тесной, с распахнутым в сад окном комнате нотариальной конторы.

Нет, не ханжи и не лицемеры жили в степной Хлебодаровке, районном центре Оренбуржья, а самые что ни на есть обыкновенные люди. Они за столетия выработали свои простые и справедливые правила жизни, не обижающие памяти ушедших и не ущемляющие в правах и радостях оставшихся на земле. Ведь ловил уже на себе внимательные взгляды вдов и одиноких женщин Хлебодаровки Акрам Галиевич, чувствовал к себе интерес. А в праздники или какие другие дни торжествов, везде, куда приглашали Сабирова соседи, друзья, сослуживцы по сельсовету и райисполкому, разве не замечал он, как его осторожно, исподволь старались посадить поближе к той



или иной женщине? А у Жолдаса, куда частенько вечерами заглядывал посидеть за самоваром, а уж на бешбармак зван был всегда, — не раз встречал он достойных женщин, как бы ненароком заглянувших к его хлебосольным соседям. Так ведь ни одна из этих женщин, ни тем более друзья даже не помышляли заговорить всерьез или в шутку о женитьбе, считая, что у человека сейчас время скорби и не пробил еще час для таких разговоров. Всей своей жизнью в Хлебодаровке он, Сабилов, не давал повода для иных мыслей.

Вот и выходило, что поторопился он с брачным объявлением, и крепко поторопился. Годовщина смерти жены приходилась на первое воскресенье августа, еще почти полтора месяца, а у него уже смотрины... Как-то посмотрит на это хлебодаровский народ? Ну, да теперь уж назад дороги нет...

Возвращаясь в этот день после работы домой, Сабилов заглянул на маленький рынок рядом с автостанцией.

Хоть и невелика придорожная Хлебодаровка, не на всякой карте и отыщешь, но даже на ее базар добирались продавцы овощей и фруктов, диковинных для здешних мест. Два молодых корейца, в чьих словах и манерах угадывалось наличие высшего образования, продавали лук и арбузы, выращенные на благодатной хлебодаровской земле, которую брали в аренду или, как теперь говорят, в подряд у местного колхоза. Пожилой узбек скучал у горок запылившихся сухофруктов прошлогоднего урожая рядом с незнакомыми для этих краев пахучими специями, приправами, пряностями. Торговала тут и шумная, бойкая баба из Тюлькубаса, яблоневого местечка под Алма-Атой, сама румяная и круглая, как знаменитый алма-атинский апорт. Аромат ранних яблок забивал даже резкий запах восточных специй.

Хлебодаровка — место не Бог весть какое денежное, народ не очень избалован разносолами, деликатесами, свежими фруктами, и потому торговля шла вяло, хотя цены были вполне умеренные. Покупали немного: кто детишкам, кто для больного, кто для гостей.

На базарчик Акрам-абзы зашел, чтобы взять яблок, которые пришлось ему по вкусу. Он частенько покупал их у этой румяной и ладной женщины, тоже приметившей своего постоянного покупателя. Она издали улыбнулась нотариусу, но зазывать



не стала — возле ее прилавка как раз толкались девушки из промкомбината, держа наготове яркие полиэтиленовые пакеты. И вдруг Акрам-абзы раздумал покупать яблоки и торопливо зашагал прочь от базара: ему почудилось, что в историю с брачным объявлением втянула его именно эта продавщица яблок.

Как непостижимы порой поступки, суждения людей, даже умудренных жизненным опытом, далеко не ветрогонов! Готовы свалить свои беды на что угодно: на погоду, на понедельник, на тринадцатое число, на самые невероятные обстоятельства, лишь бы снять с себя ответственность за свой опрометчивый шаг...

А началось все с того самого дня, когда не оказалось у него с собой ни пакета, ни сумки, и торговка завернула яблоки в газету «Вечерняя Алма-Ата», где были напечатаны необычные для провинциального глаза объявления. Хотя такие объявления и печатались всего в трех-четыре газеты страны, жителям больших городов они знакомы, как известны и клубы «Для тех, кому за тридцать» — городской вариант деревенских посиделок.

Клубы, так широко расплодившиеся поначалу, почему-то быстро захирели и повсеместно сошли на нет: наиболее активная часть женщин, благодаря стараниям и энергии которых и появились эти клубы, должно быть, свои проблемы решила, а у оставшейся части достаточных сил не нашлось. Клубы умерли, но объявления прижились, более того, докатились до такой глухомани, как Хлебодаровка.

Говорят, часть обездоленных женщин, в чьих городах не дают брачных объявлений, и никак не удается открыть клуб интересных встреч, и сложно с жениховским «кворумом», завалила письмами Центральное радио и телевидение, требуя применить энтээровскую мощь для решения брачных проблем, советуя радиостанции «Маяк» каждые два-три часа передавать получасовые записи брачных объявлений, поскольку в стране несколько часовых поясов, а жених из Магадана непременно должен услышать о невесте из Закарпатья, хотя разница во времени у них десять часов. А Центральному телевидению рекомендовалось по субботам отводить один канал для показа невест во всей красе, а текст о добродетелях оных чтобы непременно читал своим хорошо поставленным голосом



Василий Лановой, а еще лучше — сам Тихонов. Не осталась без внимания и всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» — ей настойчиво советовали выпускать диски и кассеты с теми же объявлениями, можно в музыкальном оформлении, и намекали, что дела фирмы пойдут резко в гору, равно как и у тех, кто производит магнитофоны и проигрыватели.

«Средних лет женщина, хорошего здоровья и мягкого нрава, приятной внешности, умелая хозяйка, склонная к спокойной и несуетливой жизни в маленьком городе или селе, хотела бы познакомиться с мужчиной не моложе пятидесяти лет, желательно веселым, общительным, не злоупотребляющим алкоголем...»

Акрам-абзы раз сто, наверное, читал это объявление. Его воображение занимала фраза: «средних лет женщина». Сколько же это на самом деле? Тридцать, сорок, пятьдесят? Поди угадай... Нравилась ему и фраза «склонная к спокойной и несуетливой жизни в маленьком городе или селе». Это словно про их Хлебодаровку.

Правда, встречались объявления, которые его раздражали. Например, такое:

«47 лет. Образование высшее. Меломанка, поклонница литературы и других искусств. Хотела бы познакомиться с мужчиной, близким мне по интеллекту. Материально обеспечена: есть машина, дача...»

Он заочно невзлюбил эту даму, хотя ни по каким параметрам ей не подходил, да и давала меломанка объявление, разумеется, не в расчете на Сабирова из далекого степного Оренбуржья.

А какое разнообразие было адресов и предложений! Выбирай — куда хочешь, к кому хочешь, кого хочешь!

«Вдова. Пятидесяти лет, крупного телосложения, брюнетка. Двое детей давно определены и живут отдельно. Имею в Крыму дом, сад. Хотелось бы принять мужчину самостоятельного, хозяйственного, знающего садоводство и цветоводство. Желательно крепкого здоровья и высокого роста...»

С тех пор, как попала к нему случайно эта «Вечерка», Акрам Галиевич каждый вечер рассматривал ее с волнением, как огромную карту мира, висевшую у него в сельсовете. Как иногo путешественника манят города с таинственными,





малознакомыми названиями, так и его манили эти объявления. Иногда он жалел, что у него только один-единственный номер, и даже на почту сходил, поинтересовался, нельзя ли на эту газету подписаться с ближайшего месяца. Огорчили, сказав, что только с нового года.

В иные вечера он так засиживался за газетой, что забывал зайти на вечерний самовар к соседу.

Жолдас-ага, в такие дни долго не дававший жене команду заносить самовар, поглядывал за тщательно выкрашенную низкую изгородь, разделявшую их дворы, и, не видя обычно копавшегося во дворе соседа, думал: «Загрустил Акрам без Верочки, и не время бередить его раны». Он сам заносил самовар в дом и, улыбаясь в свои редкие приспущенные усы, озорно грозил: «Погоди, друг мой, сосед, женим мы тебя. Негоже человеку в старости одному оставаться. Дай только срок, чтоб по-людски все было, уж больно высоки наши годы для насмешек, и не нам дурные примеры подавать молодым и топтать не нами заведенный порядок...»

А его друг в это время перечитывал уже, наверное, в сотый раз: «Блондинка, хрупкого сложения, хотела бы выйти замуж за доброго, пожилого человека в сельской местности...» — и уносился мыслями то к «хрупкой блондинке, уставшей от города, шума и личных неудач в жизни», то в Крым, к «брюнетке крепкого телосложения», жившей в огромном доме с садом, спускающимся к ласковому морю. В объявлении брюнетки его настораживало условие: «мужчина высокого роста». Хотя Акрам Галиевич и вышел ростом, но гигантом не был, а что имела в виду «вдова пятидесяти лет», было не совсем ясно. Вдове, наверное, подошел бы другой его сосед, почти двухметровый Иван Гаврилюк, так с того собственная жена глаз не спускала, и не то что в Крым — в соседние колхозы на сельхозработы не отпускала без скандала с Ивановым начальством. Может быть, Иван и сбежал бы в Крым, в дом с садом на берегу моря, — уж он-то наверняка подходил всем требованиям вдовы, кроме, пожалуй, цветоводства, — но у него не было такой бесценной газеты, способной круто изменить его жизнь.

Хоть и редко, но встречались и мужские объявления. Одно из них Акрам-абзы ни за что не напечатал бы — слишком уж оно, на его взгляд, было оскорбительным для женщин. За



строками объявления ему виделся эдакий современный кулак, куркуль, и почему-то хотелось винницкого жениха неопределенного возраста познакомиться с меломанкой 47 лет, имеющей машину и дачу.

«Ищу женщину крепкого здоровья, не старше 45 лет, работающую, умеющую обиходить скотину (корова, свиньи), птицу (индюки, гуси). Имею каменный дом в пригороде Винницы с садом на 18 сотках земли, пасеку. Не пью, не курю, домосед. Не плясун и не говорун...»

Почему-то обращение к прекрасному полу «не плясуна и не говоруна» из-под Винницы каждый раз привлекало внимание Сабирова. Что-то было в нем знакомо нотариусу, вызывало одновременно и грусть, и смех, и улыбку, и злость. В иные дни мысли кружились только вокруг владельца богатого поместья. Даже на службе, совсем некстати, ему вдруг вспоминался этот сердечно-хозяйственный зов...

«Где же я раньше слышал или читал похожее объявление?» — мучился Акрам Галиевич, вороша свою память, перебирая всю жизнь, что, впрочем, было сделать несложно — из Хлебодаровки он отлучался только на войну и последние тридцать с лишним лет прожил здесь безвыездно, даже в соседний Оренбург не ездил, хотя Верочка не раз просила проведать дальнюю городскую родню. Копаясь в прошлой жизни, Акрам Галиевич вдруг осознал, что он сам был домоседом, почище винницкого куркуля. И все-таки он был уверен, что когда-то уже читал нечто подобное.

Однажды на работе он увидел оставленный каким-то посетителем «Крокодил» и чуть не вскрикнул: «Вспомнил!»

Конечно же, он читал такие объявления! Было это в середине пятидесятых годов, когда в прессе и по радио промелькнуло сообщение, что у американцев даже дела сердечные делаются не по-человечески, а занимается этим святым делом электронная сваха-компьютер. Мол, дай знать, кого ты хочешь — блондинку, брюнетку, шатенку, толстую, тонкую, старую, молодую, желательный характер и хозяйственные способности, — и машина тут же подберет тебе подходящую кандидатуру. Помнится, читая, они с Верочкой смеялись над людьми, желающими таким образом вступить в брак. Газетное сообщение подхватили сатирики и карикатуристы, и страницы «Крокодила» тех лет



пестрели от текстов, мало чем отличающихся от некоторых нынешних брачных объявлений.

Открытие это на какое-то время огорчило нотариуса, ведь он хорошо помнил, как искренне возмущался тогда безнравственностью американцев, считая подобные объявления аморальными. И все-таки его тянуло к порядком обтрепанной газете.

Поначалу ему и в голову не приходило самому дать объявление в «Вечернюю Алма-Ату». Дальше расплывчатых намерений написать письмо в Крым «женщине крупного телосложения» или «хрупкой блондинке, уставшей от неудач в личной жизни», его фантазии не простирались, да и на успех он не особенно рассчитывал. Раззадорила же его такая вот исповедь:

«Романтический мужчина, приятной внешности, много по-видавший, но успокоившийся, к пятидесяти годам остался у разбитого корыта. Хотел бы в оставшиеся дни иметь твердую крышу над головой и верную спутницу жизни. Ищу покоя и уюта. Ничем не обольщаю, все, что имею, ношу с собой. Играю на гитаре, пою, знаю поэзию от Верлена до Вознесенского. Думаю, что скрашу сумерки у семейного очага...»

«Хлюст, прохвост, мот, шляла, кот мартовский, — костерил уравновешенный, в общем-то, нотариус «мужчину романтического склада». — Голь перекатная, ни кола, ни двора, а все туда же, к порядочным женщинам подкатывается! — всякий раз, читая, распаялся Акрам Галиевич. — «Играю на гитаре, пою... Верлен... Вознесенский...» А пенсию, небось, не заработал, стрекозел приятной внешности. «Ищу покоя и уюта!» Губа не дура, да кто же этого не хочет?.. Особенно на старости лет. И ведь найдется же какая-нибудь дура, примет его... не иначе».

И он опять и опять вчитывался в зовы души незнакомых мужчин и женщин.

«Да, уж если такие на что-то рассчитывают, так мне сам Аллах велел, — решил он однажды. — Со мной любая женщина, даже хрупкая, не пропадет, что-что, а надежная крыша будет ей обеспечена...»

Откуда же было знать провинциальному нотариусу, что объявление «романтического мужчины», так рассердившее и подтолкнувшее его самого обратиться в «Вечерку», вызовет горячий интерес прекрасной половины рода человеческого по



всей стране. Предложения станут поступать адресату тысячами, самые невероятные, иные письма будут приходиться даже с денежными переводами — видимо, на дорогу. В общем, случится как раз то, на что и рассчитывал стареющий брачный аферист, сочинивший такое томное, романтическое объявление. Уж он-то наверняка знал о жалостливой женской душе не понаслышке.

Решиться-то Акрам-абзы решился, но объявление требовалось составить путное, толковое, чтобы чувствовалось, что не ветрогон какой-нибудь, а человек солидный, самостоятельный стоит за строками и отвечает за свои слова. «Если надо, можно даже заверить текст в сельсовете, мне не откажут», — думал Акрам-абзы, пытаясь уместить свое служебное положение, портрет, планы и пожелания в несколько газетных строк.

Но ничего не выходило: если выпирало одно, то пропадало другое, и слова казались ему какими-то стертymi, жалкими: «сельский нотариус из Хлебодаровки...» Перечитывая написанное, Акрам-абзы сникал, понимая, что так женщину не взять.

«Ну ладно, — рассуждал нотариус, — тому горемыке у разбитого корыта нечего им сказать и дать нечего, одно остается — гитара да какой-то нерусский Верлен с Вознесенским, но мне-то ведь есть что о себе сказать и что предложить!»

Но сказать о себе ладно да толково, да чтоб покороче, никак не получалось, и стал он по вечерам перечитывать мужские объявления, не принимая, конечно, в расчет ни послание винницкого жениха, ни этого, пропади он пропадом, пятидесятилетнего романтика с гитарой.

Мужских объявлений оказалось мало, прямо-таки потонули они в море женских призывов, и Акрам-абзы обвел эти крошечные островки в море-океане красным карандашом. Мужчинам, видимо, нечего было путного сказать о себе, предложения их казались мелковатыми, несущественными, — в общем, скучно и вяло представлял себя род мужской.

Красные островки не научили Акрама Галиевича ничему толковому, и он вновь пожалел, что у него только один номер газеты — будь их у него два или три, не говоря уже о годовой подшивке, он наверняка отыскал бы там нечто благородное, возвышенное, ведь обращаются, наверное, в газету и интеллигентные люди: журналисты, артисты, музыканты...



Но чего нет, того нет. «Коль нет цветов среди зимы, так и жалеть о них не надо», — припомнилась Акраму-абзы давно вычитанная поэтическая строка, и он еще раз порадовался своей памяти: «Это тебе, «романтик», не какой-то Верлен с Вознесенским, а Есенин!»

Этого поэта он уважал больше всех других и знал кое-какие его строки наизусть.

«Эх, описать бы все в стихах, — мечтал нотариус, — да ладно вставить и о себе, и о той, которую хочется приветить в своем доме». Но с рифмой не ладилось совсем, белиберда какая-то получалась: «нотариус-пролетариус» — на большее фантазии и рифмы не хватало, оставалась только суровая проза.

«Конечно, если бы подключить кого-нибудь... — рассуждал он. — Да того же Жолдаса, он для балансовых комиссий в облпотребсоюз такие доклады пишет... И все, говорят, сам, только сам!»

Верочка все восхищалась, бывало: «Грамотный у нас бухгалтер, ему палец в рот не клади!»

Да об этом Акрам-абзы знал и без нее. «А если бы еще отдать подредактировать Ивану Загорулько, — развивал он свою мысль, вспомнив про редактора местной газеты, — да еще зайти к нему с бутылкой трехзвездочного...»

Конечно, тогда можно было бы заранее рассчитывать на успех, ведь как ни крути — одна голова хорошо, а две, а то и три гораздо лучше, надежнее.

Но вся беда заключалась в том, что Акраму Галиевичу не хотелось своими планами-мечтами делиться со всей Хлебодаровкой. Жолдас, тот, может, и промолчит, а Иван Петрович сдержится только до первой пивной бочки, да еще и обсмеять может, журналисты народ такой, с ними нужно быть начеку. «Дружба дружбой, а табачок врозь» — всплывала в памяти любимая присказка Загорулько. Нет, это был человек ненадежный.

Все эти обстоятельства заставили Сабирова самого всерьез засесть за письменный стол. Если писатели, по слухам, шрифуют иную строку десятки раз, то Акрам-абзы перещеголял самого трудолюбивого, взыскательного литератора — он написал девяносто семь вариантов и только девяносто восьмой решился наконец отправить в «Вечернюю Алма-Ату».



Этот девяносто восьмой вариант он написал после того, как провел вечер за бешбармаком у Жолдаса-ага, где, как водится, пропустил для аппетита рюмочку-другую. Написав, он тут же, несмотря на поздний час, пошел на почту и опустил письмо в ящик. Знал: не решишь он сделать это сейчас — будет мучить себя долго и сотым, и сто пятидесятым вариантом.

Наутро, проснувшись, Акрам-абзы хотел перечитать, что же он все-таки отправил в газету, но не тут-то было: девяносто восьмой вариант был написан сразу набело, на одном дыхании, и он так никогда и не увидел, как выглядело его объявление, заставившее поспешно телеграфировать и сорваться с места неизвестную Наталью Сергеевну Болдыреву.

А объявление его, отредактированное ушлым, поднаторевшим в таких делах собратом Загорулько, было напечатано в следующем виде: «Юрист на пороге пенсии желал бы пригласить в скромный райцентр Оренбуржья женщину, не идеализирующую жизнь в городе. Сила, здоровье, безупречная репутация, общественное и материальное положение гарантируют тихую, надежную гавань. Дом, отлаженное хозяйство позволят познать, не обременяя себя особыми хлопотами, на склоне лет покой, почувствовать себя хозяйкой и поверить, что жизнь все-таки удалась».

Попадись на глаза Акраму Галиевичу эта газета, он бы никаких претензий к редакции не имел — все солидно, пристойно. Особенно, наверное, ему понравилось бы: «безупречная репутация, общественное положение» ...

Отправив письмо в Алма-Ату, нотариус как-то сник, потерял интерес к газете, убрал ее подальше. «Зачем я все это затеял?» — думал он в послеобеденные спокойные часы на службе, аккуратно укладывая в сейф потерявшие блеск черные саржевые нарукавники, служившие ему чуть ли не с первых дней работы в этой должности.

«Мне что, в Хлебодаровке невест мало?» — иногда говорил он себе, и тут же вставали перед глазами наиболее вероятные кандидатуры: Мария Петровна — товаровед по галантерейным товарам из райпотребсоюза, давняя подруга Веры Федоровны, или Светлана Трофимовна, заведующая почтой. Светлану, помнится, в давние холостые годы он даже как-то несколько раз



проводил с гуляний в городском саду. Какая была девушка — загляденье!

Или начальник райгаза, женщина, появившаяся в Хлебодаровке недавно, вместе с оренбургским газом, в последнее время тоже посматривала на него с интересом.

А кого он только не встречал у Жолдаса! И Раису Ахметовну, учительницу русского языка в казахской школе, — уж ее-то Беркутбаевы наверняка хотели бы видеть женой соседа, хотя учительница и была намного моложе Сабирова. И Флюру Исламовну, местного педиатра, подругу и коллегу жены Жолдаса-ага, женщину строгую, властную, которую Акрам-абзы почему-то побаивался. Да мало ли кого он встречал в хлебосольном доме Жолдаса!

Запомнилось ему и предложение старой уборщицы сельсовета, аккуратной и педантичной немки Фриды Яновны Грабовской, которая совсем недавно остановила его по-свойски во дворе сельсовета и на правах старой знакомой, вроде шутя, сказала:

— Акрам Галиевич, не забывайте, что у меня в доме две дочки. Хоть и говорят люди, что не первой молодости невесты, для вас, думаю, будет в самый раз. — И, вздохнув, добавила: — Конечно, засиделись девочки, крепко засиделись — и Марте, и Магде уже за сорок. Долго учились, сами понимаете — медицина: медучилище, мединститут, потом долго выбирали, капризничали: то шофер не устраивал, то слесарь, а время бежит, не мне вам рассказывать. А в Хлебодаровке женихи на дороге не валяются, вот и остались дочки с носом, готовы нынче снизить требования, да не к кому. А они у меня хорошие, хозяйственные, плохого о них, думаю, никто не скажет. Так что примите к сведению...

Акрам-абзы, конечно, отшутился, но ведь и впрямь невест в поселке хватало.

В иные дни, по настроению, список подходящих кандидатур из Хлебодаровки изрядно корректировался, и в него попадали совсем другие женщины. В сладкие минуты, строя самозабвенно планы своей будущей жизни, Акрам-абзы вспоминал вдруг о письме в газету, и настроение пропадало. «Зряшная затея, пустое дело», — корил он себя, и успокаивался лишь вспомнив, что письмо может и затеряться по дороге.



«А если не затеряется, так не дадут даже хода, в редакции печатают в первую очередь своих да по благу», — думал он, наслушавшись всякого про городскую жизнь. Окончательно успокаивала лишь мысль: «Да кто же к нам, в Хлебодаровку, добровольно решится ехать? Грязь полгода месить в резиновых сапогах да зимой неделями день и ночь печь топить?»

А письмо благополучно дошло до столицы и попало на стол к редактору отдела объявлений, газетчику талантливому, не без искры божьей. Девяносто восьмой вариант письма сельского нотариуса что-то затронул в зачерствелой душе старого газетного волка, и, если учесть, какое длинное и сумбурное послание написал Акрам-абзы после бешбармака, можно прямо сказать — постарался редактор от души. Однако в том, что оно без задержки пошло в ближайший номер, заслуги редактора не было: просто очень редко поступали мужские объявления.

Иногда Акрама-абзы, человека честного, начисто лишённого авантюрных начал, тревожила мысль, на которую другой бы и внимания не обратил: не совсем верные дал он о себе сведения в газету. Об образовании упомянул коротко — юрист, что, конечно, предполагает университетское образование. А университетское образование — это пять лет студенческой жизни в столице или другом большом городе. Пять лет университетской жизни — это культура, спорт, широта взглядов, интересов: театры, музеи, выставки, спортивные залы, тесное общение с друзьями с других гуманитарных факультетов. Короче говоря, человек с университетским образованием — широко образованный, высокой культуры, и отсюда его мировоззрение, уклад жизни, привычки.

Не было, к сожалению, всего этого в жизни Акрама-абзы, проработавшего на юридической службе без малого тридцать лет, и работавшего хорошо, свидетельством чего были многочисленные награды и поощрения. Его юридическим факультетом стала война, фронтовые дороги и лишения.

До войны, сразу после школы, послали его от района на юридические курсы в Оренбург, была тогда такая форма обучения. Прямо с этих курсов и призвали на фронт. Как и все его ровесники, Акрам Сабиров рвался на передовую, на боевые позиции, но вышло по-другому: учитывая юридические курсы, взяли его после ускоренной стажировки в аппарат





военно-полевого суда, говоря по-мирному — делопроизводителем. Печатал, стенографировал, вел деловую переписку, работал четко, аккуратно, вдумчиво. Домой вернулся офицером, с ранением, небольшой контузией и двумя орденами. На фронте приходилось воевать даже интендантам и врачам, всякое бывало, а военные юристы, случалось, попадали и в самое пекло.

Иногда он чувствовал себя виноватым и перед покойной женой Верочкой. Не потому, что решил вновь жениться, — это подразумевалось само собой, как естественное продолжение жизни, — надо же стариться с кем-то рядом.

И кляत्व друг другу они не давали, хранить верность не обещали, если кто из них уйдет раньше времени из жизни, они вообще об этом не говорили, не думали. И умерла Вера Федоровна неожиданно, в расцвете лет — только пятьдесят отметили зимой; не болела, не жаловалась, а в один день человека не стало. И вот теперь он как будто предавал ее, свою Веру. Неловкость он ощущал и за слова из своего объявления: дом, хозяйство...

Конечно, прожив почти тридцать лет, нажили они кое-какое добро, а делить его было не с кем, не дал им Аллах детей, хоть и бегала Верочка в первые годы по врачам да по знахаркам. Да и бездельником Акрам-абзы никогда не был, всегда на должности, на твердом окладе, а тогда, сразу после войны, когда с работой в местечках, подобных Хлебодаровке, было не густо, ох каким высоким казался оклад нотариуса — восемьсот рублей! Было у него и хорошее подспорье к окладу — на весь район он единственный знал переплетное дело, а в бумажном веке человек, владеющий таким ремеслом, никогда не пропадет. Но как бы ни был весом его вклад в семейный бюджет, дом держался на Вере Федоровне — это сказал бы каждый, кто знал Сабировых, и Акрам-абзы не стал бы возражать.

Была Верочка неистойвой на работу, любое дело горело у нее в руках; наверное, о такой женщине и мечтал винницкий жених, но по объявлению такую не найдешь.

Первыми в Хлебодаровке Сабировы подняли свой дом, и в этом заслуга только Верочки: хоть и мужчина Акрам, а сомневался крепко, одолеют ли такое, казалось, неподъемное дело.

Одолели! И лес, и шифер, и цемент, и оконное стекло — тогда, в пятидесятых, стройматериалы были большим дефицитом



на селе, — Верочка по крохам, загодя все добыла. А саман для дома они два лета делали вдвоем — горбились так, что даже сейчас вспомнить страшно, откуда только силы брались. Колодка была двойная, на два самана, по шесть ведер глины бухали в них, а это почти центнер. Ох, и надорвали они тогда молодые животы свои, от коромысел на плечах мозоли натирали, ведь каждое ведро воды из колодца вручную поднимали, а колодец-то не свой, общий, на соседней улице. Льешь воду, льешь в замес, а глина ненасытная берет ее и берет, конца-края не видно, когда насытится, зачавкает. И месили сами, словно лошади, ноги от жесткой соломы все в порезах да рубцах были. Летом, в жару, Верочка без чулок на людях появиться не могла. Но даже в такой ломовой работе ухитрялась Верочка беречь Акрама, всю тяжелую работу взвалить на свои плечи — разве такое не заметишь, не запомнишь?

Сильна была Верочка не только в работе, но и голову светлую имела. И подвал, и стеклянную веранду, и четырехскатную крышу, и большие окна, непривычные для села, — все она придумала, почитай и за мастера, и за архитектора была, хоть и без образования.

В райпотребсоюзе, в бухгалтерии, начинала она чуть ли не девочкой на побегушках, доверяли ей поначалу выписывать товарно-транспортные накладные да составлять длиннющие списки при инвентаризации и переучете. Жолдас разглядел не только ее четкий, каллиграфический почерк — немаловажное достоинство для работника бухгалтерии, но и пытливый ум, желание понять, разобраться, что к чему, и лет пять настойчиво учил, уверенный, что с ней ему работать и работать. Иногда Жолдас шутил: жаль, мол, не имею права выдавать дипломы счетным работникам, уж Верочке я бы точно выдал с отличием...

В селе, при всех издержках его суровых нравов, цена человека определяется точно, и хотя сельсовет и не издает на западный манер ежегодник «Кто есть кто?», все знают, кто хороший учитель, знающий врач, толковый парикмахер, честный продавец, а кого за версту следует обходить. А Вера Федоровна в райцентре была бухгалтер известный. Ее не раз приглашали главным бухгалтером и на местный маслозавод, который, по слухам, выпускал масло на экспорт, и в РТС, самую крупную



организацию Хлебодаровки, но Верочка, зная, что и оклады, и премиальные там гораздо выше, коллективу, воспитавшему ее, не изменила.

Размышляя о доме, о хозяйстве, Акрам-абзы думал, конечно, и о Верочке. И виделась ему долгие зимние вьюжные вечера, когда он сидел за переплетным станком, а Верочка рядом, напевая что-то грустное, вязала пуховый платок — и это она умела, не уступая в мастерстве известным татарским вязальщицам.

«Почему она меня берегла, холила, лелеяла? — гадал он сейчас, хотя при жизни Верочки никогда не задумывался об этом. — Любила крепко? Или была признательна за то, что из многих невест я, редкий послевоенный жених, офицер, остановил свой выбор на ней? Или было еще нечто другое, о чем я не имею представления и не догадываюсь?..»

Сейчас, потеряв Верочку и выучив почти наизусть объявления женщин в «Вечерней Алма-Ате», он пришел к выводу, что, наверное, в той лучшей части женщин довоенного года рождения была воспитана и жила глубочайшая ответственность за семью, ведь по внешнему виду мужа судили о жене, а репутация хорошей хозяйки, жены немало значила тогда в обществе, и ее старались поддерживать, беречь. А сегодня женщина уверена, что о ней судят только по ее внешнему виду, а если муж выглядит, мягко говоря, неряшливо, так это его заботы, его проблемы, его человеческий облик, и это ничуть не бросает тень на элегантную супругу, которая иногда и рядом-то с мужем идти стесняется.

Благодаря заботам Верочки, Акрам Галиевич слыл в Хлебодаровке щеголем. А когда они вдвоем шли на работу или возвращались домой, на них любо было глянуть: оба высокие, крепкие, и все на них аккуратное, подогнанное, чистое, отглаженное, — сразу чувствовалась умелая женская рука...

Про каждый куст сирени, про каждое вишневое деревце в саду нельзя было сказать, не упомянув Верочку. Ее стараниями все это насажено и выращено. А, с другой стороны, не станешь ведь в газету писать про покойницу-жену, женщин интересует он сам — какой, на что годится.

В общем, совсем запутался Акрам Галиевич, а тут приспела эта телеграмма с Сахалина...



Телеграмма требовала каких-то действий. Поначалу пришла мысль отбить ответную: «Не приезжай!» Но куда? На кудыкину гору? На деревню дедушке? Хотел даже дать отбой в газету. Мысль показалась забавной, только как бы это называлось у газетчиков? На этот случай, наверное, и слова подходящего нет: опровержение, отказ, передумка? Лучше, на его взгляд, подходило военное — отбой.

Не в пример тяжело давшемуся брачному объявлению, отказ так и просился на бумагу:

«ОТБОЙ! Юрист из Хлебодаровки, к сожалению, передумал приглашать иногородних в надежную тихую гавань. Решил отдать предпочтение уроженке своего райцентра (акклиматизация, адаптация и прочее) не старше пятидесяти лет».

Вот уж, наверное, заклеями бы его позором за трусость, малодушие, безответственность женщины по всей стране, даже те, которым начхать и на Хлебодаровку, и на самого Акрам-абзы, и писем он получил бы не меньше, чем «романтический» брачный аферист, но только без денежных переводов.

Но, как ни крути, — назад хода нет. «Чему быть, того не миновать!» — решил наконец Акрам-абзы и перво-наперво купил в магазине две бутылки шампанского.

Как человек обстоятельный, он решил составить программу встречи Натальи Сергеевны. Входила сюда и генеральная уборка во дворе и в доме, но эти дела он отодвинул в самый конец недели — на субботу, чтобы к воскресенью все сияло и сверкало, как в старые и добрые времена при Вере Федоровне. С шампанским тоже было решено. Надо было придумать что-нибудь интересное, необычное, как говорил их завклубом — гвоздь программы.

Но найти этот самый «гвоздь» оказалось делом непростым. «Не то, не то...» — отметал Акрам Галиевич одну идею за другой, аж взмок от волнения — не шло ничего путного в голову. И вдруг его осенило: баня!

Была у них в углу сада своя баня, построенная недавно, три года назад, когда всеобщий саунный бум докатился и до Хлебодаровки. Построил Акрам-абзы ее хитро: хочешь — топи дровами по старинке, а хочешь — электричеством, если времени или дров нет, хочешь — парься по-русски, то есть с веником



и ушатом холодной воды, а хочешь — дыши сухим паром по-фински. Хоть патент получай на изобретение!

«Баня для человека издалека, с дороги, и есть гвоздь программы», — обрадовался Акрам-абзы и решил навести там порядок.

Баню не топили уже месяца три. За два вечера Акрам-абзы привел ее в порядок, подремонтировал заодно кое-что, а когда баня-сауна была готова принять Наталью Сергеевну, засомневался: удобно ли будет сразу баньку предложить, хотя человек и с дороги. А вдруг подумает: «Ишь, бессовестный старик, сразу в баню увлекает»? В общем, подумал-подумал Акрам-абзы и решил гвоздь программы отменить.

Так, в заботах и хлопотах, глубочайших раздумьях, тревогах и сомнениях подходила к концу трудовая неделя.

В четверг вечером заглянул к нему Жолдас-ага.

— Салам алейкум, — приветствовал друга бухгалтер. — Что-то ты совсем загрузил, заходишь редко. Я вот с чем пришел: скоро ведь поминки Веры Федоровны, так я договорился в колхозе, выпишут тебе пару баранов, а ты забери их недели за две и пусти к моим в загон. Подкормим, доведем, так сказать, до кондиции, я особый рецепт знаю...

«Знает или не знает о телеграмме?» — то бледнел, то краснел растерявшийся Акрам-абзы.

— Вижу, по двору суетишься, чистишь, скребешь, баньку вроде затеял, — продолжал Жолдас-ага. — Не знаешь, куда себя девать от одиночества? Понимаю, брат, понимаю...

«Не знает, не знает», — успокоился Акрам-абзы. Прямой, без хитрецы был мужик Беркутбаев, но что-то сказать следовало: человек не иголка, в кармане не спрячешь, все равно увидит гостью. И Акрам-абзы решился:

— Да вот, Жолдас, в воскресенье, может, дальняя родственница из Оренбурга подъедет. Обещалась, хотела глянуть на мое холостяцкое житье-бытье, — сказал он неуверенно.

— Гость — это хорошо. Поговоришь, отойдешь душою. И к нам заходи с гостьей...

С тем Жолдас-ага и распрощался.

Ночь после ухода соседа выдалась бессонной. Акрам Галиевич думал о Верочке, о поминках, о баранах, за которыми нужно ехать далеко в степь, за реку, но больше всего



о Наталье Сергеевне. Какая она? Умная, добрая, умелая? Или, наоборот, вертихвостка какая, ведь добралась до самого Южно-Сахалинска, до самого края на карте, дальше некуда — море-океан.

В короткие минуты дремы бессонной ночи снилась ему урывками разная Наталья Сергеевна — то жгучая брюнетка с прокуренным голосом, то полная блондинка, солидная, важная дама, вся в перстнях и в маникюре, чем-то смахивающая на заведующую райгазом, то совсем молодая женщина в джинсах на берегу океана в час прибоя...

Утром, когда он шел на работу, встретил Сташову, и та отдала ему газеты и журнал «Человек и закон» — профессиональный журнал нотариуса, — потом, спохватившись, достала из сумки два письма. Акрам Галиевич с Верочкой письма получали редко, и поэтому два письма сразу его удивили. Красивые конверты, аккуратно подписаны, один пахнет духами.

Письма были адресованы Сабирову, но ни почерки, ни обратные адреса ни о чем ему не говорили. Поначалу он никак не увязывал их с брачным объявлением, и вдруг дошло — первые ласточки. Читать письма на улице он не стал, хотя и разбирало любопытство, торопливо сунул их в карман и зашагал на службу.

Поутру посетители шли один за одним, и в круговерти дня Акрам Галиевич про письма забыл. После смерти жены он стал обедать в райпотребсоюзском ресторане, где кормили вкусно и недорого, да и отношение к нему было особое. О письмах он вспомнил, только когда буфетчица многозначительно спросила:

— Долго, Акрам Галиевич, в холостяках собираетесь проходить? А то есть у меня на примете подруга, могу познакомить...

— Что подруга, вот если бы вы на меня глаз положили, Анна Ивановна, я бы подумал, — ответил, улыбаясь, Сабиров.

— Да я, может, и положила б, — бойко ответил буфетчица, — так у меня ж муж есть...

После обеда, как обычно, посетителей не было, и он, не таясь, достал письма. Прежде чем вскрыть, аккуратно поставил на каждом дату получения, на всякий случай пронумеровал, и только потом ножницами отрезал край конверта.

Письма были разные. Одно — от учительницы из Куйбышева, которая писала, что давно потеряла надежду выйти замуж,



и газету с брачными объявлениями ей принесла подруга, желавшая пристроить ее, лучше других понимавшая всю горечь ее одиночества.

«... И обе мы, — писала учительница, — не сговариваясь, остановились на Вашем объявлении. Нам показалось, что Вы — достойный, уважаемый человек, по каким-то неведомым нам причинам оставшийся вдруг один, и, как пошутила моя подруга, ради Вас можно рискнуть. Но беда вот в чем: сама я никогда не решусь приехать к Вам — не так воспитана, и превозмочь себя нет сил. Хотя мне очень бы хотелось познакомиться с Вами. Не могу представить, как это я заявлюсь и скажу: «Здравствуйте, это я. Не возьмете ли Вы меня замуж?»

Хотя, повторяю, заочно Вы мне симпатичны, и я бы с удовольствием прибилась к тихой, надежной гавани и, смею думать, смогла быть достойной хозяйкой в Вашем доме. Сейчас в школе каникулы, я целыми днями дома и от всей души приглашаю Вас в гости. Пожалуйста, приезжайте, ведь от Оренбурга к нам всего пять часов езды поездом. Встречу, покажу наш замечательный город, Волгу. Мне кажется, такая форма знакомства была бы более достойной, рыцарской.

С уважением, Елена Максимовна».

Второе письмо, на тонкой, красивой бледно-голубой бумаге с изящной ярко-красной розочкой в левом верхнем углу, ошарашило нотариуса.

Личных писем он никогда не получал, исключая тыловые треугольники от своих стариков, да и письма те писались кем-нибудь из соседей под диктовку: не шибко грамотными были родители, старая грамота, что они знали, арабская, а позже и латинский шрифт для татар, который они все-таки одолели, были упразднены. Третью письменность, современную, им одолеть так и не удалось. Много ли напишешь, диктуя чужому человеку, да и время было суровое, о чем писать, — не станешь же расстраивать солдата. Так что их письма были полны вопросов: как воюешь, как живешь, виден ли конец проклятой войне?

А тут, на склоне лет, первое любовное послание. От таких слов и голове закружиться недолго.

«Милый Акрам Галиевич, — начиналось второе письмо. — Простите мне заранее подобное обращение, ибо и далее я, наверное, не сдержу по отношению к Вам ласковые нежные



слова, которые я копила, собирала и сберегла, не расплескав их в своей сложной, ухабистой жизни.

Да-да, я верила, я знала, что встречу человека с безупречной репутацией и прекрасным общественным положением. И только такому человеку я готова отдаться полностью — душой и телом. Все или ничего! Зачем разминиваться, не правда ли? Пить — так шампанское, любить — так короля! «Вечернюю Алма-Ату» я выписываю уже несколько лет, с первых брачных объявлений. Я даже переплела их по годам, как иные переплетают книги. Получаю я и «Ригас балс», где тоже печатают подобные объявления, но, поверьте, ни одно объявление меня так не тронуло, не взволновало, как ваше. Я поняла сразу: Вы — моя судьба! Как верно, а главное, поэтически Вы выразились в конце: «...и поверить, что жизнь все-таки удалась». Признайтесь, Вы тайный поэт?

В долгие осенние вечера, когда за окнами будет бесноваться непогода, лить холодный косою дождь, я буду сидеть в глубоком кожаном кресле у камина и, зябко кутая плечи в пуховый оренбургский платок (у меня его пока нет), буду читать вам вслух вашу любимую газету «На страже социалистической собственности» и журнал «Человек и закон», который я просто обожаю.

А Вы, большой и сильный (таким я вас вижу), седой человек, отдавший ради закона и правопорядка жизнь селу, стоите у меня за спиной в бархатном халате (я его вам подарю) и гладите своими нежными длинными пальцами мои волосы. Огненные блики камина, падая на пурпурный бархат, будут еще сильнее оттенять вашу благородную седину.

Дорогой мой, я уже полюбила наши будущие вечера у камина, пусть в глуши, но за тихой высокоинтеллектуальной беседой о законе и праве, о хищениях и злоупотреблениях (имею в виду должностных), ведь вы, юристы, в курсе всего интересного. Я чувствую, я знаю, как буду Вас любить, как буду верна Вам в Вашей заслуженной старости. Я не скрашу — я украшу осень вашей жизни. Я обязательно покрашу волосы под седину, и мы вдвоем будем замечательно смотреться. Я уверена: такой тонкий человек, с поэтическим видением мира, как Вы, не может не понять меня, мой хрупкий мир грез, моих изящных чувств, и не оценить долголетней верности вам. Я ждала только Вас,





Вы поймете это, как только увидите меня, услышите мой голос, заглянете в мои глаза, попадете в мои нежные и страстные объятия. О, поверьте, я сохранила не только жар души... Пишу только о чувствах, — разве не они главное в нашей будущей жизни? — и, как женщина тонкая, считаю: женщина — это тайна!

Поэтому приезжайте, откройте эту тайну на радость и удовольствие нам, и тогда наверняка вы снова повторите свои мудрые слова: «Жизнь удалась!»

Целую нежно-нежно, страстно-страстно, обнимаю точно так же. Жду, люблю. Торопись, милый голубь, к заждавшейся тебя голубке, не томи ее долгим ожиданием.

Твоя Белла, можно просто — Белочка».

Акрам Галиевич от волнения снял пиджак и нервно заходил по комнате. События принимали неожиданный оборот. Мелькнула и тут же пропала мысль о Наталье Сергеевне.

— Какая женщина! — невольно вырвалось у него. — Какой шквал, тайфун, ураган!

За тридцать лет жизни с Верочкой он вряд ли слышал столько волнующих слов! А какой тайной веяло от них!

«Поистине тонкая женщина, — думал Акрам-абзы, вспоминая «жар души», «хрупкий мир грез», «осень вашей жизни». — А как умна! «Женщина — это тайна!»

Он невольно провел по волосам и вспомнил «благородную седину». С сединой было не все в порядке: время лишь слегка посеребрило виски, а в общем, шевелюре нотариуса позавидовал бы и иной молодой человек.

Перечитав письмо, он огорчился еще раз: неблагополучно было и с «нежными длинными пальцами». Короткопалая, красная от ветра и воды, сильная рука нотариуса вряд ли отличалась от руки любого жителя Хлебодаровки, ибо колоть дрова, топить углем печь, обихаживать скотину приходится тут всем — и судье, и бухгалтеру, и рабочему.

Письмо учительницы из Куйбышева не тронуло в его душе никаких струн, и он, уходя домой, оставил его в сейфе, а письмо «Белочки» взял с собой, чтобы дома, в спокойной обстановке, прочитать еще раз.

Поужинав, Акрам-абзы улегся на диван, поскольку глубокого кожаного кресла в доме не было, и вновь достал письмо из конверта. Оно притягивало, манило, заворожило...



«Какой подход, какие слова знает!» — думал он восхищенно о «Белочке», но в моменты, когда случайно видел свое отражение в трюмо напротив, пыл его угасал. Наверное, получи такое письмо кто-то другой, Акрам-абзы посмеялся, да что посмеялся — повеселился бы от души: камин, халат, высокоинтеллектуальные разговоры под шум дождя... Но над собой смеяться не хотелось, приятно было читать обращенные к себе слова: «вы — моя судьба», «я украшу осень вашей жизни», «не томи долгим ожиданием».

«Вот какое отношение, оказывается, есть в этой жизни к нашему брату», — тихо радовался нотариус. Но вдруг его радость померкла: он вспомнил о нашумевшем на всю Хлебодаровку письме Ивану Гаврилюку, его соседу.

Как-то Ивана направили в дальний колхоз на сенокос — дело, понятное ныне каждому горожанину. В колхозе особых условий — гостиницы, общежития, — конечно, не было, да и приехало их всего четыре человека. Поставили их на постой к старикам да одиноким бабам. И вот осенью, когда наступила пора хлебоуборки, пришло Ивану письмо. Гаврилюки письма получали так же редко, как и Сабировы, и оно оказалось событием и попало в руки Кати, его жены. Удобно или неудобно читать письмо, адресованное мужу, Катя и думать не стала, тем более оно, как и письмо «Белочки», пахло духами и почерк на конверте был явно женский.

До прихода Ивана Катя, наверное, раз десять перечитала письмо, накалив в себе страсти до предела. Встречала она мужа у калитки с новым чилижным венником за спиной, и как только ничего не подозревавший Иван появился у дома, она на виду у соседей накинулась на него. В одной руке Катя держала письмо, из которого цитировала по памяти то одну, то другую строку, причем делала это как заправский чтец — громко, с выражением, ловко вставляя непечатные комментарии, вызревшие в ее ревнивой душе, и не менее ловко хлестала бедного Ивана колючим венником.

Больше всего Катю, как понял тогда Акрам-абзы, раздражали ласковые слова и книжные эпитеты.

— Слышишь, она так соскучилась по тебе, что целует каждый твой пальчик! — орала Катя на всю улицу.

Конечно, зная Ивана, этому нельзя было не улыбнуться: от тяжелой и грубой работы даже сложить в кулак огромную



негнущуюся пятерню ему было трудно. Нашла Катя и места, явно заимствованные из книг о роскошной жизни и страстной любви, о чем она сообщила на всю улицу. Были там и строки, похожие на те, что писала «Белочка».

В общем, повеселилась тогда Хлебодаровка за счет бедного Ивана. А письмо, написанное карандашом, с многочисленными орфографическими ошибками, Катя носила с собой в магазин, на базар и охотно зачитывала всем желающим особо пикантные места, естественно, с комментариями. Ей нравилась роль обличительницы, и она, наверное, еще долго носилась бы с письмом, да Иван однажды круто пресек ее концертную деятельность — письмо порвал, а жене поставил синяк под глазом.

«А если бы письмо «Белочки» пошло по Хлебодаровке? Сраму не оберешься на всю жизнь», — испугался вдруг Акрам-абзы, но письмо не порвал, а спрятал понадежнее.

В субботу Акрам Галиевич встал рано и энергично взялся за выполнение последнего пункта программы встречи Натальи Сергеевны — генеральной уборки. Начал со двора: полил цветы, обдал из шланга деревья, кусты, вымел опавшие, пожухлые от жары листья. Сменил в туалете, стоявшем в глубине сада, давно перегоревшую лампочку и отнес туда специально купленный рулон туалетной бумаги. В летней дощатой душевой залил в бак воды.

Дел во дворе оказалось немного, да и откуда им быть: после смерти Верочки продал он корову, даже не дождавшись, пока она отелится, а оставшееся сено перетаскал к Жолдасу, у которого скотины всегда полный загон. Перевел Акрам-абзы потихоньку и гусей, и кур, а двух свиней сдал живыми, на вес, в заготконтору райпотребсоюза — все требовало неусыпного присмотра и держалось на Вере Федоровне. Оттого и уборка быстро закончилась, что убирать было всего ничего — одни цветочки остались теперь во дворе.

Когда нотариус заканчивал уборку во дворе, вдоль улицы прошла почтальонша. Акрам-абзы, как и всякий сельский интеллигент, начинавший день с газеты, поспешил к ящику.

Но газеты в субботу остались нечитанными, потому что он опять получил два письма...



Одно, в аккуратном нестандартном конверте, очень похожее на казенное, содержало в себе что-то твердое, и Акрам-абзы вскрыл его первым.

Твердое оказалось фотографией. С матового картона хорошего студийного снимка смотрела на Акрама Галиевича несколько грустная, элегантно одетая женщина. Покажи лет двадцать назад кому-нибудь в Хлебодаровке эту фотографию, первым вопросом наверняка было бы — артистка? Да-да, артистка, и только, — иного Акрам Галиевич и предположить не мог: какая свободная, раскованная манера держаться перед объективом, какая прическа, какой наряд! В глазах чувствовался ум, достоинство.

Долго держал в руках Акрам Галиевич фотографию, не решаясь оторвать глаз от прекрасного, одухотворенного лица. «Неужели такую женщину заинтересовало мое объявление?» — обрадовался и испугался он одновременно.

«Конечно, фотография не этого года», — мелькнула догадка. Будь Акрам-абзы дока в модах или обращай он хоть изредка внимание на женские прически, то установил бы, пусть приблизительно, год, когда был сделан этот фотопортрет. Но беда заключалась в том, что не только хозяйством, а и модой в доме ведала Вера Федоровна.

А с прической было и совсем неясно: может, в городе и носят сейчас такие красивые прически, в Хлебодаровке же все больше платки: зимой — свои, оренбургские, пуховые, летом — яркие японские или турецкие. Вера говорила, что эти платки стоят немалых денег, а что под ними — один Бог ведает. Одно было ясно — женщина с фотографии платок не носила.

Глядя на снимок, Акрам Галиевич засомневался во вкусах хлебодаровских женщин. Он перевернул фотографию, надеясь на обороте прочесть дарственную надпись — в его молодые годы писали в таких случаях всякие красивые слова, и даже в стихах, — но больше он надеялся увидеть случайно указанную дату, когда фотографировалась эта элегантная женщина. Но ни дарственной надписи, ни даты на обороте не было.

Ах, как хотелось ему знать, когда же, в какие годы снялась взволновавшая его душу «артистка»! Вот в городе криминалисты-специалисты, что в любом детективе по окурку определяют: кто курил, почему курил, куда глядел, а главное — где живет, —



наверняка вычислили бы не только год, но и час, когда фотографировалась прекрасная дама. Час, конечно, нотариуса не волновал, а вот год...

«Кому показать фотографию?» — размышлял Акрам-абзы. Он знал все правовые органы Хлебодаровки и их кадры, но никто и приблизительно на волшебника не тянул. И впервые в жизни он позавидовал горожанам: все к их услугам, что душа ни пожелает, и криминалисты под боком, а здесь майся, пропадай в неведении.

Залюбовавшись фотографией, Акрам-абзы чуть не забыл про письмо — тонкий лист бумаги, лежавший в нестандартном конверте.

«Уважаемый Акрам Галиевич, — было четко и красиво отпечатано на машинке. — Газету с вашим объявлением оставила случайно у меня на приеме больная. На склоне лет, а может, и от личных неудач в жизни человек иногда становится суеверным. Вот и я приняла это как некий знак судьбы. Оттого и родилось это послание вам. Впрочем, скажи мне кто-нибудь раньше, что я буду знакомиться по брачному объявлению, я бы восприняла это как оскорбление. Не пойму, что меняется — годы или люди? Наверное, и годы, и люди. Из многих пошлых, на мой взгляд, предложений ваше выделялось щемящей искренностью, благородством, открытостью. За этими словами видится мужчина старой закалки. Каждый расшифрует это понятие по-своему. Как же расшифровала его я? Вы — человек серьезный, на вас можно положиться, а еще точнее — вам можно доверить свою судьбу. А это, на мой взгляд, главное.

Привлекла меня и Хлебодаровка. Вы удивлены? Объясняется это очень просто: родом я из Оренбурга, ваша землячка. С годами человек становится еще и сентиментальным, и его неудержимо тянет в родные края, где, кажется, был всегда счастлив. Крепнет убеждение, что все твои беды и несчастья начались, как только покинул отчий край. Каждый год я бываю в отпуске на родине, проезжаю мимо вашей зеленой Хлебодаровки, даже по каким-то делам однажды ездила туда с родственниками на машине. Давно я вынашиваю мысль вернуться домой, в Оренбург, и у меня нет видимых причин крепко держаться за Ташкент, где сейчас живу. И вдруг случайная газета, ваше предложение... Жаль, не мне лично.



Разве это не знак судьбы? И как я могла удержаться от соблазна попытаться решить свою судьбу: а вдруг? Хлебодаровка — село наполовину татарское, я это знаю. Так хочется опять слышать наши песни, шутки, плясать на свадьбах озорные «апипа», знать, что рядом живут родственники, — вот видите, какие перспективы открыло ваше предложение перед бедной женщиной. Не знаю, как другим, а мне трудно устоять. С отпуском у меня решено давно, до вашего объявления, поэтому я смею предложить: в следующую субботу я буду проезжать Хлебодаровку скорым поездом номер пять в десятом вагоне. Если вы сочтете нужным — подойдите к поезду, я сойду в Хлебодаровке и побуду у вас день-другой. Если же вы не придете, я поеду дальше и через час буду в Оренбурге, где пробуду почти месяц. На всякий случай записываю вам номер телефона и домашний адрес, где меня можно найти в Оренбурге...

С уважением, Назифа Аглямова».

«Доктор, значит», — тепло подумал Акрам Галиевич и вновь взглянул на фотографию, — женщина ему нравилась.

Второе письмо, которое он вскрыл без особого волнения и азарта, оказалось от «Белочки». Опять та же бумага, те же духи, еще более красивые и страстные слова.

«Белочка» писала, что поскольку весь ее досуг принадлежит ему, и только ему, Акраму Галиевичу, она решила хоть письменно пообщаться с дорогим человеком, выплеснуть клочущие в ее душе слова любви, и что в первом письме от волнения забыла написать номер своего домашнего телефона, а сейчас, вдогонку, исправляет эту оплошность. И как было бы прекрасно, если бы он позвонил, и она услышала его дорогой голос. Сетовала, что нет видеотелефона, и рассуждала, как такой телефон облегчил бы жизнь многим людям, дающим брачные объявления.

Далее «Белочка», человек, озабоченный общественными интересами, как она себя охарактеризовала, писала, что уже заготовила в Министерство связи письмо, чтобы быстрее и шире внедряли видеосвязь, особенно в маленьких городах, где нет ни газет с брачными объявлениями, ни клубов «Для тех, кому за тридцать». Загвоздка была одна: «Белочке» никак не удавалось в своем городе собрать под письмом сто подписей — уже месяц, как она застряла на восемьдесят седьмой.



Почему она решила собрать под своим письмом министру связи именно сто подписей, «Белочка» не объясняла.

«А что, видеотелефон — это неплохо. Это не фотография: ретушь, ракурс, выгодное освещение, импортная фотобумага... А тут — товар лицом, таков, каков есть», — размечтался Акрам-абзы.

Но, представив себя на местном почтамте, где наверняка не нашлось бы изолированного помещения для такого телефона, и его свидание происходило бы на виду у всех работников почты и вообще любопытных, а Сташова на другой день разнесла бы по всей Хлебодаровке, с какой «мымрой» или «фифочкой» любезничал их нотариус, государственный человек, он тут же охладел к новшеству, за которое ратовала «Белочка».

Его взгляд упал на настенные ходики — время уже близилось к обеду, а он еще толком и не завтракал, и дел невпроворот, а завтра приезжает гостья, Наталья Сергеевна. «Ишь, размечтался», — укорил он себя и встал.

Фотографию далеко убирать не хотелось, чуть даже не поставил ее на трюмо, но передумал, иначе что бы он сказал Наталье Сергеевне, если бы она спросила, кто это? Врать-то надо умеючи, а сказать правду — значит, обидеть человека зря. Да и кто ему эта актриса-доктор?

«Еще надо узнать, когда снималась, двадцать лет назад и я орлом ходил! — распетушился Акрам-абзы. — Нет, никакой горячки, никакой спешки, не годовой отчет. Только очное знакомство! Не поддаваться никакой «голубке», никаким видеотелефонам, никаким сладким и волнующим словам, хоть и приятным, и за душу берущим. Только личное знакомство!»

От таких решительных мыслей Акрам-абзы взбодрился и вновь принялся за дела. К вечеру, закончив генеральную уборку, он сходил в поселковую баню, попарился. За ужином, довольный проведенным днем, а главное — выработанной позицией, пропустил рюмочку и раньше обычного лег спать — впереди предстоял непростой день.

Утром Акрам-абзы тщательно побрился, воспользовался дорогим импортным лосьоном, что подарили женщины ему как фронтовику на День Советской Армии, подготовил парадный костюм, галстук и еще раз оглядел хозяйство, на котором,



как ему показалось, лежала печать крепкой хозяйской руки. Положил в холодильник шампанское, поставил на медленный огонь бульон, замариновал в винном соусе молодую баранину для шашлыка, подготовил шашлычницу и шампуры, — время тянулось медленно.

Акрам-абзы заранее ознакомился с расписанием автобусов, идущих из города, и приблизительно знал, когда Болдырева должна была приехать в Хлебодаровку. Но Наталья Сергеевна появилась несколько раньше, чем он предполагал.

Когда Акрам Галиевич, при орденах, в парадном костюме, выходил из калитки, намереваясь встретить гостью на автостанции, прямо у его дома остановилось запыленное в долгой дороге такси. Из машины вышла нарядно одетая женщина и направилась к нему. Была она статной, русоволосой, а ясные глаза, казалось, излучали теплый свет.

— Здравствуйте, Акрам Галиевич, — сказала женщина и, улыбаясь, протянула ему руку.

— Наталья Сергеевна?! — опешил Акрам-абзы. — С приездом. А я вот шел на автостанцию встречать вас...

Он бы, наверное, еще долго так стоял в растерянности, но сзади раздался нетерпеливый сигнал.

— Извините, я отпущу такси, — сказала гостя и вернулась к машине.

Взяв с переднего сиденья изящную кожаную сумочку, достала деньги и отдала таксисту четыре десятки. Шофер открыл багажник и взглядом пригласил Акрама Галиевича достать вещи пассажирки.

Когда машина, лихо развернувшись, уехала, Акрам-абзы не удержался и сказал:

— Сорок рублей! Билет на автобус стоит меньше двух. Вы, наверное, первый человек в истории Хлебодаровки, приехавший сюда из города на такси.

— Я ведь спешила к вам, — ответила, улыбаясь, Наталья Сергеевна и после небольшой паузы добавила: — И, чтобы попасть в историю, сорок рублей — вполне умеренная плата, уверяю вас.

Ее ответ и улыбка сразу расположили Акрама Галиевича, и он, легко подхватив чемодан, гостеприимно распахнул перед женщиной калитку...





Через час они, как старые и добрые знакомые, шутя и мило разговаривая, нанизывали на шампуры маринованную баранину, а затем, пока Акрам Галиевич возился с мангалом и жарил шашлыки, Наталья Сергеевна накрывала на веранде стол.

Когда Акрам Галиевич принес первую партию шашлыков и глянул на стол, то от удивления чуть не выронил тарелку.

На столе, накрытом белой накрахмаленной скатертью, в керамической вазе стоял удивительно подобранный букет цветов из палисадника. Букет притягивал внимание, отвлекая от обильной закуски. А закуска... Наталья Сергеевна, кажется, задействовала всю посуду из сервиза, который никогда раньше целиком не вынимался из серванта. Красная и черная икра, нежная семга, украшенная золотыми дольками лимона, осетровый бок и балычок, бледно-розовый муксун, обложенный листьями салата и сельдерея, только что сорванного на огороде, салаты из крабов и печени трески и прочие не знакомые Акраму Галиевичу дары моря и земли. Запах сырокопченой колбасы, казалось, перебивал запах шашлыков, и все же стол был определенно с морским уклоном.

— Вы волшебница? — только и вымолвил озадаченный таким изобилием нотариус.

— Нет, я просто рыбачка. А это, так сказать, мой труд, конечный результат, как сейчас модно говорить у газетчиков. Полгода в море-океане на траулере, полгода на берегу, на рыбзаводе. Прошу оценить, — Наталья Сергеевна взяла из его рук тарелку с шашлыками, поставила на середину стола. — Прошу! — И тут же засмушалась: — Ой, чего это я? Вы же здесь хозяин...

Акрам Галиевич достал из холодильника шампанское. Наталья Сергеевна наклонилась над своей дорожной сумкой и вынула две длинные узкие бутылки.

— Может, к такой закуске это лучше пойдет? — и поставила на стол коньяк.

Нотариус прочитал: «Двин», «Дойна». Вроде написано по-русски, но такие названия он видел впервые.

«Это сколько же может стоить такая бутылка?» — подумал Акрам-абзы, потому что его беспредельно возмущала цена любого коньяка, но тут же и восхитился: «Какая женщина! Какая щедрость!»



Выпили за знакомство, за встречу, за коллег Натальи Сергеевны — за тех, кто в море. Гости понравились шашлыки, зелень и овощи с огорода, а хозяину — дары моря, потому что в степной Хлебодаровке и хек давно стал редкостью, а ведь было время — от камбалы отворачивались, обзывали одноглазой, — наверное, камбала обиделась и пропала — навсегда.

Осмелев, Акрам-абзы решился спросить, почему так странно выглядит букет.

— А это — икебана, — пояснила Наталья Сергеевна. — У японцев научились составлять, казалось бы, несоединимое. У нас, на Сахалине, прямо все помешались на этой икебанае, скоро японцы завидовать начнут. Вот погодите, мы с вами еще сад камней во дворе разобьем, а в доме заведем редкие карликовые деревья. Если вы, конечно, не возражаете, Акрам Галиевич.

— Распоряжайтесь как в своем доме, — лихо ответил захмелевший нотариус и включил музыку.

Потом они танцевали некогда популярное танго, напомнимшее обоим молодость, и, словно сговорившись, немного погрустили. Но Акрам Галиевич был сегодня, как никогда, энергичен, и веселое настроение после его очередного озорного тоста вновь вернулось за стол.

Наталья Сергеевна с юмором рассказывала байки из рыбацкой жизни, а Акрам Галиевич — курьезы из своей долгой канцелярской службы, и оба весело смеялись. Им было хорошо, словно знакомы они были много лет, и вот встретились после долгой разлуки.

Уже при луне, когда рано засыпающая Хлебодаровка видела первые сны, они дожарили забытый шашлык, а оставшимися углями из мангала вскипятили самовар. Наталья Сергеевна всерьез уверяла, что это первый в ее жизни чай из настоящего самовара — электрические в счет не шли. За самоваром взгляд Акрама Галиевича случайно упал на настенные ходики — время было далеко за полночь.

Как быстро пролетели часы! Последние двадцать лет даже в праздничные дни они с Верочкой так поздно ни у себя, ни в гостях не засиживались. «Ведь завтра на работу», — мелькнула вдруг тревожная мысль, но Наталья Сергеевна обратилась к нему с каким-то вопросом, и мысль о понедельнике и работе растворилась в милом голосе рыбачки, которая еще два дня



назад стояла на берегу Тихого океана, а сегодня сидит у него, в Хлебодаровке, и впервые в жизни пьет чай из настоящего самовара.

«Ну и время, ну и расстояния!» — поражался Акрам Галиевич и понял вдруг, что ощущение времени и расстояния пришло к нему в ту минуту, когда он взял в руки газету с брачными объявлениями. Ведь до этого вся вселенная, весь мир, дороги, расстояния для него были заключены в одной Хлебодаровке, а оказывается, вот куда может потянуться ниточка, стоит только захотеть, протянуть руку, выйти за околицу.

Так думал нотариус, радуясь, что и мыслить стал иначе — шире, масштабнее, ведь раньше подобное и прийти в голову не могло, и в этот миг Наталья Сергеевна, у которой, судя по всему, было прекрасное настроение, сказала в своей странной манере, не то шутя, не то всерьез:

— Ну что, Акрам Галиевич, берете меня в жены?

Подойдя к нему сзади, она приникла к нему, обняла за плечи, и этот милый жест беззащитной, щедрой и решительной женщины так тронул Акрама-абзы, что у него невольно на глаза навернулись слезы, и он, целуя ее руки, скрещенные у него на груди, тихо выдохнул:

— Да, Наталья Сергеевна...

Проснулся он рано — сработала многолетняя привычка. На веранде со стола все было аккуратно убрано, хотя Акрам Галиевич помнил, что говорил Наталье Сергеевне: завтра уберем. Значит, уложила его спать, а сама стала наводить порядок.

«Хозяйственная, не ленивая женщина», — отметил Сабиров, и настроение у него поднялось, хотя голова побаливала. Он тихонько прошел в зал, где на диване спала Наталья Сергеевна, поправил сбившееся одеяло, но будить не стал — пусть отдохнет с дороги, путь был неблизким, да и смена времени дает о себе знать.

Поставил чайник, приготовил завтрак. На душе было весело, хотелось запеть, чего никогда с ним в жизни по утрам не случалось. Но петь не стал, воздержался, хотя душа пела точно. Только с удовольствием выпил рюмку коньяка — опять же, не делал этого никогда в жизни, собираясь на службу, — и закусил



нежной семгой, которую попробовал вчера в первый раз.

Уходя на работу, он оставил записку, в которой сообщал, где что лежит, когда придет на обед, и, конечно, добавил несколько нежных слов.

На работе часы тянулись медленно, не то что вчера, и посетителей оказалось изрядно; не было свободной минуты, чтобы расслабиться, подумать, как там она, Наталья Сергеевна. Как ей спалось на новом месте? Какое у нее настроение? Что делает, ждет ли его?

На обед он не шел, а летел, и хорошо, что не повстречался по дороге никто из друзей-приятелей — пришлось бы отвечать на вопрос: «Что случилось? Куда бежишь?» Скрыть свое состояние он был не в состоянии, да и не хотел.

Задержался только у калитки, переводя дух — совсем запыхался, словно гнались за ним, — рывком, нетерпеливо достал газеты из ящика, и на землю посыпались письма — сразу пять штук.

Акрам-абзы со страхом глянул во двор, но, к счастью, Наталья Сергеевна находилась в доме. Он быстро поднял письма, торопливо спрятал их во внутренний карман пиджака, прошел в туалет и, даже не взглянув ни на один конверт, бросил их в яму.

«Все, баста! — сказал он себе с облегчением. — Надо отбить телеграмму в газету: мол, все, место у камина занято», — и улыбнулся, довольный своей шуткой. Но потом решил, что нехорошо шуточкой отделяваться, надо все-таки как-то отблагодарить людей, ведь не будь этой газеты, он никогда бы не познакомился с такой замечательной женщиной.

На веранде, как и вчера, был накрыт стол, только букет был другой, более изысканный. Наталья Сергеевна, в красивом халате, плотно облегавшем ее ладную фигуру, и в мягких комнатных туфлях на танкетке была так мила и так уверенно, по-хозяйски чувствовала себя в доме, что Сабирову на миг показалось: она давным-давно живет здесь, а он сам был в длительной отлучке и вот вернулся под родную крышу.

— Быстрее за стол, у меня все готово, — поторопила Наталья Сергеевна.

Когда она поставила перед ним тарелку, Акрам-абзы удивленно воскликнул:



— О, настоящая татарская лапша! Так тонко нарезают у нас только на свадьбах, и то лишь известные мастерицы.

Наталья Сергеевна, довольная, улыбнулась:

— У нас на рыбзаводе много татар работает, я и разузнала о ваших национальных блюдах. Я и бялиш могу испечь, — сказала она гордо.

— За такие успехи и за такой обед грех рюмочку не выпить. Может, нальешь, Наталья Сергеевна?

— А как же с работой? — весело спросила гостя, уже доставая рюмки и недопитую вчера бутылку.

— Могу позволить себе и один выговор за всю карьеру, — ответил Акрам-абзы, и они оба весело рассмеялись.

Возвращаясь на работу, Сабиров завернул на почту — решил отправить телеграмму в газету.

На почте, как и у него в конторе, в послеобеденные часы посетителей не было. Зато у окошечка, где принимали телеграммы, находилась сама заведующая, Светлана Трофимовна. Поздоровавшись, она, краснея, пытаясь свести все к шутке, спросила:

— Что случилось, Акрам Галиевич? В последнее время хлебодаровская почта работает только на вас. Вот и сейчас, буквально минуту назад, принесли телеграмму. Вы, наверное, ее очень ждали?

Акрам-абзы пробормотал что-то невразумительное и, сославшись на то, что очень спешит на работу, даже не поблагодарив Светлану Трофимовну за телеграмму, выскочил из здания почты, отирая взмокший от волнения лоб.

«Только бы не от «Белочки»... Ведь осрамит на всю Хлебодаровку! До Натальи Сергеевны дойдет...» — думал он, сворачивая за угол, где со страхом развернул бланк.

«Пожалуйста, срочно позвоните Ленинград телефон 2476465», — прочитал с облегчением Акрам-абзы, и вдруг его почему-то охватил приступ ярости.

— Позвоню, позвоню обязательно! Когда рак на горе свистнет! — громко сказал он и, разорвав в клочки телеграмму, зашагал на работу.

К вечеру он успокоился и, возвращаясь домой, завернул на базар, чтобы купить яблок. Его так и подмывало сказать какие-то слова благодарности хозяйке тюлькубасских яблок,



но слишком уж много народу толпилось у ее пахучего прилавка.

«В другой раз непременно скажу», — решил Акрам Галиевич и ушел с базара, то насвистывая, то напевая арию из гаджибековского «Аршин мал алана»: «Ах, спасибо Сулейману...» Таким веселым он и появился у калитки. Наталья Сергеевна ждала его в палисаднике.

— Знаешь, Акрам Галиевич, — сказала она, — я наткнулась во дворе на баню и очень обрадовалась. Такая чистая, уютная, и все готово, словно ты собирался сегодня ее топить. Я и затопила. Давай сходим в баню, а в духовке как раз за это время ужин поспеет. Не возражаешь?

В ответ Акрам-абзы уже в полный голос пропел знаменитую арию.

После бани, пока Наталья Сергеевна колдовала над ужином, обещая новый сюрприз, он, напевая про все того же Сулеймана, ладил во дворе самовар. Из-за ограды его окликнул Жолдас-ага.

Сосед был непривычно хмур, и Акрам-абзы, согнав с лица нескрываемое довольство, направился к нему.

— Ты что это как осенняя туча? — спросил Сабиров. — Какая такая напасть одолела?

— Это тебя никак не касается, — отрезал Жолдас-ага. — А позвал я тебя, чтобы напомнить: у нас, у мусульман, с родственницами в баню не ходят. А тебе в твоем положении, я уж не говорю о возрасте, надо до срока вести себя пристойно — не француз и не в Париже живешь, никто тебя тут не поймет... — И вдруг, плюнув себе под ноги, добавил: — Постеснялся бы людей. Противно смотреть на твою довольную физиономию, — и зашагал прочь от забора.

Акрам-абзы растерялся, — такого поворота он не ожидал. Хорошо, что не надо было сразу идти в дом. Выручил самовар, возле которого он долго суетился, приходя в себя от слов друга.

Наконец Наталья Сергеевна из распахнутого окна веранды подала ему знак вносить самовар, и Акрам-абзы, несколько воспрянув духом, направился в дом. Лишь только он глянул на Наталью Сергеевну, простоволосую, раскрасневшуюся после бани, в новом махровом халате, которая с улыбкой приглашала



его за стол, как сразу забыл и про Жолдаса-ага, и про его злые слова.

Посередине стола стояло блюдо, накрытое салфеткой, но по запаху Акрам-абзы уже во дворе догадался — бляшиш. Возле его тарелки лежала какая-то яркая плоская коробка.

— Что это? — спросил он. — Сюрприз? Я вижу, ты очень любишь всякие сюрпризы.

— Нет, это не сюрприз, сюрприз под салфеткой, сейчас увидишь, а это тебе подарок, вчера в суете и от волнения забыла вручить, ты уж извини. Открой, пожалуйста, я долго думала, что тебе подарить, — гостья зарделась от волнения и стала еще красивее.

Акрам Галиевич открыл коробку и достал из бумажного пакета замшевый футляр с витой шелковой ручкой — на манер тех, что носят мужчины на запястье, только потяжелее и очень изящный.

— Дальше, дальше, — подбодрила Наталья Сергеевна, видя, что он растерялся.

Акрам Галиевич расстегнул футляр и увидел приемник величиной с его ладонь. Наталья Сергеевна вытянула откуда-то сбоку антенну, включила, и сразу поймала какой-то концерт. Ровный чистый звук поплыл по веранде, наполняя душу какой-то теплой радостью.

— Такая кроха, а имеет собственную антенну! — искренне восхитился Акрам-абзы. — И как красиво сделано!

— Это не самое главное, он имеет семь диапазонов: пять коротких, длинные волны и средние — намного больше, чем в том приемнике, что стоит у тебя на комод, — пояснила довольная его реакцией гостья. — Работает и от сети, и на батарейках, в коробке есть и наушники, если захочешь слушать один.

— «Соня», — прочитал Акрам-абзы на коробке и на замше футляра.

— «Сони», — мягко поправила его Наталья Сергеевна. — Я купила его в специальном магазине «Альбатрос». Когда мы работаем в океане, нам часть зарплаты дают в бонах и валюте. Понравилось?

— Кому же такое чудо не понравится, — засмутился хозяин и, обняв Наталью Сергеевну, поцеловал ее...



Ночью Акрам-абзы не никак не мог заснуть. Намаявшись, он потихоньку высвободил руку из-под головы Натальи Сергеевны и, стараясь не разбудить ее, вышел во двор.

Стояла удивительная тишина, был тот редкий ночной час, когда дремали даже самые чуткие псы Хлебодаровки. Высокое звездное небо над сонным поселком, казалось, струило покой. Спокойно и радостно было и на душе Акрама-абзы. Но вдруг он вспомнил разговор с Жолдасом-ага, и хорошее настроение пропало. «Надо это как-то уладить, объяснить...» — решил Акрам-абзы, но путевые мысли в голову не шли.

Правда, был вариант: Наталья Сергеевна говорила, что уже три года не видела брата и сестер, которые живут в Закарпатье, и намекала, что неплохо было бы съездить туда вдвоем. А что, если предложить ей съездить туда одной — погостить, отдохнуть, все-таки три года без отпуска? А он бы тут поминки по жене справил, все чин чинком, чтобы никто потом ничего плохого о них не сказал. Вот тогда и с Жолдасом помирился бы, и Наталью Сергеевну сохранил. Впрочем, можно было бы прилететь за ней в Карпаты и вместе вернуться в Хлебодаровку.

«Вот только как ей об этом сказать, чтобы не обиделась?» — думал он, расхаживая по ночному двору. По ту сторону забора в загоне у Жолдаса-ага сонно ворочалась корова, и Акрам-абзы вспомнил о баранах, за которыми нужно съездить за реку. «Вот и повод помириться, — подумал он. — Сам же говорил: пусть их ко мне в загон, откормлю по особому рецепту». От этой мысли он повеселел и пошел спать, уже совсем успокоившись.

Утром он чуть не проспал на работу, чего с ним ни разу не случилось за последние двадцать лет. Разбудила его Наталья Сергеевна.

В доме было все прибрано, чисто, стол накрыт. А на столе пыхтел самовар, хотя по утрам нотариус обходился чаем из чайника, согретого на газовой плите. Даже блины успела напечь Наталья Сергеевна — блины с икрой были для него в новинку.

— Балуешь, — сказал довольный Акрам-абзы, садясь за стол. — Так и растолстеть недолго...

Жизнь с умелой и расторопной хозяйкой, быстро вошедшей в эту роль, ему нравилась все больше.

Потом Наталья Сергеевна подала ему свежую рубашку, помогла повязать галстук, и, придиричиво оглядев с ног до





головы, проводила до самой калитки, и еще долго, пока он не скрылся за углом, глядела ему вслед.

На работе Акрам Галиевич еле высидел до обеда — так ему хотелось поскорее увидеть ласковую гостью, да и любопытство разбирало: что же она сегодня приготовит? Ему пришлось по вкусу, как Наталья Сергеевна готовила и подавала на стол. Вот сервиз, например, лет десять пылился в серванте, по праздникам только и вынимался, а она — сразу его в обиход, и насколько веселее, красивее стало за столом.

А цветы на столе? «Почему сами раньше не догадывались, ведь полон двор цветов? Пустяки, кажется, а как приятно украшают жизнь», — думал Акрам-абзы. Его вдруг разобра-ла такая нежность к Наталье Сергеевне, что он захотел немедленно, сегодня, к обеду сделать ей какой-то подарок. Он даже на полчаса раньше закрыл контору и зашел в районный универмаг. Внимательно обошел все три этажа, но достойного подарка так и не нашел: ни платья, ни сумочки, ни туфли, ни косынки даже сравниться не могли с тем, что имела Наталья Сергеевна, — видимо, в «Альбатрос» завозили товары с иных складов. «Ничего, я обязательно съезжу в город, там уж наверняка подберу что-нибудь», — решил Акрам Галиевич и поспешил домой.

Даже не глянув на почтовый ящик, из которого торчали газеты, он вошел в дом. Странная тишина встретила его. За несколько дней он уже привык к тому, что Наталья Сергеевна включала музыку к его приходу, а из кухни доносились приятные запахи, что-то там шкворчало, пыхтело. Но сейчас дом словно вымер, осиротел. Такое же ощущение было у Акрама-абзы, когда он только схоронил Веру Федоровну.

Предчувствуя неладное, Акрам Галиевич прошел в переднюю. Все аккуратно прибрано, кругом чувствуется хозяйственная женская рука. На круглом столе, покрытом тяжелой бархатной скатертью, белело письмо.

«Милый Акрам Галиевич, — прочитал растерянно Сабилов. — Наверное, своим поступком я доставляю огорчение нам обоим, и я, конечно, об этом еще не раз пожалею. Но нас, женщин, понять трудно, порой мы делаем необъяснимые, малопонятные поступки. Мой поступок из этого ряда. Разумом я понимаю: вот человек, который будет любить и беречь тебя, скрасит твою



старость. И дом Ваш действительно надежная гавань, чувствую я и то, что понравилась Вам, и это доставляет мне радость. Вы ни о чем не расспрашивали меня, а я не пыталась рассказывать о себе. Наверное, Вы поступили мудро: зачем? Вас гораздо больше волновало будущее — какой я буду, а не какая была.

Когда я увидела Ваше объявление, я сказала себе: хватит, Наталья, успокойся, вот нашелся и для тебя тихий уголок на земле, перестань куролесить, метаться по стране из края в край. Но, видимо, наши благие желания трудно уживаются с нашими привычками. Вдруг, в какой-то час, я поняла, как тесно мне будет в тихой и надежной гавани, хотя это то, о чем мечтает нормальная одинокая женщина в моем возрасте.

Спокойная, размеренная жизнь, наверное, не для меня. Я не готова к ней, и я, как ни странно, наверное, не знаю, как себя вести с благополучными, с безупречной репутацией мужчинами, — в моей жизни были совсем другие, и я знала, что я им нужна. Нужна, наверное, я и Вам. Но я предчувствую, что однажды весной, когда потянутся с юга журавли, потянет и меня в дорогу. Такая вот я цыганка, Акрам Галиевич. Но Вы человек добрый и не заслуживаете, чтобы Вас бросили. Я догадываюсь, как доконала бы Вас молва вашей Хлебодаровки, — все малые местечки одинаковы, жила я в таких селах. Боюсь я и привыкнуть к вам: горше была бы разлука потом, поэтому я уезжаю сейчас.

Прощайте, не поминайте лихом. Все, что было между нами, поверьте, было от души, с любовью.

Простите. Целую. Наталья Сергеевна».

Акрам Галиевич, ничего не понимая, перечитал письмо еще раз... Уехала? Зачем? Почему? Ее мотивы были совершенно ему непонятны — ведь не молоденькая, чтобы тянуло к кострам, палаткам, голубым городам. И вдруг ему стало ужасно жаль эту неприкаемую женщину: он увидел в ней, кроме решительности, бесшабашности, необузданной щедрости и широты, почти детскую незащищенность, неустроенность.

«Найти, догнать!» — мелькнула мысль, и Акрам Галиевич кинулся на автостанцию. На автостанции он нашел дежурную, описал ей Наталью Сергеевну и спросил с надеждой, не появилась ли она. «Уехала два часа назад», — последовал краткий ответ. Акрам Галиевич устало опустил на скамейку. Он понимал, что Наталья Сергеевна потеряна для него навсегда.



Умом понимал, но душою не хотел смириться, ведь так ладно, по-людски все начиналось...

— Акрам Галиевич, вы уже который день к нам обедать не ходите, или мы чем не угодили? — спросила его Анна Ивановна с порога ресторана, находившегося на другой стороне узкой улочки, напротив автостанции.

Акрам-абзы тяжело поднялся и, вспомнив, что еще не обедал, пошел в ресторан.

— Что-то вы не в духе, — заметила участливо Анна Ивановна, видя, что нотариус сильно расстроен.

В ресторане он задержался надолго, впервые в жизни не явившись после обеда на работу.

Возвращаясь домой, вспомнил, как еще вчера шагал этой же дорогой, весело напевая: «Ах, спасибо Сулейману...», и как был счастлив.

«А сегодня и Наталью Сергеевну потерял, и с Жолдасом в ссоре. Что же делать, как быть?» — мучился Акрам-абзы. Но ни одной спасительной мысли не приходило на ум.

По привычке, чтобы отвлечься от мрачных дум, он занялся хозяйственными делами: вынес золу из бани, выкинул веники, сполоснул шайки, вылил оставшуюся воду, но как-то не ладилась, не шла работа. Так и не завершив банных дел, стал бесцельно бродить по двору. Ему хотелось, чтобы Жолдас, как в добрые времена, пригласил его на самовар, но двор Беркутбаевых был пуст.

Вскоре вечер опустился на село. В переулке за садом медленно поднималась, словно густой туман, мелкая бархатная пыль, — так было каждый день, когда возвращалось с выпаса сильно поредевшее в последние годы хлебодаровское стадо. Чья-то огромная рыжая корова подошла к забору Акрама-абзы и стала энергично тереться о столб, ограда затрепала. Акрам-абзы, схватив первую попавшуюся палку, кинулся спасать забор. Отогнав корову, увидел в ящике газеты, мимо которых пробежал в обед.

Достав газеты, он на всякий случай заглянул в ящик и ахнул — на дне лежало еще с десятков писем.

— Вот это да! — невольно вырвалось у Акрама-абзы, и вдруг до него дошло, что его вчерашний утренний поступок,



когда он решительно выбросил пять писем, ровно ничего не решал — колесо истории продолжало крутиться и, судя по сегодняшней почте, набирало все большие обороты.

«И почему ж колесу этому не вертеться? — рассуждал Акрам-абзы. — Ведь телеграмму в газету я так и не послал». Он долго стоял возле калитки, перебирая письма, думая, как с ними поступить, но решительного желания выбросить их как-то не ощущал.

Одно письмо пахло знакомыми духами, и он перевернул его адресом вверх — конечно, от «Белочки». «Я уже узнаю письма по запаху», — подумал Акрам-абзы и впервые за долгий и тягостный день улыбнулся. Однако письмо от «Белочки» читать не хотелось, оно никак не могло его утешить — перед глазами все еще стояла Наталья Сергеевна.

Акрам Галиевич с неохотой зашел в переднюю. Холодным и неуютным показался ему дом, еще вчера сиявший огнями и гремевший музыкой. Густые, вязкие сумерки стояли в притихших комнатах, и Акрам Галиевич включил свет. Яркий свет вынуждал что-то делать, и он принялся готовить ужин.

«Ужин одинокого мужчины», — мелькнула вдруг в памяти читанная где-то строка, и Акрам Галиевич увидел себя как бы взглядом постороннего человека. «А что убиваться? — заговорил этот посторонний. — Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». Подзадоривала и другая шевелившаяся мысль: «Вот на столе десяток писем, и, может быть, в одном из них действительно счастливый лотерейный билет».

Акрам Галиевич накрывал стол механически. Поставил икебану, достал из серванта посуду, и, только когда сел ужинать, понял, что Наталья Сергеевна за несколько дней пребывания оставила в доме неизгладимый след. Он уже точно знал, что всю оставшуюся жизнь будет ужинать именно в этой комнате и, может, даже с цветами на столе. Сидя за столом, накрытым по образцу Натальи Сергеевны, он закусывал деликатесами, привезенными ею, и думал о Наталье Сергеевне как о чем-то грустном и прекрасном, но уже очень давнем.

Письма на столе не особенно волновали Акрама-абзы, но любопытство все-таки разбирало. Поначалу он прочитал адреса, не вскрывая конвертов: послания шли со всех концов страны. Три письма оказались с Украины, их Акрам Галиевич



в конце концов вскрыл первыми. Писем как таковых не было, были четкие, деловые предложения, — эти женщины, в отличие от «Белочки», в облаках не витали.

Если бы каждое письмо не имело своего обратного адреса, причем в разных областях Украины, Акрам Галиевич решил бы, что написаны они одной женщиной: стиль, манера, требования, даже объем писем были одинаковы, строка в строку. Эти предложения напомнили ему объявления по обмену квартир, что изредка печатала их областная газета: «Имею то-то, хотела бы побольше да получше». Основной акцент предложений делался на том, что имеют — а имели они немало, — и требовался человек, тянувший, по их меркам, на жизнь в этом благе, при одном неременном условии: наличии крепкого здоровья.

«Бугая ей надо», — вспомнил Акрам-абзы Катин комментарий по адресу мужниной пассии в далеком колхозе.

Как он уразумел, женщинам с Украины требовался примак с завидным здоровьем, хотя условия для примака были обещаны подходящие. «Нет, в чужой дом никогда, из Хлебодаровки ни шагу! Сегодня ушла одна, и то покой потерял, а какво сняться с места, а через год-другой получить от ворот поворот?» — решил он, и сделал еще один вывод: принимать во внимание следует только варианты с переездом к нему, и не обольщаться никакими заманчивыми предложениями. Осторожность селянина взяла верх. «Это капиталист ради трехкратного увеличения капитала готов пойти на что угодно, а нас машинами, дачами, сберкнижками не заманишь», — подытожил Акрам-абзы свою мысль и остался доволен собой.

Странно, но новые письма так не будоражили воображение Акрама-абзы, как те первые, от «Белочки», например. Единственный конверт, который он вскрыл с трепетом, был из Крыма — ему показалось, что это письмо от «брюнетки крепкого телосложения», у которой сад спускается к морю. Но он ошибся: не было у этой женщины ни сада, ни дома, жила она в однокомнатной квартире на четвертом этаже и дорабатывала до пенсии на обувной фабрике.

Его отношение к предложениям было непонятным ему самому: раздражали и те, в которых на первый план ставилось движимое и недвижимое имущество, и те, в которых открыто



признавались, что ничего не успели нажать и остались, так сказать, у разбитого корыта.

Акрам-абзы поймал себя на мысли, что хотел бы получать письма от женщин, чьи объявления поразили его воображение, когда он впервые развернул газету, — они были ему как-то ближе, роднее, понятнее. «Это, наверное, как любовь с первого взгляда», — думал он, цитируя уже по памяти: «Хрупкая блондинка, уставшая от неудач в личной жизни, хотела бы остаток дней провести в сельской местности...» Но, увы, не было писем ни от «хрупкой блондинки», ни от «брюнетки крупного телосложения», — к ним, наверное, Акрам-абзы отнесся бы теперь более внимательно.

«Главное — не пороть горячку», — успокаивал он себя, вскрывая очередное письмо.

Какая-то старушка, персональная пенсионерка из Ленинграда, приглашала его к себе и соблазняла большой библиотекой по юриспруденции, собранной ее мужем, и возможностью заняться наукой, не выходя из квартиры. Она и фотографию библиотеки прислала. Акрам Галиевич даже испугался такого количества книг — у них в Хлебодаровке и в районной библиотеке, наверное, столько не было.

В двух других письмах оказались и фотографии соискательниц, но после Натальи Сергеевны эти женщины показались ему такими серыми, скучными, несимпатичными, что он их писем и читать не стал.

Все десять писем, пришедшие в этот день, включая и нечитанное от «Белочки», оказались в мусорном ящике.

— Будет день — будут и письма, — сказал Акрам-абзы вслух и, довольный остроумной, как ему показалось, фразой, пошел спать...

Так оно и вышло: наступил новый день, и пришли новые письма, и на этот раз попало кое-что интересное совсем неподалеку. Акрам Галиевич чуть за телефон не схватился на службе, чтобы заказать разговор, как было оговорено в письме, но воздержался, вспомнив про доктора Аглямому, которая завтра выедет из Ташкента, а послезавтра, возможно, будет у него, если конечно, он того захочет. Особенно ему понравилось последнее: если он того захочет.



Надо сказать, что эти письма и телеграммы уже повлияли на поведение Акрама-абзы: он не только стал ходить более важно по Хлебодаровке, но и задумываться, не слишком ли занимал себя в жизни, не слишком ли скромно и незаметно прожил. Вот в Ленинграде, например, ему предлагают на пенсии заняться наукой, обобщить, так сказать, свой юридический опыт, — тут он пожалел, что решительно порвал письмо, а главное — фотоснимок кабинета-библиотеки, где бы он трудился, — вещественное доказательство своей значимости.

Вечером он долго вглядывался в фотокарточку доктора Аглямовой, которую поначалу принял за артистку, и вновь его мучили вопросы: когда снималась, сколько лет фотографии и каков оригинал сегодня. Что и говорить, женщина на фотографии ему нравилась, и Акрам-абзы пристроил портрет на трюмо.

Конечно, Назифа Аглямова, на его взгляд, имела кое-какие преимущества перед другими: хороша собой, землячка, доктор. «Врач в доме на старости лет — это ли не подарок судьбы? Она, наверное, и общий язык с женой Жолдаса найдет, коллеги все-таки, — заранее радовался Акрам Галиевич. — А какая красавица! — думал он, глядя на фотокарточку. — Из здешних, хлебодаровских, вряд ли кто с ней может сравниться...» Но потом ему стало неловко за такую мысль, в нем проснулся какой-то скрытый местный патриотизм, и он допустил, что, пожалуй, Светлана Трофимовна могла бы потягаться внешностью и фигурой с доктором-артисткой. Но все-таки в заочном споре пальму первенства Акрам-абзы отдал Назифе Аглямовой. Этот вывод вновь вселил покой в душу нотариуса. «Встречу, сниму с поезда, — твердо решил Сабилов. — Как гласит пословица, попытка — не пытка. Письма — одно, а личное знакомство — другое...»

Опыт кое-какой по приему гостей у него был, и он уже не робел, как перед встречей с Натальей Сергеевной. Шампанское стояло нетронутым с прошлого воскресенья, икра хоть черная, хоть красная — Наталья Сергеевна оставила той и другой по литровой банке, — и консервы всякие редкие, ящик для фруктов в холодильнике полон. Как сотворить новую икебану, Акрам Галиевич знал: на всякий случай он записал в книжку, что к чему, — а не получится — повторит букет Натальи Сергеевны. Оставались только генеральная уборка и, может быть, баня.



На этот раз прямо с утра в субботу Акрам-абзы затопил баню, чтобы поспела к приходу скорого поезда «Ташкент — Москва». «Больше суток в пути, жара, лето», — рассуждал он, и выходило, что баня будет кстати. Придирчиво оглядев двор, прошелся по дому — все было готово к приему гостя. Правда, шашлыки на этот раз готовить не стал, решив, что для человека из Ташкента шашлык не в новинку.

В парадном костюме Акрам Галиевич заранее, не спеша, отправился на станцию. Хлебодаровка была теперь связана с городами, что справа от нее, что слева, регулярным автобусным сообщением, поэтому станция потеряла то значение, которое имела его в молодые годы. Тогда в Хлебодаровке останавливались все поезда и стояли подолгу, паровозы чистили топки и заправлялись водой. И в эти получасовые стоянки станция становилась самым оживленным местом Хлебодаровки.

А какой здесь был базар! Расскажи нынче кому — не поверят. К вечерним поездам приходили просто так — погулять, на лучшую жизнь глянуть. А станция в те годы была ухоженной, и медный колокол, отбивавший поездам отправление, сиял, как самовар у хорошей хозяйки. Станция притягивала молодых, наверное, еще и потому, что только по этим стальным нитям железнодорожных путей можно было уехать в иную, манящую жизнь, казавшуюся им не похожей на их собственную — тихую и незаметную. Теперь же поездами пользовались редко и только в тех случаях, когда кто-нибудь уезжал очень уж далеко или издалека возвращался.

Несмотря на полдень, станция была совершенно безлюдна. Акрам Галиевич не был здесь лет десять, если не больше, потому что стояла она в стороне от его каждодневных маршрутов, да и повода не было, и сейчас, словно сквозь призму времени, заметил, как постарела, одряхла, захирела станция за эти годы.

Ожидая прибытия скорого, Акрам-абзы жалел, что поезд стоит всего-навсего три минуты. «Вот если бы подольше, — рассуждал он, — можно было, где-нибудь затаюсь, глянуть, а уж потом решать, как быть». Но такой возможности у него не было, и выбрать не приходилось.

Поезд пришел с небольшим опозданием. Акрам-абзы неверно рассчитал место остановки десятого вагона, и ему пришлось





бежать в хвост поезда. Еще издали он увидел женщину, высу-нувшуюся из тамбура и наверняка выглядывающую его, и отчаянно замахал ей рукой: мол, сходи. Женщина так и истолковала его жест. Когда он подбежал к вагону, она уже стояла с вещами на хлебодаровской земле, а поезд медленно набирал ход.

Если бы Акрам-абзы не запыхался, Назифа Аглямова увидела бы на его лице большое разочарование. Но он тяжело дышал и раскраснелся от бега, и доктор Аглямова истолковала это по-своему и перво-наперво ослабила ему узел галстука и расстегнула верхнюю пуговицу рубашки.

Акрам Галиевич, тяжело переводя дыхание, смотрел на женщину, пытаюсь отыскать хотя бы следы тех прекрасных черт, что были запечатлены на фотографии, в которую он уже был влюблен. Но сделать это было непросто, и у него промелькнула грустная мысль, что доктор-артистка сдала почище станции. Вежливо поздоровавшись, он с тоской поглядел вслед уходящему поезду.

Назифа сразу взяла инициативу в свои руки.

— О, какой вы бравый! Я таким вас себе и представляла, — говорила она, цепко оглядывая Акрама-абзы. — Конечно, свежий воздух, умеренный физический труд, отсутствие стрессовых ситуаций... Вот только дыхание у вас, я вижу, неправильное. Но это мы поправим: начнете бегать по утрам — через полгода будете дышать, как юноша.

«Этого мне только не хватало на старости лет», — неприязненно подумал Акрам-абзы и представил себя бегущим по утренней Хлебодаровке. Эта картина невольно вызвала у него улыбку, которую Назифа тоже истолковала по-своему...

Чемодан и сумка оказались тяжелыми, и они остановились перевести дух. Аглямова, оглядев пыльную, разъезженную поселковую дорогу, хранящую до сих пор следы прошлогодней золы, сказала:

— Я вам уже писала об этом, но, даже находясь здесь, не верю, что я, Назифа Аглямова, знакомлюсь по брачному объявлению и в душе согласна остаток жизни провести в какой-то Хлебодаровке, — и громко рассмеялась.

Смех у нее был удивительно молодой и звонкий. В этот миг Аглямова стала похожа на женщину с фотографии, стоявшей у него дома на трюмо. Но Акрам Галиевич уже успел понять,



она еще живет во времени, когда была прекрасна и обаятельна, и совершенно не принимает и не желает принимать во внимание свой нынешний возраст. Редко, но встречаются взрослые, навсегда оставшиеся детьми, и ташкентский доктор была из этой уникальной породы.

Дом и усадьба ей пришлись по душе — наверное, они напомнили ей картины из детства, когда и она жила в деревенском доме с сеновалом, огородом и садом.

— У вас здесь очень мило, даже лучше, чем я ожидала, — сказала она, придирчиво оглядываясь вокруг и видя ухоженный двор, засаженный цветами. А вот в доме ей не совсем понравилось, это Акрам Галиевич увидел по ее лицу, да и она обронила разочарованно мимоходом:

— Я несколько иначе представляла жилье сельского юриста, интеллигента, а это типичная сельская изба...

Акрам Галиевич так и не понял, что ей не понравилось и чем должна отличаться изба нотариуса от жилья соседей. Обрадовалась Агямова лишь в зале, когда увидела на трюмо свою фотографию. Она улыбнулась Акраму-абзы, сверкнув рядом золотых зубов:

— Я чувствовала, что она у вас в доме на самом видном месте. Спасибо, это так мило с вашей стороны. — И, поправив фотографию, добавила: — Я подарю вам другую — большую, в красивой раме.

Баня была давно готова, и Акрам-абзы, прежде чем обедать, осмелился предложить гостье парную. Агямова с любопытством глянула на него, досадливо повела плечом и отказалась:

— Я не выношу деревенских бань. Вот если у вас есть летняя душевая, то я с удовольствием ополоснусь.

Отправив гостью в душ, Акрам-абзы решил сам сходить попариться — не пропадать же бане! Парился он долго, с азартом, забыв про гостью, — баня удалась на славу. Когда он вошел в дом, Назифа-ханум лежала на диване с книгой, и, как показалось нотариусу, прическа у нее слегка съехала набок. «Вроде сегодня я и не выпивал... Перепарился, что ли? — опешил Акрам-абзы, но вдруг догадался, едва не стукнув себя по лбу: — Это же парик!» Кого-кого, а женщин в париках в Хлебодаровке не водилось.

«От той роскошной прически, так пленившей меня, и следа, наверное, не осталось», — грустно подумал Акрам Галиевич, но вслух ничего не сказал.



Заправленный самовар наготове стоял на веранде, и Сабиров быстренько вынес его во двор и разжег огонь. Потом он стал накрывать на стол, и перво-наперво поставил икебану, над которой с утра колдовал целый час. Назифа-ханум, вызвавшаяся помочь, так и застыла возле цветов, охая и ахая, не веря, что он сам составил такой букет.

Уроки Натальи Сергеевны не прошли даром: стол Акрам-абзы накрыл по всем правилам.

— Богато живете, — отметила Назифа-ханум, оглядев щедро накрытый стол.

— Грех жаловаться, — ответил Акрам-абзы, которому после баньки не терпелось пропустить рюмочку. О том, как попали к нему щедрые дары моря, он, конечно, распространяться не стал. Гостию хозяин налил шампанского, а себе — водочки. Выпили за знакомство, за здоровье Назифы-ханум, за прекрасную профессию врача.

Настроение у Акрама-абзы поднялось: парик казался на месте, а сама Назифа-ханум нет-нет да и напоминала ту прекрасную женщину на фотографии. Но все же его так и подмывало спросить, когда она фотографировалась и сколько ей тогда было лет. Едва сдержался, понимая, что его вопрос обидит гостью.

Добрый прием поднял настроение и гостю. Закусывала она все больше икрой — и черной, и красной, и говорила, что никогда в жизни не пробовала такой свежей и такого высокого качества. Сабиров же многозначительно молчал: он даже соврать насчет икры ничего не мог, ибо толком ничего о ней не знал. В общем, сидели хорошо, беседуя о том, о сем, не касаясь личной жизни друг друга. Подоспел и самовар, которому Назифа-ханум очень обрадовалась.

— А у нас в доме, в детстве, был медный, весь в медалях, — вспомнила она. — И я драила его речным песочком до зеркального блеска! Теперь такие самовары только в коллекциях и можно увидеть.

Она расспрашивала Акрама-абзы о хлебодаровском житье-бытье, о его привычках, увлечениях, и делала это тактично, тонко, по-женски хитро. Узнав, что у него нет никакого хобби, даже похвалила, сказав, что мужчины с ума посходили — все свободное время тратят на чепуху, вместо того чтобы уделять



его семье. Потом, извинившись, что так пристрастно расспрашивает обо всем, сказала:

— Я ведь, Акрам Галиевич, женщина городская, хоть и родилась в селе. Интеллигентка, так сказать. Первый мой муж, военный, в годах, крепко меня любил и баловал. Был в высоком чине, хорошо получал, на службе его одевали, на службе кормили, его персональная машина всегда была к моим услугам, так что никаких обычных женских забот я не знала и знать не хотела. У меня была своя жизнь, свои интересы, и мужа, который любил, как я уже сказала, берег и лелеял меня, это устраивало. Ну, конечно, мы иногда принимали гостей — фрукты там, мороженое, шампанское. Да иного — пирогов, разносолов — от меня и не ждали. Зато я играла на фортепиано, читала стихи, пробовала рисовать, — друзья мужа боготворили меня, говорили, что я создана для изящной жизни. Жаль, у вас нет инструмента, я бы с удовольствием сыграла для вас. Почему я вам это рассказываю? Хотелось бы, чтобы вы поняли меня и были терпеливы, может быть, я еще научусь вести хозяйство и готовить...

Акрам-абзы молча слушал монолог женщины, не зная, что и сказать на эту исповедь, как реагировать.

— Мне у вас здесь нравится, — продолжала доктор, оглядываясь вокруг, — но в доме, безусловно, нужно сменить обстановку, придать ей шарм, чтобы чувствовалось, что живут тут интеллигентные люди. Я думаю, здесь я снова могла бы заняться живописью, писать скромные сельские пейзажи, виды, город у меня получается неважно... Может, даже примусь наконец за портреты. Жаль, что здесь нет возможности выходить в свет, я так люблю бывать в гостях, в театре... Кстати, хоть какие-то очаги культуры у вас в Хлебодаровке есть?

— Дом культуры в прошлом году открыли, не хуже, чем в городе, — ответил Акрам-абзы, трезвея от такого откровенного разговора.

— И что за творческая жизнь течет в вашем Доме культуры? — заинтересованно спросила Назифа-ханум. — Какие мероприятия проводятся? Приезжает кто-нибудь с концертами?

— Если честно, я не совсем в курсе, — признался нотариус. — Отстал от культурной жизни села. Кажется, кружки всякие есть. Но кино каждый день, за это я ручаюсь. — И, вспомнив,



добавил: — На втором этаже библиотека, а в зале есть большое пианино. Если вы захотите играть — думаю, возражать не будут, разрешат, все равно без дела пылится.

— Сегодня есть кино? — оживилась гостья, даже блеск в глазах появился.

— А как же, сегодня же суббота. Каждый день, кроме понедельника... — как-то нерешительно промямлил хозяин.

— Решено, идем в кино. Я должна все увидеть своими глазами, — заключила гостья и поднялась из-за стола.

— В кино так в кино, — покорно согласился Акрам-абзы, холодея от мысли, что придется пройти через все село туда и обратно, да и в зале четыреста мест — триста девяносто восемь пар внимательных глаз будут разглядывать, с кем это их нотариус в кино заявился.

«Отказаться? Но как? Эх, была не была, чему быть, того не миновать», — подумал Акрам-абзы и стал убирать со стола, а Назифа-ханум принялась доставать из чемодана свои наряды.

Затем она заперлась в комнате, где находилось трюмо с ее фотографией, и велела не беспокоить часа полтора, а Акрам-абзы бесцельно бродил по двору. Ему, чтобы собраться, нужно было пять минут, а сегодня не нужны были и они — с самого обеда при параде.

«Влип, и крепко влип», — думал Акрам-абзы, с надеждой глядя во двор Жолдаса: вот когда необходим был совет мудрого бухгалтера. Но двор Беркутбаевых был пуст — наверное, уехали к родственникам в аул и даже не предупредили, как делали обычно.

«Она и на миг не сомневается, что осчастливила, считает себя подарком не только для меня, но и для всей Хлебодаровки... Ну ладно, готовить не умеет, так хоть бы помогла убрать со стола, да и самовар запалить много ли ума надо! — распаял себя нотариус. — Полтора часа нафуфыривается, чтобы в кино сходить, времени не жаль. Живопись, портреты... — подогревал он себя. — Ну ладно, была бы хоть похожа на ту прекрасную женщину на фотографии, тогда был бы какой-то резон ее, как она говорит, лелеять. Я что ж, должен всей Хлебодаровке предъявлять ее фото — вот, мол, какой красавицей она была в молодости? Или тот большой портрет в раме, что обещает подарить, должен нести на вытянутых руках, когда выходить



вместе будем? Нет, не поймут меня в Хлебодаровке, правильно сказал Жолдас, не поймут. Спросят: что, свои хуже, что ли? И крыть будет нечем. Ох, и мудр же Жолдас-ага...»

Акрам-абзы вновь с тоской посмотрел во двор Беркутбаевых, — там все будто вымерло. И оттого на душе стало еще неуютней.

«Глядя на нее, мне и представить трудно ее красавицей. А может, и фотография — не фотография, а подделка какая-нибудь, в городе они мастаки, за большие деньги кого хочешь красавицей сделают, — засомневался нотариус. — Ведь какая прическа на голове была, прямо как у пушкинской Натали, а теперь — парик. Прознают в Хлебодаровке — засмеют».

Настроение его ухудшалось с каждой минутой. Он считал себя обманутым, не знал, что делать, как поступить, — хоть плачь. Никогда в жизни он не попадал в такое дурацкое положение и не знал, как из него выкручиваться.

«И почему я должен ублажать ее, исполнять капризы, если она и была когда-то писаной красавицей? Пусть те, кто наслаждался ее красотой и молодостью, и несут свой крест до конца. Любишь кататься, люби и саночки возить, а то — кому вершки, а кому корешки. Так не пойдет... Небось не написала тому романтику у разбитого корыта, а ведь так красиво коротали бы вечера — он ей на гитаре сыграет, она ему в ответ на фортепиано отбарабанит. Чем не интеллигентная жизнь? А может, пели бы в два голоса, читали друг дружке стихи, — издевательски думал нотариус. — Может, показать ей объявление «мужчины романтической внешности», газета-то целая, пропади она пропадом...»

Наконец во дворе появилась Назифа-ханум: в туфлях на высоких каблуках, в платье, отливающим медью, с ярко-красной косынкой на шее, завязанной кокетливым узелком, как у девушек, и в... очках. Заметив растерянность Акрама-абзы, она сожаляющее развела руками:

— Да-да, фильмы я уже смотрю в очках, мне и самой трудно смириться с этим... Ну что, пошли?

«По городским меркам, наверное, она красиво одета, но по хлебодаровским — слишком ярко и не по возрасту», — так посчитал Акрам Галиевич, но вслух ничего не сказал. В голове вертелись парик, очки и почему-то шляпа, хотя никакой шляпы не было. «Хоть бы очки сняла пока, а там, в кино, когда



начнется, и надела бы, — подумал он. — Ведь должна знать, что в селе очки даже в самой модной оправе не вызывают восторга. А каблуки, не приведи Аллах, обломаются на наших колдобинах, вот смеху-то будет».

Как только они вышли на дорогу, Назифа-ханум взяла его под руку — то ли считала, что так красивее и культурнее, то ли для того, чтобы случайно не растянуться в хлебодаровской пыли.

Путь до кинотеатра, который в обычные дни Акраму Галиевичу казался всего ничего, сегодня виделся бесконечным. Из глубины каждого двора, каждого палисадника ему чудился любопытный взгляд: с кем это наш уважаемый нотариус так гордо под ручку вышагивает по улице?

Назифа-ханум о чем-то восторженно щебетала, но Акрам Галиевич слушал ее вполуха, то и дело невольно озираясь, боясь встретить кого-нибудь из знакомых и услышать: «Добро пожаловать, Акрам Галиевич, к нам хотя бы на минутку. А кто эта очаровательная женщина? Вы что же, взаперти ее держите, прячете от общества? Как вам не стыдно!» Но пронесло — до кинотеатра дошли без приключений: и туфли целы, и никто не пристал с вопросами.

У кинотеатра народу было необычайно много — второй день шел новый фильм «Вокзал для двоих». Акрам-абзы даже обрадовался, что такая большая очередь за билетами, оставив Назифу-ханум одну у рекламных афиш, щедро, по-сельски, расклеенных на фасаде Дома культуры, он стал в очередь.

Очередь двигалась медленно, обрастая попутным людом со всех сторон, и к кассе подходила уже как могучая река со множеством притоков и рукавов — другую в Хлебодаровке представить было трудно, — и немудрено, что Назифа-ханум в такой толчее потеряла его из виду. Но Акрам-абзы видел ее хорошо: ханум держалась возле афиш, и ему казалось, что она стоит на слишком видном месте. Странно, но никто не обращал на нее внимания, не осматривал пристально; когда к афишам подходили сразу несколько женщин, Назифа-ханум терялась среди них — трудно было выделить ее среди хлебодаровок.

Вдруг Акрам-абзы замер. Как будто специально, чтобы растравить его душу, к афишам подошла Светлана Трофимовна. Они с Назифой-ханум оказались рядом, как на демонстрации



мод — видел Акрам-абзы такие передачи по телевизору, — и Светлана Трофимовна даже взглядом ее не удостоила, а Назифа-ханум, — нотариус видел это отчетливо, — разглядывала подошедшую откровенно и не без зависти: уж очень хороша была сегодня Светлана Трофимовна.

Сабирову стало стыдно за то, что несколько дней назад, сравнивая заочно доктора Аглямому с заведующей почтой, он без колебаний отдал предпочтение Назифе-ханум. Сейчас, когда они стояли рядом в свете заходящего солнца и фоном им служила красивая киношная жизнь на афишах, было ясно, сколь несравнимы эти женщины, и он безжалостно «отнял» у Назифы-ханум выданный им же приз за красоту, женственность и изящество и «передал» его Светлане Трофимовне. Вот только Светлана Трофимовна, к сожалению, даже не догадывалась, какие страсти бушевали в душе скромного нотариуса.

Билеты он все-таки добыл, и, потеряв пуговицу, с трудом выбрался из очереди, которая извивалась, как большая змея.

— Какой вы молодец, настоящий мужчина! — восхитилась Назифа-ханум, видевшая, что творилось у кассы, когда объявили, чтобы очередь больше не занимали. — Этот фильм и в Ташкенте идет, мне очень хотелось попасть, но, увы, там та же история, что и здесь... — Она поправила ему сбившийся галстук, пригладила волосы, и добавила кокетливо: — Спасибо, что постарались, иначе бы я очень огорчилась.

Уже дали последний звонок, и они поспешили в зал. Зал бурно радовался и огорчался, возмущался и переживал за двоих на вокзале, но Акрам-абзы фильма почти не видел — он смотрел не на экран, а на силуэт Светланы Трофимовны, которая сидела почти рядом, чуть наискосок впереди. Ему было приятно, радостно и грустно глядеть на нее, и вместо фильма он видел давнюю-давнюю осень, когда провожал ее с танцев и жарко шептал: «Светлана... Светочка... Светик...»

Фильм для Акрама-абзы закончился неожиданно — так ему хотелось, чтобы продолжалось бесконечное кино про Светлану Трофимовну, про то далекое время их юности, когда все было так просто, понятно и волнующе...

На улице стемнело, и Назифа-ханум не видела огорченного лица Акрама-абзы. Крепко вцепившись в его руку, она бойко разъясняла, какой подтекст вкладывал режиссер в ту или иную





сцену и что вообще хотел сказать этим фильмом. Задумавшийся Акрам-абзы не слушал ее. На ум приходили мысли одна нелепее другой. Ему, например, вдруг захотелось освободить руку, нырнуть в первый же темный переулок, и бежать огородами. Но куда? В иные минуты ему хотелось добежать до Светланы Трофимовны и, упав перед ней на колени, со слезами на глазах просить: «Спаси и помилуй!»

Но дорога их подходила к концу, и на спасение рассчитывать не приходилось. «Так тебе и надо, получил то, что заслуживаешь, старый козел», — сказал себе Акрам-абзы, входя во двор, и несколько успокоился.

От волнения он проголодался. Время ужина давно миновало, да и как-никак гостя в доме, и Акрам-абзы решительно двинулся на кухню. Разделав вырезку, он принялся ее тщательно отбивать, чтобы поджарилась быстро и была сочнее. В это время на кухню заглянула Назифа-ханум в спортивном костюме и кроссовках.

— Обычно перед сном я немножко бегаю, — объяснила она. — Думаю, этой привычке не изменю и здесь, приятно, знаете ли, чувствовать себя в форме. Когда будет готово — кликните, я буду бегать возле дома, — и, улыбнувшись, выпорхнула во двор.

Пока жарилось мясо, Акрам-абзы быстренько поставил самовар и стал накрывать стол, удивляясь, как ловко у него все получается. Когда он вышел за самоваром, Назифа-ханум была уже во дворе, у цветника.

— Наверное, я буду здесь счастлива, — сказала она грустно и проникновенно, как настоящая артистка. — Какой удивительный воздух, какое высокое звездное небо и вы, трогательно заботливый и милый... Я так и представляла себе жизнь с вами.

Акрам-абзы, вытирая взмокший от спешки лоб, не нашелся с ответом, только пригласил гостью к столу.

Настроение у Назифы-ханум было прекрасное, она раскраснелась и даже как-то похорошела.

— Давайте поднимем бокалы, дорогой Акрам Галиевич, за то, чтобы я никогда не пожалела, что поддалась соблазну брачного объявления, — предложила она, зазывающе глядя на хозяина.

Акрам-абзы налил гостье шампанского, а себе — водки, да по ошибке — в бокал для шампанского. Настроение было



хуже некуда: он чувствовал, что теряет свободу, а холеная рука Назифы-ханум ловко примеряет на него ошейник, — поэтому отлить водку в рюмочку не стал, так и хватил полный бокал.

Похвалив отбивные, которые и в самом деле того стоили, Назифа-ханум томно сказала:

— Если позволите, я скажу еще один тост. Мне бы очень хотелось видеть вас всегда джентльменом. Таким, как сегодня. Как трогательно вы бежали ко мне на станции... Я этого никогда не забуду. Как лихо вы добыли билеты в кино... Вы просто молодец! За вас, дорогой Акрам Галиевич! Вы заслужили поцелуй, — и, обняв Акрама-абзы, крепко его поцеловала.

От Назифы-ханум пахло знакомыми духами «Белочки», и Сабилов, теперь уже не по ошибке, налил себе в бокал водки. Расчувствовавшаяся Назифа-ханум попросила включить музыку, попутно сообщив, что она недавно начала заниматься аэробикой.

Акрам Галиевич не знал, что такое аэробика, но спрашивать не стал, уверенный, что это с хозяйством и кухней никак не связано. Вновь, как и в прошлое воскресенье, он танцевал то же танго, что и с Натальей Сергеевной, только настроение у него было совсем другое. И танцевал неважно — два больших бокала водки уже сделали свое дело, и он несколько раз наступил на ногу партнерше, а затем его круто повело к трюмо, где стоял фотопортрет Назифы-ханум, и он едва не упал.

— Что с вами, Акрам Галиевич? — кокетливо спросила ханум. — Вы знаете, чего я в жизни до смерти боюсь, так это пьяных мужчин. О, пьющий мужчина — это социальное зло нашего времени, — загорячилась она. — Как я ненавижу их! Дали бы мне власть — я бы всех их в Сибирь, на каторгу, они бы у меня живо протрезвели! — И, спохватившись, добавила чуть мягче: — Наверное, в этом отчасти виноваты и мы, женщины. Конечно, я не имею в виду себя — с пьющим мужчиной я и разговаривать бы не стала, хватит, натерпелась...

Протрезвел ли от этих слов Акрам-абзы? Нет, не совсем, шатало его по-прежнему. Но и пьяный он чутко уловил: вот где она, спасительная соломинка! Забресжил реальный шанс обрести независимость, освободить свою шею от еще не накинутого, но уже маячившего у лица ошейника.

Он собрал силы, насколько это было возможно, и, как ему показалось, галантно подвел ханум к столу, а затем произнес



немыслимо цветистый тост, которому позавидовал бы грузинский тамада и прочие краснобаи. Наверное, не нашлось бы женщины, устоявшей перед таким тостом. В него Акрам-абзы вложил все свое вдохновение, красноречие, душу, всю лесть, на какую был способен, это был его шанс — нужно было хватить еще стаканчик.

Хоть и слышалась Назифа-ханум немало красивых слов в свой адрес, все равно приятно слышать их и в провинциальной редакции, а Акрам Галиевич постарался. Упиваясь сладкими хвалебными речами, ханум потеряла бдительность и не заметила, как Акрам Галиевич наполнил себе бокал до краев. Да и кто же во время такого тоста одергивать станет?

Минорное танго сменили на более жизнерадостные ритмы, но танцевать Акраму-абзы становилось все труднее — ноги держали плохо и совсем не слушались хозяина. Снова сели за стол. Водка кончилась, и Акрам-абзы, налив себе шампанского, выпил без всякого тоста, даже из вежливости не предложив бокал ханум.

— Что с вами, Акрам Галиевич? — спросила Назифа-ханум с явной тревогой на лице и в голосе.

— А-а-а, — махнул безнадежно рукой Акрам-абзы, — чувствую, запой начинается. Теперь меня не удержать: пока не выпью все, что в доме и у соседей, не остановлюсь, — и хватил залпом еще один бокал шампанского.

— Какой запой? Надеюсь, вы шутите, Акрам Галиевич? — в глазах гостьи плясали огоньки недовольства и страха. — Еще этого мне не хватало...

И тут Акрам-абзы неожиданно для себя заплакал навзрыд, самыми настоящими слезами, — так ему стало жаль себя на самом деле. Он подошел к Назифе-ханум и хотел картинно встать на колени, но галантность не получилась, и он мешком свалился к ногам Агяловой, которая уже с некоторой брезгливостью глядела на хозяина дома.

— Прости, голубка моя ясная, пью я, пью, — заговорил сквозь слезы и рыдания Акрам-абзы, крепко обхватив ханум за талию. — Но я тихий алкоголик, тихий, и никому нет вреда от моей беды. В год раза три меня заносит, не более. Как на духу клянусь: брошу пить, только не оставляй меня, радость моя...



Акрам-абзы плакал и бормотал из последних сил какие-то красивые слова и клятвы, в основном почерпнутые из писем «Белочки». Было там и про камин, и про бархатный халат, который он обещал непременно купить...

Назифа-ханум пыталась вырваться, но нотариус держал ее крепко, потому что боялся упасть. Улучив момент, когда Сабиров попытался вытереть слезы, она оттолкнула его и убежала к окну.

— Подлец! Подлец! Подлец! — закричала ханум так громко, что ее услышали, наверное, у Беркутбаевых. — И газета хороша! Печатает без разбору каждого алкаша. Тоже мне «человек безупречной репутации»! Подала бы в суд, да связываться неохота... Нет, ноги моей здесь не будет! Стану я жизнь губить на алкаша...

— Не оставляй меня, — жалобно попросил растянувшийся на полу Акрам-абзы. — Пропаду я без тебя...

— Много хочешь! — зло ответила Назифа-ханум и, перешагнув через него, вышла из комнаты.

Проснулся Акрам-абзы поздно. В комнате горел свет, хотя в окно било яркое утреннее солнце. С трудом поднялся с того места, где упал к ногам ханум. И где проспал всю ночь без всяких сновидений.

Болели бока, трещала голова, но это мало беспокоило Акрама-абзы. Он прошел мимо неубранного стола и с опаской толкнул дверь комнаты, куда определил Назифу-ханум. В комнате царил беспорядок, постель была не убрана, но ханум не было. Не было видно и ее вещей. Нотариус поискал взглядом записку, письмо, но ничего не попало на глаза... Сбежала, ей-богу, сбежала, и следов не осталось.

— Хвала Аллаху! — громко сказал Акрам-абзы и счастливо улыбнулся, даже полегчало сразу, забыл и про бока, и про головную боль.

Выйдя во двор, он сладко потянулся — жизнь показалась ему такой прекрасной! Потом умылся во дворе у колонки, поставил самовар и принялся убирать следы вчерашнего застолья. Воскресенье он провел с большой пользой для себя и для дома, и, заканчивая дела, твердо знал, как ему поступить.

В понедельник утром, по пути на работу, заглянул на почту и протянул телеграфистке загодя заготовленную телеграмму.



Молодая, незнакомая Акрам-абзы телеграфистка — практикантка, наверное, — растерялась:

— Срочная? А у меня как раз аппарат барахлит. Не знаю, как быть... Я сейчас у заведующей спрошу...

На ее зов появилась Светлана Трофимовна, поздоровалась приветливо:

— Акрам Галиевич, добрый день. Что за срочность с утра?

— Да вот хотел телеграмму отбить, и непременно срочную, с уведомлением о вручении... — твердо сказал нотариус.

«Убедительно прошу аннулировать мое брачное объявление, ибо я твердо решил жениться на местной женщине. Прошу извинения у всех, кого побеспокоил своим опрометчивым и необдуманным поступком», — вслух прочитала Светлана Трофимовна, и, улыбнувшись, заверила: — Не беспокойтесь, Акрам Галиевич, я сама сейчас же по телефону передам ее в город, и там отобьют срочную в газету.

Акрам-абзы виновато смотрел на Светлану Трофимовну и почему-то не решался сделать шаг из почты. Видя растерянность нотариуса, Светлана Трофимовна вышла его проводить. Когда они вышли на крыльцо, Акрам-абзы вдруг спросил ни с того ни с сего:

— А помнишь, я когда-то провожал тебя с танцев, Светлана?

Светлана Трофимовна грустно улыбнулась и тихо ответила:

— Конечно, помню, Акрам...

*Ялта,  
1983*













## Не забывайте нас...

Повесть

*Посвящается отчиму  
Исмагилю Зарифовичу Мифтахутдинову*

**П**исьмо пришло перед самым отпуском, когда путевка была у Бекирова на руках, да и билет уже заказан. Писем от матери Фуат Мансурович не получал, пожалуй, лет восемь, с тех пор, как однажды, заскочив на пару дней погостить по дороге с моря, установил старикам телефон. Установить телефон на селе — дело еще более тяготное, чем в городе, но Бекирову повезло: начальником телефонного узла оказался давний школьный приятель.

Сославшись на срочную работу, Фуат Мансурович, даже не допив чай, ушел в кабинет, прихватив конверт, лежавший на журнальном столике. Дел у него никаких сегодня не было, что случалось нечасто, — у главного инженера крупного строительного треста работы обычно невпроворот, суток не хватает, считанные дни в году оказываются выходными. Трижды перечитав написанное карандашом письмо, Бекиров успокоился и даже улыбнулся. Улыбнулся он тому, что помнил этот химический карандаш еще со студенческих лет, мать надписывала им посылки. Теперь редко кто пользуется такими карандашами, все больше шариковыми ручками. Таким же карандашом был написан и единственный отцовский треугольничек с фронта.

Для порядка посидев в кабинете с полчаса, перелистав журналы и сделав несколько звонков на домостроительные комбинаты, работавшие в три смены, Фуат Мансурович вышел



с письмом в столовую. Жена с сыном еще пили чай. С тех пор как в школе начались уроки эстетики, сын настоял, чтобы ужинали в столовой, и сам с особым старанием накрывал на стол, к удивлению родителей, ничего пока не разбив из парадного китайского сервиза. Жену это нововведение поначалу сердило, а Фуата Мансуровича, наоборот, веселило, но скоро вошло в привычку и теперь нравилось всем; удивительно, сколько лет теснились в крошечной кухоньке и смотрели, как пылилась красивая, удобная посуда.

Не успела жена налить Фуату Мансуровичу чаю, как сын торопливо спросил:

— Чтонибудь случилось у бабушки?

Бекиров улыбнулся и сказал, что ничего не случилось, просто дедушка выходит на пенсию, а в трудовой книжке то ли записей каких то недостает, то ли где то с отчеством напутали. С татарскими именами напутать немудрено, встречаются такие имена-отчества — язык сломаешь, не то что буквы перепутаешь. Вот дед ходил-ходил — из одной двери в другую гонят, из одной конторы в следующую выпроваживают, — да и обиделся, говорит, не надо мне вашей пенсии, пока руки-ноги целы, не пропаду, а что записи не сделаны, так мое, мол, дело было работать, а бумажки писали другие. Домашние хорошо знали характер деда и живо представили себе эту картину. Писала бабушка, что уже полгода бумаги лежат без толку, а дед строжайше наказал ей не вмешиваться в его дела и вообще о пенсии запретил всякие разговоры. «А жалко ведь старика, сколько на своем веку потрудился, да и обидно ему, я же вижу», — заканчивала бабушка свое торопливо написанное письмо.

Приглашала Минсафа-апа сына приехать в отпуск домой, отдохнуть и подтолкнуть дедовы дела. Все таки человек образованный, законы знает, да и многие друзья его школьные теперь в начальниках ходят, может, помогут старику. Ведь, считай, на людских глазах век прожил, не таился, и работал то всю жизнь в Мартуке.

Фуат Мансурович ждал этого отпуска с нетерпением, летом отдыхать выпадало ему не каждый год, чередовались с управляющим трестом. Лето для строителей — что жатва для хлеборобов: три четверти годового плана тянет. Да и путевка была желанная — к морю, в Алушту, — великими трудами добытая.



Выросший в степи и поздно, лет в двадцать семь, познакомившийся с морем, Фуат Мансурович полюбил его безоглядную манящую ширь. Целыми днями он пропадал на берегу и, уезжая, подолгу скучал, считал дни и месяцы до нового свидания. Домашние знали об этом, но не разделяли его тягу к морю, предпочитая лес, тихие озера, поля, — наверное, оттого, что жена была родом из Белоруссии. Однако, понимая, что работа выматывает Бекирова до предела, всегда старались создать ему условия для полноценного отдыха. Потому они и огорчились, что у отца может сорваться путешествие к морю. О том, чтобы отложить поездку в Мартук, и речи быть не могло. Правда, вызвалась поехать жена, обещала уладить все сама, все таки юрист, народный судья, но Бекиров знал, как бы это огорчило Минсафу-апа, потому и решил отправиться сам.

Жена дала ему справочник по социальному обеспечению, на всякий случай кое где закладки вложила. В общем, казалось, что за неделю, ну, максимум дней за десять он уладит дела и еще успеет к морю. С тем и отбыл он в родные места.

Бекиров свыкся с поездками. Трест был республиканский, и объекты находились в каждой области, в каждом городе, а теперь вот и аграрно-промышленные комплексы начали возводить в районах. Так что начальники не особенно засиживались в кабинетах. Но с железной дорогой у него были связаны и давние, юношеские воспоминания. Учился он неподалеку от дома, в пяти часах езды, в Оренбурге, и домой наезжал через неделю: то картошки прихватить, то каравай домашнего хлеба, тогда в Мартуке еще в каждом доме пекли свой хлеб, то яиц, а зимой иногда и мяса. В первые годы студенчества тянуло к друзьям детства, к мартукским девочкам. Уезжал он из дома в полночь ташкентским почтовым. Сразу после танцев в районном Доме культуры забежали веселой гурьбой к Бекировым, где Минсафа-апа поджидала с самоваром, а отчим давно уже спал. Наскоро, подшучивая друг над другом, пили чай, потом ктонибудь прихватывал тяжелую спортивную сумку Фуата, а он, стесняясь материнских ласк, торопливо прощался с матерью; и опять с шумом, распевая чтонибудь залихватское, компания подавалась на вокзал. Ездил он, как и все студенты, в переполненных общих вагонах, каким то чудом всегда отыскивая свободную багажную полку у самого потолка,



и, тут же уместив под головой сумку, проваливался в крепкий молодой сон. А иногда подолгу стоял в безлюдном тамбуре, не замечая холода, вспоминал с нежностью, до слез в горле, как это бывает только в молодости, какие замечательные у него друзья и какая прекрасная девушка согласилась проводить его. Вот тогда он и полюбил поезда, хотя ни разу не ездил в роскошных спальнях вагонов, где зеркала во всю дверь и яркие ковровые дорожки устилают коридор, а на нежно-зеленый велюр мягких диванов падает интимный свет матовых ночников.

Стоя у окна, вглядываясь в выжженную жарким солнцем бескрайнюю казахскую степь, Бекиров то и дело мыслями возвращался к отчиму. Нет, не о предстоящих пенсионных делах думал он. Сейчас, под мерный стук колес, он остро ощутил, как коротка человеческая жизнь. О том, что она коротка, в свои тридцать семь Фуат Мансурович, разумеется, знал, но так остро, до волнения, он почувствовал это только теперь. Как же так? Этот как будто совсем недавно гибкий, по юношески стройный мужчина, мастерски игравший за «железку» в волейбол и приезжавший к ним на сиявшем хромом и никелем голубом трофейном велосипеде «диамант» — неслыханной роскоши на селе послевоенных дет, — уже уходит на пенсию. И еще более странным казалось то, что он, ловкий и смелый, имевший в селе больше всего орденов, нуждался сейчас в его, Фуата, помощи. А ведь когда то, мальчишкой, он с отчаянием думал, что ни на что не сгодится в жизни, а уж стать таким человеком, как отчим, — казалось совсем невероятным. Да и мог ли он тогда подумать, что когданибудь хоть чем то сможет помочь Исмагилю-абы? Конечно, нет! Даже сейчас, почти через тридцать лет, Бекиров словно услышал в пустом коридоре задорный смех сильного, уверенного человека — так смеялся отчим.

Встречала его мать. Не видел ее Фуат Мансурович лет пять. Минсафа-апа в последние годы сильно сдала. С тех пор как его перевели из управления в трест, и отпуск не каждый год выпадал, да и к морю тянуло, однажды всей семьей даже в Болгарии побывали, день в день уложились, — Бекировы все откладывали поездку к старикам на следующий год. Да и сама Минсафа-апа перестала приезжать в гости, ноги стали побаливать, а в поездах теперь, хоть зимой, хоть летом, не протолкнуться,



словно весь народ великое переселение затеял, мука одна, а не дорога. Самолетом мать летать побаивалась. Кто ее знает, эту крылатую машину, на колесах спокойнее. И главный довод у матери — корову не на кого оставить, прежние соседи в город, к детям подались, а новые, интеллигенты, сами ни скота, ни птицы не держат, не то что за чужим хозяйством приглядеть. Корова же уход любит, времени требует. Так вот и не виделись лет пять, а для тех, у кого время не в гору, а под гору бежит, ох, как заметны эти долгие годочки.

Мать Фуата Мансуровича долго красивой и статной была. Не зря, наверное, завидный жених Исмагиль ее с ребенком взял, хотя в каждом доме невеста любого возраста нашлась бы. Трое, трое всего парней вернулись в Мартук с войны, а ушло... лучше и не вспоминать.

Вросший окнами в землю дом, где родился Фуат Мансурович и во двор которого когда то лихо вкатил на «диаманте» Исмагиль-абы, стоял раньше у дороги. Теперь на этом месте отцветал запущенный розарий. Розарий был разбит давно, во времена всеобщего увлечения Мартука розами, а теперь здесь росли густые, одичавшие кусты, как ни странно, ярко и щедро зацветшие с тех пор, как оставили их без внимания. Вплотную к колючим кустам жался веселый штакетник: красно-бело-синий, так его всегда красил отчим, так же чередуются цвета и теперь. С обеих сторон невысокого заборчика в землю были врыты лавки. Толстые плахи, на которых нацарапаны дорогие для кого то девичьи имена, потемнели, а одна чуть треснула. Бекиров хорошо знал эти лавочки. Они, как розы, а позже персидская сирень, были в свое время очередным увлечением Мартука. У каждого дома, каждого палисадника имелись лавочка, скамейка на свой лад, и у жителей считалось доброй приметой, если по весне в скворечнике поселилась птаха, а молодые облюбовали скамеечку у их дома. Была заветная скамеечка и у Бекирова — на Ленинской, у дома сапожника дяди Васи Комарова.

Новый дом, стоявший в глубине двора, отчим выстроил лет пятнадцать назад, когда был еще в силе и наконец то деньги завелись в семье. Тогда Фуат Мансурович только окончил институт и работал на Крайнем Севере. Помогая строить деньгами, Фуат Мансурович уверял для успокоения родителей, что, отработав положенное, вернется домой навсегда. Тем более



что писали родители ему: организуется в Мартуке строительно-монтажное управление и решено строить в их краях два крупнейших, невиданных доселе элеватора.

Дом строили, нанимая людей. Саман купили у цыган, промышлявших летом этим трудным ремеслом. Хотя выглядел отчим тогда еще молодцом, но на тяжелую работу уже не годился. Зато архитектором, прорабом, бригадиром, снабженцем был отменным и, нанимая людей, знал, кто на что способен. Плотничал одноногий Гани-абы Кадыров. Какие песни пел за работой неунывающий, громкоголосый, единственный в селе башкир! Минсафа-апа часто заслушивалась и запаздывала с обедом. И какие резные наличники, какого веселого петушка на коньке крыши оставил на память о своей работе Гани-абы! Люди по сей день останавливаются полюбоваться, проходя мимо дома Бекировых, а ведь об этих «излишествах архитектуры» с мастером не договаривались.

По дороге с вокзала Минсафа-апа, обрадовавшаяся сыну, но как будто уже пожалевшая о своей затее, строго-настрого предупредила его, чтобы дома ни слова о пенсии, а уж если и пойдет он в собес, то осторожно, чтобы не дошло до отчима.

Вечерело. Мягкий, покойный закат, обещавший на завтра хороший день, розово окрасил полнеба за огородами, когда они с матерью добрались до двора. Отчим, видимо, только закончил поливать из шланга зелень, цветники, запущенный розарий, и асфальтовая дорожка, нагретая за долгий день жарким солнцем, чуть дымилась. В воздухе стоял запах земли, сада, пахло так, как может пахнуть после дождя только в деревне. Он стоял у самовара, добавляя из совка истлевающие рубиновые куски угля, чтобы медный красавец запел; видимо, это было главным заданием Минсафы-апа, потому что тут же, на летней веранде, уже приготовлен был стол.

Внешне отчим изменился мало, только заметно поредел его седой ежик, стрижка, которой он не изменял всю жизнь. Но Фуат Мансурович заметил, как мал и худ сделался отчим, словно подросток, даже его шестиклассник сын обошел деда. Что то так же незаметно сместилось в лице и дикции, но Бекиров понял сразу, в чем тут дело, наконец то отчим поставил зубные протезы, нашел все таки время для того, чтобы в последний черед заняться и собой.



Они как то неловко, словно смущаясь, обнялись, и Бекиров ощутил острые лопатки отчима под теплой фланелевой рубашкой. Минсафа-апа, что то наскоро убрав со стола, что то добавив, пригласила к нему мужчин.

Исмагиль-абы прихватил из ведра у колонки чекушку заолодевшей водки. Выпили за приезд и закусили первыми малосольными огурцами с собственного огорода. Слово за слово, отчим спросил: надолго ли, или опять на пару деньков?

— Наверное, надолго, — ответил Фуат Мансурович и неожиданно добавил: — Соскучился я по дому... — И понял, что не слукавил, сказал правду.

Ему было радостно ощущать на себе теплые взгляды матери, чувствовать ненавязчивое внимание отчима. Приятно было вдыхать забытые запахи тлеющего самоварного угля, свежей кошенины, уложенной на просушку на крыше низкого сарая, удивляться по деревенски пахучему аромату масла, молока. Ему захотелось пожить дома, куда когда то собирался вернуться навсегда, а, по существу, жил здесь несколько лишь раз, наездами. А ведь отчим, узнав о решении Фуата уехать с Севера в Среднюю Азию, записал дом на имя приемного сына. Вот и выходило, что хозяин приехал в родной дом, его собственный.

Таких домов в Мартуке раньше не было; можно сказать, с Бекировых началось строительство больших, просторных, со стеклянными верандами домов. Теперь, правда, пошли дальше — и веранды сделали теплыми, и воду в дома провели, и отопление паровое с собственным котлом у добрых хозяев не редкость. Пришла, пришла и сюда хорошая жизнь, забыты голод и холод — вечные спутники степного Мартука. Так получилось, что Фуат Мансурович, считай, и не видал дома сытой жизни — в эти края пришла она с целиной, и первый недостаток, тогда еще не очень то и ощутимый Бекировыми, стал заметен только в самом конце пятидесятых, когда Фуат уже студентом был. Каждый лишний рубль шел на него, хотя жил Бекиров, как многие, скромной, рассчитанной до копейки жизнью, — студенчество тогда умело обходиться без излишеств.

Старики определили сына на его половине нового дома — большой зал с роскошным фикусом и темноватая спальня, такой она была задумана, ведь, ожидая Фуата, надеялись и невестку увидеть. Каждый раз, будучи проездом в Мартуке и живя



несколько дней в отчем доме, Фуат Мансурович думал о том, как бы сложилась его жизнь, вернись он сюда. Иногда такой красивой и безмятежной рисовалась эта жизнь, что казалась похожей на сказку, мираж. Потом взволнованный Бекиров вдруг улыбался и успокаивал себя: что ни делается, все к лучшему. Ведь в этой воображаемой жизни — удобной, с опорой на родителей и крепкое хозяйство — не было места главному для него, любимой работе.

Фуат Мансурович был инженер-монтажник по призванию. В начале шестидесятых попасть на Крайний Север было совсем не просто, распределяли туда лучших, а на студента-третьекурсника Бекирова пришла персональная заявка, ибо по его проекту уже два года забивали свайные основания на мерзлых грунтах. На Севере ценят сметку, знания и умение, истинная значимость каждого определяется быстро, потому и Бекиров быстро нашел там свое место, а бывалые северные строители признали в нем инженера.

Когда первый управляющий Бекирова получил задание возвести в кратчайший срок в Средней Азии химический комбинат, то единственной просьбой его к парткому было разрешить взять с собой несколько коллег, в число которых попал и Фуат Мансурович. Бекиров понимал, что дома нет пока применения его знаниям, а на масштабность Севера, который быстро приручил его мыслить крупными категориями, и вовсе рассчитывать не приходилось. Ведь даже элеватор, который начали возводить с опозданием на два года, еще и заморозили лет на пять. Да и что особенного в строительстве элеваторов? Отладить подвижную опалубку, потом день и ночь гнать бетон — для этого большого ума не требуется, надо создать сильную группу главного механика да найти толкового мужика на бетонный узел.

Родителям он, конечно, об этом никогда не говорил, подумали бы: ишь, какой инженер выискался, масштабы ему подавай! Старики считали, что Фуат оставил Север и подался в Среднюю Азию только потому, что СМУ в Мартуке создали с опозданием года на два, да и хлипким оно оказалось. А в это время сын уже корни пустил в узбекской земле: женился, ребенок. Конечно, вернись он в Мартук, думал иногда Бекиров, нашлось бы дело и для него; но был бы он что капитан без моря или летчик без неба, а работа для мужика — главное, это Фуат Мансурович усвоил в не богатом работой поселке с детства.





Дома, в Ташкенте, запруженном дипломированными специалистами, три четверти которых были такими же выходцами из маленьких местечек, как и он сам, Фуат Мансурович иногда с некоторой жалостью думал о своих коллегах, не состоявшихся, по большому счету, инженерах, напрасно протирающих штаны отделах и бюро с раздутыми штатами. Как, наверное, они нужны у себя на родине, дома. Этим людям, которым масштабность противопоказана по их сути, в малом, наверное, удалось бы показать себя, ведь строится страна то из края в край, сейчас в любом раньше забытом богом уголке висится башенный кран. Но нет, привыкли, притерлись, так и живут по многим городам, иногда вспоминая с тоской о родных хуторах, аулах, кишлаках, селах, несостоявшиеся горожане и не очень грамотные инженеры. Найти себя — это не только привилегия юности, найти себя и выбрать дорогу — это дело всей жизни.

Утром, когда Фуат Мансурович проснулся, отчима уже не было: промкомбинат, в котором Исмагиль-абы трудился тридцать с лишним лет, начинал работать с половины восьмого.

Чай пили на веранде, с распахнутыми в огород окнами. Бекиров пребывал в добром расположении духа: хорошо выспался, ведь даже сны видел приятные, о давней, отроческой жизни в Мартуке. Минсафа-апа, заметившая это, приободрилась. Вчера на вокзале ей показалось, что Фуат приехал скорее по долгу, чем по велению сердца, но сейчас она видела, как радуется сына солнышко, гулявшее в огороде, пыхтящий самовар, видела, какими соскучившимися глазами оглядывает он соседние дворы за ветхими, покосившимися плетнями, как тянется то и дело взглядом к жеребенку в казахском дворе Мустафы-ага. Сидели они долго, Минсафа-апа дважды подкладывала из совка жаркие угли, чтобы не кончалась песня надраенного до золотого блеска ведерного самовара. Казалось, не иссякнут сыновние расспросы и не будет конца ответам, потому как за каждым ответом чья то жизнь, так или иначе соприкасающаяся с давними днями.

Но разговор их прервали: пришли две казашки, которых мать тут же усадила за стол. И, обращаясь к той, что постарше, своей ровеснице, сказала, гордясь: вот, сын приехал в отпуск из Ташкента, большим инженером там работает... А та ответила, что помнит Фуата, мальчишкой с другими ребятами приходил



к ним во двор поздравлять с гаитом, да жаль, не щедро она одаривала их, время трудное было, а сейчас милости просим, барана зарежем, гостем будете, слава Аллаху, жизнь и к нам повернулась лицом.

Фуат Мансурович, выпив с гостями традиционную пиалу чая, оставил женщин за столом, а сам подался в поселок. Весь день не шло у него из головы, кто же эта аккуратная старушка в розовом бархатном жилетике и где, в какой стороне их усадьба, но так и не вспомнил, а ведь Мартук его детства был не так уж велик. За последние пять лет многое изменилось: грейдерная Украинская улица покрылась асфальтом, почти исчезли на ней старые дома, поотстроились заново, считай, все. Теперь новая мода пошла — обкладывать снаружи светлым кирпичом-сырцом саманные дома, и веселее, наряднее стала улица. Узнавая и не узнавая усадьбы, на чьи огороды не раз, бывало, в детстве совершал лихие налеты, а позже тайком рвал с грядок цветы для девчат, Бекиров незаметно прошел собес, старое, под ржавой крышей здание. На его памяти там всегда и отдел образования ютился в двух крошечных комнатах. «Ладно, успеется», — подумал Фуат Мансурович и не стал возвращаться. Проходя мимо промкомбината, Бекиров замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, захваченный воспоминаниями. Перейдя через дорогу, присел с сигаретой на лавку в тени акаций у веселого, желтой окраски дома, обшитого деревом.

Промкомбинат, главный кормилец Мартука, долго, до тех пор, пока целина не набрала силу, оставался единственным работодателем поселка. Фуат Мансурович знал все ходы и выходы на его казавшейся тогда огромной территории, ведь не раз приходилось носить в сумерках отчиму скудный ужин, — случалось, Исмагиль-абы работал в цехе до глубокой ночи. А в праздники, умытый и по возможности принаряженный, бегал сюда на утренники. Какие елки, с какой выдумкой организованные, проводила артель (так в просторечии называли в селе промкомбинат)! А подарки, вручавшиеся «настоящим» Дедом Морозом (не издерганной теткой со списком), даже по нынешним меркам были истинно новогодними, ибо уже за два-три месяца готовились порадовать детей, и людей равнодушных, способных урвать на ребячьей радости, за версту не подпускали к светлому, праздничному.



Бекиров осматривал вытянувшиеся вверх на три-четыре этажа новые цеха комбината. Знал он, что на втором этаже вон того дальнего углового здания отчим стегает ватные одеяла, а уж какие они получаются мягкие, с красивым узором-строчкой, из ярких атласов и цветной хлопчатки, Фуат Мансурович вчера видел сам. Одеяла эти хорошо раскупались в районе, а теперь и облпотребсоюз присылает заявки, успевай только стегать, не залеживается работа Исмагиля-абы. Хотелось Бекирову подняться к отчиму в цех и, никуда не спеша, посидеть рядом, не мешая, а потом вместе через весь поселок вернуться домой, до обеда то отчиму уже недолго. Но Фуат Мансурович опять решил, что успеется, нечего торопиться. Вдруг пришло на ум, что стоило бы рассказать о волоките с пенсией отчима парторгу комбината; хоть дед и не партийный, зато ветеран комбината, а не перекати-поле, кому в трудовой книжке и штамп некуда ставить; к тому же фронтовик, орденоносец.

Бекиров встал и решительно направился к одноэтажному административному флигелю под цинковой крышей, единственному зданию, оставшемуся с прежних времен. Но комната парткома оказалась на замке, а спрашивать кого либо, по какому случаю закрыто, не хотелось, того и гляди до Исмагиля-абы дойдет: мол, сын парторга разыскивает.

Он уже выходил из узкого темного коридора на улицу, как вдруг его окликнули:

— Федя...

В Мартуке, где двор ко двору жили русские, немцы, украинцы, татары, казахи, а в давние времена, когда он учился в школе, еще и чеченцы, и ингуши, всех звали на русский лад, и никого это не обижало; вот только иногда, когда дело доходило до документов, случалась путаница: оказывалось, что какойнибудь Григорий, которого сызмальства все знали, как Гришку, по паспорту оказывался Гарифуллой. Он же для всех здесь был Федей, а отчим — Алексеем.

Обернувшись, Бекиров увидел тетю Катю, жившую раньше напротив, через дорогу. Сколько помнил Бекиров, она всегда работала в бухгалтерии артели. Тетя Катя обняла Фуата Мансуровича, и они вместе вышли во двор.

— Сколько ж лет я тебя не видела, Федя... Помню, с Севера в отпуск на новоселье приезжал, тогда я еще плясуньей и



певуньей была. Добрый дом отгрохал Алексей, хвалился тогда, что женить тебя будет и внуки, мол, скоро по дому просторному побегут... Как, дети то есть?

— Есть один, парень.

— Мы ведь теперь получили казенную хату за железной дорогой, строиться нам, старикам, не по силам, да не по деньгам. А дети, как и ты, разлетелись, не чаще, чем тебя, вижу. Как матушка? Я ее ведь тоже года два не видела. Вот, господи, в одном селе, называется, живем... Раньше то я часто у вас бывала, сколько попила чаю из вашего самовара, бывало — с сахаром, бывало — «вприглядку», всяко довелось. Иное время и вспомнить страшно. Слава богу, что на старость и к нам жисть людская пришла. А ты зачем к нам в артель пожаловал, Федя?

— Да вот с парторгом хотел увидаться, только вы уж, тетя Катя, отцу об этом не говорите.

— А, понимаю. Характер у Алексея мужской, дважды не просит. Слышала, обиделся он на собес. Это хорошо, что ты вызвался помочь старику, такое уж время бумажное, к справке справка требуется, а иную справку добыть — в пояс кланяться нужно, просить, а твой отчим смолоду такой, умрет с голоду, но не унижится. Настрадалась, поди, родительница твоя от гордыни его? Правильно жил твой отчим и от других того же требовал, да люди то все разные. Ты помоги, помоги старику. А у меня давно все готово, все подсчитано, не шибко, правда, много получается, но все поскребла, трижды просчитала, ничего не упустила. Не было денежной работенки в наших краях, хоть надрывались порой, да ты и сам, чай, помнишь...

Бекиров промолчал.

— Я отдам тебе, Федя, папочку с документами на время, посмотри сам, просчитай, дело нехитрое. Дам, хоть и не положено, с Алексеем нас жизнь и смерть связывают. Ведь с ним уходил на службу, на его глазах погиб, им похоронен мой Дмитрий. Дружки неразлучные были.

Тоненькая папка на тесемочках хранила не только выписки из приказов, ведомости заработной платы за многие давние годы, расчеты и прочие финансовые документы, необходимые для установления размера пенсии отчиму, она хранила историю их семьи. По ней можно было проследить почти всю жизнь Исмагиля-абы, пожелтевшие листы бумаги возвращали



Фуата Мансуровича к детству, отрочеству. Иногда в комнате, где он сидел за письменным столом, незаметно входила Минсафа-апа. Она бережно, как только мало учившиеся люди обращаются с документами, брала какую-нибудь бумажку, исписанную выцветшими фиолетовыми чернилами, и тут же узнавала в строчках, выведенных тонким ученическим пером «рондо», руку Кати Панченко, их бывшей соседки. Поначалу Фуата Мансуровича удивляло, что мать, только взглянув в ведомость, в строку, где указаны жалкие гроши, что зарабатывал муж более чем двадцать лет назад, помнила, не вчитываясь в документ, за что они были выплачены. И тут же, если была в настроении и не одолевала дела, начинала рассказывать о чем-нибудь примечательном, памятном из того давнего года. Рассказывая, тайком утирала краешком платка слезы. И перед Фуатом Мансуровичем из вдруг озаряемых яркой вспышкой памяти полузабытых картин складывалась не только судьба их семьи, а еще и история артели Мартука.

Память матери удивляла сына еще потому, что, проработав на одном предприятии много лет, отчим сменил десятки профессий — попробуй упомни. Нет, Исмагиль-абы никогда не был летуном, бездарью, неумехой. «Золотые руки, золотая голова» — так говорили все про отчима, это Фуат Мансурович слышал сам, и не раз. Дело было в ином: артель долгие годы была маломощной, да и планирование, как теперь понимал Бекиров, бестолковым, как и во многих и многих маленьких местечках, подобных Мартуку. Чуть ли не каждый год открывались одни цеха и закрывались другие. Едва какой-то цех, обучив людей, начинал набирать силу и кое-как выполнять план, обрадовав забрезжившей надеждой хорошего заработка, как бессменный председатель артели Иляхин вынужден был нести рабочим горькую весть: закрывают производство по велению областных деятелей. А через год артель, растеряв оборудование, людей, спешно организовывала тот же цех, зачастую для изготовления прежней продукции.

Каких только цехов не имела артель: и шорный, и кондитерский, и даже сани делали — кошевые, легкие, быстрые, в них разъезжали председатели колхозов всей области. Богата все же наша земля умельцами и толковыми мужиками, если даже в крошечном Мартуке за любую работу брались — хоть чесанки



валять, хоть тулуп, полушубок справить, хоть шаль-паутинку связать, и получалось одно загляденье, так что память о них до сих пор не выветрилась.

А все артельные ликвидации начинались с сокращения штатов. Но миновала чаша сия Исмагиля-абы — работник он был умелый и безотказный, да и по праздникам при всех орденах, которым было тесно на его неширокой груди, сидел всегда в президиуме, так что неудобно было с фронтовиком худо обходиться. Пряча глаза в пол или отводя их в сторону, говорил обычно Иляхин: «Ты уж, Алексей, не обессудь, опять в новый цех учеником пойдешь, ты одолеешь...» Потому то и встречались Фуату Мансуровичу ведомости с графой, где отчиму причиталось 280—320 старых рублей, а работали тогда не только без свободной субботы, но и воскресенья частенько прихватывали.

Минсафа-апа вспоминала не только грустное; вдруг, казалось бы, не к слову, глядя в те же графы, она говорила, что это был месяц выборов. Тепло, волнуясь, с посветлевшим лицом называла по имени-отчеству тогдашних депутатов. И Фуат Мансурович, уже вполуха слушая мать, видел радостные, праздничные дни выборов в Мартуке. Главный агитпункт, где проводились и сами выборы, располагался тогда в школе, и по вечерам в агитпункте уже за месяц до срока играла радиоло, ярко горели огни. А в день выборов затемно, когда он еще спал, родители уходили голосовать. Возвращались веселые, возбужденные, видимо, успев пропустить рюмочку-другую с друзьями, сослуживцами, родственниками; дело не зазорное в такой всенародный праздник, а мать еще и напляшется и под русскую гармонь, и под татарскую тальянку с колокольчиками. Возвращались они всегда с чемнибудь вкусным: апельсинами, халвой, ржаными пряниками или копчеными лещами, товарами редкими и потому памятными.

Позавтракав, он и сам, торопливо одевшись, бежал в школу. Празднество уже было в разгаре. В зале под радиолу танцевала молодежь, в классах — под баян, аккордеон, гитару, в каждой компании свой инструмент — плясали или пели люди постарше, семейные. Работали буфеты, магазины. Торговали пивом, по такому случаю щедро завезенным из города. А во дворе школы стояли напряженные каурые секретаря райкома.



Дуги, сбруя, да и сани были ярко украшены. В санях стоял ящик для голосования, обитый кумачом; прямо к дому подъезжали к старым и немощным, чтобы и те смогли отдать свой голос за кандидата, которого поддерживал весь Мартук. Праздник начинался вечером накануне; молодежь и не расходилась до утра, голосовали первыми, к десяти утра Мартук уже рапортовала о выборах в область, а праздник, рекой выплеснувшись на улицы и в дома, продолжался до позднего вечера.

Захваченные воспоминаниями, засиживались они с матерью иногда часами, а однажды проговорили до самого обеда, опомнились, только увидев у калитки отчима. Фуат Мансурович от растерянности не все бумажки успел припрятать, но Исмагиль-абы, к радости матери, не обратил на них внимания.

За столом, или поливая с отчимом по вечерам огород, а то мастера чтонибудь по хозяйству, — дел в любом доме всегда с избытком, — Фуат Мансурович лишь изредка перекидывался с отчимом малозначащими фразами, в основном только по делу. Бекиров уже успел заметить, что у мужчин контакты со своими отцами со временем становятся гораздо труднее, сложнее, что ли, чем у женщин; у тех, кажется, наоборот, с годами дочери теснее сближаются с матерями. Может, оттого сейчас так получалось, что в детстве Бекиров и его сверстники не видели дома такой уж большой ласки, и вообще не до того тогда было. У родителей одна была забота — как бы накормить ребятшек, обути, одеть. Уходили на рассвете, приходили с закатом, но заработанного едва хватало, чтобы свести концы с концами. До ласк ли было...

Фуат, хоть всего шесть лет ему исполнилось, не называл отчима отцом, потому что уже знал — его отец, танкист, погиб под Москвой; да и позже никогда не называл его «ати», а всегда «абы». Хотя, помнится, поначалу Исмагиль-абы, чтобы привык к нему парнишка, много времени потратил на него. Рискуя расшибить, ободрать сияющий хромом «диамант», научил его раньше всех мальчишек кататься на велосипеде. И санки, и коньки самодельные, и лыжи-самоструги сделал Фуату, но так ни разу и не услышал долгожданного «ати». Вспоминая это, Фуат Мансурович даже сейчас не мог понять причину детского упрямства. Ведь у многих не было отцов, а у него был, такой замечательный, веселый, да еще с орденами —



и Фуату завидовали все мальчишки, считая, что дядя Алексей самый сильный в Мартуке, хотя и намного меньше ростом, чем отец Петьки Васятюка.

В отсутствие матери Фуат Мансурович открывал окованный медью старый китайский сундук, некогда девичье приданое бабушки. В узком боковом отделе он находил ордена и медали Исмагиля-абы. Даже по нынешним скептическим меркам людей, не нюхавших войны, награды отчима были высокие, и было их действительно много: девять. А первый орден отчим получил в тридцать девятом, на озере Хасан. Рассматривая вновь эти ордена, к которым в детстве его тянуло как магнитом, Фуат Мансурович вспоминал: хоть и трудно было принимать в те годы гостей, а все таки праздники не обходились без них. Водкой тогда баловались только по особо важным случаям или ставили бутылку-другую в красном углу стола для дорогих и редких гостей — не по карману была она мартучанам. А готовили хозяева, ждавшие гостей, за неделю-две до праздников «бал» — разновидность русской бражки, медовухи. Напиток не крепкий, но с градусами, и делали его в каждом доме по своим рецептам. Людей, гнавших подобное зелье на продажу, не было, а на производство «бала» для себя власти смотрели сквозь пальцы.

Фуат Мансурович, перебирая награды, вспоминал, что обычно в праздничные дни отчим прилаживал на свой полувоенный френч только вот эти три ордена, теперь то Бекиров знал им цену — ордена Славы. Но это было давно-давно, когда отчим со своей матерью, бабушкой Зейнаб-аби, только приехал к ним насовсем; тогда он еще разъезжал на «диаманте» и не пропускал ни одной игры в волейбол за «Локомотив», команду станции, за которую играл еще до войны. Раньше за ордена и медали выплачивали деньги. Фуат помнил это хорошо, об этом и сопливые мальчишки говорили, и соседки судачили. Пусть не ахти какие деньги, но, поскольку у отчима наград было немало, и если учесть, что в Мартуке каждую копейку приходилось считать, ибо заработать то особенно негде было, «наградные» являлись большим подспорьем. С наградных то и баловал Исмагиль-абы иногда Минсафу-апа и Фуата. Но выплаты очень скоро отменили. В Мартуке событие это, считай, никого, кроме отчима, не коснулось. Фуат помнил, как переживал, маялся





отчим, ведь выплаты были не только подспорьем семье, а как то поднимали его в глазах сельчан: не просто фронтовик, а воевал как надо, потому и почет, награды... и вдруг как обухом по голове! Маялся отчим еще и потому, что были люди, намеренно подначивавшие его, называя ордена «железками»; по их словам выходило, что теперь, после отмены выплаты, все равно, хорошо ты воевал или за спины товарищей прятался. Война, мол, кончилась, новая жизнь началась — все с нуля, старое, мол, перечеркнули. И еще помнит Фуат, как у них дома на Октябрьские праздники отчим подрался из за этого с каким то мужиком, приехавшим из Оренбурга с мелочной торговлей.

— Провокатор, сволочь! — кричал разъяренный Исмагиль абы, и рыжие веснушки, словно капли крови, горели на его мертвенно бледном лице. — Я бы таких, как ты, расстреливал на месте, гнида, спекулянт...

Его едва удерживал, обхватив сзади, первый друг и первый силач в округе Алексей Тунбаев.

А торговец, ретируясь, показывал кукиш и зло огрызался:

— Вояки... Обвешались, как бабы, побрякушками и хотите тут порядки фронтовые завести... Поплачете, хлебнете еще горюшка на гражданке со своей совестью и правдой, бесштаные генералы...

С тех пор отчим реже доставал из сундука свои ордена. Гулянок в праздники с дракой, руганью Фуат Мансурович не помнил. Больше взрослых ожидал Фуат прихода гостей. Чаше всего бывали у них дома одни и те же люди: Васютюк, соседи Панченко, несколько оренбургских татар — отчим был родом оттуда, одна-две вдовы, подружки Минсафы-апа, и всегда Гани-абы, плотник, с деревяшкой вместо левой ноги, первый песенник и гармонист. А какие песни, татарские, башкирские, русские, украинские, певали на этих вечеринках! За песни больше всего и любил гостей Фуат. А иногда вдруг — тогда еще много говорили о прошедшей войне — заводили разговор о солдатских путях тех, кто собирался за столом. Обычно начиналось со слов: «а вот в Германии» или «а в Польше...». И разговор чаще всего был о мирном: об укладе, привычках, нравах, хозяйствовании, о скоте... Но вспоминали и о боях, о жестоком. Да разве можно было избежать этой темы, если и в Германии, и в Польше остались навечно друзья-товарищи,



земляки. Отчим, как ни странно, чаще всего уклонялся от таких разговоров, но всегда находился в компании новый человек, который знал или слышал о его наградах и, естественно, спрашивал, а этот орден, мол, за что, а этот? Исмагиль-абы отвечал коротко: за форсирование Днепра, за освобождение Киева, за Брест, за выполнение особо важного задания. Но изредка, под настроение, а то подогретый воспоминаниями своего друга Васютюка, рассказывал и Исмагиль-абы.

Из этих рассказов постепенно сложился у Фуата образ отчи-ма-фронтовика. Сейчас в этом не по возрасту сдавшем, немногословном и тихом старичке очень было трудно признать солдата, и далеко не робкого десятка. И Фуат Мансурович то и дело возвращался к тому давнему образу, нарисованному детским воображением. Воевал Исмагиль-абы в разведке, а точнее — обеспечивал разведке связь. Забираясь в тыл, подсоединялся к вражеской сети, а офицер, знавший немецкий, занимался подслушиванием. Разумеется, в таких ситуациях не раз и не два приходилось сталкиваться с немцами нос к носу, почти всю войну он ходил за линию фронта, иногда оставив за спиной километры ничейной, нейтральной территории, даже просто пройти по которой было делом сложным и стоило многих жизней. Отчим был огненно-рыж и, наверное, действительно смахивал чем то на немца. Почти всю войну, уходя на задание, он надевал форму солдата вермахта, тщательно подогнанную полковыми портными. Форма эта была у него на все сезоны, и автомат, с которым он не расставался ни днем, ни ночью, был немецкий «шмайссер».

Из рассказов, услышанных в детстве, больше всего запала Бекирову в память такая сцена. Отчим под носом у немцев подсоединяет на столбе провод для подслушивания. Экипировка, наушники, инструмент, все чин чином — немецкий связист, да и только. А рядом, в густом кустарнике, — товарищи, ждут, когда сержант, спустив незаметно по столбу провод, дотянет его до офицера, знающего язык. И вдруг, совершенно неожиданно, шагах в десяти появляются немецкие солдаты, человек пятнадцать. Завидев сержанта, они что то весело кричат и смеются, сержант, опережая их, делает единственно возможное, торопливо берет в зубы концы проводов и, также весело улыбаясь, машет в ответ рукой. Рукава закатаны по локоть. Руки, лицо



густо усыпаны яркими веснушками — весна. Веселый, храбрый Ганс, на тонкой шее болтается «шмайссер», а у столба лежит ранец из телячьей кожи, загляни ненароком — все немецкое, до губной гармошки. Все продумано в разведке, но главная надежда на выдержку, хладнокровие, на характер. Даже через годы Фуат Мансурович словно чувствует, как предательски подрагивают ноги отчима, того и гляди «когти» сорвутся, как руки невольно тянутся к вмиг потяжелевшему «шмайссеру», но нельзя, и он долго-долго, сквозь холодный пот, улыбается и машет немцам, признавшим в нем своего...

Недели или даже десяти дней, как рассчитывал Бекиров, оказалось недостаточно, чтоб уладить дела, но, честно говоря, все эти дни Фуат Мансурович почти не вспоминал о путевке в Алушту. Напомнил ему об этом звонок жены, и Бекиров, чтоб не огорчать ее, сказал, что все уладилось и он послезавтра улетает к морю. А на самом деле на послезавтра он наметил поездку в Оренбург, и не потому, что хотел встретиться с городом студенческой юности, хотя поездка этим тоже была приятна; главное, нужно было внести в метрику отчима поправку в отчестве и уточнить для собеса дату рождения.

Юные девицы из собеса и довольно молодая дама, их начальница, ни заглядывать в справочники, подготовленные народным судьей Бекировой, ни выслушивать аргументы самого Бекирова не стали. И, как понял Бекиров, здесь вообще мало кого выслушивали, и любимой поговоркой, повторяемой много раз на дню, была: «Москва слезам не верит», хотя Бекиров и возразил, не сдержавшись, что Мартук далеко не Москва. Быстро оценив ситуацию, а главное, почувствовав непробиваемость стены равнодушия, потому как юные чиновницы надежно упрятались за букву закона, за какой то пункт его, зная, что в любом случае останутся правы, а пожалуешься — так отделаются выговором, который, по их же словам, им «до лампочки», Фуат Мансурович смирился и решил все же представить документы, где в отчестве вместо «в» будет «ф», а в метрике вместо пятого марта будет девятое. А что этот человек тридцать с лишним лет подряд ходил по соседней улице на родное предприятие, ревностных законниц нисколько не волновало.

Выехал Фуат Мансурович ранним утром поездом. Дорога и прежде была неблизкой, а стала еще длиннее: поезд до



Оренбурга теперь шел не пять, а шесть часов, явление при нынешних скоростях совсем уж необъяснимое. В вагон он проходить не стал, хотя места имелись и была возможность подремать еще часок-другой, да и молодая проводница настойчиво приглашала, но он так и остался в громыхающем безлюдном тамбуре. Протерев носовым платком давно не мытое окно (платок, естественно, пришлось выбросить), Фуат Мансурович вглядывался в набегающие станции, разъезды. Путь этот он одолевал многократно, когда то, как считалку, мог назвать он разъезд за разъездом, станцию за станцией от Мартука до Оренбурга и обратно. А вот теперь он узнавал только некоторые: Мартук, Яйсан, Акбулак, Сагарчин. Выпали, выветрились из памяти названия знакомых местечек, да и изменились они очень, выросли, одни названия и остались.

В тамбуре вспомнился вчерашний, казалось бы, незначительный случай.

Утром Минсафа-апа, достав все из того же сундука, где хранились ордена, с десятков облигаций сорок седьмого года, попросила Фуата Мансуровича проверить в сберкассе, может, и попали они под погашение, многие сейчас, мол, выигрывают. Часа два Бекиров провел в книжном магазине, где, на удивление, оказались нужные для него технические книги, справочники, ГОСТы, каталоги. Отобрав по несколько экземпляров для технического комбината и библиотеки треста, он вспомнил о наказе матери и заглянул в сберкассу, где, к своей радости, получил тридцать рублей. Родители, потеряв надежду, что сын вернется к обеду, уже сидели за самоваром, когда заявился улыбающийся Фуат Мансурович. Он тут же торжественно передал матери новенькие хрустящие десятирублевки. И странно: неожиданно свалившиеся деньги не вызвали восторга ни у матери, ни у отчима. Бекирова это настолько удивило, что он решил пошутить:

— Так разбогатели, что и тридцать рублей вам не деньги?..

Но шутка, он понял, оказалась неуместной, и Бекирову кусок в горло не шел за обедом, и даже теперь, в безлюдном тамбуре, он чувствовал, как краска стыда заливает лицо.

— Ах, сынок, — ответила, вздохнув, Минсафа-апа, — в сорок седьмом каждая эта сотенная бумажка была четвертой частью зарплаты отца...



И под грохот колес, поеживаясь от утренней прохлады, Фуат Мансурович вспоминал сорок седьмой год, тогда он учился в школе. В конце той зимы умерла бабушка Зейнаб-аби, мать отчима. Умерла тихо, незаметно, как и жила. По мусульманскому обычаю покойника предают земле в тот же день, хоронят, завернув в белую холстину. И дома, и у знакомых не нашлось не только метра новой ткани, но даже подходящей простыни — по бедности, по тяжелому времени можно было и этим обойтись. Материю в магазинах тогда продавали редко, да и то на паевые книжки, которых у них не было, а главное, денег в доме — ни копейки. Зима в тот год выдалась лютой, на один кизяк уходило почти ползарплаты Исмагиля-абы, а тут еще ежемесячно удерживали на заем. В тот день Фуат не пошел в школу и помнил все до мелочей. Мать уже и не знала, к кому идти заниматься, а отчим... разве он мог у кого чтонибудь попросить? Если только у Васютюка, так тот жил еще беднее.

Исмагиль-абы сначала сидел, нахмурившись, потом вдруг встал, торопливо оделся и, схватив стоявший тут же в доме бережно смазанный на зиму «диамант», главное украшение и гордость дома, единственный трофей с войны, исчез с ним в разгулявшемся буране. Через час он вернулся нагруженный свертками, в доме как раз ни щепотки чаю, ни кусочка сахара не было. Прихватил отчим и две бутылки водки, а оставшиеся деньги передал матери.

Помнит Фуат, как бежал он по бурану из дома в дом, извещая, что бабушка умерла. И потянулись в метель к заовражному кладбищу старики и молодежь. И что странно, несмотря на лютый холод, выкопали могилу быстро и легко. А мать только к обеду смогла найти двадцать метров дефицитной марли, в которой и схоронили Зейнаб-аби. Много лет спустя услышал Фуат Мансурович, как на каких то пышных похоронах кто то ехидно заметил: Исмагиль, герой-орденоносец, единственную мать в марле схоронил, на десять метров бязи не раскошелится. Но драться на этот раз отчим уже не стал, укатали сивку крутые горки, да и перегорела, улеглась боль. А «диамант», который Фуат с завистью и стыдом ожидал увидеть весной у когонибудь из ребят, так никогда больше и не появлялся в Мартуке, словно в воду канул.

Вышагивая из края в край тесного и узкого тамбура, Бекиров припомнил еще один случай, связанный с этой дорогой и отчимом. Тогда уже не было ни бабушки Зейнаб, ни голубого



«диаманта», и учился Фуат не то во втором, не то в третьем классе. По самой весне закрыли валяльный цех, или, как его еще называли, пимокатный. Отчим валял плотные войлочные кошмы. В степном и ветреном краю они незаменимы и пользовались большим спросом у казахов, заменяя ковры. Там же валял он и валенки, и легкие, изящные, из мериносовой шерсти белоснежные чесанки, в основном женские. Ремеслу этому он учился дольше всего. Непростое и нелегкое дело. Целый день находится пимокатчик в мельчайшей едкой пыли низкосортной шерсти, в шуме, грохоте, а главная трудность в том, что все руками, на ощупь делается, никаких тебе приборов, чтобы толщину, плотность измерить. Не чувствуют руки материала — значит, брак, а ОТК, глуховатый Шайхи, лютовал, ибо работы никакой не знал и не любил, на лютости лишь и держался. Но одолел Исмагиль-абы и это ремесло. И появились в ту зиму у Минсафы-апа чесанки — загляденье, а у Фуата — валенки, черные, мягкие, теплые.

Этот цех по какой то причине и закрыли. Многих тут же сократили, отчима, правда, оставили, но работы никакой не предложили. Не прозвучало на этот раз спасительное иляхинское: «Пойдешь учеником...» На работу Исмагиль-абы выходил, что то там делал, короче, был на глазах у начальства. В те дни и предложил Гимай-абы, мездровщик с кожзавода (заводом назывался маленький цех артели), отчиму варить мыло. Мездры, мол, и поганого жира с плохо снятых кож предостаточно, а достать каустическую соду и химикаты артели, мол, под силу.

Быть золотарем, или мыловаром, считалось в селе делом последним даже среди не имеющих работы, но отчим, молодой мужик, едва за тридцать перевалило, раздумывать не стал, согласился, хотя и знал, что ни на волейбольную площадку, ни в кино теперь не ходить, ведь разит от мыловара за квартал.

Запах мыла, пропитавший в тот год их дом, Фуат Мансурович помнил много лет, и от одного вида вязкого хозяйственного мыла ему делалось плохо. Жена знала об этом и никогда не держала на виду мыло и не затевала стирок при Бекирове.

С этой вот идеей производства мыла и зашел отчим к Иляхину. Разговор председателя был короток: сделай ящик мыла, которое в области можно показать, а остальное, мол, за ним, Иляхиным. Разрешил на свой страх и риск занять две



комнаты на кожзаводе, котлы дал, угля выделил, бочку соды не пожалел, все, что на складе для работы нужного оказалось, выписал, хотя и не положено было.

Мыло в Мартуке и до войны не варили, и подсказать-показать некому было. И Гимай-абы, подавший идею, тонкостей дела не знал, но посоветовал съездить в Оренбург, сказал, что мыло там татары варят, небось, не откажут в совете, на всякий случай дал адрес одного кожевенника.

В тот же день повеселевший Исмагиль-абы распрощался с домашними и отправился на вокзал. Тогда в Мартуке останавливались все скорые, паровозы здесь заправляли водой и чистили топки. На дворе уже стоял май, теплынь и благодать, и Исмагиль-абы с комфортом, греясь на солнышке, на крыше мягкого вагона быстро добрался до Оренбурга, только пришлось прыгать на ходу на Меновом дворе, потому что в железнодорожная милиция в городе вылавливала безбилетников.

Дела в Оренбурге отчим уладил быстро. «Видать, здорово приперла жизнь, коль такой молодой и удалой мыло варить решился», — сказал рябой и лысый старшина мыловаров. А узнав, что Исмагиль-абы фронтовик и земляк, секретов не утаил, все рассказал. И полмешка всяких химикатов дал на первое время, поверил на слово, что рассчитается в лучшие времена рыжий сержант в отставке.

Возвращался отчим таким же способом, как и приехал, только садиться на скорый поезд с пудовым мешком было непросто. Но не зря он воевал в разведке, к тому же мягкие вагоны тогда имели лестницы с глубокими подножками. На ходу закинул мешок на подножку одного вагона, а на подножку другого, спального, успел запрыгнуть сам, потом по крышам добрался до заветного мешка и, подняв его наверх, ехал, напевая и насвистывая, радуясь удаче.

В то время в Среднюю Азию на тепло тянуло немало шпаны. Ехали они таким же «плацкартом», как и отчим, по пути задерживаясь в городах и селениях, но конечной целью их был далекий хлебный Ташкент. Люди эти были отчаянные, и всякое рассказывали про странствующих уркаганов. Фуат видел их, и не раз, когда ходил на станцию к поездам за шлаком. Они лежали, отогреваясь в затишке дышавших теплом огромных отвалов шлака. Правда, его, малолетнего, не задирали, лишь



однажды попросили закурить. И вот компания таких удальцов села на крышу на какой то станции. Отчим заметил их не сразу. Только оглянувшись случайно, увидел, что как то поредело народу на крышах, а с Оренбурга, считай, на каждой по двое-трое ехало. Начав с хвоста поезда, компания, видимо, сгоняла, ссаживала людей, отобрав пожитки у тех, кто не сумел постоять за себя. Когда до него осталось вагона четыре, Исмагиль-абы решил пройти к голове поезда, к самому паровозу, где было совсем уж грязно от дыма и копоти трубы; удальцы обычно таких мест избегали. В худшем случае он намеревался спуститься и пройти в вагон, хотя риск нарваться на штраф был велик. Беспокоился отчим прежде всего за содержимое мешка, нового крепкого джутового мешка, одолженного у Гимая-абы на поездку в город. Удальцы скорее всего вытряхнули бы все, а мешок оставили себе как подстилку, — на жесткой и грязной крыше очень удобная штука.

Когда Исмагиль-абы поднялся и торопливо направился к голове поезда, то, оглянувшись, увидел, что, заметив его с мешком, за ним побежали. Не желая потерять добро, — до Мартука уже рукой было подать, — побежал с мешком и отчим. И вдруг с ужасом вспомнил, что сейчас, через сотни каких то метров, после крутой кривой — мост, длинный Каратугайский мост через реку Илек. Исмагиль-абы бросил мешок и, обернувшись к преследователям, замахал руками и истошно закричал: «Мост! Мост!.. Мост...» Едва он сам повалился на крышу, как состав, громыхая, застучал по мосту. Когда, миновав оба пролета, состав выскочил из под габаритов кружевных арок, Исмагиль-абы повернул голову и увидел, как поднимались те парни в клешах. Слегка побледневшие, они подошли к лежавшему Исмагилю-абы и предложили закурить.

— Что везешь, мужик? — спросил тот, что угостил «Казбеком».

— Золото, — ответил равнодушно Исмагиль.

В ответ дружно рассмеялись, разгоняя последнюю бледность с молодых лиц, и все тот же, видимо главарь, спросил:

— А на крыше, миллионщик, для экзотики катишь?

— Душно в спальном, — ответил отчим.

— А в мешок заглянем, любопытно все таки, за что враз чуть жизни молодой не лишились. А, в общем, ты, мужик, не





слабак: страх не затуманил мозги, вспомнил про мост. Спасибо, век помнить будем. — И они дружно протянули ему крепкие, в ссадинах и порезах руки.

— Ну и вонища! — брезгливо сморщился тот, что с головой сунулся в мешок.

И пришлось Исмагилю-абы рассказать, зачем он ездил в Оренбург, да и про свою жизнь в Мартуке тоже.

— Да брось ты все, провоняешь с этим мылом насквозь, да и денег не загребешь, поедем лучше с нами. Мужик ты ловкий, в Ташкенте какнибудь определимся, — предложил главарь.

Но Исмагиль, поблагодарив, отказался. Прямо на ходу один из компании спустился в ресторан и вернулся на крышу с водкой, вином и закусками, каких Исмагиль-абы давно уже не видел. Так, пируя на крыше ресторана, доехал он до Мартука. На прощание новоявленные «друзья» дали Исмагилю-абы буханку белого хлеба и красную довоенную тридцатку.

В Оренбурге Фуат Мансурович пробыл четыре дня. Архивы махалли Захид-хазрат, где родился Исмагиль-абы, частью пропали в гражданскую, когда на постое в квартале стояли дутовцы, а потом перевозились не раз из помещения в помещение; а немецкая пословица не зря гласит: «Два переезда равны одному пожару». Да что там давнее! Бекиров с трудом отыскал два письма Минсафы апа, что отправила она в архив три месяца назад, на которые не было ни ответа, ни привета. Но здесь уж Фуат Мансурович не только стучался в разные двери, но и стучал по столам в кабинетах.

Оренбург изменился здорово, с тех пор как открыли здесь газ, население удвоилось. В какой конец города ни заедешь, везде жилые массивы, одноликие, без фантазии, такие же, что в Ташкенте или Туле. Считаю, сошел на нет еще один старинный татарский город с неповторимым ликом, но зато появился новый индустриальный гигант. И любимый Бекировым Урал так обмелел, дальше некуда, а берега, прежде в буйной зелени лесов, вызывали жалость. И хотя у Фуата Мансуровича в этом городе прошла студенческая юность, уезжал он из ставшего уже чужим огромного светлого города без сожаления. Единственным утешением служили две добытые с большим трудом маленькие справки.

Отпускные дни таяли один за другим, но Фуат Мансурович не жалел об этом. От осознания выполненного долга, а больше



от приобщения вновь к своему корню, роду, еще от неясного ощущения близкого родства с этим краем, людьми, домом, рекой, всем окружавшим его в эти три недели, находился он в таком душевном покое, какого давно уже не знал.

Сдав документы в собес, Фуат Мансурович часто ездил на велосипеде или ходил пешком на Илек: загорал, купался, пытался рыбачить. Но даже на самых жирных червей и щедрую, обильную приманку ловилась мелочь, — вывели рыбу подчистую. Вечером он старался поспеть к приходу отчима, ибо привык уже к неторопливому ужину, беседе после трудового дня. Потом они вместе делали что нибудь по хозяйству, а позже, помогая друг другу, ставили самовар.

Из бумаг, отданных тетей Катей, из всплывших воспоминаний Бекиров знал, что отчим в артели шил кепки и шапки-ушанки, тачал сапоги и работал шорником, варил не только мыло, но и конфеты, одно лето он был механиком на поливных огородах, а еще мельником, даже полгода в начальниках ходил — подменял заболевшего кладовщика. Не работал он только на пилораме и в столярке да кольца бетонные для колодцев не лил. И, глядя на него, Бекиров думал: если бы в Мартуке действовала шахта — отчим бы был шахтером, дымили бы трубы заводов — стал бы рабочим. Отчим и сам не раз жалел, что в их краю ни завода, ни большой фабрики не было — его сметке и умелым рукам нашлось бы дело.

На реке Бекиров часто подолгу думал о жизни отчима. Не была она устлана розами, но никогда, даже в дни отчаяния, Исмагиль-абы никого не ругал, а уж имел право, наверное, сказать: «За что воевали?» Но не говорил он таких слов ни трезвым, ни во хмелю. Раньше, возвращаясь то из Ялты, то из Сочи, Фуат Мансурович заезжал на денек-другой к старикам. Те, конечно, интересовались, как там в этих городах, которые они видели на открытках, да еще, может быть, в кино. Но никогда ни мать, ни отчим не говорили, что вот всю жизнь проработали, а так ничего и не повидали.

Вспомнилось ему это потому, что в расчетах пенсии двадцать один раз встречалась графа «компенсация за неиспользованный отпуск». Поначалу смысл этих часто встречающихся строк не дошел до Фуата Мансуровича, пока его не пронзило — двадцать один год без отпуска! Он хотел кинуться к матери



и спросить, как же так? Но сам же остановил себя: зачем возвращать мать к грустным дням... Взволнованный этим открытием, он несколько раз пересмотрел бумаги, но они бесстрастно подтверждали: все точно — двадцать один год. Фуату Мансуровичу вспомнилось, как часто здесь, у родителей, за самоваром говорил он, как, мол, устал, заработался, второй год без отпуска, в общем, многое в этом духе, а они, добрые, милые старики, ни разу не сказали ему ничего обидного, не укорили своей жизнью, а лишь сочувствовали.

«Какое пижонство! Какое глупое пижонство! И перед кем? Перед собственными родителями!» — со стыдом думал сейчас Бекиров. И от своих стариков мыслью невольно переносился в Ташкент: наверное, и в его десятитысячном коллективе достойных, похожих на Исмагиля-абы, немало. Знал ли он их, интересовался ли, как они уходят на пенсию, не маются ли, не ходят ли с обидой, как отчим? Нет, этого Фуат Мансурович не знал. А бывали они в Сочи, Ялте? Не помнит случая, чтоб интересовался и этим, хотя путевок, знает, маловато. Да что Ялта — в пансионат строителей на Иссык-Куле в летний сезон и то не пробиться. С этим пансионатом и в республиканскую печать попали — едкий был фельетон: при проверке оказалось, что на киргизском море в разгар сезона среди отдохавших было всего двадцать процентов строителей, а остальные — нужные люди со стороны. Да и там, где отдыхал сам Бекиров, хоть зимой, хоть летом, треть всегда составляли студенты, и дня не проработавшие, а уж объездившие и Крым и Кавказ; и просто молодежь, которая могла бы повременить с отдыхом, не слишком еще притомилась.

По вечерам иногда приезжал он на речку еще раз — верхом на лошади. Сын соседа Мустафы-ага Мукаш работал в колхозе бригадиром и, как истинный казах, любил лошадей, даже собственного скакуна для байги имел. На областной байге чабаны предлагали за вороного Каракоза на выбор «жигули», что стояли тут же, у ворот ипподрома. Но Мукаш даже не глядел с высоты скакуна на лаково-цветной ряд. Мустафа-ага и давал Фуату выезжать по вечерам Каракоза, потому что началась уборка, и Мукаш дневал и ночевал в поле — не до коня было.

Перед самым отъездом Фуата Мансуровича Мукаш принес печальную весть о Мустафе-ага. Мать доила корову, а Фуат,



рано проснувшийся, вызвался выгнать ее в стадо, хотел в последние дни хоть чем то помочь.

— Умер отец, умер Мустафа-ага, — сказал неожиданно объявившийся во дворе Мукаш. Осунулся, почернел, неся из двора во двор печальную весть, этот красавец, весельчак и первый джигит.

Мать пошла будить отчима, а когда Фуат Мансурович вернулся, уведя Зорьку на выгон, Исмагиль-абы правил во дворе лопаты, штыковую и грабарку, тут же рядом на земле лежал лом. Пойти копать могилу Мустафе-ага вызвался и Фуат Мансурович.

— Иди, иди, сынок, — сказала Минсафа-апа и тут же вынесла из дома рублей двадцать денег, трешками и рублями. — Иди, посмотришь на последних наших стариков, ты должен их помнить. Отца твоего ровесники они. Когда еще приедешь сюда... Попрощайся с аксакалами... А деньги, деньги раздай, когда они молиться будут, обычай такой, пусть помолятся за Мустафу-агая, мир праху его, добрый человек, хороший сосед был...

Из переулков, улиц тянулись люди с лопатами к заовражному кладбищу. Кто то из седобородых уже определил последнее место Мустафы-ага на земле, и теперь, прежде чем начать рыть могилу, поджидали стариков, совершавших утренний намаз. Да ждали еще муллу, бывшего шофера, пенсионера Зияутдина-бабая. Как бы ни жил, кем бы ни был человек, хоронить его надо тихо, покойно, без суеты, а медь, оркестры, речи менее всего подходят к такому случаю, единодушно считали аксакалы Мартука.

Вряд ли истово верили в бога собравшиеся здесь старики, вчерашние поденщики, разнорабочие, гуртоправы, месяцами перегонявшие стада на далекие мясокомбинаты Семипалатинска. Да и «мулла» Зияутдин едва ли знал более одной-двух молитв, которые, наверное, вызубрил, когда общество возложило на него, единственного грамотного старика, столь важную миссию.

Могилу копали молодые парни и мужчины, работали быстро, часто менялись, людей то собралось много. Только в самом начале, когда не ушла могила выше колена, старики символически, самой легкой лопатой, выкинули по одной грабарке. Даже Фуату Мансуровичу, хотя он и не отходил от



ямы, немного досталось покопать. Исмагиль абы не стал дожидаться молитвы у свежерытой могилы, а, наказав Фуату Мансуровичу прихватить инструмент, потихоньку направился домой, на работу идти время подходило. Бекиров был до конца; даже когда опускали тело Мустафы-ага, принял его с Мукашем внизу и укладывал на специальной доске в боковую нишу.

Когда все разошлись, Бекиров еще задержался на мазаре. Мусульманские кладбища ухоженностью не отличаются, и нет здесь особого культа умершего, столь обременительного для оставшихся родственников. Крашенные железные оградки, а то и просто «таш» — бетонная глыба, что безвозмездно ставил каждому мудрый и справедливый мясник Барый-абы Шакиров, пока был жив. Кладбище без цветов, без привычной могильной яркости зелени, поросло серой полынью и колючим татарником. Бекиров осматривал надгробные камни, припоминал знакомые фамилии, и иногда и лица этих людей. Когда он уже шел к выходу, взгляд его упал на покосившийся камень, и он решил поправить его; может, и некому в целом свете вернуться к этой могиле.

Установив довольно тяжелый камень как полагается и поправив холмик, он с трудом прочитал на выкрошившемся бетоне: «Кашаф Валиев. 1923—1949 гг.», а чуть ниже с трудом разобрал надпись: «Онытмагыз безне» ... Из тридцатилетней давности обращался к нему двадцатилетний парень: «Не забывайте нас...» Не забывайте нас...

Кашаф Валиев... Кашаф... Бекиров без труда вспомнил его, ведь он бывал у них дома, один из парней, вернувшихся с войны. Не дожил, много не дожил до хорошей жизни Кашаф, а значит, из тех парней, ушедших на войну, считай, остались трое: отчим, Васятюк и потерявший на войне руку бухгалтер райпотребсоюза Ахметжанов. «Не забывайте нас... не забывайте нас...» — словно сквозь время кричал печальноглазый Кашаф.

По вечерам Бекиров с отчимом сидели на айване, который на узбекский манер смастерил Фуат Мансурович, чем удивил Исмагиля абы и обрадовал Минсафу-апа. Отчим, хотя и крепился, на работе очень уставал; не шутка для старика — целый день на ногах. Айван оказался кстати; положив под локоть подушку, отчим по восточному полулежал, покуривая неизменные



дешевые сигареты «Прима». Курил он их по старомодному, пользуясь мундштуком, да и сигареты держал в побитом эмалевом довоенном портсигаре. В такие минуты Фуат Мансурович иногда ощущал в себе прилив какого то нового чувства к этому человеку, хотелось подойти и сказать или сделать что нибудь приятное ему.

Никогда раньше Бекиров не понимал, не задумывался, как гордо, по мужски, не унижаясь, не расплескав на долгой и трудной ухабистой дороге жизни достоинства, прожил свои годы Исмагиль-абы. Не унижал и не позволял, насколько мог, унижать достоинство других.

В этот приезд мать рассказала про отчима случай, который произошел лет пятнадцать назад. В тот далекий год совсем худо было с сеном, не то чтобы засуха, а просто колхоз сам не накопил: некому было и нечем, да и другим, желающим накопить под процент, не велено было, и сено в цене подскочило — просто ужас. Кто помоложе да с транспортом, из других районов и областей завозили. Тогда кто то и надоумил Минсафу-апа написать в военкомат, в те годы как раз начали вроде фронтовикам больше внимания уделять. Написала мать, так то и так, помогите, мол, фронтовику, орденосцу, человеку преклонных лет и слабого здоровья. Конечно, ни слова об этом Исмагилю-абы сказано не было. Его ответ: «Я воевал не за то, чтобы задаром сено получать» — Минсафа-апа знала заранее. Прошло несколько дней, и как то к вечеру к ним зашел средних лет капитан, новый работник военкомата. Конечно, тут же самовар на стол. Капитан был любезен, расспрашивал отчима обо всем, и о наградах тоже. Исмагиль-абы воспрянул духом, повеселел, орлом глянул на Минсафу-апа: через много лет вспомнили, интересуются. Спросил гость и о корове, и о сене. Старики, ободренные вниманием, вдвоем выложили свои тревоги и насчет коровки; где ж им триста пятьдесят рублей на машину сена добыть. Тут любезный капитан и предложил: хотите, мы, мол, прижмем, пристыдим через военкомат предприятие вашего сына в Ташкенте, пусть поможет старикам с сеном. Секунды хватило, чтобы отчим понял, чем был вызван визит щеголеватого капитана. Хотя он всю жизнь с почтением относился к властям и умел держать себя в руках, а тут не выдержал и показал оторопевшему капитану на дверь. Даже



попить чаю не дал, отобрал пиалу из рук. А уж Минсафе-апа досталось, до сих пор вздрагивает; потому и с пенсией такую осторожную политику ведет.

Уезжать, не узнав окончательного результата хлопот насчет пенсии, Бекиров не хотел и уже собирался дать телеграмму на работу, что задержится дня на два-три, но в тот же день к обеду Исмагиль абы вернулся радостный и возбужденный. За столом он спросил у матери, показывая на холодильник, есть ли, мол, чтонибудь эдакое. Минсафа-апа сначала и не поняла, отчим никогда не пил в рабочее время. Достав все ту же початую бутылку пшеничной, оставшуюся с банного дня, мать не преминула напомнить отцу об этом.

— Все, отработался, шабаш! — озорно улыбнулся Исмагиль абы, разливая остатки по рюмкам. И тут же рассказал, что перед самым обедом вызвали его в отдел кадров и объявили, что пенсия ему определена, и будет он получать ее второго числа каждого месяца, значит, уже через неделю. — Семьдесят два рубля, мать, семьдесят два рубля! — радовался отец. — Переплюнул я все таки Шайхи, у него только шестьдесят восемь... а семьдесят два, мать, с твоими то нам хватит, нам много не нужно, верно я говорю?

После обеда, все в том же приподнятом состоянии духа, Исмагиль-абы отправился на работу, чтобы закончить последнее одеяло и сдать числящийся за ним инвентарь и инструмент. Признался все таки старик, что чертовски устал и очень рад пенсии. Фуат Мансурович, подмигнув матери, ушел к себе укладывать чемодан и упаковывать книги — решил ехать в Ташкент утренним почтовым поездом. А Минсафа-апа поспешила к соседке, звать на помощь, договорились вечером гостей пригласить: и пенсию долгожданную отпраздновать, и заодно проводы сына отметить.

Тщательно укладывая книги в коробку из под болгарского вина, выпрошенную в сельмаге, Фуат Мансурович вдруг задумался, почему отчим в такой важный для себя день вспомнил Шайхи и сравнил пенсии. Бекиров, конечно, знал, что у Исмагиля-абы с Шайхи давно шла скрытая борьба, борьба неравная, потому что на разных ступенях общественного положения стояли они. Шайхи с таким же начальным образованием, как и отчим, но с партбилетом в кармане, умудрился



и фронта в войну избежать со своим дружкой Мухаметзяном Шакировым, и всю жизнь проходить в начальниках. Всегда он оценивал, инспектировал, курировал, принимал работу отчима, так сложилась жизнь. Шайхи, человек недалекий, ничего в жизни не умевший, люто завидовал золотым рукам и светлой голове рыжего Исмагиля; ждал, что вот-вот сникнет от круговерти жизни Исмагиль, устанет ходить в учениках с седой головой и запьет, а тут ему и под зад коленкой, как прогульщику и пьянице, можно будет дать, — и такую комиссию возглавлял глуховатый малограмотный Шайхи. Ан нет, держался солдат, не просил ни милости, ни снисхождения. А сколько сотен кепок, сколько десятков пар валенок отметил он Исмагилю-абы третьим сортом, а то и браком, думал, что придет, приползет на коленях Исмагиль и попросит — смилуйся, мол, Шайхи, пожалей; нет, не пришел. А сколько пар валенок, тапочек, сколько кепок и шапок, вроде как взятых на экспертную комиссию, недосчитался отчим, хотя, как истинный мастер, узнавал свою «бракованную» продукцию на ногах и на головах домочадцев, родни и дружков Шайхи. Никогда отчим не крикнул ему в лицо «вор», ибо время было такое: людям, подобным Шайхи, рискованно было бросать такое даже вслед. Но Шайхи то всегда читал в усталых, покрасневших от пыли и бессонного труда глазах Исмагиля: «Ничтожество, мерзавец, неуч, вор», потому и лютовал пуще.

Только однажды в долгой и неравной борьбе Исмагиль праздновал победу, хоть и обошедшуюся, что называется, себе дороже. Работал отчим тогда на мельнице, или, точнее сказать, на крупорушке. Была такая малосильная установка рядом с кожзаводом. Мололи для колхоза, мололи и «давальческое», то есть частникам. А частник того времени приходил на мельницу с пудом-другим, а уж с целым мешком зерна не часто. За помол брали определенный процент.

Пришел как то на мельницу и Шайхи со своими старшими сыновьями, Акрамом и Мухарамом, лет через десять одного из них убьют в Караганде, наверное, как и отец, тот хапал и хамел чрезмерно. Разумеется, ни «здравствуйте», ни «салам-алейкум», как порядочные люди говорят, никому не соизволил бросить, а на длинную очередь — дело перед Новым годом было — даже не глянул. Каждый пришедший свою пшеницу





ссыпал в бункер сам и сам из ларя выбирал деревянным совком теплую муку в мешок. А отчим следил за тонкостью помола, сбавляя или, наоборот, прибавляя ход жерновом, квитанции выписывал и процент за помол в государственный ларь ссыпал.

Шайхи, едва кончился чей то очередной скудный помол, молча отпихнул очередника-казаха брюхом, и сыновья его ссыпали в бункер тяжеленный мешок. Отчим, выписывавший очередную квитанцию, конечно, все это видел. Ни взвешивать свой мешок, ни оформлять квитанцию Шайхи не стал. И платить за помол, как все, конечно, не думал. Мука сразу пошла хорошо, и помол был что надо, Шайхи даже улыбнулся. Сыновья держали мешок, а продолжавший улыбаться Шайхи торопливо сгребал совком.

Исмагиль-абы сидел, закипая от бессилия и стыдясь за себя и за людей, испытывающих унижение, и только маска из мучной пыли, словно у Арлекина, прятала горевшее огнем лицо. Неожиданно он потихоньку отошел от стола, взвесил чей то мешок и поднялся наверх. Что то там посмотрел, наверное, поправил и вернулся за стол. Мука шла ровно, густо. Вдруг раздался треск, шум, бункер враз ссыпал на жернова остатки мешка, и уже вместо муки повалила ведрами какая то мешанина, годная разве что на корм скоту.

Что тут было! Шайхи, до этого не сказавший ни слова, извергал потоки ругани и угроз и требовал возместить ущерб. Отчим соглашался держать ответ, только просил показать квитанцию, сколько и чего нужно возместить. Впервые ушел Шайхи несолоно хлебавши и долго помнил отчиму этот мешок пшеницы, а тому пришлось самому, за свой счет, весь Новый год чинить установку.

Фуат Мансурович думал, что все это было давно и за давностью лет былем поросло. Оказывается, нет, борьба Исмагиля-абы не прекращалась, и, кто знает, может быть, этой фразой насчет пенсии отчим передавал ему эстафету. Ведь сам же Фуат Мансурович недавно за столом рассказывал услышанное от друзей, что Ибрай, сын Шайхи, в бытность здесь секретарем райкома комсомола обобрал сельские библиотеки всего района, почистил в целинных совхозах и колхозах и даже до дальних казахских аулов добрался, «просветитель».

Утром, по прохладе, все вместе, втроем отправились на вокзал. Едва вышли из калитки, по Украинской пронеслась



яркая цепочка велосипедистов, на миг ослепив их хромом и разноцветным лаком гоночных итальянских «фerrари», напоследок еще раз напомнив Бекирову о голубом «диаманте».

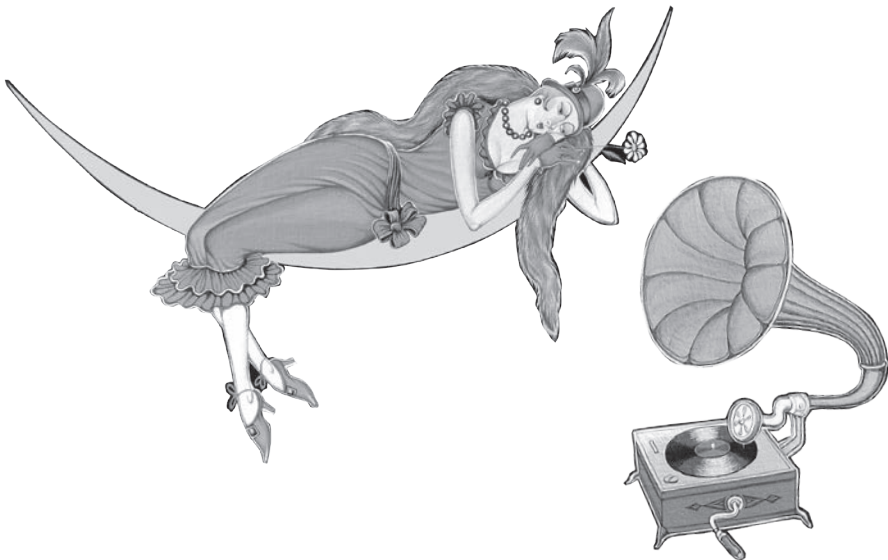
Поезд подошел скоро, и поскольку стоянка была всего трехминутной, Фуата Мансуровича быстро и суетливо определили в вагон. Он стоял один в тамбуре с распахнутой дверью и смотрел на своих стариков. Мать рядом с отчимом казалась высокой, крепкой и еще молодой, а он, в ярком мальчишковом свитере, с седым бобриком волос, выглядел таким беззащитным, что у Фуата Мансуровича перехватило горло.

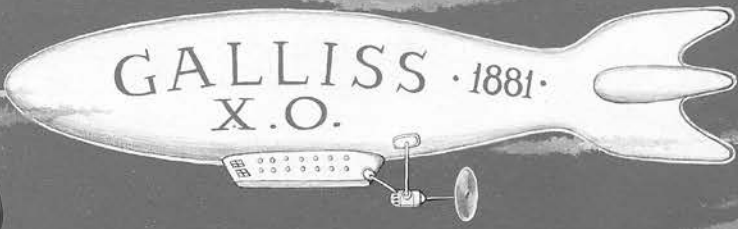
Уже по старинке отбил отправление станционный колокол Мартука, а поезд почему то не трогался. И вдруг из глухого, заброшенного станционного сада за спиной Исмагиля-абы Бекирову послышался голос печального Кашафа: «Не забывайте нас... не забывайте нас...»

Тепловоз неожиданно мощно рванул, и состав тут же набрал ход. Фуат Мансурович, ухватившись за поручни, высунулся и сквозь нарастающий грохот колес вдруг отчаянно, словно видел в последний раз, закричал:

— Отец!.. Отец!

*Ялта, август 1978*







## Чти отца своего

Повесть

Часть I

«**К**акая раньше была у них сирень!» — с сожалением думал Исламов, оглядывая темнеющий в сумерках сад. Крепкий высокий забор из отборной половой доски, стянутый по краям кованой металлической полосой, не вызывал желания подойти поближе. Того и гляди раздастся грозный окрик: «Чего надо?» или кинется на забор, гремя цепью, огромная собака.

А в сад заглянуть ему очень хотелось. Когда-то давно крупкая сероглазая девочка, жившая здесь, сказала с неожиданной для ее возраста тоской: «Как рано светает в мае»... И, виновато улыбаясь за понятное только ей одной, смахнула горячей ладонью набежавшую слезу. Наверное, что-то грустное привиделось ей сквозь время, она отвернула от него взволнованное лицо и вдруг добавила: «Я наломаю тебе букет, и пусть сирень напоминает обо мне. Сегодня воскресенье, мы не увидимся целый долгий-долгий день, — в мае так поздно темнеет...»

Счастливым, он не понял ее неожиданной печали...

Милая, славная Наталья, что напророчила, то напророчила. Сирень напоминает о тебе всегда, да жаль, в тех краях, где его носило, редкая она гостья, да и отцветают кусты — не успеешь оглянуться.

И дом, и забор были отстроены заново, не только просторно и добротнo, но и с некоторым шиком — в архитектуре сквозило



что-то нездешнее, местные так не строили. Взять тот же забор... У всех — крашенные масляной краской, а этот после морилки крыт лаком, — красивее, да и подновлять ежегодно гораздо проще.

«Растет ли по-прежнему сирень?..» — мучил его вопрос. Хаотично разросшаяся, заполнявшая при прежних хозяевах даже огороды сирень вряд ли могла понравиться новому, видимо, крепкой хватки хозяину.

Постучать? Спросить? Но о чем? Что Наталья живет в иных краях, он знал. Ее родителям отгрохать такое и не по возрасту, и не по средствам.

Ее отец, единственный по тем давним годам музыкант в поселке, казалось, жил лишь от свадьбы до свадьбы, от праздника до праздника. Уж на гулянках он был орел, молодец на глазах, и плакать, и смеяться заставлял его трофейный аккордеон, — не одно поколение Озерного выросло под его музыку.

Да, поколения... Сменяют они друг друга... Кто сейчас помнит его, Гяза Исламова, в Озерном? Разлетелись по свету друзья-подруги, с неокрепшими крыльями кинулись кто куда. Одной газетной строчки было достаточно тогда, чтобы помянуть в иные края, — а они все так спешили повзрослеть, успеть на большие стройки. Родное Озерное даже рядовой работой в те годы могло обеспечить не всех — ни завода тебе, ни фабрики, а главное, казалось им тогда, что там, куда они приедут, совсем иная, ничуть не похожая на их поселковую, жизнь.

А помнит ли он сам друзей, односельчан? Не многих. Как-то выпали, выветрились из памяти их имена и лица, да и развела, разбросала их жизнь далеко.

Раньше, когда Гяз был много моложе, приезжая домой, ходил на речку, на танцы. В маленьких поселках на танцы в парк, особенно летом, ходят даже семейные, и к возрасту столь критически, как в городе, не относятся. А теперь, когда тебе уже за сорок, — и тебя признать сложно, и ты никого не узнаешь, — сколько ни ходи по центральной улице Озерного, мало кто тебе обрадуется, как прежде. Да что там обрадуется, в иной раз за день «здравствуй» не услышишь.

Разве вдруг какая-нибудь грузная женщина с тяжелой авоськой окинет тебя долгим и внимательным взглядом, и ты потом весь вечер мучаешься: «Кто такая?» А если вдруг вспомнишь, то



невольно ахнешь: что стало с ней, бывлой озорницей и певуньей?! И обязательно глянешь в старое домашнее зеркало, которое помнит тебя молодым, и сам себя постараешься приободрить успокаивающе: «Еще не вечер».

Вроде особых причин для тревоги и не было, но вот тоска гложет его уже неделю, и мать замечала это, когда он возвращался домой. Наверное, и сегодня приметит — материнское сердце не обманешь. Но пока не спрашивала ни о чем, наверное, видела — светла его печаль, понимала, что не мешает иногда и погрузить сыну; там, в огромном городе, может, и дух перевести некогда, не то чтобы дни юности своей в памяти перебирать дотошно.

Мать, словно специально дожидалась, встретила его у калитки.

— Мама, помнишь, какая была сирень у Козыревских? — спросил Гияз, мыслями находясь в том далеком майском дне.

— Как не помнить, сынок, помню. Ведь и у нас во дворе растет сирень. Неужели не заметил? Наталья после смерти родителей приехала продать старый дом, тогда она и принесла нам несколько саженцев, сказала, если примутся, будет память о ней.

— Все принялись? — спросил нетерпеливо Исламов.

— На удивление. Теперь уже другие берут у меня саженцы, и когда спрашивают, как называется сорт, я говорю: «Наталья». Сперва вроде бы в шутку сказала, а теперь рада, что так получилось. Да кроме «Натальи» другая сирень у нас Озерном и не приживается.

— Значит, Наталья память о себе оставила, — не то сказал, не то спросил Гияз.

Но мать ничего не ответила, только глянула в темноту, в сторону отцветших кустов сирени.

После долгого, до звезд, ужина во дворе Гияз ушел к себе в комнату.

Дом, как и у многих в Озерном, у Исламовых был отстроен заново. Последние лет двадцать в селе все годы выдались урожайными, чему немало завидовали соседние районы. А его отец, Нури-абы, слыл первым комбайнером не только в районе, но и в области. В самый урожайный год его портрет в жатву напечатали в центральной газете в рубрике «Передовики России».



А осенью на ВДНХ премировали отца именной «Волгой». Но машина для их семьи была не в диковинку. С тех пор, как Гияз помнил себя, у них во дворе всегда стояла какая-нибудь полуразвалившаяся «эмка» или «победа», а то и трофейный «мерседес». Отец в этих краях был и механиком известным, к нему даже из города приезжали за помощью и советом. На таких, как отец, можно сказать, держалась вся техника Озерного. Может, оттого здесь вовремя пахали и вовремя убирали, и слыло их Озерное в округе удачливым на урожай.

Поработал с отцом на комбайне и Гияз, да не одно лето, — считай, с пятого класса стоял уже за штурвалом, ел свой заработанный хлеб. В студенческие годы, хоть и учился далеко, в Омске, когда на каникулах многие уезжали на хлебоуборку в Казахстан, на целину, Исламов отправлялся домой, потому что местный райком комсомола присылал в институт приглашение Исламову-младшему.

Отец уговаривал его: возвращайся после окончания института домой или куда поближе, для строителя в Оренбурге работа найдется. Но Гияз под различными предложениями отказывался, потому что в годы его молодости рвались не под отцовское крыло, а, наоборот, уезжали подальше: и свет повидать, и себя показать.

Отца он уважал. Да и как не уважать: войну прошел «от и до» и на Рейхстаге за всех Исламовых четырежды расписался, потому что полегли на фронте трое младших братьев Нури-абы. Да и в мирное время не однажды отмечали орденами труд Исламова-старшего. И хоть был он беспартийным и не мог похвалиться большой грамотой, однако много лет подряд избирался депутатом областного совета, чем гордился, пожалуй, больше всего.

В доме Исламовых и к труду, и к орденам привыкли, и потому, наверное, давно, еще школьником, Гияз определил для себя по-мальчишески наивно некую точку отсчета своей взрослой жизни: заработать первый трудовой орден в тридцать лет.

Надо же, напридумывал — орден в тридцать лет! — усмехнулся Гияз, вспомнив о былом. — Такое удалось из моих однокурсников только Силкину.

Вошла мать, присела рядом на диван.

— Я не помешала тебе, сынок?



— Нет, конечно. Посиди со мной, мама.

— Когда ты приезжал на похороны отца, мне и поговорить с тобой толком не удалось. Я и себя не помню в те дни, не знаю, как и пережила... Но сердце и за тебя болело, какой-то ты был неухоженный, озабоченный. Неважные, видно, были у тебя дела в Ташкенте в первые годы. Ты ведь и письма писать перестал, как бывало прежде, все звонками да поздравительными телеграммами отделяешься.

Слава богу, теперь, кажется, все иначе. Сестры вон говорят, особенно младшая, — она ведь у нас первая модница в Озерном, — мол, наконец-то столица обтесала нашего братца: такой модник стал, костюмы, рубашки с иголки...

Фарида с Халияром, когда ты ушел, весь гардероб твой перемерили. Охали да ахали: «Фирма! Настоящая фирма!» Спрашиваю, что за штука такая — фирма, а они смеются, говорят: тебе, мама, не понять, старая уже. Вот Гияз наш, мол, соображает по этой части, все по высшему разряду. Но мне-то все равно, есть эта фирма у тебя или нет, лишь бы здоров да весел был. Но приятно, что дети о тебе так хорошо говорят, ведь они вообще мало кого признают, какая-то иная цена людям пошла...

Вот об этом хотела сказать тебе, сынок. Спасибо, обрадовал ты мое сердце своим приездом. Из тебя, как из отца твоего, не больно что вытянешь, не слишком вы разговорчивые. Ну, да ладно, лезть в душу не стану. Захочешь — сам расскажешь, а то я совсем ничего не знаю о твоей жизни в Ташкенте — И, поднявшись с дивана, показала на перевязанный шпагатом сверток: — Когда переезжали в этот дом, собрала твои старые бумаги, фотографии, письма. Тогда, на похоронах, было не до этого, а сейчас возьми, посмотри, может, что и сгодится...

Когда мать ушла, Гияз оглядел просторную комнату. Дом строился продуманно, с размахом: и вода в доме, хоть холодная, хоть горячая, и собственное паровое отопление на солярке. Отопление было хитрое, не совсем понятное даже Гиязу, инженеру. Отец на такие штучки-дрючки, как он любил выражаться, был мастак. Дом был построен в двух уровнях, и чтобы поднять здание в полтора этажа, Нури-абы пришлось завезти немало земли под основание, чем подивил он не только соседей, но и все Озерное. Но Исламов-старший только усмехался в усы





и говорил: потерпите, увидите, дом будет что надо. Прошагав пешком пол-Европы, как крестьянин и как хозяин не мог он не заметить много разумного и полезного в укладе чужой жизни. И как только появилась возможность, первый достаток, начал он строиться, ибо был убежден: хорошо и основательно в спешке не делается ни одно дело. Из отстроившихся по-соседству, пожалуй, лишь у Исламовых двор был просторным, ухоженным, не загроможденным постройками — баней, сараями, сараюшками, столь привычными для сельского уклада. Все подсобные помещения вместе с бетонированным подвалом, куда Нури-абы по старинке завозил по весне лед с реки, — целую машину хрустальных, просвечивавших насквозь, аккуратно напиленных кубов, — все находилось в цокольном этаже здания. В нынешний приезд Гияз заново знакомился с домом, потому что два года назад пробыл здесь всего три дня. Да и до того ли тогда было? Все мысли были — об отце. Отца он любил и, только потеряв его, с сожалением понял, как мало общался с ним в своей взрослой жизни. Да что там общался — все отдалялся и отдалялся. И сейчас, восхищаясь домом от души, Гияз вовсе не приценивался к нему в качестве наследника, как показалось одной из сестер. Нет, никаких мыслей о наследстве у него не было, и сердцем и умом понимал — для отчего дома он отрезанный ломоть, и ни на что здесь не имеет права. Разве только иногда приехать в этот дом, пожить отпускной месяц в комнате с окнами в сад, которая была задумана и построена отцом как комната для сына.

Да и где было понять сестре, что, восхищаясь домом и не скрывая этого, он восхищается отцом, его сметкой, жизнестойкостью, золотыми руками и словно запоздало общается с ним. Сам находясь уже в том возрасте, когда думают не только о себе, но и о своем поколении, о том, что оно оставит после себя, Гияз сравнивал себя с отцом, с его поколением. И каждый раз убежденно говорил: да, крепкое поколение. И нам, живущим рядом с этими уходящими на скромные пенсии людьми, надо бы почаще задумываться над этим и воздавать им должное, пока не поздно.

Говорят, мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Как это много и как мало: поколение отца не только прошло войну и подняло страну из разрухи. Оно



воспитало и поставило на ноги детей, а годы были, не приведи Господь...

Нури-абы вырастил не только сына, но и трех дочерей, и всех поставил на ноги. Гиязу дал высшее образование, дочерей замуж выдал. Не удалось только Нури-абы на свадьбе сына погулять, о чем он, не скрывая, сожалел.

И дом ставил отец не на зависть людям, и не потому, что хотел выделиться, а потому, что был убежден: вернется сын — и заживут они все вместе. Первым в любом деле трудно, — и сколько же насмешек пришлось выслушать отцу, пока строил дом. А теперь вот, рассказывала мать, когда начинает кто-то строиться, идет к ним поглядеть, а иные и планчик набрасают... Да и в колхозе после отца уже не один механик с дипломом сменился, а люди при случае все вспоминают: «А вот при Исламове...» И, конечно, поминают добром... Вот хотя бы и дерево...

Сад у Исламовых был как сад, не хуже, чем у других. А в степном ветреном краю вырастить сад дело не простое. За всю жизнь Нури-абы три раза ездил на курорт, и всегда в Цхалтубо. Правда, и путевок Исламову-старшему на выбор никто не предлагал, да и не был Нури-абы привередой, вот и побывал в Цхалтубо трижды с интервалом в пять лет. И, возвращаясь из дальних краев, обязательно привозил диковинные саженцы. Жаль, что мало прижилось в Озерном, краю суровом в сравнении с экзотическими субтропиками. Но голубая ель, за которой ухаживали всем домом, как за маленьким ребенком, прижилась.

И по сей день росла во дворе Исламовых эта красавица-ель, которую наряжали на Новый год на радость всей соседской детворе.

Сколько бы ни сопоставлял Гияз свою жизнь с отцовской, сравнение было не в его пользу. А ведь не за горами время, когда придется подводить итоги, и не поможет уже спасительная формула — все еще впереди, успеется. Часто стала тревожить другая мысль: не опоздал ли?

В тесной Европе заросли, потерялись во времени и, наверное, давно распаханы могилы братьев из рода Исламовых, и нет уже отца, остался сейчас из Исламовых ты один! Где воздвигнутый тобой дом? Тобой посаженная ель? Будь отец жив,



наверное, не вытерпел бы, спросил: как ты живешь, сынок? Почему нет в тебе гордости за свой род? Что оставишь после себя? Конечно, мы не графы, не князья и не дворяне, чьи родословные раньше изучались на протяжении веков, но ведь род наш дал тебе жизнь, нарек именем и наделил памятью. И жизнь человеку дана для поддержания жизни на земле, для продолжения рода своего. Да, отец бы спросил... А что ответить?..

Такие ранившие душу мысли одолевали в ту ночь Исламова, и, засыпая, он думал: «Успел отец и след на земле, и память в сердцах людских оставить. А я?»

Проснулся он поздно с непонятным беспокойством. Подошел к распахнутому в сад окну. Приятная утренняя свежесть улетучилась, хотя солнце поднялось не так уж высоко: видимо, день предстоял жаркий. Дома, в Ташкенте, он по утрам пробегал несколько кругов вместо зарядки. Но здесь, хоть было время и желание, как-то не решался. Взрослый человек, бегающий с утра в спортивном костюме по улице, мог вызвать в Озерном только одну мысль: «С жиру да от безделья человек бесится». Это и останавливало.

В летней дощатой душевой, где с вечера предусмотрительно был залит полный бак воды, Гияз принял душ, и утреннее беспокойство, как легкое июльское облачко, пропало.

Во дворе, дожидаясь его, стоял самовар, — видимо, уже давно, потому что труба лежала рядом, но самовар, заправленный углем, потихоньку кипел. Гияз вспомнил, как любил в детстве сваренные в этом старом медном самоваре яйца всмятку, казалось, у них был какой-то особенный вкус.

— Доброе утро, сынок. У меня завтрак готов. Только давай передвинем стол под яблоню, больно уж солнце сегодня припекает.

За завтраком он спросил у матери, кем работает Халияр. Мать, словно отмежевываясь от чего-то недостойного, махнула в сердцах рукой:

— А, жакяй!

Гиязу стало понятно, что подробнее расспрашивать не имеет смысла. Хотя он совершенно не понял, чем занимается муж младшей сестры. Что это такое — жакяй?

По-русски сказала мать, по-татарски или на странной смеси этих двух языков, имевших равное право в доме, потому что



два других зятя были русские? Он начал лихорадочно припоминать, что бы это могло означать на родном языке, который успел за эти годы изрядно подзабыть.

Припомнилось похожее по звучанию слово «кажя», означавшее «козел», но он не мог с полной уверенностью утверждать, что именно это имела в виду мать.

«А, козел!..» Ну, что ж, в духе времени и весьма походило на Халияра. Но в устах матери? В татарском языке нет жаргона, тем более в языке народа простого, сельского. А может, это дань моде, с поправкой на время? Гияз искоса посмотрел на мать и вдруг от души, как не смеялся уже много лет, рассмеялся. «А, козел!..»

Чуть позже, когда он доставал газеты из почтового ящика, пришла сестренка, и он тут же, у калитки, спросил ее:

— Фарида, кем работает твой Халияр? — Его так разби- рало любопытство, что он уже собирался идти разыскивать сестренку.

— Он жокей! — ответила, гордясь, маленькая женщина, похожая на старшеклассницу, — только бантиков не хватало.

— У вас что, ипподром открыли? — удивился Гияз.

— Фу!.. — как-то брезгливо скорчила свое красивое личико сестренка. Наверное, представила своего холеного Халияра на взмыленной лошади. — Да нет же. При чем здесь ипподром? Он диск-жокей. Понимаешь — диск-жокей! — И Фарида, просияв, лихо и вместе с тем очень изящно вскинула вверх руку и сделала шаг вперед, словно вступила в яркий свет юпитеров. Наверное, так начинал или заканчивал программу ее «жакяй».

— О боже, дискотеки вам только в Озерном не хватало! И сюда это сумасшествие добралось!.. — в сердцах сказал Гияз.

— Ишь, жалельщик какой выискался! — накинулась на него сестра, вмиг став похожей на красивую хищную птицу, — наверное, из нее могла бы выйти неплохая актриса. — Живешь у себя в Ташкенте: рестораны, бары, театры, а нам, значит, ничего!

Гияза снова начал разбирать смех, как за завтраком, и, чтобы не огорчать сестренку, — слишком уж серьезно она все воспринимала, — он шутливо ответил:

— Ты права, прямо-таки изнемогаю от ночных клубов, не знаю, как без них жить... — И шагнул за калитку, хотя вроде никуда уходить не собирался.



Он шел вдоль разогретых безлюдных палисадников и беззвучно смеялся: «А, козел, а, жакяй...»

Ушел он, не замечая времени, довольно далеко: впереди, за окраиной, густела лесополоса, убегавшая к железной дороге. Эта лесополоса, высаженная на его памяти, когда он только пошел в школу, теперь превратилась в настоящий лес. Конечно, не такой буйный и неоглядный, как в глубине России или Белоруссии, но для степного края достаточно большой. Живое рождает живое. В пору его юности, когда деревья только-только поднялись, никаких там зверушек, птиц, кроме воронья и воробьев да, пожалуй, кукушки, не было. Помнится, кто-то говорил, кажется, уже в десятом классе, что видел там ежа, но даже этому тогда никто не поверил.

А сейчас! Говорят, и зайцы, и лисицы, и волки, барсуки, бурундуки, даже кабаны и сохатые появились, а ведь никто лес ими не заселял. Появились и все — загадка, чудо природы.

Лес, кажется, тоже изнывал от жары. Сухо шелестела листва деревьев, вставших стеной у дороги; зеленая эта стена сдерживала знойный суховей из неоглядных казахских степей. Не слышно было даже птичьего гомона — тишина, ожидание вечера, пролады, жизни. Гияз углубился в лес, нашел чистую поляну, приглянувшуюся ему зеленой, нетоптаной травкой, и, сбросив спортивную куртку, присел.

Далеко впереди, разезда за два, послышался шум поезда. Нет, это был не грохот приближавшегося состава, а удивительно чистый, ритмичный звук, растворенный в необъятном просторе и тишине, какую можно услышать лишь там, где люди живут не скученно, где впереди у летящего состава десятки и десятки километров свободного пространства, не загроможденного громадами строений вдоль дороги.

И звук этот, тревоживший сердце каждого жителя маленьких селений, — ибо с дорогой связаны явные и тайные мечты и надежды, — рождал в душе ожидание смутных, неясных, но радостных перемен.

Звенящая тишина леса, ровный и чистый звук приближавшихся и удалявшихся поездов, словно отфильтрованный в огромном многоствольном органе леса, настраивал Гияза на воспоминания: о бесшабашном детстве, о неуверенном и бедном студенчестве, когда таких, как он, ребят, выходцев



из маленьких местечек, подобных Озерному, долго, почти до третьего курса, называли «колхозниками». Иные вкладывали в это слово понятное только им пренебрежение, имевшее различные оттенки, вплоть до презрения, другие бросали просто так, по привычке, следуя плохой традиции, но и в том, и в другом случае было обидно. Помнится, после первого курса он как-то рассказал об этом отцу, но рассказал очень путано, краснея и сбиваясь. Однако Нури-абы понял.

Он внимательно посмотрел на сына и, поглаживая усы, что делал обычно, когда был сердит и недоволен, спокойно ответил:

— Тут уж, сынок, никто вам не поможет. Джигиту, настоящему джигиту, оскорбительного никто и никогда не скажет. Просто вы еще никто...

И, помолчав, заметил: ни место рождения — город ли, деревня ли, — ни национальная принадлежность не дают никакого особого мандата в жизни. Только делом утверждается человек на земле, а отсюда и отношение к нему.

Так же убежденно говорил Нури-абы о силе знаний, образования, но этого Гияз, к сожалению, совсем не запомнил. А вот сейчас, с высоты своего возраста, захотел вдруг понять — почему отец так страстно мечтал, чтобы сын выучился, стал инженером. Ведь отцу, хоть он и работал не покладая рук, тащить одному большую семью, — а тогда с ними жили еще бабушка и дедушка, — было непросто. Ох, как приходилось крутиться Нури-абы, тут не только автомобили ремонтировать научишься, любое ремесло одолеешь. Отправляя старшего сына, готового помощника, на целых пять лет в далекий Омск и снаряжая его не хуже других, он брал на свои плечи новый груз забот. И думал ли он, что, посылая сына учиться, навсегда теряет его? А может, ему этот «поход» за знаниями представлялся чем-то вроде паломничества в Мекку, откуда возвращаются «с особой печатью на челе», и печать эта «действительна» до конца дней твоих? Или, как многие из его поколения, не имевшие дипломов и систематического образования, был убежден, что только просвещение избавит народ от продолжающих жить пороков: пьянства, невежества, корысти, лени, карьеризма?

А, может быть, та ответственность перед страной и народом, с которой он связывал образование, привлекала отца?



Мысли Гияза незаметно потекли по иному руслу. Ответственность? Чья? Тех, кто учится? Тех, кто учит? Тех, кто учитывает и распределяет специалистов ради нашего блага? Раздробилась мысль, и мелкие осколки ее были гораздо острее, больнее — это уже волновало самого Гияза.

Вот он — диск-жокей Халияр, дипломированный агроном, и года не проработавший по специальности.

За ним шла сестренка Фарида, юрист с высшим образованием, тоже и дня не служившая Фемиде. Кресло секретарши в райисполкоме показалось ей более заманчивым и удобным. Список этот, даже из ближайшей родни, не говоря о знакомых, товарищах, соседях, мог он продолжать до бесконечности. Дома, в Ташкенте, у него была знакомая, работавшая секретаршей у какого-то большого начальника в Госплане республики, и несколько раз так получалось, что он обедал с ней и ее подружками в прекрасной столовой Госплана. Обеды эти запомнились Гиязу не только из-за белизны скатертей и безупречно подобранных букетов живых цветов на столах, и даже не выбором и вкусом блюд, — запомнились исключительно из-за общения. Он, единственный мужчина, обедал в компании элегантных молодых женщин и девушек, подружек своей знакомой. Они мило шутили, говорили об умных и серьезных вещах, и суждения эти были тонки, не лишены юмора и изящества. Казалось, брось в костер беседы любую тему, огонь не погаснет, даже не дрогнет пламя, все было доступно пониманию и суждению очаровательных собеседниц.

Как-то он высказал знакомой восхищение ее подружкой: мол, простые секретарши, а такой интеллект, начитанность, широта кругозора, диапазон интересов и так далее и тому подобное. На что его знакомая ответила не без гордости и кокетства:

— Обижаетесь, Исламов. Все мои подружки с высшим образованием, кое у кого и по два диплома, а за некоторыми даже аспирантура числится и знание иностранных языков, между прочим.

А Исламов то ли был не в духе, то ли нескрываемое самодовольство знакомой показалось обидным, вдруг завелся:

— А мне кажется, непозволительно и расточительно иметь секретаршу с высшим образованием, тем более с двумя



дипломами. Нисколько не умаляя и не принижая вашего труда, считаю, что для секретарши достаточно годовых курсов. А держать специалистов на должностях секретарш, машинисток в такой организации как Госплан, где должны знать, для чего готовятся кадры, я считаю не только безнравственным, но и преступным.

На этом памятные для Исламова обеды кончились. И только какое-то время спустя он понял, почему девушки с дипломами охотно идут секретаршами к руководителям «с возможностями». Да, зарплата там не бог весть какая, но, кстати, и не намного меньше, чем у начинающего педагога или инженера, а возможностей у секретарш куда больше. Ну, хотя бы прекрасный кабинет, столовая по первому разряду, шанс получить квартиру, контакты с торговлей, да мало ли что еще...

Ох, как волновал этот вопрос Гияза, он даже встал и пробежался по поляне, как по тесной комнате. Словно передразнивая его, то же самое проделала рыжая белочка, давно наблюдавшая за Гиязом, но Исламов, занятый своими мыслями, не замечал ее.

Собираясь в отпуск, Гияз хотел одного — отключиться. И уж, во всяком случае, не думал, что этот вопрос будет его здесь занимать. И надо же... Теперь он касался не только его, но и ближайших родственников, сестры, зятя. Нет, он не собирался, как старший брат, читать ни Халияру, ни Фариде нравоучения и приводить примеры благородного служения делу, потому что не поймут они его. Он уже успел заметить, что они говорят на разных языках. Гияз давно уже сделал вывод: образование сейчас многие стремятся получить вовсе не для того, чтобы выбрать специальность и определить свою жизненную цель, а просто оно стало престижным, тешащим самолюбие и тщеславие родителей, да и самих детей. Вот почему Халияр и Фарида скорее всего удивились бы, если бы кто-то пожалел, посочувствовал, что не заняты они делом, которому отдано пять лет учебы в институте. Главное, на их взгляд, — диплом — у них есть. Учиться где угодно, на кого угодно, лишь бы получить диплом. Понятно, когда рвутся в медицинский, в консерваторию, в журналистику, размышлял Гияз, тут хоть какая-то внешняя привлекательность есть, призванием, хоть и ложным, объяснить можно. Но когда шестьдесят процентов на факультете «Водопровод и канализация» составляют девушки,





внешне мало уступающие молодой Софи Лорен, трудно поверить, что мечтой их была, а делом жизни станет канализация.

Иногда Гияз завидовал отцу: тот был депутатом, мог говорить с трибуны и пользовался этим при случае. Как хотелось ему иногда, после горьких размышлений, открыто, громко поставить проблемы, провозгласить их с трибуны. О чем бы он сказал тогда? О чем спросил бы? Наверное, спросил бы у того же Госплана, почему иные таксопарки на треть состоят из работников с высшим образованием? А торговля, сфера обслуживания, общепит — каков в ней процент таких людей?

Кто-то ведь должен знать, куда девается ежегодно громадная армия высокообразованных людей, выпускников вузов, не работающих по специальности. А ведь девается, если их набирают в вузы вновь и вновь. Наверное, спросил бы, так ли нам нужны ежегодно тысячи филологов, журналистов, музыкантов, искусствоведов, театроведов. Задал бы несколько «почему» Комитету по профессионально-техническому образованию молодежи, который, делая в общем-то большое дело — приглашая ребят в ГПТУ, — перво-наперво объявляет: от нас прямая дорога в институт. Хотя задачей ГПТУ, конечно, является не подготовка абитуриентов в институт. Не потому ли и смекнули вчерашние горе-троечники, что легче на годочек после школы «завернуть» в ГПТУ, получить у добрых дядей надлежащие аттестаты, а потом уже от имени рабочего класса можно смело штурмовать двери столь желанных вузов, где еще пять лет от сессии к сессии они, бия себя в грудь и называясь рабочими от станка или от мартена, будут получать бесконечные разрешения на переэкзаменовки — и так до самого выпуска, до получения диплома.

Наверное, он напомнил бы и о том, что если образование у нас бесплатное, то это не совсем личное дело обучающегося, деньги-то идут из общей кассы государства, и обществу не все равно, во что они «вкладываются», на прихоть или на цель расходуются. Да разве только в них, деньгах, дело? Настало время подсчитать и другое: на пять лет изымается из трудовой сферы взрослый человек, пять лет общество кормит его в надежде, что он сторицей вернет затраченное. А если он сразу после института в диск-жокеи, секретарши, официантки, таксисты? Никто не спорит, прекрасные и нужные профессии, но



при чем здесь высшее образование за счет народа и пять лет сидения на шее общества? И это тогда, когда каждый забор пестрит листками, взывающими: «требуются», «требуются», «требуются» ...

Наверное, он бы не только задавал вопросы с этой трибуны, но и рассказал бы, как теряется, принижается в последние годы инженерный труд. Личного опыта, собственной судьбы для примера было бы достаточно...

Нет, не принес лес Исламову покоя: не удалось отдохнуть, перевести дух. И, еще более взволнованный, вспугнув на прощание белку, зашагал он по шпалам обратно к Озерному.

Приближаясь к поселку, Гияз вспомнил, что нечто подобное волновало в последние годы и отца, наставника многих комбайнеров района.

Однажды в составе делегации передовиков сельского хозяйства Нури-абы был за границей. Показывали им там разные фермы, молочные комплексы, комбикормовые заводы и птицефермы. Непонятно зачем, но повезли и на стекольный завод. То ли завод оказался под рукой, то ли слишком известные изделия выпускало это ничем не примечательное на вид предприятие.

Водили по цехам, чистым и светлым, полностью автоматизированным, водили по цехам, где кое-где мелькали люди, и в тех, и в других — ряды и ряды поточных линий, по которым, чуть позвякивая, уходила на склады готовая продукция. Наконец, привели на территорию, где трудились стеклодувы, — работа, в которой мало что могут изменить время и автоматика; здесь и рождалась продукция, прославившая завод на весь мир. Не было тут внешнего блеска, стерильной чистоты, да и не нужна была она здесь.

Нури-абы, конечно, слышал о работе волшебников-стеклодувов, но видеть своими глазами... В мгновение ока выдуваются шары, вазы причудливой формы — успевай только смотреть за мастерами, жидкое текучее стекло вмиг застывает радугой — не зевай! Факиры, тысяча и одна ночь!

При каждом мастере работали ученик и подмастерье, да без них и немыслима работа любого виртуоза. Подмастерьям этим, как объяснили делегатам, по четырнадцать-пятнадцать лет. Цех горячий, копоть, сажа, мальчишки в прожженных кое-где рубашках выглядели замурзанными. В делегации было несколько



солидных женщин, мало похожих на передовиков сельского хозяйства и неизвестно как попавших в группу к колхозникам. Они-то и испортили Нури-абы настроение. Ни само стекло, ни виртуозное владение мастерством стеклодувов их нисколько не волновали, они были озабочены одним — как бы не испачкать здесь свои светлые пальто. А когда осмотр закончился, они, конечно же, не могли не высказать своего мнения.

— Бедные дети, бледные дети. Посмотрите, какие они грязные, уставшие...— причитала одна.

— А стекло-то горячее, обжечься можно, — вторила ей другая.

— Слава богу, у нас такого нет и в помине. Труд охраняется законом, раньше восемнадцати в такие цеха и на порог не пустят, — гордо заключила первая.

— А я не вижу здесь ничего страшного, — перебил Нури-абы. — Когда же учиться, как не в такие годы? В четырнадцать не грех и лишний раз нагнуться, и услужить старшему, и переспросить не зазорно, гордость еще позволяет. Такой школе цены нет, лет за пять-шесть, глядишь, и готовый мастер выйдет, который все знает, все умеет: и как уголек разжечь, и как готовую продукцию упаковать, — все им приходится одолеть, и не на словах, а на деле. Вы посмотрите, какие молодые у них мастера, большинству до тридцати далеко. А работа каждого — загляденье, хотя без ОТК работают.

К труду чем раньше приучать, тем лучше. А мы своих до восемнадцати опекаем разными указами да инструкциями, а они уже в учениках ходить стесняются — через год-другой у него своя семья, глядишь, будет. Вот и отделяемся краткосрочными курсами, а потом до хрипоты спорим, почему продукция у нас некачественная.

— Вы неправы, неправы! — накинулись на него женщины. — Вы в корне не понимаете нашей политики о всеобщем среднем образовании. Разве вы, человек с депутатским значком, не знаете: дети у нас единственный привилегированный класс!

— Слова это все, слова, — ответил раздраженно Нури-абы. — К какому же классу, по-вашему, нужно отнести старость, если она, увы, и в детстве не успела попользоваться такой привилегией? А детство — пора долгая, и, действительно, оно должно быть радостным, только наша задача не затягивать



его бесконечно и уметь видеть разницу между пионером и четырнадцатилетним комсомольцем.

Спор этот продолжался у них еще в гостинице и испортил Нури-абы впечатление от интересной и полезной поездки.

На другой день, в субботу, топили баню. Летом делают это не часто: река под боком, казенная баня на соседней улице, во дворе теперь у каждого летний душ, да и хлопотное это дело. Баня была затеяна матерью в честь приезда Гияза, он-то в новой бане не парился ни разу, да и всех детей ей захотелось увидеть за столом. Две другие дочери — Гульфия и Альфия жили отдельно, в разных концах поселка. Еще отцом была заведена традиция — в банный день собираться всем за родительским столом. В этот день загодя мать ставила тесто на мясной пирог с рисом — бялиш, Нури-абы доставал из подвала, со льда, холодный кумыс.

Топить баню пришел старший зять, Алексей, муж Гульфии, рослый молодой парень, работавший еще вместе с отцом в колхозной мастерской. Халяяр был дома, но, как понял Гияз, толку от него было мало, — мать посылала его в магазин за покупками, заставляла убирать во дворе.

Алексей, человек немногословный, видимо, баню с Нури-абы готовил не раз, и сейчас делал все не торопясь, основательно, в известной только ему последовательности. Гияз с удовольствием помогал ему, представляя отца за такими немудреными житейскими хлопотами. Баня, как пояснил Гиязу Алексей, сочетала в себе, казалось, не сочетаемые системы: и русскую, и модную в последние годы финскую, даже какая-то глубокая и толсто-стенная бочка стояла в парилке, представляя, как с усмешкой пояснил Алексей, японскую систему...

Он объяснил Гиязу и ритуал купания, заведенный тестем. Первыми в готовую баню идут женщины, потом мужчины и парятся до тех пор, пока не скажут им, что стол накрыт. Пельмени и пироги Нури-абы любил, что называется, с пылу, с жару. затем самовар — до звезд, до полуночи.

Когда сестры, шутя и озорую, прихватив с собой детей, пошли в баню, мать почему-то отказалась, сказав, что пойдет перед сном одна, — баня Исламовых долго держала тепло. Зять Федор мечтательно сказал: «Эх, пивка бы...» И все почему-то разом глянули на Халяяра. Достать — это по части Халяяра, — тут же определил Гияз.



— Далековато до пивзавода, на велосипеде не меньше часа потеряю, а мне тоже хочется попариться, — сказал Халияр, поглядывая на тещу.

Мать ничего не ответила, но ушла в дом и вернулась с ключами от гаража и машины. Халияр прямо-таки кинулся к ней. Из подземного гаража медленно выехала на дорожку белая «Волга», та самая, которую отцу вручили на ВДНХ. Гияз видел ее впервые.

— Красавица! — вдруг вырвалось у Федора. Он знал, что Гияз машины раньше не видел и, живя уже неделю, ни разу не спрашивал о ней, на речку ездил на велосипеде, по Озерному гулял пешком.

— Батька, бывало, усадит нас, зятьев, на эту машину, и с ветерком куда-нибудь на речку, в лес. Теперь ты, Гияз, старшой, прокати-ка нас с шиком по Озерному, давно машина не показывалась на улицах, кое-кто уже поговаривает, мол, продали и пропили зятя исламовскую машину. Да и нам в машине, может, вспомнится доброе время, когда был жив батька Нури, — сказал вдруг Алексей, приглашая Федора и Гияза к машине.

Халияр нехотя вылез из кабины и передал ключи.

Федор с Алексеем сели вместе на заднее сидение, Халияр обошел машину и плюхнулся рядом с Гиязом, буркнув:

— Я покажу, как ехать.

— Нашёл, кому показывать, — сказал сзади сквозь смех Федор.

Гияз включил зажигание, и машина плавно тронулась с места. Мать открыла ворота и улыбнулась Алексею, помахавшему ей из приоткрытого окна.

«Наверное, Алексей был любимым зятем у отца», — почему-то подумал Гияз и, обернувшись, улыбнулся ему.

Халияр пропадал на заводе долго, и Гияз уже засомневался, добудет ли тот пива. Все-таки суббота, лето...

Но Алексей, улыбаясь в усы, которые отпустил на манер тестя, сказал:

— Халияр у нас в Озерном знаменитость, диск-жокей, а большинство его танцоров работают на пивзаводе. Да к тому же Фарида через райисполком пробивает открытие пивбара, и Халияр, наверное, будет там заведующим, так что на пивзаводе он уже свой человек.



— Ну и агроном...— успел только сказать Гияз, как в воротах показался улыбающийся Халияр с ящиком пива.

Странно, но эта недолгая поездка за пивом в отцовской машине как-то сблизила Гияза с мужьями сестер.

На другой день, вспоминая послебанное застолье, прошедшее шумно, весело, — и пирог, и пельмени удались на славу, — он все-таки чувствовал в разговорах какое-то напряжение, исходившее от сестер.

Мать умело гасила готовую вот-вот вспыхнуть перепалку, переводя беседу в другое русло, а то превращая все в шутку, смех. Гияз давно уже откололся от своей семьи, и ее язык был не вполне понятен ему, но не все было так смешно, как казалось, — это он ощущал. Меньше всего он понимал сестер. Помнил их негромкое детство — для них он действительно был тогда старшим братом, и разница в возрасте, казалось, никогда не будет преодолена. В мусульманских семьях старшинство почитается, а семья Исламовых была с традициями, с культом мужчины-кормильца, продолжателя рода. Правда, сестры выросли без брата, разве что в каникулы он бывал дома на правах гостя, где сестры жили хозяйками. И хотя в доме постоянно упоминалось, особенно в студенческие годы, его имя, отсутствовавший брат превращался почти в миф, нечто бестелесное, а потому, на их взгляд, существо бесправное.

В какие-то минуты ему казалось, что они хотят спросить его без обиняков, в лоб: зачем приехал? Что тебе надо? Что есть в тебе от Исламова, кроме фамилии? А, может, еще жестче звучали бы их вопросы?

Но ему от таких размышлений становилось стыдно, — в чем же я подозреваю своих единокровных сестер? — и он гнал прочь эти мысли.

«Я, усталый, издерганный горожанин, запутавшийся в жизни, приехал домой перевести дух и, может быть, здесь понять, что потерял, что приобрел, поразмыслить, как мне жить дальше, ведь мне уже сорок, и я не успел ни дерева посадить, ни дома своего построить, ни сына вырастить. Думал здесь понять себя и род свой, ведь я не какой-нибудь безродный обсевок, перекаати-поле — корни-то мои не отсохли совсем. Пусть что капля в море — Озерное, не на всякой карте отыщешь, но и здесь живут люди и знают они — я сын Нури Исламова, и думают, наверное, что и я не зря топчу эту землю».



Так примерно хотелось сказать Гиязу сестрам своим о себе, но ведь не спрашивали по-людски, а все какие-то каверзные, недобрые вопросы, намеки, укольчики... и все с подтекстом, понимай, как хочешь. А мать чует подвох в словах дочерей, которым она, увы, уже не указчица, мечется и разрывается между дочерьми, с которыми старость доживать, и сыном, которого случайно, а, может, и не случайно занесло в отчий дом.

Вот если бы жив был отец! Как поздно мы произносим столь сакраментальную фразу! Лишь когда осознаем, что никому и никуда не убежать, а от себя тем более.

Так, задумавшись, Гияз долго стоял во дворе рядом с машиной, которую почему-то не поставили на ночь в гараж. И вдруг Фарида, наблюдавшая за ним с открытой террасы, сказала, обращаясь к нему, но так, что слышно было в доме:

— Не можешь, дорогой братец, машиной налюбоваться? Прав Федя: красавица, милее родни любой. А для сердца мужского — магнит многотонный, не одного тебя притягивает, так что любуйся, не таись, долго сдерживался...

Гияз стоял рядом с «Волгой», но машины не видел, мысли были о другом, о себе. И оттого он сначала не понял, о чем это сестра, но вдруг взгляд его уперся в сияющий никелем бампер, и он словно очнулся.

Цепь вчерашних сестринских недомолвок замкнулась. Он понял их беспокойство и суету: решили, что он приехал делить отцовское наследство и что машина, конечно, достанется ему. Оттого и злобятся: им кажется, что «Волга» уже тью-тью, потому и не находят себе места, готовы родного брата обвинить в чем угодно...

Вдруг мелькнула мысль: «Слава богу, не дожил отец до этих дней». Кошунственная мысль, но она отвлекла, дала силы не ответить на гадость сестры гадостью.

Плевать на машину! Даже две «Волги» не могли бы принести ему счастья, ибо мучает его сейчас совсем другое, и этого другого сестры понять не смогут. Вот отец... Он бы понял...

«Волга» вам, значит, не дает покоя...» — крутилась неотвязная мысль, но ничего путного, враз решающего эту проблему в голову не приходило. Оставаться во дворе или возвращаться в дом, где из комнаты в комнату, словно подглядывая за ним, сновали сестры, с которыми он сейчас должен сесть за один



стол завтракать? Вновь выслушивать их недомолвки, скрытые упрёки у него не было сил — боялся сорваться, нагрубить. И эта ссора, больше нужная сестрам в их каких-то неведомых и непостижимых для его ума планах, огорчила бы мать, которая после смерти отца и так сильно сдала. Нет, не мог он доставить сестрам такого удовольствия. И вдруг пришла идея, которая если не решала проблемы, так, по крайней мере, избавляла его от общества сестер на все воскресенье, а уходить сегодня, как он понял, они не собирались.

Он быстро прошел к себе в комнату, торопливо побросал в дорожную сумку какие-то необходимые вещи и вернулся к машине.

«Съезжу-ка я в Оренбург, погуляю, может, в дороге решу, что мне делать, как быть». И он, никого не предупредив, выехал со двора. «Пусть помянутся, куда это я с машиной запропастился», — подумал он и впервые за тягостное утро улыбнулся...

Дома, в Ташкенте, в одном подъезде с ним жил судья, человек общительный, справедливый, хлебосольный. Все свободное время он проводил во дворе, и благодаря его стараниям двор у них был зеленый, ухоженный, что, в общем-то, неудивительно для Ташкента. И все же был он особенный и совсем не походил на обычный жэковский двор. Под тенью виноградников стояли у них айваны, столы, за которыми время от времени шумели свадьбы и иные застолья. Была и печь на три казана, где каждый желающий мог приготовить на открытом огне плов или казан-кебаб, а это совсем не то, что готовить на газовой плите — и все это благодаря стараниям и энергии их завдомкомом Закирджана-ака. Гияз переехал в этот дом, считай, на все готовое, двор уже имел свое лицо, и поначалу он стеснялся пользоваться благами ухоженного двора. Но Закирджан-ака, увидев его как-то вечером на балконе, пригласил на айван, на чайник кок-чая. С того дня он и сдружился с судьей. А когда Гияз в одно воскресенье, никого не предупредив, переложил печь-временку на капитальную, увеличив число казанов до четырех, и облицевал ее разноцветным кафелем, стали его называть правой рукой, помощником Закирджана-ака, что весьма льстило Гиязу. Из-за общих интересов по двору, — а дел там было немало, — Гияз часто общался с судьей. Иногда Закирджан-ака приходил с работы расстроенный. Переодевшись в полосатую шелковую





пижаму, сохранявшую до сих пор непонятную привлекательность для восточных людей, судья по привычке выходил во двор с лопатой или кетменем, а чаще всего со шлангом для полива двора и сада. Поначалу он копошился, что-то делал, но обычно в такие дни в конце концов усаживался где-нибудь на одной из многочисленных садовых скамеек или шел к любимому айвану. Не выпуская из рук кетменя или опершись на него, сидел долго, погрузившись в свои безрадостные думы. Если с балкона своего третьего этажа Гияз видел такую картину, он немедленно бросал все свои дела и бежал вниз. Он знал — у старика большое сердце. Отвлечь его от дурных мыслей Гиязу никогда не удавалось, но дать ему выговориться было необходимо, Исламов умел и любил слушать. Судью не волновали пустяки, мелкие неудачи, старик был по-восточному мудр и несуетлив, и боль его становилась болью Гияза.

— Знаешь, дорогой Гияз, — говорил судья, поворачивая к нему взволнованное лицо, — я ведь родился и вырос в столице, здесь учился. Ташкент долгие годы не был таким громадным, многолюдным, как сейчас, и потому я знал многих, да и меня, пожалуй, знали. В свое время я был самым молодым судьей в городе. Занимался и я в жизни серьезными делами, это сейчас, последние десять лет, взялся вести дела гражданские. И удивительно, за эти годы резко подскочил процент дел о разделе имущества, ведутся нескончаемые тяжбы между наследниками, между родными братьями и сестрами, между единокровными детьми. Вы думаете, почему я сегодня такой расстроенный, хотя давно уже моя работа других чувств не вызывает? Скажу вам откровенно: потому, что я вел дело о разделе имущества человека, которого знал лично, общался с ним, уважал. Удивительный был человек, — и судья назвал фамилию, которая ничего не говорила Гиязу.

И, отвлекаясь, уходя в воспоминания, Закирджан-ака рассказывал о человеке, о времени и о себе, если судьбы их как-то переплетались.

— Знаете, — продолжал он, возвращаясь в день сегодняшней, — я ведь и детей его знал, некоторые на моих глазах выросли. Говорю им: как же вы дошли до жизни такой? С родной сестрой ковер поделить не можете, и отцовские золотые часы для вас не память, а предмет скандала! Даже по таким мелочам



не могут разойтись по-человечески, а что уж делается, когда тяжба идет из-за дома, машины, дачи, крупных денежных вкладов? Враги ведут себя благороднее, чем родня в таких случаях. Думаете, до суда не пытались их мирить? Друзья, соседи, сослуживцы, родственники, махалля — никто им не указ, да и судья тоже. Сколько раз давали мне отвод, мотивируя это тем, что я веду дело на эмоциях, а не на фактах. А факты у них у каждого свои. Иногда я думаю: как хорошо, что ушедший не видит этой мышино-змеиной возни, недостойной людей, и что бы он сделал, если б предвидел подобное? Облил бы керосином да сжег бы эту машину, облигации, дачу? Растолок бы в порошок серьги и кольца, из-за которых дети его стали заклятыми врагами? Вот что занимает меня, дорогой мой сосед...

Судья порою надолго замолкал, — наверное, у него перед глазами вставали процессы, так измучившие его большое сердце. Старик признался однажды с горечью, что после иного дела, точно спортсмен-марафонец, теряет в весе до пяти килограммов.

В последний раз, незадолго до отъезда Гияза, весной, когда уже буйно распустился их сад и дел во дворе — обрезать и белить деревья, поднимать виноградник и красить забор — было предостаточно, вновь захандривший Закирджан-ака опять разговорился с Гиязом:

— Ну ладно, еще можно понять скандалы в простых семьях, где люди не очень образованные, тонкие... Но ведь умирают люди знаменитые, известные не только в республике, иногда на весь Союз, и порой происходит то же самое. Поберегите имя отца, матери, рода своего, наконец, — кто только и на каком только уровне ни обращается к наследникам, и слушать никого не хотят в своей алчности, и обрастает доброе имя родителя, как снежный ком, сплетнями, домыслами, выдумками. Был большой человек — и нет его, один анекдот остался — детки родные или родня постарались. Наверное, читали в «Известиях» — умерла известная балерина, удивлявшая весь мир своим талантом. Прославила народ свой, республику. И та же история, только тут матери родной и родне ее нейметя, все хотят счета с зятем свести. Не желают понять, что дочь их была женой этого человека, матерью его детей, а потом уже известной балериной. Город мирил, республика мирила,



а теперь уже вся страна через уважаемую газету хочет если не помирить, так хоть прекратить склонять имя талантливого человека на всех перекрестках. Как думаешь, удастся? — спрашивал неуверенно умудренный жизнью судья Гияза, а тот только пожимал плечами в ответ.

Нет, не зря припомнился Гиязу на проселочной дороге, пока он выбирался на шоссе Актюбинск — Оренбург, Закирджанака. Расстроенный судья чаще всего говорил об одном и том же, только менялась ситуация и иные люди были втянуты в тяжбу.

Слушая Закирджанаака, Гияз то ли по молодости лет, то ли из-за отсутствия подобного жизненного опыта почему-то всегда думал, что такое происходит только в больших городах, где люди живут отчужденно, каждый сам по себе. Выходцев из маленьких селений, как бы долго они ни прожили в городах, часто тянет на сравнения с родными местами, хотя там, в отчем краю, они не были уже по многу лет. Вот и Гияз почему-то в таких беседах мысленно тянулся к Озерному и, конечно, с полной уверенностью думал — там такого быть не может, у нас другие люди. Память из прошлого оставляет нам чаще всего доброе. Да и что могут делить люди в Озерном, думалось ему. И виделось село с покосившимися от времени хатами, осевшими, почерневшими от снежных зим и осенних ливней плетнями — Озерное его отрочества. Какие уж тут вклады, машины, дачи? А подумать, что нечто подобное может произойти с ним? Нет, такое никогда не приходило в голову, хотя наслушался он этих невеселых историй достаточно.

А, может, уверенность его в высокой нравственности людей из глубинки была не только его заблуждением? Вон сколько книг в последние годы написано о селениях, подобных Озерному, — и чаще всего в тех книгах самое светлое — о родных местах: и люди там лучше, и вода слаще, и что ни девушка — красавица, что ни парень — золотые руки. А душа у каждого — чище родниковой воды. Откуда же тогда в городах берутся подонки, если более половины жителей их — выходцы из подобных Озерных? Нельзя же всерьез утверждать, что их покалечил город... Наверное, жизнь так стремительно меняется, что даже писателям, инженерам человеческих душ, не удается что-то в ней уловить и предупредить род человеческий: «Люди, берегите друг друга!»



Так думал Гияз на полупустынном шоссе в воскресное утро. Стрелка спидометра металась за отметкой «140», но скорости он не чувствовал. Мысли его перескакивали от Озерного к Ташкенту, от прошлого к будущему, и каждый раз, словно бумеранг, возвращались к дню сегодняшнему.

Родимая земля, отчий дом — нет, не вызывали они у него разочарования, просто жестче стал взгляд. А все прошлое восприятие казалось киношным, книжным, надуманным. Жизнь-то во сто крат сложнее любой проблемной книги. Ну, ладно, не получился отпуск, и родная земля не придала сил, на которые вообще-то рассчитывал, опять же по книжной аналогии. Но нет худа без добра. Ты, кажется, понял: твое место там, в Ташкенте, и никто тебе теперь не поможет, не подскажет — пути свои мы выбираем сами. Жизнь все-таки в этом предоставляет шанс — надо быть объективным. Разве, чтобы понять это, не стоило приезжать и даже в чем-то разочароваться?

Впереди показался мост, весь в строительных лесах, — видимо, в половодье повредило фермы, — и Исламов сбавил скорость. В приоткрытое окно ударил свежий запах реки, и он напомнил Гиязу Илек, реку его детства. Он осторожно переехал мост и невольно притормозил.

Впереди, насколько хватало глаз, змеилась в зеленых берегах тихая утренняя река. Медленно несла она свои воды, журча на перекатах, темнея в редких затонах, шелестя молодой осокой на заболоченном мелководье, и тонкий, едва заметный пар, словно туман, поднимался кое-где над водой, а с высокого берега тень столетних вязов темным зонтом перекрывала слабую в узких берегах жемчужную полосу воды.

Низкий берег ее, покрытый густым тальником, переходил в луга, — видимо, широко по весне разливалась река. И пойма эта, повторяя изгибы реки, тоже уходила далеко, но конец ее Исламов все-таки видел. В лугах недавно прошел первый укос, потому что тут и там стояли небольшие копешки сена, а трава уже снова пошла в буйный рост — чувствовались близость и щедрость реки.

Было тихо, безлюдно, лишь вдали, как и в Озерном, слышался шум далеких поездов, и звук этот над просыпавшейся рекой будил в душе отрадные, чистые воспоминания.



Глядя на раскинувшиеся внизу луга, Гияз видел, как в детстве, ночное, костры, стреноженных коней, шаловливых жеребят, слышал храп породистых скакунов и нетерпеливое ржание кобылиц в ночи. Только не мог ясно представить мальчишек из соседних казачьих станиц и татарских аулов, для которых эти луга, наверное, были общими, слишком мала и слаба река, чтобы одарить людей еще одним лугом. Нет, не мог он представить мальчишек транзисторно-магнитофонного поколения в тихом ночном. Хотя знал точно: не перевелись в этих станицах и аулах лошади, и каждую весну и осень то в татарском ауле на сабантуе, то в станицах на празднике урожая устраиваются скачки и джигитовки, на которые съезжается народ отовсюду, даже из города...

И джигитуют, конечно, парни, ох, какие лихие парни, и школой для них становится ночное. Пока не исчезнут на земле кони, всегда будет ночное, один из самых удивительных и волнующих моментов отрочества, а значит, не переведутся на земле лихие джигиты. Просто другое время — другое ночное, наверное.

Он стоял долго, и одна картина перед глазами сменялась другой, он то заглядывал в прошлое, то видел будущее, и думалось здесь на просторе, у реки, легко. В поднявшейся траве он разглядел след конной косилки, а потом увидел съезд в луга. Ехать дальше ему расхотелось. Куда? Зачем?

На высоком берегу, за вязами, угадывалась большая казачья станица. «Сегодня воскресенье, базарный день, наверное, еще успею», — подумал Гияз, почувствовав, как проголодался. Он развернул машину и поехал по проселочной дороге вдоль высокого берега: где-то дорога должна была свернуть к селу. В казачьей станице Гияз бывал не раз, отец брал его на базар, а однажды Нури-абы чинил английский двигатель на старой казачьей мельнице, и жили они вдвоем на постоялом дворе станицы целую неделю. Гияз тогда никак не мог взять в толк, почему местных называют казаками — ведь говорили они на русском языке, как и их соседи в Озерном, да и внешне ничем от них не отличались, разве только стар и млад носили фуражки с лаковым козырьком и красным околышем. Еще запомнилась станица сплошь белыми ухоженными хатами, ни одной развалюхи, как у них в Озерном, и вишневыми садовками.



И почему-то запала в память фраза, — отец сказал ее кому-то, когда они вернулись после ремонта мельницы, наверное, спрашивали о казачьем житье-бытье: «У казаков порядок строгий: лес береги, реку береги, луга береги — потому и крепко живут».

Тогда, мальчонкой, он не понимал, почему нужно беречь реку, лес, луга, пашню, — казалось, они сами по себе, всегда были и будут. При чем здесь человек?

Станица, в которую он въехал минут через десять, ничем не напоминала казачье село, в котором он был тридцать лет назад, — ныне оно было похоже на Озерное, — время безжалостно нивелирует наш быт, стирая самобытное, индивидуальное. Судя по вывескам, станица ныне превратилась в районный центр.

По пыльной разбитой главной улице райцентра, которую неведомо когда и невесть как заасфальтировали, Исламов, не расспрашивая никого, выбрался к базару. Лишь базар, уже мало-помалу начинавший расходиться, терявший напряжение и азарт, напомнил Гиязу казачью станицу его детства. У ограды стояли подводы, брочки и даже пароконный крытый фургон, на манер ковбойских, с которого продавали визжавших поросят. Гияз поставил машину в разноцветный ряд «жигулей» и поспешил к торговым лавкам. Но, как ни спешил, не смог не замедлить шаг у старинной, изгрызенной степными аргамаками, коновязи. Где, в каком месте и когда еще увидишь стоянку для лошадей? Наверное, нынешние дети и не подозревают, что для них были раньше специально отведенные места, как сейчас для автомобилей и велосипедов.

У коновязи на привязи стояли, испуганно кося глазами и нервно перебирая тонкими ногами, несколько лошадей.

На двух из них были высокие казачьи седла, роскошные, старинной работы, и сбруя, вся в черненном серебре, отчего казалась она невероятно тяжелой, и даже стремяна были серебряные, высоко подтянутые.

«Иметь таких лошадей и так содержать их могут лишь истинные казаки, каких уже мало осталось», — подумал Гияз. И, словно подтверждая его мысль, к серому в яблоках коню подошел сухощавый и мускулистый старик. Конь, чувствуя хозяина, потянулся к нему губами, затапцевал.

— Ну, милый, успокойся, — сказал тот, теплея глазами, и старческий голос выдал его преклонный возраст.



В коротенькой, кое-где прожженной, а может, простреленной черкеске с пустыми газырями, сохранившейся со времен его молодости, в щегольских хромовых сапогах и круто заломленной новой казачьей фуражке старик выглядел лихо. Вдруг ястребиными глазами он выхватил у коновязи Гияза, и в этом взгляде, инстинктивном, цепком, был извечный страх хозяина за любимого коня, он словно почуял вблизи цыгана-конокрада, как, наверное, всегда безошибочно чувствовал их в молодые и удалые годы.

Старик не ошибся, Гияз любовался именно его рысаком. «А, пеший татарин, — сказал старик как бы разочарованно, сгоня с лица тревогу, но, словно дразня и укоряя, продолжил: — Смотри, любуйся, у вас таких красавцев уже нет, не тот пошел нынче татарин... — И после паузы грустно заключил: — Да и казак тоже...»

Конь, почуяв в голосе старика неподдельную печаль и будто желая прервать неожиданный разговор, шагнул к хозяину. Старик нежно обнял его красивую голову и, прижавшись к мягким ноздрям своего любимца, уже не замечая Гияза, приговаривал: «Терек... ну же, Терек». На тонкой старческой руке, поглаживавшей шею коня, болталась казачья нагайка.

И единственный раз в жизни Исламов, пожалел, что не имеет фотоаппарата и не умеет фотографировать.

На базаре в продовольственной лавке он выпросил пустую коробку из-под кубинского рома. Шум, толчея, смех, шутки, громкий разговор взбудоражили Гияза, заразили азартом, и он, балагуря, как и все вокруг, быстро накупил всякой всячины. В молочном ряду купил банку домашней простокваши и знаменитой казачьей брынзы, тут же рядом взял десяток яиц. Уже продавались первые помидоры и огурцы, но, видимо, цены кусались, покупателей в этих рядах не было, и потому торговли ему обрадовались. На выходе с базара он прихватил и хлеб — целый каравай, пышный, еще теплый. В сельские пекарни еще не пришла механизация-автоматизация, и хлеб мало чем отличался от домашней выпечки. Когда он вспомнил у моста про базар, у него затеплилась тайная надежда купить здесь икры и рыбы, настоящий белужий бок. Из той давней поездки, когда отец ремонтировал двигатель на казачьей мельнице, у него в памяти осталась сцена, про которую он часто рассказывал, но мало кто ему верил.



Когда Нури-абы починил мельницу и сделал пробный помол, мельник здесь же на мельнице, — не последнее место в селе! — организовал угощение. По такому случаю зарезали барана, чтобы работала мельница долго и надежно на радость станичникам. Резал барана и свеживал тушу сам Нури-абы. На застолье, кроме мельника, были приглашены какие-то уважаемые старики и староста, хотя и негласный, неофициальный, но имевший реальную власть над казаками. Здесь на мельнице Гияз впервые и попробовал икру, которую ели большими деревянными ложками из глубоких липовых мисок, и рыбу — розовую, жирную, вкусную, которую мальчик поначалу принял за какое-то диковинное мясо, такими большими и толстыми были куски. Все хвалили работу отца, выпивали за здоровье мастера. Тут же за столом и рассчитались с ним. Во дворе мельницы стояла наготове запряженная пароконная подвода, на которой их привезли из Озерного и на которой должны были доставить домой. Когда отец с сыном вышли к подводе, мельник вынес связанного за ноги барана.

— А это тебе, мастер, от меня лично, — и положил его в телегу, усталую свежескошенным сеном.

Староста что-то шепнул вознице и, усевшись вместе с ним, загадочно улыбаясь, велел трогать. Где-то на краю села телега остановилась, и староста пригласил Нури-абы с Гиязом в неприметный подвал.

Длинный низкий подвал, крытый толстыми, в два наката бревнами, был темен, и возница со старостой зажгли сразу два больших керосиновых фонаря. Внутри стоял ледяной холод, хотя льда не было, видимо, где-то совсем рядом проходили подпочвенные воды, — раньше в том, где строить и как, знали толк, хотя вроде и не учились столько, как сейчас. Лампы медленно разгорались, отгоняя тьму шаг за шагом, и Гияз вдруг увидел десятки огромных рыб с него ростом и поболее, которые висели на железных крюках головами вниз. Староста обходил, трогая и как бы обнюхивая каждую. И вдруг, найдя достойную его внимания, остановился, вынул из-за голенища сапога длинный нож, быстрым, ловким движением вырезал из спины три длинных толстых куска и молча протянул отцу. Затем он направился к боковой стене и поставил фонарь на широкую деревянную полку. Полки в два ряда уходили в темноту, на них лежали большие черные шары, величиной с футбольный мяч.





Возница подал не то небольшое ведро, не то бочоночек, и староста все тем же ножом, как масло, разрезал один шар пополам, рукой уложил в ведерко, заполнив его до краев, и передал все это ошеломленному Гиязу.

— Это от общества, от мира казачьего, мастер, — и староста низко поклонился отцу.

Но сколько Гияз ни выглядывал сейчас, ни открыто, ни тайком рыбой и икрой на базаре не торговали. А сколько ее было в этих краях, когда-то он видел сам. И теперь запоздало он понял отцовскую фразу: реку берегут...

Зато, выискивая продаваемую тайком икру, он наткнулся на цыган, — нет, не конокрадов, последние казачьи кони вряд ли их интересовали. Цыгане бойко торговали самодельными свитерами и пуловерами с фальшивой эмблемой далекого штата «Монтана».

Все купленные Гиязом продукты были аккуратно размещены в коробке, которую расторопная хозяйка хлебной лавки быстро и ловко перевязала шпагатом из-под бубликов. Не спеша, довольный покупками и живописным казачьим базаром, опять же мимо коновязи, у которой теперь одиноко стояла, опустив голову, старая пегая кобылица, направился он к стоянке. Издалека он увидел у своей машины плотное кольцо людей.

«Наверное, выезжая, кто-то крепко зацепил меня». Но эта мысль не вызвала у Гияза ни злости, ни огорчения. «Вот если бы ее угнали, я бы обрадовался», — подумал он и рассмеялся. Станица положительно возвращала ему утерянное настроение. Он с трудом пробился к своей машине и, поставив коробку на капот, достал ключи.

— Ты хозяин? — спросил какой-то возбужденный казак и, схватив его за руку, татараторил: — Я первый, я первый покупатель, я первый подошел...

Его не перебивали, но двое крупных мужчин молча оттирали его от Исламова, пытаясь обратить внимание Гияза на себя. Но тот мертвой хваткой вцепился в локоть татарина.

— Покупатель чего? — спросил растерянно Исламов, стараясь освободить локоть, в чем ему услужливо пытались помочь все те же двое крепких мужчин, по всей вероятности, не здешние.



— Да ты, брат, шутник, — нервно рассмеялся, не выпуская локтя, взволнованный казак. — «Волги», дорогой, вот этой красавицы белой.

— А кто вам сказал, что она продается? — наконец освободив, не без чужой помощи, локоть, спросил, приходя в себя, Исламов.

— Ты что, псих? На самом видном месте базара поставил машину, надраил как на парад, а теперь — не продается? Хитер, брат. Цену хочешь нагнуть? — сказал возмущенно казак, и толпа вокруг зашумела.

Гияз понял, что поставил машину на автомобильном базаре, издали очень похожем на аккуратную автостоянку. «Конный базар, сенной базар, птичий базар, — мелькнула мысль, — а теперь вот и автобазар. У каждого времени не только свои песни, но и свои базары».

— Извините, я приезжий, проездом. Не знал. Машина не продается, — ответил уже раздраженно Гияз.

Толпа медленно стала редеть.

Гияз открыл багажник, рядом с ним, слева и справа, склонились головы все тех же крепких мужиков.

— Молодец, разогнал шушеру. Мы берем машину, очень понравилась, на экспорт, наверное, сделана.

— Не на экспорт, а персонально, — перебил Гияз, закрывая багажник.

— Тем лучше, за версту видно, особенная, — продолжали обрадованно крепыши. — Тридцать тысяч даем, мелочиться не будем, по душе нам машина. По рукам?

— Не продается машина, я же сказал, — ответил устало Гияз и открыл переднюю дверцу.

«Волга» медленно тронулась с места... В приоткрытое окошко всунулась голова одного из настырных покупателей.

— Тридцать пять даю, дорогой, последняя, красная цена, — умолял он, цепляясь за руль.

— Не продается, — ответил Гияз и рванул машину так, что все вокруг шарахнулись в стороны.

Только выехав за околицу станицы, он сбросил скорость и повернул к мосту. Здесь на лугах, у реки, он и решил провести день.

Не шел из головы базар: цыгане, вряд ли представлявшие, в какой стране находится штат Монтана, и занятые столь



странным ремеслом; старый казак, хозяин красавца Терека, его долгая и, конечно, не простая жизнь, торги на автомобильном базаре...

— Тридцать пять тысяч...

Но цифра, произнесенная вслух, не будила в нем никаких чувств, хотя он и понимал: деньги охо-хо какие, иной человек за всю свою жизнь такие вряд ли заработает — библиотекарьша, медсестра, например, да и рядовой инженер, пожалуй. Стоило ему только захотеть, и без особых угрызений совести он мог распорядиться такой суммой. Но даже абсолютная реальность стать владельцем многих тысяч — стоило лишь повернуть назад — не вызвала в нем ни сожаления, ни сомнений, потому что он был убежден, что прав никаких на эту роскошную машину, вызывавшую зависть многих, не имеет, даже являясь единственным сыном и наследником Нури Исламова.

Он съехал по следу косилки в луга и долго ехал вдоль берега, выбирая удобное место и для себя, и для машины; мест красивых было много, оттого и выбрать оказалось трудно. Вскоре он нашел поляну, которая, по всей вероятности, служила местом отдыха косарям в сенокос, а уж кто лучше местных краше место отыщет, потому он и остановился. Привлекла его и копанка — слабый родничок, с любовью обложенный битым кирпичом. Сколько поездил Гияз на своем веку, а копанки встречал только здесь, в родных местах. Невдалеке он увидел и старое кострище, которое явно использовалось не один раз, и это тоже обрадовало его. Осмотрев окрестные кусты, он нашел треногу, закопченный казанок и даже запас привезенных из станицы дров. Но дрова Гияз решил не трогать, времени у него было предостаточно, никуда он не спешил, нигде его не ждали, и он намеревался поискать сушняк на берегу и в тальниках.

С реки в сторону луга тянул слабенький, едва ощутимый ветерок, влажный, вязкий, с запахом воды, мокрого берега, а над цветущим лугом и молодыми стогами стоял густой запах трав, запах горячего лета, и казалось, здесь, у копанки, где расположился Гияз, эти запахи реки и луга соединились, растворялись один в другом, рождая неповторимый аромат, круживший голову, пьянивший душу — и никуда уходить отсюда не хотелось. Солнце уже стояло высоко, время перевалило за полдень, но здесь на лугу у реки жара не чувствовалась —



приятное, мягкое, покойное тепло, располагавшее к созерцанию, любованию, покою. Но вот с покоем как раз ничего и не выходило, хотя он всячески гнал мысли о сестрах, зятях, отчем доме. Вдруг почему-то вспомнил слова Федора, сказанные им вчера в машине, когда они за пивом ездили: «деловая», «деловой» ... Это он о Фариде с Халияром. Нет, Федор сказал без зависти, но и без осуждения, а может, сдержался при нем? Закружилась мысль вокруг двух, в общем-то, обычных слов... Деловая, деловой — как бы они поступили сейчас, на базаре, окажись в отцовской машине? Скорее всего, превратили одну «Волгу» в четверо «жигулей» — всем сестрам по серьгам, как говорится. Тем более, что деловая Фарида в райисполкоме сидит, сама списки на получение машин печатает. Как-нибудь, если не в один заход, то в два-три наверняка вклинилась бы в очередь и вырвала бы машину сначала себе, потом сестрам...

Халияру, например, как лучшему диск-жокею района — чем не подходящая формулировка при распределении, — а может, даже лучшему бармену, учитывая перспективу роста и открытие пивбара. Себе — как единственной женщине-юристу в районе — вполне убедительно. Ну, а оформить машину на Федора с Алексеем и вовсе не составит труда, были бы деньги, — рабочий класс! Тут уж Фарида как юрист нашла бы что сказать: и его величество, и гегемон, и землешаец-кормилец — в глубинке очень реагируют на такие слова.

Скорее всего, так бы оно и случилось. А затем бы наступил черед дома. Фарида уже вот-вот получит казенный коттедж на главной улице поселка, где живет все начальство и интеллигенция Озерного. Перевезет мать к себе или к сестрам — что делать старой женщине одной в огромном особняке? — а дом пойдет с молотка. От этих мыслей Гияз аж сплюнул и, крикнув на ветер: «Не выйдет!», показал кукиш в сторону Озерного.

Удивительно, но этот всплеск ярости отогнал прочь тягостные мысли. Запалив небольшой костерок, он сварил в казанке яйца, часть всмятку, часть вкрутую. С аппетитом, от которого давно уже отвык, пообедал.

Потом долго и с удовольствием купался в реке, название которой так и не удосужился узнать у кого-нибудь, загорал на песчаных дюнах, напоминавших ему Палангу.



Солнце стало клониться к западу, и от стогов потянулись, все удлиняясь, лохматые, причудливые тени. Возвращаться было рано, да и не хотелось покидать этот райский уголок. И Гияз, чуть разворошив стог, расстелил старое одеяло из машины, служившее вместо чехла, и прилег.

Запах стога напомнил ему сеновал в старом доме, куда зимой загоняла ребятню стужа или метель. Забившись в тепло сеновала, в кромешной тьме рассказывали они друг другу страшные истории о колдунах и колдуньях, нечистой силе, привидениях. Удивительно, как популярны были тогда подобные истории в маленьких местечках! Незаметно он заснул — сказалось вчерашнее послеобеденное застолье, да и сегодняшний непростой день.

Проснулся Гияз глубокой ночью, прямо над ним в высоком летнем небе сияли звезды — такого высокого неба и столько звезд сразу он не видел давно. Он долго лежал, не ощущая прохлады, потому что ночь оказалась на редкость теплой. Ночное небо с падающими и угасающими звездами, яркими созвездиями, названий которых, кроме Большой Медведицы, он не знал, было таким же притягательным, как река, лес, луга, он не мог оторвать глаз от звезд, казалось, они струили на него покой и нежность. И тут неожиданно пришел ответ на мучившие его все эти дни вопросы. Гияз понял, что ему надо делать. От удивления он даже вскочил, ощутив в себе необыкновенную силу и бодрость, вроде и не ночь стояла кругом. Он снова разжег костер, поставил казанок и заварил мяту, так делали они в детстве в ночном или на рыбалке.

Наверное, его яркий костер в ночи был виден с высокого казачьего берега, где еще гуляли влюбленные, а может, даже и в космосе. Ведь говорят, подними голову — тебя разглядят космонавты. И как бы посылая привет в космос, он поворошил угольки костра, и тысячи искр, земных звезд, взметнулись к небу. Если бы действительно его разглядели космонавты, наверное, они бы позавидовали Гиязу: ночь, тишина, даже не слышно цикад, только изредка в реке плеснет большая сонная рыба, да чуткая лягушка от страха, на всякий случай, плюхнет с широкого и удобного листа кувшинки в воду, и костер, от которого глаз не оторвать, и вечное таинство огня...



Сушняк кончился, костер догорал, но уходить не хотелось, и он пошел к реке. Бесшумно, словно боясь вспугнуть сон всего живого в ней и вокруг нее, несла она свои воды к Уралу. Только бессонный озорной ветерок, неподвластный реке, вдруг шуршал береговым камышом, снимал дрему с усталых раек, склонивших свои ветви к самой воде, словно ища и прося у реки заступничества. Остывший за ночь прибрежный песок ласкал, успокаивал босые ступни и словно приглашал пройтись, наглядеться — когда еще такое увидишь, разве что во сне. Он прошелся вдоль берега по мелководью — вода, вобравшая долгое летнее солнце, была теплее, чем днем. Он быстро разделся и поплыл — осторожно, бесшумно, — кощунственно было будить тишину... Машина, стоявшая под стогом сена, пропахла разнотравьем, лугом. Включив дальний свет фар, так, что стали видны дремлющие, чуть поникшие к ночи цветы, одинокие и сиротливые стога, Гияз медленно выехал на дорогу. Проехав мост, включил приемник — разноголосый эфир ворвался в салон машины, но он легко нашел музыку, наверное, она передавалась для таких полуночников, как он. Быстрой езды, как он и предполагал, не получилось, хотя дорога была уже знакомой и ни одного огонька навстречу. Степь, травленная и перетравленная пестицидами-гербицидами, кстати и некстати паханная и перепаханная, перерезанная гулками шоссе, автострадами, железной дорогой, пропахшая бензином и круглосуточным дымом с оренбургских нефтепромыслов, искореженная телегами, трейлерами, изрезанная многими нитками нефтепроводов и газопроводов, подземными кабелями телеграфных, телефонных иных коммуникаций, — не погибла и жила неожиданной для Гияза активной жизнью.

Иногда дорогу переползали какие-то змеи, ужи, полчища лягушек. То вдруг в свете фар плясал ослепленный тушканчик, не зная, куда скакать. Дважды перебежали дорогу тощие, лисьи лисы. Однажды ему пришлось даже остановиться: через шоссе, видимо, на водопой, трусило стадо сайгаков, и среди них неокрепший, молодой приплод. Бедным животным, к сожалению, был знаком луч автомобильной фары браконьера, и Гияз, чтобы не разогнать их, чтобы не растерялись в ночной степи, в опасной близости от дороги беззащитные сайгачата, долго стоял у обочины, погасив свет. Особенно много было



зайцев — они, кажется, даже не боялись машины, видимо, придорожная жизнь приучила. Но если ослепительный луч фар прихватывал их, они, как и тушканчики, растерянно метались по шоссе. Вдоль железнодорожной лесополосы часто встречались ежи, — странно, что они делали по ночам у путей? Увидел он и барсука у норы возле переезда — тот не испугался, не юркнул под землю, а, виляя жирным задом, заковылял в темноту. У пшеничных полей было царство сусликов — вот кого не берет ни пестицид, ни гербицид, жиреет себе на здоровье и плодится несметно. Здесь же, на пшеничном поле, вблизи леса, повстречались ему совы — большие, ленивые, старые. Удивительно, еще утром ехал по этой же дороге, ничего не видел, не замечал, даже не предполагал, и вдруг ночь открыла для него затаившийся от людских глаз неожиданный мир. Поразительная ночь! Даже ради этого дня, ради случайного путешествия стоило возвращаться в отчий дом.

Стало светать, начали меркнуть и гаснуть звезды. Незаметно очищались от ярких созвездий огромные полосы небосвода, еще минуту назад бархатно-черный подклад неба вмиг посерел, чтобы с первыми лучами зари ярко, по-летнему заголубеть.

Въезжал он в Озерное со стороны старого кладбища, где был похоронен отец. Мусульманские кладбища просты и неприхотливы. Нет там буйства зелени и роскошных памятников, зачастую нет и кладбищенского сторожа. Кладбище было обнесено глиняным дувалом, от времени дувал крепко осел, был частично размыт затяжными осенними ливнями и весенними паводками и местами рухнул. Мать говорила, что какой-то казах, чабан, завещал крупную сумму денег на новый забор для кладбища, но дети второй год опротестовывают в судах завещание, утверждая, что отец был невменяем, да только ни один свидетель, кроме родни, не хочет брать грех на душу и подтвердить это. Чти отца своего!

Гияз оставил машину у входа. Уже рассвело, и легкие, дымчато-снежные рассветные облака, которые исчезают с первыми жаркими лучами солнца, заполнили вместо звезд по-утреннему свежий небосвод. Пала роса, и кусты чахлой серой полыни были влажны, выжженная солнцем трава не хрустела под ногами, и вытоптаные дорожки, разбежавшиеся веером от входа по громадному кладбищу, еще не пылили.



Могила Нури-абы была скромной, как и прочие, только оградка, выкованная в колхозной кузнице, была шире, выше, затейливее и казалась надежнее, чем остальные. Оградка была выкрашена металлическим лаком — черным, блестящим. Что ж, Федор постарался, делал для учителя, тестя, мастерового, от сердца, что называется. Большой букет роз из домашнего сада, что принес сюда Гияз в день приезда, увял, спалило немилосердное степное солнце. Он открыл калитку, убрал высохшие цветы и тут у изголовья могилы увидел тонкие, неокрепшие, но дружно пошедшие в рост стебли татарника, целый куст. Самый тонкий, слабый стебелек кончался алым, распутившимся недавно, может, даже сегодня, цветком. Последний дар земли, нежнейший цветок невзрачного, но большой жизненной силы татарника, покачиваясь, словно шептал: спи спокойно, Нури Исламов, мастеровой, землешаец..

... Озерное медленно просыпалось, хлопали калитки, скрипели несмазанные ворота, гремели ведра в колодцах, проспавшие хозяйки спешили с подойниками к коровам, переулками уже выгоняли скот в стадо. Гияз аккуратно, не гремя, распахнул ворота и заехал во двор, заводить машину в гараж не стал — не хотел тревожить сладкий утренний сон домашних. С тех пор, как умер отец, корову не держали — кому добывать сено, ухаживать, доить? Мать часто болела, а Фарида отродясь не держала подойник в руках, да и зачем? С молоком проблем не было, в райисполкомовском буфете его всегда купить можно.

Гияз осторожно прошел к себе в комнату. Окно спальни, как обычно перед сном, было распахнуто в сад, постель аккуратно расстелена, а на прикроватной тумбочке стоял графин с водой и опрокинутый вверх дном высокий стакан. Гияз торопливо разделся и нырнул в постель, тишина дома манила ко сну.

Проснулся он неожиданно, как и заснул, судя по солнечному зайчику, гулявшему в комнате, спал недолго. Из сада, где обычно в затишке стоял поутру самовар, потянуло дымком — так случалось каждый раз, когда вдруг среди деревьев пробежал, озоруя, какой-то шальной ветерок. Мать всерьез уверяла, что у них в саду гнездо молодых шаловливых ветров. У него в запасе было всего три-четыре часа, и он легко, не задумываясь и не нежась, встал.





— А, сынок, доброе утро, — только и сказала мать, словно ничего не случилось и не отсутствовал он невесть где целые сутки.

Жизнь с отцом научила ее не задавать вопросов мужчинам — сочтут нужным, скажут.

Машины во дворе не было, видимо, Халияр загнал ее в гараж. Пока он не скрылся в душевой, мать успела спросить:

— Тебе яичницу или оладьи, сынок?

— И оладьи, и яичницу, — сказал он, улыбаясь, и ответ его успокоил прятавшую тревогу мать.

Мылся он долго, пока не кончилась в баке вода, вспоминая вчерашнюю безымянную речку, воды которой безжалостно разбирали на полив прибрежные колхозы. Жалко было ее, пропадет, наверное, если не поможет человек: почистит родники, перестанет без надобности и учета забирать воду. А если пропадет эта речушка и ей подобные — пропадет хилеющий год от года Урал-батюшка, некогда могучая река, кормилица казачьих станиц и татарских аулов.

За завтраком торопливо, сбивчиво мать сказала:

— Гияз, сынок, дни отпуска бегут, а ты совсем не интересуешься своими делами, сестер беспокоит твое... как сказать... даже не знаю... Они хотят спросить, что ты надумал?

— О чем ты, мама?

— Да о машине, о доме. Мы с тобой никогда не говорили на эту тему, не было ни повода, ни времени, да и ты не интересовался ни в письмах, ни сейчас. Наверное, догадываешься, что дом и машину отец завещал тебе. Отец говорил, что ты единственный Исламов, продолжатель некогда большого рода, знаешь ведь, всегда это тревожило и беспокоило отца, он жалел, что ты один сын, хотя дочерям грех на него жаловаться, любил он их. Всех выдал замуж, помог отстроиться, встать на ноги. И все-таки наследником тебя считал. Но сестры твои решили, что машины для тебя вполне достаточно. Я уж и так, и эдак, говорю, мол, негоже против воли отца идти, а они словно чужие, все считают-пересчитывают, сколько может стоить дом. А воду-то мутит Фарида, любимица отцова. Когда она в Москве училась, ни в чем отказа не знала, вот и вышла своевольница. Вижу я, как Федор с Алексеем мучаются, стыдно им тебе в глаза смотреть. Сдерживают своих жен, говорят, мол, нехорошо все



это, да Фарида с Халияром подкручивают Гульфию и Альфию, да так ловко, и где только научились, ведь молодые совсем. — Мать украдкой смахнула краешком платка набежавшую слезу. — Слава богу, что Нури всего этого не видит, ведь он о таком и подумать не мог, — тяжело вздохнула мать.

— Дом, значит, хотят продать? — не то спросил, не то сказал для себя Гияз, и завтракать ему расхотелось. — Чтобы чужие люди жили, чужие внуки рождались в нем, — продолжал он, выходя из-за стола, — чтобы наш дом стал домом Иванова или Валиева, или кого там еще? Испокон веку дом носит имя хозяина! Ведь не для чужого дяди, не для больших барышей ставил дом отец.

— Сказал бы ты, сынок, об этом не мне, а сестрам, может, и одумались бы, пожалели имя отца. На всех же углах будут склонять имя Исламовых, не хотелось бы мне на старости лет такого позора.

— Не бывать этому, — Гияз обнял вздрагивающие плечи матери. — Дом, как ты сказала, принадлежит мне, и я его никогда не продам. Дом, это я сейчас только понял, главное дело отца, и он должен для всех нас, настоящих и будущих Исламовых, быть прибежищем в этом мире, мне кажется, таким мыслил свой дом отец. — И после долгой паузы, обращаясь то ли к матери, то ли к себе, сказал твердо, как будто принял решение, не подлежащее обсуждению:

— Нельзя жить одним днем, сиюминутной выгодой, и кто-то должен брать на себя ответственность, даже если это и не всем по нутру. А насчет сестер... Бог с ней, с машиной, пусть распоряжаются как хотят. Машин у отца во дворе было немало, и не в машине душа его. Может, утихнут страсти, и поймут родные сестры мои, что не корысть привела меня сюда.

— Ты решил вернуться домой, сынок? — с надеждой спросила мать.

— Не знаю, мама. По крайней мере, до сих пор я об этом не думал.

— Зачем же тебе тогда дом, возьми машину. Ты молод и, наверное, в большом городе машина нужна, да и денег, говорят, она теперь стоит немалых. С ума все от этих машин походили.

— Мама, ты меня не поняла. Ни дом, ни машина мне не нужны. Но раз так случилось, что я должен распорядиться



судьбой дома, я оставляю его за нашей семьей. Ведь для отца было неважно, буду в нем жить я или кто-нибудь из внуков. В этом доме должен продолжаться его род. Вернусь ли я? Не знаю. Но в нашем доме должны жить внуки Исламова. Если Фарида с Халияром уйдут, прошу тебя, не оставляй дом, возьми на постой квартиранток, девушек, учительницу или практиканток каких. Пока ты будешь в доме, я буду знать, что комната с окнами в сад всегда ждет меня.

— Я теперь совсем запуталась, сынок, выходит, тебе от отца ничего не досталось и ничего не надо? Отказываешься от машины? Даже от доли после продажи? Как понять вас, детей моих — одним отдай хоть все, не откажутся, другому ничего не надо? Ох, сынок, чую сердцем, что-то в жизни у тебя не так, что-то гложет тебя, не в радость тебе ни машина, ни деньги. Если бы жив был твой отец!

«Отец, наверное, хотел бы передать мне главное: ответственность за дом, за род, за тебя, мама, за сестер, за землю, за будущее — ту ответственность, которая, увы, пока оказалась мне не по плечу...» Но вслух он об этом не сказал, вслух сказал другое:

— Мама, я сегодня уезжаю.

Мать чуть не выронила чайник.

— Как сегодня, в понедельник? Не попрощавшись с сестрами? — засуетилась она, не зная, чем бы задержать сына. — Никто в понедельник не пускается в путь, говорят, удачи не будет, примета такая есть, — говорила она, не веря в силу и убедительность своих слов.

Чем-то Гияз был похож на отца, скажет — не отступится. «Исламовы все такие», — любил повторять Нури-абы, и мать сейчас это почувствовала.

— А я уеду по-английски, — попытался отшутиться, увести мать от грустных мыслей Гияз.

— Как это по-английски? — переспросила удивленно мать.

— Не попрощавшись. Взял да уехал незаметно. У них так принято...

— У них, может, и принято, а по мне — не по-человечески так, тайком. Волк, что ли? — обиделась мать.

— Знаешь, есть вещи, которые нужно делать не откладывая, по-мужски, ты должна понять меня, мама...



Мать ничего не ответила и, смирившись с его решением, ушла в дом собирать сына в дорогу, как много раз, и зачастую неожиданно, приходилось ей собирать в путь мужа.

Гияз тоже вернулся к себе в комнату и стал складывать вещи. Когда чемодан уже стоял у двери, в глаза ему бросился пакет на диване, что третьего дня назад принесла ему мать. Он совсем забыл про него.

Перевязанный крест-накрест шпагатом пакет был объемистым и тяжелым. «Если в этом доме что и принадлежит мне, так, бесспорно, этот сверток, — подумал он и уложил его в дорожную сумку. — Почему мать отдала мне письма, фотографии, может, что-то хотела этим сказать, о чем-то напомнить?.. Будет над чем поразмыслить в долгой дороге», — мелькнула вдруг мысль.

У него было еще достаточно времени, и он решил пройтись по Озерному, попрощаться. Когда еще он заглянет сюда? На этот вопрос Гияз не мог ответить даже самому себе.

Гулял он долго: был на речке, обошел безлюдную, обветшавшую школу, прошел мимо дома Натальи, так и не рискнув заглянуть за высокий забор — росла ли там сирень?

Когда он вернулся домой, стол во дворе был накрыт заново, вместо будничной клеенки белела туго накрахмаленная скатерть. Мать как раз несла к столу самовар.

— Давай, сынок, выпьем чайку на дорожку, — сказала она с грустью, и Гиязу стало очень жалко ее.

Разговор не получился, каждый думал, наверное, о своем.

— Пора, — сказал Гияз, вставая из-за стола. — Нужно еще билет купить... — И пошел в дом за вещами.

До самой станции он шел и останавливался: со стороны могло показаться, что у него тяжелые вещи, но это было не так. Каждый раз, останавливаясь, он смотрел в сторону дома, и как бы далеко ни ушел, отовсюду была видна голубая ель — дерево отца...

## Часть II

Сразу за Озерным на железной дороге велись ремонтные работы, и поезда шли с ограничением скорости. Гияз бросил вещи в пустое купе и долго стоял в коридоре у открытого окна. Поезд словно специально затягивал прощание,



дожидаясь встречных у светофоров, и потом неспешно набирал ход. Перед Гиязом проносились поля, дороги, перелески, овраги, холмы... Здесь, в этих местах, с бескрайних полей он с отцом много лет убирал хлеб и помнил хлебную ниву до горизонта. И тут впервые за эти дни пришли к нему совершенно новые мысли.

Как сложилась бы его жизнь, останься он в Озерном? Был бы он счастлив? Прожил бы дольше отец, стань Гияз ему надежной опорой и оправдай его надежды? А сестры? Любил бы он их, любили бы они его, как и определено природой? Что дал бы он Озерному, родной земле, какой бы след оставил? Сожалел бы о том, что не кинулся в мир сломя голову, как кидались и исчезали навсегда многие его сверстники? Наполнил бы свою фамилию новым звучанием, или так и остался бы навсегда лишь сыном Нури Исламова?

Вот сколько вопросов вызвали в нем медленный ход поезда и родные места, проплывавшие за окном. И мелькнула в памяти тоже, наверное, кем-то выстраданная строка:

*Что принесли ему чужие дали?  
Что дали сердцу тысячи дорог?*

Гияз прошел к себе в купе, распахнул дорожную сумку, вынул спортивный костюм — современный вариант пижамы в дороге — и опять на глаза ему попался пакет, переданный матерью. Он некоторое время раздумывал, но потом достал его и положил на купейный столик. Вагон был новенький, с иголки, наверное, вышел в первый рейс. Просторное двухместное купе с яркой, цвета сочной зелени обивкой диванов и удобного кресла у столика располагало к приятному путешествию, бесшумно работал кондиционер, из репродуктора лилась негромкая мелодия. «Полнейший комфорт, — усмехнулся Исламов, — вот еще бы и настроения чуток». И как ни было уютно в прохладном купе, его тянуло в коридор, к окну.

Проехали Актюбинск, и потянулась выжженная, ровная казахская степь, скудные, однообразные пейзажи. Чтобы видеть и понимать степь, а значит, и любить ее, нужно на ней родиться, сказал когда-то Гиязу вот так же в дороге, в поезде, какой-то старик-казах, случайный попутчик.



Он долго стоял в прохладном безлюдном коридоре вагона, вглядываясь в послеполуденную, знойную степь, в эти часы казавшуюся вымершей; все живое затаилось, замерло в ожидании спасительной ночи. Хотелось думать о Ташкенте, о своем преждевременном возвращении из отпуска, о том, как провести оставшиеся дни и какие неотложные дела ждут его там, дома. О Даше, которой не сказал ни слова о своем отъезде. Тут же у окна спохватился, что не везет подарка Закирджану-ака, и это расстроило его. Но мысли эти были вялые, разрозненные. И вдруг Гияз поймал себя на том, что все время возвращается мыслями к свертку, лежавшему на купейном столике.

«Будет чем заняться в дороге», — решил он как бы вскользь, мимоходом, но равнодушие это было показное, мысли все настойчивее кружились вокруг свертка, и он вернулся в купе.

Взяв пакет в руки и внимательно осмотрев, Гияз понял, что перевязан он очень давно и без расчета, что скоро попадет к адресату. Это несколько успокоило его. Ему почему-то казалось, что мать связывала пакет с его нынешним приездом и что-то хотела этим сказать или напомнить. Шпагат был старый, растрепанный, узлы от времени затянулись, и развязать их оказалось непросто. Пришлось прибегнуть к помощи ножа. От резкого движения тупого лезвия пакет вырвался из рук, и на яркую зеленую обивку дивана посыпались фотографии, открытки, записки, телеграммы, письма, много писем.

Он стоял растерянно над разлетевшимися по всему дивану бумагами, фотографиями и не решался взять ни одну из них в руки.

«Неужели я столько писал?» — мелькнула мысль. Среди писем попадались и адресованные ему, и даже несколько нераспечатанных. Конверты, цвет бумаги, печать, выцветшие чернила, любая деталь — все это носило отпечаток времени — времени его молодости, его надежд.

«Да, вот она, моя жизнь, зафиксированная такой, какой была, без желания покрасоваться, показаться лучше», — думал Гияз, не пытаясь привести в порядок, хоть как-то систематизировать, хотя бы хронологически, письма и фотографии. Если уж начал ворошить свою жизнь, не мешает поглубже копнуть те времена, когда казалось, что все еще впереди, и первый орден в тридцать лет — тоже.



Одно письмо упало отдельно и лежало адресом вниз. Гияз взял его первым.

«Здравствуйте, дорогие папа, мама и милые мои сестренки...» — начиналось письмо, старательно написанное на хорошей, как говорили тогда, лощеной бумаге. — О выпускном бале, вручении дипломов я уже подробно писал, и, надеюсь, письмо это, последнее из Омска, вы получили. А пишу вам с места моего назначения, из города, где мне предстоит работать. Работать инженером. Папа, ты слышишь: ин-же-не-ром! Ты ведь так хотел, чтобы Гияз Исламов стал инженером, хотя, честно говоря, отец, я всегда завидовал и завидую твоим знаниям, приобретенным опытом, и твоим умелым рукам. Должен признаться, что хоть я и окончил институт, все равно ощущаю громадный разрыв между знаниями и делом. Это я уловил еще на практике. То ли практика хочет обойтись без накопленного человечеством знаний, упрощая все до предела, то ли знания оторвались от жизни и живут сами по себе, но единства, союза науки и производства не чувствую. Боюсь, это может помешать мне, ведь я не собираюсь работать как-нибудь. Стоило ли тогда столько учиться, получать диплом с отличием?

Кстати, мой красный диплом ни у кого, кроме вас, и еще, пожалуй, Натальи, не вызвал ни восторга, ни удивления. Скорее даже наоборот. В отделе кадров женщина, оформляя меня и моего однокурсника Юру Силкина, увидев мой диплом, не преминула поддеть: «Умный, значит». И главный инженер, беседуя с нами, тоже как-то странно посматривал на меня и, заканчивая беседу, сказал: «А у кого какие знания, мы еще посмотрим». И теперь я чувствую, мне по поводу и без повода будут устраивать всякие экзамены, и мои промашки незамеченными не останутся. Но вы не переживайте, здесь без работы не останется даже человек с моим дипломом, стройка на стройке, три треста, десятки СМУ — не пропаду. Дали жилье, отдельную комнату в итээровском общежитии — все новенькое: и само общежитие, и обстановка, даже приемник с проигрывателем есть в каждой комнате. Но больше повезло Силкину, моему однокурснику. Нас распределили в один трест.

Так вот, о Силкине: он-то уже женат и даже отец прекрасной двойни и потому переживал, как быть с семьей, где жить?



А ему сразу квартиру, и даже на выбор — двухкомнатную или трехкомнатную. Ну, зачем ему трехкомнатная, в футбол, что ли, играть, взял двухкомнатную. Рад, ждет семью. Вообще трест «Заркентсвицецстрой» солидный: строит и комбинат, и город одновременно, с квартирой, как я понял, в дальнейшем проблем не будет. Дали подъемные, сто сорок рублей, оклад прораба, оплатили проезд, суточные, так что я при деньгах. Говорят, прорабы, кроме оклада, получают разные премии, надбавки, так что буду зарабатывать — будь здоров! Куплю кое-какие зимние вещи и костюм, а потом начну высылать вам деньги, пригодятся на строительство дома.

В следующем письме расскажу о самой работе, о городе.

До свидания, обнимаю и целую всех, ваш сын и брат Гияз.

Да, пишу за настоящим письменным столом. Удобный, красивый, медные ручки».

«Прекрасное время, когда даже письменный стол был в радость и казенная полированная мебель вызывала восхищение», — подумал Гияз и улыбнулся.

Однообразный пейзаж за окном, уютное купе, сумка с домашней снедью и гора писем на диване напротив, каждое из которых, как волшебная машина времени, может вернуть тебя в прошлое — только протяни руку...

Вязкие степные сумерки сквозь толстые стекла пробились в купе, и в углах уже затаилась темнота. Гияз включил свет. Под грудой писем виднелся угол большой фотографии. Исламов подумал, что это снимок их школьного выпуска, и достал его. Кого ему хотелось увидеть в той дали — себя, Наталью, давно забытых одноклассников? Но он не угадал. Фотография, сделанная профессиональной рукой и в свое время обошедшая немало газет, запечатлела футбольную команду «Металлург», победителя пятой зоны чемпионата СССР по классу «Б». Была когда-то и такая классификация. Наискосок в правом нижнем углу четким каллиграфическим почерком шла надпись жирным красным карандашом: «Гие Исламову — первому болельщику «Металлурга», нашему другу — на память о нашей победе, нашей молодости» — и размашистая подпись капитана команды Джумбера Джешкариани.

Гияз перевернул фотографию, вся обратная сторона в разноцветных автографах футболистов. Фотография была сделана





сразу же после игры, когда были добыты желанные два очка, делавшие «Металлург» недосыгаемым для противника.

Джумбер с аккуратным пробором, в тщательно заправленной футболке сидел, улыбаясь, в первом ряду на корточках, у ног его покоился кубок, который он слегка придерживал рукой, а вокруг него стояла счастливая команда.

Как меняются иногда с годами наши вкусы, пристрастия, привычки! Того, кто предположил бы, что Гияз Исламов когда-нибудь разочаруется в игре, перестанет ходить на футбол, подняли бы на смех. А впрочем, такого человека просто не нашлось бы. Как детскую считалку, без запинки, — разбуди его даже среди ночи, — он мог назвать поименно дубль любой команды класса «А», не говоря уже об основном составе. Иногда зимой, когда ни о каком футболе не могло быть и речи, вдруг среди ночи чудился ему репортаж. Схватив с прикроватной тумбочки транзисторную «Спидолу», — они тогда только появились и были редкостью, — начинал крутить ручки настройки: ведь он ясно слышал шум трибун, тугой звук летящего мяча, трель судейского свистка.

Гияз принадлежал к тем поклонникам игры, которые, однажды в послевоенном детстве услышав из картонных тарелок черных репродукторов рваную скороговорку Синявского, полюбили эту игру на всю жизнь. Синявского не слушали в одиночку. Гияз помнит, как в Озерном у ребят постарше в день большой игры с утра не сходило с уст: Бобров... Хомич... Пайчадзе... Они заранее сговаривались, где, у кого будут слушать репортаж. Черная тарелка выносилась на улицу, где на завалинке уже загодя дожидалась компания, обсуждавшая предстоящую игру. Мальцы поначалу не подходили — знали, шугнут, надо дождаться начала репортажа, а еще надежнее — острой атаки, тогда не заметят, не отвлекутся. Что могли понимать семилетние пацаны в футболе, да еще на слух, но, замороженные голосом, страстью комментатора, неподдельным вниманием старших, авторитетных ребят, выстаивали оба тайма, рискуя еще и подзатыльник заработать, если проигрывал любимый «Спартак».

Он и Глорию заразил футболом. Она многое в жизни любила и делала страстно — и футбол, по сути своей тоже страсть, нашел в ней благодарную почитательницу. Как любила она



их поездки вдвоем или вместе с «Металлургом» на игры «Пахтакора» в Ташкент, где играли в те годы знаменитые Красницкий, Стадник, Абдураимов... Как она умела болеть! Это надо было видеть, слышать! Нет, она не вскакивала, не кричала до хрипоты, не свистела, но минут через десять все вокруг нее наэлектризовывалось. Ее симпатии становились симпатиями окружающих, к ее репликам, хлестким, остроумным, прислушивались. И чутье у нее было поразительное, она чувствовала нерв игры и редко когда ошибалась в прогнозе. Как она радовалась победам или огорчалась поражениям «Металлурга» дома, в Заркенте, где играли их друзья! Джумбер, мокрый, злой, грязный, увидев в раздевалке Гияза, чуть теплея яростными глазами и говорил: «Гия (в команде его почему-то величали на грузинский манер), пожалуйста, уведи Глорию, стыдно в глаза ей смотреть за такую позорную игру».

А уж как счастливо, гордо несла команда с поля победу: каждый игрок, проходя мимо их трибуны, мимо их постоянных мест, словно гладиатор, клал победу, как драгоценный трофей, к ее ногам, и она, принимая, одаривала их не менее щедро — улыбкой, искренней радостью. Когда команда возвращалась с выездных игр с поражением, Джумбер, выслушав упреки Глории, отвечал шутя:

— Глория — талисман наш, там некому было дарить победу. Зачем мужчине победа, если некому ее дарить...

Гияз прекрасно помнил тот далекий осенний день, поразительно ясный, светлый, скорее похожий на весенний, хотя с гор уже несло предзимней свежестью. Его с Глорией буквально тащили сняться с командой, но Глория была неумолима.

— Это ваша победа, ребята, — говорила она, сдерживая волнение и слезы, целуя их мокрые, грязные лица, не замечая, что ее белое платье становится похожим на футболку Джумбера, отдавшего для победы все.

Познакомил его с Глорией футбол, а если точнее — Джумбер, но это одно и то же.

Странная вещь человеческая память: иное мы вспоминаем в цвете, в красках, с шумами, звуками, запахами и, что удивительно, вглядываясь в прошлое через время, иногда замечаем то, чего не было дано видеть тогда.



Заркент... В названии города для Гияза была понятная, слышная только ему музыка. У каждого есть город, при упоминании о котором вдруг вздрогнешь, и что-то внутри оборвется, и на миг сладко закружится голова. Город может быть любой: большой и маленький, старый или молодой, известный, знаменитый и тихий, с негромким названием, но не в этом дело — он должен стать твоим, частью твоего сердца. И, наверное, в таком городе должны закончиться твои последние дни, чтобы не разрывалось сердце от воспоминаний. Это единственное место, где хоть одна живая душа да останется свидетелем твоей молодости и удач, где хоть однажды предстоит услышать: «О, ты был орел, а какая у тебя была девушка, теперь таких уже нет...»

Наверное, кое-кто скептически улыбнется — Заркент? Ну и вкусы! Да, в справочниках по обмену жилплощади он котируется невысоко, а впрочем, зачем объяснять, оправдываться? Просто это не твой город, даже если ты и живешь в нем. Жаль человека, у которого нет своего города, это все равно что быть обреченным на бездомность.

Тогда Заркент, ошетилившийся в жаркое азиатское небо стрелами башенных кранов, строился денно и ночью, и то, чего не было вчера, могло появиться завтра.

К приезду Гияза в городе уже обозначились кое-какие контуры. В центре, на небольшом естественном возвышении, чуть в стороне от главной улицы уже высился красавец-кинотеатр «Космос» с небольшим уютным сквериком и фонтаном. Место это пользовалось у горожан большой популярностью и долгие годы, пока город не разросся и не появились другие, не менее примечательные ориентиры, служило местом свиданий. Но, пожалуй, особой гордостью Заркента в те годы был стадион. Недалеко от центра в огромной парковой зоне ему было отведено удобное место.

Хорошо спроектированный и умело построенный, изящный стадион на десять тысяч мест, с зимними спортивными залами, Дворцом водного спорта привлекал горожан, средний возраст которых тогда едва-едва превышал двадцать четыре года. Но этот небольшой стадион в молодом узбекском городе металлургов, городе, которому еще предстояло строиться и строиться, часто упоминался центральной прессой, особенно спортивной.



Дело в том, что это был третий в стране стадион, имевший гаревые дорожки, и ранней весной самые именитые гонщики, большей частью из Уфы, съезжались в Заркент на сборы. И каждое воскресенье соревнование: что ни имя, то многократный чемпион мира, многократный чемпион Европы, многократный чемпион СССР, и перед каждой фамилией заветные для каждого спортсмена три буквы: «з.м.с.» — заслуженный мастер спорта. Такими афишами нечасто балуют болельщиков и большие столичные города. И красный шарфик Габдурахмана Кадырова, известный на весь мир, не одну весну развевался на заркентском ветру. Что творилось на стадионе, когда в последнем, решающем заезде встречались Игорь Плеханов, Борис Самородов, Габдурахман Кадыров и кто-то четвертый — прорывавшийся в финал с лидерами соревнования. Асы были в силе, более одной дорожки не уступали, иной расклад был похож на сенсацию. Да и четвертым чаще других оказывался уже не раз уходивший и возвращавшийся на трек не менее именитый стареющий Фарид Шайнуров, или совсем молодой, невиданной отчаянности, словно коня поднимавший на дыбы мотоцикл, Юрий Чекранов — Чика, как ласково называли его в Заркенте. Побеждал чаще всего Борис Самородов.

По-девичьи изящный и по-девчоночьи стеснительный Габдурахман Кадыров, виновато улыбаясь в толпе своих поклонников, разматывая свой знаменитый шарфик, оправдывался — не вышло. Хотя ниже второго места опускаться себе не позволял, да и это второе зачастую определялось фотофинишем.

«Потерпите, я зимой возьму свое, не подведу вас», — обнадеживал кумир и отвергал платочки девушек. Гарь надушенными платочками не снимешь. И пока «гонялся», не было ему равных в спидвее, гонках на льду, так и ушел непобежденным, семикратным чемпионом мира и двенадцатикратным чемпионом СССР, и красный шарфик короля спидвея долго вспоминали на ледяных аренах многих европейских столиц.

Позже Глория как-то сказала Гиязу: ей хотелось, чтобы в новом Доме молодежи большую стену фойе украшало мозаичное панно «Мотогонщики», и не абстрактные лица гонщиков, а именно как было в жизни: Самородов — Кадыров — Плеханов, летящие к виражу, к первой дорожке, посередине —



обязательно Габдурахман с легендарным развевающимся шарфом.

И стоило ли удивляться, что кумирами молодого города были спортсмены? Что гонщики! Они, как мираж, покрасовались в своих кожаных комбинезонах и немислимых расцветок ярких шлемах известных фирм, вихрем пронеслись — и лица не разглядеть — и в один день, загрузив свои бесценные машины, которым уделяли больше времени, чем поклонницам, уезжали, оставив лишь сладкий запах особой заправки и гари на стадионе.

Истинными кумирами были футболисты..

Глория.. Он хотел найти ее фотографию, но тут же передумал. Зачем, стоит ему захотеть, и она встанет перед глазами. И вдруг с мыслью о Глории Исламову почудился в купе запах весеннего заркентского ветерка, там он особенный, потому что с трех сторон Заркент окружен горами и только к Ахангарану и Ташкенту выходит широкой, вольной степью. А в горах розово цвели миндаль и орех, и словно усыпанные большим снегопадом, стояли старые яблоневые сады — много гектаров, — и запах цветущего миндаля и яблонь, запах буйно зазеленевших гор тогда заполнял низину, дурманя и без того горячие молодые головы.

Да, познакомились они весной. Гияз уже работал старшим прорабом. Он отчетливо помнит и то, что день был субботний, рабочий, тогда о пятидневке только поговаривали. Начальник управления, строитель со стажем, по субботам разносы не устраивал, для этого хватало каждодневных и обязательных планерок. В конце совещания, смотря на своих мастеров и прорабов, поглядывавших в распахнутые настежь окна, сказал с притворным недовольством: «Вижу, вижу, что у вас весной на уме: футбол да этот, как его, спидвей. Весь город с ума посходил. Ладно, все. Бегите и вы». И отпустил минут на сорок раньше обычного. Линейщики, как мальчишки, рванулись к двери, вмиг устроив затор, кто-то из нетерпеливых даже выпрыгнул в окно.

Они, молодые, и не догадывались, что идея стадиона, как наиглавнейшего объекта для молодого города, принадлежала их суровому начальнику. И футбол он любил не менее своих горячих подчиненных, да только времени, как ни крути, на все



не хватало. Строительство такого важного государственного объекта, как свинцово-цинковый комбинат, абы кому не поручат. Начальник стоял у распахнутого окна, глядя, как его ребята, не дожидаясь маршрутных автобусов, дружно штурмуют идущие в город машины. «Пока у них есть такой азарт, интерес, комбинат мы обязательно построим», — думал хозяин опустевшего кабинета. А строить за первой очередью — вторую, за второй — третью, это на годы и годы. Не всякий выдержит двенадцатичасовой рабочий день и каждодневную ответственность за объект, за людей. Да и молодость должна остаться в памяти не одной стройплощадкой, уж это он знал.

Гияз помнил, как добирался на машине чужого СМУ до общежития, как спрыгнул почти на ходу, как летел на свой третий этаж, одолевая в три прыжка лестничный пролет, словно предчувствовал, что сегодня в его жизни должно произойти что-то важное, исключительное. Как просто было в молодости: принял душ, надел свежую сорочку, отутюженный костюм, глянул в зеркало — и куда усталость непростого дня девалась, куда только отодвинулись заботы, немалые для их лет и должностей. У каждого времени — свой стиль, манеры, жаргон, кумиры, своя мода, и если кто попросил бы Гияза назвать самую характерную черту молодежи его юности, он, не задумываясь, ответил бы — аккуратность и, пожалуй, постоянное стремление стать лучше, чем ты есть.

Законодателями мод в молодом городе слыли футболисты, ребята из Тбилиси, Москвы, Ташкента... А команда ориентировалась на своего капитана, беззаветно преданного футболу, классного игрока, человека предельно аккуратного, с врожденной грузинской элегантностью и вкусом. Небритый, со спущенными гетрами, мятой рубашкой футболист — картина, привычная ныне даже для международных матчей, а у Джумбера на рядовой матч в грязных бутсах, бывало, никто не выйдет.

Включив проигрыватель, Гияз одевался под музыку и вспоминал девушек-отделочниц, штукатуривших сегодня потолки главного корпуса. Казалось, после такой тяжелой работы не могло остаться никаких желаний, только бы добраться до общежития, отдохнуть. Ан нет, молодость брала свое: в конце дня девушки работали, пританцовывая и напевая веселую



песенку собственного сочинения, где припев кончался озорным: «О, суббота! О, суббота!»

А за окном субботний вечер уже вступал в свои права, из парка доносилась музыка, медленно пустело общежитие, зажигались уличные фонари. Поспешил и Гияз, у него уже были свои любимые места отдыха, к тому же он знал — приехали мотогонщики, на завтра афиши обещали большие гонки, и он догадывался, где сможет увидеть знаменитых гостей.

В начале шестидесятых досугу молодежи стало уделяться больше внимания, тем более поветрие это не могло не коснуться жизни такого города молодых, как Заркент. Дома молодежи, молодежные клубы, Дворцы спорта, Дворцы счастья, театры-студии, молодежные театры, вокально-инструментальные ансамбли, молодежные кафе — многое из привычного и обыденного ныне зародилось тогда. И Заркент, имевший своих молодых архитекторов и молодых строителей, на средства от комсомольских воскресников построил на общественных началах летнее молодежное кафе, удивлявшее всех приезжих архитектурой, смелым строительным решением и интерьером. Приближаясь к «Жемчужине», Гияз услышал звуки настраиваемых инструментов. Уже издали гигантская приоткрытая раковина, освещавшаяся яркими прожекторами, сулила праздник и веселье. Краски и свет являлись одними из многих компонентов в архитектурном решении «Жемчужины». Кафе поначалу было задумано архитектором как массовое, ведь город — общежитие на общежитии, и летним, потому что девять месяцев в году в Заркенте прекрасная погода. Зачем же людей загонять в железобетонные клетушки и стеклянные аквариумы, пусть отдыхают на воздухе, дышат, танцуют. Гигантская раковина «Жемчужины» не покрывала собой и трети посадочной площади кафе, отлитой из мраморно-гранитной крошки и отполированной до зеркального блеска. Площадь эта разделялась на сектора медными пластинами различной толщины, утопленными в еще не застывшей массе и после шлифовки оставившими на поверхности четкую золотую линию. Каждый сектор заполнялся крошкой определенного цвета и имел в середине своей экзотический цветок из тех же золотистых линий. И чтобы в ненастье, в редкий дождь или неожиданный весенний ливень не попавшие под козырек жемчужной раковины отдыхающие не



считали себя обойденными, в каждом секторе в определенной точке «росло» по диковинному, точно из каких-то неведомых стран, стилизованному дереву с причудливыми громадными листьями, «защищавшими» и остальные столы.

Гияз остановился на слабом световом пятачке у входа и оглядывал столы. Сегодня здесь собрались многие его знакомые: и ребята из СМУ, и отделочницы с его участка, и даже Силкин обещал прийти с женой, если удастся к кому-нибудь пристроить близнецов на пару часов. И вдруг его окликнули:

— Гия, иди к нам. — От столика под экзотическим деревом ему приветливо махали Джумбер, Тамаз Антидзе и Роберт Гогелия, крайние нападающие «Металлурга».

Гияз улыбнулся, поднял руку, приветствуя друзей. Приближаясь, он заметил за столом девушку, сидевшую напротив Тамаза и спиной к нему. Высокая шея ее казалась хрупкой, незащищенной, потому что тяжелые, жгуче-черные волосы были собраны в тугую узел на затылке.

— Вы не знакомы? — спросил Джумбер, перехватив заинтересованный взгляд Гияза. — Глория, познакомься, пожалуйста. Гия — наш друг и начальник в одном лице, что случается в жизни крайне редко.

— Глория. — Девушка, встав, кокетливо протянула ему через узкий стол руку, а Гияз, наклонившись, поцеловал ее у тонкого запястья.

Наверное, давно, тоже по весне, в Озерном Наталье привиделся сквозь время этот вечер, а может, и эта девушка в черном, когда она смахнула украдкой слезу и подарила Гиязу букет сирени.

— Так, значит, вы — тренер, зашли посмотреть, как ваши подопечные проводят досуг? Доложу: у Тамаза уже пятая сигарета, вот они все в пепельнице лежат.

— Такая красивая, говорят, умная, а оказывается, обыкновенная ябеда, — перебил ее, улыбаясь, Тамаз и достал из пачки еще одну сигарету.

— Я не тренер, Глория.

— Джумбер, опять твои штучки? Ты ведь сказал, что Гия — ваш начальник.

— Он и есть, дорогая, наш главный начальник. Кормилец наш... — и Джумбер с Тамазом, не сговариваясь, разом обняли Гияза.





Видя растерянность девушки, которой показалось, что ее разыгрывают уже втроем, Гияз поспешил все объяснить, чтобы она не обиделась:

— В каком-то смысле я и есть их начальник. Хоть и вижу их нечасто: вот здесь в «Жемчужине» по вечерам или у «Космоса», и, конечно, на поле в игре. Но наряды на зарплату нападающим ежемесячно закрываю я, эти трое орлов числятся рабочими на моем участке. Джумбер в этом месяце — плотник шестого разряда, он капитан, лидер. Тамаз с Робертом проходят по пятому, рангом ниже, потому что забивают маловато. — И, продолжая шутить, подлаживаясь под общее настроение, сказал, обращаясь только к Глории: — Если они сегодня ведут себя недостойно и не оказывают должного внимания единственной девушке за столом, я их непременно понижу в разряде. Удар по карману — самый эффективный удар, так считает мой начальник.

— Глория, я вижу у вас на глазах слезы... Не бойтесь, Гияз добрый и слишком любит футбол, чтобы пойти на такой шаг...

За столом дружно рассмеялись шутке Джумбера.

Неразговорчивый Роберт за спиной Джумбера подавал официантке какие-то знаки, и вскоре она явилась с большим блюдом темно-бордовой черешни.

— Так вы строитель? — спросила почему-то обрадованно девушка.

— Да, старший прораб.

— А мы с вами отчасти коллеги, я ведь архитектор. Но я всегда воюю со строителями — миром ничего не выходит. Они говорят, меня в тридцать хватит инфаркт... Она вдруг попросила Тамаза поменяться местами и, сев рядом с Гиязом, мечтательно продолжала: — Как было бы здорово, если бы я создала что-то необычное, выдающееся для нашего города, а вы бы построили. Мне кажется, вы бы не стали доводить меня до инфаркта, вы бы понимали меня, — закончила она вдруг совершенно на другой ноте.

В глазах ее Гияз уловил грусть. «Странная девушка», — мелькнула мысль у Исламова.

— Глория, нечестно при нас, твоих старых поклонниках, говорить такое. А вдруг Гия зазнается?

За столом опять воцарилось непринужденное веселье. Недалеко от них, в соседнем секторе, за несколькими столами



сидели гонщики и, вероятно, технический персонал, сопровождавший именитых спортсменов.

— Покажите мне Кадырова, — попросила вдруг Глория

— Вон, смотри, киты сидят отдельно, за столом рядом с оркестром, — подсказал молчавший до сих пор Роберт

За большим столом сидели человек семь. Те, что постарше, были в костюмах, при галстуках, а те, что помоложе, — в джинсах, пуловерах с яркими эмблемами и однотонных рубашках — лет на пятнадцать опережая нашу нерасторопную моду. Чувствовалось, что мир они повидали. Держались тихо, с достоинством.

Заиграл оркестр. Тамаз, извинившись, пошел пригласить девушку, сидевшую за соседним столом.

— Я бы так хотела потанцевать с Кадыровым. Говорят, общение со знаменитостью приносит удачу. А я суеверна. И тоже хочу быть знаменитой! — закончила Глория серьезно, глядя куда-то вдаль. Видимо, мысли ее были не здесь.

— Если хочешь потанцевать, пригласи, — спокойно сказал Джумбер, не обратив внимания на тон, каким были произнесены ее слова.

— А вдруг откажет? — с неподдельным испугом сказала Глория, и это еще больше удивило Гияза.

— Тебе? — с удивлением спросил Джумбер и заулыбался. — Хотел бы я видеть того парня, который тебе откажет!

— А, была не была! — сказала она озорно, и немислимо было поверить, что минуту назад она робела и сомневалась.

— Посмотри, Гия, как они танцуют, беседуют, словно старые друзья. Разве скажешь, что Глория ростом выше Габдурахмана? Удивительное умение держаться. Смотри, Гия, не влюбись, такая девушка — и счастье, и погибель для нашего брата...

Закончили они вечер вместе с гонщиками, и Глория до конца оставалась единственной девушкой за столом. Провожали гостей до гостиницы всей компанией, и гонщики всю дорогу допытывались у Глории, за кого же она завтра будет болеть. Она, не задумываясь, отвечала, что, как и все в Заркенте, — за Габдурахмана, ответом своим смущая и без того стеснительного Кадырова. У гостиницы нехотя распрощались, — гонщиков ждал трудный день. Джумбер, обращаясь к Гиязу, попросил:



— Гия, пожалуйста, проводи Глорию, я сегодня за тренера, негоже самому опаздывать на отбой, да и завтра у нас ранняя тренировка. И ты, если не проспишь, приходи.

Гияз при случае проводил время на тренировках, принимал участие в двусторонней игре.

Они шли по обезлюдевшим, тихим улицам, и Глория вдруг спросила:

— Гия, тебе нравится «Жемчужина»? Я имею в виду архитектуру, интерьер?

— Замечательное кафе. Я мало где бывал, Глория, если признаться, но в Омске, например, где я учился, такого заведения, роскошного и доступного молодым, нет.

— Почему же ты не поздравил меня? — спросила она вдруг, словно обидевшись.

— С чем? — спросил растерянно Гияз.

— Разве месяц назад ты не был на открытии «Жемчужины»?

— Мне не удалось, хотя я и знал об этом событии. Работал во вторую смену.

— Ах, вот оно что, — сказала она неопределенно. — А кто архитектор, слышал?

— Только краем уха, какая-то армянская фамилия.

— Караян?

— Да, да, солидная фамилия, звучная, наверное, известный архитектор.

— Тогда разрешите представиться — Глория Караян. — Девушка остановилась и, шутливо раскланиваясь, протянула руку.

— Ты дочь этого архитектора? Пожалуйста, поздравь отца — достойная восхищения работа.

— Гия, еще одно оскорбление, и я уйду...

Гияз даже сбился с шагу, ошарашенный...

— Ты... ты архитектор «Жемчужины»? Такая...

— Продолжай, продолжай... Какая же? Хотел сказать — сопливая. Ох уж эти строители... — но в ее голосе не было осуждения, напротив, она не скрывала радости, что смогла ошеломить Гияза. — Добавлю к сведению: Караян, может, и напоминает армянскую фамилию, но во мне нет армянской крови... Мои далекие предки — известные в Европе зодчие, в Россию были приглашены полтора века назад, и вот через несколько поколений во мне проявились их гены.



Гияз все еще не мог прийти в себя.

— Как же тебе это удалось, Глория?

— Тебе правда интересно? — Глория взяла его под руку.  
— Тогда слушай...

Я была здесь полгода на преддипломной практике. Город понравился мне как архитектору, потому что практически все здесь начиналось с нуля и был редкий шанс проявить себя. Город понравился мне, я — «Градострою», где проходила практику, и мне предложили по окончании института вернуться в Заркент. Молодой город, молодые жители. И вот тогда-то мне и пришла в голову эта идея. Она должна была отражать запросы молодых. Передо мной стояла задача создать нечто среднее между привычной танцплощадкой, фактически уже выродившейся или деградирующей, и салоном, хотя в салоне меня привлекали только атмосфера праздника и столы, за которыми можно отдыхать, беседовать между танцами. Но главную идею мне подарил сам город: жаркий климат, обилие фруктов и жажда, постоянная потребность в газированной и минеральной воде, мороженом.. Ты, наверное, обратил внимание на то, что в «Жемчужине» нет традиционных стоков с дорогостоящими аппаратами для кофе «эспрессо», как и вообще нет кофе, напиток нетрадиционного для Узбекистана. Зато я предусмотрела цех мороженого и газированной воды, и «Жемчужина» не зависит от завоза. Тут я взяла на себя функции не только архитектора. Я ведь, как и все, потребитель, и еще молодой, и попыталась защитить интересы молодых. Оттого и предусмотрела этот цех, ведь торговля, заполучив точку, рано или поздно не захочет иметь дело с завозом копеечной воды и мороженого, а загрузится дорогим коньяком. А тут у цехов определенная мощность, хочешь не хочешь, приходится торговать. Все это я знала, еще не представляя себе самого кафе, но это оказало мне огромную помощь. Азарт охватил меня по-настоящему, когда я наткнулась на место, словно специально для меня приготовленное. Каждый вечер я приходила на пустырь и мысленно представляла свое кафе, но все было не то... Если что мне и нравилось, оно оказывалось громоздким, дорогостоящим. Я знала, что конструкция должна иметь минимальную стоимость и быть отстроенной максимум за полгода. Я не наскучила тебе, Гияз?



Но, видя, что он слушает внимательно, воодушевленно продолжала:

— Я ходила на пустырь ежедневно, на заре, на закате, в полдень и в сумерках. И там мне пришла другая, не менее важная идея. Если сам город подарил мне функциональное решение, то место одарило уверенностью, что мечта моя сбудется. И вот почему...

Я подумала — кто я такая? Не улыбайся, Гия, меня часто одолевают сомнения. Кто будет рассматривать мой проект? Кто его одобрит? Кто включит его в список строительства и на какой год? Однозначно и уверенно я не могла ответить ни на один свой вопрос. Но знала, что на пробивание проекта в лучшем случае ушли бы годы. А мне хотелось проявить себя сейчас, немедленно, был у меня такой творческий зуд. И я решила сделать проект на общественных началах как личный дар городу, а затем вынести свою работу на суд горкома комсомола, на суд молодежи, а в том, что я сделаю что-то стоящее, я уже не сомневалась.

Перед неожиданным в ночи красным светофором на перекрестке Глория вдруг сказала, сбиваясь на шутку:

— Такая вот я тщеславная...

— Но тщеславие — это не всегда дурно, — поспешил успокоить ее Гияз, не понимавший в данный момент, чего ему больше хочется — слушать девушку или смотреть на нее.

— Проект на общественных началах предполагал и общественную стройку. За финансирование я не боялась: молодежь заработает деньги на воскресниках, если будет знать, на что пойдут деньги. Мне оставалось месяца два до окончания практики, когда я уже знала, какой должна быть «Жемчужина». Своей идеей я поделилась со своим руководителем, который меня понял и поддержал. Он и предложил мне вернуться в Заркент после окончания института. Мне выделили отдельную комнату, где я запиралась с самого утра и иногда просиживала до глубокой ночи.

Опять же меня выручила моя рациональность. Я поняла, что сделать проект меньше, чем за шесть месяцев, мне не под силу, а в горком я хотела сходить до отъезда. Я сделала эскизный проект, макет, много рисунков: общий вид на огромном листе, отдельно саму раковину, в общем, подготовила выигрышные детали, все в цвете.



— Да ведь это одержимость какая-то! — с восхищением воскликнул Гияз.

И Глория улыбнулась ему с благодарностью за понимание.

— Так оно и было... За неделю до моего отъезда главный архитектор организовал мне встречу с секретарем горкома комсомола. Тот оказался строителем, и я сумела заразить его своей идеей. Секретарь горкома только спросил, смогу ли я так же убедительно, как у него, выступить перед городским активом комсомола. Я ответила, что готова отстаивать свою идею на любом уровне. Молодые коллеги из «Градостроя» помогли мне организовать стенды, по этой части у них был опыт. Но я знала, что показать мало, надо убедить. Я написала для себя речь, десять страниц машинописного текста, где старалась пояснить, что каждая деталь моего кафе существует не сама по себе, а придумана мною именно для Заркента, для среднеазиатской зоны. Например, полы. Почему наливные из мраморно-гранитной крошки? Потому что с этим материалом в Узбекистане нет проблем, потому что полированные полы гигиеничны, а главное — они держат прохладу. Если за полчаса до открытия обдать их водой из шланга, они обретают цвет, свежесть и весь вечер остаются прохладными, что немаловажно, если даже вечером в Заркенте далеко за тридцать. В общем, я взяла зал не столько проектом, сколько своей уверенностью... Мне задавали много вопросов — в зале сидели строители, — и я на все отвечала, смелея от вопроса к вопросу, ведь себе я на них ответила уже давно. Я даже знала, сколько нужно организовать воскресников, чтобы профинансировать стройку. Конечно, понравились активу и эскизы, и макет. На этой встрече были футболисты, там я и познакомилась с Джумбером. Реальность и близость сроков взволновали зал. Тут же на активе избрали штаб стройки. Молодые архитекторы и проектировщики вызвались довести дело до конца, ведь предстояло, как говорится, начинать с нуля: рабочие чертежи, сметы, расчеты.

Домой я улетела счастливая, окрыленная. Весь год ко мне в Ленинград звонили из штаба стройки: деловые разговоры, консультации. На зимние каникулы горком за свой счет вызвал меня в Заркент, и я визировала чертежи, привязывала план на местности. А по окончании института даже вела авторский надзор за отделкой. Вот такая была работа! Не проще твоей, правда?



Гияз ошеломленно молчал. Вот так девушка! Какая хватка! И он как бы заново увидел Глорию: красивая, элегантная и удивительно женственная.

Гиязу не хотелось расставаться с девушкой, хотелось слушать ее, ведь, говоря о делах, она говорила о себе.

— «Жемчужина» стала твоей дипломной работой?

— Самое смешное, что нет. Я о ней даже не упомянула в Ленинграде. Вот обещал приехать на днях специалист по цветной фотографии из Ташкента, он заснимет «Жемчужину», и я отправлю снимки в институт. Обязательно сделаю это. Там есть залы, где демонстрируются работы выпускников. А дипломная работа моя признана неактуальной, ненужной, еле-еле зачли защиту.

— Что же ты такое сотворила? — с интересом спросил Исламов.

— Ну, эта история покороче. Учти, я никому об этом не рассказывала. Знаешь, как я впервые попала в Узбекистан? С институтской сборной по волейболу поехала на студенческие игры в Ташкент. Ну, конечно, нам показали и Бухару, и Самарканд. Тогда я влюбилась в Узбекистан, потому и напросилась на практику в Заркент. А, думаешь, что меня больше всего поразило, как будущего архитектора, в Узбекистане? Гур-Эмир, Биби-Ханум, медресе Кукельдаш или старый базар в Ташкенте? А вот и нет. Более всего я была поражена... местной лепешкой. Да, да, обыкновенной лепешкой. Ничего вкуснее в жизни не ела. Горячая, румяная, и словно веснушки на ней — кунжутные семена. Белая, пышная, а пахнет — дух захватывает! Ты знаешь, какой самый стойкий запах на восточном базаре? Запах специй и приправ, зелени, фруктов? Нет, не угадал, я проверяла — запах лепешечных рядов. На любом базаре я найду лепешки, не спрашивая, где ими торгуют. Я была так поражена, что не могла не поинтересоваться, как они пекутся. Изумление мое было, видно, столь неподдельным, что меня пригласили в гости. И там я впервые увидела тандыр.

Лепешка, тандыр, Ташкент натолкнули меня за два года до окончания института на тему моей дипломной работы. Тогда у меня была бездна времени, и я продумала не один вариант, но даже лучший, на мой взгляд, забраковали, назвали фантазией. Заключение по проекту было почти комичным: «Не отвечает



растущим жизненным потребностям советского человека». Как будто я для французов старалась.

Видимо, воспоминание о дипломной работе сильно взволновало Глорию. Гияз чувствовал, что обида не оставила ее до сих пор.

— Знаешь, Гия, в чем моя слабая сторона как архитектора? Ни за что не догадаешься. Мне всегда хочется, чтобы создаваемый мною объект был доступным для многих. Вот «Жемчужина» — массовое заведение. Никогда не думала, что во мне так сильно развито социальное отношение к своему труду. Я бы никогда не смогла вложить душу, например, в органнй зал, хотя знаю и люблю органную музыку. Отдыхая с родителями на Рижском взморье, не пропускала в Домском соборе ни одного концерта. Знаю и то, какая это выигрышная тема. Публика, посещающая органнйе концерты, оценила бы по достоинству работу архитектора, и имя мое могло бы стать известным. Да, я тщеславна. Я хочу стать известной, знаменитой, но самовыражение, которое оценит лишь избранная публика, — это не для меня. Знаешь, когда уже заканчивали отделывать «Жемчужину», я вдруг поняла, что, вероятнее всего, никто из посетителей никогда не спросит, чья это работа. И это открытие нисколько не огорчило меня. Мне хотелось другого — чтобы здесь отдыхала душа, радовался глаз, чтобы человек здесь чувствовал себя раскованно.

— Глория, — нетерпеливо перебил ее Гияз, — но ты доби- лась своего. Разве это не награда?

Она кивнула, соглашаясь, и замолчала, думая о прошлом. Гияз коснулся ее локтя, как бы приглашая к продолжению разговора. Глория вновь оживилась.

— Тогда в Ташкенте меня поразила лепешка. Стоимость ее — десять копеек, а за чайник чая в любой узбекской чайхане берут три копейки. Пятнадцати копеек достаточно человеку в Узбекистане, чтобы перекусить, если рядом есть чайхана. Из подобных функциональных задач и родилась моя идея маленькой автономной пекарни-магазина. Такие пекарни я мысленно видела в студенческих общежитиях, на стадионах, в крупных кинотеатрах, на вокзалах, в аэропортах и даже в жилых массивах, где к определенному часу были бы свежие лепешки, лавашы, хачапури, чуреки, — неважно, как это называется.





И непременно чай для тех, кто решил отведать здесь же, прямо из печи, горячий хлеб, и, опять же, все обошлось бы копеек в пятнадцать-двадцать. Тогда сама по себе отмерла бы необходимость пропаганды беречь хлеб. Эти пятнадцать копеек и стубили меня... Меня чуть ли не в крохоборстве обвинили, в непонимании растущих потребностей нашего человека, наших возможностей. Особенно вывело из себя дипломную комиссию сделанное мною в конце замечание, что я согласна добавить к чаю вологодское масло и черную икру, хотя это было бы уже из другой оперы. Я же не игнорировала нашу мощную хлебопекарную промышленность, хоть меня и обвиняли в этом оппоненты, я только хотела, чтобы люди могли без лишних хлопот купить горячий хлеб. И, быть может, мои маленькие, не обезличенные пекарни-магазины с тетей Дашей или дядей Кудратом заставили бы хлебопекарную промышленность по-новому посмотреть на себя и понять, что наше отношение к хлебу зависит и от нее. Вот такое фиаско я потерпела на защите. Но, думаю, мои предки за меня не очень бы краснели, я держалась молодцом и ни на минуту не усомнилась в своей идее, просто, наверное, мое время еще не пришло.

Гияз и не заметил, что они давно уже стоят у какого-то подъезда.

— А вообще-то мы уже шесть раз обошли мой квартал, — рассмеялась Глория. — Вот здесь я живу, на втором этаже, — она показала на ближайший дом. — К себе не приглашаю, поздно уже. До свидания. Рада знакомству с тобой, Гия.

И она, торопливо попрощавшись, скрылась в темном подъезде, а Гияз стоял у ее дома, пока не загорелось и не погасло окно на втором этаже.

Он шагал по сонным, безлюдным улицам Заркента, снова и снова вспоминая сегодняшний удивительный вечер и неожиданное знакомство. Так, в раздумье, он не заметил, как вновь очутился у «Жемчужины». Горели редкие фонари, освещая тускло блестящие полы, на миг Гиязу почудились музыка, смех, как несколько часов назад. Он прошел внутрь, теперь уже иными глазами рассматривая «Жемчужину». Вдруг он скорее почувствовал, чем заметил, что в красном круге для танцев орнамент из золотых линий, напоминавший экзотический цветок, был несколько странным, с секретом, что ли.



Обнаружил Гияз и то, что, при общей похожести, в каждом из четырех кругов для танцев цветы были разные. Вглядевшись в них повнимательнее, как в криптограмму, Гияз увидел искусно зашифрованные в линиях цветов четыре варианта монограммы из букв «Г» и «К». Глория ему ничего об этом не говорила, но он ясно читал ее автограф: «Глория Караян»...

... А поезд мчался в ночи, прорезая степную тьму мощным прожектором тепловоза. Мелькали огнями полустанки, разъезды, маленькие станции, мимо которых экспресс проносился без остановок. И людям на этих разъездах казалось, наверное: вот она, другая жизнь, промелькнула, просияв яркими огнями, обдав запахом нездешних благодатных мест. И думалось им, возможно, что едут в прохладных вагонах, беседуя о чем-то высоком, счастливые люди, и там, в конце пути, их ждут верные друзья, любимые, дела исключительной важности, в общем, жизнь, похожая на красивые цветные фильмы. Лица же дежурных, дающих «добро» на сквозной проход по главному пути, размывались скоростью, как смазанная в фокусе фотография, и невозможно было что-либо разглядеть на этих лицах, выдубленных жарким солнцем и степными ветрами. Вот уж дежурные-то никому и ничему не завидовали, привыкли и к поездкам, и к самым разным пассажирам; скорее всего — не завидовали, потому что даже свой ежегодный бесплатный билет, гарантирующий им право проезда в любой конец огромной страны, они использовали редко. Их одолевали свои заботы: захромала кобылица, злой коршун утащил цыпленка, опять не завезли муку на разъезд, протекает крыша, третью зиму дымит печь, и давно уже нет писем от сына, который, вкусив городской жизни, вряд ли вернется сюда, на глухой полустанок... Вот так, пытаясь переключиться на чужую жизнь, Гияз одиноко стоял в коридоре...

Среди хаоса разбросанных по дивану бумаг выделялась пачка писем, по-девичьи аккуратно перевязанная алой лентой. Он догадался — его письма к Наталье. Сейчас уже он не помнил, возвратила ли она их ему или переслала в Озерное на дом, зная, что они рано или поздно все равно попадут к нему. Судя по количеству, письма были только из Заркента. Из Омска или не сохранились, или, наоборот, хранились у нее.



Те письма были частью ее жизни, их любви, в каждой строке сквозила обнаженность чувств.

Нет, сейчас никакая сила не заставила бы его перечитать хоть одно письмо из той пачки с алой тесемкой. И не потому, что он знал, помнил, о чем писал.

Как-то Глория, в пору их счастливых отношений, рассказала ему о Жане Кокто... Без повода и причин, просто читала в те дни о нем. Оказывается, после смерти поэта биографы разыскали — или они отыскались сами, не в том суть — четыре удивительно нежных любовных письма, написанных в один день... четверем женщинам. Ни одна из этих женщин не отказалась от письма, более того, каждая считала, что письмо адресовано только ей и полностью отражает суть их отношений и любви большого поэта, хотя текст писем был идентичным, словно под копирку написанным.

Но ведь он не Жан Кокто, и он любил Глорию.

Даже сейчас Гияз не мог объяснить себе, почему тогда, постоянно думая о Глории, он продолжал почти с полгода еще писать нежные письма Наталье. Может, слова адресовались ей, а чувства — Глории? Сейчас он запоздало стыдился своего малодушия, очень похожего на предательство. И не спасало, и совсем не оправдывало его то единственное письмо, наверняка лежащее в этой же пачке, где он неожиданно сообщил Наталье, что влюбился и женится. Хотя тогда об этом у них с Глорией и речи быть не могло: никаких перспектив, сплошная неопределенность, но девушка уже прочно вошла в его жизнь, ему казалось — навсегда.

На миг мелькнула мысль о том, что в пачке должно быть и ответное письмо Натальи, но он тут же погасил в себе любопытство. О чем оно — легко было догадаться, какие она избрала слова — теперь это уже не имело значения. Гневные обвинения, презрение, мольба, унижение? Любой вариант означал горе, крушение девичьих надежд, и стоило ли любопытствовать, унижая ее еще раз. Он вернулся в купе и взял в руки пачку.

Действительно, верхнее, нераспечатанное письмо было от Натальи. Он постоял в нерешительности, раздумывая, как поступить, и вдруг, одним движением опустив створку вагонного окна, резко швырнул письма под откос, в густые заросли придорожного джингиля. Пусть долгие осенние дожди выбелят



слова обмана, пусть ветры разорвут ложь в клочья и разнесут по молчаливой степи, пусть немилосердное азиатское солнце сожжет слова невыполненных клятв и обещаний. А если случится, что пожелтевшие письма почти двадцатилетней давности, написанные уже потерявшими цвет чернилами, и попадут кому-то в руки, так пусть тот в искреннем негодовании помянет недобрым словом некоего Гияза Исламова...

...Сон не шел, мысли не давали покоя... Гияз вроде бы уже и сожалел, что забрал пакет из дома, но, с другой стороны, бумаги эти волновали, притягивали. Словно в них, кроме жизни его самого, друзей, Глории, таилось еще что-то такое, чего он не понял тогда в своей судьбе. Пробежал мимо, проглядел, что ли.

Следующее письмо, написанное торопливо, несколько неряшливо, начиналось так:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Теперь я начальник участка. За полтора года это, конечно, рост, но в условиях нашей стройки, нашего города — вполне закономерный. Вы просите подробнее написать о моей работе? Подробно не получается — все нет времени, но, чтобы понять ее суть, скажу, что прорабы уходят на пенсию в пятьдесят пять, а стажа прорабского достаточно пятнадцати лет. Льготы как в шахте или у мартена, одним словом — вредный цех.

Мои товарищи частенько в шутку пугают друг друга инфарктом. Оказывается, самый высокий процент смертности от сердечных заболеваний среди прорабов, и чаще всего они умирают от сердечного приступа... Умирают, правда, и артисты на сцене, но мои коллеги уверяют, что гораздо реже. Простите за мрачный юмор. Все мои друзья молоды, энергичны, так что думать нам об инфарктах рано, да и некогда, вот если бы выспаться дня три подряд! Да, вот, отец, еще одно сравнение, и тебе станет понятной моя работа. Это очень похоже на хлебоупорку, когда на счету каждый день, каждый час. Такое же напряжение, такие же требования, такая же тьма начальства, все наперебой требуют: давай, давай, жми.

Но есть и существенное отличие... Хорошая уборка две-три недели длится, самая плохая — от силы четыре-пять, и все, баста! Впереди праздник урожая, сабантуй и долгая зима...

А стройка — такая, как наша, особо важная — сплошная хлебоупорка. Сдадим одно — давай другое, дашь другое —



налегай на третье. И так будет всю жизнь, как уверяют меня мои старшие рано полысевшие коллеги.

А попробуй я, прораб, заговорить с рабочими таким тоном и на таком языке, как разговаривает со мной мое управленческое или трестовское начальство, они, рабочие, чего доброго, подали бы на меня в суд. А все потому, что наш главный начальник — матерщинник, каких свет не видел, как говорят, ас в этом деле, — отсюда, как эпидемия, расходятся круги; одни изощряются в охотку, другие подражая, третьи из подхалимажа, но и то, и другое, и третье отвратительно».

Гияз отложил письмо и не то с горечью, не то с сожалением улыбнулся. Он помнил, прекрасно помнил свое назначение начальником участка, помнил и то, что хотел написать отцу, но не написал. А не написал он о том, что открыл для себя новый социальный тип. Нет, конечно, такой точной формулировки у него в ту пору еще не было. Она пришла позднее — социальный тип. А тогда это был просто тип — Юра Силкин. Гияз искренне радовался своему назначению — это открывало возможность для роста, но в ту радостную минуту он перехватил взгляд Юры Силкина и прочел в нем иронию и... сочувствие. Силкина профессиональный рост занимал менее всего. Более того, он сделал совершенно неожиданный для Гияза ход.

«Представляю, как он смеялся надо мной в душе! Теперь-то я уверен, что он поступил сознательно, просчитав все варианты», — подумал сейчас Исламов.

В прорабах Силкин проходил ровно полтора месяца, то есть успел сдать один материальный отчет (а он на двадцати страницах, тысяча наименований), закрыл наряды рабочим своего объекта, подписал форму два (выполненные работы) у заказчика (большого искусства, дипломатии требует этот этап прорабской работы) и, видимо, сразу просчитал прорабскую жизнь на много лет вперед. Тогда он пришел к начальству и начал плакаться: у меня, мол, двое детей, жена не работает, пустая квартира, и на сто сорок прорабских рублей никак не свести концы с концами. А потому разрешите с годик бригадиром поработать, то есть рабочим. Стройка большая, толковых бригадиров днем с огнем не сыщешь, да и парня вроде жалко, разрешили Силкину бригаду организовать — как раз новый объект начинали.



И вскоре Силкин преобразился: раздобрел, приосанился, ходил в белых рубашках. Работа-то четко нормированная — с девяти до шести, меньше шестисот не получает. В больших коллективах положен освобожденный бригадир, а работа его почти дублирует работу мастера, прораба, только юридической и материальной ответственности — никакой.

Бригадир из него получился выдающийся, начальство не могло нарадоваться; чтобы к нему в бригаду попасть, конкурс надо было выдержать, прямо как в институт, — всякого Силкин к себе не брал. Пользуясь случаем, ободрал всю стройку, всех умельцев вокруг себя собрал. Люди знали: у Силкина зашибить деньгу можно. Что-то кондовое, кулацкое поперло из молодых мужиков и производило странное впечатление: вроде хорошо работают, но готовы соседу горло перегрызть. Видно, «кулак» — не совсем отжившее понятие и совсем не деревенское. Напрашивался Силкин поработать и на участке Гияза, но тот отказался, знал уже, как большая-то деньга делается — Силкин всю выгодную работу приберет к рукам. Инженер все-таки, не ленится наперед в чертежи и сметы заглянуть.

И самое удивительное — стал Силкин уж очень активным, и что ни собрание, то он с речью, и через слово у него: «мы, рабочие...», «трудовой люд...» Вскоре ему и в президиумах место отыскалось, где восседал он важно, со значением. На объекте в белой сорочке он мало походил на бригадира, но в президиумах — ни дать, ни взять рабочий-передовик. И как только ему это удавалось?

Да, то было время открытий для Гияза.

Он вновь перевел взгляд на пожелтевшие страницы недочитанного письма.

«Мама, теперь отвечу на твои вопросы. Я здорово загорел, вылитый узбек. Большинство рабочих у меня из местных, и я с ними быстро нашел общий язык, даже выучился говорить по-узбекски. Ем хорошо, на столовые здесь грех жаловаться, много овощей, фруктов. Предпочтение отдаю узбекской кухне: плов, шурпа, шашлык, манты. А какие здесь лепешки, мама! У меня, как и у всех, на участке работает много женщин, и всегда две-три легкотрудницы додекретных. Жара стоит невероятная, и я жалею их, держу у прорабского вагончика — командного пункта, как говорят рабочие. Так вот, они раздобыли где-то



старый двухведерный самовар, и теперь он целый день там пытит. Пока я только этим самоваром и знаменит на всю стройку. Ко мне частенько братья-прорабы на чайник чая забегают, и благодаря самовару я знаком чуть ли не со всеми.

Пью я только зеленый чай, поначалу казалось невкусно, а потом втянулся, понравилось, и, главное, он утоляет жажду. Частенько хожу на танцы в кафе».

Тут его взгляд опять словно споткнулся. Эти слова — «танцы в кафе» — наполнили душу чем-то теплым, нежным.

Работа у них была двухсменная, а в особых случаях — трехсменная. С рабочими понятно — у них восьмичасовой рабочий день, любая переработка только с разрешения профсоюза и с двойной оплатой каждого часа. Но сколько бы ни было смен у него на участке, за все несли ответственность он и два его прораба. Произойдет ли авария, случится ли брак в работе или несчастный случай, в любое время — в полночь, на рассвете, не имеет значения, — спрашивали с них. Вот они и крутились как могли. В прорабском вагончике одну половину оборудовали под спальню, там у них постоянно стояла заправленная раскладушка; белье им общежитский комендант менял, как положено, раз в неделю. И не у него одного так было. Работа сложнейшая, глаз да глаз нужен... Напряжение, нервы..

С работы в общежитие Гияз возвращался к восьми вечера, переодевался — и в «Жемчужину», до которой ему было минут десять ходу пешком. Около девяти он был уже там, ужинал с друзьями, танцевал, а ровно в половине двенадцатого за ним заезжала дежурная машина и — с корабля на бал — на объект. Иногда так не хотелось уходить, еще бы посидеть с друзьями, но... труба зовет, раскладушка ждет. Эта раскладушка была неисчерпаемой темой их разговоров. Одна девушка грозилась как-нибудь нагрянуть ночью на объект, проверить, почему это он, словно Золушка, ровно в полночь исчезает с бала. Танцы, общение с друзьями и давали тогда силы тянуть рабочий воз.

И сколько же молодой радости было в заключительных строчках письма!

«Мои отделочницы придумали шуточную песенку «О, суббота!» и начинают петь ее с пятницы, я тоже ее тайком напеваю, подозреваю, что это делают и все мои коллеги, включая начальника, — в субботу нет вторых смен.



До свидания. Целую, ваш сын и брат Гияз».

...В эту ночь он заснул на рассвете, и приснилась ему, впервые за долгие годы, собственная свадьба. Как в цветные слайды, вглядывался он в свою жизнь. Только сон, самый волшебный, бесценный дар природы, дает нам такую возможность — увидеть себя, свои поступки со стороны, но, к сожалению, это только взгляд в прошлое, в котором ничего изменить нельзя.

Глория только вернулась из Дубровника, морского курорта на Адриатике, где проводился международный конкурс молодых архитекторов. Ее проект отеля на морском берегу для молодоженов, совершающих свадебное путешествие, получил в Югославии Гран-при, а организаторы конкурса вручили ей еще и специальный приз как самой очаровательной участнице конкурса.

Одна итальянская фирма тут же подписала с Глорией контракт о покупке ее проекта. Когда бойкие итальянцы спросили, что навело ее на мысль о таком необычном отеле, она ответила:

— Никакой тайны, синьоры, мне хотелось, чтобы мое свадебное путешествие закончилось у моря, в таком отеле.

— Как вас зовут? — спросил вдруг представитель фирмы.

— Глория.

— Глория? — переспросил итальянец и вдруг радостно воскликнул: — Глория! Прекрасное имя для отеля, лучше не придумать. Смеею вас заверить, синьорина, мы построим с десяток таких отелей в Италии и на Лазурном берегу во Франции, и ни одной линии не изменим в проекте, фирма гарантирует.

Щелкали фотоаппараты, и итальянцы тут же протягивали моментальные цветные фотографии, прося автограф.

Когда представитель фирмы протянул ей фотографию, Глория вдруг сказала:

— Я очень признательна вам за то, что отель будет носить мое имя, но можно, чтобы хоть где-нибудь была моя монограмма? — И тут же на обратной стороне фотографии, не отрывая фломастера, вывела одну из тех монограмм, что были зашифрованы в «Жемчужине».

Деловой итальянец тут же спросил: может быть, синьора и вывеску подскажет, и кто-то услужливо протянул ей альбом и фломастеры. Глория, не раздумывая, необычайной для латыни вязью написала свое имя, а слева поставила свою монограмму.





— Фон? — нетерпеливо спросил итальянец. Шел профессиональный разговор...

— По темному бордо золотом, монограмма — белое с черным, символы добра и зла, ожидающие молодых, любая буква на выбор.

Все было сделано за минуту, экспансивный итальянец аж присвистнул от удивления и радости.

В ту же ночь Гиязу доставили в общежитие международную телеграмму, наверное, не столь частую в Заркенте. Было в ней всего несколько слов: «Гия, любимый, я победила!»

Никогда за три года их знакомства она к нему так не обращалась. Встречал Гияз Глорию в аэропорту в Ташкенте, и такой счастливой он уже больше никогда ее не видел. Успех отмечали с друзьями в «Жемчужине». Провожая ее по опустевшим улицам, Гияз решился сказать то, на что долго не мог собраться с духом.

— Глория, выходи за меня замуж.

Она остановилась, словно это было для нее неожиданно, растерялась, как когда-то давно, в «Жемчужине», приглашая на танец Габдурахмана Кадырова. Долго не отвечала, то ли взвешивая предложение, то ли, как обычно, ушла в себя, погрузившись вдруг в свои прожекты. Но нет, ничего она не взвешивала, и не архитектура занимала сейчас ее мысли. Она действительно растерялась. Поглощенная работой, отнимавшей у нее все время и силы, Глория как-то мало думала, что она может стать женой, матерью, хозяйкой.

— Гия, милый, — вдруг сказала она грустно, и в глазах ее он увидел слезы. — Я ли тебе нужна? Ну, посмотри на меня хорошенько, какая я хозяйка? Сумасбродная, неуравновешенная особа, помешавшаяся на архитектуре. Ты же намучаешься со мной, хотя я всем сердцем желала бы сделать тебя счастливым. Очень сомневаюсь, что наша семья будет счастливой. Но что бы я ни говорила, я счастлива сейчас, мне еще никто не делал предложения, другие оказались умнее тебя... — Растерянность у нее прошла, она вновь уходила в тень спасительной иронии.

Гияз почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Это что — отказ?

— Ты мне ничего не ответила, — сказал он дрогнувшим голосом.



— Ах, была не была! — Она вмиг преобразилась, повеселела. — Раз уж сам напрашиваешься на погибель, вот мое условие: если через неделю ты не передумаешь и повторишь свое предложение, я выйду за тебя замуж. Должна же я, Гия, дать тебе шанс на спасение.

И, неожиданно поцеловав его, Глория убежала. Гияз не стал догонять девушку, ему тоже хотелось побыть одному.

Неделя выдалась сложной: сдавали градирню, приходилось работать в три смены. В прорабской прибавилась еще одна раскладушка. Нелегкой оказалась и суббота. После приезда Глории они не виделись ни разу. В субботу, предчувствуя, что планерка может затянуться, Гияз позвонил Джумберу. Ничего о своих намерениях капитану не сказал, только попросил заказать в «Жемчужине» большой стол.

В «Жемчужину» Гияз немного опоздал, но не из-за планерки, а из-за цветов: белых роз на вечернем базаре не нашлось, пришлось ехать к знакомому цветоводу на дом, и розы срезали прямо с кустов, на длинных ветках с тугими нежными бутонами.

Когда он появился в кафе, вечер уже начался. В их привычном секторе, за большим банкетным столом, накрытым белоснежной скатертью, что обычно было не принято в «Жемчужине», уже веселились его друзья. Окинув взглядом стол, Гияз благодарно улыбнулся Джумберу. Они часто отмечали компанией свои маленькие радости и удачи, и это застолье никого не удивило, разве что стол сегодня был богаче, праздничнее. Глория сидела рядом с Джумбером, и только ее прекрасное белое платье делало незаметной нервную бледность ее лица, но Гияз увидел это сразу. Он подошел к девушке и вручил ей цветы. Принимая их, она ответила ему незаметным благодарным пожатием и шепнула среди шума: «Спасибо, милый».

— Глория, что, еще один проект? — спросил Тамаз.

— Ты бы так часто голы забивал, — ответил ему Джумбер, и все за столом засмеялись.

— Хотел бы я знать, по какому поводу так красиво сидим? Гия, ты стал начальником управления? Или тебе удалось зачислить нас в бригаду Силкина, рекордсмена по зарплате в Заркенте? — спросил Джумбер, желая знать, ради чего он сегодня так старался.



— Старейше, капитан, не ты ли говорил: главное — выдержка, терпение. Просто пробить по воротам и дурак сможет, а пробить, когда надо и куда надо — только мастер. Не дал ты мне пробить, когда надо, а вообще-то мне самому не терпится сказать. — Гияз встал и, окинув взглядом собравшихся, уже серьезно продолжил: — Друзья мои, я сделал предложение Глории, и сегодня мы хотели оповестить вас, что мы женимся!

Какой гвалт поднялся за столом, даже оркестр на миг сделал паузу! Роберт молниеносно, как и на поле, метнулся из-за стола, и пока кто-то кричал: «Шампанского!» — уже возвращался к столу с бутылками. От стола к столу покатилося: «Гияз женится, Глория выходит замуж...»

Глория сидела по другую сторону стола, рядом с Джумбером и Тамазом, и когда их с Гиязом хотели посадить рядом, Тамаз заартачился:

— Ни за что не отпущу ее от себя. Знаем мы хана Гию, больше никогда не разрешит посидеть рядом с прекрасной девушкой. А вообще, пусть он нам выкуп или калым платит, это ведь мы с Джумбером познакомили его с нашим лучшим архитектором. Глория, скажи!

Глория тут же нашлась:

— Только поэтому мы с Гиязом и решили, что вы будете нашими свидетелями в загсе и шаферами на свадьбе.

— Ну, если так, сдаюсь, даже уступлю свое место Гие, — и друзья обменялись местами.

Подходили знакомые и малознакомые люди, поздравляли Гияза и Глорию, интересовались, когда свадьба. Тамаз, перехвативший этот вопрос, отвечал:

— Следите за вечерними газетами, возможен экстренный выпуск...

Когда волна поздравляющих схлынула и за столом воцарилось относительное спокойствие, Джумбер, обращаясь к Гиязу, спросил:

— И все-таки — когда?

Гияз неопределенно пожал плечами.

И тут обыкновенно молчаливый Роберт заявил:

— Думаю, в следующую субботу — в самый раз. Во-первых, откладывать нет никаких причин, во-вторых, в среду последняя игра первого круга, и у нас двухнедельный перерыв. Значит, мы,



твои друзья, располагаем временем и можем гулять на свадьбе, не оглядываясь на тренера. Себя назначаю главным распорядителем, — хоть раз в жизни похожу в высокой должности, — и только потому, что осенью я выдавал замуж сестренку, у меня по этой части есть опыт. Джумбер, Тамаз, подтвердите.

Друзья согласно кивали головами.

— Где проводить, надеюсь, вопроса не возникает — конечно, в «Жемчужине», — продолжал Роберт.

— Злые языки будут утверждать, что Глория ее специально для себя построила, — перебил Тамаз.

Но Глория отпарировала:

— Нет, Тамаз, «Жемчужину» я создала для того, чтобы встретиться здесь с Гиязом.

— К вам, молодожены, — продолжал Роберт, — просьба одна: чтоб ко вторнику был полный список гостей...

— Роберт, дорогой, прошу тебя только об одном, не женись раньше меня, хочу, чтобы ты и на моей свадьбе был распорядителем, — Тамаз обнял друга.

Такой суматошной недели у Глории с Гиязом никогда в жизни больше не было. Во вторник Глории на работу позвонил секретарь горкома комсомола, тот самый, что поддержал идею «Жемчужины». Слегка пожуриив ее за то, что скрыла от комсомола предстоящий факт изменения биографии, он объявил, как нечто решенное и не подлежащее обсуждению, что свадьба будет комсомольско-молодежной. Глория пыталась отговориться, мол, у горкома и без свадеб дел невпроворот. Но секретарь был неумолим: доказывал, что она — член горкома комсомола, знаменитость их молодого города, да и жених, судя по отзывам, хороший прораб, возглавляет передовой участок, — короче, для комсомольской свадьбы лучшей пары не сыскать.

В среду, после игры, Роберт за столом в «Жемчужине» сказал Глории с Гиязом:

— Для начала примите первый свадебный подарок — нашу сегодняшнюю победу. Теперь мы с легким сердцем можем гулять на свадьбе, промежуточный финиш за нами, по итогам первого круга мы лидеры в зоне. А сейчас я передам слово директору «Жемчужины», моему заму, нашему другу Бахтияру, — и под шутливые аплодисменты Роберт сел на свое место.



— Друзья мои, на Востоке говорят: сколько о халве ни говори, во рту слаще не станет. Поэтому я много говорить не буду, только заверю вас, что все будет на высоте. Это и для нас, коллектива «Жемчужины», — экзамен, первая свадьба в кафе. Если архитектор Глория сделала нашему городу такой подарок, разве город останется неблагодарным, это не в обычаях нашего края.

... Свадьба во сне то и дело перебивалась их прекрасными днями на море.

Два дня спустя после свадьбы собрались компанией у Глории дома, куда переехал Гияз. Слушали музыку, вспоминали веселую, шумную свадьбу.

И тут Джумбер предложил:

— А не поехать ли вам в свадебное путешествие, чтобы заодно убежать от жары?

Тамаз не преминул вмешаться:

— Думаю, итальянцы не успели отстроить отель. Глория ведь не предупредила, что по возвращении осчастливит Гию.

— Не в пример тебе, Тамаз, я даю только мудрые советы, и потому у меня шестой разряд плотника-штукатур, а у тебя только пятый. Верно я говорю, Гияз?.. Так вот... У нас две недели перерыва между играми, и я собирался дней на десять слетать в Гагры, на море. Там у меня родной дядя живет в двухэтажном особняке, прямо на берегу моря. Не махнуть ли нам туда вместе?

Так они с Глорией оказались на море и провели там отпуск за два года. Это были самые счастливые дни их совместной жизни.

Джумбер, в студенческие годы проводивший отпуск в Гаграх, прекрасно знал не только сам город, но и все маленькие городки-курорты в округе, и пока был с ними, успел показать многое и познакомить со своими гагринскими друзьями. Пицунду они открыли для себя случайно, уже после отъезда Джумбера. В те годы на мысе Пицунда, что рядом с Гаграми, крупное строительство только разворачивалось, и знаменитый ныне мировой курорт только поднимался из фундаментов.

Глория сразу оценила размах предстоявшего строительства, правда, сами запроектированные шестнадцатизэтажные корпуса ее не очень радовали, — слишком обычно и однотипно, на ее



взгляд, не на чем глазу задержаться, — зато пространственное решение она находила замечательным. Вся зона продувалась насквозь морскими ветрами, реликтовый сосновый лес вплотную подступал к корпусам. Прогулочные дорожки, аллеи, скульптурные композиции на развилках дорог, площадях, летние рестораны и кафе очаровали ее. Она быстро сошлась с архитекторами, большинство из которых приехали из Тбилиси, и они часто проводили с ними вечера в Гаграх. Уже создавались необычные гипсокерамические, покрытые яркой цветной глазурью, сказочные драконы, спруты, осьминоги, задиристые петухи, важные павлины, сонные совы, волшебные терема, горницы, сакли — автобусные остановки от Гагр до Пицунды — работа уже знаменитого тогда Зураба Каргаретели, с которым у Глории с первого дня знакомства установились дружеские отношения.

Бывало, что Каргаретели вдруг загорался какой-нибудь идеей, и не было сил удержать его за столом, не говоря уже о том, чтобы убедить его дожидаться утра. Тут же находилась машина, и она в ночь несла к Пицунде творца, которому необходимо было немедленно проверить свою мысль. «Одержимый», — говорила Глория о Каргаретели и, конечно, подразумевала, что только таким и должен быть созидатель.

Возвращались они в Заркент через Тбилиси. В Грузии, в Тбилиси они оба оказались впервые и, уезжая, увозили в своих сердцах нежную любовь к этому удивительному краю и его людям...

... Проснулся он рано, хотя и спал всего два-три часа, — привычка, выработанная в молодости в Заркенте, срабатывала до сих пор. Двери соседних купе еще не открывались, и проводник обрадовался Гиязу, — теперь ему было с кем словом перекинуться. Но Гияз, обменявшись с ним двумя-тремя ничего не значившими фразами о погоде, расписании, ближайшей стоянке, попросил чайник чая и вновь скрылся в купе.

Поутру кондиционер был отключен, и он опустил створку окна. Близость пустыни уже ощущалась, свежести той, что в Озерном, не чувствовалось, хотя день только начинался. Взгляд его то и дело задерживался на диване, — наверное, надо было собрать письма и фотографии, сложить их, но каждый раз какая-то новая мысль отвлекала его.



Неизвестно почему вдруг вспомнилась сейчас телеграмма: «Гия, задержусь в Ташкенте еще на три дня. Проект завалили, буду бороться». Такие телеграммы от Глории он получал не раз, и не только из Ташкента: он знал о каждом ее проекте, взлелеянном в муках бессонными ночами, точно дитя. На этот раз речь шла о Доме молодежи, который Глория сдавала три года спустя после свадьбы.

Дом молодежи давался ей трудно, браковался вариант за вариантом, каждый из которых забирал уйму сил и бездну времени. Дважды она летала в Тбилиси, показывала работу Каргаретели и его друзьям-архитекторам. Возвращалась из Грузии окрыленная, с блокнотами, полными записей, советов, рекомендаций. Говорила: вот, кажется, все — нашла. Но через неделю уже почти законченная работа браковалась, советы казались ей банальными, ненужными, запоздалыми, блокноты летели в мусорное ведро...

Глория вдруг почувствовала, что Заркент, предоставляя ей шанс выразить себя, в то же время лишал ее профессиональной среды, той атмосферы, которая нужна каждому творческому работнику. Живя вдали от признанных центров архитектурной мысли страны, она, тем не менее, стала ощущать, что в их профессиональном цехе происходят какие-то серьезные перемены. Она уловила это по проектам, которые неожиданно получали широкую огласку, тем самым становясь неким эталоном. И это новое веяние в архитектуре, быстро набравшее силу и мощь, как весенний горный ливень, застало Глорию врасплох. Она не находила иных слов, кроме возмущенных: бездарность, безликость, коробки, стандарт... С работы она возвращалась так же поздно, как и Гияз, часто с охрипшим голосом, — без боя архитекторы все же не сдавались.

— Гия, милый, — говорила она, волнуясь, — ну как я могу утверждать проект нового жилого массива, если потолки требуют занизить до двух с половиной метров! И это у нас, в Заркенте, где и так дышать нечем, жара сорокаградусная все лето. Люстру можно использовать вместо супницы на столе. А совмещать санузел с ванной у нас, в Средней Азии, где много детей, большие семьи, где ванна служит семье и прачечной, — это же полный абсурд!



Глория горячилась, забывала об ужине.

— А что скажете вы, строители? Архитекторы с ума посходили? В здравом ли мы уме, спросите? В здравом, да что толку, не завизирую проект я, это с удовольствием сделает другой.

Гияз запомнил из той поры термин, многое изменивший в судьбе Глории, — «архитектурные излишества».

Жена его выработала для себя несколько главных принципов, которые считала обязательными для своих работ в Средней Азии. Она не представляла ни одного проекта без зеленой зоны — не тех формальных клумб и посадок «Зеленстроя», которые, в общем-то, имеются в каждом проекте, а той солидной парковой архитектуры, которая со временем убережет строение от пыли и зноя, главных разрушителей в Азии, и создаст вокруг него необходимый микроклимат. Не мыслила она свою архитектуру и без воды: фонтанов, арыков, каналов, всяких лягушатников, питьевых фонтанчиков, — здесь она опиралась на традиционное восточное зодчество, всегда чтившее воду, и как элемент архитектуры — тоже. Чтобы раз и навсегда решить для себя вопрос с водой, — а собиралась она работать в Узбекистане всю жизнь, — Глория копалась в архивах, объездила не только прославленные Хиву, Самарканд и Бухару, но и малоизвестные города Китаб, Коканд, говорила со старцами. И создавала затем оригинальной формы хаузы, нечто вроде нынешних бассейнов, но имевших еще и эстетическое назначение.

Ее парковая зона с фонтанами и хаузами предусматривала места отдыха: для уставших, любопытных, гуляющих и, конечно, для влюбленных. Скамейки, лавки, айваны, для одного человека, для двоих, для компании, которые Глория создавала с неиссякаемой фантазией и смелостью, поражали не только формой, материалом, но и тем, как она умудрялась их расположить. Они у нее словно вырастали из земли, как грибы, естественно, будто только тут им и место. Зная любовь народов Востока к фонтанам и видя, что по вечерам возле них собираются люди, она придумала вокруг фонтана, в зоне, куда не долетают брызги, разрезанное кольцо-скамейку, где можно было, никому не мешая, отдыхать у воды. Удивляла она и своими шатрами-беседками для влюбленных. Легкие, ажурные, по весне оплетенные виноградником, вьющейся зеленью, чайными





розами, они словно сошли на землю со страниц восточных сказок.

Глория сетовала, что у нас, к сожалению, мало архитекторов по парковой культуре, и получи она когда-нибудь солидный заказ, где понадобится возле сооружения разбить настоящий сквер, сад, парк, она и знать не будет, к кому обратиться, кого пригласить для совместной работы. Очень об этом жалела и часто говорила: пока строится город, заложить бы где-нибудь загородный парк, чтобы он спокойно поднялся, пока город подступит к нему. И для себя, уверенная, что это непременно пригодится когда-нибудь, изучала и парковую культуру. Часто ездила в Ташкент, в Ботанический сад, в институт Шредера и многое узнала о деревьях, кустарниках, цветах Средней Азии. По крайней мере, она точно знала, сколько нужно лет, чтобы выбранные ею деревья создали вокруг здания достойный ландшафт.

Но и деревья, и вода, которым Глория придавала такое большое значение, все же служили, так сказать, антуражем для главного — самого здания. В Глории, несмотря на молодость, на женский романтизм, кое-где проскальзывавший в работах, чувствовались прежде всего мужская рациональность, мужской расчет. Гияз помнит, как однажды за столом в Гаграх Зураб Каргаретели сказал: «Стоит мне взглянуть на безымянный проект, я всегда безошибочно скажу — мужская это или женская работа». Друзья Зураба, тоже архитекторы, тогда рассмеялись и сказали, что такое чутье дано не ему одному. Сколько раз Глория, отправлявшая на архитектурные конкурсы свои работы, получала ответы, начинавшиеся словами: «Уважаемый товарищ Караян...» А ведь в жюри этих конкурсов наверняка тоже сидели люди, уверенные, что без труда отличат мужскую работу от женской.

Эту мужскую хватку в Глории Гияз уловил сразу, в первый же вечер их знакомства, когда она рассказывала ему о «Жемчужине», и позже не раз убеждался в этом, когда они поженились и он уже жил интересами жены, зная об архитектуре больше, чем иной дипломированный специалист, потому что у Глории был еще и талант педагога, умеющего раскрыть самую суть проблемы. Но Глория, несмотря ни на что, оставалась настоящей женщиной. И Гияз понял, что в ее



архитектуре обязательно будет присутствовать что-то такое, что неподвластно ни одному талантливому мужчине — должно же было как-то выразиться ее неповторимое сочетание женственности, обаяния, вкуса и характера. Ведь она работала неистово, отдаваясь делу целиком, забывая порой о муже, о семье, о доме. Эта рациональность, чувство ответственности перед грядущими поколениями, полнейшее отсутствие конъюнктурных соображений, погони за сиюминутной выгодой позволили ей выработать главные принципы, которым она следовала в любых обстоятельствах. По ее убеждению, в Средней Азии для зданий, строившихся по индивидуальному проекту, для сооружений, определявших лицо города, годились только материалы, менее всего подверженные действию солнца и пыли: высококачественный светлый кирпич, камень, желательно полированный, и металл... тонкие листы красной меди, цинка, свинца, алюминия и их сплавов. Каждый из этих материалов годился сам по себе, но Глория считала, что лучше их сочетать. Работая, она не витала в облаках, не закладывала в проект того, чего днем с огнем не сыщешь, — все это имелось в достатке в Средней Азии, кроме хорошего кирпича. А цветной металл, непривычный для нашей архитектуры, за которым Глория видела будущее, она решила использовать только потому, что жила в Заркенте, где он производился. Она иногда говорила с грустью, что опоздала в архитектуру лет на десять. Проектируя Дом молодежи, Глория, конечно, знала, что наступило время блочного строительства, бетона, подвижной опалубки, новых облицовочных материалов, время стекла. Время серийного строительства, эра домостроительных комбинатов. Знала и часто с карандашом в руках убеждала, что дешевые, на первый взгляд, материалы дают только сиюминутную выгоду, с годами на ремонт во много раз больше уйдет, чем на материалы, рассчитанные на десятилетия. «Скупой платит дважды — это сказано об архитектуре», — уверяла она.

О стекле в одной из своих статей Глория высказалась резко и определенно: для Средней Азии с ее жарой и солнцем оно противопоказано. Да и в других климатических зонах... Пройдут первые восторги, и во весь рост встанет проблема отопления: на ее взгляд, обогревать стеклянные здания — все равно, что отапливать улицу. А человек в аквариуме, по ее



мнению, подвергается насилию архитектора. С этой статьей у нее тоже были неприятности: Союз архитекторов обвинил ее в непонимании современных задач градостроительства, недооценке новых материалов, за которыми будущее архитектуры. Гияз помнит, как Глория написала тогда ответ, состоявший из одной фразы: «Во все времена перед архитектором стояла и будет стоять одна задача: строить красиво, добротнo, на века». Но Гияз, вызвавшийся отнести письмо на почту, ответ не отправил, ибо уже знал: молодым дерзости не прощают.

Сейчас в коридоре, у окна вагона, спустя много лет вспоминая борьбу Глории за свой взгляд на архитектуру, Гияз понимал, что во многом она была права, хотя и тогда несколько не сомневался в правильности ее взглядов и идей.

Ему припомнились многие здания Ташкента, отстроенные после землетрясения. За какой-то десяток лет бетон и облицовка выгорели, постарели — и тут ничем помочь уже нельзя. С многих высотных зданий падают изразцы облицовки, казавшиеся тогда такими заманчиво дешевыми, а теперь замена одной плитки на недостижимой высоте оборачивается сотнями рублей, кажется неразрешимой технологической задачей.

Гияз хорошо помнил работу Глории над Домом молодежи, ведь она приступила к ней сразу после свадьбы. Все три года, что жена трудилась над этим проектом, ни одна встреча у них в доме не заканчивалась без разговоров о нем. Тамаз шутил, что если Глория будет так интересно рассказывать об архитектуре, то она отобьет у футбола всех болельщиков. А Глория не без грусти отвечала: мне бы как вам, футболистам, стадион заполнить, вырваться к народу, я бы отстояла каждое свое детище. Иногда кто-нибудь намекал ей: вот если бы у тебя был покровитель, учитель...

На это Глория всегда говорила: я желала бы, чтобы моим покровителем стали массы. И она всегда терзалась оттого, что у нее нет массовой аудитории. Может, она не могла забыть свой первый проект, когда напрямую вышла на молодежь города и убедила ее в состоятельности своей работы?

В Дом молодежи она заложила рваный и шлифованный камень, высокосортный светлый кирпич и почти все цветные металлы Заркента, но больше всего красной меди, потому что считала: медь — металл Востока. Глория к тому времени



объездила весь Узбекистан и уверяла, что почти не встречала современных зданий, где летом не обливались бы потом — тогда бытовых кондиционеров и в помине не было. Вопрос о том, как обеспечить зданию прохладу, волновал ее больше всего. Шутила, что, например, в концертных залах, больших и малых, принимая здание, комиссия обращает внимание на полы, потолки, лестницы, на что угодно, кроме главного — слышимости. Оттого «звонкие» залы можно по пальцам пересчитать, спросите у певцов. Обращала внимание и на то, что в современной архитектуре исчез целый элемент — крыша. Это и натолкнуло Глорию на идею. Поначалу она хотела сделать обыкновенную крышу из оцинкованного железа, как зеркало отражающего солнечные лучи. Но Дом молодежи она представляла себе романтическим зданием, хотела, чтобы уже внешним видом он притягивал молодежь, потому и от традиционной крыши отказалась. А идею, считай, подал Гияз: почему бы ей на крыше не сделать кафе?

«А действительно — почему бы и нет?» — подумала она, ибо рациональность используемой площади была одним из главных ее принципов. Кафе она набросала быстро, но главное — придумала крышу-шатер над ним, а значит, и над всем строением. Кафе она сделала на восточный манер: крыша-шатер из легкого хромированного цинка опиралась на множество столбов, украшенных затейливой национальной узбекской резьбой — ганчем. Глория честно признавалась, что этот элемент она позаимствовала из полюбившейся ей самаркандской мечети. Крыша, по ее задумке, решала сразу две проблемы: отражала самые жаркие, прямые лучи солнца и способствовала возникновению постоянного аэродинамического потока воздуха, охлаждающего здание. Оттого и родилось название кафе «Ветерок» — в жарком краю это ох как важно.

На этом Глория не успокоилась и, опять же по предложению Гияза, увеличила толщину стен против сложившегося современного норматива, а в стенах положила трубы, по которым летом циркулировала бы холодная вода, охлаждающая здание. Интерьеры, лестницы, освещение Глории давались легко: фантазия ее была щедра. Гияз, слушая ее неожиданные решения, потихоньку их записывал, и записи эти не однажды оказывались кстати. Тогда Гияз понял, что архитектурная



мысль похожа на поэтическую строку: не запиши вовремя — не вернется.

Большую стену холла должно было украшать мозаичное панно «Мотогонщики». Глория все-таки не забыла страсти на гаревой дорожке. Панно обещал выполнить сам Зураб Каргаретели, равнодушный к скорости. Гиязу нравился весь проект: и кафе, и крыша, и концертный зал, но больше всего холл, где со второго этажа на рваные камни заструится водопад, у края бирюзового хауза зажурчит фонтан, а в прозрачных шахтах сквозь здание будут бесшумно двигаться лифты, поднимающие из холла гостей в «Ветерок».

Раньше Гияз, слыша выражение «родиться вовремя», не придавал ему никакого значения, — может, потому, что чаще всего оно упоминалось всуе и касалось времен романтических, когда хотелось быть мушкетером или скакать рядом с Чапаевым, а девушки мечтали о балах во дворцах и чтобы из-за них дрались на дуэлях, а поутру воздыхатели присылали им корзины роз... А ведь это выражение, скорее всего, родилось вдогонку чьей-то трагической судьбе. Гияз понимал, что людей, отстающих от своего времени, тьма, и они несколько не страдают от этого, потому что их большинство, а людей, опережающих время, единицы, и судьбы их — великие или трагичные, если некому их понять, поддержать, ведь даже время не всегда подтверждает их правоту.

Хотя он закончил институт и жил в Омске, некогда признанном культурном центре Сибири, целых пять лет, особым культурным багажом похвастаться не мог. Да и многие ли его товарищи, сокурсники, положила руку на сердце, могли назвать себя культурными людьми? Так, внешние приметы: кое-что читали, кое-что видели, научились завязывать галстуки, а вся культура в основном черпалась из затрепанной книжки «Правила хорошего тона», большей частью пропагандировавшей манеры салонов, канувших в Лету, с которыми легче попасть впросак, чем прослыть человеком воспитанным. А ведь они были людьми с высшим образованием! Конечно, у его поколения было много причин недополучить чего-то по части культуры: и объективных, и субъективных — две трети студентов жили только на стипендию, и мысли чаще всего были о том, как не бросить институт, хотя оправданием это, конечно, теперь служить не



может. А может, они прятались за модной тогда формулой «физики — лирики»? Технари — зачем, мол, нам, поэзия, живопись, музыка, скульптура? Жаль, что не разглядели тогда в этой, казалось бы, безобидной формулировке большого вреда. Главным, как теперь понимал Гияз, было отсутствие духовности в стенах самого института и общежития. Конечно, учились там и другие студенты, как они сами себя называли — элита, именно они-то и нарекли ребят, подобных Гиязу, «колхозниками». Но эти подвижничеством себя не утруждали, а жили сами по себе, общаясь с себе подобными. Среда — носитель культуры, она весомее любых мудрых трактатов. Это он понял там, в Заркенте, случайно попав в компанию Джумбера. Кроме ребят из Тбилиси, имевших высшее образование, — а за Джумбером и Робертом и музыкальная школа числилась, — были здесь врачи, музыканты, педагоги — молодая интеллигенция молодого города. Но больше всего он почерпнул от Глории, — сама жизнь с нею ежедневно обогащала его как личность.

В их библиотеке были книги о людях, родившихся не вовремя... Родиться не вовремя... Это вовсе не значит, что надо оперировать лишь веками и эпохами, — для человека может хватить и одного десятилетия, того самого, к которому его талант набрал силу, к которому он подошел с программными работами, идеями. Бороться и ждать десятилетия дано далеко не каждому, человек может и не отступить, а надломиться.

Проект Дома молодежи Глории утвержден не был: как корабль на айсберг, он наскочил на только что вышедшее постановление «об излишествах в архитектуре». И, как часто бывает, в этом, в общем-то, справедливом и своевременном деле начались перегибы, вплоть до упрощенчества, примитивизма. Выбор, павший на нее, как понимала Глория, оказался случайным, чьих-то козней она тут не усматривала — просто судьба. Конечно же, в ее проекте, с позиций нового постановления, излишеств хватало с избытком.

Смелое, изящное, красивое? Все это комиссии казалось непозволительной роскошью. А затея с охлаждением здания? Иначе как барство и не воспринималась. Лифты, водопады, внутренние хаузы, фонтаны? В Доме молодежи? В Заркенте, который и не на всякой карте обозначен? Все было отвергнуто практически с ходу, без обсуждения. Как ни странно, дольше



всего споры шли о «Мотогонщиках» ... Гонщики в Доме молодежи города металлургов? Глория пыталась объяснить, что скорость, гонки — символы молодости, времени, века. Один из руководителей комиссии великодушно сказал, что панно — это не главное, изменить, мол, нетрудно, и подал бесценную, на его взгляд, идею — дать во всю высоту стены улыбающегося металлурга с кочергой в руке на фоне огненной меди, — и сам засветился от восторга и выдумки своей, как заркентская медь. На что Глория, не сдержавшись, резко ответила: это все равно, что изобразить вас рядом с ванной и с мухобойкой в руках, потому что медь добывают в Заркенте химическим способом, в гальванических ваннах, очень похожих на домашние, только размером побольше, и выложены они винипластом, против агрессивной среды, так что никакой героики в добыче меди нет, правда, раствор красивого изумрудного цвета ядовит. Этот выпад задел председателя комиссии, маститого скульптора, автора многих композиций мужчин с кайлом или молотом, женщин с веслом или подойником — с чем только пожелает заказчик, лишь бы «отражало» сегодняшнюю жизнь.

Веди себя Глория иначе, может, и не был бы тогда провал проекта столь драматичным для нее. В душе она прекрасно понимала цели и задачи нового постановления, осознавала, на что в первую очередь должны быть направлены усилия архитекторов на данном отрезке времени. Многие, очень многие еще жили в коммунальных общежитиях, а в Средней Азии и в саманных, глинобитных домах. Понимала, соглашаясь с необходимостью срочно решить эту проблему, но никак не могла взять в толк, почему надо отказываться от проектов, в которые изначально заложены такие элементарные, можно сказать, определяющие элементы, как добротность, прочность, красота, удобство.

Об этом своем убеждении говорила она и при защите проекта, но, видимо, потрясенная тем, что ее идея терпит крах, Глория перешла в своей прямолинейности и запальчивости все дозволенные границы. Перешла на личности, обвинив председателя комиссии чуть ли не в бездарности, и закончила зло и непримиримо, что абсолютно уверена — время ее проекта обязательно придет.



Речь эта дорого обошлась Глории: ее обвинили во всех смертных грехах архитектуры, по всем пунктам руководящего постановления.

Тот год для них, четвертый после свадьбы, вообще выдался неудачным. Ранней весной, когда только начался футбольный сезон, получил серьезную травму Тамаз, весельчак и балагур, светлая и щедрая душа их компании. Три месяца он пролежал с переломом в институте травматологии в Ташкенте и выписался инвалидом. Страшно было видеть осунувшегося Тамаза с палкой в руке, которая, как уверяли врачи, нужна будет ему всю жизнь. На проводах в «Жемчужине», похожих скорее на поминки, хотя каждый и пытался казаться веселее, чем был, неодолимая, как плотный смог, грусть зависла над столом. Провожая Тамаза, они чувствовали, как распадается их некогда дружная компания, уходит их молодость. Они вступали в новый этап жизни, где меньше ожиданий и куда как меньше надежд, где пропадают куда-то лучшие друзья; где не обрадуешься шальному полуночному звонку и уже начинаешь оглядываться назад, чего еще вчера не случилось, а если и случилось, то не вызывало грусти и боли.

Тамаз, охваченный таким же настроением, понимавший, что со многими из тех, с кем прошла его молодость в этом городе, он видится в последний раз, тем не менее, пытался шутить.

— Нет худа без добра, ребята. Вот обрадуются дома, что я наконец-то оставил футбол и отдам свои силы Фемиде, я ведь юрист... Для начала собственную пенсию у бюрократов отсудить придется, я же не по пьянке, а на глазах у десятков тысяч людей покалечился: считай, практикой минимум на полгода обеспечен. И прошу вас, друзья, согнать печаль со своих лиц, если со мной и случилась не совсем приятная штука, я ничуть не жалею о том, что отдал футболу лучшие свои молодые годы. О, футбол — великая страсть! Футбол для меня — это все равно, что для тебя, Глория, архитектура...

Рано поутру Тамаз уехал, и больше уже никогда в полном, прежнем составе их компания не собиралась. Медленно, по одному и парами, выбывали они из-за стола встреч и странно исчезали, словно проваливались в омут, и это в небольшом-то городке.

В том же году сдавали последнюю, третью очередь гигантского комбината, и, как всегда перед пуском, работали день и





ночь. Гияз по-прежнему руководил участком, но теперь уже вдвое большим, хозрасчетным, по объему работ превосходившим иные строительно-монтажные управления Заркента. При его стаже и опыте вполне можно было бы и самому возглавлять какое-нибудь из многочисленных СМУ, но руководству было виднее: начальник участка на таком ответственном объекте был куда важнее и нужнее, чем иной работник рангом повыше. Жди, — говорили ему, — твое от тебя никуда не денется. А он никуда и не спешил, чувствовал себя на своем месте, понимал, что занимается настоящим мужским делом.

Сдача комбината в эксплуатацию — событие государственной важности, и к этой дате готовились не только строители, но и весь город. Монтажники постарались, завершив строительство на год раньше срока, и потому ожидалось крупные денежные премии. Хотя Гиязу такая премия тоже не помешала бы — собирались с женой после сдачи проекта Дома молодежи вновь взять отпуск за два года и уехать в Гагры, куда их приглашали грузинские архитекторы, друзья Глории, — думал он о другом.

Ходили упорные слухи о том, что многих строителей будут награждать орденами и медалями, а может, кого-то и к званию Героя Труда представят. Чем ближе подходил срок, тем чаще назывались фамилии тех, кому могут достаться награды. Упоминался в этом устном списке и Исламов.

Однажды в управлении инженер по кадрам — новая, не та, что когда-то, увидев его диплом, спросила: «Умный, значит?» — шепнула ему тайком, что на него готовят документы. Ни об этом разговоре с инженером по кадрам, ни о том, что он очень хотел бы получить награду, Глории он не говорил. Хотя юношеская мечта, родившаяся в Озерном — заработать первый свой трудовой орден к тридцати, — никогда не выходила у него из головы. Орден казался Гиязу самым весомым отчетом перед отцом. Когда документы передали в горком, из этого тайны не делалось, все знали, что к наградам из их управления представлены Зульфия Батырова, бригадир отделочниц, показавшая дорогу на стройку десяткам девушек из своего родного кишлака, и Исламов. Оба начинали стройку еще с первой очереди комбината.

Однако документы Исламова вернули обратно. Нет, не потому, что сочли его недостойным или не заслуживавшим



ордена, просто сказали — нужно рабочего. Видимо, по другим управлениям и трестам с руководителями, представленными к правительственным наградам, вышел перебор, вот и разыграли лишнего. А может быть, просто дело случая. В оставшиеся дни спешно готовили документы на Силкина — известного бригадира, депутата горсовета.

Вот так странно через столько лет вновь переплелись судьбы бывших однокурсников. Орден, высокий орден Трудового Красного Знамени, достался Юрию Силкину. И обида Гияза оттого была долгой. Силкин процветал, переехал в двухэтажный коттедж с садом, года два уже ездил на личной «Волге» и в составе рабочих делегаций республики уже не раз бывал за границей.

Его неудача, как считал Исламов, потянула за собой неудачи жены. Глория, зная из рассказов Гияза о его отце и погибших братьях, о взгляде мужа на себя как на единственного продолжателя рода и фамилии, понимала, что означает для него ребенок, сын, Исламов-младший. Но как бы она ни разделяла мечты мужа о ребенке, работа заслоняла собой все. Она все обещала: подожди, вот закончу Дом молодежи и стану примерной женой, хозяйкой, стану матерью, сделаю перерыв в работе. Уезжая защищать проект, она призналась мужу, что беременна. Вот почему, получив ту телеграмму, Гияз забеспокоился о ее здоровье и помчался в Ташкент. Глорию тронуло его внимание, и она, улыбаясь сквозь слезы, сказала: «Глупый, у меня только второй месяц, и волнения мои ничуть не повредят Исламову-младшему». В том, что у них будет сын, они не сомневались.

Из Ташкента они вернулись ни с чем. Казалось, жена смирилась с поражением. Гияз успокаивал ее: «Вот недельки через две, как только пройдет пуск, уедем надолго в Гагры, отдохнем, а там видно будет».

Но через два дня после возвращения Глория неожиданно оформила отпуск и объявила, что едет в Москву, пообещав непременно вернуться к празднику пуска. Как ни уговаривал Гияз, удержать ее от поездки не удалось, — она сказала, что хочет бороться до конца. Пуск, ожидая высоких гостей, откладывали дважды. Глория не возвращалась, звонила редко, вести были неутешительные. Гияз сдавал объект государственной комиссии и вырваться к жене, как ни хотел, не мог. В Заркент Глория



вернулась через полтора месяца, худая, нервная, прилетела без телеграммы. Весь ее вид говорил о том, что дела неважные, с порога она бросилась ему на шею и горько, навзрыд, расплакалась. Плакала она долго — гордая, не позволившая себе расслабиться в Москве, здесь дала волю чувствам. Гияз подхватил ее на руки, отнес на диван и там, на его руках, обессиленная, она задремала. Среди ночи вдруг очнулась, словно и не спала, и сказала опустошенно:

— Гия, я убила в Москве твоего сына...

Гияз, уже чувствовавший, что случилось что-то непоправимое, едва сдержал в себе дикий крик и, задыхаясь от горечи, нашел в себе силы успокоить забившуюся вновь в рыданиях больную жену. Всю жизнь потом он благодарил судьбу за то, что в тот час не бросил ей, отчаявшейся, усталой, ни одного горького упрека. Три дня она не поднималась с постели, не выходила из дому. Гияз оформил отпуск и был постоянно рядом. Как только Глория немного пришла в себя, решили уехать к морю. В Гаграх они сняли квартиру на другом конце города, подальше от гостеприимного дома Дато Джешкариани, дяди Джумбера, — с таким настроением лучше не огорчать людей, хорошо относившихся к ним, решили они. Избегали они и людных мест. Днями пропадали на пляже, не вспоминая, как некогда были веселы и счастливы в этих краях, никуда не выезжали, хотя знали окрестности не хуже местных, даже о Пицунде не заговаривали. По вечерам ходили в один и тот же ресторан, где хозяйка их квартиры работала официанткой, а у них на террасе в углу был столик, на который вечерняя смена всегда ставила табличку: «Заказано».

Странно, раньше казалось, что только веселье помогает убить время, а теперь вечера убывали незаметно, хотя за столом не плескался смех, и музыка, звучащая на другой террасе, не срывала их с мест. В обоих словно что-то оборвалось, и они, как немощные старики, старались поддержать друг друга. Удивительно, что и темы для разговоров они выбирали нейтральные, плавно обходя свою жизнь. В то лето, любуясь каждый вечер с террасы морским закатом, они много говорили о литературе, впрочем, рассказывала Глория, а Гияз слушал, не смея оторвать глаз, как тогда, в первый раз, в «Жемчужине», от прекрасной женщины, начинавшей возвращаться к жизни.



Домой они вернулись в сентябре, когда в Заркенте спала изнурительная жара и установилась долгая теплая осень — удивительно красивое время в Узбекистане. Вернулись тихо, никого не предупреждая, не оповещая, и гостей по случаю возвращения, как прежде, собирать дома или в «Жемчужине» не стали. Футбольная команда играла на выезде, и они об этом знали.

Как-то ночью раздался телефонный звонок, звонил из Павлодара Джумбер. Как они обрадовались этому — проговорили, наверное, целый час. И ведь звонок ничего радостного не принес, скорее наоборот. Джумбер сообщал, что Роберта срочно забирают в «Пахтакор», — у них получил травму правый крайний, и тренерский совет остановил выбор на нападающем «Металлурга». Команда прилетала из Павлодара после обеда, и у Роберта оставался единственный вечер в Заркенте, на другой день он с «Пахтакором» должен был улететь на игру с тбилисским «Динамо». Джумбер просил организовать прощальный вечер. Компания теряла еще одного лидера. Хотя Роберт шел на повышение, застолье радостным не получилось. Понимали все, и в первую очередь Роберт, что приглашение сильно запоздало, единственной отрадой было то, что через три дня он выйдет на поле в родном Тбилиси.

Игра Роберта дома, в родном городе, стала лучшей его игрой. Джумбер, смотревший матч по телевизору у Исламовых, не скрывал слез. Впервые играя за «Пахтакор», в незнакомой команде, Роберт творил невозможное, невероятное, ему удавалось все. И опытные партнеры, почувствовав, что у новичка пошла игра, все пасы адресовали ему, забившему два мяча. Каждый раз, когда показывали на миг трибуны стадиона, им казалось, что мелькало лицо их друга Тамаза, которого и предупредить не успели, что Роберт будет играть против тбилисцев. Гияз прекрасно понимал, каково сейчас их другу: с одной стороны, он доказал, что может играть по-настоящему, но, с другой — играть-то пришлось против своих. И еще Исламов подумал о том, что не только Роберту, но и многим, очень многим грузинским парням не нашлось места в родной команде — уж слишком богата эта республика футбольными талантами. Вот и приходится им искать счастья в других клубах. Игру друга Джумбер прокомментировал коротко: «Каждый из нас, кому



не посчастливилось играть дома, в Грузии, должен был сыграть только так, на пределе своих сил... или умереть на поле. — И, прощаясь с ними в тот вечер, рано седеющий капитан сказал: — Вокруг столько людей, а мне кажется, что нас в городе осталось трое...»

Беды как-то сплотили Глорию и Гияза, их совместная жизнь стала обретать семейные черты — странно, наверное, звучат эти слова на пятом году брака, но что было, то было. Те пролетевшие стремительно годы у каждого из них были до предела заполнены одним — работой. Глория и по ночам вдруг вскакивала к кульману, если приходила какая идея, а у Гияза на объекте раскладушка так и стояла наготове, только уже третья или четвертая по счету — слишком уж хрупкими они выпускались или не были рассчитаны на издерганных прорабов, которые и спать-то спокойно не могли. Работа, работа, работа... А если когда выпадало свободное время, старались общаться с друзьями, принимать гостей и не упускали случая посетить Ташкент. Гияз оставался по-студенчески неприветлив, на домашних обедах и уюте не настаивал, он понимал Глорию, гордился ею, работа ее вызывала у него огромное уважение, и он тайком думал, что сын его непременно станет, как и мать, архитектором.

Нельзя сказать, что Глория охладела к архитектуре, нет, просто стала вовремя, как и все, возвращаться с работы. Из квартиры исчезли кульман и десятки листов ватмана с эскизами, и комната стала похожа на комнату, а не на мастерскую проектного института. А однажды в доме появились даже диковинные цветы в горшках. Возвращаясь с работы, Глория заходила на базар, и к приходу мужа из кухни доносились аппетитные запахи. Гияз был приятно удивлен, что жена его так замечательно готовит. На дом работу она теперь не брала.

Изменилось кое-что и в работе Гияза. Хотя официально комбинат и сдали, не все строители ушли с объекта, еще с полгода сидели на недоделках, — странный, узаконенный норматив, непонятный даже самому Гиязу, инженеру. Не совсем было ясно и то, куда перекинут его хозрасчетный участок, сложившийся ударный коллектив: то ли на строительство завода бытовой химии, то ли сернокислотных цехов на базе отстроенного комбината. И по тому, и по другому объекту не



была готова проектная документация, строители все объекты сдавали досрочно. Опять же непонятная для Исламова ситуация: бумага задерживала дело. И Гияз тоже стал вовремя возвращаться с работы и тоже занялся домом: наконец-то поставил рамы на балконе и настелил там же деревянные полы. Работа, откладывавшаяся годами, была сделана за неделю, и они оба были поражены этим. Тогда-то они и решили своими силами сделать в квартире ремонт, и у Глории вновь засветились огоньки в глазах.

Хотя Гиязу только исполнилось тридцать, он чувствовал, что так, на износ, как вкалывал на строительстве комбината, работать у него уже нет сил, и подумывал взять объект поспокойнее, как поступали многие его коллеги, но ничего об этом Глории пока не говорил. Они чаще стали бывать в Ташкенте, даже наконец-то нашли старушку, у которой могли останавливаться. В ту весну они приохотились ездить в новый органнй зал и, конечно, не пропускали ни одной игры «Пахтакора», болели за Роберта.

— Зная, что вы на трибунах, я увереннее чувствую себя на поле, — говорил им тот после игры.

В то лето их компания распалась окончательно. «Металлург» сильно обновился, шла смена поколений, из прежнего чемпионского состава доигрывали двое — бессменный капитан и вратарь. Сменился и тренер, и с ним пришло полкоманды. У Джумбера не сложились отношения ни с тренером, ни с новичками, — у них было разное отношение к футболу. В Заркенте впервые появились на поле патлатые, нечесанные футболисты, игравшие в спущенных гетрах, в рубахах на выпуск, на шее у каждого болталась какая-нибудь чепуха, называвшаяся талисманом. По игре Джумберу трудно было предъявлять претензии, хотя он уже потерял в скорости. Но пришла футбольная мудрость, обострилось тактическое чутье, а главное — он забивал по-прежнему много, хотя и потерял свои крылья — Тамаза и Роберта, а новые нападающие не очень-то баловали его пасами, и за этим он чувствовал козни не только молодых, но и тренера. Видимо, так оно и было, Гияз с Глорией в футболе все-таки разбирались. На очередной игре дома в разгар второго тайма, когда команда вела в счете, Джумбер забил гол, тренер подошел к полю и условным знаком



показал, что собирается заменить Джешкариани. Джумбер поначалу не понял — менять его? Глория с Гиязом увидели, как смертельно побледнел капитан, — это было рядом с их сектором. В ту же секунду он подбежал к кромке поля и, схватив тренера за грудки, прохрипел:

— Только попробуй, только попробуй!.. — и, не оборачиваясь, побежал к центру круга.

Пожалуй, кроме Исламовых и скамейки запасных, никто и не понял, что произошло.

— Вот, друзья, настал и мой черед проститься с футболом, — сказал им после игры капитан.

Джумбер, устраивавший другим пышные проводы и встречи, от прощального вечера в «Жемчужине» отказался. Его отъезд они отмечали дома, втроем, в только что отремонтированной квартире, и просидели до утра. После отъезда Джумбера Исламовым долго казалось, что Заркент несколько померк. Джумбер словно предчувствовал кончину футбола в Заркенте. Осенью класс «Б» упразднили, и уже больше никогда настоящий футбол сюда не заглядывал. Перестали по весне приезжать и гонщики, но здесь все объяснялось проще: гаревых дорожек понастроили повсюду, и не было резона тащиться через всю страну в заштатный городок...

Шли месяцы, в их упорядоченной семейной жизни время катилось стремительно... Гияз, радуясь, что Глория как будто обрела покой, постоянно думал: вот еще бы сына для полного счастья. Но никогда Глории об этом не говорил, хотя догадывался, что и она думает о том же. Он знал, что жена зачастила к врачам. Шло время, но радостного стыдливого признания он так и не услышал...

Однажды среди ночи Гияз проснулся, почувствовав, как Глория, прижавшаяся к его плечу, беззвучно плачет. Он не подал вида, что проснулся, подумал, может, приснилось что. Но когда это случилось во второй раз, и он попытался ее успокоить, с ней случилась истерика. Не владея собой, обезумевшая от точившего ее горя, она кричала:

— Я убила нашего ребенка, почему же ты не прогонишь меня прочь? Я сломала тебе жизнь! У тебя никогда не будет сына, Исламов! Я знаю, знаю, ведь ты мечтаешь о нем день и ночь. Прогони меня! Прогони!



Гияз, целуя безумные глаза жены, успокаивал ее как мог, и в эти минуты искренне сожалел, что когда-то так настойчиво внушал ей мысли о сыне, о роде Исламовых, перед которым он якобы в долгу. Сейчас он отказался бы от десяти своих будущих сыновей, чтобы только в душе Глории вновь поселился покой, он чувствовал, что она погибает, и не знал, как ей помочь.

После этого случая Гияз стал еще внимательнее к жене, наотрез отказался от ночных смен, боялся оставлять ее одну, наедине с гнетущими мыслями. Как он хотел тогда, чтобы Глория поняла, что дороже нее для него нет никого на свете! Иногда это ему удавалось, и она преображалась на месяц-другой, ходила веселая, возбужденная, покупала наряды, и они чуть ли не каждую субботу выезжали в Ташкент. В отпуск туристами съездили в Болгарию, где Глория восхищалась отелями на берегу моря. Здесь она опять стала много рисовать, у нее рождались новые идеи. Гияз радовался вновь проснувшемуся у Глории интересу к архитектуре, он готов был пожертвовать сложившимся семейным уютом, вновь превратить квартиру в проектную мастерскую, лишь бы она по ночам не плакала, не мучилась своей виной. Тогда в Болгарии появились первые дискотеки, а в ресторанах играли первоклассные оркестры, и Глория, как когда-то в «Жемчужине», каждый вечер с удовольствием танцевала. А когда они возвращались обратно из Варны в Одессу пароходом, в танцевальном зале на верхней палубе кто-то из отдыхающих позавидовал Гиязу — какая у него веселая, беззаботная жена. Гияз про себя обрадовался: слава богу, кажется, она пришла в себя.

Через неделю после приезда из Болгарии Гияз, вернувшийся с работы с цветами, нашел на столе записку.

«Гия, милый, не ищи меня. Из нашей жизни ничего хорошего не выйдет. Постарайся начать все сначала. Вины твоей ни в чем нет, я благодарна тебе за все. Если можешь, прости и прощай.

Целую, Глория».

Гияз несколько раз прочитал записку, не осознавая страшного смысла слов, — если бы не знакомый почерк, подумал бы, что это чья-то злая шутка. В доме ничего не изменилось, кругом чисто, прибрано, цветы в горшках политы.. Он распахнул





гардероб — вперемежку с его вещами висели два ее стареньких платья и плащ. Не было чемодана и ее любимой дорожной сумки. Он кинулся к шкатулке, где у них хранились деньги и документы, — паспорта Глории не было. «Хоть бы деньги забрала», — подумал мельком. Он упал на тахту и заплакал — громко, навзрыд, как не плакал с детства...

Прошел месяц, другой... Гияз никому не говорил, что Глория ушла от него, впрочем, и говорить-то было некому, в последнее время он мало с кем общался. Он еще и сам до конца не верил в случившееся, ему казалось, что у нее вновь какой-то срыв и скоро все пройдет, образуется, и она вернется домой. Почерневший от дум и бессонных ночей, он летел с работы, каждый раз надеясь, что Глория там. Если он знал, что задержится, оставлял в двери записку: «Глория, я буду во столько-то». Однажды, поднимаясь по лестнице, он не увидел своей записки на месте и чуть не задохнулся от радости. Но радость оказалась напрасной — записку, наверное, забрали озоровавшие мальчишки. По ночам ему вдруг казалось, что позвонили, и он, радостный, вскакивал, а потом от огорчения никак не мог заснуть до утра.

Первые месяцы Гияз не пытался разыскивать Глорию, боялся скомпрометировать, что ли, и еще был уверен — она непременно вернется. На третьем месяце эта уверенность пропала, и он лихорадочно начал искать жену по известным ему адресам, но ниоткуда утешительных вестей не поступало. По вечерам он перестал выходить из дому, думал: а вдруг Глория позвонит или позвонят люди, которых он просил сообщить хоть что-то о ней. Только через год пришла вдруг телеграмма из Норильска, состоявшая из нескольких слов: «Не мучай себя, не ищи меня».

Уже через неделю Гияз был в Норильске, прочесал весь город, поднял на ноги милицию, но следов Глории и там не обнаружил. Может, она попросила кого телеграфировать с другого конца света? Скорее всего, так оно и было, не иголка же в стоге сена, а человек, да и Норильск по тем годам был не так уж велик.

Прошло два года. Увяли цветы в горшках — запоздалое увлечение Глории, и некогда счастливый дом — свидетель радостного смеха и веселых застолий — словно онемел...

Только работа, где он был нужен, и проникшее в кровь чувство ответственности за нее поддерживали в Гиязе интерес к жизни. Разговоров о повышении Исламова уже никто



не вел, говорили — сломался мужик. Хорошо еще, новый объект — завод бытовой химии не требовал такого напряжения, как строительство самого комбината, к тому же Гияз был уже теперь строителем тертым, как любил говорить их начальник. Недоброжелателей на работе у него, казалось, не было, а друзья, зная его беду (город-то маленький, захочешь — не утаишь, да и Глория была в Заркенте человеком известным, к тому же имела прямое отношение к строительству), всячески старались поддержать его.

Коллектив у него на участке был сложившийся, работали лет восемь вместе. Но в один далеко не прекрасный день ситуация резко изменилась — начальником управления стал Силкин. Вышло это не случайно. В последние годы на особо важные совещания, планерки строителей с участием высоких начальников из министерства и главка приглашались бригадиры, передовые рабочие. От их управления рабочих чаще всего представлял Силкин. На такие совещания в любую жару он всегда приходил в куртке-спецовке, на которой красовался орден. Надо отдать ему должное, Силкин достойно представлял интересы своего управления, не от одного выговора спас собственное начальство. Как и в любом деле, у строителей существует своя этика: нельзя откровенно подводить коллег, ставить их под удар, а строительство — это сплошная зависимость друг от друга, одного управления от другого. И то, что не мог, сообразуясь с этикой, сказать начальник управления или главный инженер в присутствии высокого начальства своему коллеге-смежнику, всегда мастерски, как бы по простоте душевной, говорил Силкин. Когда замминистра или другой начальник, обращаясь к Силкину, спрашивал: а что народ скажет, у смежников начинали трястись поджилки. Силкин был инженер, и был не так прост, как казалось, да и годы не прошли для него даром. Выступал он толково, дельно, но больше, конечно, кидал камни в чужой огород, отводя угрозу от своего управления, давая своему начальству возможность перевести дух, передислоцировать силы и заставляя смежников сдать выгодный по объемам и срокам фронт работ, в чем таилась и корысть его знаменитой бригады. Другого такого бригадира на стройке не было, и его не раз пытались сманить в другие управления, но Силкин своего управления держался крепко, видимо, считал, что от добра добра не ищут.



Конечно, не до всего Силкин доходил сам, перед иными горячими совещаниями начальство тщательно инструктировало его и целые отделы готовили для него расчеты, поэтому выступал он во всеоружии и нужной линии держался строго, на это у него был нюх. Для вящей убедительности в разумных пределах допускалась самокритика, — все больше о бережном отношении к минутам, граммам, из которых, мол, складываются миллионы..

Исламову каждый раз в таких случаях хотелось сказать: да оставьте вы в покое минуты и граммы, сберегите лучше сами миллионы. Выступая часто и по делу, Силкин годами был на глазах высокого начальства. С иным начальником управления замминистра едва кивком головы поздоровается, а с Юрием Ивановичем непременно за руку, да еще о делах и самочувствии спросит. А уж если сам замминистра за руку здоровается, то управляющие разве только на руках не носят.

За много лет работы Гияз так и не смог привыкнуть к подхалимажу, чиновничеству, ведь вроде занимались серьезным мужским делом суровые, на первый взгляд, люди. Не мог привыкнуть и к подножкам. Он-то хорошо знал, что такое «подставить под удар» — в строительстве каждый удар нокаутирующий.

Так вышло, что на одном крупном совещании в горячей перепалке замминистра сказал вдруг одному управляющему: считайте, что с завтрашнего дня вы не работаете в этой должности, и, оглядев длинные столы, приказал начальнику СМУ принять дела. Растерявшийся начальник Гияза, понимая, что рушится судьба управляющего, не нашел ничего лучшего, чем спросить, кому же он должен передать дела. И тут смежники отыгрались за долгие годы унижений и подвохов.

— Силкину Юрию Ивановичу... — загалдели они дружно, словно сговорившись, зная, что замминистра благоволил к бригадиру.

— Юрий Иванович, вы что, институт успели одолеть? — спросил замминистра.

Опять же, не дав Силкину рта открыть, опомниться, смежники дружно ответили:

— Конечно, одолел, Сергей Петрович, он все одолеет.

— Что ж, прекрасно, мы ценим, когда практики получают образование. — Замминистра посчитал, что Силкин заочно за эти годы закончил институт. — У меня возражений нет, лучший



бригадир, депутат горсовета, орденосец. Принимайте, Юрий Иванович, дела, раз начальники управлений так за вас хлопочут. Такие добрые отношения только на пользу дела.

Так в какие-то полчаса решилась судьба трех человек, бумерангом ударившая и по четвертому — Гиязу.

Месяца три, пока Силкин осваивался, привыкал к креслу, Исламова он по пустякам не дергал. Надо сказать, что с назначением Силкину повезло, вроде как в инженеры не рвался, ну, а в начальники — это совсем другое дело, о таком повороте судьбы он и не мечтал, был убежден, что диплом никогда не понадобится. Вообще-то он тяготился уже своим бригадирством, многие проблемы, на которые у других уходит жизнь, он решил к тридцати, и материальных стимулов, которые бы подстегивали его честолюбие, уже не было, — молодой город щедро одарил Силкина всем, чем мог, и даже избрал своим депутатом. До тридцати, занятые своими жизненно важными проблемами, люди редко задумываются о власти, о ее гипнотизирующей силе, поражающей и того, кто ею владеет, и тех, кто вынужден этой силе и власти подчиняться. Но вот потом... Безграничная власть Силкина над своей большой бригадой его уже не устраивала, не тот масштаб. Обрядившись в личину рабочего, он выиграл во многом, но, оперившись, набрав силу, обретя положение, своим практическим умом опять высчитал, что все-таки ограничил свой потолок, бригадирство для рабочего — предельная высота. А тут вдруг сразу — начальник управления, с таким общественным положением, что инженеру в его годы и в самых смелых мечтаниях не привидится. С этой точки можно было штурмовать любые высоты: управляющий, а там — чем черт не шутит — может, и сам министр по-отечески передаст ему когда-нибудь свой пост. А почему бы и нет? Голос у него, Силкина, зычный, статью вышел дай бог всякому, нервы и здоровье в порядке, не то что его ровесники-прорабы, в день по две пачки сигарет выкуривают и без люминала заснуть не могут, то и дело за сердце хватаются. Образование у него прекрасное, институт закончил солидный, дневной. Повезло и с управлением: можно догадываться, какое он получил наследство, если его начальник без колебаний, вмиг был назначен управляющим. И главный инженер, и начальники отделов работали со дня основания СМУ и дело свое знали.



Тут хоть спи на работе, а дело будет идти. Но Силкин спать не собирался, свой шанс он решил не упускать, к тому же его жена уже тяготилась Заркентом, мечтала вырваться в большой город. Повезло ему и с временем: горячка, царившая во время строительства комбината, прошла, тогда-то в любой день можно было сломать себе шею, а теперь у него впереди месяцы относительно спокойной жизни, необходимые для того, чтобы вникнуть в новую работу.

Как только втянулся, почувствовал, что дела пошли, Силкин как бы заново увидел, что самый большой и ответственный участок возглавляет его однокурсник Исламов — свидетель его далеко не выдающейся учебы в институте, свидетель его расчетливого бегства от трудностей прорабства, свидетель многих своекорыстных дел в их многолетней работе в одном управлении. Силкин понимал: хоть он и начальник, указчик Исламову, но далеко не авторитет, а ему так хотелось всеобщего уважения! Ведь не мог он, распекая на планерке молодого прораба, сказать в присутствии Исламова: чему, мол, вас учили в институте, потому как сам никогда особыми знаниями не блистал, и знал об этом в Заркенте один-единственный человек — его подчиненный Гияз Исламов.

Гияз, еще не пришедший в себя после исчезновения Глории, первое время просто не замечал пристального внимания Силкина к своему участку. И на первые его выпады тоже никак не реагировал, думал, что новый начальник укрепляет свой авторитет, начиная с него как бы для остротки молодых. Но нападки участились и уже бросались в глаза посторонним. Только спустя полгода Исламов понял, что он как кость в горле у Силкина. Чем лучше шли дела в управлении, тем хуже он относился к Гиязу. Уже друзья говорили Исламову: да плюнь ты на это управление, не даст он тебе жизни, — что за человек Силкин, они знали по его знаменитой бригаде.

Может быть, будь рядом Глория, будь у него в душе покой, он дал бы Силкину бой. А впрочем, не сломайся он так очевидно, вполне вероятно, что тогда, на той счастливой для Силкина планерке, могла прозвучать и фамилия Исламова. И тогда уже точно кончились бы счастливые деньки Силкина, будь он трижды депутат и орденосец. У Исламова были свои взгляды на отношения между людьми, и на отношения между



его коллегами-смежниками — тем более. А уж про шесть сотен в месяц Силкин забыл бы до конца дней своих. Может, об этом тот и догадывался, и потому давил так настойчиво и целенаправленно, верно рассчитав, что сейчас, после бегства своей знаменитой красавицы-жены, Исламов не боец...

Иногда Гияз думал, что, может быть, за работой, вечной занятостью он не заметил, как что-то неуловимо изменилось в жизни, как стала меняться, а, по его мнению — искажаться шкала ценностей. Откуда-то появились новые герои, вызывавшие скорее недоумение, чем восхищение. Он до сих пор не мог понять, как можно было, находясь в здравом уме, забраковать проект Глории — только из-за того, что он попал под какой-то временный указ. И карьера «Великого Силкина», как заглазно называл его на стройке народ, тоже была непонятна Исламову. Но ни на секунду он не позавидовал бывшему однокурснику, понимал — с такой завистью неизвестно до чего можно докатиться. Уроки отца крепко сидели в нем.

Не стал он ни воевать с Силкиным, ни переходить в другое управление — в какой-то момент он почувствовал, насколько тяжело и душно ему в этом городе, где все напоминало о Глории, а жить в ее квартире становилось мучительнее с каждым днем. По-прежнему Гияз вздрагивал от каждого случайного звонка, редко выходил из дому по вечерам, боясь упустить какую-нибудь радостную весть. Но вестей от Глории не было. Он понимал: нужно что-то делать, но с уходом Глории у него словно отняли силы и парализовали волю.

Как-то вечером Исламов, как в старые времена, задержался на работе, получив очередную накачку от Силкина, и, возвращаясь домой, сошел на остановке возле «Жемчужины». В кафе он не был года четыре, хотя постоянно слышал, как его молодые рабочие упоминали «Жемчужину» в своих разговорах. Прежние официантки сменились, с улыбкой, как раньше, его не встречали, да и в нем, начинавшем сесть мужчине, нелегко было признать Гию Исламова, завсегдатая «Жемчужины», некогда появлявшегося здесь каждый вечер с красавицей-женой в шумной грузинской компании.

С первых же минут Гияз понял, что время не пощадило и «Жемчужину». Раньше она, как и задумала Глория, была вечерним праздничным кафе. Официантки приходили на работу



к шести, отдохнувшие, энергичные. Приводили зал в порядок, освежали из шлангов полы, наводили кругом блеск, ставили на каждый стол цветы, и в семь кафе гостеприимно распаховало двери. Теперь эта «точка» открывалась с утра, официантки день работали, два отдыхали, как на заводе, так что к вечеру — при заркентской жаре — каждая походила на выжатый лимон. Зачастую дневной план к этому времени был выполнен, и вечерние клиенты, специально пришедшие после трудового дня отдохнуть, приятно провести время, оказывались как бы ни к чему, лишними. «Жемчужина» пережила уже и ремонт: нежно-коралловая раковина теперь тускло темнела грязной коричневой краской, освещение, служившее архитектурным решением, исчезло — наверное, в ходе кампании по экономии энергии. Исчезли мороженое и вода, вместо них бойко торговали дорогими коктейлями и коньяком в разлив. Стол, за которым обычно собиралась их компания, оказался свободным, и Гияз, заняв свое привычное место, огляделся. Посетителей по-прежнему было много, кафе, при всех издержках, пользовалось популярностью. И вдруг Гияз увидел то, что наверняка обрадовало бы Глорию, а может, она так это и представляла через время. Медь — красная и желтая, ее любимый архитектурный материал, который она сумела-таки использовать в своем первом проекте, радовала глаз, жила какой-то новой жизнью. Высокая литая ограда из тяжелой красной меди, с традиционными элементами восточного орнамента, от времени покрылась кое-где зеленоватым налетом, и от этого здорово выиграла, словно успела побывать в далеком прошлом и основательно запылиться. Она странно, ненавязчиво, но настойчиво бросалась в глаза, а ведь раньше Гияз не замечал этого прекрасного литья, узоров, навевавших мысли о Востоке, времени, старине. Преобразилась и медь, которой каждый день касались сотни рук: стойки у баров, окантовка мраморных столов, тяжелые замысловатые дверные ручки сияли, как отполированные.

Оркестр наигрывал бодрые, жизнерадостные ритмы; музыка, пропущенная через мощные усилители, оглушала даже на огромном свободном пространстве, где раскинулась «Жемчужина». Глория словно предвидела и этот электронный взлет музыки. Заказы оркестру сыпались со всех сторон, что было не принято в их время, и на весь зал неслось: «Для нашего дорогого друга



Ахмета исполняется...» Какой-то Ахмет в этот вечер гулял широко. Оркестр, щедро им финансируемый, не умолкал ни на минуту, и во всех четырех секторах азартно отплясывали. Когда толпа танцующих на время редела и яркий свет уцелевших мощных юпитеров попадал на цветы в танцевальном круге, словно золотое сияние возникало вокруг, так отшлифовались в танце цветы. Вскоре к нему за стол посадили компанию молодых людей, отмечавших экспромтом день рождения девушки. Гиязу показалось, что он уже где-то на стройке видел ее. Гостеприимство, общительность — одна из особенностей восточных людей, и вскоре Гияз тоже поднимал бокал за здоровье именинницы. На какой-то очередной особо изысканный музыкальный заказ Ахмета молодые пары сорвались из-за стола, а напротив него осталась невзрачная девушка, всем своим видом выказывавшая желание потанцевать, и Гиязу ничего не оставалось, как пригласить ее. Танцуя, он невольно смотрел себе под ноги, девушка даже спросила, не потерял ли он чего.

— Не кажется ли вам странным этот цветок? — спросил он.

— Да, пожалуй, в нем есть какая-то тайна, — ответила партнерша, взглядевшись в него.

— А вы внимательнее, внимательнее посмотрите...

— Кажется, вот эти линии цветка напоминают сплетенные буквы «Г» и «К». Да, я отчетливо вижу эти буквы. Вам они что-нибудь напоминают? — спросила она тревожно.

— Нет, нет, просто я тоже разглядел монограмму, наверное, мастер о себе память оставил, долго не вытоптать, — ответил Гияз, и ему захотелось домой.

Возвращаясь давним маршрутом от «Жемчужины» к дому, Гияз мысленно прощался с городом. Он твердо решил уехать.

А через месяц и обмен подвернулся. Так он оказался в одном дворе с Закирджаном-ака.

### Часть III

Скорый из Москвы пришел в Ташкент с опозданием.

Оживились, засуетились в конце пути пассажиры: стоя у окон, гадали вслух, кто придет их встречать. Исламов был спокоен, и даже опоздание его не очень огорчало: никто в Ташкенте





его не ждал, и ни один букет на перроне ему не предназначался. Сошел он последним.

Рабочий день еще не кончился, во дворе дома никого не было, и это его обрадовало, общаться сейчас с кем бы то ни было ему совсем не хотелось. Быстро, бесшумно проскользнул он в свою квартиру. Запах давно не проветривавшегося помещения, застоявшегося воздуха ударил ему в нос, он поспешил распахнуть настежь окна и двери и только потом включил кондиционер.

Квартира, случайно доставшаяся ему по обмену, Гиязу понравилась сразу, и содержал он ее в образцовом порядке, как выразилась некогда Даша. Он не стал ей тогда объяснять, что все его пристрастие к чистоте и уюту объясняется, увы, просто и даже прозаично — он боялся опуститься, боялся запылиться. После ухода Глории он потерял интерес ко всему, и немудреные заботы по дому оказались своеобразной спасительной соломинкой, за которую он ухватился. Потом, через год, это стало привычкой, нормой, хотя, надо признать, неумехой он никогда не был и прежде. Поразил Гияза не столько спертый воздух в квартире, а то, что за время его отсутствия Даша ни разу не была здесь — краткая его записка на кухонном столе — «Я уехал в отпуск, буду в конце месяца» — уже успела пожелтеть и запылиться. Значит, она не знала и не интересовалась, где он, что с ним, — это оказалось для него неожиданностью. У Даши были ключи, она приходила сюда, когда хотела, впрочем, где-то в душе она, наверное, считала эту квартиру своим домом, хотя и имела собственную. Иногда Гияз, возвращаясь с ночной смены, обнаруживал, что Даша ночевала у него. На кухне его ждал горячий завтрак, прикрытый полотенцем, в холодильнике лежали новые припасы, квартира сияла чистотой и свежестью. Иногда на столе белела записка: «Гияз, пожалуйста, никуда не уходи вечером, я взяла билеты», или: «Гияз, мы приглашены в гости». Как-то незадолго до его отъезда в отпуск, в воскресенье, Даша испекла праздничный торт, по этой части она была большая мастерица, украшали торт маленькие свечи и цифра «18». Гияз, заинтригованный, гадал, что бы это значило, но с этой цифрой или датой ничего не мог увязать. Даша, видимо, внутренне готовая к мужской забывчивости, или, сказать точнее, к его невнимательности, так как знала, что Гияз еще не



избавился от переживаний, связанных с прежним браком, не очень обиделась, что он забыл дату их знакомства. Ни о другой женщине, ни о его прошлой семье, ни о шоке, в котором пребывал Гияз, они никогда не говорили, хотя женским умом Даша догадывалась, что в жизни у Исламова произошло что-то серьезное, выбившее его из колеи. Но, однажды сама обжегшись, Даша считала, что разбирается в мужчинах, и, уверенная в успехе, не торопила события. О том, что он был женат, она знала, даже знала на ком — на некоей Глории Караян. В комнате над диваном в тяжелой старинной, под бронзу, раме висел большой портрет, выполненный маслом, очень похожий на работу старых мастеров. Но Даша понимала, что это лишь манера исполнения, а на портрете изображена девушка-современница, чуть постарше ее. Она догадывалась, что это, по всей вероятности, и есть Глория Караян, но расспрашивать о портрете не решалась, потому что в первый раз, когда она осталась здесь, Гияз строго сказал, чтобы она никогда не допытывалась о его прошлой жизни, он сам расскажет ей обо всем, когда посчитает нужным. Тогда такое условие ей даже понравилось: зачем ей было его прошлое, ее интересовало только будущее — их будущее. Она верила: время, как бы долго оно ни тянулось, исцелит любого. Кроме того, как и всякая женщина, она верила в свои возможности, молодость, жизненный опыт. Да и Исламов, казалось ей, особой загадки из себя не представлял: типичный однолюб, порядочный в отношениях с женщинами, как и вообще в жизни. Почта его была у нее на виду, и даже по телефону, кроме диспетчерши, никто ему не звонил. В общем, Исламов ее устраивал, нужно было только ждать...

Шло время, тянулись месяцы. Вроде они и были вместе, но к себе в душу Гияз ее так и не впускал, долгожданного признания так и не последовало. Часто, находясь в квартире одна, Даша подолгу стояла перед портретом. Красота девушки гипнотизировала, и ей иногда вдруг хотелось сорвать картину и выбросить ее из дома. Но каждый раз Дашу что-то останавливало, женским чутьем она понимала: если ей и придется жить здесь, то только непременно с этой загадочной незнакомкой, в тайну которой она все же когда-нибудь проникнет.

Автопортрет, вызывавший любопытство Даши, Глория написала в студенческие годы, случайно купив на стипендию в



антикварном магазине старинную прекрасно сохранившуюся раму. Рама-то и определила стиль, манеру картины и вообще натолкнула на мысль об автопортрете. Картина очень нравилась и самой Глории, и Гиязу, и он действительно не согласился бы убрать ее со стены, посчитав это предательством по отношению к Глории, к своей прежней жизни.

Неотвязные думы о Даше были Гиязу сейчас непривычны, хотя там, в Озерном, он о ней думал часто. Достав из сумки спортивный костюм, он переоделся и принялся за уборку. Убирая, включил проигрыватель, классическая музыка, к которой приохотила его Глория, вселяла в душу покой. Теперь, когда он жил в столице, фонотека его пополнялась постоянно — слава богу, ажиотаж не коснулся симфонической музыки. Даша, поначалу подшучивавшая над его вкусами, потихоньку привыкла к увлечению Гияза и теперь уже сама иногда дарила ему пластинки, радуясь, когда видела, что угодила ему.

Покончив с уборкой, Гияз решил сходить на базар, благо он располагался рядом, в соседнем квартале. Жизнь в Средней Азии научила его многому, и прежде всего самостоятельности. Вести дом, хозяйство для него не составляло никакого труда, даже было как-то в охотку. И потому, встречаясь в отпуске, в командировках с мужчинами из других мест, он поражался беспомощности многих в вопросах быта. А ведь они жили в тех краях, где мужчина традиционно высоко чтит женщину. Чтить-то чтит, но... Что же это за помощник, если он ничего не умеет, мысленно улыбался Исламов, обнаружив еще один парадокс. По привычке, по старинке многие думают, что в Средней Азии женщина находится под властью мужа, принижена им, что ли. Но здесь мужчина никогда не растеряется, если жена уедет в гости, командировку, отпуск. Вернувшись, она не застанет дом в запустении, а детей голодными. Мужчина на Востоке и покупки сделает, и еду приготовит, и в доме, и во дворе, и в саду порядок наведет, а жену встретит накрытым столом. И выходило, что в жизни слова все-таки взяли верх над делом; мужчина, умевший все и помогавший делом, а не словом, и теперь считался, пусть и по старинке, принижаящим женщину, а тот неумеца — ее почитающим. И как от души веселился Исламов, когда наткнулся однажды на строки Амира Хосрова Дехлеви, которым века и века: «О любви говори, говори, пой,



но подарки дарить не забывай». Во второй половине строки — о подарках — Исламов полагал, что речь идет и о помощи жене.

Вечером, после ужина, когда в доме царил привычный порядок, Гияз, раскладывая вещи из чемодана и сумки, вновь наткнулся на бумаги и фотографии. Не читая, он рассортировал письма из Омска, Заркента, Ташкента. Из Ташкента их оказалось всего ничего — четыре тощих конверта. Отыскав первое, он перечитал его.

«Здравствуйте, мои дорогие!

Наверное, вы удивились моему новому адресу на конверте. Да, в моей жизни произошли крутые перемены, отныне я живу в Ташкенте. Причин для переезда из Заркента набралось более чем достаточно, и потому не буду утомлять вас подробностями, у вас и своих забот невпроворот. Скажу только, что я жив-здоров и уехал по собственному желанию. Квартира по обмену попалась удачная, в хорошем районе, двор утопает в зелени. Как только обживусь, устроюсь на работу, приглашу в гости. Ташкент все-таки столица, есть на что посмотреть. С работой, надеюсь, проблем не будет — Ташкент строится как никакой другой город в стране. Правда, это несколько другое строительство — гражданское, а я ведь отдал годы строительству промышленному, где совсем иные масштабы, темпы, да и климат в коллективах иной, как предупреждали меня коллеги перед отъездом из Заркента. Это то же самое, сравнивали они, что шофер с большого грузовика, большой трассы перейдет работать на такси — вроде одна и та же профессия — шофер, а специфика работы совсем другая. Но не так страшен черт, как его малюют, одолеем. Вообще-то мне хотелось бы набраться опыта и построить дворец невиданной красоты, — о том, что существуют удивительные проекты, я знаю.

Сейчас появилась новая песня, а в ней такие слова: «Начни с начала, начни с нуля». Стараюсь шагать в ногу со временем и начинаю все с нуля.

Обнимаю. Гияз».

За окном стояли легкие июльские сумерки, из сада и со двора, щедро политого Закирджаном-ака, несло свежестью и запахом земли. Удивительный аромат к ночи исходит от райхона, травы, чем-то напоминающей русскую мяту, чабрец. Райхон в жизни восточного человека занимает особое место, он украшает



даже крошечные уголки городских дворишков, его употребляют для приправ, на салат, украшают им комнаты молодоженов. «Райхон для меня — это запах родины», — сказал когда-то Гиязу Закирджан-ака.

Телефон не беспокоил, никого Гияз не ждал, никуда не торопился, и вновь мыслями возвращался в прошлое, словно прокручивал утвержденный к прокату фильм, в котором уже ничего изменить нельзя...

...В Ташкенте он устроился на работу в ремонтно-строительное управление при производственном объединении, выпускавшем технику, прорабом. На это были две причины. Первая — работа находилась рядом с домом, объявление о приглашении в РСУ он прочитал на своей автобусной остановке. Второе — его привлекало сочетание: ремонтно-строительное. Первая часть была совершенно незнакома Гиязу, прежде он занимался только строительством и монтажом, а ремонт для него был делом новым. Но если уж собрался перейти на гражданское строительство, не мешало бы одолеть и ремонтные работы, так решил он, начиная новую жизнь.

У производственного объединения в Ташкенте было две территории, его РСУ занималось пристройкой цехов, реконструкцией, а чаще всего ремонтом бытовых и служебных помещений. Годовой объем работ ремонтного управления не составлял и месячной программы бывшего хозрасчетного участка Гияза. Бригад в его прорабстве оказалось две. В первую же неделю Гияз понял, что коллективы эти сложились давно, и бригадиры держали своих рабочих в строгости. И опять всплыл в памяти Силкин — уж больно похожи были бригады, умелец к умельцу, грех жаловаться, хотя самим бригадирам до Юрия Ивановича было далеко. А может, просто масштаб не тот? Время покажет, думал Исламов. Вспомнил он и пословицу, произнесенную друзьями перед его отъездом: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», и он приглядывался к новому коллективу, чувствуя, что и за ним внимательно наблюдают: и рабочие, и коллеги. Особенно коллеги, ведь никто из них не имел за плечами такого опыта, как Исламов, в активе которого были медно-обогащительный комбинат, огромный комплекс с сернокислотными цехами и заводом бытовой химии. Этим можно гордиться всю жизнь. Хотя Исламов никогда, ни разу не



упоминал о прежних делах, чувствовалось, что о его работе знают. Может, близость Заркента сказывалась, а может, то, что немало инженеров, как и он сам, перебралось оттуда в Ташкент. Внимание коллег тоже было неоднозначным. Молодые смотрели на планерках с интересом, отмечая, как точны, инженерно обоснованны редкие реплики Исламова. Те, кто постарше, с высоты своего житейского опыта словно ощущали какой-то подвох, и в их глазах Гияз читал: «На черта тебе сдалось наше хилое РСУ, при твоём-то опыте? А может, ты не просто пришел к нам, уже давно кем-то решено отдать тебе этот уютный кабинет с кожаным креслом, и ты приглядываешься к нам?»

Управление жило относительно мирно, план выполнялся всегда, а значит, премии шли регулярно. Штурмовщина, нервотрепка, как на большой стройке, случались редко, похоже, это было местечко, которое обычно принято называть «теплым». Праздники, памятные даты сослуживцы отмечали дружно, в этом деле чувствовался многолетний опыт, слаженность, на торжества эти и застолья Гияза приглашали радушно.

В сравнении с прежней работой у него появилась бездна свободного времени. На объекте нужно было появляться с утра и в конце дня, чтобы быть в курсе дела. Догляда особого за рабочими не требовалось, принимали в бригаду не всех, это он понял сразу, да и сама работа не требовала постоянного инженерного надзора. Первые недели он старался целый день быть на объекте, но заметил, что рабочие не привыкли к этому, не понравилось его присутствие и бригадирам. Наверняка подумали: не доверяет прораб. Впрочем, скоро оба бригадира недовольно намекнули, что не нуждаются в мелочной опеке. Он попытался чаще заглядывать в контору, но там насторожились еще больше, чем на стройке.

Один из бригадиров, узнав каким-то образом, что Исламов живет рядом, сказал однажды:

— Гияз Нуриевич, что вам здесь делать в таком пекле целый день? Идите домой спокойно, если что случится или понадобится вдруг, я мигом к вам или по телефону вызову.

Гияз ничего не ответил на это предложение, но принял его к сведению. И странно, хоть и руководил он теперь таким необычным способом, дела шли нормально, план выполнялся, объекты сдавались в срок. Документация велась тут гораздо



проще, не говоря уже о ее количестве. Через полгода Гияз вдруг обнаружил, что и получает теперь не меньше, чем там, в Заркенте, когда работал начальником участка, а эта работа, на его взгляд, была совершенно не сравнима с предыдущей ни по объему, ни по требованиям, ни по срокам, ни по качеству, ни по вложенным знаниям. Только сейчас он понял, почему не очень задерживаются на крупных, важных стройках прорабы, — оказывается, и в их трудной профессии существуют спокойные, теплые места, где без нервотрепки, ночуя дома, можно получать те же деньги. Открытие это не обрадовало Гияза, мыслями он еще был там, в Заркенте, с теми, с кем проработал более десятка лет, с умными, толковыми инженерами, которым покой разве что во сне мог присниться. У него даже появилось ощущение, что он как бы предает своих товарищей, прячется от трудностей за их спинами.

Шло время. О Глории не было никаких вестей, хотя периодически его охватывала страшная тоска по ней, и он вновь лихорадочно пускался на поиски: писал письма, слал телеграммы, звонил знакомым. Гияз выписал журнал «Архитектура» и внимательно одолевал статью за статьей, надеясь: вдруг где-нибудь всплывет ее имя, но все труды оказывались напрасными.

А однажды, когда близился его первый отпуск в Ташкенте, ему приснилось море, Гагры, их прежние счастливые дни с Глорией... Весь день он думал об этом сне и о приглашении Зураба Каргаретели, который настойчиво звал Гияза в Пицунду посмотреть на воплощенные в жизнь проекты и обещал к тому же некий приятный сюрприз. Как утопающий хватается за соломинку, Гияз уцепился за идею, которая становилась навязчивой. А вдруг этот сюрприз — Глория?!

Промаявшись неделю, он решил ехать к морю: и отдохнуть не мешало, а главное, в нем поселилась надежда... Бригадиры, узнав об отпуске, сказали, что следует отметить отъезд, иначе, мол, плохо будет отдыхаться. И добавили: вот вы уже год работаете, а с нами ни разу за столом не сидели, все с начальством в конторе, мол, обижаются ребята. В строительстве инженер к рабочему гораздо ближе, чем в каком-либо другом производстве. Это можно даже сравнить с боевой обстановкой, где офицер делит с солдатами все тяготы военной жизни и отличается от них только лежащей на нем ответственностью. Гияз



согласился с удовольствием, самому такой шаг сделать было трудно, а отказываться, конечно, не стоило — приглашали от души, он чувствовал.

К тому же в последние месяцы у него наладились с коллективом деловые, теплые отношения. Как-то в управлении хотели его бригады передать временно на другой участок, так оба бригадира уперлись — от Исламова никуда. Пришлось отменить уже заготовленный приказ, ибо сила таких бригадиров в том, что они не сами уходят со стройки, а уводят за собой всю бригаду.

Однажды к неожиданному приезду зарубежной делегации в одном из объединений понадобилось срочно отремонтировать актовый зал. Работа досталась Исламову, и Гияз почувствовал в этом срочном и ответственном задании какой-то подвох со стороны своего начальства — мол, посмотрим, на что ты способен. Но Исламов виду не подал. Его догадку бригадиры подтвердили кое-какими недипломатическими репликами. Но Исламову сказали, чтобы не переживал, мол, будет зал готов вовремя. И работали весь световой день, и субботу прихватывали, объект сдали к сроку и в лучшем виде. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь: руководство объединения отметило участок специальным приказом, грамотами и крупной премией...

Прощальный обед организовали в чайхане. Есть в Ташкенте такие уютные заведения на берегах речушек, в парках. Айван чайханы выходил к берегу, тонул под тенью многолетних чинар. Готовить на Востоке умеет каждый второй, а в бригаде оказались первоклассные кулинары. Застолье удалось, просидели допоздна. Оба бригадира увязались провожать Гияза до своего дома, а там захотели посмотреть, как живет их начальник. Когда уходили, отметили, какая неказистая дверь у Исламова. Прежние хозяева, наверное, не раз меняли замки, изрезали ее всю, пни посильнее — замок и вывалится.

— Ну и прораб, — укоризненно покачал головой один из них. — Сразу чувствуется, Гияз Нуриевич, что в гражданском строительстве вы не работали. Оставьте ключ, сменим вам дверь, а то как бы не вернуться в пустую квартиру.

Гияз словно впервые увидел свою дверь — она и впрямь на честном слове держалась — и, не раздумывая, отдал запасной ключ.





Прилетел он в Адлер утром. Несмотря на ранний час, здесь царило оживление. Загорелые, отдохнувшие курортники не без грусти покидали Черноморское побережье, а вновь прибывшие выделялись не только отсутствием морского загара, но и прежде всего азартом, нетерпением — скорее бы добраться к месту отдыха, к морю. Толпа таких нетерпеливых внесла Исламова в первый автобус, следовавший на Гагры.

Города в наши дни стремительно меняют облик, преобразаясь до неузнаваемости, и только маленькие курортные городки, определившие свой стиль, свое лицо давным-давно, почти не поддаются напору безудержного времени. Разве что каждая новая эпоха оставляет на нем свои еле заметные следы: духаны называя чайными, чайные — закусочными, закусочные — кафе, кафе — барами, бары — дискотеками и так до бесконечности, а суть остается одна и та же.

И, может быть, прелесть этих городков именно в том и состоит, что, меняя косметику от сезона к сезону, они остаются навсегда неизменными, своеобразными, храня старые тайны в тени кипарисов, в тишине гротов, на узких горных тропинках, на шумных галечных пляжах... Не верьте, если скажут, что море давно слизало ваши следы, а эхо разнесло по горам ваш счастливый смех — вернитесь, и вы поймете — все осталось точно таким же, каким вы оставили его вчера, позавчера, много лет назад...

Гиязу тоже все показалось прежним, хотя он не мог не заметить множества новых лавок, лавочек, иных заведений, но они могли и исчезнуть так же незаметно, как и появились. Хотя заведения эти и отличались внешним лоском, подобающим известному курортному городу, но все же опытный глаз строителя без труда подмечал временный характер подобных сооружений.

Город еще с первой совместной поездки с Джумбером Гияз знал хорошо, безошибочно ориентировался в его крутых улицах, оттого и квартиру нашел быстро такую, какую хотел, недалеко от центрального парка, чтобы по вечерам отовсюду возвращаться пешком, не завися от транспорта.

Вечером, отдохнувший, успевший искупаться в море, он собрался пройтись по тем местам, где в первый приезд любил бывать с Глорией. Посмотрев на себя в зеркало, заметил, что



в последний год седины заметно прибавилось, но эта мысль не огорчила его.

Проходя мимо телеграфа, Гияз невольно остановился. Он знал: стоит ему отбить телеграмму в Тбилиси, и вскоре его друзья Джумбер, Тамаз, Роберт будут здесь, рядом с ним. Ему так хотелось увидеть их, посидеть, как когда-то, всем вместе за столом и вспомнить молодость, Заркент, «Металлург» ... Но словно неодолимая пропасть возникала перед Гиязом: что бы он сказал им о Глории? Ушла, потерялась, не удержал, не уберег, не отыскал, не защитил? Не было слов, и нет этому оправдания. Гияз знал, что и для них Глория была больше, чем другом — она была частью их жизни, молодости, она была их талисманом. И какой бы сильной ни оказалась радость встречи с друзьями, не меньшей была бы и печаль, узнай они о судьбе Глории. Так и не завернув на телеграф, он прошагал дальше.

Странно, но некоторые летние кафе на воздухе, где они с Глорией проводили вечера в компании грузинских архитекторов, исчезли, а другие успели потерять лицо и прежнюю свою популярность, и Гияз еще раз отметил, что у каждого времени свои развлечения. В этот вечер он понял, что и искать Глорию следует, если вдруг она приехала отдыхать к морю, в новых местах.

И побежали чередой быстро таявшие дни отпуска. Несколько раз он проходил мимо дома, где они останавливались с Глорией первый раз. У калитки стояли повзрослевшие племянники Джумбера, он помнил каждого из них по имени, но окликнуть не решался. Видел однажды и самого дядю Дато, по-прежнему стройного, с неизменной сигаретой в зубах. Дато Вахтангович, прежде чем сесть в машину, даже задержал на секунду взгляд на нем, но в Гиязе трудно было признать прежнего Гию Исламова, жившего в этом доме в далекий медовый месяц. Так и разошлись. В другой раз, вечером, возвращаясь поздно, он вновь завернул к этому дому. Во дворе, ярко освещенном, как в памятные ему дни, шумели гости, и ему даже почудился голос Джумбера. Не таясь, он близко подошел к воротам и хотел войти, если еще раз услышит голос друга. В приоткрытую дверь было хорошо видно сидящих за столом, и он на всякий случай заглянул — Джумбера среди них не было.



Погода стояла на зависть, море не штормило, квартира попалась удобная, хозяева оказались гостеприимными, только дни убывали чересчур быстро, лишая его последних надежд. В какой-то из вечеров, ужиная в ресторане у моря, Гияз обратил внимание на то, что в зале много свободных мест для разгара сезона, на что официант ответил: большинство бывалых отдыхающих по вечерам уезжают развлекаться в Пицунду, где уже третий сезон открыт замечательный комплекс.

«В Пицунде, ну конечно, в Пицунде!» — подумал взволнованно Гияз, и угасавшая надежда вспыхнула вновь. На другой день, пораньше, Гияз отправился в Пицунду. Поехал он специально автобусом, чтобы спокойно разглядеть сказочные остановки Зураба Каргаретели, часть из которых он когда-то видел в работе, часть в проектах и рисунках. Двадцать четыре остановки насчитал Гияз, и ни одна не повторялась, радуя глаз и сердце фантазией. Среди буйной субтропической зелени у дороги яркие, волшебные персонажи из сказок, уберегавшие ожидающих от зноя и ненастья, поражали воображение даже тех, кто видел их уже не однажды. Работ было много, и вряд ли кому приходило в голову, что это труд одного человека, но Гияз-то знал это и в душе гордился человеком, оставившим такой след на земле.

К встрече с Пицундой Гияз был готов. Для него, строителя, уже виденное однажды в чертежах и проектах представало живым. Гуляя по широкой набережной, он вспомнил, что именно пространственное решение поразило тогда Глорию — строители уберегли реликтовый сосновый лес, и он вплотную подступал к набережной и высоким корпусам. «Если она на море, то встречу я ее только здесь, в Пицунде», — решил Гияз, оглядывая бронзовую скульптурную композицию на развилке набережной. Вечер вступал в свои права, веселые нарядные люди заполняли набережную и прогулочные дорожки в лесу, отовсюду слышалась музыка.

Летних ресторанов, кафе, баров, дискотек, варьете в Пицунде оказалось так много, что Исламов растерялся: куда пойти, где искать Глорию? В иные заведения и попасть непросто: нужно было выстоять очередь. Гияз вспомнил, что в проекте каждого из высотных корпусов, на крыше, на самой верхотуре, планировалось открытое кафе, откуда обзирался морской простор



и весь мыс Пицунда, и он, не раздумывая, завернул в подъезд ближайшего высотного здания. Скоростной лифт быстро поднял его на шестнадцатый этаж, но и здесь ему пришлось стоять в очереди, желающих попасть в кафе было с избытком. Кафе оказалось огромным и без «архитектурных излишеств», проще некуда, как сказала бы Глория, но отдыхающих привлекали панорама, свежий морской воздух, да и места для танцев было предостаточно, чем не могли похвастаться другие заведения. Отыскивая свободный столик, Гияз понял, почувствовал, что Глории здесь нет и не могло быть, он знал ее вкусы. Эта мысль огорчила и обрадовала его одновременно, по крайней мере, из поля поиска выпадали крыши всех высотных зданий.

Место отыскалось у самого парапета. Гияз сел лицом к морю, происходящее в зале теперь его не волновало, даже появилась мысль встать и уйти, но, представив, что вновь придется выстаивать где-нибудь очередь, чтобы поужинать, он решил остаться, тем более, что сразу подошел официант и предложил свежую форель.

Солнце медленно опускалось в море, по всем приметам суля погожий день. Прогулочные катера, маленькие теплоходы уходили и возвращались с моря на причал Пицунды, как некогда пристала к этому берегу и, может, даже в этой бухте шхуна аргонавтов, приплывших за золотым руном Колхиды.

Незаметно подступила ночь: вязкая, влажная, звездная — ночь Колхиды. Вдали, за нейтральными водами вдруг, словно огромные новогодние ели, выстроившиеся в ряд и в несколько ярусов, зажглись яркие огни. То шли в Ялту огромные, трехпалубные теплоходы: турецкие, греческие, шведские...

Лето, море, круиз, праздник — иногда Гиязу даже казалось, что он слышит музыку с чужих кораблей и далеких палуб, но это только казалось — его оглушала музыка, гремевшая за спиной.

Посвежело, с моря заметно потянуло ветерком, и он почувствовал себя зябко, неудобно, хотя веселье в зале только разгоралось. Гияз рассчитался. Внизу по ярко освещенным аллеям гуляли отдыхающие, по всей вероятности, жившие в этих высотных корпусах и гостиницах — спешить им было некуда. Отовсюду зазывно гремела музыка, из-за стеклянных стен иных ресторанов пастельно просвечивали танцующие в ярких



летних одеждах: куда ни глянь — праздник. Не было праздника только в душе у Исламова, хотя внешне он вполне походил на довольного курортника. Не спеша, отмечая в вечернем освещении то, чего не увидел при свете дня, покидал он курортную зону. На самом выходе, у шлагбаума, где у водителей требовали предъявить специальный пропуск для въезда на территорию отдыха, слева вдруг грянула музыка. Казалось, что все заведения уже остались позади, но Гияз ошибся, это и был главный ресторан Пицунды «Золотое руно», и оркестр после антракта начал второе отделение.

Ресторан был вечерний, и поэтому, когда Гияз проходил тут часа три назад, он был еще закрыт для посетителей. Ресторан оказался легким, изящным, часть столиков располагалась прямо под деревьями, словно на пикнике, а сам ресторан хорошо вписывался в густую субтропическую зелень, свисавшую прямо над столами на верандах. В саду на столиках стояли стилизованные керосиновые фонари, на веранде на стене висели тщательно выделанные белые овечьи шкуры — наверное, подразумевалось, что это «золотое руно». Они, несомненно, вызывали зависть у модниц и наводили на мысль о том, что на дубленку хватило бы в самый раз. Но за шкурами был особый досмотр, их берегли пуще легендарного руна, хотя об этом знали только завсегдаи. Ресторан имел свое лицо, чувствовалось, что постарались и те, кто задумал его, и те, кто построил.

На слабо освещенной эстраде неистовствовал оркестр, взвинчивая и без того наэлектризованный зал. На тесной площадке танцевали те, кто сидел за ближайшими столиками, остальным оставалось только завидовать и ждать своей очереди, которая могла и не наступить. Гияз прошел вдоль столиков, выискивая свободное место, как вдруг откуда-то из глубины веранды, уходившей в сад, его окликнули:

— Гия, иди к нам!

Гияз подумал, не ослышался ли он, но опять из-за столика, на котором слабо горела свеча, раздались возбужденные веселым приветливым голосом:

— Гия, дорогой, иди к нам!

Ноги вмиг стали ватными, и тысяча догадок промелькнула в одну секунду: кто бы это мог быть? Джумбер, Тамаз, Роберт, старые друзья-архитекторы? Окликнули его, конечно, грузины,



они сразу, не сговариваясь, переименовывали его имя на свой лад. Он пробирался медленно, обходя шумные столы, но душой уже летел туда, откуда раздалось неожиданное приглашение... а вдруг?

— Гия, у нас мало света, или ты успел уже так хорошо гульнуть, что не признал нас? — спросил, улыбаясь, Тенгиз, сын хозяйки дома, где он остановился.

За столом вместе с Тенгизом сидели три девушки, снимавшие большую комнату на первом этаже, и приятель Тенгиза, сосед Заури. Иногда, возвращаясь вечером, Гияз заставлял эту компанию в саду, однажды даже засиделся с ними за полночь.

— Пожалуй, света действительно маловато, — ответил устало Гияз. — А насчет гульнуть, я как раз не догулял сегодня, это хорошо, что я встретил вас. Хорошо бы выпить бутылку «Киндзмараули» ...

Официант уже стоял за спиной Тенгиза.

— Слышал, что сказал наш друг Гия? Огня и вина...

То, с чем долгие годы Гияз не хотел согласиться, смириться, он осознал только сейчас... В какие-то мгновения здесь, в шумном «Золотом руне», наступила вдруг такая пронзительная ясность мысли, как будто он освободился от наркоза, и в эти минуты пульсировало в мозгу только одно: Глория потеряна навсегда, а перед глазами вставала единственная ее телеграмма: «Не ищи меня!»

...Оставшиеся дни, которых было не так уж много, он провел в компании со своими соседями, и все эти дни Гияз прощался с Гаграми, ибо знал, что больше сюда не вернется. Потому что никогда не надо возвращаться туда, где был по-настоящему счастлив!

Прилетел он в Ташкент в субботу, в полдень, чтобы успеть не спеша подготовиться к выходу на работу. Во дворе готовили плов, этакий стихийный мальчишник. Собрались мужчины поутру, обсуждая последние газетные новости, и подумали вдруг: а не организовать ли нам пловешник?

Соседи встретили Гияза шумно, обрадовались. Гияз был рад, что, помня о них, привез кое-какие подарки и виноград «изабеллу», сорт редкий для Средней Азии, так что все оказалось кстати. Он оставил все это на айване и поднялся к себе, чтобы,



как говорится, смыть с себя пыль дорог. Еще на лестнице он увидел, как сверкнула свежим многослойным лаком дверь его квартиры, а поднявшись, остановился в растерянности. Дверь была замечательная: настоящая, дубовая, на четырех редких ныне медных петлях, чтобы не скрипела. Чтобы не обрезать ее по высоте, пришлось сверху убрать два ряда кладки, зато теперь дверь смотрелась великолепно. Глазок, замки, все было врезано аккуратно, отыскиали где-то и тяжелую бронзовую ручку, очень подходившую к лакированному дубу.

Даже дверные откосы были отделаны дубовыми пластинами и обрамлены цельной буковой обналичкой. Гияз суетливо достал ключи. Тщательно подогнанная дверь легко, без усилий открылась. В комнате стоял свежий воздух, чувствовалось, что здесь совсем недавно были люди. Прихожая, как и у многих, у него была темная, и Гиязу пришлось включить свет. На миг он засомневался, к себе ли попал, но, увидев привычные вещи, успокоился.

И все же квартира стала совершенно неузнаваемой. Оставив чемодан у двери, Гияз обошел свое жилище. Чудеса, да и только. На балконе и на кухне поменяли на полах линолеум. Ванную, туалет, кухню до потолка выложили бело-голубым ангренским кафелем, в таком исполнении он нисколько не отличался от чешской или югославской плитки. Щербатую малогабаритную ванну заменили на новую, большего размера, для чего пришлось разобрать часть стены, где проходили трубы вентиляции, которыми никто и никогда не пользовался. Пол в ванной и туалете выложили боем мрамора, которого у них в РСУ не было, наверное, собрали отходы на чужих стройках. Прихожую отделали под кирпич, да так ловко, что Гияз невольно провел рукой по стене. Потолки кругом сияли белизной — и не водная эмульсия (как делают сейчас), а настоящая меловая побелка! Стены в зале и спальне обклеили обоями мягких тонов, поверху кругом отбили четкую филенку темно-красного, контрастировавшего с обоями, цвета. Затерханные, затоптанные, потемневшие паркетные полы были частично перебраны, вновь тщательно несколько раз отшлифованы машинкой, отциклеваны и, видимо, дважды, если не трижды, покрыты хорошим лаком. Красота! На балконе, который преобразился больше всего, стены оклеили моющимися обоями под дуб и в торцах заново переделали



полки, доставшиеся Гиязу от прежних хозяев, — получилась еще одна замечательная комната. Внутренние двери перевесили, подогнали, и теперь они легко и плотно закрывались без скрипа. Всю деревянку в доме и рамы на балконе выкрасили блестящей белой эмалью. И нигде не оставили следов ремонта — все чисто, аккуратно, даже запах лака и краски успел выветриться.

«Вот это ремонт, вот это сервис, — думал Гияз, не находя буквально ничего, к чему можно было бы придаться. — Если бы так всегда и всем: оставь ключ, уезжай в отпуск и возвращайся в обновленную квартиру — никаких денег было бы не жаль за такую услугу». Он бы еще долго оглядывал свою квартиру, если бы Закирджан-ака не окликнул его из сада. Пора было спускаться к плову.

В понедельник по старой привычке он поднялся рано. После первых восторгов от ремонта пришла отрезвляющая мысль: а как же рассчитываться? В кармане после отпуска остались жалкие гроши — и до полочки не дотянуть, он уже там, на море, решил, что перехватит рублей сто у Закирджана-ака, а тут вдруг такой ремонт отгрохали. «Сколько же с меня причитается? — прикидывал Гияз, вновь, уже оценивая, осматривая работу. — И как оценивать вроде и недорогие материалы, но сплошной же дефицит, даже линолеум финский?» Как ни считай, меньше тысячи не выходило, а если учесть дефицит, сроки, качество, меньше, чем полторы тысячи, заплатить было бы грех, одна входная дверь с установкой, отделкой внутренних и внешних дверных откосов стоила не менее двухсот рублей даже по казенным расценкам. А работа, как ни крути, была классная, образцово-показательная, они ему словно экзамен на мастерство сдавали. Даже сейчас, придирчиво присматриваясь, он не смог ни к чему придаться: шов ко шву, не разглядеть ни одного подтека, скола, ни одной воздушной подушки на обоях — ювелирная работа, да и только. И вдруг явилась спасительная идея — расплатиться по частям. Он сразу успокоился.

На работе все шло своим чередом, участок его не отставал, нареканий особых не было, план, намеченный перед отъездом, бригады выполнили давно и перешли на новый объект месяца на два раньше, такие сроки и объемы в РСУ были редкостью. Гияз приехал к концу месяца — ответственный для прораба срок: нужно было закрыть наряды, заверить выполненные объемы у





заказчика, сдать материальный отчет. Рабочие встретили его радушно, заинтересованно расспрашивали об отдыхе, море, Пицунде, где никто из них не был. Но больше их интересовало, как живут там люди, какие цены на продукты, велики ли заработки у строителей. По ответам Гияза выходило, что живут везде одинаково, разве что у грузин мандарины по осени дешевле, так ведь в Узбекистане своих преимуществ немало: овощи, фрукты, считай, круглый год. А зарплата? Расценки везде одни и те же, и фонд заработной платы у строителей одинаковый. Где лучше строят? На это Гияз ответил, не раздумывая, — у нас. Незапланированный перекур мог затянуться и дольше, но бригадиры дали понять, что пора кончать разговоры, летний день бежит, не углядишь, да и у прораба, мол, дел невпроворот.

Обычно наряды он закрывал с одним из бригадиров. На этот раз идти с ним в прорабскую вызвался Тарханов, человек опытный, владевший почти всеми строительными профессиями. Мужик он был крепкий, горластый, властный, знавший себе цену. Гияз обращался к нему уважительно, величал только по имени-отчеству. Битый бригадир, чужого ему не надо, но за свое постоит... Была в нем какая-то старообрядческая жилка, которую Гияз до конца еще не раскусил, но чувствовал в Тарханове предельную честность, такого не приведи господь обмануть.

— Спасибо, Федот Карпович, за ремонт, даже не ожидал, что так можно отделать квартиру. Картинка, да и только, — подойдя к прорабской, поблагодарил Гияз.

— Ну, и слава богу, что угодили, что по душе пришлось работенка наша. И то ведь надо сказать, что с душой делали, Гияз Нуриевич. Вы к людям с открытым сердцем, и они так же к доброму человеку. Ждали вас и волновались, сегодня даже никто насчет нарядов не поинтересовался, спроси, говорят, понравилось ли?

— Понравилось, очень понравилось. Да вот только не знаю, как я с вами рассчитываться буду, я ведь и не мечтал о таком царском ремонте. Я тут прикинул, сумма немалая, можно, я в несколько раз рассчитаюсь?

— Как так рассчитаюсь? — удивился Федот Карпович, и впервые Гияз увидел его растерянным. Неожиданно бригадир быстро вышел из прорабского вагончика и, убедившись, что поблизости никого нет, вернулся улыбаясь. — Как рассчитаюсь?



По-честному, так с нас, Гияз Нуриевич, охо-хо сколько причитается, нам чужого не надо, мы по совести живем, потому и решил народ уважить вас.

Теперь уже, ничего не понимая, растерялся Исламов, даже побледнел и как-то неловко присел на стул. Тарханову показалось, что у начальника нелады с сердцем, и он испугался.

— Господи, да не волнуйтесь вы по пустякам. Теперь-то вижу определенно, вы наших дел до конца не знаете. Ну, и хорошо. Ну, и ладно, жить в ладу с совестью большое счастье. А мы тут в шахер-махерах, что в дерьме, по горло увязли, прости господи, — Федот Карпович в сердцах махнул рукой и на всякий случай еще раз выглянул за порог. — Где же вы столько лет проработали? Работу-то, вижу, знаете, инженер, поседели вон от нее, а в жизни... дверь сменить себе не могли...

— В Заркенте я работал, Федот Карпович, только на другой стройке, очень непохожей. Промышленное строительство называется.

— А я, Гияз Нуриевич, всю жизнь по шабашкам, вроде чему-то научился и на руки грех жаловаться, но так большого дела и не видел. У нас тут на мели свои законы, одно утешает меня: не я их выдумал. Плюнуть, уйти не хватает духу, привык, да и поздно прибаваться к другому берегу, годы не для подвигов уже, так по течению и плывем... — Тарханов тяжело вздохнул и продолжил: — Расскажу я вам про наши болотные законы... Уж лучше сделаю это я, а то где-нибудь еще в скандал влипнете... Вот вы по-новому и взглянете на нашу работу, может, и поймете, почему вас с этим актовым залом хотели подловить.

... Ремонтно-строительные управления — очень любопытные организации: копни любую, одна и та же история — завышение объемов выполненных работ. К примеру, вы директор больницы, школы, почты, не имеет значения, хотите сделать текущий ремонт. Здание потеряло вид, хочется обновить, к празднику там какому, к юбилею — все-таки, как раньше говорили, присутственное место должно иметь лицо. А работ-то, положи руку на сердце, кот наплакал. Отсюда мытарства и начинаются. Кто ж возьмется за такую малость? И начинают вам навязывать: вот если бы еще то сделать, это обновить, мы бы, может, и подрядились. А вам куда деваться? В другом месте разговор такой же — нож к горлу, да и не положено вам в другой район



обращаться. Короче, обложили вас еще до того, как вы задумались о ремонте. А у вас свое начальство, которое за ремонт спрашивает, в бесхозяйственности вас обвиняет, да и деньги вам спустили только на этот год, и неизвестно, дадут ли вам их в следующем. Помыкаетесь, прослезитесь, что денежки тью-тью, и говорите: что ж, согласны, уговорили, мол, готовьте договор, смету, документацию. Вот тут-то из нашего сметно-договорного отдела, где сидят самые тертые мужики, идет к вам инженер и начинает считать-обсчитывать: это обеспылить, это обезжирить, зашкурить, покрасить трижды, перебрать чердак и полы, хотя на самом деле заменят десять листов шифера и три половые доски. Нынче все на доверии стоит, кто ж из интеллигенции полезет на чердак шифер проверять. Так и накрутит наш сметчик на основании законных ценников и инструкций приличную сумму. А под эту сумму и фонд заработной платы, и, естественно, материалы на обозначенный объем, да какие получше, подороже.

Чтобы заказчик не роптал, перво-наперво самому начальству кабинет отделают, тут уж ни материалов, ни сил не жалуют — дают товар лицом. Оттого и расплодилось шикарных кабинетов, иной ремонт из-за этого кабинета и затевается, я уж нагляделся, будь здоров. Да еще начальнику, затеявшему ремонт, подписывающему договорные документы, кое-что перепадает: то ремонт ему дома сделают, то материал для дачки подбросят... Не ручаюсь, что везде так, но где я работал, было так, головой отвечаю... — Федот Карпович вздохнул. — Да и по конторам, организациям, больницам, когда хожу — вижу, везде так, на одно лицо ремонт, лишь бы глаза замазать, как говорит наш брат-строитель.

Ну, материалам место найдется легко, иной дефицит прямо со склада в розничную торговлю, в строймагазин — вмиг расхватают, никакой ОБХСС не уследит, материала-то днем с огнем не сыскать, а люди строятся, ремонт делают. Но чаще по-другому поступают: материал прорабы сами пускают в дело, берут частные подряды на ремонт квартир, дач, от желающих отбоя нет, потому как качество и сроки гарантированы, сами видели. Дело само напрашивается, и дурака обстоятельства подтолкнут: материалов в избытке и рабочая сила есть. Заказчику ведь не делают и пятой доли того, что оговорено, а значит, высокая зарплата гарантирована наперед. В нарядах и чердак



переберут на шестьдесят процентов, и полы вскроют, и вновь перестелят, обновив на три четверти, и обеспылят, и обезжирят, и лаком в пять слоев покроют, как надобно по строительным нормам и правилам, тут уж на бумаге ничего не упустят, и ручную работу зачтут, и коэффициент за особые услуги приплюсуют, и уборку здания после ремонта перед сдачей, как положено. Вот тут-то, дорогой Гияз Нуриевич, собака и зарыта...

Федот Карпович закурил свой неизменный «Беломор» и, еще раз на всякий случай выглянув за порог, продолжил:

— Вот на этом-то и покупает начальство нашего брата-работягу: гарантией высокого заработка всегда, при любых обстоятельствах. Мы-то не дураки, сравниваем с большой стройкой... Если и вырабатывают там нашу среднюю зарплату, то какой ценой? Там ведь объем не припишешь, все по проекту, по сметам, твердым расценкам. Отштукатурив десять метров, не напишешь пятьдесят, а здесь можно даже и больше: залатаем огромную стену в десяти местах, затрем, освежим — докажи, что не всю ее штукатурили. А сто заштукатурить — кишки вылезут. Да вы сами разве не видите, что объемы работ и фонд заработной платы на ремонте намного выше, чем в капитальном строительстве? А мы, старые зубры, это знаем хорошо, вот и стеклось нас столько в незаметные РСУ. Вы, наверное, подумали, Гияз Нуриевич, мол, зашибаем мы прилично, судя по нарядам, но это не совсем так.

Где я ни работал, и в этом управлении тоже, — правила одни. Каждый месяц прораб, закрывая наряды, говорит мне, например: Карпыч, по десятке в день ваши, остальные вернешь. Мол, нужно дать заказчику, чтобы подписал объемы; в банк — тому, кто занимается контрольными обмерами; на склад — за кое-какой дефицит; в контору — ведь объемы, фонд заработной платы организовали те пройдохи из сметно-договорного отдела; а еще и тем, кто пропускает наряды, списывает материалы — короче, всем сестрам по серьгам. Но и нам хватает, считаем, что прорабы нас не обижают. Зато в те месяцы, когда с работой не густо, не наша забота — по десятке в день обеспечить, или мы в следующем месяце свое гарантированное заберем, на этот счет строго — я своих в обиду не даю. И выходит, каждый месяц я с Коляшей собираю с каждого иногда по тридцатке, иногда даже по пятьдесят, по-всякому бывает, а нас посчитай сколько,



и все прорабу. А уж кому он несет, с кем делится — не наше дело. Пакостно, конечно, Гияз Нуриевич, но так и живем.

Правда, когда делаем ремонт частнику, в рабочее время, прораб нас не обижает, часть и нам перепадает, а зарплата идет сама собой. Оттого у нас неумехи и лентяи не задерживаются, работать-то надо уметь: частник только за хорошую работу платит.

И вот пришли вы к нам, Гияз Нуриевич, погонять нас не стали, да и не нужно было, дело-то мы знаем, посмотрели старые наряды, старые заработки и, не спрашивая ничего, меньше никогда не закрывали. Я, конечно, каждый месяц, как положено, собираю и жду с Коляшей сигнала — мол, неси. А его, сигнала, все нет и нет, а сумма уже большая собралась, никогда не думал, что так быстро набегает, а собирать продолжаю, думаю, осторожный, бес, попался, враз хочет куш взять, не мелочится. А в бригадах, конечно, ни гу-гу, да и народ у нас с Коляшей не любопытный, сами набирали. Так, почитай, год и прошел, но, когда ремонт актового зала вам всучили, а перед этим хотели нас на другой участок кинуть, забрать, значит, от вас, смекнул я: не в одной, выходит, компании вы с конторой, не в одной упряжке с начальством. Да и как же вам быть с ними в компании, если вы ничего не несете, не берете. Правду сказать, остерегались они вас долго, думали: в начальство вы тут метите али подосланы откуда. А когда вы в отпуск собрались и решили мы с вами посидеть, захватил я все-таки деньги, думаю, а вдруг? Ну, когда мы с Коляшей провожать вас пошли и попали к вам в дом, сразу поняли — другой вы прораб, непривычный для нас, одним словом. Наутро с Коляшей долго ломали голову — как быть с деньгами-то? Решили собрать народ и сказали, так, мол, и так: не брал, не просил — и раздали каждому его долю. Деньги-то взять взяли, но не радуются, не расходятся. Говорят мне: «Что же ты, старый козел, хорошему человеку в дорогу хоть сотни три-четыре в карман не засунул, отдыхать человек на море поехал». Короче, работали в тот день кое-как, а к вечеру собрались, про вас говорили, — наверное, там на море, вам икалось... И тут один смурной — мы от него никогда путевой мысли не слышали, Петька Морозов, кафельщик — и говорит: а что, братцы, если мы ему ремонт на хате сделаем, честь по чести? О том, что я двери собирался сменить у вас, он



слышал. И добавляет с сожалением: чую, мол, долго он у нас не задержится, не дадут, так хоть память ему о нас останется, о работе своей в РСУ.

На том и порешили. И работа-то шла, Гияз Нуриевич, как по маслу, весело, легко, от души делалась, а вы говорите — рассчитаюсь, от всего сердца ребята старались. А уж магарыч с вас, конечно, причитается, уж этот должок не снимается с вас.

Федот Карпыч от волнения снял свой легендарный картуз, который, говорят, еще до войны шил на заказ, и вытер огромным платком вспотевшую лысину, — наверное, никогда в своей жизни он так долго не говорил.

Гияз сидел ошеломленный, потерянный — ему и впрямь стало нехорошо, стыдно перед пожилым человеком, словно все это он затеял. Так вот откуда перевыполнение, выработка, производительность труда, экономия материалов и фонда заработной платы, гарантированные премии — одна ложь рождала другую, одно преступление порождало цепь новых преступлений.

— Да не кручиньтесь вы, Гияз Нуриевич, вы-то тут не при чем, система налажена давно, и вам ее одному не сломать. Вот поработали с вами годок, и на душе чище стало. Зачем нам, рабочим, рискованные дела, планы, проценты, нам дай работу и заплати ту же десятку, только честно — горы свернем. А на халтуре, думаете, душа лежит работать, хотя вроде и не бесплатно? Попробуй, ответь каждому: почему в рабочее время, откуда материалы, да и шкурниками нас, конечно, хозяин считает, хотя мы толком и не знаем, сколько с него содрали.

Да и от каждого звонка в квартиру вздрагивать: кто пришел, с чем пришел — удовольствие небольшое. И в подъезд с оглядкой нырять, как жулики какие, чтобы лишнего не заметил, что тут в рабочее время строители околачиваются. За этот год и по сторонам озираться перестали, отучились, спасибо и на этом, Гияз Нуриевич.

Видя, как сник Исламов, Федот Карпович сказал:

— Я уж после обеда зайду, а то и завтра наряды-то одолею, есть время, а табеля, бумаги я вам оставляю на всякий случай.

И потихоньку вышел из прорабской. Настроения от разговора у него, видно, тоже не прибавилось, и потому, придя



на объект, устроил разнос рабочему на растворном узле за грязь, за развал вокруг, даже к спецовке придрался, чего с ним никогда не случалось.

Исламов после ухода Тарханова еще долго не покидал прорабскую... Нет, не работал, мысли его кружились вокруг неожиданной исповеди Федота Карповича — тоже, чувствовалось, наболело у человека. Конечно, Исламов далеко не мальчик, не на луне живет и не новичок в строительстве. Кое-что знал, кое-что слышал об авантюрах поменьше или, наоборот, покрупнее, но чтобы действовала четко отлаженная система очковтирательства, хищений, поборов — такое в голове не укладывалось.

Расскажи ему об этом кто-то другой, не Федот Карпович, вряд ли поверил бы, а этот врать не станет, да и зачем ему.

Перебирая в памяти весь прошедший год, Гияз теперь припоминал какие-то реплики, недомолвки... Как часто он ощущал, что при его появлении разговор круто меняется. Давая ему месячные задания, главный инженер дважды заранее предупреждал, что у него по объекту будет большая экономия материалов, но пусть Гияза это не удивляет, так как на более важных объектах идут со значительным перерасходом. Тогда это не насторожило Исламова, он знал: такое возможно в строительстве, и взаимовыручка необходима. Сейчас он понял, что влипни эти деляги где-нибудь с его «сэкономленными» материалами, отвечать пришлось бы ему: списал-то он их по своему объекту, а реальные материалы остались на складах, в помощь коллегам, «идущим с перерасходом». А ни о каком перерасходе, как теперь понимал Гияз, не могло быть и речи: даже остерегаясь и побаиваясь его, нового человека, упускать куш все же не стали.

Так, в раздумье, просидел Исламов до самого обеда, но ничего путного, толкового в голову не шло, а из разговора с Федотом Карповичем запала в память не раз повторенная им пословица: «Плетью обуха не перешибешь».

Прошел месяц, другой. Гияз так ничего и не предпринимал, да и что он мог предпринять, когда, считай, сам по уши влип в грязь? Как бы он ответил на вопрос: «А за какие такие заслуги вам ремонт бесплатно сделали и откуда взяли все эти дефицитные материалы? За доброту, за порядочность? Так не бывает. Порядочных людей немало, а квартиры их дожидаются ремонта



годами. Так что не стоит втирать очки, товарищ Исламов». Сорвать обои, выломать дверь, вернуть на место старую щербатую ванну? Глупее ничего не придумаешь. Назад ходу, как ни оглядывайся, нет, раньше зоркость надо было проявлять. Так и маялся день за днем. Одно утешало, что Тарханов по собственной воле, по воле бригады сделал ремонт. А если бы специально по подсказке из конторы, чтобы втянуть и его в грязные делишки, чтобы не было ходу назад? От этой мысли становилось жутко...

Но в конторе о ремонте не знали, это он чувствовал, — такой козырь немедленно был бы пущен в ход. Он-то не предпринимал ничего, зато слишком активно начали действовать против него. Время приглядки к нему кончилось, теперь руководству РСУ стало ясно: никакой он не претендент на командные посты, тайной миссии на Исламова никто не возлагал, да и могущественной руки у него нет. За год никто о нем не спросил, не поинтересовался, ни одного звонка сверху... Так, случайный человек, хороший инженер, «но без ориентиров», как выразился о нем заглазно начальник. «Будь как все или гуляй на все четыре стороны», — в открытую так пока никто не говорил. Но ему все труднее стало сдавать материальные отчеты, наряды его срезались якобы из-за отсутствия фонда зарплаты. Материалы со склада он получал в последнюю очередь, часто при этом ему отказывали, да и с транспортом его подводили постоянно. Если бы не Тарханов с Коляшей, учинявшие без него время от времени скандалы и на складе, и в транспортном цеху управления, да и в самой конторе, дела на участке были бы совсем плохи.

«Мы за тебя стоим, только держись!» — подбадривал Гияза Федот Карпович. В то, что они его не подведут, Исламов верил. А попытка настроить против него бригаду была, да Тарханов на компромисс с начальством не пошел. Но руководство РСУ, набившее руку на «липе», и тут нашло, как на полгода отстранить Исламова от объекта, чтобы не мешал да поменьше видел.

Директор объединения получил в центре города новую пятикомнатную квартиру, и там нужно было сделать ремонт: какое нынче жилье сдают, всем известно. А уж по меркам директора приходилось начинать все сначала, одни стены его устраивали, да и те частично следовало переложить.





Гияз спросил у главного инженера, дававшего ему задание: а как быть со сметой, материалами, проектом, как платить людям? Главный инженер сначала рассмеялся: какой проект, какая смета? «Вот тебе адрес, завтра в девять тебя там будет ждать жена директора, она тебе весь проект и объяснит». Но потом, видимо, что-то взвесив, сказал: «Конечно, ты учет работ веди, потом составишь смету, договор на ремонт, и директор все оформит через кассу, как положено. А насчет материалов не беспокойся, чего не найдешь у нас, возьмешь со складов объединения или обменяем в другом месте — у объединения всегда есть на что обменять любой дефицит. Твоя забота — вовремя дать указания снабженцам, чтоб не простаивали люди. А догляд за тобой будет почище народного контроля», — предупредил его главный инженер, видимо, жену директора он знал хорошо.

На другой день, придя по указанному адресу, Исламов встретился с Кларой Васильевной, женой директора, которая опоздала почти на час. Женщиной она оказалась энергичной, деловой, — как позже узнал Гияз, Клара Васильевна возглавляла один из областных отраслевых профсоюзов. Она открыла дверь, и вместе с Исламовым они вошли в квартиру.

Хотя дом был ведомственный — строило его для себя Министерство строительства республики, и неизвестно, как отхватил себе здесь квартиру директор их объединения, — качество работ не выдерживало никакой критики, да и проект, на взгляд Гияза, был не совсем удачным.

— Уж для себя могли бы и проект отобрать, и постараться, — сказала вслух Клара Васильевна, имея в виду министерство.

Они переходили из комнаты в комнату, и везде хозяйка тяжело вздыхала, и Гияз понимал ее. В квартире были две ванны, два туалета, две лоджии, — казалось, радуйся, но и тени улыбки не было на лице хозяйки. Да и чему радоваться, когда везде царило запустение, какая-то изношенность, словно здесь долго жили очень неряшливые люди? А ведь только неделю назад этот девятиэтажный дом сдали с оценкой «отлично», об этом и газета писала — мол, вырос в центре города еще один красавец дом, похожий на огромный трехпалубный корабль. На фотографии в газете он и впрямь смотрелся великолепно. Но отретушированная фотография — одно дело, а дом со щелями — совсем другое. И Гиязу невольно вспомнился его приезд



домой из отпуска, когда он открыл дверь и ахнул: наверное, так по идее и должны были сдавать новоселам жилье, чтобы первым восклицанием у открывшего дверь было не «ох», а «ах!»

Но Клара Васильевна быстро взяла себя в руки, да и временем она, очевидно, не располагала.

— Пожалуйста, записывайте, — решительно сказала она Исламову. — Все дверные и оконные переплеты и рамы на лоджиях выломать и заменить на дубовые или буковые, на худой конец, на рамы в лоджиях можно пустить красную сосну, чтобы в доме никогда не было малярных работ — у меня на краску аллергия.

Отопление, эти жестяные гармошки, которые тут же потекут, срезать и поставить обычные, чугунные, разумеется, углубив в стенах. Ниши поглубже. Газовую плиту, мойку вынести на южную лоджию, там будет кухня. А стену между кухней и столовой разобрать и сделать настоящую просторную столовую, стены обшить деревом. В зале непременно камин, я специально для этого выбрала девятый этаж, чтобы можно было пробить потолок. Если на этот счет у вас будут затруднения, у меня есть специалист, решетки отольют на заводе.

Дальше... Всю сантехнику: ванны, унитазы, умывальники снять, заменить на импортные, желательно финские или шведские, и чтобы по цвету они не повторялись. Да, чуть не забыла. В туалетах непременно поставить рукомойник «тюльпан», это я видела недавно в одном хорошем доме, мода нынче такая, вы можете и не знать об этом, молодой человек, — сказала торопливо Клара Васильевна и огляделась вокруг. — Щитовой паркет снять. Закажите вьетнамский, красного дерева, он немного жестковат в работе, говорят, но смотрится замечательно. Неплохо бы в зале сделать наборный паркет из финской березы, но, видимо, достать будет трудно, вы на всякий случай закажите, может, добудут, да и я постараюсь по своим каналам отыскать, у нас как раз Дворец текстильщиков начали отделывать. Все подоконники, решетки на батареях, естественно, дубовые, никакой малярки, только лаком, у меня на краску, я говорила, аллергия. Солнцезащиту не забудьте, на всех окнах и на лоджиях, и не пластмассовую — она выгорает, — а дюралевую, итальянскую. Чуть не пропустила: пол в ваннных и туалетных мраморный и разных цветов, не очень толстый,



чтобы не холодило сильно. И ванны, конечно, керамические, желательнее одну квадратную, на манер бассейна, очень красиво такая ванна смотрится, непривычно, они пока мало у кого есть. Кафель кругом до потолка, опять же, чтобы цвета нигде не повторялись, одну ванну непременно черным кафелем выложить и зеркалами отделайте, муж обожает черный цвет.

Вот это вам пока задание на первое время. Кажется, я предусмотрела все грязные работы, чтобы потом не мешать чистовой отделке, о которой разговор пойдет отдельно. Как вы считаете?

Гиязу нечего было добавить, Клара Васильевна знала, чего хотела, и мыслила поэтапно, как настоящий строитель. Она просила в случае осложнений звонить немедленно, в любое время дня и ночи. «Со сроками не тороплю», — сказала она, видимо, знала, что хорошая работа быстро не делается.

Когда Исламов в тот же день после обеда вернулся на квартиру уже с Федотом Карповичем и Коляшей, те неожиданно обрадовались. Оказалось, двое из бригады строились, и то, что не устраивало Клару Васильевну, вполне подходило для них, тем более бесплатно. И каково же было удивление Исламова, когда он в понедельник, заглянув в квартиру сделать какие-то обмеры, увидел, что все ненужное снято с величайшей осторожностью и аккуратностью. Даже кафель сняли, очистили, вывезли. Голые стены зияли пустыми глазницами окон, а кругом — чистота, порядок. Когда Исламов спросил у Тарханова, как удалось сделать такое за два дня, тот рассмеялся и ответил, что они, мол, семьями навалились, день и ночь работали, боялись, вдруг хозяева передумают. «Заинтересованность — огромная сила», — закончил философски Федот Карпович.

В конце каждого месяца, пока шел ремонт на квартире директора объединения, Гияз составлял наряд на работы в каком-нибудь цеху на разных территориях. Закрывал его как обычно: не больше и не меньше. Однажды, кажется, на исходе третьего месяца, когда уже многое вырисовывалось, когда почти вылезли из грязи, установив всю деревянку в доме, покончив с отоплением и сложной сантехникой, наряды у него срезали. Объяснили, что он слишком уж хорошо платит своим бригадам, балует народ. Когда эту новость прораб принес утром на объект, бригада, конечно, зароптала, — и Исламову пришлось



звонить Кларе Васильевне. Клара Васильевна, не оставлявшая ремонт без надзора и уже успевшая подружиться с Тархановым, быстро оценила работу мастеровых и потому срочно приняла меры. А потом, до самого конца ремонта, лично интересовалась, сколько заплатили бригаде, оттого, наверное, и выходила у них самая высокая зарплата по управлению, и рабочие повеселели. Странно, поначалу работа, которую Федот Карпович называл халтурой, раздражала Гияза, но чем больше он вникал в нее, тем больше втягивался, это была практика, школа, которой не хватало Исламову как гражданскому строителю. Теперь, по окончании ее, он мог без страха идти в любое отделочное управление.

На квартире он находился целый день, потому что ежедневно возникали проблемы, которые требовалось решать немедленно. А какое было удовольствие видеть каждый законченный этап работы! В этом и была главная притягательность. Находясь все время с бригадой, он постигал такие секреты, которых ни в одном учебнике не отыскать, ведь работали с ним мастера своего дела. Тот же Петька Морозов, кафельщик, так выложил ванную комнату, похожую на бассейн, с глубокой квадратной голубой ванной, что Клара Васильевна целый час не выходила из нее: все охала и ахала, не могла скрыть восторга. Потеряв сразу всякую солидность, она пообещала Морозову по окончании работы путевку куда только душа пожелает, и притом за счет профсоюза. И бригада несколько дней спорила, куда ему попроситься, чтобы не прогадать, — то ли в Ялту, то ли в Сочи, а бригадир Коляша настаивал на Байкале.

А какие материалы Гияз увидел в эти месяцы, какую сантехнику! Он даже и предположить не мог, что такая красота существует и бывает на их же складах, где раньше он ничего подобного не видел.

Как ни поторапливала Клара Васильевна, темпы были невысокие: то одно сдерживало, то другое. Долго не находилось подходящей фурнитуры для стеллажей на лоджиях, для встроенных шкафов в нишах, потом не было ручек и замков для многочисленных дверей, но все же в конце концов проблемы как-то разрешились. Кое-что даже пришлось переделывать. Все комнаты были уже оклеены обоями, как вдруг Клара Васильевна добыла испанские, имитировавшие старинные, набивные, ручной



работы шелка. И каких расцветок! Когда она внесла рулоны, развернула один, другой, все ахнули — какие краски, какая фактура, никогда не подумаешь, что бумага! Тарханов, чувствуя, что Кларе Васильевне неловко просить все переделать заново, выручил ее, сказав:

— Что ж, хозяйка, переделаем, такие обои раз в жизни попадают, да и то не всякому.

Фронт работ в квартире сужался, и Гияз потихоньку выводил рабочих на объект. Кто-то, наверное, рассчитывал: намучается на ремонте от капризов хозяйки и сам сбежит, но у Исламова с Кларой Васильевной отношения сложились сразу, да и работа шла, грех было жаловаться. Полгода, пока шел ремонт, Исламов ждал, когда же сам директор объявится, взглянет на свою будущую роскошную квартиру, может, кроме ванн из черного кафеля, у него есть и другие пожелания? Но тот так и не заглянул ни разу на свой девятый этаж, где уже для пробы зажигали камин и с высотного дома к небу непривычно потянулась такая «деревенская» струйка дыма.

«Занят, наверное», — решил Исламов. Когда этой мыслью он поделился с Тархановым, Федот Карпович долго смеялся и, по-свойски похлопывая Гияза Нуриевича по плечу, сказал:

— Так ты ничему и не научился у нас. Зачем же ему ходить, глаза людям мозолить? А что он в курсе дел, не сомневайся, иначе откуда такой дефицит? Клара Васильевна? Да она только бегаёт по его звонкам. Не видел, не слышал, не знаю, не ведаю, моей ноги там не было — лучший ответ, если какая неприятность выйдет. На жену, на руководство РСУ свалит, в подхалимаже их обвинит, в худшем случае выговором отделается, а скорее всего — пожурят и простят. А приди он, начни давать задания — тут уж, брат, конец непредсказуем, можно и партбилета лишиться. Выговор, дорогой Гияз Нуриевич, он снимается, а ремонт — это на всю жизнь.

Тарханова он понял — так, наверное, оно и есть, но про себя подумал: «Что-то я здесь все не тому учусь и не к тому привыкаю».

По окончании работ, как и договорились полгода назад, Исламов принес главному инженеру смету на ремонт.

— Восемнадцать тысяч шестьсот рублей! — воскликнул главный инженер, глянув сразу на итоговую цифру. — Да ты



с ума сошел! Кто же такую сумму оплатит, ты что ж, начальства не знаешь? На, возьми и сделай по-божески — рублей шестьсот-семьсот.

Вот тут-то они и сцепились в первый раз! Исламов наотрез отказался что-либо переделывать, сказал: если вам это нужно, вы и переделывайте, и ушел, оставив смету на столе.

Позже эту смету переделали до шестисот семидесяти рублей, но и эту ничтожную сумму директор оплачивал в кассу по частям, трижды, да еще на полном серьезе упрекал: что же вы, решили меня по миру пустить, шестьсот семьдесят рублей! И руководство на чем свет стоит кляло Исламова, хотя он-то был при чем? Слава богу, директор хоть на ремонт не жаловался.

И вновь начались перебои с материалами для его участка, с транспортом.

Как-то после обеда Гияз выбрался в контору, решив наконец объясниться с главным инженером. Того на месте не оказалось, секретарь сказала, что скоро будет. Исламов остался ждать — он настроился на крупный разговор.

Неожиданно по управлению суматошно забегали: звонили из райкома, просили кого-нибудь из руководства срочно прибыть к первому секретарю. Как назло, ни начальника, ни главного инженера, ни секретаря парторганизации, ни одного начальника отдела на месте не оказалось. Секретарь так и сообщила, сказав, что все на объектах, а в конторе есть только начальник участка Исламов. Через десять минут, видимо, что-то с кем-то согласовав, позвонили вновь, сказали: можно прислать и начальника участка.

Жизнь складывается у людей по-разному: одни не вылезают из кабинетов высокого начальства, другие в них никогда не бывали. Вот и Исламов выше, чем в кабинете начальника СМУ, никогда не был, да и ни к чему было. А тут вдруг вызвали в райком партии. Кабинет с роскошным ковром, импортной мебелью, холодильником «ЗИЛ», стоявшим на виду, цветным телевизором, дорогой стереосистемой, фикусом в кадке, расписными чайниками на столе удивил Гияза. Он представлял себе место работы секретаря райкома несколько иначе. Такая домашность, обычно не свойственный кабинетам уют как-то покоробили Исламова.



И сам хозяин был под стать кабинету — весь так и светился добротой и радушием. Он и чаем тут же угостил Исламова. Задав несколько традиционных вопросов о житье-бытье на восточный манер и особенно не вслушиваясь в ответ, вдруг спросил:

— А мост через реку Салар вы видели?

Гияз ответил, что живет в Ташкенте не так уж долго, может, видел, а может, нет, а в чем, собственно, дело? Хозяин кабинета на миг задумался.

— А, впрочем, не имеет значения: видели, не видели. А мост перед вашим объединением вы, надеюсь, видели?

— Конечно, я под ним каждый день хожу на работу.

— И вас он устраивает?

— Не понимаю. Вполне устраивает. Мост как мост, думаю, построен надежно. Насколько я знаю, железнодорожные мостостроители — лучшие строители в стране, на наши мосты поступают заказы со всего света, это общеизвестный факт. Традиция мостостроения в России сильна еще с прошлого века, — как на экзамене отвечал Гияз.

— Я не о том, — нетерпеливо перебил хозяин кабинета. — Мост через Салар, о котором я говорю, чистенький, аккуратный, весь в мраморе, и решетки ограждения там такие красивые. Я хотел бы, чтобы у меня в районе мост был не хуже, даже лучше. Надеюсь, с вашей помощью мы перещеголяем соседний район, товарищ Исламов, — и он весь расплылся в улыбке, видимо, несказанно довольный принятым решением.

Ситуация для Гияза была настолько нелепая, что он едва сдерживался, чтобы не расхохотаться: мосты-то были совершенно несравнимые. Тот, саларский, — для автотранспорта и пешеходов, а этот — железнодорожный, с двухпутной колеей, с интенсивным движением. Но ответил он серьезно:

— Видите ли, у моста, как у всякого искусственного сооружения, есть хозяин, в данном случае Министерство путей сообщения, и наверняка мост выполнен в соответствии с проектом, где эстетика тоже учтена. Без ведома хозяина отделявать громадный мост мрамором, гранитом, крепить к фермам, порталам, быкам, просверливая или каким другим путем, плиты нельзя, ибо нарушается главное — несущая способность моста, гарантия его безопасности. К тому же, даже получи я такое разрешение от МПС, что совершенно невероятно, наша маломощная



организация, РСУ, не располагает фондами на мрамор или какой другой ценный материал, строго фондируемый камень. Да и любая работа, не говоря уже о такой, делается по проекту. Эта задача по плечу лишь специализированной организации. А кто будет финансировать столь дорогостоящую затею, этот вопрос тоже надо решить. Так что вынужден вас огорчить: в ближайшее время нам перещеголять соседей никак не удастся.

Куда делись доброта и радушие с лица секретаря!

Два завотделами, присутствовавшие при этом разговоре, разделяя гнев хозяина, готовы были испепелить Исламова взглядами.

— Вы еще молоды, товарищ Исламов, чтобы понимать, кто чему хозяин. Можете быть свободны! И скажите своему начальнику, чтобы завтра явился ровно в девять!

На том и распрощались.

В контору РСУ после райкома Исламов не пошел, не стал предупреждать и начальника. Решил, что хозяин роскошного кабинета сказал это просто так, сгоряча, чтобы последнее слово осталось за ним. Ведь с мостом ситуация яснее ясного, чистая маниловщина. Но все оказалось хуже некуда. К обеду его вызвал с объекта начальник управления.

— Ну, будет вам, Гияз Нуриевич. Руководство с утра грома-молнии мечет, — предупредила секретарь.

— Садитесь, — сказал начальник, когда он вошел в кабинет и плотно закрыл за собой двойные двери, — разносы шеф устраивал шумно.

Потом начальник долго и устало молчал, обхватив голову руками.

— Вот если бы вы пришли часа два назад, я не знаю, что бы я с вами, Гияз Нуриевич, сделал, а сейчас улеглось, успокоился. Конечно, я понимаю, вам непривычно слышать подобный бред: облицевать мрамором чужой мост, да еще с нашими возможностями, но поверьте, я в этом кресле и не такие приказы получал. Одного не пойму, откуда вы такой взялись? Отчитать секретаря райкома как мальчишку, в голове не укладывается! Вы же давно работаете в строительстве и языком нашим профессиональным прекрасно владеете. Разве вы не знаете классическую фразу: «Ладно, исполним» или сродни ей — тоже классическое: «Будет сделано!»?





Попили бы чаю, выслушали бы человека с почтением, ответили «Будет сделано!» и, поблагодарив за приглашение, ушли. Если выполнять все, что им на ум взбредет, своими делами заниматься некогда будет. Слышали вы, наверное, узбеки в таких случаях говорят: «К тому времени или ишак сдохнет, или арба развалится». Так и с нашим мостом: год твердили бы, что МПС разрешения не дает, год — что проектный институт ищем, чтобы заказ разместить, а потом финансирование попросили бы у райкома, так сама собой и заглохла бы идея — и никаких проблем.

А то, гляди, — самого секретаря повысят или снимут. Этого, скорее всего, снимут, ходят такие слухи. Но пока-то он хозяин положения и мне вполне убедительно может это продемонстрировать.

Потом, эта смета на восемнадцать тысяч рублей, — начальник скривился, словно его заставили проглотить лимон. — Вы что, с луны свалились? Мы уже не рады, что шестьсот-то начислили за ремонт. Казалось бы, в его же интересах, на всякий случай, так нет, директор до сих пор недобрый словом нас поминает...

Наверное, Гияз Нуриевич, вам у нас нелегко — не та у вас школа. Но и нам с вами трудно, на разных языках говорим. Учитесь жить по-нашему, или давайте мирно разойдемся, не будем доводить друг друга до инфаркта. И последнее: не учитывай мы ваши способности, опыт как инженера и, скажем прямо, влияние в коллективе, особенно среди рабочих, разговор был бы иным, гораздо более коротким. Так что, пожалуйста, подумайте...

... Но уже до этого разговора, еще когда он возвращался из райкома, Гияз решил для себя, что он действительно не туда попал. Сбирать дань с бригады Тарханова и Коляши, как и с любой другой, — об этом не могло быть и речи. Но даже в том случае, если бы его избавили от этой повинности, ремонтировать чужие квартиры, дачи, строить тайно финские сауны, а процентовать это как ремонт комнат отдыха рабочих, стоять навтыжку перед женой какого-нибудь высокого начальника — нет, это было не для него. Как и выполнять нелепые приказы. Мост в этом случае оказался последней каплей, переполнившей чашу терпения. И нынешний разговор у начальника, как понял



Гияз, был последним предупреждением. Нет, переучиваться он не собирался.

Утром он отнес заявление об увольнении. Жалко было расставаться с рабочими, на ремонте квартиры Клары Васильевны он крепко сдружился с ними. Федот Карпович на прощание сказал:

— Коли будет хорошая работа, зовите, пойдем, не подведем...

\*\*\*

Уволившись с работы, Гияз растерялся. Он принадлежал к тому типу людей, что хорошо знают свое основное дело, в котором могут проявить ум, характер, волю — все, что отпущено им природой, но вот за пределами дела пасуют перед бытовыми неурядицами, сменой обстановки. У таких людей в трудовых книжках, как правило, одна, от силы две записи, не считая записей о наградах и поощрениях. Он и думал раньше, что всю жизнь проработает в Заркенте, хотя жизнь у строителей, в общем-то, кочевая. Но он попал в такой город, который в промышленном плане рос и расширялся бы еще десятки лет, — Гияз был знаком с перспективным развитием этого региона. Черная и цветная металлургия вместе с химией рождали десятки ответвлений, начиная от производства лаков и другой бытовой химии и кончая широким ассортиментом минеральных удобрений для сельского хозяйства. Под каждое такое производство нужно было строить и строить, Исламову хватило бы работы до пенсии.

Он ткнулся в одно управление, в другое — свободных мест не было. Предлагали мастером, но в его годы и с его опытом начинать вновь на побегушках и на мизерном окладе Гиязу казалось унижительным. Обжегшись в одном РСУ, он уже избегал этих контор, а ходил по строительным управлениям, в тресты не заглядывал, потому что не знал канцелярской работы, да и чиновничья жизнь его не прельщала, он был строитель, прораб. И если другого пугали масштабы, размеры промышленных комплексов, миллионные объемы, то Исламов, наоборот, столкнувшись с гражданским строительством, растерялся от мелкоты, однообразия работ. В иных управлениях — лучших, как он полагал, — скептически посматривали на его последнюю



запись в трудовой книжке и отказывали сразу. Видимо, прорабы из РСУ доброй репутацией не пользовались.

Конечно, Гияз знал о многих крупных стройках в стране, и не однажды приходила ему в эти дни мысль податься туда, где он почувствовал бы себя на месте, где был бы занят достойным мужским делом. Но опять же страх перед бытовыми неурядицами, переездом, общежитиями останавливал его, хотя душа и рвалась к делу, и он скучал по своей прежней беспокойной работе.

Удерживала его и квартира: все-таки уже не мальчик, пятый десяток разменял, а жилье и строителям не сразу дают. Истекал месяц после увольнения из РСУ. Гияз продолжал безуспешные поиски, и уже в отделах кадров ему напоминали, что нужно скорее устраиваться, иначе, мол, прервется стаж. Будь Гияз более искушен в житейских делах, он не обратил бы внимания на эти напоминания — подумаешь, прервется стаж, велика трагедия, до пенсии о-хо-хо сколько, поди, наработает еще. Но эти напоминания сбивали его с толку, заставляли суетиться. Он даже чуть не устроился начальником участка в одном управлении, уже написал было заявление, но в самый последний момент попросил денек — посмотреть объекты, поговорить с рабочими... Управление пристраивало новые учебные корпуса в одном из вузов Ташкента, объект был из числа тех, что называют в народе «долгостроем». Ознакомившись со сметами, осмотрев сами корпуса, Гияз понял сразу, что тут выбрали деньги наперед года на два-три, да в таких объемах, что хищения в РСУ показались бы детской забавой. Совать голову в петлю за кого-то было бы просто глупо, к тому же и то, что построили, уже нуждалось в капитальном ремонте.

В тот день, забрав свое заявление, расстроенный Гияз возвращался домой на такси. Путь оказался неблизким — слово за слово и разговорился Исламов с таксистом. Гияз обратил внимание на вузовский значок шофера и удивился: судя по нему, тот, скорее, должен был летать, чем ездить. Шофер на это ответил, что он действительно окончил авиационный институт, но факультет не летный, а самолетостроения, и работал на авиационном заводе начальником смены в крупном цеху. И в двух словах поведал свою историю: ни суббот, ни воскресений, ни зарплаты приличной, как у хорошего рабочего, и с работы



раньше десяти никогда не возвращался домой. А дома двое детей, которых, считай, и не видел. Уходил на работу, когда они еще спали, приходил, когда они уже заснули. В общем, скандалы в семье все восемь лет, что работал на заводе, дошло дело до развода — или семья, или такая суматошная работа. Хотел там же на заводе слесарем или токарем устроиться, не разрешили, — пришлось уволиться.

— Не жалеешь? — спросил Исламов заинтересованно.

— А что жалеть, — ответил таксист, — нас таких в таксопарке треть, так и называют — дипломированная колонна. — Получаю гораздо больше. Дома по часам, жена про базар и тяжелые авоськи забыла, все попутно завожу сам. Вижу город, общаюсь с людьми, сплю без люминала. Переработал — получил. Сдал смену — ни о чем не думай, не тревожся. Хожу чище и лучше одетый, чем на заводе. О чем жалеть? О восьми годах, что коту под хвост, за которые вслед никто доброго слова не сказал?

Рассказал и Гияз о своих проблемах и, главное, — о цейтноте, через два дня истекал месячный срок трудоустройства.

— Если горит, давай к нам, а дальше видно будет, все-таки на колесах подыскать дело по душе легче. А может, приглянется тебе наша работа, не ты один с дипломом, немало таких в нашем парке, а твоих коллег, наверное, больше всего, — сказал словоохотливый таксист, выслушав Исламова.

Так Гияз оказался в одном из таксопарков Ташкента.

Человек с высшим образованием за станком, за рулем, за буфетной стойкой — ныне явление не новое, к сожалению, даже привычное. Вот уже, радуясь и умиляясь, пишут в газетах о бригадах строителей, состоящих из кандидатов и докторов наук, подрядившихся в свои отпуска построить коровник или там телятник. В любом случае не от хорошей жизни это происходит, — коровник все-таки должны строить настоящие строители, а не дилетанты, и за три-четыре-пять недель отпуска коровника не построишь, опять же, если не числиться где-то в кандидатах, а на самом деле его строить. Поэтому сложившиеся рабочие коллективы из людей с высшим образованием — явление новое. Пожалуй, мало кто предполагает, что они существуют, но они есть.

Сергей Александрович — так звали инженера-самолетостроителя — как и пообещал Гиязу, ввел его в колонну. Традиция



помогать новичкам утвердилась здесь давно, основу ее заложили еще первые дипломированные специалисты, ставшие профессиональными шоферами. Да и колонной руководил юрист, сам в свое время отработавший на такси почти пять лет. Специально, гласно никто не укомплектовывал колонну дипломированными специалистами, но так сложилось — годами сюда стекались именно люди с образованием и молодежь, учившаяся на заочном или вечернем отделениях. Колонна эта была в таксопарке передовой: план выполняла всегда, чрезвычайных происшествий не имела, все переходящие призы и знамена обычно завоевывала, оттого, наверное, и смотрело руководство таксопарка сквозь пальцы на то, как она формировалась. Образовательный ценз в данном случае был не помехой для работы. Гиязу повезло сразу: в первый же его рабочий день колонна проводила на пенсию бывшего горного инженера, имевшего подземный стаж и в пятьдесят пять ушедшего на отдых из таксопарка. Он и передал Гиязу ключи от своей машины. Так началась у Исламова новая жизнь.

Машину он водил с детства и разбирался в ней неплохо, всегда помогал Нури-абы, а теперь вот отцовские уроки пригодились. Смущала его работа с пассажирами, но новые друзья уверяли: ничего, привыкнешь, главное в работе таксиста — терпение, сдержанность.

Смена за сменой, день за днем — казалось, даже время побежало быстрее, стремительнее — теперь в его жизни на всем лежал отпечаток скорости. И как в калейдоскопе замелькали пейзажи, новостройки, окраины — жизнь таксиста полна впечатлений, успевай только запоминать. Гияз работал и приглядывался к своему новому коллективу, где, как он чувствовал, его приняли радушно. Большинство таксистов в колонне были примерно одного с ним возраста, пожилых или слишком молодых не было, — видимо, каждый из них успел хлебнуть и другой, не шоферской жизни. Может, оттого в колонне и старались бережнее относиться друг к другу и обращались тут даже к тем, кто помоложе, по имени-отчеству. Некоторые из шоферов не потеряли связи с прежней работой. Гияз слышал, как кое-кто из руководства парка обращался к таким с просьбой помочь выбрать свои фонды на бензин, запчасти, резину, а то и помочь со стройматериалами на ремонт автобазы к зиме.



Отличались от остальных и ремонтные мастерские колонны. Тот же Сергей Александрович, самолетостроитель, не зря восемь лет и конструктором, и технологом, и начальником смены на заводе отработал, — такие приспособления-полуавтоматы придумал, приборы диагностики сконструировал — в считанные минуты все неисправности как на ладони у ремонтников! А уж о взаимовыручке и говорить не приходилось, оттого, наверное, и рвались в эту колонну шоферы, да не всякого брали.

За несколько месяцев работы Исламов ни разу не видел, чтобы начальники колонны или парка повысили на кого-то голос, не слышал перебранок или скандалов, характерных для любого производственного коллектива. Однажды он спросил об этом у Сергея Александровича. Тот ответил, но ответил, как понял Гияз, давно сложившимися фразами:

— Мы досыта этого нахлебались до того, как сюда попали. Здесь хотим работать спокойно. Если в колонне заведется какой-нибудь горлопан, на первый раз предупреждают или переводят в другую колонну. Законы коллектива суровы, но справедливы: соблюдаются интересы большинства, и никакая администрация не заступится за такого. Насчет руководства... Колонной руководят вчерашние таксисты, чего же им горло драть? Да и мы народ понятливый, дело свое знаем. А уж если начнет кто зазнаваться, портить сложившуюся обстановку, то ему долго не удержаться на месте, — людей, достойных заменить такого, в колонне предостаточно. Это тот самый случай, когда коллектив имеет реальную силу. — И, улыбаясь, закончил: — Гляди, лет через десять, может, и ты будешь начальником колонны.

Все было бы хорошо, если бы Гияз не задумывался о том, что попал сюда случайно и на время. Он знал, что некоторые, проработав год-два, возвращались на прежние места, но таких было мало, большинство застревало на годы, десятилетия, до пенсии. «А какой из меня через десять лет строитель? — думал Гияз. — Разве что строить коровники, как те кандидаты наук?»

Однажды он потратил целый месяц, пытаясь составить для себя список, кто из нынешних коллег какое имел образование. Список оказался обширным и пестрым, и что удивительно, там не фигурировало ни одного врача, ни одного фармацевта. Люди этой профессии неожиданно выросли в глазах Исламова: уж



они-то не могли похвалиться ни большой зарплатой, ни легкой учебой, не говоря уже о работе. «Вот, — думал Гияз, — чем следовало бы заняться статистическим управлением: определить, из каких конкретно вузов больше всего специалистов не работает по профессии, и сразу стало бы ясно, какие специальности не следует плодить, какой вуз недорабатывает, а какой и вовсе прикрыть следует».

Пытаясь понять, оценить свое нынешнее положение, Исламов внимательнее приглядывался к своим коллегам, особенно к людям с техническим образованием, — они казались ему понятнее, да и работу их прежнюю он ясно себе представлял. И удивительно, за исключением трех-четырех человек, показавшихся ему средними, безынициативными, причем таковыми они виделись на любой работе, в любой среде, обстановке, остальные виделись ему людьми незаурядными. И вновь он поделился своими мыслями со сменщиком, Сергеем Александровичем, с которым теперь работал в паре.

— Ничего удивительного, — объяснил бывший конструктор, с первых дней взявшийся опекать Гияза, хотя и был моложе него. — Средний, он никуда и ниоткуда не побежит, тем более к нам, у нас пахать надо, сам видишь. У среднего не возникает ни проблем, ни выбора, потому что у него нет знаний, а нет знаний — нет принципов, нет инженера. Подаются с мест сильные, уверенные, что не пропадут, что свой кусок хлеба заработают всегда и везде. Так что, дорогой Гияз, ты не ошибся, больше здесь людей сложных, инициативных, толковых, за иными приходят с прежней работы — зовут, спрашивают, — бывает, что некоторые и возвращаются...

Однажды поутру он проезжал по Чиланзару — пассажиров не было. Как вдруг, увидев его машину, навстречу кинулась девушка.

— Пожалуйста, к ресторану «Хорезм», я опаздываю. Важная иностранная делегация у нас завтракает. Если можно, поскорее, я хорошо заплачу, — сказала она, торопливо усаживаясь рядом.

Когда машина рванулась с места, пассажирка успокоилась и, достав из сумочки зеркальце, внимательно оглядела себя. Поймав на себе взгляд Гияза, она кокетливо спросила:

— Ну, как?



Гияз, подлаживаясь под ее настроение, ответил:

— Полный порядок! — и для пущей убедительности показал большой палец.

— Спасибо! — ответила девушка и, рассмеявшись, уже внимательнее оглядела Гияза.

Когда подъехали к ресторану, она протянула ему пять рублей и быстро вышла.

— Одну минуточку, я дам вам сдачу, — засуетился Гияз.

— В другой раз. Вы меня здорово выручили, спасибо. А если уж очень захотите вернуть мне сдачу... Я работаю здесь метрдотелем, зовут меня Дашей. И лучше, если такая мысль придет вам к концу моей смены, заодно и домой отвезете.

Чувствуя, что водитель любит ее, она улыбнулась Гиязу, помахала ему рукой, как старому знакомому, и пошла, небрежно размахивая сумкой. «Хорезм» находился в центре города, в оживленном месте, и Гияз, за день несколько раз проезжая мимо, вспоминал Дашу. Было в ней что-то такое, что ему сразу понравилось.

Однажды вечером, недели через две, когда дневной план был уже выполнен, он заехал домой, побрился, надел свежую сорочку и незадолго до закрытия ресторана подъехал к «Хорезму».

Ресторан был популярен в городе. Гияз знал об этом, — попасть туда оказалось непросто. Но Исламов не растерялся, шепнул швейцару: «Я за Дашей» — и двери для него широко и приветливо распахнулись. Даша увидела его первой и, выйдя к нему из-за колонны, сказала:

— Здравствуйте, молодой человек, что же вы так долго не заглядывали? Я уж собиралась в таксопарк звонить, чтобы вернули сдачу вместе с таксистом. Да жаль, запомновала, из какого вы парка, а в Ташкенте, мне сказали, их одиннадцать. К тому же боялась: вдруг другого пришлют, а мне другого не надо, — и, улыбаясь, взяла его под руку. — Надеюсь, поужинаете у нас?

— С удовольствием.

Даша провела его к небольшому сервированному столику недалеко от оркестра. Оставив минут на пять, вернулась вместе с официанткой. Та поставила поднос с едой на служебный столик, а уж Даша подала все на стол сама.





— С радостью составила бы вам компанию, но, сами понимаете, служба, — и, пожелав Гиязу приятного аппетита, оставила его одного.

Когда Гияз в первый раз пригласил Дашу к себе в гости, она поразилась количеству книг в его доме, но более всего удивилась пластинкам — сплошная классика.

— Странный таксист, — сказала она тогда шутя и, беспечная, как бывает в начале знакомства, не стала расспрашивать ни о чем.

Роман с Дашенькой на время отодвинул мысли о работе. Почти каждую ее смену он заезжал за ней на работу, а иногда по ее настоянию и обедал в «Хорезме» — она шутя говорила, что считает своим долгом следить за его здоровьем.

Даша была на десять лет моложе Гияза, жизнерадостна и энергична, и хотя не считала, что вся жизнь — праздник, пыталась по возможности украсить ее. Женское чутье подсказывало ей, что у Исламова произошло в жизни что-то серьезное, если не трагичное, выбившее его из колеи, и она, как могла, пыталась заботиться о нем. Где-то она вычитала или услышала фразу — «Женщинам нравятся сильные мужчины в минуты слабости», — и считала, что у нее сейчас как раз тот самый случай. И хотя Гияз ей ничего не рассказывал и просил не расспрашивать ни о чем, она была уверена, что у него непременно была какая-то романтическая история... Странный портрет удивительно красивой девушки в зале, Гайдн, Вивальди, книги... Нет, он положительно ей нравился...

Как-то через полгода, когда у нее уже были ключи от его квартиры, — она очень любила бывать в его доме, по-женски поддерживать в нем порядок, — Даша провела ревизию его гардероба.

Сама она одеваться любила, да и доступ к дефициту имела: в «Хорезме» часто бывали работники торговых баз, а в центральные магазины она ходила как к себе домой, — там работали ее подружки, с которыми она окончила торговый факультет института. На ее взгляд, Гиязу не мешало бы приодеться посовременнее — вещей у него было немного, да и те куплены случайно, без выбора: видимо, хозяину было не до того. Но среди старых вещей ей попались когда-то очень модные рубашки и пиджаки — здесь чувствовалась женская рука. И Даша тут же



увязала этот факт с той, другой женщиной, у которой, безусловно, был незаурядный вкус. Вдруг Дашу почему-то обуяла такая ревность, что она решила удивить и порадовать Гияза.

В письменном столе у Исламова, она знала, лежали деньги, и Даша, взяв их, тут же поехала на базу. Чтобы долго не объясняться, она сказала директору, что выходит замуж и ей хотелось бы одеть жениха помоднее...

Вечером, радостная, возбужденная, она заставила Гияза примерить все обновки, счастливая от того, что все подошло, понравилось и так невероятно преобразило ее таксиста. И когда Гияз сказал ей просто так, не вкладывая особого смысла в слова: «Ну, зачем тебе эти хлопоты?» — Дашенька действительно чуть не заплакала, у нее заметно повлажнели глаза, и она, обняв его, зашептала:

— Гияз, милый, я хочу, чтобы ты у меня был самый-самый, лучший-лучший. Если б ты только знал, какое наслаждение для женщины делать что-то для любимого человека: убирать его дом, стирать его рубашки или преподносить сюрпризы, как сегодня. Ты ведь, правда, доволен? Но мне кажется, что мужскому уму такое понять не под силу, — и она рассмеялась.

С этого дня Дашенька следила, чтобы он был одет всегда на уровне... Вот почему в Озерном Халияра и Фариду так восхищали его вещи, что они даже приняли его за «фирмача».

Как-то в конце зимы, месяца за три до поездки в Озерное, Гияз обедал в чайхане таксистов на Чиланзаре. День выдался по-весеннему теплый, солнечный, хотя на календаре и был февраль. На улице жарили шашлык, кипели трехведерные самовары на ангренском угле. Таксисты расположились на воздухе — за столиками, которые сами вынесли из чайханы, а пришедшие пораньше заняли айваны. У кого с планом был порядок, могли себе позволить задержаться в чайхане чуть дольше обычного. Здесь, считай, каждый день говорили о новых назначениях, перемещениях. У Гияза в тот день дела были так себе, да и своих ребят из колонны не видел, поэтому задерживаться не собирался и приткнулся сбоку на айване, где уже сидела большая компания в ожидании шашлыка. Уловив в разговоре знакомые фамилии, он прислушался. Разговор шел о директоре того объединения, откуда он уволился. Люди возмущенно говорили, что директор за десять тысяч отремонтировал свою новую квартиру, а внес



в кассу всего тысячу рублей, что в РСУ его объединения выявлены крупные приписки, хищения материалов, что рабочие рассказывали народному контролю о ежемесячных поборках. Всплыла тут и фамилия секретаря райкома, теперь уже бывшего, пожелавшего когда-то выложить мост мрамором, будто других, более важных проблем в районе не было.

Гияз вдруг почувствовал, что новость, каким-то боком касающаяся и его, нисколько его не волнует, словно все это было не с ним и не в его жизни. И вдруг Исламова пронзило открытие: уже очень давно он живет чужой жизнью!

Чужая жизнь... Оттого, наверное, и нет покоя в душе. Эта мысль прочно засела в голове, и, может, поэтому внешне спокойная и благополучная жизнь, Дашенька с ее сладким вниманием стали не в радость. С этой мыслью он и уехал в отпуск, и там, в Озерном, тоже не находил себе покоя, все маялся вопросом — как живу, зачем?

Незадолго до отпуска как-то попал он в Чирчик, промышленный город неподалеку от Ташкента. Высадив командировочного пассажира у гостиницы, порожняком возвращался обратно. Впереди и сзади него, занимая почти всю неширокую дорогу, шли мощные трейлеры-панелевозы, КамАЗы с прицепами, груженными длинномерной арматурой, цементовозы с раствором, — чувствовалась близость большой стройки. Гияз и сам не заметил, как невольно свернул вслед за вереницей этих машин и оказался на стройплощадке огромного комбината «Капролактан», готовившегося к сдаче. Конечно, об этой стройке он знал, слышал. Гияз поставил машину в сторону, чтобы не мешала никому и не бросалась в глаза, и пошел пешком.

Предпусковая пора на стройке самая напряженная, но зато и самая азартная, — близость завершения, желание увидеть свое детище во всей красе придает людям дополнительные силы. Гияз помнил это. Он шел, переходя из корпуса в корпус, слушая обрывки разговоров, и все ему было понятно. Он шел, как музыкант вдоль классных комнат консерватории, и даже за закрытыми дверями слышал, где и какой инструмент сфальшивил, из какой комнаты лилась совершенная мелодия — такая, что он невольно замедлял шаг.

Возле одного из корпусов, где шел монтаж технологического оборудования, монтажники спорили о чем-то с молоденьким



прорабом. Большой лист чертежа, изрядно затрепанный, они чуть ли не рвали друг у друга из рук.

— О чем спор? — не удержался Гияз.

Обе стороны, видно, приняв его за начальника, в один голос стали доказывать свое. Гияз глянул на чертеж, подумал и неожиданно сказал:

— Отчасти правы обе стороны, но вот беда: на этой копии чертежа, на мой взгляд, вот в этом месте пропущен монтажный проем. Срочно позвоните в техотдел, пусть поднимут подлинники, только точно укажите эти два сечения. Такое, к сожалению, бывает, брак в работе чертежниц переходит в железобетонный брак из-за двух неверных карандашных линий.

Даже не поблагодарив, монтажники тут же сорвались к прорабскому вагончику, где, видимо, у них был телефон.

Когда Гияз минут через двадцать возвращался назад, молоденький прораб бросился к нему навстречу.

— Спасибо. Все точь-в-точь: пропустили чертежницы проем, а теперь мне долбить перекрытие, потеряю день. А вы случайно не проектант? Сразу догадались.

— Нет. Я ваш коллега, прораб. Не волнуйтесь, сдадите один комбинат, второй, — придет и к вам опыт, уверенность, тогда научитесь находить в проектах ошибки. А на этот брак проектного института непременно составьте рекламацию. Каждый должен отвечать за свою работу...

Как и в Озерном, и потом в поезде, Гияз вновь мысленно прокрутил свою жизнь в Ташкенте до конца, без остатка: особых удач, как ни напрягался, не было, — лишь поводы для раздумий. «Застрял на полустанке»... Гияз где-то слышал такую фразу, она как нельзя лучше подходила к нынешней его жизни.

\*\*\*

Утром он позвонил в таксопарк — выходить ему нужно было в ночь. Это обрадовало Гияза, он любил ночные смены: зеленый Ташкент в ночном освещении приобретал неповторимое лицо. Если бы он был художником, обязательно написал бы ночной Ташкент: зной, на его взгляд, притуплял ощущение формы и цвета. Жаль, на полотне невозможно было передать шелест дремавшей листвы и шум арыков в ночи. Может, оттого



древние восточные поэты так часто описывали луну, спутницу ночи, и темень садов?

Сергея Александровича в парке уже не было, видимо, заехал немного раньше, а товарищи из колонны работали в других сменах, так что шумной встречи, какие обычно бывают после выхода из отпуска, не получилось. Да и не готов был к ней Исламов, мыслями он все еще находился там, в отчем доме, в Озерном.

И выход в третью, малочисленную смену, оказался кстати. Ощущал он странную, неожиданно возникшую вину и перед новыми товарищами. Они-то считали его своим, надеялись, что долго еще им идти вместе по дороге жизни. И хоть нелегка была эта дорога, он сильно сомневался, что это его путь. Свой среди чужих? Чужой среди своих? Поди разберись, в чем его вина, которой он и сам не мог понять.

Темные, скудно освещенные улицы района, где располагался таксопарк, были безлюдными, кое-где в зажженных окнах мелькали силуэты, ночь и тишина уже опустили на город.

Неожиданно Гиязу захотелось увидеть или хотя бы услышать Дашеньку, и он остановился у первой же телефонной будки. Автомат не работал, не работал и второй, и третий... Недолго думая, он развернул машину к Чиланзару.

Подъезжая, еще издали Исламов увидел ярко светившиеся окна ее квартиры, единственные огни в огромном сонном доме, — она словно ждала его. Эта мысль обрадовала его, и он легко взбежал на четвертый этаж.

На звонок ему тотчас открыли, словно стояли за дверью и считали его шага на лестнице в притихшем доме.

— Ты? — удивилась Дашенька. Несмотря на поздний час, она была нарядная, с аккуратной прической.

Гияз растерялся, не зная, что сказать, и по привычке машинально хотел войти в квартиру, но Дашенька преградила ему дорогу.

— Гияз, прости, нельзя! Я выхожу замуж. Мой жених должен сейчас прийти, с минуту на минуту. Я даже подумала, что это он позвонил. Извини, Гияз, что так вышло, но ведь ты не делал мне предложения, даже не намекал. А он военный, решительный, сразу предложил мне руку и сердце. Женщина может устоять перед многими соблазнами, но перед предложением



выйти замуж... И, наверное, мне с тобою было бы нелегко. Ты все пытаешься что-то понять, разобраться в жизни. А зачем? Живи просто, жизнь так коротка...

Но Гияз, хотя и смотрел на Дашеньку, уже не слышал ее торопливых слов. Спустившись вниз, минут пять в каком-то оцепенении он сидел в машине, и только энергичные шаги высокого военного, с удивлением поглядевшего на такси у подъезда, отвлекли его. Он вдруг улыбнулся, вспомнив шуточные слова из песни своей молодости:

*Если к другому уходит невеста,  
То неизвестно, кому повезло...*

Потихоньку, стараясь не шуметь в сонном квартале, он выехал на дорогу. На перекрестке маячил одинокий пассажир, но Гияз проехал мимо. Как тогда, в Гаграх, в «Золотом руне», он вдруг ясно понял то, чем мучился все эти годы в Ташкенте. Какая бы у него ни была удобная, хорошо оплачиваемая работа, заниматься он может только настоящим, большим делом. Его дело, его место было там, на большой стройке. И только там он мог добиться того, чтобы фамилия его зазвучала столь же весомо, как у отца в Озерном.

И еще он осознал, наконец, что для этого надо... быть не просто трудягой, честным человеком, надо стать борцом. Честность-то — она должна быть с кулаками, а иначе не переведутся силкины, не переведутся ремонтные конторы, подобные той, откуда он так бесславно ретировался, не переведутся таксопарки, укомплектованные такими же, как он, созерцателями с дипломами в карманах. Надо предъявлять требования и добиваться результатов — делом, борьбой. Решено — стройка зовет его... А столица, большой город?..

Твой город там, где у тебя есть дело по душе. Как просто и ясно все стало, но, чтобы понять это, нужна была такая долгая дорога к отцу, к родному дому.

Странная выдалась ночь, словно праздничная, — загулявших, припозднившихся было много, но Гияз, забывший выключить зеленый огонек, ехал мимо. И гнал, гнал машину по улицам, словно прощался с Ташкентом навсегда. Уже не раз у него в кабине раздавался голос диспетчера:



— Семнадцатый, семнадцатый, ответьте диспетчеру, где вы?  
Но Гияз молчал.

Поблуждав по городу, Исламов свернул на берег Анхора и тут, распахнув дверцу машины, залюбовался светлевшей полосой реки в бетонных берегах. Вдруг в тишине, словно на всю набережную, зазвучал голос диспетчера:

— Всем радиофицированным такси: всю ночь не отвечает машина ТНС номер 85—04, водитель Гияз Исламов. О нахождении машины просим срочно сообщить в диспетчерскую четвертого таксопарка. Внимание, внимание: пропала машина...

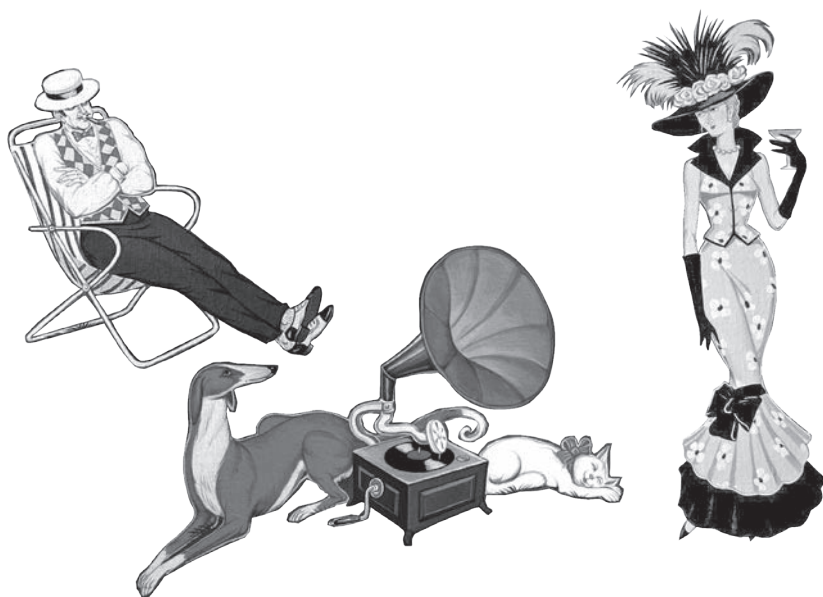
Сначала Гияз, занятый своими мыслями, не понял, что говорят о нем. Только когда запрос повторили в третий раз, он поспешно поднял трубку.

— Таня, это семнадцатый, Исламов. Спасибо, со мной все в порядке, еду в парк.

И какая-то теплая волна захлестнула его: о нем думали, за него беспокоились. Он развернул машину и, выехав на дорогу, сразу попал в зеленую волну. Когда уже въезжал в таксопарк, в эфире вновь раздался голос диспетчера, но в нем уже не было тревоги:

— Всем! Всем! Всем! Машина нашлась... С Исламовым все в порядке! Все в порядке...

*Малеевка — Коктебель — Дурмень,  
1985*













## Мартук – пристань души моей

Автобиографическая повесть

*Так мы и пытаемся плыть вперед,  
борясь с течением, а оно сносит и сносит  
наши суденышки обратно в прошлое.  
Френсис Скотт Фицджеральд*

*Воспоминания — единственный рай,  
откуда нас никто не вправе изгнать.  
Хафиз*

**Ч**ем дальше уходят мои годы, тем острее чувствую необходимость рассказать новым поколениям мартучан о месте их рождения, которое для каждого из нас есть малая родина. Ее невозможно заменить ни на какую другую, даже на самое распрекрасное место на земле — ибо тут, в Мартуке, начался наш земной путь, здесь могилы наших близких, родных, друзей. Хотя с двадцати лет я жил вдали от Мартука, не было года, чтобы я не побывал на родине, а в последние тридцать лет, когда я стал вольным писателем, то есть нигде не служу, я бываю там и по три, и по четыре раза в году. Пройтись по улицам Мартука, заглянуть в запустевший парк, где некогда гремела музыка, посетить оба мартукских кладбища, и мусульманское, и христианское, постоять, побродить по берегам погибающего Илека, вспомнить, как в полуразвалившихся землянках некогда кипела жизнь



дорогих для меня людей, вспомнить соседей, друзей, кумиров детства и юности, учителей — нет лучшего бальзама для моего сердца, души.

Каждый из нас должен сделать хоть что-то, чтобы наш Мартук возродился, стал лучше, чтобы в нем достойно и уютно жилось. Что было возможным в моих силах, я уже сделал для Мартука, прописал его в большой литературе. Упоминанием в литературе не могут похвастаться и многие известные города. Нашему любимому Мартуку не грозит выпадение из истории. Жизнь моих земляков, их проблемы, радости, описанные в моих романах, повестях, рассказах, оказались интересны миру. У мартучан есть много поводов гордиться своей малой родиной. Из нашего крошечного села вышло пять Героев Советского Союза, тут всегда жило много достойных людей. Им, их памяти посвящены с любовью и уважением мои воспоминания.

Моя малая родина Мартук — районный центр, стоящий при железной дороге Москва — Ташкент. Находится он в семидесяти километрах от Актюбинска на восток и в двухстах километрах на запад от Оренбурга, некогда первой столицы Казахстана, поистине города восточного в ту пору. Еще до середины 60-х годов Оренбург наполовину состоял из татар, много там проживало и проживает до сих пор казахов. Не могу не упомянуть для молодого поколения, что в царской России после Казани Оренбург был вторым культурным центром мусульман. Здесь издавалась ежедневная газета «Время» на татарском языке, которая распространялась по всей России. Тут было несколько крупных театров, широко известных в мусульманском мире духовных центров, медресе, мечетей, самая красивая из них построена на деньги казахских купцов. Издавались десятки журналов, печатались книги. В Оренбурге проживало не менее дюжины именитых в России казахских и татарских миллионеров, были здесь крупные торговые дома, банки. Все это сошло на нет после революции, а в 70-х годах прошлого столетия, когда нашли оренбургский газ, сюда хлынули сотни тысяч переселенцев из России, и город навсегда потерял свой восточный, мусульманский колорит. Родом из Оренбурга и мои родители. В годы революций, раскулачивания многие татары бежали в соседний Казахстан. Позже, в 20-е годы, от голода сюда бежали тысячами, целыми деревнями поволжские татары. Сюда, в степь, их толкало



только одно — здесь жил единый по вере народ. В лихие годы это чрезвычайно важный фактор.

В пору моего детства, вплоть до 1957 года, ходили паровозы, которые останавливались через каждые двадцать пять километров, красавцы локомотивы должны были чистить топки и заправляться водой.

Обязательно надо сказать несколько слов и о самих станциях. Дорога, построенная в начале двадцатого века, замечательна своими архитектурными и инженерными решениями. Особенно прекрасны станции: Актюбинск, Кандагач, Казалинск, Джусалы, Кызыл-Орда, Туркестан, Арысь. Кроме удивительных по красоте и изяществу пассажирских вокзалов, строились депо, десятки грузовых пакгаузов, пожарных центров, водонапорных сооружений, пристанционных построек для жизни и быта железнодорожников. Были построены добротнейшие здания из кирпича и камня: поликлиники, больницы, гимназии, здания для Дворянских собраний, ставшие позже повсеместно Дворцами железнодорожников. Особняки для технической интеллигенции и служащих и удобные дома, в два-три этажа, для рабочих. Почти все эти здания сохранились и служат людям до сих пор. Отмечу, как человек знающий, все эти полторы тысячи километров дороги с инфраструктурой, достойной восхищения, были построены двумя строительными батальонами. Жаль, красивейшее здание актюбинского вокзала было снесено в 70-х годах, и на этом месте построили уродливый трехэтажный сарай, в котором и зимой, и летом стоит ледяной холод, пробирающий до костей.

Железнодорожники и в царское время, и долгое время в СССР были элитой рабочего класса, а сама же железная дорога — государством в государстве. Она имела собственные школы, клиники, высшие учебные заведения, связь, торговую сеть, свое снабжение, свои заводы и фабрики, культурные и спортивные сооружения и многое-многое другое. До 60-х годов в СССР существовало только два профессиональных праздника: День железнодорожника и День шахтера. Всем этим железная дорога обязана одному человеку — Лазарю Моисеевичу Кагановичу, выдающемуся организатору технической мощи СССР. Кстати, опять же на заметку молодым, знаменитое московское метро — тоже его детище, и оно долго носило имя своего основателя, а в суровое сталинское время просто так имена не давались.



Железная дорога изменила край. Появились сотни, тысячи поселков вдоль дороги, включая и мой родной Мартук. Паровозы требовали воды, и в голых, зачастую безводных местах, русскими геологами была проведена огромная работа, найдены источники снабжения водой, рассчитанные на столетия. Построены сотни, тысячи водокачек, протянуты к станциям тысячи километров водопровода, работающего до сих пор. Наша мартукская станция снабжалась водой из красивейшего озера у аула Кумсай, что находится в семи-восьми километрах от поселка. Водокачка, как мы ее называли, строение в густом лесу у озера в Кумсае, оказалась сложнейшим инженерным сооружением и служила почти век, даже когда отпала нужда поить паровозы. Объект, как говорят нынче, имел стратегическое значение и был обнесен вокруг в три ряда, с большим интервалом, высокой колючей проволокой. Вход в зону был строго воспрещен. Водокачку с царских времен обслуживала одна и та же семья Качановых, дети которых учились с нами в одной школе в Мартуке. Как мы им завидовали! И было отчего. Как рассказывал мне мой одноклассник Петя Качанов — какие лини, сазаны, карпы, лещи, красноперки, голавли попадались им в верши или в сети! Каких пудовых сомов ловили они на закидушки, какие пяти-семикилограммовые щуки попадались им на удочки — не пересказать! Мне приходилось видеть эти уловы. Этой рыбой многодетная семья Качановых рассчитывалась за постройку своих детей-школьников у наших соседей Козловых. Помню, мама тоже покупала у них рыбу, кажется, что вкуснее рыбы линя ничего на свете нет. А какую землянику, малину, ежевику, костянику собирали они в своем заповедном раю! Какой удивительной красоты лилии приносили учителям в день последнего звонка и первого сентября — роскошь королевская, всю жизнь стоит перед глазами.

Все сломали, разграбили, растащили, сожгли в горбачевское безвременье. Навсегда затерялся в необъятной России след надежных тружеников Качановых, напоминающих мне таможенника Луспекаева из кинофильма «Белое солнце пустыни», отдавших водокачке, Отечеству восемьдесят лет служения.

Когда лет в пять-шесть я попал на станцию, она показалась мне волшебным замком, утопавшим в роскошном саду. Вокруг здания были разбиты цветочные клумбы. Тогда же



впервые в жизни я увидел цветочные часы и живой календарь из цветов — это потрясло мое воображение. После убогого, пыльного, вросшего окнами мазанок в землю поселка станция показалась мне земным раем. С каждого торца здания имелись водонапорные колонки, которыми разрешалось пользоваться всем жителям Мартука. В дни стирок хозяйки с ведрами на коромыслах тянулись к станции — говорили, что вода с озер мягкая, шелковая, и она сэкономила дорогое и редкое в ту пору мыло. А на перроне сиял медью, отполированный за десятки лет руками дежурных станционный колокол — как приятен был его звон, отправлявший поезда в не знакомые мне города с волнующими названиями: Ташкент, Наманган, Джалал-Абад, Ургенч, Алма-Ата — тысяча и одна ночь, Шахерезада и только!

В мои детские годы главными кормильцами маленьких местечек были базар и станция.

Помнится, год-полтора, не больше, Мартук переживал какой-то ренессанс, забытый НЭП — на станции милиция не гоняла жителей, приходивших к поездам торговать молоком, сметаной, творогом, варенцом, казахским катыком, шубатом, сливочным маслом, сбитым вручную дома. Выносили к поездам яйца, соленья, грибы. Осенью — арбузы, дыни, летом — малину и ежевику, собранную за Илеком. Более основательные хозяева торговали жареными и отварными курами и утками, а зимой — тушками гусей, рыбой, приобретенной у тех же Качановых с водокачки. С огурцами, помидорами, капустой, зеленью выходил на вокзал известный огородник Карташов из Кумсая, он там работал главным агрономом. Бедные выходили к поездам с жареными семечками подсолнухов и тыкв. Они же торговали аппетитной толченой картошкой, политой сверху подсолнечным маслом ручной выжимки с золотисто поджаренным луком. Предлагали и домашний квас. Иногда торговали пирожками с картошкой, капустой, щавелем.

В торговле пирожками с мясом, беляшами доминировали мои родственники Валиевы и Мамлеевы. Местные мастерицы выносили к поездам горячую выпечку — поезда в ту пору ходили минута в минуту, по ним сверяли часы. А какие у них были ватрушки с белым и красным творогом, пироги с повидлом и джемом! Повидла и джемы всегда имелись в сельпо в больших, почти ведерных, банках из нержавеющей стали. Банки из-под



них потом служили в хозяйстве ведрами. Не меньшим успехом у пассажиров пользовались свежевыпеченные домашние караваи, с которыми приходили к поездам хохлушки в расшитых крестиком нарядных блузках, хлеб у них всегда был покрыт чистыми рушниками. Один бывалый казах в гимнастерке с орденскими колодками даже наладился жарить шашлык к приходу поездов, и у него всегда выстраивалась очередь. Иногда рядом с ним пристраивался солидный аксакал в чистом камзоле, вельветовом или бархатном, он приносил большой бурдюк, или даже два, кумыса и пять-шесть деревянных чаш-тустаганов, из которых, как он уверял, кумыс всегда вкуснее. Вот эта пара всегда реализовывала свой товар до последней палочки, до последней пиалы, но они на станцию ходили редко, видимо, и с мясом, и с кумысом были проблемы. Немки в белых фартучках приходили к поездам с копченым салом и окороком, домашней колбасой, ливерной и мясной. Немцы умудрялись коптить свинину дома и этому быстро научили русских и украинцев, тоже державших свиней. До немцев, как говорили старики, в Мартуке никогда не коптили свинину, не делали колбас.

Немцы вообще оказали огромное влияние на быт и культуру Мартука. Это с их почина появились водонапорные колонки в каждом дворе, стеклянные террасы и веранды, паровое отопление, цветы возле дома и палисадники. Жаль, они поголовно уехали в Германию, о них всегда вспоминают тепло, жалеют, что их нет, когда надо починить машину, сделать паровое отопление, покрыть крышу, построить баню.

Чеченцы, сосланные в Мартук, тоже изредка, в августе, появлялись на перроне. Приходили женщины в длинных платьях, непременно в платках, они торговали только молодой вареной кукурузой. До чеченцев в наших краях кукурузу не выращивали. У них она была особая, элитная, двухметровая. Высушенные стебли кукурузы использовали на строительстве или топили ими зимой печи. Молодую кукурузу чеченцы варили, а из сухих початков делали муку для кукурузного хлеба и мамалыги, но, кроме молочной кукурузы, иное у местных не пользовалось успехом.

Ходили на вокзал не только со съестным, каждый нес, что мог продать. Не всегда все продавалось за деньги, шел товарообмен, нынче называемый бартером. В ту пору на поездах





в Среднюю Азию и на юг Казахстана, на постоянное жительство, тянулась беднота со всей России. Хотя в спальнях вагонов из красного дерева, оставшихся со времен царской империи, ехали люди с достатком. Мы любили скорый поезд из Москвы. Мы, мальцы, с удивлением разглядывали пассажиров этих вагонов в полосатых шелковых пижамах, дам в роскошных халатах или с накинутыми на плечи пальто с чернобурками. Запомнилось, что эти пассажиры никогда не торговались, или мартукские цены им казались дешевыми, или они быстро понимали, как бедствует народ на этих забытых богом полустанках. Скорее всего, и то, и другое, богатые того времени еще не считали свой народ быдлом, не презирали его, воспитание и совесть не позволяли.

Моя мама круглый год ходила к поездам с оренбургскими платками, вязанными из шерсти и пуха перчатками, носками, шарфами. Военные, которых было много среди пассажиров, охотно покупали именно белые пуховые перчатки и длинные шарфы, наверное, это были молодые офицеры, что любили пофорсить. В Мартуке у небольшой кожевенной артели жил человек по фамилии Трушкин, владевший редкой для села профессией, он был виртуоз-гончар. Лепил из глины кувшины, миски, жбаны, тарелки, большие бадьи. Делал забавные детские игрушки, свистульки. Мы, ребятня, часто ходили к его дому и завороченно смотрели на гончарный круг и ловкие руки мастера. Он тоже иногда ходил к поездам со своим товаром. Мы, пацаны, больше всего радовались, если ему удавалось что-то продать. Покупали те, кто выскочил из вагона без посуды, купленную миску тут же до краев заполняли толченой картошкой или простоквашей.

В ту пору вагонов-ресторанов в составе не было, и в дорогу брали с собой пяти-шестилитровые медные чайники. Тогда их выпускали тысячами, и они были обязательным атрибутом каждой семьи, а на станциях везде были кубовые, где бесплатно разливали из нескольких кранов кипяченую воду. В кубовой на нашей станции, сколько помню, работал мужик по фамилии Корнеев, он никогда не давал местным кипятку, даже своим, станционным. Видимо, такая жесткая инструкция была, ведь топили в кубовой углем, а его на всех не напасешься.

Поезда стояли не меньше получаса, и на перроне вовсю шел торг, кто покупал, кто обменивался. Пассажиры не раз



обманывали местных, людей доверчивых, запуганных. Помню, мама купила два куска мыла. Мыло оказалось брусками кирпича, только на сантиметр облепленными настоящим мылом. Однажды соседи Сафаргалиевы готовились к свадьбе и купили для приготовления домашней бражки мешочек сахара на десять-двенадцать килограммов. В поселке сахар давали только по паевым книжкам, да и то в ограниченном количестве. Как радовались наши соседи, что так выгодно выменяли своих потрошенных гусей на сахар у солидного пассажира! Но продавец оказался ловким аферистом. В мешочке с сахаром находился еще один мешочек с речным песком, сахара набралось чуть больше килограмма. Как они горевали — не высказать! Но, как бы ни осторожничали мои бедные земляки, их вновь обманывали. Помню, только однажды, прямо на вокзале, какая-то афера была раскрыта, и тут уж били негодяя долго и больно, и даже вокзальный милиционер Великданов, издали наблюдавший за самосудом, вмешиваться не стал.

Было в Мартуке и еще одно место, помогавшее выживать моим землякам — базар. Таким оно было и для моей семьи, ждавшей воскресенья как праздника, ибо только на базаре можно было заработать копейку, продать мамины вязаные вещи или выменять их на продукты, в конце концов, занять денег у кого-то более удачливого в базарный день. Базар располагался рядом с церковью, построенной первыми столыпинскими переселенцами в 1907 году. Там уже почти пятьдесят лет находится стадион, отстроенный запомнившимся добрыми делами секретарем райкома Салином-ага Шинтасовым, он прожил почти девяносто лет и умер уже в новом веке — пусть земля будет ему пухом. Мартучане будут помнить его долго.

В ту пору в Мартуке имелось два постоянных двора, куда съезжались люди из русских поселков: Казанки, Нагорного, Веренки, Белой Хатки, Полтавки, Красного Яра и из казахских аулов: Кумсая, Жанатана, Аксы, Жамансу, Танабергана. Мусульмане облюбовали дом хромого Максума на Советской, а православные — ближе к церкви, на постоялом дворе у Шалаевых. С субботнего дня до понедельника жизнь там была ключом — ставились ведерные самовары, топились печи во дворе и дома, в которых варилась и жарилась всякая еда. Пока готовили обед, мужчины и бабы спешили в сельскую баню,



а уж потом ходили по гостям к родным и знакомым или направлялись к детям-школьникам, стоявшим на постое по всему Мартуку, а к вечеру накрывали общие столы у себя на подворьях. Мы, ребята, тоже с интересом ждали базарных дней. Кололи на подворьях горы щепы, растапливали ею огромные медные самовары и смотрели за ними, бегали в магазин за водкой, вообще, были там на подхвате. Особо шустрым всегда доставались копейка на кино, бесплатный обед. Кусок хлеба нашего детства имел высокую цену. Мне, знавшему постоянный двор хромого Максума-абы, приходившегося нам дальней родней, не хуже своего двора, запомнились эти веселые суетливые вечера с песнями, плясками, а порою и драками. До сих пор стоит перед глазами коновязь, этакая, по-современному говоря, стоянка для скакунов. Каких только я не повидал там красавцев аргамаков!

Иногда после базара, особенно если это совпадало с советскими праздниками, или с Курбан-байрамом, устраивались байги — скачки. Мы, мальчишки, конечно, знали всех известных наездников из всех аулов, особенно нам нравился злой, уже далеко не молодой всадник Кенес-агай из Кумсяя, он часто выигрывал байгу. Призом всегда служил баран или бычок, которого общество покупало в складчину. Торговали лошадьми и на базаре. Конь в жизни казаха, в жизни всех тюркских народов всегда имел какой-то сакральный смысл, играл важную роль.

Но вернемся к нашему базару. Если на станции продавали съестное с пылу с жару, тут такого не было, обедали после торгов приезжие или в чайной, или у себя на постоянных дворах. Торговали тут картошкой, тыквой и живностью: курами, гусями, поросятами, баранами, телками. Живность имела на базаре свой угол. Много торговали зерном, мукой, просом, особо почитаемым казахами злаком. Я думаю, казахи обязаны своим здоровьем именно мясу и жареному просу, а также из измельченного проса лакомству — талкану. В пору своей юности я как-то заметил, что среди казахов вообще нет лысых, людей в очках, а зубы у них всегда блестящие, как ныне на рекламе зубной пасты «Колгейт». Сейчас, из-за плохой экологии, и казахи не выдержали — полысели, носят очки, и с зубов исчезла белизна.



Как бы заманчиво я ни описал торговлю на станции, базаре — ясно, что там продавали последнее. Те же пирожки и пышки шли на свой стол, только если оказались не проданными, потеряли свежесть и вид, и уже неудобно было выносить их к следующему поезду. В доме нужна была каждая копейка: купить уголь, дрова, кизяк у аульных казахов, сено для коровенки, керосин для лампы и керогаза, примуса. Нужны были деньги одеть, обуть детвору, купить чай, сахар, заплатить налоги. Кстати, те, кто учился после седьмого класса, платили и за обучение в школе, а деньги можно было добыть только на базаре. Безработица, отсутствие любой, даже грязной, тяжелой работы было уделом сельского населения, да и в городе сельских жителей в ту пору никто не ждал.

На базар к нам съезжались и сходились не только жители Мартука и окрестных сел, но и приезжали из Актюбинска, Яйсана, Акбулака, добирались сюда даже из Оренбурга. Людей издалека манили продукты, вокруг Мартука были крепкие русские села. Горожане вряд ли приезжали сюда с деньгами, за деньги и в городе продукты водились. Сюда приезжали поменять старую одежду, обувь, посуду, отрез на платье или костюм на муку, сало, гуся, курицу. Наверное, не продав у себя на базаре свой товар, они пытались сбыть его в глубинке, в Мартуке, и это всегда им удавалось, к обоюдному удовольствию и продавцов, и покупателей. И тем, и другим некуда было отступать, одних ждала голодная семья, других голые, босые дети.

Наезжали, особенно по теплу, и продавцы совсем экзотичных товаров. Приезжали художники в шляпах и беретах и предлагали написанные на загрунтованной клеенке картины: томных красавиц у балконного окна, сказочные замки у живописного озера с непременно грустящей принцессой в ажурной беседке, лебедей в пруду парами и в одиночку, резвящихся на фоне тех же дворцов. И, что странно, в голодном, холодном Мартуке у развалов художников всегда толпился народ, и больше всего — женщины. В ту пору девять из десяти из них были вдовами. Подолгу зачарованно вглядывались они в лица томных красавиц, в другую, непонятную, но притягательную и никак не достигаемую ими жизнь. И ведь покупали эти картины на последние гроши! Но чаще меняли на шмат сала, ведро картошки,



несколько килограммов муки или банку подсолнечного масла. У меня нет слов, чтобы описать степень бедности военного и послевоенного села. Но я попытаюсь показать ее на примере базара и жизни, быта своих земляков-мартучан. Позже, уже став писателем, я как-то отметил в своем дневнике — бедность не имеет дна, предела. На базаре некто, заезжий продавец, предлагал рис... в рюмках, да-да, в водочных рюмках, граммов на тридцать-сорок. Приобрести целый стакан стоило больших денег, на такое никто и не замахивался.

Помню, рассказывая о свадьбе в русской части села, с гордостью поминали пьяного Петра Шульгу, словно он величайший кутила и мот. То ли свадьба оказалась по душе Петру, то ли молодые любы, то ли самогон крепок — вошел он в кураж и среди гуляния, когда подарки молодоженам уже были вручены, объявил: еще полпуда муки дарствую молодым! Щедрый подарок был принят под гром аплодисментов, и кто-то, от волнения и восхищения, назвал Петра за широкий жест Шахом, с тех пор его в Мартуке иначе не называли. Кстати, сам Шах, шепутной по натуре, часто бывал не в ладах с супругой. И когда он шел по поселку, понуро склонив голову, к дому матери с мешком муки на плечах, в котором было не больше пуда, сельчане говорили — опять Петя в развод подался. Но, к счастью, все как-то быстро налаживалось, и Шах уже веселее, вприпрыжку, возвращался к жене с тем же мешком на сутулой спине. Как видите — бриллианты не делили. Разве такое можно придумать, забыть? Мы так жили. Кстати, для нового поколения — пуд всего лишь шестнадцать килограммов. Хочу добавить из личного. Однажды моих родителей пригласили на свадьбу, а в доме не было не только ни гроша, но даже щепотки чая или кусочка сахара. Не нашлось в доме и ни одной новой вещи, что могла послужить подарком молодоженам, таким же беднякам. Тогда родители отобрали из праздничных тарелок, которые ставили только гостям, две без единой щербинки и царапины, с тем и пошли на свадьбу.

Зимы в ту пору случались снежными, вьюжными, а морозы стояли всегда за двадцать, хотя и тридцать не было редкостью, неожиданностью. Пурга иногда мела неделями, и тогда беда стучалась в каждый дом не только в Мартуке, но и в поселках, аулах. Дороги заметало до макушек телеграфных столбов, а



это — два-три метра, сегодня подобное и представить трудно, и о базаре не могло быть и речи. Ничего ни продать, ни поменять, ни взять в долг у удачливых. В эти дни самые отчаянные, как моя мама, несмотря на появившиеся жесточайшие запреты торговли на станции и на данные ею подписки не появляться там, бежала к поездам, пыталась продать хоть пару варешек и щегольской шарфик военным, а платками она рисковала редко. Слишком неподъемной была бы потеря. Ведь в платке была доля и хозяев пуха из аула, который отдали ей в кредит, доверяли матери, знали, что Гульсум всегда рассчитывается честно. Но милиционеры на станции были начеку, отбирали товар и пинками тяжелых сапог гнали несчастных женщин с вокзала, наиболее строптивых даже запирали в какую-нибудь холодную комнату при станции и составляли протокол, который еще и штрафом заканчивался. Грозили в следующий раз отдать под суд или выселить из поселка, хотя сложно представить себе более горестное место, чем послевоенный Мартук. Как лютовали власть и милиция на станции, когда торговлю там объявили спекуляцией! Люди в форме сапогами пинали ведра с яйцами, переворачивали тазы с продуктами, выливали на землю молоко, сметану, бросали в грязь все съестное — чему радовалась лишь шпана, отиравшаяся рядом. Кто пытался защитить свое добро — были биты жестоко, умело, не задумываясь. Запомнилось одно — обижали всех, но никогда не трогали, не били, не задирали чеченцев. В их печальных глазах, даже у женщин, у детей, не говоря уже о мужчинах, они видели моментальный отпор, непредсказуемый, вплоть до смертельного. Чеченцы — единственный знакомый мне народ, при всем уважении ко всем остальным, который выше жизни ценит честь, достоинство и не терпит унижения, оскорбления.

Если в детстве мы не слышали слово «инфляция», то зато хорошо знали, что такое конфискация, экспроприация, спекуляция (непонятно, чем могли «спекулировать» мои земляки?), понятые, следственный эксперимент, превентивное задержание, очная ставка. Понимали, что НКВД важнее и страшнее милиции. Сделали для себя неприятное открытие, что ордена, которые мы считали мерилем высшей доблести и особой заслугой перед Отечеством, ничего не значили даже для милиционера Великданова со станции. Сам видел однажды, как,



грязно выругавшись, он сапогом опрокинул в пыль жаровню с готовыми шашлыками у орденоносца-казаха, а когда тот попытался защитить остатки баранины в тазике, прикрытом марлей, ударил сапогом прямо в грудь, густо увешанную орденами.

В те годы на станции день и ночь кипела жизнь, происходили важные для села события. Если в Мартуке останавливались все проходившие мимо поезда, и пассажирские, и грузовые, и все паровозы чистили здесь свои топки, то, наверное, нетрудно представить себе, какие эвересты, монбланы шлака выросли по обе стороны станции. Ведь поезда начали ходить регулярно с 1905 года, а мы с вами ведем разговор о 50-х годах. Если нечетные поезда, шедшие из Ташкента в Москву, чистили топки на пустыре за станцией, где далеко в степи одиноко стояло только здание МТС довоенной постройки, то поезда, приходившие из Москвы, освобождались от шлака на территории поселка, рядом с краснокирпичным двухэтажным домом, где жили железнодорожники. Дом этот нам, мальчишкам, казался огромным, и понятие «небоскреб», которое мы знали по Маяковскому, ассоциировалось нами именно с этим строением. А горы шлака за сорок пять лет работы дороги высились над этим домом так высоко, что нам казалось, что вершины его прячутся в облаках. Круглые сутки после поездов женщины сгребали шлак из междупутья на носилки и сносили его на эти горы. Когда кочегары чистили топки, то возле паровозов уже крутились мальчишки, старики, женщины с ведрами и кочергами, они высматривали непрогоревшие куски угля, выпавшие из чрева паровоза. Как только последний вагон проходил над кучей, все бросались в колею выхватить эти желанные горящие куски угля. Конечно, такие куски выпадали не часто, и это считалось большой удачей. В основном собирали шлак, не прогоревший до конца уголь, он тоже годился в печь, но его нужно было гораздо больше. Кто опоздал к поезду, те ковырялись в отвалах, куда сносили уже перебранное после поездов. Горы шлака напоминали вулкан, внутри них всегда тлел огонь, и жар от него был крепко ощутим, особенно в холодное время.

В ту пору из России в теплые края, в Среднюю Азию, постоянно перемещался всякий люд. Крыши всех поездов были усыпаны шпаной, от крепких мужчин до десятилетних мальцов в рванье, в их разговорах города Ташкент, Чимкент, Тюлькубас,



Наманган, Самарканд, Туркестан — звучали как рай. Время было суровое, строгое, и на таких пассажиров устраивались серьезные облавы, их отлавливали, сгоняли с поездов, и они иногда неделями прятались в этих отвалах шлака. Там наверху были свои тайные тропы, ниши, пещеры, чем выше, тем страшнее и таинственнее. Туда и милиция-то не решалась подниматься, боялись провалиться в кратер вулкана, случалось и такое.

Лет с десяти начал ходить на станцию за шлаком и я, хотя мама долго противилась этому, понимая, что станция — опасное место, не только из-за шпаны, тянувшейся на юг, но и из-за станционных ребят, считавших вокзал своей вотчиной и при каждом случае обижавших малолетних ребят из поселка. Но жизнь заставляла идти на риск. Сегодня трудно себе представить, что внутри землянок от холода в углах комнат от потолка до пола висели ледяные сталактиты, так промерзло за зиму наше жилье. Оттого мы на всю жизнь запомнили слова: голод-холод.

Однажды, когда я перебирал шлак на отвалах, рядом со мной появились четверо парней разного возраста, самому младшему — лет пятнадцать-шестнадцать, а старшему уже за двадцать. Не местные, видимо, их согнали с крыш московского поезда, который прошел нашу станцию с утра. Я, конечно, испугался, хотя кроме латанного-перелатанного цыганами ведра и самодельных санок у меня ничего не было. Одежда моя не подходила им ни по росту, ни по качеству — одеты они были гораздо лучше мартукских ребят, прямо щеголи какие-то. «Далеко магазин?» — спросили они, и я показал им кочергой вдаль, где рядом с сельсоветом под зеленой крышей находился наш «Сельмаг». «А где милиция?» — переспросили они. «Там же, рядом», — объяснил я. Мой ответ почему-то сильно огорчил их. Тогда один из них, в шапке-кубанке из серого каракуля, вдруг вполне дружелюбно попросил меня: «Выручай, малец, сбегай в магазин. Купи нам пожрать: хлеба, колбасы, консервов, пару бутылок водки, следующий поезд будет только к ночи, да и курева не забудь». Видя, что я сник, они спросили: «Не хочешь нас выручить?» Я ответил: «Хочу, но у меня нет ни копейки». Тогда они весело засмеялись, и опять же тот, в кубанке, достал из голенища щегольских хромовых сапог желтое кожаное портмоне и сказал, продолжая улыбаться:





«Мы сразу поняли, что ты не богач, держи белохвостую, думаю, хватит», – и протянул мне хрустящую сторублевку, где на просвет с одной стороны виделся Кремль, а с другой — Ленин. Это были новые, пореформенные деньги, после 1947 года, и у мамы однажды была такая красивая денежка. Правда, слово «белохвостая» я услышал тогда впервые. Только через четыре года, когда буду учиться в Актюбинске, услышу снова от местных блатных ребят, как и они назовут сторублевку «белохвостой». И я сразу вспомню ту давнюю встречу. Я осторожно взял белохвостую, но кто-то из ребят вдруг сказал: «Серег, добавь еще денег, не хватит». И тот щеголь, видимо, старший в компании, сунул мне в руки еще тридцать рублей. Я, было, рванулся с горы, но меня учтиво придержали: «Возьми санки, малец, в руках не унесешь, да и в глаза бросаться будет». С санками я и понесся в магазин. Продавец сельмага, Нюра Кожемякина, слыла в Мартуке модницей, не раз заказывала у матери вязаные вещи, и она, узнав меня, строго спросила: «Откуда деньги?» Я честно обо всем рассказал. «Как же ты донесешь такое добро?» — спросила участливо, выставив весь заказ на прилавок, и, не дождавшись ответа, упаковала все мои покупки в коробку из-под вермишели и сама вынесла на крыльцо, и уложила в санки. Встретили меня радостно, похвалили, отломали кусок колбасы с хлебом, предложили выпить, но от водки я отказался. Когда я попытался вернуть сдачу, они великодушно разрешили оставить ее себе, на кино, чему я радовался несколько недель.

В 1960 году, когда жизнь в наших краях в связи с освоением целины наладилась, дежурный по станции Кужелев первым в Мартуке отлил из шлака пристанционных эверестов шлакоблочный дом — это была революция в строительстве поселка. За два года от паровозного шлака не осталось ни грамма, все смел строительный бум, и теперь только старожилы, вроде меня, помнят о былых огромных огнедышащих горах на станции. Но, чтобы навсегда уйти со станции в Мартуке, мне придется рассказать еще один случай, который и спустя пятьдесят семь лет время от времени мне снится.

Случилось это год спустя после встречи с проезжими ураганами на станционных отвалах шлака. За год я стал на



станции бывалым человеком, обрел опыт, сноровку, и мама уже привыкла, что после уроков я всегда крутился у паровозов и без добычи редко возвращался домой. Только-только отпраздновали новый 1952 год, и у нас начались школьные каникулы. Стоял погожий зимний день, градусов восемнадцать-двадцать, ни ветерка, светило солнце, и я решил часа на два сбегать на станцию за углем, потому что в дни каникул давали дневной сеанс, и в тот день шел цветной фильм «Большой вальс». По дороге мне повстречался одноклассник Диас Искандеров, чей отец погиб под Москвой, как и мой. Диас редко бывал на станции, видимо, дома не разрешали, или он побаивался станционных ребят. Но в последние месяцы он часто видел, с какой добычей я возвращался домой, так что уговаривать его долго не пришлось. Главным аргументом послужило предложение продать пару ведер добытого михайловского угля хромому Максуму с постоянного двора, тот всегда покупал особый, тлеющий без дыма уголь для своих трехведерных самоваров. Когда мы пришли на станцию, на первом пути в сторону Актюбинска стоял грузовой состав. Видимо, он прибыл уже давно, потому что машинист паровоза и его помощник стояли у тендера без привычных инструментов в руках — большой масленки и молотка на длинной ручке. Значит, они закончили осмотр, обстучали все важные элементы локомотива и смазали ходовые части, буксы. Машинист как раз обратился к кочегару: «Сергей, стоять нам еще долго, мы пойдем на вокзал пообедаем, а ты тут за главного». Видимо, по радию они получили сообщение, что навстречу идет литерный поезд с особо важным грузом, и ему освобождали перегон, давали зеленую улицу на нашей станции. Мы, мальцы, не хуже железнодорожников ориентировались в правилах движения, в специальной терминологии. Кочегар, в поте лица очищавший топливные люки, забитые шлаком, что-то буркнул в ответ им в спину. Мы быстро оценили ситуацию, такой случай, когда у паровоза остается один кочегар, бывает раз в год и считается удачей. Дело в том, что и машинист, и его помощник — белая кость на паровозе, они всегда гоняли ребят от локомотива подальше, могли и подзатыльник дать, и пинка под зад особо настырным. А кочегар, которому за короткую остановку нужно было вычистить топки с обеих сторон, заправить тендер водой, да еще накидать угля из открытого всем



ветрам огромного тендера поближе к кабине, чтобы на ходу забрасывать его в топку, едва не валился с ног от усталости. Адская работа — то на ветру, на морозе на открытом тендере, то у жаркой печи метать пудовой лопатой уголь в ненасытную печь, то шуровать забитые шлаком топки. В ту пору слово «кочегар», фраза «работать, как кочегар» имели смысл особо тяжелой, рабской работы, губительной для здоровья. В кочегары шли молодые люди из деревни, из-за безработицы, безысходности, из-за возможности обрести постоянный заработок, угол в общежитии или комнату в коммуналке — власть знала, чем приманивать бедноту. Эти деревенские ребята понимали пацанов, крутившихся возле паровоза. Не раз бывало, особенно зимой, кочегар, перед самым отправлением, видя занятость своих коллег, сбрасывал ребятам с тендера два-три куска угля в сугроб. Как только машинист с помощником отошли подальше, я тут же нырнул под состав и поднялся на паровоз с другой стороны, чтобы не видел работавший кочегар. Я хотел узнать, успел ли он заправить паровоз водой, и есть ли в тендере кусковой уголь, желательно михайловский — для самоваров. К моей радости, водой еще не заправили, и весь тендер был полон нужного нам угля. Обрадованный, я спустился к Диасу, и мы вдвоем подошли к кочегару, поздоровавшись, я спросил: «Можно, мы заправим паровоз водой?». Кочегар вытер пот со лба, внимательно осмотрел нас — а вы сможете? «Обижаешь, Серега», — ответил я лихо, — нам все доверяют, ни разу не перелили, мы ведь вдвоем. Я наверху, а товарищ внизу. Буду глядеть в оба», — добавил я для основательности. И впрямь, зазевайся, не перекрой воду вовремя, зальет весь паровоз водой, и через пять минут на морозе он будет весь ледяной, и отбивать лед придется только кочегару.

— Ну, если вдвоем, то добро, заправляйте, — ответил повеселевший кочегар.

Конечно, наверх полез я, Диас еще никогда не бывал на паровозе, побаивался. Прежде чем забраться наверх, мы навели длинный хобот высокой колонки над люком тендера, а наверху я его еще поправил по центру, и только потом дал отмашку Диасу, чтобы отвинтил колесо крана, и вода, обдав меня запахом озера, тины, рыбы, полилась в чрево паровоза. Вода виднелась на самом доньшке, и я знал, что нужно



пятнадцать-двадцать минут, чтобы заполнить тендер доверху. Визуально было хорошо видно, как вода поднимается. Вода водой, а задача была — добыть уголь, а он, желанный, сажево-черный, бархатистый, лежал рядом, только протяни руку. Сверху я видел, что кочегар все еще скребет топку справа по ходу состава, поэтому стал сбрасывать большие куски угля в снег между путями на другую сторону. Время от времени я поглядывал вниз и на Диаса, и на кочегара Серегу, и продолжал сбрасывать и сбрасывать. Такая удача мне не выпадала никогда, мы могли теперь продать и десять ведер угля, и домой отнести. Радость прибавляла мне силы, я даже что-то насвистывал и безголосо напевал. Вода, тем временем, наполняла тендер.

Когда кочегар перешел чистить топку слева, я стал сбрасывать Диасу прямо под ноги, жестами объясняя, чтобы он присыпал уголь снегом. Вот-вот должны были вернуться машинист с помощником. В общем, минут за двадцать я набросал по обе стороны колеи довольно-таки много угля. А тут и вода подошла под горлышко, и мы успели перекрыть кран вовремя, о чем тут же доложили Сереге. Кочегар поблагодарил нас и сам забрался на паровоз, проверил и сбросил огромный валун угля ведер на десять, я бы его и с места не сдвинул. От такого куска на паровозе одна морока, замучаешься его кувалдой в тендере дробить, а для нас — несказанное богатство. Мы с Диасом, счастливые донельзя, улыбающиеся от неслыханной удачи, перешли под составом на междупутье и стали присыпать снегом тот уголь, что я сбросил в самом начале. Машинист, заняв место слева, сразу мог его увидеть, а, значит, не поздоровилось бы нашему доброму Сереге. Пока мы присыпали уголь на междупутье снегом, вернулся машинист, я увидел его в привычном окошке. Локомотив начал разводиться пары, и нас, стоявших возле первого вагона, обдавало словно облаком, но мы его не замечали. Наши фантазии унесли нас со станции, мысленно мы покупали цветные карандаши, рыболовные крючки и настоящую капроновую леску. Диас замахнулся даже на перочинный ножик — денег от хромого Максума должно было хватить на все. Богатая добыча лежала у наших ног слева и справа и даже за спиной. Но тут, непонятно откуда, появилась ватага станционных ребят, не меньше десятка. Они были на год-два постарше нас с Диасом, а



главному, двоичнику из 6 «Б» по кличке Фаддей, исполнилось уже четырнадцать. Конечно, они знали нас, а мы их, кроме двух дошколят, одетых в рванье не по росту. Наверное, кто-то из них увидел из окна на втором этаже, как я долго сбрасывал с паровоза уголь. Ощущая пятикратное преимущество, они шумно накинулись на нас, особенно усердствовал Фаддей, подражая блатным, он сыпал жаргонными словечками, смачно ругался, в общем, запугивал страшно. Суть претензий была предельно проста, особенно в устах косноязычного Фаддея: станция наша, а, значит, и уголь наш, убирайтесь, пока санки не отняли и не надавали как следует. Настроены они были агрессивно, даже поделиться не предложили, как часто бывало в подобных ситуациях. Наш случай был не первый на станции, только сегодня Фаддей впервые вывел новую юную поросль из краснокирпичного дома на охоту за чужаками, и явно желал утвердиться в лидерах. Хотя их было больше, у нас имелось преимущество, у каждого в руках была железная кочерга, которую мы держали наготове. Когда Фаддей уж очень стал наседать на меня, я толкнул его кочергой в грудь, и он, не ожидавший отпора, упал на путь, что резко поубавило ему пыла. «Наш уголь, наш уголь», — орали дружно станционные, и меня вдруг осенило. Я сказал, как можно тверже и туманнее: «Фаддей, наш уголь или ваш, ты не нам доказывай, понял?». «Кому же?» — опешили разом станционные. «Вот сейчас вернутся Султан с Хамидом, они за братьями старшими пошли и за большими санками, им, чеченам, и скажете, что вы хозяева угля и станции, а теперь валите отсюда, пока целы». В этот момент кто-то из колеи наклонился над большим куском угля, и тут произошло неожиданное. Тишайший Диас, побаивавшийся станционных, поддал тому такого пинка, что тот упал к ногам Фаддея. Тут нападавшие заметно дрогнули, не имея чеченской поддержки, мы, татарчата, вряд ли могли вести себя столь нагло на их территории. Но уйти просто так Фаддею гордость не позволяла, боялся уронить авторитет среди мелюзги, он демонстративно рвался в блатной мир. Фаддей лихорадочно думал, как он объяснит станционным корешам из красного дома, что не сумел отнять богатую добычу у двух малолеток из поселка. Так мы и стояли напротив друг друга — я с Диасом на междупутье, станционные в колее главного



пути. Наш паровоз все больше и больше выпускал пар, и мы все время от времени тонули в этом густом облаке, но никто не обращал на это внимания. Весь интерес с обеих сторон сошелся на угле. Конечно, добудь мы малость угля, ведерка два, мы бы не сопротивлялись, и они, наверное, так бы не злобствовались. Но такую добычу никто не хотел уступать, ни мы, ни они. А в это время литерный поезд, на высокой скорости шедший на проход через Мартук, миновал входной семафор и, видя скопление на путях, отчаянно гудел во всю мощь. Но никто из тринадцати ребят ничего вокруг не видел и не слышал, у всех в глазах — только уголь. Мне кажется, насыпь сегодня высоченную гору шоколадок, сникерсов, жевательной резинки и прочего добра, которое волнует детвору, все равно нашелся бы один равнодушный, озирающийся по сторонам. А тогда от угля дети не могли оторваться ни на секунду, такова была ему цена.

Скорый налетел с размаху — четверых насмерть сразу, нескольких выбросило из колеи без единой царапины, Фаддею отрезало обе ноги, а один мальчик по фамилии Касперов остался цел, ухватившись за решетку паровоза, которая сбрасывает с путей небольшие предметы. Диаса поезд не задел, меня зацепило какой-то выступающей частью паровоза, и, хотя я был в шапке, чуть выше виска у меня вырвало кусок кожи с волосами размером с маленькую монетку, и я долго хромал на левую ногу. Наверное, сильно ударился о стоящий состав, когда меня отбросило от летящего паровоза. Когда я очнулся, Диаса рядом не было, со станции и из краснокирпичного дома с плачем бежали женщины. Я потихоньку переполз под составом, нашел свои санки и ведро и, обливаясь слезами, хромая поплелся домой. Кому досталась большая добыча, остается только гадать. Эта история имела тягостное продолжение только для меня. Меня хотели исключить из пионеров как расхитителя социалистического добра, и даже из школы. Но нашлись во власти здравые люди, и ретивых учителей быстро одернули. На станцию я, конечно, дорогу забыл.

В год моего 65-летия я случайно узнал, что тот мальчик Касперов, чудом оставшийся живым, стал профессором, академиком, ректором авиационного института в Новосибирске. Поистине, судьбы людские и пути Господни неисповедимы.



\*\*\*

В начале восьмидесятых годов, когда у меня уже выходили книги в Москве, одна из них попала на рецензию к писателю Штильмарку, человеку трагической судьбы. Он отсидел в сталинских лагерях двадцать пять лет от звонка до звонка и позже был сослан на поселение в Казахстан. В одном из моих рассказов этой книги упоминался Мартук и соседний Ак-Булак. В Ак-Булаке, как оказалось, мой рецензент отбывал ссылку. Он был рад, что его ссыльное место для меня стало предметом литературы. В 1999 году в журнале «Огни Казани» на татарском языке вышел мой ретро-роман «Ранняя печаль», и я вдруг получил полное благодарности письмо от одной очень старой читательницы. Оказывается, ее отец, духовное лицо, в тридцатые годы был сослан... в Мартук. Они писали отцу в Мартук годами, раз в год отправляли туда посылку, а раз в два года, по специальному разрешению, навещали его. По ее словам, Мартук был для них святым местом, как Мекка, не меньше, и они всегда молились за благополучие его жителей. Я далек от мысли, что Мартук — святое место, хочу, пользуясь примерами, обратить ваше внимание на то, что я, частное лицо, дважды лично столкнулся с людьми, чьи судьбы связаны с Мартуком из-за того, что он в чьих-то тайных реестрах был определен местом для ссылки. Сегодня я понимаю, отчего у нас в захолустье кроме милиции находилось и отделение НКВД, прародителя КГБ, причем в заметно расширенном составе. Кстати, они вместе с милицией тоже жестоко разгоняли базар на станции.

Я упомянул о ссыльных в Мартуке, о которых ни тогда, ни теперь, запоздало, не говорили и не говорят, видимо, не такие уж сверхважные персоны высылались к нам. Разумеется, и они, ссыльные, о себе не распространялись, чтобы не осложнять и без того тягостную жизнь. Но даже тогда, в детстве, я понимал, а точнее, чувствовал, что люди крепко отличаются друг от друга. Теперь-то я знаю, что тому много причин: происхождение, образование, культура, интеллект, в ту пору я и слов таких не только не понимал, но и не слышал. Но то, что такие люди есть, хорошо усвоил, потому и помню до сих пор, и оцениваю их значение для Мартука задним числом через столько лет.

В шесть лет я случайно выпил яд — каустическую соду, ее отчим использовал для выделки шкур. Но, на мое счастье,



в другой комнате нашей землянки находился киевский врач Драпей, сосланный за что-то в нашу тмутаракань. Он любил заходить к нам на чай, и мама всегда держала специально для него небольшую заначку заварки. С чаем и с сахаром в доме бывали частые перебои. На мой крик врач выскочил раньше матери и, в мгновение оценив ситуацию, заставил меня выпить молоко, стоявшее рядом на столе. Опоздай он на минуту-две, и я не писал бы воспоминания о нем. Сейчас, когда я вижу на экране человека в пенсне, с кожаным чемоданчиком в руках и со стетоскопом на груди, я сразу вспоминаю врача Драпея, он спас в Мартуке не одного меня. О нем долгие годы ходили у нас легенды, но новое поколение мартучан узнает о нем только из этих скупых строк. Да будет земля Вам пухом, дорогой доктор Драпей!

В школе у нас преподавал математику учитель Николай Иванович Мишин, седой, полноватый, с пышными усами и бакенбардами мужчина, он, как и доктор Драпей, сразу выпадал из общей массы жителей Мартука. Всегда аккуратно одетый, учтивый, он и к нам, детям-озорникам, относился тепло и обращался — «любезный, подойдите ко мне, пожалуйста». Жена его тоже была учительницей, а сестра его, Екатерина Ивановна, заведовала детской библиотекой. Только одна эта семья сделала так много для Мартука, что не высказать. В школе устраивались не слыханные нигде вокруг, кроме Мартука, олимпиады, а на дополнительные занятия по математике приходили по сорок учеников, и отнюдь не отстающие, а, наоборот, те, кого влекли точные науки. Наверное, с тех послевоенных лет до горбачевских реформ мартукская школа считалась одной из лучших в области, и поступали в вузы до девяноста процентов ее выпускников, решивших получить образование. Я не увлекался математикой, да и школу оставил после семилетки. Но я хорошо помню перемены в библиотеке, как нас встречала сестра Мишина, Екатерина Ивановна, как долго любезно беседовала она с каждым заморышем, она обогревала нас словом, вниманием, вселяла в нас надежду, отыскивая в нас хоть какие-то крупицы таланта. Для многих из нас Мишины стали лоцманами в жизни, а от Драпея потянулась дорога в актюбинский мединститут. Екатерина Ивановна сама прекрасно рисовала и создала в библиотеке, в двух тесных комнатках,





изокружок. Скоро рисунками учеников оказались увешаны все стены и коридоры библиотеки, позже им нашлось место и на стенах школы. Рисовали акварелью, цветными карандашами, углем, но мне запомнились тончайшие, ювелирные рисунки птиц и животных, сделанные пером и цветной тушью на ватмане мальчиком с соседней улицы — Вальтером Диком. Много позже он сумел через Прибалтику эмигрировать в Германию и там стал известным художником-анималистом. Об этом я узнал от своего закадычного друга детства Сигизмунда Вуккерта, чья семья тоже уехала на Запад.

В январе 2007 года я приехал из Парижа в Мюнхен с супругой Ириной посмотреть известнейший в Европе музей современного искусства, а еще больше для того, чтобы побродить по улицам моего горячо любимого поэта Федора Ивановича Тютчева, которого самозабвенно обожал, боготворил в юности. В Мюнхене Тютчев прожил больше двадцати лет, там у него были две яркие, глубокие любовные истории, которые подарили нам такую тончайшую, восхитительную лирику. Немцы поставили Тютчеву прекрасный памятник. В день отъезда из Мюнхена я наткнулся на афишу выставки художника Вальтера Дика, на которой был портрет вальяжного господина, и без труда узнал в нем босоногого Вальтера. Конечно, вспомнил нашу библиотеку, Екатерину Ивановну, без которой, наверное, не было бы Вальтера Дика. Очень жаль, что не встретились с Вальтером, нам было бы, о чем поговорить. Тешу себя надеждой, что я еще загляну в Мюнхен к земляку и подарю ему каталог собственной коллекции живописи, в которой, к сожалению, нет картин Вальтера Дика, и еще подарил бы свой роман «Ранняя печаль», где есть большая глава, посвященная мартукским немцам.

Что касается Мишиных, я не раз слышал в их адрес одно — политические. Что это могло означать тогда, я не могу представить даже сейчас, даже с высоты своего возраста и опыта, житейского и писательского. С этой семьей не увязывалась никакая крамольная мысль — ни политическая, ни уголовная, ни связанная с моралью. Вся их жизнь, протекавшая под надзором НКВД, прошла перед глазами всего Мартука — и людей более праведных, добрых, отзывчивых, бессребреников, живших только заботами юных граждан нищего поселка,



я больше никогда не встречал. Долго, до самой их смерти в Мартуке, я интересовался их судьбой, я знаю, где их могилы на огромном русском кладбище, мне не надо их долго искать. Там покоится много моих друзей. Первым ушел, почти пятьдесят лет назад, юный Толя Чипигин, за ним Володя Колосов, Юра Урясов, Славик Афанасьев, Леня Грицай, Боря Палий, Саша Варюта — я называю только очень близких мне людей, а сколько там соседей, знакомых! Пусть всем вам мартукская земля будет пухом, я часто вспоминаю вас. Но мне везло в жизни на учителей, и я еще раз встретил таких же доброжелательных людей. Теперь это были мои преподаватели в железнодорожном техникуме в Актюбинске. Почти весь преподавательский состав того времени состоял из профессоров, доцентов, кандидатов наук, ученых из Ленинграда. Конечно, они были сосланными и не делали из этого тайны, к тому же уже прошел 20-й съезд партии. Они дали нам не только знания, но и привили культуру. Низкий поклон вам, учителя мои: Фома Иванович Грачев, профессор Семен Абрамович Глузман, профессор Волков, профессор Башкирцев, Михаил Матвеевич Панов, Борис Николаевич Гушин — я никогда вас не забывал.

На учителей везло не только мне, но и Мартуку. Учительница немецкого языка Алиса Арнольдовна, одна воспитывавшая сына Марка, создала в школе театр кукол. Я не оговорился — не кружок, а настоящий театр, с полновесными спектаклями по известным сказкам, чаще всего немецким. Наверное, этот навык был у нее в прошлой жизни, столь отточены, выверены были сцены, реплики, столь продуманы декорации, выставлено освещение, изготовлены сами куклы. Такое с налета, от одного только желания что-то создать, не получается, сужу об этом теперь как театрал со стажем. К себе в студию она набирала только тех, кто хорошо учился. Как резко подскочила успеваемость в нашей школе! Кукольное дело требовало внимания, аккуратности, терпения, сноровки, ловкости и, конечно, артистизма — оказывается, рядом с нами, в каждом классе, начиная с первого и по десятый, учились такие талантливые мальчики и девочки. Театр давал спектакли не только в школе, но и в кинозале Дома культуры, их привлекали с постановками даже в дни выборов — а к этому тогда относились серьезно, миг можно было лишиться работы и партбилета. Народ валом



валил на спектакли, а родители так гордились своими детьми-артистами! Когда рассказываю об этом сегодняшним мартукским школьникам — не верят, что подобное могло быть у них в поселке пятьдесят лет назад. Было, было, только и люди, и дети были другими.

\*\*\*

Я описал только две-три судьбы ссыльных, занесенных жестоким временем в наш Мартук, да и то мимолетными штрихами. Подробнее не мог — мал был, а услышать о них от взрослых не довелось. И опасно было, и своих забот хватало, всегда, сколько себя помню, и по сей день жизнь в наших краях определялась по гамбургскому счету — выжить! Но это не вся правда. Сегодня, с высоты житейского опыта, возраста, понимаешь, что, может быть, главное — в утере памяти о достойных людях, которые вместо тебя, за тебя пытались изменить мир вокруг, судьбу твоих детей, главное заключается в простом равнодушии, душевной эрозии, переходящей в откровенный цинизм. Мишины? А что они сделали? Работали в школе? Выдавали книги в библиотеке, кружки организовывали для детей, кукольные представления давали — так они за это деньги получали. Доктор Драпей? А этот, говорят, полторы ставки получал, большие, я вам скажу, деньжищи. Щедрой души человек? Безотказный? Ночь не ночь, пурга, дождь — мог в аул поехать? Так это врачу по клятве какой-то римской положено, работа такая, сам выбирал.

Много ссыльных было в нашем Мартуке, я встречал их на базаре, базар миновать нельзя было никому — без него не выжить. Встречал я их на станции, в очередях за хлебом, в которых стояли с вечера, с переключками до самого утра, когда подвозили на подводах хлеб с пекарни. Встречал их у реки, когда собирал на зиму сушняк. Конечно, все они чем-то занимались, добывали свой хлеб насущный, как тот виртуоз гончар Трушкин. Именно тогда у нас появились районная газета и типография, организовал их тоже ссыльный — Кисловский, его сын Эдик учился классом старше меня. Безусловно, каждый из них, кто меньше, кто больше, повлиял на жизнь и культуру нашего села. Вот сегодня, в двадцать первом веке,



заплати миллион долларов, чтобы в Мартуке через час собрался духовой оркестр, дабы проводить в последний путь достойного человека — не получится. А тогда, после войны, без оркестра вообще не хоронили. А на парадах по случаю 1 Мая, 7 Ноября, — снимки сохранились, — идет такой внушительный оркестр, какой нынче вряд ли и в городе соберешь. А летом в парке, в воскресенье, часов с пяти до самых танцев играл духовой оркестр. И его репертуару, как я сегодня понимаю, позавидовал бы и профессиональный коллектив. Ведь кто-то дирижировал этим оркестром, писал ноты, репетировал, были владельцы этих дорогих инструментов. Смешно даже предположить, что музыкальные инструменты были собственностью нашего бедного районного Дома культуры. В подтверждение скажу, что с тринадцати лет, когда я начал околачиваться возле нашей танцплощадки в парке, половина пластинок, под которые танцевала молодежь, была из нашего дома. Конечно, оркестрантами были люди из ссыльных, с которыми, в силу своего возраста, я не мог никак общаться. Оттого, наверное, что были такие музыканты и инструменты, уже в пятидесятых в Мартуке откроется музыкальная школа. Как говорила моя мама — на пустом месте вырастает только чертополох.

Ссылные были разными людьми, вот еще маленький пример, а точнее — судьба, но уже рассказанная мне лет десять назад моим одноклассником, ныне директором одной из двух больших русских школ в Мартуке, Рахимом Халиковым. Отец Халикова — участник войны, инвалид, в ту пору еще совсем недавно вернулся из Берлина и работал экспедитором на почте, рядом со своей хибаркой. Возил он на станцию и доставлял с поездов почту. На задворках большого почтового двора (тогда пользовались только гужевым транспортом, в том числе верблюдами) располагались сеновалы, конюшни, сараи, всякие склады. В один прекрасный день Рахим обнаружил там свежевырытую землянку, точнее, просторную яму, куда вели аккуратно вырезанные в земле ступени. Стояло лето, и крыша отсутствовала, либо жилец знал, что здесь он долго не задержится, либо не успел устроить. Мужчина, увидев Рахима, ловко поднялся и, улыбаясь, спросил с заметным немецким акцентом: «Мальчик, у тебя есть друзья?» Рахим, поняв, что предстоит какая-то работа, ответил: «Я могу собрать вмиг трех-четырёх



ребят». На что немец сказал с улыбкой: «Я предлагаю вам выгодное сотрудничество, вы наловите штук двадцать сусликов, а я вам приготовлю из них прекрасный обед, вы даже не представляете, как вкусны и полезны они». Почувствовав, что Рахим не совсем понял предлагаемую затею, хозяин ямы спросил: «Разве вы не ловили суслов?» Получив отрицательный ответ, немец немного расстроился, но тут же весело предложил: «Я научу вас, это проще простого. Вы наливаете в норку из ведра воды, и через полминуты он, испуганный, выползает наружу, даже не сопротивляется. Вы его в мешок — и ко мне. Через час после охоты гарантирую вам роскошный обед», — и он показал рукой на стоявшие внизу примус и большую кастрюлю. Предложение голодному мальчишке из многодетной семьи показалось столь привлекательным, что он тут же побежал скликать свою дружину. Через дорогу от почты располагалась метеостанция, обнесенная обвисшим забором из колючей проволоки, а вокруг нее бегали, резвились суслики. На заповедную территорию никто не покушался, о чем гласило строгое предупреждение: особо охраняемая зона. Сусликов тут хватало не на один обед, если быть удачливым. Все получилось, действительно, просто и быстро. Через час мальчишки заявили с добычей на званный обед. Немец, не сомневавшийся в удаче ребят, уже разжег примус, на котором закипала большая кастрюля, и вырезал непонятные палочки из лозы, припасенной в углу землянки. Получив сумку с добычей, он достал сбоку из своего головного убора узкую металлическую пластинку, остро заточенную с одной стороны, и стал, на глазах у ребят, быстро и ловко свежевать тушки. Он делал только один длинный быстрый разрез по брюшку и выворачивал шкурку, словно снимал шубу. Фантастическое зрелище, как рассказывал мне Рахим. Освободив тушку от внутренностей, он обмывал ее в ведре и тут же опускал в кипящую кастрюлю. Когда немец минут за десять справился с добычей, он научил ребят, как правильно растягивать шкурки для просушки. Вот для чего он заготовил палочки разной длины. Рахим знал, что «Живсырьё» принимало шкурки и тут же рассчитывалось деньгами, но среди мусульманских мальчишек не было принято заниматься этим. Позже в «Живсырьё» долго работал Фарид Шакиров, ныне пенсионер, поющий в хоре ветеранов.



Кстати, о Шакировых. Народ, действительно, ничего не забывает. Оказывается, из мартукских татар в Отечественной войне не участвовали только двое: Мухаметзян Шакиров и Шайхи Гайнутдинов. Пожалуйста, не путайте Шайхи Гайнутдинова с отцом Радика Гайнутдинова, Гимаем-абы, достойнейшим человеком. Однажды, как рассказывал мне Раззак, старший сын Гимая-абы, Шайхи, был у них в гостях и, захмелев, стал бахвалиться, как они с дружкой Мухаметзяном Шакировым во время войны по бабам шастали. Но Шайхи не успел закончить историю, как оказался в нокауте. Такой удар имел фронтовой разведчик Гимай-абы. Несмотря на то, что Шайхи был гость, родственник, прямой начальник. Фронтовики вернулись с войны с обостренным чувством чести и достоинства.

Но вернемся к нашим сусликам.

Только две молдавские семьи в Мартуке из самых бедных занимались охотой на суслов. Но голод заставил ребят переступить запрет. Барствовал Рахим с дружками ровно две недели. Каждый день сдавали шкурки, у них завелись деньги на кино, а главное, тайный от родителей сытнейший обед от немца, с которым они сдружились. Правда, рассказывал мне Рахим, когда он в первый раз увидел этот спецнож, он подумал, что немец — шпион, и сильно испугался, но голод поборол страх. Только через много лет Рахим узнал, что это был хирургический скальпель, в другой жизни их благодетель, наверное, был врачом. В один прекрасный день, когда они вновь заявили с богатым уловом в землянку, — никого там уже не было, не осталось ни примуса, ни волшебной кастрюли. Через неделю один мальчик, которому они открыли свою тайну, признался, что видел, как двое в штатском заводили этого немца в здание НКВД именно в тот день, когда они потеряли и обед, и заработки. При встрече со мной в последний раз Рахим вдруг ни с того ни с сего спросил меня с грустью: «Ты помнишь моего немца? Что-то он часто стал мне сниться последнее время. Жаль, человек не должен пропадать бесследно, не должен». Он думал о чем-то своем, наткнувшись на прошлое.

Пожалуй, тут уместна будет еще одна история, и про ссыльные народы, и про мальчика Рубина.

В одном классе со мной учился Коля Грабовский, был у него брат Юрген, позже он при странных обстоятельствах утонет на



Чудном озере, и младшая сестренка Ольга, которая, повзрослев, выйдет замуж за Сашку Гельвиха, часовых дел мастера. Рос Коля без отца, как и многие в ту пору, безотцовщина стала как бы нормой. Но отец Коли Грабовского неожиданно объявился в 1959 году, и тогда я от матери узнал историю соседа Гюнтера Грабовского. В войну, когда немцев поголовно выселили из Поволжья и Краснодарского края к нам в Казахстан и Западную Сибирь, они объявились в Мартуке. Грабовский-старший работал грузчиком на элеваторе. Годы холодные, голодные, трое детей, такую ораву и в мирное время прокормить непросто. И вот однажды вечером зимой 1943 года мою мать и соседку Наушупа Бектимирову вызывают в землянку к Грабовским понятими. Сосед только вернулся с работы, а за ним вошли двое из НКВД с понятими и заставили хозяина дома вывернуть содержимое карманов в ладони моей матери. Мать со слезами на глазах рассказывала, что в обоих карманах ватника не набралось даже двух полных ладошек пшеницы. За эту горсть сорной пшеницы соседу-немцу дали пятнадцать лет, и отбыл он их в Сибири на лесоповале день в день. Эта история много лет не шла у меня из головы. Ну ладно война, думаю я, сгоряча дали на всю катушку, но почему же после войны не пересмотрели столь суровый приговор? Ведь у него дома остались трое детей! Поистине, низвели жизнь человека до жизни раба, от которого требовалось одно — дармовая работа. Грабовского, наверное, и после пятнадцати лет не хотели выпускать из тюрьмы, уж очень честны, безотказны немцы в работе. Много позже в один из визитов в Мартук я узнал, что большое семейство Грабовских уехало в Германию. Тогда я сделал в дневнике такую запись: «Пусть Родина, которую они так трудно и запоздало приобрели, будет к ним добра и милостива, не в пример нашей — слишком мало хорошего они видели в СССР. Пусть никто, нигде и никогда не заплатит за горсть сорной пшеницы такую цену, какую заплатил отец моего одноклассника Гюнтер Грабовский».

\*\*\*

С чеченцами часто случались какие-то шумные и скандальные истории — этих не могли запугать ни работники спецкомендатур, ни люди из НКВД. Они не позволяли унижать собственное достоинство, и ни один чин при нагане не рисковал



принимать чеченца в кабинете один на один, хотя тех на входе обыскивали самым тщательным образом. Говорят, в ту пору со стола начальства исчезли все тяжелые предметы: бюсты генералиссимуса из бронзы или мрамора, а также и бюсты железного Феликса, тяжелые письменные приборы каслинского литья из чугуна, особо модные в те годы, и даже графины с водой. Другое дело немцы — тихий, законопослушный народ, они не доставляли особых хлопот спецкомендатуре.

Но однажды произошло ЧП, перед которым померкли все лихие выходки горцев. Говорят, историей немецкого парня по имени Рубин занимались в Москве высшие чины НКВД и военной разведки. Рубин в ту пору учился не то в восьмом, не то в девятом классе и жил на другом краю села, поэтому мне не приходилось сталкиваться с ним, знал только, что тот жил с матерью, и мать его работала в школе истопницей и уборщицей...

Перебирая в памяти те далекие детские годы, я не могу не вспомнить добрым словом немок-уборщиц, что работали у нас в школе. Каждый класс просторной и добротной школы отапливался тогда углем — а учились в две смены, была и третья, вечерняя, для взрослых, — это значит, больше двадцати печей топилось с раннего утра и до поздней ночи. И бойкие уборщицы не только топили эти прожорливые печи, но еще в течение урока, к каждой перемене, успевали вымыть длинные коридоры школы. Сегодня, став взрослым, я понимаю, что трудолюбие этих женщин спасло сотни ребят от туберкулеза.

О тех давних уборщицах в родной школе я вспомнил не только из-за Рубина. Однажды в Нукусе я случайно по строительным делам оказался в школе. Войдя в современное здание с центральным отоплением, я начал задыхаться и вскоре понял, что школа не знала влажной уборки даже раз в месяц, — ребята изо дня в день дышали мельчайшей пылью, взбитой в три смены тысячами детских ног.

Может, потому в Каракалпакии почти нет здоровых людей, они уже из школы выходят с ослабленными легкими. Жаль, местные врачи и местное начальство не понимали того, что знали малограмотные немецкие женщины...

Отдав должное памяти школьным уборщицам, про которых вряд ли найдешь упоминание в каком-нибудь романе, я вернусь к Рубину...





Немцы в те годы не имели права без разрешения комендатуры покидать место жительства, не имели они и документов, что также лишало их возможности передвижения. Тем удивительнее оказался слух, что пропавший два месяца назад немецкий мальчик — школьник по имени Рубин задержан на западной границе при попытке ее перейти. Его вернули домой, к матери, что с него взяли — несовершеннолетний мальчуган.

На все вопросы учителей на педсовете он упрямо твердил, что хотел вернуться на свою Родину, хотя те его дружно уверяли, что его Родина — СССР: здесь он родился, здесь родились его родители, и даже прадеды, что только тут ему гарантированы великой сталинской конституцией право на труд, свободу, бесплатное образование, здравоохранение, жилье и прочие блага. Но, видимо, он уже тогда понимал, какие свободы ждут его в родном отечестве.

Я, как и другие одноклассники, бегал в соседний коридор, где учились старшеклассники, глянуть на парня, без документов, без денег одолевшего всю страну и задержанного настоящими пограничниками. Оказывается, обыкновенный худенький мальчик-подросток, с грустными глазами, отличник, прекрасно знавший математику и на контрольных решавший все четыре варианта задач. Были у него и приятели, с которыми он дружил и которых уже кое-куда вызывали, но никто из них даже предположить не мог, что Рубин затеет такое — отправится к дяде и родственникам во Франкфурт-на-Майне, откуда раз или два приходили письма и перепотрошенная посылка с вещами.

Окончив школу, Рубин снова бежал, но на этот раз его застрелили при переходе границы, и мать ездила на похороны, а чуть позже и вовсе переехала в те края присматривать за могилкой единственного сына, больше у нее никого не было — муж погиб в Челябинске в трудовых лагерях.

В школе провели собрание, гневно осудили поступок бывшего ученика, — видимо, откуда-то поступило такое указание. Но между собой ребята говорили другое: жаль Рубина, он же школьник, а не шпион, и какие тайны он мог вывезти из Мартука — о нищем колхозе «Третий Интернационал», что ли? И пусть бы он жил там, где хотел, мы ведь граждане самой свободной страны...



Так просто и ясно — задолго до Хельсинкского совещания, — без знания о существовании Декларации прав человека, еще пятьдесят пять лет назад мыслили мартукские мальчишки.

Сегодня ясно, что Рубин поспешил. Он был юн, не чувствовал время, а поговорить, посоветоваться ему было не с кем — наверняка даже мать не знала о его планах. А времена меняются, даже самые тяжелые в конце концов проходят, только никто не знает, сколько надо ждать, потому и торопятся, ошибаются и погибают...

Во втором классе нас приняли в пионеры, для меня это событие осталось памятным, незабываемым на всю жизнь. Нет, не подумайте, я не стал ярым активистом движения, у меня только резко изменились школьные каникулы. В памяти старшего поколения пионерские лагеря наверняка оставили памятный след, в моей уж точно. До войны в Мартуке пионерских лагерей не было, наверное, и время не пришло, и средств не имелось. В Мартуке они ведут отсчет с 1950 года, причина тому одна — слишком много было сирот, безотцовщины. Я уже упоминал, что девять из десяти женщин были вдовы, и государство сталинское, будем справедливы, пыталось как-то облегчить жизнь таких семей. Иногда вдруг в школе раздавали одежду и обувь сиротам, на Новый год они получали более объемистый пакет с подарками. Я, сын погибшего танкиста, каждое лето с 1951 по 1956 год получал бесплатную путевку в лагерь. У нас даже сложилась постоянная компания в лагере: Людвиг Саломатин, Коля Утегенов, Галя Пономаренко, Галя Клименко. До сих пор помню бессменное руководство лагеря: Константина Яблуновского, учителя физкультуры Михаила Кирилловича Тимошенко, помню и нашу повариху тетю Машу Чурсину, пионервожатой была энергичная Валя Меняйло. Достоинейшие люди, они заботились о нас, как о своих детях. Лагерь всегда открывался в красивейшем месте у Илека, неподалеку от аула Жанатан. Хотя он располагался в семи-восьми километрах от поселка, мы чувствовали себя словно на необитаемом острове. Родители никогда, повторяю — никогда не проводывали своих чад, как повелось позже, в шестидесятых-семидесятых годах. Им было некогда, спешили за короткое лето и землянку привести в порядок, и сеном для коровенки запастись — забот и без нас хватало. Отмечу еще одну существенную деталь



времени: тогда была рабочая шестидневка, а воскресенья, как правило, объявлялись воскресниками. О том, чтобы не выйти на «добровольный» воскресник, не было и речи. Была еще одна немаловажная причина — полное отсутствие транспорта. Даже велосипед в ту пору был редкостью, хотя у моего отчима был немецкий голубой «Диамант» — единственный трофей, что привез он с войны. На весь Мартук была одна полуторка колхоза «Третий Интернационал», и шофером на ней работал отец моего закадычного дружка Сигизмунда Вуккерта — дядя Вилли, которого мы звали дядя Володя. Жили мы в лагере в военных палатках, пол устилали свеженакошенным сеном, которое меняли через два-три дня, а усохшее с пола вечером шло в костер. Как чудесно пахло в палатках лесом, полем, цветами, близостью реки! Спали мы на новых кроватях с панцирной сеткой, на свежем белье — с простынями, пододеяльниками, пуховыми подушками, ныне ставшими роскошью, шерстяными одеялами с военной маркировкой, доставшимися нам от наших союзников по войне. Признаюсь, многие из нас постельное белье увидели впервые, и наши воспитательницы терпеливо объясняли, как им пользоваться, заправлять. Кормили нас четыре раза в день, что, опять же, для большинства из нас было внове. Что такое первое, второе, десерт, столовые приборы, мы узнали в лагере тоже впервые. Такая жизнь нам казалась раем — ешь от пуза, целый день на реке, сон после обеда, вечерние посиделки у костра под высоким звездным небом — никто не рвался домой.

Сегодня, на закате жизни, нет дня, чтобы не припомнилось что-то из детства, юности. Большой грузинский поэт Карло Каладзе в одном стихотворении сказал: «Помню только детство, остальное не мое». Чтобы понять, оценить эту строку, как минимум надо прожить жизнь. Вспоминаются друзья, родители, соседи, учителя, Илек, станция, озера, школьные походы, тюльпанные поля по весне, парк, мартукские девушки, школа. Вспоминаются вьюги, метели, снегопад, убранные огороды, бахчи — это понятно и дорого каждому. Но есть одно природное явление, которое я стал вспоминать все чаще и чаще, особенно путешествуя вдали от Мартука. Оказывается, Всевышний одарил Мартук еще одной удивительной красотой,



которой лишены многие страны и даже те места, что принято считать жемчужинами природы. Летом у нас в Мартуке в июле — начале августа такое высокое звездное небо, такие бархатные сажево-черные ночи, что протяни руку — не увидишь. А небо усыпано миллионами, мириадами ярчайших звезд! Какой в Мартуке звездопад! Не пересказать!словно золотые яблоки, звезды сыплются и сыплются с небес не спеша, радуя глаз и душу — можно успеть десять раз загадать желание. Возвращаясь с танцев, мы не могли оторвать глаз от неба, то и дело то там, то здесь слышался радостный девичий вскрик — смотри, смотри, еще одна звезда полетела, загадай желание, загадай желание! Я тоже был в восторге от летнего звездопада, бархатных ночей, но я не думал, что такая красота предназначена только нам, мартучанам. Поверьте, проверьте — в чужих краях нет бархатных ночей, такого густо усыпанного звездами неба, о звездопаде и говорить не приходится. Во многих странах нет даже любезных нашей душе долгих сумерек, день кончается мгновенно, словно лампочку выключили. Я был в Израиле и сразу понял, почему наши оттуда уезжают. Там нет сумерек, нет времен года — можно умереть с тоски. Там, на чужбине, в красивых странах, мне всегда снится мартукский звездопад, но желаний я уже не загадываю.

\*\*\*

Не могу в этом повествовании не сказать хотя бы несколько слов о любимом Илеке. Многие годы, даже зимой, приезжая в Мартук, после кладбища мы едем с братьями поклониться Илеку. И я, уже в который раз, охваченный волнением, говорю им: убежден, что тысячи и тысячи мартучан, по разным причинам оказавшихся вдали от малой родины, для которых Илек — река детства, вспоминают его со слезами на глазах. Оказывается, так оно и есть. Несколько лет назад я встретился в Мартуке с приехавшими из Германии земляками. Я поспешил к ним узнать о своих друзьях, соседях, одноклассниках. И один из них дрогнувшим голосом сказал: «Соскучился по Илеку, слов нет, чтобы высказать, замучили сны о реке. Наши все вспоминают Илек». И я тут же вспомнил мальчика с рыбьей фамилией — Генку Фиша, самого заядлого рыбака в нашем детстве, и просил передать ему привет. То, что я хочу рассказать



о реке, сегодня может показаться фантастикой, как и многое в моих воспоминаниях, но поверьте, Илек был таким...

В 1952 году я учился в четвертом классе и летом оказался в пионерлагере, как всегда у поселка Жанатан, на берегу Илека, там с 1956 года ежегодно стали проводить праздник «День песен». Однажды в воскресенье к физруку Михаилу Кирилловичу Тимошенко приехал на полutorке его друг Петривний с двумя мужиками, они с собой захватили бредень. Михаил Кириллович попросил меня и Людвиг Саломатина собрать еще с десяток мальчишек и поучаствовать в рыбалке с бреднем. Мы, разумеется, с радостью согласились. Пока я с Людвигом собирал команду, мужики растянули бредень и определили место, откуда начнут тянуть. Бредень по краям, как знамя, натянут на крепкое длинное древко, его и тянут по двое мужиков на каждом берегу в воде. А мы, ребятня, с шумом, криками, хлопаньем палками по воде гоним впереди рыбу по обоим берегам, барахтаясь в реке. Нехитрое занятие, в общем, хотя по тому времени, оказывается, — незаконное, браконьерское. В первый раз тянули не более пятидесяти-шестидесяти метров, мужикам показалось, что в мотню бредня попали тяжелые коряги, и они вытянули его на первой же отмели. Как только появились из воды края бредня, усыпанные запутавшейся рыбой, раздался восторженный крик мальчишек — появившаяся мотня была полностью забита шевелящейся рыбой. За первый заход выловили более сорока щук, да каких! Такие отродясь не попадали на наши удочки, по три-четыре килограмма каждая, а некоторые, как хищные торпеды, тянули и на семь, и на восемь килограммов. Рыбы оказалось так много, что после щук перестали ее считать и сортировать. Попались огромные голавли, невиданные, с огромную чугунную сковороду, толстенные лещи, о существовании их в Илеке мы и не предполагали. Много оказалось ленивых, черных, как коряга, сомов, они не дергались, как остальные рыбы, а только шевелили длинными усами. Один сом, как сказал Михаил Кириллович, тянул на целый пуд. Выделялись красавцы сазаны с отливавшей золотом чешуей и ярко-красными плавниками, заканчивавшиеся настоящей острой пилочкой. Теперь нам стало понятно, почему сазаны всегда обрывали наши лески, они ее отрезали одним движением. Больше всего вытянули крупных жирных подустов и плотвы. Немало затянуло в бредень красноперок,



красноглазок, даже осторожные налимы и раки оказались в ловушке. Всех налимов, крупных сомов и половину красивых сазанов Михаил Кириллович тут же отделил на песке — это детишкам, побалуем их свежей рыбой впервые за лето. Рыбу размером с ладошку тут же возвратили в реку. У меня до сих пор стоит перед глазами щедрый улов, разбросанный на золотом берегу Илека, больше никогда не восполнимое богатство реки нашего детства.

Пионерские лагеря были делом новым, еще не было четких инструкций, правил, все делалось по логике, здравому смыслу. Задача состояла в одном, чтобы мы, заморыши, отдохнули, прибавили в весе, подправили свое здоровье. Не было у нас никакой муштры, никаких ограничений на реке и в лесу, идеологических собраний, не требовалось, кроме линейки, носить даже галстуки. Ведь галстук тут же обязывал к какой-нибудь форме. А многие дети, особенно из сел и аулов, приезжали в одних трусах и майке, даже без смены, но таких не корили, не делали замечания родителям, старались как-нибудь здесь обуть, одеть бедолагу, и это, к радости детей, всегда удавалось.

В десять лет мне неожиданно повезло, передо мной открылся сытный и интересный мир пионерского лагеря, где я нашел много друзей. Там я научился бойко говорить по-казахски, потому что ребят из аулов было большинство, и я стал толмачом между воспитателями и детьми из аула. Положение толмача имело свои плюсы и минусы, но, в любом случае, мимо меня не проходило ни одно важное событие. Познакомившись с ребятами из аула, я не прерывал с ними связь и в Мартуке, у нас была казахская школа-десятилетка, и при ней интернат, где жили мои новые друзья по лагерю. В этом интернате учился и Аман Дарбаев, позже ставший известнейшим хирургом не только в Мартуке, но и в республике.

Я, человек двадцатого века, облетевший и объездивший почти весь мир, вдруг в конце столетия стал по-иному смотреть и на время, и на расстояния. Причина? Самая неожиданная, невероятная — одно стихотворение поэта Жангалиева, моего земляка, мартучанина.

В Мартуке, через дорогу от нас, жила многодетная семья учителя Сеиткали Жангалиева. Он преподавал в казахской



школе литературу и подрабатывал воспитателем в том самом интернате, где жили мои друзья по пионерскому лагерю. Две его старшие красавицы-дочери, Клара и Света, учились со мной в параллельном классе, обе уехали учиться в Алма-Ату и там вышли замуж за очень достойных людей, сегодня их дети принадлежат к элите нового Казахстана. Было у него трое сыновей и еще одна младшая дочь, которые, отучившись, вернулись в родные края. Младшего из них зовут Малик, он инженер-гидролог, живет в Актюбинске, и мы часто с ним видимся, вспоминаем наше детство, его сестер. К моему 60-летию Малик подарил мне книгу стихов своего отца. Я был весьма тронут, я не знал, что мой сосед был поэтом, и неплохим. По крайней мере, ни один поэт в мире не повлиял на меня так, как отец Малика Жангалиева, в оценке скоростей, времени и расстояний — важнейших компонентов жизни человека в двадцать первом веке.

Поэт Жангалиев в юности жил в поселке Веренка в сорока пяти километрах от Мартука, это одно из первых русских поселений столыпинских переселенцев в нашем районе. Кстати, в Веренке перед самой войной жил и работал учителем в школе известный русский писатель Юрий Бондарев, автор многих романов о войне. В одном из своих стихотворений, датированном 37-м годом, в том самом, которое потрясло мое воображение, Жангалиев описал свою поездку на быках в мой родной Мартук за четыре года до моего рождения. Поэт описывает, как он три (!) дня добирался на волах в Мартук, дважды ночевал в понравившихся местах. Вся поездка описана в мельчайших деталях, там есть и удивительные пейзажи, есть его раздумья в долгом пути, его мечты, планы. Описаны встречавшиеся на пути люди, там есть даже мысли о времени и власти, но больше всего — о родном крае, родной земле. И поверьте, нет ни строки о тяготах пути, одиночестве, о долгой некомфортной дороге. Почему, откуда, удивлялся я, столь ясное состояние души, разума, такое спокойное созерцание природы, жизни, самого человека? Почему? Вопрос этот долго не давал мне покоя, пока я не понял — другой жизни, других скоростей и дорог он не знал, не имел, хотя ведал, что есть машины, аэропланы, велосипеды, но у них этого не было, не дошло, и он не рвал душу от того, что где-то живут иначе. Он жил своей



жизнью, своими скоростями и от этого испытывал душевный покой и равновесие. Этот факт потряс меня настолько, что я попросил брата, не объявляя причин, съездить в Веренку. Дорога заняла у нас меньше часа. И когда я рассказал брату, что наш сосед Жангалиев когда-то одолел эту дорогу за три дня, он тоже был потрясен.

Я не помню, за какое время облетел Гагарин Землю, хотя радовался его успеху со всеми, не знаю, за какое время облетают Землю сейчас новые ракеты, самолеты, космонавты — рекорды совершаются теперь чуть ли не каждый день. Не знаю и, честно говоря, не волнует меня это. А вот как поэт Сеиткали Жангалиев три дня одолевал сорок пять километров на волах, и при том чувствовал себя комфортно, даже счастливым — волнует и радует меня. Почему? Какая разница — почему, главное — радует, волнует, трогает от души.

С тех пор меня не поражают никакие скорости, никакие расстояния, все в мире относительно. И не знаешь, что лучше для человека — дальше или ближе, быстрее или медленнее. Но расстояния и просторы, безусловно, влияют на характер человека, особенно в начале его жизненного пути.

Я бы не хотел, чтобы о моем детстве вы судили только по пионерскому лагерю. Палаточный городок на берегу Илека остался в моей памяти как нечто волшебное, как бесконечный и яркий праздник, и воспринимался он нами, детьми, и нашими родителями как неожиданный дар Всевышнего. Но, как и всякий праздник, он был скоротечен, всего двадцать четыре дня в году. Как много это и как мало, каждый день мы не только отъедались и поправляли свое здоровье, но открывали новые стороны жизни, быта. Мы — забитые, голодные аульские мальчики и девочки, только здесь, в пионерском лагере, расправили свои хилые плечи, подняли глаза от земли, у нас появилась не только улыбка, но и настоящий искренний смех, мы осознали себя желанными детьми своего Отечества, которое так любит нас и заботится о нас. Наверное, тогда мы и почувствовали себя гражданами великого СССР.

А остальное время летних каникул проходило почти как у всех, но районный центр, каким являлся Мартук, и то, что он стоял на железной дороге, конечно, представлял нам





несоизмеримо больше возможностей трудоустроиться, заработать. В поселке был колхоз «Третий Интернационал», и многие летом работали там, зарабатывали сено для домашней буренки. Но я с дружками предпочитал работать на огромной территории райпотребсоюза, где завхозом служил отец Толика Чипигина. Тут всегда находилась работа нам по силам: грузить машины с пустой вино-водочной посудой и даже загружать ею огромные вагоны. Запомнился термин — возвратная тара, как выражался валяжный кладовщик. Однажды разгрузили вагон с канцтоварами и кроме денег получили по коробке цветных карандашей, как премию. За несвоевременно разгруженные вагоны накладывали большой штраф, и мы, оказывается, выручили райпотребсоюз. Потом взрослые грузчики долго называли нас штрейкбрехерами, выяснилось, что они не соглашались на такую мизерную зарплату за разгрузку, а мы согласились с радостью, это был наш первый вагон.

Работы пришлось переделать всякой, с соседом Леней Бахмутом мы засыпали шлаком крышу чайной, она служит людям до сих пор. С ним же дранковали крышу ресторана на Украинской, а с Володей Самойловым гасили известь в огромных ямах. Тяжелая, страшная работа, зазевайся, оступись от усталости, а нам было по десять лет — сам мгновенно станешь в яме известью. С уже упоминавшимся здесь Рахимом Халиковым и сыном начальника почты Славой Дмитриенко, ставшим командиром воздушного корабля гражданской авиации, мы имели постоянный подряд — по весне делали на почте кизяк. Как я говорил, почта обслуживалась гужевым транспортом. Бездельников в нашем детстве и припомнить трудно, с нами работали и дети судьи Акимова, и секретарей райкома партии Хвостова, Шинтасова, Могилева. Ребятам постарше, лет пятнадцати-шестнадцати, вообще было раздолье, они могли заработать не только на желанный велосипед, но и на одежду, обувь, помочь семье, а выпускники копили деньги на поступление в институт. С началом освоения целины на станции каждый день, круглосуточно, разгружались десятки вагонов: с лесом, углем, цементом, металлом, оборудованием, техникой, машинами, финскими домиками. Экспедиторы из совхозов рассчитывались щедро, без бумажной волокиты, тут же у разгруженных вагонов — штрафы за простои вагонов



заставляли их не скупиться. Тогда в магазинах было много китайских товаров, и наши старшекласники хорошо приоделись.

\*\*\*

В Мартуке был парк, который обслуживала жившая там же, на территории, семья Пожарских. И содержался парк в таком прекрасном состоянии, что сегодня и вообразить трудно. Дорожки, посыпанные влажноватым красным песком, как в городе, в центре роскошная клумба опять же с цветочными часами, деревья подбелены, обрезаны, ограды выкрашены, газоны зеленеют травкой. Каждый день летом в парке танцы под радиолу, а в воскресенье до танцев играет духовой оркестр, толпы принаряженных людей, тогда было принято, как говорили, выходить в люди. Мы, ребятня, рано начали отираться в парке возле танцплощадки, уж очень влекла нас взрослая жизнь, мы так торопились в нее вступить, и, конечно, перебарщивали в своем желании — рано начали выпивать, курить, но все это тайком, по капельке, без вызова кому-либо. Мы понимали свое место, авторитет взрослых в ту пору был высок, да и поселок мал, все знали друг друга, все было на виду.

Я описал станцию, базар, школу, пионерский лагерь, но было в Мартуке и еще одно место, к которому меня притягивало как магнитом, и я не могу не поведать о нем. Кино — волшебный, сказочный, притягательный мир, другая жизнь, которая каждый день врывается с белого полотна экрана в нашу серую, обыденную действительность, в которой, как нам казалось, ничего достойного, интересного не происходило, кроме работы, работы и еще раз работы.

Как я уже говорил, мои родители — люди городские, из Оренбурга — города, в пору их юности переживавшего свой расцвет. Конечно, они знали, что такое кино, театр, эстрада, оперетта, обязательно надо выделить цирк, до войны в цирке давались музыкальные представления, концерты, выступали всемирно известные борцы, включая и прославленного Ивана Поддубного. Ровно шестьдесят лет назад, когда я шел на первый свой сеанс, отчим мне сказал: тебе повезло, играет там сам Дуглас Фербенкс. Эту труднопроизносимую фамилию я запомнил на всю жизнь, думаю, это она открыла во мне какие-то каналы, ходы в сознании и произношении, что я стал



хорошо запоминать имена и фамилии иностранных актеров, режиссеров, композиторов и сами названия фильмов. Если бы я не стал строительным инженером, а стал бы киноведом или кинокритиком, наверное, мне цены не было бы. Я всегда обладал хорошей памятью, а по совету отчима начал вести учет фильмов, что успел посмотреть. Записывал я не только названия фильмов, но и выходные данные: кто режиссер, исполнители, год выпуска фильма и краткие детские впечатления. Жаль, эта большая коленкоровая тетрадь, когда я учился в техникуме, пропала, было в ней отмечено около ста восьмидесяти фильмов.

Кино... Пожалуй, кино по массовости своей, доступности сыграло главную роль в воспитании многих поколений, и не только моего. Моим ровесникам повезло с кинематографом: он родился в нашем веке, стал зрелым к нашим юным годам и на наших же глазах вместе с нами умирает. Лет с семи я начал ходить в кино. Кстати, билетером в кинотеатре была мать моего друга Толика Чипигина тетя Маша. В Мартуке фильмы менялись через каждые два дня, это было неукоснительно, как приход московских поездов на нашу провинциальную станцию, где паровозы заправляли водой и чистили топки.

Отчим мой, человек городской, из Оренбурга, кино любил страстно. У меня была обязанность бегать к почте, где вывешивали афишу, и сообщать, какое сегодня дают кино. Однажды вышел конфуз. Я сказал родителям без всякого подвоха, что идет фильм «Два яйца». Они и пошли на эти «Два яйца», ибо старались не пропускать новых фильмов. Надеюсь, вы догадались, что это были «Два бойца» с Марком Бернесом, Борисом Андреевым, Петром Алейниковым. В послевоенном Мартуке каждая копейка давалась с трудом, но отчим на кино мне выделял, говорил, что кино открывает глаза на мир, воспитывает. Помню, как мне завидовали сверстники, считали счастливым, и мне приходилось пересказывать в классе, во дворе содержание фильмов. Так что к устному творчеству я приобщился рано.

Отчим оказался прав: кино во многом сформировало мое мировоззрение, вкусы. Явно оттуда, из детства, моя тяга к музыке, джазу, интерьерам, живописи, театру, спорту. Послевоенное кино сплошь состояло из трофейных фильмов, из фильмов наших союзников по войне. Мы пересмотрели десятки голливудских



кинолент, тех самых, что сегодня принято считать шедеврами мирового искусства. Еще до войны немцы экранизировали почти все известные оперетты Штрауса, Оффенбаха, Легара, засняли мюзиклы с участием мировых звезд тех лет, теноров Карузо, Марио Ланца. Экранизировали многие шедевры мировой литературы. Мы видели фильмы с участием Фреда Астора, Рудольфа Валентино, Марики Рёкк, Сони Хенни, Греты Гарбо, Кларка Гейбла, Грегори Пека, Чарли Чаплина, Рода Стайгера, Питера О'Тула, Хамфри Богарта, Лорен Бэколл, Глории Свенсон, Лоуренса Оливье, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих, Берта Ланкастера, Бастера Китона, Ричарда Бартонна, Одри Хепберн, Марлона Брандо, Вивьен Ли, Дины Дурбин, Элизабет Тейлор, Бетт Дэвис, Керри Гранта. А к шестидесятым — годам нашей юности подоспел и итальянский неореализм. Какие имена! Федерико Феллини, Витторио Де Сика, Франко Дзеффирелли, Бертолуччи, Домиани, Де Сантис, Этторе Скола...

А фильмы «Рокко и его братья» с молодым Аленом Делоном и Франко Неро, «Ночи Кабирии» с Джульеттой Мазини и Марчелло Мاستрояни, «Бум» с Альберто Сорди, «Горький рис» с Витторио Гассманом и Марио Адорфом, с Джаном Мария Волонте!

Этот список, звучащий как музыка, я мог бы продолжать и продолжать. А новое немецкое кино с Максимилианом Шеллом, Клаусом Брандауэром, Отто Фишером, Марией Шелл! Французское кино — это Жан Люк Годар, Франсуа Трюффо, Жерар Филипп, Анук Эме, Бурвиль, Жан Габен, Жан Маре, Жан-Луи Трентиньян, Даниель Дарье...

А какие режиссеры снимали в то время! Альфред Хичкок, Фрэнк Капра, Элия Казан, Билли Уайлдер, Роже Карне!

Какие композиторы писали для кино! Нино Ротто, Энцо Мариконе, Фредерик Лоу.

Хотите верьте, хотите нет, существовало целое десятилетие гремевшего на весь мир египетского кино, откуда вышел будущий король Голливуда Омар Шериф. А японские фильмы Акира Куросавы, шведское кино Ингмара Бергмана... Испанское кино великого Луиса Бенюэля, польское кино Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси. Да и наше кино в ту пору шагало в ногу с мировым. Как же такой могучий заряд не мог сформировать наши взгляды, вкусы, мироощущение?



Тем более, что все, о чем говорилось — это здоровое, гуманистическое кино, воспитывавшее в человеке только высокое.

\*\*\*

Вспоминая о Мартуке, нельзя не упомянуть о его женщинах, девушках — ведь все в мире держится на любви, без любви все рассыпается. Поэтому я и напомню о девушках, женщинах, мартукских красавицах 50-х, 60-х, 70-х годов, тех, кого я хорошо знал, тех, кто врезался мне в память на всю жизнь. Хотя лично ко мне, как вы поймете, они не имели никакого отношения.

Лет пятнадцать назад эталоном женской красоты называли фотомодель немку Клаудию Шиффер. О ней я тут же сказал: «У нас в Мартуке таких блондинок, похожих на Шиффер, бегало трое или четверо». Старожилы Мартука помнят, что в 50-х в парикмахерской работали сестры Тиссен, как две капли похожие на Шиффер. Они уехали в ФРГ давно, в начале 60-х, у них в Германии отыскался влиятельный родственник, не то политик, не то банкир. На одной из этих сестер перед самым отъездом женился Вольдемар Вуккерт, старший брат моего друга Сани Вуккерта, которого в Мартуке знали по кличке Шпак. Помню, мы подначивали Вольдемара — женись, жаль, если такая красавица достанется какому-то буржую. Остальных «Шиффер» по фамилии не помню, но они возникают у меня перед глазами всякий раз, когда вижу знаменитую модель. Все эти девочки учились с нами в школе, жили неподалеку.

Когда я, заядлый киноман, смотрю старые фильмы с участием Греты Гарбо, Глории Свенсон, Ингрид Бергман, Лорен Бэколл, я сразу вспоминаю Ирочку Варкентин, что жила на Ленинской, неподалеку от почты. Удивительно благородной красотой, стройной фигурой, культурой поведения, врожденной элегантностью отличалась эта девочка из простой немецкой семьи. Отец у нее работал механиком в колхозе, она училась двумя классами старше меня. Я не был в нее влюблен, как и во многих других, о ком пойдет речь ниже, просто мне нравились красивые девушки, женщины. Мне доставляло удовольствие следить за жизнью людей, которые мне нравились, словно я чувствовал, что когда-нибудь чужие судьбы станут материалом для моих книг. Я не делал это специально, просто у меня такая



память — запоминать сердцем, а если точнее, мое неравнодушие к людям. Ирина чуть ли не с седьмого класса стала встречаться с мальчиком с нашей улицы Сашей Петривним, своим одноклассником. Они поступили вместе в институт, кажется, в Саратове, окончили его, поженились. Казалось, в их жизни все было ясно и четко до гробовой доски. Но... лет через пятнадцать я случайно узнал, что они развелись. Грустно, печально до слез. Родители Ирины уехали в Германию, Петривние тоже покинули Мартуку, и след прекрасной Ирочки Варкентин затерялся для меня навсегда.

В моей писательской судьбе все, кажется, сложилось удачно: много книг, огромные тиражи, книги переводятся на другие языки, постоянно переиздаются, но я жалею всегда об одном, что тысячи и тысячи мартучан, которых разбросало по свету, не знают, что у Мартука появился свой летописец, что есть романы, десятки повестей и рассказов об их малой родине, об их юности и детстве. Вот для них мои книги оказались бы эликсиром молодости, подарком судьбы. Как написал мне об этом недавно один читатель: «Хочется крикнуть землякам-мартучанам — ищите книги Мир-Хайдарова и отсылайте их своим давно разлетевшимся по свету детям. Лучшего подарка не придумать!»

Рассказывая о любовных историях мартучан, мне хочется напомнить о состоявшихся и не состоявшихся парах, о том, кто в кого был влюблен в мое время. Меня те давние истории, случившиеся более пятидесяти лет назад, волнуют до сих пор, потому что это моя жизнь и жизнь дорогих моему сердцу людей.

Одними из старожиллов Мартука считаю семью Герасименко, глава семьи возглавлял дорожное управление, и уверяю вас, дороги в ту пору были куда лучше, чем сейчас. Запомнились его сыновья: Володя, Василий, Сергей. Володя был заметной фигурой — весельчак, балагур, прекрасно играл в футбол. Наверное, поэтому мне запомнился его непростой роман с Верой Квинт. Роман был сложный, у Володи имелся соперник, да еще какой — Андрей Вуккерт, парень необузданного нрава. Вроде и родители Веры не очень одобряли ее встречи с Володей, но любовь все одолела, они поженились, несмотря на все препятствия, и живут вместе до сих пор. Я видел их в



трудные 90-е годы, любовь светилась в их глазах, как в молодости. Я хорошо знал их обоих и рад, что они сумели сохранить свою любовь. Будьте счастливы, дорогие мои Верочка и Володя! Жаль только одного — ни Герасименко, ни Квинтов в Мартуке не осталось.

Вася Герасименко, мой ровесник, был влюблен в Аллочку Шалаеву, отличницу, красавицу. Лет пятьдесят назад я подарил ей открытку киноактрисы Аллы Ларионовой, сказав при этом, что она очень похожа на кинозвезду. Думаю, такое не забывается, и открытка эта находится дома в альбоме. С Василием Алла встречалась несколько лет, но до свадьбы дело не дошло. Мне кажется, в этом отчасти виновата мама Аллы, она хотела для дочери необыкновенного принца. Любой мартукский парень зятем ее не устроил бы.

В ту пору семьи отличались многодетностью, и у всех у нас имелись старшие братья и сестры. У моей сестры Сании была школьная подруга, жившая на нашей улице — Лида Бойко. Очень красивая, высокая, статная, с дивными волосами и нежным аристократическим лицом. Вот в нее лет в шесть я, кажется, был недолго влюблен. Кстати, Лида даже в зрелых годах не утратила красоты, а стала даже еще привлекательней. У нее было много поклонников, но вышла она замуж за приезжего инженера Олешко и, кажется, была счастлива с ним. Она до сих пор живет на Ленинской улице, и каждый раз, когда прохожу мимо ее дома, у меня возникает желание увидеть ее. Мне так хочется заглянуть в ее семейный альбом, мне кажется, что там много фотографий из той давней жизни, когда мы были молоды.

На том месте, где сейчас стоит дом моего брата Равиля, некогда высился особняк наших соседей Панченко. Жили там одни женщины, мать и три дочери, отец их погиб на фронте. Младшая из сестер, Валентина, старше меня на два-три года, тоже выросла писаной красавицей. Из-за Валентины у нашего дома столько видных парней перебивало — не счесть. Приезжали на велосипедах ее одноклассники: Толя Пономаренко, Толик Крапивко, тот, что позже станет директором РТС, Алик Ефремов. Эта компания часто приходила с гитарой, а Толик Пономаренко прихватывал иногда аккордеон. И мы, соседи, радовались бесплатному концерту, играл Толик



замечательно и пел от души. Добивались ее благосклонности и крутые парни: Юра Курдулян, живший на другом краю села, и Альберт Штайгер, которого чаще называли Алик, но у него была и кличка — Штель, легендарная личность в Мартуке. Красавец, отчаянной храбрости парень, талантливый футболист. Только он, Алик Штайгер, со своим братом Андреасом и Андреем Вуккертом, был ровней дерзким чеченцам. Мы, мальцы, очень гордились, что самые крутые чеченцы, Алапат, Султан, Ибрагим и наши, Алик Штайгер со своими друзьями, жили в нашем мусульманском квартале. Я не раз и не два носил Валентине записки от ребят и гордился тем, что оказался доверенным лицом у крутых парней. Но никому из мартучан сердце моей красавицы-соседки не досталось — она вышла за военного и живет ныне в Белоруссии.

Вспоминается связанный с Вале́й Панченко еще один случай. Редко какая девушка и в позапрошлом-то веке могла похвалиться, что из-за нее дрались на дуэли, но, Валя, наверное, запомнила с десятков серьезных драк, а дрались из-за нее парни один круче другого, слабакам оставалось любить мою соседку издали. Если дуэли и встречались в судьбах красавиц, то настоящие побоища, наверное, происходили у одной на миллион, а у Вали и такой прецедент имеется. Она уже училась в девятом классе, когда на нашу станцию в конце ноября прибыли на практику ребята из железнодорожного училища, одновременно целый курс женихов. Не знаю, где мог увидеть мою соседку вожак прибывших парней, но он влюбился в нее сразу. И я его понимаю — Валу надо было видеть. А за Вале́й в ту зиму приударял наш Алик Штайгер, знаменитый сорвиголова Штель, чьи записки я носил Вале с удовольствием. Убежден, курсанта предупреждали, грозили, может, и стычка какая уже была, но парень оказался под стать самому Штайгеру. Наверное, курсант не отступился из-за того, что чувствовал расположение Вали. Я видел пару раз, как среди дня он провожал ее из школы, помню, я прошипел ей вслед громко — у, предательница! И в такой форме выражался местный патриотизм.

В один из субботних вечеров произошло настоящее побоище, Куликовской битвой потом называли ее пацаны. Произошла битва там, где сейчас находится стадион, а по воскресеньям там всегда много лет был базар. Практиканты были чуть взрослее,





битые, сплоченные, но наших оказалось больше, хотя многие из них в самом начале позорно бежали. И Штайгеру с дружками пришлось биться с городскими в меньшинстве, и биться всерьез. Говорили, что Штель мог тогда вызвать на подмогу чеченцев, но ему гордыня не позволила, да и повод был частный, из-за девушки, чеченцы могли и не понять.

Досталось крепко и тем и другим. О побоище мы узнали утром в школе и в первую же перемену побежали в больницу. Все кабинеты, коридоры, холлы больницы оказались заполнены ранеными. Их тут дружно зашивали, бинтовали, штопали, накладывали шины, делали уколы. Бойцовский пыл пропал с обеих сторон, травмы, переломы выглядели серьезными, к тому же здесь, в клинике, уже крутились два следователя из города. В одном углу я увидел соседа Толю Крицкого с перебинтованной головой и огромным фингалом под глазом, он кому-то громко говорил: «И на черта мне сдалась эта красавица Панчуха!»

Кончилось все скорым судом. Я помню тот суд, помню переполненный зал, помню судью Акимова, высокого, вальяжного, седовласого, внешне он походил на английского судью из фильмов. Больше всех запомнился мне вожак курсантов, на фоне своих и чужих он держался достойнее всех. Вины своей он не отрицал, ни на кого не валил, снисхождения у суда не просил. С его лица не сходила голливудская улыбка, и он часто поправлял свой безукоризненный пробор, казалось, прическа волновала его больше всего. Я видел его ищущий взгляд, пронзавший зал насквозь — он искал глазами Валентину. Он не знал, что ее в эти дни не выпускали из дома, даже в школу запретили ходить. Я впервые видел вожака курсантов без громоздкого бушлата и шапки, он был высок, плечист, и на его лице не читалось ни страха, ни тревоги, такими в наши дни были герои кино. И только тут, на суде, я признал, что он — достойная пара моей прекрасной соседке. Уж прости меня, дорогой Штель. Парню дали десять лет. Уверен, что Валю он больше никогда не видел, и она вряд ли ему писала.

Теперь-то я понимаю, отчего появилось выражение — трагическая любовь. Трагичнее не придумаешь.

Я никогда после школы Валентину не видел, но часто вспоминаю ее, в романе «Ранняя печаль» есть посвященные



ей страницы. Уверен — она и не догадывается, что ее помнит соседский мальчишка, что есть книги, где о ней вспоминают с теплом и грустью.

Интересными личностями были и ее старшие сестры, Нина и Катя, первые модницы Мартука послевоенного времени. Они старше меня на десять-двенадцать лет, и детали их жизни, их поклонники мне четко не запомнились. Хотя я хорошо помню, как отравилась Нина в 1950 году, помню ее похороны, помню батюшку, отпевавшего ее на дому. Отравилась она из-за какой-то любовной истории, в ту пору все отношения воспринимались на большом серьезе. Лет в восемнадцать, когда я стану заглядывать в журналы мод, сразу вспомню, что так одевались старшие сестры Вали. Шляпки с вуалетками я видел не только в кино, но и на своих соседках. Носили они узкие юбки и туфли на шпильках. Когда они вечером проходили мимо нашей калитки в кино или на танцы, за ними оставался тонкий шлейф волнующих меня духов. Мы, ребята, всегда с восторгом смотрели им вслед. Это от тети Кати я впервые услышал слово «ридикюль». Она всю жизнь проработала бухгалтером в местной артели, недавно отметила восьмидесятилетие, жива и здорова, живет у внука в Актюбинске. В повести «Знакомство по брачному объявлению» есть забавные сцены, связанные с ней, там не придумана ни одна строка.

Сестру моего друга детства, Володи Колосова, звали Ниной, за ней ухаживал Славик Едаменко, парень очень видный. Вместе со своим закадычным другом Славой Маринюком, по которому страдали десятки девушек Мартука, они поступили в Гурьевскую мореходку, где всегда училось много мартучан. Кстати, Слава Маринюк в 1951 году на Илеке спас моего утопающего друга Саню Бектимирова. Из сухопутного Мартука вышло сотни моряков. Как мы радовались, когда они возвращались на побывку домой! Казалось, лучше формы, чем морская, не бывает. А как глядели на них девушки на танцах — сегодня даже Абрамович с личными яхтами и самолетами не может завоевать таких искренних, восторженных взглядов. Володя Колосов умер рано от диабета, он ушел через пять лет после Толи Чипигина, они первыми открыли скорбный список моих ушедших друзей. Беда случилась и с его младшим братом, над их семьей витал какой-то злой рок. Поэтому я рано потерял



из виду и его сестру Нину, которую любил Слава Едаменко. Интересовала меня судьба и самого Славика, но кто-то мне сказал, что его убили в смутные девяностые годы. Жаль, если так случилось.

\*\*\*

Наверное, следует сказать о первой любви моих друзей детства. Толик Чипигин любил Веру Пайзюк, Володя Колосов — Валю Плис, Саня Вуккерт — Валю Губареву, Вася Тутов — Галю Пономаренко, Саня Бектимиров — Розу Сулейменову, Лермонт Берденов, чей отец — Убын-агай, танкист-орденоносец, участвовавший в знаменитом танковом сражении в Прохоровке и вернувшийся живым, любил Иру Заваритько. Мелис Валиев — Лизу Емельянову, Толик Твердохлеб — Лизу Лащенко, Славик Парамонов — Свету Клейменову. Пожалуй, о последней паре следует рассказать подробнее. Славик — из семьи старожилов поселка, он — младший брат легендарного футболиста красавца Валеры Парамонова. В лето 61-го года Валерий Парамонов, Рашат Гайфулин, Витя Будко, Борис Палий и я встречались каждый день. Роман Славика со Светой Клейменовой начался в школе. Оба они уехали в Москву, поступили, она — во ВГИК учиться на актрису, а он — на инженерный факультет. Были они красивой, голливудской парой, в их счастье верили многие. Но Москва развела их жизненные пути. Жаль. Позже Светлана с мужем приезжала в Мартук, но ее избранник не приглянулся моим землякам, и мне тоже. Все говорили дружно — нашла на кого Славика променять. Актерская судьба у Светы не сложилась. Снялась она лишь в одном фильме, в эпизодической роли. Этот фильм в Мартуке показывали три дня подряд, чего не случалось ни с одной картиной, и все три дня зал был полон. Я тоже этот фильм смотрел дважды — все-таки своя, мартукская, первая киноактриса в истории села! К сожалению, она до сих пор остается нашей единственной актрисой. Для Славика разрыв со Светой оказался большой трагедией, он забросил институт, но в Мартук от гордыни не вернулся. Мать Славика, Мария Ивановна, работала в книжном магазине и всегда сберегала к моему приезду редкие книги, они целы по сей день. Жаль, Парамоновых тоже не осталось в Мартуке. Была в знаменитой семье и Люда Парамонова, она



училась в одном классе с моим младшим братом Рафаэлем. Она окончила институт в Алма-Ата, там же вышла замуж за прекрасного парня Алика Козинского. В семидесятые они вернулись в Мартук, и Алик на танцах пел запавшую мне в сердце бесхитростную песенку «Платье в синенький горошек». Исполнял Алик всегда только одну эту песенку, видимо, в его жизни она что-то значила. Странно, но обаятельный Алик Козинский, с которым я был мало знаком, снится мне много лет подряд, и во сне он исполняет ту свою единственную песню. Только недавно я понял, что Алик своей грустной мелодией символизирует для меня давнюю благополучную, счастливую жизнь, он, как маяк из прошлого, шлет сигналы из золотого времени моего Мартука.

Валерий Парамонов служил в армии со своими земляками, Толиком Чудесовым и Колей Звонаревым, и фотография этой славной тройцы есть в моем альбоме, который я готовил для музея. Жаль, у меня нет фотографии Славика со Светой Клейменовой, его сестры Люды с Аликом Козинским, Парамоновы — знаковая семья для поселка, такие фамилии составляют его историю.

Раз уж коснулся старожиллов, хочется отметить фамилии Ермоланских, Козыревских, Глуховых, Бектимировых, Жангалиевых, Тимировых, Ахметовых, Дарбаевых, Низамутдиновых, Баязитовых, Акимовых, Антиповых, Турбаевых. Турбаевых тоже не осталось в Мартуке, только прекрасный некрополь на Танабергене, построенный в память о родителях сыном Нурланом Зарлыковичем, моим другом, напоминает об этой семье.

Ловлю себя всегда на том, что мартукские фамилии, любые — казахские, украинские, русские, татарские, еврейские, молдавские, чеченские — звучат для меня как музыка. Когда я слышу или читаю знакомые с детства имена, я невольно мысленно говорю себе: о, такая фамилия была у нас в Мартуке, может, кто-то из родственников? Но земляки встречаются и объявляются редко, мир велик, а наш Мартук — крошечный и ужимается, словно шагреновая кожа, год от года. Вот вспомнил, что за нашей соседкой Лидой Губаревой ухаживал некий Женя Ковун, злой парень, но какая дивная фамилия! Разве забудешь! Встречались в Мартуке и фамилии редкие



— Дуля, например. Рябоконь — очень мне нравилась, он был директором маслозавода, запомнилась и Булох, большая бедная семья скромного чиновника из собеса. К этой фамилии так и просится — фон Булох. Были у Мартука и свои Пушкин, Скрипка, Небаба, Скворода и даже Паульс с Герингом. Если говорить об исторических личностях, то надо сказать, что Джохар Дудаев, первый президент Ичкерии, окончил в нашем Яйсане училище механизации. Теперь я понимаю, фамилии Хорунжий, Хижняк, Закаморный, Цихмистро, Калюжный, как и Палий, — исконно казачьи. Даже одни фамилии — это история Мартука. Упомянув про первую любовь своих школьных друзей, упустил своего друга, одноклассника, ныне директора школы Р. Халикова, в детстве он был влюблен в Розу Хамидулину. Надо отметить, что его жена, с которой он давно отметил серебряную свадьбу, была не только красавица, но и мастерица на все руки, многие татарские семьи хотели заполучить ее в невестки, и я рад, что полюбила она моего друга и что они счастливы в этом браке. Мне нравится бывать у них дома.

Наверное, у многих созрел вопрос: а в кого же был влюблен сам автор? Об этом подробно сказано в романе «Ранняя печаль».

Заканчивая главу о прекрасной половине Мартука, я подумал, как было бы хорошо проиллюстрировать эти страницы фотографиями Ирины Варкентин, Нали Ермоланской, Вали Антиповой, Гали Пономаренко, Томы Солохо, Аллы Шалаевой, Верочки Пайзюк, Вали Глуховой, Вали Комаровой, Светы Пинчук и многих других. Как хорошо было бы иметь их фотографии в моих альбомах, которые я делаю для мартукского музея. Остается только надеяться, что их портреты все-таки когда-нибудь дойдут до меня и останутся в музейных альбомах для истории. Они заслуживают этого.

Никак не могу закончить главу из-за нахлынувших воспоминаний и образов моих героинь, что стоят у меня перед глазами. Я вижу их юными, молодыми, прекрасными, и у них все еще впереди, даже у тех, кого с нами давно уже нет. Я никогда не боялся старости, меня не смущают ни собственные седины, ни морщины, ни отяжелевшая фигура, ни потерянные навсегда легкость походки и ловкость движений. Меня пугает и волнует старость моих друзей, особенно женщин, которых



я знал, кого природа щедро одарила красотой. Хочется крикнуть кому-то наверх, властному над нашими судьбами — пожалуйста, пожалейте их, не уродуйте их старостью и немощью! Но безжалостное время не щадит никого, красавиц в особенности. Я очень люблю поэзию и однажды наткнулся на самую печальную строку, печальней не сыскать:

*И девушки, которых мы любили,  
Уже старухи.*

Жалко до боли, до слез. Храни вас Всевышний!

\*\*\*

Рассказывая о Мартуке, никак нельзя обойти футбол и вообще спорт, он всегда был важной частью жизни моих земляков. Случались у мартучан в ту пору достижения в спорте и на областном, и даже на республиканском уровне. А главное, спорт был массовым, в какие-то годы на первенство района по футболу играло шестнадцать команд! Почти каждый совхоз имел свою команду. А районные спартакиады по десяткам видов спорта выливались в настоящий праздник. Помню, футбольная команда «Урожай» выиграла в Алма-Ате первенство республики среди сельских команд Казахстана. У меня есть фотография этой команды, в ней играли Валера Парамонов, Саня Вуккерт, Витя Будко, Коля Дмитриенко, Боря Палий, Алик Штайгер и знаменитый вратарь Сова — Коля Цихмистро. Снимок этот хранится в музее в моих альбомах. Спорт Мартука неотделим от жизни моего друга одноклассника А.А. Варюты. Думаю, было бы справедливо назвать его именем спортшколу, которую он не только создал, но и построил и проработал в ней почти тридцать лет. Как не мешало бы дать одной из улиц Мартука или больнице имя Амана Дарбаева, он был хирург от Бога. Много для мартукского спорта сделал председатель райпотребсоюза Г. Васятюк, директора автобазы, и, конечно, школьный учитель Михаил Кириллович Тимошенко. Хочу напомнить, что стадион в моем детстве находился рядом со станцией, напротив бывшего двухэтажного краснокирпичного дома. Хотите верьте, хотите нет, в начале пятидесятых к нам не раз приезжали играть футболисты из Оренбурга, Илецка,



Ак-Булака, Актюбинска, Алги, Хром-Тау. Нынешний стадион построен Саин-агаем Шинтасовым, он многое сделал для Мартука. У нас всегда высоко ценились вратари, и я отмечу тех, кого помню. Первым назову вратаря Макухина, он был фронтовик, не молод, но играл здорово. Помню его по игре с оренбургским «Локомотивом», по сути, он спас нашу команду от разгрома. В одно время с ним играл Желтов, тоже фронтовик. Потом пошли вратари молодые: Рашид Марданов, легендарный Сова — Коля Цихмистро, Николай Дмитриенко, мой сосед отчаянный Бисембай Бектимиров, Коля Гербенсайгер. К слову сказать, магазин, что до сих пор сохранился у стадиона, лет сорок подряд называли «мардановским», там работал отец вратаря Рашида Марданова.

Футбол собирал много зрителей, мой отчим ходил на игру всегда со своей табуреткой, приходило болеть много девушек, каждая команда имела своих поклонниц. Рассказывая о прошлом, я пытаюсь восстановить в памяти старожилков то, что было в их молодости, а новым поколениям хочу поведать о том, что наш Мартук имел свою яркую жизнь.

\*\*\*

Летом 1961 года к нам на практику приехали студентки мединститута, и, разумеется, вечером они появились на танцах. В ту пору на практику после института к нам направлялось много молодежи, и, конечно, новые парни, новые девушки вызывали жгучий интерес у местных. Студентки пришли на танцы втроем, и одна из них приглянулась нашему другу Рашату Гайфулину. Несмотря на молодость, Рашат уже работал директором заготконторы. Я до сих пор помню имя этой девушки — Валя Аникаева. У Рашата завязался бурный роман, и даже после окончания ее практики он часто ездил к ней в Актюбинск.

Много-много лет спустя, незадолго до его смерти, когда алкоголь загнал Рашата на дно жизни, он успел все-таки прочитать в рукописи мой роман «Ранняя печаль». Возвращая роман, признался с горечью: «Жаль, я не женился на Вале, наверное, у меня сложилась бы иная судьба, Лиза сломала мне жизнь».

Лиза, настырная, хваткая татарская девушка из города, штурмом брала нашего друга. Каждую неделю приезжала в Мартук, задаривала его подарками и в конце концов женила его на себе.



Лиза оказалась махровой карьеристкой, вступила в партию, прорвалась в партшколу, стала яркой общественницей, где уж тут найти время для дома. Так семья и распалась. Наверное, справедливо будет сказать и о пьянстве. Все трое братьев Гайфулиных: Тимур, Рашат, Мушан — очень рано ушли из жизни из-за водки.

Но вернемся в тот счастливый вечер.

Рашат, очень шустрый парень, попросил меня и Витю Будко все танцы посвятить новеньким, чтобы никто другой не сумел вклиниться. Парней в жениховском возрасте в ту пору было немало, а Валя выглядела очень милой. В жизни, в судьбе случай играет огромную роль, не выгляди ее Рашат в тот вечер, Валя вполне могла стать невестой какого-нибудь мартукского парня. Какими бы мы ни казались себе опытными, уверенными, но городские девочки, без пяти минут врачи, тоже знали себе цену, и особенного контакта у нас не получалось. Под настойчивые взгляды Рашата мы стали брать девушек измором, не отходили от них ни на шаг. Танцы подходили к концу, ничего не клеилось, хотя нам с Витей было все равно, подружки Вали нас не волновали, мы старались для друга, поняли, что Рашата зацепило крепко. Мы видели, что и проводы домой из парка окажутся неудачными, вряд ли Валя осталась бы наедине с Рашатом. Одно становилось нам ясным, что нужно как-то продлить вечер, может, потом Валентина заметит влюбленность нашего друга. Мы уже израсходовали все наши дежурные шутки, выдали все комплименты, на которые были способны, но веселья, улыбок на лицах девушек не видели. И тут с последним аккордом прощального вальса меня осенило, я поправил свой модный галстук и интригуяюще предложил: «А как вы посмотрите на то, что мы вас пригласим на ананасы с шампанским? Время-то детское, да и ваш приезд на практику не мешало бы отметить». И впервые за вечер мы увидели улыбки на лицах студенток, они посмотрели на нас с интересом и любопытством. Такого поворота событий по инициативе провинциальных ухажеров девушки не ожидали. Одна даже, волнуясь, переспросила: на ананасы с шампанским? И процитировала с удовольствием:

*Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!*

*Ананасы в шампанском — это пульт вечеров!*

*В группе девушек нервных, в остром обществе дамском*

*Я трагедию жизни претворю в грезофарс...*





Она словно предугадывала трагическую судьбу Рашата.

В ту пору молодежь увлекалась поэзией, и король поэтов Игорь Северянин им, конечно, был знаком. Мои друзья, сразу понявшие мой маневр, подтвердили уверенно:

— Да, да, на «Абрау-Дюрсо» и дивные заморские ананасы.

— Интересно-интересно, где вы тут найдете ананасы, их и в городе-то нет, — защебетали девушки разом.

И мы поняли — наша взяла! Воспрянувший духом Рашат, готовый расцеловать меня, сияя, обратился ко мне:

— Пожалуйста, распорядись насчет шампанского, а мы с компанией подойдем, не спеша, к накрытому столу.

Шампанское с ананасами в то лето было нашим коронным трюком, мы его на многих приезжих девушках опробовали, и я понесся прямо по путям, что проходили рядом с парком, на станцию. Вот тут — самое главное, забытое. На нашей станции много лет, до семидесятых годов, был прекрасный двухзальный ресторанчик, небольшой, но очень уютный. Он был построен вместе с железной дорогой в начале века. Тогда поезда из-за заправки паровозов водой и чистки топок стояли на станции подолгу, и пассажиры могли пообедать в нашем ресторане. Вот какая забота о пассажирах была в Мартуке еще сто лет назад. Наверное, старожилы помнят роскошный буфет красного дерева во всю стену в первом зале, дубовый прилавок, очень напоминающий барную стойку, и несколько дубовых столов с тяжелыми стульями. Второй, чуть меньший зал, с раздаточным окошком в кухню, был еще уютней, на стенах висели два больших натюрморта маслом в тяжелых палисандровых рамах. Меня до сих пор мучает вопрос: куда делись эти картины? Я бежал на станцию и молил Аллаха, чтобы в этот день не продавали бочковое пиво. В такие дни в ресторане творилось столпотворение, пиво завозили не часто. Пиво лишило бы эффекта нашу затею, не исключено, что, увидев мартукских забулдыг, девушки могли развернуться и уйти.

К счастью, зал был пуст, Ася, толстенькая буфетчица в крахмальном кокошнике, зная нас, оживилась: «А где друзья твои, девушки?» — спросила весело, она была родственницей Вити Будко и обожала курчавого племянника, первого стилиста Мартука. Я быстро объяснил Асе ситуацию, выдал тайну Рашата и предложил себя ей в помощь, время торопило.



Дело в том, что вьетнамские ананасы были в больших жестяных банках, и чтобы открыть их, требовались сила и сноровка. Ася быстро заразилась нашей авантюрой, выставила мне две банки ананасов и дала ключ для вскрытия, а сама направилась в подвал, где на льду хранилось шампанское «Абрау-Дюрсо», не пользовавшееся спросом у моих земляков. Пока она протерла бутылки, достала из буфета хрустальные бокалы для шампанского, узкие и высокие, я успел открыть ананасы. Ловкая Ася быстро перелила сок в хрустальный кувшин, а крупные сочные золотые ломти ананаса выложила на большое фарфоровое блюдо. Все это мы вдвоем отнесли во второй зал, куда случайные посетители никогда не заглядывали, и прикрыли застекленную цветным витражом высокую дверь. К приходу компании наш стол выглядел роскошно, Ася даже пожертвовала нам букет цветов, что стоял у нее на буфете. Главное, на столе были шампанское и ананасы. Конечно, заключительная сцена в гоголевском «Ревизоре» замечательна, но надо было видеть лица наших очаровательных спутниц, когда Витя вальяжным жестом распахнул витражную дверь и объявил с пафосом мажордома: «Прошу, шампанское и ананасы ждут вас!» Мы мгновенно выросли в глазах девушек, а ведь еще полчаса назад были готовы смириться с поражением. С тех пор я понял, женщины — всегда тайна.

\*\*\*

Тут напрашивается для рассказа еще один случай, который произошел тоже на танцах в Актюбинске, во Дворце железнодорожников. Пришли мы в тот день вдвоем с Аликом Поповым, легендарным молодым человеком, который недавно, спустя пятьдесят лет, попал в книгу «Стиляги СССР», а в моих произведениях он — частый герой, и особенно ярко представлен в повести «Седовласый с розой в петлице». Алик бывал в Мартуке, играл в футбол с моими друзьями. Сейчас Алик, Олег Федорович — подполковник КГБ в отставке, пенсионер. В тот вечер нам приглянулись две новенькие подружки, но, видимо, не только у нас оказался такой зоркий глаз, приглашали их нарасхват. К концу вечера мы чувствуем, что девушки могут уйти с другими, и тут Алик, к моему изумлению, тихо заявляет: «Зачем вам, хорошим девочкам, эти дылды,



братаны-бандюганы Шашурины? Пойдемте с нами», — и таинственным шепотом добавляет: «Вас ждут тихо-покой, синий свет, иконы, подарки...»

Я чуть не упал от неожиданности — куда пойдём, и что означает «тихо-покой», синий свет, да ещё иконы, подарки? Но сказано это было завораживающе, заманчиво и тайло тайну, и девушки заметно дрогнули. Наверное, их более всего заинтриговало слово «подарки». Короче, мы пошли их провожать. На улице метель, холод, и одна из девушек говорит: «Алик, хочется покоя и синего света, подарков обещанных...». Очаровательный Алик не смутился, засмеялся и, разведя руками, сказал: самому хочется! Разошлись в тот вечер без обиды, мы проводили их до общежития культпросветучилища.

Встретились мы с теми подружками снова на танцах через две недели, но с нами были уже другие девушки. Такого обмана, коварства прежние спутницы нам простить не могли и рассказали братьям Шашуриным, что мы наплели им в тот вечер, наверное, в фантазиях себе не отказывали. Через полчаса нам с Аликом уже донесли, что Шашурята, такая у них была кликуха, ребята гораздо старше нас, рвут и мечут, и советовали не попадаться им на глаза. Танцплощадка во Дворце железнодорожников занимала просторный холл, и мы старались танцевать в разных с ними концах зала. Наверное, нам пришлось бы бегать долго, если бы в бегах не наткнулись на моего родственника Исмаил-бека, самого авторитетного парня с Татарки. Тот вмиг поставил Шашуриных на место. Вот чем закончились фантазии Алика — «тихо-покой, синий свет, иконы, подарки».

\*\*\*

Рассказываю о девушках, и невольно получается, что у нас, у ребят, сплошные победы. Так не бывает в жизни, у любого мужчины сердечных ран гораздо больше, чем побед. Справедливости ради надо показать и свои поражения, когда и мы уходили не солоно хлебавши. Хотя сегодня, с высоты прожитых лет, даже поражения, неудачи в отношениях с девушками в юности воспринимаются тепло, с грустью, нежностью — как прекрасно, что это случилось в твоей жизни! Любые воспоминания, сны о молодости греют душу.



Зимой 1958 года на студенческих каникулах Роберт Глеумухамедов познакомился с выпускницей мединститута красавицей-брюнеткой Юлией, имя это тогда встречалось редко и было популярно. Особенно значимо оно оказалось для Роберта. Почему? Потому что в то время звучала модная джазовая композиция Александра Цфасмана «Юлия», где Роберт исполнял соло на ударных инструментах.

В молодости все проходит ярко, стремительно, в новое увлечение кидаешься без оглядки, без тормозов. Так — бурно, страстно стал развиваться роман и у Роберта с Юлией.

В один из февральских вечеров, когда у нас неделями бушевала пурга, Юлия пригласила Роберта на свой день рождения. Сказала, что гостями будут ее подружки — выпускницы, без пяти минут врачи, и их поклонники, ребята гораздо старше Роберта. На вопрос Роберта о том, кто они, Юлия туманно ответила, что ребята не актюбинские и приедут из другого города. Роберту не нравилась затея гулять с незнакомыми парнями, но и отказаться отметить день рождения своей девушки он тоже не мог. Тогда он предложил Юлии прийти на день рождения с другом, то есть со мной, Юлия не возражала, видимо, ей очень хотелось встретить праздник с Робертом. Тут надо обязательно указать существенные для этого сюжета детали: мы с Робертом в ту зиму — студенты всего лишь третьего курса техникума, мне неполных семнадцать лет, Роберту только исполнилось девятнадцать, хотя он выглядел гораздо старше. Оба мы среднего роста, я к тому же худенький, боксировал в наилегчайшем весе, одни крупные глаза на бледном лице.

В назначенный день минута в минуту мы пришли на улицу Байганина в большой особняк рядом с базаром, которому недавно исполнилось сто лет. Кстати, дом этот цел до сих пор, хотя сильно осел и обветшал. Нас встретили радушно, провели в зал, где были уже накрыты столы и тихо играла музыка. Девушка за роялем поздоровалась с нами улыбкой и кивком головы и продолжила играть что-то минорное. Юлия, заметив наш взгляд, потянувшийся к богато накрытым и красиво сервированным столам, предупредила: сядем за стол все вместе, ребята должны подъехать с минуты на минуту.

Девушек оказалось семь, не считая Юлии, значит, компания собиралась большая, человек двадцать. За окном мела,



выла метель, а в доме у базара было тепло, уютно, красиво, празднично, от девушек исходил дивный аромат незнакомых нам роскошных духов. У нас с Робертом от всей атмосферы, от предчувствия праздника голова шла кругом, рядом восемь красавиц, одна краше, изысканнее другой! И нам они уделяли такое внимание, такие расположение и добросердечность, которые мы до сих пор никогда не ощущали по отношению к нашим заурядным персонам. «Какой цветник, какой гарем!» — только и успел шепнуть мне на ухо взволнованный Роберт.

Прошли полчаса, час — долгожданных гостей все еще не было. Девушка оставила рояль и, включив радиолу, пригласила меня танцевать, Юлия с Робертом поддержали нас. Прошло еще полчаса, и девушки время от времени по очереди, накинув пальто, стали выбегать на улицу с фонарем — может, гостям не удастся отыскать в пурге дом, хотя он и сиял огнями всех комнат. Но все было напрасно. Светские разговоры, музыка, танцы уже не могли скрыть тревоги за ночных гостей. И тут впервые за долгий вечер мы услышали, что гости могли застрять в дороге из-за пурги, метели, густой снежной пелены, стоящей в степи. Прозвучало и название местечка — Кенкияк, вот откуда, оказывается, ждали девушки своих женихов. Нам название ничего не говорило, мы думали, что парни будут из Оренбурга, Илецка или Ак-Булака — это недалеко от Актюбинска. Сегодня Кенкияк, или, точнее, — нефтяной район Кенкияк, известен всему миру. Прошел еще час, девушки уже не скрывали тревоги на лицах и уже не выбегали с фонарем на улицу, но ни в какие детали нас с Робертом не посвящали. Хотя мы понимали, что ребята пробиваются в город по степи, по бездорожью, в лютый холод, буран. Мы мысленно желали им удачи, уж очень жалко было глядеть на лица девушек, на именинницу.

Наверное, от передавшегося от девушек волнения мы с Робертом стали невольно поглядывать на накрытые столы, они вызывали большой аппетит, особенно запеченный в духовке целый поросенок, такое мы с Робертом видели впервые. И тут Юлия, на правах хозяйки дома и именинницы, с отчаянным весельем командовала: «Все за стол, и начнем отмечать мой день рождения! Если приедут, они нас поймут, мы стойко ждали четыре часа». В это время высокие напольные часы в корпусе из красного дерева глухо и беспристрастно отбили одиннадцать вечера.



Мы сели за крайний стол, открыли шампанское, Роберт сказал тост в честь Юлии, который он репетировал целых два дня, и вечер начался. Затем тепло, с юмором Юлию поздравили подруги, кто-то даже в стихах, что вызвало шквал аплодисментов, и вечер стал приобретать веселые очертания, посыпались шутки, остроты, экспромты. Потом вдруг все внимание перекинулось на нас с Робертом, стали и в шутку, и всерьез строить варианты, как нас справедливо распределить на все танцы с девушками, чтобы ни одна не осталась без внимания. Предлагали и жребий тянуть, или нам самим установить справедливую очередь, или крутить бутылочку, и советовали при этом еще и поцеловать свою избранницу — в общем, смутили нас с Робертом основательно. И все это тактично, с блеском, с остроумием — таких девушек мы с Робертом еще никогда не встречали. Наверное, они отчаянным весельем пытались спасти день рождения своей подруги.

Со мною рядом сидела та самая пианистка, что играла в начале вечера «Лунную сонату» Гленна Миллера, у нее оказалось редкое имя, никогда, ни в жизни, ни в литературе, я не встречал такого — Ая. Это имя я уже использовал однажды в своем первом рассказе «Полустанок Самсона», написанном на спор в 1971 году. Ая, как мне казалось, откровеннее других любезничала со мной, выражала мне явные знаки внимания, рьяно отсекала попытки других сблизиться со мною. Я стал чаще танцевать с нею, что, как ни странно, не вызвало протестов, даже шуточных, за меня отдувался Роберт, причем делал это с большим удовольствием. Когда Ая уходила на кухню, чтобы что-то принести, или спешила в темную прохладную прихожую покурить, я тут же увязывался за нею. Красная пачка роскошных по тому времени дамских сигарет «Фемина», что она держала в руках вместе с зажигалкой, так и осталась нераспечатанной — мы страстно целовались и обнимались. И она шептала мне какие-то ласковые слова, которых я никогда прежде не слышал, хотя наивно считал себя бывалым парнем. После каждого нашего уединения в прихожей, которые становились все чаще и чаще, Роберт мне загадочно подмигивал. Взгляд его говорил одно — молодец, какую деваху отхватил!

В разгар наших с Аей страстей Юлия попросила всех снова за стол, который незаметно обновили и положили свежие



приборы. И в этот момент, когда мы уже рассаживались, а часы на полу отбили час пополуночи, сразу в три окна с улицы весело затарабанили. Всех девушек в мгновение ока вынесло из-за стола, и они с радостным визгом, счастливым смехом кинулись не в прихожую, а прямо на улицу в буран в вечерних платьях. Такого единого искреннего порыва за свои долгие годы я не встречал не только в жизни, но и в кинематографе. Столь яркая, эффектная, берущая за душу сцена до сих пор стоит у меня перед глазами, когда я бываю на Байганина или на актюбинском базаре. За столом мы с Робертом остались одни, не понимая — грустить нам или радоваться. Прошло минут пять, а, может, пятнадцать, мы вышли из-за стола и стали возле радиолы. Сесть в глубокие кожаные кресла под бронзовым торшером мы не решились, уж слишком выстраданной оказалась встреча долгожданных гостей. Мы слышали радостный смех, счастливые голоса наших прекрасных девушек, застуженные басы крепких мужчин в прихожей и в соседней просторной комнате, где гостей раздевали, обхаживали, прихорашивали. Мы с Робертом поняли, что нам там сейчас не место, и терпеливо ждали появления мужской половины в большом зале рядом с накрытыми столами. Оба искренне радовались и тому, что гости не пропали в буране, и тому, что девушки дождались своих парней, и тому, что поросенок лежал на главном столе целехонький. А ведь Юлия предлагала его разделить, но Роберт сказал, что у него рука не поднимается губить такой кулинарный шедевр.

Появились они в зале как-то разом, словно не было двери, задрапированной тяжелыми бархатными шторами вишневого цвета с золотыми кистями по моде тех лет — впереди семь рослых молодых мужчин, а сзади и по бокам все наши восемь красавиц, включая Юлию. Удивительно, зал не уменьшился, не стал тесным из-за возникшего многолюдья, а, наоборот, вроде и потолки стали выше, и стены раздвинулись, и ярче запыльхали люстры. Наверное, этот пространственный и световой эффект возник от радостных, счастливых лиц девушек, от белозубых искренних улыбок мужчин, понявших, прочувствовавших сердцем, с какой любовью и тревогой ждали их в этом доме. Девушки весьма церемонно представили нас друг другу. Гости тепло поздоровались, назвались, но я сразу понял, что они



приняли меня с Робертом за младших братьев или племянников очаровательных девушек, короче, за подростков.

Наверное, следует чуть подробнее представить гостей, которых ждали с таким волнением и любовью наши новые очаровательные знакомые. Все семеро оказались выпускниками Бакинского нефтяного института, работали в Кенкияке уже полтора года. Все, как на подбор, рослые, а в то время высокие парни были наперечет, акселерация началась в СССР только лет через пятнадцать. Все — бывшие спортсмены, хорошо сложенные, плечистые, лет по двадцать пять — двадцать семь, в общем, женихи на загляденье. Удивительная деталь, все семеро — с усами, усатых в Актюбинске в те годы не помню. Гости оказались коренными бакинцами, невероятно влюбленными в свой удивительный город. Азербайджанцем среди них был один, по имени Октай, я запомнил его имя только потому, что спустя пять-шесть лет буду дружить с Октаем Агаевым, знаменитым певцом из Государственного эстрадного оркестра Азербайджана под управлением композитора Рауфа Гаджиева, в те годы там же работал самый известный джазовый аранжировщик Анатолий Кальварский. Двое — армяне, в ту пору треть Баку составляли армяне, двое — таты, горские евреи, двое — русские, то есть полный интернационал, как они представились сами. Марк, увидев раскрытый рояль, тут же сыграл и спел популярное танго «Бакинские огни» композитора Тофика Кулиева, под эту музыку и стали рассаживаться за столами.

Не могу удержаться, чтобы не сказать банальнейшую истину — в мире все связано теснейшим образом. В 1962 году я буду работать в Экибастузе, а в праздники по воскресеньям стану регулярно наезжать в Павлодар, где в гостинице «Иртыш» познакомлюсь с сыном композитора Тофика Кулиева — Адалятом, и нас будет долгие годы связывать дружба. Имя Адалята я тоже использовал в том же рассказе «Полустанок Самсона», где обозначил и Аю.

Речь идет о 1958 годе, мы с Робертом в городе считались заметными стилистами, поэтому особенно придирчиво осмотрели, как были одеты нефтяники. Это позже, в 1964 году, я впервые побываю в Баку по приглашению джазменов из





оркестра Рауфа Гаджиева и своего друга Адалята Кулиева и надолго запомню, что такое бакинский стиль, бакинская мода. Баку настолько поразил мое воображение в молодости, что я на всю жизнь запомнил фамилию его мэра — Лимберанский. Дети Лимберанского живут в Москве уже лет двадцать, и когда им передали мои слова восторга о Баку Лимберанского, которым их отец руководил почти тридцать лет, они были тронуты до слез. А я ведь человек городской, столичный, прожил в Ташкенте тридцать лет, но не могу назвать ни одного тамошнего яркого мэра. Могу только обнародовать вопиющий факт, когда десять лет назад мэрия Ташкента, решив построить для себя новое роскошное здание, местом для стройки выбрало... самый старый парк столицы, разбитый еще в конце девятнадцатого века губернатором Кауфманом в центре города. Все советское время он назывался «Детский парк имени Горького». Через этот парк прошли десятки поколений ташкентцев, в нем были открыты в двадцатые годы прошлого века первые в городе кинотеатры «Арс» и «Солей», там лет десять подряд в шестидесятые годы проходил фестиваль кино стран Азии и Африки. И этот огромный парк тихо упразднили, территорию огородили высочайшим забором и построили себе в тенистом саду помпезное здание. Теперь в ухоженных аллеях парка гуляют только городские чиновники. Какая вопиющая «забота» о горожанах, о детях!

Лимберанский натолкнул меня на мысль узнать побольше о мэрах любимых мною городов: Венеции, Ниццы, Лондона, Вены — оказывается, все они возглавляли мэрии больше двадцати лет.

Я не случайно отвлекся на бакинский стиль, бакинскую моду. На Кавказе во все времена умели одеваться, одежде, моде там всегда придавали значение. Кавказцы, особенно тбилисцы, бакинцы, ереванцы, считались заметными модниками и модницами в стране. Это с развалом СССР Кавказ оказался в нищете, и сегодня его жителей невозможно представить законодателями мод. Сейчас, как я часто утверждаю, место Кавказа в моде заслуженно заняли казахи. В Казахстане бум моды, все крупные магазины в Европе заполонили казахи. Я рад, что в мире утверждается казахский стиль, стиль моих земляков.



Баку, Тбилиси отличались замечательными портными, сапожниками. Знаменитый бакинец Мстислав Ростропович тоже писал в своих воспоминаниях о чародеях-портных Баку, могу засвидетельствовать и сам, я тоже заказывал там пару костюмов. Бакинский стиль означает классический, близкий к английскому — широкие мужские плечи, безупречный крой — слегка приталенный, и прекрасный пошив. Известные бакинские портные чаще всего были евреями, и весьма пожилыми, особенно закройщики. Немало работало там и известных армян, особенно модными считались репатрианты из Франции, Италии. Попасть к ним удавалось только по рекомендации, хотя, уверяю вас, цены были умеренные. Убил высокую моду на костюмы ручной работы импорт, он захлестнул страну в середине шестидесятых годов, а в семидесятых французские, итальянские, английские костюмы оставили без работы даже самых знаменитых портных.

Глядя на экипировку гостей, мы с Робертом поняли сразу, что они готовились к вечеру не менее тщательно, чем мы. На всех были вечерние костюмы: черные, темно-синие, серого цвета с неяркой полосой или выработкой — все, безусловно, сшитые на заказ и сидевшие на них как влитые, как в журналах мод. А на Марке, самом артистичном из гостей, еще не раз терзавшем рояль, был удлиненный двубортный темно-серый костюм с густо-черной, сажевой полосой, сильно приталенный, с узкими рукавами, из которых виднелись белоснежные манжеты с крупными серебряными запонками. Роберт, мгновенно вспомнивший своего любимого актера Хэмфри Богарта, сказал восхищенно: настоящий гангстерский костюм! Богарт часто играл крутых парней. Но, как бы нам ни нравились костюмы гостей, их белоснежные рубашки с высокими воротниками и шелковые галстуки, повязанные с небрежным изяществом, поразила нас их обувь. Напомню, что это был февраль 1958 года, импорта, даже из соцстран, мы еще не ждали, а нашу «скороходовскую» продукцию, не говоря уже о местной, без слез не опишешь. А на ногах гостей, которые приехали в тяжелых унтах, сейчас красовалась шикарная, сшитая на заказ обувь из черной мягкой козлинки, некоторые ботинки — с медными пряжками на боку, некоторые — с высокой шелковой шнуровкой, на удобном каблучке. Кожаная подошва так



приятно шуршала по деревянному полу в танце, не высказать. Глядя на такой парад обуви, мы с Робертом не знали, куда спрятать свои ноги. Я уже упоминал, что только на Кавказе жили великие сапожники, а тогда мы впервые видели, какая шикарная обувь есть на свете.

Несмотря на долгую и тяжелую дорогу, от наших нефтяников исходила такая энергетика, что все вдруг понеслось со скоростью экспресса. Лидером у них в компании оказался тот же Марк в гангстерском костюме. Минут через пять все уже сидели за столом, у всех было налито в бокалы, фужеры, рюмки, печальный поросенок был ловко разделан и разнесен по тарелкам без остатка. Этим решительным человеком, не в пример Роберту, оказался Сергей, приехавший с гитарой. Первый тост в честь именинницы гости спели дружно хором, секстетом, как пояснил мне Роберт. И текст, и музыка понравились всем, на глаза Юлии даже набежали слезы волнения. Тамадой избрали Октая, который почему-то время от времени очень нежно поглядывал на Аю, рядом с которой я поспешил занять место. С тамадой наш экспресс уже понесся с ракетной скоростью. Всем было радостно, весело, хорошо, а как светились лица, глаза девушек — не передать! Гости один за другим произносили тосты, которые мы никогда не слышали, и мы с Робертом только переглядывались, думали — вот бы записать, нам бы в любом застолье не оказалось равных. Все говорилось с юмором, с подтекстом, иносказательно, с тайной, красиво, достойно, без грамма пошлости — через годы я понимаю, что мы с Робертом получали мастер-класс поведения за столом.

Неугомонный Марк часто срывался из-за стола за рояль и так замечательно играл и пел, что Роберт шепнул мне с завистью: «Зря он в нефтяники, в степь подался, он же настоящий артист. Смотри, как он лабает на незнакомом инструменте с ходу, а голос какой — заслушаешься, его бы любой оркестр с удовольствием взял». И мне Марк нравился, он и лидером оказался, и одет был со вкусом, лучше всех, и танцевал не хуже балерона, а уж говорил — хоть записывай за ним следом, все девушки, казалось, были в восторге от него. Как только Марк садился за рояль, несколько пар срывалось из-за стола танцевать, и все в зале быстро смешалось — одни танцевали, другие произносили тосты и дружно закусывали, третьи откровенно



любезничали. Всем было уютно, весело, радостно. Наверное, неуютно чувствовали себя только мы с Робертом. Я — потому что Октай-тамада не только продолжал нежно поглядывать на Аю, но и постоянно стал приглашать ее танцевать, и она не только охотно шла с ним, но и открыто любезничала, словно меня не было рядом, словно не видела, что я гляжу на нее во все глаза, а губы мои выразительно шепчут беззвучно: изменница, предательница, коварная...

Роберт приуныл, потому что привык быть в центре внимания, привык, чтобы прислушивались к каждому его слову, жесту, капризу, а тут выходило, что нас как бы и не было за столом, мы не могли даже вставить какую-нибудь удачную реплику, здесь говорили совсем иначе, не на нашем жаргонном сленге, нас окружали совершенно другие, взрослые люди с иным мировоззрением, иными интересами, с высоким интеллектом. Понять это, оценить ситуацию нам хватило ума, хотя вслух между собой мы не затрагивали эту тему. Роберт приуныл еще и потому, что Юлию, как именинницу, приглашали танцевать чаще всех, и, конечно, не таясь говорили ей изысканные комплименты, выражали восторг ее красотой, новой прической, новым платьем, которое действительно было ей к лицу. Особое восхищение гостей вызывал и стол, уж тут Юлия с мамой очень расстарались. Такое внимание, подчеркнутое любезное отношение гостей, мужчин к Юлии не могло не вызвать у Роберта ревности, я-то хорошо знал его, он ревновал ее ко всем, кроме меня. Но я видел, что у каждого из гостей своя избранница, и никто из нефтяников не переступал границу в отношении Юлии, как поступала моя Ая, откровенно флиртовавшая с Октаем-тамадой. Разве только Марк, уж слишком любезно и внимательнее других он относился к имениннице. Хотя я не могу утверждать, что Марк увлекся Юлией, скорее всего, как человек рафинированной культуры, он отдавал ей должное как хозяйке дома, столь гостеприимно встретившей их, как имениннице, и, в конце концов, Юлия была в этот день очаровательна как никогда, так мне сказал сам Роберт. Короче, у Роберта обозначились свои проблемы, у меня свои. Мои дела становились с каждой минутой хуже и хуже, Ая уже пересела к Октаю за другой стол и, танцуя танго, откровенно клала руки ему на плечи, словно обнимала,



так танго у нас в Актюбинске еще не танцевали. На первых же танцах во Дворце железнодорожников я повторил опыт Аи с Октаем, и у меня быстро, в тот же день, появились последователи. Хотя, глядя на Аю в тот вечер у Юлии, я думал, как пошло все это выглядит со стороны. Конечно, я так думал от душившей меня ревности. На самом деле так могли танцевать только влюбленные.

Высокие тяжелые часы с обозначенной на циферблате латынью маркой «Мозер», к которым я от усталости и отчаяния притулился, отбили четыре часа ночи, значит, гости гуляли уже ровно три часа. А мне казалось, что прошел от силы час, так быстро бежало время в веселой компании, где умели развлекаться с блеском. Я осмотрелся и почему-то пересчитал всех девушек, все восемь были в зале, у всех от волнения и радости горели глаза, румянились щеки, и в их голосах, смехе не чувствовалось усталости, они были счастливы. Счастливы были, пожалуй, все, кроме меня и Роберта, но никто нас не замечал, никто не пытался утешить, мы были лишними на чужом пиру. Я лихорадочно думал, как бы мне вернуть расположение Аи, но ничего путного в голову не приходило, лезли одни печальные мысли, выходило, что за три последних часа я только однажды станцевал с Аей. С этим фактом смириться было трудно, да и не хотелось, упрямец я был еще тот, чистый татарин.

Пришла ненадолго и вполне разумная мысль — уйти потихоньку, по-английски, даже не распрощавшись ни с Робертом, ни с Юлией, все равно никто бы не заметил моего отсутствия. Но такой уход казался унижительным, оскорбительным для моего мужского достоинства. Возвращаться за стол мне не хотелось, пригласить кого-то на танец на выбор, как было в начале вечера, у меня не имелось возможности, все пары, казалось, не желали расставаться ни на минуту. И я продолжал подпирать трофейные немецкие часы с изумительным бархатным боем, каким-то чудом попавшие в далекий Актюбинск. Можно было сказать, что я слился с этими роскошными часами, ни на них, ни на их бой, ни на время счастливые люди не обращали внимания.

Безучастно внешне подпирая часы, я лихорадочно искал выход из унижительной для меня ситуации, а глазами невольно выискивал Аю. И вдруг наступил и для меня момент



удачи. Октай о чем-то оживленно стал говорить с Сергеем-гитаристом, а Ая, схватив со стола уже распечатанную пачку «Фемины» вместе с зажигалкой, решительно направилась в прихожую перекурить. Я мгновенно окинул пространство взглядом: все, включая Юлию и Роберта, находились в зале, и я, словно пантера, метнулся вслед за ней. Не успела Ая поднести огонек зажигалки к сигарете, как я в темноте обхватил ее за плечи и развернул к себе. Мой приход, как ни странно, оказался для нее неожиданным, она удивленно и разочаровано сказала: «Ах, это ты?» Словно не было между нами три часа назад страстных объятий, жарких поцелуев, пьянящих голову сладких слов. Я вмиг сник от такого равнодушия, растерял все жгучие слова, что заготовил для нее, подпирая «Мозер». Я почувствовал, что Ая сейчас развернется и уйдет в зал, и попытался поцеловать ее, но она ловко отстранила меня и устало сказала: «Успокойся, мальчик, поел, попил, пора и домой, а то матушка заволнуется...» — и, неожиданно обняв меня, поцеловала долгим и жарким поцелуем. Так мы сегодня еще не целовались. У меня от радости екнуло сердце, и я попытался ее снова обнять, но она опять легко отстранила меня. Мое пальтишко висело рядом, у нее за спиной, Ая безошибочно сняла именно его с вешалки, вынула из рукава мятую шапку и бережно надела ее мне на голову. Застегивая пуговицы, спросила с тревогой: не заблудишься в буране? Я ничего не ответил, слезы обиды душили меня, и я, не прощаясь, шагнул в распахнутую дверь.

Я пересек пустынный базар, вышел на Орджоникидзе и пошел сквозь жуткую метель на «Москву», на улицу Деповская, где находилось наше общежитие. Я шел, глотая слезы, считая себя несчастным, но странная радость теплилась где-то в глубине души. В голове крутилась какая-то поэтическая строка, подходящая случаю, но я так и не вспомнил ее.

Спустя много-много лет она нашлась-таки, ташкентский поэт Александр Файнберг сказал:

*Далеких лет далекие обиды.*

Никого их тех людей, с кем я отмечал день рождения Юлии, кроме Роберта, я больше никогда не встречал. Не знаю, как



сложилась жизнь у тех нефтяников и у девушек, так переживавших за них в пургу. Но я был бы рад, если у них счастливо сложились судьбы, они так подходили друг другу.

\*\*\*

Не могу не рассказать еще об одном событии, характеризующем Рашата, его время и молодежь. В 1961 году Рашат решил строиться. Жили они большой семьей в тесной землянке на нашей Украинской улице. Еще были холосты его братья, да и отец — Мубарак-абы, мастеровой человек, находился в добром здравии. Дом наметили выстроить из самана — материала, привычного для здешних мест. В маленьких селеньях у всех народов есть вековая традиция строить миром, у татар это называется «ума», у русских «помощь», а, говоря по-современному, Рашат надумал созвать воскресник. Я уже упоминал, что он не был лишен деловой хватки и к мероприятию приготовился основательно. В ту пору о пятидневке и не мечтали, а воскресенья всегда ждали. В селе летом работы через край: огороды, сенокос, картошка, ремонт дома, заготовка топлива на зиму, консервирование. На воскресник и родню-то трудно было собрать, но Рашат был уверен — к нему придут. У Рашата, как у композитора Евгения Мартынова, на подбородке имелась ямочка, оттого у него была удивительная улыбка, и весь он излучал доброту, искренность, в общем, обаятельнейший парень, рослый спортсмен, капитан футбольной команды «Кооператор». К тому же он играл на гармонии и на баяне и пел хорошо, особенно татарские песни. Без него не обходилась ни одна татарская свадьба и серьезная вечеринка. Для тех, кто знает татарскую культуру, он был похож на легендарного певца Хайдара Бигичева, к сожалению, рано ушедшего от нас.

В субботу Рашат завез самосвалами глину и землю, доставил огромную машину измельченной соломы, перегородил улицу и сделал лошадьми два огромных замеса диаметром метров по сорок каждый. Вымешенная глина, как и тесто, должна настояться. Невиданный в наших краях объем работы, размах, масштаб! Машины, лошади, огромные емкости для воды, замешиваемые с какой-то большой государственной стройки. Обычно глину с соломой топчут сами, ногами, делают замес на сотню, от силы две саманов. Тяжелейшая работа, ноги все



в порезах от соломы, сотни ведер воды надо натаскать из колодца вручную. Сами толстые деревянные колодки на два-три самана — и пустые-то тяжелейшие, а через час работы они еще и набухнут от влаги, потому что после каждой формовки их следует начисто вымыть, иначе саманы не выпадут. На эту финальную часть работы всегда ставили самых крепких, выносливых, двужильных. Трехсаманная колодка с глиной тянула далеко за сто килограмм. Пишу подробно, чтобы напомнить молодым, в каких тяжелых трудах был выстроен в ту пору каждый дом.

В субботу на танцах Рашат объявил нам, что утром приглашает на воскресник, и просил помочь мобилизовать как можно больше людей. Поначалу никто не думал приглашать девушек, работа-то — не гусей ощипывать, есть и такая «ума» у татар по первому снегу. Догадался пригласить девушек Витя Будко, это он сказал, что с ними будет легче работать, веселее, да и ребят побольше подтянется. В общем, мартукские красавицы у Рашата — целиком заслуга Вити. Задолго до окончания танцев танцплощадка бурлила, все знали о мероприятии у Рашата. Поднял ажиотаж и оркестр, Яша Берет объявил: «Для тех, кто завтра решил пойти на воскресник к Рашату, исполняется «Шизгара»».

Утром на Украинскую к Рашату нагрянули человек пятьдесят-шестьдесят, больше и не нужно было. Включили через усилители музыку, и работа закипела. Эту работу-праздник потом вспоминали лет десять, и никому больше такой воскресник не удалось повторить: и время, и люди быстро стали другими. За четыре с половиной часа вылепили около двух тысяч саманов, и все делалось весело, задорно, с улыбкой, шутками, смехом, в соревновании. Помню, как заворожено смотрел на нас отец Рашата Мубарак-абы, он не ожидал от молодежи такого энтузиазма и радовался, что у его сына такие замечательные друзья. На другой день он сказал мне: «Какие, оказывается, трудолюбивые мартукские красавицы, не ожидал от них». К концу работы во дворе накрыли столы, как на свадьбе. Из барана, забитого утром, получился роскошный обед. Застолье с вином тоже затянулось часа на четыре. А вечером снова встретились на танцах, и все разговоры — только о воскреснике. Как жалели те, кто не попал на этот праздник труда! Всякий





раз, когда я прохожу мимо дома Рашата, у меня перед глазами возникает тот памятный воскресник и лица тех девушек, что украсили тот день. Жаль, этот дом не принес радости нашему другу Рашату.

\*\*\*

Раз уж вспомнили экзотические ананасы, нужно рассказать и о других чудесах в Мартуке. С шестидесятых годов начался расцвет поселка, в 1961 году открыли новую школу, где ныне директор мой одноклассник Р. Халиков. Появилась новая автостанция, по Мартуку стал ходить автобус, в воскресенье весь день были рейсы даже на Илек. А в город ходили новенькие «Икарусы» с шести утра с интервалом в полчаса. Поверьте, и туда, и обратно мест не было. Билетные кассиры и сами водители стали очень уважаемыми людьми. Открылся кинотеатр «Колос», где механиком всю жизнь проработал мой одноклассник Валерий Косенко. В том же году запустили новый элеватор. Чуть раньше впервые отстроили постоянный мост через Илек, тот, что стоит и поныне. А ведь раньше в разлив мост всегда сносило паводком, Илек в ту пору был полноводен, широк, глубок. Временный мост, деревянный, строили каждую весну заново много лет подряд. Теперь об этом и не догадываются. По ту сторону Илека, там, где мост, по весне вся степь, все холмы до самой Степановки утопали в тюльпанах: красных, желтых, алых, белых, пятнистых. Высшей доблестью среди старших ребят было на 1 Мая перебраться через бурный Илек на чем попало и вернуться в школу, на танцы, с букетом тюльпанов для девушек. Запах тюльпанов тех лет не забыть никогда, он заполнял все аллеи парка, коридоры школы. Жаль, и тюльпаны пропали, и рыцари повывелись. Но так было.

В те годы сложилась крепкая дружба с Кубой, и мартукские магазины были завалены кубинским ромом в непривычных для нас роскошных бутылках. Да-да, те самые всемирно известные и по сей день «Гавана-клуб», «Баккарди», и стоили они недорого, по семь рублей за большую бутылку. Нельзя сказать, что ром понравился мартукским мужикам, но, когда случались перебои с водкой, покупали и его. Особенно хорошо шел один сорт «Гаваны», светлый, с крепостью в семьдесят градусов. Высокий градус всегда ценился у нас, ни шампанское, ни сухое,



которое презрительно называли «кисляк» — не прижились. Сегодня в мире снова возродилась мода на кубинские сигары. Принято считать, и вполне справедливо, что кубинские ром и сигары — лучшие в мире. Сигары, сделанные вручную, продают в роскошных коробках, но чаще поштучно, из-за дороговизны. Некоторые известные сорта сегодня стоят и сто, и двести долларов за штуку, а редкие, эксклюзивные, доходят и до пятисот. Вот этими сигарами завалили в ту пору мартукские магазины. Сигары в Мартуке не прижились, это точно, их постоянно уценили, хотя от времени они должны были только дорожать. Большинство сигар со временем списали. Но, помню, мальцы, начинавшие тайком курить, могли позволить себе купить в складчину сигару. На реке, на дальней аллее парка, подальше от дома, от глаз взрослых, можно было встретить мальчишек, передающих друг другу дымящуюся сигару — забавное зрелище! Покупали сигары для куража вместе с ромом и загулявшие мужики, и на улице, в парке можно было наткнуться на пьяную компанию с сигарами в зубах — зрелище, скажем, не для слабонервных. Мартукские пенсионеры вполне серьезно могут сказать: «Гаванские сигары? Нет, они у нас не прижились...»

Только один мальчик, живший на нашей улице, Коля Карабаев, который, как и я, часто отирался на станции у провозов, вот он курил не таясь. Рос он без отца, тот тоже погиб под Москвой, а наши матери общались, моя мама покупала у его матери пух для платков. Колю на самом деле звали Кенес, но в школе учителя всех инородцев крестили на русский лад, отчего всегда возникала путаница в документах. Коля был не по годам дерзок, смел, по-обезьяньи ловок, ничего не боялся. Он, как и я, часто сбывал самоварный уголь на постоянный двор хромому Максуму, и у него всегда водились деньги. На заработанные с риском рубли он часто покупал сигары. Когда мы, греясь в отвалах шлака, дожидались очередного поезда, он не спеша закуривал. Делал это вальяжно, подражая голливудским актерам. Мы в ту пору пересмотрели десятки трофейных фильмов о роскошной жизни, где герои как раз наслаждались гаванскими сигарами в самой Гаване, тогда Куба служила американцам курортом. Курил он с таким неподдельным удовольствием, что я не раз и не два просил его дать мне попробовать, и он любезно тут же протягивал тлеющую сигару.



Но у меня ничего не получалось, я начинал задыхаться, сигара гасла, а, главное, я не получал удовольствия, как мой друг. Честно говоря, мне нравилось, как он курил, был какой-то шик в его жестах, движениях, в откинутой от удовольствия черноволосой голове. Коля очень рано попал в тюрьму, вернулся оттуда бывалым человеком с кличкой «Копченный», он и впрямь выглядел копченым. Потом он пропадет на много лет и в Мартук вернется в семидесятых на костылях, без одной ноги. Карабаев никогда не был здоровяком, а тюрьмы доконали его, он прожил недолго. В моем длинном поминальном списке у Кенеса — свое прочное место, и когда я бываю на кладбище, всегда навещаю его могилу. Коля Карабаев по кличке Копченный был единственным человеком в Мартуке, кто по-настоящему, как аристократы, любил гаванские сигары. Пусть земля будет ему пухом.

В шестидесятые годы поток прекрасных китайских товаров с эмблемой «Дружба» из-за натянутых отношений с Пекином стал иссякать, зато резко возросли поставки товаров из ГДР и Чехословакии. В какой-то год неожиданно завезли в наши магазины немислимое количество немецких мужских шляп, велюровых и фетровых, разных цветов: зеленых, синих, черных, серых, дымчатых, коричневых, голубых и других сложных оттенков — на любой вкус, выбирай не хочу! Этих шляп Мартуку хватило лет на пять-семь. Вот тогда у нас появилась настоящая шляпная мода. Первыми на шляпы перешли чиновники, начальство, но массово полюбили шляпы.. казахи, особенно простой люд. Да-да, только они по-настоящему оценили светский головной убор, он стал как бы национальным достоянием. В Мартуке, в аулах все мужчины-казахи, от старцев до молодежи, до чабанов в степи, ходили в шикарных шляпах, и надо признать, они оказались им к лицу. Казахи из аулов, бывая в Мартуке, покупали их по несколько штук. В те годы жизнь в наших краях уже наладилась, была работа, хорошие заработки, и шляпы стоили недорого, от шести до восьми рублей, велюровые — дороже. Захватила мода на шляпы и молодых пижонов. Шляпы носили Витя Будко, Борис Палий, Саня Бектимиров, Лермонт Берденев, старшие братья Вуккерты, была шляпа и у меня. Странно, но мы все отдали предпочтение только зеленым, велюровым. Носили их по-разному, особенно лихо получалось



у Вити Будко, он даже давал мастер-классы, как заламывать шляпу, как загибать края. Кончились шляпы — пропала мода. Некоторые старики до сих пор сетуют, почему нет шляп в магазинах. И мода прошла, да и стоят они сейчас не дешевле гаванских сигар. Я рад, что мои земляки от души поносили в свое время шляпы.

Чуть не забыл, в разгар устоявшейся моды на шляпы завезли, опять же в большом количестве, французские береты из мягкого фетра, тоже разных цветов. С шикарной шерстяной подкладкой в клетку, посередине которой на коже был вытиснен золотой герб со львом. Но французским беретам не удалось перебить моду на немецкие шляпы. Кстати, немцы, которых в Мартуке в ту пору было много, никак не среагировали на шляпную моду. Береты особенно полюбились шоферам, в то время в Мартуке были две мощные автоколонны. Наверное, никто уже не помнит, что автодорогу Ташкент — Алмалык в 1963 году отсыпала мартукская автоколонна, и я там встречался и со Штайгером, и Саней Вуккертом, и Рафиком Арслановым. Почувствуйте, погордитесь былой мощью Мартука, делами своих земляков! Вглядитесь в фотографии тех лет — и увидите непривычные для сегодняшнего дня шляпы и береты. Кстати, моду на береты добавил и Фидель Кастро со своим другом Че Геварой — они всегда отдавали предпочтение только беретам. Как видите, мода не обходила Мартук стороной, мартучане и сигары курили, и весь кубинский ром, положенный Мартуку по торговой квоте, выпили, его не списывали, и в шляпах, и в беретах пощеголяли.

\*\*\*

В этих воспоминаниях много внимания уделено личному — друзьям, знакомым, думаю, правильно будет напомнить и об общественных явлениях тех далеких лет, очевидцем которых я был, и, слава Богу, еще много в Мартуке свидетелей, могущих подтвердить описываемые события. Видимо, надо рассказать о выборах, тем более, что сегодня они проходят часто и есть возможность сравнить. Степень участия в выборах масс известна, и праздником сейчас их вряд ли назовешь. Сегодня, когда в России идет шельмование истории советского периода, молодым, наверное, кажется, что выборы в пятидесятые годы,



особенно при Сталине, проводились чуть ли не под дулом автомата. Как жаль, что хроника тех лет, заснятая в дни выборов, редко появляется на экране. Вы бы увидели переполненные залы для голосования, радостное настроение избирателей — выборы, плавно перетекающие в настоящий народный праздник.

Постараюсь напомнить вам, как это было у нас в Мартуке. Праздники для мартучан начинались задолго до самих выборов. По закону за месяц до выборов открывались агитпункты, они располагались там же, где позже и пройдут выборы. Мест таких у нас было два, и оба при школах, расположенных в разных концах села. О, агитпункты послевоенных лет! Нынешние пенсионеры могут рассказывать вам о них взахлеб! В ту пору выборы считались особо важным государственным мероприятием, и относились к ним соответственно.

Каждый вечер все тридцать дней агитпункт сиял огнями, гремел музыкой. Там можно было прочитать свежие газеты, журналы, поиграть в шахматы, шашки, домино. В какие-то дни там проводились лекции приехавшими из города людьми. Молодежь стекалась туда чуть позже, часам к девяти, когда начинались танцы под радиолу, бесплатные. Выборы обычно проводились во второй половине марта, когда в наших краях еще царила зима, хотя в воздухе уже витали запахи весны, особенно в оттепель, но она тогда случалась редко. Конечно, молодежь не один раз за вечер шумно, озоруя, перетекала из одного агитпункта в другой. И Мартук после долгой сонной зимы оживал на глазах, даже после закрытия агитпунктов в полночь молодежь не расходилась, то тут, то там звучали гармонь, баян. Школу рабочей молодежи с началом работы агитпункта лихорадило, ученики высиживали только два-три урока, а с первыми аккордами вальса сбегали с занятий на танцы. На первых порах учителя их отлавливали, но потом махнули рукой. Нас, подростков, тоже не прогоняли, мы там учились танцевать, и первый танец, которым овладели, был фокстрот. Агитпункты становились неотъемлемой частью культурной жизни села, и можно утверждать, что выборы в местах, подобных Мартуку, любили и ждали.

Сами выборы превращались в настоящий праздник. Голосование начиналось в шесть утра, и особым шиком у мартучан считалось проголосовать одними из первых. Кстати,



в день выборов агитпункты работали до утра, сюда начинали стекаться члены счетной комиссии, здесь оперативно решались возникавшие вопросы. Молодежь тоже не расходилась, юноши и девушки становились первыми избирателями. К шести утра уже гремел духовой оркестр в актовом зале школы. Невиданное зрелище для нынешних выборов, избиратели шли голосовать с гармонью, баяном, татарской тальянкой, аккордеоном, мандолиной, гитарой. Потому в каждом классе плясали, пели. Помню, мои родители тоже ходили голосовать одними из первых и возвращались оттуда уже навеселе, пропустив рюмочку-другую с друзьями, соседями, сослуживцами, наплясавшись и под гармонь, и под аккордеон. Возвращались они всегда с чем-нибудь вкусненьким: апельсинами, мандаринами, халвой, ржаными пряниками, копчеными лещами, колбасой, индийским чаем — товарами редкими, дефицитными и оттого памятными на всю жизнь. Торговля в эти дни крепко опустошала свои закрома — как не считать выборы праздниками?!

Позавтракав, и я, торопливо одевшись, бежал в школу — празднество было в самом разгаре. В зале под баян учителя пения Михаила Ивановича Баранова танцевала молодежь. В классах — под радиолу, аккордеон, в каждой компании свой инструмент — плясали, пели люди постарше. Работали буфеты, магазины, киоски. А во дворе стояли кошевые сани секретаря райкома, возница поправлял богатую упряжь двух серых в яблоках рысаков. В санях лежал ящик для голосования, обитый кумачом, выбегала девушка из избирательной комиссии с адресом в руках, и кошевые сани срывались со школьного двора к какому-то немощному старику или старухе, чтобы и те могли отдать свой голос кандидату, которого поддержал весь Мартук. Мы, пацаны, старались вскочить на облучок саней, покрытых по случаю праздника чьим-то ярким ковром, и, если удавалось, летели со свистом на край села и обратно.

В полдень на школьный двор так же лихо въезжали санки попроще, но тоже принаряженные, в гривы лошадей были вплетены длинные шелковые ленты, которые так украшали бег скакунов. Упряжка из Казанки отличалась звоном колокольчиков, ее мы узнавали издали. Первым обычно влетал во двор на паре гнедых председатель колхоза из Кумся Дарбаев — огромный по-африкански черный богатырь в длинном, до пят,



тулупе. Отец Амана Дарбаева, который позже станет известным хирургом, бывал у нас дома, общался с моим отчимом-фронтовиком, они вспоминали свои боевые дороги. Дарбаев привозил запечатанную урну проголосовавших в Кумсае. Вслед за ним наезжали гонцы из Казанки, Степановки, Веренки, Полтавки, Яйсана. Обычно к полудню район уже рапортовал в область о проведенных выборах. Но гуляния продолжались до самого вечера.

Мы, мальцы, часто говорили — жаль, в этом году нет выборов. Неслыханное желание по новым временам.

Мартук и в давние годы был интересен не только мартучанам, он привлекал и горожан. В семидесятые годы, когда в парке играл оркестр Чиркиных, слух о нем дошел до Актюбинска, и стало модным наезжать к нам на танцы из города. Благо это особых проблем не составляло — приезжали автобусом, уезжали ночными поездами. Но я хочу рассказать о другом времени, о том, как мои друзья-горожане встретили Новый, 1958 год в Мартуке в доме у Генки Лымаря, что находился у самого кирпичного завода. Произошло это ровно пятьдесят лет назад, я учился на третьем курсе железнодорожного техникума, и у меня к тому времени и в городе сложилась компания, где я был не последний парень. В праздники мне приходилось особенно трудно, не хотелось обижать ни новых друзей, ни старых, мне было интересно и дома, и в городе. Конечно, я подробно рассказывал мартукским о своих новых друзьях, а городским — о приятелях, которые ждали меня каждую субботу. И они, с моих слов, заочно уже знали друг друга.

На Новый год мы ждали в гости из Магнитогорска Рафика Муртазина, двоюродного брата лидера нашей городской компании Роберта Тлеумухамедова. Роберт с родителями переехал в 1956 году из Магнитогорска в Актюбинск, на историческую родину отца. Бертай-ага Тлеумухамедов окончил Ленинградский университет, стал юристом, работал председателем коллегии адвокатов, прокурором, занимал заметные посты в Актюбинске. Мать Роберта, татарка, преподавала в школе литературу. Роберт был их единственным сыном, и баловали они его крепко. В 1956 году мы оба поступили в техникум и оказались в одной группе. Сказать о Роберте, что он особенный, другой



— это ничего не сказать. Он был белой вороной не только в техникуме, но и в городе. Могу смело утверждать, что он стал первым стилигой в нашем городе, а точнее, он приехал сложившимся стилигой из Магнитогорска. Со своей философией, утвердившимися вкусами в музыке, литературе, со своими взглядами на жизнь. На зависть другим объявившимся в городе стилигам он прекрасно одевался, имел продуманный гардероб вплоть до кашне, перчаток, носков, имевших большое значение в новой моде. Не то, что мы — новые его последователи, у которых были только модная ковбойка и набриолиненный кок, или только одни спешно зауженные брюки. У него все было сшито в ателье, на заказ, из продуманных материалов нужных расцветок, фактуры. На нем — стройном, статном — одежда выглядела элегантно, как в журнале мод, носил он ее в небрежно-изящной манере, и я не помню, чтобы его когда-нибудь передразнивали, как случалось с другими стилигами. Чувствовалось, что он знает себе цену, умеет постоять за себя. Роберт приехал в Актюбинск перворазрядником и по боксу, и по баскетболу. Он любил Магнитогорск, рассказывал о нем часами, и Магнитогорск предстал перед нами как Чикаго или Нью-Орлеан, где везде играет джаз. Как только Роберт окончил техникум, он тут же вернулся в Магнитогорск и оттуда призвался в армию. Я не знаю, чем, но я привлек его внимание, мы стали общаться. И я, конечно, сразу попал под его влияние. Это он втянул меня в бокс, увлек музыкой, обозначил горизонты какой-то иной интересной жизни. Это у него я впервые увидел магнитофон, кипы пластинок, которые он называл «моя фонотека». Роберт очень бережно относился к каждой пластинке, имевшей собственную историю. От него я услышал впервые имена Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Джонни Холидея, Эллы Фицджеральд, Гленна Миллера, Дюка Эллингтона, Джоржа Гершвина, Бенни Гудмана. Его дом на Почтовой, 72 стал для нас клубом. Да, чуть не забыл упомянуть, что летом 1956 года он был в гостях у родственников в Москве, и фестиваль молодежи прошел у него на глазах. В дни фестиваля Роберт встречался в столице с такими же, как он сам, стильными ребятами, удачно прибахлился и пополнил свою коллекцию пластинок. Представляете, уже в 1956 году я слушал в Актюбинске у него дома музыку, которая и в Москве





не всякому была доступна. Конечно, у него в городе быстро появились друзья, последователи, подражатели.

\*\*\*

В 1960 году мы окончили техникум и уговорились встретиться в Актюбинске в следующем году во время первого отпуска. С таким сроком не согласился только я, сказал: кого-то могут забрать в армию, кому-то отпуск не дадут, и предложил свой вариант — встретиться через шесть месяцев на Новый год. У всех еще были живы родители, здесь оставались друзья, девушки, и приехать на три-четыре дня не представляло проблем. Я сумел убедить своих друзей. Хочу отметить, что я единственный в последние дни учебы записывал адреса сокурсников, чтобы потом через родителей отыскать их на новом месте. Помню, все удивлялись, говорили: зачем, мы же все актюбинские, увидимся еще сто раз. Не вышло, большинство потерялись навсегда, и я никого из бывших сокурсников больше никогда не встречал, к сожалению. В первые годы, когда у меня начали выходить книги, я ожидал — вот теперь на меня посыплются письма, найдутся мои однокашники. Тоже не случилось. Только однажды, в год моего шестидесятилетия, на юбилейном вечере в Актюбинске, о котором были объявления в газете, во время фуршета подошел ко мне пожилой коренастый мужчина и, улыбаясь, сказал: «А я тот самый Тникеш Истурганов, которого ты описал в романе «Ранняя печаль». Мы крепко обнялись и, вновь посмотрев друг на друга, сказали грустно: да, укатали нас годы, встретиться мы на улице, могли бы и разойтись. Что и говорить, сорок лет — не шутка. Я люблю упоминать, хотя бы в маленьких эпизодах, своих друзей, одноклассников, сокурсников. Некоторые до сих пор волнуют меня, например, Валера Полянский, незаурядная личность, человек с сильным характером, как у него сложилась жизнь? Это он впервые дал мне прочитать написанную от руки тетрадь со стихами запрещенного в ту пору Сергея Есенина. Наверное, он не мог подозревать, что с его легкой руки я полюблю поэзию навсегда, без поэзии я не вижу свою жизнь. Поэзия для меня — лучшее лекарство в старости, в одиночестве.

Вернемся к Новому 1961 году — приехали на встречу все из нашей компании. Прибыли принаряженными, я к этому



вечеру сшил в Кызыл-Орде из темно-синего габардина смокинг с белым муаровым жилетом, а портной, бывший закройщик из Мариинского театра, осевший после ссылки в Казахстане, подарил мне еще и белую бабочку.

Роберт удивил всех нас зимним пальто с черным шалевым меховым воротником. Прошло много лет, но это пальто — из добротной шерсти почти белого цвета с простеганным подкладом из белого с голубой дымкой атласа — стоит у меня перед глазами. Больше никогда и нигде я не встречал столь элегантного, хорошо сшитого пальто, хотя всю жизнь одевался с претензией. Роберт часто вспоминается мне в черной шляпе и этом элегантном пальто. После той встречи мы больше никогда не виделись, хотя были большие друзья.

Сейчас в Санкт-Петербурге готовится к изданию книга «Стиляги в СССР», ее авторам попался на глаза мой роман «Ранняя печаль», где есть глава о Роберте, актюбинских стилягах, их это очень удивило. Авторам казалось, что стиляжничество захватило в свое время только большие города, и мои страницы о неслыханном ими Актюбинске их заинтересовали. Мне предложили написать о том времени главу для книги, где пытаются осмыслить тот неожиданный феномен, возникший сразу после смерти Сталина и продержавшийся совсем недолго. Я с удовольствием согласился — приятно оставить в истории своих друзей, а для кого-то эти страницы послужат и памятью. Роберт, к сожалению, очень рано ушел из жизни по той же причине, что и мой друг Рашат Гайфулин. Удивительная, непредсказуемая штука — жизнь, Роберт оказался не чужим человеком для Мартука. В 1964 году, после армии, Роберт женится на молодом враче Кларе Хайруллиной, она жила рядом с Ермоланскими, в переулке. К сожалению, брак, как и у Рашата, оказался недолгим. Клара, с которой я некоторое время состоял в переписке, жива-здоровая, живет в Магнитогорске, куда увез ее мой друг. Вот так запутано, сплетено все в жизни, и все пути сходятся в Мартуке. Поистине, пути Господни и судьбы людские неисповедимы.

Но вернемся в 1958 год. Новый год — особенный праздник, и лавировать между компаниями означало рвать себя на части. И тогда меня осенила спасительная мысль — отметить Новый год в Мартуке вместе. С идеей я ознакомил Саню Вуккерта,



заводилу нашей компании, тому предложение понравилось, он и другие давние мартукские товарищи давно рвались познакомиться с моими городскими друзьями. Вуккерт обладал быстрым умом, он тут же отметил, что приезд городских парней, да еще с новыми пластинками, дает шанс пригласить самых желанных, капризных девочек — так оно и случилось.

В костяк мартукской компании, сложившейся со школьных лет, кроме меня и Вуккерта входили Володя Колосов, Витя Будко, Боря Палий. Должен был гулять с нами и наш друг Фима Беренштейн, но его пригласили в город. Много лет спустя я не раз встречал в английской литературе фразу о школьном, университетском братстве: «школьный галстук повязывает друзей на всю жизнь», только теперь я оценил мудрость англичан — ничего нет крепче юной дружбы. Гена Лымарь попал в компанию потому, что предоставил свой дом, уговорил родителей уйти в гости к родственникам на два дня, у него была чудесная мать, она многое сделала для того вечера, узнав, какая молодежь у нее собирается. Вместе с нашими девчонками она подготовила прекрасный стол, но об этом попозже. Попал в компанию и Слава Афанасьев, он младше нас, но его всегда тянуло к нам. Позже он часто, выпив, говорил: вы пригласили меня на кабальных условиях. «Кабальные» условия состояли в том, что он должен был следить за радиолой, менять пластинки, отвечал за музыкальную часть и обязывался быть на подхвате: подать, сбегать, убрать. Согласился он с радостью, готовый на все, чтобы только попасть на праздник жизни, как он тогда сам высокопарно выразился. В отношении Славика имелась еще одна «корыстная» цель. Его мама работала шеф-поваром в том самом вокзальном ресторане, куда мы позже водили приезжих девушек на ананасы с шампанским. Она тоже приготовила много интересных блюд для новогоднего стола. Одно дело — готовить дома, другое — на профессиональной плите в ресторане.

А компания, включая городских, получилась не маленькая. Со мной из города приехали трое: Роберт, Рафик и Юрочка Лаптев, сразу покоровивший мартукских красавиц. Надо отметить, что мы с детства росли самостоятельными, ответственными и к вечеру готовились основательно и долго. Собрали вкладчину деньги и потихоньку делали закупки: приобрели



дивную елку, бенгальские огни, хлопушки. Наверное, самым запоминающимся из застолья оказалось... шампанское, я нашел его в городе. Красное «Цимлянское» в... пол-литровых красочных бутылках. Оно на всю жизнь стало символом того Нового года. В двенадцать часов мы дружно открыли бутылки по числу пар. Я никогда в жизни больше не встречал красного шампанского. Оно появилось снова года три назад — рекомендую.

Лет пятнадцать спустя Валя Комарова, вспоминая тот вечер, волнуясь, спросила меня: «А помнишь, мы тогда пили красное шампанское? Мне никто не верит, что бывает такое, да еще в пол-литровых бутылках. Хитрован Вуккерт тут же назвал его шампанским на двоих». Как такое забыть! Такое не забывается никогда, потому что случается только раз в жизни, хотя мы тогда думали иначе.

Из города мы приехали поездом и с вокзала сразу двинулись в школу на новогодний бал, нас там уже поджидали. Пластинки Роберта оказались новогодним подарком и для мартукских старшеклассников, они вызвали фурор. Впервые в актовом зале школы звучали знаменитые биг-бэнды, впервые — Элвис Пресли, Элла Фицджеральд, Джонни Холидей. Пока мы танцевали, развлекали гостей, знакомили их с местными девушками и своими друзьями, в доме Лымаря его мама вместе с мамой Славика и некоторыми девушками накрывали столы. Минут за сорок до Нового года шумной компанией мы явились на окраину Мартука, где нас уже нетерпеливо поджидали. Вечер сразу набрал темп, в молодости быстро сходятся. Городские парни, оказавшись в центре внимания, были в ударе — шутили, пели, танцевали, Рафик играл на гитаре. В ту пору никто не жаловался на аппетит, но на столе всего хватало с избытком: жареный гусь и курица, свиные ребрышки — Вуккерты накануне забили огромного хряка, любимый всеми нами холодец, зельц из того же кабана, домашние колбасы, жареная рыба, доставленная Петей Качановым с водокачки у Кумся. Так что новогодний вечер начался, как и задумали — весело, с шутивными тостами, розыгрышами, с танцами. Всем хотелось танцевать, ведь была такая музыка! Танец в ту пору означал уединение, а не массовку, и уже определились пары, тянувшиеся друг к другу. Странно, на этом вечере присутствовала только



одна сложившаяся пара. А остальным представлялся шанс, да еще какой — Вуккерту удалось пригласить самых известных мартукских красавиц.

Зеленоглазая смуглянка Тома Солохо захватила на вечер цыганскую шаль и колоду карт. Гадание ее тоже запомнилось на всю жизнь, и не мне одному. К ней даже выстроилась очередь, всем хотелось узнать свою судьбу, мы стояли на пороге взрослой жизни и вот-вот должны были разлететься из родных мест. Но странно, почти всем выпадала похожая судьба: дальние дороги, казенные дома, неразделенная любовь и ранняя печаль. Вуккерт, заметив, как погрустнели девушки и его друзья, шутя, отобрал карты у Тамары и сказал, переводя все в розыгрыш: «Вы, мадам, не умеете гадать, лучше спойте нам», и протянул ей гитару, мы все знали, что она замечательно поет. Но прекрасная цыганка не поддержала игры и грустно, со слезами на глазах сказала: «Я не виновата, что вам выпадают такие карты, я не вольна над вашими судьбами, карты редко врут».

Прошли годы, и всем стало ясно, что красавица Солохо, которую я больше никогда не видел, умела гадать. Все так и вышло: дальние дороги, чужие города, казенные дома, несбывшиеся мечты, разбитая любовь и печаль, разлитая по всей жизни — и ранняя, и поздняя. Но это ясно теперь, когда жизнь на излете, а многих уже давно нет...

Случались на вечере неожиданные курьезы. Слава Афанасьев, как сурово выразился Вуккерт, серьезно нарушил «контракт» и был отлучен от радиолы, к его неопишуемой радости. Славик быстро захмелел и стал через раз ставить «Караван» Эллингтона, уж очень понравилась ему мелодия, которую он слышал впервые. В общем, покайфовал Слава от души. Он с удовольствием появился в зале и стал приглашать на танцы всех красавиц подряд. Славик наверняка прекрасно понимал, что в другой ситуации пригласить таких девушек у него не было никаких шансов. Теперь, по прошествии стольких лет, я думаю, что мы недооценили Славика, он переиграл мудрого Вуккерта, ведь тот предупреждал его ни в коем случае не беспокоить девушек и не надоедать городским парням, а заниматься исключительно музыкой. Наверное, Слава больше всех оценил тот вечер, он сократил дистанцию своего взросления и своего вхождения в число «избранных» Мартука на



несколько лет. Славик Афанасьев, ставший известным зубным техником, всю жизнь прожил на широкую ногу, никогда не имел проблем с деньгами, но они не принесли ему счастья. Он тоже умер очень рано по той же причине, что Роберт и Рашат.

Неожиданно в разгар застолья у девушек возник жгучий интерес к персоне Бориса Паляя. Поистине, женщина — вечная тайна, непредсказуемая, не знаешь — как, чем вызвать ее интерес. Боре в тот вечер это удалось с лихвой. На столах, по нашим меркам, имелось все, чего только душа пожелает. Мама Славика, конечно, расстаралась, но и наши девушки вместе с хозяйкой дома тоже много чего напекли, нажарили, натушили, настрогали. Отсутствием аппетита не страдал никто, кроме обиженного Славика, многое и девушкам пришлось по вкусу, о ребятах и речи нет. Несмотря на горящие глаза и накалявшиеся страсти, все вокруг уплетали за обе щеки, но девушкам, даже на этом активном фоне, бросился в глаза аппетит нашего друга Бори. Мы, конечно, знали о его возможностях, но впервые оказались за столь богатым столом, где не нужно было себя ограничивать или думать, что кому-то чего-то не достанется. Девушки даже затеяли азартную игру, соперничество — они наперебой любезно, с улыбкой стали обращаться к нему: «Боря, Боренька, пожалуйста, съешь это, попробуй то, это я пекла» — и протягивали то аппетитное ребрышко, то куриную ножку, то грудку гуся или утки. Кто-то подкладывал ему, глядя ласково в глаза, блинчики, фаршированные мясом, кто-то подсовывал домашние соленья для аппетита, иная спешила подлить ему рюмочку, не дожидаясь очередного тоста. Короче, сияющий Боря затмил всех, оказался в центре внимания. Наверное, девушек разбирало любопытство — когда же он остановится. Они даже на время о танцах забыли, облепили нашего друга, окружив его вниманием и заботой. Что, конечно, вызвало у нас жгучую зависть, кому не хотелось получить из этих прекрасных рук хоть пирожок какой-то и услышать при этом: «Съешь, милый, съешь».

Вуккерт, зная аппетиты Паляя, даже ехидно заметил: «Не думал, что порок так легко возводится в добродетель» — но его никто не слышал. Спас ситуацию Володя Колосов, он вынес на большом блюде из вокзального ресторана, откуда была и большая часть посуды, плов, посыпанный рубиновыми



зернышками граната, этому его научила мать Славика. Володя чуть ли не силой вернул девушек на свои места, приговаривая при этом: «Плов ждаты не любит, плов едят горячим, баранина быстро остывает». Он требовал отведать свое творение, из-за которого он пропустил новогодний бал в школе. Чего-чего, а плова, да такого аппетитного, никто не ожидал, для каждого Володя припас по замечательной косточке. В комнате запахло восточными приправами, в рисе мелькали какие-то черные зернышки, и Володя небрежно давал нам пояснения — это барбарис, это зра, это дашнабадские гранаты, и мы вмиг перенеслись на Восток. Я тут же включил на всю мощность соответствующее моменту популярное в ту пору «Арабское танго» знаменитого Батыра Закирова. Забегая вперед, скажу: я не предполагал в ту минуту, что лет через семь-восемь буду общаться с Батыром Закировым накоротке, а позже наши сыновья станут одноклассниками.

Так закончилась получасовая слава Бориса Палия, и виной тому — плов. Наверное, больше никогда Боря не испытывал к своей персоне такого внимания, да еще такого количества красавиц. Это был его звездный час, его окружал такой гарем! всю жизнь, попадая на богатые застолья, я мысленно говорил себе — вот сюда бы Борю! Особенно часто я стал повторять эту фразу, когда открылись границы и на морских курортах Испании, Италии, Греции и на Лазурном берегу, где я отдыхал с супругой, нам предлагались щедрые, порою фантастические шведские столы. Шутливая фраза стала семейной, и моя Ирина, никогда не видевшая Борю, иногда в восторге от роскоши столов опережала меня — вот сюда бы Борю! Бори нет уже почти десять лет, и эта фраза оборвалась с его смертью. Но к Боре мы еще вернемся, он все-таки заслуживает отдельной страницы.

Под утро случился еще один курьез. Кто-то громко затарабанил в окно, мы с Вуккертом кинулись к двери, подозревая, что чья-то матушка решила проверить, чем заняты их детки — время было суровое, надзор за нами был. Распахнули дверь, а там огромный милиционер в белом полушубке, строго спрашивает: «У вас все дома? Никто не потерялся?» Мы в один голос — у нас все дома, заходите. А из-за его спины выглядывает улыбающийся Роберт. Оказывается, среди ночи Тамара засобиралась домой, ей строго наказали вернуться не позже



трех часов, Роберт вызвался ее проводить, ушли по-английски, не попрощавшись. А на обратном пути он заблудился. Тамара жила далеко, на другом краю села, возле Чипигиных. Плутал, наткнулся на милицию, зашел, представился, фамилия в области на слуху, и его решили проводить, чтобы не замерз, не заблудился, ночь выдалась холодная. Мы пригласили нежданного гостя в дом, появление милиционера вызвало оживление, интерес, усадили его за стол. Парень оказался компанейским, веселым, он очень красочно поздравил нас с наступившим 1958-м годом. Кто-то пошутил, что хорошо начинаем новый год, с поздравления власти, а это, мол, добрая, проверенная примета. Подняли бокалы и за это.

Но вернемся к Боре Палию. Он — мой одноклассник, как и многие в этом повествовании. Учился неважно, пошел работать после семилетки, получил аттестат в вечерней школе, как и большинство в ту пору. Та школа так и называлась — школа рабочей молодежи, в масштабе страны она сыграла огромную роль. Боря отличался упорством, а если точнее, какой-то неистовой упертостью, даже если был и не прав. Как говорили у нас в ту пору — он был себе на уме. Жили мы на одном краю села, их усадьба выходила огородами в степь, прямо на мусульманское кладбище. У них были большой дом, огромный двор, переходящий в необъятные огороды, и даже сад. Двор был полон птицы: кур, индюков, гусей. Держали они и свиней, в загоне всегда хрюкали три-четыре кабана, а рядом с сеновалом вместе с баранами стояли две коровы. Наверное, для того, чтобы содержать столько скота и птицы, его отец всю жизнь работал грузчиком на элеваторе. Сколько помню, у них всегда во дворе на цепи бегали огромные волкодавы, даже в калитку не войдешь, оттого никто из нас никогда не бывал у него дома, а что видели — только через забор. Прямолинейный Вуккерт не раз по-большевистски говорил о Палиях — последние в СССР куркули, пора раскулачивать! Такие шутки бывали у нашего лидера, понимай, как хочешь.

В начальной школе мы учились во вторую смену и зимой возвращались домой уже затемно большой шумной компанией. Однажды после уроков Боря нас удивил, сказав, что остается на открывающийся кружок шахматистов, который организовал директор школы М.И. Горох, математик. Не успели мы рты





закрывать от удивления, как Боря объявил нам пренебрежительно, как-то непривычно для своего статуса, свысока, мол, директор пригласил его лично, сказав ему, что шахматы очень развивают умственные способности. Мы поняли, что решение Боря принял не сегодня, в руках у него блестела новая, сияющая лаком складывающаяся шахматная доска. Выходило, что он скрыл от нас новость о кружке, никого не пригласил, а вдруг кто-то захотел бы составить ему компанию? Мы все посчитали, что Боря поступил нехорошо, да еще выпендривается перед нами, словно уже успел крепко поумнеть от шахмат, а мы перед ним стоим, как дебилы. Первым нашелся, как всегда, Вуккерт, он вроде с большим интересом переспросил: «Я не понял, что шахматы развивают, улучшают?» Боря, не ожидавший подвоха, важно ответил: «Ум, конечно!» — и постучал себя по лбу. Тогда Вуккерт, уже не ерничая, сказал: «Боря, если мозгов нет, то никакие шахматы не помогут, не трать зря время», — и постучал Борю по стриженной голове под гомерический хохот нашей компании.

Шахматы Боре очень быстро разонравились. Боря останется в памяти мартучан как выдающийся спортсмен, страстный поклонник и пропагандист спорта. Лет до сорока пяти он играл в футбол на соревнованиях и страшно обижался, если его пытались заменить. В лыжных гонках он участвовал вместе с молодыми до пятидесяти лет. Всерьез, профессионально, бегал, прыгал, стрелял, играл в волейбол, баскетбол, гонял на велосипеде. Он и в пятьдесят был силен, как в юности, а телом крепок, как профессиональный боксер. Если в шахматы он пошел тайком, один, то в другие виды спорта кого он только не втянул, говорят, у него и теща делала зарядку. Боря вел здоровый образ жизни, пил редко, хотя аппетит не утратил, помню его по своему юбилею, который я отмечал с земляками. Любимой темой у него стал разговор о долголетию, о здоровье — его сбережении, улучшении, сохранении. Боря вполне мог читать лекции на эту тему и в качестве примера демонстрировать самого себя. Он мог бы на глазах у аудитории по сотне раз отжаться или подтянуться на турнике или кольцах, сделать сотни приседаний и даже продемонстрировать шпагат. Он не сомневался, что проживет до ста лет. У меня есть знакомые олигархи, не говоря уже о простых мультимиллионерах,



но поверьте, даже среди этих баловней судьбы я не встречал ни одного, столь озабоченного здоровьем, долголетием, как Палий. Вот какие феноменальные кладовщики работали на нашем элеваторе, олигархам не чета. Боря с его упрямством одолел заочно единственный в стране Институт профсоюзов в Ленинграде. Получил редчайшую профессию, редчайший диплом. Я убежден, что девяносто девять процентов руководства профсоюзами республики, области, не говоря уже о районном масштабе, не имели столь вожелденного диплома. Профсоюзам принадлежало все: квартиры, путевки, лечение, заграничные поездки — Боря правильно выбрал институт. Но, имея такой диплом, исхитрился всю жизнь проработать завскладом на элеваторе, а пост этот он занял задолго до поступления в институт. Вот где зарыта тайна — почему?

Перед отъездом Вуккерта в Германию я срочно приехал в Мартук попрощаться со своим другом детства, человеком большого природного ума, оставившим яркий след в жизни поселка. Мы обходили с ним памятные нам места и возле парка, а он рядом с элеватором, наткнувшись на Борю. Боря тут же принялся показывать бицепсы, торс, спрашивать меня — перестал ли я пользоваться лифтом по прошлому его совету? Стал настоятельно советовать мне качать пресс, что было абсолютно верно. Вуккерт, понимая, что Боря забирает драгоценное время прощания, утром он уже уезжал, с грустной улыбкой мудреца перебил его: «Боря, дорогой, отстань от гостя, я знаю точно, он не пресс качает, а мозги. Пойми, Боря, человек с головы кормится». Утром, когда мы прощались у калитки, Шпак, словно продолжая вчерашний разговор, одарил меня еще одной вуккертовской сентенцией: «Береги, дорогой друг, голову, с головы кормишься».

Замечательная мысль, я ее часто повторяю другим. И все-таки мы Борю любили, он был верный товарищ, не интриган, на него можно было положиться в любой потасовке — не дрогнет, не побежит. А главное, он всегда хотел перемен, другой жизни и, как мог, стремился к этому. Он тоже уезжал из Мартука, работал до армии с Витей Будко в Рудном, не прижился там, как и Витя, вернулся домой, обзавелся семьей, как говорили у нас — бросил якорь. Он женился на Люде Епифановой, она работала в парикмахерской, я ее не помню,



она моложе нас, но двух ее непутевых братьев помню хорошо, они тоже рано покинули Мартук.

Вспоминая Роберта, мы говорили о стилягах. Если в городе еще можно было спорить, кто был первым стилягой, а кто вторым, то в Мартуке эта тема закрыта. Первыми были мы с Витей Будко, а третьим приобщился к нам Боря. Сколько нападок, насмешек, издевательств, официальной неприязни от властей пришлось нам выдержать — не высказать. Казалось, вся работа местного комсомола сконцентрирована на нас. Боря был невысок, коренаст, плечист и с ногами кавалериста. Другой вряд ли бы отважился надеть узкие брюки или длинные остроносые туфли, снова вернувшиеся в моду через пятьдесят лет, ноги у него, действительно, были колесом. Но Борю это не смущало, он был стоек, ему нравилась новая мода. У него была роскошная велюровая шляпа, и очень ему шел светлый китайский плащ с погонами, который он носил с ярким красным шарфом. А еще Боря заразительно смеялся, его смех слышался за два квартала. Теперь такого искреннего смеха я не слышу уже много лет, даже на концертах юмористов, а тот смех, что вы слышите по телевизору — это подложка, монтаж. Сейчас любая глупая шутка сопровождается таким радостным смехом от звукооператора — мерзость невероятная, давно следовало запретить это как фальшь, а заодно и «фанеру» на эстраде.

У Бори был старший брат Леня, он тоже заслуживает внимания. Не зная об их родстве, вряд ли можно было подумать, что это братья, они отличались кардинально. Леня высок, строен, широкоплеч, с тонкими чертами киногероя, красавец. Положа руку на сердце, не могу назвать второго такого в ту пору, даже наш любимец Валера Парамонов рядом с ним тускнел, столь колоритен был Леня. Леню можно сравнить только со Славой Маринюком, знаменитым сердцеедом, но у того была рафинированная, салонная красота, да и ростом, статью Слава, конечно, уступал Палию-старшему. Леня был брутален, как говорят нынче, настоящий мачо, но он вряд ли об этом догадывался и не использовал столь выдающиеся природные данные. Хотя мы предполагали, что он — любимец местных вдовушек и навсегда засидевшихся из-за войны невест. Сегодня Леня не сходил бы с обложек самых знаменитых глянцевого журналов и был бы лицом какой-нибудь парфюмерной фирмы, например,



«Живанши», «Ив Сен Лоран» или любимой мною давно фирмы «Герлен».

В ту пору мы совсем не задумывались, не интересовались тем, кто какой национальности, откуда и как оказался в этих краях. Конечно, сегодня жаль, что мы не расспрашивали родителей, бабушек, дедушек о своей родословной, о своем прошлом. Мы четко были ориентированы на будущее, на светлое завтра и строили коммунизм, тогда он не казался нам несбыточной мечтой. А позади, мы считали, оставалось лишь темное, бесправное прошлое, и оно не заслуживает нашего внимания. Жаль, конечно, что мы так думали, жили только будущим. Судя по фамилии, Палий принадлежали к казакам, которых советская власть уничтожила как сословие, и они, конечно, не упоминали нигде о своих казачьих корнях. Появились они в наших краях, скорее всего, в сталинскую реформу. Недавно отметили круглую дату этой реформы — столетие, срок, по историческим меркам, незначительный. В пятидесятые годы, о которых мы ведем речь, в Мартуке еще были живы мужики рождения 1880-го и даже 1870 года, надгробья с такими датами я много раз встречал на русском кладбище, когда впервые в шестидесятых побывал на могиле Толика Чипигина. Эти мужики, наверняка, хорошо помнят свой переезд на бескрайние благодатные земли Казахстана. Ясно помню деда Пантелеймона Палия, которому было далеко за восемьдесят, вот он, скорее всего, и был родоначальником рода Палий на казахской земле. Отец Бори 1911 года рождения, участник войны, родился уже в Мартуке.

К чему я затеял экскурс в историю, в казачье прошлое семьи Палий? Объясню, это, на мой взгляд, самая неожиданная страница в моем повествовании. Дед Пантелеймон Палий, познавший в молодости казачьей жизни, казачьего уклада, передал в генах только одному внуку, Лене, что-то неистребимо казачье. Судите сами.

Представьте себе 1958 год, идет третья послевоенная пятилетка, уже четыре года осваивается целина, трижды был невиданный урожай, резко изменивший жизнь моих земляков. Появились работа, достаток, кругом строились, даже стилиги собственные в Мартуке появились. Удивительное, переломное время. Я вижу, как на экране, нашу танцплощадку в парке.



Ни в одном фильме, ни одному режиссеру не удалось передать тот невообразимый колорит времени, смешение всего и вся. В ту пору еще никуда не делись блатные со своей униформой — с невероятной шириной брюками клеш, распахнутыми на груди рубахами апаш, неизменными тельняшками под ними. Встречались юноши, молодые мужчины в жарких двубортных костюмах из бостона, удлинённых, по-гангстерски приталенных. Щеголяла молодежь и в скрипучих хромачах, за голенищами которых порою таилась финка, по-местному — пика. Много было ребят в вельветовых куртках на молнии, парней в широченных сатиновых шароварах на казачий манер. И все до одного — непременно в головных уборах: кепках, фуражках, шляпах, кубанках, тубетейках, картузах, особым шиком почитались форменные фуражки военных, в первую очередь морские и летные. Немыслимо, но человек без головного убора в ту пору считался изгоем. Помню, подружки моей сестры Сании, обсуждая какого-то парня, вынесли ему приговор, сказав: «Да у него и кепки-то приличной нет». Странно, все это как-то быстро рассосалось, и человек без головного убора получил все права в обществе. Правда, вмиг остались без работы мастера по кепкам, фуражкам, папахам, шапкам — таких даже в маленьком Мартуке было человек двадцать.

Много встречалось на танцах и таких, кто был одет во что попало, а точнее, во что мог, что имел. Это я только о мужских гардеробах, а каким разнообразием фасонов, стилей отличалась девичья, женская половина танцплощадки — не перечислить. Женские фантазии во все времена безмерны, особенно при бедности. Не зря говорят в народе: голь на выдумку хитра. Очень колоритно выглядела женская обувь: и шпильки, и танкетки, и босоножки, и лаковые довоенные лодочки, доставшиеся от бабушек, и кожаные чупяки с небольшим каблукочком, неизмеримо модные сегодня в Европе, тогда их во множестве шили местные сапожники, коих было гораздо более шапочников. Преобладали ситцевые юбки невероятных расцветок: юбки-клеш, юбки-солнце, цыганского кроя, венгерского — ситец в те годы стоил копейки, а портних, белошвеек, просто мастериц всегда хватало. Обязательно надо вписать в этот калейдоскоп и нас, стилияг, и наших последователей, и подражателей обоего пола. Леня всегда приходил к концу танцев и всегда



крепко подшофе, исключений не помню. Ни буфет на вокзале, ни чайную у мельницы, ни ресторан напротив Парамоновых, ни «Тихую гавань» у почты Леня не любил и не посещал — как все Палии, он был скуповат. Дома ему вряд ли позволяли так напиться, выходило одно — он уже успел проведать какую-то даму сердца. Леня, конечно, был жених хоть куда, чуть больше тридцати, о его фактуре я уже сказал — вылитый мачо, работу, по тем временам, имел престижную — шофер райпотребсоюза, и для него не существовало слова «дефицит». Кстати, у него первого появилась роскошная чешская «Ява» вишневого цвета, вся в хrome и никеле, таких мотоциклов и в городе-то было два-три, и все у сынков высокого начальства. Вторая «Ява» в Мартуке появилась только спустя два года, у сына судьи, нашего доброго приятеля Юры Акимова, чья мать Нажия-апай в молодости тоже слыла красавицей. Рад, что вспомнил достойную семью, лучшего судьи, чем Акимов, в Мартуке больше никогда не было, народ до сих пор вспоминает его добром.

Наверное, вы чувствуете, как я откладываю и откладываю встречу с Леной на танцах. Потерпите, она того стоит. Появлялся Леня на танцплощадке всегда неожиданно, когда легендарная билетерша Соня Музафарова, помнившая безошибочно, кто пришел на танцы по билету, а кто, одолев высокий забор, и никогда не церемонившаяся даже с самыми крутыми блатными, покидала свой пост. Не думаю, что Леня специально поджидал ее уход на темных аллеях парка, но получалось так всегда. Если в тот день на танцах оказывались люди, впервые прибывшие в Мартук, а таковые всегда случались, они застывали в оцепенении, не понимая, что это могло означать. Столь колоритно выглядел Палий-старший. Он появлялся в скрипучих сияющих лаком хромовых сапогах, сшитых непревзойденным мартукским сапожником Петерсом, в которые были заправлены синего цвета галифе из тонкого довоенного сукна, сшитые самим знаменитым Порублевым. Галифе тоже не простые, а самые щегольские, с максимальной шириной в ляжках, да еще обшитые на задку тончайшей кожей, которую Лене раздобыл Гимай-абы, работавший на кожзаводе. На галифе, опережая нынешнюю моду лет на пятьдесят, Леня надевал навыпуск алую шелковую косоворотку с перламутровыми пуговицами, подпоясанную узким кавказским ремешком с накладками из серебряных пластин



по всей длине. Ремешок, бросавшийся в глаза красотой и изяществом, Леня получил в подарок от чеченцев, строившихся рядом, он всю неделю после работы подвозил им глину для самана. Поверх косоворотки, несмотря на жару, он надевал приталенный шерстяной пиджак в полоску вполне модного кроя. В довершение всего на голове была лихо заломлена настоящая казачья фуражка с красным околышем, а из-под лакового козырька выбивался зуб. Фуражку Леня то ли откопал в сундуках своего деда Пантелея, то ли сшил на заказ, в Мартуке и такие мастера имелись. Ну, ни дать ни взять — вылитый Григорий Мелехов, хотя «Тихий Дон» тогда был только в романном варианте. А вот кинокартина «Кубанские казаки» прошла недавно, и в Мартуке ее смотрели по нескольку раз, кстати, это один из первых советских цветных фильмов. И не знаящим Паля казалась, что это артист из фильма заявился на танцы, иного они предположить не могли. Пошатываясь, Леня продирался сквозь танцующих к дальней ограде, где скромно подпирали забор девушки-перестарки, хотя вряд ли кому из них было за двадцать пять. Нам, молодым волчатам, они казались старухами, молодость вообще жестока ко всему. На бледном лице лихого казака горели огнем, страстью очень выразительные глаза, многие девушки очаровывались Леной в эти минуты. Но мы-то хорошо знали, что этот взгляд выражал только одно — презрение к мужчинам. Его взгляд говорил: ничтожество, сброд, хамло, рвань, босяки — смотрите, учитесь, как надо одеваться, какую одежду должен носить настоящий мужчина. Иногда он наткнулся на нашу компанию, останавливался на миг, оглядывая нас всех поочередно, включая Борю, что-то беззвучно бормотал — разобрать не представлялось возможным. Эдакая песня без слов, Марсель Марсо, которому еще только предстояло стать знаменитым мимом. Но мы понимали Леню без слов — чучела огородные, обезьяны, шуты гороховые. Пороть вас надо, правильно делают, что стригут ваши набриолиненные коки и режут ваши дурацкие штаны. В эти минуты мы ясно представляли, какие жаркие бои происходят в доме у кладбища, и гордились Борей, отстаивавшим и свои, и наши права на моду.

Леня остро чувствовал, что остается один или два танца, и быстро оглядывал ястребиным взором из-под лакового козырька казачьей фуражки затихших девчонок у забора,



делавших вид, что не замечают казака-охотника. Каким бы он пьяным ни был, Леня всегда выбирал лучшую в тот вечер. Мы, конечно, с любопытством наблюдали за ним, всегда готовые прийти ему на помощь. Но Леня ни к кому не задибался, да и в Мартуке считалось дурным тоном обижать пьяных. На любой танец, какой бы ни звучал в конце, танго, вальс, линда, Леня шел приглашать. Вот тут режиссеру надо включать камеру. Леня молча подходил к выбранной жертве, делал, покачиваясь, какой-то немислимый реверанс, очень похожий на те, что делали мушкетеры, размахивая шляпами в глубоком поклоне у ног возлюбленных, а затем протягивал руку, не сближаясь. Наверное, Леня в эти минуты был убежден, что он дает нам, мартукским варварам, еще и уроки хорошего тона. Странно, что никогда ни одна девушка не отказывала ему. Леня далеко и высоко откидывал левую руку с зажатой ладонью партнерши, как в аргентинском танго, и начинал свой танец-марш.

Сейчас создан знаменитый клип с десятью танцами из известных фильмов, есть там и знакомый всем танец Траволты с Умой Турман из «Криминального чтива», думаю, попади танец Палия с любой из партнерш в этот цикл, они смотрелись бы не хуже, чем кинозвезды, уверяю вас. Медленно-медленно, несмотря на любой ритм, он вкрадчиво семенил с партнершей по касательной наискосок через всю танцплощадку, и все пары невольно расступались перед ним. Если они кого-то задевали, Леня неожиданно вежливо говорил: «Пардон», ни от кого в Мартуке я не слышал этого слова, и продолжал дрейфовать, пока не наткнулся на забор. Затем разворачивался и отправлялся в обратную дорогу тем же путем, тем же макаром. Завораживающее зрелище! Порою Леня сильно кренился, как подбитый дредноут, казалось, вот-вот рухнет, но такого никогда не случалось. Если оставалось два танца, он и второй танцевал только с той же девушкой, ничего не говорил, не шутил, не шептал на ушко, не соблазнял. Но всегда уходил с танцев со своей партнершей под ручку. «Волшебник», — сказал однажды заворуженно наблюдавший за ними Вуккерт. Боря в эти минуты никогда не танцевал, стоял бледный, сжав кулаки, только тихо шептал: «Позор... Какой позор... Убью!» Чем не казачьи страсти, гены они и есть гены.





Завершая страницы о братьях Паляях, обязан вернуться к Боре. Помните, я написал, что он имел редчайшее образование, редчайшую профессию, связанную с профсоюзами. Я намеренно ввел вас в заблуждение, сказав, что Боря оставил после себя тайну, почему он, имея высшее образование, всю жизнь проработал на элеваторе в скромной должности. Нет никакой тайны, я знаю — почему, мы с ним не раз говорили об этом. Эту тайну я сберег для высокой, достойной концовки рассказа о своем друге легендарном Боре Палие, она добавит новые штрихи к его сложившемуся портрету спортсмена.

По степени прямоты суждений, критическому отношению к власти, системе Боря вряд ли сильно отличался от Шпака, которого я здесь много и от души цитировал. Боря не родился в шелковой сорочке с золотой соской во рту, ничего ему не досталось в жизни на блюдечке с голубой каемочкой. За все, что он достиг, включая образование, Боря заплатил трудом, упорством, всего он добился сам. Не было у него ни толкачей, ни покровителей, да и подличать, подхалимничать, угождать он не умел.

СССР рухнул в 1991 году, но он начал заметно разрушаться уже при Брежневле, как раз тогда, когда Боря получил диплом, открывавший ему дорогу в эшелоны власти. Конечно, еще студентом Боря приглядывался к профсоюзам, с которыми ему предстояло работать. Он никогда не обобщал, не делал политических выводов, скорее из-за врожденной осторожности, чем от трусости. Но еще тогда я понял с его слов, что профсоюзы прогнили гораздо раньше и глубже, чем партия. Это сегодня стало понятно всем, что власть обслуживает только саму себя, блюдет только свои интересы. Но Боря понял это сам, раньше других. Кумовство, блат, казнокрадство, корысть, личная выгода, протекция своему — только этим была занята верхушка профсоюзов на любом уровне. Там и намек на защиту интересов рабочего класса, трудового люда, интеллигенции не просматривалось, Боря изучил их вблизи, как под микроскопом. Особенно он огорчился, увидев жизнь коллег изнутри. На заочном отделении учились в основном функционеры, уже стоявшие во главе профсоюзов на разных уровнях, диплом им нужен был, чтобы не потерять сытую кормушку, и для того, чтобы карабкаться еще выше. Боря рассказывал,



как они шикавали во время сессий в Ленинграде, в каких роскошных гостиницах жили, какие траты себе позволяли, какие гулянки закатывали, на которых поначалу и Боря бывал, но быстро потерял к ним интерес.

Конечно, и в области, и в районе знали, где учился Боря, в ту пору такой учет вели, кадровый голод ощущался во все времена. Но никто и не подумал куда-то его приглашать, кадры подбирались по иному принципу, и им вряд ли был нужен энергичный правдолюб Боря Палий. Я часто вспоминаю Василия Шандыбина, депутата первого созыва российской Думы, простого слесаря, яркого трибуна. Шандыбин говорил, что думал, предлагал то, что нужно государству, народу. Власти такой депутат оказался не нужен, и они быстро лишили его мандата. Российская Дума — как говорят в народе, явление вообще уникальное, половина депутатов — миллионеры и миллиардеры, и рвутся они туда по одной причине: спрятаться от закона, чтобы сохранить и приумножить свой ворованный капитал. Вот таким шандыбиным мне и видится Боря в профсоюзах, если бы ему там нашлось место. Но место ему не светило ни при каких обстоятельствах, да и он сам трезво оценивал ситуацию. Помню, он сказал мне однажды: не хочу лезть в грязь, мараться. Может быть, не по-бойцовски, но зато открыто и честно.

Несколько личных рассуждений о профсоюзах. Уже скоро двадцать лет, как на постсоветском пространстве появились новые государства, и ни в одном из них нет настоящих профсоюзов. Если бы тот институт, что окончил Боря, действительно был Институтом Профсоюзов и готовил кадры, занятые главным — отношениями труда и капитала, для чего и существуют профсоюзы, то его выпускники сегодня были бы на вес золота. Архиважная профессия для каждого государства. Теперь запоздало становится ясно, что и профсоюзы, и их институты оказались фальшью, фикцией. Все надо строить сначала.

\*\*\*

Я рано стал заниматься боксом, но дальше первого разряда, звания чемпиона города, Оренбургской железной дороги, ЦС «Локомотива» не пошел, меня манили иные просторы. Моим первым тренером в 1956 году был Николай Ли, чуть позже



я немного занимался у Александра Перегудова. Актюбинский бокс, на мой взгляд, обязан ему многим. Сама фигура, облик Александра Перегудова притягивали молодежь к боксу. Он был высокий, стройный, я тут же сравнил его с американским актером Грегори Пеком, они были удивительно похожи, помните «Римские каникулы» с Одри Хепберн? Он, как киногерой, был красавец, необычайно элегантен, красиво одевался — франт, одним словом. Думаю, это он, Перегудов, привил в Актюбинске высокотехнический, элегантный бокс, где ставка делалась на технику, движение, скорость, молниеносные нырки, уклоны. В Казахстане есть несколько ярких, заметных боксерских школ, одна из них — актюбинская. наших боксеров настоящие любители бокса всегда узнают по стилю. У Перегудова было много выдающихся учеников, назову только одного из своего времени — блистательного Кайрата Нургазина, кстати, первого в Актюбинске мастера спорта по боксу, он получил звание ровно пятьдесят лет назад, в 1958 году. Этим я хочу отметить, что большой бокс в Актюбинске имеет глубокие, давние традиции, потому мы и видим сегодня своих чемпионов мира, Олимпийских игр, таких как Галим Джафаров, Ермахан.

Николая Ли, моего первого тренера, конечно, хорошо знают и помнят в Актюбинске, и я хочу поведать вам краткую историю этого талантливого тренера, нашего земляка, актюбинца. Лет пятнадцать назад я смотрел по телевизору трансляцию из Нью-Йорка боев профессионалов за звание чемпиона мира в весе до семидесяти одного килограмма. В этой категории боксеры блистают техникой, но и нокаутирующий удар имеют. В перерыве между раундами мне показалось знакомым лицо одного из тренеров-секундантов. Он был далеко не молод, совершенно седой, но очень подвижный человек, чья манера нырять в ринг, покидать его отличалась таким изяществом и напомнила мне кого-то до боли знакомого. Я стал внимательно вглядываться в экран, особенно в перерыве, когда показывали красный угол, где давал наставления понравившийся мне тренер. И вдруг, когда он, стоя ко мне спиной, сделал какое-то движение, разговаривая со своим учеником, я почувствовал, что это Николай Иванович Ли, мой первый тренер. Я высказал догадку своей супруге Ирине, на что она скептически улыбнулась и сказала: «Ты, наверное, забыл, что боксом занимался



сорок лет назад. Разве может человек так долго пребывать в спорте, даже тренером?» Конечно, в ее словах был резон, но что-то мне подсказывало, что это мой тренер, это его почерк, стиль, присущий только ему всю жизнь, как ДНК. Я стал внимательно вслушиваться в голос диктора, когда он в перерыве между раундами рассказывал о боксерах и тренерах, и вдруг прозвучало: Николай Ли! Я не ошибся! Жив был мой тренер, на коне, и его американский ученик в тот вечер стал чемпионом мира. Долгих лет вам, дорогой Николай Иванович Ли!

\*\*\*

Лет пятнадцать назад, когда мои книги выходили миллионными тиражами, издавались одни за другими собрания сочинений в России и на Украине, на меня, наконец-то, обратили внимание и в Казани. И моя жизнь, мое творчество и биография стали предметом пристального внимания, изучения. Татар удивляло все: мое строительное образование, мое казахское происхождение, моя любовь к родным степям, ответная любовь земляков, мое увлечение театром, музыкой, спортом, огромная коллекция современной живописи и, конечно, мои неслыханные для Татарстана тиражи книг, бесконечное переиздание моих романов. Откуда он взялся такой? Из Мартука? Из Казахстана? Чей он сын? Чей он зять? Кто стоит за ним? У нас в Казани отродясь не было среди писателей таких меломанов, театралов, известных коллекционеров живописи. Но от фактов не отмахнуться — романы изданы по десятку раз каждый пятиmillionным тиражом, собрания сочинений можно найти на сайте [www.mrgaul.ru](http://www.mrgaul.ru), а в знаменитой Интернет-библиотеке [www.lib.ru](http://www.lib.ru) можно найти не только все мои произведения, но и то, что о них говорят в мире. И в меня стали вглядываться дотошно, появился и знаток моего творчества — писатель Рафаэль Сибат. Он знает все мои произведения, начиная с самых ранних. Это он сказал обо мне емкую фразу: «Рауль Мир-Хайдаров для нас, татар, неоткрытая Америка. Колумбы нужны, Колумбы». Рафаэля Сибата тоже удивляло: откуда у сельского мальчишки, выросшего в бедном поселке в доме с земляным полом, где не было ни одной книги, где свет появится только в 1959 году, такая тяга к искусству, литературе, музыке, живописи? Его интересовало, что сделало меня писателем,



почему мои книги издаются гигантскими тиражами, почему в век равнодушия к книге у меня есть свой читатель? И, представьте себе, он все-таки нашел ответ на все эти «почему». И я согласился с ним — он узрел корень, начало всех начал.

Культуру человека формирует среда, семья — убежден Сибат, но какая была у меня среда в нищем Мартуке или послевоенном провинциальном Актюбинске? Конечно, не она способствовала тому, чтобы вырастить человека рафинированной культуры, не говоря уже том, чтобы он стал писателем, творцом собственного мира, который будет очаровывать миллионы читателей. Рафаэль Сибат уверенно сказал: «Рауля Мир-Хайдарова воспитало, создало кино!» Да, да — кино, которое так рано появилось в моем детстве и с которым я никогда не расставался. Кино дало мне то, что не могли мне дать моя семья, моя среда, окружающая меня реальность. Как сказал рано ушедший из жизни Рафаэль Сибат: «Рауль был талантливый зритель, он видел в кино то, что нужно было видеть. Он углядел главное, что сформировало в нем не только мировоззрение, но и вкус, культуру. Именно из фильмов он узнал, какая великая музыка наполняет мир человека, какие шедевры — литературные, живописные, архитектурные — созданы человечеством за века. Из кино он узнал о большой любви, узнал, что такое долг, честь, как и предательство, трусость». Как я говорил, кино в то время было высоко гуманистическим. Кино ценило и воспитывало человеческие идеалы, не путало добро и зло, оно формировало человека духовного.

Процитируем еще раз Рафаэля Сибата: «Раулю Мир-Хайдарову выпал единственный шанс — узнать, увидеть мир через кино, сделать кино своим учителем, ориентиром в жизни, и он не ошибся. Кино вывело его в большую жизнь, большую культуру, большую литературу. Он выдернул козырного туза из колоды под названием «жизнь».

\*\*\*

Мое поколение четко ориентировали не на личный успех, а на то, чтобы быть полезным Отечеству, народу. Оставить след в жизни, важный для общества и потомков, крайне трудно, это удастся лишь выдающимся личностям. Это люди, создавшие основополагающие, фундаментальные ценности мира:



в религии, философии, морали, эстетике, праве, медицине и, конечно, в технике. Тут вклад личности понятен каждому — это люди, давшие нам свет, радио, телевидение, компьютер, Интернет, пенициллин и т. д. Или такие, как Мухтар Ауэзов, написавший великую книгу «Путь Абая», где миру широко и ярко представлены казахи. В этой книге все о казахах, это энциклопедия их быта, культуры, истории, тут вековые мечты и чаяния народа. Редкий случай, когда художественное произведение стало самой историей народа, столь много вложено в эту эпопею. Если назвать десять главных книг человечества, в список которых в первую очередь входят Коран, Библия и Талмуд, то труд Мухтара-ага, безусловно, в этой десятке. Его книга — достойнейшая визитка казахского народа. Как жаль, что у нас, у татар, нет такой всеобъемлющей книги о нашей нации, как нет ее, к сожалению, у многих и многих народов.

Я привел конкретный пример, что значит «оставить след в жизни». Остальным гражданам, коих миллиарды, включая и меня, очень трудно оставить след во времени, то есть в истории. Даже при жизни нелегко быть оцененным по достоинству. Но у каждого из нас есть реальный шанс остаться в памяти своих современников, и это зависит не от окружения, а от тебя самого, твоих душевных качеств: как жил, каким человеком был, каким другом. Для меня это, может быть, даже важнее, чем стать известным за пределами села. Спорное утверждение, но никого не буду переубеждать, для меня важна оценка земляков. К чему столь длинная преамбула в конце? К тому, что я уже слышу голоса некоторых недовольных мартучан: «Нашел о ком писать, о братьях Гайфулиных, пьяницах, о каком-то Копченом — Коле Карабаеве, загубившем свою жизнь, о каких-то девицах, упорхнувших из родного гнезда полвека назад и ничего не сделавших для Мартука. Про меня надо было писать, про меня!! Я ведь в начальниках всю жизнь проходил, потому как партбилет имел, а теперь вот и в новую партию записался на всякий случай. Зачем писать о Палие, имевшем диплом во власть, но оставшемся на элеваторе?»

Вот бы мне тогда тот диплом, наверное, подумали с завистью многие даже сегодня. Уверен, история с дипломом Бори Палия будет обсуждаться в Мартуке долго. Но я должен признаться, если бы Боря пошел работать в профсоюзы, он уже не



представлял бы для меня интереса и не было бы о нем в этих воспоминаниях таких душевных страниц. Карьеристов пруд пруди кругом. Его моральный выбор — поступок, достойный памяти. Признаюсь дальше, карьерный рост тех, кто рвался к креслу, должности, думая только о собственной шкуре и выгоде, ни для меня, ни для литературы интереса не представляют. К сожалению, карьеризм, в худшем понимании этого слова — распространенное явление. А в памяти народной остаются совсем другие люди. Неожиданный пример, который иллюстрирует мою позицию. Я хочу рассказать о Толике Солохе, брате очаровательной гадалки, предсказавшей всем нам в доме Гены Лымаря дальние дороги, казенные дома и раннюю печаль. Кстати, я запоздало признателен Тамаре за название романа «Ранняя печаль», посвященного Мартуку. Толя погиб на том самом красивом озере у водокачки в Кумсае. Он пытался спасти девушку, которая, срывая лилии, выпала из лодки и запуталась в гибких и крепких стеблях дивных цветов, они утонули оба. Мы всей школой проводили их в последний путь. Толя Солоха ничего не успел сделать в жизни, но своим поступком он остался в памяти людей рыцарем, настоящим мужчиной. Такое не забывается. На таких, как Толя Солоха, и держится мир.

Конечно, я слышу и голоса некоторых завистливых татар, тоже из мелкого-мелкого начальства: «Гимай Гайнутдинов? Какой он герой? Почему о нем? Нашел о ком писать, о малограмотном работяге, всю жизнь пропахавшем на тяжелой, грязной, малооплачиваемой работе». Да-да, все верно, это о Гимае-абы, только надо добавить: о фронтовике-разведчике, орденоносце, достойнейшем человеке, воспитавшем пятерых прекрасных сыновей. Это он нокаутом остановил бахвалившегося амурными подвигами в Мартуке в годы войны с вдовами своего родственника, начальника Шайхи Гайнутдинова, развлекавшегося, оказывается, зачастую на пару с другим татарским уклонистом от армии Мухаметзяном Шакировым. Гимай-абы защищал не только свои честь и достоинство, но и честь всех тех, кто не вернулся с войны. Я рад, что в мартукском музее в одном из моих альбомов есть фотография дорогого Гимай-абы, он часто бывал у нас дома, дружил с моим отчимом-фронтовиком. На фотографии Гимай-абы снят со своими детьми, супругой, жаль, что старший сын Раззак, которого помнят,



как хорошего футболиста, лет десять назад умер. На фотографии вы увидите, какое у Гимая-абы благородное лицо, какой открытый, честный взгляд. Таким он и остался у меня в памяти.

\*\*\*

Я много ссылался в воспоминаниях на память, но это память индивидуальная, личная, а есть и народная память, в ней откладываются события глубинные, важные. Пример? В этом году страна отмечала шестьдесят семь лет начала Великой Отечественной войны, дату, незабываемую и для Мартука, у нас не вернулись девять из десяти призванных на фронт. Теперь уж кто вспомнит — кто воевал, кто уклонялся, не мог этого знать и я в силу возраста. А память народная, оказывается, все помнит, все хранит. Года три назад я делал поминки своим друзьям, знакомым, просто землякам, у кого в Мартуке не осталось родственников, чтобы помянуть их по мусульманскому обычаю. Идею поминок и списки, кого хочу помянуть, я согласовал с нашим муллой Зияутдином-хазратом. Мой поминальный список оказался не мал, но пришлось и добавить кое-кого по ходу молебна. Отмечали в мае, в дни Победы, за столом были фронтовики, и, слово за слово, речь зашла о далеком 1941 годе. Рядом с муллой сидел человек из города, который, оказывается, в день объявления войны косил сено с моим отцом напротив 35-го разъезда в районе Кумсяя. Это к ним прискакал гонец из Мартука с печальной вестью и с приказом моему отцу явиться к вечеру на сборный пункт. Тогда этому парню было четырнадцать лет. Этот человек, Шамиль-абы Шарипов, читавший мои книги, оказывается, давно искал встречи со мной. На следующий день мы с Шамилем-абы поехали на то самое поле и сфотографировались. Ничего на этом пустынном поле не изменилось, если не считать, что текущий рядом Илек иссяк, обмелел, погибает. Но вернемся к поминальному столу. Конечно, после такого неожиданного воспоминания Шамиля-абы все разговоры пошли о войне. Кто с кем, когда уходил на войну. Вот тогда, тоже случайно, выяснилось, кто из татар воевал, а кто с партбилетом в тылу остался. Я несколько раз переспросил у фронтовиков: вы не путаете, может, они позже вас призвались? Те укоризненно посмотрели на меня и почти в один голос ответили: такое





никогда не забывается. Война — особое чистилище для мужчин. Поистине — никто не забыт, ничто не забыто!

\*\*\*

О ком еще хочется написать? Конечно, прежде всего о соседях. О Бектимировых, сейчас один из внуков Рскали-ага и Науши-апа учится в Англии, в Кембридже, туда он попал, выиграв международный конкурс. Уверен, мы будем иметь в лице Нурлана ученого с мировым именем. Очень хочется рассказать о большой семье Исановых, бабушка Сарби-апай больше полувека принимала роды у всех мусульманок, сколько поколений мартучан прошло через ее руки! Адик Исанов, Юра и Булат тоже заслуживают отдельного разговора. Нельзя обойти вниманием соседа Мустафу-ага Сулейменова, бухгалтера райпотребсоюза, его дочерей-красавиц Алимуну и Розу. Роза — моя одноклассница, стала врачом, после института осталась в Алма-Ата. Сулейменовых, кажется, тоже не осталось в Мартуке. О Жанбасыновых: Агымбай учился со мною, а его брат Абай — с моей сестрой Санией, общались и наши матери, обе рано овдовели в войну. Совсем не написано о станционных семьях, о начальнике станции Смолове, его сыне Александре. О Павкиных, чья дочь Нина — единственная, кто защищал меня, когда мне угрожало исключение из пионеров. У нее были младшие братья, очень сложные ребята, одного из них рано убили. Конечно, хочется написать о прекрасной семье Верещак. Леша — мой одноклассник, а младший, красавчик Коля, стал зятем Григорьевых. Людю Верещак я случайно встретил в 1968 году в Джамбуле, она работала на вокзале билетершей. Жаль, из большой семьи никого не осталось в Мартуке. Обязательно надо бы написать о Жорике Бапиеве, почти единственном знаменитом лыжнике из казахских ребят, о его красавице-сестре Батиме, работавшей в бухгалтерии райпотребсоюза. Она отличалась не только красотой, но и характером. Батима в юности нравилась многим, и мне тоже. Батима часто возникает у меня перед глазами: в голубом бархатном жилетике, и две длинные черные косы до пояса. У нее счастливая судьба. Она вышла замуж за хорошего парня, приезжего — Усена Жаманшалова, он у нас возглавлял комсомол, потом райком. Многие мартукские женихи, наверное, до сих пор не



могут простить ему, что он украл лучшую невесту Мартука шестидесятих годов. Жорик, которого я знал больше по спорту, к сожалению, умер рано, по той же причине, что и Рашат.

О братьях Музафаровых, старшем — Марсеттине-абы, чьей женой была легендарная билетерша тетя Соня, среднем брате Фархетдине по кличке Птын — знаменитом футболисте, левом хавбеке, и о младшем Мише, единственном из оставшихся в Мартуке Музафаровых. Вот о ком мне хочется написать отдельно и с уважением.

\*\*\*

Хочется добавить еще несколько важных штрихов к портрету соседа Убына-ага Берденова. Убын-ага, безусловно, обладал высокой поэтической душой, не зря же он назвал своего старшего сына Лермонтом, в честь Михаила Юрьевича. Не менее интересное имя и у его младшего сына, он и по сегодня живет в Мартуке и зовут его почему-то Женя, но его настоящее имя — Тесей, оно из греческой мифологии, очень красивое имя. Многие ли из нас дают такие роскошные имена своим детям? А Убын-ага ввел в обиход своего народа два редких имени, не всякий профессор-филолог догадается внести такую лепту в историю казахских имен.

Кто помнит Убына-ага, тот без раздумий скажет о нем — большой вольнодумец, правдуруб, правдоискатель, за справедливость на плаху пойдет. Я сам не раз слышал, как он выговаривал местному начальству: я хозяин земли, это земля моих предков! За такие слова тогда запросто можно было голову потерять, но, слава Аллаху, сия чаша миновала его. Умер Убын-ага своей смертью, у себя дома, в своей постели, раны добились танкиста раньше времени. Богатырского вида, богатырского здоровья, казалось, был этот могучий человек. Я очень жалею, что мой сосед-фронтовик не дожился до независимости Казахстана, он был одним из тех, кто еще шестьдесят лет назад, вернувшись с войны, искал свободу своему Отечеству.

С Убыном-агаем связана еще одна яркая культурная страница в жизни Мартука, опять же — эксклюзивная. В пятидесятые годы Москву и Алма-Ату связывала только железная дорога. Убын-ага состоял в каком-то родстве со знаменитой Куляш Байсеитовой, уже в ту пору народной артисткой СССР.



Она возвращалась из Москвы после гастролей домой в Алма-Ату. Любой поезд в ту пору подолгу стоял в Мартуке, и мы видели многих известных людей своего времени живьем на нашей станции. Я не уверен, что Куляш Байсеитова давала обещание Убыну-агаю остановиться у него в гостях в Мартуке, но, зная характер своего соседа-орденоносца, предполагаю, что он попросту вынес ее из купе на своих могучих руках, пообещав отправить в Алма-Ату на другой день. Но, как бы там ни было, великая певица остановилась в Мартуке. И с вечера до глубокой июльской ночи во дворе Берденовых шел той, кипели три-четыре самовара, один из нашего дома. Искатели правды редко бывают богаты и благополучны, Убын-ага, хотя и имел работу как фронтовик и орденосец, жил тяжеловато. Я бывал у Лермонта чуть ли не каждый день, и двери этого дома всегда были распахнуты настежь. Но казахи дружны, поддержат и с тоем, и с похоронами, а тут выпал такой случай встретить высочайшую гостью, да и старался Убын-ага, как обычно, не только для себя. Соседи Бектимировы, Жангалиевы, Сулейменовы, Жумагуловы снесли в дом Берденовых лучшую посуду, самовары, курпачи, бархатные подушки, войлочные кошмы, ковры, а главное, что было в доме из еды. К приезду Куляш Байсеитовой дом было не узнать. Во дворе под деревьями расстелили кошмы, покрыли их красивыми курпачами, коврами, набросали бархатных подушек, накрыли богатый, по тем временам, дастархан. Во дворе в нескольких казанах, для которых нашелся и баран, на открытом огне что-то жарилось, варилось, тушилось. Думаю, это Рскали-ага Бектимиров вымолил барана в колхозе в счет будущих трудодней. Рскали-ага пользовался большим авторитетом в Мартуке, позже и орден Ленина имел.

А в тихой бархатно-черной ночи под высоким яркозвездным небом Мартука был далеко-далеко слышен голос великой певицы, уважившей и наш поселок, и своего родственника Убына Берденова. Убын-ага, спасибо вам и через пятьдесят семь лет за тот праздник, что вы устроили своим землякам. Пусть земля будет вам пухом, и пусть земляки чаще вспоминают вас. Вы, ваши дела, ваши помыслы — достойны памяти!

И последнее. Те, кто искренне заинтересовался и Убыном-ага, и знаменитой Куляш Байсеитовой, ступавшей по земле



Мартука, наверное, спросят, где же в ту пору стоял дом Берденовых? Дом стоял на углу Украинской, где сейчас яблоневый сад Рафхата Шакировича. Дом после Берденовых несколько раз переходил к разным хозяевам. В 1994 году я лично купил эту землю из-за территории у своей родственницы Сафии-апа. Тогда же я приобрел в Москве и привез в Мартук редкие селекционные сорта яблок и других фруктовых деревьев, цветов, кустарников, и в ту же осень заложили сад, и все замечательно прижилось. Сегодня сад в золотой поре, выходит, я невольно заложил сад в память Убына-ага и Куляш Байсеитовой. Если будете проходить мимо этого прекрасного сада, подойдите к забору и вспомните Убына-ага и великую Куляш Байсеитову — они заслуживают этого.

\*\*\*

Интересный молодой человек появился в Мартуке в 1960 году, он модно одевался, увлекался спортом, имел высокий разряд по боксу. А главное, он оказался общественно активным — занимался в самодеятельности, хорошо пел, выступал на концертах. Я тогда подумал, вот наконец-то появился лидер у казахской молодежи, верил, что вокруг него сплотятся местные ребята. Но... к сожалению, этого не случилось. Наверное, потому, что уж очень влекла этого парня работа во власти. Он быстро вступил в партию, рано оказался в райкоме инструктором, там и проработал всю жизнь. Жаль, какая была поначалу яркая, самобытная, талантливая личность! Я имею в виду Анатолия Табанова. Он сейчас на пенсии, мы иногда видимся с ним, он не потерял прежнего чувства юмора, общителен, как в молодости. Ему есть, о чем рассказать мартучанам, человек он наблюдательный, зоркий. Я от души желаю своему ровеснику здоровья, благополучия в старости, он — наш, родной, мартукский.

\*\*\*

Конечно, подробнее надо бы о Чипигиных. У Толика были братья, старший Володя и младший Федор, хорошо я знал их отца, мать. Толя умер рано, и о том, что он был незаурядной личностью, знают очень мало людей, к сожалению. Он — прирожденный лидер, вожак. Как и Вуккерт — остроумец,



за словом в карман не лез. Хочу рассказать случай, чтобы вы оценили его сметку. Толя имел заметный дефект левого глаза, он им почти не видел, но и с одним глазом он оказывался зорче многих. В одну весну, когда стали призывать в армию его ровесников и кругом на танцах разговоры были о том, кого в какие войска призывают, кто-то задает ему нелепый вопрос: Толя, а тебя в какие войска призвали? Другой бы, наверное, сконфузился, осекся, но Чипигин нашелся сразу, на полном серьезе твердо объявил: «Прокопов сказал, Чипигин, ты остаешься дома, будешь бить немцев здесь, на месте». Конечно, большинство поняло шутку, но нашлось трое-четверо ребят, поверивших Чипигину и даже позавидовавших ему. Я сам тому свидетель.

Родные места, родные люди, одна фамилия цепляет другую и мгновенно обрастает историей. Одна может тянуть на рассказ, другая — на повесть, а большинство — на роман. Столь сложны, противоречивы, но всегда достойны внимания судьбы моих земляков.

Прокопов, якобы разрешивший Толе Чипигину бить немцев на дому — военком нашего поселка. Видный мужчина, полковник, очень строгий. Он, наверное, пустил бы себе пулю в лоб, если бы знал, что его единственный сын станет наркоманом, пьяницей, бомжом. От бомжа Прокопова-младшего лапа беды протянулась и к моим родственникам. Правнучка властной слепой старухи Мамлеевой и внучка моей тети Хатиры-апай стала сожительницей и собутыльницей Прокопова-младшего. Такого альянса, такого вырождения рода можно было ожидать от кого угодно, только не от Прокоповых и Мамлеевых, столь высоко нравственных людей я в своем детстве больше не встречал. Поистине, пути Господни и судьбы людские неисповедимы.

\*\*\*

Хочется закончить воспоминания на высокой ноте, отдать должное всем жителям Мартука. Задача почти неразрешимая, но я постараюсь, у меня припасен на этот случай редкостный пример. В начале девяностых, когда из-за безответственности наших горе-руководителей рухнула великая страна, одна из двух супердержав мира, вмиг оборвались хозяйственные связи на одной шестой части мира — от Калининграда



до Владивостока. Кто остался без топлива, кто без света, кто без хлеба, а большинство окраин лишились всего сразу, даже надежды потеряли. Но жить надо при любых условиях, и каждый спасался как мог. Та зима, о которой я хочу напомнить, пришла в Мартук рано, раньше обычного, и таких трескучих морозов не случалось давно. Но дело не в морозах, к ним у нас привыкли. В тот год Мартук остался без угля, ждали его все лето, но так и не дождались, хотя обнадеживали. В ту зиму сожгли все заборы, спилили во дворах большие деревья, лесополосы вокруг села поредели крепко. В один из декабрьских дней, незадолго до Нового года, на станцию к вечеру завезли несколько вагонов угля для отопления административных зданий. Власти не смогли сразу организовать вывоз угля на объекты, и он остался до утра. Конечно, весть об этом быстро распространилась по поселку. С наступлением темноты многие жители села, у которых было отчаянное положение — нетопленная изба, больные старики, дети — потянулись на станцию. Кто с ведрами, кто с мешком, кто с корзиной, кто с санками, кто со старым корытом на бечевке — за углем, чтобы хоть день-два побыть в тепле, приготовить еду, вскипятить чай. Мне ситуация эта хорошо знакома, так мы жили в войну и после войны, я с десяти лет отирался на станции, добывал уголь возле паровозов или собирал шлак в отвалах. Сегодня у моих земляков не было и таких вариантов, паровозы давно отбегали свое, а горы шлака давно пустили на строительство. О цене угля в нашем детстве я написал в рассказе «Станция моего детства». Там цена кучки угля была явно завышена и стоила нескольких детских жизней.

Понимаю, какой-то нетерпеливый читатель уже кривит губы и говорит: какая невидаль, такие случаи, когда растащили уголь, дрова, зерно, хлеб или иное добро, в дни лихолетья не редкость. Но я прошу нетерпеливых немного подождать. Согласен, такое происходит повсюду и случалось, к сожалению, тысячи и тысячи раз. Но у нас в Мартуке все произошло по-другому, подобного развития событий я не встречал ни в мировой литературе, ни в мировом кинематографе, ни в прессе, даже не слышал ничего похожего. Понятно, мои земляки пошли ночью на станцию по крайней нужде, загнанные обстоятельствами в тупик, в эпоху безвластия, анархии, всеобщего



озлобления, при отсутствии перспектив для себя, для семьи даже на ближайшие дни, месяцы. Но, как бы ни был им нужен уголь, тепло, они хотели сохранить свое лицо, им не хотелось выглядеть ворами перед односельчанами, даже если все их преступление составляло несколько ведер угля. У меня не поднимается рука написать хоть одно слово осуждения в адрес тех, кто в ту ночь отправился за чужим углем. Эта ночная сцена на станции моего детства еще крепче сроднила меня с земляками. Пятьдесят шесть лет назад за добытый мною уголь у паровоза меня хотели исключить из школы, из пионеров. Как грустно и печально история повторяется даже в таких мелочах! Понятно, что никто моих земляков поход на станцию не организовывал, не подбивал, слишком быстро развивались события, все случилось спонтанно, в одном порыве. Приготовьтесь. Вот главное, ради чего стоило писать, что в корне отличает поведение моих земляков от людей, принимавших участие в таких событиях, мы ведь уже говорили, что подобное в мире повторялось тысячи и тысячи раз. Мои земляки и тут нашли выход из патовой ситуации. Все пришли за углем в масках, разумеется, не в театральных, каждый скрыл свое лицо чем смог. И это не все. Никто не обронил ни одного слова, каждый молча набивал свой мешок, корзину, свое ведро и так же молча уходил в темноту. Есть фильм Витауса Жалакавичуса «Никто не хотел умирать», в нашем случае напрашивается «никто не хотел воровать». Никто не хотел быть свидетелем и очевидцем чужой беды. Молодцы мои земляки! Я горд вами, что вы не уронили своего достоинства, своего лица даже в такой драматической ситуации. Вот почему я всегда утверждал и буду утверждать, что мартучане — особые люди, у них иной полет, иная высота.

*Москва,  
2006—2008*









## Чигатай, тупик 2

Рассказ

**В** городе сносили и строили, строили и сносили... Исчезали кривые улицы почти библейской древности, горбатые пыльные тупики и переулки; исчезали целые кварталы-махалли с высокими глинобитными дувалами скрытых от глаз подворий.

Уходило прошлое навсегда, навечно. Уходило тихо и шумно, с радостью и печалью.

И оттого, что рушилось все вокруг, становилась беспомощной чья-то память, державшая на примете, как маяк, какую-нибудь чинару, которой один Аллах ведаёт сколько лет.

Бегут годы. Вон и тебе уже за семьдесят, а она, могучая мать-чинара, украшение и гордость махалли, какой была на твоей памяти — самой высокой в округе, с дарящей прохладу раскидистой кроной, — такой и осталась. А если огрубела, потрескалась кора неохватного ствола да вокруг дерева вздыбилась холмом почва, упрятавшая громадные корневища в выжженной солнцем земле, — так ведь и ты уже не юноша чернобровый с тополиным станом.

Время-хозяин на всем ставит свое тавро, никто и ничто не остается без его меты. Но как ни меняет время облик всего сущего, у старой памяти ориентиров много. Если подняться вверх по Чигатаю — узкой, извивающейся, как пустынная змея, улице, на которой едва две арбы разминутся, да и то



если ездоки с уважением отнесутся друг к другу, — выйдешь к былым складам горторга, который по привычке называют караван-сараем. Давным-давно отшумел свое караван-сарай, считай, с тех пор, как последних лазутчиков Джунаидхана выловили в нем, а за пыльными глухими складами с подслеповатыми окнами так и остался — караван-сарай.

С этой улицы, с любого ее конца, в глубине запутанных улочек-лабиринтов можно было увидеть два минарета. Один, что повыше, выглядел молодцом: высок, прям, строен. Многие, кто помоложе, из поколения атеистов, особенно праздный туристский люд, принимали минарет за трубу какой-нибудь хилой котельни или фабрики, но когда десять лет назад на самой его верхотуре свили гнездо аисты, каждому стало очевидно, что никакая это не труба и что выстроена башня совсем для других целей.

«Чтобы не путалось Богово с мирским», — сказал в ту весну кто-то из седобородых, у кого и дел-то осталось на земле что занимать красный угол в чайхане. Минарет стоял заколоченный, никому не мешал, и о том далеком времени, когда по его крутым ступеням в последний раз поднимался муэдзин призывать правоверных на утренний намаз, помнили только старая чинара да несколько стариков, коротавших остаток дней в чайхане.

Другой минарет, видимо, и в лучшие свои годы был попроще и ростом не вышел, да и кладка его из кирпича-сырца была без затей, не радовала глаз. То ли устав от времени, то ли по какой иной причине наклонился он, и довольно заметно, в сторону овражка, где бежала узкая торопливая речушка — сай. Иные, демонстрируя свою образованность, называли минарет падающей башней и упоминали какой-то далекий итальянский городок. В махалле же минарет называли просто — Кривой Мухаммад Ходжа.

Поговаривали, что минарет, построенный на деньги кривого ростовщика Мухаммада, человека скупого и вздорного, хоть и совершившего хадж в Мекку, наклонился сразу же после Курбан-байрама. Глядящий в сай минарет был словно людским укором ростовщику, обманувшему мастеровых при расчете. Каких только денег ни сулил ходжа, чтобы выправили минарет, но охотников почему-то не нашлось. Молва успела



стать легендой, и следов ходжи давно не найти, а минарет все падает и никак не упадет.

А рядом, за щербатым дувалом, обдавая пылью прохожих, нарушая все правила ГАИ, неслись по Чигатаю серебристые рефрижераторы с местной минеральной водой, а то, сверкая лаком и вызывая восторг махаллинской ребятни, бесшумно лавировал по петляющей улице вишневый «икарус», возивший футбольную команду, известную всем своими взлетами и падениями.

Где-нибудь на улице, ежедневно меняя место наблюдения, таился сонный на вид толстый лейтенант ГАИ. Он как из-под земли появлялся перед лихачами-шоферами, считавшими себя непревзойденными ловкачами, и, лениво поигрывая жезлом, загораживая собою треть дороги, громогласно объявлял: «На улице Чигатай движение одностороннее! Штраф плати!»

Вот так тесно сплеталось на этой улице старое и новое, вчерашнее и сегодняшнее, прошлое и будущее, уже витавшее над махаллей...

Борис Михайлович Краснов появился в махалле в самом конце пятидесятых, теперь уже далеких годов. Тогда его и по отчеству еще не величали, а звали просто Борей или Борисом.

В осеннее утро, окрашенное терявшими листву чинарами, опаздывая, как ему казалось, к месту назначения, стремительно несся он вверх по Чигатаю, на ходу впитывая в себя контрасты не по-осеннему жаркой улицы. Его цепкий молодой глаз, привыкший к мягким, теплым российским тонам, заметил в разгоравшемся оранжевом свете близкого солнца и чинару, и минареты, и многое другое...

Первые впечатления, восторг новизны, неизведанное и оттого прекрасное чувство перемен в жизни, в краю новом, необычном, навсегда запали в сердце молодого инженера. Было-то ему тогда неполных двадцать два года от роду. Оттого, наверное, много позже — когда уже работал в другом районе огромной столицы, — если случалось оказаться в старом городе, он вдруг ощущал какой-то душевный подъем, как в те давние молодые годы, и каждый раз его обдавало теплом и надеждой на перемены к лучшему.

На работе его приняли по-товарищески сердечно. Тогда, впервые поднимаясь вверх по Чигатаю и разыскивая нужный тупик, Краснов удивлялся: да может ли быть среди этих глухих



осыпающихся дувалов какая-либо служебная контора? И закрадывалось сомнение — уж не напутал ли он с адресом?

Монтажное управление, вернее, здание, в котором оно располагалось, оказалось и впрямь необычным, как необычно было для него все вокруг в этом южном краю.

Уже через час после того, как он появился во дворе, сплошь укрытом от солнца виноградником, отчего на земле лежала пестрая, как маскхалат, тень, Краснов получил в свое распоряжение отдельный кабинет. Оглядывая высокие расписные потолки, чем-то напоминавшие Китай, но с изящной арабской вязью на темных балках, он не переставал удивляться: «Шахерезада... Шахерезада, да и только».

И полетели дни и недели. Где-то далеко, там, откуда приехал Краснов, уже давно убрали огороды, пустые поля с потемневшим жнивьем прихватывались по утрам густыми заморозками, и все чаще и чаще лили нудные обложные дожди.

А во дворе их управления с прогнувшихся лоз свисали тяжелые виноградные гроздья, и солнце сквозь пожухлую листву, словно порядком подустав за бесконечное лето, светило мягко, покойно, и казалось, конца этому теплу и благодати никогда не будет...

«Надо же... теплынь... Сахара...» — частенько думал Краснов и вспоминал попавших по распределению в более суровые края товарищей, которые уже облачились в плащи и пальто, ходят в шапках и свитерах, и много всяких других забот, наверное, свалилось на них в преддверии суровой зимы. А тут все еще разгуливают в пиджаках.

Сто рублей, положенный ему оклад, конечно, не студенческая стипендия, но все же... Краснов продолжал жить скромной, выверенной студенческими годами жизнью и потому с удивлением вдруг обнаружил, что вырос из своих куцых пиджаков, как-то неожиданно увидел изношенность любимых рубашек, а уж об обуви и говорить не приходилось. Может, такое прозрение произошло оттого, что начальник производственного отдела — а был он ненамного старше Бориса — являлся на работу в таких ослепительно белых сорочках и начищенных туфлях, что Краснов, глядя на свои стоптанные сандалеты и брюки, плохо державшие стрелки, насмешливо думал о себе: «Чучело огородное, а не инженер».



И все же он принадлежал к поколению предвоенных лет, поколению, может, и не крепкому телом, как нынешние акселераты, но крепкому духом, целеустремленностью, для которого моральные ценности значили куда больше накрахмаленных рубашек. И он с завидным упрямством провинциала впитывал в себя все, что мог дать ему столичный город. С энергией, вызывавшей уважение, Краснов восполнял зияющие пробелы в своем культурном образовании. В записной книжке четким, несколько размашистым почерком у него были записаны названия опер и балетов, драматических спектаклей, которые непременно надо посмотреть. Здесь же значились адреса почти всех музеев: этнографического, краеведческого, музея природы, атеизма, прикладного искусства и других, о существовании которых многие горожане и не подозревали. Выставочные и лекционные залы, библиотеки, кинотеатры — всему нашлось место в этой старой, студенческих дней, книжке.

Жил он в ту пору на Чиланзаре, в общежитии. Преимущественно одноэтажный город тех времен раскинулся на огромной территории, словно тогда уже предвидел свой бурный рост и заранее застолбил себе место.

Каждодневная утренняя поездка на троллейбусе до Хадры казалась ему путешествием в неведомые края. Он часто стоял у огромного пыльного окна в конце салона и сквозь свои неторопливые мысли, обрывочные думы слышал, как музыку, ленивый голос кондуктора: «Беш-Агач... Караташ... Алмазар...»

Каждое название в этом городе заключало в себе не только музыку, но и тайну... Самарканд-Дарбаза... Домрабад... Ахмад Даниш...

Он выходил на Хадре и пешком спускался к Чукурсаю, чтобы, минуя знаменитый базар, отмеченный во всех туристских проспектах, выйти к Чигатаю.

Он шел по остывшим за ночь тротуарам, ощущая под тонким слоем асфальта булыжное мощение, еще сохранившееся в прилегающих ко дворам проездах.

Арки поутру казались полноводнее и журчали веселее. Справа, из распахнутых высоких ворот парка, веяло утренней свежестью. За решетчатой оградой, оплетенной цветущей лоницерой, виднелись присыпанные красноватым песком безлюдные аллеи. Борис уже знал, что среди вавилонского многоязычия



города в этом парке чаще всего звучала татарская речь. Татары давно облюбовали себе этот скромный парк и отмечали в нем старые и новые праздники.

На базаре он не задерживался. Покупал две пышные горячие лепешки, прямо из тандыра, еще на одну серебряную монетку брал к ним кисть винограда, пару персиков или истекавших соком груш, но чаще всего «кандиль» — яблоки с нежным девичьим румянцем.

Тут же на базаре, в одной из многочисленных чайхан, полупустых поутру, он завтракал, выпивал традиционный на востоке чайник зеленого чая. Из интереса Краснов заходил то в одну, то в другую чайхану и повсюду встречал почти одинаковые, в алых розах металлические подносы, на которые он клал лепешки и вымытые фрукты.

Но он быстро разобрался, что при кажущейся одинаковости чайханы очень отличаются друг от друга. В одних, воровато оглядываясь, понижая голос до шепота, сидели как на иголках за нетронутым чайником чая оптовики-перекупщики, рядившиеся с растерявшимися от оглушающей суеты города дехканами. В других восседали важные, громогласные бритоголовые мясники. День им предстоял нелегкий: и огромными двенадцатикилограммовыми топорами намашутся, и туши многопудовые ворочать придется — только успевай! А среди дня два подростка, племянники чайханщика, понесут из чайханы в мясные ряды подносы с лучшими чайниками и пиалами без единой щербинки. Мясники испокон веков на базаре — торговая элита!

Обнаружил Краснов и чайхану, где звучала громкая речь казахов, — казахские земли с запада вплотную подступали к городу.

На работе он сразу пришелся ко двору, потому что имел редкую по тем временам специальность — инженер по антикоррозийным покрытиям. Документы в институт он подавал, как и большинство парней, на отделение гражданского строительства, но на собеседовании оказался представитель вновь организованного факультета. Краснова он особенно не уговаривал, сказал только: «Десять процентов ежегодно производимого металла съедает коррозия». Это и определило выбор юношей профессии.



Большая химия только зарождалась в этих краях, и защите огромных шатрообразных газгольдеров, строительство сернокислотных и электролитных цехов, завода фосфорных солей вело монтажное управление, затерянное в каком-то из тупиков Чигатая.

К зиме главный инженер стал все чаще брать Краснова на объекты в близлежащие промышленные города: Чирчик, Алмалык, Ангрен, Ахангаран, постоянно держал его при себе на крупных совещаниях у заказчика или в министерстве.

Нужен он стал скоро и начальнику производственного отдела, и девушкам из лаборатории, постоянно консультировавшимся у него. Даже плутоватый кладовщик Мергияс-ака, не доверявший никому, информацию о свойстве новых красок, эмалей, растворителей, эпоксидных смол и порошкообразных наполнителей старался получить не в лаборатории, а непременно у Краснова. В прохладе огне- и взрывоопасных складов, оглядывая заставленные полки и стеллажи, Мергияс-ака говорил: «Все знает, ничего не путает Краснов. Молодец, учился, дурака не валял, как некоторые», — и почему-то зло косился в сторону конторы. А поостыв, добавлял: «Ин-жи-нир, хорош инжинир!» И как-то неожиданно для Краснова стали величать его Борисом Михайловичем, Борисом-ака.

Однажды в начале зимы, в туманное и сырое утро, Краснов торопился на работу. За пазухой недавно купленного нового пальто у него лежали две горячие лепешки. Чайхана, в которой он, как обычно, хотел позавтракать, оказалась закрытой, и Борис решил попить чаю с вахтером: у того на плите зимой всегда кипел чайник.

Он шел по мокрому Чигатаю, ощущая тепло и запах свежих лепешек, и так велико было искушение откусить кусочек, что он невольно замедлил шаг. И тут вдруг его окликнули:

— Товарищ инжинир, доброе утро! День сырой, зайдите в чайхану, выпейте пиалу чая.

В проеме распахнутой двери стоял рослый мужчина в меховой безрукавке и широким жестом приглашал войти.

За дверью Борис увидел ярко горевшую лампочку и часть стены, завешенную тяжелым темно-красным ковром. Оттуда на Краснова дохнуло теплом, древесным углем и типично восточным запахом множества ковров. Эту чайхану на Чигатае,



неподалеку от управления, Краснов заметил давно и уже знал, что она махаллинская, а это совсем не то, что базарная. Доступ сюда имеют обычно лишь завсегдатаи и местные жители.

Борис секунду раздумывал, но улыбка не сбегала с лица чайханщика, жест был искривлен и щедр, и он вошел.

С тех пор Краснов частенько бывал здесь, но с особым настроением заглядывал именно поутру, поздней осенью и зимой...

... В сутеме слякотного или морозного утра, когда скудно отапливаемый мангалами старый город нехотя просыпался, Краснов, приподняв короткий воротник пальто, спешил, как обычно, через базар. Лепешечник, за спиной которого жарко исходил паром тандыр, уже как старому знакомому протягивал ему две с любовью отобранные лепешки, и он, не сбавляя темпа, обгонял какие-то неожиданно возникавшие из светлеющей тьмы согнутые, закутанные фигуры, слыша вокруг себя почему-то приглушенный, не свойственный базару говор. Странно, даже арбакеш, чей голос перекрывает в полдень многоязычный гомон, поутру был удивительно тих.

Восток... Загадка...

Всегда, в любой день, еще издали, едва свернув с Сагбана, он видел светившиеся окна махаллинской чайханы. Вытирал взмокший от быстрой ходьбы лоб, вынимал у порога из-за пазухи лепешки и решительно распахивал дверь. Обычно в это время посетителей не было. На его приветствие Махсум-ака, проводивший последнюю инвентаризацию чайников или возившийся с самоваром, отвечал бодро и с какой-то беззаботной веселостью: «Э, салам алейкум, Борис-инжинир, мархамат, заходи скорей».

От огромных медных самоваров, потускневших, с зеленоватым отливом, разливалось тепло. В отсутствие посетителей горела одна лампочка напротив двери, и поэтому уходившие в темноту стены казались завешенными черными коврами, только вдруг проезжавшая мимо машина была в окна ярким лучом фар, и на миг стена озарялась кроваво-красным...

Чуть позже, когда он уже пил чай с наватом и парвардой — дешевыми восточными сладостями — и вел оживленный разговор с Махсумом-ака, объявлялся второй посетитель. Обычно это был кто-нибудь из соседнего дома. По-домашнему кутаясь





в длинный, до пят, стеганный чапан, он велеречиво и церемонно обменивался любезностями с чайханщиком, а заметив в глубине зала Краснова, так же любезно обращался и к нему: «Доброе утро, товарищ инженир...»

«Инженир» ... Так и закрепилось за ним в махалле это прозвище, и произносилось оно так, словно кладовщик Мергияс-ака специально прорепетировал со всеми жителями квартала. Звание «инженер» в те годы еще было почитаемым, и, что говорить, Борису Михайловичу такое обращение нравилось.

Может быть, быстро упрочившееся уважение сослуживцев и доброе расположение махаллинского люда явились причиной того, что однажды в обеденный перерыв здесь, в этой чайхане, он принял неожиданное для себя решение: «Остаюсь... пуцу корни на узбекской земле... женюсь...»

Мергияс-ака, составивший ему в тот день компанию, заметил, как изменился в лице «инженир», и торопливо спросил: «Что случилось, Борис-ака?»

Краснов, на миг побледневший от охватившего его волнения, с улыбкой обвел глазами зал, словно заново увидел все вокруг, и весело ошарашил кладовщика:

— Жениться решил, вот что, Мергияс-ака...

А ведь до этого момента и мысли такой в голову ему не приходило. Работа по распределению казалась необходимостью — не более, а там — большие стройки Сибири, Дальнего Востока... Краснов не был исключением из правила, думал: вот отработаю положенное, наберусь опыта и подамся в края, о которых мечтал с друзьями в долгие студенческие ночи. И вдруг... «остаюсь».

«Женюсь» вовсе не означало, что он решил завтра же бежать в загс, — нет. Просто под «остаюсь» он подразумевал: «всерьез, надолго, с семьей, домом... с детьми».

Конечно, девушка у него была. Жила в том степном, насквозь продуваемом ветрами, жесткой поземкой городе, где Краснов окончил институт и где теперь доучивалась она. Туда, в домик на окраине, окруженный чахлыми акациями, шли его письма, и иногда он мысленно называл ее — моя невеста.

Принятое решение внешне, казалось, не отразилось на нем, но круто перевернуло всю его жизнь. Он вдруг понял, что до сих пор видел происходящее как бы снаружи, глазами



приезжего, а сейчас вглядывается и изнутри, что ли, примеряя все к будущей своей жизни.

Невесту о своем решении он не известил, только пригласил в гости на зимние каникулы. Волновался перед встречей, думал: понравится ли ей «его» город, который он не переставал открывать для себя, и делился открытиями в каждом письме. Он даже привел ее в «свою» махаллинскую чайхану, о которой ей было писано и переписано.

Однако его восторгов она особенно не разделяла, хотя запах арбузов в зимней чайхане вызывал у нее умиление (запасливый чайханщик на зиму закатывал их под айван сотни три). В какой-то миг Краснов почувствовал, что она равнодушна к его Урде и Чорсу, к древним чинарам и застывшим под тонким ледком хаузам.

Но это был такой краткий миг, лишь на доли секунды он ощутил, что она не понимает его... Все тут же забылось и перебилось чем-то иным, милым и трогательным. Теперь он уже не помнит, жест или слово, а может, ее улыбка отвлекли его от нерадостных мыслей. В молодости всем кажется, что избранницы смотрят на мир нашими глазами. Позже, в семейной жизни, натыкаясь на глухую стену непонимания, он с грустью вспоминал чайхану своего прошлого, даже зимой пахнувшую арбузами.

Она уехала в холод, метель, к чахлым акациям, чтобы через два года вернуться к нему навсегда. Краснов продолжал работать и забегать по утрам в чайхану. Даже положенные отпуска не использовал, довольствовался компенсацией. К тому же и работы было много. В свободные дни он часами пропадал в книжных магазинах, часто ходил на концерты, потому что гастролеры жаловали этот теплый, уже названием своим навевавший тайну и ожидание город.

Жил он все там же, в общежитии, хотя в махалле ему предлагали за небольшую плату отдельную комнату. Но он отказался — не хотел лишать себя прелести каждодневного путешествия. Иногда Краснов немного изменял свой пеший маршрут: с Хадры сворачивал влево, спускался к площади Чорсу и опять, минуя базар, выходил к себе на Чигатай. Он быстро усвоил, что суета, торопливость на Востоке не в чести, и старался никуда не спешить без причины. С обостренным



вниманием вглядывался он в окружающее, подмечая то, что ранее ускользало от его взора. С наслаждением впитывал в себя древний город: его краски, шум, его пыль, зной, многоязычие, завезенную приезжими суету и исконную степенность. И часто, подтверждая однажды принятое под настроение решение, мысленно говорил себе: «Да, мне здесь жить...»

По утрам на пути к управлению Краснов раскланивался с множеством людей; прижав ладонь к сердцу, осветив лицо улыбкой, ему отвечали тем же. Только бледные немощные старики, бухарские евреи, удостаивали его лишь кивком головы.

И трудно было ему по молодости понять, от гордыни ли это или от немощи, когда с трудом дается каждый жест. А может, с высоты библейского возраста они считали, что жест достойнее слова? Ему нравились эти молчаливые старики. В белых чесучовых костюмах, оставшихся, наверное, еще с бойких нэпмановских времен, поры их молодости и удач, встречались они Краснову только по весне и в долгие теплые дни осени. От слякоти, стужи, жары они прятались и уберегались за высокими дувалами.

Пробегаая утром мимо птичьего базара, Борис часто встречал их в петушином ряду. Покупали они только живую птицу, и обращались с ней словно маги или гипнотизеры. Еще минуту назад хорохорившийся красавец-петух горланил на весь базар — и вдруг под слабыми руками старика, ощупывающего его бока, затихал, смирялся. Странно, но каждый из этих стариков всегда покупал птицу одного оперения: или огненно-рыжих петухов, или белых хохлаток, или рябых цыплят первой осени... По оперению петухов, которых несли в связке головами вниз, отчего птицы вели себя удивительно смиренно, он и различал старцев-евреев, от возраста ставших почти на одно лицо.

Чем лучше он узнавал город, тем сильнее привлекала его чайхана в махалле. Все неписанные законы ее за один вечер мог бы объяснить ему Мергияс-ака, но Борис до всего хотел дойти сам. С тех пор как Краснов сменил в производственном отделе начальника-щеголя, он частенько задерживался вечерами на работе. Возвращаясь, заходил в чайхану и обычно играл партию-другую в шахматы. Между ходами внимательно оглядывал многолюдный зал и через распахнутые настежь окна видел, что к вечеру заполняются айваны и во дворе. Он слышал, как



снаружи гремели ведрами и шумно расплескивали воду, — это добровольные помощники Махсума-ака поливали арычной водой двор и обдавали из шлангов деревья, и, как после дождя, пахло землей и садом.

«Клуб, чисто мужское заведение», — часто думал в тишине вечера Краснов. Приходило на память прочитанное об английских клубах. Но общими здесь и там могли быть разве что давность традиций и исключительно мужской состав. Английский клуб был закрытым, только для избранных, а чайхана была доступна каждому. Более всего ценились здесь остроумие, общительность, доброта, участие в жизни махалли. Краснов заметил, что директор таксопарка чаще других поливал двор и деревья, потому что делал это ловчее всех: и пыль не поднимал, и грязь не развозил, и после него долго еще лежал на земле влажный узор, нанесенный простым шлангом. Знал он и то, что директор завозил на зиму в чайхану уголь и дрова и на краску для ремонта не скупился, но, чтобы к нему из-за этого было какое-то особое отношение, Краснов не замечал.

... Позже, когда Борис сам стал начальником управления и продолжал подниматься все выше по служебной лестнице, он тоже немало сделал для этой чайханы, но отношение к нему оставалось таким же ровным, как и вначале. И всегда называли его здесь «инженир», вкладывая в это слово раз и навсегда заложенную меру уважения...

Заканчивая играть в шахматы, когда на город уже ложились дымные сумерки, Борис Михайлович иногда замечал, как в чайхане появлялись дети. Они молча отыскивали кого надо и, что-то шепнув, бесшумно исчезали.

И Краснов представлял, как когда-нибудь он будет так же ходить вечерами в махаллинскую чайхану, играть в шахматы или нарды, или просто сидеть на открытой веранде с чайником чая, и за ним, приглашая его на ужин, будут прибегать сын или дочь...

Он и многих детей уже знал, потому что работников управления часто приглашали на праздники, свадьбы, торжества в махалле.

В тесных двориках, похожих на японские, от бывших садов остались лишь орешина или урючина, яблонька или одинокий тутовник, и в центре непременно крохотные клумбы с цветами.



В этих домах окнами во двор, с балаханой на втором этаже, текла скрытая от глаз ровная жизнь.

Отсутствием пышности, простотой привлекала его и чайхана в махалле. Здесь никому не было дела до его куцых пиджаков и стоптанных башмаков. Здесь признали в нем его самого...

Много позже, когда время у него было расписано по минутам и он редко бывал в чайхане, ему почему-то вспоминались стихийно возникавшие вечерами компании: директор школы, билетер из кинотеатра, управляющий банком, мастер, украсивший резьбой потолок всей махаллы, усатый инспектор ГАИ, директор таксопарка, кладовщик Мергияс-ака, молчаливый мясник, слесарь с авиазавода и немногословные старики, коротавшие свои дни здесь. И с высоты житейского опыта Борис Михайлович понимал, что такое широкое и разностороннее общение возможно было только в рамках чайханы. Может, все это вспоминалось ему потому, что он видел, как неожиданно и стремительно люди стали объединяться в компании, следуя совсем иным принципам...

Нравился ему и неписаный кодекс поведения: например, в чайхану не заходили выпив и не распивали там в открытую. Борис Михайлович видел несколько раз, как взрослые солидные люди, можно сказать, хозяева махаллы, перед тем как подадут плов, тайком сливали водку в чайник и обносили пиалой, словно чаем, сидящих за дастарханом. Казалось бы, чего проще: ставь бутылку в центре, стаканов достаточно, шуми, провозглашай тосты — кто посмеет что сказать? Никто. Но правила, усвоенные сызмала, срабатывали — нельзя, ибо, уступив соблазну однажды, начнешь вскоре крушить традиции до основания.

И молодежь вела себя здесь степенно. Однажды Краснов стал свидетелем того, как двое юношей, не городских, видимо, случайно забредших с базара, получили урок, который едва ли когда забудут.

В чистой, опрятной чайхане у стен на коврах были расстелены еще и курпачи — узкие стеганые одеяла, и один из парней с удовольствием растянулся на мягкой курпаче. Другой присел рядом, они продолжали что-то оживленно обсуждать, оглашая чайхану молодым громким смехом, не обращая внимания на окружающих. Сидели они у стены, никому вроде не мешали,



но Махсум-ака, казалось бы, безучастно перебиравший четки, незаметно для окружающих прошел к молодым людям и что-то мягко, вполголоса сказал. Двух слов оказалось достаточно, чтобы краской стыда залило лица вмиг вскочивших парней.

«Уважай других — будут уважать тебя» — такой рукописный плакат на узбекском языке висел за спиной Махсума-ака у самовара.

Время летело, и уже по воскресеньям Краснов водил гулять в детский парк сынишку, еще спотыкавшегося Павлика, и казалось, что жизнь не сулила ему крутых перемен: вроде все устоялось, определилось и на работе, и в семейной жизни. Но вдруг весной, в конце апреля, когда розово отцветал миндаль, на сонный город обрушилась страшная беда — землетрясение.

Уже на третий день его вызвали в райком партии и объявили, что в старом городе организуются два строительных управления и начальником одного из них назначают его, Краснова. Борис Михайлович пытался отказаться, ссылаясь на молодость, на то, что он инженер не общестроительный, но его вежливо осадили: это партийное поручение, а если хотите — приказ.

Старый город почти не пострадал. Эпицентр удара стихии пришелся на густонаселенный район Кашгарки и центральную часть. Уже через две недели мощные бульдозеры, переданные в дар из соседней Чимкентской области Казахстана, вели снос на Кашгарке, и управление Краснова принималось за первые котлованы под фундаменты нового жилого массива.

С тех пор Краснов сносил и строил, строил и сносил...

В тяжелую годину в сложных обстоятельствах проверяются на прочность и выносливость характеры людей, проверяются на главном — в деле, работе.

На планерках, летучках, совещаниях в тресте и горкоме партии Борис Михайлович видел многих таких же молодых инженеров, возглавивших новые строительные организации. С некоторыми он работал в контакте; о работе других знал по результатам; об удаче, смелости, новаторстве третьих слышал на коллегиях и партактивах. Борис Михайлович жалел, когда сходили с дистанции способные коллеги — не все выдерживали. Наверное, им мнилось: конца-края этой работе не будет. Оказалось, что мало быть талантливым инженером



и организатором, надо быть еще двужилым, чтобы, когда необходимо, работать за двоих, за троих.

Борис Михайлович строил: дома и школы, магазины и детсады, целые кварталы. И дело приносило ему радость. А вот дома... Он все чаще ощущал, как медленно, но неотвратно уходит тепло из его очага, какие глухие стены непонимания вырастают в семье. Жена не понимала и, главное, понимать не хотела, почему он уходит в седьмом часу и возвращается к полуночи, хотя знала, что у мужа порой на «Волге» за день шоферы сменялись: один не выдерживал.

Супруга постоянно приводила ему в пример мужчин, для которых семья важнее всего, рассказывала, как они помогают своим женам, ссылаясь при этом на статьи в газетах и журналах, выступления по телевидению, где высокообразованная эмансипированная половина человечества в последние годы дружно ополчилась на мужской пол, обвиняя его в лени, отсутствии должного внимания к своим благоверным.

«Другие... другой... они», — не сходило с ее уст. А Борис Михайлович, слушая, думал о своем, потому что знал множество друзей, занимавшихся настоящим мужским делом, которых нечем заменить, сколько там ни говори о равноправии. Всегда будут находиться люди, работающие на пределе своих возможностей, понимающие это, но сознательно на это идущие. Потому что это и есть настоящая мужская доля, как понимал ее Краснов, — именно такая, а не мытье посуды на кухне, даже если ты очень любишь свою жену и хочешь ей помочь.

«А может, те, сошедшие с дистанции до срока, потому и сломались, что их кто-то не понял, не поддержал вовремя — друзья, начальство, собственная жена?» — не раз задумывался Борис Михайлович. Тяжело было на работе, еще труднее дома, но Краснова радовало, что он оказался нужным городу, почти двухтысячелетняя история которого обошлась без него. К новейшей истории его Борис Михайлович был теперь причастен, и основательно.

Он радовался, что быстро исчезали армейские палатки, целые палаточные городки, освобождались общежития, уходили в небытие коммуналки и люди расселялись по отдельным квартирам, навсегда сохранив благодарность к тем, кто в тяжелые дни приютил их. Радовался, когда получали квартиры строители,



прибывшие со всех концов страны на узбекский хашар. Звуки карнаев, этих восточных фанфар, так часто победно трубивших в те годы, остались в памяти Краснова волнующей музыкой — музыкой победы.

В «своей» махалле Краснов бывал теперь редко: незадолго до землетрясения он получил квартиру и съехал из комнаты, которую снимал с семьей неподалеку от управления на Чигатае.

Порою, когда Борис Михайлович с товарищами и коллегами из других городов и республик отмечал какие-то успехи, важные для них даты, например, годовщину организации управления или сдачу первого дома, первого квартала, массива, он приглашал друзей в «свою» чайхану, хотя были в городе и более просторные чайханы и шикарные рестораны. Он знал, что в «своей» чайхане его друзей встретят достойно, да и плов Махсум-ака готовил отменно.

Жил теперь Краснов в новом квартале Чиланзара, чайхан рядом не было вовсе, а вместо них понастроили множество пивбаров. Да если бы даже и наткнулся он на милую ему чайхану, скоротать вечер, как прежде, у него бы не получилось. Возвращаясь домой в сумерках, он всегда вспоминал старые времена, когда после работы играл в шахматы и мечтал о будущей жизни.

Давно уже Борис Михайлович проводил строителей, приехавших восстанавливать жаркий Ташкент. Уезжая, многие оставили в дар городу свою технику, и Краснов, став начальником нового строительного треста, получил ее в наследство. Ему же пришлось формировать стройпоезд «Узбекистан», когда подобная беда обрушилась на далекий дагестанский город Махачкалу. Ничего не пожалел тогда Борис Михайлович: отправил на его восстановление передовых строителей, лучшие бригады, главного инженера Махмудова, с которым никогда не расставался, новейшую технику отгрузил, понимая, что за добро платят добром.

И, наверное, остались бы в памяти Краснова старый город и махаллинская чайхана только как воспоминание о молодости, о поре возмужания, если бы однажды на его стол не легла тонкая папка с надписью: «Чигатай, тупик 2».

Борис Михайлович только-только принял дела после назначения его управляющим «Градостроя». Прежний управляющий,





к которому все относились с большим уважением, погиб в автомобильной катастрофе, и назначение стало для Краснова неожиданностью, потому что имелись и более подходящие, на его взгляд, кандидатуры. Но он не привык отказываться от работы... А работы, как всегда, было непочатый край.

Обыкновенная папка с обычными предварительными данными, где по улицам расписано, что и когда будет сноситься и застраиваться. Такой план на несколько лет вперед всегда предоставляет «Градострою» архитектурно-плановое управление города.

«Чигатай, тупик 2»... И перед глазами Краснова тут же встал поворот с Сагбана, куда на огромное зеркало ГАИ выплескивалась кручено-верченая улица Чигатай. Во втором тупике на самом углу стояла махаллинская чайхана. Это Борис Михайлович помнил, и не заглядывая в развернутый план сноса...

Каждый день Борис Михайлович раскрывал папку, и в четких линиях плана оживала перед ним махалля, намеченная под снос. Сносилось все подчистую: и Кривой Мухаммад Ходжа, и минарет, державшийся молодцом, и чайхана, и дом Ахмаджанабайвачи, в котором располагалось монтажное управление. И даже гордость махалли, вековая чинара, оказывалась на месте первого подъезда нового четырехэтажного дома, а значит, шла под пилу и топор.

Он несколько раз приезжал в свою чайхану и под разными предложениями обходил махаллю. Заходил и в управление, бывший особняк местного богача.

«Как же можно такой дом пустить на слом?» — думал Краснов, оглядывая барские хоромы в два этажа. Дом стоял на возвышении, чуть в стороне от шумного Чигатай, в тупичке. На фронте здания на резном ганче стояла дата — «1911 г.» ... Построенный из светло-желтого кирпича дом, где до сих пор не меняли паркет и оконные стекла, во время землетрясения не дал ни одной трещины — в этом Краснов убедился сам. Снести такой дом — большая проблема. Танками нужно крушить, взрывать. А зачем? Разве нельзя его в будущем приспособить под какое-нибудь учреждение?

Дом представлял и архитектурный интерес — это Борис Михайлович понял только сейчас, обретя многолетний опыт



строителя: он видел в нем удачную попытку соединить европейский стиль с восточным, с учетом местного климата. И многое ведь удалось воплотить: Краснов помнил прохладные комнаты, обилие в них света и воздуха. В свое время это был единственный среди глухих дувалов дом, выходивший окнами на улицу.

Ох, как хотелось, наверное, Ахмаджану-байваче, бывшему его владельцу, чей след затерялся в дымных кофейнях Стамбула, казаться среди своих компаньонов передовым, прогрессивным... Вот и выстроил дом так...

Окна-то на улицу были, но на них висели спускавшиеся изнутри жалюзи из гибкой стали, которые служили до сих пор. На всей металлической фурнитуре дома и литье стоял неожиданный оттиск: «Одесса, г. Лемманнъ». Да, неблизкой была поставка. Возвращаясь из махалли в чайхану, Борис Михайлович подолгу беседовал с Махсумом-ака, тот уже не работал и пополнил ряды стариков, сидевших в красном углу чайханы. Краснов слушал неторопливую речь Махсума-ака, видел, как входил участковый милиционер и, что-то решив, уходил довольный. Иногда их разговор перебивали: обращались к Махсуму-ака по поводу будущей переписи или встречи с депутатом, или спрашивали, у кого в ближайшие дни будет свадьба. И Борис Михайлович лишний раз убеждался, какую огромную роль в жизни квартала играет чайхана.

Только обнаружив на столе папку с планом предстоявшего сноса «своей» махалли, Краснов открыл для себя, что мало сохранить черты города, важно не нарушать лучшее из уклада жизни, складывавшегося веками.

Он знал, что все жители махалли получают ордера на получение квартир в домах, которые поднимутся здесь, и вернуться через год-два на свои места в прекрасные благоустроенные квартиры, но старые связи, конечно, будут нарушены, потому что не будет традиционного места общения.

А разве не ради общения строятся у нас многочисленные кафе, Дома культуры в каждом районе, а любой завод или фабрика непременно возводят еще и собственный Дворец, хотя все они в полной мере тоже не стали тем, чем хотелось. И вот опробованное и целесообразное так легко и бездумно пускается под снос. Борис Михайлович и раньше видел, но как-то не



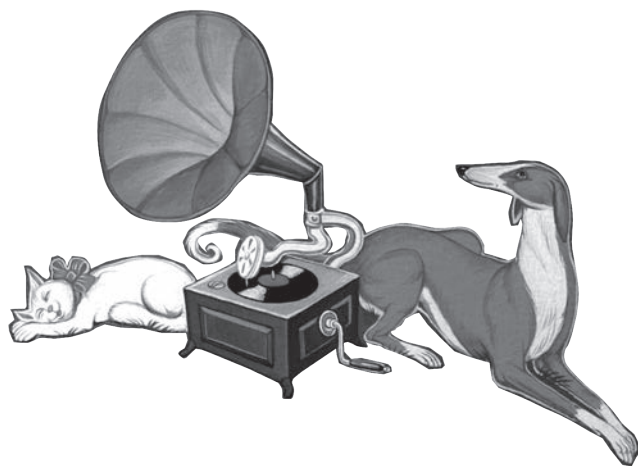
придавал особого значения тому, что исчезают эти неказистые на вид старинные чайханы, имеющие свою родословную. Уходят старики, люди иного уклада жизни, уходит и то, что сопутствовало им в жизни, считал он. И хотя Краснов знал новейшие, отстроенные после землетрясения чайханы, но их можно было пересчитать по пальцам одной руки, да и поднялись-то они, скорее, как дань моде: если Азия, юг, жара — значит, должна быть чайхана. Иначе какая же восточная экзотика?

Одна чайхана — красавица, вся из мрамора, в чеканке, текинских коврах, по-европейски стерильная, была построена в центре города на потребу интуристам. Была она всегда битком набита посетителями, и чтобы войти, надо было выстоять очередь, а что это за чайхана, когда надо дожидаться места... Знал он и несколько других, в разных концах города, называемых почему-то «чайханами почетных стариков». А ведь почетный старик на каждой улице свой... Старики уходили, оставляя посетителям мудрое спокойствие и неспешное величие мысли.

Все это хранили старые чайханы. А кто сохранит их? И Краснов, несмотря на загруженность, стал наезжать в «свою» махаллю.

С каждой поездкой в папке, в разделе сноса и застройки, делались все новые наброски, схемы, расчеты.. А на титульном листе размашистым почерком он написал: «Новое нужно строить так, чтобы оно не вызывало грусти и сожаления о прошлом».

*Коктебель,  
июнь 1978*







## Случайно встреченный

Автобиографический рассказ

*И все же придет время,  
когда не будет ничего интереснее,  
чем подлинные воспоминания  
о прошлом.  
Уолт Уитмен*

**В** 2009 году я возвращался из Китая с супругой Ириной, куда ездил на операцию из-за последствий старого покушения. В ту пору прямых рейсов в Урумчи не было, и летели мы через Астану. Кстати — летайте, при возможности, только с «Эйр Астана», самолеты у них — новые «боинги», летчики — английские и немецкие, не приученные экономить на керосине, и взлетать в грозу и ураган по первому окрику прижимистого начальства не станут. Да и диспетчеры у них в основном европейцы. А уж как кормят, какой выбор напитков предлагают на борту казахи — и сравнить не с кем, я летал часто и французскими авиакомпаниями, и английскими, и швейцарскими, правда, можно сравнить лишь с сингапурскими и катарскими, если кому посчастливилось летать с ними.



В Астане проживает много моих земляков-актюбинцев, поэтому встречали и провожали меня близкие друзья: Серик Бимурзин и Арынгазы Беркинбаев, чей предок Бердисалы Беркинбаев сто сорок лет назад основал наш родной город Актюбинск. Прадед моего друга Арынгазы поставлял казахских скакунов для кавалерии царской армии и не раз встречался с самим государем, фотографии сохранились. Портрет Бердисалы Беркинбаева кисти великого В. Верещагина выставлен в Эрмитаже. Встречал меня вместе с Арынгазы и легендарный Серик Бимурзин, тоже актюбинец, очень незаурядная личность: плейбой, денди, восьмикратный чемпион мира по кикбоксингу, полковник милиции в отставке. Кстати, в январе 2011 года на открытии зимних Азиатских игр в Актюбинске мы с Сериком несли факелы с олимпийским огнем. О Серике можно писать и писать, но не буду по уважительной причине — на выходе книга о нем, не хочу раскрывать секреты. А вот об Арынгазы просто обязан сказать, людей с такой родословной и биографией, к сожалению, немного.

У Арынгазы три старших брата, с пятилетнего возраста он никогда не общался со сверстниками, а постоянно увязывался за братьями, и хотя они часто пытались избавиться от него, это им редко удавалось. Арынгазы всегда находил их, будь они в ресторане или на танцплощадке, он знал всех их друзей и подруг.

Курить он начал в пять лет — курил только «Казбек» или «Герцеговину Флор», любимую Сталиным за редкий сорт табака. Хромтауский судья мог себе позволить такие дорогие папиросы, его пятилетний сын, позже одноклассник Арынгазы, каждый день таскал у отца нашему герою две-три штуки. Но через месяц Арынгазы бросит курить навсегда — не понравилось.

В первом классе Арынгазы влюбится на всю жизнь, старшие блатные ребята, жившие по соседству в шахтерском бараке, сделают ему наколку тушью на тыльной стороне правой руки — «Алия». Через год Арынгазы разочаруется в своей ветреной пассии и скажет ей, что она недостойна его любви. На что шустрая Алия ехидно заметила: «Разлюбил — не разлюбил, а я у тебя буду красоваться на руке всю жизнь, и жена твоя всегда будет ко мне ревновать». Такая перспектива сильно испортила



настроение дерзкому мальчику, и он приуныл на целую неделю. Он даже подумывал носить перчатку на правой руке. А как же писать в перчатке, в первом классе пишут много, даже предмет «Чистописание» есть — в общем, не вышло. Выручили, опять же, блатные, один старик, бывший заключенный, прошедший печально известный Карлаг — карагандинские лагеря, сказал отчаявшемуся мальчишке: «Есть способ, но вряд ли ты его выдержишь. Не всякие мужчины на зоне решаются на этот шаг, даже тогда, когда в этом есть жизненная необходимость. Присказка — наковка важнее паспорта, родилась не на воле».

«Я выдержу», — не моргнув глазом, сказал повеселевший мальчуган. Нашли опытного татуировщика, и он целый месяц выжигал серной кислотой недостойную Алию с руки семилетнего мальчика. С тех пор старшие блатные ребята в Хромтау здоровались с ним за руку первыми. В пятнадцать лет его известность перевесит славу старших братьев, всех вместе взятых — тоже не совсем простых ребят.

Характер, настоящий характер, он всегда вынесет человека на поверхность жизни. Арынгазы получит высшее образование, станет заслуженным мастером спорта по вольной борьбе, совсем молодым будет одним из руководителей Хромтау, а дальше жизнь понесет его только по восходящей — Актюбинск, Астана...

В начале 90-х годов Арынгазы организует чемпионат мира по вольной борьбе в Актюбинске, построит мемориал Котибарубатыру, когда будет возглавлять район в Кандагаче. Женится на красавице блондинке Лизе — немке из Чимкента, уедет с семьей на три года в Германию учиться банковскому делу и бизнесу. Овладеет немецким языком в совершенстве, и это откроет ему двери в большой мир. Вырастит двух прекрасных дочерей, на свадьбе которых мы, конечно, побывали, есть у него внуки, внучки. Одно жаль — недавно ушла из жизни любимая Лиза, умерла она в Москве, в больнице. В память о ней он построил из белого камня удивительной красоты мавзолей. Вот какой у меня друг, называющий меня старшим братом. Успехов тебе, дорогой брат Арынгазы, семейного счастья, счастья твоим детям, внукам, твоему народу.

Но вернемся в аэропорт Астаны.



Поскольку я — почетный гражданин Казахстана, улетали мы через VIP-зал. Рейс выпал ранний, и зал, когда нас провели туда, пустовал, но уже через двадцать минут у входной двери появилась шумная компания, и я понял сразу, что провожают какого-то высокого гостя. Я не ошибся — провожали... Юрия Николаевича Григоровича. В те дни в Астане проводился большой балетный фестиваль, и Юрий Николаевич возглавлял жюри, знал я это из газет.

Провожали высокого гостя два заместителя министра культуры Казахстана, известный хореограф Булат Аюханов, который с балетной труппой «Балет Алма-Аты» объездил весь мир, с ними еще несколько балетмейстеров уже нового поколения, которых я, к сожалению, не знал. Один из высоких чиновников, увидев меня в пустом зале, поспешил к нам с супругой. Разрываться ему между нами и московскими гостями, видимо, не хотелось, там, вдали, стоял накрытый в честь Григоровича стол, и он, любезно взяв нас с Ириной под руки, сказал: «Я хочу представить вас, нашего земляка, дорогому гостю». Когда он представил меня Юрию Николаевичу и мы обменялись любезностями, я сказал мэтру: «Дорогой Юрий Николаевич, а я вас знаю с 1964 года, нас познакомил ваш ученик, теперь уже лет тридцать народный артист СССР — Ибрагим Юсупов».

«Ибрагим! — воскликнул с восторгом, как-то по-молодецки, очень устало выглядевший балетмейстер. — Любопытно, любопытно, расскажите подробнее».

Мы сели за изысканно накрытый стол, и нам тут же налили французского шампанского «Тайтингер». Юрий Николаевич поднял бокал: «Давайте выпьем за Ибрагима, он — мой ученик, очень талантливый, поставил много достойных балетов. Помните балет на музыку Кара-Караева “Тропую грома”?». И мы выпили за друга моей ташкентской юности Ибрагима Юсупова.

— Ну, а теперь подробнее про наше знакомство, вы меня заинтриговали.

— В 1964 году в Москву впервые прибыла из Парижа балетная труппа Гранд-Опера, она привезла два одноактных балета — «Сюита в белом» и «Коппелия», в заглавных партиях танцевали Клер Мотт и Пьер Бонфу. В обоих спектаклях





танцевала и балерина Вера Бокадоро, французенка, она тоже ваша ученица, училась с Ибрагимом на одном курсе.

Тут Юрий Николаевич заплодировал и сказал с грустью:

— Как давно это было! Сорок пять лет назад..

Осушив еще раз бокалы, теперь уже за здоровье самого мэтра, я продолжил:

— О гастролях мы с Ибрагимом знали еще за месяц до их начала — в декабре. Бокадоро позвонила Ибрагиму в Ташкент и попросила его обязательно приехать в Москву, я думаю, у них в ГИТИСе был роман. Поскольку балетоманов в Ташкенте было немного, а я ходил не только на все балетные спектакли, но и посещал прогоны, репетиции, знал по именам всех солистов и даже весь кордебалет, Ибрагим предложил мне вдвоем слетать в Москву. Надеюсь, вы понимаете, от такого предложения нельзя было отказаться — французский балет, Гранд-Опера впервые в СССР! Как бы я ни был рад приглашению, все же спросил: «А билеты? Как мы попадем в Большой театр?» — что такое билеты на обыкновенные балетные премьеры в Москве, я знал лучше Ибрагима. «Не беспокойся, прорвемся, Вера обещала контрамарки», — заверил меня Ибрагим.

В день открытия гастролей во время репетиции французской труппы мы с Ибрагимом пришли к служебному входу Большого театра, где нас поджидала счастливая Вера Бокадоро. Вот она, Вера, и устроила нам встречу с вами, и мы из ваших рук получили контрамарки на служебные места.

Чувствуя, что Юрию Николаевичу приятно вернуться в свою молодость, я продолжил:

— А вот на премьеру «Спартака» в вашей редакции, который уже почти полвека не сходит с балетных сцен, я пришел сам.

Я напомнил Юрию Николаевичу и людям, провожавшим его, какие дивные декорации и костюмы создал к «Спартаку» театральный художник Сулико Вирсаладзе — отец выдающейся пианистки Этери Вирсаладзе. Отметил и музыкальную мощь гения Арама Ильича Хачатуряна, написавшего неувядаемую музыку к балету, и зрители впервые услышали ее на премьере «Спартака». Оркестром в тот день дирижировал несравненный Натан Рахлин.



Тут подоспел тост хозяев стола, они предложили поднять бокалы за бессмертный балет «Спартак», до сих пор идущий в первичной редакции Григоровича на казахских сценах.

Юрий Николаевич выглядел и растроганным, и радостным, и счастливым, ему было приятно, когда говорили о его любимом балете, принесшем ему мировую славу. Поистине, со «Спартаком» он стал признанным балетмейстером мирового масштаба.

Понимая ситуацию, я продолжил:

— Наверное, теперь мало кто знает, что впервые после вас, Юрий Николаевич, «Спартак» поставил с вашего разрешения Ибрагим Юсупов. «Спартак» Юсупова, скроенный по вашим лекалам, родился на моих глазах.

— А кто танцевал Спартака? — перебил меня нетерпеливо Юрий Николаевич.

— Васильев, — и, увидев сомневающиеся глаза многих, вынужден был повторить: — Да, да, как и у вас — Васильев, только Васильев наш, ташкентский, по габаритам — он близнец московского Спартака. Васильев в России, оказывается, балетная фамилия, я встречал Васильевых и в Перми, и в Ленинграде, и в Краснодаре. Красса танцевал Игорь Ильин, вскоре перебравшийся в Ленинград. А в женских партиях танцевали тоже известные балерины: Галия Измайлова и совсем юная Бернара Кариева.

— А кто оформлял декорации, снова Сулико Вирсаладзе? — спросил меня, как на экзамене, Григорович.

— Нет, оформлял известный художник из Еревана Ашот Мирзоян, но его рекомендовал сам Арам Ильич Хачатурян, и Ибрагим не мог отказать маэстро, хотя у него на примете был молодой ташкентский художник. Жаль, вы, Юрий Николаевич, не смогли приехать на премьеру ташкентского «Спартака», вас очень ждали, в афишах тех лет сохранилось сообщение, что вы будете на премьере.

— Да, я не только обещал, я действительно хотел приехать — я ведь консультировал Ибрагима с первых репетиций, он приезжал ко мне советоваться, а уж звонил каждую неделю. Мне важно было знать, видеть, как «Спартака» примет зритель далеко от Москвы. Но не получилось слетать в Ташкент, важный



правительственный концерт неожиданно объявился в честь какого-то заморского президента, сейчас уже и не помню какого.

— А кто дирижировал оркестром? — словно продолжая экзамен, спросил меня увлеченный воспоминаниями Григорович.

— Захид Хакназаров — в ту пору, несмотря на молодость, уже известный в стране дирижер. Конечно, и дирижер, и оркестранты превзошли себя, потому что на премьеру прилетел сам маэстро Арам Ильич Хачатурян.

Похваляюсь запоздало, Ибрагим поручил мне все три дня пребывания композитора в Ташкенте сопровождать высокого гостя повсюду. Мне даже по звонку сверху оформили на работе отпуск на эти дни. Три дня рядом с Хачатуряном! Я помню эти дни, как будто это было вчера. Арам Ильич дважды посетил репетиции оркестра и делал какие-то замечания и дирижеру, и оркестрантам.

В Ташкенте в ту пору проживало много армян, даже мэром Ташкента был армянин — легендарный строитель С. Саркисов. В те дни, находясь рядом с Арамом Ильичом, я перезнакомился с армянской элитой Ташкента.

Премьера прошла с грандиозным успехом, артистов и самого Арама Ильича не отпускали со сцены как никогда долго. Доволен был и Арам Ильич, я сидел неподалеку от него, на всякий случай, и слышал его восторженные реплики по ходу спектакля.

Кстати, о Клер Мотт и Пьере Бонфу, которые первыми открыли французский балет советскому зрителю. Еще в Москве, той же зимой 1964 года, Вера Бокадоро свела Ибрагима с ними, и Ибрагим тогда пригласил их станцевать главные партии в своей «Жизели». Знаменитая танцевальная пара посетила Ташкент дважды — им настолько понравились и труппа, и оркестр, а, главное, неизбалованный и благодарный зритель.

Вылет самолета по каким-то метеоусловиям откладывался, и мы продолжали сидеть за богато накрытым столом, французское шампанское у гостеприимных казахов не кончалось, хотя это был особый, золотой, «Тайтингер». В какой-то момент я даже заподозрил, что погода здесь не при чем, наверное, хозяева почувствовали настроение великого балетмейстера, который, возможно, к сожалению, в последний раз посещает



Астану, восемьдесят пять — это все-таки много, и Григорович не очень хотел вставать из-за стола, где ему было так душевно и уютно, и так неожиданно напомнили ему о его жизни, о его главных работах.

— Кто вы по профессии? — спросил меня вдруг Юрий Николаевич.

— Строитель, обыкновенный инженер-строитель, — ответил я и заслужил удивительную улыбку Григоровича.

Юрий Николаевич неожиданно обратился к одному из руководителей культуры Казахстана:

— Теперь я верю вашим словам на вчерашнем банкете, что в Казахстане любят балет и знают мое творчество основательно, спасибо еще раз.

Хозяин стола не растерялся:

— Дорогой Юрий Николаевич, вы же видите, наш казахский простой строитель, случайно встреченный, а как знает, любит балет, а что уж говорить о учителях, врачах, — за столом раздался гомерический хохот, и тут же нас с Юрием Николаевичем пригласили на посадку.

Вернувшись в Москву, я передал Ю.Н. Григоровичу через директора Большого театра Анатолия Иксанова свой роман «Ранняя печаль», где есть главы о театральном Ташкенте, Ибрагиме Юсупове и нашей давно прошедшей юности.

В заключение еще одна короткая сцена о балете. В те же годы Ибрагим Юсупов преподавал в балетном училище, которому недавно исполнилось девяносто лет, и таких училищ в СССР было всего шесть. Однажды нас с Ибрагимом пригласили на день рождения, и я должен был зайти за ним в училище. Пришел я туда с огромным букетом для именинницы и с полчаса наблюдал за уроком. Закончив занятия, Ибрагим выставил своих учениц в ряд и показал им упражнение, которое они должны были отрепетировать дома. Я подошел к одной из девочек, которой было не больше двенадцати лет, и, отдав ей букет, поцеловал ее в щечку и сказал, что она будет великой балериной.

Когда мы остались одни, Ибрагим отругал меня за букет и сказал, чтобы я не портил ему учениц, а эту он, мол, хоть завтра готов отчислить. Я, конечно, не согласился с Ибрагимом



и попросил его подождать лет пять-семь, в балете все становится ясным очень быстро. Девочку эту звали Валя Ганибалова, балетоманы со стажем хорошо помнят приму-балерину Кировского театра Валентину Ганибалову. Лет через пятнадцать после случая в училище она приехала с сольными концертами в родной Ташкент, и тогда, вручая ей на сцене цветы, я спросил: «А помните, однажды в детстве вам подарили букет и предсказали, что вы будете великой балериной?». Она обняла меня и сказала: «Дорогой Рауль, предсказания такие никогда не забываются, я помню его всю жизнь. Вы дали мне веру, которой мне тогда не хватало».

*Иматра, Финляндия,  
2011*





# Содержание

Творческая биография.....	7
Библиографическая справка.....	10
Пешие прогулки .....	14
Двойник китайского императора.....	273
Горький напиток счастья.....	459
Знакомство по брачному объявлению.....	507
Не забывайте нас .....	569
Чти отца своего.....	604
Мартук — пристань души моей.....	755
Чигатай, тупик.....	865
Случайно встреченный.....	885



Выражаю огромную благодарность и признательность  
всем спонсорам и руководству Татарстана за издание  
этого собрания сочинений, где подведены итоги моей  
пятидесятилетней творческой жизни в литературе

**Рауль Мир-Хайдаров**

писатель

заслуженный деятель искусств

лауреат многих литературных премий

Почетный гражданин Казахстана

Литературно-художественное издание

Собрание сочинений в десяти томах

Том второй

Пешие прогулки

Серия «Черная знать»

Мир-Хайдаров Рауль Мирсаидович

Редактор

*В.В. Молчанова*

Художественное оформление

*Р.М. Шарафутдинов*

Техническое редактирование и компьютерная верстка

*Р.М. Шарафутдинов*

Корректоры

*Р.М. Мир-Хайдаров, И.В. Варламова, В.В. Молчанова*

Мемуары оформлены картинками из личной коллекции

Рауля Мир-Хайдарова

В оформлении книги использованы картины

Сергея Широкова, Бабура Мухамедова, Азата, Шерали,

Бахтияра, Бабанияза

Подписано в печать . Формат 70x100<sup>1/16</sup>.

Бумага офсетная. Гарнитура Мусл. Печать офсетная.

П. л. . Усл. печ. л. . Тираж . экз. Заказ .

Отпечатано в типографии

420066, Казань, ул. Декабристов, 2

Филиал АО «Татмедиа» Полиграфическо-издательский комплекс  
«Идел-Пресс»